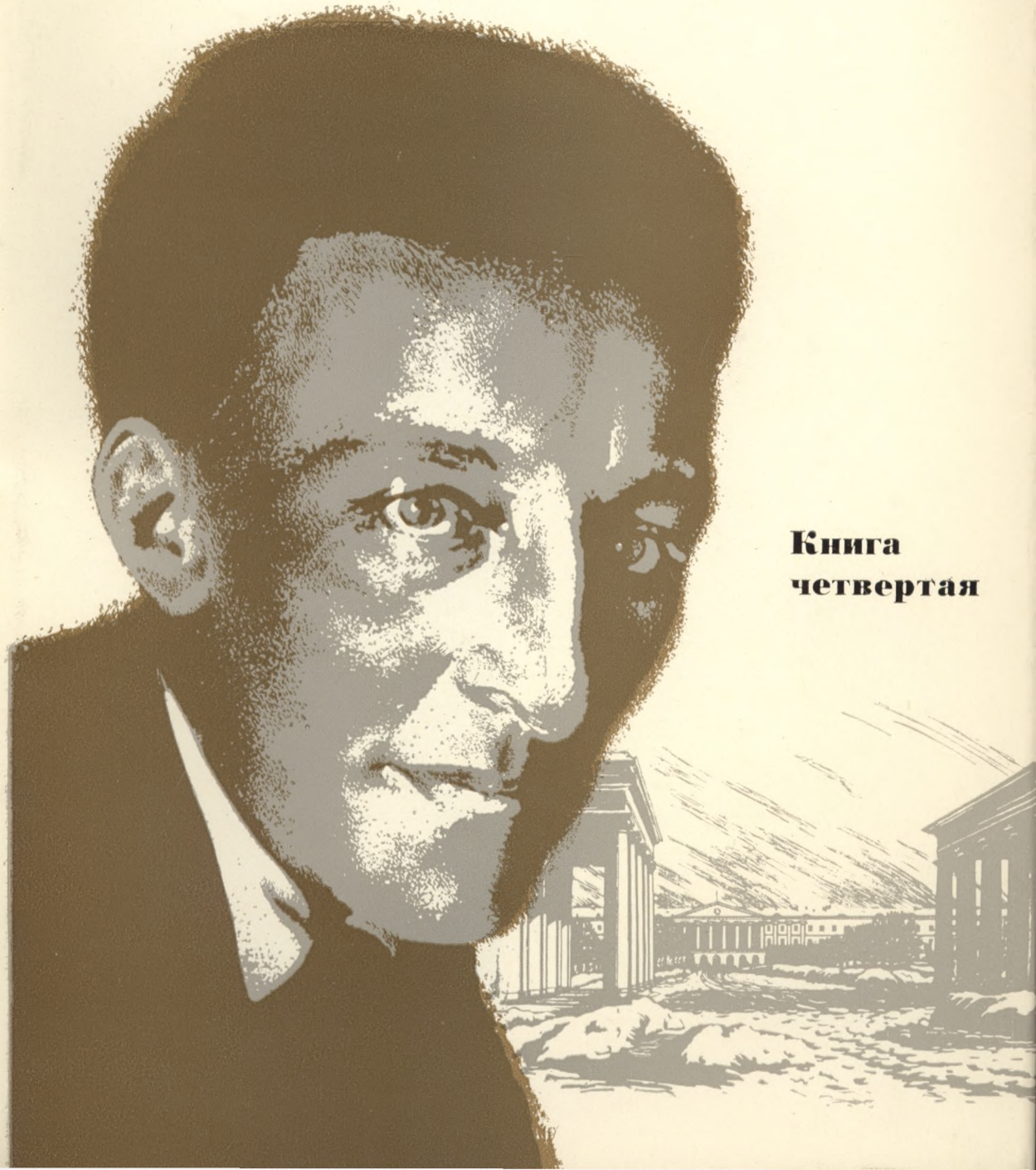
Александр Блок

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ

Литературное наследство



Книга четвертая

Книга открывается разделом «Блок и русские писатели. Традиции. Влияния. Общения», где связи поэта с его предшественниками и последователями рассматриваются по преимуществу на неизвестном ранее документальном материале (новонайденный автограф заметки Блока о Льве Толстом, его пометы на страницах романов Ф. М. Достоевского, изданий Н. А. Добролюбова, статьях и книгах о русских писателях и др.). Сюда входят статьи «Блок и А. К. Толстой», «Блок и Чехов», «„Двенадцать" Блока и Л. Андреев», «Блок и народническая демократия», а также ряд документальных публикаций и исследований о роли Блока в развитии советской литературы (по архивным материалам Горького, Луначарского, Чуковского, Пришвина).

В разделе «Из неизданной переписки Блока» публикуются юношеские письма поэта к двоюродному брату А. А. Кублицкому-Пиоттух, письма Г. И. Чулкова к Блоку, переписка с М. А. Волошиным, А. А. Ахматовой, обмен записками Блока и Л. А. Дельмас на театральном диспуте (1914), письмо М. С. Шагинян Блоку о поэме «Двенадцать». Наиболее крупной и значительной является публикация 44 писем Н. А. Клюева к Блоку (1907—1915), которые создают представление не только о содержании несохранившихся писем Блока, но и об исключительном внимании Блока к крестьянскому поэту в период между двумя революциями.

В разделе «Разыскания и сообщения» печатаются многочисленные биографические документы Блока и исследования творческой истории его произведений.

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

АЛЕКСАНДР БЛОК

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
им. А. М. ГОРЬКОГО



ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

ТОМ ДЕВЯНОСТО ВТОРОЙ

В ПЯТИ КНИГАХ

РЕДАКЦИЯ
Г. П. БЕРДНИКОВ, Д. Д. БЛАГОЙ, И. С. ЗИЛЬБЕРШТЕЙН,
А. С. КУРИЛОВ, С. А. МАКАШИН, К. Д. МУРАТОВА,
П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Л. М. РОЗЕНБЛЮМ, Л. А. СПИРИДОНОВА,
Л. И. ТИМОФЕЕВ, Н. А. ТРИФОНОВ,
М. Б. ХРАПЧЕНКО, В. Р. ЩЕРБИНА (ГЛАВ. РЕД.)

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
1 · 9 · МОСКВА · 8 · 7

ХРАНИТЬ НАСЛЕДСТВО - ВОВСЕ НЕ ЗНАЧИТ
ЕЩЕ ОГРАНИЧИВАТЬСЯ НАСЛЕДСТВОМ
ЛЕНИН

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДСТВО

АЛЕКСАНДР БЛОК
НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Ответственные редакторы
И. С. ЗИЛЬБЕРШТЕЙН,
Л. М. РОЗЕНБЛЮМ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
1 · 9 · МОСКВА · 8 · 7

Том подготовлен
при участии Центрального государственного архива
литературы и искусства СССР. Москва

Рецензенты
В. А. КЕЛДЫШ, З. С. ПАПЕРНЫЙ

ГОД ИЗДАНИЯ ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМОЙ

Л $\frac{4603010100-459}{042(02)-87}$ 87.III

© Издательство «Наука», 1987 г.

БЛОК
И РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ.
ТРАДИЦИИ,
ВЛИЯНИЯ, ОБЩЕНИЯ

БЛОК О ЛЬВЕ ТОЛСТОМ
(НОВОНАЙДЕННЫЙ АВТОГРАФ)

Сообщение А. Н. Бойко

Известно, что на восьмидесятилетие со дня рождения Толстого Блок откликнулся большой статьей «Солнце над Россией», которая была напечатана в журнале «Золотое руно» (1908, № 7—9). Над статьей Блок, видимо, работал в конце августа (до 3 сентября). В письме от 3 сентября он сообщал Е. П. Иванову: «Написал в „Руно“ юбилейную статью о Толстом». 18 сентября в записной книжке поэта появилась короткая, но чрезвычайно значительная по содержанию заметка. Впоследствии с некоторыми небольшими поправками она была переписана Блоком на отдельный лист (автограф хранится в архиве Государственного музея Л. Н. Толстого в Москве). Характер исправлений очень выразителен: не только общий смысл заметки, ее композиция, но и каждая фраза в ней сохранились, изменения касаются отдельных слов или структуры предложения, обнаруживая важность любой детали блоковского текста, вплоть до знаков препинания. Например, во фразе: «Сознание того, что чудесное было рядом с нами, часто приходит слишком поздно» — «часто» заменено на «всегда». Это категорическое, всеобъемлющее «всегда» появляется и в следующей фразе, сильно преобразованной. Вместо: «...надо помнить, что само существование гения есть непрестанное излучение света на современников» читаем: «Надо всегда помнить, что сама жизнь гения есть непрестанное излучение света на современников». Далее фразу: «Свет этот и близоруких остерегал от самых опасных мест» — Блок редактирует таким образом, что глагол переводится в настоящее время: «Этот свет остерегает от опасностей и близоруких» и т. д.

Высокая требовательность Блока к каждому слову, к малейшему оттенку интонации, отличающая все им написанное, в данном случае усилена исключительной ответственностью темы.

До последнего времени считалось, что окончательным текстом «Заметки» был тот, который зафиксирован в автографе Музея Толстого. В действительности же, как удалось установить, Блок продолжал работу над «Заметкой», совершенствуя ее текст. Об этом свидетельствует неизвестный ранее беловой автограф этого произведения, обнаруженный нами в одном из фондов ЦГАОР.

Коротко об истории находки. Дело в том, что на протяжении нескольких лет я изучал и продолжаю изучать общественно-просветительскую деятельность нескольких поколений Водовозовых... Здесь я позволю себе отвлечься от основной темы и сказать, что, к сожалению, фамилия Водовозовых широкому кругу читателей пока мало знакома, а между тем она заслуживает внимания уже хотя бы по той причине, что супруги Мария Ивановна и Николай Васильевич Водовозовы создали в 1894 г. первое в России марксистское книгоиздательство, в котором в 1898—1899 гг. впервые были напечатаны сочинения В. И. Ленина «Экономические этюды и статьи» и «Развитие капитализма в России».

Когда в 1978 г. я собирал материал для своей работы о первых публикациях сочинений В. И. Ленина, то в бумагах из архива Водовозовых обнаружил небольшой голубой конверт, на котором черными чернилами было написано: «Заказное. С. Петербург. Невский 92. Комитет съезда представителей русской печати», а чуть ниже стоял почтовый штемпель, и в нем довольно ясно прочитывался обратный адрес: «Солнечногорское Московской» и дата «19.09.08». Рядом со штемпелем (в правом углу) были наклеены две почтовые марки, и почти в са-

мом низу конверта находилась подпись: «Отправитель: А. А. Блок». В конверте я обнаружил лишь одну рукописную страничку под заглавием «Заметка для сборника, посвященного Льву Николаевичу Толстому», в которой было немногим более двадцати строк.

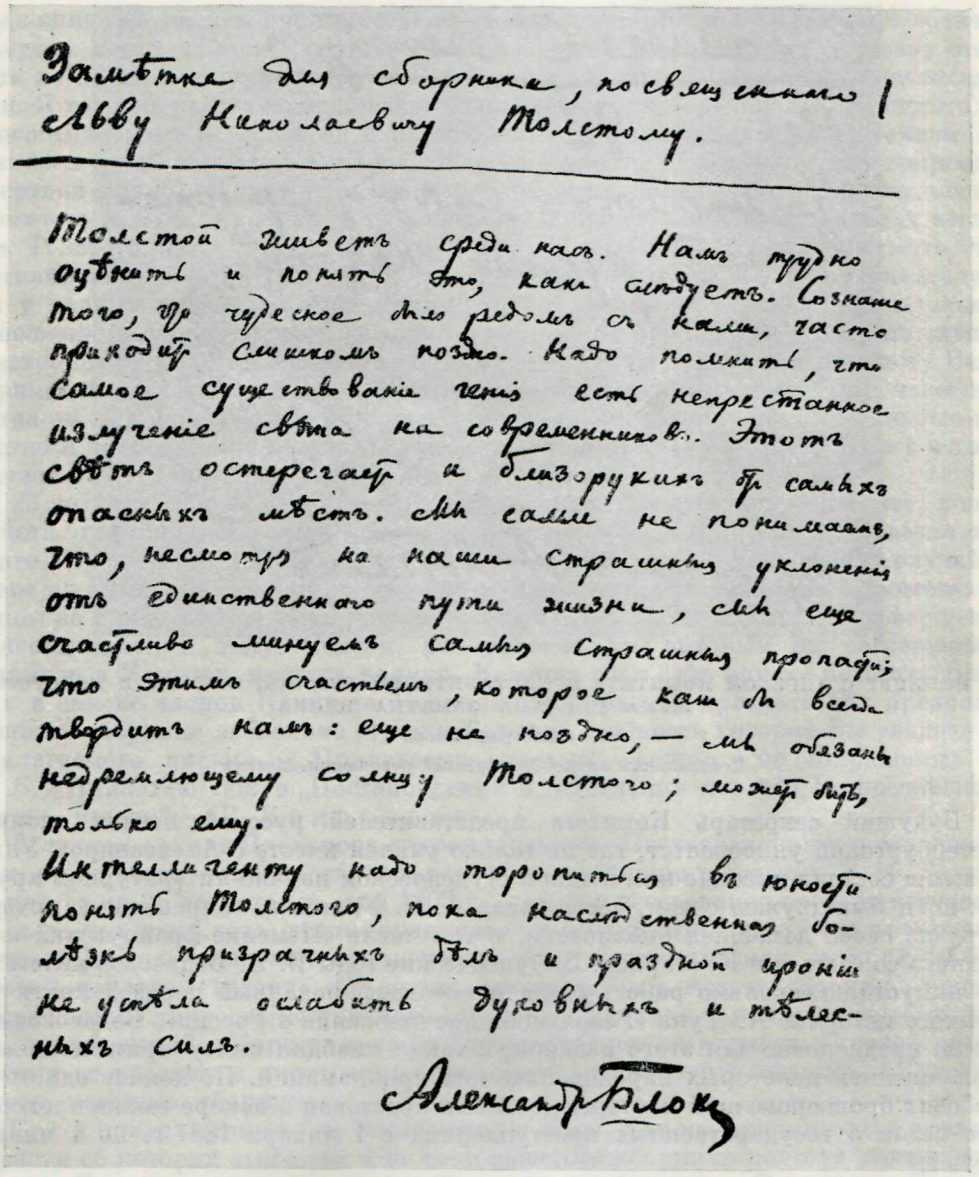
Сравнительный анализ текстов (записной книжки, автографа толстовского Музея и новонайденной рукописи) показал, что в голубом конверте находилась последняя, окончательная редакция «Заметки». Совершенно очевидно, что, создавая этот последний текст, Блок пользовался обоими предыдущими, а не только рукописью на отдельном листе, поскольку в нескольких случаях возвращался к первому варианту из записной книжки. Так, в окончательном тексте, говоря о позднем осознании чудесного, которое «было рядом», он снимает наречие «всегда» и возвращается к первоначальному «часто». Следующая фраза: «Надо помнить, что само существование гения...» — полностью повторяет первоначальный текст из записной книжки, отменяя вторую редакцию.

Из двух определений «солнца Толстого» («недремлющее и незаходящее») в окончательном тексте оставлено только первое. Наконец, в заключительную фразу вносятся два существенных изменения. Вместо: «Интеллигенции надо торопиться понимать Толстого в юности...» (в записной книжке — «с юности») — написано: «Интеллигенту надо торопиться в юности понять Толстого». Таким образом, в окончательном тексте Блок обращается не к сословию (интеллигенции), а к каждому отдельному его представителю, считая важнейшим нравственным долгом истинного интеллигента торопиться не только «понимать», но «понять» Толстого.

Итак, окончательный текст «Заметки» был послан из Шахматова в Петербург, в адрес «Комитета съезда представителей русской печати». Комитет был избран Первым Всероссийским съездом журналистов, проходившим 22—25 июня 1908 г. Этот съезд называли по-разному: «Съезд периодической печати», «Съезд русской печати», «Съезд писателей», а иногда просто «Толстовский съезд». И, пожалуй, последнее название было самым точным, поскольку этот съезд был именно созван для того, чтобы выработать программу действий в связи с приближавшимся 80-летием Л. Н. Толстого. Секретарем Комитета был В. В. Водовозов. В конце июля — начале августа Комитет кооптировал в число своих членов Горького, Л. Андреева и Плеханова. Об этом мы узнаем из переписки В. Водовозова с Плехановым. 22 июля 1908 г. Водовозов сообщал Плеханову: «Многоуважаемый Георгий Валентинович, Комитет, избранный Съездом периодической печати, созванным главным образом для организации ознаменования юбилея Л. Н. Толстого, пользуясь своим правом кооптации, решил кооптировать трех лиц: М. Горького, Л. Андреева и Вас. Мы очень хорошо знаем, что, как Вы, так и М. Горький, в действительности не можете принимать сколько-нибудь деятельного участия в работе Комитета, главная часть которой должна вестись в Петербурге. Но, желая объединить более крупных представителей русской литературы и науки, чтобы иметь возможность говорить от их имени, и все же рассчитывая и на некоторые конкретные услуги от входящих в его состав разбросанных по Европе членов, Комитет позволяет себе надеяться, что Вы не найдете оснований отказаться от участия в нем. В состав Комитета пока входят М. Ковалевский (председатель), П. Милюков (товарищ председателя), Короленко, Венгеров, Анненский, Батюшков, Богучарский, Г. Градовский и некоторые другие. Как видите, состав в политическом смысле довольно пестрый. Будьте добры ответить по моему адресу. Секретарь Комитета В. В о д о в о з о в» [1].

Опережая события, хочу сказать, что деловая переписка В. В. Водовозова велась почти со всем литературным миром, да оно не могло быть иначе, поскольку все крупнейшие писатели того времени присылали в Толстовский комитет различные телеграммы, письма, заметки, статьи, воспоминания и проч.

Несколько слов о самом Водовозове. Секретарь Комитета к тому времени имел за плечами большую жизненную, политическую и литературную школу. Он родился в Петербурге в 1864 г., в семье Е. Н. и В. И. Водовозовых. Что



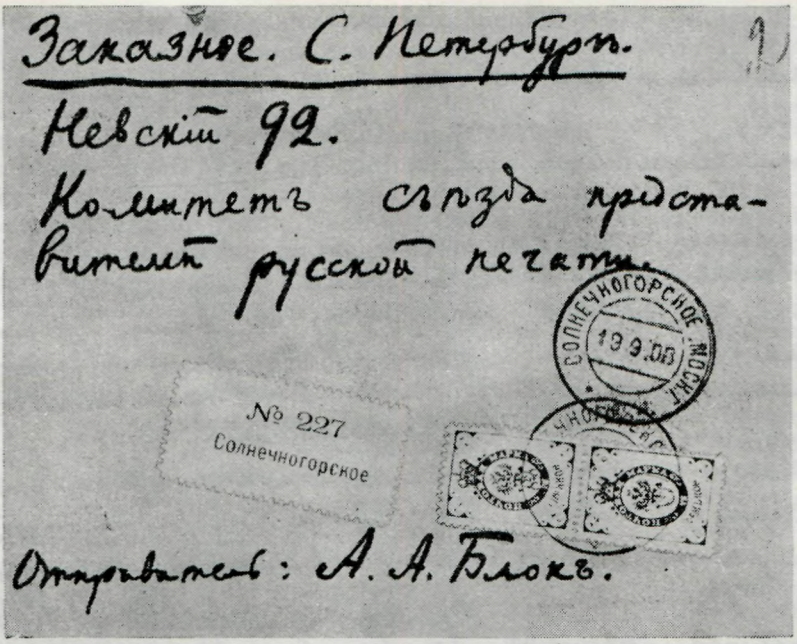
Заметка для сборника, посвященного
Льву Николаевичу Толстому.

Толстой живет среди нас. Нам трудно
судить и понять это, как следует. Сознание
того, что чудесное дело рядом с нами, часто
приходит слишком поздно. Надо помнить, что
самое существование гения есть непрестанное
излучение света на современников. Этот
свет остерегает и близоруких от самых
опасных мест. Мы сами не понимаем,
что, несмотря на наши страшные уклонения
от единственного пути жизни, мы еще
счастливо минуем самые страшные пропасти;
что этим счастьем, которое нам всегда
выводит нам: еще не поздно, — мы обязаны
негреющему солнцу Толстого; может быть,
только ему.
Интеллигенту надо торопиться в юности
понять Толстого, пока наследственная бо-
лезнь призрачных благ и праздной иронии
не успела ослабить духовных и телес-
ных сил.

Александр Блок

ЗАМЕТКА БЛОКА О Л. Н. ТОЛСТОМ
Автограф, 1908
Центральный архив Октябрьской революции, Москва

касается Елизаветы Николаевны Водовозовой (1844—1923), то в конце прошлого столетия она была хорошо известна как детская писательница, автор таких произведений, как «Жизнь европейских народов» (в трех томах) и «На заре жизни» (два тома). В домашней библиотеке семьи Ульяновых в Симбирске (в 1869—1887 гг.) было несколько произведений и самой Елизаветы Николаевны, и ее мужа Вас. И. Водовозова, известного русского педагога-просветителя, друга и соратника К. Д. Ушинского. Весной 1883 г. гимназисту IV класса Владимиру Ульянову за «отличные успехи и прилежание» был подарен Ученым советом Симбирской гимназии экземпляр второго тома «Жизни европейских народов», который сохранился до наших дней.



КОНВЕРТ С АДРЕСОМ КОМИТЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РУССКОЙ ПЕЧАТИ, В КОТОРОМ БЫЛА ПОСЛАНА ЗАМЕТКА БЛОКА

Автограф Блока

Центральный архив Октябрьской революции, Москва

Будущий секретарь Комитета представителей русской печати окончил Петербургский университет, где не только учился вместе с Александром Ульяновым и состоял вместе с ним в одном студенческом научно-литературном кружке, но и был дружен с ним, часто давал А. И. Ульянову запрещенную литературу из своей домашней библиотеки, в том числе «Немецко-французский ежегодник» со статьями К. Маркса. В студенческие годы В. В. Водовозов нелегально выпустил несколько работ, издал и литографированный перевод книги немецкого историка А. Туна «Революционное движение в России». Водовозов написал предисловие для этого издания, а также снабдил книгу примечаниями с приложением некоторых народовольческих прокламаций. По доносу одного из рабочих брошюровочной мастерской он был арестован и вскоре также проходил «по делам о государственных преступлениях с 1 января 1887 г. по 1 января 1888 г.» [2]

В самарский период жизни Ульяновых В. В. Водовозов не раз бывал у них дома, и в своих воспоминаниях об этом времени М. И. Ульянова пишет так: «Из посещавших нашу квартиру в Самаре, кроме А. П. Скляренко, И. Х. Лалаянца, В. В. Водовозова, который приходил больше к старшей сестре — они читали вместе по-итальянски ⟨...⟩ помню еще В. А. Ионова и А. И. Ерамасова» [3].

Сам В. И. Ленин хорошо знал обоих братьев Водовозовых — Николая и Василия, которого часто резко критиковал. Так, «Биографическая хроника» В. И. Ленина сообщает: «Начало декабря ⟨1891 г.⟩. Ленин присутствует на докладе В. В. Водовозова о германской социал-демократии, выступает в качестве оппонента, „оспаривая слишком „парламентаристскую“ ⟨...⟩ точку зрения последнего“» [4]. Доклад происходил в квартире Водовозова на Сокольничьей улице (ныне — Ленинская ул., д. 87).

Но вернемся к переписке Плеханова и Водовозова. Получив послание Плеханова, в котором тот сообщал, что мог бы принять условие Комитета «лишь в том случае, если бы этот Комитет имел в виду чествовать Л. Н. именно как

художника, а не как публициста», Водовозов тотчас же написал ему: «Сейчас получил Ваше письмо, многоуважаемый Георгий Валентинович, и спешу ответить на него пока лично за себя: Комитету я доложу его на ближайшем заседании. Я тоже не разделяю большей части общественных взглядов Л. Т〈олстого〉 [5], в особенности я не согласен с их мистико-моралистическим обоснованием, не согласен с ним даже тогда, когда согласен в выводах (так, напр., по вопросу о смертной казни). Насколько мне известно, подавляющее большинство членов Комитета (а м. б. и все) тоже не разделяет большей части общественных взглядов Толстого, хотя ввиду разнообразия состава Комитета можно думать, что мотивировка своего отрицательного отношения к взглядам Толстого оказалась бы у разных членов разная. Ввиду этого я думаю, что Ваше отрицательное отношение к общественным взглядам Толстого не может служить препятствием к вступлению в состав Комитета. Во всяком случае я думаю, что Комитету Ваше отрицательное отношение к общественным взглядам Толстого было известно, когда он Вас избирал в свои члены. Мне по крайней мере оно было хорошо известно и нисколько не помешало предложить вас в члены.— В. В о д о в о з о в» (письмо от 17 августа 1908 г.).

22 августа 1908 г. секретарь Комитета писал Плеханову: «Простите, пожалуйста, глубокоуважаемый Георгий Валентинович, что я Вам не отвечал так долго. Предыдущее письмо было написано уже давно, но совершенно случайно я его не отправил вовремя. С тех пор имели место два заседания Комитета; на одном из них я прочел Ваше письмо и мой на него ответ, и Комитет совершенно присоединился к нему. Считая, что условие, под которым Вы соглашаетесь вступить в Комитет, имеется налицо, Комитет счел себя вправе печатать Ваше имя в списке членов Комитета. Посылаю Вам просьбу прислать для предположенного сборника несколько строк о Толстом, сущность которой Вы увидите из прилагаемого письма. 〈„Прилагаемое письмо“, видимо, не сохранилось.— *А. Б.*〉 Прилагаю также „Постановления и пожелания первого Всероссийского съезда печати“ — В. В о д о в о з о в».

В личном архиве Плеханова сохранились эти «Постановления и пожелания». Там, в частности, отмечалось, что, хотя 80-я годовщина рождения Л. Н. Толстого падает на 28 августа (ст. ст.) 1908 г., главное чествование следует перенести на осень текущего года, когда заканчивается летний отдых и разъезд из городов, почему Съезд и назначает время чествования первую неделю октября 1908 г. Третий параграф гласил: «От имени печати решено издать сборник, всецело посвященный личности чествуемого писателя, мнениям о нем и характеристике его произведений. Сборник должен быть составлен из отзывов и статей, полученных от русских и иностранных писателей, особо приглашенных к Толстовскому изданию сборника».

Среди приглашенных был несомненно и Блок. Его имя упомянуто в краткой справке об истории этого так и не состоявшегося сборника полтора десятилетия спустя. Я имею в виду редакционный комментарий к статье Плеханова «Толстой и природа», также предназначенной для сборника и впервые увидевшей свет в 1924 г. в журнале «Звезда» (№ 4). Там сообщалось, в частности, что Толстовский сборник не был издан в свое время «по невыясненным причинам». Однако объяснить эти причины дает возможность маленькая книжечка «Толстовский музей в С. Петербурге», изданная в 1912 г. Ее авторы-составители — В. И. Срезневский и В. Н. Тукалевский. В предисловии читаем: «Мысль об устройстве музея имени Л. Н. Толстого зародилась среди его друзей и почитателей вскоре после того, когда так называемый „Комитет почина“, образовавшийся для обсуждения вопроса о чествовании 80-летия дня рождения Л. Н. Толстого, *по просьбе самого Л. Н. прекратил свою деятельность;* отказавшись от чествования юбилея, комитет решил ознаменовать его тем или другим «общественным актом» и взял на себя выработку проекта „Общества имени Л. Н. Толстого“» (курсив мой.— *А. Б.*). И далее: «Идея создания Музея получила более или менее точное определение летом 1908 г. на съезде писателей». В докладе, прочитанном по этому поводу В. Я. Богучарским, было указано, что лучшей формой озна-

менования юбилея было бы создание в Петербурге «литературного Дома-музея имени Л. Н. Толстого», чтобы тем «увековечить за поколениями настоящим и грядущими те духовные богатства, которые дал миру гений Толстого».

Поскольку петербургский «Комитет почина» прекратил свое существование, «Заметка», написанная Блоком, осталась в бумагах В. В. Водовозова, где и хранилась, никем не обнаруженная, в течение 70 лет.

Ниже приводим полный текст белового автографа Блока.

ЗАМЕТКА ДЛЯ СБОРНИКА, ПОСВЯЩЕННОГО ЛЬВУ НИКОЛАЕВИЧУ ТОЛСТОМУ

Толстой живет среди нас. Нам трудно оценить и понять это, как следует. Сознание того, что чудесное было рядом с нами, часто приходит слишком поздно. Надо помнить, что самое существование гения есть непрестанное излучение света на современников. Этот свет остерегает и близоруких от самых опасных мест. Мы сами не понимаем, что несмотря на наши страшные уклонения от единственного пути жизни, мы еще счастливо минуем самые страшные пропасти; что этим счастьем, которое как бы всегда твердит нам: еще не поздно,— мы обязаны недремлющему солнцу Толстого; может быть, только ему.

Интеллигенту надо торопиться в юности понять Толстого, пока наследственная болезнь призрачных дел и праздной иронии не успела ослабить духовных и телесных сил.

Александр Блок

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Литературное наследие Г. В. Плеханова», сб. VI. М., 1938, с. 392—395. Далее цитируется по этой публикации с указанием даты письма.

[2] См.: Е. Н. Водовозова. На заре жизни. Мемуарные очерки и портреты, т. II. М., «Худож. литература», 1964, с. 413, 549.

[3] «Воспоминания о В. И. Ленине» в 5 томах, т. I. М., Политиздат, 1979, с. 148.

[4] «В. И. Ленин. Биографическая хроника», т. I. М., Политиздат, 1970, с. 61—62.

[5] Примерно в то же время (в конце июля — начале августа 1908 г.) Горький в письме к С. А. Венгерову, тоже входившему в состав Толстовского комитета, объяснял свой отказ участвовать в сборнике несогласием с убеждениями Толстого: «Как я уже известил Вас телеграммой — отказываюсь от участия в Комитете по устройству чествования Льва Николаевича. О причинах отказа Вы позволите мне не говорить — я не хотел бы ненужных споров по этому поводу. Лично же Вам скажу, что для меня революция столь же строго законное и благостное явление жизни, как судороги младенца во чреве матери, а русский революционер — со всеми его недостатками — феномен, равного которому по красоте духовной, по силе любви к миру я не знаю. Граф Лев Толстой — гениальный художник, наш Шекспир, может быть. Это самый удивительный человек, коего я имел наслаждение видеть. Я много слушал его, и вот теперь, когда пишу это, он стоит передо мной — чудесный, вне сравнений. Но удивляясь ему — не люблю его ⟨...⟩ с лишком двадцать лет с этой колокольни раздается звон, всячески враждебный моей вере» (М. Горький. Собр. соч. в 30 томах, т. 29. М., 1955, с. 74).

БЛОК О ДОСТОЕВСКОМ

(ПО НЕИЗВЕСТНЫМ МАТЕРИАЛАМ)

Статья И. В. Корецкой

1

В связи с проблемой «Блок и Достоевский», которая занимает многих исследователей [1], примечательны данные о восприятии поэтом произведений Достоевского и литературы о нем. Начнем со статьи И. Вернера [2] «Тип Кириллова у Достоевского», напечатанной в конце 1903 г. в религиозно-философском журнале «Новый путь» (в котором дебютировал и сотрудничал Блок) и вызвавшей пристальный интерес поэта; он оставил на ее страницах более ста помет [3]. Вернер трактовал вопросы мировоззрения в обычном для «Нового пути» аспекте: отрицание рационализма, позитивизма ради утверждения мистической правды. Ее оплот — религиозный мыслитель Достоевский; другой выразитель современного мистического сознания — атеист Ницше. Новопутейский критик соотносил их миры; так, он усматривал в проповеди Кириллова из «Бесов» черты «ницшеанской» этики до Ницше, предугаданной и осужденной Достоевским.

Проблематика статьи Вернера отвечала установкам «Нового пути»: Достоевского-проповедника вместе с Гоголем и Вл. Соловьевым журнал относил к своей родословной и прокламировал «уяснение религиозной мысли в последовательности этих трех имен» [4]. Вместе с тем, обещая ответить «запросам современного сознания», новопутейцы не могли игнорировать и споры о Ницше, проникавшие в общую прессу. К тому же пристрастия к автору «Заратустры» не были изжиты лидерами журнала и после перехода их к религиозному мировоззрению.

В начале 900-х годов — в связи с 20-летием со дня кончины Достоевского и «поминками» по недавно умершему Ницше — их имена сопоставляли литераторы разных направлений, от Михайловского до Л. Шестова. Точка зрения Вернера возникла под влиянием трех работ идеалистической критики, незадолго до того увидевших свет. Две из них появились в «Мире искусства», журнале, за которым следил Блок. Это был труд Д. Мережковского «Лев Толстой и Достоевский» (1900—1902), читанный Блоком в 1902—1903 гг.[5], и сочинение Шестова «Достоевский и Ницше. Философия трагедии» (1902). Третья — цикл статей о «Бесах» А. Волынского (1902—1903), вошедший вскоре в его «Книгу великого гнева».

Шестов увидел в Достоевском предтечу Ницше: певец неограниченного своеволия эгоистической личности. Ницше, по мнению Шестова, не дошел бы до такой «смелости и откровенности» в этой своей проповеди, если бы не пример Достоевского, оправдавшего анархо-индивидуалистический бунт «подпольного человека» [6]. Волынский сопоставил создателя Кириллова и автора «Заратустры» как выразителей кризиса европейской религиозной мысли и зачинателей поворота к «критическому идеализму», но подчеркнул различие их устремлений: «совершенно новую идею» человекобога Достоевский «еще до Ницше» «зажег в центре мирового искусства», но «тут же потушил своими религиозными богочеловеческими концепциями»; Ницше же остался проповедником «разрушительного и освободительного Антихриста» [7]. Для Мережковского — при всей свойственной ему неоднозначности оценок — Достоевский и Ницше суть эмблемы двух полярных путей грядущего всемирного развития: единящей людей религии богочеловечества и самообожествления личности, угрожающего распадом социальных связей [8]. Но при этом Мережковский отметил, что вера Достоев-

ского претерпевала жгучие искушения богоборчества и атеизма, поэтому одержимый неверием Кириллов в той же мере автобиографичен, что и праведник из романа «Идиот»: «В князе Мышкине Достоевский любит и оправдывает себя, в Кириллове — ненавидит и обличает себя ⟨...⟩ оба ему одинаково близки»,— заключал Мережковский [9]. «Если кн. Мышкин — Христос Достоевского, то Кириллов — его антихрист»,— вторил Мережковскому Вернер в интересующей нас статье (1903, X, 57). «Мифологема, согласно которой Достоевский и Ницше близки друг другу... по типу миросозерцания» [10], на Вернера повлияла. Однако категоричности Шестова, писавшего о Достоевском и Ницше как о «братьях, близнецах», новопутейский критик не разделял. Он усматривал схождения автора «Бесов» и пророка «Заратустры» в гносеологии (антирационализм) и в этике (констатация появления «сверхчеловека» — нового антропологического типа самообожествленной личности, отринувшей прежние нравственно-религиозные абсолюты). Но, устремившись «к одним и тем же вопросам», «передумав те же думы», русский и немецкий мыслители пришли, по мнению Вернера, к «диаметрально-противоположным» оценкам: Ницше провидел «сверхчеловека» «с любовью и нетерпением», Достоевский — «с ужасом» (1903, X, 50, 51, 58).

Общая проблематика «антинигилистического» романа Достоевского в статье не затрагивалась; автора интересовал лишь провозвестник «человекобога» Кириллов, один из шедевров психологизма Достоевского и его пластического мастерства. Считая «пророческую» фигуру Кириллова незаслуженно обойденной русской критикой, устремившейся якобы со времен Белинского лишь к вопросам социальным, Вернер старался восполнить этот пробел. Он выявлял генезис кирилловской идеи «внутреннего» бога, соотнося ее с мистическими воззрениями древности и нового времени, сопоставлял нравственную позицию героя Достоевского с требованиями этики Канта, Шопенгауэра, Ницше и акцентировал своеобразие русского «ницшеанца». В духе установок журнала автор всячески подчеркивал кризис богоборства Кириллова, осознавшего необходимость «высших ценностей», дающих «внутренний смысл и разумную связь всем явлениям мира», и лишь перенесшего эту идею «из макрокосма ⟨...⟩ в микрокосм»; заслуга героя Достоевского — прозорливое понимание того, что с верою можно бороться только верой (1903, XI, 62, 60, 58). Свой сопоставительный анализ миропонимания Кириллова и взглядов Ницше Вернер завершил морализующей концовкой: оба пророка «сверхчеловека» восстали против тех нравственно-религиозных идеалов, в лоне которых формировались сами. Но победа обоих над традиционной верой и моралью оказалась мнимой: «Кириллову эта победа стоила жизни, творцу „Заратустры“ — сознания» (XII, 182).

Таково содержание статьи Вернера. Ординарная, не поднимавшаяся над уровнем популяризаторских работ, которые печатали в «Новом пути» сотрудники второго ряда, она не случайно привлекла внимание Блока. Для становящегося мировидения двадцатитрехлетнего поэта были весьма существенны оба аспекта статьи — проблема богоборчества и богопокорства, с одной стороны, социального альтруизма и индивидуализма — с другой. Программный антирационализм новопутейского критика также импонировал Блоку, уверенному тогда в торжестве мистико-романтического взгляда на мир. «Осыпались пустые цветы позитивизма, и старое древо вечно ропщущей мысли зацвело и зазеленело метафизикой и мистикой» — так виделся поэту на рубеже 1901—1902 гг. итог «великой философской борьбы», начатой Вл. Соловьевым (VII, 23). Читая журнал Мережковских, Блок постоянно отмечал выпады против рационализма, позитивизма, а порой и усугублял их своими репликами. «Когда же мы, наконец, освободимся от страха перед метафизикой и религией и перестанем считать точное знание враждебным им и с ними непримиримым?» — этот вопрос С. Булгакова в одной из статей «Нового пути» (1903, III, 97) Блок сопроводил целым частоколом отчеркиваний. Знаком «Х» (косой крест), существенным в системе его помет, Блок выделил определение мистицизма: *«отрицание необходимости логического основания для утверждения известных теоретических или практических начал»* (1903, X, 53). И далее подчеркнул слова о том, что идти в познании

мистическим путем, значит, судить «*не прибегая к содействию логики и опираясь единственно на непогрешимое (субъективное) внутреннее чувство*» (Там же *). Как близкое себе отметил Блок суждение о неприятии рационализма Достоевским и о поисках писателем мистических основ в западноевропейской мысли. Достоевский понимал, писал Вернер, что западную культуру «*нельзя сводить* ⟨...⟩ *к одним рациональным началам*», что ей присуща «*та же вера, внутреннее убеждение, независимое от... доводов рассудка*». Выделив эти слова (XII, 168), поэт приписал: «Это я знал на днях. Ал. Блок».

Противник мистического сознания, антипод Достоевского и Ницше, предтеча позитивизма, полонившего современную мысль — так трактовался в новопутейской статье Кант. Эту критику «справа» молодой Блок разделял. На полях статьи сохранились сердитые реплики поэта по адресу отца критической философии; на них стоит остановиться: антикантианство Блока — характерная черта его тогдашнего мировоззрения, формировавшегося «под знаком» Достоевского [11]. «Принцип Кан⟨та⟩ — *безобразен* ⟨как⟩ всякий голый рационализм» **,— написал Блок против той части текста, где упоминался неприемлемый для Кириллова «знаменитый кантовский „категорический императив“» и приводилась (как несовместимая с кирилловской «дарящей» любовью к людям) формула Канта: «Поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы они поступали с тобой». Поэт прибавил насмешливо: «Канту одно оп⟨рава⟩ние — то, что его скрючило» (X, 69) [12]. К замечанию Вернера об абстрактности мысли Кириллова и неясности ее выражения Блок приписал: «Так как *теория* (абстрактная) *всегда* неясна (декадентство Канта)» (X, 75. Об утрате декадентами чувства полноты жизни Блок не раз говорил и позже [13]). Повторяя упреки сторонников мистического мировоззрения автору «Критики чистого разума», Вернер писал, что «Кант отнял у философии ее истинное и законное содержание — *изучение мира сущностей*, *„вещей в себе“*», это суждение Блок отметил (XII, 131). Того же рода несогласия с кантианской теорией познания видны и в блоковских пометах на других материалах философской рубрики «Нового пути». «Кант» — написал Блок против той части статьи П. Флоренского «О суеверии», в которой приводился (в целях опровержения) следующий постулат: «Человеческий ум ограничен миром явлений. Чувственное восприятие служит единственным источником нашего знания» (1903, VIII, 97). В статье А. Смирнова «Философия религии Гёффдинга», дважды отчеркнув суждение о мистическом познании как «высшем», Блок выделил слова о том, что нужно «*сомнение в окончательной незыблемости гносеологических принципов Канта*», для последователей которого «*невозможность религиозного познания есть своего рода догмат*» (1903, XI, 210).

Антикантианские реплики Блока на полях «Нового пути» согласуются с шаржем на философа в стихотворении «Сижу за ширмой...» (1903, позже озаглавлено «Испуганный. Иммануил Кант») и с упоминаниями в письмах поэта 1903 г. о спрятавшемся от жизни механическом «Кантике», «Кантище» и о «гнетущей нас Кантовской теории познания» [14]. Синонимом иссушающего рационализма, гибельного для свободной духовности и поэтической веры, имя Канта осталось у Блока надолго. В лирическом очерке 1907 г. «Девушка розовой калитки и муравьиный царь» с его «достоевской» контроверзой животворных сил русской народной стихии и мертвенной оцепенелости западного мира, чья былая поэзия обернулась прозой, возникает видение Канта. «Сморщенный», подслеповатый мудрец, остановившийся перед «вещью в себе», ноуменом, на котором написано: «Непознаваем. Неприкосновенен. Проходите»», Кант подавил влечение к возвышенному, запредельному; после этого оказалось уже совсем недалеко до «грандиозного кабака современной европейской культуры», приземленной и плоской (V, 89). Даже преодолев впоследствии свой односторонний взгляд на систему Канта и соотнося с его учением о времени и пространстве свою

* Курсивом здесь и далее даны части текста, подчеркнутые Блоком. Разрядкой выделены надписи Блока на полях журнала.

** Текст в угловых скобках восстановлен по смыслу (был срезан переплетчиком).

концепцию времени в статье 1919 г. «Крушение гуманизма», Блок продолжал считать, что Кант ставил «предел» человеческому духу, «сооружая свою страшную теорию познания» (VII, 357; VI, 101) [15]. А пока что, в 1903 г., молодой поэт иронизирует в стихах и письмах по адресу автора «Критики чистого разума», рисует карикатуру на него [16], отмечает в тексте «Нового пути» упреки Ницше Канту (подчеркивания на с. 129—130, 136, 153 кн. XII журнала), и сам ополчается против кантианской этики и гносеологии. Примечательно, что стихотворение «Сижу за ширмой...» было написано 18 октября 1903 г., т. е. именно тогда, когда Блок читал начало статьи Вернера в октябрьской книжке «Нового пути» и негодовал в своих маргиналиях по поводу «голого рационализма» Канта.

2

Осень 1903 г.— время напряженных духовно-нравственных исканий автора «Стихов о Прекрасной Даме» и «Распутий», его встреч со многими философскими, религиозными, этическими концепциями. Одним из наиболее сильных было притяжение к миру Достоевского. Множество биографических документов 1901—1903 гг.— дневник и записные книжки, письма к З. Гиппиус, А. Гиппиусу, А. Белому, отцу, Л. Менделеевой говорят о значительности для внутреннего опыта Блока проблематики Достоевского, у которого, как и у Вл. Соловьева, молодой поэт надеялся, по его признанию, отыскать «точки устоя» [17].

Подобные надежды, высказанные в письме к невесте 31 мая 1903 г., могли возникнуть в итоге раннего увлеченного чтения Достоевского, когда «душа‹...› плотно и страстно» лежала на его страницах, как об этом позже скажет поэт (VIII, 133). Эту фазу «интенсивного» восприятия Блоком Достоевского исследователь датирует на основании записных книжек и писем поэта 1901—1902 гг.[18] По-видимому, именно тогда Блоком были сделаны многочисленные пометы на полях «Преступления и наказания» (изд. 4. СПб., тип. бр. Пантелеевых, 1877), «Идиота» (изд. 3. СПб., тип. бр. Пантелеевых, 1882), «Бесов» (СПб., тип. К. Замысловского, 1873), «Братьев Карамазовых» (т. 1—2. СПб., тип. бр. Пантелеевых, 1881) в изданиях, принадлежавших матери поэта и сохранившихся в его библиотеке (ИРЛИ) *.

Содержание отчеркнутого и выделенного, будучи соотнесено с биографическими материалами и с данными блоковского восприятия статьи Вернера о «Бесах», также позволяет датировать пометы Блока на текстах романов Достоевского первыми годами века. Именно в эту пору молодой поэт, если приложить к нему подчеркнутые им в тексте «Братьев Карамазовых» слова Достоевского,— один из «русских мальчиков», стремящихся разрешить «*прежде всего*» «*предвечные вопросы*», живущих думою о высших целях бытия, о человеке и

* Перечни помет приведены в кн.: «Библиотека А. А. Блока. Описание», кн. 1. Составили О. В. Миллер, Н. А. Колобова, С. Я. Вовина. Под ред. К. П. Лукирской. Л., БАН, 1984. Автор благодарит участников этого труда за предоставленную возможность познакомиться с маргиналиями Блока, а также с частью кн. 1 «Описания» до печати.

Сделанная составителями «Описания» оговорка о том, что на страницах «Братьев Карамазовых» «принадлежность помет А. Блоку сомнительна» (с. 270), дана без объяснений; к тому же все пометы приведены (хотя они не приводятся в других подобных случаях — на с. 11, 15). Следует, однако, заметить, что преобладающее количество помет на полях «Братьев Карамазовых» графически ничем не отличается от помет, признанных в «Описании» блоковскими. Данные пометы на страницах «Братьев Карамазовых» аналогичны по своему начертанию, в частности, и тем, которые имеются на полях комплекта журнала «Новый путь», принадлежавшего Блоку и сохранившего надписи, сделанные его рукой, и автографическую подпись («Описание», кн. 2, в печати). Тем самым речь может идти не о сомнительности всех помет на полях «Братьев Карамазовых», а об ином: на полях этого романа большинство маргиналий принадлежит Блоку, отдельные пометы сделаны рукой другого лица. Такое сосуществование на страницах одной книги следов чтения ее Блоком и другими лицами имело место не раз, что зафиксировано в «Описании» (см. с. 6 — на книге Р. Вагнера «Опера и драма»; с. 15 — на книге А. Ахматовой «Четки»). В данной статье мы отсылаем лишь к тем имеющимся на страницах «Братьев Карамазовых» пометам, которые идентичны по своему начертанию пометам Блока на других книгах его библиотеки и не вызывают сомнения в принадлежности их Блоку [19].

человечестве и, конечно, о вере и атеизме. Наступит бурная полоса русской жизни, и летом 1905 г. Блок признается своему конфиденту Е. П. Иванову: «Я дальше, чем когда-нибудь, от *религии*», «никогда не приму Христа» (VIII, 133, 131). Но даже в то время, когда поэт, по его словам, «мучался» мыслью о вере, он подчеркивал, что это бывает «*иногда*» и иначе, чем у Е. Иванова или Белого (VIII, 108) [20].

Читая «Идиота», Блок отметил восторженную тираду Мышкина о Христе как цели космического процесса (с. 406). Свой мистический идеал поэт, однако, не замыкал в рамки конфессионально-православного, а порой и прямо противопоставлял ему. «Еще (или уже, или никогда) *не чувствую* Христа. *Чувствую Ее*. Христа иногда только *понимаю*»,— писал Блок Белому в августе 1903 г.[21] А до того в упоминавшемся выше наброске статьи конца 1901 — начала 1902 г. поэт заявлял себя приверженцем «туманного и мистического, далеко не строго богословского духа» (VII, 28). Верность Блока «мифопоэтическому началу», в значительной мере окрашенному влиянием Вл. Соловьева [22], а не традиционным религиозным воззрениям, огорчала Белого, пытавшегося примирить одно с другим. «Милый, дорогой Александр Александрович, не бросайте же церкви, ни Соловьевских „*костылей*“»,— увещевал Блока Белый в одном из писем 1903 г.[23]

В свете сказанного выявляется смысл помет Блока на тексте поучений Зосимы в «Карамазовых». Певца «Непостижной» мог привлечь в заповедях старца их «обще-мистический» смысл,— утверждавшееся Зосимой «сокровенное ощущение живой связи нашей с миром горним и высшим», славословия «живой любви» как основы бытия и понимание ада как невозможности любить; признание необходимости высшего нравственного образца, без которого «погибли бы мы и заблудились совсем, как род человеческий перед потопом» (подчеркивания, отчеркивания и знак «Х» на полях т. 1, с. 502—506) [24]. Двукратно выделил Блок слова Зосимы о верности Земле («Люби повергаться на землю и лобызать ее 〈...〉 Омочи землю слезами радости» до слов: «...не многим дается, а избранным» — т. 1, с. 505); поэт отзывался на присущее Достоевскому глубинное мистическое ощущение Земли как животворной, женственной основы бытия. Возникшее в глубинах мифа, воспетое Шиллером, Достоевским, Вл. Соловьевым («Земля-владычица!..»), это «чувство органического союза человека с Матерью-Землей» утвердится в романтическом мировосприятии Блока [25]. «Прекрасный и свободный ужас Вечной Матери-Земли» поэт противопоставит и «*кажущемуся* прогрессу» (V, 585) и его следствию, буржуазному практицизму: людям «промышленного века», отложившим «мечты», «чтобы получше устроиться в „повседневности“», противостоит поэт, «поющий о древней свободе, о живой и черной Матери-Земле, о Любви и Смерти» (Там же, 616).

Подходя к Достоевскому со своим свободным пониманием мистического, Блок противился богословскому истолкованию творчества писателя, которое было предпринято тогда Мережковским. Блок писал Белому летом 1903 г. о том, что «перечитал „Войну и мир“, прочел юношеские творения Достоевского и „этим отрезал себя от II тома“ труда Мережковского „Л. Толстой и Достоевский“» [26] (где проповедь обновления православия заслонила литературные задачи).

Религиозные сомнения, нараставшие у молодого Блока, не могли не усилить его внимание к проблемам веры и неверия у Достоевского. Суждение критика «Нового пути» о значительности борьбы начал религии и атеизма для внутреннего мира Достоевского поэт сопроводил иронической (и самоироничной) припиской: «Р е ш и т ь б о р ь б у — у м е р е т ь. Н о о н н е у м е р. И м ы» (1903, XII, 169); будущий автор «Балаганчика» уже тогда был склонен охлаждать мистический пыл дозой скептицизма (который считал второй стороной своего мировосприятия) [27]. Соответственно, читая романы Достоевского и статью о нем, Блок проявлял пристальный интерес к коллизии богопокорства и богоборчества. Критик «Нового пути» видел в ней удел «глубоких душ», писал о «необходимости борьбы с богом» для сильных натур; поэт выделил эти суждения (1903, X, 76; XI, 63). Блок-читатель то внимает «осанне» Достоевского, то

вглядывается в «горнило сомнений» писателя: пометы касаются и воплощения Достоевским разных форм религиозности, и изображения атеистов, неверия. Внимание поэта останавливает умиленный рассказ Мышкина о немудрящей и цельной вере некоей бабы («Идиот», ч. II, с. 220) и простодушный довод в пользу бытия божия у старого армейца («Если бога нет, то какой же я после того капитан?» — «Бесы», ч. II, с. 27). А в книге «Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского» (СПб., 1883; см. прим. 19) Блок отчеркнул подробное изложение Достоевским заветного для него замысла романа «Атеизм», герой которого, отпав от религии, после долгих духовных скитаний обретает «и Христа, и русскую землю...» (с. 202, 2-я пагинация). Заинтересовала Блока концепция веры у Шатова в «Бесах», согласно которой «бог есть синтетическая личность всего народа», «чем сильнее народ, тем особливее его бог», а «искание бога» есть «цель всего движения народного» (отчеркнуто на с. 61 ч. I «Бесов». Ср. отмеченное Блоком определение этой идеи Шатова в работе А. Белого «Трагедия творчества. Достоевский и Толстой» (М., 1911, прим. 19: «*только подчеркивая и углубляя национальные черты, мы земно подходим к небесному*» — с. 26; выделено Блоком).

Вместе с тем в блоковском экземпляре «Братьев Карамазовых» оказались сплошь отчеркнутыми первые страницы главы «Бунт» с их возмущением героя-атеиста против христианской заповеди любви к ближнему (т. 1, с. 372, 373); отмечены также саркастические замечания Черта о недоказуемости существования бога (т. 2, с. 481). Тщательно выявлено блоковскими пометами своеобразное опровержение христианского идеала богочеловека, предпринятое в «Бесах» Кирилловым.

Критика героем «Бесов» христианского аскетизма (эту тему автор статьи в «Новом пути» всемерно подчеркивал в свете доктрины Мережковских, стоявших за обновление православия полножизненным земным началом) была особенно близка Блоку, чей идеал человека одухотворяла мечта о свободном гармоническом бытии. «...Сама идея „того света“ давит человека нестерпимым бременем, парализует все его силы в жизненной борьбе, лишая его ⟨...⟩ сознания бодрости, независимости и самоуважения»,— отметил Блок на полях статьи пояснения мотивов богоборчества Кириллова. (Ср. подчеркнутое Блоком в тексте доклада В. А. Тернавцева на первом заседании Религиозно-философского общества: «*Интеллигенцию как таковую верою потустороннего будущего, проповедью одного только загробного идеала не возьмешь*» [28].) Моноидея Кириллова — ниспровержение «старого бога» — это «бесконечно мучительная борьба духа и плоти» (X, 79; рукой Блока «№»). Именно поэтому Кириллов — «настоящий „*богоборец*“», «как назвал когда-то бог Иакова», и «*первый настоящий атеист*», как называет себя сам герой (X, 79, 78). Вместе с тем Блок выделил и характерное для новопутейцев истолкование драмы Кириллова: «„Убивая в себе бога“, он (Кириллов.— *И. К.*) ⟨...⟩ *совершает духовное самоубийство, за которым неминуемо уже должно последовать и физическое*» (XI, 57).

Весьма важно то, что свое «бегство от Христа» Блок связывал с текущими событиями: «*Время* такое»,— подчеркивал поэт в письме к Е. Иванову 28 июня 1904 г. (VIII, 108). Действительно, русское богоборчество начала века, один из симптомов раскрепощения сознания, стало в канун первой революции знамением времени; сама активизация религиозно-философских исканий части интеллигенции, в сфере которых оказался молодой Блок, была ответом на растущий кризис веры в демократической среде. Горький напечатал в 1-м сборнике «Знания» (1904) «Жизнь Василия Фивейского» Л. Андреева, и Блок (как он вспоминал впоследствии) испытал «потрясение», ощутив в повести о священнике-богоборце близкое собственному предчувствие крушения старого мира (VI, 130—131). Вместе с тем Блока — это видно, в частности, из его помет на страницах «Нового пути» и на тексте «Бесов» — занимало тогда и богоборчество иного типа, отвергавшее надличные абсолюты устами «своевольного» индивидуума, будь то антихристианство Ницше или вызов небу, брошенный русским адептом «человекобога».

Этический пафос религии Достоевского, трактуемой им как «понятие о зле и добре» (эти слова Шатова Блок выделил на с. 61 ч. II «Бесов»), был близок поэту с его рано возникшими нравственными исканиями. В стихотворном послании «Моей матери» (март 1901) молодой Блок декларировал заветную идею своей этики, весьма близкую моральному credo автора «Преступления и наказания» и «Братьев Карамазовых»:

Чем больней душе мятежной,
Тем ясней миры.

Это соотносится с блоковским истолкованием в дневнике 1902 г. доминанты Достоевского: «Полное освобождение от земной доли происходит лишь путем полного πάθος * в земной оболочке (тема Достоевского, проникающая все его мировоззрение)» (VII, 51). В сферу социального гуманизма певца «униженных и оскорбленных» Блок тогда, в 1902 г., еще не вошел; для него пока, если употребить позднюю формулу Вяч. Иванова, на примере творчества Достоевского «проблема страдания может быть поставлена сама по себе, независимо от внешних условий, вызывающих страдание» [29]. Говоря о просветляющей душевной боли, Блок ссылался не только на Достоевского, но и на Вл. Соловьева; к его мистической диалектике «света из тьмы» блоковская мысль тогда не раз обращалась (VII, 46, 51; VIII, 37). И впоследствии, вспоминая в Дневнике 1918 г. свои мистические переживания начала века, автор «Розы и креста» так объяснял смысл стихотворения «Моей матери»: «Здесь уже сопротивление психологии: чем больней феноменальной *душе*, тем ясней *миры* — ноуменальные» (VII, 348). Естественно, что молодой поэт влекся «особенно к тем героям Достоевского», для которых «опыт страдания» был «этапом, необходимым для постижения истины» [30]. Слова Раскольникова: «Страдание и боль всегда обязательны для широкого сознания и глубокого сердца» — Блок дважды отчеркнул на полях «Преступления и наказания» (т. 1, с. 298).

Материалы «Нового пути» обращали Блока к отвлеченно-мистической трактовке проблемы страдания. Блоковские пометы на страницах исследования Вяч. Иванова «Эллинская религия страдающего бога» (1904, I—III, V, VIII, IX), труда, вобравшего воздействия ницшеанских и христианских идей, говорят об интересе поэта к патетике «дионисийского» начала в его упоении и избытком жизненных сил, и самозабвенной жертвой. В цикле стихотворений Сологуба «Гимны страдающего Диониса» (1904, I) звучала в «дионисийском» ключе близкая Блоку тема жертвенного подвига художника, гибнущего в творческой муке, чтобы воплотить свои создания.

Но не менее существенным было присутствие в лирическом мире раннего Блока идеала жертвенности гражданственной, преемственно связанного с традицией русской демократической литературы. Исследователь справедливо указывает на стихотворение «А. М. Добролюбов» (апрель 1903): его герой, отрок «не от мира сего», идет на служение «вселенскому делу» [31]. Эпиграф из «Рыцаря бедного» отсылает здесь не только к Пушкину, но и к Достоевскому, создателю «Идиота». Народническая идея служения общему благу окрашена в блоковском стихотворении об А. Добролюбове тонами подвижничества, христианской жертвенности. Впоследствии, читая статью Короленко о Гаршине (1911) в IV томе «Русской литературы XIX в.» под редакцией Д. Н. Овсянико-Куликовского, Блок отметит среди многих других суждений слова Гаршина о «потребности п р е т е р п е т ь», органичной для людей его поколения с их социальным альтруизмом, а также указание на «высшую инстанцию» их исканий: «Эта инстанция — *народ*» (разрядка Гаршина; слово «народ» было густо подчеркнуто Блоком) [32]. В произведениях переломного для Блока 1903 г. «гаршинское» приобретало не только отвлеченно-мистицированные формы (как, например, в строфах «Я бежал и спотыкался...», посвященных Белому) [33]. Уже тогда душу поэта ранили реальные страдания обездоленных — рабство фабричных («Фаб-

* Страдание (*греч.*).

рика», ноябрь 1903), будничные драмы в жестоком мире, где «бедно дитё». В стихотворении о детях петербургских углов и матери-самоубийце (декабрь 1903, впоследствии названо «Из газет») народная беда по-достоевски увидена поэтом через горькую участь ребенка. Признание Митей Карамазовым своей «вины» за «дитё» и решение ее искупить были отмечены на полях романа (т. 2, с. 410).

3

Таковы были возникавшие «вблизи» Достоевского черты мировосприятия и психологии Блока в пору его размышлений о Кириллове. Предваряя дальнейшие попытки их реконструкции, отметим, что «Весы» весьма интересовали поэта. В принадлежавшем Блоку экземпляре романа имеется свыше 50 помет,— впятеро больше, например, чем на текстах «Преступления и наказания» или «Идиота» [34]. В блоковских письмах и прозе 1902—1919 гг. «Бесы» упоминаются значительно чаще, чем другие произведения Достоевского [35]; впервые — в шутливой записке к А. В. Гиппиусу от 1 марта 1902 г., подписанной «Капитан Лебядкин, покорнейший друг и имеет досуг» и воспроизводившей слова из послания капитана к Лизе Тушиной (см. наст. том, кн. 1, с. 431). Ситуации и персонажи романа не раз ассоциировались у Блока-критика с явлениями текущей литературы. В «Смерти Ланде» Арцыбашева Блок обнаруживал перепевы из «Бесов» и других сочинений Достоевского, опусы современных стихотворцев сравнивал с виршами Лебядкина (V, 118; VI, 338—339) [36]. В одной из рецензий 1905 г. возникала данная попутно характеристика Ставрогина: «холодный зажигатель, швейцарский гражданин» — это мнимый герой легенды, «не настоящий» Иванцаревич (V, 590—591). Ср. слова Достоевского о Ставрогине в заметках к роману: «Князь ⟨...⟩ воспламеняет его (Шатова.— *И. К.*) до энтузиазма, а сам не верит» [37]. Беглое замечание Блока обнажало червоточину личности Ставрогина,— проповедуемая им идея остается мертва, ибо она не поддержана его «человеческим подвигом» [38].

Мотивы «Бесов» отозвались и в лирике Блока 1902—1903 гг. Пытаясь воссоздать весьма его занимавшую тогда «достоевскую» мистику обыденного [39], Блок отталкивался от «Бесов» в стихотворении «Все кричали у круглых столов» (декабрь 1902); поэт писал о нем невесте, что здесь передана атмосфера «окраин» жизни, где «Ставрогины кусают генералов за ухо» [40]. «Кириллов за шкафом»— так обозначил современник (Э. Метнер) впечатление ужаса в другом блоковском стихотворении той поры [41]. Реплика Метнера непреднамеренно попала в цель: к этому герою Достоевского мысль поэта возвращалась чаще, чем к другим. В романе были сплошь отчеркнуты те страницы, где Кириллов развивал свою теорию «человекобога», где, вспоминая об испытанных им минутах «вечной гармонии», он предсказывал возможность исчезновения времени, «идея» которого «погаснет в уме», когда «весь человек счастья достигнет» («Бесы», ч. I, с. 161; ч. II, с. 41).

Отметил Блок и суждения Кириллова о том, что люди «не хороши ⟨...⟩ потому, что не знают, что они хороши ⟨...⟩ Надо им узнать, что они хороши, и все тотчас же станут хороши, все до единого» («Бесы», ч. II, с. 43—44; ч. III, с. 188). Антропологию Кириллова критик «Нового пути» определял как пантеистическую, процесс появления человека «счастливого и гордого» трактовал как «субъективацию сущности»: «явления возвысятся до сущности, сделаются такими же вечными, безграничными, совершенными». Это высказывание (XI, 66) Блок пометил знаком «Х»; идея грядущего мистического преображения бытия была тогда поэту особенно близка.

В статье подчеркивались социально-альтруистические цели богоборчества героя «Бесов». В свое время Н. К. Михайловский не без иронии заметил о Кириллове: «Он верует, что, убив себя, он докажет миру ложь бытия божия и укажет человечеству новые пути» [42]. Вернер, акцентируя в свете своей задачи позитив русского «ницшеанца», писал, что «новое слово» эгоистического своеволия причудливо сочеталось в сознании Кириллова с «дарящей» любовью к

людям, с маниакальной убежденностью в общественно-освободительной миссии своей идеи, помогающей якобы сбросить иго христианской догмы и открывающей путь к истинному счастью (X, 69, 71). Блок выделил все те части текста, где говорилось о затаенной любви и жалости проповедника «человекобога» к себе подобным, о его «жажде жертвы» и «бремени», стремлении «пострадать» за людей (X, 64—68; XI, 63). Блоковское нота-бене сопровождает следующую характеристику Кириллова: «Он любит людей не потому, что „их надо любить", не потому, что он должен их любить, но просто потому, что он любит их, как мы любим свою возлюбленную, своего друга, своего ребенка» (X, 68). Поэт отметил противопоставление Кириллова с его органическим гуманизмом Раскольникову и Ивану Карамазову, «рационалистам-теоретикам», обращенным не к человеку, а к абстрактному «человечеству» (X, 67).

Итак, «дарящая» любовь к себе подобным или всевластие Я,— в поисках ответа и на этот «вековечный» вопрос молодой Блок обращался к опыту Достоевского. В тексте «Идиота» поэтом был сплошь отчеркнут тот эпизод, на примере которого связь людей, «приобщение одной личности к другой» утверждались как великая сила «в будущем разрешении судеб человечества» (ч. II, с. 402); подобный смысл имели и приведенные выше пометы на страницах статьи, где шла речь о самоотверженности Кириллова. Но Блоком были отмечены также и опровержения, которые обрушивал на идею социального гуманизма «бунтующий» Иван Карамазов (ч. I, 372—373); поэт словно взвешивал «за» и «против». Примечательно, что, читая и помечая впоследствии те страницы «Истории русской литературы XIX в.», где речь шла о вдохновлявшей демократов 70-х годов «идее долга народу», Блок особо отметил высказанное Достоевским в «Подростке» предостережение от угрозы индивидуализма, предостережение, не понятое тогда современниками писателя. «Семидесятнику не приходили в голову вопросы о „любви к дальнему"; для него нравственный принцип о положении души своей за други своя оставался непререкаемым и неизменным». Герой «Подростка» Достоевского спрашивает: «Зачем я непременно должен любить моего ближнего...?». «Зачем непременно надо быть благородным?» — помечал Блок и далее сопроводил двойным отчеркиванием, двумя знаками «№» и надписью: «Э т о о ч е н ь в а ж н о» — следующий текст: «Герой „Подростка" задавал подобные вопросы, но из тысячи читателей Достоевского едва ли один задумывался тогда над ними: для большинства они звучали как неинтересный парадокс ⟨...⟩ И в этом было счастье людей того времени, *возможность практических действий* (выделенные курсивом слова были подчеркнуты Блоком), залог убедительности призывных речей. *Необходимость „благородства" была аксиомой*, а благородство могло выражаться только в уплате векового долга народу» (т. 4, гл. 2, с. 55—56) [43].

4

Весьма эмоционально воспринял Блок вопрос о праве на самоубийство, поднятый в статье «Нового пути» по поводу решения Кириллова «заявить своеволие» в «самом полном пункте», т. е. лишить себя жизни. Для особого внимания у Блока были причины личные: еще не забылись переживания 1902 г., когда поэт хотел покончить с собой. Множество восклицаний, «№», подчеркиваний сопровождают на страницах статьи текст, трактующий формулу Кириллова: «Вся свобода будет тогда, когда будет все равно, жить или не жить. Вот всему цель»; подобное суждение Блок отчеркнул и на полях «Бесов» (ч. I, с. 161). С мнением рассказчика «Бесов» о том, что самоубийству препятствует (как формулировал Вернер) «*инстинктивная любовь* к жизни» (X, 74), Блок не согласился, считая такое объяснение слишком прямолинейным [44]. Но его заинтересовало разграничение Кирилловым «идейных» самоубийц и тех «обыкновенных», которые «*не побеждают в себе страха смерти, а только заглушают его самою внезапностью своего решения*, убивают себя в возбужденном, приподнятом состоянии ⟨...⟩ *таких всегда много было и будет*» (X, 72). В тексте «Бесов» поэт выделил эпизод подобного «обыкновенного» самоубийства (юноша, растративший

деньги, застрелился в номере гостиницы: «мучения не замечалось в лице; выражение было спокойное, почти счастливое, только бы — жить» — «Бесы», ч. II, с. 174). А на полях статьи Вернера Блок сопроводил вереницей восклицательных знаков характеристику героического пессимизма «идейных» самоубийц, «*хладнокровно взглянувших* в лицо жизни, *изучивших* ее во всех проявлениях, — и, *убедившись*, что она есть зло, столь же *хладнокровно* покончивших с собой» (X, 73). Данные пометы согласуются с предположением исследователя о том, что мысль поэта в его юношеском дневнике о самоубийстве как «*в ы с ш е м* поступке», свидетельстве «присутствия *силы*» (запись от 14 августа 1902 г.— VII, 54) возникала не без воздействия героя Достоевского: драматические переживания юношеской любви Блока «устремились <...> в русло кирилловской философии, кирилловских рассуждений о смерти» [45].

Вместе с тем молодому поэту с его противоречивой натурой, в которой — как он заметил в одном из писем 1902 г.— «склонность к „панихидному" умозрению» уживалась с обостренным переживанием ценности бытия (VIII, 34), было близким жизнелюбие Кириллова, неожиданное у апологета самоубийства. Кирилловский «лист зеленый, яркий, с жилками» — еще одна в ряду отмеченных Блоком у Достоевского («Бесы», ч. II, с. 42) эмблем «живой жизни» и органической, «нутряной» связи с ней. Таких, как «клейкие листочки» Ивана Карамазова (подчеркнуто, дважды отчеркнуто, сопровождено четырехкратным знаком «X» и «NB» — «Братья Карамазовы», т. 1, с. 362) или глубоко волновавшее поэта «желание „трех жизней"», присущее Подростку (VIII, 34. Ср. в седьмой картине драмы Блока «Песня судьбы» слова Германа, персонажа автобиографического: «Не надо чахлой жизни. Трех мне мало!» — IV, 159). Примечательно, что это свое переживание полноты бытия Блок утверждал тогда наперекор пассивно-созерцательным умствованиям. «От созерцаний душно. Ни одного „чувствования" я не отдам за тьму „созерцаний"»,— писал поэт А. В. Гиппиусу в июле 1902 г. (VIII, 36), словно варьируя мысль Ивана и Алеши Карамазовых: «Жизнь полюбить больше, чем смысл ее», «полюбить прежде логики»; этот девиз Блок энергично подчеркнул в тексте романа (т. 1, с. 363). Иное опровержение кирилловской идеи «высшего поступка» находим у зрелого Блока. В стихотворении «По улицам метель метет» из цикла 1907 г. «Заклятие огнем и мраком» с его «достоевским» лиризмом гибельных страстей возникает искушение самоубийства. Оно по-прежнему осознается как акт предельного «своеволия» («воля всех вольнее воль»), возвышающий личность: «Пойми, уменьем умирать // Душа облагорожена». Но теперь этому кирилловскому девизу противостоит мужественное приятие жизненной «боли», возвращающее героя с «окольного» пути.

Пометы, приведенные выше, позволяют ощутить наряду с «познавательным» и другой, лирический слой блоковского восприятия произведения. Отмечая в романах Достоевского их идейно-смысловые центры, прикасаясь к горячим точкам повествования, молодой Блок поступал как вдумчивый читатель, стремящийся выявить и вобрать суть произведения. Но не менее ценны те из блоковских помет, которые приоткрывают глубинно личную, интимную сторону общения поэта с художественным текстом, те, в которых просвечивают его индивидуальные пристрастия или антипатии, творческие и человеческие, вплоть до отдельных склонностей [46].

Как известно, одним из организующих в мире Блока было, по его признанию, «чувство пути» (V, 369). Д. Е. Максимов сближает «в обобщающем динамическом аспекте» эволюцию Блока и «путь Алеши Карамазова, идущего от уединенности религиозных созерцаний в широкий и трагический мир» [47]. Среди немногих ранних свидетельств осознания поэтом судьбы как «пути» существен символически многозначный мотив русской дороги, выделенный Блоком в тексте «Бесов». «Большая дорога — это есть нечто длинное-длинное, чему не видно конца — точно жизнь человеческая, точно мечта человеческая. В большой дороге заключается идея; а в подорожной какая идея? В подорожной конец идеи... Vive la grande route, а там что бог даст»,— отчеркнул Блок рассуждения совершившего свой протестующий «уход» Степана Трофимовича («Бесы», ч. III, с. 248).

Пометы сопровождают и тираду старшего Верховенского в честь «Шекспира и Рафаэля» (ч. III, с. 37), в которой Достоевский не только пародировал эстетизм «людей 40-х годов», в частности Тургенева с его «Довольно» [48], но и высказал свою заветную (и столь близкую Блоку) мысль о прекрасном как безусловной ценности мира. Поэт выделил также слова предсмертного монолога старого идеалиста: «Весь закон бытия человеческого лишь в том, чтобы человек мог всегда преклониться пред безмерно великим...» (сплошь отчеркнуто до слов: «все та же вечная Великая Мысль!» — «Бесы», ч. III, с. 293). Подобные суждения, вложенные Достоевским в уста Степана Трофимовича, интересовали Блока, судя по его пометам, больше, чем само разоблачение «либерала-идеалиста». Поэт отметил лишь свойственное Верховенскому-старшему полнейшее «незнание обыденной действительности», которое было «умилительно и как-то противно», а также несущественность вины, из-за которой Степан Трофимович ощущал себя «гонимым»: «И все это за сочинения Герцена да за какую-то свою поэму!». Пример «лирического» восприятия наряду с «идеологическим» дают и «Записки из подполья». Читая «Историю русской литературы XIX в.» под ред. Д. Н. Овсянико-Куликовского, Блок дважды выделил «Записки» (см. с. 121 и 122) в ряду опровержений Достоевским «рационалистического радикализма Чернышевского и Писарева» с их «схематизацией» человека. А лирически поэт отозвался на иное. В стихотворении «Унижение» с его «достоевской» атмосферой почти цитатно повторена реплика «подпольного» героя, за которой слышится крик души автора: «Разве эдак любят?», «Разве эдак человек с человеком сходиться должны?» (Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч. в 30 томах, т. 5. Л., «Наука», с. 155); у Блока: «Разве *это* мы звали любовью?»,«Разве *так* суждено меж людьми?». Лирический подтекст проступает также и в блоковских пометах, сопровождающих полную драматизма сцену «Преступления и наказания» между Раскольниковым и его матерью, когда, будучи не в силах открыться в содеянном, герой говорит матери о своей любви (т. 2, с 276—277). Может быть, в многозначительных и волнующих строфах Блока о разлуке матери и сына, идущего на «очистительный» подвиг («Сын и мать», 1906), преломились — среди многих других — впечатления и от этих страниц Достоевского.

Социально-бытовых картин Достоевского карандаш Блока касался совсем редко. Подавление «беспорядков» среди рабочих Шпигулинской фабрики и речь «маньяка»-социалиста на литературном утре в «Бесах» — лишь две эти политически острые зарисовки остановили внимание Блока при чтении романа Достоевского. Антинигилистический замысел «Бесов» у поэта отклика не вызвал: на соответствующих страницах текста блоковских помет нет (в статье «Нового пути», посвященной Кириллову, данная тема отсутствовала). Вряд ли Блок был склонен акцентировать консерватизм автора «Бесов». «Вспомните только, что Федор Михайлович Достоевский, певец униженных и оскорбленных, был вместе с тем поклонником самодержавия»,— эту прямолинейно саркастическую реплику в диалоге «О любви, поэзии и государственной службе» (1906) Блок намеренно отдал воинствующему обывателю Шуту, выразившему расхожее представление о противоречиях великого писателя. А в одном из черновиков 1911 г. к «Возмездию», упоминая «обскуранта» Достоевского,'Блок сопроводил этот эпитет ироническими кавычками (III, 462). Не случайно в гл. 2-й «Истории русской литературы XIX в.» поэт отчеркнул ту часть текста, где воздействие Достоевского на современников утверждалось вопреки консерватизму «Бесов» и «Дневника писателя»: «Достоевский стоял в теоретических основах слишком далеко от преобладавших тогда течений, чтобы «Дневник писателя» мог иметь очень большое влияние <...> Но и далекий по взглядам от молодежи, Достоевский притягивал к себе, и успех его речи во время пушкинских торжеств показывает, что ни «Бесы», ни презрение к «лекарям-социалистам» не могли убедить молодое поколение, будто Достоевский не с ними» (с. 94).

Сказанное отнюдь не отменяет того обстоятельства, что публицистика Достоевского Блока интересовала. Пометы на упомянутой выше книге «Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского» говорят о при-

стальном внимании поэта к мыслям Достоевского о пагубном «разъединении» народа с интеллигенцией в результате петровских реформ и о необходимом «примирении цивилизации с народным началом» (отчеркивания и подчеркивания на с. 178, 180 и пометы на других частях текста аналогичного содержания). Блоковские маргиналии подтверждают мнение исследователя о зависимости мысли поэта от данного круга идей автора «Дневника писателя» [49]. Неоднократно были отмечены Блоком нападки Достоевского на западников, хотевших натянуть на русское общество «чужой кафтан», и вместе с тем сдержанное отношение писателя к славянофилам, давшим «вместо настоящего понятия о России какую-то балетную декорацию, красивую, но несправедливую и отвлеченную» (отчеркнуто Блоком на с. 201 «Биографии», в тексте редакционной заметки из № 1 журнала «Время» за 1861 г., написанной Достоевским). «Общество смотрит на них (славянофилов.— *И. К.*) с недоумением, а народ — *равнодушно*»,— подчеркнул Блок там же. «О п о ч в⟨е н н и к а х⟩ и с л а в я н о ф⟨и л а х⟩»,— надписал Блок на полях «Биографии» и отметил значком «№» то письмо к А. Н. Майкову от 26 октября (7 ноября) 1868 г., где Достоевский, упоминая о проектируемом журнале «непременно *русского духа*», предостерегал от того, чтобы *слишком* гоняться за славянством (с. 197, 2-я пагинация; курсив Достоевского). Отметил поэт и высказанную Достоевским похвалу Н. Данилевскому, сумевшему «из *фурьериста* обратиться к России, стать опять *русским и возлюбить свою почву и сущность*! *Вот по чему узнается широкий человек*!» (с. 200—201, 2-я пагинация; подчеркнуто Блоком).

Значительная часть блоковских помет на текстах романов Достоевского касается психологической аналитики, открытий писателя в сфере душевной жизни. О том, что именно в них поэту виделась главная ценность созданного Достоевским, говорят и более поздние блоковские пометы на страницах обзора художественной прозы 70-х годов упоминавшегося нами труда «История русской литературы XIX в.» Автор обзора И. Н. Игнатов, вторя оценкам и мнениям радикально-демократической критики (Н. К. Михайловский, П. Н. Ткачев) [50], считал, что Достоевский остался прежде всего аналитиком индивидуальной психологии, хотя и тщился отразить «идейные стремления своего времени». «*Некоторые части романа*,— писал Игнатов о „Бесах", — *целиком скопированы из нечаевского процесса; одна из сцен „Подростка" взята из процесса Долгушина*; *„Братья Карамазовы" имеют очень близкое соприкосновение с временными течениями, характеризовавшими настроения тогдашней молодежи*; *но на самом деле все это было далеко от изображаемых течений*». И делал вывод: «Центральное значение романов Достоевского не в этом внешнем подобии действительности, а в том глубоком душевном анализе, который даже в 70-х годах с необыкновенной силой притягивал к себе читателей, несмотря на насмешки над дорогими для семидесятников стремлениями». Блок подчеркнул все цитированные здесь строки, а вывод критика отчеркнул дважды (с. 93; вариант данного суждения на с. 94 был также выделен Блоком).

Что же более всего занимало поэта в изображении Достоевским «глубин души человеческой»? Судя по пометам, это прежде всего ее антиномичная природа, обнажавшиеся писателем столкновения высокого и низкого, раздвоенность мысли и слова, слова и поступка, побуждения и действия. Опыт великого художника «pro» и «contra» влиял на Блока-поэта и Блока-человека тем больше, чем дальше уходил он от молитвенно-уединенного и благостного культа Дамы в бурную, трагически противоречивую реальность. Причем значение этого опыта не исчерпывалось сферой психологии или этико-философских исканий: специфичная для Блока, художника расколотого антагонизмами мира, поэтика контраста [51] формировалась, по-видимому, также не без воздействия искусства Достоевского [52].

Крайняя степень душевного разлада в изображении Достоевского привлекала Блока и стала одной из тем его лирики, начиная со стихотворения 1901 г. «Двойнику» [53]. Мотивы психологической раздвоенности отмечал на страницах романов Достоевского и Блок-читатель. Так, в «Идиоте» выделены слова Мыш-

кина о «двойных мыслях», с которыми даже ему, праведнику, «ужасно трудно бороться» (ч. II, с. 308). На полях «Бесов» отчеркнуты слова Шатова: «Убеждения и человек,— это, кажется, две вещи во многом различные» (ч. III, с. 179)— и мнение Степана Трофимовича о том, что «самые высокие художественные таланты могут быть ужаснейшими мерзавцами и что одно другому не мешает» (ч. II, с. 167. Ср. позднее суждение Блока: «Мы уже можем смело сказать, что у иных людей, наряду с материальными и корыстными целями могут быть цели очень высокие ⟨...⟩ Этому нас, русских, научил, например, Достоевский» — VI, 70). Отметил поэт и осуждение Достоевским прямолинейной оценки людских поступков; впечатлившие Мышкина и повторенные им слова Аглаи: «*тут одна только правда, а стало быть и несправедливо*» — подчеркнуты в тексте II части романа (с. 425).

Горячечные страсти героев Достоевского, их «надрыв» притягивали внимание Блока (впоследствии этим «достоевским» словом он обозначит свои взаимоотношения с невестой — VII, 426). Характерен подтвержденный множеством помет интерес поэта к падениям и взлетам Мити Карамазова.

А в блоковском очерке 1915 г., посвященном Аполлону Григорьеву, «буйному, благородному и страждущему юноше с душою Дмитрия Карамазова», натура поэта, «мающаяся между „восторгами“ и „хандрой“», воссоздана в том же психологическом ракурсе, в каком дан герой Достоевского. Это — «человек русский, втайне набожный (ибо грешный)», борющийся с «темным царством» в «собственной душе», «безобразник, которому море по колено; и, наконец, мудрец, поющий гимны Розе и Радости» (V, 496—500). Используя в анализе личности Ап. Григорьева художественный «ключ» Достоевского, Блок шел тем же путем, что и Вяч. Иванов, конструировавший в духе Достоевского двойственный облик самого Блока (стихотворение «Бог в лупанарии», 1909) [54].

Фиксировал Блок-читатель и наблюдения Достоевского в сфере душевной патологии — «страсть к мучительству», «страсть к угрызениям совести», к «сладострастию нравственному» («Бесы», ч. II, с. 63). «Человек вообще очень и очень даже любит быть оскорбленным, замечали вы это? Но у женщин это в особенности. Даже можно сказать, что тем только и пробавляются»,— эту сентенцию Свидригайлова Блок отчеркнул двукратно («Преступление и наказание», т. 2, с. 9); выделена и просьба Даши к порвавшему с ней Ставрогину «кликнуть» ее, когда «будет конец» («Бесы», ч. II, с. 121)

Среди тех коллизий романов Достоевского, в которых проявились предекадентские мотивы любви-ненависти, Блока волновала участь благородного и преданного героя, унижаемого «инфернальницей». Так, эпизод «глумительной выходки» Лизы Тушиной по отношению к Маврикию Николаевичу был сплошь отчеркнут поэтом, как и замечание рассказчика о вспышках необъяснимой, «слепой» ненависти героини к человеку, которого «она чтила, любила и уважала» («Бесы», ч. II, с. 182. Ср. парафразу слов Мити «я тебя и ненавидя любил» — «Братья Карамазовы», кн. XII, гл. V — в блоковском стихотворении «О, весна без конца и без краю...»: «Ненавидя, кляня и любя» — II, 273). Знаками «X» и «[» выделил Блок возглас Маврикия Николаевича в сцене бегства героини «Бесов»: «Лиза! — вскричал он,— я ничего не умею, но не отгоняйте меня от себя!» — ч. III, с. 110. Четырехкратно отчеркнута и тирада Мити о необходимости для «порядочного человека» «быть под башмаком»: «Мужчина должен быть великодушен, и мужчину это не замарает. Героя даже не замарает, Цезаря не замарает!..» (и т. д. до слов «...в свою душу принял» — «Братья Карамазовы», т. 2, с. 415). Примечательно в этой связи обилие блоковских помет на том из поучений Зосимы, где любовь предстает как терпеливый подвиг смирения и надежды: «...спросишь себя: „*взять ли силой али смиренною любовью*“? Всегда решай: „*возьму смиренною любовью*“ ⟨...⟩ *Смирение любовное — страшная сила, изо всех сильнейшая, подобной которой и нет ничего*»,— помечал рыцарь Прекрасной Дамы, — «любовь покупается долгою работой и через долгий срок, *ибо не на мгновение лишь случайное надо любить, а на весь срок. А случайно-то* и всяк полюбить может, и злодей полюбит» («Братья Карамазовы», т. 1, с. 501).

Мысль о «смирении любовном», выделенная Блоком в речах Зосимы, отозвалась в ряде стихотворений 1902—1906 гг., вошедших в цикл «Покорность» (сб. «Нечаянная радость»): «Зимний ветер играет терновником», «Утихает светлый ветер» и др. Но мотивами «смирения любовного» блоковская символика «покорности» не исчерпывалась. Как и у Достоевского, она приобретала у поэта также общемировоззренческое и социально-историческое измерение: в цикл «Покорность» Блок не случайно включил стихотворение «Поднимались из тьмы погребов» (1904). В мужественной готовности его лирического героя к гибели под натиском поднявшихся масс сказался не только излюбленный символистами девиз Ницше «amor fati», но и завет Достоевского о «смирении» личности перед народом, а также переживание реальных событий революционного времени. Автор пушкинской речи звал «гордого человека» склониться перед извечной «народной правдой», Блок — перед насущным народным правом на протест.

5

В одной из рецензий 1905 г. Блок упомянул о том, что у Достоевского как «*у великого писателя*, „ценности всегда переоценены“» (V, 555). Фразеологема Ницше здесь лишена своего специфического смысла, но с ее помощью соотнесены масштабы духовного бунта создателя «Карамазовых» и автора «Антихриста». Их имена Блок поставит рядом в статье 1910 г. «Рыцарь-монах»; говоря от лица ждущих «нового света от нового века», поэт скажет, что у них за плечами «великие тени Толстого и Ницше, Вагнера и Достоевского» (V, 453). Как же отнесся поэт к развернутому в статье «Нового пути» сопоставлению Кириллова и Ницше? В «богоравном» человеке Кириллова — Блок выделил не столько «ницшеанские», сколько именно бунтарски-романтические черты, которые отвечали представлениям самого поэта об идеальном герое. Это «отсутствие страха смерти и трепета перед божеством», представление о «творящем Я» как о начале и мере всех вещей, «пантеистический восторг перед природой», «верность Земле» — изначальным силам бытия, мистически понятой стихии органической жизни (соответствующие части текста на с. 142, 143, 140, 162 кн. XII журнала сопровождены отчеркиваниями, порой многократными, знаками «NB». Характерны в этой связи и отмеченные Блоком указания на асистемный, «художнический» тип мышления Кириллова, у которого представления и образы сочетались «*не с помощью логики, но живым, непосредственным чувством*»,— трижды отчеркнуто на с. 67 кн. X).

Заинтересовали поэта те места статьи, где антропологические представления Достоевского и Ницше разграничивались. Интенсивно выделил Блок мнение Вернера о том, что идеал новой личности является у Кириллова отрицательным по преимуществу в отличие от Ницше, чей Заратустра устремлен к утверждению «новых ценностей», к «делу» созидания «сверхчеловека» (XII, 167, 142, 147). Подчеркнул поэт и указание на самобытность панацеи Кириллова, которая «не кажется ему вовсе идеей божества» («*чего нет у Ницше*» — XI, 63); отметил Блок у героя «Бесов» одержимость идеей и «пророческую» болезнь [55].

Среди указанных в статье схождений Кириллова и Ницше внимание поэта привлекла проблема страдания: обнаруживая непоследовательность своей этики, певец «антихриста» не раз признавал формирующую роль страдания в становлении личности, видел в нем, как писал Вернер, «залог совершенствования человека» (отчеркнуто Блоком — XI, 64). Такой широкой формуле отвечало и блоковское понимание темы Достоевского (о чем говорилось выше), и с юности присущее самому поэту убеждение в катартической силе душевной боли, от которой «ясней миры». Но в статье проступал и «другой» лик Ницше, враждебный гуманизму и демократизму Достоевского: Блок отметил филиппики автора «По ту сторону добра и зла» против «слепой» «любви к ближнему», против «сострадательных, находящих блаженство в своем сострадании», презрительные нападки на «христианскую мораль смирения», эту «мораль толпы», «мораль рабов» (XII, 172, 174, 179) [56].

Особое внимание поэта привлекли мысли Ницше о страданиях творящего «Я», его «родильных муках». В соответствующих фрагментах из Ницше, цитированных в статье, Блоком были отмечены строки о творчестве как самоотречении художника. Троекратно отчеркнул карандаш Блока слова Заратустры о том, что красота «там, где я должен хотеть всей моей волей, там, где я хочу любить и погибнуть для того, чтобы мой образ не остался бы *только* образом» (XII, 159). Эти мысли Заратустры,— как и вариации их в упомянутых нами выше новопутейских стихотворениях Сологуба о «дионисийской» гибели поэта,— встретятся в сознании Блока с фетовской метафорой творчества как «самосожжения». (Ср. также иносказание духовного подвига из «Легенды» Пушкина: «сгорел душою» — в блоковской характеристике Вл. Соловьева «Рыцарь-монах» — V, 451.) «Многокорневой» мотив этот разовьется у Блока в лирике «Страшного мира» («Как тяжело ходить среди людей», 1910) и в статьях. Пафос подлинного артиста — «готовность к творческой гибели» (V, 255); напротив, «невыстраданность» — примета «легковесности», «неодухотворенности» творчества и тем самым его «преходящего значения» (V, 622, 278; см. также V, 195—196). Так, например, Горький, общенациональный смысл творчества которого утверждался в статье «О реалистах» (1907), для Блока — «великий страдалец» и не подлежит «укорам» эстетствующей «культурной критики» (V, 102). Среди тех, кто в созданиях своих «*сжег себя дотла*», Блок назовет первым Достоевского (V, 278). Доминантой его видится по-прежнему стихия патетического. Но теперь для Блока, ушедшего от своей юношеской мистики, страдание — удел искателя социальной правды: Достоевский «венчается страданием», ибо, мечтая о «мировой справедливости, о защите униженных и оскорбленных», он хотел «преобразить несбыточное, превратить его в бытие» (V, 78—79). Подобными словами: «несбывшееся — воплотить» скажет вскоре о своей творческой цели и автор «Ямбов».

Белый заметил однажды, что «Блок никогда не отдавался Ницше: видимо, прошел мимо него» [57]. Действительно, в мир базельского философа Блок не погружался столь глубоко, как Вяч. Иванов, Мережковский или сам Белый. Но нельзя не вспомнить признание поэта в письме к матери (октябрь 1910): «Читал Ницше, который мне очень близок» (VIII, 319). Примерно тогда же Блок сопроводил множеством помет текст статьи Вяч. Иванова «Ницше и Дионис» в ивановском сборнике «По звездам» (1909). Ранее в 8-м томе сочинений Вл. Соловьева (1903) против той части текста работы «Первый шаг к положительной эстетике», где автор выразил пренебрежение к Ницше, Блок написал: «Позорная страница» [58]. И уже совсем трудно согласиться с тем, что Блок «прошел мимо» Ницше, памятуя не только о «дионисизме» «Снежной маски» и о концепции «музыки» у зрелого Блока, но и вглядываясь в его ранние пометы на статье о «Бесах» [59].

Весьма существенно то, что поэт читал эту статью в пору острого интереса к Ницше среди русских символистов, да и не только в их кругу. Именно в 1903 г. возникло задуманное А. Белым и Эллисом «во имя Ницше» содружество московских «аргонавтов»; для них Ницше был «зна́ком того, что „позитивистские" устои отрицаемой жизни переживают кризис и что мир стоит на грани обновления и преображения» [60]. В подобном ключе романтико-идеалистической оппозиции засилью рационализма в бытии и мышлении воспринимал Ницше, как это видно из приведенных выше данных, и молодой Блок.

Упоминание в статье «Нового пути» о присущем Ницше пафосе «новых ценностей» сопровождала блоковская надпись: «К т о и з з н а ю щ и х с т и х и о с м е л и т с я с к а з а т ь, ч т о э т и ц е н н о с т и н е р е а л ь н ы!» (XII, 167). Блок здесь имел в виду реализацию мотивов Ницше в поэзии начала века, прежде всего в лирике Бальмонта. Это прямо подтверждает другая надпись поэта. Критик «Нового пути» писал, что теория познания Ницше возникала в противовес «мышлению по причинности»: в освобождении от «рабства причинности» Ницше видел одну из раскрепощающих сознание задач «сверхчеловека», призывающего «над всеми вещами поставить купол случая, купол невинности,

купол нечаянности (Ungefähr), купол произвола (Übermut)». Отчеркнув данное суждение, Блок сделал сноску к словам о случае, нечаянности, произволе и написал на полях: «К. Д. Бальмонт» (XII, 160). В этом беглом сопоставлении Блоком была уловлена суть лиризма Бальмонта с его программной стихийностью эстетической воли и «внезапностью» творческого акта. Имя Бальмонта возникло на полях статьи не случайно: именно в конце 1903 г. «Новый путь» печатал стихи из книги «Только любовь», а Блок готовил для журнала свою первую рецензию на сборники поэта. В ней примечательна для нас попытка Блока измерить явление символистского творчества (воспринимавшееся в ключе Ницше) мерой Достоевского; повод для такой попытки дал сам Бальмонт, вынеся в эпиграф книги «Только любовь» слова Кириллова: «Я всему молюсь». Доминанту Бальмонта, «*поэта* прежде всего», верного «*сердцу прежде всего*», Блок соотнес с близким ему самому критерием «живой жизни» у автора «Карамазовых»: сила Бальмонта в том, что он сумел «полюбить *явления*, помимо их идей» (Блок здесь варьировал девиз Ивана и Алеши Карамазовых «жизнь полюбить больше, чем смысл ее»; как отмечалось выше, эти слова были подчеркнуты Блоком в тексте романа — т. 1, с. 363). В тонах пантеистического «оправдания» полноты бытия истолковал тогда Блок даже имморалистские призывы Бальмонта («Все равно мне, человек плох или хорош...», «Будем солнцем, будем тьмою» — 1904, I, 251—252), хотя в них звучали не мысли Кириллова, но перепевы ницшеанства.

В начале века в «русском прочтении» Ницше обнаружилась тенденция отринуть проповедь эгоцентризма, вседозволенности и увидеть в «сверхчеловеческом» эмблему возвышения личности, отдающей себя общему благу. В таком аспекте был трактован на страницах «Нового пути» и «ницшеанец» из «Бесов», движимый альтруизмом, жертвенной любовью к человечеству; Блок в своих пометах акцентировал, как мы видели выше, эти мотивы. Впервые подобное восприятие Ницше было заявлено Вл. Соловьевым в статье «Идея сверхчеловека»; статья появилась в 1899 г. в «Мире искусства», а затем, в 1903 г.,— в VIII томе собрания сочинений философа, и Блок ее читал [61]. Оставаясь непримиримым к аморализму Ницше, осудив ницшеанский культ «господских натур, которым „всё дозволено“», Соловьев переосмыслил «идею сверхчеловека» в духе заветов русской гражданственности, осуждавшей пагубу индивидуализма. «Сверхчеловеческий путь,— писал Соловьев,— тот, которым шли, идут и будут идти многие на благо всех» [62]. Подобным образом трактовал идеал Ницше и Вяч. Иванов, для которого «сверхчеловеческое — уже не индивидуальное, но по необходимости вселенское и даже религиозное», и «сверхчеловек — Атлант <...> несущий на своих плечах тяготу мира» [63]. Молодой Белый, мечтавший «соединить» идеи Ницше, Вл. Соловьева и Достоевского в одно «грандиозное учение-религию» (при этом, подчеркивал Белый, «Ницше-имморалист, Ницше-антихрист остался бы в стороне), так определял чаемый антропологический идеал: «Сверхчеловек, но преломленный полувысказанными взглядами Достоевского на этот предмет» [64].

Существенной оказалась «призма» Достоевского и для духовных исканий молодого Блока, черты которых отразились, как в капле, в его пометах на страницах романов великого писателя и на статьях о нем. Свой мистико-романтический идеал бытия молодой поэт защищал от любых воздействий рассудочного умозрения и логизированной морали. Вместе с тем, «сын века», он прислушивался к ницшеанской проповеди, воспринимавшейся тогда многими как новая правда о путях к освобождению личности. Но решающим в сознании Блока оказался зов «старой» русской литературы, голос гуманистической этики Достоевского, в чей мир поэт входил в начале столетия.

* * *

В то время, когда наст. том находился в производстве, вышли заключительные (вторая и третья) книги «Описания» библиотеки Блока (Л., БАН, 1985 и

1986) с новыми перечнями маргиналий поэта. Некоторые из них содержат упоминания о Достоевском, подтверждающие выводы, к которым мы пришли выше. С юных лет Блок-читатель увлеченно и глубоко осваивает мир Достоевского. Тексты Достоевского всегда у Блока на памяти, и обилие ассоциаций с ними в его книжных пометах закономерно; приведем некоторые из них:

«Гоголь, Достоевский» — написал Блок на полях с. 296 тома IV Полн. собр. соч. М. Ю. Лермонтова (СПб., 1911). Так оценил поэт коллизию незавершенной повести Лермонтова «У графа В. был музыкальный вечер...». Надпись Блока «Достоевский» дважды встречается на полях Собр. соч. Вл. Соловьева (СПб., изд. «Общественная польза», 1901—1907): 1) в т. III на статье «Духовные основы жизни» против текста: «Всюду деятельная истина единства настигает и связывает ложные стремления раздора и *даже в явлениях крайнего эгоизма показывает противный эгоизму смысл*» (с. 322—333, подчеркнуто Блоком); 2) в т. VII при чтении трактата «Оправдание добра» в главе «Жалость и альтруизм» против текста: «. . .часто приходится говорить: „это чувственный и беспутный человек — развратник, обжора, пьяница, — однако он очень сострадателен". . .» (с. 88). Примеры духовно-нравственных противоречий, как мы уже видели выше, Блок привык соотносить с опытом Достоевского.

Приведя на полях пушкинского стихотворения «Деревня» (в изд. «Сочинения и письма А. С. Пушкина», т. I. СПб., «Просвещение», 1903, с. 247) некоторые данные из комментария (со с. 544—545 того же изд.), Блок написал: «отношение Погодина и Достоевского». Поэт сравнивал трактовку заключительных строк «Деревни» в упомянутой комментатором речи М. П. Погодина («Моск. ведомости», 1861, № 11, 14 января) и в статье Достоевского о Некрасове из «Дневника писателя за 1877 год»; (Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч., т. 26, с. 114—115). Погодин расценил эти строки «Деревни» как «подтверждение» Пушкиным «монаршей» воли освободить крестьян, Достоевский — как свидетельство «любви Пушкина к народу русскому».

Две пометы касаются «Братьев Карамазовых» и «Подростка». Читая статью Ив. Коневского «На рассвете» (кн. «Стихи и проза». М., «Скорпион», 1904), Блок подчеркнул на с. 125 упоминание «Карамазовых», отметив оценку этого романа Коневским как «вещего» выражения одной из драм, характерных для нравственной атмосферы кануна 80-х годов. А на полях одной из статей «Мира искусства» (1902, т. 7, с. 88) против текста: «Настоящие живые люди, даже родные, покидались, когда заходила речь о служении идее», Блок приписал: «*Аркадий*. Долгорукий („Подросток")». Эта надпись была сделана на статье Л. Шестова «Достоевский и Ницше. Философия трагедии», которая привлекла интерес Блока, сопроводившего первую половину ее текста многими пометами. Подчеркнув указание Шестова на «одинаковость внутреннего опыта обоих писателей», Блок написал против слов «Ницше признал в Достоевском своего родного человека»: «Одного безумия люди». Это — реплика Версилова из его объяснения с Ахмаковой. Несколько позднее Блок, читая статью Вернера, трактовал вопрос о близости Достоевского и Ницше менее категорично и отмечал также их различия. Читая работу Мережковского «Лев Толстой и Достоевский» Блок сделал пометы на тексте «Заключения» («Мир искусства», 1902, т. 7). Они касаются главным образом богословских суждений Мережковского о «равносвятости Духа и Плоти», от которых уже тогда отталкивался Блок (см. Дневник 1902 г. — VII, 53 и упомянутые выше письма Блока Белому лета 1903 г.).

Дальнейшее изучение Блока несомненно обнаружит новые свидетельства его духовной и творческой связи с Достоевским.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См.: З. Минц. Блок и Достоевский.— В сб.: «Достоевский и его время». Л., «Наука», 1971; Б. Соловьев. Блок и Достоевский.— В кн.: «Достоевский и русские писатели». М., 1971; Л. Таганов. Молодой Блок читает Достоевского.— В сб.: «Русская литература XX в.», вып. 6. Тула, 1974; Н. Вилор. Тема города в творчестве Достоевского и Блока.—

«Труды Омского пед. ин-та. Проблемы русской литературы», вып. 82, 1974; А. Архипова. «Подросток» в творческом восприятии Блока.— В кн.: «Достоевский. Материалы и исследования», т. 3. Л., «Наука», 1978; T. Poźniak. Błok i Dostojewski.— «Slavia Orientalis», 1965, N 4; Idem. Dostojewski w kręgu symbolistów Rosyjskich. Wrocław, 1969, s. 161-187.

[2] Ипполит Антонович *Вернер* (1852—?) — беллетрист (псевдоним «Ип. Антонович»), социолог, демограф. В 1890-е годы печатался в «Русском богатстве», «Русской мысли». В 1900-е годы выступал со статьями религиозно-философского содержания в «Новом пути», «Вопросах жизни».

[3] Принадлежавший Блоку полный комплект «Нового пути» (1903—1904 гг.) с его факсимиле, надписями и многочисленными пометами «оторвался» от основного фонда его книжного собрания (ИРЛИ) и ныне хранится в Отделе редких книг Научной библиотеки ВТО (Москва). За предоставленную возможность познакомиться с принадлежавшими Блоку экземплярами «Нового пути» и его приложения, «Записок религиозно-философских собраний в Петербурге», автор благодарит В. П. Нечаева и Е. М. Тыняновy.

[4] «Новый путь», 1903, кн. 1, с. 6. Далее год, номер (римской цифрой) и страница этого журнала указываются в тексте.

[5] См. запись Блока в «Дневнике» от 28 июля 1902 г. (VII, 53). Далее том и страница указываются в тексте; Блок — Белому 1 августа 1903 г.— В кн.: «А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 45.

[6] «Мир искусства», 1902, № 5/6, с. 342. Версия Шестова получила распространение, отзвуки ее слышались и в 1910-е годы. Куприн писал в открытом письме А. Шницлеру: «...Фридриха Ницше подарил вам не кто иной, как Достоевский» («Русское слово», 1914, 24 сентября, № 218). Но еще в 1904 г. было опубликовано опровергающее концепцию Шестова признание Ницше о Достоевском: «Я ему благодарен, хотя он неизменно противоречит моим самым сокровенным инстинктам».— Цит. по статье В. В. Дудкина «Достоевский в немецкой критике (1882—1925)».— В сб.: «Достоевский в зарубежных литературах». Л., «Наука», 1978, с. 217.

[7] А. Волынский. Книга великого гнева. Изд. 2. СПб., 1904, с. 84.

[8] Д. С. Мережковский. Лев Толстой и Достоевский.— В кн.: Д. С. Мережковский. Полн. собр. соч., т. 10. М., изд. И. Д. Сытина, 1914, с. 160.

[9] Там же, с. 118. Ср. суждение Блока: «Он (Достоевский.— *И. К.*) влюблен чуть ли не более всего в Свидригайлова» (V, 348). Замечание критика «Нового пути» о том, что «Смердяков <...> был типом вполне объективным», Блок сопроводил знаком «?» (1903, X, 56). Позже, цитируя в статье «О реалистах» (1907) слова А. Горнфельда: «Не только светлого Алешу Карамазова, но и Смердякова и Фому Опискина писал с себя мучитель-Достоевский»,— Блок заметил: «Это — первый и самый глубокий вывод Горнфельда» (V, 125).

[10] Ю. Давыдов. Два понимания нигилизма (Достоевский и Ницше).— «Вопр. лит.», 1981, № 9, с. 117.

[11] Насмешливые упреки, которые обращал к Канту юный Блок, близки в общих чертах тем глубинным антикантианским мотивам, которые были присущи автору «Братьев Карамазовых» с его оппозицией рационализму, сциентизму (см.: Я. Э. Голосовкер. Достоевский и Кант. М., изд-во АН СССР, 1963. Ср.: П. Гайденко. Трагедия эстетизма. М., «Искусство», 1970, с. 213—218).

[12] По-видимому, Блок имел в виду болезнь, постигшую Канта в конце жизни.

[13] Например, в письме к матери 30 января 1908 г.— VIII, 227.

[14] См. письма Блока Белому 3 января, 13 октября и 20 ноября 1903 г.— «А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 5, 52, 67.

[15] Устойчивые антикантианские настроения молодого Блока не учтены на страницах, посвященных проблеме «Блок — Кант», новой научно-популярной книги о философе (А. Гулыга. Кант. М., «Мол. гвардия», 1981). Автор счел прокантовским даже стихотворение «Сижу за ширмой...», в котором Блок «вдохновился» якобы «трансцендентальной эстетикой Канта» (с. 106—107): «По Блоку «музыкальность» означает способность чувствовать мировую гармонию, выйти за пределы исторической детерминации и цивилизации, отрешиться от них. Способным на это представляется ему Кант, каким он видит его в своем стихотворении»,— заключает А. Гулыга (с. 124). Разумеется, шарж на «испуганного» мудреца, спрятавшегося от мира «за ширмой» априорных категорий (I, 623), не дает оснований для подобного вывода, да и концепция «духа музыки» возникла у Блока позднее. Не была уловлена автором книги и ирония А. Белого по адресу кантовых «Критик» в стихотворении «Под окном» (тоже якобы «вдохновленном» Кантом, с. 107). Белый, отдавший значительную дань кантианству, осуждал его «ядовитый» рационализм не менее резко, чем Блок. «Кант отравляет синильной кислотой интеллигибельную вселенную вот уже сто лет»,— писал, например, Белый в 1908 г. (А. Белый. Арабески. М., «Мусагет», 1911, с. 215). Об отношении Белого к Канту см.: Иванов-Разумник. Вершины. Александр Блок. Андрей Белый. Пг., «Колос», 1923, с. 62—66.

[16] Воспроизведена в ЛН, т. 27/28, с. 527.

[17] Цит. по: ЛН, т. 89, с. 138.

[18] З. Минц. Блок и Достоевский, с. 218. До того поэт читал Достоевского летом 1897 г. (см. письмо к матери 19 августа 1897 г.— «Письма к родным», I, с. 31).

[19] Пометы Блока сохранились также и на полях книги «Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского» (СПб., 1883; «Описание», № 115, с. 76—77). Поэт отметил суждения Достоевского о русском народе, о России и Европе, славянофильстве и западничестве, а также некоторые автобиографические признания писателя, творческие пла-

ны, мысли о литературном труде. Блоковские пометы, касающиеся Достоевского, встречаются и на сочинениях других авторов. Так, читая «Анну Каренину» (в изд.: Л. Н. Толстой. Сочинения. Изд. 7. М., 1887—1900, т. II, с. 219), Блок написал на полях против той части текста, где изображена внешность героини романа: «Наст⟨асья⟩ Фил⟨иппов⟩на⟩ тоже прежде портрет, а потом сама». (На эту надпись, которая войдет в кн. 2 «Описания», указала мне О. В. Миллер.) В брошюре А. Белого «Трагедия творчества. Достоевский и Толстой» (М., «Мусагет», 1911; «Описание», № 88, с. 33) ряд помет относится к теме трагических противоречий Достоевского и замечаниям о его стиле. В IV томе «Истории русской литературы XIX в.» под ред. Д. Н. Овсянико-Куликовского (М., «Мир», 1911) сохранилась надпись Блока на оглавлении. Против имен Надсона и Щедрина, набранных крупно, Блок написал: «крупный шрифт», а против имени Достоевского отметил: «мелкий шрифт», как бы указывая на несообразность подобной градации; по отношению к Достоевскому для поэта не было мелочей.

В книгах, читанных Блоком (в том числе в произведениях Достоевского и материалах о нем), помимо общепринятых отчеркиваний, подчеркиваний частей текста, знаков «№», «!», «?», «V», встречаются знаки «X», «//», «—», «α» и мн. др. (О специфике маргинальных знаков Блока см.: Д. Максимов. Ал. Блок и Вл. Соловьев (по материалам из библиотеки Ал. Блока).— В сб.: «Творчество писателя и литературный процесс». Иваново, 1981). Характерным для Блока-читателя было также усиление помет путем их двукратного или многократного повторения. Свой комментарий, порой иронический и всегда эмоциональный, Блок давал в надписях на полях страницы.

На немногочисленных изданиях Достоевского и книгах о нем, имевшихся в шахматовской библиотеке, помет Блока не было (см.: П. А. Журов. Шахматовская библиотека Бекетовых-Блока. Публикация З. Г. Минц и С. С. Лесневского.— «Уч. зап. ТГУ», вып. 358. Труды по русской и славянской филологии, т. XXIV, 1975, с. 408, 405, 411).

[20] Об этапах «отмежевания Блока от навязчивой христианской тенденции Евгения Иванова» см.: Д. Максимов. Александр Блок и Евгений Иванов.— «Блоковский сб.», 1, с. 354.

[21] «А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 44.

[22] См.: Д. Максимов. О мифопоэтическом начале в лирике Блока.— «Блоковский сб.», 3, с. 11 и след.

[23] «А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 48.

[24] Ср. с оценкой лирической доминанты молодого Блока его современником: «Живое сознание присутствия в мире бесконечного, божественного, чудесного» придало творчеству поэта «как бы новое измерение, необычную, иррациональную, таинственную глубину».— В. Жирмунский. Поэзия Александра Блока.— В сб.: «Об Александре Блоке». Пг., «Картонный домик», 1921, с. 68.

[25] «Вяч. Иванов. Свобода и трагическая жизнь. Исследование о Достоевском» (реферат И. Б. Роднянской).— В сб.: «Достоевский. Материалы и исследования», кн. 4. Л., «Наука», 1980, с. 221. В древнем предании о «Матери-Земле» Вяч. Иванов видел «основной миф в романе «Бесы»» (см.: Вяч. Иванов. Борозды и межи. М., «Мусагет», 1916, с. 61—72). Ср. отчеркнутую Блоком в тексте работы Белого «Трагедия творчества. Достоевский и Толстой» интерпретацию впечатливших Шатова слов Хромоножки о том, что «земля есть народная богородица», с. 26). Автор статьи о «Бесах» в «Новом пути» акцентировал идею «верности земле» у «человекобога» Кириллова и у «сверхчеловека» Ницше. Блок выделил это суждение Вернера и подчеркнул цитату из Ницше: «Теперь самый страшный грех — хулить землю и непостижимое ставить выше, чем смысл земли (der Sinn der Erde)» (XII, 140).

[26] «А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 45.

[27] См., напр., письма Блока Белому от 18 июня и 1 августа 1903.— Там же, с. 34—36, 43—44.

[28] «Записки Религиозно-философских собраний в Петербурге», заседание 1-е.— «Новый путь», 1903, 1, с. 8, 2-я пагинация. Экземпляр Блока, переплетено как отдельное издание.— Научная б-ка ВТО (Москва).

А в одном из опубликованных в «Новом пути» фрагментов Ницше на тему «Критика высших ценностей» Блок выделил следующие слова: «религия унизила понятие «человек» ⟨...⟩ отдав лучшее надличным силам; это лучшее надо возвратить человеку» (1904, IX, 241—242).

[29] Вяч. Иванов. Достоевский и роман-трагедия (1911).— Цит. по: Вяч. Иванов. Борозды и межи, с. 8.

[30] Д. Максимов. Поэзия и проза Ал. Блока, Л., «Сов. писатель», 1981, с. 133.

[31] См.: З. Минц. Лирика Александра Блока, вып. 3, Тарту, 1973, с. 21.

[32] В кн.: «История русской литературы XIX в.». Под ред. Д. Н. Овсянико-Куликовского, т. IV. М., «Мир», 1911 (гл. IX). Издание с пометами Блока — в библиотеке поэта в ИРЛИ; цитированные слова Гаршина помечены Блоком на с. 346 и 342. Далее страницы этого издания даны в тексте.

[33] З. Минц. Лирика Александра Блока, вып. 3, с. 19.

[34] См.: «Библиотека А. А. Блока. Описание», кн. 1, 1984, № 399, 404, 405, с. 270—271.

[35] «Бесы» упомянуты девять раз, «Дневник писателя» — пять раз, «Подросток» — четыре, «Идиот» — три, «Преступление и наказание» — два раза. См.: А. М. Бихтер. Указатель имен и названий к Собранию сочинений Блока в 8 томах, т. 8. М., 1963.

[36] По свидетельству Вас. Гиппиуса, Блок говорил в 1914 г., что думает написать статью «Игорь Северянин и капитан Лебядкин».— В кн.: «Александр Блок в воспоминаниях современников», т. 2. М., 1980, с. 85. О той же блоковской параллели упоминается в мемуарах Л. Гуревич (см. наст. том, кн. 3, с. 845) и Е. Книпович (там же, кн. 1, с. 25).

[37] Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч., т. 11. М., «Наука», 1974, с. 135.

[38] Л. М. Розенблюм. Творческие дневники Достоевского. М., «Наука», 1981, с. 196.

[39] См.: З. Минц. Блок и Достоевский, с. 219.

[40] Письмо Блока Л. Д. Менделеевой 27 декабря 1902 г.— ЛН, т. 89, с. 98. Ассоциации с атмосферой Достоевского возникали у Блока и позже (см., напр., письмо к матери 29 августа 1905.— «Письма к родным», I, с. 190).

[41] Письмо Э. Метнера Белому 31 января — 2 февраля 1903 г.— См. наст. том, кн. 3, с. 195; упоминаемое стихотворение Блока — «Сбежал с горы и замер в чаще».

[42] См.: Н. М. ⟨Н. К. Михайловский⟩. Литературные и журнальные заметки.— «Отечественные записки», 1873, № 2, с. 331.

[43] Как можно предположить на основании этих помет (а также помет в тексте статьи Вернера), по вопросу о различных путях «погашения долга народу» Блок разделял позицию Михайловского с его героическими (а не «эвдемоническими», как у Лаврова) мотивами искупления интеллигенцией исторической вины перед массой. Отметив изложение теории Лаврова, Блок энергично подчеркнул характеристику «подвижнического» народолюбия в концепции Михайловского: «*Здесь уже признание необходимости жертвы, уже не наслаждение* (актом «исправленного» зла, как это было в теории Лаврова.— *И. К.*), *а подвиг*». Такой вывод автор обзора литературы 70-х годов делал по поводу одного из возражений Михайловского Достоевскому в статье о «Бесах». Достоевский обличал Виргинского и «иже с ним», предпочитающих политическому освобождению социальное. Михайловский же в свете своей идеи «долга народу» считал, что, поскольку массе социальное освобождение нужнее, чем политическое, борьба за это последнее является пока что непозволительной роскошью, ибо способствует увеличению «дальнейшего греха» перед массой со стороны образованного меньшинства (там же, с. 54—55).

[44] В надписи Блока на полях — X, 74 (частично срезанной переплетчиком и с трудом восстанавливаемой) — можно прочесть: «⟨?⟩ — Это едва ли ⟨та⟩к, ибо *слишком* ⟨опр⟩*еделенно*. М⟨ожет⟩ б⟨ыть⟩ — ⟨еще?⟩ *не пора* умирать? М⟨ожет⟩ б⟨ыть⟩ — правда ⟨пропуск⟩ еще иначе, ⟨это?⟩ — «единое в ⟨о⟩ ⟨м⟩ногом» — ἓν ⟨ἐν δ⟩ιπλοῦν* (ср. письмо Блока А. В. Гиппиусу 2 февраля 1903 г., где изречение «единое во многом», приведенное поэтом по-русски и по-гречески, подтверждает мысль о мистическом единстве «рождения, брака, смерти», в которых — «прикасание ⟨...⟩ к Неисповедимому» — см. наст. том, кн. 1, с. 442). «Лозунг древнего метафизика: «единое во многом»» Блок упоминал и в одной из рецензий ноября 1903 г. (V, 532).

[45] Б. Соловьев. Блок и Достоевский, с. 266.

[46] Такова, например, помета к словам Шатова о развитии переплетного дела как свидетельства «уважения к книге», возникающего на известном уровне культуры: «До этого периода еще вся Россия не дожила. Европа давно переплетает» («Бесы», ч. III, с. 172). Блок умел и любил переплетать.

[47] Д. Максимов. Поэзия и проза Ал. Блока. Л., «Сов. писатель», 1981, с. 47.

[48] См.: Н. Ф. Буданова. Проблема «отцов» и «детей» в романе «Бесы».— В сб.: «Достоевский. Материалы и исследования», кн. 1. Л., «Наука», 1974, с. 169—170.

[49] См.: П. Громов. А. Блок, его предшественники и современники. М., 1966, с. 308—309.

[50] Н. М. ⟨Н. К. Михайловский⟩. Литературные и журнальные заметки.— ⟨Отечественные записки», 1873, № 2; П. Н. ⟨П. Н. Ткачев⟩. Больные люди.— «Дело», 1873, № 3.

[51] См.: Л. И. Тимофеев. Поэтика контраста в поэзии А. Блока.— «Русская литература», 1961, № 2.

[52] Выводы душевной аналитики Достоевского Блок склонен был порой абсолютизировать. В духе романтического максимализма поэт объявлял многомерность, антиномичность натуры признаком полноты бытия и творчества. «Противоречия,— писал он в наброске 1912 г. «Ибсен и Стриндберг»,— понятия, созданные слабыми умами, которые боятся богатства, предпочитают нищету» (V, 687). А в статье 1918 г. «Искусство и революция» оценивал на примере Вагнера «спасительный яд творческих противоречий» как отличие истинного художника» (VI, 24).

[53] См.: Д. Максимов. Об одном стихотворении («Двойник»).— В кн.: Д. Максимов. Поэзия и проза Ал. Блока.

[54] Впоследствии в свете Достоевского воспринимали образ Блока многие современники. «Двойного человека Достоевского», который «любил ненавидя, и верил, не веря, и поклонялся, кощунствуя», видел в Блоке К. Чуковский («Александр Блок как человек и поэт». Пг., 1924, с. 134). Подобным образом, выявляя «крайние и взаимоисключающие черты», рисовала портрет Блока поздняя Ахматова (см.: Л. Долгополов. Достоевский и Блок в «Поэме без героя» Анны Ахматовой.— В сб.: «В мире Блока». М., 1981, с. 464). В. Жир-

---

* *греч.*, точнее — ἓν ἐν διπλῳ — букв. «единое в двойном». (За реконструкцию и расшифровку надписи приносим благодарность М. Л. Гаспарову).

мунский («Поэзия Александра Блока». Пг., 1922, с. 31) соотносил с Достоевским выраженный Блоком «максимализм духа», «безмерность творческих порывов русской народной души». Сологуб говорил в 1922 г., что свою национальную идею Блок «построил по Достоевскому» (см. наст. том, кн. 2, с. 259). Ассоциации с коллизией романов Достоевского (герой кланяется страданию «падшей») вызывала приведенная Горьким в его воспоминаниях 1923 г. сцена между Блоком и «барышней с Невского» (М. Горький. Собр. соч. в 30 томах, т. 15, с. 333—334). Для Ремизова (в его воспоминаниях 1931 г.) Блок, который «заболел весь „всем человеком"», был сродни людям «с обнаженной совестью... по Достоевскому...» (см. наст. том, кн. 2, с. 136). Обилие такого рода оценок не случайно.

[55] Блок подчеркнул сказанное о болезни Кириллова — эпилепсии, которая «*нередко совмещается с наивысшим развитием психической жизни, иногда даже с гениальностью (у Наполеона I, у Достоевского и, как полагают, у Руссо)*» — X, 62.

[56] Следы активного чтения Блока сохранились и на тех страницах статьи, в которых давалась общая характеристика воззрений Ницше. Пометы и надписи Блока на данной части текста группируются вокруг таких тем: 1) волюнтаризм и иррационализм в гносеологии, в этике, эстетике Ницше; 2) ницшеанский критерий «жизни», прилагаемый к оценке философских доктрин; 3) источники «мистического пантеизма» Ницше: античная культура, древнеиндийская философия, Шопенгауэр; 4) мысли Ницше о творчестве и художнике. Приведем некоторые из помет. «*Невозможность «чистого познания», отрешенного от воли*» — этот центральный тезис волюнтаристской гносеологии Ницше, воспроизведенный Вернером в различных вариантах (XII, 131, 133, 135), Блок выделил всюду и пометил на полях: «в о л я» (XII, 135). Трижды отчеркнул поэт изложение мысли Ницше об организующей роли в становлении философской системы «какого-нибудь могущественного *влечения*», синтезирующего все ее элементы (XII, 135). В силу своей импульсивности, интуитивного характера философская деятельность подобна, по мнению Ницше, эстетическому творчеству; слова о родстве философа и художника, равно призванных «творить по вдохновению», Блок сопроводил тройным отчеркиванием (XII, 133).

Заинтересовали Блока аргументы в духе «философии жизни», выдвигавшиеся Ницше при определении им задач познания. Знаком «X» отмечены доводы волюнтаристской гносеологии Ницше, подсказанные требованием «жизненного»: правомерно суждение не по причинам, а по целям: «нельзя отвергнуть суждение только потому, что оно неверно, раз оно нужно людям», ибо «*вопрос в том, насколько неверное суждение соответствует жизненным потребностям*» (XII, 136, 129). Верность реальному и конкретному автор статьи усматривал и в прозе самого Ницше; обобщая, он смог сохранить «всю свежесть, весь трепет жизни частных явлений ‹...› *чего не умеют (да к чему и не стремятся) другие философы*»; это противопоставление на с. 52 кн. X журнала было интенсивно выделено Блоком. Интерес молодого поэта к прозе Ницше стимулировали, очевидно, и особенности ее формы — преобладание символико-художественного выражения идеи над понятийным, афористика, парадоксы, сочетание патетики и лиризма. Читая статью Вернера, Блок выделил сплошь все цитаты из текстов Ницше (их более двадцати, преимущественно из книги «Так говорил Заратустра»). Возможно, что в конце 1903 г. поэт не располагал сочинениями Ницше, и единственное из находившихся в его библиотеке ранних изданий философа — «Так говорил Заратустра» (Пб., 1903. См. «Алфавитный каталог библиотеки Блока, составленный им».— ОР ИРЛИ, ф. 654, оп. 1, № 388, л. 130 об.) — попало к Блоку позже, чем вышедшие в октябре — декабре того же 1903 г. номера «Нового пути».

[57] А. Белый. Дневниковые записи (1921, 16 августа).— См. наст. том, кн. 3, с. 799.

[58] См.: Д. Максимов. Ал. Блок и Вл. Соловьев (по материалам из библиотеки Ал. Блока), с. 180.

[59] В работе В. Паперного «Блок и Ницше» («Уч. зап. Тартуского пед. ин-та», т. 491, 1979) анализируется отношение к Ницше у зрелого Блока. Но в годы «расцвета» русского ницшеанства (т. е. в начале века) исследователь усматривает у Блока «равнодушие и даже сопротивление «влияниям» Ницше» (с. 86). Блоковские маргиналии в «Новом пути» этого вывода не подтверждают. А. Зверев, исследуя диалектику притяжения и отталкивания Блока по отношению к историософии и культурологии Ницше, датирует первые обращения к нему поэта периодом 1905—1907 гг. (А. Зверев. Стихия и культура.— «Вопр. лит.», 1980, № 10). Пометы 1903 г. на статье в «Новом пути» говорят о том, что интерес Блока к Ницше возник раньше.

[60] А. Лавров. Мифотворчество «аргонавтов».— В сб.: «Миф—фольклор—литература». Л., «Наука», 1978, с. 141—142.

[61] В тексте статьи «Идея сверхчеловека» Вл. Соловьева (в VIII т. его сочинений.СПб., 1903, с. 311) Блок подчеркнул слова о Ницше как «крупном» мыслителе и его «интересной» идее «сверхчеловека».— См.: Д. Е. Максимов. Ал. Блок и Вл. Соловьев..., с. 180.

[62] «Мир искусства», 1899, № 9, с. 91.

[63] Вяч. Иванов. Кризис индивидуализма (1905).— Цит. по кн.: Вяч. Иванов. По звездам. СПб., «Оры», 1909, с. 96.

[64] А. Белый. Афоризмы и лирические отрывки (1901).— Цит. по: А. В. Лавров. Юношеские дневниковые заметки Андрея Белого.— В сб.: «Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник — 1979». Л., «Наука», 1980, с. 127.

БЛОК — ЧИТАТЕЛЬ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА

Сообщение С. Б. Шоломовой

В Центральном Государственном архиве литературы и искусства хранятся два тома из четырехтомного собрания сочинений Н. А. Добролюбова, некогда принадлежавшего Блоку и находившегося в его шахматовской библиотеке. Они являлись «рабочими», поэт внимательно читал их летом и осенью 1908 г., т. е. в период напряженной подготовки доклада «Народ и интеллигенция», завершившейся созданием цикла статей на ту же тему.

Старейший собиратель русской поэзии начала XX в., бывший участник Блоковской ассоциации при ГАХН Петр Алексеевич Журов в беседе с нами подробно рассказал, как по заданию Ассоциации в 1924 г. была направлена специальная экспедиция для выявления и спасения книг из Шахматова. Отдельные разделы семейного книжного собрания удалось обнаружить в близлежащих деревнях. Была составлена подробная опись найденного. В этой кропотливой работе П. А. Журов принимал активное участие. Помогал ему, по его словам, Д. Д. Благой. По мнению Журова, описание библиотеки позволило частично представить общий ее объем и состав, предположить тематику и направление чтения. В числе наиболее капитальных изданий он назвал сочинения русских классиков. Журов высказал убеждение, что изучение буквально каждого тома помогло бы представить литературные влияния, во многом определившие формирование социально-нравственных идеалов молодого Блока.

Как истинный знаток и ценитель книги, П. А. Журов при составлении описи старался привести сведения обо всех особенностях каждого экземпляра, и это в первую очередь касалось изданий с пометами.

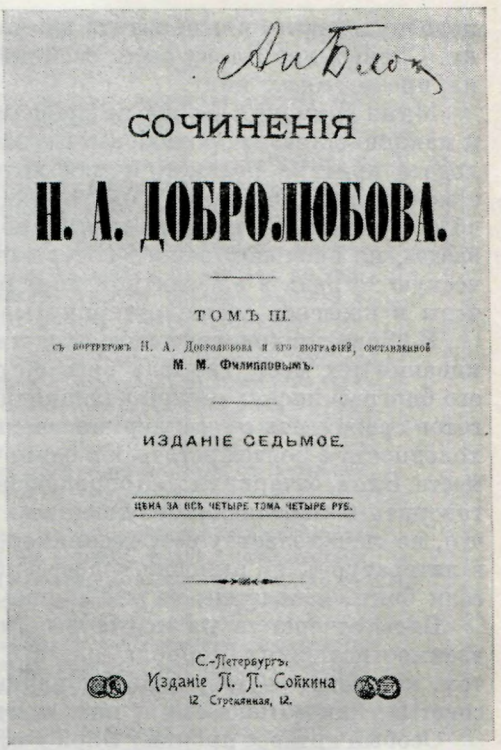
Из четырех томов сочинений Добролюбова пометы содержались в первом и третьем. Журов предполагал в будущем детально изучить их; он сказал: «Хотелось проследить влияние произведений Добролюбова на формирование мировоззрения Блока, использовав при этом необычный источник».

О том, что П. А. Журов готовил выступление на одном из заседаний Блоковской ассоциации, свидетельствует строка из отчета о деятельности Ассоциации в 1924—1925 гг.: «В дальнейшем предполагается заслушать доклад П. А. Журова „Блок и Добролюбов“» (ЦГАЛИ, ф. 2530, оп. 2, ед. хр. 252, л. 11). Однако ряд обстоятельств помешал осуществить задуманное.

Мы не задаемся здесь целью рассмотреть отношение Блока к наследию Добролюбова. Известен глубокий интерес к нему поэта, записавшего 12 сентября 1908 г.: «...мечты о журнале с традициями добролюбовского „Современника“» (ЗК, 113). В тот же период Блок отметил в дневнике, что при чтении Добролюбова «душа захлебнется от нахлынувших дум» (V, 335). Для формирования общественных убеждений Блока связь с русской революционно-демократической традицией играла очень значительную роль, недаром позже, в письме к В. Н. Княжнину, Блок обмолвился, что в нем течет и «шестидесятническая кровь» (VIII, 406). Тема эта требует большого специального исследования, задача же настоящего сообщения — привлечь внимание к пометам поэта на полях статей Добролюбова, которые, по счастью, сохранили непосредственный след «нахлынувших дум».

В начале XX в. сочинения Н. А. Добролюбова дважды издавались прогрес-

сивным книгоиздателем П. П. Сойкиным на основе известного собрания, подготовленного Чернышевским сразу же после смерти критика. В шахматовской библиотеке было второе издание; на первом томе — владельческая надпись Блока, сделанная красным карандашом, хотя чаще всего поэт подписывал книги черными чернилами и реже — простым карандашом. В первый том включен биографический очерк о Добролюбове бывшего издателя и редактора журнала «Научное обозрение» доктора философии М. М. Филиппова. В очерке был использован ряд неопубликованных ранее биографических материалов.


Ал. Блок

СОЧИНЕНІЯ

Н. А. ДОБРОЛЮБОВА.

ТОМЪ III.

съ портретомъ Н. А. Добролюбова и его біографіей, составленной М. М. Филипповымъ.

ИЗДАНІЕ СЕДЬМОЕ.

ЦѢНА ЗА ВСѢ ЧЕТЫРЕ ТОМА ЧЕТЫРЕ РУБ.

С.-Петербургъ.
Изданіе П. П. Сойкина
12. Стремянная, 12.

Н. А. ДОБРОЛЮБОВ. СОЧИНЕНИЯ, Т. III. С ВЛАДЕЛЬЧЕСКОЙ НАДПИСЬЮ БЛОКА
Центральный архив литературы и искусств, Москва

В первый том включены работы Добролюбова, написанные им преимущественно для журнала «Современник» в 1856—1858 гг. В оглавлении ряд названий поэт подчеркнул простым карандашом. Среди них такие широко известные, как «Собеседник любителей Российского слова», «Русская сатира в век Екатерины», «Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами». Из рецензий, написанных в 1857 г., Блок подчеркнул лишь две: на русские переводы римских писателей и на «Губернские очерки» Щедрина, причем последняя имеет в оглавлении двойное подчеркивание, более нигде не встречающееся.

Пометы Блока нередко находятся и на полях статей, которые, казалось бы, поначалу не привлекали его внимания, поскольку в оглавлении не подчеркнуты. В то же время в некоторых помеченных в оглавлении статьях и рецензиях не содержится примет внимательного прочтения. Можно предположить, что в одних случаях поэта интересовала вся статья в целом, в других, напротив, лишь отдельные темы. Однако каждая деталь убеждает в глубоком читательском своеобразии Блока. Обращает на себя внимание и многообразие помет: различные сочетания отчеркиваний, вертикальных и горизонтальных, волнистых линий, восклицательных знаков и нотабене. Наиболее интересной разновидностью являются, несомненно, словесные пометы.

Одно из первых подчеркиваний сделано Блоком в тексте биографического очерка о Добролюбове, оно касается, в частности, социального происхождения критика. Блок обратил внимание и на то, что как творческая личность Добролюбов сформировался поразительно рано. Так, например, уже в 15 лет он задумывался над тем, что́ вскоре станет предметом рассмотрения в его статьях. По окончании семинарии Добролюбов много и напряженно занимался самообразованием. Подчеркивание этого места, вероятно, указывало на важность самообразования и самовоспитания и для самого Блока.

Напомним, что, окончив университет, поэт написал отцу: «Чувствовать себя по праву „неучащейся“ молодежью будет лучше для меня, тем более, что я, коечему научившись, надеюсь еще подучиться сам для себя» („Письма к родным“, I, с. 154). Этот процесс у Блока будет длиться всю жизнь.

Другое подчеркивание в биографическом очерке относится к мысли о том, что Добролюбов начиная с 1848 г. вел полные списки прочитанных книг. На

подобную деталь мог обратить внимание лишь тот, кто сам имел такую привычку. С юных лет Блоку было свойственно делать подробные рефераты и выписки из прочитанных книг.

Мимо внимания Блока не прошли и отдельные детали в описании характера и наклонностей Добролюбова: глубокое впечатление, которое произвела на молодого критика реалистическая литература 40-х годов, особенно романы Писемского, воспоминания сокурсника Добролюбова о его редких способностях, об «особенном такте в занятиях», об одержимости чтением: «он читал всегда и везде», по временам занося содержание прочитанного «в толстую библиографическую тетрадь в алфавитном порядке писателей». (Здесь и далее нами заключены в кавычки слова, отчеркнутые Блоком.)

В плане психологического сходства особенно интересны вертикальные отчеркивания тех мест, где шла речь об особенностях личности Добролюбова. Так, его биограф писал: «Вечно кающийся, вечно бичующий самого себя Добролюбов готов сравнивать себя с лермонтовским Демоном, он упрекает себя в надменной холодности и боится остаться в одиночестве, без упованья на любовь». А в другом месте Блок отчеркнул: «Добролюбов был домоседом, да сверх того не любил говорить в многолюдном обществе». От внимания поэта не ускользнуло и то, что, по свидетельству современников, Добролюбов не мог терпеть «генеральства в литературе», не выносил «разведения мыслей водой» и «горячо возражал, что если бояться сплетен, то уж лучше совсем не издавать журнал».

Блок отчеркнул на полях весь текст страницы, где речь шла о сложных взаимоотношениях Добролюбова и Тургенева. Заинтересованно прочитал он о том, как работал Добролюбов с начинающими литераторами, как «охотно давал советы», как «относился к ним всегда гуманно и приветливо».

Особый интерес проявил Блок к отношениям Добролюбова и Чернышевского, о чем свидетельствует система подчеркиваний в тексте.

Читая статью Добролюбова «Собеседник любителей Российского слова», Блок подчеркнул следующие слова в признании Добролюбова (выделено нами курсивом): «может быть, труд мой потеряет *научное* достоинство, но зато его можно будет читать, а я хочу лучше *служить для чтения*, нежели для справок».

Критико-публицистические статьи Блока, написанные в последующие годы страстно и гражданственно, тоже «служили для чтения» новым поколениям России.

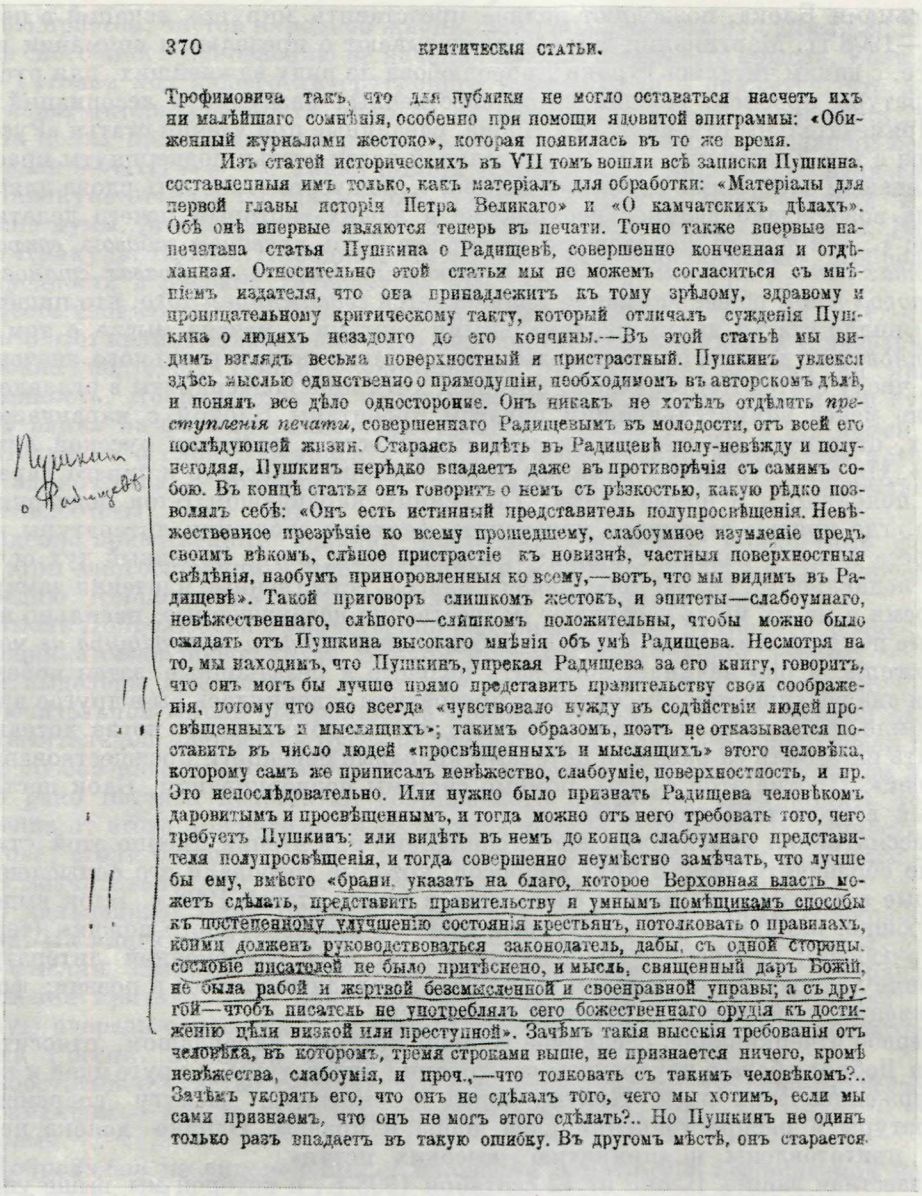
Как правило, Блок отчеркивал те строки, которые вели к глубоким раздумьям и обретению четких воззрений на тот или иной вопрос. Чтение становилось мощным импульсом в процессе формирования мировосприятия и мировоззрения.

Установлено, что поэт очень часто подчеркивал в книгах мысли, которые в дальнейшем цитировал в своих произведениях, нередко выражая свое несогласие с мнением автора. Так, в статье о журнале «Собеседник любителей Российского слова» Блок подчеркнул такие слова: «Во всем, что есть лучшего в нашей словесности, от первых народных песен до произведений Гоголя и стихотворений Некрасова, видим мы эту иронию, то наивно-открытую, то лукаво-спокойную, то сдержанно желчную».

Впоследствии Блок полностью привел эту цитату в статье «Ирония» и продолжал так: «Добролюбов видел в этом залог процветания русской сатиры, но не знал всей страшной опасности, приходящей отсюда» (V, 347). Не знал, потому что, по мнению поэта, «не владел ни одним из многообразных методов смеха». Блок относил Добролюбова к разряду «сыновей несмеющейся эпохи».

«Проекция» прочитанного — частое явление в творчестве Блока. Один из разделов статьи «Вопросы, вопросы, вопросы» Блок назвал не без намека «Собеседование любителей интеллигентного слова».

Исследуя лучшие традиции русской демократической литературы, Блок в своих статьях 1907—1908 гг. многократно обращается к тем же писателям, о которых недавно читал и у Добролюбова: к Гоголю и Лермонтову, Тургеневу и Некрасову, Щедрину и Островскому. По мнению поэта, их произведения до сих



370 КРИТИЧЕСКІЯ СТАТЬИ.

Трофимовича такъ, что для публики не могло оставаться насчетъ ихъ ни малѣйшаго сомнѣнія, особенно при помощи яловитой эпиграммы: «Обиженный журналами жестоко», которая появилась въ то же время.

Изъ статей историческихъ въ VII томъ вошли всѣ записки Пушкина, составленныя имъ только, какъ матеріалъ для обработки: «Матеріалы для первой главы исторіи Петра Великаго» и «О камчатскихъ дѣлахъ». Обѣ онѣ впервые являются теперь въ печати. Точно также впервые напечатана статья Пушкина о Радищевѣ, совершенно конченная и отдѣланная. Относительно этой статьи мы не можемъ согласиться съ мнѣніемъ издателя, что она принадлежитъ къ тому зрѣлому, здравому и проницательному критическому такту, который отличалъ сужденія Пушкина о людяхъ незадолго до его кончины.—Въ этой статьѣ мы видимъ взглядъ весьма поверхностный и пристрастный. Пушкинъ увлекся здѣсь мыслью единственно о прямодушіи, необходимомъ въ авторскомъ дѣлѣ, и понялъ все дѣло односторонне. Онъ никакъ не хотѣлъ отдѣлить *преступленія печати*, совершеннаго Радищевымъ въ молодости, отъ всей его послѣдующей жизни. Стараясь видѣть въ Радищевѣ полу-невѣжду и полунегодяя, Пушкинъ нерѣдко впадаетъ даже въ противорѣчія съ самимъ собою. Въ концѣ статьи онъ говоритъ о немъ съ рѣзкостью, какую рѣдко позволялъ себѣ: «Онъ есть истинный представитель полупросвѣщенія. Невѣжественное презрѣніе ко всему прошедшему, слабоумное изумленіе предъ своимъ вѣкомъ, слѣпое пристрастіе къ новизнѣ, частныя поверхностныя свѣдѣнія, наобумъ приноровленныя ко всему,—вотъ, что мы видимъ въ Радищевѣ». Такой приговоръ слишкомъ жестокъ, и эпитеты—слабоумнаго, невѣжественнаго, слѣпого—слишкомъ положительны, чтобы можно было ожидать отъ Пушкина высокаго мнѣнія объ умѣ Радищева. Несмотря на то, мы находимъ, что Пушкинъ, упрекая Радищева за его книгу, говоритъ, что онъ могъ бы лучше прямо представить правительству свои соображенія, потому что оно всегда «чувствовало нужду въ содѣйствіи людей просвѣщенныхъ и мыслящихъ»; такимъ образомъ, поэтъ не отказывается поставить въ число людей «просвѣщенныхъ и мыслящихъ» этого человѣка, которому самъ же приписалъ невѣжество, слабоуміе, поверхностность, и пр. Это непослѣдовательно. Или нужно было признать Радищева человѣкомъ даровитымъ и просвѣщеннымъ, и тогда можно отъ него требовать того, чего требуетъ Пушкинъ; или видѣть въ немъ до конца слабоумнаго представителя полупросвѣщенія, и тогда совершенно неумѣстно замѣчать, что лучше бы ему, вмѣсто «брани, указать на благо, которое Верховная власть можетъ сдѣлать, представить правительству и умнымъ помѣщикамъ способы къ постепенному улучшенію состоянія крестьянъ, потолковать о правилахъ, коими долженъ руководствоваться законодатель, дабы, съ одной стороны, сословіе писателей не было притѣснено, и мысль, священный даръ Божій, не была рабой и жертвой безсмысленной и своенравной управы; а съ другой—чтобъ писатель не употреблялъ сего божественнаго орудія къ достиженію цѣли низкой или преступной». Зачѣмъ такія высокія требованія отъ человѣка, въ которомъ, тремя строками выше, не признается ничего, кромѣ невѣжества, слабоумія, и проч.,—что толковать съ такимъ человѣкомъ?.. Зачѣмъ укорять его, что онъ не сдѣлалъ того, чего мы хотимъ, если мы сами признаемъ, что онъ не могъ этого сдѣлать?.. Но Пушкинъ не одинъ только разъ впадаетъ въ такую ошибку. Въ другомъ мѣстѣ, онъ старается

Н. А. ДОБРОЛЮБОВ. СОЧИНЕНИЯ, Т. I. ИЗ ЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ БЛОКА С ЕГО ПОМЕТАМИ

Центральный архив литературы и искусства, Москва

пор остаются «интересными, животрепещущими и насущными» (V, 335). На полях статьи Добролюбова об очерках Щедрина мы встречаемся с исключительным разнообразием помет Блока, в том числе и цветными карандашами, что раскрывает высокое эмоциональное напряжение, с каким читались эти строки. Круг затронутых в статье вопросов очень широк — это значение и роль литературы в общественной жизни, задачи критики, судьба современного писателя и др. Такого рода подчеркивания свидетельствуют о сближении блоковских устремлений с революционной культурой 60-х годов. Подчеркнутые тексты, рассмотренные в совокупности с произведениями, дневниковыми записями

и письмами Блока, позволяют полнее представить мир его исканий в период 1907—1908 гг. Маргиналии Блока рассказывают о предельном внимании и интересе, с каким читались строки Добролюбова по ряду важнейших для русской литературы проблем, рождая поток собственных раздумий и ассоциаций.

Примечательны отчеркивания Блока, сделанные при чтении статьи «Русская сатира в век Екатерины». Во вступительной части статьи подчеркнуты красным карандашом следующие суждения автора: «...искусство говорить слова для слов всегда возбуждало великое восхищение в людях, которым нечего делать», и далее: «...*как только литература перестает быть праздною забавою, вопросы о красотах слога, о трудных рифмах, о звукоподражательных фразах становятся на второй план*; общее внимание привлекается *содержанием* того, что пишется». А в финале статьи двумя вертикальными чертами отмечена мысль о том, что «маниловский характер» «постоянно лишал нашу сатиру реального значения».

К числу статей Добролюбова, которые, хотя и не подчеркнуты в оглавлении, тем не менее внимательнейшим образом прочитаны Блоком с карандашом в руках, относится «О степени участия народности в развитии русской литературы». На этих страницах тома все чаще сочетание красного и синего карандашей, появляются и новые знаки. Так, синим карандашом Блок подчеркивает места, где критик стремится проследить факторы эволюции литературы, рост интереса к ней в разных странах: «Бывает время, когда народный дух ослабевает, подавляемый силою победившего класса, естественные влечения замирают на время и на их место заступают искусственно возбужденные, насильно навязанные понятия и взгляды в пользу победивших, *тогда и литература не может выдержать*: и она начинает воспевать нелепые и беззаконные затеи победителей, и она восхищается тем, от чего с презрением отвернулась бы в другое время. Так было, например, у немцев в начале прошлого столетия, когда хотели заставить их забыть за разными потехами кровавые передряги предшествовавшего времени». Против этой фразы, помимо системы подчеркиваний, Блок поставил первый в этом томе знак «NB».

Рассматривая маргиналии поэта, сделанные при чтении именно этой статьи, можно обозначить четкий круг вопросов, которые требовали его осмысления и которые в дальнейшем нашли свое место в цикле статей 1908 г. Блок выделил следующие: влияние на литературный процесс «литературного вождя» (термин Добролюбова); внутреннее содержание и круг идей современной литературы; значение литературы в прошлом и будущем; народные мотивы в поэзии; формы проявления народности в русской литературе.

Первое отчеркивание, сделанное Блоком красным карандашом, относится к мысли Добролюбова о внутреннем содержании литературы, о круге идей и круге приверженцев этих идей. Критик видел несомненную заслугу современной литературы в распространении идей добра и правды. Однако далеко не все были приготовлены к «принятию высоких истин».

Известная запись Блока от 12 сентября 1908 г., о которой мы выше упоминали («. . . мечты о журнале с традициями добролюбовского „Современника“»), могла возникнуть в результате пристального ознакомления с содержанием первого тома сочинений Добролюбова, где были систематизированы с исчерпывающей полнотой статьи и рецензии критика на страницах «Современника». Собранные воедино, они давали цельное представление о проблематике и направлении журнала.

13 сентября 1908 г. поэт написал Е. П. Иванову: «Между прочим (и может быть, главное) растет передо мной понятие „*гражданин*“, и я начинаю понимать, как освободительно и целебно это понятие, когда начинаешь открывать его в собственной душе» (VIII, 252).

В статье «О степени участия народности в развитии русской литературы» Добролюбов затрагивал проблему «тайны русской народности», что не могло не волновать и Блока. «Нет, и Гоголь не постиг вполне,— заключал Добролюбов,— в чем тайна русской народности, и он перемешал хаос современного общества, кое-как изнашивающего лохмотья взятой взаймы цивилизации, с строй-

ностью простой, чистой народной жизни, мало испорченной чуждыми влияниями и еще способной к обновлению на началах правды и здравого смысла. Если окончить Гоголем ход нашего литературного развития, то и окажется, что до сих пор наша литература почти никогда не выполняла своего назначения...»

На полях приведенного отрывка Блок сделал красным карандашом необычный знак — «III====». Такая помета встречается в томе только один раз.

Накануне отъезда из Шахматова, 3 октября 1908 г., Блок записал: «Сложнейшие думы. Менделеев. Толстой. Тургенев. Добролюбов. Венгеров. Вампир граф Дракула. Клюев. Народное. Письма Клюева. «Воскресение». Добролюбов о народности в русской литературе» (ЗК, 115).

Необычное сочетание имен и названий. Оно отражает, видимо, круг чтения поэта в этот крайне важный для него период. За каждым именем и названием — глубокий подтекст. Двойное упоминание Добролюбова — вряд ли простая случайность. Добролюбовский пафос народности и гражданственности существенно влиял на формирование общественной позиции Блока в это время. Знаменательны его слова: «Написать доклад о единственно возможном преодолении одиночества — приобщение к народной душе и занятие общественной деятельностью» (ЗК, 114).

Идейно-нравственные искания постепенно обретали конкретные формы. И в этом многосложном и противоречивом процессе обращение к творческому наследию Добролюбова сыграло далеко не последнюю роль.

Мысль Добролюбова о единственно реальной «почве» духовного возрождения художника была подчеркнута Блоком красным карандашом, причем отдельно были выделены еще слова о «спасении от ложного пути». Важно также, что заключительной мысли Добролюбова предшествовали слова о Лермонтове как исключительной личности в русской литературе. Скорбя о ранней гибели поэта, Добролюбов писал: «Лермонтов обладал, конечно, громадным талантом и умением рано постичь недостатки современного общества, умел понять то, что спасение от этого ложного пути находится только в народе». И личность Лермонтова, столь близкая Блоку, и «спасение», указанное Добролюбовым,— все было значительно для поэта, мучительно искавшего свой путь.

В дальнейшем Блок будет приходить к выводам, сходным с добролюбовскими. На многих его суждениях 1908 г.— отсвет идей Добролюбова. К отдельным мыслям, которые привлекли его внимание, когда он читал с карандашом сочинения критика, поэт обратился в цикле публицистических статей. Это в первую очередь относится к проблеме участия интеллигенции в общественной жизни России, в жизни народа.

Обостренное чувство социального неблагополучия и духовно-нравственный максимализм — вот те качества, которые особенно сближали Блока с Добролюбовым.

Добролюбов не склонен был к иллюзиям и потому с беспощадной искренностью писал: «Массе народа чужды наши интересы, непонятны наши старания, забавны наши восторги. Мы действуем и пишем за немногим исключением в интересах *кружка* более или менее значительного. От того обыкновенно взгляд наш узок, стремления мелки, все понятия и сочувствия носят характер парциальности».

Мысль во многом сходна с тем, что будет спустя десятилетие высказывать и Блок. Однако она вызывает у поэта и желание полемизировать (статья «Вопросы, вопросы, вопросы»). Рассматривая проблему разобщенности художников в современной литературе, Блок, оттолкнувшись от основного утверждения Добролюбова, продолжает: «Станов у писателей нет, есть отдельные писатели и есть кружки. Из первого факта выходит ряд ничем между собой не связанных, но значительных произведений <...> Из второго факта давно уже не выходит ничего, кроме разложения и вреда». Весьма показательна заключительная фраза. «Общение между писателями русскими,— пишет Блок,— может устанавливаться, по-видимому, лишь постольку, поскольку они не писатели, а общественные деятели» (V, 343). В своих исканиях поэт обретал нравственную опору, обращаясь к наследию русской демократической литературы.

Интересна необычайная интенсивность подчеркиваний — сочетание горизонтальных, вертикальных и волнистых (впервые появляющихся) линий на полях — при чтении Блоком рецензии Добролюбова на «Губернские очерки» Щедрина. Читаем: «*Нужно же понять, наконец, значение писателя, нужно понять, что его оружие — слово, убеждение, а не материальная сила.* Если вы признаете справедливость его убеждений и все-таки не исправляете по ним своей деятельности,— в этом вы сами уже виноваты, в вас, значит, нет характера, нет умения бороться с трудностями, не развито понятие о честном согласовании поступков с мыслями. Если же сами убеждения вам не нравятся, тогда другое дело».

Отдельного рассмотрения заслуживают словесные маргиналии Блока на полях 1-го тома сочинений Добролюбова. Общее число их сравнительно невелико — всего восемь, из них семь относятся к одному тексту. Остановим свое внимание на пометах в той последовательности, в какой они расположены в томе, попытаемся дать хотя бы частичную их расшифровку и анализ.

В 1857 г. на страницах «Современника» была помещена рецензия Добролюбова не трехтомное издание «Библиотека римских писателей в русском переводе». Критик отмечал бедность и ограниченность репертуара переводной классики, достоинством издания считал включение приложений, в которые вошли жизнеописание римского историка Саллюстия и биография Юлия Цезаря, написанная Светонием.

Читая строки: «В биографии Саллюстия замечательно мнение, высказываемое о значении Катилины. Г. Клеванов говорит, что историк заговора Катилины не умел понять его характера и называет дерзкого заговорщика „жертвою благородных стремлений“»,— Блок сделал первую запись на полях: «И ниже: доп. с Ибсеном“.

О Г. Ибсене Блок писал многократно. В августе 1907 г.— очерк «О драме», где поэт называет Ибсена «последним великим драматургом Европы» (V, 164). А в статье «О театре», появившейся в феврале-марте 1908 г., Блок в связи с именем Ибсена затрагивает вопросы «красоты долга» писателя и поиска «новых путей жизни». Вскоре появилась статья «Три вопроса», где, вновь касаясь «пользы» и «долга» художника, Блок называет Ибсена, называет как «знамя нашей эпохи». Он упоминает об одном из первых произведений драматурга — пьесе «Катилина», где главный герой насквозь заряжен «социалистическим духом» (V, 237). Вероятно, прочитанные у Добролюбова строки о Катилине послужили дополнением к тому, что Блок уже знал, читая произведение Ибсена.

Интерес Блока к личности Катилины, произведениям Саллюстия, событиям римской истории получит новый творческий импульс весной 1918 г. Написав «Страницы из истории мировой Революции», Блок отметил 24 апреля 1918 г.: «Тема уж очень великолепна. Все сызнова, несмотря на усталость» (ЗК, 402). В этой работе Блок, в частности, цитирует одного из биографов Ибсена: «Без чтения Цицерона и Саллюстия поэт, вероятно, не напал бы на этот сюжет». И продолжает: «Сам Ибсен рассказывает, как он с жадностью проглотил „Катилину“ Саллюстия и речи Цицерона» (VI, 88).

Можно предположить, что упоминание об Ибсене при чтении Добролюбова имело непосредственную связь с работой Блока над очерком «Генрих Ибсен». Очерк был написан в октябре-ноябре 1908 г. Блок затрагивает здесь наболевшие вопросы: о призвании, долге, жертве и т. д. Читаем: «Его мозг искусился в вопросах о долге, призвании, личности, жертве, народе, национальности, обществе. Его сердце узнало любовь и сомнение, страх и сладость одиночества» (V, 311).

При чтении рецензии Добролюбова на седьмой том сочинений Пушкина, изданный П. В. Анненковым, Блок сделал семь словесных помет.

Рецензируемый том являлся дополнительным и включал ряд не опубликованных ранее текстов великого поэта. В целом издание, осуществленное Анненковым, заметно отличалось от всех предыдущих. Оно содержало материалы для биографии поэта, публикацию черновиков, а также обширную библиографию. Новое издание было с восхищением и благодарностью встречено читателями. Добролюбов отмечал: «И в самом деле, память Пушкина как будто еще раз по-

веяла жизнью и свежестью на нашу литературу, точно окропила нас живой водой и привела в движение наши окостеневшие от бездействия члены ⟨...⟩ Это одушевление при новом положении литературы скоро выразилось решительно во всем, *даже в библиографии*». И далее: «*В последнее время наша библиография значительно расширилась в своих пределах и средствах*. Вышедший ныне 7-й том Пушкина служит одним из самых ярких доказательств этого расширения средств нашей библиографии». Помимо подчеркиваний (выделено курсивом) Блок сделал запись на полях: «Библиогр. ее успехи».

Развитие библиографии как прикладной науки, теснейшим образом связанной с историей русской литературы, живо занимало Блока. Так, в статье «Литературные итоги 1907 года» поэт, продолжая традиции отечественной критики, которая всегда опиралась на библиографию, указывал, что среди современных изданий последнего времени библиография «заняла видное место». Блока, как некогда Добролюбова, крайне занимали вопросы роста количества книг и читателей в России, а также и развитие библиографии, которая «ширилась в своих пределах и средствах», имея при этом истоки и традиции в прошлом. Здесь можно обнаружить и элементы единомыслия.

Внимание Блока особенно привлекла та часть рецензии Добролюбова, которая была посвящена впервые опубликованной в 7-м томе анненковского издания статье Пушкина «Александр Радищев».

Страницы сохранили следы блоковского чтения: помимо подчеркиваний, словесных помет, появляются восклицательные знаки, ранее в этом томе не встречавшиеся. На полях Блок записал: «Пушкин о Радищеве!». Можно предположить, что вслед за этим он обратился к тексту статьи Пушкина, о которой столь подробно говорил Добролюбов. Процесс чтения становился многоступенчатым: сначала — строки Добролюбова, затем — строки Пушкина. Правомерным такое предположение делают пометы: оба раза восклицательные знаки относятся как раз к цитатам из Пушкина, которые приведены Добролюбовым, полемизирующим с поэтом. Чтобы разобраться в сути полемики, необходимо было обращение к первоисточникам. Выбор собственной позиции требовал только такого подхода.

Следующая словесная помета Блока относится к месту, где Добролюбов цитирует поэтический текст Пушкина.

Да будет проклят правды глас,
Когда посредственности хладной,
Завистливой, к соблазну жадной,
Он угождает праздно!

Эти строки вызвали у Добролюбова резкое неприятие. На полях Блок лаконично записал: «Правда для посредственности».

Первое сочетание разнообразных видов маргиналий поэт использует там, где Добролюбов ведет речь о противоречиях характера Пушкина. Так, например, Добролюбов пишет: «В последние годы его жизни мы видим в нем какое-то странное борение, какую-то *двойственность*, которую можно объяснить только тем, что, несмотря на желание успокоить в себе сомнения, проникнуться как можно полнее заданным направлением,— все-таки он не мог освободиться от живых порывов молодости, от гордых, независимых стремлений прежних лет». Как видим, на этот раз Блок подчеркнул одно слово, обозначив, что́ более всего задевало его, столько раз переживавшего мучительнейшие сомнения, ощущая в себе самом гибельную двойственность. На полях Блок записал: «Сомнения, двойствен. в Пушк⟨ине⟩».

На первый взгляд может показаться, что это лишь простая констатация, но на самом деле приписка скрывает потаенные мысли Блока о назначении Поэта, о соотнесенности жизненного и творческого. Спустя годы он придет к такому обобщению: «поэт — величина неизменная. Могут устареть его язык, его приемы, но сущность его дела не устареет. Люди могут отворачиваться от поэта и от его

ніямъ». Объ этомъ обстоятельствѣ, вѣроятно, забылъ Пушкинъ, когда высказалъ свое требованіе, чтобы Радищевъ, вмѣсто брани, представилъ лучше свои соображенія, и пр. Несчастный авторъ, вѣрно, зналъ себя и обстоятельства, въ которыхъ онъ находился, гораздо лучше, нежели его безпощадный критикъ.

Въ заключеніе своей статьи, авторъ спрашиваетъ: «какую цѣль имѣлъ Радищевъ? Чего именно желалъ онъ?» И говоритъ за него: «на сіи вопросы врядъ-ли могъ онъ самъ отвѣчать удовлетворительно», то-есть, по мнѣнію Пушкина, несчастный авторъ, печатая свое «Путешествіе», самъ не понималъ, къ чему онъ это дѣлаетъ, и не имѣлъ въ виду никакой опредѣленной цѣли. Мы не будемъ входить въ разсмотрѣніе того, справедливо-ли это мнѣніе само по себѣ, но замѣтимъ, что такое сужденіе противорѣчитъ другому мѣсту той же самой статьи, гдѣ Пушкинъ говоритъ: «не можемъ въ немъ не признать преступника съ духомъ необыкновеннымъ, *политическаго фанатика*, заблуждающагося, конечно, но дѣйствующаго съ удивительнымъ самоотверженіемъ и съ какою-то рыцарскою совѣстливостью». Если онъ былъ фанатикомъ, только заблуждающимся въ своихъ стремленіяхъ, то, значитъ, все-таки у него была же какая-нибудь цѣль, къ которой онъ стремился. Фанатизмъ непремѣнно долженъ привязываться къ какому-нибудь предмету, и намъ кажется, что невозможно представить себѣ фанатика, который бы не зналъ, чѣмъ онъ увлекается. Возможно-ли примирить сужденія Пушкина, что Радищевъ былъ политическимъ фанатикомъ и чтобы, несмотря на то, онъ не имѣлъ никакой цѣли въ своемъ поступкѣ?

Вообще нужно замѣтить, что статья о Радищевѣ любопытна какъ фактъ, показывающій, до чего можетъ дойти умъ живой и свѣтлый, когда онъ хочетъ непремѣнно подвести себя подъ извѣстныя, заранѣе принятыя опредѣленія. Въ частныхъ сужденіяхъ, въ фактахъ, представленныхъ въ отдѣльности, постоянно виденъ живой, умный взглядъ Пушкина; но общая мысль, которую доказать онъ поставилъ себѣ задачей, ложна, неопредѣленна и постоянно вызываетъ его на сбивчивыя и противорѣчащія фразы. Къ сожалѣнію, статья о Радищевѣ представляетъ не единственный примѣръ подобнаго несправедливаго увлеченія. Онъ составилъ себѣ кругъ идей, которыя уже были для него неприкосновенны въ своей святынѣ, хотя бы даже несправедливость ихъ и была очевидна. Онъ уже восклицаетъ:

„*Да будетъ проклятъ правды гласъ,*
Когда посредственности хладной,
Завистливой, къ соблазну жадной
Онъ угождаетъ праздно"

Проклиная правду, когда она благопріятна была для посредственности, и наивно признаваясь въ этомъ, поэтъ, разумѣется, старался поддерживать въ себѣ всякій обманъ, казавшійся ему благороднымъ и возвышеннымъ. «Насъ возвышающій обманъ» былъ для него, дѣйствительно, дороже тьмы *низкихъ* истинъ. Въ раздѣленіи истинъ, на низкія и высокія, опять отражалось, разумѣется, вліяніе старой реторической школы, допускавшей еще и *среднія* истины, такъ же точно, какъ допускала она высокій, средній и низкій слогъ. И Пушкинъ, при всемъ своемъ презрѣніи къ реторической школѣ, не могъ отъ нея освободиться въ этомъ случаѣ, и въ послѣднее время жизни, вмѣстѣ съ полнымъ обращеніемъ его къ чистой художественности, усилилось въ немъ и пристрастіе къ нѣкото-

Н. А. ДОБРОЛЮБОВ. СОЧИНЕНИЯ, Т. I ИЗ ЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ БЛОКА С ЕГО ПОМЕТАМИ

Центральный архив литературы и искусства, Москва

дела. Сегодня они ставят ему памятник; завтра хотят „сбросить его с корабля современности". То и другое определяет этих людей, но не поэта; сущность поэзии, как всякого искусства, неизменна; то или иное отношение людей к поэзии в конце концов безразлично» (VI, 160).

Пушкинские строки, цитируемые Добролюбовым в рецензии, являлись предметом предельно глубокого внимания Блока-читателя. Следующая словесная помета относится к широко известной строчке Пушкина: «Кому венец: мечу иль крику?». На полях появляется запись: «*меч и крик*».

«Проекция» этой маргиналии прослеживается у Блока несколько раз. Так, в статье «Вопросы, вопросы, вопросы» он пишет: «Что действеннее: меч или

рымъ исключительнымъ истинамъ, соединенное съ отвращеніемъ отъ другихъ. Онъ уже заглушалъ въ себѣ нѣкоторые изъ прежнихъ сердечныхъ звуковъ, называя ихъ дѣйствіемъ безумства, лѣни и страстей; онъ уже позволилъ себѣ въ одномъ стихотвореніи назвать наглецомъ Наполеона, о которомъ самъ писалъ за 10 лѣтъ: «да будетъ омраченъ позоромъ тотъ малодушный, кто безумнымъ омрачитъ укоромъ его развѣнчанную тѣнь»... Прежнія задушевныя мечты высказывались теперь уже тономъ шутливымъ и даже насмѣшливымъ, а то, что въ молодости вызывало насмѣшки, теперь пробуждало въ поэтѣ благоговѣйное умиленіе. Прежде писалъ онъ къ одному изъ друзей гордое посланіе (не напечатанное почему-то у г. Анненкова), въ которомъ повѣрялъ своему другу свои надежды и мечты о славѣ пророка-обличителя земли своей, а черезъ нѣсколько лѣтъ онъ писалъ:

„Но, въ сердцѣ, бурями смиренномъ,
Теперь и лѣнь, и тишина,
И въ умиленьи вдохновенномъ
На камнѣ, дружбой освященномъ,
Пишу я наши имена"

Немудрено, что при такомъ расположеніи ему очень не нравилось все, что мѣшало лѣни и тишинѣ, и что по этому случаю Радищевъ заслужилъ особенное его нерасположеніе.

Впрочемъ, здравый природный умъ предохранялъ Пушкина отъ излишнихъ крайностей въ принятомъ имъ направленіи, и, при всемъ недостаткѣ серьезнаго образованія, онъ умѣлъ понимать ошибки людей, заходившихъ слишкомъ далеко въ примѣненіи тѣхъ началъ, вѣрности которыхъ онъ самъ, повидимому, вполнѣ довѣрялъ. Въ этомъ обстоятельствѣ мы находимъ ясное подтвержденіе того, что направленіе, принятое Пушкинымъ въ послѣдніе годы, вовсе не исходило изъ естественныхъ потребностей души его, а было только слѣдствіемъ слабости характера, не имѣвшаго внутренней опоры въ серьезныхъ, независимо развившихся убѣжденіяхъ, и потому скоро павшаго отъ утомленія въ борьбѣ съ внѣшними враждебными вліяніями. Отъ того то, въ послѣдніе годы его жизни, мы видимъ въ немъ какое-то странное бореніе, какую-то двойственность, которую можно объяснить только тѣмъ, что, несмотря на желаніе успокоить въ себѣ сомнѣнія, проникнуться какъ можно полнѣе заданнымъ направленіемъ,—все-таки онъ не могъ освободиться отъ живыхъ порывовъ молодости, отъ гордыхъ, независимыхъ стремленій прежнихъ лѣтъ. До сихъ поръ въ печати извѣстны были почти только тѣ произведенія послѣднихъ лѣтъ жизни Пушкина, въ которыхъ выражалось, болѣе или менѣе ярко, направленіе, господствовавшее въ немъ въ эти послѣдніе годы. Нынѣ изданный дополнительный томъ сообщаетъ много произведеній совершенно противоположнаго характера, и они-то доказываютъ, что Пушкинъ и предъ концомъ своей жизни далеко еще не всей душою преданъ былъ тому направленію, которое принялъ, повидимому, такъ пламенно, которое за то произвело охлажденіе къ нему въ лучшей части его почитателей. Извѣстно, напр., что въ послѣднее время въ немъ особенно сильно развились генеалогическіе предразсудки; но нынѣ напечатанное стихотвореніе: «Когда по городу задумчивъ я хожу» обнаруживаетъ воззрѣніе совершенно чистое, равно какъ и нѣкоторые стихи, пьесы, озаглавленной «Изъ

Н. А. ДОБРОЛЮБОВ. СОЧИНЕНИЯ, Т.I ИЗ ЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ БЛОКА С ЕГО ПОМЕТАМИ

Центральный архив литературы и искусства, Москва

слово,— спрашиваем мы опять вслед за Пушкиным. И не можем не спрашивать об этом, потому что какая-то мера уже исполнилась» (V, 334). В данном контексте пушкинская строка обретает для Блока остросовременное звучание. Заметим, что свойство использовать строки тех, кто «горел огнем бескорыстной любви и бескорыстного гнева» (V, 335),— отличительная особенность Блока.

В дальнейшем Блок вновь возвращается к осмыслению вопроса, поставленного некогда Пушкиным. В статье «Народ и интеллигенция» он признается: «Я — интеллигент, литератор и оружие мое — слово. Боясь слов, я их произношу. Боясь „словесности", боясь „литературщины", я жду, однако, ответов

словесных: есть у всех тайная надежда, что не вечна пропасть между словами и делами, что есть слово, которое переходит в дело...» (V, 319).

В третьем томе сочинений Добролюбова сосредоточены последние статьи критика, написанные в 1859—1861 гг. В отличие от первого тома в оглавлении Блок не сделал ни единого обозначения. В целом во всем томе следы внимательного прочтения содержат лишь четыре статьи. Это — крупнейшие произведения Добролюбова: «Темное царство», «Когда же придет настоящий день», «Черты для характеристики русского простонародья» и «Луч света в темном царстве».

Характер маргиналий становится более динамичным, внутренне напряженным. Чаще появляются двойные, иногда даже тройные вертикальные отчеркивания целых абзацев, реже — двойное горизонтальное подчеркивание отдельного слова.

О пристальном прочтении, вернее, изучении текста свидетельствуют подчеркивания Блоком даже сносок и примечаний к текстам Добролюбова. Отличительной особенностью на страницах этого тома является частое употребление поэтом знака «№», причем иногда в сочетании с другими знаками: «+» или «!» и т. п. Особенно часто такие знаки встречаются в тексте статей, посвященных творчеству А. Н. Островского. Против слов Добролюбова о мировоззрении этого художника, о его взглядах на действительность, в чем, по мнению критика, и таится единственно «правильный ключ к характеристике таланта», Блок сделал на полях первый в этом томе знак «№». Знак находится в окружении двойных подчеркиваний в тексте.

Словесные маргиналии в этом томе крайне редки. Их всего четыре, причем, как правило, они односложны. Одна из первых сделана поэтом почти в самом начале текста статьи «Темное царство», там, где Добролюбов рассматривает вопрос о взаимопроникновении науки и искусства, о различии природы таланта мыслителя и художника. Добролюбов писал: «Свободное претворение самых высших умозрений в живые образы и вместе с тем полное сознание высшего, общего смысла во всяком, самом частном и случайном факте жизни — это есть идеал, представляющий полное слияние науки и поэзии и доселе еще никем не достигнутый».

Блок полемизирует с автором, он кратно записывает: «Гете».

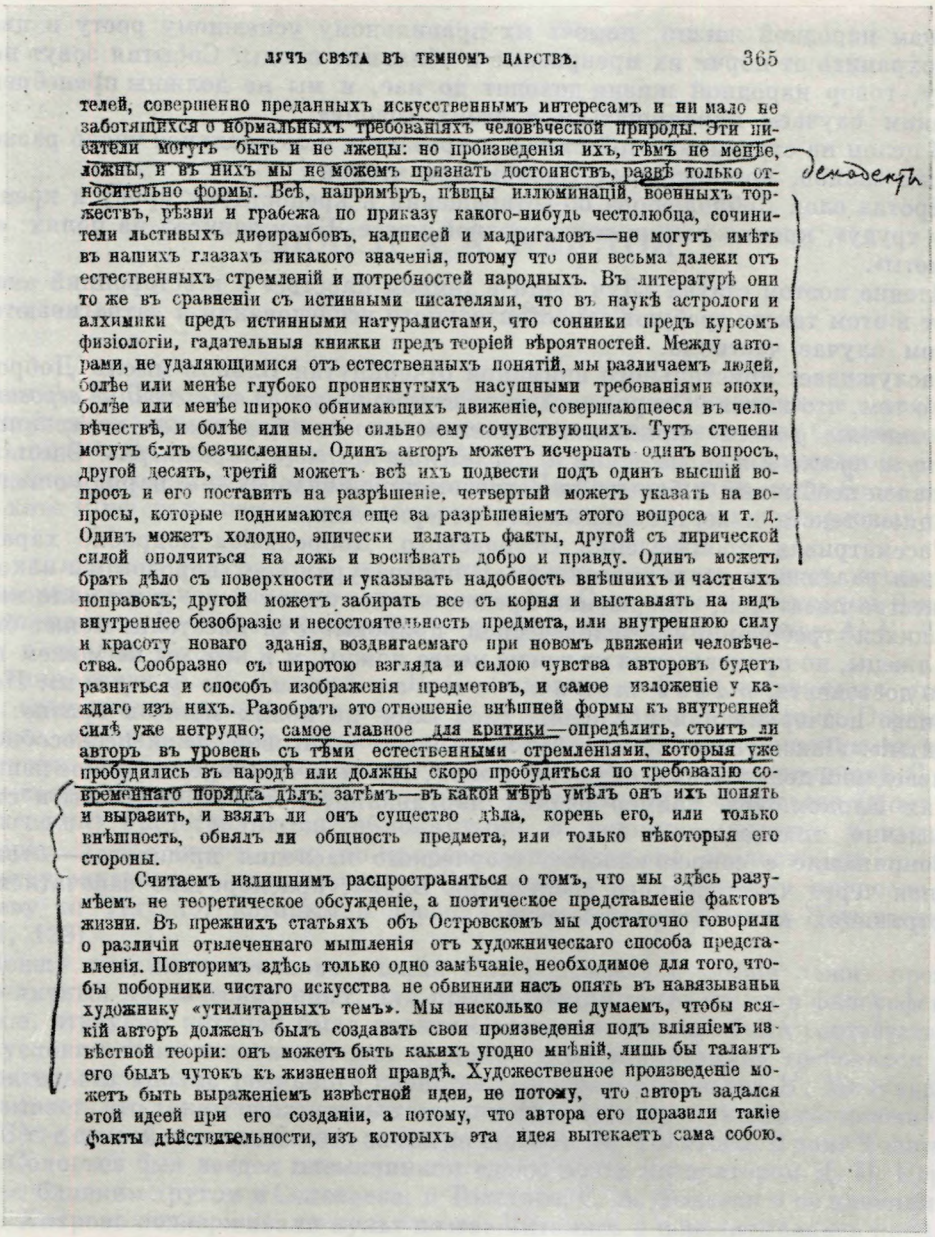
Рассматривая типы комедий Островского, Добролюбов особо останавливался на «общенародных» чертах этих произведений, что не прошло мимо внимания Блока, который поставил здесь знак «№». А в целом абзаце Блок выделил только одно слово — «общенародные», выразив свое единомыслие с автором. Маргиналия как бы дополняет ранее высказанную мысль Блока, когда он еще весной 1908 г. называл пьесу «Гроза» «высоким искусством».

Поэт был убежден, что в ряду тех драматических произведений, которые принимает и понимает народ, пьесы Островского занимают одно из первых мест. Сам Блок использовал образ грозы как символ надвигающегося стихийного мятежа. Именно так трактовал этот образ и Добролюбов.

В статье «Когда же прийдет настоящий день», посвященной роману Тургенева «Накануне», внимание Блока более всего привлек вопрос о распространении общественных идей в России в 40-е годы. Поколение Рудиных, по словам Добролюбова, «приготовлялось к делу, но ничего не делало». Такое наблюдение критика вызвало у Блока необычную маргиналию — сочетание восклицательного знака и знака «№».

Читая рассуждение Добролюбова: «в голове и сердце накопилось так много прекрасного; в существенном порядке дел замечено так много нелепого и бесчестного; масса людей, „сознающих себя выше окружающей действительности“, растет с каждым годом, так что скоро *все будут выше действительности*»,— Блок отчеркнул последние слова, снабдив их на полях знаком «№!».

В статье о рассказах Марко Вовчок Блок трижды подчеркнул следующую фразу Добролюбова: «Теперь дело литературы — преследовать остатки крепостного права в общественной жизни и добивать порожденные им понятия, возводя их к коренному их началу. Марко Вовчок в своих простых и правдивых



лучъ свѣта въ темномъ царствѣ. 365

телей, совершенно преданныхъ искусственнымъ интересамъ и ни мало не заботящихся о нормальныхъ требованіяхъ человѣческой природы. Эти писатели могутъ быть и не лжецы: но произведенія ихъ, тѣмъ не менѣе, ложны, и въ нихъ мы не можемъ признать достоинствъ, развѣ только относительно формы. Всѣ, напримѣръ, пѣвцы иллюминацій, военныхъ торжествъ, рѣзни и грабежа по приказу какого-нибудь честолюбца, сочинители льстивыхъ диѳирамбовъ, надписей и мадригаловъ—не могутъ имѣть въ нашихъ глазахъ никакого значенія, потому что они весьма далеки отъ естественныхъ стремленій и потребностей народныхъ. Въ литературѣ они то же въ сравненіи съ истинными писателями, что въ наукѣ астрологи и алхимики предъ истинными натуралистами, что сонники предъ курсомъ физіологіи, гадательныя книжки предъ теоріей вѣроятностей. Между авторами, не удаляющимися отъ естественныхъ понятій, мы различаемъ людей, болѣе или менѣе глубоко проникнутыхъ насущными требованіями эпохи, болѣе или менѣе широко обнимающихъ движеніе, совершающееся въ человѣчествѣ, и болѣе или менѣе сильно ему сочувствующихъ. Тутъ степени могутъ быть безчисленны. Одинъ авторъ можетъ исчерпать одинъ вопросъ, другой десять, третій можетъ всѣ ихъ подвести подъ одинъ высшій вопросъ и его поставить на разрѣшеніе, четвертый можетъ указать на вопросы, которые поднимаются еще за разрѣшеніемъ этого вопроса и т. д. Одинъ можетъ холодно, эпически излагать факты, другой съ лирической силой ополчиться на ложь и воспѣвать добро и правду. Одинъ можетъ брать дѣло съ поверхности и указывать надобность внѣшнихъ и частныхъ поправокъ; другой можетъ забирать все съ корня и выставлять на видъ внутреннее безобразіе и несостоятельность предмета, или внутреннюю силу и красоту новаго зданія, воздвигаемаго при новомъ движеніи человѣчества. Сообразно съ широтою взгляда и силою чувства авторовъ будетъ разниться и способъ изображенія предметовъ, и самое изложеніе у каждаго изъ нихъ. Разобрать это отношеніе внѣшней формы къ внутренней силѣ уже нетрудно; самое главное для критики—опредѣлить, стоитъ ли авторъ въ уровень съ тѣми естественными стремленіями, которыя уже пробудились въ народѣ или должны скоро пробудиться по требованію современнаго порядка дѣлъ; затѣмъ—въ какой мѣрѣ умѣлъ онъ ихъ понять и выразить, и взялъ ли онъ существо дѣла, корень его, или только внѣшность, обнялъ ли общность предмета, или только нѣкоторыя его стороны.

Считаемъ излишнимъ распространяться о томъ, что мы здѣсь разумѣемъ не теоретическое обсужденіе, а поэтическое представленіе фактовъ жизни. Въ прежнихъ статьяхъ объ Островскомъ мы достаточно говорили о различіи отвлеченнаго мышленія отъ художническаго способа представленія. Повторимъ здѣсь только одно замѣчаніе, необходимое для того, чтобы поборники чистаго искусства не обвинили насъ опять въ навязываньи художнику «утилитарныхъ темъ». Мы нисколько не думаемъ, чтобы всякій авторъ долженъ былъ создавать свои произведенія подъ вліяніемъ извѣстной теоріи: онъ можетъ быть какихъ угодно мнѣній, лишь бы талантъ его былъ чуткъ къ жизненной правдѣ. Художественное произведеніе можетъ быть выраженіемъ извѣстной идеи, не потому, что авторъ задался этой идеей при его созданіи, а потому, что автора его поразили такіе факты дѣйствительности, изъ которыхъ эта идея вытекаетъ сама собою.

Н. А. ДОБРОЛЮБОВ. СОЧИНЕНИЯ, Т. III ИЗ ЛИЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ БЛОКА С ЕГО ПОМЕТАМИ

Центральный архив литературы и искусства, Москва

рассказах является почти первым и весьма искусным борцом на этом поприще».

Поэт обратил внимание на отмеченное Добролюбовым важное достоинство украинской писательницы — умение прислушиваться к еще отдаленному для нас, но сильному в самом себе «гулу народной жизни». Привлекла его также и мысль Добролюбова о том, что в будущем следует ожидать появления «эпопеи народной жизни». Против этой фразы был поставлен знак «NB, NB».

Затем Блок сделал две вертикальные черты и поставил «NB» рядом с таким очень близким ему рассуждением Добролюбова: «Не пора ли уже нам от этих тощих и чахлых выводков неудавшейся цивилизации обратиться к здоровым

росткам народной жизни, помочь их правильному успешному росту и цвету, предохранить от порчи их прекрасные и обильные плоды? События зовут нас к этому, говор народной жизни доходит до нас, и мы не должны пренебрегать никаким случаем прислушаться к этому говору».

В целом на страницах этой статьи встречается максимальное число разнообразных знаков, поставленных Блоком при чтении.

Против слов Добролюбова об «отвращении к крепостному праву и крепостному труду», крепко развитом в народной массе, Блок записал на полях: «мои приметы».

Чтение поэтом статьи «Луч света в темном царстве» и всесторонний анализ помет в этом тексте требуют самостоятельного исследования и затрагиваются в данном случае частично.

Заслуживает пристального внимания отчеркнутая Блоком мысль Добролюбова о том, что именно Островский «*почувствовал, что не отвлеченные верования, а жизненные факты управляют человеком, что не образ мысли, не принципы, а натура нужна для образования и проявления крепкого характера*». Здесь был поставлен необычный и больше не встречающийся знак «№+», наряду с подчеркиванием текста и вертикальным его отчеркиванием.

Рассматривая произведения Островского, Добролюбов подробно характеризовал различные типы писателей: «В литературах всех народов мы находим множество писателей, совершенно преданных искусству ⟨...⟩ и ни мало не заботящихся требованиями человеческой природы. Эти писатели, может быть, и не лжецы, но произведения их тем не менее ложны, и в них мы не можем признать достоинств, *разве только относительно формы*». После двойного подчеркивания последних слов Блок на полях записал кратко: «декаденты!». Лаконичная помета будто выносит приговор нежизнеспособности произведений декадентов всех мастей и эпох, при этом чувствуется резкое неприятие их Блоком. Это пример редких маргиналий, которые могут быть столь однозначно трактованы.

Сопряжение с современностью творческого наследия прошлого — отличительная черта читательского восприятия Блока, красноречиво запечатленная на страницах книг Добролюбова.

БЛОК И А. К. ТОЛСТОЙ

Статья Н. П. Колосовой

Имя А. К. Толстого встречается в блоковедении преимущественно в связи с «соотношением комического в художественном творчестве Вл. Соловьева и Ал. Блока» [1]. Однако интерес Блока к А. К. Толстому не ограничивается лишь увлечением «поэтом из Пробирной палатки». На других путях, куда более важных, хотя и не столь очевидных, обнаруживаются связи этих двух разных поэтов.

О влиянии А. К. Толстого на Блока можно говорить в двух аспектах: 1. Опосредствованное влияние через поэзию Вл. Соловьева с ее культом Вечной Женственности. 2. Непосредственное — реминисценции творчества А. К. Толстого в поэзии Блока.

Линия связи А. К. Толстой — В. С. Соловьев — Блок выявляется отчетливо, если анализировать ее в обратном порядке, начиная с Блока. Огромное влияние, которое оказала поэзия Вл. Соловьева на Блока, сомнению не подвергается. Наиболее важные свидетельства дает сам Блок, называвший Соловьева своим учителем: «Я знаю угол, под которым стихи Соловьева (даже без исключений) представляются обмокнутыми в чернила (смерть, и смерть, и смерть...). Но сквозь все это проросла лилейная по сладости, дубовая по упорству жизненная сила, сочность Соловьева ⟨...⟩ Эту силу принесло Соловьеву то Начало, которым я дерзнул восхититься,— Вечно Женственное» (VIII, 128).

Между тем, хотя в основе учения Вл. Соловьева о Софии лежит прежде всего личный мистический опыт, для преображения этого опыта в философскую теорию, отзвуком которой была поэзия Соловьева, нужны были соответствующие условия. Иными словами: для процесса «кристаллизации» требовался ряд обстоятельств вполне реального свойства. Биограф Соловьева К. Мочульский показывает, что таким обстоятельством для философа послужило сближение его в 1876 г. с семьей скончавшегося за год до этого А. К. Толстого. В доме Толстого, куда Соловьев был введен племянником вдовы поэта литератором Д. Н. Цертелевым, близким другом и Соловьева, и Толстого, С. А. Толстая и ее племянница С. П. Хитрово поддерживали культ поэта. Читались и перечитывались произведения и письма, обсуждались его взгляды, вспоминались эпизоды из жизни. Алексей Константинович Толстой собрал, в частности, очень полную, редкостную библиотеку по мистике, магии, спиритизму, каббале и т. п. Интерес к литературе подобного рода был весьма свойствен и В. Соловьеву. К. Мочульский пишет: «В момент сближения Соловьева с семьей Толстого общий тон дома определялся духом невидимо присутствовавшего в нем покойного поэта ⟨...⟩ В атмосфере романтической таинственности и космической поэзии выросло учение Соловьева о Софии» [2]. Эта опосредованная связь между А. К. Толстым и Блоком не может и не должна рассматриваться упрощенно, наивно было бы говорить в данном случае о безусловном детерминизме. Однако, изучая «корневую систему» творчества Блока, как и любого художника, не следует пренебрегать возможными катализаторами процесса воплощения идей в систему. Степень их влияния установить, естественно, невозможно, но нельзя не признать очевидным то, что атмосфера дома Толстого, обусловленная его творчеством и мировоззре-

нием, способствовала созданию учения Соловьева о Софии и параллельно ему — поэзии, воспевающей Вечно Женственное, которым «дерзнул восхититься» Блок, и что, следовательно, создание «Стихов о Прекрасной Даме» оказывается в какой-то мере связанным с именем А. К. Толстого.

В сущности, дело в том, что Блоку, как Соловьеву и Толстому, было свойственно мистическое мировосприятие. «Мистицизм,— писал Блок,— не есть «теория»; это *непрестанное* ощущение ⟨...⟩ и констатированье в самом себе и во всем окружающем таинственных, ж и в ы х, ненарушимых связей друг с другом и через это — с Неведомым ⟨...⟩ Он проникает меня всего, я в нем, и он во мне. Это — моя природа. От него я пишу стихи» [3].

В послании к И. С. Аксакову о том же говорит и А. К. Толстой:

...В беспредельное влекома,
Душа незримый чует мир. . .[4]

Еще яснее эта тема звучит в «Иоанне Дамаскине»:

А все сокровища природы:
Степей безбережный простор,
Туманный очерк дальних гор
И моря пенистые воды,
Земля, и солнце, и луна,
И всех созвездий хороводы,
И синей тверди глубина —
То все одно лишь отраженье,
Лишь тень таинственных красот,
Которых вечное виденье
В душе избранника живет! [5]

Выросший в традиционной, интеллигентной семье Бекетовых, где «господствовали ⟨...⟩ старинные понятия о литературных ценностях и идеалах» (VII, 12) — исследователи даже ввели в научный оборот термин «бекетовская культура»,— Блок, естественно, с детства воспитывался на лучших образцах русской и мировой литературы. В результате отбора, обусловленного внутренней близостью, общностью душевной природы, способностью заставлять звучать те же струны, круг русских поэтов XIX в., оказавших особое влияние на Блока, впоследствии выявился отчетливо. Это — Пушкин, Жуковский, Лермонтов, Баратынский, Фет, Ап. Григорьев, Некрасов, Полонский, Тютчев, Вл. Соловьев. Другие — а их было немало — существенного влияния на Блока как будто не оказали, если судить по всему его творчеству в целом и его собственным высказываниям.

К. И. Чуковский на большом числе примеров убедительно показал, что в поэтическое сознание Блока поразительным образом впечатывалось чужое творчество. Он отмечал также, что Блок порой не замечал, что некоторые строки его стихов не принадлежат ему, т. е. что вплетались они в ткань его собственного произведения очень часто бессознательно (в противном случае Блок, как известно, прибегал к шрифтовым выделениям не принадлежащих ему строк или пояснял в примечаниях, у кого они заимствованы). Объяснял эту особенность Чуковский исключительной «звуковой впечатлительностью», вследствие которой поэт «запоминал чужие стихи главным образом как некий музыкальный мотив, ощущая в них раньше всего — мелодию» [6]. К этому выводу хочется еще добавить, что по большей части, помимо звукового совпадения, существенное значение имело и совпадение смысловое, или образное. Среди примеров, приводимых Чуковским, подтверждением этому может служить близость строк Пушкина: «Черты волшебницы прекрасной» — и Блока: «Черты француженки прелестной». Это и понятно: синонимические ряды определенных образов не так уж богаты, отсюда частые заимствования из собственных текстов, характерные для творчества, наверное, любого поэта, в том числе и Блока. Когда в сознании поэта повторно возникает образ, память услужливо подсказывает ему уже однажды найденные слова. То же, очевидно, происходит и при заимствовании (невольном) из чужого творчества, поскольку каждый поэт буквально «про-

питан» творчеством своих предшественников. Большее же или меньшее обращение к тому или иному поэту объясняется, по-видимому, как степенью внутренней близости, так и тем впечатлением, которое было оказано, даже если впечатление это было кратковременным.

В этом плане речь о влиянии А. К. Толстого на Блока может на первый взгляд породить недоумение. Немногочисленные прямые упоминания имени А. К. Толстого Блоком не могут, казалось бы, возбудить интереса исследователя. Мимоходом Блок упоминает, что в юности «мелодекламировал стихи Ал. Толстого» (VII, 344); в общем одобрительно, хотя и с некоторым как бы недоумением, отзывается о переводах Толстым Гейне (VI, 121); положительно оценивает его трагедии (VI, 138); одно незавершенное юношеское стихотворение посвящает «Автору „Князя Серебряного“» (I,417). (К сожалению, в библиотеке Блока, находящейся в ИРЛИ, не сохранилось книг А. К. Толстого, хотя, несомненно, они у поэта были. Достоверно известно, например, что Блок имел экземпляр „Князя Серебряного“ и, видимо, одно из собраний сочинений А. К. Толстого, возможно аналогичное сохранившемуся бекетовскому, которое было перевезено теткой поэта С. А. Кублицкой-Пиоттух из шахматовской библиотеки в ее имение Сафоново в 1910 г.). В диалоге «О любви, поэзии и государственной службе» (IV, 64) Поэт декламирует (характерно, что с авторской ремаркой «полубессознательно») стихотворение А. К. Толстого «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», стихотворение, в котором Толстой воплотил свое понимание метафизической сущности любви.

В одной статье (V, 331) Блок цитирует строки из «Потока-богатыря»; в критических разборах замечает «заимствованное сочетание строк» (V, 230—231) из А. К. Толстого у поэта Вл. Ленского; обнаруживает, что на поэзию Л. Семенова Толстой оказал влияние «неожиданно и любопытно» (V, 593).

На этом упоминания Блока о А. К. Толстом обрываются. Он, правда, причисляет его к «нашим маленьким классикам» (VI, 313), но былины его считает «второсортными» [7], с неодобрением говорит и о языке его исторических произведений, ссылаясь на авторитет академика Соболевского и на собственные «слух и чутье» (V, 624), считает творчество Толстого не «народным», а «дворянским». Неприятие Блоком былин и баллад Толстого заслуживает особого рассмотрения.

В статье «Девушка розовой калитки и муравьиный царь» Блок (совершенно по-чаадаевски упоминая «безобразную историю» России) с раздражением ополчается на позднюю стилизацию русских былин, русских преданий, противопоставляя им возвышенную романтику западных легенд. В русских былинах, говорит Блок, «какие-то богатыри, которые умеют ругаться, умеют бахвалиться, а лучше всего умеют пьянствовать и расправлять грязные кулачищи». «<...> Из легенды вышло не вздыхающее предание, не повесть о любви легкой и бессмертной, а какой-то отвратительный поползень, который окарачь ходит»,— заключает Блок. И в этой связи гнев его падает на А. К. Толстого: «И вот уже граф Алексей Толстой, этот аристократ с рыбьим темпераментом, мягкотелый и сентиментальный, имеет возможность вдохновенно изложить русскую былину, легенду или историю скверным русским языком, выжать из нее окончательно всю западную общечеловеческую прелесть» (V, 90). Обвинение это поражает прежде всего потому, что именно былинное творчество Толстого еще при его жизни подвергалось нападкам критиков, которые порицали его за идеализацию эпохи и героев. Критика сплошь и рядом отмечала несоответствие грубых нравов, характерных для древней Руси, и возвышенной романтики, наполнявшей произведения Толстого. Сам он был приверженцем норманской теории возникновения русского государства и считал, что славянство — «элемент чисто *западный*, а не восточный, не *азиатский*» [8]. «Я западник с головы до пят, и подлинное славянство — тоже западное, а не восточное» [9]. Его, как и Блока, раздражали псевдорусские былины, и именно тем же, что и Блока, раздражали. Критикуя «Песни, собранные П. Н. Рыбниковым», Толстой пишет: «Такой уродливости,

как в наших *позднейших* великорусских былинах, я нигде не встречал <...> Россия, современная песни о полку Игоря, и Россия, сочинившая былины, в которых Владимировы богатыри *окарачь ползут, в норы прячутся*,— это две разные России. А что скажете вы о князе *Новогородском*, который велит Василью Буслаеву *срубить голову*, если он не сумеет пройти через мост? *Новогородский князь*! И это выдается нам за *новгородскую* былину!» [10]. По поводу своей «нормано-русской» баллады «Три побоища» Алексей Константинович писал: «Цель моя была передать только колорит той эпохи, а главное, заявить нашу общность в то время с остальной Европой» [11]. Находясь в Германии, он признавался в одном из писем: «Все дышит здесь рыцарством и Западом, и мне, право, свободнее дышится» [12]. Тяготение к рыцарским временам, обращение к ним в творчестве характерно для обоих поэтов («Алхимик» А. К. Толстого, «Роза и Крест» Блока).

Здесь следует оговориться, что заявление А. К. Толстого: «Я западник» — ни в коей мере не означает его идейной принадлежности к партии «западников» (равно, как и к любой другой), т. е. к людям, безоговорочно противопоставлявшим Запад России, ставившим Запад выше России. Алексей Константинович был убежден в единстве корня, от которого пошли и славянские, и европейские племена[13]. Он с уважением относился к западной культуре, сожалея, что монгольское иго значительно застопорило развитие ее на Руси и вообще роковым образом отозвалось на всей русской истории. Однако в исторической перспективе отношение к будущему России у Толстого было оптимистичным именно вследствие его глубокой убежденности в благотворном, плодоносном и сильном европейском начале славянства, которое рано или поздно очистится от «татарского облака». В этом смысле он ставил себя даже впереди славянофилов: «Я больше *русский*, чем всевозможные Аксаковы и Гильфердинги, когда прихожу к выводу, что русские — *европейцы*, а не монголы» [14]. Свои надежды на обновление России А. К. Толстой связывал с грядущими поколениями, которые возродят былую славу отечества («Потомки беду перемогут»), основывающуюся прежде всего на неискаженных началах нравственности.

Но от идеализации Запада Толстой был далек. Если какой-либо факт современной ему политической жизни Европы возмущал его, он заявлял: «Я от нее отрекаюсь и призываю к негодованию всех тех, кто мыслит по-европейски» [15]. Мыслить «по-европейски» для него означало оценивать событие с позиций благородства, беспристрастия, антибуржуазности. Таким образом, это выражение — скорее символ, имеющий исток в далеком прошлом. И здесь можно провести параллель со взглядами Блока, который, создав в 1918 г. знаменитых «Скифов» — обращение к Европе,— писал в дневнике: «Мы на вас смотрели глазами арийцев, пока у вас было лицо»; «Опозоривший себя, так изолгавшийся — уже не ариец»; «Последние арийцы — мы» (VII, 317). В «Скифах» же было:

Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы,
С раскосыми и жадными очами!

Так кто же «мы»? Думается, что и для Блока (хочется сказать — особенно для Блока) понятия «арийцы» и «азиаты» были прежде всего символами, определяющими двойственную природу русского человека. Причем оба эти начала в контексте философии истории Блока были безусловно категориями не биологическими, а нравственными, идеологическими.

И А. К. Толстой и Блок традиционно, как большинство русских интеллигентов, нередко бранили Россию, иной раз и очень резко. Но в основе лежала глубокая любовь к родине, то чувство, о котором Чаадаев говорил, что оно «нисколько не враждебно отечеству: это — глубокое чувство наших немощей, выраженное с болью, с горестью — и только» [16].

Еще в 1908 г. в письме к Станиславскому Блок заявил, что посвящает свою жизнь «*теме о России*»: «Ведь здесь — жизнь или смерть, счастье или погибель» (VIII, 266). В этом же письме он надеется на «возрождение национального само-

сознания». А в 1919 г. в статье «Крушение гуманизма» он говорит: «У нас велика память стихийная; нашим пространствам еще суждено сыграть великую роль». Таким образом, и у А. К. Толстого и у Блока по-разному оформленное внешне, но единое по внутренней сущности упование — вера в нерастраченные, исконно присущие русскому народу громадные потенциальные творческие силы. Но принципиальная разница мироощущений Толстого и Блока заключалась в стремлении к упорядоченности, гармонии у первого и к стихийности, катастрофизму у второго. Скифство как олицетворение неодолимой стихии — притягательно для Блока и чуждо А. К. Толстому. Поэтому Толстой хочет видеть только европейское начало в славянстве, досадуя на «туранскую» примесь, а Блок об «азиатской роже», о том, что мы можем «скинуться азиатами», говорит с явным удовлетворением. Эта двойственность импонирует Блоку, в то время как для Толстого она источник мучительных сожалений.

Блок и А. К. Толстой были близки только в очень глубоких пластах мироощущения и очень разнились «на поверхности», там, где проявляются чисто характерологические, личностные особенности. Недаром Блок говорит о «рыбьем темпераменте», о «мягкотелости». Ведь сам он требовал от поэта, чтобы тот в своих творениях «*сжег себя дотла*» (V, 278), а этого пожара, безумства страстей у А. К. Толстого он не находил. Не находил и поэтому не мог принять его творчества целиком. В юности обостренно мистическому мироощущению Блока были тем не менее близки многие произведения А. К. Толстого, но, конечно, те, в которых особенно явственно сказывалась родственная ему мистическая природа. Так, в репертуаре Блока-декламатора было стихотворение А. К. Толстого «В стране лучей, незримой нашим взорам...» и монолог «Дон Жуана» из его одноименной драматической поэмы [17].

Юношеское увлечение Блока «Дон Жуаном» Толстого спустя почти пятнадцать лет «неожиданно и любопытно», как сказал Блок о влиянии Толстого на Л. Семенова, отозвалось в его собственном стихотворении «Шаги командора». (Здесь, кстати, можно еще высказать предположение, что в названии и отчасти в настроении, которым проникнуто это произведение, сыграло роль стихотворение Э. Верхарна «Шаги» («Les pas»), переведенное Блоком в 1905 г.)

В статье «Истины» в связи с «возможными типами миросозерцаний» [18] В. Брюсов приводит как пример «образы многих Дон Жуанов», созданных мировой литературой. Действительно, кажется, ни один образ, пришедший в литературу из европейской легенды, не нашел так много интерпретаторов. И, как ни странно, при том, что мало какие два произведения так непохожи по внешнему решению, как «Шаги командора» Блока и «Дон Жуан» А. К. Толстого, именно они по сути своей отражают общность мировоззрений авторов.

Поразительно единодушие, с которым ряд исследователей творчества Блока соотносят его стихотворение с «Каменным гостем» Пушкина. Так, разбирая ритмику «Шагов командора», Вяч. В. Иванов говорит, в частности: «Для семантического истолкования стихотворения центральной представляется проблема соотнесения использованной Блоком традиционной символики европейской легенды и ее русского воплощения (в „Каменном госте“) с мотивами его собственного творчества» [19].

Анализируя «Шаги командора» в связи с «Поэмой без героя» Ахматовой, В. Н. Топоров опять-таки упоминает пушкинского Дон Гуана [20].

И, наконец, подробно сопоставляет текст блоковского стихотворения с пушкинской трагедией с целью доказать близость этих двух произведений З. Г. Минц [21].

По мнению исследователя, в данном случае «знаком соотнесенности с пушкинским текстом оказываются, как обычно, цитаты и перефразировки. Почти все они из IV сцены «Каменного гостя». Затем приводятся тексты, долженствующие подтвердить близость обоих произведений:

У Пушкина:	У Блока:
Я звал тебя	Ты звал меня
Я на зов явился.	Я пришел.

Далее говорится: «Сложный и противоречивый пушкинский персонаж характеризуется Блоком более однопланово. Блок убирает то, что подчеркнуло бы поэтичность Дон-Жуана, например, заменяет описание смелости и непреклонности героя мотивами его страха» (следуют соответствующие цитаты). «Мотив вины также усугублен Блоком,— продолжает З. Минц.— В „Каменном госте" Дон Гуан убивает Командора — у Блока он убийца (или, по крайней мере, виновник смерти) и Донны Анны».

Между тем, на наш взгляд, стихотворение «Шаги командора» заставляет вспомнить содержание драматической поэмы А. К. Толстого «Дон Жуан».

Она посвящена памяти Моцарта и Гофмана и имеет эпиграф из рассказа «Дон Жуан»: «Но таково несчастное последствие грехопадения, что враг получил силу подстерегать человека и ставить ему злые ловушки даже в его стремлении к высшему, в котором сказывается его божественная природа. Это столкновение божественных и демонических сил обусловливает понятие земной жизни точно так же, как одержанная победа — понятие жизни неземной» [22]. Рассказ был написан Гофманом под впечатлением оперы Моцарта. Но либретто моцартовской оперы, сочиненное испанским драматургом Л. Да-Понте по мотивам севильской легенды, обработанной Тирсо де Молина («Севильский обольститель, или Каменный гость»), вовсе не давало оснований видеть в дон Жуане «падшего ангела» — разочарованного искателя идеала. Опытный дон Жуан, обольстивший Анну, которая намерена ему отомстить, веселится за ужином, и в этот момент его застает статуя Командора. Однако музыка Моцарта потрясла воображение Гофмана, который под ее впечатлением переосмыслил действие оперы. Он пишет: «Если рассматривать эту поэму, не придавая ей более глубокого смысла и обращая внимание только на повествовательную сторону, то едва ли можно понять, каким образом Моцарт мог придумать и создать для нее такую музыку. Гуляка, сверх меры любящий вино и женщин, проказливо приглашающий к своему столу каменного человека ⟨. . .⟩ не стоит того, чтобы подземные силы отличили его как исключительный раритет для ада». «Столкновение человеческой природы с неведомыми, страшными силами, которые окружают ее, добиваясь ее гибели, ясно предстало перед моими духовными очами»,— заключает Гофман [23].

А. К. Толстой, интерпретируя тему дон Жуана, развил ее в направлении, обозначенном Гофманом. Он писал о своем замысле: «Драма будет посвящена памяти Моцарта и Гофмана, который первым увидел в дон Жуане искателя идеала, а не простого гуляку» [24]. Образ севильского обольстителя вдохновлял, как мы уже говорили, многих писателей разных стран и в разное время. Известны «Дон Жуаны» Мольера, Байрона, Пушкина, Ирвинга, Бодлера, Ленау... «Каждый, впрочем, понимает „Дон Жуана" на свой лад,— писал А. К. Толстой,— а что до меня, то я смотрю на него так же, как Гофман: сперва дон Жуан верит, потом озлобляется и становится скептиком; обманываясь столько раз, он больше не верит даже и в очевидность» [25].

В драматической поэме Толстого донна Анна — воплощение добродетели,— обманутая дон Жуаном, принимает яд и погибает. Не явление Командора, а смерть донны Анны потрясает дон Жуана, до этого не верившего в любовь. «*Именно гибель* донны Анны заставляет его прозреть»,— поясняет Толстой [26].

От своих литературных предшественников дон Жуан Толстого отличается еще и тем, что для него любовь не ограничивается индивидуальным переживанием. Вот строки из монолога дон Жуана, который читал Блок:

А кажется, я понимал любовь!
Я в ней искал не узкое то чувство,
Которое, два сердца съединив,
Стеною их от мира отделяет.
Она меня роднила со вселенной,
Всех истин я источник видел в ней,
Всех дел великих первую причину.
Через нее я понимал уж смутно
Чудесный строй законов бытия,
Явлений всех сокрытое начало [27].

Это понимание любви как явления более высокого порядка, чем обыкновенная «земная» влюбленность, было свойственно и Блоку. Личной его трагедией яви-

лось то же проклятие, которое тяготело над дон Жуаном Толстого и выражалось в словах Сатаны:

Когда ж захочет он, моим огнем палим,
В объятиях любви найти себе блаженство,
Исчезнет для него виденье совершенства,
И женщина, как есть, появится пред ним.
И пусть он бесится, пусть ловит с вечной жаждой
Все новый идеал в объятьях девы каждой!
Так с волей пламенной, с упорством на челе,
С отчаяньем в груди, со страстию во взоре,
Небесное Жуан пусть ищет на земле
И в каждом торжестве себе готовит горе! [28]

В ранних стихах Блок предчувствовал:

Но страшно мне: изменишь облик Ты,
И дерзкое возбудишь подозренье,
Сменив в конце привычные черты.
(I, 94)

Значительно позже появилась дневниковая запись: «Я искал „удовольствий", но никогда не надеялся на счастье. Оно приходило само и, приходя, как всегда, становилось сейчас же не собою. Я и теперь не жду его, Бог с ним, оно — не человеческое» (VII, 123). А. К. Толстой писал о своем дон Жуане: «В ранней молодости он любил по-настоящему, но, постоянно обманываясь в своих чаяниях, он в конце концов перестал верить в идеал и горькое наслаждение стал находить, попирая ногами все то, чему он некогда поклонялся. *Я изображаю его в этот второй период*» [29]. Приведенная выше дневниковая запись Блока поразительно близка по настроению к «этому второму периоду» — периоду разочарования. Датирована она январем 1912 г. А немного спустя, в феврале 1912 г., появляется окончательная редакция «Шагов командора» (III, 80), начатых еще осенью 1910 г. Стихотворение это загадочное, мрачное, трагическое, с отчетливо звучащей темой рокового возмездия. Недаром и включено оно Блоком в цикл «Возмездие». Какие личные переживания легли в основу создания «Шагов командора», можно только гадать.

В 1909—1910 гг. появляются стихи и дневниковые записи Блока, связанные с дошедшими до него ложными, как потом выяснилось, слухами о смерти К. М. Садовской — первой любви поэта. Ему является «синий призрак умершей любовницы», является в период глубочайшей опустошенности:

Жизнь давно сожжена и рассказана,
Только первая снится любовь...
(III, 186)

Может быть, потому, что мертвые часто вызывают у близких острое чувство вины, воспоминания о К. М. С. приняли такую трагическую окраску.

Возможно и то, что попытки наладить семейную жизнь с Л. Д. Менделеевой, которые приходятся как раз на 1910—1912 гг., ни к чему не приведшие и вынудившие Блока к грустным признаниям: «Ты изменил давно, бесповоротно» и «С мирным счастьем покончены счеты»,— были опять-таки сопряжены с чувством вины уже перед Л. Д. М. Могли быть и другие обстоятельства, которые нам неизвестны, и, наконец, стихотворение могло не иметь непосредственных личных причин. Но так или иначе «Шаги командора», первоначально составлявшие одно целое со стихотворениями «С мирным счастьем покончены счеты» и «Седые сумерки легли...», свидетельствуют о трагической завершенности какого-то — житейского или душевного — этапа в судьбе поэта («покончены счеты», «бесповоротно») (III, 22, 23).

При сопоставлении «Шагов командора» с «Дон Жуаном» А. К. Толстого прежде всего обращают на себя внимание два основных общих момента, характерных только для этих двух своеобразных интерпретаций классической легенды о дон Жуане: смерть донны Анны и ожесточение дон Жуана, бросающего вызов судьбе. При сравнении текстов обоих произведений бросаются в глаза отчетливые реминисценции и прямые совпадения. Совпадают время действия («Уж светлеет небо на востоке» у А. К. Толстого — «В час рассвета холодно и странно» у Блока); бессмысленные и безнадежные взывания к уже умершей донне Анне («Где донна Анна?» у А. К. Толстого — «Где ты, донна Анна?» у Блока); ужас, охвативший дон Жуана и связанный не с явлением Командора, а с мыслью о гибели донны Анны («Остыла кровь и сердце холодеет» у А. К. Толстого — «Что теперь твоя постылая свобода, // Страх познавший Дон-Жуан?» у Блока). В последнем действии поэмы Толстого дон Жуан узнает о смерти донны Анны, понимает, что любил ее, и, сознавая непоправимость случившегося, в ожесточении проклинает «молитву, рай, блаженство, душу», бросая вызов судьбе и отвергая покаяние: «И смерть и ад на бой я вызываю!». Герой блоковского стихотворения с безнадежностью взывает к Анне, которая «спит в могиле», и, как и дон Жуан Толстого, бросает вызов року: «Выходи на битву, старый рок!».

Ощущение жестокости и бессмысленности жизни, холодная безнадежность и опустошенность присущи героям обоих произведений (у А. К. Толстого: «Все в мире ложь! Вся жизнь есть злая шутка!»; у Блока: «Жизнь пуста, безумна и бездонна!»). Особо обращает на себя внимание абсолютное совпадение — редкий пример буквального бессознательного цитирования целого предложения (!) — слов Командора у Толстого и в стихотворении Блока: «*Ты звал меня на ужин*». Интересно, что фраза эта не вдруг полностью всплыла в поэтическом сознании Блока. В черновиках зафиксированы поиски единственно удовлетворяющего варианта. Первоначально (в прозаическом плане-наброске) было: «Ты звал меня на пир?». Но слова эти не соответствовали стихотворному размеру. Вторая редакция: «Твой дурак позвал меня на ужин» (III, 519—520) — ритмически совпадает с уже определившимся строем стихотворения, но грубоватое выражение «Твой дурак» несомненно снижало бы трагическое звучание всего произведения. В конце концов возникает (всплывает в памяти?) окончательная редакция: «Бой часов: „*Ты звал меня на ужин...*“» (Курсив мой.— *Н. К.*). Кстати, в «Каменном госте» Пушкина дон Гуан зовет Командора не на ужин, а «стать на стóроже в дверях» [30].

Вообще говоря, герой драматической поэмы Толстого близок лирическому герою Блока, т. е. в сущности, самому Блоку: «продолжительная и глубокая вера» Блока в Л. Д. Менделееву как в земное воплощение Вечной Женственности — это именно то, что было свойственно толстовскому дон Жуану, который пытался найти в любви земной адекват любви небесной:

Он помнил виденье,
Но требовал снова
Ему примененья
Средь мира земного [31].

Об опасностях смешения идеального и реального, любви земной и любви небесной Блок провидчески говорил еще в раннем своем стихотворении «Две любви»: «Страшись грядущей кары! Страшись грозящего перста...» (I, 348).

Когда кара эта свершилась, Блок пишет: «Отныне я не посмею возгордиться, как некогда, когда неопытным юношей задумал тревожить темные силы — и уронил их на себя» (VIII, 344). (Вспомним, что Сатана в поэме Толстого, чтобы завладеть душой дон Жуана, делает ставку именно на подмеченную у того гордость.) В произведении А. К. Толстого двойственность дон Жуана («Путь его двойной. И сам он, кажется, двоится» [32]), его «демонизм» ни в коей мере не отражают авторской позиции, которую высказывают в поэме Духи:

Блажен, кто...
. . . . . .
...Мыслью, вечно восходящей,
Не в жизни видит идеал,
И кто души своей любящей
Упорно к ней не приковал! [33]

А. К. Толстому было свойственно более гармоничное, чем Блоку, миросозерцание. Достаточно сравнить безысходное блоковское «Ночь, улица, фонарь, аптека...» с толстовским:

В битве смерти и рожденья
Основало Божество
Нескончаемость творенья,
Мирозданья продолженье,
Вечной жизни торжество! [34]

Есть еще любопытное совпадение в творчестве Блока и А. К. Толстого. В пояснениях к драме «Роза и крест» Блок пишет: «Гаэтан — не человек, а призрак» (IV, 529); «Гаэтан есть прежде всего некая сила, действующая помимо своей воли ⟨...⟩ Гаэтан сам ничего не знает, он ничему не служит ⟨...⟩ воли не имеет. Он — instrumentum Dei *, орудие судьбы» (IV, 535). Гаэтан — это лицо, которое «не действует самостоятельно». Эти разъяснения Блока указывают вполне определенно на то, что наряду с конкретно-жизненными персонажами в его произведении действуют, причем играют исключительно важную роль, персонажи мистико-символические, носящие «маску» реальных людей, но ими не являющиеся.

А вот что представляет собой статуя Командора в «Дон Жуане» Толстого. Это «бессмысленная сила», «без воли и сознанья». «Эта статуя,— пишет Толстой,— не есть ни каменное изваяние, ни дух командора. Это — *астральная сила, исполнительница решений* ⟨...⟩ это опосредствующее лицо воплощается в подобие статуи, приглашенной дон Жуаном. Овладение совершается не в физическом, а всецело в духовном смысле, однако в символической форме» [35].

По блоковской терминологии символизм и мистицизм — синонимы. Символистическая, или мистическая природа — вот общая основа творчества Блока и А. К. Толстого. Различие — в степени проявления в творчестве. Хотя Алексей Константинович принадлежал к другому времени и как течение символизм оформился значительно позднее, элементы символизма присутствуют и у него. «Символистом можно только родиться ⟨...⟩ — писал Блок,— быть художником — значит выдерживать ветер из миров искусства, совершенно не похожих на этот мир, только страшно влияющих на него; в тех мирах нет причин и следствий, времени и пространства, плотского и бесплотного, и мирам этим нет числа» (V, 433).

Элементы мистического мировосприятия А. К. Толстого, пронизывающие его творчество, чаще всего по традиции декларируются: «душа незримый чует мир», «служа таинственной отчизне» и т. п.— или оформляются в сказочно-мифическую форму, где явления необычные описываются как привычные, реально существующие. Но у него уже наблюдается стремление объясниться с читателем посредством наибольшего приближения к ощущаемым им «иному значению» и «иной красоте», скрывающимися за внешним, зримым покровом. Для этого, понимает он, нужны иные формы:

Гляжу с любовию на землю,
Но выше просится душа;
И что ее, всегда чаруя,
Зовет и манит вдалеке, —

* Инструмент Бога (*лат.*).

О том поведать не могу я
На ежедневном языке [36].

И если поэтом-символистом в полном (позднем) смысле этого слова А. К. Толстого назвать нельзя, то нельзя не обратить внимания на суждение И. Анненского в связи с его оценкой поэзии Майкова. У Майкова, писал Анненский, «нет именно того особого музыкального колорита, который был так дивно и так сжато передан графом А. К. Толстым в известном и пока чуть ли не единственном перле нашей символической поэзии:

Он водил по струнам, упадали
Волоса на безумные очи» [37].

Это было сказано критиком в 1898 г., когда только начинался поэт Александр Блок, еще мелодекламировавший стихи А. К. Толстого:

В стране лучей, незримой нашим взорам,
Вокруг миров вращаются миры...

— и читавший в петербургских гостиных монолог дон Жуана, Блок, которому суждено было стать лучшим, первейшим по значению поэтом-символистом, вобравшим в себя опыт и духовные стремления своих предшественников «больших» и «малых».

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Уч. зап. ТГУ», вып. 266, 1971, с. 128.
[2] К. Мочульский. Владимир Соловьев. Жизнь и учение. Париж, 1951, с. 78.
[3] ЛН, т. 89, с. 107.
[4] А. К. Толстой. Собр. соч. в 4 томах, т. 1. М., «Худож. литература»,1963, с. 190.
[5] Там же, с. 515.
[6] К. Чуковский. Книга об Александре Блоке. Пб., «Эпоха», 1922, с. 56—57.
[7] «Александр Блок. Переписка. Аннотированный каталог», вып. 2. М., 1979, с. 276.
[8] А. К. Толстой. Собр. соч, т. 4, с. 335.
[9] Там же, с. 336.
[10] Там же, с. 334.
[11] Там же, с. 268.
[12] Там же, с. 218.
[13] Там же, с. 335.
[14] Там же, с. 259.
[15] Там же, с. 258.
[16] Сочинения и письма П. Я. Чаадаева в 2 томах, т. 2. М., 1914, с. 226.
[17] «Блок в воспоминаниях современников», т. 1. М., «Худож. литература», 1980,с. 92.
[18] В. Брюсов. Собр. соч. в 7 томах, т. 6. М., «Худож. литература», 1975, с. 56.
[19] Тезисы 1-й Всесоюзной конференции «Творчество А. А. Блока и русская культура XX века». Тарту, 1975, с. 37.
[20] Там же, с. 123.
[21] «Уч. зап. ТГУ», вып. 306, 1973, с. 244.
[22] А. К. Толстой. Собр. соч., т. 2, с. 7.
[23] Э. Т. А. Гофман. Новеллы и повести. М., «Худож. литература», 1936, с. 255.
[24] А. К. Толстой. Собр. соч. т. 4, с. 113.
[25] Там же, с. 132.
[26] Там же, с. 136.
[27] Там же, т. 2, с. 31.
[28] Там же, с. 19.
[29] Там же, т. 4, с. 131.
[30] Пушкин. Полн. собр. соч., т. 7. М., Изд-во АН СССР, 1948, с. 162.
[31] А. К. Толстой. Собр. соч., т. 2, с. 83.
[32] Там же, с. 84.
[33] Там же, с. 13.
[34] Там же, с. 10.
[35] Там же, т. 4, с. 136.
[36] Там же, т. 1, с. 191.
[37] И. Анненский. Книги отражений. М., «Наука», 1979, с. 277.

ПОМЕТЫ БЛОКА НА КНИГАХ ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX В.

Статья О. В. Миллер

«Пересмотрите также после меня и мои книги. Они интересные, на некоторых надписи»

(*Дневник Блока, VII, 63*)

Личная библиотека Александра Блока, его книги, любовно собиравшиеся им в течение всей его жизни,— одно из ценнейших мемориальных книжных собраний — бережно сохраняется в Ленинграде в библиотеке Института русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом).

Книга занимала особое место в жизни Блока. Его любовь к книге не была обычной библиофильской страстью, а чем-то гораздо большим. Это можно почувствовать, читая дневник, письма, записные книжки поэта.

Останавливают внимание в письме Блока к матери слова: «Хочу к книгам» (VIII, 88). Это написано перед отъездом из Москвы, где он устал от литературных встреч и новых знакомств. Знаменательно, что в его дневнике сохранилась и приведенная выше запись завещательного характера.

Благоговейным отношением к книге Блок проникся еще в детстве, в семье, где, по словам К. И. Чуковского, «жили книгами, молились на книги, от этой наследственной семейной культуры он не отрывался до последнего дня» [1].

Свою библиотеку Блок собирал тщательно и продуманно. Им была собрана богатейшая коллекция издательских и антикварных каталогов. Посещение букинистических магазинов было, видимо, одним из любимейших занятий. Упоминания о них, а также о наиболее удачных приобретениях находим в его дневнике среди записей, относящихся даже к самым тяжелым дням его жизни. На книге вместе с владельческой надписью нередко выставлялась и дата приобретения, а в каталоге часто помечалось, где и при каких обстоятельствах куплена или получена книга.

М. А. Бекетова, вспоминая о страстной любви Блока к книгам, отмечала образцовый порядок, в котором они содержались, хорошие переплеты и книжные шкафы. Но Блок заботился не только о внешнем порядке и сохранности своих книг. Он также составил их карточный каталог. Окончание работы над ним отмечено в дневнике поэта 18 января 1921 г. Этот каталог хранится в фонде Блока в рукописном отделе Института русской литературы, но, к сожалению, есть основания полагать, что расположение карточек в нем впоследствии было изменено. Поэтому неизвестно, в каком порядке расставил их он сам.

В дополнение к карточному каталогу книги были записаны в алфавитном порядке в тетрадь типа телефонной книги в черном переплете [2]. Этот «Азбучный указатель» был составлен в 1916 г., а затем дополнялся, исправлялся. Здесь запись книги нередко также сопровождалась пометкой, от кого она получена или когда куплена, куда передана и т. п. Последняя датированная запись такого характера относится к июню 1921 г., т. е. сделана за два месяца до смерти.

Книги из личной библиотеки Блока имеют для нас не только мемориальное значение. Особую ценность им придают многочисленные пометы, оставленные поэтом на их страницах. Читая текст, Блок как бы разговаривал с автором, соглашался или спорил, возмущался, принимал к сведению или иронизировал. Часто встречаются надписи типа: «важно», «очень важно» или просто «да», «увы, нет».

Прочитав в «Истории русской литературы» под ред. Д. Н. Овсянико-Куликовского, что в 70-е годы для «Отечественных записок» при всем разнообразии и яркости литературных индивидуальностей участников характерно общее единство мысли и направления журнала, Блок написал на полях: «Это странно, но кажется верно. Такая эпоха» [3].

Нередко и нетекстовые пометы (отчеркивания, подчеркивания, «NB», вопросительные и восклицательные знаки) достаточно определенно дают почувствовать отношение поэта к прочитанному тексту.

Иногда же надписи Блока настолько значительны, что представляют большой интерес и безотносительно к тексту, откликом на который они явились.

Так, прочитав в журнале «Весы» в статье Эллиса (Кобылинского) о «созерцании красоты божественной, которой недостоин мир», об огне, который «передается от посвященных — посвященным» и пр.[4], Блок решительно возразил: «время посв⟨ященных⟩ и непосв⟨ященных⟩ прошло. Писатели, чуть образуют касту посвященных (обряды, тактики, замалчивания), становятся неискренними, фальшивыми, а через некот⟨орое⟩ время выдыхаются».

Маргиналии поэта часто позволяют существенно уточнить и расширить наше понимание литературных взглядов Блока, автотрактовку его произведений. Например, П. С. Коган в книге «Пролог. Мысли о литературе и жизни» так сформулировал две основные идеи в литературе «модернистов» [5]: 1) «Люби только себя, выше всего цени глубину и яркость своих душевных переживаний». В подтверждение приведено несколько цитат из разных авторов, в том числе из предисловия Блока к его «Лирическим драмам», где он пишет: «Самое большое, что может сделать лирика,— это обогатить душу и усложнить переживания... Никаких идейных, моральных или иных выводов я здесь не делаю» (IV, 433—434). Эта цитата в таком контексте явно обескуражила Блока. На полях он написал: «Я-то тут причем? Т. е., когда я это писал, я как раз говорил ограничительно о своих драмах, не любил себя».

2) «Смотри на людей как на средство к достижению указанной выше цели. Люди лишь материал для обогащения твоего «я». Презирай и ненавидь их заботы и тревоги...». Среди подтверждающих это положение цитат Блок обнаружил отрывок из своего стихотворения:

Душа молчит. В холодном небе
Все те же звезды ей горят,
Кругом о злате и о хлебе
Народы шумные кричат...
Она молчит, — и внемлет крикам
И зрит далекие миры.

(I, 78)

Но эти стихи отнюдь не следовало понимать как удовлетворенную констатацию равнодушия поэта к окружающей жизни, исключительного углубления в сферу своих переживаний. «Опять не так,— пишет Блок.— Это сказано перед лицом высшего, „не я“. Но этого они уж никогда не поймут».

Внимательно читал Блок статью Иванова-Разумника в журнале «Наш путь» (1918, № 1), посвященную анализу поэмы «Двенадцать» и стихотворения «Скифы». Поля ее испещрены замечаниями и поправками. В статье цитируется также стихотворение «Сытые». Против первой цитаты из него (первые четыре строки) Блок написал: «как слабо и плохо». Эта оценка перекликается с надписью в автографе: «Скверное стихотворение». Но, прочитав на следующей странице последнюю строфу, поэт передумал: «все-таки это надо отделать и включить в собрание». Блок не отрекся от своего стихотворения, только его теперь, через тринадцать лет после написания, не удовлетворяла форма, прежде всего, по-видимому, несоответствие стиля первой и последних строф.

До нашего времени библиотека дошла не полностью, но основная часть книг сохранилась. В настоящее время составлено и подготовлено к печати их науч-

ное описание, в котором будут полностью представлены все пометы Блока на их страницах [6]. С появлением этого издания перед исследователями его творчества откроется новый богатейший источник сведений об отношении поэта к философским, историческим, литературным, искусствоведческим и другим проблемам.

Литературоведческих книг у Блока было немного — в сохранившейся части — около 50. Среди них преобладают книги по западноевропейским литературам (в том числе и по античной), русской древней, фольклору, книги, посвященные современной Блоку литературе.

Подбор книг по русской литературе XIX в. немногочислен и иногда даже производит впечатление случайно оказавшихся в доме книг. Например, о Пушкине у Блока было всего три книги: А. А. Венкстерн. А. С. Пушкин. Биогр. очерк. М., 1899; С. П. Бобров. Новое о стихосложении А. С. Пушкина. Трехдольный паузник у Пушкина. М., «Мусагет», 1915 и Иванов-Разумник. Сочинения, т. 5. Пушкин и Белинский. Пг., 1916. Последняя книга была подарена Блоку автором. Брошюра Боброва не сохранилась, в книге Венкстерна нет помет, которые Блок обычно делал при внимательном чтении.

Вероятно, причина этого заключается в том, что для Блока основой изучения писателя было комментированное издание текстов. Характерно, что в библиотеке поэта было пять различных изданий сочинений Пушкина. К специальным же литературоведческим книгам он обращался нечасто.

Автор настоящей статьи не ставит своей целью извлечь из маргиналий Блока и исследовать весь материал, касающийся его историко-литературных интересов. Здесь рассмотрены только некоторые отдельные вопросы.

Мысли Блока, возникавшие при чтении книг по истории литературы, касались не только чисто литературных проблем. При рассмотрении этих маргиналий прежде всего следует говорить о гражданских интересах поэта, и центральное место здесь занимает тема взаимоотношений интеллигенции и народа. Этот вопрос Блок считал для себя важнейшим (V, 319), связанным непосредственно с отношением к революции. Этой теме посвящены написанные в разные годы статьи, вошедшие в книгу «Россия и интеллигенция» [7]. В литературе уже обращалось внимание на то, что во всех них, а также в предисловии к книге, написанном в ноябре 1918 г., Блок не дает какого-либо социально-исторического определения понятий «народ» и «интеллигенция», а передает только эмоционально-поэтическое их восприятие [8].

Тем не менее исторический и социальный аспекты этой проблемы занимали Блока. Об этом свидетельствуют его пометы прежде всего на двух изданиях. Это пятитомная «История русской литературы XIX в.» под редакцией Д. Н. Овсянико-Куликовского (М., 1908, 1910) и «История русской общественной мысли» Иванова-Разумника (5-е изд. Пг., 1918).

Следует обратить внимание на то, что Блок читал «Историю русской литературы XIX в.» внимательно, оставляя на полях многочисленные пометы, не сразу после появления ее из печати, а, видимо, позже. В одном из томов имеются подчеркивания, сделанные кем-то другим. С присущей ему педантичностью Блок отметил это, написав на полях: «Это подчеркивал не я, а прежний владелец, вероятно, Б. Сильверсван». Значит, книги попали к Блоку из другой личной библиотеки. 17 июля 1916 г. Блок пометил в записной книжке «Чтение о Лескове и Гаршине» (ЗК, 307). Как раз главы об этих двух писателях отмечены в оглавлении IV тома и, судя по пометкам, внимательно изучены Блоком. Возможно, именно об этой книге и упоминается в записной книжке. Кроме того, в V томе есть надпись (о ней будет сказано ниже), где поэт пишет, что разговор проходил на днях, в мае 1919 г.

Не исключено, конечно, что Блок обращался к томам «Истории русской литературы XIX века» не один раз.

IV и V тома этого издания открываются статьями «Общественные и умственные течения 70-х годов» и «Общественные движения и умственные течения в период 1884—1905 гг.». Обе эти статьи Блок, несомненно, внимательно читал.

Разноречивость и нечеткость сведений, почерпнутых из этих книг, вполне осознавались поэтом и не оставляли у него иллюзии осведомленности в общественно-политических вопросах. «Я политически безграмотен» (VI, 8),— с подкупающей откровенностью заявлял он. В записной книжке с горечью признавал, что у него нет ясности в понимании происходящих событий, свидетелем которых он стал (ЗК, 316). Вероятно, это сознание и заставило Блока отказаться от исторически более конкретных формулировок в его книге «Россия и интеллигенция».

Вот несколько отрывков из статей, выделенных Блоком [9], трактующих социально-историческое положение, значение и историю развития интеллигенции в России:

«Иллюзии начала 60-х годов были безжалостно разбиты. Одна за другой „великие" реформы, проведенные бюрократическим правительством, разочаровывали передовые элементы „общества" и интеллигенции. Крестьянское и земское самоуправление, свободная печать и независимый суд оказывались фикцией».

«Наиболее подвижная и культурная часть земельного дворянства переселялась в города, отказываясь от непосредственного ведения хозяйства. Часть реализовывала выкупные свидетельства в акциях и облигациях капиталистических предприятий, переходя в ряды буржуазии; часть уходила в либеральные профессии; наконец, часть поглощалась бюрократией».

«Лишь в северной нечерноземной полосе, где кабальные отношения в большой степени были вытеснены капиталистическими, где крестьяне еще до 1861 г. уже состояли на оброке, мы встречаем в 70-х годах типичные либеральные земства, ставшие культурными и в известной мере оппозиционными очагами провинциальной жизни. Деятельность прогрессивных элементов дворянского сословия здесь направляется в сторону постановки земской медицины, распространения начального образования, развития кустарных промыслов и кооперации и т. п.».

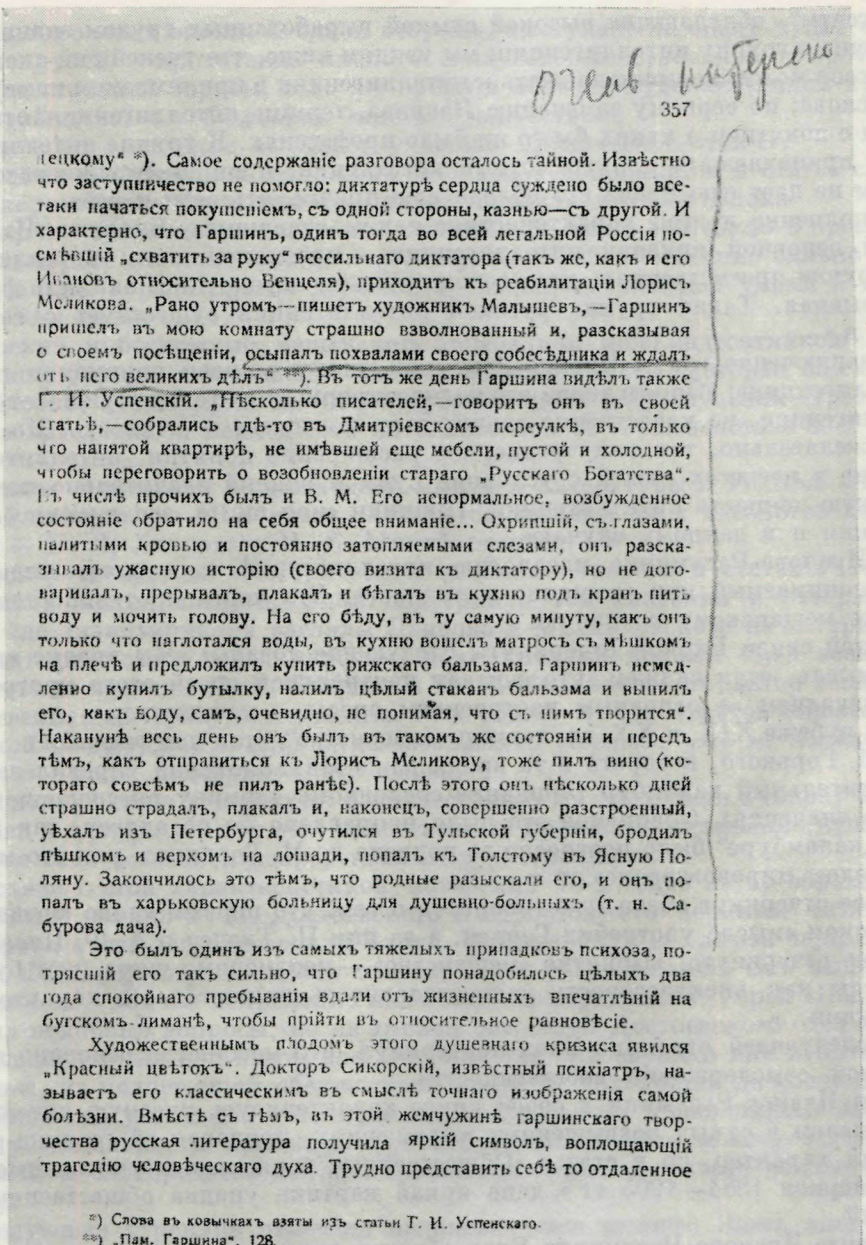
«...Тот социальный слой, *который с этих именно пор начинают называть интеллигенцией*,— слой, начинающийся с людей свободных профессий и выполнителей европеизированных реформами функций бюрократической машины и кончающийся высшими категориями квалифицированного наемного труда» (подчеркнуто Блоком). На этой же странице ниже подчеркнуто «*действительный интеллигентный пролетариат*».

«Старая дворянски-чиновничья культура быстро сходила на нет, вместе с дворянскими гнездами, скомпрометированная своей вековой связью с устоями рабства и азиатчины, в то время как донельзя замедленный ход экономического развития не позволял выработаться в культурные силы ни буржуазии в собственном смысле слова, ни мелкому крестьянству, ни новому зажиточному крестьянству» [10].

На этой же странице подчеркнуто «всесторонне бесправным элементом», против стоит восклицательный знак. Несколько ниже отчеркнуто: «Интеллигентные элементы дворянства, чиновничества, офицерства и буржуазии, как и передовые единицы мещанства и рабочего класса, тяготели своими духовными интересами к разночинной интеллигенции и подпадали под сильное влияние создаваемой ею культуры и идейных традиций».

А вот мысли, остановившие внимание Блока при чтении книги Иванова-Разумника.

В начале главы, которая называется «Что такое интеллигенция?», Блок отчеркивает данное автором определение этого понятия, определение, следует заметить, довольно расплывчатое и противоречивое: «Этот признак ‹интеллигенция есть общественная группа.— *О. М.*› указывает на существенное различие между отдельными „интеллигентами" и интеллигенцией как группой. Отдельные „интеллигенты" существовали всегда, интеллигенция появилась только при органическом соединении отдельных интеллигентов в цельную, единую группу. Люди, характеризуемые определенной суммой выработанных трудом знаний или определенным отношением к основным этико-социологическим вопросам, всегда



357

нецкому" *). Самое содержаніе разговора осталось тайной. Извѣстно что заступничество не помогло: диктатурѣ сердца суждено было все-таки начаться покушеніемъ, съ одной стороны, казнью—съ другой. И характерно, что Гаршинъ, одинъ тогда во всей легальной Россіи посмѣвшій „схватить за руку" всесильнаго диктатора (такъ же, какъ и его Ивановъ относительно Венцеля), приходитъ къ реабилитаціи Лорисъ Меликова. „Рано утромъ—пишетъ художникъ Малышевъ,—Гаршинъ пришелъ въ мою комнату страшно взволнованный и, разсказывая о своемъ посѣщеніи, осыпалъ похвалами своего собесѣдника и ждалъ отъ него великихъ дѣлъ" **). Въ тотъ же день Гаршина видѣлъ также Г. И. Успенскій. „Нѣсколько писателей,—говоритъ онъ въ своей статьѣ,—собрались гдѣ-то въ Дмитріевскомъ переулкѣ, въ только что нанятой квартирѣ, не имѣвшей еще мебели, пустой и холодной, чтобы переговорить о возобновленіи стараго „Русскаго Богатства". Въ числѣ прочихъ былъ и В. М. Его ненормальное, возбужденное состояніе обратило на себя общее вниманіе... Охрипшій, съ глазами, налитыми кровью и постоянно затопляемыми слезами, онъ разсказывалъ ужасную исторію (своего визита къ диктатору), но не договаривалъ, прерывалъ, плакалъ и бѣгалъ въ кухню подъ кранъ пить воду и мочить голову. На его бѣду, въ ту самую минуту, какъ онъ только что наглотался воды, въ кухню вошелъ матросъ съ мѣшкомъ на плечѣ и предложилъ купить рижскаго бальзама. Гаршинъ немедленно купилъ бутылку, налилъ цѣлый стаканъ бальзама и выпилъ его, какъ воду, самъ, очевидно, не понимая, что съ нимъ творится". Наканунѣ весь день онъ былъ въ такомъ же состояніи и передъ тѣмъ, какъ отправиться къ Лорисъ Меликову, тоже пилъ вино (котораго совсѣмъ не пилъ ранѣе). Послѣ этого онъ нѣсколько дней страшно страдалъ, плакалъ и, наконецъ, совершенно разстроенный, уѣхалъ изъ Петербурга, очутился въ Тульской губерніи, бродилъ пѣшкомъ и верхомъ на лошади, попалъ къ Толстому въ Ясную Поляну. Закончилось это тѣмъ, что родные разыскали его, и онъ попалъ въ харьковскую больницу для душевно-больныхъ (т. н. Сабурова дача).

Это былъ одинъ изъ самыхъ тяжелыхъ припадковъ психоза, потрясшій его такъ сильно, что Гаршину понадобилось цѣлыхъ два года спокойнаго пребыванія вдали отъ жизненныхъ впечатлѣній на бугскомъ-лиманѣ, чтобы прійти въ относительное равновѣсіе.

Художественнымъ плодомъ этого душевнаго кризиса явился „Красный цвѣтокъ". Докторъ Сикорскій, извѣстный психіатръ, называетъ его классическимъ въ смыслѣ точнаго изображенія самой болѣзни. Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ этой жемчужинѣ гаршинскаго творчества русская литература получила яркій символъ, воплощающій трагедію человѣческаго духа. Трудно представить себѣ то отдаленное

*) Слова въ ковычкахъ взяты изъ статьи Г. И. Успенскаго.
**) „Пам. Гаршина", 128.

ПОМЕТЫ БЛОКА НА СТАТЬЕ В. Г. КОРОЛЕНКО «ВСЕВОЛОД МИХАЙЛОВИЧ ГАРШИН» В КН. «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX В.». М., 1910, Т. 4

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

существовали и всегда будут существовать, но они еще не образуют собой интеллигенции как группы. Так, например, отдельными русскими «интеллигентами» были в XVI в. князь Курбский, Иван Грозный, Феодосий Косой, этот типичный русский анархист; в XVII в.— Матвеев, Котошихин, Хворостинин; в начале XVIII — Петр I, Татищев, Ломоносов и т. п., однако ни в XVI, ни в XVII, ни в XVIII веке в России не было интеллигенции как определенной социальной группы. Точно так же и в настоящее время могут быть отдельные „ин-

теллигенты", обладающие высокой суммой выработанных трудом знаний, но не входящие в группу интеллигенции; мы увидим ниже, что ученейший академик и профессор может не принадлежать к интеллигенции в принимаемом нами смысле этого слова; по верному замечанию Лаврова, термин „интеллигенция" отнюдь не связан с понятием о каких бы то ни было профессиях. К группе интеллигенции может принадлежать полуграмотный крестьянин, и никакой университетский диплом не дает еще права его обладателю причислять себя к ней».

Дополнение к этой характеристике также отчеркнуто Блоком: «Итак, вот второй основной признак интеллигенции — преемственность; интеллигенция есть группа преемственная, или, говоря языком математики, она есть функция непрерывная. Такая группа русской интеллигенции существует с середины XVIII в.»

В заключение главы Иванов-Разумник пишет о своем понимании термина «интеллигенция»: «Определение это количественно значительно суживает группу интеллигенции, но качественно значительно повышает ее ценность. Но именно это и желательно, так как чрезмерное расширение понятия „интеллигенция", внесение в нее всех людей с условной суммой знаний значительно понижало этическую ценность интеллигенции. Принцип «non multa, sed multum» вполне приложим и к данному случаю».

У Иванова-Разумника идеологию интеллигенции определяет индивидуализм, понимаемый как внимание к личности. Эта черта противопоставляется автором мещанскому сознанию.

В этой связи Блоком отчеркнуты следующие абзацы: «Мы вполне выразим нашу мысль, если скажем, что считаем центральной идеей этого прогресса — индивидуализм, а основным настроением среды — мещанство».

«На рубеже XIX и XX вв. термин „мещанство" стал популярным с легкой руки М. Горького, которого в то время даже Михайловский упрекал за такой непростительный каламбур (придание сословному термину внесословного этического значения). Обвинение это было направлено не по адресу, так как на таком „каламбуре" было построено за полвека до М. Горького, как это мы увидим, целое мировоззрение».

Далее отчеркнут абзац, где говорится о том, что первым слово «мещанство» в этическом смысле употребил Герцен, а за ним П. Ткачев и А. Ф. Писемский.

Ниже отчеркнуто: «Понятие «мещанство» — неизмеримо шире (чем буржуазия), так как внеклассовость и внесословность являются его характерными признаками...».

На следующей странице Блок подчеркнул, что мещанство основано на «безусловном самодержавии собственности».

Если Иванов-Разумник в своей книге характеризует русскую интеллигенцию в целом в самых возвышенных выражениях, придавая ей героико-романтический характер, то в статье «Общественные движения и умственные течения в период 1884—1905 гг.» дана яркая картина упадка общественных настроений.

В книге Иванова-Разумника Блок обратил внимание на следующую характеристику: «Эта вековая, эпическая борьба спаяла русскую интеллигенцию в одну массу, обладающую невероятной силой сопротивления: эта борьба закалила русскую интеллигенцию, как огонь закаляет сталь; эта борьба выковала из русской интеллигенции такое оружие, какого нет и не может быть в иных странах, у других народов» [11].

В статье «Общественные движения и умственные течения в период 1884—1905 гг.» Блок отчеркнул: «В своей массе общество погрузилось в политическую спячку и с равнодушием, а то и с озлоблением относилось ко всяким напоминаниям о гражданском долге. Расцветают обывательский мелкий индивидуализм, заботы о личном благополучии в данных неизменных общественных условиях. Общество аполитизируется, чувство и сознание социальной, гражданской связи атрофируется.

Этот обывательский индивидуализм находит свое непосредственное выра-

жение в идеологии эпохи. С одной стороны, выступает на сцену культ «малых дел», с другой — пропаганда личного самоусовершенствования в противовес идее общественной борьбы; в то же время в области художественной критики громко заявляет о себе теория «чистого искусства»».

Последнее заявление вызывает у Блока ироническое «так-с».

Картина политической депрессии 80-х годов дополняется в статье следующими характеристиками, которые также вызвали интерес Блока.

«*Типическое восьмидесятничество, свившее себе гнездо в «Неделе» и прославлявшее культурное значение «малых дел»*, выражает собою особенно сильно своего рода реакцию города против деревни, господствовавшей над умами в течение 60-х и 70-х годов <. . .>

Плоский и бескрылый мещанский либерализм «восьмидесятников» и был первичной формой самосознания интеллигентской массы, которая как общественный слой, занимавший все более прочное место в буржуазном строе, перерастала идеологию и психологию интеллигентского «отщепенства» 60-х и 70-х годов» [12].

В связи с историей общественной мысли и литературы в IV томе «Истории русской литературы XIX века» излагаются взгляды двух идеологов народничества — П. Л. Лаврова и Н. К. Михайловского.

Здесь речь идет об «Исторических письмах» Лаврова и статье «Что такое прогресс?» Михайловского. Блок подчеркнул эти названия и отчеркнул то место, где анализируются взгляды Лаврова и Михайловского на исторический долг интеллигенции перед народом, долг, который должен быть возвращен. Сопоставляя взгляды П. Л. Лаврова и Н. К. Михайловского, автор главы «Художественная литература и критика 70-х годов» И. Н. Игнатов пишет: «*Здесь (у Михайловского) уже признание необходимости жертвы, уже не наслаждение, а подвиг*». Блок подчеркнул эти слова.

Несколько ниже отчеркнуто: «Семидесятнику не приходили в голову вопросы о „любви к дальнему", для него нравственный принцип о положении души своей за други своя оставался непререкаемым и неизменным».

В связи с этой характеристикой воззрений 70-х годов автор обращается к восприятию романа Ф. М. Достоевского «Подросток» его первыми читателями. Эти строки очень заинтересовали Блока. Он отчеркнул его двумя чертами и поставил «№», а на полях сделал отметку: «Это очень важно». Вот выделенный Блоком текст: «Зачем непременно надо быть благородным?». Герой «Подростка» задавал подобные вопросы, но из тысячи читателей Достоевского едва ли один задумывался тогда над ними: для большинства они звучали как неинтересный парадокс, не подлежащий обсуждению, почти не доходящий до сознания. И в этом было счастье людей того времени, *возможность практических действий*, залог убедительности призывных речей. *Необходимость «благородства» была аксиомой*; а благородство могло выражаться только в уплате векового долга народу».

Следующая страница отмечена надписью: «все важно». Здесь идет речь о совершенной личности, том идеале, который рисовал Михайловский в статье «Что такое прогресс?».

Далее отчеркнуты два отрывка об отношении народников к крестьянству:

«Ибо если „нравственно, справедливо, разумно и полезно" только то, что „уменьшает разнородность общества, усиливая тем самым разнородность его отдельных членов", то очевидно, что безнравственным, несправедливым, неразумным и вредным должен быть назван порядок, установленный капиталистическим хозяйством. Отсюда естественно возникала тенденция *к сохранению того склада русской деревенской жизни...*».

«Владелец непредъявляемого к уплате многомиллионного векселя, терпеливый заимодавец — народ, давший средства на приобретение всех тех благ, которыми дорожит интеллигенция, оказывался сам обладателем блага, огромного, неоценимого,— обладателем условий, способствующих развитию современной личности. Естественно, что это рассуждение влекло за собой вопрос:

учить ли народ, или учиться у народа? Естественно, что литература отразила это недоумение».

Эта мысль была близка Блоку. В статье «Народ и интеллигенция» он писал о «воле к жизни», свойственной народу. «Понятно в таком случае, почему и неверующий бросается к народу, ищет в нем жизненных сил» (V, 327). Все вопросы, поставленные Блоком в статье «Народ и интеллигенция», продолжали быть для него остро насущными и в 1918 г., когда готовилась книга «Россия и интеллигенция». Несомненно, во все эти годы он не переставал размышлять над ними, и поэтому многое в статьях И. Игнатова и др. тематически было близко и интересно Блоку. Двумя чертами отчеркнуты и отмечены следующие строки: «И ранее, чем исследователь двигался в деревню, ранее, чем он направлял свой наблюдательный художественный аппарат на деревенского жителя, он уже знал, что должен найти там „устои", прочное мировоззрение, стойкие идеалы».

Полностью подчеркнут один из выводов автора: «*Нужны были тяжелые удары действительности, нужен был горький опыт, чтобы художественная литература, переживая общие изменения в настроении, переменила краски и от розовых тонов перешла к менее светлым*».

Слабые стороны народнической литературы, отмеченные в статье И. Игнатова, также не прошли мимо внимания Блока. Прочитав слова: «Как мог мужик, вынесший на себе ярмо крепостной зависимости, испытавший на себе отраву барского гнева и барских милостей, сохранить в такой неприкосновенности идеалы добра и правды, на это художественная литература того времени не отвечала»,— Блок слово «художественная» заключил в кавычки, а в конце поставил восклицательный знак.

Ироничность этих, казалось бы, незначительных пометок, как раз и позволяет почувствовать эмоциональность восприятия поэтом истории литературы.

Изложение взглядов Ткачева, который с наивной прямолинейностью пытался объяснить убеждения писателя исключительно его классовой принадлежностью, вызвало, по-видимому, ироническое отношение Блока. В тексте он подчеркнул слова «критерий убежденного экономического материалиста», а прочитав, что, по мнению Ткачева, недовольство дворян, когда их благосостояние начало колебаться, побудило их стремиться к переустройству, сочувствовать обиженным, Блок отозвался явно иронически: «вот это интересно».

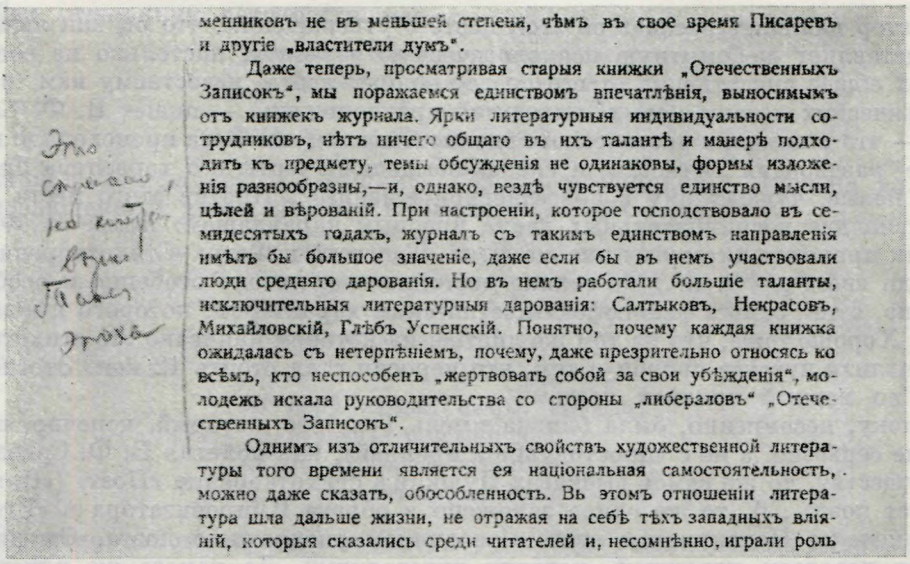
Обращаясь к трактовке крестьянской темы в творчестве различных писателей, Игнатов писал: «Успенский, исходя от частного к общему, брал явление, каково оно есть: отрицательное, так отрицательное, темное, так темное. И потом уже из сопоставления многих явлений вместе приходил к открытию общего руководящего отношениями деревенских жителей принципа. От этого произведения Златовратского производили впечатление оптимистического отношения к деревенской жизни, в произведениях Успенского видели впечатления пессимиста. Златовратский как бы выражал собой мнение и настроение большинства семидесятников, Успенский подготовлял то неизбежное разочарование, ту страшную истину, которая заключалась в констатировании неизмеримой пропасти, отделяющей крестьянскую правду от правды интеллигента» [13].

К этому абзацу Блок сделал приписку: «т. к. Успенский был настоящим писателем, а Златовратский — нет».

В безотрадном выводе автора статьи о страшной разобщенности народа и интеллигенции Блок также нашел подтверждение своему взгляду, выраженному в статье «Народ и интеллигенция». По этой же причине, вероятно, отчеркнуты строки в статье V тома о горьком признании Гл. Успенского, что «подлинный народ кричит демократической интеллигенции «не суйся!», и о не менее горьком утверждении писателей «Народной воли», что «работать в народе — то же, что биться об лед».

В связи с интересом Блока к трактовке в русской литературе крестьянской темы привлекает внимание надпись о Горьком.

М. Неведомский в главе о Горьком, проанализировав рассказ «Челкаш», сделал следующую сноску: «Тот сарказм по адресу деревни, который я отметил



менниковъ не въ меньшей степени, чѣмъ въ свое время Писаревъ и другіе „властители думъ".

Даже теперь, просматривая старыя книжки „Отечественныхъ Записокъ", мы поражаемся единствомъ впечатлѣнія, выносимыхъ отъ книжекъ журнала. Ярки литературныя индивидуальности сотрудниковъ, нѣтъ ничего общаго въ ихъ талантѣ и манерѣ подходить къ предмету, темы обсужденія не одинаковы, формы изложенія разнообразны,—и, однако, вездѣ чувствуется единство мысли, цѣлей и вѣрованій. При настроеніи, которое господствовало въ семидесятыхъ годахъ, журналъ съ такимъ единствомъ направленія имѣлъ бы большое значеніе, даже если бы въ немъ участвовали люди средняго дарованія. Но въ немъ работали большіе таланты, исключительныя литературныя дарованія: Салтыковъ, Некрасовъ, Михайловскій, Глѣбъ Успенскій. Понятно, почему каждая книжка ожидалась съ нетерпѣніемъ, почему, даже презрительно относясь ко всѣмъ, кто неспособенъ „жертвовать собой за свои убѣжденія", молодежь искала руководительства со стороны „либераловъ" „Отечественныхъ Записокъ".

Однимъ изъ отличительныхъ свойствъ художественной литературы того времени является ея національная самостоятельность, можно даже сказать, обособленность. Въ этомъ отношеніи литература шла дальше жизни, не отражая на себѣ тѣхъ западныхъ вліяній, которыя сказались среди читателей и, несомнѣнно, играли роль

ПОМЕТЫ БЛОКА В КН. «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX В.». М., 1910, Т. 4
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

только что в очерке „Челкаш", разумеется, не определяет еще отношения Горького к деревне вообще» [14]. Блок отчеркнул ее, поставив рядом вопросительный и восклицательный знаки, а на следующей странице написал: «Нет, Горький всегда ненавидел деревню, о чем еще на днях упомянул при мне (май, 1919)».

Избирательность при изучении литературного процесса, эта слабая сторона исследовательского метода Д. Н. Овсянико-Куликовского, в большой мере присуща и всему редактируемому им труду.

На этот недостаток обратил внимание и Блок.

В конце вступительной части своей главы И. Игнатов пишет: «Можно сказать, что этими двумя отделами — художественной критикой старого мира и отражением поисков народной правды, предпринятых заболевшим «светлой мыслью» интеллигентом,— характеризуется *вся художественная литература начала 70-х годов*». Подчеркнув последние слова, Блок написал: «Какой ужас! Но ведь это, к счастью, неправда». Перевернув страницу и прочитав следующее: «Конечно, наряду с литературой, характерной для описываемого периода, должны быть отмечены произведения, которые только совпадали по времени с 70-ми годами, но определенного отношения к настроению современников не имели. Неизмеримо высокие в художественном отношении, принадлежащие перу наиболее „великих писателей земли русской", эти произведения стоят вне эпохи; они относятся ко всем временам и принадлежат всем народам...»,— Блок сделал приписку: «вот то-то и есть». Игнатов заключил свою главу следующей общей характеристикой 70-х годов в русской литературе (тоже отчеркнутой Блоком): «Падение общей веры отразилось на художественной критике пониженностью тона, меньшей категоричностью выводов, но требования, предъявляемые ею к художественным произведениям, остались прежними, точка зрения, с которой она смотрела на искусство, не подверглась изменениям. *Публицистическая критика перешла, как наследие, и в эпоху 80-х годов*».

Блок подчеркнул последнюю фразу и сделал следующую приписку: «Так. Но вообще-то было и другое, хотя и мало. Об этом вам, г-н автор, приказано молчать?».

Вообще среди надписей Блока немало критических замечаний. В III томе «Истории русской литературы» он прочитал очерк В. Ф. Саводника об А. А. Фете.

Автор начинает рассказ об этом поэте с утверждения, что он как личность «представляет любопытную психологическую загадку», настолько не соответствует общее впечатление от его поэзии облику поэта, известному нам из биографических источников. «Приходится предположить, — пишет В. Ф. Саводник,— что в моменты поэтического вдохновенья в душе Фета происходило нечто вроде "раздвоения личности" и сквозь обыденные черты его характера проступали новые, чуждые ему в повседневной жизни» [15]. Против этого места Блок поставил два восклицательных знака красным карандашом. Далее В. Ф. Саводник приводит цитату из письма Л. Н. Толстого к Фету: «Стихотворение это ‹„Среди звезд".— *О. М.*› не только достойно вас, но оно особенно и особенно хорошо, с тем самым философски-поэтическим характером, которого я ждал от вас... Хорошо тоже, что на том же листке, на котором написано это стихотворение, излиты чувства скорби о том, что керосин стал стоить 12 коп. Это побочный, но верный признак поэта».

Блоку, несомненно, была близка мысль Толстого, который, конечно, писал вполне серьезно, а не с «простодушной иронией», как полагал В. Ф. Саводник. По существу, то же самое высказал Пушкин в стихотворении «Поэт» («Пока не требует поэта...»), то же самое заложено в образе Импровизатора в «Египетских ночах». Непонимание этого Саводником раздражило поэта. Он пишет: «Автор довольно известной „истории литературы". До какого же идиотизма надо доучиться, чтобы целую страницу посвятить такому рассуждению и не заметить, что цитата из письма Толстого убийственна для автора статьи?».

Блок прочитал статью об А. А. Фете, но, видимо, ничто в ней не привлекло его внимания, хотя исправленная в цитате опечатка доказывает, что он дочитал ее до конца.

Зато читая предисловие Б. В. Никольского к «Полному собранию стихотворений» А. А. Фета, Блок сделал немало пометок. Многое здесь ему явно не понравилось. Отмечены неудачные выражения, неуместные эпитеты, заглавия разделов лирики, данные редактором.

Резкое несогласие Блока вызвало утверждение, что для читателей Фета не имеет значения хронология написания его стихотворений, Блок отчеркнул и подчеркнул эти места в тексте предисловия, а против слов «огромное множество его стихотворений не стоит в связи не только ни с какими определенными событиями общественной жизни или личной биографии автора, но могло бы быть написано в любом веке, в любой стране» [16] написал: «о, нет».

Пометы в томе свидетельствуют о том, что для Блока хронология стихотворений Фета имела особое значение. Во многих случаях даты под текстами стихотворений подчеркнуты, а там, где их нет, Блок их сам проставил, причем для этого пользовался не только хронологическим указателем, помещенным в 3-м томе этого издания, но и другими источниками, так как многие даты в указателе отсутствуют или менее точны, чем поставленные Блоком.

В некоторых случаях Блок отметил, что во время написания стихотворения Фету было 72 года [17] («Не могу я слышать этой птички . . .», «Все, что волшебно так манило...», «Ночь лазурная смотрит на скошенный луг...», «Рассыпаяся смехом ребенка...», «Она ему — образ мгновенный...»). Блока явно интересует нестареющее лирическое мироощущение поэта. Об этом же свидетельствуют и подчеркнутые Блоком строки стихотворения «Все, все мое, что есть и прежде было...»:

Блаженных грез душа не поделила,
Нет старческих и юношеских снов.

Из других помет на стихотворениях Фета, кроме неясных по смыслу значков [18], которыми Блок обычно отмечал стихотворения в сборниках самых разных поэтов (кружки, треугольники, крестики), интересны отмеченные им параллели со стихами Пушкина, Лермонтова, Тютчева.

Так, отчеркнув четверостишие:

Пуская в свет мои мечты,
Я предаюсь надежде сладкой,
Что, может быть, на них украдкой
Блеснет улыбка красоты,

— Блок рядом написал: «Пушкин». Здесь, несомненно, отмечена аллюзия на посвящение к поэме «Руслан и Людмила». У Пушкина:

Счастлив уж я надеждой сладкой,
Что дева с трепетом любви
Посмотрит, может быть, украдкой
На песни грешные мои.

Стихи Фета:

В пору́ любви, мечты, свободы,
В мерцанье розового дня
Язык душевной непогоды
Был непонятен для меня,

— вероятно, напомнили по контрасту строки Лермонтова (помета «Лермонтов»):

Любил и я в былые годы,
В невинности души моей,
И бури шумные природы,
И бури тайные страстей.

Но красоты их безобразной
Я скоро таинство постиг,
И мне наскучил их несвязный
И оглушающий язык.

В стихотворении «В саду» Блок подчеркнул слова «с безумством и тоской» а рядом отметил: «Тютчев».

В двух случаях Блок отметил у Фета художественные образы, предвосхищающие поэтику А. Белого. В стихотворении «Ярким солнцем в лесу пламенеет костер...», в строках:

У холодной золы изогнувшийся пень
Прочернеет один на поляне,

— Блок подчеркнул слово «Прочернеет», а рядом пометил: «А. Белый». В стихотворении «У камина» подчеркнуты строки:

Так плещет на багряном маке
Крылом лазурным мотылек,

— и против них надпись: «Отсюда А. Белый». В трех стихотворениях («Как майский голубоокий...», «Ах, дитя, к тебе привязан...», «Сосна так темна, хоть и месяц...») Блок отметил влияние Гейне.

Как уже говорилось выше, для того чтобы по маргиналиям установить, как Блок относился к тому или иному стихотворению Фета, необходимо дальнейшее изучение блоковской индивидуальной системы значков, которые он ставил около заглавия или первой строки стихотворения. Но с уверенностью можно, например, сказать, что стихотворение «Ель рукавом мне тропинку завесила» как-то особенно остановило внимание поэта. Оно отмечено так же, как стихотворение, о котором сам Блок писал, что оно было для него «путеводной звездой»,— «Когда мои мечты за гранью прошлых дней» (I, 332). Оба эти стихотворения отмечены косым крестиком красным карандашом и отчеркнуты чертой, идущей от крестика до последней строки. В стихотворении же «Ель рукавом...» начиная со строки: «Чу! Там, вдали неожиданно слышится...» — все строки до конца стихотворения подчеркнуты красным карандашом.

Подмечена также поэтом внутренняя связь стихотворений «Еще весна,— как будто неземной...» и «Чем тоске я не знаю помочь...», а стихотворение «Только станет смеркаться немножко...» Блок отредактировал — первую и чет-

вертую строфы он оставил без изменения, третью отбросил. Вторая в его редакции звучит так:

Я зажгу перед зеркалом свечи,
Я камни для тебя растоплю,
Буду слушать веселые речи,
Без которых я жить не могу.

Как уже упоминалось, книг о А. С. Пушкине и М. Ю. Лермонтове у Блока немного.

Основная часть помет, относящихся к Лермонтову, сделана им на страницах Полного собрания сочинений под ред. Д. И. Абрамовича и уже в значительной мере изучена [19].

У Блока был еще Лермонтов под ред. П. А. Ефремова. Об этом свидетельствуют некоторые заметки в Полном собрании сочинений Лермонтова (см., например, т. 2, с. 252: «Сличено с Ефремовским» и пр.).

По-видимому, это то издание, которое было подарено поэтом Н. А. Нолле-Коган и утрачено во время Великой Отечественной войны [20].

Было еще в библиотеке Блока Полное собрание сочинений Лермонтова под редакцией Ф. И. Анского, переплетенное вместе с романом «Вадим» из «Вестника Европы». Книга эта внесена Блоком в рукописный алфавитный каталог его библиотеки, но местонахождение ее в настоящее время неизвестно.

Литература же о Лермонтове, видимо, мало интересовала поэта. На книге А. Я. Цинговатова «Сложность перспектив лермонтовского творчества» (М., 1918) помет нет. Был у Блока «Венок М. Ю. Лермонтову», юбилейный сборник статей о Лермонтове (М.— Пг., 1914) [21]. Он получил его от автора одной из статей, помещенных в сборнике. На титульном листе книги — дарственная надпись: «Александру Александровичу Блоку с искренним уважением Ив. Розанов». В своих воспоминаниях И. Н. Розанов рассказывает о встрече с Блоком, когда он подарил поэту «Венок М. Ю. Лермонтову».

Это было 16 мая 1920 г. Розанов обратился к Блоку с предложением написать статью о Лермонтове для задуманной в одном издательстве серии избранных произведений русских классиков.

Блок отказался. Он только что сдал однотомник Лермонтова в издательство Гржебина. Работа эта, за которую поэт взялся с подъемом и удовольствием, принесла ему немало огорчений и обид. По требованию редакции он вынужден был переделать вступительную статью. В части тиража отказались и от предложенного Блоком, тщательно продуманного им расположения произведений. Даже портрет Лермонтова на фронтисписе однотомника был помещен не тот, который особенно нравился Блоку.

В разговоре с Розановым Блок и говорил о принципах составления однотомника и поэтике Лермонтова, которой он посвятил особое внимание в примечаниях к стихотворениям.

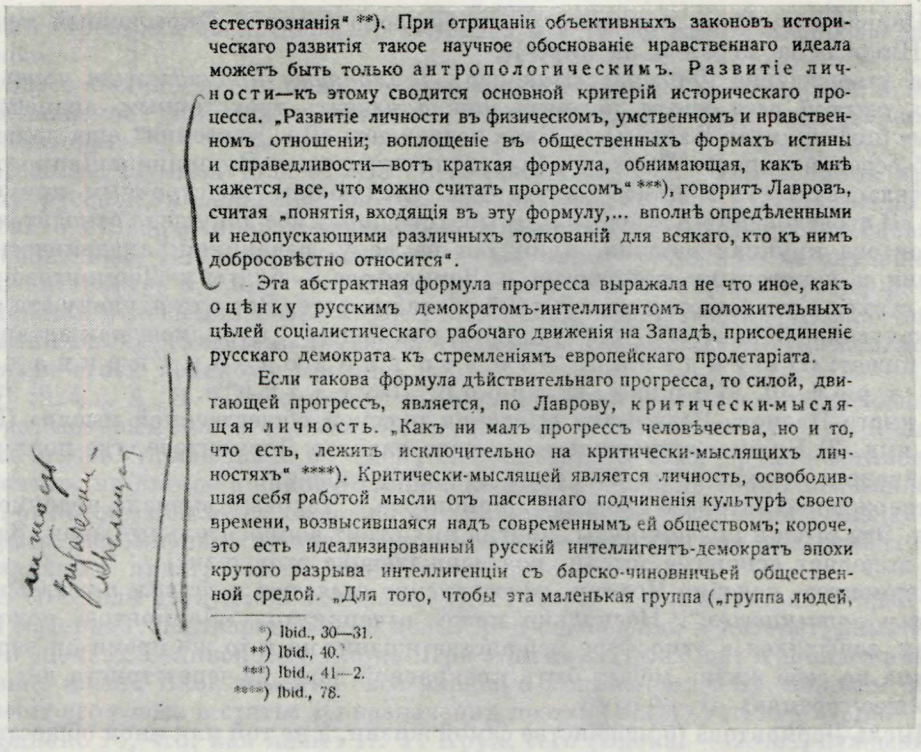
«Я спросил его, знает ли он статью Фишера о поэтике Лермонтова, помещенную в юбилейном сборнике „Венок Лермонтову“,— вспоминает Розанов,— он отвечал, что не знает этого сборника.

У меня, как участника „Венка Лермонтову“, был второй экземпляр этой книги. Я сказал, что охотно подарю ему свой дублет. Он поблагодарил...

— Как жаль, что я не знал этого раньше,— сказал Блок при новой встрече, когда Розанов принес обещанную книгу.— Но я должен признаться, что не только этого сборника до сих пор не видел, но, хорошо зная Лермонтова, я совсем почти не знаю юбилейной лермонтовской литературы 1914 г. Меня когда-то давно отпугнула от литературы о Лермонтове книга Котляровского. Он не понял самого главного, что Лермонтов — поэт...

Вероятно, из вежливости он стал мою статью „Отзвуки Лермонтова“ перелистывать медленнее, чем предыдущие» [22].

Розанов ошибся, думая, что Блок не заинтересовался его статьей. Пометы свидетельствуют о том, что он потом перечитал ее. (При Розанове Блок помет не



естествознанія" **). При отрицаніи объективныхъ законовъ историческаго развитія такое научное обоснованіе нравственнаго идеала можетъ быть только антропологическимъ. Развитіе личности—къ этому сводится основной критерій историческаго процесса. „Развитіе личности въ физическомъ, умственномъ и нравственномъ отношеніи; воплощеніе въ общественныхъ формахъ истины и справедливости—вотъ краткая формула, обнимающая, какъ мнѣ кажется, все, что можно считать прогрессомъ" ***), говоритъ Лавровъ, считая „понятія, входящія въ эту формулу,... вполнѣ опредѣленными и недопускающими различныхъ толкованій для всякаго, кто къ нимъ добросовѣстно относится".

Эта абстрактная формула прогресса выражала не что иное, какъ оцѣнку русскимъ демократомъ-интеллигентомъ положительныхъ цѣлей соціалистическаго рабочаго движенія на Западѣ, присоединеніе русскаго демократа къ стремленіямъ европейскаго пролетаріата.

Если такова формула дѣйствительнаго прогресса, то силой, двигающей прогрессъ, является, по Лаврову, критически-мыслящая личность. „Какъ ни малъ прогрессъ человѣчества, но и то, что есть, лежитъ исключительно на критически-мыслящихъ личностяхъ" ****). Критически-мыслящей является личность, освободившая себя работой мысли отъ пассивнаго подчиненія культурѣ своего времени, возвысившаяся надъ современнымъ ей обществомъ; короче, это есть идеализированный русскій интеллигентъ-демократъ эпохи крутого разрыва интеллигенціи съ барско-чиновничьей общественной средой. „Для того, чтобы эта маленькая группа („группа людей,

*) Ibid., 30—31.
**) Ibid., 40.
***) Ibid., 41—2.
****) Ibid., 78.

ПОМЕТЫ БЛОКА В КН. «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX В». М., 1910, Т. 4
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

делал, иначе Розанов упомянул бы об этом.) В этой статье поэт отметил аналогии в стихах Лермонтова и Огарева (на с. 241) и Лермонтова и Губера (на с. 243). Но особое внимание поэта привлекла статья В. М. Фишера «Поэтика Лермонтова», а в этой статье раздел, посвященный стиху. Характерно, что при чтении статьи Фишера вопросы стихосложения у Лермонтова постоянно вызывают в сознании Блока сопоставления с Пушкиным. Так, рядом со строками из стихотворения «Валерик»:

...на шинели
Спиною к дереву, лежал
Их капитан. Он умирал;
В груди его едва чернели
Две ранки; кровь его чуть-чуть
Сочилась. Но высоко грудь
И трудно подымалась, взоры
Бродили страшно, он шептал...
«Спасите, братцы.— Тащат в горы.
Постойте — ранен генерал...
Не слышат...» Долго он стонал,
Но все слабей и понемногу
Затих и душу отдал богу,

приведенными Фишером как пример выявления Лермонтовым выразительных возможностей цезуры, Блок написал: «Ср. цезуры в „Медном всаднике"». Фишер отмечает, что «Лермонтов часто пользовался дактилем, вовсе не употребительным у Пушкина». Это место вызвало сомнение Блока. Он ставит рядом вопросительный знак, пишет «разве?» и затем делает сноску: «См. „Юношу, горько рыдая, ревнивая дева бранила" — и проставляет стихотворный размер. А на замечание Фишера: «Шестистопный ямб в чистом виде редок у Лермонтова: он не любит классических размеров» — Блок возражает: «См., однако, „Ребенку", „Мне грустно"».

Характеризуя стиль Лермонтова, Фишер пишет: «К этой простоте Лермонтов стремился сознательно, еще при жизни Пушкина шагнув дальше его. Он почти совсем изгнал из своего языка мифологию, и у него мы не найдем ни муз, ни Аполлонов, ни лир, которые так неуместно звучат еще в гражданских сти-

хах Некрасова». Блок дополняет — «и Надсона (напр., „Окрыленный мечтой ⟨...⟩ Никогда не играл я на лире“)».

На утверждение Фишера: «Наконец, *Лермонтову принадлежит честь усвоения русской речи стиха*, который можно назвать трехстопным анапесто — ямбом» (подчеркнуто Блоком) — Блок возражает: «До „усвоения“ еще далеко».

Об осведомленности Блока в области литературы о Пушкине и Лермонтове свидетельствует его надпись, вызванная следующим подстрочным примечанием: «В исследовании А. Белого о четырехстопном ямбе допущена относительно Лермонтова крупная ошибка, принятая на веру редакцией академического издания и некоторыми пишущими о Лермонтове,— будто у Лермонтова нет вовсе стихов с ударениями на 2-й и 3-й стопах вместе. Вот они наудачу эти стихи: „кочующие караваны“, „причудливые, как мечты“, „курились, как алтари“». Блок пишет: «Не указано, что это наблюдение принадлежит проф. Ф. Коршу (Разбор „Русалки“)».

В книге Иванова-Разумника «История русской общественной мысли» (Пг., 1918, вып. 2) Блоком внимательно изучена глава о Лермонтове, где поэт рассматривается прежде всего как враг духовного мещанства.

Утверждение автора о сходстве Лермонтова с Чеховым вызвало недоумение Блока. Эти строки подчеркнуты, против них стоит вопросительный знак. Затем Блок выделяет основные мысли, подтверждающие этот тезис:

«Лермонтов, подобно Чехову, *одновременно является и резким пессимистом и ярким оптимистом*“. Несколько ниже отчеркнуто: «Лермонтов, подобно Чехову, задыхался в атмосфере мещанства жизни, но в то же время он верил, что сама по себе жизнь может быть прекрасной даже не через триста лет, а в настоящее время».

«Мысль Лермонтова (о мещанстве самой жизни, а не той или иной общественной группы) была настолько нова, что только через полвека после его гибели снова возродилась у Чехова; но все-таки она сделала свое дело. И для нашего поколения Лермонтов, быть может, самый современный поэт; мы чувствуем нити, которые связывают его с нами и которые мы старались распутать на предыдущих страницах».

Далее внимание Блока привлекли те места текста, где Иванов-Разумник формулирует свое понимание основных черт творчества Лермонтова. Это прежде всего индивидуализм, противопоставляемый широко понимаемому мещанству: «Все общественные группы, все общество, все человечество кажутся ему насквозь пропитанными мещанством. С этой точки зрения он, быть может, ярчайший индивидуалист во всей русской литературе».

«Таким образом, следствием „антимещанства“ Лермонтова является его яркий индивидуализм; здесь коренится причина его жадного интереса к личности. Личность для Лермонтова — это все; для него „история души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа“».

«Мистиком в душе» называет Лермонтова Иванов-Разумник. Блок подчеркнул эти слова, а также отчеркнул абзац:

«По самой своей природе Лермонтов несомненно был религиозным романтиком, мистиком; он откровенно признается:

Моя душа, я помню, с детских лет
Чудесного искала...».

Главный фактор формирования личности Лермонтова Иванов-Разумник видит «*в глубоком раздвоении между психологическим типом Лермонтова и выработанным им мировоззрением*». Подчеркнув этот текст, Блок выделяет и те места, где тезис автора развивается:

«„ум с сердцем не в ладу“ были не только у одного Чацкого, но и у целого ряда деятелей той эпохи»;

«Это раздвоение обратило религиозный романтизм Лермонтова в неопределенный пантеизм; раздвоение это сказалось в постановке вопроса о разуме и чувстве (напр., в „Думе“)»:

«Он стремился за пределы предельного и в то же время жадно любил все земное»

«Здесь налицо перед нами то причудливое сочетание ненависти к жизни (к мещанской жизни!) с жаждой жизни, которое так характерно для Лермонтова».

Иванов-Разумник пишет: «И, *по обыкновению*, прав был великий критик земли русской, находивший „пафос" поэзии Лермонтова „в нравственных вопросах о судьбе и правах человеческой личности"» [23]. Подчеркнув слова «по обыкновению», Блок рядом заметил: «Увы, нет». Это далеко не случайно.

В литературе о Блоке уже не раз рассматривался вопрос о противоречивом и сложном отношении поэта к В. Г. Белинскому. Известно немало высказываний Блока, свидетельствующих о какой-то необъяснимой субъективной неприязни его к великому критику.

В 1924 г. А. Я. Цинговатов [24] пытался объяснить это сословным сознанием Блока, который якобы болезненно переживал вторжение в русскую культуру разночинцев, пришедших на смену дворянству. С этим трудно согласиться. Вероятно, на автора в какой-то мере повлияли вульгарно-социологические теории, от которых было не свободно литературоведение тех лет. Разрешение этого вопроса, несомненно, нужно искать в идейно-эстетических воззрениях, а не социальных пристрастиях Блока.

В 60-е годы этой темой занимался И. Т. Крук [25]. В его статьях собран большой материал, подтверждающий целый ряд совпадений в литературных взглядах и оценках Белинского и Блока. При этом автор приходит к заключению, что в конце жизни Блок изменил свое мнение о Белинском, чему, впрочем, противоречит его отзыв в статье «О назначении поэта» (1921) (V, 166—167).

Однако то, что, как пишет И. Т. Крук, «его (Блока.— *О. М.*) суждения нередко совпадали с суждениями Белинского»,— это только одна сторона сложного вопроса. Признавая, что «Белинский был велик и прозорлив во многом» (VI, 28), Блок в то же время отрицательно оценивает его деятельность в целом.

Об этом же свидетельствует надпись поэта на книге С. П. Шевырева «Теория поэзии в историческом развитии у древних и новых народов» (М., 1836), которую, судя по пометам («о ч е н ь в а ж н о» и др.), Блок высоко ценил. На странице 81 он написал: «П у ш к и н е щ е б ы л ж и в, к о г д а э т а к н и г а в ы ш л а. *Э т у к у л ь т у р у* Б е л и н с к и й и п р. е щ е р а з л о ж и т ь н е у с п е л и».

Эта заметка созвучна строкам из статьи «О назначении поэта»: «Слабел Пушкин — слабела с ним вместе и культура его поры, единственной культурной эпохи в России прошлого века. Приближались роковые 40-е годы. Над смертным одром Пушкина раздавался младенческий лепет Белинского 〈...〉 Во второй половине века то, что слышалось в младенческом лепете Белинского, Писарев орал уже во всю глотку» (V, 166—167). Оба эти высказывания в чем-то дополняют и объясняют друг друга.

Возможно, откликаясь не на одни печатные высказывания Блока, но и после какого-то спора о Белинском, Иванов-Разумник сделал такую дарственную надпись, посылая поэту пятый том своих сочинений: «Дорогому Александру Александровичу Блоку, другу Пушкина и врагу Белинского, от Р. И в а н о в а. Январь 1916 г.». В третьей части «Истории русской общественной мысли» Иванова-Разумника Блок отчеркнул следующие абзацы:

«Определить Белинского словом „критик" — это все равно, что назвать Достоевского „романистом": Это только случайная, внешняя форма их проявления. Бесспорно, Достоевский — „романист", но прежде всего он глубокий религиозный мыслитель; Белинский — критик, но прежде всего он творец этико-социологического мировоззрения.

Критиком он был поневоле, особенно в эпоху 40-х годов; он сознавал в себе способности и силы пламенного проповедника, трибуна. „Природа осудила меня лаять собакой и выть шакалом, а обстоятельства велят мне мурлыкать кошкою, вертеть хвостом по-лисьи" — это его собственное признание. Только в своих

письмах Белинский был тем „неистовым Виссарионом", каким он был в жизни; письма Белинского — драгоценнейшие литературные документы 30-х и 40-х годов минувшего века, и выше мы обильно пользовались ими для характеристики воззрений и этой эпохи, и самого Белинского. Одно из этих писем сыграло громадную роль в истории русского сознания; мы имеем в виду знаменитое письмо Белинского к Гоголю (из Зальцбрунна, от 15 июля 1847 г.), являющееся уничтожающим ответом на „Выбранные места из переписки с друзьями" последнего»[26].

Следующий отчеркнутый Блоком абзац полностью посвящен значению письма Белинского к Гоголю в истории русского общества.

Судя по последующим отзывам Блока, книга Иванова-Разумника его не переубедила, и отчеркнутые места, возможно, послужили темой их очередного спора.

Среди писателей, разделы о которых в «Истории русской литературы XIX века» внимательно изучены Блоком, одно из первых мест занимает Ф. И. Тютчев.

Помимо этого, в главе о Некрасове, написанной В. П. Кранихфельдом, выделены те места, где говорится о Тютчеве.

По-видимому, неожиданным для Блока было то, что он прочитал здесь: *Некрасов первый (в 1850 г.) оценил и высоко поставил талант мало известного тогда поэта Тютчева.* Против этого места стоит вопросительный знак.

В той же главе Блока заинтересовало такое сопоставление Некрасова и Тютчева:

«Совершенно отрицая поэзию Некрасова, Тургенев чувствовал большую симпатию к Полонскому, который, по удачному выражению Влад. Соловьева, был поэтом „полусонных, сумеречных, слегка бредовых ощущений". Затем из других современных Некрасову поэтов Тургенев особенно высоко ценил Тютчева; к этому поэту Тургенев относился почти восторженно, его же не прочь противопоставить Некрасову и Л. Толстой. И действительно, по мотивам, преобладающим в поэзии Тютчева, этот поэт является полной противоположностью Некрасову. Тютчев — поэт-философ, „поэт для немногих ценителей", как выразился о нем Тургенев. Мотивы, которые трактует философская поэзия Тютчева, касаются преимущественно мистических основ бытия и таинственной сущности земной жизни человека. Поэт скорбит о связанной ограниченности человеческого знания и человеческой любви, о призрачности и ничтожности человеческой личности; проникнутый пантеистическим настроением, он одухотворяет природу и жадно ищет полного слияния с космосом. Словом, поэзия Тютчева является прямым отзвуком тех смутных запросов человеческого духа, которые, оставаясь безответными, не перестают тревожить мысль и которые, как мы знаем, не один раз мучительными, требовавшими безотлагательного решения проблемами вставали перед страстным искателем истины Л. Н. Толстым». Сноска на этой странице отчеркнута даже двумя чертами (а против поставлен восклицательный знак): «Конструкция всей фразы, в которой Л. Толстой дает оценку современным поэтам, такова: После Пушкина и Лермонтова (Тютчев обыкновенно забывается) поэтическая слава переходит сначала к весьма сомнительным поэтам — Майкову, Полонскому и Фету, потом к совершенно лишенному поэтического дара Некрасову, к искусственному и прозаическому стихотворцу Алексею Толстому, потом и т. д.“».

Главу о Тютчеве, написанную А. Г. Горнфельдом, Блок проработал внимательно, подчеркнул многие формулировки. Но в самом конце главы критически отнесся к словам: «По существу он остался все тем же неопошлимым", могучим в лучших, бессмертных образцах своей философской лирики *учителем жизни для читателя, учителем поэзии для поэтов*»[27]. Подчеркнув последнюю строку, он написал: «Почему же все-таки, учит⟨елем⟩ жизни.— Все это — та же ложь, „революционная лесть", Тютчев и культуры не касается».

Интересную заметку сделал Блок во втором томе «Истории русской общественной мысли» в конце главы, посвященной Козьме Пруткову: «Были люди, которые с жадностью вдохнули „чистый воздух" К. Пруткова, задохнувшись в либерализме 60-х годов. Об этом говорила бабушка моя Е. Г.».

В IV томе «Истории русской литературы XIX в.» пометы, свидетельствующие о внимательном прочтении, имеются еще на полях статей о В. М. Гаршине (автор В. Г. Короленко) и Н. С. Лескове (автор Н. О. Лернер).

Помимо обычных для Блока помет, выделяющих имена, даты, названия произведений, отчеркнуты некоторые эпизоды из биографии этих писателей. Так, например, на странице, где рассказывается, как Гаршин ходил к Лорис-Меликову просить за осужденного на казнь Млодецкого, Блок сделал надпись: «очень интересно». Подчеркнуты относящиеся к Гаршину, вернувшемуся после разговора с Лорис-Меликовым, слова: «осыпал похвалами своего собеседника и ждал от него великих дел».

Особо отмечена Блоком следующая мысль В. Г. Короленко. Сопоставляя образы Сони Мармеладовой («Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского) и Нины Николаевны («Происшествие» В. М. Гаршина), он пишет: «В обоих этих образцах (безотносительно к силе таланта) русская литература тех времен робко подходит к страшной проблеме женского падения. Подходит еще издали, как бы в неведении всей реальной правды и сохраняя в памяти идеальные представления о женской натуре. Еще несколько шагов — и эти идеалистические представления разлетятся, как мыльный пузырь. В наше время литература уже сделала эти шаги. Она вскрывает бытовую обстановку проститутки с поразительной, отталкивающей, одуряющей правдивостью. Эти наивные образы 70-х годов стоят в новейшей литературе по этому предмету приблизительно в таком же отношении, как мужики Тургенева или крестьянские дети из „Бежина луга“ — к картинам народной жизни вроде, например, решетниковских „Подлиповцев“. Однако — есть своя правда и в „Бежином лугу“. И порой невольно приходит в голову, что реальный угар, которым веет от новейших изображений проституции,— тоже не вся правда. Для художественного синтеза необходим и элемент того целомудренного идеализма, с каким подходила к этому вопросу литература 60-х и 70-х годов...» [28]. «Это верно»,— написал Блок на полях.

В главе о Лескове много внимания поэт уделил биографии писателя, особенно тем эпизодам, которые свидетельствуют о его гражданском мужестве.

Так, например, отчеркнут рассказ об истории отставки Лескова, когда в 1883 г. его литературная деятельность была признана несовместимой с государственной службой. По настоянию самого Лескова он был уволен «по третьему пункту», «без прошения». По-видимому, с интересом прочитал Блок о разговоре писателя с министром Деляновым, который пытался уговорить Лескова «не делать скандала» и подать прошение об отставке.

«— Зачем это вам нужно, Николай Семеныч, без прошения-то?

— Для некролога.. моего и вашего! — ответил Лесков».

Таковы только некоторые материалы библиотеки Блока, касающиеся русской литературы XIX в. и позволяющие несколько расширить и конкретизировать наши представления о литературных интересах поэта.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] К. И. Чуковский. Александр Блок как человек и поэт.— Пг., 1924, с. 4.

[2] ИРЛИ, ф. 654, ед. хр. 388.

[3] «История русской литературы XIX в.» Под ред. Д. Н. Овсянико-Куликовского, т. 4. М., «Мир», с. 62.

[4] «Весы», 1907, № 10, с. 57.

[5] «Пролог. Мысли о литературе и жизни». Пг., 1915, с. 48, 51.

[6] «Библиотека Александра Блока. Описание», кн. 1—3 (сост. О. В. Миллер, Н. А. Колобова, С. Я. Вовина). Л., «Наука», 1984 — 1986.

[7] А. А. Блок. Россия и интеллигенция. Пг., «Алконост», 1919.

[8] Д. Максимов. Поэзия и проза Ал. Блока. Л., «Сов. писатель», 1981, с. 359.

[9] Здесь и далее приводятся отчеркнутые Блоком тексты. Подчеркивания выделяются курсивом, остальные пометы оговариваются особо.

[10] «История русской литературы XIX в.», т. 4, с. 2, 3—4, 13, 12.

[11] Иванов-Разумник. История русской общественной мысли, вып. 1. Пг., 1918, с. 8—9, 10, 20, 25. 25—26. 10.

[12] «История русской литературы XIX в.», т. 5, с. 3, 7.
[13] Там же, т. 4, с. 55, 56, 57, 58 73, 71.
[14] Там же, т. 5, с. 6—7, 239.
[15] Там же, т. 4, с. 59, 102, 461.
[16] А. А. Фет. Полн. собр. стихотворений, т. 1. СПб., 1901, с. XI.
[17] Вернее было бы сказать, на 72-м году жизни, так как Фет родился 29 октября или ноября 1820 г. и умер 21 ноября 1892 г.
[18] Об этих знаках см. статью Д. Е. Максимова «Ал. Блок и Вл. Соловьев (по материалам из библиотеки Ал. Блока)».— В кн.: «Творчество писателя и литературный процесс». Иваново, 1981, с. 115—189.
[19] О. Миллер. Пометы Александра Блока на Полном собрании сочинений М. Ю. Лермонтова.— В кн.: «В мире Блока». М., 1981, с. 503—516.
[20] См. наст. том, кн. 3, с. 109.
[21] Книга эта в 1975 г. была приобретена в Ленинграде в букинистическом магазине известным литературоведом В. Э. Вацуро, которому автор приносит глубокую благодарность за разрешение ознакомиться с пометами Блока на ее страницах.
[22] «Огонек», 1940, № 35, с. 6.
[23] Иванов-Разумник. История русской общественной мысли, вып. 2, с. 33, 35, 46, 37, 33, 41, 46.
[24] А. Я. Цинговатов. Белинский в сознании Блока.— В кн.: «Венок Белинскому». М., 1924, с. 222—235.
[25] И. Крук. Пометки А. Блока на сочинениях В. Г. Белинского.— В кн.: «Вопросы русской литературы», вып. 1. Львов, 1966, с. 21—27.
[26] Иванов-Разумник. Указ. соч., с. 64.
[27] «История русской литературы XIX в.», т. 3, с. 387, 379, 460.
[28] Там же, т. 4, с. 356—357, 349.

БЛОК И НАРОДНИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ

Статья М. Г. Петровой

В 1918 г. Блок оценил одну статью о своем творчестве как «порхание с предмета на предмет», лишенное «глубокого», и заметил: «Я бы, если бы собрался писать статью, поинтересовался бы узнать точнее подробности внешние, но в корне меняющие дело» (ЛН, т. 92, кн. 2, с. 331). А в 1919 г. в предисловии к «Возмездию» написал: «Я привык сопоставлять факты из всех областей жизни, доступных моему зрению в данное время, и уверен, что все они вместе всегда создают единый музыкальный напор» (III, 297).

Не претендуя на «глубокое» и «музыкальный напор», историк литературы собирает факты в уверенности, что они создадут некий смысловой напор и покажут путь Блока к тому важному признанию, которое он сделал в 1919 г.: «Сочувствуя течениям социализма и интернационализма, склонялся всегда более к народничеству, чем к марксизму» [1]. Разумеется, это было особое народничество — романтическое, непереводимое в плоскость политики и социологии. В этом смысле характерно определение Андрея Белого, данное в 1921 г.: «Он — *новый народник*; он народник, возводящий культ русской души в рыцарский культ» (ЛН, т. 92, кн. 3, с. 829). Однако в судьбе Блока важно проследить и связи с реальным лагерем народничества, которое Ленин определял как «идеологию (систему взглядов) крестьянской демократии в России» [2] и которое предлагал в 1912 г. оценивать, исходя из «глубокого положения Энгельса»: «Ложное в формально-экономическом смысле может быть истиной в всемирно-историческом смысле» [3].

1

Свою семейную хронику «Касьян» Бекетовы вели с 1876 г. В этом году, в январе, марте и июне, в «Отечественных записках» печатались «социологические очерки» Н. К. Михайловского «Борьба за индивидуальность», имевшие подзаголовок «Семья». Введение было опубликовано в октябрьской книжке «Отечественных записок» за 1875 г., но оно явилось лишь обширным подходом к теме и заканчивалось обещанием подвергнуть «анализу различные формы общественной жизни», начав «с самой элементарной формы — с семьи» [4].

В доме профессора А. Н. Бекетова выписывали и читали журнал, редактируемый Некрасовым и Щедриным (по свидетельству М. А. Бекетовой, книжки «Отечественных записок» хранились в Шахматове — ЛН, т. 92, кн. 3, с. 676). Обе темы (заголовка и подзаголовка) были обращены прежде всего к молодым читателям. Критик А. Г. Горнфельд заметил в 20-е годы, что Михайловский был писателем, находящим отклик в душе молодежи «с ее максимализмом, с ее исканиями, с ее жаждой добиться смысла своего существования» [5].

Дочери Бекетова прочли статью, и Михайловский узнал об их впечатлении. В сентябре 1883 г. он писал Е. П. Летковой-Султановой: «Подвигаясь дальше в приготовлении пятого тома, я убедился, что Вам не стыдно будет получить его в форме посвящения. Но может быть неловко в одном специальном отношении. В „Борьбе за индивидуальность“ излагается теория любви, и даже ею только почти вся эта группа статей исчерпывается. Это бы еще ничего. Но одна из них, именно 3-я (или 2-я из имеющих подзаглавие „Семья“), содержит в себе нечто, как бы сказать, неприличное. Понятно, что, с моей точки зрения, ничего

такого нет, но есть щекотливые подробности, и я помню, что дочки Бекетова (я их не знаю, а слышал), девицы (одна уж, впрочем, теперь замужем), ко мне вообще благоволящие, нашли по этому поводу, что меня просто читать нельзя. Так вот как с посвящением?» [6].

Хотя дочки Бекетова росли «нечопорно» и в ректорском доме царил «дух естественных наук», но старшей шел 21-й год, и это были, по характеристике Блока, «тогдашние барышни: тихие, настоящие (в противоположность современным бесстыдницам)» (III, 619).

Да и тон Михайловского мог смутить хоть кого — он пользовался терминологией, принятой в специальной научной литературе, и трактовал о взаимоотношении полов с непривычной свободой. В этом был вызов и «христианскому аскетическому идеалу», который метал громы «против языческого веселья, сильного своей связью со стародавним обычным правом» [7], и современному пуризму, которому Чехов в 1884 г. дал сверхметкое определение: «В наш благочестивый век, когда даже голый подбородок считается за декольте...» [8]. Статья пестрила «неприличными» оборотами и «страшными» словами: «половой акт», «оплодотворяющая функция», «растление девства», «религиозная проституция» и многое другое. «Откуда берется и чем обусловливается это весеннее ликование природы,— раскованно писал публицист „Отечественных записок“,— когда цветы блистают своими разукрашенными половыми органами и птицы запевают свои песни любви?» [9]

Немудрено, что барышни Бекетовы возмутились («Над всем чужим — всегда кавычки, // И даже иногда — испуг...» — III, 314). По-видимому, это была не единственная реакция, ибо в следующих очерках «Семья» Михайловский стал выражаться аккуратнее, а позднее в руководимом им «Русском богатстве» «дух естественных наук» был приведен в разумное соответствие с «благочестивым веком».

От кого слышал Михайловский мнение дочек Бекетова? Видимо, от самого Андрея Николаевича, с которым часто встречался в 1878—1881 гг. В это время Михайловский, соредактор Щедрина по «Отечественным запискам», был секретарем Литературного фонда, а Бекетов — членом комитета, в 1880—1881 гг. в комитет входил и Щедрин (Блок упоминает о совместных поездках деда с Щедриным на заседания Литературного фонда — III, 445). Письмо 1883 г. говорит о более ранних событиях, отсюда некоторый анахронизм сообщения Михайловского («одна уж, впрочем, теперь замужем»). В 1883 г. замужем были две дочери Бекетова, а у той, что попыталась создать семью первой, растет мальчик — Александр.

Ко времени совместных заседаний в Литературном фонде относится передача Щедрину (а может быть, Михайловскому) рукописи старшей дочери Бекетова Екатерины Андреевны «Не судьба» (напечатана под псевдонимом Е. А. в «Отечественных записках», 1881, № 4). Повесть появилась в пышном окружении народнических имен: А. Осипович, С. Каронин, Гл. Успенский, А. Скабичевский, Н. Златовратский... Но сама никаких «проклятых и больных вопросов» (III, 318) не ставила, а принадлежала к дамской или, скорее, девической литературе, о которой П. Ф. Якубович писал в 1908 г. Короленко, что мечта жизни героини — найти «настоящий предмет». И добавлял: «Не маловато ли для „Русского богатства“?» [10]. Однако каждому журналу, даже «мужиковствующему» (так порою называли «Отечественные записки» и позднее «Русское богатство»), нужно чем-то «рассыропить» крестьянскую тематику, как писал чуждый всем видам ригоризма Н. Ф. Анненский в 1911 г. Короленко, а то получается «тяжело и серо» [11].

Этой задаче и служила повесть «Не судьба», где герой дважды стрелялся из-за неразделенной любви, а героиня (автопортрет Е. А. Бекетовой) принадлежала к типу «разборчивых невест», наивно мечтающих о будущем муже «из самого чистого, прозрачного горного хрусталя, потом железа, кремня, много, много стали», а главное — «с лицом человека, умирающего за идею, т. е. способного умереть» [12]. Имелись, однако, и соответствующие (республиканские и народни-

ческие) аксессуары: героиня любит деревню, земледелие, мужиков, является на бал «в кровавом корсаже», а свои пепельные вьющиеся волосы носит в виде фригийского колпака, в котором изображалась французская «дева-республика». Таким образом, героиня повести может претендовать на характеристику, данную в «Возмездии» старшей сестре,— «народница и недотрога», но в ней есть и то индивидуалистическое начало, которое придет на смену бекетовской демократической тезе.

Многие психологические и бытовые детали взяты из бекетовского обихода: взаимоотношения героини со старым отцом, поездки в подмосковное имение, утопающее в сирени, раскладка и устройство там петербургского багажа. Изображен и один из представителей «династии Проворингов», по шутливому выражению молодого Блока, которая поставляла управляющих в Шахматово: «Мне что воровать? Я и так возьму,— говорил он благодушно.— Нешто у барина мало? Небось, хватит на всех». Постоянное исчезновение вещей и живности объяснялось тем, что пропажа либо «сопрела», либо «распухла от мороза» и продана за бесценок...[13]

Семейное предание рисует Андрея Николаевича наивным и добрым до святой простоты. О Щедрине Блок записал в материалах к «Возмездию»: «Циник, вечно „злится“». И привел пример с лангустом в ресторане Донона: «Ступай вон со своим раком» (III, 445). В тексте «Возмездия» старобарское «брюзжание» отличает и деда, и Щедрина («То — недоварены форели, // А то — уха им не жирна»). Тургенев, человек бекетовской складки (это отмечено Блоком — III, 315), писал о Щедрине: «Он очень наивен и добр», как «ни вращает глазами и ни старается быть „букой“» [14]. По существу, все трое — Тургенев, Щедрин и Бекетов — имели общие родовые черты высоко ценимого Блоком слоя народолюбивой дворянской интеллигенции.

Интересны суждения самого Андрея Николаевича о Щедрине, высказанные в дневниковой записи 6 мая 1889 г., вскоре после смерти писателя: «Я его знал мало, знакомство мое с ним было не долговременно и не близко. Не могу по личным воспоминаниям сказать что-либо о нем как о человеке. Что же касается его литературной деятельности, то о ней может судить всякий.

На похоронах Михаила Евграфовича народу было много, был и я. Толпа была большая, может быть, тысячи в 2 или $2^1/_2$. Молодежь — преимущественно студенты университета — во все время шествия пела духовный гимн...

Официальный и высокопоставленный мир отсутствовал.

Академия наук не отозвалась ни единым звуком.

Говорят (пишет Михайловский), что Михаил Евграфович незадолго перед смертью собирался начать новый очерк под именем „Забытые слова“. Совесть, честь и т. п. ...— вот эти слова.

Салтыков всю свою жизнь трудился над возобновлением смысла этих слов.

Говорят, что он ненавидел все русское. Я скажу, что он ненавидел подлость и глупость повсюду, а так как он писатель русский, то он обрушивался исключительно на глупость и подлость русскую. Он стремился искоренить в своем отечестве и то и другое. Пусть всякий сам судит о том, насколько он послужил этому делу.

Спорить же о том, нужно ли преследовать и притом нещадно всякую нравственную мерзость,— вряд ли кто станет» [15].

Выделен прежде всего этический пафос, который и определяет все остальное. «Мотивы чести и совести» были «лично излюбленными» и в публицистике Михайловского [16], на их основе строились статьи о Щедрине и Гл. Успенском, об Ибсене и Горьком. Вслед за Щедриным Михайловский связывал мотив чести и совести с восстанием человека против «естественного» порядка вещей, при котором щука ест карася; при этом и роль угнетателя и роль угнетенного расценивалась как недостойная человеческой природы. Эта гуманистическая по самой сути своей формула имела и для «внука» смысл живой, не «забытый». 1 февраля 1914 г. Блок записал: «Мама у меня — необыкновенный разговор о чести и совести» (ЗК, 205). Знакомясь со статьей И. Н. Игнатова «Художественная ли-

тература и критика 70-х годов», Блок отчеркнул на полях рассуждения о «забытых словах» Щедрина, знаменующих «перемену в настроении и желаниях интеллигенции» [17].

В семейных легендах «простота» А. Н. Бекетова несколько стилизовалась, и для этого, разумеется, были свои основания. 4 февраля 1880 г. Щедрин писал тогдашнему председателю Литературного фонда В. П. Гаевскому о намерении читать на вечере вместе с А. Н. Бекетовым свою «пьесу» «В дороге» (из «Благонамеренных речей») [18]. Этот очерк написан в виде диалогов и удобен для чтения вдвоем. Но выбор пал на него, видимо, по другой причине. Там звучит (очень настойчиво!) мотив «простоты» («Уж очень вы, сударь, просты! Ах, как вы просты!»), не сочетающийся с «благонамеренными речами» современности — «наглым панегириком мошенничеству». «Простотой», или попросту глупостью, названо неумение поступать «с выгодою для себя и в ущерб другим». Поколение «кающихся дворян» (это определение Михайловского Блок прилагал и к себе) позволяло себя обкрадывать, потому что не умело и не хотело уметь быть помещиками старого или нового образца. «Я здесь отдыхаю»,— говорил известный ученый, живя в Шахматове. Он там работал, читал, собирал гербарий, отдыхал и т. д., но — не извлекал выгоду из имения. Таким образом, даже бекетовская «наивность» или «простота» была своеобразным противостоянием «благонамеренному» времени. Причем это была сознательная позиция, диктуемая «строем возвышенным души» (III, 469), а не беспомощное простофильство.

Если к мемуарному и поэтическому облику «деда» добавить реальные черты, восстановленные по письмам и записям самого Андрея Николаевича, то доля «наивности» и «тургеневской безмятежности» (III, 315) значительно уменьшится и перед нами встанет человек решительный в суждениях и поступках.

В «Возмездии» «благородство запоздалое» «старинной ладьи» дедовского дома выглядит несколько растерянным перед новыми временами, когда «зашаталось все кругом» и «хищник» с умом холодным и жестоким «вступил в нежданные права», чтобы

...пить живую кровь
Уже от ужаса — безумной,
Дрожащей жертвы...
(III, 325)

При этом глава семьи лишь предается тоске и печали о судьбе России и дочери: по-тургеневски — «седея, в дым глядит...» (III, 327). В действительности дело обстояло иначе. Сохранился черновик письма А. Н. Бекетова А. Л. Блоку, в котором «дед» говорит с «хищником» языком холодным и разящим, отстаивая не только жизнь и достоинство своей дочери, но и гуманистический взгляд на человеческую личность и ее свободу. «Дед» вступает в борьбу с индивидуализмом зятя за индивидуальность юной дочери и оказывается победителем. Самый стиль письма, восходящий к манере шестидесятников, говорит о том, что колыбель будущего поэта России защищала рука властительная и твердая [19]. Не случайно, конечно, А. Н. Бекетов мог занимать должность ректора Петербургского университета и умело отстаивать интересы студентов от посягательств «своевольной и невежественной полиции». Так он писал в 1877 г. в записке о студентах, которая содержала слова: «Молодость есть та пора жизни, в которой человек особенно горячо сочувствует всему хорошему, прекрасному и великому» [20].

В 1911 г. в плане первой главы «Возмездия» Блок писал о дедовских временах: «Тогда и казалось, что есть и было на самом деле только две силы: сила тупой и темной „византийской“ реакции — и сила светлая — русский либерализм. Единицы держат Россию, составляя „общественное мнение“.—

Ну, а „Народная Воля“?

Итак,— священен кабинет деда, где вечером и ночью совещаются общественные деятели, конспирируют, разрешают самые общие политические вопросы (а в университете их тем временем разрешают, как всегда, студенты)...» (III, 463).

Сохранился любопытный документ, который выглядит как иллюстрация к словам Блока: письмо Е. М. Феоктистова М. Н. Каткову от 3—4 ноября 1879 г. (время действия первой части «Возмездия» — 1878—1881 гг.). Феоктистов был в те годы редактором «Журнала министерства народного просвещения», а в 1883 г. занял пост начальника Главного управления по делам печати, и (как предвидел Щедрин) «Отечественные записки» были закрыты. Официальными постами деятельность Феоктистова не исчерпывалась в полном соответствии с сатирическими «тезисами» Блока «Государственная служба» («Враг внутренний есть студент». «Я тебе покажу, как рассуждать». «Следите за Ивановым и доложите мне» — VI, 18). «Недреманное око» шлет Каткову донос, в котором даже дата (*«суббота, 3, вечером»*) должна демонстрировать усердие не знающего отдыха стража порядка: «В университете же заваривается каша. Главные и единственные виновники ее — профессора и попечитель. Сей последний (т. е. князь Волконский) принадлежит, по словам Гурко (петербургский генерал-губернатор.— *М. П.*), к числу самых фальшивых и ненадежных людей. Известно было, что он вообще популярничает с профессорами и вместе с ними скорбит о новых правилах. Ровно неделю тому назад здешний инспектор студентов Антропов явился к Гурко и жаловался ему, что попечитель хочет поставить его в неловкое положение, а именно в присутствии ректора (А. Н. Бекетова.— *М. П.*) стал ему объяснять, как он должен понимать свои обязанности, и из этого объяснения выходило, что он (Антропов) должен считать себя подначальным лицом ректору, ничего не предпринимать без его ведома и т. п.— все это в видах де избежания двоевластия. Гурко тотчас же вызвал к себе Волконского и сделал ему энергичное внушение, а Антропову приказал действовать так, как он действовал прежде. Чрез несколько дней после того начались волнения между студентами. Почин им был подан профессорами. Гурко не имеет ровно никаких сведений от нашего министерства, но имеет их от 3-го Отделения и от Зурова (петербургский градоначальник.— *М. П.*). Все эти донесения он читал мне вчера вечером. Из них оказывается, что дня три тому назад Антропов вошел в аудиторию, когда в ней читал лекции профессор Меншуткин (декан математического факультета). Увидев его, Меншуткин прервал лекцию и попросил его удалиться. Чтобы не подать повода к скандалу, Антропов вышел, но после лекции обратился к Меншуткину за объяснениями, говоря, что, как лицу, принадлежащему к университету, ему не возбраняется, кажется, доступ в аудитории. Менделеев (профессор), присутствовавший при этом разговоре, заметил, что если он (Антропов) считает себя принадлежащим к университетской корпорации, то ведь точно на таком же основании могут причислять себя к ней и *трубочисты*, которые чистят в университете трубы. Все это вчера в 6 часов было донесено Гурко 3-м Отделением и Зуровым 〈. . .〉 Вечером был у Гурко и А. И. Георгиевский (автор новой инструкции, против которой и шла борьба.— *М. П.*). Он имел частные сведения, что уже и прежде некоторые профессора (особенно Таганцев и Градовский) даже в своих лекциях позволили себе выходки против инспекторской власти.

Георгиевский настаивал пред Гурко, что надо приняться за профессоров, как за главных виновников, и Гурко вполне соглашался с ним 〈. . .〉

Вижу, что я забыл упомянуть о действиях студентов. Дня три тому назад образовали они сходку в читальной и начали разглагольствовать против правил. Антропов тотчас же пришел и пригласил их разойтись. Они ушли в курительную. Там какой-то студент начал держать им речь, что необходимо отказаться немедленно от соблюдения правил, ибо де позднее будет еще хуже, так как известно де, что в новом уставе для студентов вводятся телесные наказания. Антропов явился в курительную, но ему стали свистать 〈. . .〉 Вчера арестовали того студента, который в курительной произносил упомянутую выше речь. Сын А. И. Георгиевского рассказывал отцу, что раздавались крики: „нужно Антропова избить". Словом волнения продолжаются 〈. . .〉 Думаю, что Гурко будет действовать энергически. Если еще он ничего не предпринял, то (повторяю) только потому, что лишь вчера 3-е Отделение и Зуров сообщили

ему о всем вышеизложенном (о Меншуткине, Менделееве и действиях студентов). Ни ректор, ни министр ни о чем не известили его <...>

Вчера А. И. Георгиевский советовал Гурко, если волнения будут продолжаться в университете, то тотчас же расставить в нем войско. А я советовал Гурко призвать Менделеева и Меншуткина и сказать им, что так как их действия возбудили волнения среди студентов, то они и должны отвечать за них, а именно, если волнения не прекратятся тотчас же, то они (Меншуткин и Менделеев) будут высланы административным порядком в отдаленные города. Разумеется, надо это обязательно и исполнить, а потом приняться за студентов.

Оставляю это письмо до завтрашнего дня <...>

Так как А. И. Георгиевский и вчера видел Гурко, то я посылал сейчас к нему справиться, не знает ли он что-либо о вчерашнем дне. Вот слово в слово его ответная записка:

„О вчерашнем дне никаких сведений не имею. Даже сын мой в университете не был, так как лекций в этот день у них не назначено. Гурко совершенно основательно ожидает, чтобы учебное начальство обратилось к нему за содействием, но оно где-то скрывается. Впрочем, он уже распорядился вызвать к себе попечителя и ректора с целью предупредить их, что если будут беспорядки, то отвечать пред ним будут они, а также те профессора, которые подстрекают студентов" <...>

P. S. Вчера вечером слышал, что известной здесь г-же Философовой [21] (жене генерал-прокурора военного) велено выехать за границу и не возвращаться без разрешения. Она была своего рода m-me Rolland здешних отчаянных либералов, и подозревают, что даже с нигилистами (т. е. с революционерами.— *М. П.*) находилась в близких сношениях.

В субботу будет суд Мирского. На военном суде предстанет и мой beau frère, адвокат Ольхин, по обвинению в укрывательстве Мирского» [22].

В лихорадочном рвении «холоп Каткова», по аттестации Щедрина, соединил в одном доносе все живые элементы русского общества (от «дедов» до народовольца Л. Ф. Мирского) и нарисовал, помимо своей воли, общественную атмосферу духовного противостояния «арестам, обыскам, доносам« (III, 326). В следующем письме, от 7 ноября 1879 г., Феоктистов сообщает о вызове А. Н. Бекетова, Д. И. Менделеева и Н. А. Меншуткина к генерал-губернатору для строгого разноса за «либеральничанье», а также об увольнении инспектора Антропова, обнаружившего «большую трусость» перед студентами...[23]

И власти не легко опять
Всех тех, кто перестал быть пешкой,
В послушных пешек обращать.

(III, 607)

Упомянутые Феоктистовым профессора Н. С. Таганцев и А. Д. Градовский, как и ректор Бекетов, видные деятели комитета Литературного фонда.

Beau frére Феоктистова, А. А. Ольхин, был генеральским сыном, воспитанником привилегированного Александровского лицея, подающим надежды дипломатом. Но он предпочел, пользуясь терминологией Михайловского, «борьбу за индивидуальность» борьбе за существование. Стал адвокатом, защитником на политических процессах. Ему принадлежит известное переложение «Дубинушки» в песню возмездия: «И от дедов к отцам, от отцов к сыновьям эта песня идет по наследству...». Друзьями Ольхина были Михайловский, А. И. Иванчин-Писарев, Н. Ф. Анненский, позднее Короленко,— вся будущая редакция «Русского богатства». В 1879—1880 гг. все они были арестованы и высланы «в отдаленные города». Лишь Михайловский отделался допросом и обыском (осенью 1879 г.), при этом у него отобрали паспорт, что обычно предвещало высылку. Но в дело вмешался председатель Литературного фонда В. П. Гаевский: он использовал личное знакомство с А. Р. Дрентельном, шефом жандармов, и секретарь Литературного фонда был вызволен из беды [24]. А ведь

Михайловский как раз в эти годы сотрудничал в подпольных изданиях «Народной воли»!

Горстка народовольцев опиралась на очень широкую общественную оппозицию самодержавию, которая включала «всех тогдашних прекрасных передовых русских людей» (III, 463), по бесхитростному определению Блока.

В пастернаковском цикле, посвященном Блоку, один и тот же «ветер жестокий» продувает Шахматовскую усадьбу дедовских времен и поэзию третьего тома и «Двенадцати» [25].

И жил еще дед якобинец,
Кристальной души радикал,
От коего ни на мизинец
И ветреник внук не отстал.

Казалось бы, явное преувеличение: ни радикалом, ни тем более якобинцем дед Блока не был, даже если рассматривать якобинство как категорию психологическую. В этом смысле внук — «недоступный, гордый, чистый, злой» — по составу души и склонности к максимализму больше соответствует представлению об якобинце. К деду более всего подходит его собственная формула — «просвещенный либерализм и гуманность» [26].

Приведенная выше блоковская оценка русского либерализма как «силы светлой» совпадает с оценкой Короленко, который оперировал гораздо более четкими социальными категориями, однако полагал, что русский либерализм — «несколько, быть может, бесформенный и расплывчатый — всегда склонялся в сторону социалистических симпатий, и всюду, где специфические интересы капитала сталкивались с интересами трудящихся классов, он становился без колебаний непосредственно на сторону труда...» [27].

Устойчивое народолюбие и «трудовые симпатии» порою придавали мыслям А. Н. Бекетова радикальное звучание. В письме к жене из Парижа 20 ноября/2 декабря 1865 г. он делится своими впечатлениями об этом «превосходно устроенном городе» «великолепной индустрии», не обольщаясь, впрочем, «блеском новой жизни с ее мизериями, очень ясно проглядывающими из-под зеркал и позолоты ‹...› Под именем мизерий я, впрочем, подразумеваю не бедность, а всякую гадость, о которой длинно распространяться». И делает вполне «якобинское» заключение: «И думается, что в конце концов вся эта дребень, настроенная и раззолоченная буржуазиею, когда-нибудь да заменится же более серьезною жизнью, когда-нибудь да перестанет же рабочий люд употреблять свой ум и свое уменье на удовлетворение праздных болванов, набитых деньгами» [28]. В 1866 г. А. Н. Бекетов написал очерк «Париж», в котором подвел итоги своих впечатлений: «Аккорд, подымающийся с берегов Сены, этот сложный аккорд резок и криклив, в нем громче всего раздаются ноты бешеного, необузданного разгула, но глухие, важные и сдержанные ноты, исходящие из потаенной глубины высокого разума нации, не перестают звучать среди свиста, завывания, звяканья и бряцанья тех бубенчиков, прицепленных ‹?› на том шутовском колпаке, который нахлобучил на себя этот город». Но и здесь мысль «деда» влечется к своему народу и его судьбе: «Основные характеры народов, несмотря на всякие невзгоды и исторические насилия, сохраняются веками и тысячелетиями, а у нас думают гимназическим образованием переделывать людей, которых, притом, и переделывать не нужно, ибо где можно найти во всей Европе более основательного и разумного человека, чем наш русский простой человек. Все его недостатки и пороки зависят прямо от неразвития». И поэтому Бекетов с горечью констатирует неравные условия для образования во Франции и в России: «В одном Париже учащихся не меньше, чем в Петербурге жителей мужецкого пола» [29].

По-видимому, «ветреник внук» не был знаком с этими документами (они хранились у М. А. Бекетовой) — в «Возмездии» о «деде» сказано: «Язык французский и Париж // Ему своих, пожалуй, ближе» (III, 315). Но сам он тем же де-

довским, «якобинским» взглядом измерил Париж полвека спустя: «я не полюбил Парижа, а многое в нем даже возненавидел» (VIII, 370).

Ты видел ли детей в Париже,
Иль нищих на мосту зимой?

(III, 93)

А. Н. Бекетов ценил науку и точное знание, но не походил на цехового ученого и был, по характеристике Блока, «общественным деятелем, он *берег Россию*» (III, 463), постоянно думал и писал о ней. На обороте записей по систематике растений появлялись корявые и гневные дедовские стихи о России:

То Русь — страна степей широких,
Страна порубленных лесов.
Страна чиновников безмозглых —
И храбрых воинов-глупцов.
. . . . . .

Страна мужичья, оржаная,
Страна сивухи и стогов.
Страна овчинно-лаптяная,
Страна кабацких кулаков.

Страна невежества и лени,
Страна жандармов и солдат,
Где правды нет давно и тени,
А совесть взята на прокат.

Где власть законы попирает
И беззаконием живет
. . . . . .

Где государственною верой
Зовется вера во Христа.
А во учители той веры
Дают лишь пьяного попа.

Скажи-ка, что с такой страною
В грядущем сбудется, мудрец...[30]

9 марта 1889 г. маститый ученый записал в дневнике: «Если бы моя семья была обеспечена, я бы, думается мне, давно бы предался деятельности на пользу ближнего. С трудом могу и теперь отвлекаться от человеческих бедствий. Чувствуя и видя себя совершенно бессильным, страдаю и бесплодно негодую <. . .>

Наука меня не удовлетворяет по многим причинам, о которых скажу, может быть, потом.

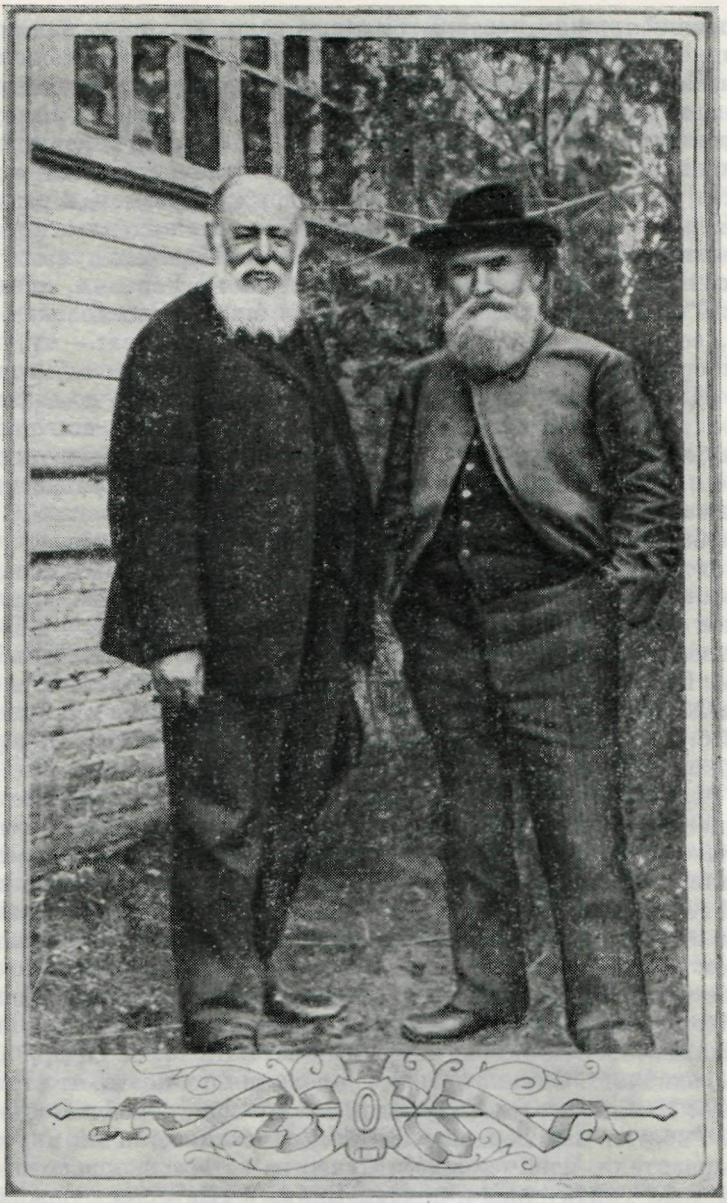
Часто спрашиваю я себя: чего же мне нужно, что именно меня томит и мучит? Я думаю, скорее всего, недовольство собою» [31].

Это чувство, по-видимому, заставляло А. Н. Бекетова покидать храм науки и отдавать много времени литературному труду: он писал мемуары, портреты современников, автобиографические повести и записки, исторические и фантастические романы и пьесы, стихи и многое другое. Некоторые записи имеют самостоятельную ценность. Например, мемуары «Николаевские времена вообще», рисующие человеческую и государственную бездарность Николая I [32], или описание встречи с Н. В. Успенским [33]. В фантастической повести «Будущее через три тысячи лет» А. Н. Бекетов нарисовал социальную идиллию, ожидающую человечество, а в не менее фантастической драме «Цареубийцы» изобразил некоего императора А., который отпускает на все четыре стороны убийц своего отца: «Да не падет ни кровь их ниже́ страдания на прах убиенного...» [34]. Такую же «наивную» позицию по отношению к первомартовцам занимали, как известно, Лев Толстой и Владимир Соловьэв.

Таким образом, перед нами встает фигура ученого и мыслителя с обостренным чувством России, которое и было заложено «роковым образом от природы» в крови гениального внука.

2

Знаменитая первая строка «Возмездия»: «Жизнь — без начала и конца» — как бы перекликается с первым тезисом первой статьи Михайловского „Семья“: «Не нами мир начался и не нами кончится». Статья начинается обращением:



Н. Ф. АННЕНСКИЙ И В. Г. КОРОЛЕНКО (У ДОМА КОРОЛЕНКО)
Фотография, весна 1909, Полтава
Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

«Я имею к читателю, который удостоит своим вниманием эти очерки, одну очень скромную, но вместе с тем и очень важную просьбу. Я прошу его именно помнить, что не им мир начался и не им кончится ‹...› Читатель должен не просто обещать, а постараться как можно глубже проникнуться той мыслью, что не им мир начался и не им кончится ‹...› Придут иные птицы, совьют иные гнезда и запоют иные песни ‹...› Будем же готовы встретить и в прошедшем и в будущем такие формы общественной связи, которые потребуют от нас сильнейшего напряжения мысли и воображения. Об этом я и прошу читателя: не нами мир начался и не нами он кончится» [35].

Михайловский трижды повторяет призыв как своего рода заклинание. И это же заклинание слышится в первой строке поэмы, повествующей об истории одной семьи на фоне «неслыханных перемен» двух веков русской истории. Как отнестись к этому совпадению? Оценить его как случайность? Рассуждая о природе совпадений, Михайловский писал в 1885 г.: «Очень соблазнительно попытаться разложить эту игру случая на составные элементы и затем расположить их уже не в случайном, а в каком-нибудь законосообразном и разумном порядке», «чтобы перед нами раскрылись совсем новые, неожиданные перспективы» [36]. Однако в связи со статьей А. Н. Веселовского о «Мертвых душах» задавал вопрос: «Почему не допустить, что Гоголь и не думал о Горации, когда писал свое „что смеетесь?"». И добавлял, что «согласился бы с г. Веселовским только в таком случае, если б он дал какие-нибудь доказательства,— ну, хоть какую-нибудь подтверждающую выписку из записной книжки Гоголя или что-нибудь в этом роде. Такая критика <...> могла бы иметь известную, даже значительную цену, если бы не так цеплялась за мелочи и если бы, не гоняясь за чисто случайными совпадениями, старалась отличить свойства, вызванные сходством обстоятельств, при которых создавались сравниваемые произведения, от настоящих заимствований или подражаний» [37].

Блок, наоборот, был склонен ценить и «мелочи»; он сочувственно цитировал А. Н. Веселовского: «„Вопрос о заимствовании можно ставить лишь тогда, когда сходство простирается на детали". Таким образом, изучение деталей оказывается не менее важным, чем изучение крупного» (V, 569).

Мы не имеем прямых свидетельств о том, что Блок читал «Борьбу за индивидуальность». В описи шахматовских книг, составленной П. А. Журовым в 1924 г., под № 170 значится: «Михайловский Н. Собр. соч., коричн. перепл. с зол. 5 т., СПб., 1911 г.» [38]. В описании, неточном в библиографическом отношении, прежде всего обращает на себя внимание дата. В 1911 г. был переиздан в типографии М. М. Стасюлевича только том I из прежнего шеститомника 1896—1897 гг. (издание «Русского богатства»). В этот том входила «Борьба за индивидуальность". Возможно, что и остальные тома шахматовской библиотеки принадлежали к последнему изданию сочинений Н. К. Михайловского, начатому в 1908 г. Заметим, что интерес к народническому публицисту возник по ряду причин в 1908 г.: в это время в статьях Блока появляется имя Михайловского (об этом еще пойдет речь). Тома выходили не по порядку (по мере распродажи прежнего издания), т. II не переиздавался, зато вышли дополнительно: т. VII в 1909 г., т. VIII в 1914 г., т. IX не вышел, т. X в 1913 г. В этой ситуации угадать по шахматовской описи, какие именно пять томов содержала библиотека Блока, невозможно. Однако есть все основания полагать, что т. I, вышедший в 1911 г., был. Именно в этом году Блок занимался устройством шахматовской библиотеки. Работая над первой главой «Возмездия», он не мог пройти мимо главного выразителя идей семидесятничества — Михайловского.

В этом смысле характерны и пометы Блока в «Истории русской литературы XIX в.» На полях вводной главы «Общественные и умственные течения 70-х годов» Блок написал «Михайловский» и подчеркнул слова народнического публициста, характеризующие центральный пункт его теории прогресса: «Самое слово «прогресс» имеет смысл только по отношению к человеку» [39]. А в статье И. Н. Игнатова «Художественная литература и критика 70-х годов» излагалась теория личности Михайловского на основании его статьи «Что такое прогресс?». Однако, как писал сам Михайловский, идеи этой юношеской работы были в дальнейшем развиты и дополнены, в частности в цикле «Борьба за индивидуальность». Блок делает помету вверху страницы «все важно» и выделяет, между прочим, характерный для Михайловского взгляд на всесторонне развитую личность: «Совершенная личность, развившая в себе в высшей степени то, что ей дано природой, одинаково умеющая оценить и «свободу и голубые небеса», «и в поле каждую былинку, и в небе каждую звезду», совмещающая и политику, и науку, и труд пахаря, и знания астронома,— эта совершенная личность мерцала в виде отдаленной звезды, освещавшей темные горизонты будущего,

звезды заманчивой и прекрасной, знаменовавшей удовлетворение, счастье, прогресс» [40].

Следует отметить, что большинство монографических глав «Истории русской литературы XIX в.» (о Достоевском, Щедрине, Михайловском и др.) остались без помет. А вот обзорные статьи о 70-х годах привлекли внимание Блока, что вызвано, разумеется, работой над «Возмездием». «70-е годы,— подчеркивает Блок в тексте статьи И. Н. Игнатова,— были страшной работой сердца, мучительным ответом на требования совести» [41]. При этом Блок видит и односторонность семидесятников, узость «общественности», не вмещавшей всей сложности литературного процесса. Последнее обстоятельство не ограничивалось рамками прошлых времен, а было наполнено современной болью.

Таким образом, в годы работы над первой главой «Возмездия» Блок жил в атмосфере интереса к 70-м годам, и это дает право сопоставлять поэму с «Борьбой за индивидуальность».

От первого тезиса о мире без начала и конца Михайловский переходит к теории борьбы за индивидуальность и разделяет людей на два типа: практический и идеальный. Он задает вопрос, не может ли представление о бесконечности мира вызвать «горькое и безотрадное чувство. В самом деле, завтрашняя история сметет нас, сегодняшних, послезавтрашняя — завтрашних и т. д., и т. д., и т. д., так что мысль отказывается, наконец, следить за этой бесконечною цепью, которая становится по мере удаления все более неопределенною, туманною, неуловимою, как очертания альпийских вершин, сливающихся с облаками ⟨...⟩ Из-за чего же я бьюсь? Из-за чего напрягаю свой мозг, из-за чего борюсь и страдаю...». На этот «мучительный вопрос» Михайловский дает следующий ответ: «В числе потребностей человека есть потребности знания и умиротворения совести. Одна удовлетворяется истиной, другая — справедливостью», и хотя понятия истины и справедливости также подвержены изменению в исторической перспективе, нет никакого резона смущаться этим обстоятельством и предаваться «скептицизму и сидению сложа руки» [42]: «Идеал нужен и важен как маяк, как путеводная звезда, а так как путеводная звезда человечества не может остановиться (потому что не останавливается бег времени), то идеалом может быть только движение в известном направлении», которое определяет «ближайшие станции этого движения. Они, конечно, должны быть ясны, хоть опять-таки не теряться в мелочах» [43]. «Когда удовлетворение жажды справедливости станет для вас такою же неотложною органическою потребностью, как удовлетворение аппетита, будущее перестанет вас смущать ⟨...⟩ Напротив, эта смена представляет нечто в высокой степени утешительное; она оставляет надежду, что самые пылкие ваши мечты, которые вы, может быть, даже боитесь рассказать своим современникам, хотя бы в них и не было ничего фантастического, с течением времени и осуществятся и даже превзойдутся» [44].

В итоге: бесконечность мира не отменяет ни идеала справедливости, ни различения добра и зла на ближайшем отрезке пути, ни веры в будущее.

Подобное развитие мысли можно проследить и в «Прологе» к «Возмездию»: хотя «повита даль туманом»,

Но ты, художник, твердо веруй
В начала и концы. Ты знай,
Где стерегут нас ад и рай.
Тебе дано бесстрастной мерой
Измерить все, что видишь ты.
.....
Благослови на здешний путь!
Позволь хоть малую страницу
Из книги жизни повернуть.

(III, 301—302)

В тексте «Возмездия» есть строка, прямо восходящая к Михайловскому: «И, на посту не стоя «славном»...» (III, 318). «На славном посту» — название сборника, выпущенного редакцией «Русского богатства» к 40-летию литературной деятельности Михайловского в 1900 г. Строка характеризует тех, кто, не помышляя о «стоянии на страже» (бесспорной для Блока ценности), пошел обычной стезей приспособления, хотя в свое время носил личину «идеального малого», народническую косоворотку, болтал «о соцьялизме, о коммуне» и пр.

Они похожи на ребят:
Пока не крикнет мать, — шалят;
Они — «не моего романа»:
Им — все учиться, да болтать,
Да услаждать себя мечтами...
(III, 318)

Этот тип ребячливых болтунов, якобы «страдающих за народ», Михайловский называл «гамлетизированными поросятами»: «практический тип» человеческой личности иногда пытается притвориться «идеальным типом». Михайловский полагал, что «жертва или по крайней мере хоть искренняя готовность жертвы есть единственный непререкаемый признак наличности идеала» [45].

Что заставляет человека вступить на жертвенный путь? Смысл рассуждений Михайловского состоит в следующем: «закон развития неудержимо и постоянно толкает организованную материю вперед, к дальнейшему усложнению», поэтому подлинное развитие личности состоит не в приспособлении к окружающей среде, которое может привести к слепоте и неподвижности, а, наоборот, «к борьбе за индивидуальность между человеком и обществом», к стремлению приспособить окружающую среду к своим все усложняющимся потребностям. Человек всегда стремится к счастью и «бежит страдания», но это лишь «элементарный принцип». Эгоизм и альтруизм вытекают из одного источника, ибо альтруизм — лишь осложненный эгоизм. Человек порою сознательно идет на страдание, видя в нем особый род наслаждения; сознание исполненного долга — одна из форм такого наслаждения, понятная, разумеется, лишь «идеальному типу». «Общественная жизнь расширяет и обогащает наше личное существование» и «дарит нас целой массой наслаждений, которые совершенно немыслимы для человека одинокого, если бы такой был возможен». Первичные формы наслаждения (богатство, приобретение знаний, любовь и т. п.) далеко не всегда приносят человеку субъективное ощущение счастья. Жажда этих наслаждений превращается в источник личного несчастья, а удовлетворение вызывает пресыщение. Поэтому нужно бороться не за разные «частные цели», но «за расширение до возможных пределов своего личного существования. А эта задача сводится к борьбе с роковой тенденцией общества двигаться по типу органического развития». Следовательно, нужно бороться за такое социальное устройство, где нет «строгой специализации органов», т. е. кастовых перегородок, и царит принцип выборности: «сегодняшние руки могут завтра же сделаться головой, и обратно» [46]. «Новейшие работы в области антропологии, этнографии и доисторической археологии», ведет свою линию Михайловский, «должны совершенно поколебать господствующую тупую уверенность, что исторически данные формы общества составляют предел, его же не прейдеши. Ведь и людоед думал, что учреждение не фигурального, а прямого пожирания людьми людей никогда не исчезнет. Однако людоед ошибся, но пример его никого ничему не научил. Люди, почему-то называемые практическими, и теперь рассуждают, подобно людоеду. Они не могут сделать тех усилий мысли и воображения, которые требуются для того, чтобы представить себе возможность значительного изменения окружающего мира» [47].

Так во многостраничных запутанных рассуждениях, со многими ссылками на научные труды, незаметно подкрадывался вывод, «властей ввергающий в испуг» (III, 314). Михайловский считался мастером таких «обводов» цензуры

Мотив наслаждения-страдания в подводной части вел к «смертной борьбе» тех, кто готов «взойти на черный эшафот» (III, 312 и 299).

Михайловский рассматривает различные теории любви — Шопенгауэра, Гартмана, Геккеля, «миф Платона». Сам он отчасти разделяет теорию Платона («Платон прав: любовь — взаимное тяготение двух разрезанных половинок» [48]), так что «идей Платона // Великолепные миры» (III, 470) первоначально открылись дочкам Бекетова на страницах «Отечественных записок». Не принимая религиозных толкований, «подсовывающих» природе «цели и целесообразную деятельность», Михайловский сознает, что сила любви и законы ее тяготения не поддаются «тесным и узким» объяснениям естественных наук. Поэтому он считает, что «теория Шопенгауэра, оставляя в стороне ее телеологический характер ⟨...⟩ лучше теории Геккеля. Она больше дает уму...» [49].

Вот как толкует эту теорию Михайловский: «Судьба тех действующих лиц драмы человеческого бытия, которые выступят на сцену, когда мы сойдем с нее, вполне определяется и по существу, и по своим особенностям нашими любовными делами. Только этою внутреннею и несознаваемою их важностью можно объяснить то обстоятельство, что поэты всех времен и народов неустанно черпали из любви свои сюжеты и все-таки не исчерпали ее. Возрастающая склонность двух любящих сердец есть уже, собственно говоря, жизненная воля нового индивида ⟨...⟩ в их страстных взглядах уже загорается новая жизнь, имеющая сложиться в новую гармоническую индивидуальность. Они стремятся слиться в одно существо и достигают этого в лице ребенка, который наследует качества и отца, и матери ⟨...⟩ Как только мужчина и женщина полюбили друг друга, так возникает уже зародыш будущего человека в виде платоновской идеи. Как и все идеи, она с страшною силою стремится выразиться в явлении, воплотиться, реализоваться, и эта-то мощь и стремительность и составляют взаимную страсть двух будущих родителей ⟨...⟩ Влюбленные совершенно напрасно толкуют о «гармонии их душ». Гармония эта может оказаться жесточайшим диссонансом тотчас после свадьбы, т. е. тотчас по достижении цели природы, которая состоит в зачатии ребенка, приближающегося к нормальному человеческому типу. Природа жестоко надувает влюбленных, заставляя их думать, что они созданы друг для друга, тогда как все дело ⟨...⟩ не в них самих, а в будущем поколении ⟨...⟩ Ребенок, ради которого единственно происходит вся история любви, тоже только индивид. Он вырастет и точно так же будет, инстинктивно повинуясь воле гения вида, искать счастия в любви и тоже его не найдет. Он принужден будет бороться с тысячами препятствий, будет весь изранен, потеряет, может быть, и честь, и совесть, и растопчет даже, может быть, наконец, свою собственную индивидуальность» [50].

Трудно отделаться от впечатления, что Блок в «Возмездии» ходит теми же тропами:

....Вот — любовь
Того вампирственного века,
Который превратил в калек
Достойных званья человека!
(III, 325)

Главное в рассуждениях Михайловского — устремленность рода в будущее с исторической миссией создать более совершенную личность, способную подчинить «естественный ход жизни». В предисловии к «Возмездию» Блок писал: «В каждом отпрыске зреет и отлагается нечто новое и нечто более острое, ценою бесконечных потерь, личных трагедий, жизненных неудач, падений и т. д. ⟨...⟩ Но семя брошено, и в следующем первенце растет новое, более упорное; и в последнем первенце это новое и упорное начинает, наконец, ощутительно действовать на окружающую среду...» (III, 297—298).

Устремленность в грядущее противоречит одной современной трактовке «Возмездия» как «поэмы конца (хотя Блок хотел, чтобы оно стало также и поэ-

мой начала) <...> Ведь и «сыну» не суждено обновить род. Исчерпанность личности достигает тут предела» [51]. Формула «исчерпанность личности» применима лишь к «отцу» — пришельцу в роде, который кончил жизнь «забытый // Людьми, и богом, и собой» (III, 339). А «сыну» как раз и суждено «обновить род». Последние строки этой «поэмы без конца» (не столько в смысле ее неоконченности, сколько в смысле бесконечного развития форм жизни) исполнены утверждающего пафоса:

Ты все благословишь тогда,
Поняв, что жизнь — безмерно боле,
Чем *quantum satis* Бранда воли,
А мир — прекрасен, как всегда.

(III, 344)

«Возмездие» — это «поэма продолжения».

3

Народовольческая тема поставлена в «Возмездии» так, как будто Блок знал о дискуссии вокруг семидесятников, возникшей в 90-е годы. Тогда Блок был за тридевять земель от своей будущей поэмы. Но, собирая материал для «Возмездия», он читал воспоминания народовольцев, а уж они-то знали о дискуссии. В библиотеке Блока были комплекты журнала «Былое». Читал он сборник «Былое» (Париж, 1908, № 7), где были опубликованы автобиографические свидетельства Каляева и воспоминания о нем Е. Сазонова и Б. Савинкова. Мог видеть сборники: «Памяти Ивана Платоновича Каляева», вышедший за границей в 1905 г., и «Дело Ив. Каляева» (СПб., 1906). В первом сборнике можно было прочесть, что детство Каляева освещалось «фамильными традициями, переходившими от дедов к отцам и от отцов к детям. Ведь и у народа есть свои традиции» (с. 2). В обоих сборниках были помещены фотографии и стихи Каляева. Именно на Каляева ссылается Блок в письме к В. В. Розанову от 20 февраля 1909 г., причисляя его к «истинным героям, с сияньем мученической правды на лице». Это письмо содержит и зародыш будущей поэмы: «Ведь правда всегда на стороне «юности» <...> Революция русская в ее лучших представителях — юность с нимбом вокруг лица <...> Нам завещана в фрагментах русской литературы от Пушкина и Гоголя до Толстого, во вздохах измученных русских общественных деятелей XIX века, в светлых и неподкупных, *лишь временно помутившихся* взорах русских мужиков — огромная (только не схваченная еще железным кольцом мысли) *концепция* живой, могучей и юной России <...> С этой грозой никакой громоотвод не сладит» (VIII, 276—277).

Здесь слышны приближающиеся раскаты «Возмездия». Обычно замысел поэмы относят к варшавской поездке Блока в декабре 1909 г. на похороны отца. Но внутренний процесс «вбирания в себя этой концепции, как свежего воздуха» проходил задолго до того, как материал был схвачен «железным кольцом» реального замысла. У истока «Возмездия» встает облик Ивана Каляева, «юного революционера с сияющим правдой лицом» (Там же). Сама эта формула, дважды повторенная, заставляет предположить, что Блок видел фотографии Каляева, его озаренное внутренним светом лицо.

Характерно, что Марина Цветаева, дышавшая воздухом той эпохи, указала в 1926 г. на Каляева как на истинного героя революционной поэмы, ибо он — «герой древности», «герой мечты» [52]. А Э. К. Метнер проницательно написал в мае 1905 г. о Каляеве, который «прав безмерно»: «Натура — очень тонкая, блоковская» (ЛН, т. 92, кн. 3, с. 224).

Тема «Возмездия» зримо присутствует в стихах Ивана Каляева, особенно в одном из них, которое он считал «самым задушевным своим раздумьем» и над которым мог бы стоять эпиграф: «Юность — это возмездие».

Лучи кровавого заката
Нас в детстве озарили.
. . . . . .
В жестокие росли мы годы:
У виселицы черной
Стоял еще палач свободы,
Глумясь над всем задорно.
. . . . . .
Мы каялись, «отцам» внимая,
В терпенье упражнялись,
И, измеряя даль прогресса,
Росли — и поучались
. . . . . .
И часто мы, невзгоды дети,
Вдали от лжи, разврата,
Мечтали о борьбе при свете
Вечернего заката.
Замученных героев тени
Тогда шептались с нами,
А на небе пылало мщеньем
Кровавое их знамя...
Спускалась ночь над их могилой,
Забытой, неизвестной,
Но нам, объятым новой силой,
Был ясен свод небесный.
Свидетель тайных дум, мечтаний
И помыслов мятежных,
Он книгу нам раскрыл деяний
Грядущих, неизбежных.
Мерцали звезды сиротливо,
Огни вдали мерцали,
А мы страницы молчаливо
Судьбы своей читали
. . . . . .
Уж близок, близок час расправы,
Несите месть тиранам...
И мы пошли...[53]

Эти «непрофессиональные» строки, окрыленные юношеским пафосом, написаны в 1902 г., когда Каляеву было 24 года. Смысловые и даже текстуальные переклички с «Возмездием» и стихотворением «Рожденные в года глухие...» бросаются в глаза («Мы — дети страшных лет России», «кровавый отсвет в лицах», «черный эшафот», «И небо — книга между книг...», «Месть! Месть! Так эхо над Варшавой...» и др.). Разумеется, у Блока все воплощено в формы высокого искусства, да и совпадения могут быть случайными. Однако, как говорила Цветаева, «раз — случайность, два — подозрение на закон». Романтическая тональность мятежных помыслов Каляева сливается с музыкальной стихией «Возмездия», а все вместе позволяет предположить, что облик этого «рыцаря грядущего» витал над замыслом поэмы. Не подхватил ли Блок последнюю строчку Каляева «И мы пошли...», когда писал: «И я пойду навстречу солдатам... И я брошусь на их штыки... И за тебя, моя свобода, взойду на черный эшафот» (III, 299).

Егор Сазонов пишет, что «общим впечатлением внутреннего сияния» Каляев напоминал юношу Сергия Радонежского на картине М. В. Нестерова: «Широкий, благородный лоб и большие, светлые, горевшие глубоким светом глаза, немного насмешливые ‹...› Худощавое лицо аскета с улыбкой ясной и озаряющей ‹...› Изящество во всем, в костюме, в манерах». Партийная кличка Каляева — «Поэт»; он не только писал стихи, но был защитником нового искусства, любил Метерлинка, Бальмонта, Брюсова, Блока (Каляев мог знать лишь «Стихи о Прекрасной Даме»). „Скажите, зачем вы употребляете опошленное и бессмысленное слово — декадент? — говорил он Сазонову.— И еще с таким пренебрежением... Те, кого вы называете декадентами, представляют наше искусство. Они тоже революционеры — да, да, не смейтесь! — они революционеры в искусстве ‹...› Вы, как революционер, не имеете права пренебрежительно отмахиваться от нового в искусстве, даже не потрудившись понять его“ [54]. Он считал себя продолжателем «Народной воли», «рыцарем духа», поднявшим «честный меч наследный». В его судебной речи грозно звучал мотив возмездия: «Пусть судит нас эта великомученица истории — народная Россия ‹...› Это суд истории над вами. Это волнение новой жизни, пробужденной долго накоплявшейся грозой ‹...› Борьба против самодержавия ведется десятки лет ширококрылым фронтом всей трудящейся и мыслящей России». А выслушав смертный приговор, сказал: «Учитесь смотреть прямо в глаза надвигающейся революции» [55] (близкую формулу мы встретим позднее у Блока). Каляев держался, как герой античности, но эта твердость давалась напряжением всех душевных сил [56]. По приезде на место казни, в Шлиссельбург, его бил озноб. Каляев

объявил тюремщикам, что замерз, и, потребовав второе одеяло, сумел побороть дрожь. Ночью он просил ускорить казнь — предсмертные часы этой «распятой высоты» (II, 263) было не легко длить. Но казнь состоялась как всегда на рассвете. В последние два часа прокурор восемь раз входил к Каляеву и предлагал подписать прошение о помиловании. Это во всяком случае давало значительную отсрочку. Каляев твердо отказывался [57]. Ранее он запретил матери подать просьбу о помиловании, ведь народовольцы не просили милости! Перед эшафотом он произнес: «Скажите моим товарищам, что я умираю радостно и буду вечно с ними» [58].

В 1918 г. Ленин использовал имя Каляева как образец нравственной безукоризненности революционера, ибо «дело Каляева действительно честное» — «убийство тирана» [59].

В довершение всех «случайностей» Иван Каляев, как и «последний первенец» «Возмездия», родился в Варшаве от польки и русского, с некоторым изменением обстоятельств: отец — из крепостных крестьян Рязанской губернии, мать, София Пиотровская,— из разорившейся шляхетской семьи. По свидетельству Каляева, от отца он воспринял романтическую любовь к России и русскому народу, «любовь к родным лохмотьям», как сказал бы Блок. Рыцарское служение «многострадальной России» и вера в ее жребий стали «непреложным законом» сердца Каляева, его Радостью-Страданьем (или наслаждением-страданием, как писал Михайловский).

А в 1899 г., когда «Русское богатство» защищало память народовольцев от тех, кто утверждал, что их «идеалы не находят себе больше горячих и талантливых защитников» [60], Каляев учился на юридическом факультете Петербургского университета. Там же учился будущий певец «Возмездия» (они были однокурсниками и могли встречаться на лекциях).

В этом году в журнале «Жизнь» печатался цикл статей Е. А. Соловьева «Семидесятые годы». Критик оценивал семидесятничество (цензурные условия не позволяли прямо ставить вопрос о «Народной воле») как некий утопический феномен, как эпоху, которая «окончательно ликвидировала свои дела» [61]. Семидесятники (читай: народовольцы) были людьми, идущими «вверх по катящемуся вниз леднику», продолжал Е. А. Соловьев, они верили в личность, в особый уклад русской жизни, «ожидали справедливости от истории», надеялись, что их память почтут «сосредоточенным умилением» [62]. Критик был склонен к бесцеремонным и противоречивым формулировкам; это дало основание Горькому назвать его писания «пьяным танцем» [63]. В 70-е годы, утверждал Соловьев, мы попадаем «в компанию угрюмых и в большей или меньшей степени фанатически настроенных пуритан»: «Было признано, что стремиться к личному счастью — пошло, скверно, греховно. Было признано, что *надо* страдать. Над короткой человеческой жизнью, над ее жаждой света, приволья и счастья — требовательная, ригористическая этика набросила мрачную, пугающую тень...» [64]. «„Драма“ 70-х годов имела два исходных пункта»: «веру в мужика» и «отрицание за человеком права на его личное счастье во имя счастья грядущих поколений. Когда вера в мужика пошатнулась, а запросы человеческой личности дали себя чувствовать с особенной силой — драма разыгралась с полной силой» [65].

В противоречии со всем этим Е. А. Соловьев писал об идейном выразителе семидесятничества: «Самое приятное в учении г-на Михайловского это, разумеется, то, что он не сотворил себе кумира из прогресса и не преклонился перед ним. Ни на минуту не упуская из вида, что страдающим и радующимся элементом в общественной жизни является личность, все свое внимание он сосредоточил на ней, ее счастии и благополучии. Это, если хотите, завершение заветов Белинского и Герцена». И опять-таки в противоречии с только что сказанным Е. А. Соловьев оспаривал «критерий прогресса» по Михайловскому (счастье человека), как не выдерживающий никакой критики, ибо счастье вообще невозможно, и предлагал собственную двусмысленную формулу прогресса — «принцип экономии сил» [66].

В заключении, носящем заглавие «О сословном духе литературы», Е. А. Со-

ловьев окончательно запутал проблему семидесятничества: «Я утверждал и продолжаю утверждать, что в нашем народничестве старобарский сословный дух выступает с полною ясностью и что этот-то дух является первой и главной причиной всех его неудач и его скорого переутомления. Народническое движение со своим основным мотивом жалости и сострадания к бесправному мужику создано нашим старым барством» (Радищев, Герцен, Тургенев, Григорович, Щедрин, Л. Толстой, отчасти Достоевский). Именно они утверждали: «дух идеализации мужика, дух покаяния, дух внутреннего самоочищения, призыв к любви, состраданию и жалости» [67] — все то, с чем покончили новые времена и новые веяния...

Для всей группы, возглавлявшей «Русское богатство», история поколения 70-х годов была «историей моего современника», или «нашим романом», эпилогом которого служили «места отдаленные» [68]. Не «потерянным раем», как полагали некоторые задорные молодые критики, были для Михайловского 70-е годы, но «аллеей, на каждом дереве которой висит повешенный» [69]. В 90-е годы он писал сотруднику «Русского богатства»: «Я не считаю результаты террора 70-х годов определенными». И в то же время: «Я не знаю, доживет ли человечество до счастия; знаю только, что это неведение или сомнение не упраздняет обязанности и счастия борьбы...» [70].

Естественно, что статья Е. А. Соловьева встретила дружное противодействие «русских богачей». Первым забил тревогу П. Ф. Якубович, находящийся в Курганской ссылке. Уже 7 января 1899 г. он написал Н. К. Михайловскому: «Статья Евг. Соловьева обещает быть довольно сомнительной вещью. Что́ вообще можно *теперь* сказать о 70-х годах, кроме пошлостей à la „Неделя"? Уже и в первой статье есть достаточно разных недоразумений и даже прямых глупостей. Впрочем, если автор так же великолепно знает всю литературу 60-х и 70-х годов, как стихотворение Добролюбова „Пускай умру", безбожно им перевираемое, то все эти недоразумения станут вполне понятными» [71]. Затем из Парижа в редакцию «Русского богатства» пришло письмо от народовольца Л. Э. Шишко: «В настоящую минуту я очень увлечен статьею по поводу поверхностной и возмутительной болтовни Евг. Соловьева о 70-х годах. Эта тема чрезвычайно волнует меня, и я надеюсь прислать Вам не лишенный интереса очерк» [72].

В печати первым выступил Михайловский, отметив, что «всестороннему обсуждению» относительно недавнего прошлого препятствуют «обстоятельства времени и места»: «Будущий историк этих годов, которому не придется жаловаться на неполноту их «dossier», может быть, сурово осудит их ошибки и увлечения», но «вздорная» работа Соловьева, «ухарски джигитующего по усеянному мертвыми костями полю», вызовет у него лишь «изумление и негодование» [73].

Несколько позднее в своей, по характеристике Блока, «односторонней «истории литературы» XIX века» (V, 218) Е. А. Соловьев напишет о «полемическом жестокосердии» Михайловского, «уступающем разве жестокосердию Добролюбова или Чернышевского» [74].

Не одобрял «тона» Михайловского и близко стоявший к «Жизни» Горький, однако он послал редактору журнала письмо (несохранившееся), о содержании которого можно судить по ответу В. А. Поссе 20 ноября 1899 г.: «Ты не прав, восторгаясь Михайловским и нанося свой удар Соловьеву, которого травят безбожно и несправедливо. Надо по крайней мере два раза прочитать все «Семидесятые годы», прежде чем так нападать, как нападаешь ты». Однако уже через два дня редактор «Жизни» в своих письмах к Горькому отказался от защиты Е. А. Соловьева. 22 ноября 1899 г.: «Может быть, к Михайловскому я не прав. Чувствую, что защищать Соловьева трудно». 2 декабря 1899 г.: «Не сыграл бы Соловьев для „Жизни" роли Волынского [75]. Сам чувствую, что пишет он складно, а толку нет» [76].

В ноябрьском номере «Русского богатства» за 1899 г. выступил Короленко со статьей «О сложности жизни», которую Горький назвал «превосходной», «лучшей его публицистикой» [77]. Причем «мягкосердечная» позиция Короленко надежно подкрепляла «жестокосердие» Михайловского. По трактовке Короленко-

ко, человек 60-х и 70-х годов — это «воистину человек». Признавая закономерность «постоянного и ежеминутного» рождения «элементов нового мировоззрения», Короленко напоминал, что «живая почва» для этого роста неизменно «остается одна на протяжении всей сознательной истории человечества. И это одно — «человечность», постоянный рост человеческой личности <...> что так сильно изображено еще в статьях Н. К. Михайловского „Борьба за индивидуальность" и что, я уверен, останется всегда *общей* задачей передовой русской печати...» [78].

Затем в полемику вступила (разумеется, под псевдонимами) старая гвардия «Народной воли» в лице Л. Э. Шишко, входившего в Лондонскую группу «Фонда вольной русской прессы», и Н. С. Русанова, основателя парижского «Кружка старых народовольцев».

Первый упрекал Е. А. Соловьева в игнорировании связи между поколениями, в попытке изолировать 70-е годы «из цепи тех явлений, в которых выражалось главное прогрессивное течение русской общественной мысли». Между тем если бы критик «обратил надлежащее внимание на историческую преемственность идей 70-х годов, то он увидел бы, что эта вера в народные массы как источник общественного возрождения лежала в самой основе миросозерцания „Современника"...». «Вера в силу личности» также воспринята из 60-х годов, в частности от Добролюбова [79].

Н. С. Русанов назвал позицию Е. А. Соловьева «до некоторой степени антитезой русского идейного движения 60-х и 70-х годов». Между тем «наиболее живые и энергичные» представители лагеря марксизма видят, что «между предшествующими поколениями и современным есть нечто общее, а именно конечный идеал», и «начинают считать себя даже продолжателями прогрессивных традиций прошлого», в котором «мы добывали крупицы истины», «ошибаясь и исправляя ошибки и снова ошибаясь и снова внося жизненные поправки в наше теоретическое мировоззрение». «Конечно, был и аскетизм, были и страдания, но эта сторона совершенно тонула в жизнерадостном энтузиазме, в наслаждении борьбой...». Семидесятники знали «цену жизни», и, в частности, любовь была в их сознании «одною из величайших и интенсивнейших радостей жизни, острота которой только увеличивалась благодаря общему трагизму положения» [80].

В. А. Поссе написал Горькому об одной из статей Н. С. Русанова: «Он, в конце концов, накладет нашему Андреевичу» [81].

Этический идеализм, воспринятый от семидесятников, видел в жертве высокий нравственный смысл. Короленко не одобрял террора и «химических средств», но тех, кто во имя идеала идет на гибель, он называл «освещенными вершинами», поддерживающими веру в человеческую природу. В своем архиве он хранил фотографию Ивана Каляева. Мотив самопожертвования встает в рассказе Короленко «Мороз» («Русское богатство», 1901, № 1), который появился в разгар полемики с теми, кто чересчур увлекался самодовлеющими экономическими законами и готов был рассматривать борьбу народовольцев (а заодно и всякий альтруизм) как бессмысленную жертву. Смертельные оковы сибирского мороза (отчасти реального, отчасти метафорического, как и Пан-Мороз в «Возмездии») способны не только «заморозить совесть», но и толкнуть на жертвенный поступок, причем его совершают и политические ссыльные, и человек из народа. Даже абсолютно бессмысленная жертва одного из героев заставляет склонить голову: не зная дороги и не дожидаясь лошадей, при подымающемся сибирском ветре он вышел на помощь замерзающему, прошел «удивительно много и... не оступился ни шагу, пока...». Там, где он погиб, встал в тайге «большой каменный крест» — место душевного очищения для оставшихся жить. «В „Морозе", например,— писал Короленко,— нравственная оценка факта совсем не в достижении определенного результата и не в жалости» [82]. Короленко знал историческую и нравственную цену людей, которые «погибали, но не гнулись» [83]. В рассказе «Не страшное» («Русское богатство», 1903, № 2) есть вставная новелла о семидесятнике, который отошел от своих товарищей (имелись в виду народовольцы), ибо они «голыми руками за колеса истории хва-

таются». Но ирония Короленко направлена не на тех, кто «хватается», а на тех, кто «отошел» и кончил бессмысленным накопительством и бессмысленным самоубийством.

Знаменательное совпадение с «Возмездием»! «Последний первенец» «готов ухватиться своей человечьей ручонкой за колесо, которым движется история человечества. И, может быть, ухватится-таки за него...» (III, 298). Ему суждено воплотить «волю к подвигу» (III, 473) и «взойти на черный эшафот» вслед за теми, кто «бессмысленно» погиб у истока «Возмездия»:

К чему мечтою беспокойной
Опережать событий строй?
Зачем в порядок мира стройный
Вводить свой голос бредовой?
. . . . . .
Зарыты в землю бунтари,
Их голос заглушен на время.

(III, 465—466)

Авторская ирония, как и у Короленко, имеет обратный заряд: она направлена против «теорий прогресса», игнорирующих человеческую личность. У Короленко и у Блока безрассудство тех, кто погиб под колесами истории, как раз и оказывается вписанным «в общий смысл жизни» («Не страшное» Короленко) или в нарастающий мотив возмездия.

«Жить можно только будущим. Те же немногие, которые живут, т. е. смотрят в будущее...» (VII, 135),— записал Блок 24 марта 1912 г. и пометил: «Страстная суббота». 70-е годы были героической, «страстнóй» порой в жизни русского общества, когда умели глядеть вдаль.

Главным хранителем народовольческого Грааля в редакции «Русского богатства» был П. Ф. Якубович, сказавший о себе: «Я пою великие страданья // Поколенья, проклятого богом!». В стихотворении «У сфинксов» («Русское богатство», 1903, № 3) он зашифровал от цензуры то, что можно было отгадать без Эдиповой мудрости: лики С. Перовской и А. Желябова:

В маленькой шапочке, в кофточке тонкой
Девушка, с обликом нежным ребенка,
В полосу света бесшумно вошла;
Юноша рядом — со взглядом орла.
. . . . . .
Он говорил, улыбаясь светло:
«Нет, бескорыстные жертвы не тщетны!
Это сгущается мрак предрассветный...»
. . . . . .
Вспыхнуло что-то во мраке душевном,
Бурно прошло дуновением гневным. . .
Словно вперед я сумел заглянуть —
В темную ночь на грядущий их путь.

Заметим, что и Блока влечет «туда, где в море сфинкс глядит», где взор уходит вдаль, а мысли — к будущему:

Какие ж сны тебе, Россия,
Какие бури суждены?. .
Но в эти времена глухие
Не всем, конечно, снились сны. . .

(III, 330)

И Блок высветит из темноты «большой ребячий лоб» и «голубоглазый детский лик» «ребенка в черном платье», глядящего вдаль:

Но, как бы что найдя за далью,
Глядит внимательно, в упор,
И этот милый, нежный взор
Горит отвагой и печалью. . .

(III, 312)

Разумеется, не в подражание Якубовичу это написано — просто они видели одну и ту же фотографию Софьи Перовской. Гораздо важнее то, что оба это лицо избрали и оба смотрели на него с одинаковым чувством «сораспятия».

Михайловский уговаривал описать «драму жизни» народовольцев автора «Песни о Соколе» [84], а сделал это автор «Стихов о Прекрасной Даме»... И сделал так, будто оспаривал утверждение Е. А. Соловьева о «компании угрюмых пуритан»:

Как будто — свадьба, новоселье,
Как будто — всех не ждет гроза, —
Такое детское веселье
Зажгло суровые глаза...

(III, 313)

«Запросы человеческой личности» и «цена жизни» здесь действительно другие, необычные. Но именно о тех, кто, болтая о «грядущих поколеньях», цепко держится за «личное счастье», Блок написал:

Но им навеки не понять
Тех, с обреченными главами:
Другая стать, другая кровь —
Иная (жалкая) любовь...

(III, 318—319)

Эти строки не дошли до «стариков» из «Русского богатства». Но нетрудно представить, какое впечатление они произвели бы на Михайловского и Якубовича.

Темы «страдания», «жалости», «долга перед народом» были завещаны «старобарской», по терминологии Е. А. Соловьева, культурой вовсе не одним 70-м годам и не ими одними продолжены и развиты. Правда, на рубеже XIX—XX вв. по ряду причин все эти мотивы попали в разряд «старой морали», а новое поколение с односторонней увлеченностью стало воспевать культ силы и радости. Михайловский в своих статьях многократно предостерегал от абсолютизации этого культа: «Нашему времени предстоит восстановить мораль господ,— с насмешкой писал он в 1898 г.,— (она же, значит, мораль „селекционистская" или „научная"), произвести „переоценку всех ценностей", признать „доброту" злом, а „злость" добром, упразднить любовь к ближнему и заменить ее „любовью к дальнему". Дальние это наше потомство, будущее человечество, которое станет более совершенным, если мы откажемся от покровительства слабым и дадим ход сильным» [85]. С такой же иронией отзывался Якубович на страницах «Русского богатства» (1903, № 6 и 12) о «демоническом» бунте против «старой морали», который подымался в изданиях «Скорпиона» и «Грифа». А в своем письме к Михайловскому от 25 сентября 1895 г., требуя «оправдания Бодлера», писал: «Признаюсь откровенно, что даже и культ страдания («Благословение», «Неожиданное» и др.), который Вы, Николай Константинович, отметите, вероятно, неодобрением, действует на меня в Бодлере чарующим образом:

Благословен Дающий нам страданья,
В пустыне зол источник вод живых!
Как сталь в огне, в горниле испытанья
Наш крепнет дух для радостей святых» [86].

Михайловский в ответ предложил написать статью о Бодлере для «Русского богатства».

Короленко в «Не страшном» вывел фигуру «кроткой» женщины из простонародья, заметив: «самым умным во всей этой запутанной истории» были «глупые слезы» этой молчаливо страдающей женщины, ибо «страдание... ведь оно удивительно умное всегда. даже у птицы...» («Русское богатство», 1903, № 2).

В устах такого «бодрого» художника, как Короленко, напоминание о том, что искусство немыслимо без темы страдания и сострадания, было особенно убедительно. Блока и не нужно было в этом убеждать. В 1911 г. он написал о рассказе Л. Толстого «Алеша Горшок», в котором с пронзительной жалостью изображена короткая и самоотреченная жизнь крестьянина, не посягавшего на «личное счастье»: «Гениальнейшее, что читал...» (VII, 87).

Разумеется, не семидесятники или народники набросили «мрачную, пугающую тень» на русскую литературу. Воспевая в «Розе и Кресте» самоотречение и «боль неизведанных ран», Блок опирался на гуманистический завет всей мировой культуры. Не только бекетовский, но и соловьевский урок звал сохранить эти традиции. В «компанию угрюмых пуритан» следует зачислить прежде всего ибсеновского Бранда, сурового проповедника, избравшего скалистый берег нужды и лишений. «Творчество Ибсена говорит нам, поет, кричит, что ритм нашей жизни — *долг*» (V, 238). Так писал Блок в статье «Три вопроса» (1908), где рядом с именем Ибсена стояло имя Михайловского, во все времена проповедовавшего «благое иго» или «легкое бремя» собственного решения и решимости.

И в XX в. эта «старобарская» традиция будет продолжена. Марина Цветаева, назвавшая Блока «последним рыцарем», а себя «единоличным бойцом» [87], напишет цикл «Отцам» (1935), обращаясь к поколению прошлого века:

Поколенье, где краше
Был — кто жарче страдал!
Поколенье! Я — ваша!
Продолженье зеркал.

Ваша — сутью и статью. . .[88]

4

Михайловский не был знатоком поэзии (любил Лермонтова и Некрасова ценил Баратынского) и даже не причислял себя к профессиональным литературным критикам, с излишней категоричностью полагая, что «со времен Белинского у нас был только один литературный критик, Добролюбов», умевший соединять «красоту мысли и слова» [89]. Себя Михайловский называл «самым журнальным журналистом» [90] и «человеком, поседевшим на литературе» [91]. Последнее позволяло ему порою делать интересные общие наблюдения и давать оценки, лишенные односторонности. Именно таким было его отношение к символизму в целом, о чем забывают и те, кто ставит ему в заслугу «борьбу с декадентщиной», и те, кто считает его рутинером, ничего не понявшим в новом течении. В 900-е годы некоторые критики (К. Чуковский, А. Глинка-Волжский, П. Пильский) признавали, что первый серьезный анализ символизма дал Михайловский в начале 90-х годов. Е. А. Соловьев, бывший одно время постоянным сотрудником библиографического отдела «Русского богатства», оставил интересное свидетельство о том, что Михайловского «тянуло» к «чистому» искусству, «но многим приходилось жертвовать для журнала собственно», ибо Михайловский придерживался прежних «суровых и строгих правил журналистики». Однако эта позиция «никогда не переходила в брюзжание, в отрицание „наотмашь" всего нового, молодого...» [92].

Интересы молодости были близки Михайловскому (у него росли два сына, постоянно жил племянник). 30 марта 1902 г. он писал Н. С. Русанову: «Молодежь хорошая есть, даже много ее, быть может, даже большинство. Но не говоря об обостряющемся в ее среде расколе (в петербургском университете происходили безобразнейшие сцены, даже до драки, между „обструкционалистами" и их противниками), но это народ *пока* безымянный, серый, рядовой. Выдающиеся декадентствуют, ницшеанствуют, устраивают альянсы с попами и проч., и для

всех их „пошлый опыт, ум глупцов" представляют старики нашего типа <...> Что же касается вообще распри между стариками и молодыми, отцами и детьми, то я сказал бы, что ее теперь нет. Формы, в которых проявляют себя старики, конечно, не те, что у молодежи, но мы в настоящее время переживаем момент такого единения молодых и старых (не мещерских, конечно) сердец, что натравливать их друг на друга — не политично» [93].

В том же 1902 г. один из выдающихся — студент Александр Блок — работает над статьей о русской поэзии, выделив четыре имени (Тютчев, Фет, Полонский, Вл. Соловьев), как раз тех, кого причисляли к «чистой» поэзии. Среди источников он пометил: Михайловский. «Литературные воспоминания и современная смута», т. II, 1900 (ЗК, 27). В это издание входили статьи о М. Нордау, Ф. Ницше, «Русском отражении французского символизма» и другие, причем все эти сложные явления оценивались отнюдь не по стандартам «либеральной жандармерии» (определение Блока) [94]. А в 1908 г. Блок напишет о молодежи, посещающей вечера «искусств», со своей обычной бесстрашной искренностью: «По моему глубокому убеждению,— *лучшая* часть публики» та, что аплодирует «скверным стихам с „гражданской" нотой» и «шипит» на «хорошие стихи без гражданской ноты» (V, 305).

Эти как бы идущие навстречу друг другу признания Михайловского и Блока знаменательны. Применив метафоры Блока, можно назвать народнический лагерь «берегом скалистым», где действовали законы «долга» и «пользы», слишком суровые для «соловьиного сада» русской поэзии. Однако это противостояние не являлось мертвым окостенением, исключающим всякие живые связи и всякий взаимный интерес. ««Чужой» не всегда обозначает «враждебный»,— писал Михайловский в 1881 г.,— равно как «свой» не есть непременно синоним «дружественного»», но порою «отчужденность» является «большим несчастьем» для обеих сторон [95].

Более того, можно проследить медлительный и противоречивый процесс сближения, возможный, как писал Блок, лишь на «вершинах», там, где «подают друг другу руки заклятые враги: красота и польза» (V, 237). На эти вершины художника ведет «голос долга» — «радостный и свободный должный путь», на который зовут его Михайловский и Ибсен. Поставить эти два имени рядом мог человек, читавший Михайловского. В 1896 г., в связи с выходом первого собрания сочинений Ибсена на русском языке, Михайловский назвал творчество норвежского драматурга «большой книгой об „ответственности человека"», которая учит «пранию против рожна необходимости», т. е. борьбе [96]. «Никогда не согласимся мы, профаны,— писал Михайловский в 1894 г.— на такое разделение труда между жизнью и искусством, чтобы на долю первой приходились „бедствия" и „слезы горькие", а искусство свелось бы на „чарование красных вымыслов" <...> Положим, что господа художники нас не спросят, но дело-то в том, что и сами они, по крайней мере наиболее талантливые из них, вовсе не обнаруживают исключительного стремления замкнуться в область чарованья красных вымыслов» [97]. Однажды, устав от «вопросов» о назначении искусства, которые в конце концов дошли «до совершенной разжеванности», он написал: «Не будем спорить. Но верно то, что на литературных престолах сидят только те, кто умеет возбуждать негодование или добрые чувства в читателе» [98].

Каждое десятилетие снова ставит и снова дает ответы на «разжеванный вопрос» о взаимоотношении мира искусства и мира жизни. Блок умел говорить «не во имя *одного* из этих миров», а «во имя обоих» (V, 481). Его позиция подтвердила принцип литературного «престолонаследия», провозглашенный «профанами»:

Да. Так диктует вдохновенье:
Моя свободная мечта
Все льнет туда, где униженье,
Где грязь, и мрак, и нищета.

(III, 93)



Н. К. МИХАЙЛОВСКИЙ
Фотография, 1900-е годы, Селище Костромской губ.
Литературный музей, Москва

В 1908 г., когда Блок начал трудный путь среди «скал должного», для него «старая русская жвачка» была гораздо «вкуснее» и «питательнее», чем новая (V, 339 и ЗК, 114): «Да, не только *интересно* или любопытно ⟨...⟩ нет, все примете вы к сердцу, всякая фраза — лишний повод для тревог, сомнений, надежд, разочарований, для того чтобы выскочить на улицу и бежать к знакомому полуписателю, полуобывателю, делиться с ним открытием десятка-другого Америк то у Лермонтова, то у Михайловского, а то и у того и другого одновременно ⟨...⟩ мы любим русскую литературу, мы не отдадим уже никогда более ни Пушкина, ни Глеба Успенского [99] ⟨...⟩ точно так же, как мы сейчас, в 1908 г. в Петербурге, от мокрых сумерек до беззвездной ночи горели огнем бескорыстной любви и бескорыстного гнева,— точно так же горели этим огнем в том же Петербурге, и, надо полагать, в те же часы,— в 40-х годах — Герцен и Белинский, в 50-х — Чернышевский и Добролюбов, в 60-х ... и т. д., и т. д.» (V, 335).

Следуя за ходом мысли Блока, можно назвать это «старой жвачкой», а можно и вечным духовным бодрствованием русской интеллигенции, которая не под-

дается усыпляющим напевам индийской нимфы «Пора-спати», ибо сон будет означать «конец исторического процесса и русской литературы» (V, 338). Такие «современные идиллии» на мотив «Спите! Бог не спит за вас!» уже были в русской истории, но всякий раз находился «звонарь», призывающий: «Не спи, не спи, бодрствуй, ищи правду...» (Короленко. «Тени»), и всякий раз на призыв «старого звонаря» («Присылайте на смену!») являлся новый посланник и ударял в колокол искусства:

Чтобы от истины ходячей
Всем стало больно и светло!

(II. 123)

Но эти преемственные ряды видны издали; в представлении современников чаще живет ощущение, что «распалась связь времен» и воцарилась «литературная смута».

5

В конце 1907 г. Блок написал, что «в те блаженные времена, когда в квартире Н. А. Некрасова на Литейном проспекте велись горячие споры в демократическом папиросном дыму», «не потерпели бы» современного «Русского богатства» как, впрочем, и современного модернизма (V, 220). В шахматовской описи значится «Русское богатство» за 1904 и 1907 гг., следовательно, Блок судил на основании свежего знакомства с журналом, редактором-издателем которого был Короленко. Это имя появлялось почти в каждом номере за 1907 г. (печаталось продолжение «Истории моего современника», известная статья «Сорочинская трагедия» и многое другое [100]). Сам Короленко воспринимал некрасовскую журнальную традицию как родственную. 9 февраля 1909 г. он написал, что направление «Русского богатства» «мы вели преемственно от «Современника» и «Отечественных записок»» [101].

Все содержание «Русского богатства» — своего рода «притча о Ермолае трудящемся» и его «заступниках», что, кстати, нашло отражение в пародийной программе журнала, написанной Блоком в 1905 г. В ней фигурируют и «тяжести крепостного права», и «деспотизм московских царей» и прочее в том же духе. Любопытно, что своих близких (мать, жену и тетку) Блок отнес именно к этому журналу, а себя — к органам модернизма. В программе упоминаются: «студенческое общежитие имени пострадавшей курсистки Менделеевой, вышедшей замуж за консерватора», «приюты, облагодетельствованные А. А. Кублицкой-Пиотух», статья М. Бекетовой, в которой слово «народ» пишется курсивом и с большой буквы, исследование Л. Блок «Баратынский — народный плакатель» (VII, 445). Шутка шуткой, а менделеевско-бекетовские корни уходят в лагерь народничества...

И «русские богачи» порою шутили над своей ролью «плакателей» и «пристрастием к каталажке»: «Может быть, действительно, я придираюсь,— писал Короленко в 1911 г. А. В. Пешехонову,— вследствие идиосинкразии: наболели уж у меня эти «ужасы жизни» и то, что авторы волокут к нам исключительно только виселицы да смерть. Как женить кого,— так в другом журнале, а задушить, повесить, свести с ума— тащи в «Русское богатство», как на бойню» [102]. Такая одноцветность содержания могла утомлять, но не могла служить поводом для противопоставления «Современнику». По-видимому, Блок имел в виду другое. Некрасовский «Современник» — это молодость русской демократии, период штурма и натиска со всеми его резкими и яркими красками, а «Русское богатство» — зрелость, или, в восприятии Блока, старость. А духовный максимализм юности был ему ближе, чем спокойный и уравновешенный тон, без «юношеского эмфаза», как определял Михайловский. Блок заметил, что Михайловский ставит вопрос «зачем?» (перед искусством) недостаточно решительно, с «семидесятническим недоверием и неверием» (V, 236). И действительно, в 60-е годы ко многим проблемам эстетики подходили радикальнее, чем Михайловский

тридцать и сорок лет спустя, когда опыт научил его некоторой осмотрительности в суждениях о литературе.

В 1908 г. Блок «мечтает о большом журнале с широкой общественной программой» (VIII, 253), «о журнале с традициями добролюбовского „Современника“» (ЗК, 113). Заметим, что он упомянул самого юного члена редакции, обычно «Современник» называли журналом Некрасова и Чернышевского. В эти же годы Короленко вспоминал, что после закрытия «Отечественных записок» Михайловский мечтал „создать продолжение“ их, восстановив «великую журнальную традицию от «Современника»» [103]. При всех различиях позиции мечта устремляется к общему истоку.

Блок писал, что в нем есть «шестидесятническая» кровь (VIII, 406), но не всегда и не все в 60-х годах ему было близко, как, впрочем, и «русским богачам». В 1919 г. Блок назвал шестидесятничество «одичанием» (VI, 141). Его не устраивало прямолинейно утилитарное отношение к поэзии, господство позитивизма, были «омерзительны» приемы М. А. Антоновича, называвшего Писарева «бессовестной рожей», и т. п. (V, 340). Да и самого Писарева, «оравшего» на Пушкина, Блок как будто не жаловал, хотя написал: «у Пушкина были гениальные хулители» (V, 635), имея в виду, конечно, Писарева. К святыне 60-х годов да и всей русской демократической интеллигенции — Белинскому, этому, по словам Блока, «романтическому, до сих пор воспоминательному, критику» (V, 551), поэт относился с устойчивым предубеждением [104].

В 1915 г. Блок написал, что вся русская критика (кроме Ап. Григорьева) «от Белинского и Чернышевского до Михайловского и ... Мережковского» «прямо или косвенно» склонялась к формуле «сапоги выше Шекспира» (V, 490). Между тем Михайловский еще в 1881 г. заметил: «Пора бы этот вздор насчет сапог и Шекспира бросить. Говорить, что сапоги выше Шекспира (если это когда-нибудь кто-нибудь говорил), столь же нелепо, как утверждать, что Шекспир выше сапог: Шекспир сам по себе, сапоги сами по себе, и никакому сравнению они не подлежат» [105]. Однако в 1888 г. признавал, что «старинная параллель между Шекспиром и сапогами, при всей своей нелепости, имела некоторый смысл как аллегория» [106].

Ригористов и любителей «сильного лексикона» (по слову Короленко) в «Русском богатстве» не жаловали. Еще в 1888 г. Короленко предостерегал редакцию «Северного вестника» от поспешного сближения с Антоновичем, а в 1898 г. записал весьма двусмысленно звучащую «похвалу» Чернышевского Антоновичу как «удобному сотруднику». И добавил, что, оставшись «без указки» Чернышевского, Антонович «развел такую „журналистику“ в „Современнике“, что хоть святых вон неси», с «Писаревым стал ругаться, как извозчик...» [107].

Осенью 1892 г., когда в «Русское богатство» был приглашен Михайловский с правами главного редактора (вскоре он ввел в редакцию Короленко и Н. Ф. Анненского), со страниц журнала исчезли многие «столпы» былых времен (М. А. Антонович, Н. Н. Златовратский, П. В. Засодимский, А. М. Скабичевский и т. д.). Придав «ярко радикальный», по определению Короленко, общественный характер журналу, новая редакция стремилась более гибко подходить к проблемам искусства, а полемику вести по существу, избегая «непрестанных рыканий“» в духе М. А. Протопопова [108], который считал себя несгибаемым шестидесятником. В 1895 г. Михайловский писал Протопопову: «Я не могу, к сожалению, напечатать Вашу статью, Михаил Алексеевич. Она вообще очень невыдержанна и ее, как и две последние Ваши статьи, не следовало бы печатать ради Вашей литературной репутации. Но есть и другие, редакционные мотивы. Что бы ни говорили Белинский и Писарев, а мы не можем так огульно осудить всех не первостепенных поэтов...» [109]. Те же «редакционные мотивы» звучат и в письме А. И. Иванчина-Писарева Михайловскому 30 июня 1896 г.: «Мельшин насмешил своим разбором «Студенческого сборника»: Як. Полонского — бац! — в морду; Майкова — бац! бац!.. <...> И студентов расколотил вдребезги. Вообще не писал статью, а дрался, немилосердно бил всех прикосновенных к „Сборнику“» «увесистой сибирской оглобл ей» [110]. Якубович отбывал ссылку и счи-

тал нужным писать «сердитые рецензии» в духе радикальных журналов своей юности.

Оставив в стороне «нерассуждающую ортодоксию», по слову Короленко, группа «критического народничества» старалась искать пути усложнения мысли.

В 1892 г. Иванчин рекомендовал Михайловскому «мыслящего провинциала» П. П. Перцова, который своей «специальностью» называл умение «браниться» [111]. Позднее в широко известных «Литературных воспоминаниях» Перцов изобразит себя поклонником истинного искусства в стане «направленческого утилитаризма». Действительность, однако, не совпадает с этой мемуарной версией, даже если опираться только на письма самого Перцова, а последовательное «восхождение к первоисточникам» подтвердит точность дневниковой записи Короленко от 23 ноября 1893 г.: «Несмотря на всю ревность, с какой он старался попасть в тон Михайловского и Протопопова», Перцов вынужден отбыть обратно в Казань, где его «младенчески нахальное невежество и развязность» нашли временный приют в «Волжском вестнике» [112]. Наиболее прочно осел Перцов в газете «Новое время» (1899—1917), которую Блок называл «помойной ямой».

А в начале 1895 г. Перцов познакомил А. Г. Горнфельда с редакцией «Русского богатства», высказав ироническое пожелание: «Дай бог, дай бог, нашему теляти да волка поймати» [113]. Михайловский предложил «приглядеться» друг к другу и скоро вынес определение: «Умница» [114]. Его не смутило то обстоятельство, что Горнфельд считал себя «индивидуалистом» и даже «пугал» тем, что может «разрешиться каким-нибудь „Опытом о гениальности Фета“» [115]. Замечу, что Перцов в пору своего ученичества в «Русском богатстве» всячески подчеркивал, что считает своей «столбовую дорогу нашей журналистики, которая ведет от Белинского, через Добролюбова и Чернышевского» к «другу Некрасова и Салтыкова» — Михайловскому [116]. Но это ему не помогло: для Михайловского якобы чужой оказался ближе, чем якобы свой. 17 мая 1895 г. Горнфельд сообщил Перцову о важной беседе с Михайловским: «На свидании он сказал: «Не скажу, что не согласен с вами; но это больные вопросы, *теперь* в них тяжело копаться». Иначе: протопоповщина претит и мне, но мне негоже идти навстречу акимовщине (т. е. Акиму Волынскому.— *М. П.*); понемножку, однако, и с должной дипломатичностью возможно отказаться от старых крайностей школы» [117]. В 90-е годы Михайловский не раз напоминал о том, что „новые слова“ необходимы и трудны, их нельзя произносить с легкой мыслью и легким сердцем, разрывая с прошлым.

Блок принадлежал к другому поколению. Прошлое уже не являлось для него тормозом. «Завещано развитие, а не топтание на месте», провозгласил он в 1906 г., имея в виду в данном случае символистов, для которых это «топтание» «страшнее», чем для «позитивистов» (V, 608). Чувство преемственности воспринималось Блоком в живом развитии. Новая гражданственность, писал он в 1910 г., „вовсе не некрасовская, но лишь традицией связанная с Некрасовым“ (V, 431). Все дело в мере и такте. Поэтому и не встречала сочувствия Блока деятельность А. Волынского, ругавшего «всех поголовно» (V, 633); его сочинения с их легковесным и шумным отречением от наследия старой русской критики Блок причислял к «словесному кафешантану» (V, 212).

Исторический такт был свойствен человеку, которого Блок считал своим учителем,— Вл. Соловьеву. В 90-е годы Вл. Соловьев отдавал должное Чернышевскому и называл Писарева «замечательным писателем» [118]. Были и другие «точки общего схода» между Михайловским и Вл. Соловьевым: пафос человека, стремление основать эстетику на фундаменте этики (хотя, конечно, «начала добра» у них были различные). Было и личное общение, недостаточно еще изученное. Вл. Соловьев хлопотал о возвращении в Петербург Михайловского, высланного в апреле 1891 г., после похорон Н. В. Шелгунова [119]. Вл. Соловьеву случалось помогать «Русскому богатству» в цензурных делах. Так, А. Г. Горнфельд писал родным 4 мая 1898 г. о своей статье «Поль-Луи Курье»: «Поздравьте: первая половина статьи прошла и печатается. А все спасибо Влад. Соловьеву, который о ней хлопотал. Вторая половина теперь в цензуре» [120].

На страницах «Русского богатства» в 1895—1898 гг. начала свою литературную деятельность сестра Вл. Соловьева — Поликсена Сергеевна, которую Блок отнес к разряду людей, находящихся «близь души» (ЗК, 309). Она писала в своей автобиографии: «Только в 1895 г. благодаря счастливой случайности стихи мои попали к Н. К. Михайловскому» и стали печататься под псевдонимом «Allegro». «Михайловский говорил мне, что некоторые заподозрили, что это он сам стал писать стихи, прикрываясь музыкальным псевдонимом» [121]. В редакционном некрологе «Русского богатства» говорилось о «блестящем литературном даровании, выдающемся уме и недюжинном художественном таланте» Вл. Соловьева, о его «вере в достоинство человеческой природы» и о «глубоком уважении к духовной свободе личности» [122].

И для Блока заветы Вл. Соловьева — это заветы русского гуманизма (V, 608). Таким образом, не только в стадии бекетовской тезы, но и в стадии соловьевской антитезы можно обнаружить моменты близости и оценить глубину замечания Блока, сделанного в 1910 г.: «„Стихи о Прекрасной Даме“ — уже этика, уже общественность <...> Личность *выше* художника. Этим утверждается уже все дальнейшее» (ЗК, 168).

В 90-е годы союз этики и эстетики оспаривался с самых разных позиций золаистами, натуралистами, пантеистами, модернистами, легальными марксистами и др. В большом ходу были термины «научная критика» и «объективное творчество». «Строгую научность» приписывал себе П. Д. Боборыкин, полагавший, что «авторский субъективизм» и «моральные запросы» все более и более «мешали» Диккенсу достигнуть «художественного совершенства» [123].

Блок иначе смотрел на взаимоотношения искусства, науки и этики. «...Мы не ученые,— писал он в 1910 г.,— мы другими методами, чем они, систематизируем явления...» (V, 443). А в 1920 г. напоминал, что «искусство неразложимо научными методами, что искусство и наука суть области, глубоко различные в самой сути своей» и поэтому тщетны усилия теоретиков «взнуздать искусство, засунув в стиснутые зубы художнику мунштук науки» (VI, 151). В начале века один из таких теоретиков в полемике с Михайловским писал: «Творческий процесс в науке и искусстве является аналогичным не только по своему механизму, но и по той конечной цели и средствам, при помощи которых достигается желанный эффект». Ему было «ясно, что этическая точка зрения совершенно непригодна для оценки художественного творчества»: «Ведь не пристают же гг. субъективисты со своими этическими запросами к ученому астроному, спокойно наблюдающему движение небесных светил» [124].

Михайловский, однако, «приставал» и к ученым, и к науке, особенно, когда она, как писал и Блок, «лезла не туда, куда надо» (VII, 210). В 90-е годы Михайловский указал на симптомы того явления, которое Блок назовет «крушением гуманизма». А именно: на стремление цивилизации пойти под знаменем науки «напролом», объявив природу враждебной человеку стихией, на которую надо «воздействовать», «разрубая узлы там, где их можно развязать», отбрасывая «принцип естественности» во имя селекционного «принципа изменчивости» и уповая на «полезные изобретения» науки как на панацею от всех общественных бед. Михайловский, в частности, цитирует Д. Н. Овсянико-Куликовского, полагавшего тогда, что наука без всяких нравственных учений «в далеком будущем обновит мир, т. е. человечество, именно в нравственном отношении...» Подобный вывод, замечает Михайловский, уже опровергнутый историей, делал в 50-е годы Бокль, считавший, что просвещение и цивилизация способствуют прекращению войн. Между тем «ощетинившаяся штыками Европа» «готовится к новой, еще более страшной схватке». Теориям социал-дарвинистов разных толков Михайловский предпочитал взгляды Льва Толстого — они «несравненно более соответствуют справедливости и человеческому достоинству», ибо ставят «нравственный идеал» выше «полезных изобретений» науки, среди которых есть и телефон, и телеграф, и «пушка, стреляющая на двадцать верст». Михайловский призывал людей науки «проникнуться сознанием, что наука есть лишь один из факторов жизни, бесспорно, в высокой степени важный», и «бросить мечту,

что просвещение само по себе, без всякой сторонней помощи, приведет все к наилучшему концу» [125].

Точки соприкосновения с Толстым были и у А. Н. Бекетова, никогда не забывавшего во имя науки о «нравственном идеале». В 1893 г. «Посредник» издал его брошюру «Питание человечества в его настоящем и будущем», посвященную вегетарианству. При этом В. Г. Чертков писал А. Н. Бекетову 12 мая 1892 г., что «и Л. Н. Толстой принадлежит к числу наиболее сочувственных ценителей» указанной статьи [126], а Бекетов отвечал 22 мая 1892 г.: «Радуюсь, что мой небольшой труд найден Вами и Львом Николаевичем годным для распространения здравых идей, ибо я глубоко сочувствую тем возвышенным стремлениям, что руководят всею Вашею и его деятельностью». Оплату за свой труд Бекетов просил передать на поддержание одной из столовых для голодающих крестьян, основанной Л. Н. Толстым [127].

Содержание брошюры выходит за пределы вопроса о вегетарианстве и показывает (как и весь архив А. Н. Бекетова), что характеристику из «Возмездия» («И — ярый западник во всем...» — III, 315) нельзя адресовать реальному «деду». Бекетов писал: «Нравственный идеал всего людского рода не может удовлетвориться мещанскою философией зажиточных классов Западной Европы» [128]. Он думал о судьбах человечества в целом, полагая, что в своей истории оно проходит три периода: самосохранения, сохранения рода (современный период) и самосовершенствования. И добавлял: «в виду того, что от времени до времени появляются люди, принадлежащие как бы к тому желанному будущему, мы, со своей стороны, не сомневаемся, что оно наступит...» [129]. Так рассуждал «идеалист чистой воды» (VII, 7). Брошюра была в петербургской библиотеке Блока.

В «Русском богатстве» появилась рецензия на брошюру А. Н. Бекетова, написанная, возможно, Михайловским [130]. Рецензент выделил брошюру из «курьезных» изданий «Посредника», видящих в вегетарианстве чуть ли не путь к социальному перевороту, отметил ее строгую научность и подчеркнул оговорку автора, что «сущность дела не в том, чем питается человек, а в образе жизни» [131]. Через десять лет, перечисляя наиболее уважаемые имена деятелей Литературного фонда, Михайловский назвал А. Н. Бекетова рядом с Тургеневым, Гончаровым, Тютчевым, Некрасовым, Салтыковым и др. А Короленко процитировал эти слова в своей заметке «К пятидесятилетию Литературного фонда» («Русское богатство», 1903, № 10 и 1909, № 11).

«Деды» и демократы-семидесятники шли разными жизненными дорогами, но старинного «благоволения» друг к другу не теряли. Сложнее были взаимоотношения с «внуком».

6

«Теперь уже то, что растет,— растет не по-ихнему,— писал Блок о „дедах" в плане поэмы „Возмездие",— они этого не видят, им виден только мрак» (III, 462). С другой, дедовской стороны Михайловский признавал еще в 1889 г.: «Худы ли, хороши ли те нравы, обычаи, традиции, верования, среди которых я литературно вырос, но я привык к ним. Теперь я вижу все иное, может быть, и лучшее (хотя этого я, конечно, не думаю), но чужое» [132]. А Короленко, всегда искавший синтеза, заметил в 1901 г.: «по реакции сменяющихся поколений» у родителей-радикалов сыновья вырастают индивидуалистами, «иронизирующими над попытками отцов „обновить мир"». Однако «общее напряжение» эпохи заставляет в конце концов молодых людей гореть «теми же чувствами, какими ранее горели отцы. А последние со страхом смотрят на бурную интенсивность этого процесса...» [133].

Не только «старики», вроде Л. Толстого и Короленко, относились отчужденно к новой поэзии, но и сравнительно молодые Горький и Бунин. Да и нельзя требовать от современников того отношения к Блоку, к которому литературоведение подошло в последние десятилетия. Чехов в своей «Литературной табели о рангах» (1886), охватившей «всех живых русских литераторов», оставил ва-

кантной высшую ступень (автор „Войны и мира“ и „Анны Карениной“ получил второй ранг) и забыл упомянуть Фета... У современников другое зрение не только потому, что они не могут охватить целого, но и потому, что «живой литератор» вызывает и живое чувство требовательности, порою даже придирчивости. Особенно когда речь идет о следом идущих. И Блок в этом смысле не был исключением. По глубокому замечанию Б. Пастернака, такая требовательность полезнее поэту, чем «дружественная критика, преждевременно объявляющая человека мастером, канонизирующая его в меру своих умеренных требований и больше ничего от него не желающая» [134].

В редакции «Русского богатства» самыми лояльными по отношению к молодым оказались именно «старики» — Михайловский, Короленко, Н. Ф. Анненский (у него, кстати, было прозвище — «самый юный»). После смерти Михайловского Анненский в отсутствие Короленко возглавлял редакцию и «держал за фалды» «драчунов». К последним принадлежал Якубович (у него была кличка «торопыга»). Особенно кипел он негодованием в 1908—1910 гг., когда «из гонимых и всеми осмеиваемых» символисты превратились «во всеми чтимых, признанных, для всех желанных» [135]. Произошло это на фоне политической реакции: тень от нее, как и в 80-е годы, падала на всю русскую жизнь, меняя очертания предметов. «Читали ль Вы новогоднее литературное обозрение Иванова-Разумника? — восклицал Якубович в письме к Короленко от 28 января 1909 г.— <...> Теперь „Русское богатство“, по их мнению, печатает „хлам“ (в художественном смысле), настоящее же искусство перешло, дескать, в альманахи — к Ф. Сологубу, В. Брюсову и их единомышленникам... Это ведь та самая идея, которая проповедуется теперь *всей* русской критикой <...> Понемножку просачивается она даже и в среду „Русского богатства“: даже *Вы*, Владимир Галактионович Короленко, признали уже „Мелкого беса“ выдающимся художественным произведением (я стою на своем: это художество... отхожего места! Не веет над ним дух человечности, не слышатся „незримые миру слезы“!)... А А. Г. Горнфельд в новогоднем литературном обозрении „Нашей газеты“ назвал „искренним“ ломаку Блока и высоко поставил новый стихотворный сборник Сологуба „Пламенный круг“, в котором я, грешный человек, тоже ничего не могу найти, кроме омерзительного кривлянья,— ни крупицы истинной поэзии, даже такой маленькой, которую выудил я из прежних сологубовских сборников для „Русской Музы“.

Что же это такое? Я ли, инвалид, окончательно разваливаюсь и отстаю от «движения», кругом ли меня все сошли с ума? Движение ль это вперед, или — плод политической реакции, как мне порой кажется? Ничего не могу понять, ничего» [136].

«Торопыга» был человеком редкой чистосердечности и самокритичности, знал о своей «склонности слишком с плеча все рубить» [137]. В следующем письме к Короленко, 4 февраля 1909 г., он писал, настроенный на другой лад беседой с Анненским, которого любил и ценил: «Мы долго сидели вдвоем с Николаем Федоровичем и грустно беседовали о том, что современный читатель норовит как будто идти мимо «нашей группы». Почему это? Конечно, мы не можем отказаться от своих взглядов, покинуть свою позицию,— об этом и речи быть не может. Но есть тут доля и нашей вины... Мы узковаты, замкнуты, нетерпимы...» [138].

В 90-е годы, не без влияния Михайловского, Якубович стремился отрешиться от «узости». Его первым критическим выступлением в «Русском богатстве» была статья «Бодлер, его жизнь и поэзия». «Я лично не знаю другого столь чистого, безукоризненно чистого поэта, как он <...> — писал Якубович Михайловскому о любимом поэте юного Блока.— Нет, не растлевающее влияние, а напротив — возвышающее и одухотворяющее может иметь он на чистую молодую душу!» [139] Автор «Цветов зла», человек, которого считают «отцом современных декадентов», провозглашал Якубович, несет в своей душе «спасительный огонь, который освещает ему путь» к «смутному» и «неясному», «но не менее от того светлому, лучезарному и неумирающему идеалу» [140].

«Рыцарем живой правды» назвал Якубович в 1900 г. Вл. Соловьева, напомнив, что «лет двадцать назад голос его вызвал сочувствие передовой части тогдашнего русского общества» (имелось в виду выступление против казни народовольцев в 1881 г.). «Ведя остроумную и победоносную борьбу с российскими „символистами“», Вл. Соловьев писал стихи, «символичности которых нередко могли бы позавидовать и его противники», хотя «и критика, и публика всегда глядела на эти стихи как на стихи дилетанта». Якубович полагал, что, когда Вл. Соловьев, «спускаясь с заоблачных высот аскетизма и мистики, чувствовал себя не платоновской идеей, а человеком, сыном земли», в его стихах звучала «неподдельная поэзия» [141].

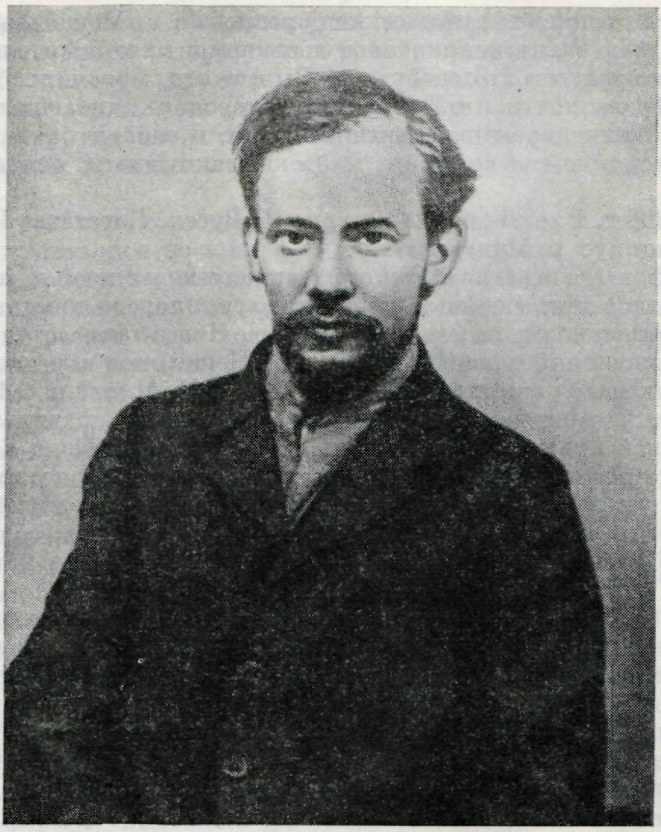
Якубович мечтал о поэте, «властителе дум» своего поколения, который порвет «путы некрасовской манеры» и «цепи подражания Надсону» и «выработает новую оригинальную форму». «Когда появится, наконец, желанный гений?» — восклицал он нетерпеливо в 1900 г.[142] Новый «властитель» явился не с той стороны, откуда его ждали, и поэт «кандального звона» не признал его (или не успел признать, так как умер в начале 1911 г.). По случайности (или случайной закономерности) Якубович, расточая яростные филиппики против Блока в редакционной переписке, ни разу не выступил против него в печати, лишь в 1910 г. упомянул его среди поэтов, которых «нахваливает» современная критика, «злорадно-пренебрежительно» относящаяся к «гражданской поэзии» [143]. В 1910 г. Блок начал писать «Возмездие». «Гражданская поэзия» вновь будет возведена в ранг высокого искусства. Перефразируя Чехова, можно сказать: «Дело не в гражданственности, а в размерах дарования» [144].

Мережковский сожалел в 1908 г., что русская революция совершается под «песни пигмеев», вроде таких «гимназических виршей», как «Вставай, подымайся, рабочий народ» Петра Лаврова [145]. Этот отзыв показывает лишь цену словесной игры в «демократию» и «революцию», которую в те годы вел Мережковский. Увенчанные поэты из лагеря символизма брались и за «песни борьбы», но сочиняли лишь «холодные слова», не пригодные ни для борьбы, ни для поэзии. Песни борьбы лучше всего удавались самим борцам.

Для Блока плещеевское «Вперед! без страха и сомненья» и лавровское «Отречемся от старого мира» тоже «прескверные стихи», но это стихи, «корнями вросшие в русское сердце», их «иначе, как с кровью» не вырвешь (VI, 138). На такую вивисекцию способны лишь «презрительные эстеты», для которых вся русская жизнь и история замыкаются в «словесности». Блок стремился проникнуть и в такое «поучительное литературное недоразумение», как стихи Надсона, которые с 1887 по 1909 г. выдержали 24 издания, общим тиражом в 145 тысяч. Почему бóльшая часть русской читающей публики требует «гражданской поэзии»? В 1908 г. Блок писал: «Всякую *правду*, исповедь, будь она бедна, недолговечна, невсемирна — правды Глеба Успенского, Надсона, Гаршина и еще меньшие,— мы примем с распростертыми объятиями, *рано или поздно* отдадим им все должное. Правда никогда не забывается, она *существенно* нужна <...> Напротив, все, что пахнет ложью или хотя бы только неискренностью, что сказано не совсем от души, что отдает „холодными словами“,— мы отвергаем. И опять-таки такое неподкупное и величавое приятие или отвержение характеризует особенно *русского* читателя. Никогда этот читатель, плохо понимающий искусство, не знающий азбучных истин эстетики, не даст себя в обман „словесности“...» (V, 278—279).

Трижды на страницах «Русского богатства» заходила речь о произведениях Блока — в 1904, 1908 и 1913 гг. (имя упоминалось, разумеется, чаще). «Стихи о Прекрасной Даме», вышедшие в канун революции 1905 г., не вызвали энтузиазма в лагере русской демократии. И в рецензии А. Г. Горнфельда говорилось, что в лирическом сборнике Блока «уродливости нового поэтического движения доведены до абсурда» и т. п. [146] В сущности, это был единственный «бранный» отзыв о поэзии Блока в «Русском богатстве».

В 1908 г., накануне встречи Блока со «стариками» из «Русского богатства», член молодой редакции А. В. Пешехонов обратил внимание на статью Блока



И. П. КАЛЯЕВ
Фотография, 1905, Москва
Музей революции, Москва

«Вечера „искусств“» («Речь», 27 октября 1908 г.). Пешехонов назвал свое внутреннее обозрение «В поисках»: «Прошло два года... За это время выросла и заняла всю авансцену «молодая литература». В ней, как мы знаем, царит большое оживление, происходит непрекращающееся движение, прокладываются, как нам говорят, новые пути, появляются ‹...› невиданные еще сочетания. Этому можно было бы, пожалуй, порадоваться... Но куда все-таки ведут эти пути? Ради чего возникают эти группы? Как обстоит дело с целями в современной литературе?» [147]. З. Н. Гиппиус, продолжает публицист «Русского богатства», открыла некую новую «божественную реальность» и выражает желание, чтобы Блок «„от ликующих, праздно болтающих“ ушел в эту самую „реальную реальность“. Но ведь г. Блока и г-жу Гиппиус мы в одних и тех же сочетаниях привыкли видеть, одним и тем же делом, нужно думать, они раньше занимались. И если то была „праздная болтовня“, то не окажется ли таковой же и реализация реальной реальности?» [148]. Блок, в свою очередь, обращается «к писателям, художникам и устроителям (вечеров нового искусства) „с горячим призывом не участвовать в деле, разлагающем общество, т. е. не способствовать размножению породы людей „стиля модерн“, дни которых сочтены“ (цитата из статьи Блока.— *М. П.*). ‹...› Так пишет «молодой» поэт, который, по его словам, „сам не раз читал на вечерах „нового“ и не нового искусства“ ‹...› Читал и, наконец, убедился, что „стихи любого из новых поэтов читать не нужно и почти всегда *вредно*“ (курсив г. Блока).

Знает ли теперь г. Блок, чего он хочет. Я не решусь сказать это про человека, который „не читает“, но пишет. Потом, быть может, он убедится, что не

только читать, но и писать такие стихи „вредно“ <...> Может быть, и это ему дастся лишь „путем очень неприятного и слишком продолжительного опыта“, а может быть, и сразу он это сообразит. Бывает это, просияние такое» [149].

Последняя фраза почти цитата из Михайловского, писавшего в 1895 г. о Брюсове: «Перед ним целая перспектива жизни, и, может быть, когда-нибудь он получит „просияние своего ума“» [150] (в кавычки взяты слова Гл. Успенского).

24 ноября 1908 г. Блок написал матери: «В Русск. Богатстве Пешехонов отчитал меня, Гиппиус и Минского» [151].

Все трое названы «писателями, которые ничего не желают и никуда не ведут» [152]. В те годы Блока еще не выделяли из «группового сочетания»; да и сам поэт осознáет отдельность своего пути позже. И все-таки «отчитывание» уже свидетельствовало об определенном внимании: Пешехонов высказал пожелание, чтобы Блок не оказался «рыцарем на час», как Н. М. Минский в 1905 г. Прямолинейно-логические рассуждения публициста выглядели «правильно», но не совпадали с позицией художника. Блок хотел, чтобы его поэзия с присущим ей строем дошла до иных, демократических пластов русских читателей, которые пока ее плохо слышали, предпочитая традиционные «гражданские стихи». Блок не хотел быть «модным поэтом» поклонников «искусств» «со стилизованными прическами и настроениями» (V, 305). В 1906 г. он уже нашел формулу: «чтоб 1) Россия 2) услышала 3) меня» (ЛН, т. 92, кн. 2, с. 30).

В 10-е годы внутри редакции «Русского богатства» не было единой литературной позиции: публицисты держались «старой веры», критики и беллетристы были склонны к обновлению. К сожалению, первые обладали более твердыми характерами, а Короленко после мая 1913 г. в Петербурге не бывал. В начале 1913 г. редакции «Русского богатства» была предложена статья А. Б. Дермана «Об Александре Блоке». О ее судьбе А. Г. Горнфельд, заведовавший критическим отделом журнала, сообщил автору 6 марта 1913 г.: «Статью о Блоке у нас забраковали против моего голоса; я и не спорил, ибо в этом милого А. В. Пешехонова не перевоспитаешь, но внутренно плакал; статья очень недурная» [153]. Короленко в Петербурге не было. Ф. Д. Крюков, только что введенный в состав редакции, видимо, еще не решался идти против публицистического ядра «Русского богатства».

Однако не будем торопиться осуждать «русских богачей», ведь до этого статья Дермана побывала в «Заветах», где уже печатались стихи Блока, и была забракована Ивановым-Разумником как «совершенно ученическая» и способная «только скомпрометировать «критико-литературный» отдел журнала» (ЛН, т. 92, кн. 3, с. 403). Горнфельд передал статью в «Русскую мысль», где она и была напечатана в июле 1913 г. 10 сентября 1913 г. Горнфельд писал Дерману: «Только что у меня был Гр. Як. Полонский и очень хвалил Вашу статью о Блоке» [154].

Статья Дермана не претендовала на философские и эстетические глубины, но говорила о Блоке языком заинтересованным и живым, обращалась к широкому кругу читающей публики и при этом исходила в главном из верных историко-литературных пропорций: «Блок один из тех поэтов, которые делают нужное дело сочетания гибкости и богатства новых форм стиха с искренностью, правдивостью и адекватностью чувства, а порой (и очень часто) с широтой идейного захвата. В этом смысле Блок с полным основанием может быть назван поэтом, пытающимся синтезировать в своем творчестве лучшее из новизны с лучшим из старины, элементы ценного настоящего с прекрасным, испытанным, традиционным прошлым» [155].

Летом 1913 г., после очередного конфликта с Пешехоновым, который требовал на сей раз устранить «модернистские вычуры» из рассказа Серафимовича «Со зверями», Горнфельд написал Крюкову письмо, резко поставив вопрос об эстетической позиции «Русского богатства»: «О редакционных разногласиях не могу говорить: по безнадежности. Возразить можно бы слишком многое; хотя бы: что же это за позиция, которую приходится защищать даже от Серафи-

мовича? Не сделалась ли позиция законно консервативная уже реакционной? Кто нападает на позиции литературного реализма в наши дни столь энергично, что является необходимость „править" Серафимовича, Кондурушкина и т. п. Кто с нами, если так? Не одна ли Дмитриева? [156] И в чем же проявляется наше *доверие к художнику*, которое есть залог литературного развития. Здесь без риска нельзя. А мы, как правительство: отбив революцию, боремся с проявлениями жизни.

Но все это покажется теорией тому, у кого ощущения другие, кто не хочет риска, кто удовлетворен до конца добытыми формами. Это законные ощущения — и их не победить умствованием, и оттого у меня нет пафоса для спора с нашими публицистами, для отстаивания своего. И это тем более, что нападающий на позиции всегда более рискует; ему легче ошибиться» [157].

У Горнфельда в редакции «Русского богатства» было прозвище «хитрый А. Г.» за уклончивость суждений. Такое письмо нужно было послать не младшему члену редакции, а ее «руководителю и духовному средоточию», по характеристике самого Горнфельда,— Короленко [158].

Однако эти столкновения не прошли бесследно, и в декабре 1913 г. постоянный критик «Русского богатства» А. Е. Редько назвал Блока «русским рыцарем Вечной Женственности», «поэтом божественной жалости и любви», ставящим в «Розе и Кресте» «тему о человеческом страдании и его месте в общем плане жизни» и искусства (критик напоминал французскую пословицу: «У счастливых нет истории»). Назвав «Розу и Крест» аллегорической драмой, Редько предъявил к ней требования, пригодные скорее для психологической пьесы. И, разумеется, «иноязычная» речь Блока такому «заземлению» не поддалась: «А. Блок не чувствует, что он убивает самую красоту страдания ⟨...⟩ Красота в преодолении человеческого страха перед страданием, но только ради чего-нибудь или кого-нибудь». «Оправдательные мотивы» Блока кажутся критику пригодными лишь «с точки зрения чистого индивидуализма» [159]. Отсутствие прямых публицистических формул помешало разглядеть «гармонию самопожертвования», по слову Гл. Успенского. Впрочем, и в лагере символистов не раз упрекали Блока за «индивидуализм», отсутствие «во имя» и воспевание «гибели для гибели».

История «невстречи» Блока и «русских богачей» имела свои закономерности, но процесс преодоления взаимной отчужденности продолжался, хотя и шел, как сказал Блок по другому поводу, «быстро для истории, томительно долго для отдельных людей» (VI, 157).

7

Единственная известная нам встреча бекетовского внука со «стариками» из «Русского богатства» произошла 12 декабря 1908 г. на докладе Блока о народе и интеллигенции. Увидев бекетовские седины и бороды, соединенные «с какою-то кристальной чистотой, доверием и любезностью», Блок почувствовал себя «любимым внуком» (VIII, 269). Короленко отнесся к выступлению молодого поэта с обычной своей доброжелательностью; он вообще был из тех, кто всегда «желает мира и сговора», как сказано в докладе Блока. Тем более что Короленко председательствовал и стремился сгладить впечатление от выступлений «глумящихся ораторов», по слову Л. Д. Блок; она же сделала важное замечание о «стариках»: «верно, что-то свое самое лучшее в нем узнали» (ЛН, т. 92, кн. 3, с. 342). К сожалению, это не совсем так. Лишь в нашем сознании автор «Возмездия» стал «внуком» короленковского «современника» — человека 70-х годов. И мы невольно преувеличиваем факт единения, забывая «подробность внешнюю» — письмо Короленко к В. Е. Чешихину (Ветринскому) от 24 мая 1909 г.: «О том, что модернисты интересуются Успенским,— знаю. Они ведь вообще теперь почему-то становятся „народниками". Мне пришлось присутствовать в Петербурге на докладе Блока в литературном обществе, это была какая-то окрошка из славянофильства, гоголевской переписки и пророчества (гибель ин-

теллигенции от народного урагана). Более всего — искусственности и риторики» [160].

В незавершенном наброске к «Возмездию» 1921 г. Блок написал:

И старики, не прозревая
Грядущих бедствий...
За грош купили угол рая
Неподалеку от Москвы.

(III, 466)

Отнести «русских богачей» к категории «непрозревающих» нельзя. Прежде всего это были другие «старики», не бекетовской складки. Даже таких «ненастоящих» имений, как Шахматово, у них не было, хотя все они принадлежали к сословию дворян. Небольшое отцовское наследство Михайловский истратил на устройство переплетной мастерской по рецептам «Что делать?». Юность «стариков» совпала с 60-ми годами, оттуда восприняли они не только мировоззрение, но и весь уклад жизни. А. Н. Анненская вспоминала, что их скромная «обстановка» все же по разночинскому кодексу считалась «буржуазной»: «у нас чайный стол покрывался скатертью и колбаса подавалась на тарелке, а не на той бумаге, в которой была куплена» [161]. Знаменитый на всю Россию публицист писал своим родным весной 1893 г., благодаря за пасхальные дары: «Милые друзья мои, я совершенно сконфужен обилием ваших настольных подарков. Скатерти и салфетки оценила в особенности, конечно, Аннушка (старая нянька Михайловского.— *М. П.*), так как они дадут ей возможность отдохнуть от непрерывной стирки $2^1/_2$ имевшихся у меня салфеток и $1^1/_2$ скатертей» [162]. А через четыре дня после собрания в Литературном обществе, 16 декабря 1908 г., С. Д. Протопопов записал в дневнике: «Вчера был у Короленко и у Анненских. У Короленко обедал. Без скатерти и деревянными ложками... Милый радикализм 60-х и 80-х годов» [163]. Это был временный петербургский быт, но и полтавский не многим отличался, хотя скатерть все же стелили.

Демократической интеллигенции не было нужды «опрощаться» и не было особых причин «каяться». Впрочем, создатель формулы «кающиеся дворяне» не вкладывал в нее того иронического оттенка, какой она приобрела впоследствии. «Их мучит все та же старая душевная боль за свое положение,— писал Михайловский в 1876 г.— Они, наконец, видят, что этот самый народ, невежественный и нищий, с точки зрения спокойствия совести, выше их ⟨...⟩ он выше не по каким-нибудь своим национальным особенностям, а потому, что он — народ» [164]. «Покаянные» настроения — от некрасовских до современных — Блоку были близки.

И наконец, самое важное обстоятельство: у «стариков» из «Русского богатства» было подлинное, а не книжное знание народа, добытое не «хождением в народ», не экскурсиями «по святым местам» и не дачным житьем, а опытом тюрем, этапов, ссылок, каторги. П. Ф. Якубович, который провел в тюрьме и на каторге 15 лет, писал 25 сентября 1905 г. Е. П. Летковой-Султановой, что читатель «Русского богатства» привык к «прямолинейно-гуманному направлению» и может не понять, что автор не разделяет «жестоковыйных взглядов своей юной героини»: «Между тем, не отрицая, что наш простой народ часто бывает наивно-жесток, я объясняю эту жестокость очень просто: окружающими народ грубыми, жестокими условиями жизни, некультурностью, наивностью и т. п. и отнюдь не согласен в этой народной черствости черпать какие-либо доказательства правоты идейной жестокости некоторых интеллигентных учений, безусловно мне антипатичных». А в следующем письме сообщил, что то же сомнение пришло в голову Владимиру Галактионовичу [165].

«Прямолинейно-гуманное направление» не помешало автору «Мира отверженных» нарисовать трагическую рознь народа и интеллигенции. «Напрасно развивал я собственные взгляды на прогресс,— писал он в главе „Демоны зла и разрушения“ о своих беседах в камере каторжной тюрьмы,— говорил о силе и власти просвещения, о бесполезности и вреде кровавых расправ ⟨...⟩ Смысл

всякой иной борьбы с тяжестью и злом современной жизни, борьбы иными средствами, кроме пролития рек крови, всеобщего пожара и разрушения, был совершенно непонятен и чужд этим сердцам, покрытым темной чешуей озлобления, невежества и испорченности. Невеселые думы овладевали мной после каждого из таких разговоров; жутко и страшно становилось за будущее родины...» [166].

Постоянные авторы «Русского богатства» С. П. Подъячев и В. В. Муйжель высказывали и более мрачные мысли об отношении народа к интеллигенции. Подъячев писал Короленко 9 октября 1906 г.: «Мне до боли грустно читать статьи г. Якубовича, из которых я с ужасом узнаю, как страдали те святые люди... За кого они страдали? Где благодарность? Кто помнит? „Так им, чертям, и надо“,— вот что только и можно услыхать от тех, за которых они приняли смерть и муки. Может, лет через 100 оценят, а теперь...» [167]. Но и такой «тихий рост российской культуры и российского политического сознания» не пугал Короленко [168], хотя и не радовал, разумеется. А те «святые люди», о которых писал Якубович, знали, что их земной удел — «Венок терновый без награды, // И вьюгой заметенный след».

Почти одновременно с докладом Блока, 21 октября 1908 г., Муйжель сообщал А. Г. Горнфельду: «Буду писать „Внизу“ — это то, что *всегда* под нами〈...〉 Показать то, что под нами, показать все огромное недоверие, подозрительность и враждебность, да, да, как ни закрывайте глаза, а враждебность этого самого низа к нам, к тому, что как ни говори, а на горбе этого самого низа сидит и кусочек хлебца даже с маслицем кушает — показать, что ведь мы танцуем на вулкане — ей же богу это так, не преувеличение мое, что враждебность, а главное — недоверие, полное и абсолютное недоверие мужика ко всему, что не мужик, не деревня, не плоть от плоти ее〈...〉 Порвалась связь народа с интеллигентом давно, порвалась совсем, в экономическом отношении, в политических исканиях, хотя тут и меньше, по крайней мере у лучшей части интеллигенции, в быте — главное, в быте, этом цементе людей! 〈...〉 Глеб Успенский, я считаю, и погиб от этого разрыва и, скажу словами Достоевского о Пушкине, погибая — унес от нас с собой некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него ее разгадываем! Пытаемся разгадать, по крайности, а разгадаем ли? — Кто знает!..» [169].

Этот замысел воплотился в повести «На краю жизни». Короленко не согласился с мрачным колоритом автора, но повесть напечатал в «Русском богатстве». Он знал «правду-истину» об отношениях двух разнородных пластов — народа и интеллигенции, но был совершенно лишен покаянных комплексов и никогда не соглашался «приспустить», как говорил Блок, «надменный флаг культуры» перед «стихией», даже народной, даже революционной. «Гул стихий земных и подземных», от которого «люди культуры» бессильно обороняются щитами науки и искусства (V, 355—356), не казался Короленко «гибельным».

Блока упрекали в «пессимизме», Короленко — в «оптимизме», в «голубоглазии души» [170]. О своей среде Блок сказал: «А уж сибирских пыток не выдержал бы никто из нас...» (V, 216). По поводу «ссыльного юбилея» Короленко А. В. Амфитеатров хорошо написал: «Он оказался сильнее Сибири, и она отступила от него — посрамленная и побежденная» [171]. Свойственная Короленко, по его самоопределению, вера в жизнь как «дело глубоко осмысленное и святое» сочеталась с трезвостью и спокойствием стоика, готового к любому «мраку». «Впереди темно,— будем искать в темноте...»,— писал он в 1906 г. Н. Ф. Анненскому [172], повторяя «сократовскую» формулу своего глубинно автобиографического рассказа «Тени».

Порою на Короленко находил веселый стих: он писал пародии и читал их в дружеском кругу. Одна из них, по-видимому, возникла как отклик на темы блоковского доклада, в котором, в частности, упоминался «соловьевский хохот» (V, 323).

Над широкими полями
Стаи белых городов.
В нас, над нами и под нами
Сотни блеющих голов.

Хохот слышится надменный,
Слабый, бешеный, больной.
Хохот слышен гробовой
Надо мной и над вселенной [173].

В работах о Блоке порою пишут, что «старики» из «Русского богатства» признали правоту главной мысли доклада, ибо в свое время пережили «крах» «хождения в народ» [174]. В действительности произошло, скорее, обратное. В 1911 г., когда Блок вернулся к спорам вокруг своего доклада об «интеллигенции и народе», он написал слова признания, относящиеся прежде всего к выступлению Короленко. Правда, он никого не назвал, но расшифровать тех, кто имелся в виду, не трудно, опираясь на письма Блока и Любовь Дмитриевны к А. А. Кублицкой-Пиоттух, а также на его записи того времени (ЗК, 124—128): «Были шумные споры, доходившие до крика; были веские возражения с «классовой» точки зрения, наряду с глумлением, ехидством и истерическими выпадами; была борьба логик, самолюбий, «дворянские покаяния» и «разночинская» самоуверенность, случаи образцового непонимания друг друга и, обратно, какое-то сверхпонимание, с полунамека или вовсе без слов. Во всяком случае, было празднично и бодро, старые и маститые писатели услышали в этой теме свое заветное и старинное и ответили юным молодыми словами; верую, что иные слова старых были тогда моложе и вечнее иных слов юных, что за ними таились опыт и пытка десятилетий и что слова были белы, как седины самих говорящих, и бескорыстны, как они» (V, 686).

О чем же говорил Короленко? По свидетельству Л. Д. Блок и газетных отчетов,— о расколотом мире, о трещине в сердце поэта и о своей вере в будущее слияние разъединенных станов. Эти мысли развиты в неопубликованной заметке «Об интеллигенции» (1914):

«И в 80-х и 90-х ⟨годах⟩ XIX века * существенное в положении русской интеллигенции остается одно: ее *собственные искания*, собственная мысль, стремление найти *свое* собственное место в великом процессе исторического перехода. Для этого ей нужно найти правду житейских отношений, найти союзные в народе элементы в понимании и осуществлении этой правды ⟨. . .⟩ Среди раскололовшегося мира есть и долго еще будет человеческий тип, болеющий этим расколом, но занимающий в нем *свое собственное* определенное место. Это то, что принято называть общим названием интеллигенции. Она чувствует ненормальность раскола. Она стремится к слиянию разных частей расколовшегося мира, к тому, чтобы люди были равны. Это не нивелировка, не обезличение ⟨. . .⟩ Интеллигенция чувствует, что ее в том виде, как она есть теперь, *не должно быть* в будущем обществе. Но это не причина для самоуничтожения. Ведь несомненно, что и пролетариата, и крестьянства в том виде, как они есть, тоже не должно быть. Те, кто представляет себе это будущее как усовершенствованную деревню нынешнего типа, так же ошибаются, как и те, кто полагает, что это будет усовершенствованная нынешняя фабрика и что пролетариат войдет в землю обетованную нынешним пролетариатом.

Теперь нет ни одного класса, ни одного элемента общества, которому можно было бы приписать райскую святость. Для всех нужна вера в то, что будет правда. Но это есть именно вера, момент религиозный. Поклонение довлеет не идолам, а тому божественному, что есть у человека в душе».

Этот отрывок первоначально входил в воспоминания о Михайловском, поэтому Короленко все время обращается к «человеку с седой головой и с загадочно-суровым взглядом», который однажды сказал: «Если бы весь народ захотел вторгнуться в мой рабочий кабинет, где я служу своему богу, чтобы разбить бюст другого божьего слуги — Белинского,— я сочту своим правом и обязанностью умереть у порога своего крова и защищать его, пока у меня хватит жизни» [175].

Короленко вольно передает слова Михайловского, написанные в 1875 г., в полемике «Отечественных записок» с «Неделей», вокруг которой группировались «народопоклонники» националистического оттенка. Михайловский, впрочем, допускал и другой вариант поведения: «И если бы даже меня осенил дух величайшей кротости и самоотвержения, я все-таки сказал бы, по малой мере: прости им, боже истины и справедливости, они не знают, что творят!» [176].

И Михайловский, и Короленко «прозревали грядущие бедствия», они искали

* *Первоначально было*: И в 80-х и в 90-х XIX и в 10-х годах XX веков.

путей для преодоления рокового разлада. И Блок в 10-е годы встал на этот путь поисков «под знаком *мужественности и воли*». Так он писал накануне революции в заметке о русских народных сказках: «Нашим детям предстоит в ближайшем будущем входить во все более тесное общение с народом, потому что будущее России лежит в еле еще тронутых силах народных масс и подземных богатств; песенка всяких уютных «привилегированных» заведений спета, уж поздно рассуждать о том, что их «на наш век хватит». Дети наши пойдут в *технические школы* по преимуществу и рано соприкоснутся поэтому с так называемым невежеством, темнотой, цинизмом, жестокостью и т. п.

Имея все это в виду, надо по мере сил *объяснять* детям все «народное» 〈. . .〉 Право, если перестать всячески белоручничать, многое «неприглядное» объяснится и окажется на вольном воздухе гораздо более приглядным, чем казалось в четырех стенах.

〈. . .〉 Если умеете хоть немного, откройте в этой жестокости хоть ее *несчастную*, униженную сторону; если же умеете больше, покажите в ней *творческое*, откройте сторону могучей силы и воли, которая *только* не знает способа применить себя и «переливается по жилочкам».

Вот задача, на которую стоит потратить силы...» (ЗК, 275—276).

Этой задаче и отданы были все силы журнала, руководимого Михайловским и Короленко.

«Под знаком мужественности и воли» Блок встретил «народный ураган» 1917 г. Его народолюбие прошло реальное испытание огнем возмездия, в котором сгорели «картонные» формы «народопоклонства» — «общественников», националистов-«нововременцев», проповедников «нового религиозного сознания», «теургов» и т. д. Узнав о гибели Шахматова [177], Блок плакал по ночам, но не осуждал «неизвестные миллионы бедных рук», которые выкидывали и сжигали «духовные ценности», ибо жизнь обрекла их на «добывание хлеба в поте лица» и оставила «не научившимися». «Господи, не сужу»,— написал он (VII, 353—354).

Еще в 1913 г. Блок размышлял о грозных путях народного гнева: «Были в России «кровь, топор и красный петух», а теперь стала «книга»; а потом опять будет кровь, топор и красный петух» (V, 486). Книга, которая навеяла эти мысли, называлась «Пламень». Блок понимал, что огненная стихия лишь временно может избрать «путь книжный», но ее нельзя «поставить на полку», ибо Россия, «вырвавшись из одной революции, жадно смотрит в глаза другой, может быть, более страшной» (V, 483, 486).

В 1918 г. в «Русском богатстве» (№ 1—3) был помещен отрывок из «Ужасного года» В. Гюго — под названием «Чья вина?»:

— Библиотека здесь тобою сожжена?
— Да, я ее поджег.
— О, страшная вина!
Свершенное тобой тебе во вред, злодей.
. . . . . .
Ведь то, что сжег сейчас твой дьявольский разгул,
Твое же все добро, наследье, клад, оплот;
Ведь книга друг тебе и враг твоих господ.
Ведь книга за тебя повсюду и всегда. . .

Грохочущий камнепад обвинительной риторики занимает две журнальные страницы — 55 стихотворных строк...

Ведь книга — разум твой, собранье высших дум,
Долг, добродетель, право, доблесть, ум,
Прогресс, зовущий тьму рассеивать.
И это все ты сжег!
— Я не учен читать.

Обвиняемый произносит две короткие фразы, а Гюго провозглашает: «Ты вызван, век, на суд.// История глядит. Я лишь свидетель тут». Однако по су-

ществу и гипотетический «народ» Михайловского, и «злодей» Гюго, и «несчастный Федот» Блока оправдываются по формуле: виновны, но заслуживают снисхождения...

И Короленко на этом суде истории всегда был защитником, а не обвинителем, но, оправдывая, не соглашался благословлять стихийные формы мятежа,— он был неуступчивым гуманистом. Отсюда вытекала и его оценка поэмы «Двенадцать» — с этических, «дедовских» позиций. Два мемуариста приводят похожие отзывы: «А „Двенадцать"? Это же кощунство! Убийство, грабежи, разврат, кровь — и Христос!..» [178]. «Если бы не Христос, то ведь картина такая верная и такая страшная...» [179].

В свое время А. Г. Горнфельд заметил: «слишком легко попрекнуть» Короленко в том, что «неизбежному и неизбежно страшному столкновению двух миров он противополагает〈...〉утопию бескровной русской революции, что он — как говорил Ницше о Тэне — читает проповеди землетрясению» [180]. Этот «попрек» иногда повторяют без того оттенка сомнения и раздумья, который был у Горнфельда, но с сохранением его фактической неточности. Дело в том, что Горнфельд цитировал по памяти свою статью «Ницше и Брандес», которая основывалась на переписке этих двух лиц. Фразу о Тэне написал Брандес, а Ницше ответил ему: «Вы правы, что он «читает проповеди землетрясению», но это донкихотство принадлежит к самым достойным поступкам, какие возможны на земле» [181].

Луначарский называл Короленко «прекраснодушным Дон-Кихотом», но видел «примирение с ним в некотором высшем синтезе», ибо «чем более прочной и широкой будет наша победа, тем ценнее будет становиться для нас Короленко» [182]. Сознание «высшего синтеза» присутствует в работах многих современных исследователей, ибо для нашего времени характерен процесс собирания русской культуры. Происходит сближение того, что еще недавно казалось расположенным «на разных полюсах земли». В одной из таких работ сказано: «Нам, интеллигентским поколениям революции, непосредственно предшествовали два мощных идеологических течения: символизм и русский демократизм (с такой мощной культурной отраслью, как народничество)» [183].

Эти две культуры выросли на одной почве и поэтому соприкасались корнями и кронами. История короленковского поколения, когда «молодой и деятельный русский романтизм» устремился «к таинственному голубому цветку» — народной душе, «сохранившей живую воду обновления» [184],— повторилась. На дедовской шахматовской земле летом 1901 г. написаны предопределяющие строки, увидевшие свет в 1911 г., когда мотив «возврата» овладел Блоком.

И я, неверный, тосковал,
И в поэтическом стремленьи
И я без ну́жды покидал
Свои родимые селенья.

Но внятен сердцу был язык,
Неслышный уху — в отдаленьи,
И в запоздалом умиленьи
Я возвратился — и постиг.

(I, 96)

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Цит. по кн.: Вл. Орлов. Гамаюн. (Жизнь Александра Блока). Л., «Сов. писатель», 1980, с. 665.
[2] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 22, с. 304.
[3] Там же, с. 120.
[4] Н. К. Михайловский. Сочинения, т. I. СПб., изд. «Русского богатства», 1906, с. 480.
[5] А. Г. Горнфельд. Михайловский и 80-е годы (черновой набросок статьи).— ЦГАЛИ, ф. 155, оп. 1, ед. хр. 52, л. 15.
[6] Ек. Летков а. Из писем Н. К. Михайловского.— «Русское богатство», 1914, № 1, с. 386; при публикации фамилия Бекетова была зашифрована: Б-в. Сверено с автографом, хранящимся в ЦГАЛИ, ф. 280, оп. 1, ед. хр. 201, л. 119.
[7] Н. К. Михайловский. Сочинения, т. I, с. 505.
[8] А. П. Чехов. Полн. собр. соч. и писем в 30 томах. Сочинения, т. 16, М., «Наука», 1979, с. 94.

[9] Н. К. Михайловский. Сочинения, т. I, с. 515.
[10] ИРЛИ, ф. 266, оп. 3, ед. хр. 425.
[11] ГБЛ, ф. 135, разд. II, к. 17, ед. хр. 60, л. 19.
[12] «Отечественные записки», 1881, № 4, с. 369.
[13] Там же, с. 383.
[14] И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем в 28 томах. Письма, т. 11. М.— Л., «Наука», 1966, с. 195.
[15] ЦГАЛИ, ф. 70, оп. 1, ед. хр. 3, л. 34—35.
[16] Н. К. Михайловский. Полн. собр. соч., т. VIII. СПб., 1914, с. 483.
[17] «История русской литературы XIX в.» Под ред. Д. Н. Овсянико-Куликовского, т. 4. М., «Мир», 1910, с. 68 (Личная библиотека Блока в ИРЛИ; о пометах Блока см. в наст. кн. статью О. В. Миллер).
[18] Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Собр. соч. в 20 томах, т. 19, кн. 1, М., 1976, с. 131.
[19] Привожу письмо А. Н. Бекетова отцу поэта полностью:

«Дочь моя решается снова на сожительство с вами, но я все-таки делаю в этом письме попытку уговорить вас не настаивать на ее возвращении.

Перед свадьбою вы согласились со мною, что брак есть свободное сожительство женщины и мужчины, которое может быть расторгнуто каждым из них. Вы не придавали тогда значения правам, предоставляемым вам сводом законов на основании совершившейся церковной церемонии. Так как, притом, вы не принадлежите к числу верующих и относитесь ко всему вполне скептически, стараясь действовать только согласно своей собственной логике, которую одну вы и признаете, то, приступая к разговору с вами о судьбах моей дочери, так тесно связанной с вашею личностью, я буду основываться на одних выводах здравой логики.

Осьмнадцатилетняя дочь моя вам настолько понравилась, что вы употребили некоторое усилие для ее заполучения. Усилия эти увенчались успехом, вы взяли себе эту девушку с ее согласия. Вы желаете пользоваться ею и вперед. Все совершенно естественно и понятно. Но вместе с тем вы желаете ее переделать вполне на свой лад, так, чтобы все ее мысли и действия в точности согласовались с вашими мыслями и с вашими действиями. Это желание может, без сомнения, тоже иметь свои логические основания, но здравый рассудок признать правильности такого стремления не может, и вот почему.

Человек не есть ком пластической глины, который можно фасонировать по произволу. Воспитание не может коренным образом изменить то, что получено роковым образом от природы. Это не удается и тогда, когда воспитание начинается с детства, становится невозможным, когда воспитание начинается с 18 лет.

Все, что можно сделать с этих пор, заключается в сообщении известных мыслей и наружных привычек тем или другим способом. Следовательно, все ваши действия в указанном смысле могут иметь только один этот результат.

Считая свои мысли и свои привычки наилучшими, вы стремитесь, следовательно, привить их вашей жене, предполагая, что она будет наилучшим образом удовлетворять вашей личности, если примет все до тонкости ваши привычки и ваши мысли. Другими словами, вы стремитесь лишить мою дочь, а вашу жену ее индивидуальности. С известной точки зрения и это можно счесть совершенно правильным желанием. Сборщик податей, видящий в каждом человеке только податную единицу, требует только того, чтобы эта податная единица платила, хотя бы для этого она лишилась жизни. Вы требуете от жены только отражения своей собственной личности. Но считаете ли вы, что подать, налагаемая вами на свою жену, должна быть вам выплачена ею тоже, хотя бы для этого она должна была бы лишиться жизни.

Ваши действия убеждают меня в том, что вы именно так рассуждаете, а главное, действуете тому сообразно.

Получивши от природы неотразимое стремление, а следовательно, и право заботиться о сохранении жизни и здоровья своей дочери, а вашей жены, я не допускаю возможности ее истребления ради удовлетворения аппетитов посторонней личности.

В этом заключается простая, но первостепенной важности причина, понуждающая меня и мою семью стремиться о заполучении от вас своей дочери обратно.

Рассуждаем дальше. Моя дочь не имеет приданого. Она живет на ваш счет. Вы, очевидно, полагаете, что ваши на нее расходы обязывают ее вполне обезличиться перед вами. Но вы, во всяком случае, сделали не невыгодную спекуляцию, забрав ее в свое владение. Она стоит вам полтысячи рублей в год, а между тем служит любовницею, экономкою, слугою, переписчицею и лектрисою. За пятьсот рублей всего этого не легко получить, а вы хотите за эти деньги окончательно истребить ее и ее ребенка на свои потребы.

Такое желание не благоразумно. Слишком скоро вы ее не истребите, так как на преступление, призн⟨анное⟩ законом за уголовное, вы не решитесь. Она будет довольно долго хилеть и болеть. Продолжая поступать по-прежнему, а иначе вы, разумеется, поступать не способны, вам придется довольно долго тратиться на женщину, которая не в состоянии будет, несмотря на энергические понукания, ни чем вас удовлетворять. Это плохая спекуляция.

Если бы моя дочь была чрезвычайно крепкого сложения и отличалась тупостью ума и чувств, то она, может быть, сохранила хотя бы отчасти потребные для удовлетворения вашей натуры качества, но она скоро худеет и вянет в вашей обстановке и при вашем образе действий. Следовательно, прежде даже, чем она лишится своего ребенка, что весьма вероятно при вас и около вас, прежде, чем она заболеет и окончательно сляжет, она перестанет быть

для вас удовлетворительною. Таким образом, и с этой точки зрения вы совершенно напрасно зовете ее к себе.

Вас, очевидно, тревожит лишь одно самолюбие. Никто де не должен думать, что жена покинула меня, сама не захотела со мною жить. Такое неудобство легко устранить. Вы можете утверждать, и вам, разумеется, поверят, что вы сами бросили свою жену, так как она перестала вам нравиться и получила отвратительный характер и отвратительные привычки от своей никуда не годной семьи.

Для нас важнее всего сохранить жизнь ее и ее сына, а что будете говорить вы и всякий другой, нам безразлично.

Взвесьте все эти доводы с должным хладнокровием. Тогда вы придете к убеждению, что ваша прямая выгода во всех отношениях оставить вашу жену у ее родных.

Свои суждения о вашей личности я основываю на фактах. Я убедился, что вы толкуете не только эти факты, но и всем понятные явления жизни с точки зрения глубочайшего себялюбия и своего собственного самочувствия, выражаясь словами медиков. Вы вовсе не признаете того, чего вы сами не знаете или не чувствуете.

Неудобство, унижение человеческого достоинства, страдание, боль, любовь, даже холод и голод,— все это вы признаете только ради себя и по отношению к себе. Если вам удобно, то и остальным должно быть удобно, если ваше достоинство не унижено, то и достоинство остальных не унижено, если вам не холодно и не голодно, то и остальные должны быть сыты и т. д.

Следовательно, спорить с вами о том, насколько было хорошо или дурно вашей жене при вас и около вас, я считаю совершенно излишним» (ЦГАЛИ, ф. 70, оп. 1, ед. хр. 13).

[20] ЦГАЛИ, ф. 70, оп. 1, ед. хр. 9, л. 5 об. Частично опубликовано в кн.: «Ленинградский университет в воспоминаниях современников», т. I. Л., 1963, с. 195—199.

[21] Анна Павловна *Философова* (1837—1912) выведена в «Возмездии» под именем Анны Павловны Вревской (III, 319—321, 620). В ноябре 1911 г. Блок и А. П. Философова поставили свои подписи на листе № 6 под воззванием «К русскому обществу (по поводу кровавого навета на евреев)», текст которого написал Короленко (ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 2, ед. хр. 75).

[22] ГБЛ, ф. 120, к. 12, ед. хр. 21, л. 1—5. Об истории с Антроповым А. Н. Бекетов начал рассказывать в заметках «Эпизоды из времен моего ректорства», оборванных в самом начале. Мы узнаем лишь, что этот инспектор — отставной моряк и «выпить не дурак» — получал «жалованье, превышающее профессорское + ректорское» (ЦГАЛИ, ф. 70, оп. 1, ед. хр. 3, л. 14 и об.).

[23] ГБЛ, ф. 120, к. 12, ед. хр. 21, л. 6 и об.

[24] См. письмо Н. К. Михайловского Е. К. Мягковой (сестре) от 29 октября 1879 г.— ГБЛ, ф. 578, к. 1, ед. хр. 10, л. 19 и об.

[25] Среди многочисленных литературных набросков А. Н. Бекетова есть стихотворные строки о «ветре суровом», причем идет речь об идеологическом, так сказать, ветре, идущем с Запада (ЦГАЛИ, ф. 70, оп. 1, ед. хр. 5, л. 5). Поэзию «внука» продувают скорее «восточные», «скифские» ветры.

[26] Запись А. Н. Бекетова о Петербургском университете 60-х годов, сделанная 28 декабря 1896 г.— ЦГАЛИ, ф. 70, оп. 1, ед. хр. 3, л. 35 об.

[27] Вл. К о р о л е н к о. Старые традиции и новый орган.— «Русские записки», 1916, № 8, с. 254. Эта статья написана в связи с отказом участвовать в «банковской газете» А. Д. Протопопова. 29 октября 1916 г. и Блок отказался от участия в «новом деле» (VIII, 475).

[28] ЦГАЛИ, ф. 70, оп. 1, ед. хр. 12, л. 17 и об.

[29] Там же, ед. хр. 7, л. 11 об., 15 об., 18.

[30] Там же, ед. хр. 5, л. 4—5. В бумагах А. Н. Бекетова сохранилось стихотворение «Земский собор» с характерной для лагеря русской демократии трактовкой фигуры Ивана Грозного. Михайловский в статье «Иван Грозный в русской литературе» (1891) писал, что идея самовластия главенствовала в деятельности Ивана IV. Поэтому ему «можно было нашептать и земский собор, и опричнину, и составление Судебника, и полную бессудность всея Руси» (Н. К. М и х а й л о в с к и й. Сочинения, т. VI. СПб., 1897, изд. «Русского богатства», с. 207).

З е м с к и й с о б о р

Однажды царь хватился
И очень удивился,
Что все верх дном идет.

Подъячие воруют.
Опричники ликуют,
Народ же с гладу мрет.

Велит по всему царству
Холопству и боярству
Сбираться на собор.

Царь вышел, поклонился,
К собору обратился:
Честной ты мой народ!

Намедни я хватился
И очень удивился,
Что все верх дном идет.

Подъячие воруют,
Опричники ликуют,
Народ же с гладу мрет.

Что делать, помогите,
Скорее говорите,
Совета жду от вас.

Урод! сказал народ,
Набрал ты всякий сброд,
А толку в этом нет.

Возьми-ка ты дубину,
Гони-ка всех их ⟨в⟩ спину.
Вот наш тебе совет.

Рукою размахнулся,
Спиною повернулся,
Опричников позвал.

Благодарю, честные,
Какие ж вы шальные,
Провал бы вас побрал!

Лупили батогами,
Давили лошадями.
Собор весь разнесли.

А царь не удивлялся
И боле не справлялся,
Как в царстве все идет.

(там же, л. 1—2)

[31] Там же, ед. хр. 3, л. 3 и об.

[32] Приведу выдержки из этих интересных мемуаров, написанных 23 марта и 4 августа 1896 г.: «Я родился в год смерти Александра Павловича и восшествия на престол Николая I. В последние годы царствования Александра Россия управлялась, впрочем, не этим господином, а злодеем Аракчеевым. Все мерзости, тяготевшие над Россиею, развились и окрепли под аракчеевским режимом и превратились в махровые адские цветы. 14 декабря, а затем польское восстание подали повод держаться аракчеевщины, хотя в ослабленном виде, и во все управление Николая I. При этом господине я провел семь лет в петербургской гимназии, около двух лет в егерском полку юнкером, пять лет в университете студентом — сначала в Петербургском, а потом в Казанском, пять лет был учителем в гимназии, пять лет жил без дела в Москве. Испытал я на себе и видел российское житье во все времена управления выше названного человека.

Должен сознаться, что мне трудно быть относительно него объективным. История найдет, вероятно, естественные объяснения действиям *«сего монарха»*, но это не должно вести к оправданию. Правило: comprendre c'est pardonner * — к науке не применимо, а ведь История — наука. Дело не в обвинении, но и не в оправдании: чуму можно объяснить, но тем не менее она останется чумою. Николай Павлович был чумою, продолжавшеюся 30 лет. У него были добродетели, преимущественно семейные, в связи с которыми проявлялось даже добродушие, но ни гражданских, ни воинских добродетелей — ни на грош. Ум и характер — пошлый, самодурство — отчаянное. Оригинальности ни малейшей. Гражданская трусость неограниченная. Последнее лучше всего доказывается тем, что, сознавая необходимость освобождения крестьян, он об этом только болтал с Киселевым, а не решился ни на что.

Рыцарство его состояло в том, чтобы играть роль всеевропейского полицеймейстера помощью крови и денег русского народа. За это, когда все⟨м⟩ оно надоело, его и турнули. Управление государством он понимал чисто с жандармско-полицейской точки зрения. Он говорил, что «полиция есть душа всякого образованного общества». Утверждают, что это его изречение будто написано в каком-то присутственном месте золотыми буквами после того, как он там его высказал. Все это, однако же, не факты, обращаюсь к ним ⟨...⟩ Николай I не знатного рода, не аристократ. Он внук Екатерины Цербской и Салтыкова, сын незаконнорожденного Павла. Теперешняя династия есть династия *Павлидов*. Если бы, впрочем, он и был сыном бессмысленной ракальи Петра III, то этим ничего бы не выиграл. Своим положением он, значит, обязан альковному прелюбодеянию и глупости брата Константина.

Его портрет всем известен. Бронзовая верховая статуя его, стоящая перед Исакиевским собором, есть точный с него сколок. Таким являлся он на парадах — это вахмистр во всей его пошлости ⟨...⟩ На пьедестале памятника изображены великие дела Николая I. На одном он открывает московско-петербургскую ж. д., причем, он один в шляпе, а мужики лежат вповалку, как прилично рабам; на другом Николай I усмиряет бунт на Сенной. Он стоит во весь рост в коляске, а мужики на коленях.

Таким образом, эта площадь с ее монументами представляет превосходный букет, собрание характерных черт николаевщины. Непомерное чванство, с одной стороны, холопство и рабство — с другой.

Будем надеяться, что со временем русский народ уберет весь этот позор.

Николай Павлович был очень высокого роста и прекрасно сложен, но тяжел и без всякой грации. Голова была красивая без всякого выражения. Впрочем, выражение было: он постоянно таращил глаза и напущал на себя суровость. При улыбке выражение было добродушное, но ни ума, ни сколько-нибудь тонкой игры в физиономии не было.

Всегда одетый по строгой военной форме, с солдатскими манерами, прямой, как верста, он, даже любезничая с дамами **, не мог избавиться от отрывистой, командной речи.

Эти господа говорили всем «ты», что происходило от того, что они считали себя отцами своих подданных.

---

* Понять значит простить *(франц.)*.

** Я слышал его любезности к дамам на маскараде. Он остановился перед маскою и, грозя шутливо пальцем и не церемонясь, сказал громко на всю толпу: «О, о, хорошенькие глазки...».

На этом же маскараде (мне было лет 19) меня кто-то схватил сзади за талию и, ловко приподняв, поставил в сторону. Оборачиваюсь — это оказывается рыжая фигура Михаила Павловича, впрочем, добродушно усмехающаяся.

На парадах они, в том числе и старшой их Николай Павлович, ругались, как пьяные сапожники, т. е. прямо-таки по-матерному. При этом они не обращали внимание на то, были ли в толпе зрителей, их окружавшей, дамы.

En somme *, Николай Павлович был самым обыкновенным смертным и притом не хуже большинства своих современников. Если бы он был простым богатым помещиком (он любил себя называть первым дворянином и помещиком), то, вероятно, в нем бы не развились многие дурные стороны его нрава ⟨...⟩

Русским царем ему быть вовсе не пристало — ни одной петровской черты в нем не было, их было больше даже в чистой немке Екатерине II.

Я пишу не историю, а хочу только указать на факты и явления, характеризующие николаевское время, которые могу иллюстрировать собственным наблюдением или свидетельством верных людей.

Самодержавие есть не что иное, как *своеволие*, ибо закон имеет силу только до тех пор, пока его не нарушит Самодержец, т. е. лицо, для которого, по самому смыслу этого закона, закон не писан.

Все чиновники, начиная от высших и кончая будочником, да и весь российский народ так и понимают самодержавие. Считая себя представителями верховного своевольца, они считали (да и теперь считают) себя законом уполномоченными на своевольство ⟨...⟩

Николай Павлович постоянно прихотничал, будучи вполне самодуром: он постоянно хотел действовать по-своему в самых мелочах, он вмешивался в частную жизнь русских, был несносен. Уж не говоря о военных, он и штатским не давал покоя. Встретит господина с бородою — велит его обрить, встретит много новомодных персидских шапок — распорядится, чтобы этого не было, встретит пьяного солдата — велит его пороть до полусмерти, рассажав под арест всех командиров, начиная от ротного до дивизионного. Один раз разругает за то, за что другой раз похвалит. Совался в архитектуру, в искусство, ничего в них не понимая. Строителем Исакиевского собора назначил бездарного и неумного Монферана, немцу Тону поручил построение церквей в византийском вкусе: отсюда отвратительные соборы с огромными приземистыми луковицами.

Чего-либо оригинального во всю свою жизнь не проявил.

Весь век занимался армиею по прусскому образцу, а достиг только севастопольского погрома, так ⟨как⟩ занимался только шагистикой и равнением...» (ЦГАЛИ, ф. 70, оп. 1, ед. хр. 3, л. 39—42 и об., 17 об.).

[33] Это отрывок из воспоминаний о начале 60-х годов: «Сидел я однажды перед микроскопом в своем профессорском кабинете, когда ко мне внезапно вошел незнакомый молодой человек, поздоровался, назвав себя Успенским, и предложил мне свои услуги. «Не позволите мне, профессор,— сказал он,— помогать Вам в ваших занятиях?».

Несколько удивленный, я спросил его, в чем должна состоять его помощь, и еще с большим удивлением узнал от него, что он о ботанике имеет самое смутное понятие, а микроскопом никогда не занимался.

— Вы, может быть, желаете заняться под моим руководством? — спросил я его.

Но он продолжал говорить о помощи, и я должен был объяснить ему, что прежде, чем ассистировать профессора, необходимо познакомиться с наукой и ее приемами.

Он выслушал все это благодушно, но ушел, как мне показалось, все-таки неудовлетворенным.

Через несколько дней узнал я случайно, что это был Ник. Вас. Успенский, всем известный своим литературным талантом и затем бедственным концом.

В то время Ник⟨олай⟩ Вас⟨ильевич⟩ именно проживал в здании Университета на квартире бывшего секретаря совета почт⟨енного⟩ С. П. Загибенина. Мне около ⟨того⟩ времени случилось зайти к Ст⟨ахию⟩ Петр⟨овичу⟩, и тут он мне сообщил, что Н. В. Успенский жил у него, что он не знает, что с собой делать, пробовал и медицинскую академию, но все у него что-то не клеится.

— Я его приютил на время у себя потому, что он находился в самом печальном положении.

— Да ведь он писатель и очень даровитый! — вскричал я.

— Так, так, а если бы вы знали,— сказал Ст. Петр.,— как долго и превосходно рассказывает он мне о разных виденных им людях и делах, просто заслушаешься.

— Отчего же вы, Н. В., всего этого не напишете, тогда ведь вам и нуждаться бы не пришлось?

— И знаете, что он мне на это ответил? Встал со своего места, взял меня за руку и повел за перегородку, где стоял диван, на котором он спал.

— Вот, Ст. Петр.,— сказал он,— видите ли этот диван...

— Вижу.

— Это рака преподобного лентяя. Не пускали бы вы меня на этот диван, я, может быть, кое-что и сделал бы.

Может быть, если бы Ник. Вас. Успенский, высказывавший склонность к науке, в гимназические годы своей юности получил бы солидное знание в естествознании, он сумел бы найти себе специальность, начал бы хоть с ассистирования профессору, а там пошел бы и дальше.

---

* В общем *(франц.)*.

Литературный талант его от того скорее бы выиграл, чем пострадал, а в таком случае была сохранена и его жизнь, а для России не пропал бы талант» (ЦГАЛИ, ф. 70, оп. 1, ед. хр. 3, л. 15—16).

[34] Там же, ед. хр. 11 и 10, л. 4.

[35] Н. К. Михайловский. Сочинения, т. I, с. 480—481, 484.

[36] Н. К. Михайловский. Полн. собр. соч., т. X. СПб., 1913, с. 341.

[37] Н. К. Михайловский. Сочинения, т. II. СПб., изд. «Русского богатства», 1896, с. 392.

[38] ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 3, ед. хр. 56. Привожу № 170 описания по архивному источнику, ибо публикаторы провели некоторую унификацию и дата «1911 г.» из конца попала в середину. См.: П. А. Журов. Шахматовская библиотека Бекетовых — Блока. Публикация З. Г. Минц и С. С. Лесневского.— «Уч. зап. ТГУ», вып. 358. Труды по русской и славянской филологии, т. XXIV, 1975. Описание составлялось в трудных условиях и содержит много неясностей. По поводу книг Н. К. Михайловского, А. Ф. Писемского, Я. П. Полонского, О. И. Сенковского и Н. Г. Чернышевского П. А. Журов пишет: «Относительно книг последних пяти авторов у меня было сомнение: принадлежат ли эти книги к шахматовским,— настолько они по внешнему виду отличались от прочих шахматовских книг. М. А. Бекетова не признала их шахматовскими. Однако в силу того, что они находились и были записаны в общем потоке шахматовских книг, они включены нами в список» (там же, с. 402). М. А. Бекетова судила заглазно, не вникая в дело и по подсказке самого П. А. Журова: «Книги, которые кажутся Вам не шахматовскими, и точно не наши: Михайловский, Гл. Успенский в переплетах, еще что-то» (там же, с. 416). То, что она отвергла заодно и Гл. Успенского, которого П. А. Журов сомнению не подвергал и который был в петербургской библиотеке Блока, говорит само за себя. Да и не могла М. А. Бекетова помнить все книги шахматовской библиотеки. Сомнение П. А. Журова вызвал внешний вид книг, видимо дорогие переплеты; он свидетельствует, что «почти все книги без переплетов», это говорит «о скромных возможностях семьи» (ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 3, ед. хр. 56, л. 63—64). Однако, получив отцовское наследство, Блок в начале 10-х годов покупал много старых книг у букинистов. Эти книги могли продаваться в дорогих переплетах. Книги городской библиотеки, по свидетельству М. А. Бекетовой, Блок «переплетал в хорошие, дорогие переплеты у лучших переплетчиков» («Уч. зап. ТГУ», указ. вып., с. 414), а шахматовская библиотека пополнялась петербургскими книгами.

[39] «История русской литературы XIX в.», т. 4, с. 26 (Личная библиотека Блока в ИРЛИ). В «Синхронистических таблицах XIX века», начатых, по отметке Блока, в 1908 г. в связи с темой «Интеллигенция и народ», за 1869 г. указаны: окончание «Войны и мира» Толстого, «Обрыв» Гончарова, «Что такое прогресс?» Михайловского и «Кому на Руси жить хорошо?» Некрасова (Александр Блок. Собр. соч., т. 11. Изд-во писателей в Ленинграде, 1934, с. 459).

[40] «История русской литературы XIX в.», т. 4, с. 56—57 (Личная библиотека Блока в ИРЛИ).

[41] Там же, с. 90.

[42] Н. К. Михайловский. Сочинения, т. I, с. 482—483.

[43] Там же, с. 486.

[44] Там же, с. 483—484.

[45] Н. К. Михайловский. Сочинения, т. VI, с. 718.

[46] Н. К. Михайловский. Сочинения, т. I, с. 475, 589, 450, 478, 476, 479, 593—594.

[47] Там же, с. 481.

[48] Там же, с. 528.

[49] Там же, с. 518—519.

[50] Там же, с. 510, 513—514.

[51] Л. К. Долгополов. Александр Блок. Личность и творчество. Л., «Наука», 1980, с. 132. Автор ставит под сомнение автобиографичность эпизода в Краковском предместье Варшавы с польской девушкой из простонародья Марией, а «версию о сыне» называет мечтой, не подтвержденной «документальными данными» (с. 125—126). Между тем вся эта сугубо «недокументальная» история как раз и демонстрирует связь «личного» и «творческого» в судьбе Блока, ибо восходит к событиям отнюдь не вымышленным. В «Плане дальнейшего» Блок написал в 1911 г.: «Сын спускался по Краковскому предместью, в том самом месте...» (III, 465). Оборот «в том самом месте», снабженный многозначительным отточием, и является для нас автобиографическим свидетельством, которое нет никакой необходимости (и возможности!) оспаривать. Тем более что в варшавской записной книжке Блока есть помета: «У польки» (ЗК, 163). Кстати, мотив «сына» опровергает утверждение Долгополова о том, что в «Возмездии» речь идет о «конце того типа человеческой личности, который формировался на протяжении более ста лет русской истории», а пришел лишь к «покорности судьбе» (с. 132).

[52] Письмо М. И. Цветаевой Б. Л. Пастернаку 1 июля 1926 г.— «Вопр. лит.», 1978, № 4, с. 276.

[53] «Дело Ив. Каляева». СПб., 〈1906〉, с. 57—59.

[54] «Былое» (Сборник по истории русского освободительного движения). Париж, 1908, № 7, с. 22—23. Известная революционерка-народница П. С. Ивановская (свояченица Короленко), близко знавшая Каляева, называла его «романтиком и символистом» («Былое», 1924, № 23, с. 209).

[55] Сб. «Памяти Ивана Платоновича Каляева». Б. м., 1905, с. 30—32, 22.

[56] NN. Последний день Каляева.— «Былое», 1906, № 5, с. 187, 189.
[57] «Дело Ив. Каляева», с. 40.
[58] Сб. «Памяти Ивана Платоновича Каляева», с. 47.
[59] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 35, с. 362.
[60] «Жизнь», 1899, № 6, с. 275.
[61] Там же.
[62] Там же, № 8, с. 309—311.
[63] М. Горький. Собр. соч. в 30 томах, т. 28. М., «Худож. литература», 1954, с. 129.
[64] «Жизнь», 1899, № 1, кн. 1, с. 116; № 8, с. 316.
[65] Там же, № 11, с. 278.
[66] Там же, № 9, с. 289, 292—293.
[67] Там же, № 11, с. 418—419.
[68] В. Г. Короленко. Избр. письма в 3 томах, т. 3. М., «Худож. литература», 1936, с. 113.
[69] Е. Колосов. К характеристике общественного мировоззрения Н. К. Михайловского.— «Голос минувшего», 1914, № 2, с. 230.
[70] Цит. по: Н. С. Русанов. «Политика» Н. К. Михайловского. (Из воспоминаний о нем и его писем).— «Былое», 1907, № 7, с. 136—137.
[71] ИРЛИ, ф. 181, оп. 1, ед. хр. 180, л. 63.
[72] ИРЛИ, ф. 114, оп. 2, ед. хр. 26, л. 1.
[73] Ник. Михайловский. О г. Соловьеве как «моменталисте-трансформисте» и развязном человеке вообще.— «Русское богатство», 1899, № 7/10, отд. II, с. 202 и 216.
[74] Евг. Соловьев (Андреевич). Очерки по истории русской литературы XIX века. СПб., 1902, с. 374.
[75] Имеется в виду поход А. Л. Волынского против революционно-демократической критики (от Белинского до Писарева), предпринятый на страницах «Северного вестника» (статьи собраны в книге Волынского «Русские критики». СПб., 1896). Издательница «Северного вестника» Л. Я. Гуревич писала своему другу Э. И. Мешингу в 1898 г., когда журнал находился в состоянии агонии из-за неуклонного падения подписки: «Вся русская „интеллигентная" культура до сих пор живет этими традициями. Издания Белинского, Добролюбова, Чернышевского расходятся в огромном числе экземпляров (...) Можешь себе представить, что до сих пор («Русские критики» печатались в «Северном вестнике» в 1893—95 гг.) не проходит дня, чтобы люди не спорили со мною на эту тему и не доказывали, что «развенчать русских богов» было преступлением» (ЦГАЛИ, ф. 131, оп. 1, ед. хр. 56, л. 140 и об.)
[76] Архив А. М. Горького, КГ-п-59-1-53, 55, 60.
[77] М. Горький. Собр. соч., т. 28, с. 107.
[78] «Русское богатство», 1899, № 8/11, отд. II, с. 190 и 200.
[79] П. Б. (Л. Э. Шишко). Экскурсия в «мало-исследованную и таинственную» область.— «Русское богатство», 1899, № 9/12, отд. II, с. 127, 136, 147.
[80] В. Г. Подарский (Н. С. Русанов). Наша текущая жизнь.— «Русское богатство», 1900, № 12, отд. II, с. 128—129, 134—135.
[81] Архив А. М. Горького, КГ-п-60-1-26.
[82] В. Г. Короленко. Собр. соч. в 10 томах, т. 10. М., «Худож. литература», 1956, с. 383.
[83] Там же, с. 469.
[84] «А вы бы попробовали написать роман из жизни наших революционеров,— вспоминал Горький слова Михайловского.— Вы симпатизируете людям сильной воли,— сильнее и ярче этих людей вы не найдете в русской жизни!
С глубоким чувством любви к бойцам и волнующе подчеркивая драму их жизни, он заговорил о ничтожной — количественно — группе людей, которые хотели взорвать трон Романовых» (М. Горький. Полн. собр. соч., т. 16. М., «Наука», 1973, с. 488).
[85] Н. К. Михайловский. Сочинения, т. VIII, с. 808.
[86] ИРЛИ, ф. 181, оп. 1, ед. хр. 810, л. 1 и 5.
[87] «Русский литературный архив». Нью-Йорк, 1956, с. 211.
[88] «Встречи с прошлым». Сборник материалов ЦГАЛИ, вып. 4. М., «Сов. Россия», 1982, с. 436.
[89] Н. К. Михайловский. Сочинения, т. VI, с. 856 и т. X, с. 1053.
[90] Письмо Н. К. Михайловского Е. П. Летковой-Султановой, сентябрь 1883 г.— ЦГАЛИ, ф. 280, оп. 1, ед. хр. 201, л. 127.
[91] Письмо Н. К. Михайловского А. П. Чехову от 15 февраля 1888 г.— «Слово», сб. 2. М., 1914, с. 217.
[92] Скриба (Е. А. Соловьев). Из воспоминаний о Михайловском.— «Одесские новости», 1904, № 6214, 6235, 4, 26 февраля.
[93] ГБЛ, ф. 358, к. 412, ед. хр. 6, л. 29 и об.

Любопытно, что в 1915 г. к Блоку придет художник Н. Н. Купреянов (см. о нем: ЛН, т. 92, кн. 3, с. 93—94), внучатый племянник Михайловского. В жизни Купреянова было свое «Шахматово» — имение Селище под Костромой, где ежегодно бывал Михайловский, гостя у своей родной сестры Елизаветы Константиновны, в замужестве Мягковой, бабушки Купреянова. В 1932 г. Купреянов писал: «Дед Михайловский часто и подолгу живал там, и его личностью определялась атмосфера дома. Атмосфера эта сохранялась и после его смерти». «В материнской семье идеи народничества окрашивали собой все, до мелочей быта включительно,

вплоть до языка» (Н. Н. Купреянов. Литературно-художественное наследие. М., «Искусство», 1973, с. 79—80, 85). Однако в 1915 г. он был очень далек от этой атмосферы, увлеченный мистицизмом и эстетством. В декабре 1915 г. Купреянов писал Блоку: «Мне кажется, есть нечто общее в том, что я сейчас переживаю, с путем, когда-то пройденным Вами» (там же, с. 92). О несохранившемся ответе Блока и содержании их первой беседы можно судить по письму Купреянова Блоку от 16 декабря 1915 г.: «Вы предостерегающе пишете, что эпоха другая <...> Когда я был у Вас, Вы говорили об «искреннем шарлатанстве». «Нечаянная Радость», сказали Вы, была названа так «по глупости». Это очень жалко, но для меня важно еще потому, что боюсь, как бы мне и себя не пришлось уличать в «искреннем шарлатанстве»» (там же, с. 92—93). Внук Бекетова предостерегал внука Михайловского от увлечения эстетством и мистикой! Вскоре революционная эпоха вернула блудного сына в селищенский мир, который занял в графике Купреянова главное место. Художнику принадлежит обложка книги Блока «Ямбы» в издании «Алконост» 1919 г. (воспроизведена в ЛН, т. 92, кн. 3, с. 491).

[94] См. мою статью «Эстетика позднего народничества» в кн.: «Литературно-эстетические концепции в России конца XIX — начала XX в.». М., «Наука», 1975. О «знаменитом Максе Нордау» Блок писал в 1918 г.: «Этот «разъяснитель» еще лет пятнадцать назад был «божком» для многих русских интеллигентов, которые слишком часто, по отсутствию музыкального чувства, попадали помимо своей воли в разные грязные объятия» (VI, 23). В феврале 1894 г., через три месяца после выхода книги М. Нордау «Вырождение» на русском языке, в «Русском богатстве» была помещена рецензия, в которой Михайловский как раз предостерегал русского читателя от этих «объятий»: «в целом это какая-то ракета, привлекающая к себе много внимания, но ничего не зажигающая. Есть что-то легковесное и не то что неискренное, а как бы не настоящее в произведениях Макса Нордау, несмотря на его талантливость» (Н. К. Михайловский. Сочинения, т. X, с. 1014). А до выхода русского издания Михайловский писал, что выводы автора поражают «узостью и односторонностью» оценки «в высшей степени любопытных, не только литературных, но и общественных явлений» (Н. К. Михайловский. Полн. собр. соч., т. VII. СПб., 1909, с. 495).

[95] Н. К. Михайловский. Сочинения, т. V. СПб., изд. «Русского богатства», 1897, с. 528—529.

[96] Н. К. Михайловский. Сочинения, т. VIII, с. 482, 507.

[97] Н. К. Михайловский. Сочинения, т. VII, с. 804—805. Эта статья входила во II том «Литературных воспоминаний и современной смуты» Н. К. Михайловского, с которым Блок знакомился в 1902 г.

[98] Н. К. Михайловский. Сочинения, т. IV. СПб., изд. «Русского богатства», 1897, с. 764.

[99] Знакомство с Гл. Успенским произошло не без участия Михайловского, ибо в статье «Три вопроса» Блок цитирует его работу «Г. И. Успенский как писатель и человек», знакомую ему, видимо, по т. I Поля. собр. соч. Успенского (СПб., изд. А. Ф. Маркса, 1908). Это издание значится в перечне книг и петербургской и шахматовской библиотек Блока.

[100] Трудно допустить, что Блок совсем не знал писателя, которого ценил Вл. Соловьев (см. письмо Вл. С. Соловьева к В. Г. Короленко, октябрь 1891 г., в кн.: В. Г. Короленко. Избр. письма, т. 2. М., «Мир», 1933, с. 16). Но в петербургской библиотеке Блока значились лишь брошюры «Бытовое явление» (СПб., 1910; продана в декабре 1920 г.) и «Падение царской власти» (Пг., изд. «Освобожденная Россия», 1917), а также книга Н. Д. Шаховской «В. Г. Короленко. Опыт биографической характеристики» (М., 1912; в каталоге помета Блока: «Подарил Чуковскому» — ИРЛИ, ф. 654, оп. 1, ед. хр. 388). В описи шахматовской библиотеки книг Короленко нет, но далеко не все книги сохранились к моменту описания (см. прим. 177 к наст. ст.). Пометы Блока на статье Короленко о В. М. Гаршине говорят о сочувственном внимании (см. в наст. кн., ст. О. В. Миллер).

[101] Письмо С. Н. Южакову — ГБЛ, ф. 135, разд. II, п. 14, л. 329.

[102] ГБЛ, ф. 225, к. 4, ед. хр. 6, л. 5.

[103] «Русское богатство», 1910, № 12, отд. II, с. 178.

[104] См. резко отрицательные высказывания Блока о Белинском 1908, 1915 и 1921 гг. (V, 326, 488; VI, 166). А казалось бы, рассуждая отвлеченно, страстные искания Белинского, его духовный максимализм, безоглядная искренность, его рыцарское (поистине Бертраново) служение русской литературе должны быть близки Блоку. Но налицо обратное: темный драматизм беспутной и неудачливой судьбы Аполлона Григорьева Блок предпочел светлому трагизму жизненного пути Белинского, которому нужда и чахотка отмерили еще более короткий век, чем Григорьеву. Но свои 37 лет Белинский сумел прожить «удачливо»...

[105] Н. К. Михайловский. Сочинения, т. V, с. 533.

[106] Там же, т. VI, с. 608.

[107] В. Г. Короленко. Дневник, т. IV. Полтава, 1928, с. 96.

[108] Письмо В. Г. Короленко Н. Ф. Анненскому 2 октября 1906 г.— ГБЛ, ф. 135, разд. II, к. 1, ед. хр. 13, л. 27.

[109] ИРЛИ, ф. 181, оп. 3, ед. хр. 11, л. 29.

[110] ИРЛИ, ф. 181, оп. 1, ед. хр. 272, л. 30 об.—31.

[111] Письмо П. П. Перцова к отцу 17 октября 1892 г.— ЦГАЛИ, ф. 1796, оп. 1, ед. хр. 73, л. 20 об.

[112] В. Г. Короленко. Дневник, т. II, с. 222—223.

[113] Письмо П. П. Перцова А. Г. Горнфельду 26 мая 1895 г.— ЦГАЛИ, ф. 155, оп. 1, ед. хр. 421, л. 4.

[114] Письмо Н. К. Михайловского П. Ф. Якубовичу, январь 1896 г.— «Русское богатство», 1910, № 1, отд. I, с. 237.

[115] Письмо А. Г. Горнфельда Н. К. Михайловскому 17 ноября 1896 г.— ИРЛИ, ф. 181, оп. 1, ед. хр. 177, л. 2 об.

[116] Письмо П. П. Перцова к отцу 24 октября 1892 г.— ЦГАЛИ, ф. 1796, оп. 1, ед. хр. 73, л. 22 об.

[117] ИМЛИ, ф. 122, оп. 1, ед. хр. 18, л. 1 и об.

[118] Вл. Соловьев. Первый шаг в положительной эстетике.— «Вестник Европы», 1894, № 1; он же. Судьба Пушкина.— «Вестник Европы», 1897, № 9, с. 145.

[119] См. письмо Ф. Ф. Павленкова Н. К. Михайловскому ⟨1891⟩.— ИРЛИ, ф. 181, оп. 1, ед. хр. 510, л. 14 и об.

[120] ГПБ, ф. 211, ед. хр. 201, л. 55 и об.

[121] Сб. «Первые литературные шаги. Автобиографии современных русских писателей». Собрал Ф. Ф Фидлер. М., 1911, с. 93—94.

[122] «Русское богатство», 1900, № 8, отд. II, с. 166. Автор некролога — постоянный сотрудник журнала, а с 1904 г. член редакции В. А. Мякотин (установлено по гонорарной ведомости «Русского богатства» за 1900 г.— ГПБ, ф. 211, ед. хр. 1260).

[123] П. Д. Боборыкин. Европейский роман в XIX столетии. СПб., 1900, с. 345—346.

[124] Л. Северов (Радин). Объективизм в искусстве и критике.— «Научное обозрение», 1901, № 11, с. 46, 33; № 12, с. 48.

[125] Н. К. Михайловский. Сочинения, т. VII, с. 227, 239—241, 243.

[126] ЦГАЛИ, ф. 552, оп. 1, ед. хр. 335, л. 1—2.

[127] ЦГАЛИ, ф. 122, оп. 2, ед. хр. 53, л. 82.

[128] А. Н. Бекетов. Питание человека в его настоящем и будущем. М., «Посредник», 1893, с. 19.

[129] Там же, с. 29.

[130] Анонимный отдел «Русского богатства» «Новые книги» за 1893 г. не поддается расшифровке, так как соответствующие гонорарные ведомости не указывают авторов по этому отделу (см.: ГПБ, ф. 211, ед. хр. 1253).

[131] «Русское богатство», 1893, № 9, отд. II, с. 55 и 59.

[132] «Архив В. А. Гольцева», т. I. М., 1914, с. 199.

[133] В. Г. Короленко. Дневник, т. IV, с. 191—192.

[134] Письмо Б. Л. Пастернака Ю. И. Юркуну 14 июня 1922 г.— «Вопр. лит.», 1981, № 7, с. 230.

[135] П. Я. (П. Ф. Якубович). Без руля и без ветрил.— «Русское богатство», 1908, № 5, отд. II, с. 130.

[136] ГБЛ, ф. 135, разд. II, к. 37, ед. хр. 3, л. 3 и об. Ответные письма Короленко погибли вместе с архивом П. Ф. Якубовича, оставленным в пустой квартире в Петрограде в послереволюционные годы. В письме идет речь о третьем издании «Русской Музы», в котором Якубович значительно расширил отдел стихотворений Брюсова и включил семь стихотворений Сологуба, которого не было в прежних изданиях. Якубович объяснил свою «уступчивость» тем, что в «эпоху безвременья» «больное искусство, естественно, вызывало раздражение и озлобление передовой и мыслящей части общества и лучшие журналы середины 90-х годов едко вышучивали и огульно отрицали, между прочим, поэзию Сологуба, но теперь, когда то запуганное, мрачное время отошло уже в сравнительно далекое прошлое, к ней можно отнестись более беспристрастно...» («Русская Муза». Художественно-историческая хрестоматия. ⟨СПб.⟩, 1914, с. 399).

[137] Письмо П. Ф. Якубовича В. Н. Фигнер 16 марта 1906 г.— ЦГАЛИ, ф. 1185, оп. 1, ед. хр. 855, л. 14.

[138] ГБЛ, ф. 135, разд. II, к. 37, ед. хр. 3, л. 5 и об.

[139] Письмо от 25 сентября 1895 г.— ИРЛИ, ф. 181, оп. 1, ед. хр. 810, л. 1.

[140] «Русское богатство», 1896, № 4, отд. II, с. 143, 168. Якубович «энергично пропагандировал» и переводил Бодлера в Карийской каторжной тюрьме в 80-е годы (см.: Лев Дейч. Певец «поколенья, проклятого богом».— «Русское богатство», 1912, № 3, отд. I, с. 138), а в 1901 г. вступил в полемику с Ф. Д. Батюшковым, назвавшим Бодлера «певцом зла и порока», и отстаивал «светлую и возвышенную идейность» «жестокой книги» Бодлера (П. Я. В поисках сокровенного смысла.— «Русское богатство», 1901, № 8, отд. II, с. 85—87). Короленко принял сторону Якубовича в этом споре (см.: В. Г. Короленко. Письма. 1888—1921. Пб., «Время», 1922, с. 183). Об этой полемике см. публикацию А. Б. Муратова «П. Ф. Якубович. Письма к Ф. Д. Батюшкову».— «Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1972 год». Л., «Наука», 1974.

[141] «Русское богатство», 1900, № 10, отд. II, с. 46—47. Анонимное авторство рецензий в «Русском богатстве» раскрыто в указателе М. Д. Эльзона.— ЛН, т. 87.

[142] П. Ф. Гриневич (П. Ф. Якубович). Надсон и его неизданные стихотворения.— «Русское богатство», 1900, № 9, отд. II, с. 144, 136. См. также: он же. Обзор нашей современной поэзии.— «Русское богатство», 1897, № 9, отд. II, с. 20.

[143] «Русское богатство», 1910, № 4, отд. II, с. 80.

[144] У Чехова: «Дело не в пантеизме, а в размерах дарования».— А. П. Чехов. Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. 5. М., «Наука», 1977, с. 170.

[145] Д. С. Мережковский. Полн. собр. соч., т. XVI. М., изд. И. Д. Сытина, 1914, с. 10.

[146] «Русское богатство», 1904, № 12, отд. II, с. 30. В указателе М. Д. Эльзона (ЛН, т. 87) рецензия ошибочно приписана А. И. Гуковскому. В соответствующей гонорарной ведомости «Русского богатства» в качестве автора указан А. Г. Горнфельд (ГПБ, ф. 211, ед. хр. 1264). Это подтверждается и списком собственных рецензий, который вел сам Горнфельд (ГПБ, ф. 211, ед. хр. 164).

[147] А. Пешехонов. На очередные темы. В поисках.— «Русское богатство», 1908, № 11, отд. II, с. 52.

[148] Там же, с. 54.

[149] Там же, с. 55.

[150] Н. К. Михайловский. Сочинения, т. VIII, с. 187.

[151] «Письма к родным», I, с. 236.

[152] А. Пешехонов. На очередные темы..., с. 52.

[153] ГБЛ, ф. 356, к. 1, ед. хр. 15, л. 6.

[154] Там же, л. 15.

[155] А. Дерман. Об Александре Блоке.— «Русская мысль», 1913, № 7, отд. II, с. 71.

[156] В статье «О реалистах» (1907) Блок назвал В. И. Дмитриеву писательницей «очень почтенной, с незапамятных времен украшающей страницы «Русского богатства» своими произведениями» (V, 113). По-видимому, в этой оценке таилась ирония. С 1899 по 1910 г. «Русское богатство» действительно почти ежегодно помещало по одному произведению Дмитриевой, которая печаталась и во многих других журналах, от «Вестника Европы» до «Журнала для всех». Однако еще чаще редакция отклоняла произведения Дмитриевой, видя в них «выдумку во вкусе чуть не блаженной памяти „Хроники села Смурина“» П. В. Засодимского («Письма В. Г. Короленко к А. Г. Горнфельду». Л., «Сеятель», 1924, с. 16).

[157] ГПБ, ф. 211, ед. хр. 225. Ф. Д. Крюков еще при жизни Якубовича «иной раз (...) пускался с ним в спор, становился против него в защиту поэзии модернизма», но терпел поражения: оказывалось, что Якубович знает предмет лучше, чем он (Ф. Крюков. Памяти П. Ф. Якубовича.— «Русское богатство», 1911, № 4, отд. II, с. 120).

[158] Заметка А. Г. Горнфельда о В. Г. Короленко.— ЦГАЛИ, ф. 155, оп. 1, ед. хр. 41, л. 4.

[159] А. Е. Редько (А. М. и Е. И. Редько). Литературные наброски.— «Русское богатство», 1913, № 12, с. 380—383.

[160] «Новое и забытое», сб. 1. М., «Наука», 1966, с. 142.

[161] А. Анненская. Из прошлых лет. (Воспоминания о Н. Ф. Анненском).— «Русское богатство», 1913, № 1, с. 59.

[162] ГБЛ, ф. 578, к. 1, ед. хр. 18, л. 1.

[163] ЦГАЛИ, ф. 389, оп. 1, ед. хр. 36, л. 129 об.

[164] Н. К. Михайловский. Сочинения, т. III. СПб., изд. «Русского богатства», 1897, с. 772.

[165] ЦГАЛИ, ф. 280, оп. 1, ед. хр. 330, л. 4—6.

[166] П. Ф. Якубович. В мире отверженных, т. I. М.— Л., «Худож. литература», 1964, с. 319.

[167] ГБЛ, ф. 135, разд. II, к. 31, ед. хр. 74, л. 39. В письме идет речь о статьях Л. Мельшина (П. Ф. Якубовича) «Шлиссельбургские мученики» («Русское богатство», 1905, № 10), «Vae victis! (Две трагедии 1889 года в Сибири)» («Современные записки», 1906, № 1) и «Раскрытый тайник (Из поездки в Шлиссельбургскую крепость)» («Русское богатство», 1906, июль).

[168] В. Г. Короленко. Дневник, т. IV, с. 182.

[169] ЦГАЛИ, ф. 155, оп. 1, ед. хр. 409, л. 10 об.— 11 и об.

[170] К. И. Чуковский. О Владимире Короленко.— «Русская мысль», 1908, № 9, отд. II, с. 135.

[171] А. Амфитеатров. Пестрые главы.— «Современник», 1911, № 2, с. 167.

[172] ГБЛ, ф. 135, разд. II, п. 14, л. 226.

[173] ГБЛ, ф. 135, разд. I, к. 8, ед. хр. 457. Судя по внешнему виду автографа — карандашная запись на обороте вырванного из блокнота листка,— Короленко мог написать эти строки во время долгого обсуждения доклада Блока. Своеобразным «катализатором» для народийного настроения Короленко обычно служил веселый и остроумный Н. Ф. Анненский, имевший чин надворного советника, но переаттестованный друзьями в «бесшабашного советника». Кстати, внешний облик 65-летнего Анненского более всего должен был напомнить Блоку деда: «как лунь, седой», с «походкой бодрою, с веселыми глазами» (I, 202). Кроме того, именно Анненский отличался изысканной «старинной» любезностью. Я прочла внучке Н. Ф. Анненского Татьяне Аньёловне Пащенко отзыв Блока о «стариках» из «Русского богатства» и спросила: «Как вы думаете, кто кормил Блока конфетами?». «Дедушка!» — твердо ответила Татьяна Аньёловна, хотя чаще она отвечает: «Не помню. Могу ошибиться». Я тоже «подозревала» Анненского. Возможно, были и другие встречи Блока с Николаем Федоровичем: Анненский был видной фигурой литературного Петербурга того времени. Блок писал матери 28 октября 1909 г.: «Анненский — царскосельский» («Письма к родным», I, с. 279), отличая младшего брата Иннокентия от старшего, жившего в Петербурге. И не случайно, разумеется, Блок

собирал материалы на тему «смерть Н. Анненского», как и материалы о смерти Ин. Анненского (VII, 421—422).

[174] См.: З. Г. Минц. Лирика Александра Блока, вып. 3. Тарту, 1973, с. 77; А. Турков. Александр Блок. М., «Мол. гвардия», 1981, с. 131.

[175] ГБЛ, ф. 135, разд. I, к. 13, ед. хр. 719.

[176] Н. К. Михайловский. Сочинения, т. III, с. 692.

[177] По-видимому, до Блока доходили весьма неточные известия о том, что Шахматово вместе с библиотекой сожжено крестьянами. После того как З. Г. Минц и С. С. Лесневский опубликовали статью П. А. Журова «Шахматовская библиотека Бекетовых — Блока» («Уч. зап. ТГУ», вып. 358), версия о сожжении библиотеки отпала совершенно, ибо рукописи и книги Блока были вывезены из Шахматова в 1918—1920 гг., а в 1924 г. П. А. Журов составил опись русского отдела реквизированной библиотеки, вернее, того, что от нее к этому времени осталось. Повисает в воздухе и версия о «разграблении» библиотеки окрестными крестьянами, ибо единственный пример, на который опирается П. А. Журов, говорит как раз о другом: «О том, что некоторая часть книг рассеялась по рукам окрестных крестьян, можно судить по тому, что старик-крестьянин дер. Гудино (поблизости с Шахматовым) Ястребов, с которым Александр Александрович поддерживал знакомство, дарит таракановскому учителю А. Н. Михайлову книгу Н. Минского „Религия будущего“, принадлежащую Блоку. Книга дарится как собственная, с собственноручной подписью Ястребова и сорванной обложкой (на обложке вверху обычно ставилась подпись Блока)» (Там же, с. 401). Но ведь книга Н. Минского «Религия будущего» (СПб., 1905), хранящая многие пометы Блока, описана в 1924 г. самим П. А. Журовым в составе шахматовской библиотеки под № 169. Следовательно, у Блока было *два экземпляра* этой книги, один из которых он мог подарить знакомому крестьянину Владимиру Ястребову, грамотею и краснобаю, по характеристике М. А. Бекетовой (там же, с. 415), заинтересовавшемуся «божественным» заглавием, а тот, не одолев, разумеется, премудрости Минского, передарил книгу учителю, оставив себе обложку с дарственной надписью Блока. Примечательную сноску делает сам П. А. Журов к № 169 своей описи: «Книга Минского подарена мною собирателю-блокисту Н. П. Ильину (Москва)» (там же, с. 411). Красноречивое свидетельство того, какой неопределенный статус был у блоковской библиотеки! Книги возили с места на место, разъединяли, дарили частным лицам, выдавали для чтения, ибо в помещичьем доме в селе Новом, куда библиотека была доставлена, находился дом отдыха студентов-свердловцев. Можно ли говорить при таких обстоятельствах, что библиотека была разграблена крестьянами! И следовательно, значительная часть вины с народной крестьянской стихии должна быть снята.

[178] Петр Митропан. Встречи с В. Г. Короленко.— «Вопр. лит.», 1965, № 5, с. 168.

[179] Свидетельство С. Потресова (С. В. Яблоновского) цит. по кн.: «Судьба Блока». Составители О. Немеровская и Ц. Вольпе. Л., 1930, с. 222.

[180] Предисловие к кн.: «Письма В. Г. Короленко к А. Г. Горнфельду», с. 4.

[181] А. Г. Горнфельд. На Западе. Литературные беседы. СПб., «Мир», 1910, с. 53, 55. Первоначально статья была напечатана в «Русском богатстве», 1905, № 4.

[182] Цит. по кн.: Н. А. Трифонов. А. В. Луначарский и советская литература. М., «Худож. литература», 1974, с. 165, 169.

[183] Лидия Гинзбург. Человек за письменным столом.— «Новый мир», 1982, № 6, с. 244. Имена Михайловского и Блока поставлены рядом в статье Генриха Боровика «И вечный бой» («Правда», 1983, № 22, 22 января).

[184] В. Короленко. Полн. посмертное собр. соч., т. XVI. ГИЗ Украины, 1923, с. 63.

БЛОК И ЧЕХОВ

Статья З. С. Паперного

Эти два имени лишены привычной взаимосвязанности. В нашем сознании они находятся как будто на разных полочках [1]. И когда ставишь их рядом, прежде всего резко проступают различия.

Блок — поэт, и не просто, а, если так можно сказать, сугубый поэт. Со стихией поэзии он не расстается, к художественной прозе не обращается.

Чехов — прозаик, и тоже «сугубый». Он, наоборот, никогда всерьез за стихи не брался. «Стихи не моя область,— признавался он в письме А. В. Жиркевичу 10 марта 1895 г.,— их я никогда не писал...»

Но, может быть, еще важнее разницы «родовой» (стихи — проза) другая.

Чехов — реалист. Ничто не может поколебать его убеждения: «Художественная литература потому и называется художественной, что рисует жизнь такою, какова она есть на самом деле. Ее назначение — правда безусловная и честная» (письмо А. С. Киселевой 14 января 1887 г.). Исходное начало его творчества — верность действительности.

Для символиста Блока реальная действительность как бы не является конечной инстанцией — за ней он прозревает миры иные.

Еще одно различие, и тоже коренное. Взгляд Чехова на мир невозможно представить без юмора, без той «усмешечки», которая так не нравилась Марине Цветаевой. Не нужно доказывать, что юмор Чехова — первоотличительная его черта. По-разному он ощущается и в откровенно смешных вещах, и в самых трагических. Суровая и страшная повесть «В овраге» начинается с анекдотической истории о дьячке, который на похоронах всю икру съел. И само это сочетание похорон и съеденной икры — сразу вводит в чеховский мир, где с такой потрясающей невозмутимостью соседствуют горестное и смешное.

И здесь Блок оказывается антиподом Чехова. Он настолько строг, сосредоточенно и последовательно серьезен, что в иронии ему чудится нечто обманчивое и скользкое. Она — болезнь. «Все мы пропитаны провокаторской иронией Гейне»,— пишет он в статье, которая так и называется «Ирония» и открывается некрасовскими словами: «Я не люблю иронии твоей...» (V, 345).

А в записную книжку Блок заносит: «Бес смеха, отступи от меня и от моей мысли» (ЗК, 153),— слова для Чехова просто невозможные (речь тут идет о тенденции в творчестве Блока. Это вовсе не значит, что у него вообще нет юмора).

Все эти и другие различия глубоки, основательны, но не абсолютны.

Чехов действительно реалист. Однако жизнью как она есть, конечно же, его творчество не исчерпывается. Интересно взглянуть с этой точки зрения на его черновые заметки к пьесе «Три сестры». Первая: «Боже мой, как все эти люди страдают от умствования, как они встревожены покоем и наслаждением, которое дает им жизнь, как они неусидчивы, непостоянны, тревожны; зато жизнь такая же, как и была, не меняется и остается прежней, следуя своим собственным законам» (XVII, 215) [2]. Непреложная мысль о не зависящем от желаний людей, объективном ходе жизни, о ее «собственных законах». Однако рядом с этими словами Чехов записывает: «Человек или должен быть верующим или ищущим веры, иначе он пустой человек».

В записной книжке: «Без веры человек жить не может» (I, 53, 1); «Во что человек верит, то и есть» (I, 129,9).

В этом сочетании правды и веры, всегда противоречивом и внутренне беспокойном,— тоже одна из первых отличительных черт Чехова. И она глубоко связана с тем, что хотел выразить Горький, говоря, что Чехов «убивает» реализм. Писатель остро чувствовал переходность своего времени, надвигающиеся перемены и вместе с тем, точнее говоря, в тесной связи с этим — исчерпанность старых, традиционных форм воспроизведения жизни, необходимость «новых форм». Глубоко чуждый символизму как направлению Чехов создавал по-своему символические образы.

С другой стороны, Блок был не просто символистом. Его муза жила не одними туманностями. Прорываясь сквозь них, поэт приближался к земным, реальным первоначалам.

Так оказывается возможной перекличка символичных образов реалиста Чехова и земных мотивов символиста Блока.

Пытаясь установить некоторые точки их творческого пересечения, начнем с высказывания самого Блока. В статье «Душа писателя» (1909) он говорил о «последнем и единственно верном оправдании» для художника — о голосе читателя, о «легком дуновении души народной, не отдельной души, а именно — коллективной души» (V, 367). Писатель, который не слышит этого «дуновения», «народной санкции», не может внутренне расти, не в состоянии стать «больше себя».

«Всеобщая душа так же действенна и так же заявит о себе, когда понадобится, как всегда. Никакая общественная усталость не уничтожает этого верховного и векового закона. И, значит, приходится думать, что писатели недостойны услышать ее дуновение. Последним слышавшим был, кажется, Чехов» (V, 368).

Эти слова определяют масштаб сопоставлений творчества обоих писателей. Умение или, вернее, талант слышать «дуновение» коллективной души — это не просто мысль о народе, но понятие более сложное и объемное. Оно включает в себя и, если так можно сказать, чувство народа, его живое и непрестанное ощущение, чутье и слух к народной жизни, ее дыханию, «дуновению».

В чеховской записной книжке читаем:

«В имении дурной запах, дурной тон; деревья посажены как-нибудь, нелепо; а далеко в углу сторожиха стирает целый день белье для гостей — и никто не видит ее; и этим господам позволяют говорить по целым дням о правах своих, о благородстве» (I, 123, 3).

Жизнь, запечатленная здесь, не просто несправедлива — она, если можно так сказать, социально некрасива и неэстетична — вплоть до нелепо посаженных деревьев. За фасадом жизни, одновременно внушительным и нелепым,— не видимая никому сторожиха, обстирывающая гостей. И так же, как целый день она стирает, по целым дням говорят господа о благородстве.

А вот запись Блока:

«Мы тут болтаем и углубляемся в „дела“. А рядом — у глухой прачки Дуни болит голова, болят живот и почки <...> Надо, чтобы такое напоминало о месте, на котором стоишь, и надо, чтобы иногда открывались глаза на „жизнь“ в этом ее настоящем смысле; такой хлыст нам, богатым, необходим» (VII, 194).

Чувствуется разница в тоне записей. Голос Чехова звучит более решительно и сурово, лишен блоковской покаянности. Чехов не мог бы написать: «Надо, чтобы такое напоминало...» — он никогда об этом не забывал. Так же, как не мог бы он и сказать: «нам, богатым» — он всегда себя богатым противопоставлял.

Однако при всех различиях обе эти записи имеют прямое отношение к блоковским словам о способности услышать «дуновение» народной души. И там и тут — стремление сделать видимым невидимое, скрытое за фасадом, заглушенное болтовней господ: отзывчивость, сочувствие к страданиям тех, на ком все держится и кому ничего не достается.

С этой всегда тревожной и мучительной мыслью о судьбе и положении народа, о трагической нелепости социального уклада связаны раздумья о роли и назначении писателя. У Чехова они всегда одновременно высокие и печальные.

Лучше всего об этом сказал Томас Манн [3]: художник поставлен в положение учителя жизни, но он честно сознает, что не может дать ясного и полного ответа на ее «проклятые» вопросы. Он должен был бы отказаться от своей роли, но не имеет на это права.

В известном письме Чехова А. С. Суворину 25 ноября 1892 г., может быть, сильнее всего выражена горечь художника, неудовлетворенность тем, что он делает, что дает читателю. Он говорит о «вечных или просто хороших» писателях, у которых «каждая строчка пропитана, как соком, сознанием цели». Он не видит и не чувствует этого в творчестве своих современников и даже в своем собственном.

Это чувство, тревожное сознание того, что современная жизнь требует от писателя большего, чем он дает и способен дать, хорошо знакомо Блоку, который записывает о поэте: «Он, кого слушают и кому верят, бóльшую часть своей жизни не знает ничего» (ЗК, 120).

Скромность чеховской писательской самооценки слита с глубоким недоверием к широковещательным программам, догматической фракционности, идейной групповщине любого толка. Иначе говоря — к скороспелым, поверхностным, заранее заданным ответам на те вопросы, над которыми он, художник, так серьезно и, как ему кажется, безуспешно бьется.

Здесь тоже Блок близок Чехову. Отстаивая свободу творчества, он идет еще дальше, утверждает, что вообще «никакие тенденции не властны над поэтами» (V, 135). Однако жизнь вносит свои отрезвляющие поправки, и Блок оказывается в противоречиях. Он говорит в 1912 г., что искусство «не имеет ничего общего с политикой» (V, с. 475), и он же в 1919 г. заявляет: «Быть вне политики — тот же гуманизм наизнанку» (VII, 359).

Чехов настороженно относится к слову, точнее — к фразе. Мало кто из русских писателей так зорко, проницательно и насмешливо распознавал «пустотелость» слова, его внутреннюю ненагруженность, холостой ход говорения, краснобайства. «Боюсь речей»,— признается он в письме М. О. Меньшикову 4 июня 1899 г. А в одной из заметок высказывается еще более решительно: «Меня каждую минуту бьют по лицу хорошими словами» (XVII, 195) — не ругательствами, не оскорблениями, а именно хорошими словами, за которыми ничего не стоит.

Здесь тоже открывается внутреннее родство Чехова и Блока, который признавался в письме К. С. Станиславскому 9 декабря 1908 г.: «Я боюсь слов ужасно, в их восторге легко утонуть».

Всякого рода опьяненность, словесные излишества и взвинченность, любая попытка прикрыть словом дело безошибочно распознаются и отвергаются Чеховым. В этом отношении Блок не просто близок ему. Когда он говорит, что в словах «легко утонуть», он имеет в виду не кого-то другого, а самого себя, который действительно не раз «тонул» в словах — особенно в юношеских письмах, а иногда и в стихах.

Так что перекличка двух высказываний писателей о «хороших словах», о боязни слов, конечно, неполная.

Глубокое, годами выношенное и выстраданное убеждение Чехова: счастья нет и не может быть в настоящем, в современной жизни со всем ее злом, насилием и ложью.

Когда черный монах нашептывает Коврину: «Разве радость сверхъестественное чувство? Разве она не должна быть нормальным состоянием человека?», «Радуйся же и будь счастлив» («Черный монах», VIII, 248),— в его словах одновременно и завлекательность, заманчивость, и гибельная обманчивость. Нельзя просто «быть счастливым». В одной из записей Чехова читаем: «Счастье и радость жизни не в деньгах и не в любви, а в правде. Если захочешь животного счастья, то жизнь все равно не даст тебе опьянеть и быть счастливым, а то и дело будет огорошивать тебя ударами» (I, 39, 2).

Очень по-чеховски выглядит оборот: «опьянеть и быть счастливым» — это почти синонимы.

В той же записной книжке: «Как порой невыносимы люди, которые счастливы, которым все удается» (I, 128, 18); «Господи, даже в человеческом счастье есть что-то грустное!» (III, 36, 3). Последняя запись относится к рассказу «Крыжовник», где Иван Иваныч рассказывает о своем брате: «К моим мыслям о человеческом счастье всегда почему-то примешивалось что-то грустное, теперь же, при виде счастливого человека, мною овладело тяжелое чувство, близкое к отчаянию» (X, 61—62) [4].

А Блок приводит в дневнике слова З. Н. Гиппиус о нем («думал больше о правде, чем о счастьи») и добавляет: «Я искал „удовольствий", но никогда не надеялся на счастье. Оно приходило само и, приходя, как всегда, становилось сейчас же не собою. Я и теперь не жду его, бог с ним, оно — не человеческое» (VII, 123).

Однако убеждение в том, что, говоря пушкинскими словами, «на свете счастья нет, а есть покой и воля» [5],— это убеждение не безысходно. В его тихой и скромной самоотверженности, боязни самоопьянения как самообмана есть просвет. Это — надежда на будущее. Не близкое, а то будущее, когда нас уже не будет. Но есть утешение в том, что оно настанет.

В заметках, относящихся к «Трем сестрам»: «Не рассчитывайте, не надейтесь на настоящее; счастье и радость могут получаться только при мысли о счастливом будущем, о той жизни, которая будет когда-то в будущем, благодаря нам» (XVII, 215). Последние слова — «благодаря нам» — связывают человека с тем временем, когда счастье настанет, но уже без него, и это все-таки дает ему сознание, что он к этому счастью причастен.

Приведенная запись прямо в пьесу не войдет — автор использует ее для разговора Вершинина и Тузенбаха о будущем (Т у з е н б а х. Через много лет, вы говорите, жизнь на земле будет прекрасной, изумительной. Это правда. Но, чтобы участвовать в ней теперь, хотя издали, нужно приготовляться к ней, нужно работать...» — (XIII, 132).

Чехов и Блок принадлежат к разным временам, но в широком историческом плане — это одна эпоха, переходная, переломная. И знаменательно, что для обоих писателей, хотя и по-разному, будущее становится не просто далеким ориентиром, но и своего рода художественным измерением. Та же пьеса «Три сестры» трагична, почти безысходна. Но в этом «почти» — вся суть. Мечта трех сестер поехать в Москву рухнула, Тузенбах убит, Маша навсегда рассталась с любимым Вершининым и осталась с нелюбимым мужем. Но в финале три сестры, прижавшись друг к другу, словно возносясь над всем, что произошло и происходит, говорят, что страдания их перейдут в радость для тех, кто будет жить после них.

«О, милые сестры, жизнь наша еще не кончена» (XIII, 188),— восклицает Ольга, и в этих словах — открытость финала пьесы, его устремленность к тому, что будет дальше, завтра, послезавтра, через много лет.

Этого не поняла современная Чехову критика, писавшая, что в «Трех сестрах» его пессимизм достиг своего зенита. «Тоска», «гнетущее впечатление», «безысходная грусть», «беспросветное уныние» и даже «нытье»,— такими словами пестрили рецензии на пьесу и на спектакль.

Известно, что один из немногих, кто выступил против такого заунывного истолкования пьесы, был Леонид Андреев: «Тоска о жизни — вот то мощное настроение,— писал он,— которое с начала до конца проникает пьесу и слезами ее героинь поет гимн этой самой жизни».

Блок был близок к такому ощущению пьесы. Возвращаясь из-за границы в 1909 г., он записывает 21 июня: «Уютная, тихая, медленная слякоть. Но жить страшно хочется („Три сестры")» (ЗК, 152). Здесь имеются в виду слова Вершинина в III действии («Хочется жить чертовски...» — XIII, 163). Но дело не в одной цитате, а в том общем восприятии пьесы, которое дает себя знать в блоковской записи.

Несколько раньше, 12—13 апреля 1909 г., Блок пишет матери письмо из Петербурга, где проходили гастроли Художественного театра: «Вечером я

воротился совершенно потрясенный с „Трех сестер". Это — угол великого русского искусства <...> Я не досидел Метерлинка и Гамсуна, к „Ревизору" продирался все-таки сквозь полувековую толщу, а Чехова принял всего, как он есть, в пантеон своей души, и разделил его слезы, печаль и унижение» (VIII, 281).

Если бы мы не располагали никакими другими свидетельствами об отношении Блока к Чехову — одного этого высказывания было бы достаточно, чтобы ощутить закономерность темы — Чехов и Блок. Причем это высказывание не противоречит записи, приведенной выше. Два этих высказывания помогают почувствовать противоречивое единство и богатство пьесы «Три сестры».

Чеховская мечта о будущем, воплощенная в самом строе его произведений, наследуется Блоком.

«Жить можно только будущим»,— записывает он в ходе рассуждений о причинах самоубийств. И дальше говорит о тех, которые «живут, т. е. смотрят в будущее» (VII, 135).

Чехов не дожил до коренных перемен в строе, укладе жизни России. Он только думал о них. Вот одно из свидетельств этих раздумий — заметка, связанная с работой над «Рассказом неизвестного человека»: «Я думал, и мне казалось,— говорит герой, ведущий повествование,— что мы некультурные, отживающие люди, банальные в своих речах, шаблонные в намерениях, заплеснели совершенно и что пока мы в своих интеллигентных кружках роемся в старых тряпках и, по древнему русскому обычаю, грызем друг друга, вокруг нас кипит жизнь, которой мы не знаем и не замечаем. Великие события застанут нас врасплох, как спящих дев, и вы увидите, что купец Сидоров и какой-нибудь учитель уездного училища из Ельца, видящие и знающие больше, чем мы, отбросят нас на самый задний план, потому что сделают больше, чем все мы вместе взятые <...> И я думал также, что прежде чем заблестит заря новой жизни, мы обратимся в зловещих старух и первые с ненавистью отвернемся от этой зари и пустим в нее клеветой» (XVII, 195).

Конечно, так сказать, для полного порядка было бы лучше, если бы вместе со словами о новой жизни не упоминался бы купец Сидоров. Но так уж Чехов написал, и суть приведенного отрывка не в купце. Читая эти строки, ощущаешь настойчивую и тревожную мысль писателя о том, что́ будет, когда будущее настанет, когда произойдут, как говорит герой, великие события.

Чехов умирает, узнавая тревожные вести с фронтов русско-японской войны. Один год отделяет его смерть от первой русской революции.

У Блока иная судьба. Он переживает 1905 год, февральскую революцию, Октябрь и умирает, прожив первые четыре года при советском строе.

О том, как автор «Двенадцати» встретил Октябрь, можно не говорить — об этом свидетельствует сама поэма, да и писалось об этом немало. Но иногда получалось так, что Блок, мечтавший о будущем, теперь получил его и на этом успокоился. Однако в действительности, приняв Октябрь, прославив революцию в «Двенадцати», Блок не утратил своего кровного чувства будущего.

4 августа 1920 г., выступая на первом вечере Союза поэтов, он сказал: «Современная русская жизнь есть революционная стихия. Мы знаем, что наши товарищи вошли в революционную эпоху каждый — своими путями, что они дышат воздухом современности, этим разреженным воздухом, пахнущим морем и будущим; настоящим и дышать почти невозможно, можно дышать только этим будущим». И дальше он говорил о «трепете и вере в величие эпохи» (VI, 437).

Одно из последних стихотворений Блока — «Пушкинскому Дому» (11 февраля 1921 г.) — позволяет глубже, уже не в устном высказывании, а в самом строе стиха ощутить, что значит для Блока дышать будущим; позволяет еще раз почувствовать всю широту, размах блоковских требований к жизни, высоту его идеалов.

«Жить стоит только так, чтобы предъявлять безмерные требования к жизни»,— пишет Блок в статье «Интеллигенция и революция» (9 января 1918 г.). И поясняет: «все или ничего; ждать нежданного; верить не в «то, чего нет на свете», а в то, что должно быть; пусть сейчас этого нет, и долго не будет. Но жизнь отдаст нам это, ибо она — прекрасна» (VI, 14).

Безмерность требований к жизни, презрение к компромиссам, к либеральной половинчатости — тут Блок тоже во многом шел по чеховским стопам.

Чехов не разделял революционных идей. Но он, как никто, умел издеваться над господами, играющими в свободолюбие, над всякого рода попытками освободить народ путем мелких реформ, улучшить его жизнь посредством аптечек и библиотечек.

В записную книжку он заносит:

«Умный говорит: „это ложь, но так как народ жить без этой лжи не может, так как она исторически освящена, то искоренять сразу ее опасно; пусть она существует пока, лишь с некоторыми поправками". А гений: „это ложь, стало быть, это не должно существовать"» (I, 116, 2).

В этом смысле и Чехов и Блок были против либеральных «умников», они были «гениями».

Есть еще одна точка пересечения творчества двух писателей. Кровно близкий Блоку автор «Чайки» и «Трех сестер», многих других произведений, столь же нежно любимых и почитаемых, оказывается для него верным критерием в литературно-критических оценках.

В 1907 г. появляется статья Блока «О реалистах», вызвавшая, как известно, резкие отзывы его собратьев по символизму. Спор с Андреем Белым по поводу этой статьи чуть ли не дошел до дуэли. Д. Мережковский отозвался о статье глумливым фельетоном, вызвавшим убийственный отзыв Блока (см. ЗК, 104). Блока обвиняли в «заискивании» перед Горьким, перед реалистами, перед демократическими силами литературного движения.

Одним из главных ориентиров, точек отсчета при оценке современной прозы для Блока является Чехов. Блок судит его наследников строгим судом: «Они как-то мягкосердечнее и охотно растворяются в жалостливости, так что и страницы наводняют какими-то общими лирическими наблюдениями» (V, 110). У Ю. Слезкина, например,— «мелкая, мелкая, будто бы „чеховская" наблюдательность» (V, 113). Но именно будто бы. У Арцыбашева — «приемы Чехова» (V, 118). Но на поверку оказывается опять-таки «будто бы». С такою же уничтожающей иронией отзывается Блок о повестях «реалистов-бытовиков», наследников Чехова (V, 119).

И каждый раз основанием для строгой и резкой оценки оказывается сопоставление с Чеховым.

«Опасность „чеховцев" <...> заключается в том, что они подходят к жизни с приемами Чехова, но без его сил» (V, 117).

Так же последовательно судит и мерит Блок наследников Чехова Чеховым в статье «О драме», напечатанной, как и статья «О реалистах», в журнале «Золотое руно» за 1907 г. Мы ощущаем тот же подход: «Лирика преобладала особенно в драмах Чехова, но таинственный ее дар не перешел ни к кому, и бесчисленные его подражатели не дали ничего ценного» (V, 172).

Заходит речь о драматургии Горького. Блок ее недооценивает. Но говоря о ней, он бросает весьма важное замечание:

«Обойтись без „героя", как обходился Чехов, Горький не умеет, как не умеет никто из современных реалистов. Но от большинства из них Горький отличается тем, что он и не хочет обойтись без героя» (V, 173).

Здесь Блок, правда мимоходом, отмечает одну из главнейших особенностей чеховской драмы — ее «безгеройность»: в том смысле, что пьесы Чехова последнего десятилетия лишены одного единственного, главного героя, определяющего собою ход действия. И очень верно замечание о том, что открытие Чехова не получило продолжения и развития: «современные реалисты» не смогли обойтись без героя, а Горький — не захотел. Драматурги «Знания», правда,

отказались от героя и в этом смысле пошли чеховским путем. Но и «развязать ремни обуви» Чехова они не достойны (V, 176).

Общий вывод статьи: драма Чехова «не стала догматом; предшественников не имел, последователи ничего по-чеховски сделать не умеют» (V, 169).

Нам важен здесь даже не сам вывод, но подход Блока к творчеству своего старшего современника. «По-чеховски» — для него это совершенно определенное, очень весомое понятие, помогающее разбираться в современной литературе, определяющее его критические оценки и симпатии.

Эти факты и соображения по поводу них непосредственно подводят к теме «Блок и Чехов». Речь шла пока о сравнительно общих идейно-художественных предпосылках, дающих основание для сопоставительного анализа их произведений. В этом свете уже не выглядит случайной известная преемственность, связывающая отдельные темы, образы и мотивы у Чехова и Блока. Никак не претендуя на полноту, обратимся к нескольким образным мотивам, художественным особенностям, на наш взгляд, достаточно характерным и знаменательным.

Две образные темы, два поэтических измерения — взаимосвязанных и контрастно сопоставленных — дают себя знать в творчестве Чехова 90-х и 900-х годов: дом и сад.

В рассказе «Учитель словесности» (1889—1894) они сначала как будто бы равноправны. «Никитину с тех пор, как он влюбился в Манюсю, все нравилось у Шелестовых: и дом, и сад при доме...» (VIII, 313). Но вот после объяснения в любви герои побежали в сад. Следует его описание — точное и достоверное: «Сад у Шелестовых был большой, на четырех десятинах. Тут росло с два десятка старых кленов и лип...» (VIII, 322). Затем повествование словно отрывается от земли. Местом действия становится не только сад, но и все пространство от темной травы до полумесяца:

«Никитин и Манюся молча бегали по аллеям, смеялись, задавали друг другу отрывистые вопросы, на которые не отвечали, а над садом светил полумесяц, и на земле из темной травы, слабо освещенной этим полумесяцем, тянулись сонные тюльпаны и ирисы, точно прося, чтобы и с ними объяснились в любви».

Пользуясь современным языком, можно сказать, что герои на миг вырвались из земного притяжения. Нет больше дома, нет обычного здравомыслия, даже общеупотребительного языка нет — одни лишь отрывистые вопросы, которые не требуют «полных ответов», да и вообще никаких ответов не предполагают. Все растворилось в слабом свете полумесяца, и все охвачено любовью, желанием любви — люди, сонные тюльпаны, ирисы.

Но тем резче переход, когда молодые герои возвращаются в дом. Никитин начинает разговор со своим будущим тестем, который всякий раз повторяет одно и то же слово «хамство». Затем Варя, сестра Манюси, кричит: «Папа, коновал пришел!», и начавшийся разговор обрывается.

Слово «коновал» вполне мотивировано — Манюся и ее отец страстные лошадники. Но дело не только в житейской мотивировке, а и в поэтическом, вернее, антипоэтическом звучании. Раньше была верховая прогулка, и Никитину казалось, что его конь «едет по воздуху и хочет вскарабкаться на багровое небо» (VIII, 313); затем — сцена в ночном саду. И вдруг — «коновал».

Читая рассказ, мы все больше отдаляемся от полуприснившегося героям сада и как будто оказываемся в домашнем заключении. Нет смысла подробно излагать развитие сюжета этого известнейшего рассказа [6]. Напомним только, что в новом доме, который получил Никитин в приданое, он чувствует себя сначала «мягко, удобно и уютно, как никогда в жизни» (VIII, 325), затем придет страдальческое чувство удушья от уюта, от мурлыкающего белого кота, от мягкого лампадного света, который так не похож на слабый свет полумесяца в саду. Кончается рассказ никитинской записью в дневнике о «скучных, ничтожных людях, горшочках со сметаной, кувшинах с молоком, тараканах, глупых

женщинах». Последняя фраза — «Бежать отсюда, бежать сегодня же, иначе я сойду с ума!» (VIII, 332).

Дом и сад в «Учителе словесности» — два разных места, на которых развертываются совершенно разные действия. Это почти два разных мира. Отрывистые вопросы, понятные сердцу без ответов, и — «Хамство!», «Коновал пришел!».

В сущности, тот же принцип двуплановости в единой реалистической системе обнаруживается в рассказе «Ионыч» (1898). В одной из первых глав герой, влюбленный в Екатерину Ивановну, еще молодой душою, волнуясь, шепчет ей: «Ради бога, умоляю вас, не мучайте меня, пойдемте в сад!» (X, 29). И далее следует строго возвышенное, сдержанно поэтическое описание старого сада, тихого, грустного, потемневшего от ранних сумерек, с осенними листьями на аллеях. Проходит четыре года, и герои видятся вновь. Но Ионыч уже не тот, он постарел, кажется, не на четыре года, а на десятки лет. Екатерина Ивановна, которая раньше лишь дурачилась с ним и не отвечала на его признанья, теперь сильно им заинтересована. И уже не он ей, а она ему, волнуясь, говорит: «Ради бога, пойдемте в сад» (X, 38). Сад все такой же, тихий, темный, настороженно ждущий чего-то. Но ждать нечего. Сад кажется пустынным — это место действия, на котором действие уже не произойдет. Когда Ионыч и Екатерина Ивановна возвращаются в дом и он начинает прощаться, ее отец говорит, сыпя заезженными, расхожими шуточками: «Вы не имеете никакого римского права уезжать без ужина... Это с вашей стороны весьма перпендикулярно» (X, 39). После поэтического описания сада слова эти выглядят примерно как шелестовское «хамство» и «коновал». Дело тут, конечно, не в перекличке самих слов, но в сходном контрастном переходе от поэтического сада к пошлости домашнего мирка.

«Дом» оттеснил собою «сад». В финале перед нами Ионыч, уже совершенно утративший все человеческое. Он скупает дома, «и когда ему в Обществе взаимного кредита говорят про какой-нибудь дом, назначенный к торгам, то он без церемонии идет в этот дом и, проходя через все комнаты, не обращая внимания на неодетых женщин и детей, которые глядят на него с изумлением и страхом, тычет во все двери палкой и говорит:

— Это кабинет? Это спальня? А тут что?» (X, 40).

И снова можно сказать: «Ради бога, пойдемте в сад» и «без церемонии идет в этот дом» — на разных поэтических уровнях, как небо и земля.

В единоборстве этих мотивов у Чехова побеждает дом, вместилище скуки, праздности и пошлости.

В последнем рассказе Чехова — «Невеста» (1903) — соотношение двух мотивов меняется. С первых же строк мы ощущаем, как резко они сталкиваются:

«В саду было тихо, прохладно, и темные покойные тени лежали на земле. Слышно было, как где-то далеко, очень далеко, должно быть, за городом, кричали лягушки. Чувствовался май, милый май! Дышалось глубоко и хотелось думать, что не здесь, а где-то под небом, над деревьями, далеко за городом, в полях и лесах, развернулась теперь своя весенняя жизнь, таинственная, прекрасная, богатая и святая, недоступная пониманию слабого, грешного человека. И хотелось почему-то плакать» (X, 202).

И как параллельный (но глубоко контрастный) идет второй поток повествования. До героини, стоящей в саду, доносятся звуки из дома: «Из подвального этажа, где была кухня, в открытое окно слышно было, как там спешили, как стучали ножами, как хлопали дверью на блоке; пахло жареной индейкой и маринованными вишнями. И почему-то казалось, что так теперь будет всю жизнь, без перемены, без конца!».

Резче, чем в предшествующих рассказах, подчеркнуто даны два состояния души; можно даже сказать, два разных мироощущения. И они слиты с двумя поэтическими мотивами — домом и садом. Контраст доведен до предела. С одной стороны, жизнь, «таинственная, прекрасная, богатая и святая», с другой — «так теперь будет всю жизнь, без перемены, без конца!».

Сад полон перемен. Вот туман, белый и густой, подплывает к сирени, хочет закрыть ее. Но наступает день, и все преображается.

«Скоро весь сад, согретый солнцем, обласканный, ожил, и капли росы, как алмазы, засверкали на листьях; и старый, давно запущенный сад в это утро казался таким молодым, нарядным» (X, 206).

А дом — нечто застывшее раз и навсегда, не знающее изменений.

«Сегодня утром рано»,— говорит Наде Саша,— «зашел я к вам в кухню, а там четыре прислуги спят прямо на полу, кроватей нет, вместо постелей лохмотья, вонь, клопы, тараканы... То же самое, что было двадцать лет назад, никакой перемены» (X, 203).

Надин жених демонстрирует ей новый дом, в котором им предстоит жить после венчания. Здесь уже нет ни вони, ни тараканов. «В зале блестящий пол, выкрашенный под паркет, венские стулья, рояль, пюпитр для скрипки <...> На стене в золотой раме висела большая картина, написанная красками: нагая дама и около нее лиловая ваза с отбитой ручкой» (X, 210).

Но во всей этой позолоченной роскоши, претенциозной красивости — та же безысходность. Наде хочется бежать из нового дома, в котором еще никто не жил, хочется так же, как хотелось Никитину, бежать из своего дома, полученного в приданое.

Надин жених, владелец роскошного дома, мечтает и о саде, но как карикатурна эта мечта.

«Когда женимся,— продолжал он,— то пойдем вместе в деревню, дорогая моя, будем там работать! Мы купим себе небольшой клочок земли с садом, речкой, будем трудиться, наблюдать жизнь... О, как это будет хорошо!

Он снял шляпу, и волосы развевались у него от ветра, а она слушала его и думала: «Боже, домой хочу! Боже!»» (X, 211).

Наде нет места ни в старом доме с «вонью», ни в новом доме с «нагою дамой». Ее увлекают слова Саши о жизни, которая воцарится, когда «все полетит вверх дном, все изменится, точно по волшебству. И будут тогда здесь громадные, великолепнейшие дома, чудесные сады...» (X, 208).

Когда Надя спустя год после своего бегства снова возвращается ненадолго в родной город, все кажется ей старым, отжившим, а «дома маленькими, приплюснутыми». Они «точно пылью покрыты» (X, 217). Она думает о том, «когда от бабушкина дома, где все так устроено, что четыре прислуги иначе жить не могут, как только в одной комнате, в подвальном этаже, в нечистоте,— будет же время, когда от этого дома не останется и следа» (X, 219).

Перечитывая пьесы Чехова, особенно 90-х — 900-х годов, обнаруживаешь, что всех их роднит устойчивый образ дома, в котором все более неприютно и неприкаянно живут герои. Бернард Шоу тонко заметил: «Русский драматург Чехов создал четыре увлекательных драматических этюда. Дома, где разбиваются сердца» [7].

В «Трех сестрах» это выражено особенно сильно и вместе с тем — сложно. Есть в этой сложности своя обманчивость. Вот что писал В. Ермилов: «Дом, где живут сестры Прозоровы и их брат Андрей, играет центральную роль, в развитии сюжета пьесы. Ведь сюжет как раз и сводится к истории о том, как Наташа и Протопопов постепенно вытеснили, изгнали сестер из дома и воцарились в нем. Пьеса заканчивается апофеозом Наташи, ее восшествием на престол» [8].

Внешне это выглядит убедительно. Действительно, если рассматривать пьесу житейски, в плане жилищном, все так и происходит. Остается только неясным: если дело в борьбе за дом и «вытеснении» трех сестер, то как быть с их мечтой — «В Москву! В Москву! в Москву!».

Наташа действительно «теснит» трех сестер, но вот что говорит оттесняемая ею Ирина: «я одна, мне скучно, нечего делать, и ненавистна комната, в которой живу» (XIII, 176). А Маша, ожидая Вершинина в финале, скажет: «Я не пойду в дом, я не могу туда ходить...» И, глядя на небо, мечтательно произносит вослед отлетающим птицам: «Милые мои, счастливые мои...» (XIII, 178) [9].

Сюжет в «Трех сестрах» — разветвленно, многообразно несовершающееся действие, не-событие: не-отъезд трех сестер в Москву, не-выход Ирины замуж за Тузенбаха, не-профессорство Андрея, его не-уход, постоянные недоотравления жены Вершинина и т. д. А сводить сюжет к вытеснению трех сестер из дома — значит преувеличивать тот бытово-динамический сюжет, который в пьесе есть, но который растворен в общем напряженном «недействии», в том большом сюжете, который не получает событийного разрешения.

Движение сквозного образа пьесы заключается не столько в «оттеснении» трех сестер, сколько в их постепенном освобождении от дома, в их настойчивом и страстном стремлении вырваться из застойного домашнего быта, покончить с жизнью, как она есть, начать жить сначала. Это подчеркнуто, между прочим, и ремарками к первому и последнему действию.

I действие предварено таким описанием: «В доме Прозоровых. Гостиная с колоннами, за которыми виден большой зал...» (XIII, 119).

А IV действие открывается картиной: «Старый сад при доме Прозоровых. Длинная еловая аллея, в конце которой видна река. На той стороне реки — лес. Направо терраса дома...» (XIII, 172).

Дом как будто сдвинулся. В конце пьесы герои вышли из его стен.

Писавшие о «Трех сестрах» не раз подчеркивали, что начинается пьеса весной, в майский день, а кончается осенью. Но не менее важно, что действие первого акта происходит в доме, а последнего — в саду.

В сцене, когда Тузенбах уходит на дуэль, между ним и Ириной происходит такой обмен репликами:

«Т у з е н б а х. Скажи мне что-нибудь.

И р и н а. Что? Что сказать? Что?

Т у з е н б а х. Что-нибудь.

И р и н а. Полно! Полно! (*Пауза*)».

Так это всегда публиковалось, так напечатано и в 20-томном собрании сочинений и писем Чехова (XI, 1948, 296).

Но в 30-томном издании дан точный текст, с восстановлением фразы, выпавшей из-за недосмотра наборщика:

«Т у з е н б а х. Скажи мне что-нибудь.

И р и н а. Что? Что? Кругом все так таинственно, старые деревья стоят, молчат...» (XIII, 180).

Герои прощаются как будто в живом окружении природы, сада, и тогда оправданнее звучат прощальные слова Тузенбаха: «Я точно первый раз в жизни вижу эти ели, клены, березы, и все смотрит на меня с любопытством и ждет...». И еще резче, контрастнее окажутся слова Наташи несколько минут спустя: «Велю прежде всего срубить эту еловую аллею, потом вот этот клен...» (XIII, 186).

Слова Тузенбаха: «Какие красивые деревья и, в сущности, какая должна быть около них красивая жизнь!» (XIII, 181) — и фраза Наташи о клене: «По вечерам он такой страшный, некрасивый...» (XIII, 186) — это, конечно, два взгляда на жизнь, можно даже сказать, два мира.

Так что точнее говорить не о вытеснении трех сестер из дома, но шире — об оттеснении символического (и в то же время жизненно достоверного) образа дома. На первый план выходит образ сада, трагически-прекрасного, так много говорящего одним героям и столь недоступного для восприятия других.

В финале «Трех сестер», в последнем разговоре Ирины и Тузенбаха, происходящем в саду, в словах Наташи («Велю прежде всего срубить эту еловую аллею...»),— во всем этом уже заложены ростки, которым суждено разрастись «Вишневым садом».

Было время, не столь давнее, когда о содержании и смысле последней пьесы Чехова писали в одних только восторженно-оптимистических, даже бравурных тонах. На разные лады перепевались в закавыченных и раскавыченных цитатах слова Пети Трофимова: «Вся Россия наш сад» (XIII, 227) — и Ани: «Мы посадим новый сад, роскошнее этого» (XIII, 241).

Весь акцент переносился на то, как радостно приветствуют герои новую жизнь и как легко, «смеясь», расстаются они со своим прошлым. Однако на деле гораздо сложнее содержание пьесы и образ сада, давшего ей название и определившего весь ее строй. Как бы комедийно, почти фарсово ни рисовался Чехову замысел последней пьесы, смысл ее оказался гораздо более драматичным, трагически-напряженным.

Образ сада слит с мечтой о будущем России. Но вместе с тем сад принадлежит и прошедшему. Тонкая, еле уловимая граница разделяет живое и умершее в этой пьесе: она начинается с того, что Раневская принимает белое склонившееся деревце за покойную маму, идущую по саду в белом платье (XIII, 210). А кончается тем, что выходит в белой жилетке Фирс, забытый всеми, и не то замирает, не то умирает.

В прозе Чехова 90-х — 900-х годов, в рассказах «Учитель словесности», «Ионыч», «Невеста», образы дома и сада даны в сопоставлении, доходящем до контраста. В пьесах тоже чувствуется этот контраст, но в последней пьесе он уже перекрыт другим образным конфликтом: дом и сад, как они были, их «изжитость», обреченность и — мечта о жизни, которая будет совсем иной, непохожей на эту, со вновь построенными домами, заново посаженными садами.

В «Невесте» разрыв героини со старым бабушкиным домом происходит решительно и безоглядно; в «Вишневом саде» — страдальчески-мучительно.

Вот последние строки рассказа:

«Она вошла в Сашину комнату, постояла тут.

«Прощай, милый Саша!» — думала она, и впереди ей рисовалась жизнь новая, широкая, просторная, и эта жизнь, еще неясная, полная тайн, увлекала и манила ее.

Она пошла к себе наверх укладываться, а на другой день утром простилась со своими, и, живая, веселая, покинула город — как полагала, навсегда» (IX, 220).

Разрыв — полный, и в этом смысле фразу Нади Шуминой: «Прощай, милый Саша!» — интересно сравнить с возгласом Ани: «Прощай, дом! Прощай, старая жизнь!» — и Раневской: «О мой милый, мой нежный, прекрасный сад!.. Моя жизнь, моя молодость, счастье мое, прощай!..» (XIII, 253).

Надя мысленно прощается с одним только Сашей, научившим ее, как перевернуть свою жизнь. Все остальное — перечеркивается. У героев же пьесы «Прощай» обращено к дому, к саду, к прошлому, ко всей старой жизни.

Тональность финалов «Невесты» и «Вишневого сада», произведений близких друг другу по теме, расстановке образов (Надя и Саша, Аня и Петя Трофимов),— глубоко различна.

После заключительного монолога Фирса, бормочущего свои последние слова, идет одна из самых знаменитых авторских ремарок в русской драматургии:

«Слышится отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный. Наступает тишина, и только слышно, как далеко в саду топором стучат по дереву» (XIII, 254, см. с. 224, ср. с описанием «отдаленного звука», во втором действии).

В «двоезвучии» финала скрыта важная особенность построения пьесы, где все время сталкивается предметное, бытовое с чем-то, пользуясь чеховским словом, «отдаленным». В этом смысле «Вишневый сад» оттеняет своеобразие всего творчества Чехова, особенно последнего десятилетия.

«Отдаленный звук, точно с неба» и — стук топора в саду, сад Шелестовых и — «Папа, коновал пришел!» («Учитель словесности»), сад Туркиных и — пошлость домашнего быта, заезженных шуточек, занудного балагурства хозяев («Ионыч»), сад с каплями росы, засверкавшей на листьях в утреннем свете, и — претенциозно-банальные разглагольствования надиного жениха («Невеста») — все это примеры несхожие, однако они несут и некую общую печать двуплановости чеховского изображения жизни, не разрывающего реалистической системы, но как бы вносящего в нее новое напряжение.

Здесь — грань, которая одновременно сближает и разделяет Чехова и Блока. «Отдаленный звук, точно с неба» — это уже близкое к Блоку; и в то же время одно только слово «точно» все ставит на свое место. Не голос с неба, «оттуда», из дальних миров, но звук «точно с неба».

Когда мы читаем в одном из самых блоковских стихотворений «В ресторане»:

Никогда не забуду (он был, или не был,
Этот вечер): пожаром зари
Сожжено и раздвинуто бледное небо,
И на желтой заре — фонари,

(III, 25)

— нам кажется, что «раздвинувшееся» бледное небо, желтая заря и — уличные фонари соединились неразделимо. В таком контексте воспринимается и «черная роза в бокале // Золотого, как небо, аи». Не чеховское «точно с неба», но — взаимоотражение золотого напитка и горящего неба.

За двумя оборотами — «точно с неба» и «как небо» — две разные системы изображения: реалистическая, с контрастным столкновением предметного, бытового, существующего и — «отдаленного», предчувствуемого, ожидаемого; и символистская, с таинственной перекличкой мира этого и — нездешнего, фонарей и — желтой зари, золотого аи и — озаренного неба.

Скажем еще раз — это различие двух «систем» — реалистической и символистской — едва ли не более существенно для сопоставления творчества Чехова и Блока, нежели разница «родовая» — прозы и стиха.

Часто цитируются слова Блока, что стихотворение — покрывало, растянутое на остриях нескольких слов. Но прочитаем эту запись полностью: «Всякое стихотворение — покрывало, растянутое на остриях нескольких слов. Эти слова светятся, как звезды. Из-за них существует стихотворение. Тем оно темнее, чем отдаленнее эти слова от текста. В самом темном стихотворении не блещут эти отдельные слова, оно питается не ими, а темной музыкой пропитано и пресыщено. Хорошо писать и звездные и беззвездные стихи, где только могут вспыхнуть звезды или можно их самому зажечь» (ЗК, 84).

Суть не в том, что некоторые слова стихотворения выделены, что они, как острия, на них растягивается поэтическое «покрывало». А в том, что они, эти слова, «светятся, как звезды», в том, что они оказываются как бы в двойном подчинении: они и под покрывалом и — одновременно — на небосводе.

В том же 1906 г., к которому относится запись о стихотворении-покрывале, Блок заносит в записную книжку: «О том, как мы сажали розы, лилии, ирисы; делали дренажи, возили землю, стригли газон. Утомившись, ложились на спину в траву. Небо было глубокое, синее, и вдруг вздувалось на нем белое облако. И я сказал: что́ нам сажать розы на земле, не лучше ли на небе. Но было одно затруднение: земля низко, а небо — высоко. И пришлось учиться магии — небесное садоводство» (ЗК, 75).

Обращает на себя внимание, с одной стороны, будничная, деловитая конкретность записи (дренаж, стрижка газона). С другой — совершенно полярная черта: устремленность к небу. От столкновения этих двух противоположностей рождается на редкость своеобразная, странная интонация повествования. Кажется, поэт уже совсем готов сажать розы на небе, но вот одно только затруднение: земля низко, а небо — высоко. Словно речь идет о какой-то внешней помехе, препятствии, которое можно устранить. И поэт верит: можно — нужно только учиться магии.

«Небесное садоводство» — при всей неожиданности и даже, казалось бы, бессмысленности этого выражения — рождается с той же неизбежностью, поэтической обусловленностью, как и «звездные стихи», и «черная роза в бокале // Золотого, как небо, аи».

У Чехова столкновение образов дома и сада, поэтическая двуплановость не разрывают реалистической системы. Это не приводит к двум разным мирам — они остаются сопряженными, ибо не отлетают от той земной основы, на которой зиждется вся система изображения.

Образы дома и сада у Чехова символичны, они значат больше, чем непосредственно обозначают, полны недосказанности.

Обращаясь к Блоку, мы вступаем на совсем иную почву. Поэт писал: «Если есть несказа́нное,— я согласен на многое, на все. Если нет, прервется, обманется, забудется,— нет, я «не согласен», «почтительнейше возвращаю билет»» (VII, 176).

Художественная атмосфера у Чехова исполнена многоговорящей недосказанности; у Блока — несказа́нности.

За недосказанным — скрытый подтекст, нечто недоговоренное. За несказа́нным — вообще невыразимое, то, что нельзя «договорить». Перед нами принципиально разные явления.

Обо всем этом надо помнить, сопоставляя образы дома и сада у Чехова и Блока. Различие тут настолько велико, что сравниваемое кажется почти несравнимым.

Блок наследует то «изживание» дома, которое дает себя знать в творчестве Чехова последнего десятилетия [10]. Он начинает с того, к чему приходят герои «Учителя словесности» и «Невесты», последних пьес [11].

Один из самых важных мотивов лирики Блока — уход из дома. И даже не просто уход, а разрыв с самим этим «началом», с ненавистными путами жизни в заключении, в безнадежной запертости.

Покидай же тлетворный чертог,
Улетай в бесконечную высь. . .
(1899, I, 25)

Ты ли меня на закатах ждала?
Терем зажгла? Ворота отперла?
(1903, I, 74)

Открыли дверь мою метели,
Застыла горница моя. . .
(1907, II, 216)

Милый друг, и в этом тихом доме
Лихорадка бьет меня.
Не найти мне места в тихом доме
Возле мирного огня!
(1913, III, 286)

Даже на примере этих нескольких цитат видно, как туманятся очертания покидаемого дома — «чертога», «терема», застывшей «горницы» и т. д. У Чехова действительно можно было говорить о некоем образе дома, образе сада. Здесь же — не образ, но предельно условный символ. Определение «чертог», «терем» утрачивает свою значащую терминологичность, оно, если так можно сказать, обозначает необозначаемое.

Еще один поворот в развитии образа-символа дома: дом — могила.

В «Гимне»:

Все испуганно пьяной толпой
Покидают могилы домов. . .
(1904, II, 151)

Я в четырех стенах — убитый
Земной заботой и нуждой.
А в небе — золотом расшитый
Наряд бледнеет голубой.
(1906, II, 197)

Последнее четверостишие особенно знаменательно: я, поэт, в четырех стенах, а в небе... Строфа словно раскалывается на две половины, за каждой из них — свой мир. Дом — преграда на пути поэта к небу, к жизни без стен. Союз «А» в начале третьей строки звучит с подчеркнутой выразительностью: не «но в небе» с прямым противительным смыслом; не «И в небе» — соединительный союз здесь был бы вовсе неуместен. Казалось бы, нейтральное «А в небе...» с огромной силой выражает несводимость убитого в четырех стенах поэта и — голубого, расшитого золотом небесного наряда.

От дома для поэта нет никаких «переходов» к небу, к большому миру, к свободе духа. Есть только один выход — уход, решительный и безоглядный.

И здесь Блок не одинок в русской поэзии начала XX в. Его слова: «Современный художник — бродяга, ушедший из дома тех, кто казался своими, еще не приставший к истинно своим...» (V, 10) — могли бы стать эпиграфом ко многим стихотворениям младших современников поэта.

Владимир Маяковский начинается там, где обрывался путь Блока: он не выбегает на улицу — кажется, там и родилась его поэзия. Вот названия первых стихотворений: «Порт», «Уличное», «Из улицы в улицу», «Вывескам», «По мостовой...», «Шумики, шумы и шумище», «Адище города». Позднее в «Про это» он воскликнет:

Исчезни, дом,
родимое место!
(IV, 159) [12]

Для Блока улица — пугающе странный мир. Маяковский появляется здесь как свой поэт, уличный, почти «площадной».

По-иному раскрывается та же сквозная тема века у Есенина. В отличие от Маяковского он не мыслит жизни вне дома — «золотой бревенчатой избы», и все-таки:

Я покинул родимый дом
Голубую оставил Русь. . .[13]

Родной дом оставлен, но он не забыт, боль воспоминаний не изжита. Поэт ушел из дома, но дом не уходит из его стихов.

Книга Марины Цветаевой «Версты» начинается словами:

Мировое началось во мгле кочевье. . .[14]

Блоковская тема «художника-бродяги», покидающего дом, получает в ее творчестве обостренно-трагическое преломление. Цветаевские «версты» — это дороги и бездорожье, пути и распутья, и все это промерено не колесами, а собственными ногами. Нет другого поэта, у которого так развито было чувство бездомности, неуместности, «невписанности в окоем», как у Цветаевой.

Еще в юности она напишет:

Будет скоро тот мир погублен.
Погляди на него тайком —
Пока тополь еще не срублен
И не продан еще наш дом.

Когда думаешь о творчестве самой Цветаевой и многих ее современников, стихи эти кажутся пророческими.

Тема «мирового кочевья», начатая Блоком, по-разному продолженная Маяковским, Есениным, Цветаевой, многими другими поэтами,— одна из самых глубинных в русской лирике начала XX в., времени социальных потрясений, революций и войн [15].

Эта тема принадлежит не только литературе. Уход Льва Толстого — знамение времени. Именно так он был воспринят многими современниками писателя.

Вот что писала мать Блока А. А. Кублицкая-Пиоттух М. П. Ивановой 17 ноября 1910 г.: «Разве нельзя, горячо любя своих, семью, жену, детей, друзей, в то же время всеми силами души стремиться вон из дома, от условностей домашнего, от точек зрения, от мировоззрения близких, хотя бы и горячо любимых, к подвигу, к духовной свободе, к тому, что всю жизнь горело в сердце?»

И еще по поводу выступления в «Новом времени» В. В. Розанова, осуждавшего уход писателя: «И вот, в минуту важнейшего момента человеческой жизни, когда другой, гениальнейший, стоящий еще выше и виднее, совершает подвиг (уход из горячо любимой семьи в 82 года), тот, другой, Розанов в распространеннейшей газете, которую жадно читают тысячи, кричит: зачем ушел? Лучше у печки сиди!» [16].

Параллельно с «образом» дома развивается в поэзии Блока столь же условный, символичный «образ» сада.

Дом и сад — темы смежные, сопредельные. Они связаны уже просто тем, что дом окружен садом — факт, так сказать, не научный, а житейски-реальный. И в то же время понятия эти глубоко различны. Дом — дело рук человека, в доме он живет. А сад — творение человека, созданное «в соавторстве» с природой. Это уже другой мир. В саду нет быта, если не считать вынесенного для чаепития столика. В саду человек не «бытует» в том смысле, в каком он повседневно и повсенощно пребывает в доме [17].

Вот почему, например, фраза из чеховского «Ионыча»: «Ради бога, пойдемте в сад» — звучит неоднозначно, есть в ней скрытый поэтический подтекст. Достаточно представить себе, что героиня сказала бы Ионычу: «Ради бога, пойдемте в дом», чтобы сразу же почувствовать, насколько изменился бы смысл фразы. Звучание этих слов тем более выразительно, что героиня, как мы видели, повторяет слова самого Ионыча. Они меняются ролями.

У Блока дом запирает человека наглухо, мешает его выходу к иному миру, к небесам. Совсем другое дело — сад.

Я буду факел мой блюсти
У входа в душный сад.
Ты будешь цвет и лист плести
Высоко вдоль оград.

Цветок — звезда в слезах росы
Сбежит ко мне с высот.
Я буду страж его красы —
Безмолвный звездочет.

Но в страстный час стена низка,
Запретный цвет любим.
По следу первого цветка
Откроешь путь другим.

Ручей цветистый потечет —
И нет числа звездам.
И я забуду строгий счет
Влекущимся цветам.

(1902, I, 246)

Стихотворение это — живой пример блоковского «небесного садоводства». Хотя оно и начинается романтически приподнято («Факел мой блюсти»), все-таки повествование пока не выходит за границы реальности, жизненного правдоподобия. Но уже со второй строфы все метафорически осложняется. Одна только фраза: «Цветок — звезда в слезах росы» — представляет собою сгусток метафор. Недаром в авторском экземпляре «Собрания стихотворений» (1911) против этого стихотворения — помета: «Метафора на метафоре» (I, 615).

Цветок — небесный, он — звезда, но эта звезда в росинках, в слезах росы. И этот многосложный метафорически «цветок» не растет — он сбегает с высот, открывая путь другим звездным цветам.

Если теперь, прочитав это стихотворение, мысленно сопоставить его с блоковскими стихами о доме, «чертоге», «тереме», «темнице», «горнице», явственно проступит разница между первым и другим поэтическими мирами. В отличие от Чехова у Блока действительно двоемирие дома и сада, их разорванность, контрастная противоставленность друг другу.

В стихотворении об умершей девушке «Она веселой невестой была» в старом доме остается одна только старая мать; старуха уже забыла «счет годин»; в доме нет ничего живого, разве что мухи да мыши.

И глубже, и глубже покоев ряд,
И в окна смотрит всё тот же сад,

Зеленый, как мир; высокий, как ночь;
Нежный, как отошедшая дочь. . .

(1905, II, 64)

После описания дома с его безжизненной затхлостью, запертостью, глухой запущенностью — сад с его безмерностью, он сопоставлен с «ночью» и «миром».

Стихотворение «Иванова ночь» тоже начинается как будто вполне обычно, в духе романса: «Мы выйдем в сад с тобою, скромной». Но с каждой новой строфой повествование преодолевает эту романсовую традиционность. Заканчивается стихотворение так:

Но если ночь, встряхнув ветвями,
Захочет в небе изнемочь,
Я загляну в тебя глазами
Туманными, как эта ночь.

И будет миг, когда ты снидешь
Еще в иные небеса,
И в новых небесах увидишь
Лишь две звезды — мои глаза.
Миг! В этом небе глаз упорных
Ты вся отражена — смотри!
И под навес ветвей узорных
Проникло таинство зари.

(1906, II, 96—97)

Снова сад оказывается местом свидания человека и неба. В глазах отражаются небеса, подобно тому как раньше сближались звезды и цветы.

Тысячи раз в поэзии изображалось небо, столько же раз описывались глаза, но «небо глаз» — истинно блоковский образ, хотя, конечно, сравнение глаз и звезд имеет самую богатую поэтическую предысторию.

На память приходят слова Блока: «Ложь, что мысли повторяются. Каждая мысль нова, потому что ее окружает и оформливает новое. «Чтоб он, воскреснув, встать не мог» (моя), «Чтоб встать он из гроба не мог» (Лермонтов,— сейчас вспомнил) — совершенно разные мысли. Общее в них — «содержание», что только доказывает лишний раз, что бесформенное содержание само по себе не существует, не имеет веса. Бог есть форма, дышит только исполненное сокровенной формой» (ЗК, 378).

Вот почему «твои глаза — как небо» у какого-нибудь восточного поэта, «глаза-небеса» у Маяковского (VIII, 294) и блоковское «В этом небе глаз упорных» — все это совершенно разные глаза, поэтически, как он сам пишет, «совершенно разные мысли».

Чехов и Блок завершают развитие образа сада произведением, где этот образ, развернутый, разветвленный, оказывается основой всего художественного создания. У Чехова это «Вишневый сад» (1903), у Блока — «Соловьиный сад» (1915).

Читая «Соловьиный сад», мы вступаем в безлюдный, бездомный мир. Синее море и — сад. Не жизненное пространство, а какое-то маложизненное. Никакого жилья, только «хижина тесная», в которой ютится герой, «бедняк обездоленный» (III, 241). В черновом автографе это даже не хижина, а «шалаш» (III, 582). В конце поэмы исчезает и это жалкое жилище:

Где же дом? — И скользящей ногою
Спотыкаюсь о брошенный лом. . .

(III, 244)

Герой бежал из своей хижины в соловьиный сад, потом оставлял сад и в итоге оставался один, наедине с пустынным морем. В финале поэмы он — воплощенная бездомность и неприкаянность.

Позади остался сад с его красотой, поэзией, любовью, с его «призывным кружеиьем и пеньем» (III, 241). А впереди — ничего.

А с тропинки, протоптанной мною,
Там, где хижина прежде была,
Стал спускаться рабочий с киркою,
Погоняя чужого осла.

(III, 245)

Нет больше ни работы, ни дома, ни пристанища. Нет места герою в той жизни, к которой он возвратился, бежав из соловьиного сада.

Писавшие о Блоке нередко изображали разрыв героя с садом односторонне: это, мол, бегство из душного плена, порыв к бескрайнему морю жизни и т. д. Особенно пышно расцветало подобное «тамбур-мажор-блоковедение» в 40-е и 50-е годы.

Однако соловьиный сад в поэме — не просто дьявольский соблазн, наваждение, от которого герой благополучно исцеляется.

И в призывном круженьи и пеньи
Я забытое что-то ловлю,
И любить начинаю томленье,
Недоступность ограды люблю.

(III, 241)

Достаточно произнести эти строки вслух, чтобы почувствовать тончайшую звукопись, разлитость слова «люблю», повторенного в рифме, в аллитерациях; соловьиный сад не просто «плен», в котором оказывается герой,— он в полном смысле слова пленителен, забирает всю душу влюбленного героя.

В первоначальном варианте приход героя к дверям сада изображался так:

Не стучал я, мне так отворили
Двери — белые руки твои,
Обвились благовония лилий,
Оглушили меня соловьи.

(III, 583)

В окончательном тексте:

Правду сердце мое говорило,
И ограда была не страшна,
Не стучал я — сама отворила
Неприступные двери она.

Вдоль прохладной дороги, меж лилий,
Однозвучно запели ручьи,
Сладкой песнью меня оглушили,
Взяли душу мою соловьи.

(III, 242)

Тем больше подвиг героя, его самоотверженность, жертвенность, что душа была отдана соловьиному саду. И уходя, он словно отрывает себя с кровью.

Образ сада контрастно соотнесен в поэме с образом моря, с которым связаны представления о тяжком труде, нужде, заботах и страданиях. Если сад поэтически «оркестрован», овеян прекрасной звукописью, то строки о море звучат совсем по-иному:

Закарабкался краб всколыхнутый
И присел на песчаной мели.

(III, 245)

Напряженность поэмы, определяемая контрастным двоемирием (сад и море), усиливается еще одной особенностью. Повествование строится так, что рассказ о саде и море идет не раздельно, но каждый раз входит в одну и ту же

строфу. Отсюда повышенное напряжение, поэтическое «давление» в строфе, состоящей из двух полярных двустиший.

И кричит, и трубит он,— отрадно,
Что идет налегке хоть назад.
А у самой дороги — прохладный
И тенистый раскинулся сад...

Крик осла моего раздается
Каждый раз у садовых ворот,
А в саду кто-то тихо смеется,
И потом — отойдет и поет.

(III, 240)

Вспомним еще раз четверостишие Блока:

Я в четырех стенах — убитый
Земной заботой и нуждой,
А в небе — золотом расшитый
Наряд бледнеет голубой.

(II, 197)

Мы видели, как внешне нейтральный союз «А» подчеркивал разительность перехода от комнаты-могилы к небосводу. Так и здесь. Верный строгой, сдержанной манере, поэт совмещает в одной строфе две сквозные полярные темы повествования, и это резко повышает выразительность стиха.

Особенно наглядно видно это в строфах, где герой в саду прислушивается к шуму моря.

Ка́к под утренним сумраком чарым
Лик, прозрачный от страсти, красив!..
По далеким и мерным ударам
Я узнал, что подходит прилив.

(III, 244)

Здесь даже никакого союза нет между двумя фразами. Кажется, словам в каждой половине строфы так тесно, что для союза «и» места не остается. Переход от одной фразы к другой, от одного сквозного образа к другому тем более крут и резок, что он никак не отмечен, не подготовлен никакими словами вроде «а», «но» и т. п.

Дальше следуют строфы, из которых каждая представляет собой своего рода *противоборство* двух частей:

Я окно распахнул голубое,
И почудилось, будто возник
За далеким рычаньем прибоя
Призывающий жалобный крик.

Крик осла был протяжен и долог,
Проникал в мою душу, как стон,
И тихонько задернул я полог,
Чтоб продлить очарованный сон.

Контраст подчеркнут рифмами: «голубое — прибоя», «стон — сон».

Герой действительно бежит из сада. Неизбежность бегства выражена в строфе, в которой контрастность двух частей доведена до предела:

Пусть укрыла от дольнего горя
Утонувшая в розах стена, —
Заглушить рокотание моря
Соловьиная песнь не вольна!

(III, 243)

В одном из набросков к поэме сказано было еще более ясно:

Потому что от жизни и горя
Не спасет никакая стена.

(III, 582)

Блок отказался от этого варианта — может быть, из-за того что стихи звучали здесь с неуместной публицистичностью и назидательностью.

В финале герой побеждает себя самого, свою любовь, томление, свою тягу к соловьиному саду, к его хозяйке. Но меньше всего герой похож на победителя. Он ступает на «берег пустынный», где остался его «дом и осел». Всё как во сне —

Или я заблудился в тумане?
Или кто-нибудь шутит со мной?

(III, 244)

Герой бредет, оставив «душу» в соловьином саду.

Черновые автографы поэмы показывают, что первоначально все повествование шло в третьем лице. На это обратил внимание Вл. Орлов, подготовивший текст и примечания III тома Собрания сочинений в 8 томах (см. III, 580).

Первая строка поэмы звучала так:

Он ломает графитные скалы. . .

В окончательном тексте:

Я ломаю слоистые скалы. . .[18]

Сопоставление этих двух вариантов наглядно показывает, как рождалась музыка стиха Блока. В окончательном тексте слова как будто сливаются в одно, так тесно они сближены по звучанию.

Вл. Орлов указывает на зачеркнутую помету Блока к первым четырем строфам первой главки: «Сделать бы из этого „рассказ в стихах“» (III, 580). «Он ломает графитные скалы» — начало рассказа в стихах, повествование о герое, увиденном объективно. «Я ломаю слоистые скалы» — рассказ героя о себе. Уже в этой первой строке заключено глубочайшее противоречие: речь идет о самом тяжелом труде — человек выламывает железным ломом куски мрамора на дне моря. И вместе с тем звучит в первой фразе такая музыка, что произнести ее мог только поэт. Это противоречие пройдет сквозь всю поэму. С одной стороны — «осел мой усталый», «бедняк обездоленный», «хижина тесная», «тяжкий, ржавый» лом. С другой — музыка стиха такая, что даже у Блока, редкого мастера звукописи, кажется чудом.

Отсюда совершенно неповторимая интонация:

Размахнувшись движеньем знакомым
(Или всё еще это во сне?),
Я ударил заржавленным ломом
По слоистому камню на дне. . .

(III, 244)

Вторая строчка — почти цитата из «Незнакомки» («Иль это только снится мне?» — II, 186). Остальные строчки — рассказ о самой грубой работе. Однако «Или всё еще это во сне?» и «ударил заржавленным ломом» — столь разные, как будто несогласуемые строки в действительности связываются воедино.

Нам открывается внутренняя конфликтность, драматическая напряженность поэмы. Это не воспевание соловьиного сада. И не прославление ухода из сада. С такими односторонними определениями к поэме не подойдешь.

И конец «Соловьиного сада», как мы видели, никак не назовешь «апофеозой».

«Вишневый сад» и «Соловьиный сад»... Думал ли Блок о перекличке этих названий, озаглавливая свою поэму? Неизвестно. Однако перекличка объективная есть. Оба писателя прощались с миром красоты и поэзии, как будто отрывая его от сердца; и обращали лицо к жизни —

Потому что от жизни и горя
Не спасет никакая стена.

Но сходство еще резче оттеняет различие. Образ сада у Чехова — это мечта о жизни и сама жизнь. Воспоминания о прошлом и — мечта о прекрасном будущем. Это — «О мой милый, мой нежный, прекрасный сад!.. Моя жизнь, моя молодость, счастье мое, прощай!..» (Раневская, XIII, 253). И это: «Подумайте, Аня: ваш дед, прадед и все ваши предки были крепостники, владевшие живыми душами, и неужели с каждой вишни в саду, с каждого листка, с каждого ствола не глядят на вас человеческие существа, неужели вы не слышите голосов... Владеть живыми душами — ведь это переродило всех вас...» (Трофимов, XIII, 227).

Соловьиный сад у Блока — часть двоемирия, соотнесенная в разительном контрасте с морем жизни. Он противостоит жизни и отстоит от нее. Расположенный «у самой дороги», он, кажется, на тысячи верст отдален от жизненных дорог:

Не доносятся жизни проклятья
В этот сад, обнесенный стеной. . .
(III, 241)

В примечаниях к «Соловьиному саду» в восьмитомном собрании сочинений сказано: «В пейзаже поэмы отразились воспоминания Блока о местечке Гетари в Южной Франции (на Бискайском побережье Атлантического океана), где он жил с женой летом 1913 г.» (III, 585). Однако в образе сада есть и другой аспект — шахматовский. И расставание с садом, царством роз и лилий, «круженья и пенья»,— все это суждено было испытать Блоку не в поэтическом воображении только, а и в самой жизни.

Когда пишут о разграблении Шахматова и о том, как отнесся к этому Блок, обычно приводят свидетельство К. И. Чуковского: поэт отнесся безразлично, как к должному. И действительно, Блок увидел в разгроме родного гнезда историческое возмездие. В статье «Интеллигенция и революция» (9 января 1918 г.): «Почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах? — Потому что там насиловали и пороли девок: не у того барина, так у соседа. Почему валят столетние парки? — Потому что сто лет под их развесистыми липами и кленами господа показывали свою власть: тыкали в нос нищему — мошной, а дураку — образованностью. Всё — так» (VI, 15).

Все — так, однако это еще не все. Было понимание того, что невозможно иначе, все исторически закономерно, предопределено. И была еще боль, тоска, страдание, плач по ночам о родном Шахматове.

Вот что записал Блок в дневнике 6 января 1919 г., спустя год, без трех дней, после того, как была написана статья «Интеллигенция и революция»: «Несчастный Федот ⟨крестьянин, участвовавший в разграблении Шахматова⟩ изгадил, опоганил мои духовные ценности, о которых я *демонически* же плачу по ночам» (VII, 353). И тут же, как сказал бы Маяковский, наступая на горло собственной песне, Блок пишет о своей исторической вине перед миллионами «Федотов» — *«не смею я судить»*.

Еще два года спустя, 3 января 1921 г., запись в дневнике — о маленьком пакете, спасенном из шахматовского дома: «листки Любиных тетрадей (очень многочисленные). *Ни следа* ее дневника. Листки из записных книжек, куски погибших рукописей моих, куски отцовского архива, повестки, университетские конспекты (юридические и филологические), кое-какие черновики стихов, картинки, бывшие на стене во флигеле.

На некоторых — грязь и следы человечьих копыт (с подковами). И все» (VII, 389).

А вот отрывки из заметок в «Записных книжках» Блока:

30 августа 1918 г.— «Дневники Любы, где все наше, пропали в Шахматове» (ЗК, 424).

22 сентября 1918 г.— «Тоска. Какие-то всеобщие военные обучения, занятия квартир, сбор теплых вещей . . . а ужас старого мира налезает.— Снилось Шахматово-а-а-а...» (ЗК, 428).

12 декабря 1918 г.— «Отчего я сегодня ночью так обливался слезами в снах о Шахматове?» (ЗК, 439).

Меньше чем через месяц после этой записи будет написана статья «Интеллигенция и революция» со словами, которые приводились выше,— не о слепой ярости и мести народа, но о возмездии.

Действительно, разрыв с прекрасным садом Блок пережил дважды — сначала поэтически, в рассказе о бегстве героя из соловьиного сада, затем — в жизни, оплакивая судьбу родного гнезда и утешая себя, что это исторически оправданно.

В поэме рисовалась странная местность с прекрасным садом и «пустынным» морем. История как будто сама дописала сюжет поэмы. Взбунтовавшееся море затопило соловьиный сад, опрокинуло все ограды и стены, увитые розами.

Так что драматизм блоковской поэмы не только в ней самой, но и в том, как она прочитывается в контексте всей последующей биографии Блока, поэта, который «пострадал» в первые дни Октября и тем не менее благословил революционный переворот. Говоря его же словами — стал больше себя.

Сад для Блока — родное с самого детства. В статье «О реалистах» (1907): «Мы, всосавшие „культуру" с молоком матери, носим эти бремена, боимся, сомневаемся, мучаемся» (V, 102). И одним из таких «бремен» был сад, усадьба, Шахматово. Неслучайно в автобиографии как одно из первых поэтических впечатлений приводится:

Снится мне: я свеж и молод
Я влюблен. Мечты кипят.
От зари роскошный холод
Проникает в сад.

(VII, 13)

Сад — один из самых устойчивых образов в поэтическом словоупотреблении Блока. Например: «Творчество *больших* художников есть всегда прекрасный сад и с цветами и с репейником, а не красивый парк с утрамбованными дорожками» (VII, 365). Это записано 1 апреля 1919 г., когда известие о разгроме Шахматова уже было получено.

Интересно, что в статье «О реалистах» после слов: «Мы, всосавшие «культуру» с молоком матери...» — идет: «И откуда было набраться *такого* страха нашим трем большим писателям — Чехову, Горькому и Андрееву? У них *свой* страх, их грузные корабли на свои мели садятся, и тоска и одиночество у них свои» (V, 102).

Действительно, Блок пишет в автобиографии о своем детстве: «„Жизненных опытов" не было долго. Смутно помню я большие петербургские квартиры с массой людей, с няней, игрушками и елками — и благоуханную глушь нашей маленькой усадьбы» (VII, 13).

У Чехова — все наоборот. И жесточайшие «жизненные опыты» с самых малых лет, вместо «больших петербургских квартир» — маленький саманный домишко, в котором он родился, никаких нянь — где уж там «благоуханная глушь» усадьбы!

Это если говорить о детстве. А затем, спустя годы, Мелихово, сад, посаженный своими руками, усилиями всех домочадцев; и еще позднее ялтинский сад, тоже не доставшийся в наследство от отцов и дедов, но рукотворный, разбитый на диком пустыре, продуваемом ветрами, засыпаемом дорожной пылью.

Сад у Чехова и Блока — разные сады. Они по-разному звучат для писателей, по-разному ими воспринимаются. У Блока, получившего сад как родовое имение, сильнее выражено чувство неправедности жизни в «соловьином саду», неизбежности расставания; ощущение, что никакая стена не укроет «от дольнего горя». У Чехова тихо и настойчиво звучит мысль о том, как поэтичен сад и как прозаична жизнь рядом — жизнь людей, живущих не по-людски. «Ка-

кие красивые деревья и, в сущности, какая должна быть около них красивая жизнь!» (Тузенбах, XIII, 181).

Если мысленно сопоставить все сказанное о мотивах дома и сада у обоих писателей, можно теперь сделать вывод: у Чехова — двуплановость этих образных мотивов в прозе («Учитель словесности», «Ионыч», «Невеста») и в драме («Три сестры»). У Блока — подготовленное этой чеховской двуплановостью двоемирие, при котором два мира как бы расколоты, резко и непримиримо противопоставлены друг другу.

В «Вишневом саде» граница конфликта происходит не между домом и садом, но как бы внутри самого образа сада. В этом смысле блоковский образ соловьиного сада весьма заметно отличается от чеховского — он далеко отстоит от «моря» жизни. Он в совершенно ином поэтическом измерении. И сопряженность двух несоединимых миров придает поэме «Соловьиный сад» необычайный драматизм.

Сходное соотношение — чеховская двуплановость и последовательно проведенное двоемирие у Блока — дает себя знать, когда мы обращаемся к сатире Чехова и некоторым произведениям Блока.

Особый интерес представляет одноактная пьеса «Свадьба», написанная Чеховым в 1889 г. Конец 80-х годов — напряженнейшая пора в его творческом развитии. Впервые в жизни он пишет одну за другой две значительные пьесы: «Иванов» (1887—1889) и «Леший» (1889—1890). Так же, один за другим, следуют водевили: «Лебединая песнь» («Калхас», 1887), «Медведь» (1888), «Предложение» (1888), «Трагик поневоле» (1889).

«Свадьба» представляет собою переделку юмористических рассказов 1884 г.— «Брак по расчету» и «Свадьба с генералом». Можно сказать, что в чеховской одноактной пьесе перекрещиваются две линии: одна — водевильно-юмористическая, вторая — «серьезная», связанная с большой драматургией Чехова. Перед нами особый жанр: названная автором сценой в одном действии «Свадьба» не простой водевиль и не обычная пьеса, но — пьеса-водевиль.

Действие здесь строится на иронических «перебоях»: поэзия, или, вернее, нечто претендующее на поэтичность, перебивается грубой и пошлой прозой.

В начале жених Апломбов требует у тещи два выигрышных билета, обещанных вместе с приданым. «Я вашу дочь осчастливил»,— патетически восклицает он и тут же добавляет: «И если вы мне не отдадите сегодня билетов, то я вашу дочь с кашей съем. Я человек благородный!» (XII, 109—110).

«Я вашу дочь осчастливил» и — «я вашу дочь с кашей съем» — такое сочетание, комическое противопоставление определяют весь разговор участников семейного торжества.

Сугубо поэтичная, требующая «атмосферы!» Змеюкина кажется воплощением благородных порывов. Правда, по профессии она акушерка. Но она довольно мило поет. Влюбленный в нее телеграфист Ять умоляет ее спеть, ну хотя бы издать одну только ноту. И замечает: «С таким голосом, извините за выражение, не акушерством заниматься, а концерты петь в публичных собраниях! Например, как божественно выходит у вас вот эта фиоритура...» (XII, 111). «Божественно», «фиоритура» и — «извините за выражение», акушерство.

«З м е ю к и н а. Махайте на меня, махайте, а то я чувствую, у меня сейчас будет разрыв сердца. Скажите, пожалуйста, отчего мне так душно?»

Кажется, ясно, отчего — оттого, что ее мятущаяся душа жаждет атмосферы. Но простодушный Ять отвечает: «Это оттого, что вы вспотели-с».

Она шокирована его вульгарностью и с новой силой требует «поэзии, восторгов! Махайте, махайте...» (вместо — «Машите». Персонажи «Свадьбы» говорят очень красиво, но не очень грамотно).

Разыгрывается ссора между женихом Апломбовым (зовут его не как-нибудь, а Эпаминонд, правда, Максимович) и телеграфистом Ятем. Апломбов ведет себя так, как и приличествует человеку с таким именем и с такой фамилией.

Он горделиво бросает в лицо своему сопернику (Ять раньше ухаживал за его невестой) такие красивые слова: «Желаю, чтобы и вы были таким же честным человеком, как я! Одним словом, позвольте вам выйти вон!».

Следует ремарка: «Музыка играет туш» (XIII, 114).

Что же отвечает Ять Апломбову под музыку, играющую туш? «Извольте, я уйду... Только вы отдайте мне сначала пять рублей, что вы брали у меня в прошлом году на жилетку пике, извините за выражение. Выпью вот еще и... и уйду, только вы сначала долг отдайте».

Таков этот скандал в благородном семействе, который начинается громовыми словесами Апломбова и кончается смиренно-прозаическим ответом «человека-буквы» Ятя насчет того, чтобы получить пятирублевый долг и выпить перед тем, как «выйти вон».

Основной принцип драматургического повествования в «Свадьбе» — ироническая двуплановость, настойчиво повторяющиеся переходы, перебои: «я вашу дочь осчастливил» и — «я вашу дочь с кашей съем»; «божественно» и — «акушерство»; «отчего мне так душно?» и — «оттого, что вы вспотели-с»; «позвольте вам выйти вон!» и — «Выпью вот еще и... и уйду, только вы сначала долг отдайте».

Можно было бы сказать, что в «Свадьбе» идет спор поэзии и прозы. Но, конечно же, это не так. Змеюкина и Апломбов — не поэзия. Это обыватели, претендующие на поэзию и на благородство. Перебои «поэзии» и прозы помогают автору показать: обыватель пошл не только в своей пошлости, но и в своих претенциозных потугах выйти за пределы пошлости, стать, как Змеюкина, страстной, «знойной», неземной женщиной, жаждущей поэзии, бурь, восторгов, или, как Апломбов, торжественно благородным, красиво порядочным человеком.

Чеховская «Свадьба» оставила глубокий след в русской литературе XX в. Ее отзвуки слышатся у Маяковского в «Клопе», в свадебных рассказах Зощенко. И — в пьесе Блока «Незнакомка» (1906).

С первых же строк, даже с перечисления действующих, лиц мы попадаем в таинственно-условный мир. Персонажи тут безымянны: «Незнакомка», «Голубой», «Звездочет», «Поэт». Из них одна «Незнакомка», женщина-звезда избирает себе имя:

> Мне нравится имя *«Мария»*. . .
> *«Мария»* — зови меня.
> (IV, 89)

Первое действие или, как называет его автор, «видение» происходит в уличном кабачке. И разговор собутыльников заставляет вспомнить реплики персонажей чеховской «Свадьбы». Осоловевший от пива семинарист старается говорить как можно красивей и поэтичней: «Скажу я вам, вы нежных чувств не понимаете. А впрочем, еще бы пивца...» (IV, 75). Или: «Танцевала она, как небесный, скажу вам, ангел, а вы, черти и разбойники, не стоите ее мизинца. А впрочем, выпьем» (IV, 77).

И так каждый раз — начиная с ангела, он кончает чертями и предлагает выпить. Собутыльники смеются над ним и зовут «мичтателем». Эта «мечта» через «и» по-разному пародийно раскрывается в первом видении, не раз заставляя вспомнить о чеховской «Свадьбе».

Там, у Чехова, в компанию обывателей, претенциозных пошляков, манерных, как Змеюкина, величественно-идиотических, как Апломбов, попадал капитан второго ранга, «старый человек, моряк, заслуженный офицер» Ревунов. Он ничего общего не имеет со всей этой компанией пошлости, попал случайно, благодаря предприимчивости неутомимого агента Нюнина. Вместе с тем Ревунов тоже человек, есть у него свои недостатки, долгими военно-морскими разглагольствованиями он мешает течению свадьбы, не дает никому слова сказать.

Совсем иное у Блока. Первое «видение» кончается тем, что вдруг «весь кабачок как будто нырнул куда-то», стены расступаются, за наклонившимся потолком открывается небо, и действие переходит на иные — астральные — подмостки.

Во втором «видении» по небу, описывая медленную дугу, скатывается звезда. Она оборачивается прекрасной женщиной.

В третьем «видении» она приходит в великосветскую компанию молодых людей «в безукоризненных смокингах». Но эти салонные завсегдатаи разговаривают между собой так, что то и дело повторяют реплики посетителей уличного кабачка. Приходит в гостиную и звездочет, встревоженный исчезновением звезды. Он говорит: «Извините, я в вицмундире и запоздал. Прямо из заседания. Пришлось делать доклад. Астрономия...». Хозяин, подходя к нему, отвечает: «Вот и мы только что говорили о гастрономии» (IV, 101). И предлагает приступить к ужину.

«Астрономия — гастрономия» — своеобразная поэтическая модель, по которой строится «Незнакомка».

Астрономия —

Протекали столетья, как сны.
Долго ждал я тебя на земле.

(IV, 85)

«Падучая дева-звезда» (IV, 86), «Звездный напиток — слаще вина» (IV, 87).

И гастрономия — «из общего говора доносятся слова: «рокфор», «камамбер». Вдруг толстый человек, в страшном увлечении, делая кругообразные жесты, выскакивает на середину комнаты с криком: «Бри!» (IV, 100—101).

Есть еще один аспект, позволяющий увидеть родство «Незнакомки» не со «Свадьбой» только, но шире — с большой драматургией Чехова. Мы уже говорили, что первое «видение» (уличный кабачок) и третье (светская гостиная) тщательно соотнесены друг с другом. Создается впечатление, что в гостиной заново, но уже на ином социальном уровне повторяется то же действие.

Разговор в первом видении начинался с шубы («меньше тридцати ни за что не уступлю» — IV, 73). Так же начинается беседа о шубе хозяина с гостем в третьем «видении» («А сколько платили?» — «тысячу»).

Когда один из гостей восхищенно говорит о том, как танцовала Серпантини, его называют: «Мечтатель!» На этот раз уже через «е».

На таких параллельно-контрастных перекличках и повторах строится все третье «видение». Совпадения настолько очевидны, что поэт, прислушиваясь к светской болтовне, «с мучительным усилием припоминает что-то» — «Мгновение кажется, что он вспомнил все» (IV, 100—101).

В этом искусстве повторяющихся деталей, многозначительных повторов, служащих не для простого повторения, но для сложного уподобления и расподобления одновременно,— во всем этом Блок опирался на опыт Чехова, автора «Чайки», «Трех сестер», «Вишневого сада».

При всей своей загадочности, таинственной недоговоренности «Незнакомка» построена по твердому плану, в ней есть свой строй, первое и третье «видение» строго соразмерны, соотнесены. Вспоминаются слова Блока:

Строй находить в нестройном вихре чувства...

(III, 27)

Чеховская двуплановость, столкновение поэзии и прозы (или сатирическое развенчание псевдопоэзии — прозой) помогали Блоку в создании произведений, построенных на символическом двоемирии. Конечно, куда выигрышнее было бы показать, что Чехов-реалист помогал Блоку прийти к реализму. Это могло бы послужить вполне подходящей иллюстрацией ко многим работам не слишком давнего времени, где путь Блока изображался как некая прямая,

по которой он двигался к реальности и к реализму. Поэт действительно шел к реальности, к «непроглядному ужасу жизни»; однако увидеть этот ужас еще не значит стать реалистом. Скажем больше: принять революцию — тоже еще не значит автоматически стать на путь реализма.

20(7) февраля 1918 г., т. е. уже написав «Двенадцать», Блок записывает: «*Только* — полет и порыв; лети и рвись, иначе на всех путях гибель» (VII, 326).

Сказано по-блоковски значительно и «крылато». Но в словах этих можно увидеть все, что угодно, только не программу реалиста.

И сопоставление творчества двух писателей помогает понять символистскую природу произведений Блока. Во многих стихах он как будто совсем «накренен» к реализму. Однако в целом автор «Соловьиного сада» и «Незнакомки» никак не может быть просто зачислен по реалистическому ведомству. Даже в «Двенадцати» еще слышатся отголоски символистского двоемирия.

Мы часто читаем: писатель пользуется такими-то средствами выразительности. К Чехову такое определение не очень подходит. Его читатель часто испытывает ощущение, как будто художник вовсе отказывается от видимых средств выразительности, настолько сложный и скрытый характер они имеют. Его суховатая, почти графическая манера изображения резко отлична от толстовской с ее буйной, богатой живописностью, полифонизмом выразительных средств. Сопоставляли «Анну Каренину» и «Даму с собачкой» (Г. П. Бердников, Б. С. Мейлах и др.). В сравнении с многообразным, непрерывно повторяющимся и столь же непрерывно меняющимся портретом толстовской героини облик Анны Сергеевны изображен с художническим аскетизмом. Чехов вообще писатель суровый. Хочется даже сказать «бедный» — но не совсем в обычном смысле слова: свободный от всего, что не крайне необходимо. «Бедный» — т. е. строгий, суровый, сдержанный. Прячущий свои богатства. Внешне простой и внутренне сложный.

Блок наследует эту чеховскую строгость: «тихость» писательского голоса.

О, как смеялись вы над нами,
Как ненавидели вы нас
За то, что тихими стихами
Мы громко обличили вас!

(III, 90)

Один из любимых эпитетов Блока — бледный.

И, вглядываясь в свой ночной кошмар,
Строй находить в нестройном вихре чувства,
Чтобы по бледным заревам искусства
Узнали жизни гибельный пожар!

(III, 27)

«Тихие стихи» громко обличают, а за бледными заревами искусства — гибельный пожар. Впрочем, перекличка с Чеховым и тут неполная. У Блока есть и «громкие» стихи. А «громкого» Чехова вообще нет.

В стихотворении «Сиенский собор»:

Молчи, душа. Не мучь, не трогай,
Не понуждай и не зови:
Когда-нибудь придет он, строгий,
Кристально-ясный час любви.

(III, 114)

Кажется, во всей мировой поэзии трудно найти стихи, где «час любви» определяется эпитетами «строгий» и «кристально-ясный». Но в мире Блока с его «бледными заревами» эти эпитеты не выглядят неожиданными.

Строгость определяет и лирический автопортрет Блока. И не просто строгость — суровость, сдержанность, даже «недвижность».

В одном из ранних стихотворений:

Мой голос глух, мой волос сед.
Черты до ужаса недвижны.
(1902, I, 231)

В стихотворении «Инок»:

. . . Лик мой строг.
(1907, II, 283)

В одном из более поздних стихотворений дается своего рода обоснование замкнутости, чуть ли не программа:

Ты твердишь, что я холоден, замкнут и сух,
Да, таким я и буду с тобой:
Не для ласковых слов я выковывал дух,
Не для дружб я боролся с судьбой.

А в последней строфе стихотворения — итог:

Ты — железною маской лицо закрывай. . .
(1916, III, 156—157)

Блок не раз говорит о своих «восковых чертах» (I, 274; ср. письмо С. М. Соловьеву 20 декабря 1903 г., VIII, 79). Однако все дело в том, что «недвижность» облика поэта в стихах не абсолютна. То и дело она нарушается каким-то намеком, деталью, выдающей «тайный жар» души. Вспомним все то же стихотворение «В ресторане»:

Но была ты со мной всем презрением юным,
Чуть заметным дрожаньем руки. . .
(III, 25)

Без этого «чуть заметного дрожания» нельзя себе верно представить блоковского портрета.

Интересно с этой точки зрения прочитать письмо Блока Л. Д. Менделеевой 29 августа 1902 г.

«...Вы подходили неподвижно. Иногда эта неподвижность была до конца ‹. . .› И вдруг, страшно редко,— но ведь было же и это! — тонкое слово, легкий шепот, крошечное движение, м. б. мимолетная дрожь,— или все это было, лучше думать, одно воображение мое» (ЛН, т. 89, с. 49).

Последние слова особенно важны: Блок сам пишет, что все это, быть может, одно его воображение.

С «маской лица» у Блока связано и то, что можно назвать маской стиха. Мы имеем в виду подчеркнутую нейтральность повествования, если можно так сказать, невозмутимость поэтического размера. Это сквозит в знакомой нам формуле: «Строй находить в нестройном вихре чувства». Строй и — строгость.

Стало неким общим местом рассуждение о связи содержания и формы. Иногда это понимается довольно односторонне: содержание предопределяет форму и — все. Однако в действительности соотношение между этими двумя сторонами всякого явления, и в частности явления художественного, оказывается куда более сложным. И движение тут не только одностороннее — от

содержания к форме. Происходит, если так можно выразиться, взаимоактивное воздействие содержания и формы.

У одних писателей волнующее их содержание более непосредственно и прямо выливается в лирических, публицистических формах повествования. У других — это относится к Чехову и Блоку — мы сталкиваемся с неким как бы «отстоянием» формы от содержания. Словно бы какой-то зазор возникает между ними.

У Чехова это — бесстрастный, ровный, негромкий голос в тех местах, где, кажется, надо кричать, например в сцене убийства маленького Никифора («В овраге»); подчеркнуто нейтральные концовки — автор как будто отказывается разделить с читателем его чувства по поводу рассказанного; строгость построения, соотнесенность деталей, сближающая прозаическое повествование со стихотворным.

Иными словами, кажущееся несоответствие формы и содержания — как выразительный прием воздействия на читателя. Говоря о «несоответствии», мы понимаем, конечно, что перед нами — особый пример соответствия, сложного взаимодействия содержания и формы.

И Блок здесь многое берет у Чехова.

Вернемся опять к «Соловьиному саду».

Как под утренним сумраком чарым
Лик, прозрачный от страсти, красив!..
По далеким и мерным ударам
Я узнал, что подходит прилив.

Два мира столкнулись в строфе в отчаянном противоборстве. Может быть, лишь один тончайший намек: в словах «по далеким и мерным ударам», в равностопности этих слов, в повторяющемся звуке «м» — напоминание о ритме морского прибоя.

В предисловии к поэме «Возмездие» Блок писал: «При систематическом ручном труде развиваются сначала мускулы на руках, так называемые — бицепсы, а потом уже — постепенно — более тонкая, более изысканная и более редкая сеть мускулов на груди и на спине под лопатками. Вот такое ритмическое и постепенное нарастание мускулов должно было составлять ритм всей поэмы» (III, 297).

Мы говорили, что слова «средства выразительности» в их обычном, традиционном значении не совсем подходят к Чехову и Блоку. Вернее было бы говорить о микросредствах выразительности.

Таковы некоторые переклички мотивов и художественных особенностей двух писателей: образы дома и сада; чеховская двуплановость и — двоемирие у Блока. Сходное соотношение: в пьесах Чехова, в «Свадьбе» и — в «Незнакомке», кажущаяся нейтральность формы повествования у Чехова и поэтическая «маска» у Блока.

Все это — лишь часть того материала, который может быть привлечен. Но и она помогает понять, как много стоит за словами Блока: «Чехова принял всего, как он есть в пантеон своей души».

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Творческие переклички двух писателей, отдельных образов и мотивов — все это не было предметом специального исследования. Тем не менее можно назвать работы, в которых начато изучение темы: А. И. Роскин. Александр Блок обращается к Чехову.— «Лит. критик», 1939, № 2; Т. М. Родина. Александр Блок и русский театр XX века. М., «Наука», 1972, с. 181—183; Э. А. Полоцкая. «Вишневый сад». Жизнь во времени.— В кн.: «Литературные произведения в движении эпох». М., «Наука», 1979, с. 255—258, а также нашу заметку «„Вишневый сад“ Чехова и „Соловьиный сад“ Блока».— В кн.: «Творчество А. А. Блока и русская культура XX века». Тезисы о Всесоюзной (III) конференции. Тарту, 1975, с. 116—117.

[2] Произведения Чехова цитируются по его Полному собранию сочинений и писем в 30 томах (1974—1983). В цитатах из записных книжек указывается номер книжки, страницы и записи.

[3] Томас Манн. Чехов.— «Новый мир», 1955, № 1.

[4] Интересно, что в 1910 г. Н. Н. Гусев, находившийся в ссылке, прислал Льву Толстому выписку из рассказа «Крыжовник»: «Счастья нет и не должно быть, а если в жизни есть смысл и цель, то смысл этот и цель вовсе не в нашем счастье, а в чем-то более разумном и великом». Толстой ответил: «Как хороша Ваша выписка из Чехова! Она просится в „Круг чтения"» (письмо от 25 февраля 1910 г.).

[5] Блок приводит и разбирает эти слова в статье «О назначении поэта» (VI, 167).

[6] Блок хорошо знал его и цитировал — V, 580.

[7] Бернард Шоу. Предисловие к пьесе «Дом, где разбиваются сердца».— «Лит. газета», 1956, 26 июля, № 88. Речь идет о пьесах «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры» и «Вишневый сад».

[8] В. Ермилов. Драматургия Чехова. М., «Сов. писатель», 1948, с. 159.

[9] И потом, после расставания с Вершининым, на слова Ольги: «Пойдем в дом»—отвечает: «Я в дом уже не хожу, и не пойду...» (XIII, 185). Эти слова вставлены автором в новой редакции (см. XIII, 432).

[10] «Чеховская «антидомашность»,— справедливо замечает Т. М. Родина,— выражена у Блока предельно, возведена в основу психологической характеристики современного человека» (Т. М. Родина. Александр Блок и русский театр начала XX века, с. 181).

[11] В «Трех сестрах»: «Знаешь, надень шапку, возьми в руки палку, и уходи... уходи и иди без оглядки. И чем дальше уйдешь, тем лучше» (Чебутыкин — Андрею, XIII, 178—179). В «Вишневом саде»: «Если у вас есть ключи от хозяйства, то бросьте их в колодец и уходите. Будьте свободны, как ветер» (Трофимов — Ане, XIII, 228).

[12] Владимир Маяковский. Полн. собр. соч. в 13 томах, т. IV. М., ГИХЛ, 1957, с. 159.

[13] Сергей Есенин. Собр. соч. в 5 томах, т. II. М., «Худож. литература», 1966, с. 70.

[14] Марина Цветаева. Избр. произв. М.— Л., «Сов. писатель», 1965, с. 111.

[15] О развитии этой темы см. в нашей статье «Дом и мир».— В сб.: «Единое слово. Статьи и воспоминания». М., «Сов. писатель», 1983.

[16] ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 535, л. 24—25 об.; л. 27—28 об. Сообщено Л. М. Розенблюм.

[17] Совершенно особый случай — сад, описанный в рассказе Чехова «Черный монах». Это удивительное «царство нежных красок» (VIII, 227). Но в декоративной его части растут деревья, переделанные до неузнаваемости: «Каких только тут не было причуд, изысканных уродств и издевательств над природой!». И далее описываются шаровидные дубы и липы, зонт из яблони, арки, вензеля, канделябры. Садоводство утрачивает свою поэзию, становится затейливо-ремесленническим занятием. Хозяин сада Песоцкий называет его «целым учреждением» (VIII, 237). Для него самого сад — не источник радостей, а непрерывный повод к раздражению, неудовольствию, к претенциозно-полемическим статьям против коллег и т. д.

[18] Ср. в том же стихотворении «В ресторане»: «Сожжено и раздвинуто бледное небо». Даже при «пожаре зари» небо остается бледным. Блок здесь прямо противоположен Маяковскому с его закатами в «сто сорок солнц».

БЛОК И ИВАН КОНЕВСКОЙ

Статья В. Я. Мордерер

«Иван Коневской именно „на миг и тем — на век“ вдохнул в себя запах родной глины и загляделся на „размеры дальних расстояний“. Он полюбил „несокрушимой“ любовью родные, кривые проселки в чахлых кустиках, ломаные линии горизонтов, голубую дымку дали; он понял каким-то животно-детским, удивленным и хмельным чутьем, что это и есть Россия. И потому естественно, что он возлюбил до боли то место, где эта Россия как бы сходит на нет, где она уже и Россия и не Россия, „не земля, а так — одна зыбь поднебесная, и один солдатик сторожевой стоит“; этим крайним „распутьем народов“, местом, где пахнет и нищенским богатством Европы и богатой нищетой России, стал для Коневского город — Петербург, возведенный на просторах болот; это место стало для поэта каким-то отправным пунктом в бесконечность, и финская Русь была воспринята им сильно, уверенно — во всей ее туманности, хляби, серой слякоти и страшной двойственности» [1] (V, 598—599).

Как почти вся публицистика Блока, текст этой критической заметки глубоко лиричен, в блоковских строках заключено признание близости, сродства своего с Коневским, и — что еще значительнее — в них звучит самоопределение Блока через Коневского. Основные темы, образы Коневского совпадают здесь с мотивами блоковской гражданской лирики. Блок сам обозначает причастность поэтического мира Коневского к той системе, которую для себя когда-то он определил как стихи, которые «требуют любви, а не любовь— их. Когда им отдашь любовь, они заполнят годы жизни и ответят во сто раз больше, чем в них сказано. Может быть, заполнят и целую жизнь» [2] (VIII, 78).

Обоснованию темы «Блок и Коневской», которая только на первый взгляд может показаться неожиданной, выявлению сокровенной и до сих пор не исследованной связи Блока с творчеством этого не по праву забытого поэта [3] посвящена данная работа.

Жизнь Ивана Коневского (псевдоним Ивана Ивановича Ореуса — 1877—1901) была короткой и не содержала никаких внешних драматических событий; трагической и случайной в его судьбе была только внезапная смерть — он утонул летом 1901 г., на 24-м году жизни. Единственный сын в семье, он рано лишился матери и вырос под опекой отца и в большой дружбе с ним — генералом И. И. Ореусом (1830—1909), военным писателем-историком, занимавшим пост начальника военно-исторического архива Генерального штаба [4]. Первоначальное образование И. И. Ореуса-сына было домашним и, как выражались в те времена, «весьма порядочным»: он свободно владел немецким, французским, английским языками. Уже ко времени окончания классической гимназии и поступления в Петербургский университет (1897) Ореус-младший обладал обширнейшими познаниями в истории, русской и западноевропейской литературе и философии. Философский склад ума, широкие исследовательские интересы в соединении с созерцательным даром поэта-мечтателя нашли выражение в его единственном прижизненном сборнике — «Мечты и думы Ивана Коневского. 1896—1899» (СПб., 1900), объединявшем, по замыслу автора, его стихи и прозу в единую книгу. Интересы Коневского красноречиво демонстрировали названия отделов, вынесенные на обложку издания: «Мельком: I—V. Умозрения странствий. Живопись Бёклина (Лирическая характеристика). Мельком: VI». В сборник органично должны были войти отдельным равноправным под-

разделом переводы из западноевропейской лирики (под которой Коневской подразумевал и прозаические тексты) конца XIX в. (А. Ч. Суинберн, Д. Г. Россетти, Ф. Ницше, М. Метерлинк, А. де Ренье, Ф. Вьеле-Гриффен, Э. Верхарн и др.), выполненные ритмизованной прозой. Но так как финансировал издание сам автор, то из-за нехватки средств переводы в книгу включены не были (они остаются неизданными и по сей день) [5]. Незначительный тираж книги «Мечты и думы» в продажу почти не поступал, сборник распространялся автором в самом узком кругу единомышленников и друзей [6].

Закончив курс университета в 1901 г., Коневской, привыкший ежегодно совершать летние путешествия, поехал в «странствие» по Прибалтике и 8 июля утонул, купаясь в реке Аа (Гауя), здесь, близ станции Зегевольд (ныне Сигулда), он и похоронен в лесу.

Я посетил твой прах, забытый и далекий,
На сельском кладбище, среди простых крестов,
Где ты, безвестный, спишь, как в жизни, одинокий,
Любовник тишины и несказанных снов
〈. . .〉
Ты мне сказал: «Я здесь, один, в лесу зеленом,
Но помню, и сквозь сон, мощь бури, солнца, рек,
И ветер, надо мной играя тихим кленом,
Поет мне, что земля — жива, жива вовек!»

Эти строфы — из стихотворения «На могиле Ивана Коневского» [7], написанного Брюсовым 13 июля 1911 г. в Зегевольде, куда он через десятилетие приехал почтить память друга.

Значительнейшим событием на коротком пути Коневского стало его знакомство в 1898 г. с Брюсовым, быстро переросшее в дружбу (отраженную в интенсивной творческой переписке) [8], дружбу, верность которой Брюсов преданно и деятельно хранил всю жизнь. Все, что было сделано для публикации творческих рукописей Коневского после его ранней смерти, сделано энергией и авторитетом Брюсова [9], даже все то немногое, что написано о Коневском другими авторами в первой четверти XX в., было инспирировано Брюсовым или связано с его именем.

«Поэзию Ореуса считаю одной из замечательнейших на рубеже двух столетий»,— записал Брюсов в дневнике в конце 1899 г.[10] «Меня давно ничего так не поражало,— признается он, получив известие о смерти друга.—〈. . .〉 Умер Ив. Коневской, на которого я надеялся больше, чем на всех других поэтов вместе 〈. . .〉 Пока он был жив, было можно писать, зная, что он прочтет, поймет и оценит. Теперь такого нет. Теперь в своем творчестве я вполне одинок. Будут восторги и будет брань, но нет критики, которой я верил бы, никого, кто понимал бы мои стихи до конца. Я без Ореуса уже половина меня самого 〈. . .〉 Он только начинал, намечал пути, закладывал фундамент (о! по грандиозному плану). И вот храма не будет — одни камни, одни чертежи, пустыня мертвая и небеса над ней» [11].

В наши дни Коневской известен только как поэт, имя которого приобрело стабильное место в определенном литературном ряду: в комментариях, а реже — в общих обзорах символистской поэзии конца XIX — начала XX в. (при незначительных вариациях основных имен — Брюсов, Бальмонт, Минский, З. Гиппиус, Мережковский, Ф. Сологуб и др.) неизменяемым остается устойчивое сочетание в ряду ранних «русских декадентов» — «А. Добролюбов, И. Коневской» [12]. Постоянство этого сочетания привело даже к неизбежным казусам — литературная критика не только лично познакомила никогда не встречавшихся поэтов, но даже поместила в один литературно-художественный кружок [13].

Однако приходится признать, что — в отличие от А. Добролюбова[14] — за истекшие после смерти Коневского восемьдесят лет историки литературы и

литературная критика уделили ничтожно мало внимания его творчеству [15]. Единственная серьезная, ставшая в известном смысле канонической статья-некролог о нем «Мудрое дитя» была написана Брюсовым в 1901 г., а впоследствии при переизданиях только видоизменялась или расширялась [16]. «Коневской поражал,— писал Брюсов,— прежде всего вечной, неутомимой, ожесточенной сознательностью своих поступков ⟨...⟩ Блуждая по тропам жизни, юноша Коневской останавливался на ее распутьях, вечно удивляясь дням и встречам, вечно умиляясь на каждый час, на откровения утренние и вечерние и силясь понять, что за бездна таится за каждым мигом. Эти усилия у него обращались в стихи ⟨...⟩ Поэзия Коневского прежде всего — раздумья. Философские вопросы, которыми неотступно занята была его душа, не оставались для него отвлеченными проблемами, но просочились в его „мечты и думы", и его стихи просвечивают ими, как стебельки трав своим жизненным соком ⟨...⟩ Он славил само пространство и время: ⟨...⟩ „Вы совершенней изваяний,— простор и время, беги числ!"» (СП, XII—XIV).

В 1907 г. Н. Поярков в своей книге «Поэты наших дней» посвятил Коневскому небольшой очерк, наполовину состоящий из перепечатки указанной брюсовской статьи [17]. В том же году Н. О. Лернер сделал краткий обзор творчества Коневского (Брюсов имел непосредственное отношение и к созданию этой статьи, и к ее изданию) [18]: «Семь лет миновало с тех пор, как закрылись эти орлиные зеницы, так зорко и пытливо глядевшие на солнце истины. Но пройдет много лет, и все будет громко и бодро звучать в русской поэзии и отдаваться в чутких сердцах орлиный клекот Коневского, такой радостный, солнечный, зовущий к „вольности и роскоши игры", к молодости» [19].

Наконец, в 1922 г., высоко оценивая роль поэта, хотя и небрежно обращаясь с фактическим материалом, написал о Коневском Е. Аничков: «Чтобы совершенно новое направление в поэзии могло ярко и сразу сказаться, ему необходимы именно вот такие юноши, каким был Коневской. Он сыграл у нас ту же роль, что Рембо в конце 60-х годов во Франции ⟨...⟩ Создается своеобразная умственная и художественная атмосфера, необычная прозодия и странное словоупотребление, к которому читающей публике надо еще привыкнуть ⟨...⟩ Образы родятся небывалые, трудные; они сначала более удивляют, чем нравятся» [20]. Эту главу Аничков заключает хвалой Брюсову за то, что он, даже порвав со своими «юношескими дерзновениями», «никогда не забыл Ивана Коневского, которого стихи любовно и тщательно издал после его случайной смерти» [21].

Сравнивая Коневского с Баратынским и Брюсовым, критик Д. Святополк-Мирский отмечает, что в его поэзии «пленяет мужественная борьба с темой, упрямое желание уложить свою мысль в узкие тиски стиха», «стремление создать метафизическую поэзию, постигающую и обнимающую весь мир» [22]. Но и этого признания Коневской удостоился не в специальной статье, а в некрологе, написанном Святополк-Мирским на смерть Брюсова в 1924 г.

Итак, пожалуй, это немногие основные работы, посвященные Коневскому, которые вместе с краткими журнальными и газетными рецензиями на его сборники и составляют полную библиографию критической литературы о нем [23].

При относительной скудости изданных исследований и материалов сохранились высказывания (опубликованные и неопубликованные) самых различных авторов, которые задумывали изложить свои соображения о творчестве Коневского. Такие намерения в разное время возникали у Вяч. Иванова, С. Городецкого, В. Нарбута, М. Шика, а также у Блока, но реализованы они не были [24].

В конце 30-х годов Н. Л. Степанов подготовил для издания «Библиотеки поэта» двухтомник стихотворений и переводов Коневского, а для отдельной публикации — некоторые философские наброски и часть прозаических, литературно-критических произведений Коневского, а также его писем. Весь этот материал остался неопубликованным. Во вступительной статье к неосуществленному изданию «Библиотеки поэта», носящей подзаголовок «Поэт мысли»,

Н. Л. Степанов писал: «Коневской не был организатором новой поэтической школы, как Брюсов, он не был реформатором, ниспровергавшим все поэтические принципы, как Хлебников или Маяковский, или „отверженным поэтом" вроде Рембо. Он был отъединенным мечтателем на „рубеже двух эпох", творчество которого с почти хрестоматийной ясностью предсказывало дальнейшее развитие русского символизма. Вместе с тем его творчество являлось звеном, связывавшим символизм с традициями русской поэзии XIX в., с Баратынским, Тютчевым, Кольцовым и Ал. Толстым. Коневской — один из наиболее последовательных „поэтов мысли" <...> Он пришел слишком рано для того, чтобы стать одним из признанных вождей символизма, а его поэзия оказалась слишком несвоевременно сложной для 90-х годов. Тем не менее значение Коневского для развития русского символизма (для Брюсова, Блока, Вяч. Иванова) и для после-символистских группировок (от Гумилева до Асеева) весьма существенно» [25].

Эта причастность Коневского к творчеству самых разных художников слова XX в. засвидетельствована ими самими в статьях, мемуарах, письмах, стихотворениях.

Вяч. Иванов в письме от 8 июля 1906 г. к Л. Д. Зиновьевой-Аннибал, излагая содержание беседы с Городецким, отмечает: «Так мы пришли к соглашению, что нить действительно такова: (Коневской, я, он)» [26]. Еще в феврале 1904 г. на вопрос Брюсова: «Кстати, получили ли вы Коневского и каково Ваше впечатление? Он попытался сделать (в языке) кое-что из того, что вы свершили»,— Вяч. Иванов благодарит за «дорогой томик Коневского» и добавляет: «Меня влечет — но и пугает трудностью тонкой задачи — написать в свою очередь что-нибудь о нем. Его искания и постижения представляются мне полными глубокого значения, а его душевный облик стихийно-загадочным и прекрасным» [27]. Статья о Коневском так и не была написана.

О необыкновенной цельности поэзии и «душевного облика» Коневского говорят все, знавшие его. Свидетельство критика и поэта С. Маковского тем важнее, что, недооценивая поэзию Коневского, он признает: «Как бы то ни было, и тогда, в годы моего университетского знакомства с Коневским, прежде всего поражала в нем (в стихах, и во всем облике) личность его, неуклонно стремящаяся к цели, возлюбившая озарения духа, красоту, поэзию превыше всего, необыкновенность его молодой воли, отданной целиком творческому служению» [28].

Для О. Мандельштама благодаря его учителю словесности Вл. В. Гиппиусу, «формовщику душ», «товарищу Коневского и Добролюбова — воинственных молодых монахов раннего символизма» [29], поэзия Коневского была естественно включенной в исторически преемственный ряд русских писателей XVII—XIX вв., его поэзия представлялась Мандельштаму конечным, самым близким к современности, связующим пунктом при «путешествии по патриархату русской литературы от „Новикова с Радищевым" до Коневца раннего символизма» [30].

Это ощущение исторически порубежного — на стык двух веков приходящегося творчества («и своею кровью склеит двух столетий позвонки») — отражается и в мандельштамовском стихотворении «Век», где первая строфа несет, возможно, отзвук трагической судьбы Коневского:

Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?
Кровь-строительница хлещет
Горлом из земных вещей. . .[31]

Имя Коневского как вероятного адресата этих поэтических строк подсказывает культурно-историческая проза Мандельштама. В «Эрфуртской программе», одной из глав «Шума времени», частично посвященной Коневскому, при-



И. И. КОНЕВСКОЙ
Фотография, 1890-е годы
Центральный архив литературы и искусства, Москва

знавая свою близость к нему, Мандельштам обращается к тем же образам, говоря о юности, начале века, тех «предысторических годах, когда жизнь жаждет единства и стройности, когда выпрямляется *позвоночник века*, когда сердцу нужнее всего красная *кровь аорты*!» [32]. Окончательно убеждают в том, что в насыщенную ассоциативную семантику «Века» включен и Коневской,— реминисценции из него: скрытая поэтическая цитация, использование и переосмысление Мандельштамом его образов и мотивов:

И вместе вне и вдаль стремится
Строительница жизни кровь,[33]
(СП, 108)

а также:

И как нам отбиться от волка лихого,
Которого тягостный глад
Снедает — от Времени серо-глухого?
Скажи, о бездольный мой брат!
(СП, 81)

(ср. у позднего Мандельштама: «Мне на плечи кидается век-волкодав,//Но не волк я по крови своей») [34].

В «Эрфуртской программе» Мандельштам вспоминает о посещении могилы Коневского, в один абзац вкладывая и свое понимание одиночества Коневского, и свою идею равноправия поэтических и социальных влияний «для известного

возраста и мгновения», и сравнение Коневского с Тютчевым — «источником космической радости, подателем сильного и стройного мироощущения»: «В тот год, в Зегевольде, на курляндской реке Аа стояла ясная осень с паутинкой на ячменных полях. Только что пожгли баронов, и жестокая тишина после усмиренья поднималась от спаленных кирпичных служб ⟨...⟩ В кирпично-красных, изрытых пещерами слоистых берегах германской ундиной текла романтическая речка ⟨...⟩ Жители хранят смутную память о недавно утонувшем в речке Коневском. То был юноша, достигший преждевременной зрелости и потому не читаемый русской молодежью; он шумел трудными стихами, как лес шумит под корень. И вот, в Зегевольде, с эрфуртской программой в руках, я по духу был ближе к Коневскому, чем если бы я поэтизировал на манер Жуковского и романтиков» [35].

Единственное свидетельство-признание оставлено Н. Гумилевым, который ни в своих статьях о русской поэзии, ни в письмах, ни в стихотворениях нигде прямо не упоминает имени Коневского (влияние поэтики Коневского на Гумилева требует специального рассмотрения). Свою связь с Коневским Гумилев признает, как бы проговариваясь, в шуточном экспромте, который относится, вероятно, к 1916 г.:

У папы Юлия Второго
Была ученая корова,
Что нам раскрыла *тайны слова*
Под псевдонимом Коневского [36].

Гумилев тем самым отводит упреки в подражании Брюсову, указывая на то, что у автора экспромта — главы «цеха» — и общесимволистского мэтра — Брюсова («папы») есть общий источник — Коневской (*«нам* раскрыла»).

Экспромт написан на обороте записки, предлагавшей «поговорить о Коневском» (под этим предложением можно разобрать подписи Н. Гумилева, М. Лозинского, А. Ахматовой).

Свою сопричастность поэтическому миру Коневского удостоверяют и С. Бобров, Б. Пастернак, Н. Асеев [37]. Вспоминая о знакомстве с Пастернаком и об общих литературных увлечениях и привязанностях, Бобров засвидетельствовал: «Ужасно любили Коневского, а за него даже и Брюсова (который уже от нас как-то отходил, оттертый с переднего плана мучительной красой мертвенно-прекрасного Блока)» [38]. В предисловии к первому сборнику Пастернака «Близнец в тучах» (М., «Лирика», 1913) Асеев подтверждает: «Выпуская эту книгу, „Лирика“ приветствует ее автора, одного из тех подлинных лириков новой русской поэзии, родоначальником которых был единственный и незабвенный Ив. Коневской» [39].

Пастернаку принадлежит одно из самых тонких наблюдений над «свойствами» поэзии и прозы Коневского, включающее размышления и поиски собственного, пастернаковского творческого пути: «Многие из нас (я в том числе) делаем все от нас зависящее, чтобы сделать совершенною редкостью тип чтения не воспроизводящего, чтения про себя, когда читатель, напав на углубленность авторских *смыслов* и убедившись в *разъяснимости* их, не как в одной понятности только в современном значении этого слова — отдается этой игре, как особому наслаждению; игре проникновения в автора, характер того движения, с каким это проникновение совершается и может быть совершено, коэффициент разъяснимости придает характер всей книге,— это ее дыхание. Таков, в идеале, Баратынский. Но не Языков, конечно. Это составляло сущность Коневского. Сейчас это редкость» [40].

Сохранились также свидетельства об интересе к поэзии Коневского Елены Гуро, В. Пяста, Э. Багрицкого [41].

И творчество Коневского предстает как область схождения поэтических систем столь несхожих в своей разноликости авторов, признающих свою связь с ним, его подспудное влияние, историко-культурное воздействие его творческой личности.

О внимании Блока к творчеству Коневского доподлинно известно из написанного и оброненного вскользь им самим; в нашу задачу входило собрать в единой последовательности эти разрозненные — а иногда косвенные или скрытые — факты, сопоставить их и сличить, а затем по возможности выявить свидетельства более глубоких творческих связей Блока с Коневским.

Сергей Городецкий в своих «Воспоминаниях об Александре Блоке» лаконично сообщает: «Он любил Ивана Коневского» [42]. О реакции Блока на имя Коневского в 1918 г. рассказывает К. Лабутин, библиофил, сосед Блока, нередко в те дни навещавший его: «Заговорили о Добролюбове и Коневском. Придавая большое значение им как зачинателям русского символизма, и особенно Добролюбову как явлению русской действительности, я не находил их выдающимися поэтами. Но, должно быть, высказал это крайне неловко, спросив: „Что же они сделали? Что же от них осталось?“, имея в виду стихи. С А. А. сразу же произошла прямо потрясшая меня перемена: он замолчал, ушел в себя, как бы окаменев, и стал таким *чужим*, что эта *чужесть* ощутилась даже физически, повеяв каким-то холодным ветерком; а Л. Д. только прошептала: „Для нас это были такие имена!“» [43].

Надо думать, что близкий Блоку Пяст, вспоминая в 20-х годах университет начала века, выражает не только личное отношение к Коневскому, но и устойчивое мнение своих единомышленников: «Отдельными островитянами проходили в те годы по университету немногочисленные студенты-поэты. В 1901 г. умер гениальный Иван Коневской. Он, переписывавшийся с московскими декадентами, не мог в Петербурге найти для себя почти ни одного достойного собрата-товарища. Вскорости после его смерти образовался среди студентов университета кружок поэтов; к нему примыкали и Александр Кондратьев, и Леонид Семенов, и Александр Блок» [44].

Биографически Блок и Коневской были очень близки, круги их знакомств пересекаются, соприкасаются. Коневской был на три года старше, он погиб после окончания курса историко-филологического факультета летом 1901 г., именно тогда, когда на этот факультет и на то же славяно-русское отделение перешел Блок.

Коневской посещал литературно-художественный кружок Я. И. Эрлиха [45], ближайшего друга А. Добролюбова и Вл. Гиппиуса, был связан с Вл. Гиппиусом общими литературными интересами, они бывали друг у друга, Вл. Гиппиус ввел Ореуса в кружок Ф. Сологуба, познакомил с Мережковскими, ряд лирических стихотворений Коневского посвящен А. Н. Гиппиус [46] (родной сестре Зинаиды и Татьяны). Таким образом, весь круг указанных знакомств Ореуса составляет и самую непосредственную близкую среду общения молодого Блока.

Первый «знак внимания» Блока к Коневскому находим на страницах альманаха «Северные цветы на 1901 год», где он отметил косым крестом («*X*») стихотворение «Осенние голоса». О значении помет на этом сборнике Блок писал неоднократно: «Складываются в одно местечко ⟨...⟩ все бумаги ⟨...⟩ и иные книги. Первое место — „Северные цветы“ — не за содержание, а за то, что несет на страницах кресты» (29 декабря 1901 — VII, 19; см. также осень 1901—ЗК, 22). В дневнике 1918 г., вспоминая значительные события 1901 г., Блок записал: «А. В. Гиппиус показывал мне в эту весну только что вышедшие первые „Северные цветы“ „Скорпиона“, которые я купил, и Брюсов (особенно) окрасился для меня в тот же цвет, так что в следующее за тем „мистическое лето“ эта книга играла также особую роль» (VII, 244).

Составляя летом 1901 г. список литературных источников (ЗК, 27—28) для статьи о новой русской поэзии (VII, 21—37) и перечисляя имена поэтов в той последовательности, какая дана в «Северных цветах», Блок после имени Коневского ставит «№». Мы видим, что интерес поэта привлек Коневской еще не погибший, его имя еще не обрело того неизбежного почтительного интереса, смешанного с сожалениями об утерянных возможностях, той легендарности, которую принесла его ранняя смерть.

В связи с этим интересно упоминание о Коневском в определенном литературном ряду, которое встречаем у поэта Г. Шенгели (в связи со смертью Льва Лунца): «О смерти Лунца слышал; „жертва утренняя“: у каждой литературной группы есть рано умерший сочлен: Веневитинов у пушкинцев, Надсон у восьмидесятников, Коневской у символистов, Игнатьев у северянинцев, ⟨Лозина-⟩ Лозинский у акмеистов, Божидар у футуристов, Фиолетов у южно-русской школы; теперь пришел черед Серапионовцев» [47].

Возможно, к этому времени (1901) Блок был знаком с творчеством Коневского в более широком объеме, чем подборки его стихов в «Северных цветах»: со сборниками «Книга раздумий» (М., 1899) и «Мечта и думы» (СПб., 1900) Блок мог познакомиться в доме Гиппиусов (на эти сборники Вл. Гиппиус напечатал неодобрительную рецензию) [48].

Основанием для такого предположения служит, в частности, выразительное суждение Блока о Коневском, высказанное в письме к А. Белому от 9 января 1903 г. Почти за год до выхода в свет сборника Коневского «Стихи и проза», продолжая развивать тему «музыки», одну из наиболее значительных для него, Блок пытается привлечь в качестве примера творчество Коневского: «⟨...⟩ наши времена поэзии ощутили, как никогда, до пророчественного прозрения, двойственную природу вселенной, и именно ощутили музыкально, путем все бóльшего отрицания пространственных образов и все большего прислушиванья к „ритму“ ⟨...⟩ В сущности, т⟨ак⟩ н⟨азываемые⟩ „декаденты“ прекратились теперь лишь относительно. Это скорее не смерть, а перерождение из бессознательного в сознательное. Даже еще Коневской не сознавал, не мог еще углубиться в сумрак своего духа и найти в нем неподдельное. Он бросал богатства в кучу, бесформенную, но блестящую, а „личность“ жаждала „целомудрия“. Но и он уже пел» [49].

Размышления Блока о Коневском идут в русле его раздумий о совпадении поэта со своей эпохой (самый убедительный пример которого, по Блоку, являет Брюсов). В этом же письме Блок продолжает: «Высший расцвет поэзии: поэт нашел себя и, вместе, попал в свою эпоху. Таким образом моменты его личной жизни протекают наравне с моментами его века, которые, в свою очередь, единовременны с моментами творчества. Здесь такая легкость и плавность, будто в идеальной системе зубчатых колес. В этих благоприятнейших условиях для проявлений (творческих) поэзия освобождается, находит русло, притом не старое, а доселе неизведанное» [50].

Блок говорит о Коневском как о поэте, творческий путь которого приобрел для него определенные очертания, представление о котором создано не одной-двумя стихотворными подборками. Но если Блок и знаком с поэзией Коневского в объеме издания «Мечты и думы», то ему этого недостаточно, «скорпионовское» издание он ждет с нетерпением. «Ореус? Ждем собрания»,— записывает он в конце сентября 1902 г. (ЗК, 43), а 14 августа 1903 г. иронически отмечает: «Публика любит большие масштабы ⟨...⟩ Ореуса печатают „посмертные“ ⟨...⟩ А ведь, если не умру, не напечатают!» (ЗК, 54).

Накануне выхода книги Коневского «Стихи и проза», подготовленной Брюсовым, Блок договаривается с редактором «Нового пути» П. П. Перцовым о рецензировании этого издания: «Также, если можно, известите меня о том, нужно ли мне писать рецензии на Сологуба и на Коневского?» (письмо от 1 декабря 1903 г.) [51]. Узнав, что сборник Коневского пока в свет не вышел, Блок в письме к Перцову еще раз подчеркивает свою внутреннюю готовность: «Кстати — мои рецензии, боюсь, не годятся Вам — они длинны, но от души ⟨...⟩ Если рецензии Вы найдете возможными, буду ждать Коневского, о котором, пожалуй, придется также написать длинно, а об остальных книгах собираюсь написать маленькие рецензии» (9 декабря 1903 — VIII, 74—75).

Блок так и не написал этой «длинной рецензии», но он ее безусловно готовил: блоковский экземпляр «Стихов и прозы» Коневского испещрен пометами поэта [52]— простым и красным карандашом различными значками («X», «√») помечены отдельные стихотворения, выделены чертой некоторые стихотворные

строки, отчеркнуты на полях строфы стихотворений и многочисленные прозаические тексты [53].

Одна группа отчеркиваний Блока явственно связана с подготовкой к рецензии — выделены строки-характеристики, строки-определения: «К нам выплыл он пытателем в ладье» (СП, 15); «Там ныне всякий с детства уж богат // Всем, что издревле в праотцах копилось» (СП, 14); «Властно замкну я в жемчужины слова // Смутные шорохи дум» (СП, 2); «Чтоб не влекла потемок беспредельность, // Смешаться с нею в беспросветный брак» (СП, 17).

Можно предположить, что Блок отметил отчеркиванием на полях заключительную часть статьи Коневского «На рассвете» именно по соотносимости ее, совпадению с судьбой самого автора, которому также «суждено было попасть в число искупительных жертв, вечно требуемых историею в роковые минуты обновления жизни. Завидна, быть может,— писал Коневской,— участь этих умирающих на рассвете. Не воплотившиеся, не вкусившие яркой жизни, безгрешные тени их благословляют нас на нашем мятежном пути» (СП, 136).

С большой степенью вероятности может быть отнесено к Коневскому отчеркивание Блока на полях очерка «Русь (Летопись странствий)». В нем Коневской — «мудрое дитя» и поэт, «достигший преждевременной зрелости»,— говорит о «горячем мужестве дня» — полдне, и слова эти определенно соотносятся с ним самим: «А ведь это венец дня, это — его торжество. В эти минуты совершается нечто недоступно-великое. Это — такая радость, о какой человеку и мечтать не дано. Человеку под стать детское веселье утра, его простодушные надежды. Потом — трагическое, многодумное созревание пополуденной поры и страстный восторг вечера, смертоносный для него,— вот это часы,— понятные и родственные жившему и жаждавшему человеку. Большинство людей всю жизнь — то отроки, то — юноши, то — старики. Очень немногие из них бывают после детского возраста детьми, а в полуденную пору — и тем менее вне ее — зрелыми мужами» (СП, 194).

Датировать пометы Блока мы можем, вероятно, во временных границах полутора лет — от января 1904 г. (время появления сборника в продаже) до середины лета 1905 г., так как прямые свидетельства чтения Блоком книги Коневского (цитация, скрытая полемика, поэтические реминисценции) появляются летом 1905 г.

25 июня 1905 г. в одном из наиболее значительных писем к Е. П. Иванову, обращаясь к близкой для обоих теме города, Блок отсылает к Коневскому, как к одному из источников своих раздумий о Петербурге: «Я люблю тебя и чую близость нашу ⟨...⟩ Ведь с разных концов мира принесло ⟨...⟩ Может быть нас в разных котлах варили, но вынесло в «крайнюю глухую заводь», в «край лиманов и топей речных», в «царство Демона древней Москвы» (Коневской о П⟨етер⟩б⟨ур⟩ге). И стала у нас сумрачная близость, к которой часто я возвращаюсь мысленно и понять не могу ⟨...⟩ Хочу высказать ненависть к любимому городу, именно тебе высказать, потому что ты поймешь особенно, любя, как и я» (VIII, 130 — все цитаты из стихотворения Коневского «Среда» — СП 119—120) [54].

Упоминание Коневского в письме служит своеобразным сигналом — оно заставляет внимательнее присмотреться к текстам Блока этого времени. Действительно, в двух статьях, над которыми Блок работал летом 1905 г.,— «Краски и слова» и «Безвременье» — поэтом также оставлены косвенные знаки внимания: безымянная и прямая цитации из Коневского. Эти особые сигналы, расставленные Блоком, подкрепленные его пометами-отчеркиваниями на полях книги Коневского, дают основания для попытки реконструкции этого необычного «диалога». Потому что чтение Блоком книги Коневского напоминает собеседование поэта с одному ему видимым, потаенным единомышленником, забытым и не понимаемым многими; вероятно, близким настолько, что иногда поэтический голос Коневского воспринимается Блоком как всплывшее в памяти воспоминание «из жизни другой».

В данной работе нет возможности подробно анализировать соотнесенность

тематическую, структурную и образную этих блоковских статей с прозой Коневского. Отметим основные, чаще текстуальные, совпадения, подкрепленные пометами Блока на полях сборника Коневского, причем еще раз подчеркнем, что все здесь и ниже приводимые параллели, переклички, схождения, поэтические и прозаические реминисценции трактуются только в пределах темы «Блок и Коневской», не охватывая, разумеется, всего сложнейшего многоголосья блоковских реминисценций, а рассматриваются лишь как попытка включить в этот «хор» и голос Коневского.

В статье «Безвременье» Блок пишет о трех колдунах, трех демонах русской литературы — о смотрящем на мир с «улыбкой вещей скуки» Лермонтове, о Гоголе, который «зарывался в необозримые ковыли степей украинских», и о «могучем, пребывающем под страхом вечной пытки» Достоевском. В этой «великой триаде хитрые и мудрые колдуны ведут под руки слепца» Достоевского. И двоящийся город Блока — «любимый и ненавистный» Петербург получает еще одно, необходимое для Блока имя — Петербург «болот горемычного сына» Коневского (СП, 29). Вопреки хронологии и пиетету Блок в город Коневского вводит Достоевского: «Он забрел на конец света, где, в сущности, нет ничего, кроме болот с чахлыми камышами, переходящими в длинное серое море. Он основался там, где

. . .крайняя заводь глухая,
Край лиманов и топей речных,
И над морем клубится, вздыхая,
Дым паров и снарядов стальных.
(И. Коневской)

Кто-то уверил его, что там будто бы находится столица России, что туда стянулись интересы империи, что оттуда правят ее судьбами <...> Он был послан в мир на страдание и воплотился. Он мечтал о боге, о России, о восстановлении мировой справедливости, о защите униженных и оскорбленных и о воплощении мечты своей. Он верил и ждал, чтобы рассвело» (V, 78—79).

В очерке Коневского о русской литературе, который так и называется — «На рассвете»,— среди посвященных Достоевскому страниц Блок выделил, отчеркнув на полях, следующие строки: «Мечтами этими Достоевский далеко оставил за собой свой исторический момент и подслушал то, что слышится сквозь сон лишь некоторым душам с самого недавнего времени в Европе. У нас зато он явился преемником *забытых или нелюбимых* в его время массой русского общества величайших наших поэтических душ — *Пушкина*, *Тютчева*, отчасти — Алексея Толстого» (СП, 129 — курсивом отмечены слова, подчеркнутые Блоком).

«Очаг» — первая главка блоковского «Безвременья» — повествует о разложении культурной среды России конца XIX в., используя образ Достоевского: «Все окуталось смрадной паутиной; и тогда стало ясно, как из добрых и чистых нравов русской семьи выросла необъятная серая паучиха скуки. Стало как-то до торжественности тихо, потому что и голоса человеческие как будто запутались в паутине» (V, 67). У Коневского Блок подчеркивает: «Так проходили последние „восьмидесятые годы". Было скучно и пусто. Никогда еще, кажется, ни в одной культурной стране не водворялось такого растления поэтического вкуса» (СП, 134).

В статье «Краски и слова», написанной также в 1905 г., Блок, не называя Коневского, полемизирует с ним, приводя в качестве примера избыточности «словесных впечатлений» его восприятие живописных полотен: «Душа писателя — испорченная душа. Вот писатель увидел картину Бёклина „Лесная тишина". Девушка на единороге смотрит вдаль между стволами дерев. Для критика и писателя — взгляд девушки и единорога непременно „символичен". О нем можно сказать много умных и красивых слов. Может быть, это большая литературная заслуга, но неисправимая вина перед живописью: это значит —



ОБЛОЖКА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ И. И. КОНЕВСКОГО С ЕГО АВТОГРАФОМ
Центральный архив литературы и искусства, Москва

внести в свободную игру красок и линий свое грубое, изнурительное понимание» (V, 22).

Вспомним, что позже, в стихотворении «Когда вы стоите на моем пути...» (1908), Блок с грустью и иронией скажет так и о своей «испорченной душе»: «Ведь я — сочинитель, // Человек, называющий все по имени, отнимающий аромат у живого цветка // <...> И потому я хотел бы, // Чтобы вы влюбились в простого человека, // Который любит землю и небо // Больше, чем рифмованные и нерифмованные // Речи о земле и о небе» (II, 288—289).

В приведенной цитате из статьи «Краски и слова» Блок, несомненно, обращается к Коневскому — к отчеркнутому им отрывку из эссе «Живопись Бёклина» (СП, 160—169). Приведем отрывок в расширенном виде, выходя за границы, отмеченные Блоком, вводя строки, содержащие ключевые слова и образы, вошедшие в иные поэтические и прозаические тексты Блока: «Но в том же неустанном *веянии* мирового ветра стоит и отшельник в подпоясанной *вервием* одежде из верблюжьей кожи, что у *каменных стен* своей обители склонился над скрипкой, ища исторгнуть таящиеся в ней звуки, которого в *лиловых* облачках обступили добродушно-шаловливые фигурки маленьких ангелов. Обдувает его тот же ветер, что и удалого *витязя*, выезжающего в чистое поле на вороном *коне*, этот исполинский и одинокий облик, который отчетливо вычерчивается над песчаным поморьем, на фоне *фиалково-голубого* неба. Журчит, как далекий ручей, затаенное тихое движение, и в том таинственном полуденном „безмолвии дубравы", посреди которого медленно проезжает верхом на сказочном звере — *чернооком* единороге, какая-то юная путница. *Очи* ее такие же темные и светящиеся в сумраке, как у единорога, вся она в глубокой и прозрачной тени. А мшисто-зеленые, пестреющие переливами света и тени, прямые стволы дерев редеют: весь уголок объят неверным светом, тихим, вещим сочетанием глубокой лесной тени с лучами просвета» (СП, 162—163).

Название статьи Блока — «Краски и слова» — своеобразная полемика с Коневским, обширные отчеркивания на полях «Живописи Бёклина» (а также

привлекшее, по-видимому, внимание Блока обращение Коневского к живописи Нестерова) [55] позволяют предположить, что и замысел Блока (о красках и словах) был в какой-то мере сопряжен с именем Коневского, писавшего в «Стансах личности»: «Я обуян двумя творцами. // Один, то — демон *чудных слов*» и «до сих пор я бьюсь средь *красок*» (СП, 95—96).

Один из основных образов блоковского «Безвременья» — всадник, кружащийся на болоте, завороженный светом зеленой звезды: «Вот русская действительность — всюду, куда ни оглянешься,— даль, синева и щемящая тоска неисполнимых желаний <...> Крест поставлен и на душе, которая, вечно стремясь, каждый миг знает пределы свои. Это — бесцельное стремление *всадника* на усталом *коне*, заблудившегося ночью среди болот. Баюкает мерная поступь коня, и конь свершает круги; и, неизменно возвращаясь на то же и то же место, всадник не знает об этом, потому что нет сил различить однообразную поверхность болота. И пока ночь мирно *свивает* и *развивает* концы своих *волос-вервий*, мерно качается и кружится всадник. *Глаза его*, закинутые вверх, видят на своде небесном одну только большую зеленую звезду. И звезда движется вместе с конем. Оторвав от звезды долгий *взор* свой, всадник видит молочный туман с *фиолетовым просветом*. Точно гигантский небывалый цветок — Ночная Фиалка — смотрит в очи ему гигантским круглым взором невесты. И красота в этом взоре, и отчаянье, и счастье, какого никто на земле не знал» (V, 75). Образно-цветовое единство двух приведенных отрывков — Коневского и Блока — кажется очевидным.

Образ «заблудившегося на болоте всадника» представляет некую параллель к выделенному Блоком тексту из статьи «На рассвете» Коневского, где отчеркнуты строки о роли Льва Толстого в поисках «твердой грунтовой дороги» русской культуры: «Толстой в своем „исповедании веры" хорошо говорит, что мы *заблудились ночью* в метель в глухом лесу <...> И вот Толстой вывел людей на устойчивый, хотя и кремнистый путь своей неуклонной и прямолинейной практической деятельности. Искателей блуждающих огней, искателей таинственных откровений он покрыл презрением. Но уже в первое десятилетие толстовства то один, то другой из его последователей, нет-нет, да и уклонялся в сторону, в самую дремучую, снегом занесенную чащу леса: там померещился ему волшебный огонек. Многие и самые отважные гибли под снегом в этих отчаянных поисках <...> Но огни по сторонам разгорались все ярче и заманчивее, и открылись, наконец, некоторые из них не *болотными*, лживыми блестками, а первыми лучами *просветов* в черной стене бора, сквозь которые проскальзывал полусвет *утренней* зари» (СП, 133).

Написанное почти на год раньше, в сентябре 1904 г., стихотворение Блока «Все бежит, мы пребываем...» (II, 44) обнаруживает общность отдельных мотивов Блока и Коневского («вервии ночи») (II, 44) и «волосы-вервии» (V, 75), «отшельник, подпоясанный вервием» у «каменных стен» (СП, 162), каменные «ниши» монахов, ждущих «Утреннюю Звезду» (II, 44), «фиалково-голубое небо» (СП, 162) и «Ночная Фиалка» (V, 75), «Вечная Пряха» — «Она цвела», «Звезда пряла» (II, 44):

Все бежит, мы пребываем
Вервий ночи вьем концы
<...>
Утром сходятся монахи,
Прикрывая рясой грудь.

«Всю ли ночь молились в нишах?
Всю ли ночь текли труды?» —
Нет, отец, на светлых крышах
Ждали Утренней Звезды...»

(II, 44)

Можно предположить, что и текст поэмы «Ночная Фиалка» также содержит зашифрованные апелляции к Коневскому. Излюбленные цвета (и цветы) Коневского: «тоска по „голубом цветке" романтиков» (СП, 141); «фиалково-голубое небо» (СП, 162); «цвет фиалки небом овладел, // Барвинок — водой» (СП, 21), тема «болотных огней»,— все это, может быть, еще недостаточно для такого

предположения. Но Блок, работая над текстом поэмы, вводит в нее мотив забытой, «другой жизни», в которой «когда-то» он был храбрым героем благородного рода, жил в кругу «скандинавских владык», в «скалах, на фьордах», и заключает поэму словами:

Я у самого края земли,
Одинокий и *мудрый, как дети* . . .
(II, 34)

«Мудрое дитя» стало настолько устойчивой заменой имени Коневского, что такое совпадение не может быть случайным (не сигнальным) у Блока, тем более что оно подкреплено темой «другой», «скандинавской» жизни.

Блока, несомненно, привлекали в Коневском «скандинавские», «варяжские» корни его родословной, служившие для самого Коневского (отсюда и его псевдоним) суверенным источником, питавшим его поэтическую мифологию [56]. Чрезвычайно важная для Коневского (как и для Блока) тема предков, рода разнообразно подкрепляется в его поэзии мотивами «скандинавских», «варяжских», «шведских» героических пращуров; «Я — варяг из-за синего моря, // Но усвоил протяжный язык» («С Коневца» — СП, 36—37); «Привет вам, мужи достославных поколений, // Служители полков, служители земли!» («По праву рождения» — СП, 49—50); «В крови моей — великое боренье. // О, кто мне скажет, что в моей крови? // Там собрались былые поколенья // И хором ропщут на меня: живи!» (СП, 59—60); «Преданья предков вспоминая, // Вхожу под сумрачный намет» («Песнь изгнанника». На мотив из Калевалы — СП, 92—93); «Питал себя, растил наш род во время оно... // К струям морей и рек себя он приобщал» («Кто мы? неведомой породы переходы...» — СП, 109—110); «Герои личной гордости безмерной ⟨. . .⟩ Молюсь вам, предков дерзостные тени!» («Варяги» — СП, 117—118); «Сын Руси забывает здесь деда, // А у шведа по Руси тоска» («Среда» — СП, 119—120).

Примечательно также, что Блок, выделяя у Коневского как главенствующую, самую для себя близкую, лирическую тему обостренной «тоски по Руси», отмечает в его тексте противопоставление «русского» и «германского» начал: «Ключевая вода,— белая сорочка,— родное слово,— частый гребень,— русые кудри,— басни Крылова... Так просто и бесхитростно, что не верится, просто, как бревенчатый сруб, как краюшка черного хлеба... ⟨. . .⟩ А между тем из этого простого однотонного лада легко и незаметно могут вырасти самые проникновенные видения, как и таинственно-густо колосящаяся пшеница, переплетающаяся с васильками и колокольчиками,— из сплошь простой и явной пашни. Готвальд Гарниш говорил, что горизонт должен замыкаться горами, чтобы было что невидимое предчувствовать, а не все лежало бы открыто, как на ладони. Это — чисто германское ощущение. Между тем,— быть может, труднее,— но все же сулит еще более ценные приобретения — понимание вещего смысла именно в этой явной и открытой во все стороны простоте» («Русское утро» — СП, 221).

Это противопоставление германского русскому, рефлектирующего начала — стихии, ветру, простору входит затем в структуру «Песни судьбы», где «вспоминающий» Куликовскую битву Герман (имя, вероятно, «говорящее») ищет свой путь к России (Фаине).

В очерке Коневского «Русь» (начинающемся сравнением «силы разливной» «свободного пространства» в архитектуре русских городов со скученностью, изломанностью городов германских) Блок последовательно выделяет в тексте несомненно «гоголевские» темы: «Природа Руси — дерзкая, удалая пред лицом вселенной. Как ямщик, сидящий черт знает на чем, на своем облучке и лупящий без устали — куда попало,— напропалую, так без оглядки катает она навстречу беспредельной дали ⟨. . .⟩ Она — «односторонняя», но она и в ус себе не дует, что есть там еще какие-то другие стороны, что есть на земле не одна ширь, да гладь, да божья благодать, а есть еще горы, города и всякие

другие закорючки. Так ей положено — раскидываться без конца, без краю в пустоте: так она пойдет писать от века и до века» (СП, 192).

Гоголевские образы в поэзии Коневского, эпиграф из Гоголя [57], выделенные Блоком гоголевские мотивы его прозы, статья «Безвременье», где цитата из Коневского помещена на пересечении тем Гоголя и Достоевского (на стыке явления гоголевского «всадника на Карпатах» из «Страшной мести» и Петербурга Достоевского), позволяют допустить возможность прочтения под иным углом зрения — не только «гоголевским», как было предложено А. Белым,— стихотворения Блока «Было то в темных Карпатах...» (1913) (из цикла «О чем поет ветер»).

В книге «Мастерство Гоголя» Андрей Белый выявляет «гоголевский» подтекст стихотворения Блока, объясняя связь поэта с Гоголем темой «возмездия» рода, «властью рода-мстителя» над обоими: «„Было то в темных Карпатах...“ В каких? Стихи написаны до карпатских боев. Какие же Карпаты? Гоголевские: гора Криван, на ней всадник, жаждущий „Страшной мести“ ‹...›

Впрочем, прости... мне немного
Жутко и холодно стало...
Это — из жизни *другой* мне
Жалобный ветер донес.

Другая жизнь — образы из „С‹трашной› м‹ести›“; гоголевский „колдун“ сотрясал Б‹лока›, влезая в него ‹...› Потому и припоминание: „Было то в темных Карпатах“. Далее — стихи продолжены в иронию по адресу читателей:

Что ж? «Не общественно»? — Знаю.
Что? «Декадентство»? — Пожалуй.
Что? «Непонятно»? — Пускай.

Увы: слишком понятно; манией преследования, своею болезнью, был связан Б‹лок› с Гоголем; унылая философия родового возмездия за „отщепенство“ победила в Б‹локе›» [58].

Но, кроме гоголевской темы, в стихотворении Блока звучат мотивы, отсылающие, по-видимому, к Коневскому,— ветер и сказки, Карпаты и «декадентство», «другая жизнь» и непóнятость.

«Ветер» стал таким же неотъемлемым символом поэзии Коневского, как и определение «мудрое дитя».

Биографическая (неподписанная) вводная заметка отца поэта к «Стихам и прозе» завершается словами: «Коневской любил лес, любил *ветер*; лесу и *ветру* посвящено у него немало задушевных стихов. И его хоронили в лесу, и при чудной *ясной* погоде *бушевал* сильный *ветер*. Скромная могила осенена кленом, вязом и березой» (СП, с. XI, курсив мой.— *В. М.*). Об этом же пишет Брюсов в стихотворении «Ивану Коневскому», предваряющем издание поэмы «Лествица» А. Миропольского: «Как хорошо тебе в лесу далеком, // Где ветер и березы, вяз и клен!» [59].

Именно тему ветра выделяет у Коневского Блок в статье «О современной критике» (1907): «Современные символисты ищут простоты, того *ветра*, который так любил покойный Коневской, здорового труда и вольных дум» (V, 207).

Действительно, все творчество Коневского проникнуто убеждением, что «ветер — властелин единственный судеб» (СП, 89): «И весь свой состав предал ветру, лучам я в руки» (СП, 12); «Вдруг ветр откуда-то // Пахнул свежительный» (СП, 19), «Разыгрались буйные // Ветры многоструйные... // Ярь-хмель наливается, // Ветер надрывается» (СП, 23); «Строги игры вселенной, // То нетленной, то тленной — // Ветра вой» (СП, 24); «Гонит ветер их, погонщик их ретивый, // К отдаленным облачным горам» (СП, 24); «Ветры, волю гласящие Божью, // Совершают движения сил» (СП, 26); «...Вдруг пахнул // Беззвучный

ветр, как дух листвы» (СП, 34); «Все ветер да вода... И ясно все, и сумно» (СП, 40); «Нет удержу ветру из степи» (СП, 43); «Под шумным ветром ровное дыханье» (СП, 54); «Вольно ветры обвевали» (СП, 64); «Построил много радужных я зданий — // И ветер жизни в прах их развевал» (СП, 64); «Стремился мне ветер навстречу» (СП, 68); «Внемля ветру, облакам» (СП, 75); «Ветер влаги да нагонит!» (СП, 85); «А ветер, вздох могучий, // Свободно бдит» (СП, 86); «И ветер видел я: он был мой верный вестник... // Непонятых богов тот призрачный наместник...» (СП, 88); «Как я любил тоску бродячего Ветрила!.. // И с ветром сладостным ликуя и скорбя... // А ветр усердствовал и гнал свои моленья» (СП, 89); «О попутном поветрии молит» (СП, 94); «Так радостно осени ветры свистали... И ветры с неведомых стран налетели» (СП, 101); «Он продрог под бореньем ветров» (СП, 120).

Блок выделяет особым знаком («√») стихотворение Коневского «Осенние голоса» (I), завершающееся строкой: «Сказку, ветер, как встарь, мне скажи!» (ср. у Блока: «Жалобный ветер напел... Верь, друг мой, сказкам: я привык // Вникать в чудесный их язык... // И вместе с ветром петь» — III, 290).

В стихотворении Коневского «Издалека» строка зачина — «За мной дымятся дальние Карпаты» — как бы предвосхищает блоковскую «Было то в темных Карпатах».

Отброшенные Блоком только в последнем прижизненном издании строки: «Что ж? „Не общественно"? — Знаю. // Что? „Декадентство"? — Пожалуй. // Что? „Непонятно?" — Пускай» — определенно вызывают в памяти образ «непонятного декадента» Коневского, как, вероятно, и финал: «Все равно ведь никто не поймет, // Ни тебя не поймет, ни меня, // Ни что ветер поет // Нам, звеня» (III, 291).

Тема «жизни другой», выделенная самим Блоком, также переосмысливается и получает дополнительное звучание: «...темной думы рост // Нам в вечность перекинет мост» (III, 290).

Косвенным подтверждением высказанного предположения (о связи с Коневским блоковского «Было то в темных Карпатах...») служит еще раньше проявившееся внимание Блока к стихотворению Коневского «Издалека»: откликами на него наполнено стихотворение «Придут незаметные белые ночи...» (18 марта 1907 — II, 129). Общая для обоих стихотворений тема — умирающий герой ожидает погребения: «Брошен я в диких полях, // Здесь под кустарником... рана на ране», «Беритесь за лопаты», «Курган насыпьте», «О дайте под землю мне сгинуть» (СП, 61—62) — «И буду ждать я с лицом воздетым, // Я буду мертвый — с лицом подъятым», «Зароют,— уйдут беспокойно прочь» (II, 129). Эта общность подкреплена перекличкой образов и «ключевых» слов: «В небе уж *ястребы* вольно ширяют, // С ними ли вам совладать?», «И все мне *снились* темные *глаза*, // Что в плоть мою *вклевались*, *ядовиты*» (СП, 62) — «И душу *вытравят* белым светом. // И *бессонные птицы выклюют очи*» (II, 129); «*Рыхло*, сыро сыплется песок...» (СП, 62) — «Придут другие, *разрыхлят* глыбы» (II, 129).

Но стихотворение «Было то в темных Карпатах...»— 1913 года (и написано оно, по словам Блока, в дни, когда ему было «очень скверно» [60]), а летом 1905 г. по письмам и лирике Блока прослеживается связь с последним, предсмертным стихотворением Коневского, пронизанным «ветром восторга», упоением жизнью, «жаждой бури».

Блок отмечает стихотворение знаком «Х»:

Солнце на вершине мачты.
Мы за ним летим.
Ветр, заливистый трубач ты,
Ветра мы хотим.
<...>

Ветер, выспренний трубач ты,
Зычный голос бурь;
Солнце на вершине мачты —
Вождь наш сквозь лазурь.

(СП, 121—122)

23 мая 1905 г. в письме к Е. П. Иванову (т. е. за два дня до цитирования Коневского в письме к нему же) Блок пишет из Шахматова: «Солнце *бушует* ветром — это ясно на закате〈...〉 Говорили, будто Москва горит,— так затуманились горизонты; но это были пары и „пузыри земли", и ветер разнес их мнимые тела, как вздох» (VIII, 125—126). «Солнце, *бушующее* ветром» — явственная перекличка со стихотворением Коневского (вспомним и слова Ореуса-отца о том, что *ветер бушевал* при ясной погоде на похоронах сына).

Но удивительно другое — любимый им шекспировский образ «пузырей земли» Блок находит и у Коневского, отчеркивая на полях: «Весь состав мира превращен в слизистые ткани, отвислые сумки и *пузыри*〈...〉 Вместе все это складывается в представление об органической жизни» (СП, 180).

Отзвуки этого стихотворения Коневского о выспреннем, заливистом трубаче-ветре, о «солнце на вершине мачты» слышны в блоковских строках этих дней: «Пробежали в космах белых черной ночи *трубачи*... Кто там будет *трубачом*?» (28 мая 1905 — II, 60); «*Золотую птицу* мы увидим во сне. // Всю вчерашнюю ночь она пела *с мачты*, // А корабль уплывал к весне» (август 1905, II, 80).

Блок выделяет (знаком «√») поразительно близкое его поэтике стихотворение Коневского «Памяти встречи», и не только отмечает, но и отвечает, сохраняя его стихотворный размер:

Но снова носится бесцельно
Она по пустошам земли,
Не вняв тому, что так смертельно
К ней мчится из моей дали́.

(СП, 44)

Оставь меня в моей дали́.
Я неизменен. Я невинен.
Но темный берег так пустынен,
А в море ходят корабли.

(август 1905—II, 78)

Итак, при рассмотрении этого (далеко не полного) комплекса реминисценций из Коневского закономерно возникает естественный ряд вопросов: почему Блок так редко упоминает Коневского, почему цитаты никогда не выделяются, сближали ли современники имена двух поэтов и, наконец, почему рецензия Блока так и не была написана?

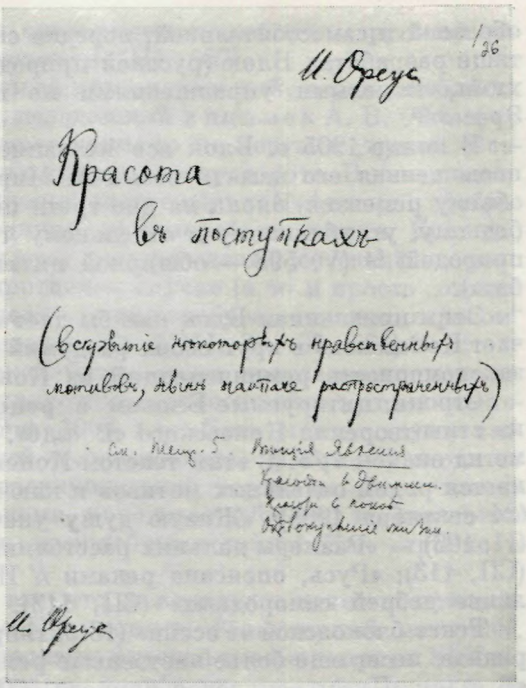
Частичным ответом на два последних вопроса является обычно не учитывавшийся фактор — время, а ведь в рассмотренные полтора-два года (1904—1906) Россия пережила Цусиму и революцию, а лично Блок — восторженную увлеченность поэзией Брюсова, отход от прежних позиций символизма и драму разрыва с А. Белым.

И возможно, именно по этим причинам (исторические события и увлечение Брюсовым) Блок не написал рецензию сразу после выхода сборника Коневского, а позже, по мере углубления в поэзию Коневского, возможно, отношения с авторским текстом становились слишком потаенными. Отметим, что имя Коневского Блок упоминает только в письмах самым близким друзьям — А. Гиппиусу, А. Белому, Е. Иванову,— как бы делясь с ними сокровенным.

Стихотворения Блока этого периода (1904—1906) вошли в сборник «Нечаянная радость» (1907), и критика неоднократно отмечала воздействие брюсовской поэтики на эту книгу. Коневской закономерно был заслонен Брюсовым, но, разумеется, не для самого Брюсова. В своей рецензии на «Нечаянную радость» Брюсов соединил имена двух поэтов: «Чувства поэта, большею частью простые и светлые, нашли себе совершенное выражение в стихах певучих и почти всегда нежных. Читая эти песни, вспоминаешь похвальбу Ив. Коневского: „Властно замкну я в жемчужины слова — смутные шорохи дум"» [61].

Отметил связь Блока и Коневского в своей неопубликованной, романтически воодушевленной статье «Жертва утренняя» (апрель 1914) начинающий тогда поэт П. Н. Зайцев: «Но восхождение могло свершиться лишь чрез очищение смертью и самоотречением. Аполлон потребовал „священной жертвы", и стал жертвой Ив. Коневской〈...〉 у Коневского есть в истории странный, таинственный прообраз, хотя, б〈ыть〉 м〈ожет〉, меньшего объема,— это Дм. Ве-

невитинов, юноша-поэт, смерть которого оплакивал сам Пушкин. И как Веневитинов, умирая, являл миру Лермонтова, еще мальчика, но пред которым, однако, предносилось уже виденье Демона, так и Ив. Коневской оставлял по себе Симфонии и Стихи из „Золота в лазури“ А. Белого и „Стихи о Прекрасной Даме“ Блока. К этому же времени относится сближение Вяч. Иванова с символистами. И сам Вяч. Иванов в некоторых отношениях близко соприкасался с Коневским, приводя к согласному ладу не успевшие найти форму образы последнего и величайшим правом оспаривая у других принадлежавшие Коневскому права и обязательства к Символизму, как вождя и учителя ⟨...⟩ В символической поэзии можно проследить влияние Коневского полосами, местами, например, внутренняя преемственность от Коневского видна во многих произведениях „Нечаянной радости“ Блока, который соприкасается порой с Коневским⟨больше⟩, чем Вяч. Иванов. Но у Блока нет крепости, нет и властного утверждения своей личности. В его поэзии в целом отсутствует фокус, которым так сильна поэзия Коневского. Его лады звучат и в других поэтах. Но вся сила его поэзии, ее влияние — в будущем. Как Тютчева — Коневского не хотят помнить теперь. И это почти хороший, радующий признак: еще не пришло его время. Но с тем большей радостью, с тем большей любовью придут к нему⟨...⟩ Героические времена русского символизма знают своего Роланда, *предсмертно трубящего* в рог, и своего Петра Пустынника. Эти рыцари, эти герои — Ив. Коневской и Ал. Добролюбов. И они, а в особенности Коневской, вызовут новое движение, воспитают новых людей на высокие подвиги. Тогда по достоинству будут оценены их жертвы. И тогда станет известно, что Коневской не только „мудрое дитя“, но и муж высоких деяний» [62].



ПЕРВАЯ СТРАНИЦА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ И. И. КОНЕВСКОГО
Центральный архив литературы и искусства, Москва

Сопоставление Блока и Коневского находим и у Г. Чулкова, отметившего в статье «Снежная дева»: «Пусть развеется метель, и на родных полях увидит он ⟨Блок⟩ преображенное лицо. Это — Русь. Иван Коневской сказал: „Великая задача — преодолеть уныние русских просторов, полей и далей, ибо и солнце над ними безотрадно, как улыбка на устах мертвеца“. И сам Александр Блок сумел же написать свою „Осеннюю волю“ ⟨...⟩

В „Осенней воле“ поэт преодолевает „уныние русских просторов, полей и далей“. Здесь нет славянофильской Руси, что бы ни думал сам поэт. Здесь есть пушкинское „от стихийно-родного к всемирному“. «Нищий, распевающий псалмы» — сколько здесь мучительной любви к бродяжничеству! По слову Ивана Коневского, „Русь — пустыня“. Наше последнее крещение всегда в пустыне, а для русских, конечно, в северной пустыне⟨...⟩ Безответственный лирик обращает свое лицо к народу, предчувствуя в новом союзе осуществление своей мечты о земле» [63].

Не менее, чем восторженный гимн Коневскому П. Зайцева, показательно более позднее высказывание П. Перцова, сблизившего Блока и Коневского: «Трудно сказать, насколько он был талантлив. В его поэзии, несомненно свое-

образной и самостоятельной, нередко сквозят мотивы, которые после так блестяще разработал Блок (русской природы, русской истории), но над этими сухими, тяжелыми упражнениями не пронеслось дуновения животворящего Эроса» [64].

В конце 1905 г. Блок все же написал о Коневском — поводом послужила посвященная его памяти поэма А. Миропольского «Лествица». Небольшая по объему рецензия Блока на две трети посвящена Коневскому, его «совсем особенному, углубленному и отдельному чувству связи со своей страной и своей природой» [65] (V, 598 — обширной цитатой из этой рецензии начата наша работа).

Этим признанием Блок как бы дает «ключ к шифру» — он осознанно включает Коневского в круг своих раздумий о судьбе России и как бы обосновывает закономерность реминисценций из Коневского в своей гражданской лирике.

Строки, цитируемые Блоком в рецензии,— «размеры дальних расстояний» из стихотворения Коневского «В езде», которое в «Стихах и прозе» Блок пометил знаком «√». С этим текстом Коневского (а также с «Ведунами») перекликается рядом отдельных мотивов и ключевых слов стихотворение Блока «Русь» (24 сентября 1906): «Живую душу укачала // Русь, на своих просторах ты» (II, 106) — «Размеры дальних расстояний // Мне зрим ваш белоснежный смысл» (СП, 113); «Русь, опоясана реками // И дебрями окружена» (II, 106) — «Величье дебрей самородных» (СП, 113).

Текст блоковской «России» (18 октября 1908), особенно в первопечатном варианте, несет еще более явственные реминисценции стихотворения Коневского «В езде»: «Пусть оскуделая природа // О близкой гибели твердит» (III, 590) — «Пускай леса порою тощи // Мелеет полный гул дубрав» (СП,113); «Там угля каменного копи, // Там драгоценных камней тьма» (III, 590) «Сулишь ты горы золотые, // Ты дразнишь дивным мраком недр, // Россия, нищая Россия, // Обетованный край твой щедр!» (III, 590) — «В пустынях разрастутся рощи, // Земля насытит вволю нрав, // Величье дебрей самородных// Восстанет в рощенной красе» (СП, 113).

Написанное 12 декабря 1913 г. (напомним, что это и время создания «Было то в темных Карпатах...») стихотворение Блока «Новая Америка» объединяет эти мотивы, вовлекая в свою сферу «Среду» Коневского, отмеченную Блоком знаком «√» и трижды цитированную им. К тому же ритмико-синтаксический строй и лексические переклички «Новой Америки» со «Средой» отсылают к Коневскому: «За снегами, лесами, степями // Твоего мне не видно лица» (III, 268) — «Меж озерами, морем, реками // Он продрог под бореньем ветров» (СП, 120); «Не в богатом покоишься гробе // Ты, убогая финская Русь» (III, 268) — «Здесь заглохли и выдохлись финны» (СП, 119). Вспомним: «И финская Русь была воспринята им ⟨Коневским⟩ сильно, уверенно» (V, 599).

В «Новой Америке» внятно проступает ряд мотивов и образов Блока, связанных с его циклом «На поле Куликовом», создание которого датируется июнем, июлем, декабрем 1908 г. (отметим, что в октябре 1908 г. написана «Россия»). «А уж там, за рекой полноводной, // Где пригнулись к земле ковыли» (III, 269) — «...Пригнулись к земле ковыли. Опять за туманной рекою» (III, 251); «Путь степной — без конца, без исхода» (III, 269) — «Наш путь — степной, наш путь — в тоске безбрежной» (III, 249).

Итак, мы вступаем в область сближения Блока с Коневским на уровне замысла и создания исторического цикла «На поле Куликовом». В рамках нашей работы нет ни необходимости, ни возможности даже для простого перечисления многообразного ряда работ, посвященных изучению литературного контекста «На поле Куликовом». В нашу задачу входило выяснить, выделить вопрос о влиянии Коневского из широкого литературного фона.

Исследователи отмечают: «Оценивая историю с символической точки зрения, Блок мыслил Куликовскую битву как прообраз современной ему ситуации, в которой роли главных действующих лиц отводились им народу и интеллигенции» [66]. «Куликовская битва,— поясняет Блок в автокомментарии к циклу,—

принадлежит, по убеждению автора, к символическим событиям русской истории. Таким событиям суждено возвращение» (III, 587).

Имя Коневского Блок вовлекает в самый первоначальный, зарождающийся, но уже четкий набросок этой концепции, изложенный в письме к А. В. Гиппиусу 23 июля 1902 (!) г.: «В воздухе-то дрожат какие-то не мертвые „трели". Вселенский голос плачет о прошлом покое и о грядущем перевороте. В нем и сожаление и желание. Неужели плеяда гибнущих застрельщиков (Антоний, Добролюбов, Ореус, Эрлих!) не говорит о границе, до которой мы дошли. Если да, то что же остается, как не броситься в этот „черный день" „со скал"— в дело (в битву, на „брань народов"). Или, в противном случае (а то и просто „отойдя в сторону", как Мамай с Куликовского поля), „станем добрее, станем со страхом" и „всякое ныне житейское отложим попечение"» (VIII, 36—37, 561) [67].

В развернутом виде тема Куликовской битвы, тема противостояния представлена в статье Блока «Народ и интеллигенция», относящейся к тому же периоду, что и создание цикла,— ноябрю 1908 г.: «Есть между двумя станами — между народом и интеллигенцией — некая черта, на которой сходятся и сговариваются те и другие. Такой соединительной черты не было между русскими и татарами, между двумя станами, явно враждебными; но как тонка эта нынешняя черта — между станами, враждебными тайно! Как странно и необычно схождение на ней!».

И, вероятно, есть закономерность в том, что, используя в качестве источников, легших в основу цикла «На поле Куликовом», фольклорный материал, древнерусскую книжную словесность, традиции русской поэзии и прозы XIX в., Блок обращается и к поэзии Коневского, погибшего «застрельщика», «*до боли* возлюбившего» Россию (V, 599), для которого родная страна «в размахе Думы — Русь, размер без измеренья» (СП, 115).

В поэтическом наследии Коневского легко выделяется (иногда по отчеркиваниям Блока) героический, архаизированный пласт, вероятно воспринятый и усвоенный лирикой Блока: «Стезя войны грозна и безотрадна. // Стезя весны шумлива и буйна» [68] (отчеркнуто Блоком — СП, 39) — «Ярость песни о весне, заре и сече» (о Коневском — V, 599); «Тебе, несущему из сечи // На острие копья — весну» (II, 115); «Идет война, гуляет мор // Страстей, страданий, страхов шалых, // Любви и гнева древний спор» (СП, 112) — «Идут века, шумит война, // Встает мятеж, горят деревни, // А ты все та ж, моя страна, // В красе заплаканной и древней» (III, 281); «В дали степей еще сеча гуляет» (СП, 24) — «Я слушаю рокоты сечи» (III, 252); «А с земли ковыль широкий шум доносит» (СП, 24) — «Пригнулись к земле ковыли» (III, 251; 269); «Носится коней табун шальной» (СП, 24) — «Умчались ... степных кобылиц табуны» (III, 252); «Летит, летит степная кобылица и мнет ковыль» (III, 249); «Нет удержу ветру из степи... Последние Руси оплоты... Чу, близится вражий обоз» (СП, 43) — «В ночь, когда Мамай залег с ордою, // Степи и мосты» (III, 250); «Куда ни взглянешь — нагие степи // И стаи хищные карих птиц» (СП, 90) — «И, чертя круги, ночные птицы // Реяли вдали» (III, 251); «В тебе был сизокрыл-орел, был *волк* сёдой» (СП, 115) — «И я с вековою тоскою, // Как *волк* под ущербной луной, // Не знаю, что делать с собою, // Куда мне *лететь* за тобой!» (III, 252); «Нет, погоди! Вот я на земь кинусь. // Шепну ей слово, мой зов на бой» (СП, 90), «В его груди, зовущей в бой» (СП, 96), «Зовем на бой!» (СП, 38) — «И вечный бой!» (III, 249).

В поэзии и прозе Коневского Блок выделяет и издавна владевшую им тему «нарастающего гула», окончательно оформившуюся в «Народе и интеллигенции»: «Среди сотен тысяч происходит торопливое брожение, непрестанная смена направлений, настроений, боевых знамен. Над городами стоит *гул*, в котором не разобраться и опытному *слуху*; такой гул, какой стоял над татарским станом в ночь перед Куликовской битвой, как говорит сказание ⟨...⟩ Среди десятка миллионов царствуют как будто сон и тишина. Но и над станом Дмитрия Донского стояла тишина; однако заплакал воевода Боброк, *припав ухом к земле*: он услышал, как неутешно плачет вдовица, как мать бьется о

стремя сына. Над русским станом полыхала далекая и зловещая зарница ⟨...⟩ Но этот сон ⟨России⟩ кончается; тишина сменяется отдаленным и возрастающим гулом, непохожим на смешанный городской гул ⟨...⟩ Тот гул, который возрастает так быстро, что с каждым годом мы слышим его ясней и ясней, и есть «чудный звон» колокольчика тройки. Что, если тройка, вокруг которой «гремит и становится ветром разорванный воздух»,— *летит прямо на нас*? Бросаясь к народу, мы бросаемся прямо под ноги бешеной тройке, на верную гибель» (V, 323, 327—328).

В книге Коневского стихотворение под названием «Гул» (имевшее заглавие «Ропот рока») Блоком не отмечено, но знаком «√» выделены «Взрывы вод», заканчивающиеся строкой: «И гулом захлебнулся дух» (СП, 110—111). Блок подчеркивает в комментарии «Стихов и прозы» Коневского вариант этой строки, более близкий ему: «И *гулом* захлебнулся *слух*» (СП, 244).

Но наиболее убедительно иллюстрирует обращение Блока к поэзии Коневского стихотворение «Река раскинулась...» (III, 249—250) — первое стихотворение цикла «На поле Куликовом», связанное явными реминисценциями (цитаты, мотивы, образы, стихотворный размер) со стихотворением Коневского «В роды и роды» (СП, 37—38): «И ночь сходила, лунная нагая. // А все кругом — куда ни взглянешь — даль. // И свалятся в пески, изнемогая... // Луна — как сталь!» (СП, 37) — «Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами // Степную даль. // В степном дыму блеснет святое знамя // И ханской сабли сталь...» (III, 249); «Так снова в стремена! Необоримых // Зовем на бой!» (СП, 38) — «И вечный бой! Покой нам только снится» (III, 249); «Хоть не было конца пути степному» (СП, 37) — «Наш путь степной, наш путь в тоске безбрежной!», «И нет конца!» (III, 249).

Так как в этом стихотворении Коневского сконцентрированы темы, мотивы и образы, вошедшие в цикл Блока «На поле Куликовом» и освещавшиеся в исследовательской литературе, приведем текст «В роды и роды» полностью:

Где вы, колена с соколиным оком,
Которым проницалась даль небес,—
Те, что носились в пламени глубоком
Степей, как бес?

Махал над ними смуглыми крылами
Он, бес лихой полуденной поры.
Раскидывал над тягостными днями
Их он шатры.

И ночь сходила, лунная, нагая.
А все кругом — куда ни взглянешь — даль.
И свалятся в пески, изнемогая...
Луна — как сталь!

Хоть не было конца пути степному,
Порой им зрелась в воздухе мета.
И стлалась ширь, и к мареву цветному
Влеклась мечта.

С коней срываясь, приникали ухом
Они к земле, дрожавшей под конем.
И внятен был им, как подземным духам,
Рок день за днем.

Им слышалось нашествие незримых
Дружин за гранью глади голубой.
Так снова в стремена! Необоримых
Зовем на бой!

Сходились в полдень призрачные рати.
Далече разносился бранный гром.
А к вечеру уж нет безумных братий:
Уж — за бугром!

Яснее дня был взор их соколиный,
И не напрасно воля их звала.
Примчалися ли буйною былиной
Во град из злата и стекла?

(СП, 37—38)

В рассмотренный исследователями обширный комплекс возможных литературных источников цикла «На поле Куликовом» следует, на наш взгляд, включить и стихотворение Коневского.

В частности, суждение о намеренной противоречивости пейзажа в цикле («...степь, где „грустят стога“, совсем не та степь, где растет ковыль ⟨...⟩ тоска-печаль северного поля вливается в тоску-страсть южных степей» [69]) можно дополнить указанием на Коневского как предшественника Блока, на его подчеркнутое противопоставление северного «безотрадного бессловесного края»

(СП, 28) южным ковыльным степям («степи ровной и прямой, // Где просто все и наяву» — СП, 30). «Идея внутренней связи России и татар, столь очевидная в „Скифах“» [70], перекликается с темой Коневского, темой «братства» воюющих станов. Обращение к «Слову о полку Игореве» находим и у Коневского («Уж — за бугром!») [71]. Тема «слушания земли», рано привлекшая внимание Блока, вошедшая в его поэзию и статьи (см., например, цитировавшийся отрывок из статьи «Народ и интеллигенция»), звучит неоднократно в творчестве Коневского, и в частности в рассматриваемом стихотворении («С коней срываясь, приникали ухом // Они к земле...» — СП, 38). И безусловную отсылку к Коневскому несет ритмико-метрическое строение блоковского «Река раскинулась...»: чередование пятистопных и двухстопных ямбов, как и в стихотворении «В роды и роды» Коневского, который, в свою очередь, развивал традицию Баратынского, А. К. Толстого и Вл. Соловьева [72].

Но, вероятно, особенно привлекла внимание Блока в этом стихотворении основная, неизменная, «пушкинская» и наиболее близкая Блоку тема Коневского — «зов на бой», «упоение в бою», «страсть движения все вперед и далее» к нравственному очищению, стремление к подвигу духа, к «недостижимой цели». Подробным изложением этой темы оказываются слова самого Коневского, подчеркнутые Блоком в тексте, отмеченные значком «№», отчеркнутые на полях еще в альманахе «Северные цветы на 1902 год» в статье Коневского «Мировоззрение поэзии Н. Ф. Щербины» (не вошедшей в «Стихи и прозу»): «Но в том, что идеи и прообразы вещей и самая великая целостная их душа не пребывает никогда только здесь или только теперь, а вдруг и здесь, и там, и теперь, и тогда, во множестве мест и мигов зараз,— заложен залог, завет и зарок неудержимого и непрестанного новообразования этих душ, а для человеческого лица — участь погони за этими событиями в виде поступательного движения или шествия. Чтобы соприкоснуться со всеми разными родами и видами бытия, приходится представлять их во времени, в отдельности и по очереди. Отсюда возникает страсть движения все вперед и далее, стремление выступать из своей точки и мига, все ради объединения, объятия со всей полнотой и богатством бытия, ради его всецелого познания и создания ⟨...⟩ Тогда величайшая сумма бытия — «счастье», т. е. всеобъемлющее познание и любовь, внезапно отодвигается, отвергается в неизмеримую даль и глубь, и вся мировая жизнь делается подвиг, борьба, страдание за недостижимую цель. И является возможность таких дум о судьбе:

Я убежден: есть счастие одно,
Высокое, далекое, прямое, —
Вместить в себе той истины зерно,
Что облеклось в созданье мировое.
Как человек, могу его искать.
Как он, я не могу им насладиться.
Но сладко жить, отрадно мне страдать
Лишь для того, чтобы к нему стремиться» [73].

В творчестве Коневского Блока привлекла, вероятно, именно его незавершенность, то, что оно представляло лишь «фундамент неосуществленного храма» (по слову Брюсова) и как бы взывало к продолжению, развитию. В начале 1908 г. Блок написал строки, которые дают возможность такого истолкования, раскрывают его отношение к творческому наследованию, поэтической преемственности. А слово «бушующее», ставшее здесь ключевым, позволяет думать, что строки эти подсказаны и воспоминаниями о Коневском:

Забавно жить! Забавно знать,
Что под луной ничто не ново!
Что мертвому дано рождать
Бушующее жизнью слово!

(II, 287)

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Эта характеристика поэзии И. Коневского была дана Блоком в рецензии на сб. А. Миропольского «Ведьма. Лествица» (М., 1905).— «Золотое руно», 1906, № 1, с. 91. Все приведенные цитаты — из сб.: И. Коневской. Стихи и проза. М., «Скорпион», 1904 (далее СП, арабскими цифрами — страницы). «Размеры дальних расстояний» — из стихотворения «В езде» (с. 113); «не земля, а так — одна зыбь...» и «распутье народов» — эпиграф и цитата из стихотворения «Среда» (с. 119). В. Н. Орлов в своей книге «Поэт и город. Александр Блок и Петербург» (Л., 1980, с. 46; ср. также в его книге «Гамаюн». Л., 1980, с. 223) цитирует приведенные слова Блока с оговоркой: «Замечание необыкновенно важное (конечно, более для понимания умонастроения самого Блока, нежели для характеристики Коневского)». Трудно согласиться с этим замечанием — в цитируемом тексте идет речь не только об отношении Блока к «любимому городу» и финской Руси, здесь Блок определяет отношение к Петербургу и России прежде всего Коневского, а затем уже, разумеется, и свое.

[2] Из письма Блока к С. М. Соловьеву от 20 декабря 1903 г., где эта характеристика относится к поэзии Вл. Соловьева.

[3] На I Всесоюзной (III) конференции «Творчество А. Блока и русская культура XX века», состоявшейся в Тарту в 1975 г., З. Г. Минц сделала сообщение о «забытом поэте И. Коневском».— «Вопр. лит.», 1975, № 9, с. 309.

[4] См.: И. И. Ореус. Описание Венгерской войны 1849 года. СПб., 1880, а также отдельные его статьи в «Русской старине» за различные годы (точные названия — в некрологической заметке: «Исторический вестник», 1909, № 7, с. 381 и в брошюре: М. Будагов. Памяти И. И. Ореуса. СПб., 1910).

[5] Все литературное наследие И. Коневского (в том числе и переводы) сосредоточено главным образом в ЦГАЛИ (ф. 259) и частично в фонде В. Брюсова в ГБЛ (ф. 386). Единственный опубликованный перевод см. в сб. «Золотое перо» (М., 1974), составленном Г. Ратгаузом.

[6] В письме к В. Брюсову от 31 января 1900 г. Коневской сообщал о том, что он для Москвы «передал в книжную торговлю „Нового времени“ десять экземпляров» (ИМЛИ, ф. 13, оп. 3, ед. хр. 13). В письме к Брюсову от 13 октября 1901 г. И. И. Ореус-отец предложил передать для тех «немногих», кто интересуется поэзией Коневского, его сборник «Мечты и думы», и «безвозмездно», так как у него «осталось еще с лишком 200 экземпляров» книги сына.

[7] В. Брюсов. Собр. соч. М., 1975, т. 2, с. 63—64.

[8] Сохранилась обширная переписка (62 письма) Брюсова с Коневским. См. публикацию (с сокращениями) 4 писем Брюсова к Коневскому в сб.: «В. Брюсов и литература конца XIX — начала XX в.». Ставрополь, 1979. О взаимоотношениях поэтов см. также: А. Паркис, Р. Тименчик. Эпизод из жизни Валерия Брюсова.— «Даугава», 1983, № 5, с. 113—116.

[9] В. Брюсов был редактором, составителем, комментатором и автором вступительной статьи выпущенного издательством «Скорпион» сборника И. Коневского «Стихи и проза» (М., 1904).

[10] Валерий Брюсов. Дневники. 1891—1910. ⟨М.⟩, 1927, с. 78.

[11] Письмо к А. А. Шестеркиной от 15 августа 1901 г.— ЛН, т. 85, с. 646—647.

[12] П. П. Перцов в своих мемуарах даже называет этих поэтов «сиамской парой» (П. Перцов. Литературные воспоминания. 1890—1902 гг. М.— Л., 1933, с. 228).

[13] Е. Аничков. Новейшая русская поэзия. Берлин, 1923, с. 19; см. также в документальной повести А. Нинова «Так жили поэты».— «Нева», 1978, № 6, с. 91.

[14] Из последних работ об А. Добролюбове укажем: К. М. Азадовский. Блок и А. М. Добролюбов.— В сб.: Тезисы I Всесоюзной (III) конференции «Творчество А. Блока и русская культура XX века». Тарту, 1975, с. 96—102; он же. Путь Александра Добролюбова.— «Блоковский сб.», 3, с. 121—146; Е. Иванова. Один из «темных» визитеров.— «Прометей», вып. 12. М., 1980, с. 303—312; она же. Валерий Брюсов и Александр Добролюбов.— «Изв. АН СССР. Серия литературы и языка», т. XL, № 3, М., 1981, с. 255—265.

[15] В настоящей работе дается обзор основных рецензий, статей и воспоминаний, посвященных Коневскому, а также значительных упоминаний о нем в отдельных статьях. Попутно отметим и другие критические отзывы, не указанные в данной работе: Д. Шестаков. «Мечты и Думы» Ив. Коневского. СПб., 1900 (рец.).— «Торгово-промышленная газета» (лит. приложение), СПб., 1900, № 5; А. Смирнов. Поэт бесплотия.— «Мир искусства», 1904, № 4; Н. П. Ашешов. И. Коневской. Стихи и проза. М., 1904 (рец.).— «Образование», 1904, № 3, отд. III, с. 136; Ник. Матв. Соколов. И. Коневской. Стихи и проза. СПб., 1904 (рец.).— «Русский вестник», 1904, № 6, с. 739—742; рец. без подписи в «Русской мысли», 1904, № 6, отд. III, с. 172.

[16] Впервые статья В. Брюсова «Мудрое дитя (Памяти Ив. Коневского)» была напечатана в «Мире искусства», 1901, № 8—9, с. 136—139. В измененном и расширенном виде она в качестве предисловия вошла в сб. И. Коневского «Стихи и проза» (1904), впоследствии перепечатана (в сокращенной редакции) в антологии «Книга о русских поэтах последнего десятилетия» (СПб.— М., ⟨1909⟩, с. 103—107), изданной под редакцией М. Гофмана, и в кн. В. Брюсова «Далекие и близкие» (СПб., 1912) и, наконец, в значительно расширенной редакции в «Русской литературе XX в.» под редакцией С. А. Венгерова (т. III, вып. VIII. М., ⟨1918⟩). См. также антисимволистскую рецензию Д. Бедного «Литературные приказчики» на антологию

М. Гофмана, где, в частности, упомянута статья Брюсова о Коневском.— Д. Бедный. Собр. соч., т. 8. М., 1965, с. 261—268 (напечатано впервые в этом издании).

[17] Н. Поярков. Иван Коневской.— В его кн.: Поэты наших дней. Критические этюды. М., 1907, с. 91—98.

[18] Эта роль Брюсова, например, нашла отражение в его переписке с Н. О. Лернером. Еще в 1901 г. Лернер, познакомившись со стихами Коневского по сб. «Северные цветы», резко отрицательно отзывается о них в письмах к Брюсову. Эти уничижительные оценки вызвали отповедь Брюсова: «Вам, зная, как мне дорог хотя бы Ив. Коневской, незачем было в письме ко мне глумиться над ним. Скажите о новой поэзии: „Она мне не нужна, я ее не понимаю“, и я не стану возражать Вам. Но когда вы объявляете всех молодых поэтов шарлатанами, я обязан вступиться и сказать Вам, что говорить так — легкомысленно» (ЦГАЛИ, ф. 300, оп. 1, ед. хр. 90, л. 10). Впоследствии, не без влияния Брюсова, Лернер изменил отношение к Коневскому и после выхода «скорпионовского» сборника написал о нем статью; см. в его письме к Брюсову от 8 мая 1904 г.: «Теперь я вынужден расписаться в своей прежней дерзости. Мне стыдно и больно за мои прежние (3 года назад) слова о Коневском. Я тогда еще не дорос до него. А теперь — теперь я читаю его как близкое, родное. Как понял он Пушкина, *моего* Пушкина, золотого Пушкина! Я прочитал о Пушкине совершенно то же, что у меня — в моей работе о русск⟨их⟩ поэтах-символистах ⟨...⟩ Многие стихи его я сразу запоминаю наизусть. Экий он был свежий, молодой, еще „зеленый“, к⟨ак⟩ весенний клейкий листик. И многое в нем было: мудрость старца и joie de vive * ребенка. И рефлекс у него хороший, не затхлый, не отравленный. „Дебри“, „Утренний привет“, „Откуда силы воли странные“ — прелесть; особенно прекрасно „Памяти встречи“ ⟨...⟩ вечная трагедия, трагедия глухоты ближнего, к⟨ак⟩ бы ни был он чуток, к голосу, несущемуся „из моей дали“ ⟨...⟩ Мне просто совестно и стыдно, стыдно, стыдно. И недостатки его формы мне понятны: старые трафаретные выражения не годятся ⟨...⟩ а новые способы создаются не сразу: их куют века (пока не отбросят *новые* люди)» (ГБЛ, ф. 386, к. 92, ед. хр. 14, л. 29—29 об.). При непосредственном ходатайстве Брюсова статья Лернера о Коневском и была напечатана. В письме к Лернеру от 25 июля 1907 г. он сетовал: «Жаль, что Вы не сообщили мне раньше о Вашей статье о Ив. Коневском. Я бы непременно устроил ее в сборник М. Гофмана, так как сам туда новой не написал, а дал свою прежнюю. Боюсь, что теперь уже поздно. На всякий случай напишите» (ЦГАЛИ, ф. 300, оп. 1, ед. хр. 90, л. 70).

[19] Н. Лернер. Иван Коневской.— Книга о русских поэтах последнего десятилетия. СПб., 1909, с. 124.

[20] Е. Аничков. Новая русская поэзия. Берлин, 1923, с. 10. Интересно, что Е. В. Аничков находился с Коневским в родстве — по матери поэта Елизавете Ивановне Ореус, урожд. Аничковой (ум. в 1891 г.) (сведениями об их личном знакомстве мы не располагаем).

[21] Там же, с. 20.

[22] Д. Святополк-Мирский. Валерий Яковлевич Брюсов.— «Современные записки», Париж, т. XXII, 1924, с. 421.

[23] См. прим. 15. В ноябре 1921 г. петроградский Дом литераторов объявил литературный конкурс на критические работы о современной литературе. Среди работ, присланных на конкурс, была статья о Коневском Г. А. Альмендингена, оставшаяся неизданной (текста этой статьи обнаружить не удалось). См. об этом: Г. А. Альмендинген. Краткое описание прожитой жизни.— ИРЛИ, Р I, оп. 1, № 98. См. о конкурсе в заметке «Летопись Дома литераторов», 1921, № 1, 1 ноября, с. 6 (автор статьи о Коневском не указан). Имеются сведения, что о Коневском написал работу поэт и критик А. К. Горский (Горностаев), в конце 1918 — начале 1919 г. он выступил с докладом о Коневском в одесском литературном кружке «Среда» («Одесский листок», 1919, № 142, 10(23) октября).

[24] Вяч. Иванов в переписке с Брюсовым высказывал желание написать статью о Коневском. О замысле Городецкого Вяч. Иванов сообщает в письме к Л. Д. Зиновьевой-Аннибал от 20 июля 1906 г.: «По Городецкому, Коневской (он пишет о нем статью) погиб потому, что родился в такую полосу (род⟨ился⟩ он в 1877 г.) и что все это осуждено на гибель. Погибшими считает он и Андрея Белого, и Блока. Валерий ⟨Брюсов⟩ в его глазах «кончает», хотя он и не того поколения, а более раннего, живучего.— Я для него, конечно, любимый maestro — и только» (ЛН, т. 92, кн. 3, с. 248). Примечательно, что и у самого Коневского имеются рассуждения и попытки вывести закономерность «талантливости» и различие умонастроений писателей и поэтов XIX в. в зависимости от их годов рождений (ЦГАЛИ, ф. 259, оп. 3, ед. хр. 4, л. 25—25 об.). М. Я. Шик в письме к Брюсову от 1 августа 1903 г. сообщает план задуманной книги о новейшей русской литературе, где должна быть глава о «появлении новых личностей (Добролюбов и Коневской)» (ЛН, т. 92, кн. 3, с. 204). В. И. Нарбут запрашивает Брюсова в письме от 8 ноября 1911 г.: «Не взяли бы Вы у меня статьи (бо́льше — биографической) „И. И. Коневской“? При составлении ее (она еще не совсем закончена) в мои руки случайно попали новые данные, относящиеся, главным образом, к *характеристике* этого юноши-поэта. Упомяну, что в статью вошло и несколько *стихотворений последнего периода жизни Ореуса*. В сборнике изд⟨ательства⟩ „Скорпион“ их нет ⟨...⟩ Или, быть может, лучше издать *отдельно*, книжкой (2—3 листа) — „И. И. Коневской“?» (ГБЛ, ф. 386, к. 96, ед. хр. 1). См. об этом также во вступлении Л. Черткова к кн.: В. Нарбут. Избранные стихи. Париж, 1983, с. 10—11. В письме В. Нарбута, вероятно, идет речь о материалах

* Жизнерадостность *(франц.)*.

И. Коневского, хранившихся в семье его друга — художника И. Я. Билибина, с которым был близко знаком В. Нарбут. Статья его о Коневском, вероятно, так и не была написана. И наконец, в письмах к П. Перцову в 1903 г. Блок несколько раз упоминает о том, что намерен написать рецензию на выходящий в «Скорпионе» сборник Коневского.

[25] Архив Н. Л. Степанова. См. в «Приложении» его статью «Иван Коневской. Поэт мысли». Пользуемся возможностью поблагодарить его вдову — Лидию Константиновну Степанову за любезно предоставленные в наше распоряжение материалы его архива.

[26] См.: Вяч. Иванов. Собр. соч., т. 2. Брюссель, 1974, с. 757—758.

[27] ЛН, т. 85, с. 446—447. С этим же письмом Брюсов послал Вяч. Иванову рецензию (в комментарии отмечено, что она не обнаружена) на «скорпионовский» сборник Коневского. Рецензия написана в «импрессионистской» манере и появилась под псевдонимом С. Крымский — «Неизвестный поэт» («Семья», 1904, № 6, 8 февраля, с. 11). Автор пишет, говоря об «архаичности» языка поэта: «В этом отношении Коневской несколько напоминает другого, также мало известного, но весьма оригинального поэта Вячеслава Иванова <...> Такие поэты, как Брюсов, Коневской, Вячеслав Иванов и др., вносят в застывшие воды поэзии свежее дыхание новых форм и открывают для будущих поколений новые пути в области русского стихотворного творчества». По всей видимости, автором этой рецензии был журналист, а впоследствии известный театральный критик С. Г. Кара-Мурза (1880—1953). Через девять лет после рецензии С. Крымского С. Г. Кара-Мурза под псевдонимом «Саддукей» напечатал статью «Декаденты первого призыва (10-летие „Грифа“)» («Московская газета», 1913, № 245), наполовину посвященную Коневскому (не имевшему, разумеется, никакого отношения к «Грифу»), и рассказал в ней о посещении могилы поэта в Зегевольде. Эта статья схожа с рецензией С. Крымского не только тематически и стилистически (совпадением, например, одних и тех же клише и цитированием одних и тех же строк Коневского), но и родством «восточных» псевдонимов. С. Крымскому принадлежит также один из самых первых отзывов о Блоке, ранее не учтенных библиографами («Гриф» — «Семья», 1904, № 9, 29 февраля, с. 8—9).

[28] С. Маковский. На Парнасе «Серебряного века». Мюнхен, 1962, с. 181. Замечание С. Маковского об «ошибках» Коневского: «Может быть, Коневской больше мыслитель, чем поэт? Рядом с проблесками гениальности в его поэзии много выраженного нечетко, наивно-замысловато: он любил славянизмы, употреблял усеченные прилагательные, у него не редкость неудачные словесные выдумки, попросту ошибки». О подобных характерных упреках по адресу поэтов-символистов, и в частности Блока, см.: О. Г. Ревзина. Грамматические «ошибки» Блока.— «Сборник статей по вторичным моделирующим системам». Тарту, 1973, с. 158.

[29] Примечательно, что, размышляя о силе личности своего учителя, о власти его «воинственных и пламенных оценок», Мандельштам независимо от Блока (назвавшего в 1902 г. Добролюбова «главой лапососания» — ЗК, 43) употребляет по отношению к Гиппиусу, спячка которого, по его словам, «была литературным протестом», тот же образ: «Неужели литература — медведь, сосущий свою лапу,— тяжелый сон после службы на кабинетной тахте? Я приходил к нему разбудить зверя литературы» (О. Мандельштам. Шум времени. Л., 1925, с. 81).

[30] Там же, с. 82. См. также стихотворение Коневского «С Коневца» (СП, 36—37).

[31] О. Мандельштам. Стихотворения. Л., 1974, с. 131.

[32] О. Мандельштам. Шум времени, с. 56.

[33] Мандельштамовская строка «кровь-строительница хлещет...» как реминисценция из Коневского отмечена в кн.: O. Ronen. Approach to Mandel'stam. The Magness press, 1983, p. 153; см. также p. 240.

[34] О. Мандельштам. Стихотворения, с. 153.

[35] О. Мандельштам. Шум времени, с. 57.

[36] ГБЛ, ф. 245, к. 6, ед. хр. 20, л. 17.

[37] К одному из текстов Коневского обратился в своей стиховедческой книге поэт Божидар (Б. Гордеев).— «Распевочное единство». М., 1916, с. 40.

[38] Сб. «Встречи с прошлым», вып. 4. М., 1982, с. 140. В дневниковой записи от 7 января 1913 г. С. Бобров сопоставляет Блока и Коневского: «Купил сегодня Блока — III том. Боже мой, какие там чудесные вещи есть! А все же я отошел как-то от модернистов! То ли дело Языков, Баратынский, Пушкин (но почему-то не Тютчев...) или Коневской. Коневской такой существенный — «И так я измучен душой...» (из стихотворения «К чему эти новые смуты...» — СП, 65) — как это просто и как за душу хватает <...> Это крайности: самое новое и самое старое» (наст. том, кн. 3, с. 407). Высокую оценку Коневскому дает С. Бобров в ст. «О лирической теме» («„Труды и дни“ на 1913 год», тетр. 1 и 2, с. 135) и в кн. «Записки стихотворца» (М., 1916): «Этот удивительный поэт, только заглянувший в нашу эпоху <...> уже совсем по-иному раскладывает отношения меж поэтом и поэзией. Это твердое и в основе своей аскетическое, почти святое самоуглубление, которому открыта жизнь „красою не чужою“!.. о если бы поэзия русская текла славным и чистым руслом этим!» (с. 32—33; см. также с. 38, 49—51). В своих стихах С. Бобров неоднократно обращался к поэзии Коневского, осваивая его традицию и разрабатывая его темы и мотивы, а также используя его строки в качестве эпиграфов. См., например, его стихотворения «Жизнь» и «Поток», посвященные «Памяти Ивана Коневского» (сб. «Вертоградари над лозами». М., 1913, с. 38—39 и 42—43; и сб. «Лира лир». М., 1917, с. 7—8, 39—41).

[39] Б. Пастернак. Близнец в тучах. М., 1913, с. 3. См. также замечание В. В. Тре-

нина и Н. И. Харджиева: «В стихах поэтов „Лирики" эти тяготения ⟨ориентация на германскую стиховую культуру⟩ скрещивались с воздействиями боковых „архаистических" течений русского символизма (И. Коневской, Вячеслав Иванов)» (В. В. Тренин, Н. И. Харджиев. О Борисе Пастернаке.— Boris Pasternak. Essays. Stockholm, 1976, p. 9).

[40] Из письма Б. Пастернака к К. Локсу от 13 февраля 1917 г.— «Вопр. лит.», 1972, № 9, с. 157 (публикация Е. В. Пастернак). См. параллель Пастернака и Коневского в статье М. Л. Гаспарова «Семантический ореол метра (К семантике русского трехстопного ямба)», где автор сопоставляет стихотворения «Душа моя, печальница //О всех в кругу моем...» Пастернака и «... А ты, душа-чердачница,//О чем затосковала?..» А. Тарковского и возводит их к «определяющей ритмико-лексической формуле» Коневского «... Душе моей, затворнице,// Не выйти за порог...» (в кн. «Лингвистика и поэтика». М., 1979, с. 300). А. Тарковский упомянул о Коневском в связи со стихотворением «Поэт начала века»:

...Черной выношенной ткани
Такую стужу ощущу,
Такой возврат невыносимый
Смертельной юности моей,
Что гул погибельной Цусимы
Твоих созвучий не страшней.

«В этом стихотворении,— говорит Тарковский,— речь вовсе не о каком-нибудь конкретном лирике 1900-х годов (допустим, Миропольском, Александре Добролюбове, Коневском), но, скорей, о собирательном образе поэта, едва перешагнувшего порог нового века, как уже вдосталь успевшего отхлебнуть из его горькой и обжигающей чаши едкое, саднящее зелье беды» (А. Тарковский. Держава книги.— Альманах библиофила, вып. VII. М., 1979, с. 7 — на это интервью А. Тарковского обратил наше внимание Н. А. Богомолов).

[41] В поздних мемуарах, рассказывая о своих и Елены Гуро литературных интересах, М. В. Матюшин сообщал: «Елена Гуро следила за всем новым, что появлялось у нас или за границей ⟨...⟩ Мы тогда нашли у нас Ивана Коневского и Александра Добролюбова. Гуро высоко ценила произведения Александра Блока („Стихи о Прекрасной Даме" и пьесы)» (М. В. Матюшин. Русские кубо-футуристы.— В кн.: Н. Харджиев, К. Малевич, М. Матюшин. Из истории русского авангарда. Stockholm, 1976, с. 138). В воспоминаниях об Э. Багрицком Арк. Штейберг писал: «Он открыл мне Вяч. Иванова, Коневского, Балтрушайтиса. Наконец, он указал мне на Константина Случевского, который стал одним из моих учителей» (альм. «Багрицкий». М., 1936, с. 347).

[42] С. Городецкий. Воспоминания о Блоке.— В кн.: «Александр Блок в воспоминаниях современников», т. 1. М., 1980, с. 338. О Коневском Городецкий писал и в ст. «Борьба за Блока».— «Известия», 1926, № 180, 8 августа. См. также и в отклике на нее: Н. Пиксанов. Стилизация Блока.— «Веч. Москва», 1926, № 187, 17 августа.

[43] См. наст. том, кн. 3, с. 96.

[44] В. А. Пяст. Встречи. М., 1929, с. 10. В сб. «Ограда» (СПб., 1909) Пяст посвятил Коневскому стихотворение «На мотивы Ив. Коневского». См. замечание З. Г. Минц: «Правда, многие образы, а также лексико-интонационный и метрический строй полуэпигонской „Ограды" связаны и с несколько иными традициями: К. Д. Бальмонта, В. Брюсова, Ив. Коневского, Ф. Тютчева, а также Э. По и Ш. Бодлера» (см. наст. том, кн. 2, с. 179). 7 декабря 1913 г. Пяст выступил в Тенишевском училище с лекцией «Поэзия вне групп», в которой говорил о Коневском (см. наст. том, кн. 3, с. 426—427; тезисы лекции см.: А. Е. Парнис, Р. Д. Тименчик. Программы «Бродячей собаки».— В кн.: «Памятники культуры. Новые открытия». Ежегодник, 1983. Л., 1985, с. 218). На этой лекции присутствовал Блок.

[45] Блок упоминает Я. И. Эрлиха (1874—1902) в одном ряду с Коневским в письме А. В. Гиппиусу от 23 июля 1902 г. (VIII, 37).

[46] Сохранился экземпляр книги «Мечты и думы» с дарственной надписью Коневского: «Анне Николаевне Гиппиус сильной носительнице мыслей и порывов И. Ореус. Ноябрь 1899 г. Пб.» (собрание Н. В. Казимировой, Ленинград). Ей посвящены стихотворения Коневского «Праздничная кантата» (СП, 100—101), «Памяти встречи» (СП, 43—44), «Волнения» (СП, 64—66), цикл стихотворений «Бледная весна» (СП, 77—80), «Признаки» (СП, 66), «Давно и ныне» (СП, 67—68). К ней же обращено отмеченное Блоком знаком «V» стихотворение «Отречение» (СП, 100—101). Об А. Н. Гиппиус (1872—1942) см. в кн.: «Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1978 год». Л., 1980, с. 191.

[47] Письмо Г. А. Шенгели к М. М. Шкапской от 9 апреля 1924 г.— ЦГАЛИ, ф. 2182, оп. 1, ед. хр. 530, л. 29 об.

[48] Рецензию Вл. Гиппиуса см.: «Мир искусства», 1900, № 5—6, отд. II, с. 107. После этой отрицательной рецензии Коневской, прислав письмо Вл. Гиппиусу, порвал с ним отношения — подробнее см. в публикации И. Г. Ямпольского писем И. Коневского к Вл. Гиппиусу («Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1977 год». Л., 1979, с. 84 и далее). В 1930-е годы Н. Л. Степанов записал краткие воспоминания (в третьем лице) Вл. Гиппиуса о Коневском: «Дружба Вл. Гиппиуса с ним ⟨Коневским⟩ была на почве литературно-философской, и он едва ли мог себе представить с ним дружбу личную. Когда Ореус звал к себе, то думалось: „Как странно, что Иван Иванович чай пьет". Он внушал к себе уважение, его гениальность чувствовалась всегда. Гиппиус познакомился с Ореусом в университетский период. Ореус участвовал в собраниях у Як. И. Эрлиха, философа, сына портного, сошедшего с ума и умершего вскоре ⟨...⟩ Начитанность Коневского была огромной —

и в русской, и в немецкой, и во французской литературе. Он много говорил о Верхарне, из английских поэтов хорошо знал Свинбёрна. Терпеть не мог Гофмана: „Я этой чертовщины читать не стану". В университет на сходку приходил со „Стеллой" Гете. Ореус был гегельянцем. Над его кроватью висело изображение Гегеля (вырезал его портрет из коллекции гравюр) ‹...› Из русских поэтов ему нравился Кольцов, из живописцев — Васнецов и Нестеров ‹...› В связи с поездкой в Москву явилось увлечение Щербиной, которого он называл замечательным. Коневской на углу людной улицы с горящими глазами декламировал пантеистические места из стихотворений Щербины. По всему умственному составу он был немец. Блока Ореус не знал. Русская литература вне символизма была ему далека ‹...› Гиппиус вместе с Ореусом бывал у Сологуба, который только начал собирать у себя до 20 человек. За чайным столом сидели Брюсов, Бальмонт, Минский, Сологуб, Ореус, Вл. Гиппиус. Выступали молодые поэты-бенефицианты — Гиппиус и Ореус — и имели большой успех. Ореус читал длинное стихотворение, посвященное Вл. Гиппиусу (по-видимому, „Дебри"),— оно всем очень понравилось. Получили приглашение от Бальмонта. Вечер у Бальмонта, где, кроме Гиппиуса, были Сологуб и Брюсов, привел к охлаждению. „Книга раздумий" была составлена по принципу пантеизма. Увлечение Ореусом среди символистов было очень велико» (архив Н. Л. Степанова).

[49] «А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 19. О категориях «музыки» и «стихии» в творчестве Блока см. в кн.: Д. Максимов. Поэзия и проза Ал. Блока. Л., 1981, с. 60—61.

[50] «А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 19—20.

[51] П. Перцов. Ранний Блок, М., «Костры», 1922, с. 35.

[52] Маргиналии Блока на сборнике Коневского «Стихи и проза» (Пушкинский Дом. Личная библиотека Блока) сообщены нам А. В. Лавровым, которому выражаем глубокую признательность.

[53] См. о дифференциации и значении многообразных маргиналий Блока в ст. Д. Е. Максимова «А. Блок и Вл. Соловьев (По материалам из библиотки Ал. Блока)».— В сб.: Творчество писателя и литературный процесс. Иваново, 1981, с. 115—189. Пометами Блока (знаками «Х», «√» или подчеркиваниями отдельных строк) выделены 20 стихотворных текстов в сб. Коневского «Стихи и проза». В наш анализ не вошли и ни разу не были упомянуты следующие стихотворения, отмеченные («√») Блоком: «На лету» (СП, 11), «Озеро» (СП, 41), «Посвящение» (СП, 41), «Genius» (СП, 89), «Порывы», I, (СП, 93), «Откуда силы воли странные...» (СП, 102), «Грани поэта» (СП, 102), а также стихотворение «Ты веками опозоренная...» (СП, 73), где подчеркнута строка: «О людская кровь — руда». Пометами на полях и отчеркиваниями отдельных строк отмечены Блоком почти все прозаические тексты Коневского: «На рассвете» (СП, 125—136), «Живопись Бёклина» (СП, 160—169), «Предводящий протест новых поэтических движений. (Стихи Лафорга)» (СП, 170—189), «Русь (Из летописи странствий)» (СП, 190—195), «Мистическое чувство в русской лирике» (СП, 199—219), «Мысли и замечания» (СП, 220—232).

[54] Ср. с высказыванием о Петербурге Коневского в его письме к А. Я. Билибину от 5 июля 1900 г.: «О Питере мне вспоминать больно, но все же попытаюсь в двух словах обозначить все, что мне в нем сказывается пагубой и мерзостью. Ну, посуди сам — ужели же пережитые тобою ощущения белой ночи в чем-нибудь связаны были с зодчеством и расположением стогн Питера? Я думаю, что широкое пространство воды с таким же успехом могло бы доставить и озеро Сайма ‹...› Оно плещет и рощет, как внутреннее море, чего очень мало в Неве. Но что увидишь ты, попав на проезжие улицы Невской столицы? Убийственно прямые и длинные, пересекающиеся под прямым углом и зияюще-широкие мостовые между домами, которым подобных по пошлому уродству не найти ни в одном западноевропейском или русском городе. Нигде как в Питере — в Москве в минимальном количестве — я не видел таких бесстыдных пятиэтажных фасадов, на которые налеплена была бы сверху до низу такая нелепая лепка — какие-то губчатые квадраты, аляповатые карнизы, пошло подражательные рельефные маски и наконец — чудовищные гипсовые статуи богинь, амуров или каких-нибудь кариатид. Кто были хамы, которые все-таки подумали о том, чтобы насадить эту карикатурную бракованную рухлядь западноевропейского зодчества на фасады столицы? И все такие варварские дома на самых видных местах, по зияющим проспектам. Между тем в характере зодчества и в расположении улиц и стогн — вся, конечно, поэзия всякого большого города. Но в то время, как Москва и германо-романские средневековые города свиваются как гнездо, внутри их чувствуются живые недра, взрастившие и питающие их, обаятельные затаенными завитками и уголками своих закоулков, Питер весь сквозной, с его прямыми улицами, проходящими чуть не из одного конца города в другой; внутри его тщетно ищешь центра, сердцевины, в котором сгущались бы соки жизни, внутри — зияющая пустота, истощение ‹...› Но ты, призванный не к питерским болотным миазмам, убережись, вооружись корой против их заразного дыхания. Именно вспомнив судьбу многих лиц Достоевского, заброшенных на эту почву и в эту атмосферу, беги ее ужаса. Ужиться там способны только полузвери — биржевые, банковые, промышленные дельцы, солдаты и прочий одичалый сброд, далее получерви — приказные, подъячие, мелкие литераторы и ученые, и, наконец, полубоги, которые все озаряют, как Пушкин. «Этот омут хорош для людей, расставляющих ближнему сети» — и «люблю твой строгий, стройный вид»... Но вдохновенные, занимающие среднее положение между полубогами и получервями, чахнут и гибнут в этом смраде» (ЦГАЛИ, ф. 259, оп. 3, ед. хр. 17, л. 11 об.— 13).

[55] См. указание Блока на то, что стихотворение «Вот он — Христос...» (II, 84), помеченное 10 октября 1905 г., «навеяно теми чертами русского пейзажа, которые нашли себе лучшее

выражение у Нестерова» (II, 402). Отметим перекличку пейзажных зарисовок этого стихотворения со стихотворением Коневского «Образы Нестерова» (СП, 4—6): «Косогор песчаный,// Ельником поросший» (СП, 4), «Сам же он, как елка» (СП, 5) — «На пригорке лежит огород капустный,//И березки и елки бегут в овраг» (II, 84); «Небо так же мутно, пасмурно и немо» (СП, 4) — «Убогий художник создал небо» (II, 84).

[56] Ср. слова Блока: «Я потому Россию чувствую, что во мне много немецкой крови. Только не русский чувствует Россию вполне» (см. наст. том, кн. 3, с. 119). Коневской в цитированном письме к А. Я. Билибину (см. прим. 54) писал: «Язык создавался частию великими поэтами, частию бездушными практиками ‹...› Поэтому у меня из лиц одного со мной „народа“ есть глубокая связь только с теми, которые взрастили до степени наиболее тонкой передачи чувства и мысли — употребляемый и мной язык, продолжали творчество языка, хотя бы и не новых корневых звуков, но по крайней мере новых их сопоставлений, связей и оборотов ‹...› Я же, со своей стороны, горжусь тем, что я человек по крови предков во всех отношениях международный, точнее — многонародный, с совершенно равномерным распределением между германскими и славянскими кровями, не менее тем, что по родному языку вполне великоросс, и не менее сокрушаюсь о том, что родных по детству мест у меня нет и что не было ни города, ни природы, которые могли бы меня взрастить. Остается уповать на те кратковременные летние периоды, когда и в раннем детстве мне удавалось сосать живые соки из некоторых благородных прибалтийских местностей и особенно из выборгских областей края финнов, тем более, что последние все же являлись долговременной родной почвой некоторых из моих предков. Кое-что можно ожидать и от воздействия родины другой части моих предков, боровицких округов новгородской земли, в которой такие же два летние периода прожил в гораздо более позднем возрасте — „на заре туманной юности“; но в виду именно таких условий возраста у этого предположения еще менее, конечно, залогов возможности. Итак, приходится утешаться пуще всего той истиной, что более всего человек создается, конечно, не кровью предков и не природой, и не человеческой средой, а самим собой в своем превосходственном (transcendentalis), сверхсознательном бытии» (ЦГАЛИ, ф. 259, оп. 3, ед. хр. 17, л. 9—10 об.). Псевдоним Коневского восходит к острову Коневец на Ладожском озере (см. его стихотворение «С Коневца» — СП, 36—37), очень рано привлекшему его внимание, так как фамилия «Коневецкий» встречается в шуточной энциклопедии (1893), составлявшейся им и посвященной истории вымышленной страны Росамунтии («Краткие сведения о великих людях ‹...› Росамунтии XIX века. В виде словаря».— ЦГАЛИ, ф. 259, оп. 1, ед. хр. 3, л. 54 об.). О другом предполагавшемся псевдониме — Иван Езерский — см. в письме Коневского А. Я. Билибину от 2 июля 1899 г. (ЦГАЛИ, ф. 259, оп. 3, ед. хр. 17, л. 6 об.). Брюсов позже писал о том, что Коневской сожалел, «что он не избрал себе другого псевдонима: Иван Езерский, который прямо напоминал бы, что автор происходит «от тех вождей, чей в древни веки парус дерзкий поработил брега морей» («Русская литература XX века. 1890—1910». Под редакцией проф. С. А. Венгерова, т. III, вып. VIII. М., ‹1918›, с. 152).

[57] См. эпиграф к очерку «Вечер юга» — «Голубые, фосфорные горы». Гоголь (И. К о н е в с к о й. Мечты и думы, с. 71).

[58] А. Б е л ы й. Мастерство Гоголя. М.— Л., 1934, с. 297.

[59] В. Б р ю с о в. Собр. соч., т. 1. М., 1973, с. 352.

[60] См. в воспоминаниях Н. А. Павлович: «Обычно, приходя, он усаживался в углу. Над ним висела старинная икона Богоматери Коневской или Голубицкой ‹...› Однажды он пришел ко мне хмурый, постаревший. Взял свой III том и открыл „О чем поет ветер“ ‹...› „Мне было очень скверно, когда я писал эти стихи“» (Н. А. П а в л о в и ч. Воспоминания об Александре Блоке.— «Блоковский сб.», 1, с. 484).

[61] В. Б р ю с о в. Собр. соч., т. 6, с. 330.

[62] ГБЛ, ф. 190, к. 71, ед. хр. 27.

[63] Г. Ч у л к о в. Сочинения, т. 5. СПб., 1912, с. 46.

[64] П. П е р ц о в. Литературные воспоминания, с. 244. Там же (с. 248) Перцов приводит строфу из своего стихотворения 1926 г., посвященного Коневскому: «Но верю: все судьбой отъятое//Вернешь ты нам сполна — когда//Свою раскроет глубь заклятую//Тебя унесшая вода».

[65] Интересно, что в «Эрфуртской программе» Мандельштам, подчеркивая свою близость к Коневскому, указывает, по-видимому, и на связь с ним Блока, отсылая в зашифрованной форме («лестница Иакова») к «Лествице» (рецензия на которую посвящена Коневскому): «И вот, в Зегевольде, с эрфуртской программой в руках, я по духу был ближе Коневскому, чем если бы я поэтизировал на манер Жуковского и романтиков, потому что зримый мир с ячменями, проселочными дорогами, замками и солнечной паутиной я сумел населить, социализировать, рассекая схемами, подставляя под голубую твердь далеко не библейские *лестницы*, по которым всходили и опускались не ангелы Иакова, а мелкие и крупные собственники, проходя через стадии капиталистического хозяйства» (О. М а н д е л ь ш т а м. Шум времени, с. 57—58).

[66] Г. А. Л е в и н т о н, И. П. С м и р н о в. «На поле Куликовом» Блока и памятники Куликовского цикла.— «Куликовская битва и подъем национального самосознания. ИРЛИ. Труды отд. древнерусской литературы», т. XXXIV. Л., 1979, с. 73.

[67] Ряд образов этого письма имеет дальнейшее развитие в творчестве Блока. Словосочетание «черный день» неоднократно включалось (как и «белый день» — см. наст. том, кн. 3, с. 31) в поэтические тексты Блока, а в 1921 г. предполагалось как название сборника: «Сле-

дующий сборник стихов, если будет: „Черный день“» (VII, 403). «Со скал» (в комментарии к письму А. В. Гиппиусу отмечено: «источник цитаты не установлен» — VIII, 561) восходит к «Бесам» Достоевского, и речь идет также о спасении России: «...и мы бросимся, безумные и взбесившиеся, со скалы в море и все потонем» (Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч., т. 10. М., 1979, с. 299 — см. также второй эпиграф к роману из «Евангелия от Луки»). «Брань народов» — стихотворение Брюсова из сб. «Tertia Vigilia» (1900).

[68] См. эти две строки, использованные в качестве эпиграфа: Борис Кремнев ‹Г. Чулков›. О культурном строительстве.— «Новый путь», 1904, № 6, с. 223. В этом номере «Нового пути» опубликованы две рецензии Блока.

[69] Г. А. Левинтон, И. П. Смирнов. «На поле Куликовом» Блока и памятники Куликовского цикла, с. 74.

[70] Там же, с. 82.

[71] Там же, с. 82, прим. 61.

[72] Там же, с. 80, прим. 48.

[73] И. Коневской. Мировоззрение поэзии Н. Ф. Щербины.— «Северные цветы на 1902 год». М., 1902, с. 206—207.

Приношу глубокую благодарность А. Е. Парнису, М. С. Петровскому и Р. Д. Тименчику, взявшим на себя труд познакомиться с работой на первоначальном этапе и сделавшим ряд важных предложений и замечаний.

ИВАН КОНЕВСКОЙ. ПОЭТ МЫСЛИ

ИЗ СТАТЬИ Н. Л. СТЕПАНОВА

Предисловие, публикация и комментарии А. Е. Парниса

В самом начале научной деятельности молодого исследователя, аспиранта Ю. Н. Тынянова, впоследствии известного литературоведа, автора многих трудов по истории литературы XIX в. и советской поэзии Николая Леонидовича Степанова (1902—1972) привлекли два поэта — Велимир Хлебников и Иван Коневской. Первый был «новатором», главой русского футуризма, «революционером слова», второй — «архаистом», полузабытым поэтом, стоявшим у истоков русского символизма. В середине 20-х годов литературоведы еще не изучали футуризма, это течение еще не стало «историей», воспоминания о недавних футуристических «боях» еще были свежи, главные представители футуризма были живы и активно участвовали в литературном процессе, продолжал выходить «Новый леф». А вождь этого движения Хлебников имел репутацию «заумного», непонятого и герметичного поэта.

Иван Коневской имел сходную репутацию: усложненный и косноязычный поэт, влияние которого на развитие поэзии начала века было оценено лишь Брюсовым и несколькими близкими ему людьми. Эти два столь различных поэта, принадлежащие к борющимся литературным течениям, и стали объектом научных занятий Н. Л. Степанова. Он был первым ученым, начавшим собирать и изучать наследие обоих поэтов. В своих трудах Н. Л. Степанов как бы следовал известной формуле Тынянова — «архаисты и новаторы», отдавая предпочтение в разное время то одним, то другим.

Подготовка и издание (под руководством Ю. Н. Тынянова) пятитомного Собрания произведений Хлебникова (1928—1933) — научный подвиг Н. Л. Степанова. Это издание Хлебникова, большинство произведений которого было здесь впервые опубликовано и введено в научный оборот, включает почти все творческое наследие поэта. Впоследствии Степанов еще несколько раз издавал Хлебникова, но до сих пор Собрание произведений остается основным источником текстов поэта. С именем Хлебникова связана вся научная судьба Степанова: он начал свою исследовательскую деятельность изучением и изданием Хлебникова, а его последней книгой, итогом всей научной жизни стала первая отечественная монография о поэте — «Велимир Хлебников. Жизнь и творчество», вышедшая уже после смерти ученого, в 1975 г.

В 1933 г., сразу после издания Хлебникова, по инициативе Ю. Н. Тынянова, высоко ценившего творчество поэта-«одиночки» Ивана Коневского, Степанов приступает к работе над изучением его творческого наследия, длившейся почти пять лет. Он собирает и изучает рукописи Коневского, хранившиеся в архивах В. Я., И. М. и Н. Я. Брюсовых, а также у некоторых друзей поэта. В начале 1937 г. Степанов подготовил и сдал в редакцию «Библиотеки поэта» двухтомник текстов Коневского, включавший единственный его прижизненный сборник «Мечты и думы» и не вошедшие в него стихотворения 1894—1901 гг., а также его переводы и статьи. В двухтомник были включены обстоятельные работы Степанова — критико-биографический очерк о Коневском, статья о переводческой деятельности поэта и комментарии. 20 ноября 1938 г. Степанов сообщал И. М. Брюсовой: «Коневской (уже в сокращенном и урезанном виде) тоже застрял из-за бумажных лимитов» (ГБЛ, ф. 386, карт. 155, ед. хр. 27). Рукопись еще долго лежала без движения, а затем идея издания книги совсем отпала. Во время войны рукопись книги, находившаяся в ленинградском издательстве, погибла вместе со всем архивом «Библиотеки поэта». В послевоенные годы Степанов не возвращался к этой работе. Коневской до последнего времени оставался как бы «изъятым» из истории русской поэзии, к изучению его наследия никто больше не обращался.

В связи со столетием со дня рождения Блока и углублением интереса к литературе его эпохи закономерным представляется обращение к творчеству Коневского. Как теперь становится очевидным, Коневской повлиял не только на Брюсова, но и на Блока, Вяч. Иванова и других поэтов — символистов и постсимволистов.

Ниже публикуется (с сокращениями) критико-биографический очерк Н. Л. Степанова, написанный для предполагавшегося двухтомника произведений И. Коневского. Хотя очерк имеет некоторые черты вульгарно-социологического анализа, характерные для литературоведения 1930-х годов, в целом работа, основанная на обширном документальном материале, собранном самим автором, сохраняет историко-литературное значение.

Приносим благодарность вдове Н. Л. Степанова Лидии Константиновне Степановой, предоставившей для публикации эту статью.

Н. Л. СТЕПАНОВ

ИВАН КОНЕВСКОЙ. ПОЭТ МЫСЛИ

«Поэзию Ореуса считаю одной из замечательнейших на рубеже двух столетий»,— записывает в своем дневнике Валерий Брюсов по выходе книжки Коневского «Мечты и думы» [1]. Однако, несмотря на то большое значение, которое имело творчество Коневского для становления русского символизма, он остался «поэтом для поэтов», известным лишь в узком литературном кругу. Причины этого не только в трудности его стихов, но и в преждевременной гибели Коневского, в связи с чем он даже для самих символистов остался поэтом, не успевшим сказаться до конца.

Коневской не был организатором новой поэтической школы, как Брюсов, он не был реформатором, ниспровергавшим все поэтические принципы, как Хлебников или Маяковский, или «прóклятым поэтом» вроде Рембо. Он был отъединенным мечтателем на рубеже двух эпох, творчество которого с почти хрестоматийной ясностью предсказывало дальнейшее развитие русского символизма. Вместе с тем его творчество являлось звеном, связывавшим символизм с русской поэзией XIX в., с Баратынским, Тютчевым, Кольцовым, Ал. Толстым.

Коневской являлся одним из наиболее последовательных «поэтов мысли». Поиски смысловой поэзии, философской лирики, отличающие творческий метод Коневского, представляют не только исторический интерес для современной поэзии. Многие поэты сейчас также пытаются найти путь к философской лирике, к смысловому обогащению слова. В этом отношении поэзия Коневского представляет поучительный эксперимент, не удавшуюся до конца, но тем не менее чрезвычайно интересную попытку создания «мыслительной» поэзии.

Коневской пришел слишком рано для того, чтобы стать одним из признанных вождей символизма, а его поэзия оказалась слишком несвоевременно сложной для 90-х годов. Тем не менее значение Коневского для развития русского символизма (для Брюсова, Блока, Вяч. Иванова) и для послесимволистских группировок (от Гумилева до Асеева) весьма существенно. Дело не только в прямом влиянии Коневского на Брюсова и Блока, хотя это влияние также имело место, а в создании новых поэтических принципов, которые определили переход от поэзии 80-х годов к символизму. В творчестве Коневского, как в фокусе, видны основные линии этого перехода.

Литературная деятельность Коневского отличалась чрезвычайной сознательностью и принципиальностью. Его теоретические и критические статьи свидетельствуют о том, что Коневской стремился дать обоснование идейным и творческим позициям символизма, которое значительно позже дано было в работах А. Белого и Вяч. Иванова. Статьи о классической западноевропейской поэзии, переводы из иностранных поэтов должны были составить своего рода хрестоматию по символизму, которую сам Коневской не успел осуществить. Место основоположника символизма на рубеже 900-х годов перешло к Валерию Брюсову. Поэтому и роль Коневского в истории символизма оказалась значительно меньшей, чем могла бы быть при других обстоятельствах.

I

‹БИОГРАФИЯ И ЛИЧНОСТЬ И. КОНЕВСКОГО›

Биография И. И. Ореуса малопримечательна и бедна внешними событиями. Это биография — типичная для интеллигентских столичных семей, принадлежащих к привилегированным социальным слоям. Семья, гимназия, университет, поездки за границу — вот тот круг, в котором целиком укладывается жизнь Коневского, погибшего в двадцать четыре года.

Иван Ореус (литературный псевдоним — Иван Коневской) родился 19 сентября 1877 г.

в Петербурге. Семья Ореусов принадлежала к служилой военной среде, в которой сильны были старые дворянские традиции и нравственные устои, сочетавшиеся с интеллектуальной рафинированностью и интеллигентской культурой.

Из таких дворянских бюрократических семей и семей привилегированной верхушечной интеллигенции — профессуры, крупного чиновничества — вышло большинство символистов: Мережковский, З. Гиппиус, Вл. Гиппиус, А. Добролюбов, А. Белый, Блок и мн. др.

Ореусы не принадлежали к коренным дворянско-поместным слоям, «служилость», положение обедневших, лишенных какой-либо недвижимости и имений выходцев из Финляндии сближало их с «верхушечной» интеллигенцией.

Род Ореусов — шведского происхождения. Прадед Ивана Коневского Максим Ореус был выборгским губернатором, дед Иван Максимович Ореус — товарищем министра финансов гр. Е. Ф. Канкрина, а затем первоприсутствующим в Третьем департаменте Сената. Отец Коневского Иван Иванович в молодости окончил школу гвардейских подпрапорщиков, затем Николаевскую академию генерального штаба. В 1863 г. был назначен начальником Военно-исторического и Топографического архива, в этой должности он и оставался в продолжение своей сорокадвухлетней службы, постепенно повышаясь в чинах (умер он в 1909 г. в чине генерала от инфантерии, находясь в отставке с 1903 г.) и получив ряд награждений вплоть до ордена Белого Орла.

Мать Коневского Елизавета Ивановна, урожд. Аничкова, умершая в 1891 г., также из дворянской военной семьи.

По своим интересам и наклонностям Ореус-отец был «ученый генерал», предпочитавший военной карьере работу в архиве и соблюдение того жизненного уклада, к которому он привык. И. И. Ореус был человек литературно образованный, его мировоззрение сложилось еще в 50—60-х годах (родился он в 1830 г.). Религиозность, представление о «дворянской чести» и прочные нравственные устои противопоставлялись им современности, тому новому буржуазному обществу, от которого он «отсиживался» в своем архиве и в одиночестве квартиры на Ивановской улице.

Не случайно, по словам лиц, близко знавших его, Иван Коневской гордился своими шведскими предками, «варягами», упоминая о том, что род его происходит от легендарного Синеуса [2].

Близкие, почти родственные отношения с Панаевыми (С. И. Панаева, жена Ип. Панаева [3], была крестною матерью И. Коневского) — крупными помещиками, в имении которых — в селе Михайловском (около станции Лыкошино) месяцами гостил Коневской,— давали ему возможность ознакомиться и с патриархальным духом усадебной дворянской жизни.

В то же время шведское происхождение семьи Ореусов, отсутствие помещичьих корней, переход в интеллигенцию рассматривался самим Коневским как своего рода «многонародность», как отсутствие прочных дворянских устоев.

Влияние семейной обстановки, вернее, отца, так как мать Коневского умерла, когда ему было четырнадцать лет, было особенно значительно. Несмотря на большую разницу лет, отношения между Коневским и его отцом были чрезвычайно близкими, почти товарищескими. Они вместе читали и обсуждали прочитанные книги, спорили на философские и литературные темы и составляли шуточные стихи. По словам биографа, И. И. Ореус-отец «живо интересовался ⟨...⟩ литературою и вообще искусством. Писателей он ценил большею частью прежних; обладая огромной начитанностью, знал наизусть много стихов и охотно читал своим проникновенным голосом лучшие произведения. Сам очень недурной поэт, он глубоко ценил русские народные песни, с большим вкусом и пониманием напевал их и другие музыкальные произведения в тесном семейном кругу» [4].

Коневской с детских лет начинает жить в вымышленном мире «Россамунтии», рисуя портреты деятелей этого воображаемого государства и переписывая каталоги книг, якобы там издающихся [5].

В воспоминаниях И. И. Ореуса-отца подчеркивается, что «с особенным вниманием родители Коневского относились к тому, чтобы укоренить в отроке нравственные начала, основанные на религии. Эти семена пали на добрую почву» [6].

Детский и юношеский донкихотизм, привитый как воспитанием, так и той «отрешенной» жизнью в мире идей, которая начинается с отроческого возраста, особенно характерен для Коневского. Если в гимназии он проявлялся в сожжении шпаргалок и подстрочников, то в более зрелом возрасте он выражался в той «мыслительной жизни», в той книжной мудро-

сти, которая была им противопоставлена «быту», социальным явлениям и тем проявлениям классовой борьбы, с которыми ему приходилось сталкиваться.

Материальная обеспеченность (впрочем, далекая от помещичьего довольства или буржуазного богатства: жили на жалованье отца) давала возможность создать те идеальные условия для воспитания и образования, которые естественно способствовали раннему развитию и многосторонней эрудиции Коневского. При ознакомлении с рукописями, записными книжками, книгами записей прочитанного и выдержек из наиболее заинтересовавших Коневского материалов прежде всего обращает внимание не только широта и разнообразие его чтения, но и та законченность и обстоятельность, с какой он работал. С 10—12-летнего возраста Коневской начинает писать стихи, в 18—19 лет создавая уже совершенно зрелые вещи.

В 1890 г. Коневской поступил в третий класс 1-й петербургской гимназии. В гимназии составился тот небольшой круг друзей (А. Я. Билибин, И. Я. Билибин, С. П. Розанов, А. М. Веселов, Н. Н. Беккер) [7], который в основном сохранился и после окончания ее. В гимназии, отличавшейся исключительно квалифицированным составом педагогов, особенно большое значение для выработки мировоззрения Коневского имел Ф. А. Лютер [8], преподаватель древних языков, у которого собирался кружок гимназистов, интересовавшихся философскими и литературными вопросами. Влияние Лютера сказалось и в том, что Коневской сначала поступил на античное отделение университета.

Гимназический кружок товарищей Коневского отличался религиозно-философскими настроениями, и в этом отношении сколько-нибудь значительного различия между семейной обстановкой и гимназией не было. Да и во время пребывания в гимназии Коневской держался обособленно, значительно превосходя своим развитием соклассников, преимущественно занимаясь дома и живя своими семейными интересами. В 1896 г. Коневской кончил гимназию, в аттестате его было добавлено об «особенно выдающейся любознательности» «к занятию словесными науками, в которых он приобрел самостоятельным в значительной степени трудом замечательный для его возраста запас знаний» [9].

Представление о мыслях, занимавших Коневского в последний год его пребывания в гимназии, дает один из разговоров с А. Веселовым, записанный самим Коневским в его гимназической тетради:

«1 ноября 1895 г.

Разговор с Веселовым.

Мрачное его настроение. Для чего стоит жить? Он не привязан к жизни... А ты, И. И., привязан?

Я: Да, в силу инстинктивного чувства, и потому, что не пресытился еще многими отрадами жизни. Отрады жизни: творчество, познание души Мира и смысла нашего существования, проникновение непосредственным чутьем в таинственную суть явлений, ради получения светлых откровений о складе и смысле нашей природы...

В.: А раз познание не дается?

Я: С ума сойти или умереть, дойдя до предела человеческого знания. Все же лучше, чем сразу поканчивать с собой...» [10].

Эти гимназические разговоры о цели жизни, о «смысле нашей природы», столь типичные для интеллигенции 90-х годов, вместе с тем указывают как на в основном оптимистическое мировоззрение Коневского, так и на то стремление «дойти до предела человеческого знания», которое определяло всю его дальнейшую деятельность, всю его недолгую жизнь.

К лету 1896 г. относится пребывание Коневского в имении Панаевых, где он познакомился с С. П. Семеновым [11], в то время студентом университета, усиленно занимавшимся философией.

Беседы на философские темы с ним и с Ипполитом Панаевым (автором книги о немецкой идеалистической философии «Разыскатели истины») имели также большое значение для формирования философских воззрений Коневского, что он и сам отмечает в одной из записей [12].

К лету 1896 г. относится и поездка Коневского совместно с братьями Билибиными и Семеновым на Нижегородскую ярмарку, произведшую на Коневского большое впечатление как демонстрация технической мощи капиталистической культуры (см. сонет «Снаряды» [13]).

Круг знакомств Коневского при его замкнутом и отъединенном образе жизни был чрезвычайно ограничен. Наиболее близкие личные отношения были с братьями Билибиными, с которыми Коневской познакомился еще до поступления в гимназию, а впоследствии учился

вместе с ними в гимназии и в университете. Иван Яковлевич Билибин — художник, впоследствии известный иллюстратор сказок — уже тогда занимался живописью и был частым спутником Коневского в его «странствованиях» и экскурсиях. Младший брат Александр Яковлевич — математик — являлся наиболее близким другом Коневского, своими взглядами и всей своей личностью особенно впечатлявшим Коневского (см. относящийся к нему цикл сонетов «Сын солнца»). Третьим членом этого дружеского кружка был историк музыки Алексей Федорович Каль [14], также учившийся вместе с Коневским в университете и оказавший значительное влияние на ознакомление Коневского с музыкой. В этой компании Коневской посещал семью писателя К. М. Станюковича и О. В. Яфа, где устраивались дружеские вечеринки [15].

Коневской совершил два путешествия в Западную Европу — в 1897 и 1898 гг.— во время летних университетских каникул. В первое путешествие он поехал через Вену в Зальцбург, Мюнхен, Нюренберг и исходил пешком значительную часть Тюрингии, где в Байрейте слушал исполнение «Парсифаля» Вагнера. В 1898 г. он отправился морем в Любек, потом в Кельн, проехал по Рейну до Гейдельберга, оттуда в Швейцарию и Северную Италию и возвратился опять через окрестности Зальцбурга. В России Коневской предпочитал «край своих праотцев» — Финляндию, где неоднократно бывал летом и жил в Выборге, Гельсингфорсе, около озера Саймы и в других местах.

С осени 1896 г. Коневской поступает в Петербургский университет на классическое отделение историко-филологического факультета, с которого он перешел в 1899 г. на славянорусское.

При всем, несомненно, большом значении не столько университетских занятий, сколько «литературно-мыслительного кружка» и круга новых знакомых следует учесть, что Коневской в университет пришел с уже в основном сложившимся мировоззрением. Поэтому университет лишь укрепил и развил те стороны идеологии, те интересы Коневского, которые сложились еще в гимназии.

В «литературно-мыслительный кружок» Коневской введен был С. П. Семеновым, представляя вместе с ним наиболее ярко выраженное идеалистическое и эстетическое крыло, поскольку в основном кружок имел «объективное», социологическое направление. Этот кружок, просуществовавший с 1895 по 1900 г., объединял представителей разнообразных направлений и ориентаций. Наиболее активное участие Коневского в кружке относится к 1896—1897 гг., когда он был его секретарем. Членами кружка состояли: Г. Л. Борейша, М. А. и С. А. Елачич, И. Я. Билибин, В. Р. Менжинский, Б. Э. Нольде, Ф. Д. Попов, С. П. Семенов, Н. М. Соколов, П. Ц. Дорф (Зимницкий), П. П. Конради, А. М. Рыкачев, Ф. А. Лютер и др., заседания происходили поочередно на квартирах участников кружка [16].

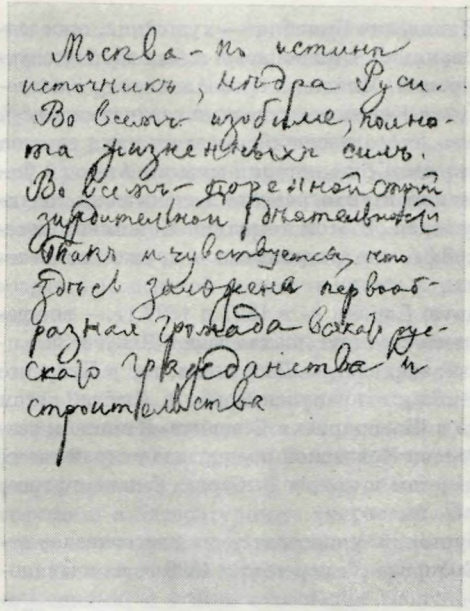
Круг вопросов, занимавший членов кружка, подчеркнут в подзаголовке Коневского к плану занятий [17]: «Мудролюбие, искусство, общественные науки». Коневской, вносивший в кружок интерес к философско-эстетическим проблемам и искусству, в значительной мере стоял особняком в нем, так как основные интересы участников лежали в области социологии и истории.

По свидетельству одного из наиболее активных участников кружка Н. М. Соколова, Коневской выступал как защитник «прав поэзии», как провозвестник «эстетического начала» [18], пышным цветом распустившегося в конце 1890-х — начале 1900-х годов в художественных и литературных кружках «Северного вестника», Мережковских, «Мира искусства», Случевского и Сологуба в Петербурге, в кружках Брюсова и «аргонавтов» в Москве.

Вторжение «субъективизма» в «объективизм», внесенное Коневским, было, по-видимому, многими членами кружка встречено даже несколько враждебно. В записях Н. М. Соколова упоминается, что «первое впечатление» от Коневского было «отталкивающее (механически). Особый язык, ухищренные выражения, философско-поэтическая традиция в круге понятий (Достоевский)» [19].

В течение 1896—1897 гг. Коневским в кружке были прочитаны следующие доклады: «Красота в движении» (в исправленной редакции «Красота в действии»), отчет о брошюре К. Дю-Преля «Der Spiritismus», реферат «Современная русская лирика» (Вступление; I. Брожения около 1890 года в русских душах; II. Н. М. Минский; III. К. М. Фофанов. IV. Федор Сологуб. Александр Добролюбов; V. К. Д. Бальмонт; VI. Современная атмосфера русской жизни; VII. Д. С. Мережковский; VIII. Вл. С. Соловьев как лирик) [20].

Помимо участия в «литературно-мыслительном кружке», в основном имевшем общест-


Москва — по истине
источникъ, недра Руси.
Во всемъ изобилие, полнота
физическихъ силъ.
Во всемъ — дремучей старой
патріархальной
Какъ и чувствуется, что
Богъ заложенъ первообразная громада всякаго русского
Государства и
строительства

СТРАНИЦА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ И. И. КОНЕВСКОГО
Центральный архив литературы и искусства, Москва

венно-социальный курс, Коневской посещал собрания, устраивавшиеся у Я. И. Эрлиха, философа-мистика, близкого друга поэта А. Добролюбова. В кружке Эрлиха на первом месте стояли философские, этические и эстетические вопросы. Кружок имел ярко выраженный идеалистический и мистический характер с уклоном к пантеизму. Спиноза и Лейбниц, Шеллинг и Гегель, Вл. Соловьев и Паульсен являлись наиболее актуальными именами в этом кружке, предвещавшем уже и религиозно-философские кружки 1900-х годов.

Одним из наиболее любопытных, при всей своей случайности, документов, приоткрывающих круг интересов и взглядов Коневского в это время, является запись ответов на полушуточную «анкету» в одной из тетрадей 1897—1898 гг.

Качество мужчины: благодушно-ироническое отношение к жизни и чуткость к ее красоте.

Качество женщины: женственность.

Занятие: Всякое, в котором удается проявить творческие силы.

Забавы:

Науки:

Любимые писатели: Достоевский — Emerson — J. P. Richter, Ibsen, Maeterlinck.

Книга: многие произведения названных писателей.

Любимые поэты: Тютчев, Фет, Lenau, Shelly, Viellé-Griffin.

Поэма: «Faust» (Goethe), «Peer-Gynt» (Ibsen).

Живописцы: Burne-Jones — Нестеров — А. Васнецов — Böcklin — шотландские и голландские пейзажисты нашего времени.

Вымышленный характер: Hamlet — Иван Карамазов (Достоевский) — Hedda Gabler (Ibsen).

Идея счастия: покамест — понятие о таком состоянии духа, которое представляется мне лишь мельком и перестало бы быть счастьем, если бы открывалось ежеминутно и полностью; пред⟨ставляется?⟩ возможность изменений в этом понятии.

Идея несчастия: исчезновение этих проблесков.

Желания: предмет их заключен в идее счастья.

Главный недостаток: меня лично тяготит недостаток во мне власти над собой; недостаток чего тягостен во мне другим людям — другой вопрос, меня не занимающий ⟨...⟩ [21].

Здесь собраны его основные «симпатии» и «антипатии», в большинстве случаев раскрытые им в ряде его статей и отдельных отзывов. Достоевский, Ибсен, Метерлинк, Эмерсон, Жан Поль Рихтер — вот те имена, которые в первую очередь (не считая поэтов), называет Коневской и чье творчество, судя по характеру его черновых записей, статей и упоминаний, имело наиболее решительное влияние на него. Самый подбор имен подчеркивает то определяющее влияние, которое принадлежало именно сугубо идеалистической литературе, отразившей наиболее отчетливо кризис буржуазной культуры XIX в., распад прежних ценностей, стремление к морально-этическому переустройству общества. Имена любимых поэтов (Тютчев, Фет, Ленау, Шелли, Вьелэ-Гриффин) свидетельствуют и о несколько иной стороне интересов Коневского — его приверженности к пантеизму, к лирике природы.

Яснее всего рисует умонастроения и интересы Коневского круг его чтения: из года в год он вел точную запись прочитанных книг, а также «Книгу материалов», куда им записывались выдержки и цитаты. На первом листе «Книги материалов» Коневской написал: «В эту книгу я записываю все, что в читаемом поражает меня. Поэтому я записываю не только те мысли,

которые мне симпатичны, но все вообще мысли, которые кажутся замечательными, оригинальными» [22]. Первое место в списках занимают книги по философии: Кант, Гегель, Шеллинг, Спиноза, Вундт, Шопенгауэр, Вл. Соловьев, Джемс, Гюйо и другие.

Наряду с классической и современной идеалистической философией Коневской усиленно интересовался вопросами биологии, физики и химии, в частности читал Дарвина, Спенсера, Дюбуа-Реймона и других.

Еще шире был круг чтения беллетристики и поэзии. От Золя и Флобера до Новалиса, Тика и Бодлера, от Шекспира до Метерлинка и от Вилье де Лиль-Адана до Киплинга проходят границы этого круга. Так, например, только в начале лета 1900 г. Коневским были прочитаны в подлиннике книги В. де Лиль-Адана, Киплинга, Кальдерона, Мериме, Лилиенкрона, поэмы Эмерсона, Новалиса, «Иллюзии» Фофанова, сочинения Бальзака, Брентано, Тика, Достоевского, Гауптмана, Эредиа, народные сказки Афанасьева и ряд других книг. Чаще других упоминаются Ибсен, Метерлинк, Ницше, Новалис, Жан-Поль Рихтер, Сюлли-Прюдом, Китс, Шелли, Россетти, Шекспир.

Однако при всей широте, при всем разнообразии чтения Коневского, из которого приведены лишь отдельные примеры, в выборе книг была известная закономерность. Если в области философии Коневской ограничивается почти исключительно идеалистической философией, преимущественно немецкой, а в области эстетики именно теми именами, которые легли в основу эстетики символизма (Рёскин, Патер, Шопенгауэр), то более или менее аналогичный выбор мы имеем и в художественной литературе. Чаще всего фигурируют прозаики и поэты, являвшиеся литературными учителями и предшественниками символистов: немецкие и французские романтики, парнасцы, английская философская поэзия и т. п.

К 1896—1897 гг. относится запись:

«История моего знакомства с сущностью символизма: 1893 г. летом в Павловске:

«Французские символисты» З. Венгеровой («Вестник Европы»). 1894 г., лето в Павловске:

«Peer Gynt», «Строитель Сольнес» Ибсена (статья Н. М. Минского об Ибсене в «Энциклопедическом словаре»).

Вступительная заметка Н. М. Минского к переводу «Слепых» Метерлинка («Северный вестник», 1894, № 5).

Осень 1894 г. в Петрограде: Критический очерк Д. С. Мережковского о «Гедде Габлер» и «Строителе Сольнесе».

Весна 1895 г. в Петрограде: «Тайны души» («Interieur») Метерлинка. («Новое Время»). «Brand» Ибсена.

Лето 1895 г. в Михайловском: Самостоятельная и чрезвычайно удачная попытка определить смысл символизма в искусстве (в набросках об Ибсене по поводу «Строителя Сольнеса»). Понимание символизма природы. Стихотворения Шелли (в перев. Бальмонта; статья его же «Шелли и Байрон»).

Осень и зима 1895/96 гг.: Стихотворения Тютчева. Стихотворения Lenau. Стихотворения Фета. Стихотворения Rossetti. Стихотворения Щербины. Стихотворения Бальмонта. Статьи Сигмы о символизме (в октябрьских №№ «Нового Времени»). Суждение H. Bahr об символизме в книге «Studien zur Kritik der Modernen» (приведено в рецензии на эту книгу в отделе «Новости иностранной литературы» в «В⟨естнике⟩ Е⟨вропы⟩», 1895 г., № 10). Мысли В. Брюсова в разговоре его с московским корреспондентом «Новостей» («Новости», 1895 г., 10-го ноября). А. Л. Волынский (общие соображения об символизме в искусстве в статье «Оскар Уайльд»: «С⟨еверный⟩ В⟨естник⟩», 1895 г., № 12 и в рецензии на сборники русских символистов: «С⟨еверный⟩ В⟨естник⟩», 1895 г., № 11).

«Symbolistes et décadents» Brunotière (в «Nouveaux essais de critique et d'art»). Д. С. Мережковский («О причинах упадка и о новых течениях в современной русской литературе». СПб., 1893 г.). Статья «Критика литературная» в «Энциклопедическом словаре», полутом 32 (статья проф. Н. И. Стороженко). К. Д. Бальмонт (Предисловие переводчика к «Балладам и Фантазиям» Э. Поэ). О символизме в живописи статьи З. А. Венгеровой: «Новые течения в английском искусстве» («В⟨естник⟩ Е⟨вропы⟩», 1895 г., № 5) и «Сандро Боттичелли» («В⟨естник⟩ Е⟨вропы⟩», 1895 г., № 12). Рецензия А. Л. Волынского на вышеупомянутую книгу Мережковского. Статьи Вл. С. Соловьева по эстетике. «О главных направлениях современной эстетики» Радлова» [23].

Следует указать также и на тот интерес, который проявлял постоянно Коневской к живописи и музыке. В своих записных книжках он отмечает впечатления от посещения почти

всех сколько-нибудь значительных петербургских и заграничных выставок и музеев и записывает характеристики виденных картин [24]. На основе этих записей впечатлений и возникли такие статьи, как «Живопись Бёклина», «Новая нидерландская живопись» и другие, представляющие переработку этих записей. Наряду с художниками, отмеченными в этих статьях, Коневской особенно много места в своих записях уделяет также Нестерову, Васнецову, сепиям Вильгельма Котарбинского (Академическая выставка 1898 г.)

Как художественный критик, Коневской целиком примыкает к тем методам, к тому философско-эстетическому и импрессионистскому стилю критики, который культивировался мирискусниками (С. Маковский, С. Дягилев и др.).

Знакомство Коневского с музыкой относится к более поздним годам, причем первое место среди его музыкальных интересов принадлежит Вагнеру, Мусоргскому, Чайковскому и Бетховену.

О «Тристане и Изольде» Вагнера Коневской пишет: «В целом — тонким и чистым ядом впитывается в душу. От музыки мира древнегерманских божеств и героев отличена большей томностью, местами — грацией и вместе с тем болезненной чуткостью расшатанных натур. Здесь твердыни мира отчетливой сознательности со всех сторон подточены и грозят развалиться» (17 марта 1898) [25].

О «Борисе Годунове» Мусоргского Коневской записывает: «Эта музыка вмещает в себе весь вещий свет героического, всенародного и всечеловеческого горизонта, какой открыт в поэзии Пушкина, и весь проникновенный сумрак глубины личных чувств, каким покрыто творчество Достоевского» (зима 1899/1900 гг.) [26].

И, наконец, Чайковский, неоднократно встречающийся в его записях, характеризуется следующим образом: «Великая гармония во всю ширь распространенной скорби человеческой, великая полногласная гармония сумрака и света» (по поводу 6-й симфонии) [27].

Не менее положительную оценку Коневской дает и отдельным произведениям Римского-Корсакова, Р. Штрауса и Шопена [28].

«Мечтатель напряженных мыслей и чувств» — назвал себя сам Коневской в надписи на экземпляре «Мечты и думы», подаренном им одному из своих ближайших «мыслительных» друзей — Н. М. Соколову [29].

Одиноким мечтателем, юным мудрецом, поэтом, отрешенным от «житейского волнения», представляется Коневской в воспоминаниях его друзей и сверстников. Его трагическая гибель кажется естественным завершением того мыслительного и поэтического подвижничества, на которое обрек себя сам Коневской: настолько осознанна была вся его деятельность, настолько закончен и вместе с тем логически неразрешим был идейный путь, намеченный им с самого начала.

Сквозь творчество Коневского проходят противоположные и непримиримые ощущения: воля к жизни — и осознание своей обреченности, своего «рока» и гибели. Недаром в записи 1895 г. Коневской говорит о «гибели людей на высшей ступени нравственного совершенствования в земных условиях» [30].

С одной стороны, уход из жизни, от быта, от общественных проблем и интересов в философию и литературу, книжность, огромная эрудиция, эклектическое смешение Гегеля, Шопенгауэра, Вл. Соловьева и Спинозы, «броня» из философских терминов, но, с другой стороны, эта философия являлась для Коневского тем же «правдоискательством», каким для А. Добролюбова была религия. Замкнутая, внутренне напряженная жизнь Коневского, всецело занятого поисками «истины», сближала его с А. Добролюбовым.

По отзывам всех, близко знавших его, Коневской был человеком «не от мира сего», его сосредоточенность, его равнодушие ко всем бытовым интересам и злобам дня часто воспринимались как скрытность и чудачество.

Во всем его внешнем облике, во всем его образе — до болезненности стеснительного, робеющего и рассеянного, житейски беспомощного «юноши-поэта», целиком погруженного в мир философских дум и поэтических мечтаний, сохраненном нам в воспоминаниях друзей и знакомых, есть что-то общее с Хлебниковым.

Сочетание инфантильности, юношеской наивности, практической беспомощности с широкой философской эрудицией, с постоянной напряженностью мыслей и чувств, с учительством, самоуверенностью и резкой страстностью в спорах на темы философии и искусства отмечаются всеми, знавшими Коневского.

Бытовой облик Коневского, его житейски беспомощная фигура обрисованы в воспоми-

наниях его отца. «При этом Коневской вовсе не был угрюм или меланхолик,— добавляет мемуарист.— Напротив, в нем было очень много жизнерадостности. Среди близких ему лиц он часто готов был шутить и детски смеяться над всеми забавными выходками и удачными остротами. Был он также крайне незлобив и простодушен. Только когда задевались его философские и литературные убеждения, особенно в ироническом тоне, он мог приходить в сильное волнение» [31].

Отсутствие цельности в себе и в мире являлось не только источником многих наиболее глубоких и болезненных переживаний Коневского, но и темой, основой ряда его стихотворений. Эти стороны личности Коневского даны в характеристике Н. М. Соколова, близко знавшего его по университету и «литературно-мыслительному кружку», хотя Соколов несколько идеализирует и канонизирует образ Коневского. В набросках к реферату о Коневском в 1901—1902 гг. Соколов записывает: «Коневской был натура властная, не умевшая идти на компромиссы с неугодною ему действительностью. Он не умел или не хотел сделать из своей религии убежище, куда он мог бы укрываться по временам от житейских невзгод. Жить и думать по-разному для него представлялось нравственно невозможным. И он предпочитает отказаться от всего того, чего он не может осилить при помощи своего миросозерцания. Не будучи в силах эстетизировать всю жизнь, все явления сделать объектами своего духовно-эстетического подвига, он уходит от жизни. И так как главное препятствие для него — отношения с людьми, то он бросает людское общество, преодолевает одно из самых могучих чувств — любовь, отказывается от многих дружеских связей, обрывает всякие связи с товарищами и остается почти один» [32].

Неловкий, рассеянный, сосредоточенно-важный, поучающий юноша-«мудрец» — вот тот внешний образ, который складывается из всех воспоминаний о Коневском.

Для оценки эстетических взглядов и литературных вкусов Коневского существенно учесть его литературные отношения, знакомства и участие в литературных объединениях.

С середины 90-х годов в Петербурге уже наметилось несколько центров «нового движения» в искусстве. Редакционные собрания «Северного вестника», возглавлявшегося Л. Гуревич и А. Волынским, «пятницы» К. К. Случевского, «салон» Д. Мережковского и З. Гиппиус, собрания у Ф. Сологуба и, наконец, объединение «Мир искусства», возглавляемое Дягилевым и Бенуа.

Философские и эстетические позиции «Северного вестника» оказались близки Коневскому, внимательно следившему за всеми книжками журнала и пославшему в редакцию «Северного вестника» (на имя Н. Минского) летом 1895 г. два стихотворения, там, однако, не помещенные [33].

1895—1896 гг., год окончания гимназии и посылки стихов в журнал, можно считать началом литературной деятельности Коневского, его литературного самоопределения.

К 1897—1898 гг. относится и сближение Коневского с Владимиром Гиппиусом, близким другом А. Добролюбова. Вл. Гиппиус ввел Коневского на собрания у Ф. Сологуба, где бывало довольно разнохарактерное общество от Н. Минского до Ап. Коринфского. В. Брюсов, впервые посетивший эти собрания в декабре 1898 г. и там познакомившийся с Коневским, следующим образом описывает вечер у Сологуба: «Были там разные люди — Гиппиус (Влад. Вас.), Минский, Коринфский, Лебедев ⟨...⟩ и молоденький студент Ореус. Мы с Бальмонтом держались в стороне. Самым замечательным было чтение Ореуса, ибо он прекрасный поэт» [34].

Коневской не только бывал на вечерах у Сологуба, но и у себя на квартире устраивал поэтические собрания с участием Сологуба, Вл. Гиппиуса. В письме от 6 марта 1899 г. к А. Я. Билибину он сообщал, приглашая его к себе на вечер: «Убедительнейше прошу тебя, милейший сын Солнца, пожаловать ко мне в этот вторник вечером. Увидишь разных не лишенных значения личностей: Вл. В. Гиппиуса, Ф. К. Сологуба, химика-эстета П. П. Конради» [35]. Почтительное уважение к Сологубу и высокая оценка его творчества сказались не только в статье Коневского 1896 г. «Современная русская лирика в России», в которой целая глава посвящена первым двум книжкам Ф. Сологуба, но и в письмах Коневского к нему [36].

Однако отношения с Сологубом, по-видимому, не выходили за пределы литературного знакомства и в тесные дружеские отношения не перешли.

Стихи Коневского имели успех лишь в очень узком литературном кругу. Одним из наиболее ревностных приверженцев его поэзии и ее пропагандистом в Москве очень скоро стал В. Я. Брюсов, близко познакомившийся с Коневским. С 1899 г. начинается постоянная переписка между Брюсовым и Коневским, который вскоре становится для Брюсова «самым

любимым поэтом». Во время приездов в Петербург Брюсов постоянно навещает Коневского, Коневской ездит в Москву специально для встреч с Брюсовым. В «Дневнике» от 21 сентября 1899 г. Брюсов записывает: «Две недели был в Москве Ореус. Первые дни мы проводили с ним напролет, что было и томительно. Ходили в Сокольники и Богородск. Переговорили о всех стихах и стихотворцах. Неприятнейшая его черта — излишняя докторальность, учительность речи,— но это от юности. Он уверенно говорит и решительно даже о том, что, видимо, знает поверхностно. Спорили с ним много о Бальмонте, которого он отрицает. Были с ним у Бахмана, у Ланга. Бахман Ореусом был зачарован; Тор Ланге менее ⟨...⟩ Потом я устроил у себя маленькое собрание поэтов — Бахман, Ореус, Саводник, Ланг. Опять спорили о Бальмонте, о романе, возможна ли такая форма, о размерах, откуда они, и рифмах. Уезжая, Ореус совсем умиленно прощался со мной» [37].

Иначе сложились отношения с Бальмонтом, который первоначально, как и Брюсов, был увлечен стихами Коневского и привез их в Москву, собираясь издать в сборнике вместе со стихами других символистов [38].

Из-за неприятия Коневским Бальмонта и его стихов эти отношения настолько испортились, что перешли в открытый антагонизм. В своей статье «Стихотворная лирика в современной России» Коневской упоминает отрицательно о Бальмонте, а в 1900 г. посылает в «Северные цветы» исключительно резкую рецензию на книгу Бальмонта «Горящие здания» [39].

Но если в Москве в лице Брюсова и Ланга Коневской находил восторженных поклонников и в известной мере литературных единомышленников, то в Петербурге литературное одиночество было еще более усилено ссорой с Мережковским и З. Гиппиус. Резко враждебное отношение Коневского к Мережковским объясняется прежде всего теми нападками, с которыми обрушилась З. Гиппиус на молодых поэтов за «декадентство», вызвавшими полемическую статью и «поносные слова» Коневского, которые он хотел напечатать в «Северных цветах» [40].

По словам Брюсова, «Коневской вовсе не был литератором в душе. Для него поэзия была тем самым, чем и должна быть по своей сущности: уяснением для самого поэта его дум и чувствований» [41]. Это верно только отчасти. Ряд статей, как, например, «О современной стихотворной лирике в России» [42] и в особенности статей полемических («Об отпевании новой русской поэзии») [43], свидетельствуют о несомненном интересе Коневского к литературной и идеологической борьбе его времени. Полемичность ряда его стихотворений также указывает на то, что Коневской обращался к читателю.

Начало лета 1901 г. Коневской провел в Павловске с отцом. «Как и в предыдущие годы, в этом году Коневской поехал в небольшое летнее путешествие («странствие», как говорил он), на этот раз по Прибалтийским губерниям. Выехав из Риги, он вспомнил вдруг, что забыл в гостинице паспорт, и сошел на станции Зегевольд, чтобы дождаться встречного поезда и вернуться. День был жаркий. Около станции протекает река Аа. Коневской стал купаться ⟨...⟩ утонул» [44]. Похоронен он был в лесу близ станции Зегевольд.

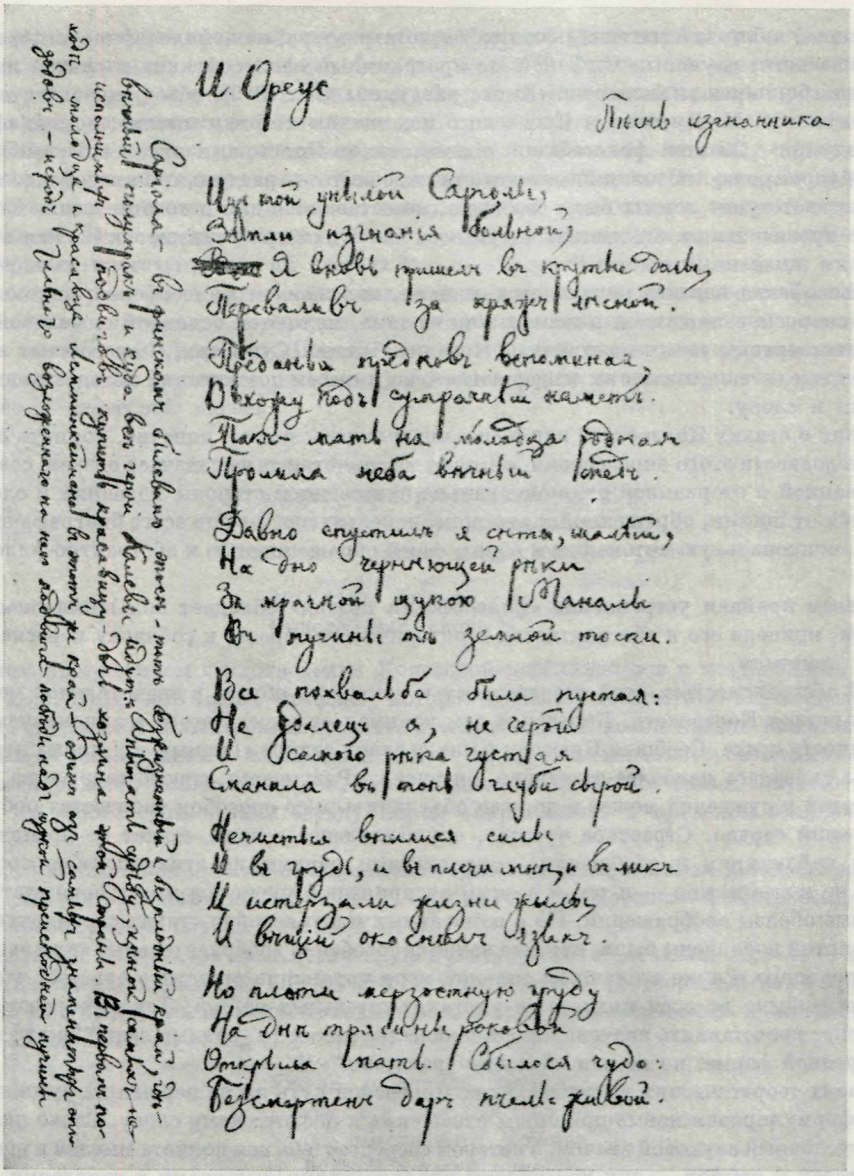
Архив Коневского, тщательно сохраненный его отцом И. И. Ореусом, был им передан (за исключением чистовых альбомов со стихами) В. Я. Брюсову и Н. М. Соколову [45].

II

⟨ПОЭТИКА КОНЕВСКОГО⟩

Коневского, как отмечалось выше, с наибольшим основанием можно назвать «поэтом мысли». Именно поэтом мысли он являлся для своих современников. В. Я. Брюсов писал в своей «Автобиографии»: «Значительное влияние оказал на меня Иван Коневской, хотя он был моложе меня лет на 5. Если через Бальмонта мне открылась тайна *музыки* стиха, если Добролюбов научил меня любить *слово*, то Коневскому я обязан тем, что научился ценить глубину замысла в поэтическом произведении,— его философский или истинно-символический смысл» [46].

Для Коневского поэзия являлась в первую очередь средством познания и методом «рассуждения». Этим объясняется как обращение его к философской лирике, так и принципы его поэтического творчества. Вслед за А. Добролюбовым он как бы стремится создать «особое творчество» — «не художественное и не научное»,— а составленное из «отражений» как «внешних впечатлений», так и из «обобщений отвлеченной мысли». К этому синтезу «красоты



И. И. КОНЕВСКОЙ. ПЕСНЬ ИЗГНАННИКА
Автограф стихотворения
Центральный государственный архив литературы и искусства, Москва

умственных рассуждений» и «красоты образных настроений» стремился в своей поэзии Коневской. Поэзия Добролюбова, в целом весьма близкая к Коневскому и оказавшая значительное влияние на его творчество, этого синтеза, этого «единства между мыслью и чувством, наукой и искусством» так и не достигла. Ведь Добролюбов, по словам Коневского, чтобы «осуществить свой замысел о сотворении своего мира вне человеческих чувств и вне человеческих мыслей», должен был оставить «словесное творчество» и стать на путь «цельного тайновидения» и «тайнодействия» [47].

Поэтому Коневской отказывается от пути Добролюбова и стремится остаться в пределах «образного мышления», обращаясь к философской лирике. Значение философской лирики для символистов было указано в предисловии П. Перцова к «Философским течениям в русской поэзии», в котором подчеркивается, что «поэзия в сфере образного мышления дает столь

же серьезный и богатый материал философского характера, как «философия» в сфере мышления логического, научного» [48]. Такой же программный «философский» характер имел один из первых сборников символистов «Книга раздумий» (М., 1899), объединивший стихи Брюсова, Бальмонта, М. Дурнова и Коневского под знаком «лирики мысли», поэзии «философских раздумий». Об этой философской основе стихов Коневского писал и Брюсов в своей статье «Мудрое дитя»: «Поэзия Коневского прежде всего — раздумья. Философские вопросы, которыми неотступно занята была его душа, не оставались для него отвлеченными проблемами, но просочились в его «мечты и думы», и его стихи просвечивают ими, как стебельки трав своим жизненным соком» [49].

«Философская поэзия» не является, однако, изложением философской системы. Философские вопросы включаются в поэзию как ее тема, являются основной смысловой тканью ряда стихотворений таких поэтов, как Новалис, Тютчев, Суинберн. Философская тематика стихов определяет не только их «содержание», но и самый поэтический метод, самое отношение поэта к слову.

Говоря о стихах Коневского как о «поэзии мысли», следует, конечно, помнить о чрезвычайной условности этого определения. «Поэзия мысли» отнюдь не означает поэзии, совершенно изолированной и оторванной от эмоционально чувственной стороны познания и слова. Оно отличается от поэзии, обращенной к эмоциям, использующей чаще всего биографическую тематику, эмоциональную интонацию и образ, своей обращенностью к абстрактно-философской мысли.

В своем крайнем устремлении «философская поэзия» обладает большими опасностями для поэта, приводя его к абстрактности и риторичности образа, к соблазну пересказа философской тематики.

Этой абстрактностью, этой отвлеченностью стихового образа в значительной мере отличается и поэзия Коневского. Коневской сам понимал опасность этого «рационализма», этой рассудочности стиха. Сообщая Брюсову о цикле своих стихов «Гномы», в которых эта «рассудочность» сказалась наиболее отчетливо, он писал: «Разумеется, способ творчества умственных понятий и суждений может и должен объединиться со способом творчества побуждений и настроений сердца. Страстное чувство, одушевляющее второй, может не препятствовать точности наблюдения и обобщения, управляющим первым из этих способов творчества; и — что не менее важно — и тем и другим восприятием предметов могут порождаться тождественные образы воображения. Но в написанных мною недавно стихах стремлением к точности понятий подавлены были, как мне кажется, особенно вообразительные силы творчества. Между тем мною все же в слишком сильной мере управляло страстное чувство, чтобы тема разработана была во всей полноте ее умозаключительных связей. Таким образом, данные стихи могут представлять значение лишь в качестве каких-то „размышлений“ в рифмованной и размеренной форме, но не как образные „раздумия“» [50].

В своих теоретических высказываниях Коневской чуть ли не первым из русских символистов сформулировал новые принципы отношения к поэтическому слову. Слово для Коневского — условный звуковой значок, в котором сосредоточена вся полнота мыслей и ощущений: «Слова речей и языков — они измышлены прорицателями, вещунами и чародеями. В слове бесконечно великое совмещено с бесконечно малым. Вся полнота и широта мыслей, стремлений, побуждений, расположений, образов, звуков, вкусов, запахов, прикосновений, ощущений напряжения мышц, тепла и холода сосредоточена, сжата в этих крупицах, условных звуковых значках. Волшебная власть их в том именно, что у каждого из них есть значение вещественное, вполне твердое и устойчивое; они не расплывчаты, как звуки музыки, и вместе с тем в этом твердом составе скрыты неисчислимые и неисследимые призрачные глубины, оттенки, тени и дымки: эти твердые печатки, монетки и слепки бесконечно сжимаемы и растяжимы, то есть упруги. В этих вещественных, замкнутых подобиях, идолах ⟨...⟩ — вся необъятная полнота духа и бога. В слове мы созерцаем небо и радугу, как в граненом хрустале» [51]. В этой формулировке Коневской, отрицательно относясь к «музыкальности» слова, подчеркивает его смысловую роль, в то же время считая слова символами, «идолами» «духа и бога», т. е. придавая им вместе с тем «магическое» значение. Поэтическое слово создано, по мнению Коневского, пророками и противоположно повседневному бытовому слову: «Великий художник, выражаясь так называемыми простыми речами, не только не отступает, не остерегается, не страшится утратить свой небесный дух в обычности и ничтожестве, находит в себе могущество одухотворять и это бездушие. Величайшая отвага его, даже дер-

зость в том, что со своей выси он бестрепетно приходит качаться на этой грани тления и дола и никогда не переходит его роковой гибельной черты» [52]. Считая, что поэтическое слово не должно переступать роковой черты «дола» и обычности, Коневской проводит резкое разграничение между поэтическим и бытовым словом, столь характерное для всей поэтики символизма: «Общность словесных костяжек происходит из общности остова в аппарате человеческого разумения предметов, это общее «основоположение чистого разума». В устах их создателей слова, конечно, были не костяжки, а живые тела: таковы они и теперь в устах творцов слова. Но в речах среднего уровня дюжин людей слышно только бряканье и стуканье мертвых косточек, как на счетах» [53].

Резкое разграничение поэтического и повседневного языка, проходящее через всю эстетику и поэтику символизма, приводит символистов к пониманию слова как некой мистической и магической сущности. Поэтическое слово, являясь символом трансцендентного мира, единственным средством познания действительности, становится не только «языком богов», но и словесной магией:

О слово вещее, слово — сила,
О мысли членораздельный звук!
Ты всю вселенную допросило.
Познанье — мощь наших слабых рук.

Из тьмы былого
Спасло нас слово [54].

В этом программном стихотворении Коневской перекликается с позднейшими утверждениями Вяч. Иванова о «слове-символе», которое «делается магическим внушением, приобщающим слушателя к мистериям поэзии», а «символизм в новой поэзии кажется первым и смутным воспоминанием о священном языке жрецов и волхвов, усвоивших некогда словам всенародного языка особенное, таинственное значение, им одним открытое, в силу ведомых им одним соответствий между миром сокровенного и пределом общедоступного опыта» [55].

В своей поэтической практике Коневской почти не испытал влияния западноевропейской поэзии и остался во многом консерватором, «архаистом», воскресившим поэтические методы русской классической поэзии начала XIX в.

Ориентация Коневского на классическую культуру стиха сказалась не только в отдельных «поэтических приемах», но во всей его системе. Такие стихотворения, как «Признаки», «Элегия» и многие другие, целиком укладываются в круг стилистических принципов поэзии 20—30-х годов XIX в.:

Ужель, о дивная дриада,
Тобою все мне суждено —
Утеха мысленного взгляда
И буйной юности вино?[56]

Здесь и «дивная дриада», и «утеха», и «буйной юности вино», как и весь ритмико-синтаксический строй стиха, «архаичны», целиком соотносясь с культурой стиха пушкинской эпохи. Коневскому чуждо то разнообразие стиховых жанров, которое характерно для лирики символизма в целом. Для своих стихов он выбирает наиболее классические и «строгие» жанры — сонет, терцины, элегию, «думу». Коневской подчеркивает свою ориентацию на классическую поэзию, свое отрицательное отношение к современной поэзии. Вместе с тем это воскрешение стиховой культуры начала XIX в. у Коневского не является стилизацией (каковой оно было у М. Кузмина, Б. Садовского и многих других), а сочетается с близостью его идейных и философских воззрений к таким поэтам, как Тютчев или Баратынский. Поэзия Коневского была глубоко архаической, несовременной, этим объясняется в значительной степени и самая изолированность и незначительная популярность Коневского. Баратынский, Тютчев, Фет, А. Толстой, Кольцов — вот основные учителя Коневского.

В своем обращении к Тютчеву Коневской сходится с большинством символистов. Именно Тютчев стал основоположником русского символизма. Мистический пантеизм Тютчева, «символичность» его поэтического метода, то восприятие современности как «гибели» и «хао-

са», которое возникло у Тютчева из осознания распада старого, патриархального мира, оказались особенно близкими на грани XX в., в эпоху наиболее интенсивной ломки старых начал. «Двойное бытие» Тютчева, Тютчев как поэт «хаоса» был открыт еще Вл. Соловьевым, который в своей статье о нем, ставшей своего рода манифестом русского символизма, дал ему эту характеристику. Коневской вслед за Вл. Соловьевым считает, что основное чувство «бездны» у Тютчева есть нечто «объемляющее всякие, какие были от века, ощущения божества сущего. Это есть не что другое, как необъятная буря всего, что сверх и за пределами „нормального" человеческого восприятия и мышления» («К параллели между Фетом и Тютчевым») [57]. К Тютчеву восходят как общие методы построения стиха у Коневского, как система строения его образов, так и архаическая лексика и сложный эпитет:

Темнолазурные моря,
Недосягаемые скалы,
Златорумяная заря,
Что по горам меня искала,
И девы дивные дубрав
Несутся, силы все собрав [58].

От Баратынского у Коневского подчеркнутая точность словоупотребления и образа, сочетающаяся с некоторой риторичностью стиха, которая отличает такие «раздумья» Баратынского, как «Последняя смерть» или «Осень» с их архаическим словарем и торжественностью одической интонации. Такие стихи Коневского, как, например, «По дням»:

Сияющие дни, родные встречи,
И днесь и искони —
Постигну ль тайну ясной вашей речи,
Сияющие дни?[59]

— кажутся как бы написанными современником Баратынского. Даже самая строфическая форма и размер этого стихотворения Коневского воспроизводит аналогичную систему стихотворения Баратынского (чередование пятистопного и трехстопного ямба):

На что вы, дни! Юдольный мир явленья
Свои не изменит!

Точно так же и словарь Коневского («юдоль», «селянин», «дебри», «краса», «злак» и т. д.) восходит к стихам Баратынского.

Если предшествовавшая символистам поэзия ориентировалась на газетный и публицистический язык или на сглаженную поэтическую семантику и лексику эпигонов классической поэзии, вроде Розенгейма или Голенищева-Кутузова, то символисты в своем понимании поэзии как противоположности «прозе» и быту создали тот особый язык понятий и «эстетических» слов, который хотя и был различен у отдельных представителей символизма, но объединялся своей противопоставленностью разговорному языку.

В этой борьбе за новый поэтический язык позиция Коневского представляет особый интерес. Антибуржуазная, антикапиталистическая направленность, которая отличает все мировоззрение Коневского, его ориентация на прошлое, на архаические для 1890-х годов жанры наиболее наглядно сказались в его отношении к языку. Коневской с особенной последовательностью противопоставляет архаический, «затрудненный» и философский язык современному бытовому языку. Он равно избегает и поэтического эстетизированного словаря, той «бальмонтовщины», к которой относится чрезвычайно враждебно, и современного разговорного и газетного языка, в особенности иностранных слов. В этой языковой архаике, в этой замене иностранных слов церковно-славянизмами Коневской предвосхищает Хлебникова. Весь стиль стихов Коневского окрашивается обилием архаизмов и церковно-славянизмов, совершенно выпадающих из современного ему языка. Такие стихи:

Как ей не помнить горней красоты?
Но принята она в объятья прахом:
И прах ей сладостен, а в ней зачах он —
Цветок вершин и снежной чистоты,

— лишь единичный пример этого широкого использования архаизмов [60].

Все стихи Коневского переполнены такими словами, как «младостный», «влача», «лоно», «сей», «плоть», «кровь-руда» и т. п. Роль всех этих архаизмов в поэтике Коневского основана на их несоотносимости с реальными предметными ассоциациями. Каждое из них выступает как заново осмысливаемое слово, как слово с более широким и вместе с тем внебытовым значением. Когда Коневской пишет:

Вожделеет мой дух приютиться
К этим мощным брегам
(«Миг зрения») [61]

или:

Все хаоса единовластный зрак [62],

— то здесь дело не только в торжественной «высокой» стилевой окраске, отличающей всю его поэзию, но и в том новом «философском» характере значений, который он стремится передать этими малоупотребительными словами. В ряде стихотворений этот словарь приобретает тот специфический «церковный», молитвенный характер, которым отличались ранние стихи Блока, стихи Вяч. Иванова или Ю. Балтрушайтиса, соответствующие мистической направленности их поэзии:

Листва, ты — явленная
Невеста нетленная![63]

— или стихотворение «В поднебесьи», переполненное такими словами, как «бог-отец», «престол», «фимиам», «стопы утвердил», «лики праведниц», «агнцы живые», «в высь текут», «гласящие благодать» и т. п. В таком словоупотреблении Коневского, как:

Пойми же, селянин без племени, без роду [64],

— словно в фокусе отразилась вся идеологическая направленность творчества Коневского, его представление о патриархальных, феодальных отношениях, противопоставленных им современной буржуазности. Коневской не ограничивался только словами «высокого» стиля, архаизмами, для него чрезвычайно характерны редкие, малоупотребительные, им самим созданные слова: «*Косящата* окна я не завесил» [65], «*думчив* мох седой» [66]. В то же время он широко пользуется народным песенным языком, враждебно относясь к «экзотической» и иностранной лексике. Всякое словесное «украшательство» для него неприемлемо в силу той точной соотнесенности слова и мысли, которой он стремится достичь в своих стихах. Поэтому он осуждает «мишуру» и словесный эстетизм в стихах Бальмонта и Брюсова, которому он пишет по этому поводу следующее: «Радуюсь в творчестве Вашем освобождению от любви и экзотическим и феерическим словам, от которых всегда один шаг до фиглярской мишуры. Такие слова (как „ажурный", „идеальный", „сплин", „принцесса", „пурпурный", „альков", „каскад") всегда напоминают стиль афиш, объявляющих о диковинных представлениях в цирке» [67].

Трудность и архаичность языка одинаково относятся и к стихам, и к статьям, и к письмам Коневского с их сложным перегруженным синтаксисом и необычным словарем. Еще В. Брюсов в своей статье о нем указывал: «Всем своим существом чуждаясь поверхностного, „разговорного" языка, он не хотел, да и не умел говорить просто: в стихах и в прозе, в дружеских беседах и частных письмах он неизменно употреблял один и тот же язык, в котором точности и остроте выражений решительно приносились в жертву легкодоступность и плавность речи. Чтобы отчетливо понять мысль И. Коневского, часто бывает нужно распутать хитрый синтаксис его фраз, где слова расставлены не в обычном порядке, где так непривычно много приложений» [68].

Коневской в своих стихах во многом ориентируется на ту конструкцию речи, которая свойственна философской и научной прозе. Этим объясняется значительное сходство в принципе организации его стихов и прозы. Синтаксическая сложность, стремление к логической точности и законченности в выражении смысла, обилие общих и отвлеченных понятий являются основными отличительными чертами его языка.

Лексическая смелость и необычность языка Коневского для поэзии 1890-х годов возбудила целый ряд враждебных нападок критики, которые исходили даже из лагеря, близкого символистам. В своей рецензии на «Стихи и прозу» критик «Русского вестника» Н. М. Соколов писал: «Было бы ошибочно по притязательной безграмотности заглавия думать, что мы имеем дело с простодушно нелепою завалью Никольского рынка или с упрямым капризом богатого графомана. Это, несомненно, знамение времени» [69]. Рецензент «Русской мысли» считал, что «если вглядеться в отрывистые, угловатые стихи, в прозу, какую-то лихорадочную, тяжелую, видно только: мы, читатели, как бы присутствуем при трудных опытах, которые производил над собой остро мыслящий человек, с целью найти, определить самого себя и свой путь» [70].

Обилие церковно-славянизмов, архаизмов и абстрактно-книжных слов делает поэзию Коневского поэзией «высокого стиля», сообщает ей ту монументальную торжественность, которая была затем усвоена поэзией Вяч. Иванова.

Для Коневского выбор, лексический «вес» каждого отдельного слова имел огромное значение. Противопоставлением своего языка разговорному, архаизацией его он стремился приблизить слова к понятию, создать слово, наиболее точно выражающее мысль. Однако этот отказ от живого, связанного с конкретными ассоциациями слова привел Коневского к абстрактности и «бесплотности» его поэзии:

Люблю я Истину, но также мило Мненье,
И вечность хороша, лишь если время есть.
Под каждым Мнением заложено Сомненье,
Как заповедный клад: то личной воли честь [71].

Коневской стремится метафоризировать те отвлеченные понятия, которые занимают господствующее место в его стихах:

И род летит: он плоть бесплотная.
Но хочет личный дух быть цел [72].

Однако эта метафоризация не преодолевает понятийной абстрактности словоупотребления, превращая лишь в расширенно-философские эмблемы такие понятия, как «Воля», «Дух», «Бездна», «Мир», «Жизнь» и т. д. В то же время Коневской в первую очередь стремится к предельной точности словоупотребления, добиваясь ее многократной переделкой стихов.

По поводу стихов Брюсова Коневской неоднократно писал ему, осуждая те неточности, которые прежде всего им отмечались: «Выдающиеся не только по содержанию, но и по выражению мысли, сочетания слов портятся такими местами, где в слишком ограниченном объеме Вами, очевидно, предполагалось сложить слишком много сложных и многообещающих понятий. От этого образы или отвлеченные слова, их передающие, получаются неточные, неуместные, грубые. Таков образ „сладкой сети противоречий", которая „роднит и близит всех", таковы рубрики Любви и Греха. Ведь противоречия, во всяком случае не над предметами, как сеть, раскинутая поверх их, объединяет предметы, а таятся внутри их самих» [73].

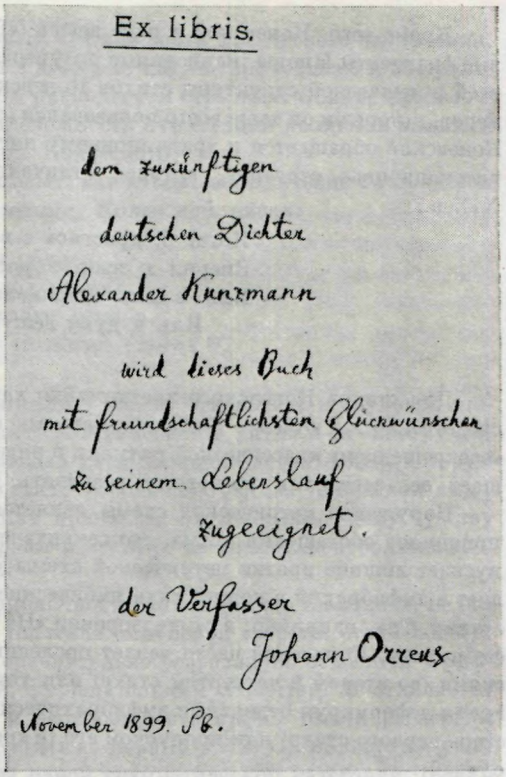
Благодаря стремлению Коневского к точности словоупотребления в его стихах приобретает особенно большое значение эпитет. Именно эпитет создает у него конкретную предметность образа, «уточняет» его. Эпитет Коневского так же, как и весь словарь его, чаще всего архаичен, восходя к Тютчеву или даже Державину и Ломоносову:

Темнолазурные моря,
Недосягаемые скалы,
Златорумяная заря [74].

Или: «Торжественно-обманное мгновенье» («Недоумение»), «Плодоносно-кипящей любви» («Genius»), «Восторженно-безнадежны» («Праздничная кантата»), «Широкопенистый порог» («Взрывы вод»). Это стремление к точности и мотивированности эпитета является одним из примеров ориентации Коневского на поэтическую систему начала XIX в. Но в то же время Коневской стремится преодолеть ту «стилизованность» и вторичность слова, которая в силу этого получается. Такие «неожиданно смелые» и «вещные» эпитеты, как «хриплое стенанье»,

«твердый бег мира», «ноющие члены», «жилы ветхие», «коснеющий город», «слепые стены» «мерзостная плоть» и т. д., не только выходят за пределы поэтики символизма, но и свидетельствуют о той предметной весомости слов, к которой стремился Коневской. Простота и предметная точность образов в таких стихотворениях, как «Дебри» или «С Коневца», во многом предвещают уже ту стилевую систему, к которой стремились придти значительно позже акмеисты.

Ритмическая гладкость эпигонской поэзии 1890-х годов ставила перед символистами вопрос о путях ее преодоления. Vers libre, указанный французским символизмом как путь к ритмическому освобождению стиха, был лишь в незначительной мере использован русскими символистами в силу тех неизмеримо больших ритмических возможностей, которые представляла собою русская метрика. Тем не менее для символистов, в особенности в 1890-е годы, весьма характерны разнообразные ритмические поиски и опыты. Многие произведения А. Добролюбова, Вл. Гиппиуса, Бальмонта и других являлись опытами новой ритмической организации стиха: стихотворениями в прозе или «свободными стихами» вне размера. Для обогащения ритмики А. Добролюбов, а вслед за ним и Коневской обращаются к «духовным стихам» и песням (как подлинно народным, так и в их интерпретации у Кольцова).


Ex libris.

dem zukünftigen
deutschen Dichter
Alexander Kunzmann
wird dieses Buch
mit freundschaftlichsten Glückwünschen
zu seinem Lebenslauf
zugeeignet.
der Verfasser
Johann Orreus
November 1899. Pb.

ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ И. И. КОНЕВСКОГО А. КУНЦМАНУ: «БУДУЩЕМУ НЕМЕЦКОМУ ПОЭТУ АЛЕКСАНДРУ КУНЦМАНУ С ДРУЖЕСКИМ ПОЖЕЛАНИЕМ СЧАСТЬЯ НА ЕГО ЖИЗНЕННОМ ПУТИ ПРЕПОДНОСИТ ЭТУ КНИГУ АВТОР
ИВАН ОРЕУС
Ноябрь 1899, Пб.»
Центральный архив литературы и искусства, Москва

Коневской считал одним из главнейших достоинств новой французской поэзии «обновление, возрождение ритма, которого достигли современные художники французского слова». «Из самого неподатливого и тупого стиха во всей европейской поэзии, — писал он, — сделали этакое поистине чудо стихотворного размера, по биению и трепету жизни соединяющее беспредельную легкость с захватывающей мощью, какое, кажется, не слыхано было в европейской поэзии со времени хоровой песни у древне-эллинских трагиков» [75]. Однако сам Коневской почти не пользовался «свободным стихом», в основном ориентируясь на классические размеры, хотя и сильно деформируя и ломая их. «Косноязычие» стихов Коневского, их синтаксическая и ритмическая «затрудненность» противопоставлены не только ритмической гладкости массовой поэзии 1890-х годов, но и той мелодической «певучести», которая в символизме была представлена поэзией Бальмонта. Об этой принципиальной ритмической затрудненности стиха писал позже Брюсов: «Подобное же своеобразие представляет и стих Коневского, тоже лишенный той дешевой „гладкости“, которую так легко приобретают даже самые заурядные стихотворцы ⟨...⟩ „Мне нравится, чтобы стих был немного корявым“, — помню я, говорил сам Коневской ⟨...⟩ Он любил прямые нарушения ритма в отдельных стихах, находя, что через то восстановление певучести в следующем стихе дает какое-то особое очарование» [76].

Выход за пределы метрической системы осуществлялся Коневским главным образом с помощью кольцовской «песни»:

Меня захватывает Крылья широкие
Этот новый мир. Везде расправлены [77].

Кроме того, Коневской в ряде вещей («Праздничная кантата») ориентируется на стиховые фрагменты Ницше, написанные ритмизованной прозой. Однако основная направленность всей ритмической структуры стихов Коневского сводилась к деформации классических размеров, которыми он чаще всего пользовался (особенно часто — ямба, анапеста и амфибрахия). Коневской обращается к традиционному пятистопному ямбу, воспроизводя то его ритмико-интонационное строение, которое отличало поэтическую структуру 1820—1830-х годов XIX в.:

Когда б, простясь с возлюбленною девой,
Вперил я взор в роскошный неба свод
Иль в сень широколиственного древа,
Иль в думу вещую, как рокот вод [78].

Для стихов Коневского чрезвычайно характерны ритмические ходы, восходящие непосредственно к Тютчеву, Языкову, Баратынскому, но в то же время он параллельно с этим «воскрешением» классической ритмики в ряде других стихов (а то и в одних и тех же) разрушает ее, заставляя по-новому зазвучать традиционные размеры.

Нарушение метрической схемы является одним из основных и наиболее радикальных принципов обогащения ритма, его семантического обновления. Коневской неоднократно допускает лишние против метрической схемы ударения, деформирующие в корне метр, вставляет в амфибрахий в конце стиха ямбические стопы, сокращает количество стоп в отдельных стихах. Так, например, в стихотворении «На лету», написанном в основном пятистопным амфибрахием, Коневской часто делает последнюю или даже две последних стопы или ямбическими (во втором и четвертом стихе) или хореическими (в первом и третьем стихе), в то же время деформируя отдельные амфибрахические стопы дополнительным ударением (в третьей стопе первого стиха) или пропуском его (в третьей стопе четвертого стиха, тоже очень редкий случай):

И весь свой состав предал ветру, лучам я в руки.
Волна набежала. . . Крепчает грозный напор.
Вот дух захватило, я вздрогнул, восторг и муки. . .
И что за неистовый, непостижимый простор! [79]

Аналогичных примеров можно привести большое число.

В результате такого слома метрических схем Коневской (не говоря уже о стихах «песенного» типа) приходит к дольнику, к тому свободному стиху, зачинателем которого он являлся наряду с А. Добролюбовым. Задолго до Блока, акмеистов и футуристов Коневской создал тот дольник, который так многосторонне был использован в поэтической практике XX в. Дольник Коневского принципиально отличен от французского vers libre'а тем, что основан не на гармонической ритмизации стиха, а на нарушениях ощущаемой за ним метрической схемы. Благодаря дольнику стих Коневского сохраняет, даже усиливает свою смысловую нагрузку, ритмическую напряженность и выделенность каждого слова. Такое стихотворение, как «Обетование», предвещает стихи позднего Гумилева мужественной энергией своего ритма:

1. Из туманов и топей мшистых
Мы когда-нибудь да умчимся
За края морей золотистых,
Где давно уж в мечтах кружимся.

2. Наглядимся на тамарисы,
Разбежимся по странным взморьям,
А потом проникнем в край лысый,
К незапамятным плоскогорьям [80].

Чередование амфибрахических стоп с анапестическими создает впечатление метрической закономерности, в то же время целиком нарушая обычную метрическую систему. Второй стих первого четверостишия представляет правильный трехстопный амфибрахий, в остальных стихах амфибрахические стопы чередуются с анапестическими.

Для ритмико-интонационного строя стихов Коневского важно точное соответствие ритмических «сдвигов» и «фигур» смысловому развитию темы стиха. Поэтому ритмическое членение, паузы, весь ритмико-интонационный ход стиха определяются смысловой, часто даже

почти прозаической структурой всего стихотворения. Сложность логического построения, стремление к максимальной логической точности в передаче мысли, приводящее к абстрактности и риторичности стиха, сказываются и на его ритмическом строении. Обилие придаточных предложений, местоимений, исключительная сложность пунктуации являются внешним выражением этого «философского» строя стихов Коневского.

Целый ряд стихотворений Коневского показывает, какое большое значение он придавал звуковой стороне стиха. Недаром, говоря о языке, Коневской писал:

И велик тот язык и обилен:
Что ни слово — увалов размах,
А за слогом, что в слове усилен,
Вьются всплески и в смежных слогах [81].

Здесь Коневской сформулировал основной принцип своего отношения к звуковой стороне стиха. Для его стиха не характерна гармоническая напевность ритма и та «инструментовка», основанная на «звуковом повторе», создающая «музыкальное» впечатление, которую он называл «бальмонтовщиной». Недаром даже в стихотворениях Брюсова Коневской выделяет эту «бальмонтовщину» и пишет о ней: «Как привлекла бы меня по общему чувству и по строению дума „Вила", если б, увы! и образы и музыка не отзывались бальмонтовщиной» [82].

Для Коневского важна не музыкальная «гармоничность» стиха, не его «эвфония», не его звуковая «красивость», а смысловой результат, усиление смысловой стороны стиха подчеркиванием повторов. Именно поэтому Коневской сравнительно безразлично относится к рифме, как и ко всему, что имеет орнаментальный, украшательный характер. В отличие от Бальмонта и Брюсова, для которых богатство и неожиданность рифмы имели решающее значение, Коневской почти нигде не выдвигает рифмы на первый план. Он пользуется чаще всего наиболее простыми рифмами, рифмуя слова одной грамматической категории, одного лексического ряда. Поэтому у него так часты глагольные рифмы и рифмы типа «дали — печали».

В дали степей еще сеча гуляет.
Люди иль пыль — не видать.
В небе уж ястребы вольно ширяют:
С ними ли вам совладать? [83]

Такие рифмы, как «встречи — речи», «взглянет — встанет», «путь — грудь», «мир — сир» («По дням»), наиболее употребительны у Коневского, хотя наряду с ними встречаются и такие рифмы, как «на распутьи — дохнуть я» («По дням») или «нагая — изнемогая» («В роды и роды»). Однако и в этих рифмах нет подчеркнутой эффектности, экзотичности; в частности, Коневской избегает исторических и географических названий и имен, иностранных слов, придающих рифме экзотичность. Рифма включается в общую систему звукового строения стиха, которая делает стихи Коневского особенно прочными и монументальными. Коневской не отказывается от «инструментовки», имеющей большое значение для композиционной стройности и организованности стиха. «Всплески» в «смежных слогах», «усиление» смысловой роли слова этими повторами звуков — основной принцип Коневского. Строки, декларирующие этот принцип, являются иллюстрацией его применения: «А за слогом, что в слове усилен,// Вьются всплески и в смежных слогах» [84].

Каждый стих, каждое четверостишие делается особенно обязательным именно в силу этой звуковой организованности:

Все, что есть в необъятном объеме,
Все впитает мой впившийся взор [85].

Фонетическое сродство таких слов, как «необъятный» и «объем» или «впитает» и «впившийся», поставленных Коневским во взаимную связь, заставляет по-новому осмыслить и круг их значений, взаимно пересекающихся благодаря этой фонетической перекличке. Это заново воскрешает стершийся этимологический смысл слова.

По этому принципу столкновения слов, по этой омонимичности принципа звукового построения стиха Коневской родственен Хлебникову и футуристам. Такие стихи, как:

Пусть в безоблачной сияющей лазури
Зыбко зубрится твой лист [86],

— не просто инструментованы на «з», но и сталкивают «зыбко» и «зубрится», повышая смысловое звучание слова, делая обязательным именно данный контекст.

Насколько принцип звукового повтора, сближения двух разнозначащих слов посредством этого повтора важен был для Коневского, видно и по черновым вариантам ряда его стихотворений. Так, например, в стихотворении «Порывы» первые стихи:

Здесь жестоко наш прах цепенеет,
Спотыкается шаг о коряги [87],

— были в дальнейшем переделаны:

Ведь жестоко здесь кости коснеют,
И шагам преткновенье — коряги [88],

— именно для большей звуковой крепости и организованности их. Не случайно поэтому в черновиках Коневского можно встретить специальные звуковые заготовки, вроде:

Судороги сумерек	Гордый город
Вещие ветры	Горе гор
Душит душу. Душно душе	Гордые горы
Свято светит	Горы горят [89],

обнажающие этот принцип сочетания фонетически парных, но далеких по значению слов, с целью их переосмысления, выведения из смысловой нейтральности.

Вместе с тем Коневской разделяет с остальными символистами веру в эмоционально-магическое значение звука, пытается вслед за Рембо наметить целую таблицу соотношений между цветами и буквами [90]. В этой таблице, на много времени предваряющей «Поэзию как волшебство» Бальмонта и «Глоссолалию» А. Белого, а также словесные эксперименты футуристов, Коневской выступает представителем и основателем того магического отношения к слову, которое выросло из всей эстетики слова символистов.

Причины весьма узкой известности Коневского даже в пределах символизма в значительной мере объясняются преждевременностью его появления. Те поэтические тенденции, которые несло с собой творчество Коневского, проявились и развились в русском символизме значительно позже. Коневской был зачинателем той линии русского символизма, которая позднее осуществилась в творчестве Вяч. Иванова и таких поэтов, как Ю. Балтрушайтис, В. Бородаевский, Ю. Верховский и др. Если в конце 1890-х годов «мыслительная лирика» отчасти представлена была Брюсовым, в творчестве которого она занимала сравнительно небольшое место, то стихи Балтрушайтиса, впервые появившиеся в 1901 г. в «Северных цветах» вместе со стихами Коневского, «Кормчие Звезды» (1903) и «Прозрачность» (1904) Вяч. Иванова продолжили путь, намеченный Коневским. Недаром Балтрушайтис принадлежал к числу первых ценителей и почитателей Коневского [91], а Вяч. Иванов в своей статье о Балтрушайтисе называет его поэтом-мыслителем.

Подходит сумрак, в мире все сливая,
Великое и малое, в одно. . .
И лишь тебе, моя душа живая,
С безмерным миром слиться не дано. . .

Для Балтрушайтиса, так же как для Коневского, основной философской идеей его поэзии является соотношение личности и мира, познание его трансцендентной сущности. Точно так же в стихах Балтрушайтиса сказывается сочетание абстрактно-философской схемы и словесной точности, отличающее и поэзию Коневского. Он также консервативен в своих жанрах, словаре, образах, ориентируясь на классическую поэзию, в частности на Баратынского. Основной мотив Коневского — «проклятие раздробленности» и стремление к всеединству — проходит и сквозь всю поэзию Балтрушайтиса:

Единая в проклятии дробленья,
Ты в полдень — тень, а в полночь — как звезда,
И вся в огне отдельного томленья,
Не ведаешь покоя никогда. . . [92]

Здесь не только жанр «раздумья», но и самая фактура стиха, его рассудочность, отвлеченность образа и точность эпитета.

Дальше отстоит от Коневского поэзия Вяч. Иванова с ее проблемой отношения личности к «сверхмирному» и «сверхличному» (правда, разрешаемой «примирением» эллинского «дионисизма» с христианством). И Балтрушайтис, и Вяч. Иванов в основном развивали тот же круг идей, что и Коневской.

В своем отрицании буржуазной культуры и Балтрушайтис, и Вяч. Иванов обращаются к прошлому, первый — к идеализации патриархальной литовской древности, второй — к античному миру. Философские идеи Вяч. Иванова также во многом «продолжают» Коневского: «Нужен и свят первый миг дионисийских очищений: соединение с низшим, глубинным богом, говорящим „*Да*“ Природе, как она есть. Все нужно принять в себя, как оно есть в великом целом, и *весь* мир заключить в сердце. Источник всей силы и всей жизни — это временное освобождение от себя и раскрытие души живым струям, бьющим из самых недр мира» [93].

Поэзия Вяч. Иванова — поэзия филолога и философа, сохраняющая тяжесть ученой эрудиции, пересыпанная образами и именами античной мифологии и истории, архаистическая по своим жанрам и языку, помимо идеологического сродства, своей философической, «мыслительной» направленностью, своим архаистическим стилем продолжает поэтические принципы Коневского.

«Архаистическая» линия в русском символизме, начатая Коневским, осталась второстепенной, оттесненной другими тенденциями (у Брюсова, Блока).

В творчестве Коневского были заложены различные возможности дальнейшего поэтического развития. Если в «раздумьях» он предвещает более поздние брюсовские философические стихи и поэзию Вяч. Иванова, то в своих чисто лирических стихах Коневской чрезвычайно напоминает Блока, за несколько лет до появления блоковских стихов создав вещи, предвещающие как цикл о «Прекрасной Даме», так и многое в последующем творчестве поэта.

Блоковская «романсность», мистическая загадочность образа, эмоциональный биографизм и лиричность темы уже даны Коневским в таких стихах, как «На сон грядущий», «Бледная весна», «Волнения», «Памяти встречи», выражающих другую сторону его творчества.

Здесь нет той торжественности и архаизации языка, той ритмической и синтаксической «затрудненности» и «косноязычия», что в мыслительных стихах Коневского. Романсный напевный ритм, «зыбкий» образ, эмоциональность темы в значительной мере отличают их от его «раздумий».

Эта чисто лирическая струя поэзии Коневского близка Блоку темами мистической любви, того молитвенного экстаза и аскетической обреченности, которые подхватываются Блоком в его стихах о «Прекрасной Даме» и составляют основной мотив его поэзии вплоть до «Незнакомки». Такие стихи Коневского, как «На сон грядущий», заключают в потенции характерные черты стилистической системы Блока:

К сребристым тканям риз широких
Я припадаю весь в слезах,
Скрываясь в их тенях глубоких
И в синих сумрачных глазах 〈...〉
И тают вздохи облегченья.
Развеяв вновь епитрахиль,
Ты усыпила все влеченья
И свеяла дороги пыль [94].

Словарь, образы, эпитеты, интонация, даже мелодическая напевность и эмоциональная приподнятость этого цикла стихов Коневского целиком совпадают с Блоком. Непосредственная общность лирических стихов Коневского с Блоком зависит и от общего источника — лирики Вл. Соловьева, в которой дана была уже эта система символических намеков и мистических аллегорий любви.

Однако Блок сближается с Коневским не только своей лирической темой «Прекрасной Дамы» и своими мистическими стихами. Такие стихи Коневского, как «Среда», уже предвещают «Русскую Америку» и даже «Возмездие» как своим отношением к современности, так и самой фактурой стиха.

Эволюционное значение поэзии Коневского не исчерпывается линией философской и «архаической» поэзии и пересечением с лирикой Блока. В ней заложен был ряд таких тенденций, которые осуществились полностью в стихах иных поэтов, творчество которых в целом довольно далеко отстояло от Коневского. Напряженность всей смысловой и ритмической ткани стиха, резкие срывы в сенсуалистическую, сниженно-бытовую конкретность слова, вроде стихотворения «Наброски», во многом напоминают стих И. Анненского:

Что ж, чего же, волюшка, ты хочешь?
А козявки эти часто любы.
Ну, пока о них еще хлопочешь,
Их целуй, на них точи и зубы [95].

В еще большей степени ряд стихов Коневского предвещает Гумилева и акмеистов. Антибуржуазное противопоставление современности — цельности и стихийной силы отошедшего патриархального строя, основная «варяжская» тема Коневского,— целиком переходит в творчество Гумилева. Ритмическая энергия стиха, ощутимость словесной тяжести и в то же время предметная конкретность и точность, которые даны в лучших стихах Гумилева, уже предваряются такими стихотворениями, как «Среда», «С Коневца», «Варяги»:

Герои личной гордости безмерной,
Служители властительных богов
Боялись неги вольной суеверно,
Их тешил только лютый звук рогов [96].

Трудно учесть, где имеется перекличка, а где налицо было сознательное следование за Коневским и непосредственное влияние его творчества, что с несомненностью можно установить лишь для Ланга, Брюсова, Балтрушайтиса,— тем не менее эволюционная роль творчества Коневского, одно то, что в нем заложены были те линии, которые в дальнейшем раскрылись и реализовались в творчестве столь различных поэтов, как Блок, Вяч. Иванов или Гумилев, делает особенно существенной историческую значимость его творчества, роль его в развитии русской лирики XX в.

Опыт философской «мыслительной» поэзии, который дан был Коневским, идейная насыщенность и смысловая емкость его стихов, сочетавшиеся со словесной выверенностью и ритмической силой стиха, могут представить интерес и для современной советской поэзии.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Запись В. Я. Брюсова относится к концу 1899 г.— См.: В. Я. Брюсов. Дневники. 1891—1910. М., 1927, с. 78.

[2] *Синеус* — легендарный князь др.-рус. города Белоозеро, брат Рюрика и Трувора.

[3] Ипполит Александрович *Пан ев* (1822—1901) — в 1856—1866 гг. сотрудник «Современника», автор воспоминаний о Н. А. Некрасове.

[4] М. Будагов. Памяти Ивана Ивановича Ореуса (1830—1910). СПб., 1910, с. 7.

[5] См. об этом в рукописной тетради с рисунками, озаглавленной «Краткие сведения о великих людях (писателях, поэтах, ученых, художниках, государственных людях) Росамунтии XIX века. В виде словаря».— ЦГАЛИ, ф. 259, оп. 1, ед. хр. 3.

[6] СП, VII—VIII. По просьбе И. И. Ореуса-отца его предисловие к книге было напечатано без подписи.

[7] Об отношениях Коневского с А. Я. и И. Я. Билибиными см. ниже, а также прим. 15. С. Н. Розанову было посвящено (в рукописи) стихотворение «Священные сосуды» (СП, 13). Алексею Михайловичу Веселову посвящено первое стихотворение («Святой князь Борис») из цикла «Образы Нестерова» (СП, 4—6). См. также письма Коневского к нему (ЦГАЛИ, ф. 259, оп. 3, ед. хр. 19). Николай Николаевич *Беккер* — начинающий художник, был близок к Коневскому в университетский период, ему было посвящено (в рукописи) стихотворение «Из „вечных сводов“» (СП, 44).

[8] Федору Александровичу Лютеру (18??—19??) посвящены четыре стихотворения: «По дням» (СП, 9), «Две радости» (СП, 14), «Силы» (СП, 22), «Ты миром удивлен, ты миром зачарован» (СП, 45).

[9] Аттестат Петербургской 1-й гимназии за № 601 от 30 мая 1896 г. см. в университетском деле студента И. И. Ореуса № 766 от 16 августа 1896 г. (ЛГИА, ф. 14, оп. 3, д. 53212, л. 15).

[10] См. записную книжку № 2 Коневского за 1895 г.— ЦГАЛИ, ф. 259, оп. 1, ед. хр. 7.

[11] Сохранился текст дарственной надписи С. П. Семенову (1876—193?): «Сергею Петровичу Семенову, величайшему спутнику моему на дорогах мышления по основаниям—не раз

отлучающийся от него и — этой прямой дороги в дебри видений. И. О р е у с» (книга утрачена, цит. по копии Н. Л. Степанова). Ему посвящен ряд стихотворений (СП, 17, 18, 39). Письма Коневского к нему см.: ЦГАЛИ, ф. 259, оп. 3, ед. хр. 21. К нему было обращено одно из самых значительных писем поэта от 21 июня 1901 г., написанное за несколько дней до смерти (сохранилось не полностью в списке Н. М. Соколова — там же).

[12] См. запись Коневского о значении для него бесед с Ип. А. Панаевым.— ЦГАЛИ, ф. 259, оп. 1, ед. хр. 19.

[13] СП, 16—17 (3-й сонет из цикла «Сын солнца»).

[14] Алексей Федорович *Каль* (1878—1948) — музыковед, впоследствии преподаватель истории музыки в СПб. ун-те, жил за рубежом, в 1940-х годах был секретарем И. Ф. Стравинского. Ему (Florestano Kallio) посвящено несколько стихотворений (СП, 51, 7) (Florestan — дружеское прозвище Каля, по одному из псевдонимов Р. Шумана).

[15] Об этих встречах см. в воспоминаниях О. В. Яфа-Синакевич ‹«Захарьевские собрания»› (сб. «Иван Яковлевич Билибин». Л., 1970, с. 129—131; см. там же фотографию — между с. 48—49). На фотографии — дарственная надпись: «Радушной и мудрой настоятельнице братства Св. Захария и Елисаветы от синклита беснующихся. Ив. Билибин, Иван Ореус, А. Билибин, Florestan absens ‹А. Ф. Каль›. Декабрь 1899» (цит. по копии, сделанной Н. Л. Степановым).

[16] Михаил Александрович *Елачич* (187?—1918?) — гимназический и университетский товарищ Коневского, драматург, толстовец. Ему посвящено стихотворение «Присловия» (СП, 109). Вячеслав Рудольфович *Менжинский* (1874—1934) — в те годы начинающий литератор, впоследствии известный деятель партии большевиков. О его литературной деятельности см. сообщение Л. Я. Дворниковой «Автор одного романа».— В кн.: «Встречи с прошлым», вып. 4. М., 1982. с. 107—111. Георис Эммануилович *Нольде* (1876— ?) — впоследствии историк права, профессор Александровского лицея и Петроградского политехнического института. Николай Михайлович *Соколов* (187?—193?) — друг поэта, после смерти Коневского разбирал рукописи Коневского (см. об этом — СП, VI). В 1902—1903 гг. принимал деятельное участие в подготовке книги «Стихи и проза». Павел Павлович *Конради* (187?—1916) — литератор, журналист, позже сотрудник «Нового времени» и «Нивы», ему посвящены стихотворения «В море» (СП, 40), «К П. П. Конради» (СП, 121).

[17] ЦГАЛИ, ф. 259, оп. 1, ед. хр. 6.

[18] Там же, оп. 3, ед. хр. 26.

[19] Там же.

[20] Там же, оп. 1, ед. хр. 6.

[21] Там же; ед. хр. 14.

[22] Там же, ед. хр. 1.

[23] Там же, ед. хр. 6.

[24] См. тетрадь «Характеристики живописных и музыкальных впечатлений» — выписки из записных книжек Коневского, сделанные Н. М. Соколовым.— ЦГАЛИ, ф. 259, оп. 3, ед. хр. 10.

[25] Там же.

[26] Там же.

[27] Там же.

[28] Там же.

[29] Книга с пометами Н. М. Соколова сохранилась в фонде В. Я. Брюсова (ГБЛ, ф. 386, к. 858). Титульный лист с дарственной надписью Коневского и первые страницы утрачены. На этом экземпляре зафиксированы многочисленные разночтения.

[30] ЦГАЛИ, ф. 259, оп. 1, ед. хр. 11.

[31] СП, VIII.

[32] ЦГАЛИ, ф. 259, оп. 3, ед. хр. 26.

[33] Н. Минскому были отправлены стихотворения «На лету» и «Меж нив» (ИРЛИ, ф. 39, ед. хр. 302).

[34] В. Я. Б р ю с о в. Дневники, с. 57.

[35] ЦГАЛИ, ф. 259, оп. 3, ед. хр. 17.

[36] ИРЛИ, ф. 289, ед. хр. 936.

[37] В. Я. Б р ю с о в. Дневники, с. 99.

[38] Сборник вышел под названием «Книга раздумий» (СПб., 1899).

[39] См. копию заметки, сделанную Степановым.— ЦГАЛИ, ф. 259, оп. 3, ед. хр. 12.

[40] Статья «Хлесткий и запальчивый ответ pro domo sua» осталась неопубликованной. См.: ЦГАЛИ, ф. 259, оп. 2, ед. хр. 2.

[41] СП, XIII.

[42] Опубликована первая часть этой статьи под заглавием «На рассвете» (СП, 125—136).

[43] См.: «Северные цветы на 1901 год». М., 1901, с. 180.

[44] СП, X.

[45] В настоящее время архив Коневского хранится в ЦГАЛИ (ф. 259), письма к В. Я. Брюсову и стихотворения, которые он получал от друзей и знакомых Коневского, хранятся в ГБЛ (ф. 386).

[46] Валерий Б р ю с о в. Автобиография.— В кн.: «Русская литература XX века (1890—1910)», т. I, кн. I. М., 1914, с. 112.

[47] СП, 197 («К исследованию личности А. Добролюбова»).

[48] Философские течения в русской поэзии. СПб., 1889, с. I.

[49] СП, XIII.
[50] ГБЛ, 386, 97, 9.
[51] СП, 226—227 («Мысли и замечания»).
[52] СП, 223 («Мысли и замечания»).
[53] СП, 225 («Мысли и замечания»).
[54] СП, 90 («Слово заклятия»).
[55] Вяч. Иванов. Заветы символизма.— В кн.: Вяч. Иванов. «Борозды и межи». М., 1916, с. 126—127.
[56] СП, 66 («Признаки»).
[57] Неопубликованная статья Коневского «К параллели между Тютчевым, Фетом и А. Толстым».— ЦГАЛИ, ф. 259, оп. 3, ед. хр. 11.
[58] СП, 97 («Прояснение»).
[59] СП, 50 («По дням»).
[60] СП, 14 («Две радости»). Поставленный Н. Л. Степановым вопрос о лексических запретах у Хлебникова и Коневского следует, вероятно, рассматривать шире — в связи с проблемой соотношения поэтических стилей обоих писателей.
[61] СП, 23 («Миг зрения»).
[62] СП, 17 («Starres Ich»).
[63] СП, 23 («Силы»).
[64] СП, 50 («По праву рождения»).
[65] СП, 38 («До и после»).
[66] СП, 21 («Под звук ущелья»).
[67] ГБЛ, ф. 386, к. 97, ед. хр. 9.
[68] В. Брюсов. Иван Коневской. Мудрое дитя. — В кн.: В. Брюсов. Далекие и близкие. М., 1912.
[69] «Русский вестник», 1905, № 1, с. 79.
[70] «Русская мысль», 1905, № 1.
[71] СП, 108 («В небывалое» из цикла «Гномы»).
[72] СП, 102 («Откуда силы воли странные?»).
[73] ГБЛ, ф. 386, к. 97, ед. хр. 9.
[74] СП, 97.
[75] Письмо к В. Я. Брюсову от начала 1900 г.— ГБЛ, ф. 386, к. 97, ед. хр. 9.
[76] В. Брюсов. Иван Коневской. Мудрое дитя. — В. кн.: В. Брюсов. Далекие и близкие М., 1912.
[77] СП, 20 («Жертва вечерняя»).
[78] СП, 29 («Многим в ответ»).
[79] СП, 12 («На лету»).
[80] СП, 48 («Обетование»).
[81] СП, 36—37 («С Коневца»).
[82] ГБЛ, ф. 386, к. 97, ед. хр. 9.
[83] СП, 62 («Издалека»).
[84] СП, 36—37 («С Коневца»).
[85] Там же.
[86] СП, 77 («Вязи медленно-искусное плетенье»).
[87] В СП этот вариант отсутствует. См. с. 242.
[88] СП, 94 («Порывы»).
[89] Записная книжка № 10.— ЦГАЛИ, ф. 259, оп. 1, ед. хр. 28.
[90] См. в недатированном письме к С. П. Семенову.— ЦГАЛИ, ф. 259, оп. 3, ед. хр. 21.
[91] См. письмо Брюсова к Коневскому 19 марта 1899 г.— ГБЛ, ф. 386, карт. 72, ед. хр. 7.
[92] Ю. Балтрушайтис. Земные ступени. М., 1911, с. 144.
[93] Вяч. Иванов. Символика эстетических начал.— В кн.: Вяч. Иванов. «По звездам». СПб., 1909, с. 32.
[94] СП, 76 («На сон грядущий»).
[95] СП, 105 («Наброски»).
[96] СП, 117 («Варяги»).

«ДВЕНАДЦАТЬ» БЛОКА И ЛЕОНИД АНДРЕЕВ

Статья М. С. Петровского

Подобно многим великим произведениям искусства, поэма Блока таит в себе некую загадку — и решение этой загадки (или хотя бы ее осознание) входит в художественный эффект «Двенадцати», неотразимо заражая каждого читателя тем высоким беспокойством, которым был одержим поэт. Поэма мощно провоцирует концептуальную мысль: соприкоснувшись с «Двенадцатью», читатель, критик, литературовед немедленно начинают создавать концепцию. Это обнаружилось сразу после появления «Двенадцати», и уже в 1922 г. отмечалось, что блоковскую поэму все «теперь обязательно считают долгом интерпретировать» [1]. Более чем шестидесятилетняя история движения поэмы сквозь время — это история концептуального творчества, порожденного «Двенадцатью», каскад концепций, борьба между концепциями, претендующими порой на «закрытие вопроса», на «исчерпывающее», «окончательное» прочтение поэмы, которая между тем продолжает оставаться все такой же ясной, доступной — и все такой же загадочной, ускользающей — и открытой для новых истолкований.

Эта работа не содержит ни новой концепции «Двенадцати», ни даже претензии на новое истолкование поэмы. Она предлагает относительно новый материал, который должен быть учтен в наших размышлениях о поэме, новые факты и наблюдения, относящиеся к связи «Двенадцати» с культурным контекстом блоковской эпохи. Эти факты и наблюдения — порой очевидные, порой сохраняющие известную меру гипотетичности — показывают, что связь творчества Блока с культурным контекстом его эпохи, «включенность» художника в эту культуру гораздо основательней и многосторонней, чем принято полагать, и что путь исследования творчества поэта в культурном контексте — путь плодотворный и сулящий радостные выходы к более глубокому пониманию.

Взаимоотношения Блока и Л. Андреева, динамика их связей в биографическом и творческом аспекте впервые последовательно рассмотрены в работе В. И. Беззубова «Александр Блок и Леонид Андреев» [2]. Предлагаемая статья примыкает к названной работе.

1

Пытаясь угадать лик грядущей демократии, Блок внимательно приглядывался к литературной деятельности демократических писателей. Творчество Андреева было вдвойне привлекательно для элитарного поэта, возненавидевшего свою элитарность и возмечтавшего сделать свое искусство достоянием демократических низов, более того — сделаться выразителем той стихийной силы, с которой низы заявили о себе. Леонида Андреева Блок воспринимал именно как вышедшего из этих низов и включившего их социальный опыт в свой личный. Произведения Андреева были порождены и пронизаны теми же тревогами, что так яростно потрясали Блока,— предощущением катастрофы, чувством изжитости старых форм социального бытия, ожиданием неизбежного и всеистребляющего взрыва мести «этих нищих» (I, 302) за столь долго копимые обиды и унижения. В известной фразе Блока из письма к С. М.Соловьеву от начала 1905 г. — «Читая „Красный смех“ Андреева, захотел пойти к нему и спросить, когда всех нас перережут» (VIII, 118) — сказалась, между прочим,

высокая степень доверия поэта к праву Андреева говорить от имени низов, к его «пророческому» дару.

Цель, к которой с напряжением всех душевных сил стремился Блок,— стать современным художником и художником современности — требовала решения многих частных задач разного уровня — от идеологического до языкового. «Современная жизнь очень пестрит у меня в глазах и смутно звучит в ушах. Значит, я еще не созрел для изображения современной жизни, а может быть, и никогда не созрею, потому что не владею еще этим (современным) языком. Мне нужен сжатый язык, почти поговорочный в прозе или стихотворный» (ЗК, 288). Фигурально говоря, Блок учился демократическому, «низовому» языку по произведениям городского фольклора, у всех этих романсов, уличных песен, частушек и у «писателей из низов», в частности Скитальца и Андреева.

Неверно, будто улице было «нечем кричать и разговаривать»: улица кричала и разговаривала своими песнями, романсами, частушками. Полемически заостренный афоризм Маяковского означает попросту, что в момент его возникновения поэт не признавал эстетической и социальной адекватности этих криков и разговоров, отрицал возможность (по крайней мере для себя) говорить и кричать на этом языке в литературе. В пору этого афоризма он, как известно, ориентировался на устную речь низов, а не на их пение. Сделав попытку опереться на былинную образность в «150 000 000», Маяковский в «Хорошо!» принял песенный язык улицы и щедро озвучил им изображение эпохи.

Блок сделал это раньше — в лирике, ориентированной сначала на традицию массового, «низкого», бытового романса, а затем и на частушку, особенно в поэме «Двенадцать», синтезировавшей все многоголосье поющей улицы (с этой поэмой Блока обе названные вещи Маяковского находятся в сложной связи полемики — соревнования). Вопрос о «заимствованиях», реминисценциях, рефлексах «Двенадцати» на фольклорные и полуфольклорные — как правило, песенные — источники возник в первых же откликах на поэму и до сих пор не теряет актуальности; едва ли найдется такая работа о «Двенадцати», которая не напоминала бы о связи поэмы с тогдашним массовым песенно-романсово-частушечным репертуаром и не обращала бы внимания на чрезвычайную насыщенность поэмы голосами поющей улицы.

Блок и Андреев были современниками и внимательными свидетелями неслыханного песенного бума, не имеющего, по-видимому, прецедентов в предшествующей истории русской культуры. Работы, посвященные музыкальной жизни начала века, подробно описывают это явление, но зачастую не осознают его нового качества, не видят в нем именно *явления*. Как раз на годы литературной жизни Андреева и Блока приходится небывалая вспышка массового спроса на все поющиеся жанры — и гигантского, почти индустриального по своим масштабам производства песенной продукции. Многочисленные издательства засыпáли рынок нотными листами и песенниками во все возрастающих количествах и громадными (по тем временам) тиражами. Объем репертуара всех поющихся жанров рос лавинообразно. Старые, новые и вообще неизвестно какие песни, романсы, частушки, куплеты ежедневно бросались в толпу в бесчисленных трактирах, портерных, ресторанах, кабаках, полпивных, с эстрад летних садов, на гуляньях, ярмарках, в кабаре и театрах миниатюр, в концертных залах, в зальчиках синематографа перед сеансом,— под гармошку, под балалайку, под гитару, под фисгармонию и фортепиано, под шарманку во дворах и на перекрестках,— в сопровождении румынских, русских, цыганских и «дамских» оркестров,— соло и хором. Все чаще раздавался скрипучий, но бесконечно привлекательный голос граммофона — питейные заведения, синемá и цирки спешили обзавестись модной новинкой. Толпа жадно проглатывала этот поющийся поток, присваивала его и воспроизводила как свою собственную лирику.

«Мне слышно все с моей вершины» (I, 302)— с культурной вершины Блока было слышно и это эклектически разносоставное пение городских низов. Еще в 1905 г. в стихотворении «Вися над городом всемирным» поэт облек песенное

многоголосие демократических масс в точную формулу — строчкой о «голосе черни *многострунном*» [3] (II, 175; курсив мой.— *М. П.*). Надо бы присмотреться и к догадке раннего Блока, не привлекавшей, насколько мне известно, внимания исследователей: «Мне,— писал Блок С. М. Соловьеву 20 декабря 1903 г.,— кажется возможным такое возрождение стиха, что все старые жанры от народного до придворного, от фабричной песни до серенады — воскреснут» (VIII, 79). Не была ли подсказана Блоку эта догадка о всежанровом возрождении *стиха* возрождением всех жанров *песни*, которому он был свидетелем (ведь и поясняя свою мысль, он оперирует — заметим — песенными примерами)? И не содержится ли в этой догадке некая смутная еще программа, которая, вобрав опыт «пути» поэта, реализуется пятнадцать лет спустя в «Двенадцати»?

Установка на создание глобальной картины революционной эпохи переориентировала Блока с одного песенного жанра (романса или частушки) на всеохватные отражательные возможности песенного репертуара городских масс. В поэме Блока эпоха запечатлелась не только звучанием своих песен, но и разноголосицей, сумятицей жанров, своего рода жанровой всеядностью — главным признаком тогдашнего массового репертуара. Значит, нельзя ограничиваться простой регистрацией факта, мало отметить присутствие в «Двенадцати» отголосков разного рода песен, романсов, частушек,— нужно *осознать* множественность смешиваемых жанров как особое содержательное, неформальное свойство поэмы. Нужно учесть «многострунность» «голоса черни» — эту жизненную, заимствованную у самой действительности предпосылку великого синтеза «Двенадцати».

Конечно, «многострунность» поэмы, отражающая «голос черни многострунный», ни в малой степени не снимает — напротив, актуализирует — вопрос о принципах отбора и художественного освоения этого полуфольклорного материала. Не могло быть и речи об использовании какого-то «придворного» жанра или серенады — они были изначально неприемлемы в силу своей социальной «высокости»; Блок безусловно ориентировался на социально «низкие» жанры, ибо только они, по убеждению поэта, обладая необходимой подлинностью, выступали в качестве носителя «стихии». Блок пренебрегал тем обстоятельством, что большинство этих песен было по происхождению «авторскими», для Блока было важно их фольклорное бытование, факт присвоения этих песен низовыми массами. Чем «ниже» в социальной иерархии располагалась среда бытования этих песен, тем выше в глазах поэта была их ценность и тем охотней он отдавал им свое предпочтение. Поэтому, скажем, песня «Не слышно шуму городского» отражается в «Двенадцати» скорей всего не как городская, а как «тюремная» — пение тех, кому пристало ходить с «бубновым тузом». Во всяком случае, таково было в блоковскую эпоху восприятие этой песни, засвидетельствованное, например, концертными программами В. Н. Гартевельда. Составленные в результате фольклористических экспедиций в Сибирь, представлявшие слушателю «песни тюрьмы и каторги», эти программы включали и старую песню на слова Ф. Глинки. В массовое пение начала века, обретя как бы второе рождение, эта песня перешла, надо полагать, именно из гартевельдовских концертов.

Отзвуки, реминисценции, рефлексы произведений массового пения, попадая в блоковский текст, подвергались переосмыслению, которое — в духе представлений Блока и его эпохи — точнее всего передается словом «символизация» [4]. Взгляд поэта хотел видеть и видел в бытовом содержании песен, романсов, частушек содержательность «абсолютную», в конкретных ситуациях этих вещей — сверхконкретную ситуативность, в непритязательных бытовых произведениях массового пения—вполне реализованное притязание на бытийственную значительность. Одним словом, простодушие «голоса черни» понималось как некая маска — отчасти, возможно, лукавая, а отчасти неосознанная исполнителями, и поэт, срывая ее, будто бы обнаруживал таящиеся за нею бездны; на самом деле поэт просто накладывал на свой полуфольклорный материал свое собственное мироощущение, мистифицировал материал. За простодушием произведений низовой культуры изощренный и полный ожиданий взгляд

художника-интеллигента прозревал высокий символ — символ той самой стихии, которая, по представлениям поэта, воплощалась в этих низах.

Символ мог (как в случае с «Не слышно шуму городского») окрашиваться в иронические тона — в соответствии со своеобразно трактованной Блоком традицией «романтической иронии»: пространственно и стилистически приподнятое «На Невской башне тишина» разрушается изнутри благодаря тому, что Петропавловская крепость едва заметно подменена зданием Городской думы, а затем разрушается еще и снаружи — столкновением с совсем уже низменным городовым («И больше нет городового»). Рвущееся от бытового значения к символическим высотам «На спину б надо // Бубновый туз» сталкивается — в пределах той же частушечной строфы — с вполне бытовыми «цыгаркой» и «примятым картузом»; столкновение стилистических рядов создает интонационную усложненность — от трагической гордости своей неприкаянностью до иронии по адресу этой неприкаянности и этой гордости. Монолог Петрухи «Ох, товарищи родные, // Эту девку я любил», озвученный ритмико-интонационными и лексическими рефлексами известной песни о Степане Разине, превращается в грандиозный символ, где личная драма уравнивается с вселенской катастрофой, но эти же отзвуки песни о любви атамана и его страшном добровольном даре словно бы подтрунивают над любовью «рядового разбойника» Петьки и над его страшным «даром» — невольным.

Ироническая подсветка создается уже тем обстоятельством, что низкий бытовой материал массового пения, поднятый на онтологические высоты, не теряет связи со своей прежней средой, перемигивается с нею и поминутно готов сорваться в нее. Неустойчивое равновесие противоположностей, двойственность (или даже «множественность») интонации, балансирование на грани серьезности и иронии активно участвуют в формировании той мерцающей загадочности, в ореоле которой всегда предстает блоковская поэма.

Тяготение Андреева — прозаика и драматурга — к музыкальному образу отмечалось едва ли не всеми исследователями творчества писателя и стало, пожалуй, общим местом работ о нем. Это тяготение, как и у Блока, имело крепкую биографическую, бытовую основу, засвидетельствованную, например, в воспоминаниях дочери писателя: «Папа сам не музицировал, хотя очень любил музыку, и его глубоко трогали студенческие и народные песни. Будучи в хорошем настроении, он всегда напевал какую-нибудь шутливую песенку, вроде „Девица гуляла во своем саду — ду-ду...“ или про тетушку Аглаю ‹...› В то время только что появился граммофон, и папа сейчас же его купил. Он покупал массу пластинок, и я до сих пор помню эти концерты из русских и итальянских опер в исполнении Собинова, Шаляпина, Давыдова. Не мудрено, что мы все всегда что-то пели, особенно цыганские и итальянские романсы‹...› Он научил Савву свистеть и когда хотел позвать его, то насвистывал первую строчку „Чижик, чижик, где ты был?“, а Савва должен был отвечать тоже свистом: „На Фонтанке водку пил!..“ Простенькая мелодия „Собачьего вальса“ наигрывалась всеми нами на рояле двумя пальцами,— она сохранилась в моей памяти как некий гимн нашего дома, так как папа часто насвистывал ее, а порой и мама садилась к роялю, и тогда наивная песенка превращалась в настоящую гремящую музыку» [5].

Исследователи, подробно рассматривая отдельные случаи музыкальной образности у Андреева, не сформулировали, к сожалению, ее общий принцип. Тогда сразу стало бы ясно, что в своем пристрастии к граммофону, к «низовым» пластам массового пения и эстрадного исполнительства Андреев был близок Блоку и что свойственные творчеству Андреева *принципы выбора и усвоения* музыкально-песенного материала делают его прямым предтечей Блока.

Прежде всего: «прототипами» музыкально-песенных образов в творчестве Андреева всегда служат произведения, бытующие в городских низах и слившиеся с представлениями об этих низах настолько, что стали чем-то вроде устойчивых сигналов о своей среде. Этому социально четко очерченному кругу источников Андреев не изменил, кажется, ни разу. Итальянская оперная

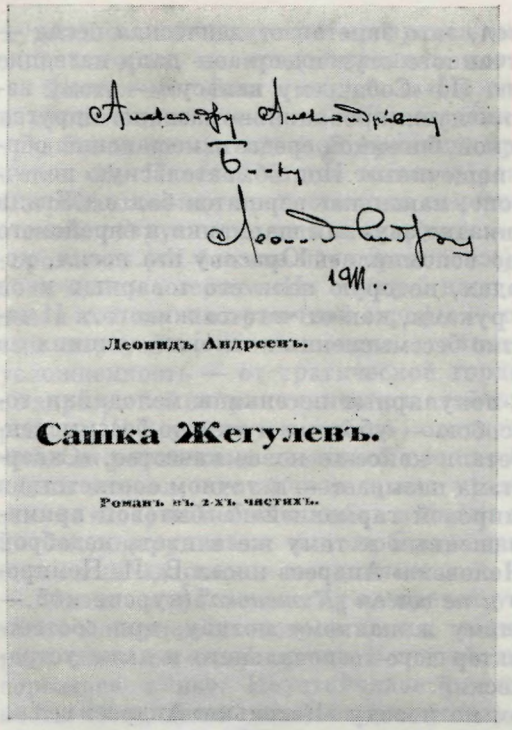
ария у Андреева что-то не припоминается, зато запетая студенческая песня — своего рода неофициальный гимн разночинного студенчества — дала название и лейтмотив пьесе «Дни нашей жизни». По «Собачьему вальсу» — этому излюбленному примитиву дилетантского музицирования — названа другая пьеса. Танго, перешедшее из артистической, богемной среды в мещанский обиход, звучит в пьесе «Тот, кто получает пощечины». Под обывательскую полечку «Где училась, Катенька? — В пансионе, папенька» вершится бал в «Жизни Человека». Все действие «Анатэмы» пронизано звуками шарманки и еврейского оркестрика. В рассказе «Вор» «так живо вспомнилась Юрасову эта песня, которую он слышал во всех городских садах, которую пели его товарищи и он сам, что захотелось отмахнуться от нее руками, как от чего-то живого... И такая жестокая власть была в этих жутко-бессмысленных словах, липких и жадных» [6].

Попадая в произведения Андреева, популярные песенки и мелодийки городских низов не оставались самими собою — убогими и «жутко-бессмысленными»,— но очевидным образом приобретали какое-то новое качество. «Скверную», ужасную мелодию шарманки Анатэма называет — в точном соответствии со смыслом сценического действа — «мировой гармонией» [7]: бытовой примитив стал бытийственным символом, окрашенным к тому же в цвета недоброй иронии. По поводу песенки из «Жизни Человека» Андреев писал В. И. Немировичу-Данченко: «Да, это „Катенька", *но и не совсем „Катенька"* (курсив мой.— *М. П.*) — дисгармоничный оркестр пустому и жалкому мотиву, при соответствии остального, должен придать характер чего-то печального и даже устрашающего» [8] — т. е. характер символический.

Переписку с художественным театром по поводу «Катеньки» Андреев вел из Германии и, чтобы занотировать мелодию этой полечки, обратился к «одному уже почтенному немецкому композитору. Пришли к нему компанией, усадили за рояль и начали изображать мотив. Немец очень любезно принял гостей, но никак не мог понять, что интересного в таком мотиве, как „Катенька". А когда ему сказали, что это требуется для трагедии, он в недоумении развел руками» [9]. По «Катеньке», взятой вне замысла писателя, едва ли мыслимо было представить, что примитивная и затасканная танцевальная мелодийка может и должна стать символом мировой пошлости. В спектакле Художественного театра звучала другая, сочиненная И. Сацем, полька, но композитор хорошо понял замысел драматурга. В. Юренева вспоминает «яркие, самобытные, полные выразительности и хватающие за сердце мелодии» И. Саца — «как, например, полька из пьесы Андреева „Жизнь Человека". Как может музыка звучать так сатирически? Нищая, тупая, односложная, построенная на трех инструментах — контрабасе, флейте, скрипке — полечка звучит важно, своим исконным ритмом с полной четкостью иллюстрируя пошлые персонажи в сцене бала у Человека» [10].

М. А. Рейснер (несомненно, обсуждавший с Андреевым свою работу о его творчестве) замечает по поводу рассказа «Вор»: «Для вора Юрасова судьба олицетворяется в шантанном куплете „Маланья моя, лупоглазая..."», и это одно из обычных и многочисленных у Андреева воплощений «рока, судьбы, великого и неизменного „нечто", которое властвует над покинутым, несчастным человеком» [11]. В отклике на этот же рассказ К. Чуковский трактует символический смысл песни вора по-своему, но в том, что ее смысл символичен, он не сомневается: «И теперь одиночество ⟨...⟩ вылилось в песню,— и у этой песни не было ни слов, ни даже мелодии. Андреев отмечает эту песню импрессионистскими пятнами: „Солнце зашло и темнеют поля. Отчего ты не приходишь? Солнце зашло и темнеют поля. Приди. Солнце зашло. Темнеют поля" и т. д. Это не слова песни. У вора таких слов нет. Это то, что за словами. Это то, что невысказанное, темное, остается в сердце у вас, и перед чем даже великие властители слов предписывали молчание» [12].

Полного совпадения между Блоком и Андреевым тут нет и, конечно, быть не может. Сразу заметно тяготение Андреева к мещанскому пению и музици-



Леонидъ Андреевъ.

Сашка Жегулевъ.

Романъ въ 2-хъ частяхъ.

Л. Н. АНДРЕЕВ. САШКА ЖЕГУЛЕВ
Титульный лист с дарственной надписью автора Блоку (1911 г.)
Центральный архив литературы и искусства, Москва

рованию, а Блока — к гораздо более социально «низкому», так сказать плебейскому; художественные намерения Андреева чаще бывают откровенно сатиричны — у Блока они сложнее, многозначней, тоньше сопрягают позитивные и негативные оттенки и аспекты. Но в принципах отбора музыкально-песенного примитива и методе его последующей символизации намечается родственная близость, которая с известной вероятностью могла проявиться — и действительно проявилась — в эпизоде прямого «заимствования» Блока у Андреева, несомненного «влияния» Андреева на Блока. И эпизод этот приходится как раз на поэму «Двенадцать».

2

Стараниями советских литературоведов почти каждому ритмически своеобразному отрезку поэмы Блока, каждому движению ее изощренного ритмического строя найдено соответствие в песенном репертуаре блоковской эпохи. Одни из этих соответствий безусловно, другие — с большей или меньшей вероятностью были теми «сокровенными напевами», которые послужили поэту источником, образцом, моделью для «явных» напевов «Двенадцати». Благодаря этим усилиям поэма все плотней входит в свой культурный контекст (с течением времени он все труднее поддается реконструкции) — в круг полуфольклорного низового пения (неотвратимо уходящего из культурной памяти, и чем дальше, тем все больше нуждающегося в том, чтобы о нем напомнил исследователь-литературовед).

Все же эта работа далеко не завершена. Даже по отношению к тем частям блоковского текста, которые обрели, казалось бы, вполне убедительные параллели, нельзя безоговорочно утверждать, что их источник установлен окончательно. В любой день и час могут обнаружиться другие фольклорные варианты тех же источников, еще более близкие к тексту поэмы, или источники вовсе новые. Некоторые места поэмы вообще не удается связать с фольклором сколько-нибудь, достоверно, хотя можно с серьезными основаниями предполагать их фольклорное происхождение.

Одно из таких мест представляет точку соприкосновения фольклористических интересов Блока с андреевскими и восходит к общему для обоих фольклорному источнику. Речь идет о «подмывающем ритмическом изгибце» (как выразился — по другому поводу — А. Твардовский):

Ах ты, Катя, моя Катя,
Толстоморденькая,

— и о частушке из следующей, пятой части поэмы:

Гетры серые носила,
Шоколад Миньон жрала,
С юнкерьем гулять ходила,
С солдатьем теперь пошла,

— по поводу которой авторитетный исследователь прямо утверждает: «Это — типичная и блестящая частушка. Но Блок ее не подслушал на улице, даже не стилизировал нечто похожее, а сочинил. Он щедро черпал из народно-поэтической речи, осваивал ее богатую и точную образность, ее неповторимо-самобытную музыку» [13].

Между тем давно уже можно было показать ту песенку городских низов, которая послужила источником, общим для частушки из пятой части и необычного ритмического движения предыдущей части поэмы. Не берусь утверждать, что Блок услыхал эту уличную песенку на улице, не рискну применить негативно окрашенное слово «стилизация» к органической фольклорности «Двенадцати», но несомненно, что эта песенка была на слуху у Блока, когда он создавал четвертую и пятую части своей поэмы. Полному «и звуков и смятенья» поэту не нужно было «готовить материал», как делает, скажем, исследователь,— поэт мыслил этими звуками и этим смятением, они были как бы готовыми знаками его художественного языка, красками на палитре художника. «Инерция слухового мышления сказалась у Блока и в том, что он во время творчества часто мыслил чужими стихами, не отделяя чужих от своих, чувствуя чужие — своими, причем воспроизводил не столько слова, сколько интонации и звуки» [14],— вот так, в соответствии с этой особенностью поэтического мышления Блока, сформулированной К. Чуковским «свежо и нервно» (III, 424), залетела в «Двенадцать» уличная песенка, которую переносим сюда со страниц другой работы К. Чуковского — статьи «Леонид Андреев» из книги «Лица и маски» (1914).

Разбирая рассказ Л. Андреева «Вор», К. Чуковский приглашал читателя приглядеться к герою рассказа — вору Федору Юрасову: искренняя, человечески подлинная и глубокая любовная тоска выливается у него полупохабной частушкой. «Вот он открыл рот и хочет пропеть щемящую песню о Ней〈...〉но его собственный рот обманул его, и вместо своей настоящей песни он 〈...〉 должен был прогорланить:

Пила чай с сухарями,
Ночевала с юнкерями!
Маланья моя,
Лупоглазая!» [15]

Можно ли усомниться в том, что перед нами именно та частушка, на которую откликаются известные строки «Двенадцати»? Блоковская «инерция слухового мышления» донесла до поэмы и вульгарный стиль этой частушки, и «юнкерей», ставших «юнкерьем», и «лупоглазую» Маланью, превратившуюся в «толстоморденькую» Катьку, и особенно невидимый глазу и уловимый лишь на слух характернейший ритмический ход, завершающий частушку: «Ах ты, Катя, моя Катя, // Толстоморденькая!». Блок даже несколько усилил его, заместив дактилическую клаузулу гипердактилической (ближе к источнику этот ритмический ход передан в другом месте поэмы: «В избяную, в кондовую, // Толстозадую...»).

Неожиданное подтверждение точности замены «лупоглазой» Маланьи на «толстоморденькую» Катьку — в русле фольклорной стилистики — находим у В. Чернышева, русского филолога, который еще в конце XIX в. занялся изучением современного песенного репертуара (правда, по консервативной фольклористической традиции, все еще не городского, а сельского — в Тверском, Клинском и Московском уездах). Вместе с песнями В. Чернышев записал «женские прозвища в Гнилуше». Функционально близкие «лупоглазая» и «толстомордая» оказались там почти что рядом. Вот как выглядит эта запись (фонетическая): «Лупаглазая: очен глаза бальшие 〈...〉 Талстама́рдая — морда ширака» [16]. Оба «прозвища», таким образом, бытовали одновременно в одном и том же ареале. Возможно, здесь у Блока «сработал» не петербургский, городской, а шахматовский, сельский опыт: Шахматово — как раз Московского уезда, поблизости от тех мест, где В. Чернышев производил свои записи.

Связь блоковской частушки о толстоморденькой Катьке с частушкой андреевского вора о лупоглазой Маланье очевидна и не нуждается в дополнительных доказательствах. Но все же — знал ли Блок рассказ Андреева? Мало сказать, что Блок знал «Вора»,— он решительно выделял его из всех вещей Л. Андреева как самое «свое», самое блоковское у этого писателя. Ни о каком другом произведении Андреева Блок не вспоминал так часто, не писал с такой неизменной истовой серьезностью; оценки других вещей Андреева колебались и менялись — «Вора» Блок всегда оценивал самым высоким баллом на протяжении почти полутора десятка лет, от первых отзывов о рассказе до последнего его упоминания.

В обзоре «Литературные итоги 1907 года» Блок перечисляет состав четвертого тома собрания сочинений Андреева (издательство «Знание»), называет места первых публикаций вошедших в том произведений (несомненно, по памяти) и добавляет: «Лучшей из этих вещей нам кажется — „Вор“» (V, 227). В статье «Памяти Леонида Андреева» — снова: «А что〈...〉везде неблагополучно, что катастрофа близка, что ужас при дверях,— это я знал очень давно, знал еще перед первой революцией, и вот на это мое знание сразу ответила мне „Жизнь Василия Фивейского“, потом „Красный смех“, потом — особенно ярко—маленький рассказ „Вор“. О рассказе этом я написал рецензию» (VI, 131). Последнее сообщение не вполне точно — тема рецензии Блока не рассказ Андреева, но сборник товарищества «Знание» за 1904 г., где рассказ был опубликован впервые, тем не менее Блок прав: рассказу Андреева рецензия посвящается почти целиком, и лишь один абзац — всему остальному составу сборника. Эта рецензия, продолжает Блок, «попалась в руки Андрееву и, как мне говорили, понравилась ему; что она должна была ему понравиться, я знал — не потому, что она была хвалебная, а потому, что в ней я перекликнулся с ним — вернее, не с ним, а с тем хаосом, который он в себе носил» (VI, 131). Об этом эпизоде Блоку стало известно через несколько месяцев после выхода рецензии, и 29 августа 1905 г. он сообщал матери: «Самое приятное, что я узнал от Чулкова, это — что Леонид Андреев очень любит мои стихи и очень доволен моей рецензией. Говорит, что сам не знал, что у него в „Воре“...» (V, 774).

Восхищение андреевским рассказом вместе с поэтом разделяла вся его семья. 26 марта 1905 г., в то самое время, когда вышла третья книжка «Вопросов жизни» со статьей сына о «Воре», А. А. Кублицкая-Пиоттух писала Андрею Белому: «Очень ли Вам важен Леонид Андреев? Прочли ли Вы „Вора“? Это чудо. Я бы хотела, чтобы Вы теперь очень любили Леонида Андреева, потому что мы все трое его теперь очень и особенно любим» [17]. Таким образом, в семейном кругу поэта — разумеется, не без его влияния — рассказу «Вор» придавали как бы программное значение, рассказ стал даже чем-то вроде «шиболета» — условного знака, пароля, по которому опознают своих.

Выбор именно этого рассказа и особенная любовь поэта именно к нему становятся еще выразительней, если учесть, что «Вор» отнюдь не был из числа тех произведений Андреева, о которых пресса трубила еще до опубликования и, взвинчивая ажиотаж, знакомила читателя с интригующими пересказами, а после выхода раздувала и схлестывала страсти, изощряла критические перья и осыпала публику рецензиями, статьями, памфлетами, брошюрами. В своем выборе поэт оказался оригинален и почти одинок.

Судьба рассказа с самого начала складывалась неудачно: редактор «Журнала для всех» В. С. Миролюбов, договорившийся было с Андреевым о приобретении всей текущей продукции писателя, решительно отклонил рассказ. По количеству собранных рецензий «Вор» занимает одно из последних мест среди произведений Андреева той поры. Рассказ не остался незамеченным, но посвященные ему разборы, как правило, подверстывались к разборам других, на взгляд критики, надо полагать, более значительных произведений. К. Чуковский, автор одного из немногих целиком посвященных «Вору» отзывов, как в воду глядел, напророчив рассказу малый успех, тихую судьбу: «Вор», полагал критик, «и в сравнение не пойдет с аляповатым, напряженным и фальшивым „Красным смехом“,

который имел у нашей публики такой успех. Он проще, художественнее, тоньше ⟨...⟩ фальцета в нем нет, нет сусального золота, которым так был богат предыдущий рассказ, а между тем,— и это очень характерно ⟨...⟩ — не будет и сотой доли тех восторгов, которыми сопровождался „Красный смех“» [18].

То, что Блок назвал своей рецензией на «Вора», мало походило на критику в общепринятом смысле слова. Это была (как вся блоковская «критика») лирическая исповедь поэта, положенная на литературный материал. «Если произведение затрагивало Блока, критик-поэт излагал его, художественно расцвечивая и лирически комментируя, а иногда даже — без комментариев — слегка оттеняя смысл образов, навевая этот смысл (разбор рассказа Л. Андреева „Вор“ ⟨...⟩). Часто это попутное блоковское комментирование или суммарная характеристика заменяет и оценку произведения»,— отмечает Д. Е. Максимов, уточняя, что основанием блоковских оценок является не формальная искусность произведений, но «их внутренняя значительность, их причастность к „духу музыки“, их важность для познания глубины жизни или хотя бы их симптоматичность» [19]. К этой точной и достаточно полной характеристике блоковской рецензии нужно добавить только то, что, лирически пересказывая произведение Андреева, Блок приводит и строчку из песни Федора Юрасова: «Маланья моя, лупоглазая...» (V, 556).

Значит, частушка андреевского вора была не только на слуху Блока, но, если позволено так выразиться, и на его пере. В упоминавшейся уже статье В. И. Беззубова между другими меткими наблюдениями есть и такое: «стихи Блока отнюдь не чуждаются прямых „цитат“ из прозы Андреева — скажем, „красный смех“ („И красный смех чужих знамен“) или „страшный мир“ (в нескольких стихотворениях и в названии цикла)». Такой цитатой, угодившей в «Двенадцать», можно было бы счесть и частушку Федора Юрасова о Маланье, но дело в том, что в рассказе Андреева этой частушки нет. Целиком она приводится в статье К. Чуковского «Леонид Андреев», а в рассказе «Вор» — только одной строчкой: «Маланья моя, лупоглазая...».

В рассказе «Вор» нет полного текста частушки, но подробно говорится о навязчивости ее напева, о ее популярности в низовой среде — в частности, в кругу приятелей Федора Юрасова («пели его товарищи и он сам»), вспоминается «сад, где пели эту Маланью“» и то, что вор слышал эту песенку «во всех городских садах». Эстрады летних садов, мощных распространителей низовой песни, были хорошо знакомы Блоку. Частушка о Маланье, надо полагать, вообще была широко известна, и К. Чуковскому не пришлось рыскать по сборникам, когда он, разбирая рассказ Л. Андреева, раздвигал авторский текст клиньями своего критического комментария, кинематографически укрупнял изображение, рассматривал в подробностях то, что автор давал мельком, деталью, намеком. При этом «укрупнению» подверглась и песня вора [20].

Частушка о Маланье заметно отличается от привычного частушечного стандарта: ее строфа состоит не из четырех, а только из двух строк, но зато имеет при себе припев. Перед нами — типичная «матаня», частушечная разновидность, возникшая в Поволжье и оттуда разлетевшаяся по другим российским местностям. Имя Маланья, подозрительно часто всплывающее в общерусском бытовании частушек этого вида, быть может, появляется на месте исконного «матаня». Первоначально «матаня» (подобное дроле, залетке, статеечке, забаве, паичке, приятке других частушечных ареалов) — распространенное на Волге народно-песенное название возлюбленной или возлюбленного. Слово, с которым исполнители частушек обращались к своим возлюбленным, так часто звучало и в запеве и в припеве, что по нему была названа вся жанровая разновидность. Когда «матани» были занесены в центральные и северные губернии, тамошние исполнители частушек осмыслили непонятное им поволжское слово с помощью народной этимологии — через сходно звучащее женское имя.

По вошедшим в сборники «матаням» видно, что этот вариант частушки, подобно жанру в целом, обладает известным набором жанровых клише, например, повторяемой без изменений первой строчкой двустишия, к которой, варьируемая по

обстоятельствам, присоединяется вторая. Поскольку связь между первой и второй строчкой в «матане» (точно так же, как между первым и вторым двустишием в четырехстрочной частушечной строфе) осуществляется обычно по контрасту или по комическому несовпадению, клишированная первая строчка «матани» принимает на себя двойную роль: опознавательного жанрового знака и в то же время — своеобразной загадки, задачи, уловки, заставляющей прислушаться — а как она разрешится на этот раз? Ожидание, обманутое неожиданной новизной второй половины частушки, составляет едва ли не значительнейший эстетический эффект частушечной миниатюры. Первой половиной исполнитель как бы вбивает гвоздь, заставляя слушателей волноваться: что за картина будет повешена на него второй половиной. В одном случае нейтральное начало: «Шел я верхом, шел я низом...» — получает такое завершение: «У матани *дом* с карнизом»; в другом случае — концовка иная: «У матани *нос* с карнизом» (курсив мой.— *М. П.*) [21].

Таким же повторяющимся запевом была, по-видимому, первая строка частушки о Маланье: «Пила чай с сухарями, // Ночевала с юнкерями»,— во всяком случае, в той подборке «матань», которую В. И. Симаков отобрал для своего сборника как наиболее представительные образцы жанра, читаем: «Чай пила я с сухарями, // Домой пришла с фонарями» [22]. Двухстрочные частушки с припевом нанизываются, как бусы, на шнурок общей темы, легко соединяясь в частушечную песню — в такую песню входит и приведенная В. И. Симаковым «матаня» о разгульной бабенке, вернувшейся домой «с фонарями» [23]. Частушка о Маланье, по четкому свидетельству рассказа Андреева, несомненно входила в подобную частушечную песню, но разыскать ее в полном виде, к сожалению, не удалось. Все же ее состав, кажется, можно частично реконструировать.

Для реконструкции следует предположить (а это предположение хорошо подтверждается стиховедческим анализом, социальным контекстом среды бытования и т. д.), что приведенное в рассказе А. П. Чехова «Пьяные» (1887) двустишие из песенки какого-то ресторанного «паразита» — «С офицером я ходила, // С ним секреты говорила» [24] — принадлежит той же частушечной песне, что и частушка, известная нам по рассказу Л. Андреева, рецензии Блока и критической статье К. Чуковского. Реконструкция примет такой вид:

Пила чай с сухарями, — С офицером я ходила,
Ночевала с юнкерями. — С ним секреты говорила.
Маланья моя, — ‹Маланья моя,
Лупоглазая! — Лупоглазая!›.

Наибольшую условность в этой реконструкции следует приписать последовательности частушек — трудно сказать, предшествуют ли «юнкеря» «офицеру» или следуют за ним. Но в любом случае реконструкция показывает, что содержанием полного текста частушечной песни можно считать «карьеру» гулящей бабы — то ли «по восходящей», то ли «по нисходящей» (так сказать, антикарьеру, историю «падения»). Становится ясным, что Блок в «Двенадцати» рефлектировал не только на отдельные образы, лексику и ритмику частушки о Маланье, но на всю частушечную песню о ней, прежде всего — на сюжет этой песни, отразившийся в движении катькиного «сюжета» с его четкой градацией времен — от давнопрошедшего: «*Помнишь*, Катя, офицера»— к прошедшему: «С юнкерьем гулять *ходила*» — и дальше к настоящему: «С солдатьем *теперь пошла*». Другими словами, в истории катькиной «антикарьеры» («офицер» — «юнкерье» — «солдатье»), заканчивающейся гибелью, просвечивает подобная же (или «обратная», но скорее всего— судя по другим «матаням» — подобная) история частушечной Маланьи [25].

Для читателей андреевского «Вора» — современников писателя — напеваемая героем частушка о Маланье могла стать чем-то вроде музыкального аккомпанемента к его собственной судьбе: рассказ Андреева—тоже история «антикарьеры». Герой рассказа хочет выглядеть добропорядочным немцем, служащим Генрихом Вальтером, но все сразу понимают, что он — вор Федор Юрасов; на самом же деле, сообщает рассказчик, он не был «ни немцем, Генрихом Вальтером, ни

Федором Юрасовым, вором, которого беспрестанно судили за кражи, а кем-то третьим, о ком он сам ничего не знает». Вот этот-то третий, преследуемый толпой, гибнет под колесами поезда, причем преследование и гибель вора дают выразительную параллель к сцене преследования и гибели Катьки в «Двенадцати».

Песню городских низов о Маланье Блок, конечно, знал независимо от Андреева и, по-видимому, до того, как прочитал «Вора». Андреевский рассказ мог только зафиксировать внимание поэта на этой песне, непреднамеренно и авторитетно подтвердить для Блока ее принадлежность городским низам, даже «низам низов» — той среде, которая, как полагал Блок, будет физической силой стихийного взрыва гнева и мести, реальностью «стихии». Рассказ Андреева окончательно связал эту песню с определенной средой, ситуацией, проблематикой, показал возможность «символизации» песни и такого ее творческого воспроизведения, где «Маланье» и поющему ее (с приятелями купно) вору симметрично соответствует Катька и воображаемый разговор с нею одного из тех, кому «на спину б надо // Бубновый туз».

Странно, конечно, что К. Чуковский приводит целиком частушку, процитированную в рассказе Андреева (и в блоковской рецензии) одной только строкой. Но гораздо больше удивляет другое: Федора Юрасова, андреевского вора, прогорланившего эту частушку под стук колес, К. Чуковский называет — страшно вымолвить — Александром Блоком! Так и написано: «Но его собственный рот обманул его, и вместо этой своей настоящей песни он, бедный поэт, бедный Александр Блок, наряженный вором» [26] — прогорланил «Маланью»! Федор Юрасов — поэт городских подонков, Александр Блок из низов!

Это вскользь брошенное критиком словцо — поразительно, потому что пройдет около пяти лет, прежде чем Блок напишет «Двенадцать» и там появятся частушечные строки, восходящие к частушке андреевского вора, к ее теме, лексике, ритмике. Критик должен перевоплощаться в того автора, чьи произведения он разбирает, чтобы глубже, доскональней выразить его сущность,— неоднократно декларировал К. Чуковский в пору статьи об Андрееве и запальчиво добавлял: «Клянусь, я был уже в свое время и Сологубом, и Блоком» [27]. Неужели ему удалось столь полно перевоплотиться в Блока, до такой степени «заразиться» его лирикой, что в произведении низового фольклора, в воровской частушке он увидал блоковскую тему, блоковские образы и блоковскую силу самовыражения раньше, чем это воплотил сам Александр Блок? И чему здесь больше удивляться — тому ли, что связь «Двенадцати» с частушкой андреевского героя никто не заметил за шестьдесят лет после поэмы, или тому, что К. Чуковский заметил это лет за пять до ее создания? [28]

3

Блок писал в обзоре «Литературные итоги 1907 года»: «Леонид Андреев собрал в четвертый том пять произведений, которые все уже были в печати и о которых много говорили: это две драмы, преддверие к „Жизни Человека“, и три рассказа: „Вор“ (напечатан в V сборнике „Знания“), „Губернатор“ (в „Правде“) и „Так было“ (в „Факелах“). Лучшей из этих вещей нам кажется — „Вор“» (V, 227). Две драмы, вошедшие в четвертый том собрания сочинений Андреева и не названные Блоком поименно,— это «К звездам» и «Савва». Вместе с «Губернатором» и «Так было» они, по мнению Л. А. Иезуитовой, образуют «некое подобие цикла»: «Внутреннее задание группы этих произведений — показать различные виды умственного и нравственного самочувствия разных людей „бунтующего духа“, пробужденного и высветленного революцией, открыть революцию „под углом зрения“ разных социальных и общественно-психологических типов, различных исторических времен и т. д. Между прочим, все эти произведения, думается, неслучайно Андреев включил в четвертый том сочинений, выпущенный издательством Знание“ в 1907 году» [29]. Андреев, однако, включил в четвертый том и «Вора», который был написан несколько раньше и действительно с трудом вписывается в дефиницию Л. А. Иезуитовой. Но, быть может, замысел цикла

следует трактовать несколько шире или по-иному? Во всяком случае, для Блока была ясна связь рассказа с революционной эпохой; поэт прочел его как достоверное свидетельство всеобщего неблагополучия и ощутил в нем дыхание надвигающейся катастрофы.

Случилось так, что из всех произведений Андреева наибольшее влияние на Блока — особенно на «Двенадцать» — оказали вещи четвертого тома. Анализируя напечатанный в этом томе рядом с «Вором» рассказ «Так было», та же исследовательница замечает, что изображенное в рассказе «шествие народной революции вызывает ассоциации с „Двенадцатью" Блока, написанными, по-видимому, не без учета опыта Андреева» [30]. К этому справедливому наблюдению следует добавить, что Андреев вообще становился для Блока «влиятельным» писателем в революционные эпохи — около 1905 и около 1917 г., что логически связано с представлением Блока об Андрееве как о писателе, в чьем творчестве органично и сильно проговаривается «голос низов», грядущий взрыв бунта, стихия. Остается только догадываться, почему осталось незамеченным влияние на «Двенадцать» всего «цикла четвертого тома», особенно драмы «Савва», резкие следы которой легко усматриваются в блоковской поэме.

Один — косвенный — отзыв Блока о «Савве» уже приводился: не упоминая имени, Блок назвал эту драму Андреева (вместе с драмой «К звездам») «преддверием к «Жизни Человека» (V, 227). В статье «О драме» (1907) Блок, уже именуя все три, сопоставляет эти драматические вещи: андреевская «Жизнь Человека», по Блоку, «носит на себе признаки той сильной драматической техники, которая не снилась сверстникам Андреева и неизмеримо превосходит в этом отношении не только К звездам", где слишком бледна тень Ибсена, но и „Савву", произведение горьковского пафоса» (V, 186). «Савва» получает, таким образом, достаточно высокую оценку: по драматургической технике эта драма — в соответствии с блоковской иерархией — хотя и ниже «Жизни Человека», все же значительно выше, чем «К звездам»; к тому же «Савва» — «произведение горьковского пафоса» (попутно отметим обычное для критики Блока противопоставление «техники» — «пафосу»). Будем ли мы говорить о «технике» или о «пафосе» — все равно: сравнение «Саввы» с «Двенадцатью» напрашивается само собой.

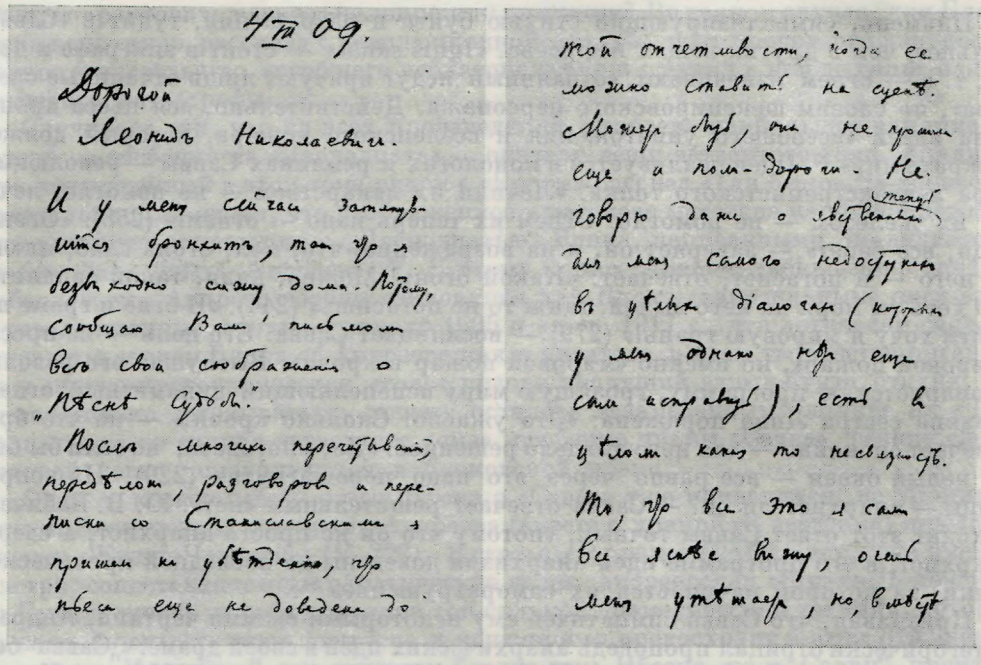
«Призыв к „мировому пожару" и есть, пожалуй, наиболее полное выражение тех максималистских требований, с которыми подходил Блок к революции» [31], — справедливо замечает Л. К. Долгополов. Этот призыв определялся крайней «левизной» взглядов Блока в период «Двенадцати», но формула этого призыва, его образная форма, по-видимому, связана с художественным опытом Андреева, прежде всего — с «Саввой», где «мировой пожар» звучит образным и идейным лейтмотивом, своего рода «темой» главного героя.

Стихия бунта и разрушения бушует во многих произведениях Андреева — и в «Царе-Голоде», и в «Анатэме», и в «Океане», и в других; нередко она связывается с символом огня — истребляющего и очищающего, что само по себе близко Блоку. Недаром же он был автором рецензии о «Пламени» П. Карпова — кажется, единственного сочувственного отзыва «интеллигентной» критики об этой книге. «Кровь и огонь только и стоят у него в глазах» (V, 484), — писал Блок о П. Карпове и предупреждал: «Кровь и огонь могут заговорить, когда их никто не ждет. Есть Россия, которая, вырвавшись из одной революции, жадно смотрит в глаза другой, может быть более страшной» (V, 486). В дни московской октябрьской забастовки 1905 г. Андреев, если верить свидетельству Софьи Железняк, говорил буквально то же самое: «Конечно, нельзя думать, что все решится и все кончится на этих днях или в этом месяце, или в этом году. Нет, это только начало. Только первая революция. Кто знает, сколько их впереди?» [32]. О значении, которое Блок придавал своей рецензии 1913 г. на «Пламень» П. Карпова, говорят ее настойчивые переиздания: Блок включил ее в книгу «Россия и интеллигенция» (и в перепечатки 1918 и 1919 гг.), а кроме того — случай дотоле беспрецедентный у Блока, — через двадцать дней после опубликования «Двенадцати» вновь, как бы настаивая на ее актуальности, вторично поместил эту рецензию в газете — на этот раз в «Знамени труда», где была напечатана поэма.

Пламень, символизирующий стихию бунта и разрушения, гудит в «Савве» сильнее, чем в других вещах Андреева. «Ignis sanat» — стоит в эпиграфе к драме, т. е.— огнем излечивают, «отчаянный недуг врачуют лишь отчаянные средства», по словам шекспировского персонажа. Действительно, вся пьеса пронизана идеей «всеобщего уничтожения и вселенского пожара, который должен пожрать мир» [33]. Идея реализуется в монологах и репликах Саввы — революционера левоэкстремистского толка. «Лечили их лекарством — не помогло, лечили их железом — не помогло. Огнем их теперь надо — огнем!» (258). «Огонь, дядя, все берет»,— заверяет он, и на возражение, что, мол, огонь слаб, плюнь на него — и погаснет, отвечает: «Какой огонь! Можно, дядя, такой запалить, что хоть ты моря на него вылей, так и то не погасишь» (244). «В огне и громе перейти хочу я мировую грань!» (279) — восклицает Савва. Его цель — не просто «мировой пожар», но именно «мировой пожар в крови». Выслушав его революционаристскую программу, грозящую миру испепеляющим динамитным огнем, саввина сестра Липа поражена: «Это ужасно! Сколько крови!» — на что брат отвечает спокойно — для него это дело решенное: «Да, многовато, но если бы был ее целый океан — все равно через это надо перешагнуть» (229). На вопрос Липы — анархист ли он? — Савва отвечает решительным «нет». Ю. В. Бабичева находит этот ответ Саввы точным, «потому что он не просто анархист, а сверханархист; в его программе идеи анархизма доведены до последней критической точки, за которой начинается их саморазрушение» [34].

Признавая, что Савва симпатичен ему некоторыми своими чертами, Андреев категорически отрицал проповедь анархических идей в своей драме. «„Савва“ безнадежно нецензурен,— писал он К. С. Станиславскому летом 1906 г.— И причиной тому не я, а глупость цензуры. Да и из публики, читателей многие серьезно подумают, что это — призыв к анархии. А это — еще раз и еще раз — трагическое жизни, тоска о светлом, загадка смерти» [35]. Андреев даже отказывался признать Савву главным героем, утверждая, что его пьеса — «это попытка дать синтез российского мятежного духа в разных крайних его проявлениях» [36] и что Савва представляет лишь одно из этих проявлений, тогда как другие воплощены в образах Царя Ирода и Сперанского. Но, очевидно, убедительность образа Саввы, поддержанная всем контекстом революционной эпохи, оказалась сильнее авторского замысла, синтеза не получилось, и крайнее проявление «российского мятежного духа», представленное Саввой, перевесило остальные.

«В „Савве“,— писал А. В. Луначарский,— Андреев взял революционера в его непримиримом рационализме и удачно показал неизбежное поражение его в столкновении с жизнью. Я в свое время <...> указывал на то, что андреевская критика в данном случае невольно и случайно совпадает с марксистской» [37]. Под «непримиримым рационализмом» Луначарский, конечно, имеет в виду левацкий экстремизм Саввы, несколько преувеличивая критику этой крайности в пьесе, которая стремится выдержать объективный тон, тем более необходимый драматическому писателю, что ненавидимый Саввой буржуазно-мещанский мир у автора тоже не вызывает никакого сочувствия. Либеральная критика увидела в андреевском герое простой рупор автора, его двойника: «Для понимания творчества Андреева драма „Савва“ является ключом, раскрывающим смысл его творчества и его тайные намерения <...> Андреев — тот же Савва <...> Вот он разрушил иллюзию счастья („Ангелочек“), вот он пытается доказать невозможность узнать истину („Ложь“, „Молчание“, „Стена“, „Смех“, „Шлем“), вот он низвергнул человека» [38]. И, конечно, сразу была замечена идейная близость саввиных устных «прокламаций» с анархической теорией и проповедью М. А. Бакунина. «Савва Леонида Андреева заявляет, что он хочет „освободить землю, освободить мысль, освободить человека“... Для этой цели он намеревается уничтожить все и прежде всего—Бога, или веру в Бога. Ведь еще Бакунин сказал: „Dieu est, donc l'homme est esclave. L'homme est libre, donc il n'y a point de Dieu“ (Бог есть, значит, человек — раб. Человек свободен, значит, Бога нет). Савва так и порешил: сначала Бога, ну а потом... потом останется „голая земля и на ней голый человек“, голый, как мать родила» [39].



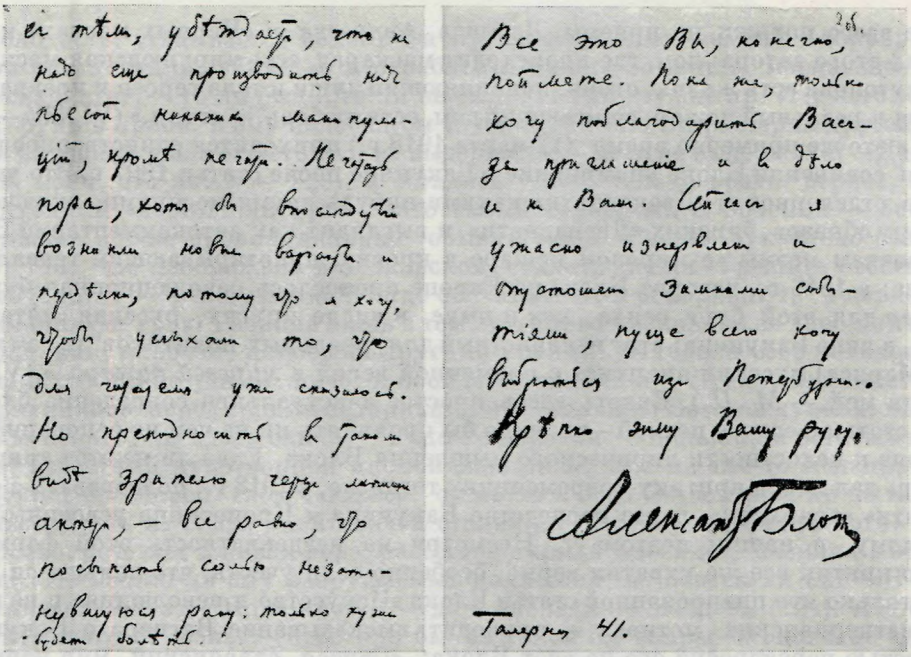
ПИСЬМО БЛОКА Л. Н. АНДРЕЕВУ 4 МАРТА 1909 г.

Автограф (окончание на с. 217)

Центральный архив литературы и искусства, Москва

Действительно, «огнепоклоннические» высказывания Саввы не только близки Бакунину идеологически, но повторяют Бакунина текстуально. Уже эпиграф к драме (у Андреева — без ссылки на источник) — очевидный кивок в сторону Бакунина, повторение (частичное) бакунинского эпиграфа к «Началам революции»: «Quae medicamenta non sanat, ferrum sanat; que ferrum non sanat, ignis sanat» [40]. Андреев расшифровывает эту ссылку, вкладывая в уста Саввы легкий перифраз полного перевода латинской сентенции: «Лечили их лекарством — не помогло, лечили их железом — не помогло. Огнем их теперь надо — огнем!». К Бакунину этот жестокий рецепт попал, надо полагать, не из его непосредственного источника — Гиппократа, а из трагедии Шиллера (лекаря!) «Разбойники», где предложение лечить наш мир огнем также стоит в эпиграфе. Эпиграфы Шиллера, Бакунина и Андреева выстраиваются в ряд, прочерчивая всязь между Саввой и шиллеровскими героями — «молодыми людьми, впоследствии разбойниками», как обозначил их автор в списке действующих лиц.

Бакунинский смысл высказываний Саввы и насыщенность его речи явными «бакунизмами» не оставляют сомнения в том, что именно на сочинения знаменитого теоретика анархизма опирался Андреев, создавая образ своего «сверханархиста». Из этих сочинений нужно назвать в первую очередь «Начала анархизма», «Постановку революционного вопроса» и — отчасти — нечаевский «Катехизис революционера», причастность Бакунина к которому в ту пору преувеличивалась. Трудно сказать, по какому изданию Андреев знакомился с бакунинскими источниками Саввы, возможно, это были не сочинения Бакунина как таковые, а обширные цитаты в одной из многочисленных книг, вышедших к тридцатилетию со дня смерти знаменитого анархиста. Революционные события обострили интерес к этой дате, и она была громко отмечена всей русской прессой летом 1906 г. Не был ли «Савва», оконченный 10 февраля 1906 г., не только попыткой «дать синтез русского мятежного духа в разных его проявлениях», но и своеобразной репликой Андреева на бакунинскую дату?



Ровно через год — чуть ли ни день в день — после того, как был закончен «Савва», Блок, уже успевший откликнуться на это новое произведение Андреева, опубликовал статью «Михаил Александрович Бакунин». Приуроченная все к той же дате статья Блока должна была — по первоначальному замыслу — дать обзор всех русских книг, посвященных Бакунину; другими словами, источники этой статьи неизбежно совпадали (хотя бы частично) с источниками образа Саввы. За этим «материальным» и достаточно случайным совпадением стояло нечто гораздо более важное: общий интерес Андреева и Блока в революционную эпоху 1905—1906 гг. к ее предшественникам анархистского направления.

С первых строк, где упоминается «костер, на котором он (Бакунин.— *М. П.*) сжег свою жизнь», и до последнего, графически выделенного слова «огонь» — вся статья Блока о Бакунине пронизана символами огня: «костер», «взвился огонь», «сгореть боятся», «читаем Бакунина и слушаем свист огня», снова «костер», еще «пламень», дальше — «играть с огнем», «искупительный огонь», двузначный «скоропалительный синтез» и тому подобное. Не столько Бакунин, сколько огонь — главное действующее «лицо» статьи Блока. «Именно в этом внедрении в статью символики огня следует видеть одно из тех поэтических прикосновений к ее тексту, которые способствуют превращению этой статьи, по своему происхождению компилятивной, в художественное произведение»,— отметил Д. Е. Максимов [41]. «Займем огня у Бакунина!» (V, 34) — восклицает Блок. Как мы видели, Андреев, создавая «Савву», в известном смысле уже воспользовался этим советом.

Сохранилось любопытное подтверждение одновременного интереса Блока к Бакунину и Андрееву — письмо поэта к редактору «Перевала» С. А. Соколову от 24 сентября 1906 г. «Статью о Бакунине также скоро кончу, хочу сделать ее заметкой по поводу всех (ух) книжек, вышедших до сих пор на русском языке ⟨...⟩ Давно уже у меня был проект — написать статью о Л. Андрееве. Писать ли мне такую статью для „Перевала“? [42] Конечно, «одновременность» не обязательно означает «связанность», но учтем, что интерес к Андрееву осенью 1906 г. с неизбежностью простирается и на «Савву», гудящего бакунинским огнем. Во всяком случае, в мае 1918 г. Блок считает «огненную» метафору (и ее реализацию) характерной для Андреева и уже превратившейся в штамп у его эпигонов: «Приемы его,—писал Блок в рецензии на пьесу начинающего драматурга,— пожалуй,

более всего похожи на приемы Леонида Андреева в «Черных масках» и т. п. пьесах этого автора: дом, где происходит маскарад, есть мир; людская маскарадная сутолока есть жизнь; огонь, наполняющий души и тела героев и превращающийся в реальный пожар, сжигающий дом, есть любовь,— и т. д.» (VI, 304—305).

На это же примерно время (12 марта 1918 г.) приходится единственное в собрании сочинений Блока упоминание о Бакунине после статьи 1907 г. Это упоминание, отделенное от «Двенадцати» какими-нибудь двумя месяцами, включено в систему образов, близких «Двенадцати», и выглядит как автокомментарий Блока к строчкам поэмы «о мировом пожаре в крови», приоткрывающий генеалогию образа: в 1848 г., говорит Блок, по Европе пронеслась революционная буря — «*Ветер* для этой бури сеяла, *как* и *ныне*, в числе других, русская мятежная душа, в лице Бакунина; этот ненавистный для „реальных политиков" (в том числе для Маркса) русский анархист с пламенной верой в *мировой пожар*...» (VI, 22; курсив мой.— *М. П.*). Видеть здесь простое текстуальное совпадение блоковской статьи с его же поэмой—значило бы проявлять ни на чем не основанное недоверие к целостности лирического мышления Блока. Едва ли не этот «мировой пожар» дал повод критику-современнику тогда же, в 1918 г., подозревать в «Двенадцати» «анархизм», через посредство Бакунина и Кропоткина усвоенный, по-видимому, и нашим поэтом» [43]. Несмотря на неадекватность этой формулы, что-то критик все же ухватил верно, особенно если учесть, что дальше он — не зная только что цитированной статьи Блока «Искусство и революция» и не ведая о ее вагнерианских мотивах — приводит высказывание Вагнера о Бакунине, полностью переадресуя его на счет Блока: «Считая славянский мир наименее испорченным цивилизацией, он отсюда ждал возрождения человечества. Он верил, что пожар, зажженный Россией, охватит весь мир» [44] и т. д.

Многих исследователей смущало видимое противоречие блоковской поэмы: из среды «двенадцати» — этого воплощения разгулявшейся революционной стихии, хаоса «неслыханного мятежа» — то и дело раздаются призывы к самоконтролю, выдержке, организованности и дисциплине, а подлинным беззаконником-анархистом, носителем разрушительного начала оказывается тот, кому дисциплина положена, так сказать, по чину — солдат... Получается какая-то парадоксальная «дисциплинированная стихия», оксюморонный «организованный хаос». Это противоречие поддержано и укреплено всем текстом поэмы — ее слитно-разорванным строем. Точно такое же противоречие отметил В. И. Беззубов в рассказе Андреева «Так было», анализируя «андреевское описание шествия предместий»: «Примечательно, что народная революционная стихия у Андреева предстает не как абсолютно беспорядочная, хаотическая сила〈...〉в ней *стройность беспорядка*, это— «*марширующий хаос*» [45]. В. И. Беззубов говорит здесь о том самом «шествии предместий», которое у Л. А. Иезуитовой обоснованно «вызывает ассоциации с „Двенадцатью" Блока». Слово «ассоциация», отмечая некую связь, осторожно обходит вопрос о реальном содержании и характере этой связи. Случайное совпадение? Рефлекс Блока на андреевский образ? Отзвук общего источника? Последнее предположение кажется наиболее вероятным: общим источником могут быть сочинения М. А. Бакунина, которые, как мы видели, Андреев с размахом использовал в работе над «Саввой», а Блок обстоятельно проштудировал, готовясь к статье «Михаил Александрович Бакунин», и, возможно, возвращался к ним позднее.

4

Что касается «столкновения с жизнью» революционера «в его непримиримом рационализме», о котором писал А. В. Луначарский, то оно в «Савве» выглядит так. Савва, молодой — чуть за двадцать — человек, «немного мужиковатый», «одет в блузу и сапоги, как рабочий» (209; т. е. не мужик и не рабочий), возвращается в родной посад, где его отец содержит питейное заведение. Нужно оценить социальное чутье художника, наделившего своего героя-анархиста молодостью и мелкобуржуазным происхождением. За плечами у Саввы, несмотря на

его молодость, угадывается немалый и жутковатый опыт: участие в террористической организации, убийство и ограбление какого-то купца, мерцающее, как в «Двенадцати»,— то ли было, то ли не было, его ли, чужое ли. И у него, стало быть, руки в крови, и ему подобал бы «бубновый туз». Он растерял друзей, любимая женщина ушла от него («... не выдержала.— Чего не выдержала?—Да моей любви, меня, что ли...» — 229), и остались у него только враги, вернее, один-единственный «настоящий враг», зато самый серьезный и опасный — бог...

Тусклая жизнь провинциальных обывателей в «Савве» буквально соответствует той, что изображена в блоковском стихотворении «Грешить бесстыдно, непробудно...» — между лавкой, где обсчитывают и обмеривают, и церковью, где замаливают грех. Разница лишь в том, что Савва нисколько не дорожит такой Россией, как, впрочем, и любыми другими краями: «Блудили себе потихонечку и думали: никто не узнает, ничего, обойдется понемногу. Лгали, бесстыдствовали, кривлялись перед своими алтариками и бессильным Богом и думали: ничего, бояться некого, мы здесь одни» [46]. Рядом с посадом — большой и богатый монастырь, известный чудотворной иконой Спасителя. Вот на нее-то и направляет экстремист-богоборец свою «акцию»: он метит в бога бомбой едва ли не так же, как двенадцать из своих «винтовочек стальных». Если уничтожить бога, полагает Савва, исчезнет лживая вера, рассеется дурман и весь мир насилия и обмана рухнет. Не жалко ли ему разрушаемых ценностей, не боится ли он? «Я-то?— недоумевает Савва.— Пока ничего,— да и впереди не ожидаю» (224). «Ко всему готовы, ничего не жаль»,—ответили бы на такой же вопрос блоковские двенадцать. Вспомним бакунинское: «Революционер вступает в <...> мир и живет в нем только с верой в его полнейшее скорейшее разрушение. Он не революционер, если ему чего-нибудь жаль в этом мире» [47].

Но случается так, что монах, который по саввиному наущению должен был подложить динамитную «машинку» под икону, сознается во всем настоятелю монастыря, и святые отцы решают: пусть взрыв состоится, но иконы в это время не будет на месте, а после ее вернут. Чудотворный Спас Андреева оказывается «невредим» от динамита, хотя и не совсем так, как блоковский Христос от пули. Неистовое саввино богоборчество оборачивается к вящей славе божьей — но ведь и блоковские богоборцы, неведомо им самим, возглавляются Христом. Толпа в религиозном экстазе поднимает чудесно спасенный образ и затаптывает Савву: согласно ремарке, однорукий странник по прозвищу Царь Ирод «ударяет Савву левой рукой, Савва не ожидал удара с той стороны и упал».

Глухая перекличка «Двенадцати» с «Саввой» прослеживается по всей пьесе, а в финальной сцене, изображающей погоню за динамитчиком и его гибель, становится столь явной и последовательной, что не заметить ее никак невозможно. Вот эта сцена (с небольшими сокращениями).

«Голоса. Ишь ты! — Не выпускай!

Кондратий. Бери его!

Голоса. С того боку!— Да поди-ка ты сам! <...>

Держи, держи, уйдет!

Человек в чуйке (*поднявшись с земли, распоряжается*). Обступи его, братцы, обступи! К реке-то ему ходу не давай — убежит! Ну-ка, постарайся!

Голоса. Иди сам.— Сунулся раз! — Напри — так! Хватай его, хватай! — Ага!..

Кондратий. Бей его, Антихриста, бей!

Савва (*опасность приводит его в себя... надвигаясь*). Ну-у! Дорогу!.. Ну... Поджали хвосты, собаки! Дорогу! Ну-у! <...> [48]

Голоса. Бей его!.. Ага, так... Вертится... Бей!.. Так его! Раз! — Ага,— бей! Готов!— Нет еще!— Готов.— Да чего смотришь?— Бей!— Готов...

Голос. Ворочается!

Голоса. Бей!

Человек в чуйке. Петька, у тебя ножик! Ножиком его полосни! По горлу!

П е т ь к а (*фальцетом*). Нет, я его лучше — каблуком! Раз!

К о н д р а т и й (*закрещивается*). Господи, Иисусе Христе! Господи, Иисусе Христе! <...>

Г о л о с а. Ей-богу, несут! П о л е ж и т у т, полежи.— Господа, не опоздать бы.— Да будет тебе!— А т е б е - т о ж а л к о.— Т в о я г о л о в а, что ли.— Р а з о к о д и н! — Идем!

(*Разбегаются, открывая окровавленный труп Саввы*)

Ч е л о в е к в ч у й к е. Эх, отволочь бы его, нехорошо тут, при дороге. Грязно! Ребята! Слышь, ребята! Эх, народ <...>

Т о л п а. «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав. Христос...»

Л и п а (*бросаясь в толпу, поет*). Христос воскресе...

(*Толпа валит, заполняя все. Раскрытые рты, округлившиеся, расширенные глаза. Пронзительно кричат кликуши, порченные, бесноватые. Мгновенный крик «задавили»! Замирающий откуда-то смех Тюхи. Победное пение растет, ширится, переходит в дикий рев, покрывая собою все остальное. Колокола.*)

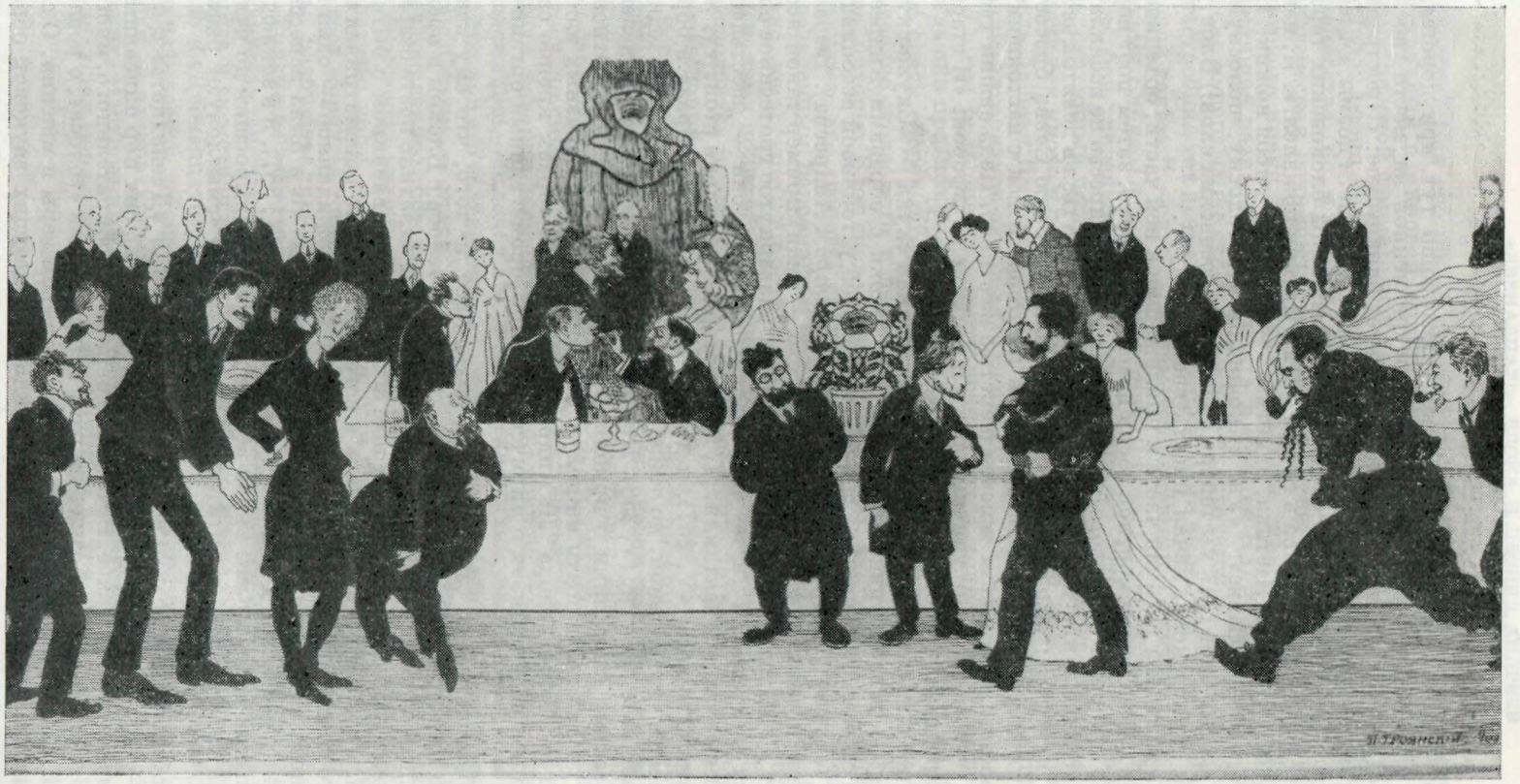
Т о л п а (*ревет*). «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав. Христос воскресе...» (303—306; разрядка в тексте моя.— *М. П.*).

Сходство этой сцены с «Двенадцатью» — в частности, с шестой частью поэмы— разительное. По наблюдению Л. К. Долгополова, вся шестая часть поэмы «написана одним размером (четырехстопный ямб) и без видимых перебоев ритма. Блок как будто боится отвлечь читателя, он сосредоточивает его внимание на одном эпизоде, без отклонений в сторону» [49]. «Замкнутость» этого эпизода облегчает его сопоставление с финалом андреевской пьесы, а быть может, и придает большую основательность такому сопоставлению.

Обратим внимание на то, что и в шестой части поэмы, и в заключительной сцене «Саввы» изображаются *стихийная* ненависть толпы, ее *хаотическое*, но целенаправленное движение, *погоня* и *убийство*. Если уж «шествие окраин» в рассказе Андреева «Так было» рождает ассоциации с «Двенадцатью», то эта сцена, где есть фактически все элементы шестой главы,— тем более. Отметив, что созвучным Блоку в рассказе «Вор» было ощущение «устремляющегося куда-то хаоса», «стихии», В. И. Беззубов добавляет: «Этот хаос Блок „носил в себе“ до конца жизни. Многие стихотворения поэта пронизаны мотивами стихийного неудержимого „лёта“, погони (цикл „Снежная маска“, „Миры летят. Года летят...“ и др.). Устойчивость этих мотивов свидетельствует об их важности» [50]. К числу произведений, пронизанных мотивами «лёта», погони и тому подобного, нужно прибавить еще и «Двенадцать», чем еще больше усилится важность этих мотивов для Блока и справедливость наблюдения исследователя. Осознанно или подсознательно выделяя «свое» в «чужом», поэт должен был остановить взгляд на заключительной сцене «Саввы», как он остановил его на «Воре» и, возможно, на других аналогичных местах у Андреева.

Сцена очень близка «Двенадцати» и композиционно: после погони, после убийства — во главе шествия убийц появляется у Андреева Христос в виде иконы чудотворного Спаса, который, однако, не «упас» от крови, как и блоковский, а у Блока — сам Иисус Христос, прозрачным и призрачным видением в метельной ночи. Сцена близка к «Двенадцати» лексически, близка текстуально, создается впечатление, будто Блок пользовался ею как своего рода справочником, вроде словаря сленга или арго, когда изучал «современный язык» «для изображения современной жизни» (ЗК, 288).

Замечательно, что при весьма обширном «поле совпадений» соблюдена даже последовательность введения лексических единиц и оборотов. У Андреева: «Не выпускай!», «Обступи его, братцы, обступи... Ходу не давай!». У Блока: «Стой, стой! Андрюха, помогай! // Петруха, сзаду забегай!». У Андреева: «...Уйдет!». У Блока: «...наутек». Андреевское: «Раз!», «Разок один!» — откликается у Блока: «Еще разок!». В пьесе: «Полежи тут, полежи», в поэме: «Лежи ты, падаль, на снегу»; здесь сходство усиливается тем, что оба трупа брошены на дороге: «Эх,



ПОСЛЕ ПРЕМЬЕРЫ ПЬЕСЫ Л. Н. АНДРЕЕВА «ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА». КАРИКАТУРА П. Н. ТРОЯНСКОГО, 1908

Среди изображенных: К. И. Чуковский, Блок, А. М. Ремизов, М. А. Кузмин, Л. Н. Андреев, М. А. Волошин и др.

Вырезка из журнала «Серый волк»

Литературный музей, Москва

отволочь бы его,— сожалеет человек в чуйке,— нехорошо тут, при дороге»,— убитая Катька по смыслу текста поэмы остается брошенной на месте гибели. Андреевскому: «Твоя голова, что ли»— соответствует блоковское: «Простреленная голова». Затем отзвуки «Саввы» переходят в следующие части поэмы. «А тебе то жалко»,— говорит кто-то в андреевской толпе; из толпы блоковских героев слышится то же самое, почти слово в слово: «Или Катьку пожалел?». И, наконец, поразительное: «Петька (Петька, заметьте! — *М. П.*), у тебя ножик! Ножиком его полосни!»—в «Савве»: «Уж я ножичком // Полосну, полосну!»— в «Двенадцати». С этих слов (как мы теперь видим— андреевских слов!) Блок, по свидетельству К. Чуковского, начал писать свою поэму [51].

Сначала была написана восьмая часть и прилежащие к ней части, объединенные темой погони, убийства и смертной тоски невольного греха, затем поэт перешел к началу. Но «инерция слухового восприятия» пьесы Андреева не иссякла, и еще одно словечко из ее заключительной сцены успело аукнуться в девятой части поэмы: бытовая метафора: «Поджали хвосты, собаки», которую Савва бросает в толпу озверевших обывателей, реализовалась в настоящего пса с настоящим — поджатым — хвостом: «А рядом жмется шерстью жесткой // Поджавший хвост паршивый пес», — а затем этот уличный пес снова стал метафорой: «И старый мир, как пес безродный, // Стоит за ним, поджавши хвост...».

Шелудивый пес с поджатым хвостом и бытийственная скука — «Скука скушная, // Смертная!»— ассоциативно связываются у Блока с образами Андреева не только в этом случае. Нет, скорее следует говорить об устойчивой ассоциации образов «пса» и «скуки» с Андреевым (или даже с *театром* Андреева). Выразительный (и вполне объективный, так как цель его — иная) пример такой ассоциации приводит Д. Максимов: «В статье „О театре“ развернутое гротескное олицетворение *скуки* театральной (и не только театральной): она — „шестьдесят девятое действующее лицо (спектакля. *Д. М.*), которое безмолвно стоит тут же, около размалеванной кулисы“ (V, 257), и далее — переход этого образа в образ *тоски* уже совсем не театральной, но тоже олицетворенной: она „как голодная шавка, поджимает хвост“ и т. д. (V, 258). При этом оба олицетворения разделены несколькими абзацами с мыслями о приближении „великого бунта“ („багровое зарево событий“) и длинной, почти на целую страницу, полной образных иллюстраций цитатой из Царя Голода“ Л. Андреева. И все эти образы крепко связаны своим „прямым“ содержанием и лирической атмосферой в единый органический комплекс» [52].

Творческая безотчетность, самозабвение, доходящее до того, что ему казалось, будто не он пишет, а им кто-то пишет,— такое случалось с Блоком и прежде, теперь же, в дни создания «Двенадцати», это состояние охватило поэта безраздельно. Он сначала написал о паршивом псе, ассоциативно связанном с бытийственной скукой, а уж затем, вглядевшись в него, пристально рассматривая им самим только что созданный образ, увидал в нем нечто неожиданное — один из обликов всемирного зла, обращенного Мефистофеля. Тогда-то и была занесена в записную книжку известная догадка о Фаусте и пуделе (ЗК, 387), и в заключительной, двенадцатой части поэмы вновь возник этот образ, выросший до чудовищного символа и вошедший в антитетическую, глубоко «смысловую» рифму «пес — Христос» [53].

И еще одно обстоятельство нужно учесть, сопоставляя «Двенадцать» с финалом «Саввы»,— обстоятельство менее заметное, чем все до сих пор описанные, но, кажется, не менее значительное. Речь идет о репликах собирательного, многоликого, но единого персонажа, обозначенного у Андреева как «голоса», о репликах человеческой массы, охваченной стихийным порывом веры и мщения. О самой собирательности, массовидности этих реплик, создающих звуковой образ толпы, слитно-раздельные голоса которой не имеют никакого отношения к человеческой индивидуальности. Какая уж там индивидуальность в разбушевавшейся стихии!

Мог ли Блок, озабоченный мыслями о социальных стихиях — и способах их изображения в литературе,— мог ли Блок «Двенадцати» не заметить андреевских

«голосов»? Вся его поэма из этих «голосов» состоит, являя редчайший, если не уникальный в мировой поэзии случай поэтического *полилога* (в несобственно драматической форме), особого способа передачи многоголосой прямой речи. Полилог равно противостоит монологу и диалогу не только из-за своей «множественности», но и потому, что слагаемые этой множественности — анонимны, человеческая речь поступается здесь именем своего носителя ради совместного, гуртового имени толпы, массы, сборища, для примера достаточно посмотреть блестящие разработки полилога в «Жизни Клима Самгина» Горького. В поэме Блока «с первых же строк ⟨...⟩ уже чувствуется не голос самого поэта, а голоса и настроения тех двенадцати, которые сами выявятся из ветра и метели только во второй главе» [54],— это было замечено первыми же читателями поэмы, современниками Блока. Среди «голосов» поэмы исследователи находят и авторскую речь, но особой уверенности по этому поводу нет, зато само многоголосие «Двенадцати», стихийный поток стихийной речи не оспаривается никем. Этих «голосов» у Блока так много и принадлежность их настолько лишена значения, что даже «голосу» Любови Дмитриевны находится место, и поэт, охотно принимая, без колебаний авторизует поправку жены... [55].

Самые большие нелепости возникают у толкователей «Двенадцати» тогда, когда они предпринимают попытки «привязать» голоса, дать им имена, подобранные среди героев поэмы. Тут-то начинаются натяжки, субъективные домыслы, смешение желаемого и действительного. За исключением тех реплик, «авторство» которых Блок счел нужным обозначить, закрепив их за определенными персонажами, все «голоса» поэмы безымянны *принципиально* — «привязать» их к определенным персонажам не то что трудно, а попросту невозможно, если, конечно, не вступать в противоречие с замыслом поэмы, с ее жанровой природой, с законами полилога. Неопределенность принадлежности этих реплик надо не преодолевать (пусть соблазн велик), но осмыслить как эстетическую особенность произведения.

В самом деле: бушует стихия — в природном и социальном пространствах, метет метель, ночь, темень, слепит глаза снегом и ветром, все смешалось — город и мир,— и из этой мешанины доносятся *голоса*. Иногда — если близко — в смутном свете фонаря или луны *видно*, кто что сказал. Иногда реплика узнается по голосу, по смыслу или характерному словечку. Но все это тонет в гуле и свисте метели, которая то и дело вышвыривает искромсанные фразы, неведомо кому принадлежащие,— клочья вихря, ошметки стихии, несущие на себе ее печать. Определить, чьи это голоса, так же невозможно — нелепо! — как пытаться остановить бурю. Стихия — она и есть стихия. У Блока она всеохватна, и поэт специально оговаривает это обстоятельство, выделяя из множества проявлений стихии троицу — метель, мятеж, слово: «Поэма написана в ту исключительную и всегда короткую пору, когда проносящийся революционный циклон производит бурю во всех морях — природы, жизни и искусства... Моря природы, жизни и искусства разбушевались...» (VIII, 239).

Трудно не заметить родственное сходство блоковского полилога с «голосами» Андреева: текстуальная близость подкрепляется совпадением изобразительного метода и сюжетной ситуации. Творчество Блока, вообще «реминисцентное», создало в «Двенадцати», написанных почти сразу набело и в кратчайший срок — что называется, на одном дыхании,— неслыханную «ловушку» для всех голосов эпохи — литературных, театральных, фольклорных и полуфольклорных — всяких. Настроенный на слуховое восприятие действительности поэт и буквально «слушал революцию» в ее звучании, в ее голосах.

5

За день до начала «Двенадцати», 7 января 1918 г., Блок занес в дневник план пьесы об Иисусе Христе. Этот набросок расшифровывается с трудом, но некоторые образы позволяют угадать в них исходные моменты «Двенадцати». Евангельская легенда прочитывается Блоком, так сказать, по коду современной революю-

ционной эпохи: «Иисус — художник. Он все получает от народа... Нагорная проповедь — митинг. Власти беспокоятся. Иисуса арестовали» (VII, 317) — и так далее, вплоть до прямых (портретных и характерологических) сопоставлений апостолов с политическими деятелями 1918 г. Очевидна попытка освоить современный материал традиционным языком старой культуры, несколько пародийно подсвечивая этот язык новым и новейшим.

Эта попытка имела прецеденты в русской литературе, в первую голову — андреевский: «Хотя〈...〉довольно трудно судить по сохранившемуся наброску о концепции пьесы в целом, можно сказать, что отдельные пункты плана-наброска заставляют нас вспомнить повесть Андреева „Иуда Искариот и другие". Прежде всего очень ясно проявляется отрицательное отношение к апостолам... Некоторое сходство с андреевским образом можно заметить и в характеристике Иуды» [56]. Апостолы изображены в наброске плана как воры и жулики — верно, из чего, однако, нисколько не следует, будто в этом «проявляется отрицательное отношение» Блока к ним: ведь они — любимые блоковские герои, но ссылка на Андреева весьма основательна. В самом деле, об Иуде Блок записывает: «Жулик (то есть великая нежность в душе, *великая требовательность*)» (VII, 317; курсив мой.— *М. П.*), а об Иуде Андреева тогдашний критик писал точь-в-точь то же самое: он «предает Христа из любви к нему, из жажды, чтобы скорее все поняли, кто стоит перед ними» [57]. Другой уточняет: «Иуда избирает предательство как единственный путь к скорейшему и притом земному, реальному возвеличению Иисуса. Он горит желанием оказать Иисусу и его учению последнюю величайшую услугу и быть единственным обладателем всей чести ее и всей благодарности Учителя» [58]. Третий — имевший возможность обсудить с автором его произведение — заключает: «Иуда продает Иисуса с исключительной целью вызвать, наконец, возмущение, восстание, бунт в защиту пришедшего на землю святого» [59].

Эти прочтения «Иуды Искариота» Андреева важны нам потому, что не только образ Иуды в замысле Блока обнаруживает сходство с андреевским, но и, насколько можно судить, сюжет должен был развиваться подобным же образом — не зря Блок отождествляет своего Иуду с представителями крайне левых, экстремистских сил русской революции. Строго говоря, у Андреева вообще нет речи о предательстве: предлагая вместо канонизированного мифа свой апокриф, писатель исследует старый, восходящий еще к его учителю Достоевскому вопрос о том, все ли, всякие ли средства хороши ради достижения великой и нравственной цели. Но инерция традиционного восприятия канонического мифа порой захлестывала и перекрывала особенности андреевской трактовки, заставляя подозревать, будто Андреев создал «апологию предательства». Это приводило писателя в недоумение: «Или ты тоже думаешь, что я оправдываю Иуду, и сам я Иуда, и дети мои Азефы?» — писал он И. Белоусову [60]. В сущности, Иуда Андреева такой же максималист и экстремист, борющийся за Христа, как и богоборец Савва. Противоречия максималистских крайностей — вот что сближает Иуду из нереализованного замысла Блока с реализацией этого образа у Андреева [61].

Значит, какая-то андреевская нота звучала Блоку в самом начале, на самых ранних стадиях замысла, воплотившегося потом в «Двенадцати». Эта нота протянулась до поэмы и выразительно продолжилась в ней цепочкой отзвуков из «Вора» (частушка о Маланье) и «Саввы». Соотнесенность поэмы Блока с идеями и образами Андреева сейчас приходится реконструировать—для современников она была очевидной. Л. Войтоловский писал в отзыве на «Двенадцать»: «Разверните Леонида Андреева, и вы в десятках вариантов встретитесь с Христом из поэмы Блока〈...〉Возьмите, напр〈имер〉, революционера Колесникова〈...〉Блок— тот самый поэт, о котором мечтал Колесников: из кабака он делает церковь» [62]. Называя Андреева «предтечей „духовного максимализма" наших дней», А. Векслер считала, что «Белый и Блок — соратники и наследники Л. Андреева; у них следует искать ценностей Андреева, ими воспринятых и переработанных〈...〉Стихия кажется Андрееву угрожающей, но в ней же и спасение〈...〉Отсюда возникли „Двенадцать". „Двенадцать" выходят из ветровой стихии〈...〉В лице их рой движется на строй, из роя возникает видение — „Впереди Исус Хри-

тос". Так же, как в третьей книге, в „Двенадцати" есть „страшный мир" — история Петрухи с Катькой, убийство Катьки...» [63].

Что касается блоковского замысла пьесы о Христе, то он сразу, едва ли не в день своего возникновения, погиб, потому что преобразовался, как погибает зерно, прорастая. Преобразование замысла, восходящего к Андрееву, не повело к разрыву с кругом андреевских образов, но осуществлялось в их русле. Возникновение призрачной фигуры Христа во главе двенадцати явно перекликается с христологическими мотивами Андреева — уже не столько в «Иуде Искариотском» или в «Савве», сколько в других произведениях, например в «Анатэме», где параллель между Христом и Давидом Лейзером достаточно очевидна: писателя даже обвиняли «в оскорблении религиозного чувства и якобы проведении „кощунственной аналогии" между Давидом Лейзером и Христом» [64]. Вслед за своим учителем Достоевским («Идиот», «Братья Карамазовы») Андреев создал экспериментальное художественное исследование «второго пришествия» и показал его неизбежную катастрофу [65]. В конце «Анатэмы» Давид Лейзер тщетно пытается убежать и скрыться от толпы голодных и обездоленных, которые преследуют этого условного двойника Христа, дабы он возглавил их. Рассматривая христологические мотивы у Андреева, М. А. Рейснер сочувственно цитирует пастора Кальтгофа, утверждавшего, что «образ Христа нашего времени с первого взгляда является совершенно противоречивым. Он отчасти носит еще черты старого святого или небесного монарха, но рядом с ними проясняются уже вполне современные черты друга пролетариев, даже вождя рабочих». «Так миф становится реальностью,— добавляет Рейснер,— и идеальная личность приобретает силу социального внушения. Наука говорит языком немногих, поэзия— языком всех» [66]. Это написано почти за десять лет до «Двенадцати», но может показаться, будто комментируется не творчество Андреева, а поэма Блока: те же противоречия обычно отмечаются и в образе блоковского Христа, и в самом факте возникновения этого «женственного призрака» во главе двенадцати.

Преобразованный замысел пьесы о Христе вобрал в себя новые идеи, образы, ассоциации, среди которых не последнее место занимали некрасовские разбойники: «Жило двенадцать разбойников»,—появляется в рукописи поэмы. Не исключено, что восприятие поэта, включенное в пору создания поэмы преимущественно на слуховую образность, связывало запись о разбойниках не только с балладой из «Кому на Руси жить хорошо», но и с популярной песней на эти слова [67]. Апостолы из плана пьесы о Христе — довольно-таки разбойный народ, они легко бы слились и отождествились с песенными разбойниками, тем более что у апостолов из замысла пьесы и у героев поэмы есть, так сказать, общий знаменатель — бакунинские представления о том, что «разбойник в России настоящий и единственный революционер — революционер без фраз, без книжной риторики, революционер непримиримый, неутомимый, неукротимый на деле, революционер народно-общественный, а не сословный» [68]. Но дело не в них, не в разбойниках, а в их главаре Кудеяре, в кудеяровом богоугодном, искупительном убийстве «пана богатого, знатного»: Блок уже обдумывал диалектику «праведности-греховности» своих героев. И неприметная, переосмысленная цитата из Ницше увенчивает эти размышления: на «*священную* злобу» ницшеанского индивидуалиста к толпе Блок отвечает — от имени мятежных масс— своей знаменитой «*святой* злобой».

Трудно объяснить, почему не было замечено и оценено следующее обстоятельство: в поэме Блока, как и в «Иуде Искариотском» Андреева, двенадцать глав. Смысл названия поэмы дробится и усложняется, вбирая всю традиционную символику числа «двенадцать» (скажем, «двенадцатый час» и т. д.); но два смысла явно доминируют: это, во-первых, совокупное имя коллективного героя поэмы, перекликающееся одновременно и с числом евангельских апостолов, и с числом некрасовских разбойников; и это, во-вторых, указание на число глав-разделов, сближающее название поэмы с традицией названий, в которых обобщено не содержание или идея произведения, но какой-либо его важный структурно-типологический или жанровый признак (известно, что Блок охотно представлял свое

произведение и как поэму, и как цикл из двенадцати стихотворений). Двенадцати-частный рассказ о двенадцати героях — этот структурный принцип Блок, возможно, воспринял в «Иуде Искариотском» и резко усилил, вынеся его в название поэмы.

Переосмысленное слово Ницше дает идейно-смысловой ключ к андреевским отзвукам в «Двенадцати»: это не «реминисценции» (хотя, быть может, они таковы по происхождению), но знаки спора, который ведется с Андреевым на его же материале, знаки, указывающие, какой именно материал подвергается переосмыслению. У Андреева революционер-одиночка Савва выступает против массовидного «старого мира»; у Блока — массовидный «новый мир», воплощенный в двенадцати, против раздробленных и индивидуализированных обломков старья. Ситуация вывернута Блоком наизнанку: стихия буржуазно-мещанского разгула с христовым именем на устах, но без Христа заменяется стихией революционного мятежа низов, идущих «без имени святого», но во главе с Христом. Вместо жертвенности Саввы — победительство, «державный шаг» двенадцати. Вместо обезумевшей толпы, преследующей в «Анатэме» христова двойника, чтобы он возглавил ее, а на деле убивающей Давида Лейзера, в «Двенадцати» революционный патруль преследует Христа, постреливая в него, но тем не менее таинственно возглавляется им. Андреевские обыватели видят в Савве бесовское начало—у Блока это начало воплощено в безродном псе, символе старого мира, и в целом «параде бесов», шествующих за этим псом, как двенадцать — за Христом: буржуй, барыня, писатель-вития, поп...

Становится понятным появление в последней части поэмы ритмико-интонационных отзвуков пушкинских «Бесов» [69]. Вслед за Андреевым Блок оспорил и переосмыслил традиционную тему «бесов», во всяком случае — ее истолкование у Достоевского. Внутренняя логика переосмысления этой темы в «Двенадцати» подтверждается дневниковой записью поэта, которая многократно цитировалась, в том числе и в связи с «Двенадцатью», но при этом как-то осталось незамеченным, что в самый канун поэмы— 5 января 1918 г.— Блок вспомнил пушкинских «Бесов». Цитата из «Бесов» в дневнике Блока замечательна не только сама по себе, не только тем, что в ней «бесовство» относится на счет утратившей всякую духовность буржуазии, но и местом в записи: она стоит в непосредственной близости с размышлениями о роковых судьбах России, в одном контексте с «учредилкой», цитатой из Андрея Белого о «мессии грядущего дня» — т. е. как бы о «втором пришествии», рядом с размышлениями о «чувстве неблагополучия», столь выразительно подтвержденного Блоку творчеством Андреева (VI, 131). Дневниковая запись поэта накануне «Двенадцати» — свидетельство тех же болей и тревог, которые породили поэму и пронизали ее с начала до конца. Это — своего рода идеологическая программа «Двенадцати», понятийный комментарий к еще не написанному произведению:

«Или *духовные ценности* — буржуазны? Ваши — да.

Но „государство" (ваши учредилки) — НЕ ВСЕ. Есть еще воздух.

И ты, огневая стихия,
Безумствуй, сжигая меня:
Россия, Россия, Россия,
Мессия грядущего дня!

Чувство неблагополучия (музыкальное чувство, ЭТИЧЕСКОЕ — на вашем языке) — где оно у вас?

Как буржуи, дрожите над своим карманом.

В голосе этой барышни за стеной — какая тупость, какая скука: *домового ли хоронят, ведьму ль замуж выдают* (курсив мой.— *М. П.*). Когда она наконец ожеребится? Ходит же туда какой-то корнет» (VII, 315—316).

Буржуазность Блок ненавидел так, как только может ненавидеть ее дворянский интеллигент и поэт демократической идеи. Если бы из метели пушкинских «Бесов» вынырнул человек, оказавшийся Вожатым, как появляется он из метели в «Капитанской дочке», и от его имени, а не от имени заблудившегося

путника в кибитке было написано стихотворение,— это и были бы «Двенадцать». Это «Бесы», созданные поэтом из стана мятежников. На старый вопрос о бесах Блок дает иной — диаметрально противоположный ответ. Вообще на все вопросы «Бесов» следует немедленный ответ «Двенадцати»: «Что делать нам?» —«Революционный держите шаг!».

Ко времени «Двенадцати» Андреев сильно эволюционировал вправо, оказался за пределами Советской России. Прямые отзывы Андреева о «Двенадцати» неизвестны, но вся позиция Блока начала 1918 г. вызывала у него злобное осуждение. Тем, кто сотрудничает с большевиками, писал он И. Белоусову 15 марта 1918 г., «и достанется же по прошествии большевизма! Другие ⟨...⟩ вывернутся, они ловкачи, а Блока приятели выгородят — он-де поэт, что с него взять...» [70]. Не приходится удивляться тому, что Андрееву было невнятно сильнейшее влияние его творчества на Блока, открывающееся нам в исторической ретроспективе. Так, скажем, и для Скитальца, по-видимому, осталось тайной пристальное внимание Блока к его стихам. Во всяком случае, в своей заметке, написанной уже после смерти Блока, он продолжает считать дореволюционное творчество поэта созданием «парнасца», которому, дескать, должна была претить его, Скитальца, демократическая низовая муза. «Двенадцать» для Скитальца — неожиданность, непредвиденный и непредсказуемый поворот в творчестве Блока [71]. Лишь немногие читатели увидели тогда в «Двенадцати» естественное и логическое развитие «прежнего» Блока.

Тем, кто разглагольствовал об «отступничестве» Блока, умно отвечал И. В. Евдокимов: «Ушел от них — значит, погиб. Между тем как он и не был с ними. Они по своему ограниченному взгляду на окружающее просмотрели в нем то, что давно роковой разграничительной чертой удалило его творчество от проторенных, обычных, обывательских образов. Поэма „Двенадцать" была художественным выражением, формой только, в которую облеклось созревшее внутреннее сознание поэта за несколько лет перед событиями. В 1909 г. Александр Блок написал статьи „Россия и интеллигенция", „Стихия и культура", в которых художник предвидел то, что случилось в 1917—1918 г. ⟨...⟩ Годами теснившиеся мысли вылились в страстную песню, в апофеоз переворота, в гимн стихии, заклокотавшей над землею. И так была душе близка гроза, что гениальному поэту без усилий и натянутости удалось „вздернуть на дыбы", поставить во весь грозный рост эту победившую и все одолевшую стихию» [72].

Через одиннадцать лет после создания «Саввы» Андреев относился к «ignis sanat» совсем по-другому. В письме к И. Белоусову (декабрь 1917 г.) он писал: «Меня приводят в отчаяние⟨...⟩ вот эти революционные болтуны и добродетельные предатели. Сейчас они лают, как деревенские собаки на забежавшего волка, и хвосты у них поджавши, а кто недавно хвастался, что спас революцию и родину от Корнилова! Вот и спасли! Воют „революция погибла!" ⟨...⟩ Кто всю интеллигенцию объявил буржуями и контрреволюционерами?» [73]. Возможность знакомства Блока с этим письмом, отправленным за месяц до начала «Двенадцати», решительно исключена, но поэма отвечает на письмо Андреева всем своим образным строем. Создается впечатление, будто Блок нарочно использует тот же ряд образов, который содержится в андреевском письме, чтобы еще яснее стала противопоставленность позиций. В «Двенадцати» (если рассматривать поэму на фоне письма Андреева И. Белоусову) возникает ряд художественных знаков-омонимов, совпадающих с андреевскими внешне и глубоко отличных по смыслу. Вместо «революционных болтунов», воющих «революция погибла», Блок вводит болтуна контрреволюционного — «писателя-витию», бормочущего что-то о «предателях» и о том, что «погибла Россия»; собакой, у которой хвост «поджавши», оказывается у Блока «поджавший хвост паршивый пес» — воплощение мирового зла, в бессильной злобе бредущий за двенадцатью.

Несомненно, что Андреев знал «Двенадцать» и относился к поэме (как и ко всей тогдашней позиции Блока) резко отрицательно. Неизданный поздний дневник Андреева в записи от 29 апреля 1918 г. содержит цитаты из «Двенадцати»: приводятся (конечно, по памяти) строки, начинающиеся словами: «В зубах

цигарка» и «Винтовку держи, не трусь». В записях от 21 апреля и 31 июля того же года — нападки на газету «Знамя труда» (в которой «Двенадцать» были опубликованы впервые) и на Блока — за участие в этой газете [74].

Так решительно — и уже окончательно — разошлись пути двух художников. Один создал произведение, пропевшее максималистскую осанну революционному «мировому пожару», другой — «...на заре обновления жизни ‹...› нашел в себе только те же самые бессмысленные проклятия против того огня, который стал пожирать ненавистное ему старое...» [75]. Но прежний Андреев, ненавидящий старое, продолжал «работать» на революцию своим творчеством вместе с «новым» Блоком, и вскоре, в 1920 г., блоковский лозунг перекочевал в получившую всероссийскую известность песню «Белая гвардия, черный барон...», где есть такие строки:

Мы раздуем пожар мировой,
Церкви и тюрьмы сравняем с землей!..» [76],

— а «драма Л. Андреева „Савва“ пользовалась большим успехом в красноармейских театрах в годы гражданской войны...» [77].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Книга и революция», 1922, № 7(19), с. 50.

[2] В. И. Беззубов. Александр Блок и Леонид Андреев.— «Блоковский сб.», 1, с. 226—320.

[3] В юношеском дневнике Андрея Белого (около 1899 г.) находим истолкование этого понятия в духе раннего символизма и ссылку на источник: «„*Многострунность*“ культуры есть сосуществование нескольких логик, нескольких плоскостей человеческих ви́дений, из которых каждая составляет лишь одну струну. Такой струной, между прочим, является религия, другой — метафизика. Ницше, исключивший религию и метафизику из своего учения, был несколько однострунен, хотя само выражение „*многострунная культура*“ обязано Ницше своим возникновением...» (см.: А. В. Лавров. Юношеские дневниковые заметки Андрея Белого.— В кн.: «Памятники культуры. 1979». Л., «Наука», 1980, с. 133). Сохраняя свой символический смысл, понятие «многострунность» у Блока приобретает и более конкретные, почти бытовые оттенки. Ср. в стихотворении В. Брюсова «У канала» (1 ноября 1912 г.):

И если жизнью, слишком многострунной,
Измучен ты,— приди ко мне сюда,
Перешагни чрез парапет чугунный,
И даст тебе забвение вода.

(В. Брюсов. Избр. произв. в 2 томах, т. 1. М., ГИХЛ, 1955, с. 354).

[4] Эта идея впервые была высказана и разработана Э. В. Померанцевой в статье «Александр Блок и фольклор».— «Русский фольклор», т. 3. М., 1958, с. 204—205 и сл.

[5] В. Андреева. Дом на Черной речке. М., «Сов. писатель», 1980, с. 33—34.

[6] Л. Андреев. Сочинения, т. IV. СПб., «Знание», 1907, с. 12. В дальнейшем все ссылки на Л. Андреева (кроме особо оговоренных случаев) даются по этому тому в тексте статьи, с указанием только страницы.

[7] Наблюдение Ю. В. Бабичевой — см. ее статью «Богоборческая драма Леонида Андреева „Анатэма“» в кн.: «Русская литература XX века (дооктябрьский период)», сб. 2. Калуга, 1970, с. 193.

[8] «Неизданные письма Леонида Андреева (к творческой истории пьес периода первой русской революции)».— «Уч. зап. ТГУ», т. V, вып. 119, 1962, с. 391.

[9] Б. Израилевский. Илья Сац.— В кн.: «Илья Сац. Из записных книжек. Воспоминания современников». М., «Сов. композитор», 1968, с. 178.

[10] ЦГАЛИ, ф. 2371, оп. 1, ед. хр. 87, л. 2. В названной выше кн. «Илья Сац. Из записных книжек. Воспоминания современников» это место воспоминаний В. Юреневой приводится в сильно сокращенном виде (с. 77).

[11] М. А. Рейснер. Л. Андреев и его социальная идеология. СПб., 1909, с. 35.

[12] К. Чуковский. Новый рассказ Л. Андреева ‹«Вор»› — «Одесские новости», 20 марта 1905 г.

[13] Вл. Орлов. Поэма Александра Блока «Двенадцать». М., ГИХЛ, 1962, с. 121.

[14] К. Чуковский. Книга об Александре Блоке. Пг., «Эпоха», 1922. с. 56.

[15] К. Чуковский. Лица и маски. СПб., «Шиповник», ‹1914›, с. 83.

[16] В. Чернышев. Сведения о говорах Тверского, Клинского и Московского у‹ездов›.— «Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии Наук», т. 75. СПб., 1904, с. 189.

[17] См. наст. том, кн. 3, с. 223.

[18] «Одесские новости», 20 марта 1905 г.

[19] Д. Максимов. Поэзия и проза Ал. Блока. Л., «Сов. писатель», 1975, с. 405.

[20] Выразительный ритмический ход, завершающий частушку, произвел, надо полагать, немалое впечатление на К. Чуковского: вскоре — и, подчеркнем, *раньше* Блока — он начал осваивать этот ход в своих стихах:

Жил да был
Крокодил.
Он по улицам ходил,
Папиросы курил,
По-немецки говорил,—
Крокодил, Крокодил Крокодилович!

(зачин сказки «Крокодил», конец 1915 — начало 1916 г.). Затем, перейдя в другие сказки Чуковского, этот ритмический ход стал своеобразным «ритмическим портретом» автора и был многократно обыгран пародистами.

[21] В. И. Симаков. Сборник двухстрочных частушек (страданий). М., изд. Всероссийского об-ва крестьянских писателей, 1928, с. 30. Конечно, эта «матаня» послужила фольклорным источником известных строк В. Маяковского:

...шел я верхом,
шел я низом,
строил
мост в социализм,
недостроил
и устал
и уселся
у моста́...

(«Письмо к любимой Молчанова, брошенной им...».— Полн. собр. соч. в 13 томах, т. 8. М., с. 197). Достоверность источника подтверждается тем, что «строящийся мост» — тоже одно из словесных клише двухстрочной частушки:

Как у строящего моста
Утонуло девок до ста

— и др.— См.: В. И. Симаков. Частушки. Изданы по записям 1914—1915 гг. Изд. 2, испр. и доп. Пг., 1916, с. 86.

[22] В. И. Симаков. Сборник двухстрочных частушек..., с. 47 (со ссылкой на источник: «Сборник новых куплетов „Кинь грусть"». СПб., изд. А. Холмушиной, 1902, с. 14).

[23] Единственная известная мне попытка связать творчество Блока с «матаней» принадлежит не фольклористу и не литературоведу, но писателю. Речь идет о П. С. Сухотине, хорошо известном блоковедам по его переписке с поэтом, по его стихам, посвященным Блоку, и т. д. В своей маленькой драме «Поминки поэту» он изображает приход некоего «Человека со скрипкой» в общество лицемеров, оплакивающих поэта. В «Человеке со скрипкой» совмещены черты двух образов пушкинской маленькой трагедии «Моцарт и Сальери» — «черного человека», заказавшего Моцарту «Реквием», и «скрипача слепого», которого Моцарт приводит с улицы в трактир «Золотого льва». Кроме того, «Человек со скрипкой» обладает способностью находить музыкальный эквивалент для духовного облика каждого из персонажей. Эти музыкальные эквиваленты — очень простенькие — разоблачают лицемерие, ничтожество и пустую претенциозность людей, собравшихся оплакивать поэта. В ответ на просьбу «Дамы в зеленом» сыграть музыкальное соответствие стихов умершего поэта, якобы посвященных ей, «Человек со скрипкой» (согласно ремарке) «играет фабричную „Матаню"». Дама возмущена и кричит: «Ведь это святотатство! К таким стихам такая проза!». «Человек со скрипкой» объясняет:

«Сударыня, нисколько.
Я уверяю вас, что эти строки
Написаны не вам,
А очень безобразной женщине.
Он шел по городу, был вечер,
И на бульваре услышал он
Напев «Матани», и к нему
Пристала пьяная кокотка.
И вот в ее глазах
Увидел он весь этот страшный город,
С безумьем пьяных песен
И с той жестокой скукой,
Которую он нес в душе своей
От ваших встреч».

(П. Сухотин. Поминки поэту. Памяти Александра Блока. М., «Книгопечатник», 1922, с. 15—16; то же — под названием «Requiem» — в берлинском журнале «Сполохи», 1922, № 9—14). По примеру блоковского «Балаганчика» П. С. Сухотин «разрушает» сценическую иллюзию: второе действие переносит нас за кулисы, где происходит разговор «Человека со скрипкой» и «Автора», причем появляется мотив, возможно, отсылающий к Андрееву,— «Автор» рекомендует ввести в первое, уже отыгранное действие

Ну, например, студенческую песню:
«Быстры, как волны, дни нашей жизни».
Ведь эта песня служит до сих пор
Вершителям общественного мненья
Высоким гимном»

(там же, с. 24—25).

[24] А. П. Чехов. Собр. соч. в 12 томах, т. 5. М., «Худож. литература», 1955, с. 62.

[25] Другой вариант частушечной песни о «лупоглазой Маланье» (но также содержащий «историю карьеры») находим в сборнике знаменитого гармониста, исполнителя народных (и собственных) песен В. Невского: «Гармонист. Репертуар...». М., 1898, с. 37—39. Едва ли не этот зафиксированный у В. Невского вариант «матани» звучит в романе Андрея Белого «Серебряный голубь»: «...вот сейчас, в чайной, где собрался всякий сброд, бог знает кто и бог знает откуда, дул водку и горланил, поглядывая то в черные, а то и в красные от молнии окна:

„Маланья моя, Так поживши мало,
Лупоглазая моя! Горничною стала,
Ты в деревне жила, Лихо зафрантила,
У дьячка служила. Пыль в глаза пустила...“»

(Андрей Белый. Серебряный голубь. Повесть в семи главах. М., «Скорпион», 1910, с. 137—138). Несмотря на совпадение некоторых деталей, очевидна связь «Двенадцати» с другим, «андреевским» вариантом частушки (свой вариант В. Невский называет «коммерческой песней»; П. С. Сухотин ссылается на «фабричную „Матаню“»). Заслуживает внимания символизация частушки у Белого — Маланья у него, помимо прочего, еще и грозовой образ в красных тонах (приношу благодарность А. В. Лаврову, напомнившему мне это место из «Серебряного голубя»). Когда реалист и бытовик Евг. Чириков вздумал написать символистскую пьесу, то в ней появился какой-то Чертяка, который «играет на гармошке „Матаню“ и подпевает:

Миленький! Часы при вас,
Погляди, который час!

Это, милка, не часы,
Одна цепочка для красы!»

(Евг. Чириков. Собр. соч., т. IX. СПб., 1913, с. 77).

[26] К. Чуковский. Лица и маски, с. 83.

[27] Там же, с. 104.

[28] Ничего сверхъестественного здесь, разумеется, нет. Проницательность и творческое воображение критика были подкреплены надежными фактами. О первом своем посещении Блока Чуковский записал в дневнике: «От Петрова к Блоку ‹...› Я ему, видимо, не нравлюсь, но он дружествен. О Владимире Соловьеве, Пильском, Полонском, Андрееве» (ЛН, т. 92, кн. 2, с. 244). Этот разговор с Чуковским о «близких» (если исключить «далекого» Пильского) Блок вел 25 октября 1907 г.— в пору, когда Андреев сильно занимал его мысли. Возможно, что разговор коснулся и «Вора», о котором Блок только что написал в статье «Литературные итоги 1907 года» (вышла в № 11—12 «Золотого руна»). Кроме того, готовя книгу «Лица и маски», Чуковский основательно переработал для нее свою статью об Андрееве (в прежних вариантах этой статьи нет частушки о Маланье и фразы о Юрасове — «Бедный Александр Блок, наряженный вором»). Переписывая заново статью «Леонид Андреев», Чуковский, несомненно, просмотрел всю критическую литературу по теме и, возможно, отметил для себя рецензию Блока «Сборник товарищества „Знание“ за 1904 год», посвященную «Вору» почти целиком. Об отношении Блока к этому рассказу Чуковский мог знать и от Леонида Андреева.

[29] Л. А. Иезуитова. Творчество Леонида Андреева. 1892—1906. Л., 1976, с. 205. Автор отмечает, что впервые на связь этих произведений, на общность их замысла и единство умонастроения художника обратили внимание Вл. Кранихфельд («Совр. мир», 1906, № 1, отд. 2, с. 67—82) и М. Неведомский («Совр. мир», 1906, № 3, отд. 1, с. 64—77).

[30] Там же, с. 230. В. Брюсов, считавший «Так было» Л. Андреева слабым рассказом, делал, однако, оговорку, относящуюся как раз к интересующему нас месту: «...Но отдельные страницы, где изображаются беспричинные стихийные движения толпы, написаны с тем мастерством, с той силой, с той магией искусства, которая всегда побеждает в рассказах Л. Андреева даже предубежденного читателя» («Весы», 1906, № 5, с. 58). В ту пору Блок был «предубежден» скорее в пользу Андреева и едва ли избежал воздействия «магии искусства», с которой писатель изображал стихийные движения толпы.

[31] Л. Долгополов. Поэмы Блока и русская поэма конца XIX — начала XX века. М.— Л., «Наука», 1964, с. 162.

[32] ЦГАЛИ, ф. 2242, оп. 1, ед. хр. 65, л. 6—7.

[33] А. Р. Кугель. Русские драматурги. М., 1933. С. 151—152.

[34] Ю. В. Бабичева. Драматургия Л. Н. Андреева эпохи первой русской революции. Вологда, 1971, с. 59.

[35] «Уч. зап. ТГУ», т. V, вып. 119, 1962, с. 382.

[36] Там же, с. 385.

[37] «Литературный распад», сб. 1. СПб., «Зерно», 1908, с. 171.

[38] К. И. Арабажин. Леонид Андреев. Итоги творчества. Литературно-критический этюд. СПб., 1910, с. 145.

[39] Б. Сильверсван ‹рец. на драму «Савва»›.— «Театр и искусство», 1906, № 39, с. 599.

[40] М. Бакунин. Речи и воззвания. СПб., изд-во И. Г. Балашова, 1906, с. 245.

[41] Д. Максимов. Поэзия и проза Ал. Блока, с. 274.

[42] Наст. том, кн. 1, с. 546—547.

[43] Б. Мандж о с. Новый Блок.— «Куранты», Киев, 1918, № 7, с. 14.

[44] Там же, ср.: «Новое будет совершенно иным, говорил он (Блок.— *М. Л.*) мне уже в 1917 г.— Ни Романов, ни Пестель, ни Пугачев — сам самодержавный народ, державным шагом идущий вперед к цели»,— вспоминал М. Бабенчиков (в его кн. «Ал. Блок и Россия», М.— Пг., Госиздат, 1923, с. 54). Эта фраза Блока — очевидная отсылка к брошюре М. Бакунина «Романов, Пугачев или Пестель?» (тогда же, в 1917 г., переизданной).

Из текста Бабенчикова непонятно, распознал ли мемуарист эту скрытую ссылку Блока на Бакунина. Хотя по смыслу фразы Блок отвергает бакунинскую систему альтернатив, но его мысль продолжает соотноситься с этой системой. По свидетельству А. В. Луначарского, Блок говорил ему (очевидно, весной 1919 г.): «...я в вас, большевиках, все-таки чувствую нашу Русь, Бакунина, что ли...» (цит. по кн.: Н. А. Трифонов. А. В. Луначарский и советская литература. М., «Худож. литература», 1974, с. 188). В библиотеке Блока было (нынешнее местонахождение неизвестно) Полное собрание сочинений М. А. Бакунина в двух томах под ред. А. И. Бакунина (СПб., изд. И. Балашова, 1906). Пауль Граан в своей работе, посвященной замыслу музыкальной драмы Вагнера «Иисус из Назарета», сообщает крайне любопытные сведения о влиянии на Вагнера Прудона, Вейтлинга и Бакунина. Вагнер хотел написать музыкальную драму, в которой Иисус должен был выступить носителем сенсимонистских и коммунистических идей, но от этой мысли он отказался под влиянием Листа и Элизы Вилле, доказывавших композитору нехудожественность изображения на сцене библейских мотивов» (см.: «Книга и революция», 1922, № 5 (17), с. 74). Знал ли Блок об этом замысле столь идеологически и эстетически значительного для него Вагнера?

[45] В. И. Беззубов. Концепция народа и революции в творчестве Леонида Андреева 1805—1911 гг.— «Уч. зап. ТГУ», вып. 414. Труды по русской и славянской филологии», XXVIII, 1977, с. 67.

[46] Ср. «бессильного бога» в «Савве» с мотивом божьего бессилия в «Двенадцати»: «От чего тебя упас // Золотой иконостас?».

[47] М. Бакунин. Речи и воззвания, с. 264—265.

[48] В этом месте пропущена пересказанная выше сцена с одноруким Царем Иродом, который сбивает Савву с ног.

[49] Л. К. Долгополов. Поэмы Блока и русская поэзия конца XIX — начала XX века, с. 176.

[50] «Блоковский сб.», 1, с. 238.

[51] К. Чуковский. Александр Блок как человек и поэт. (Введение в поэзию Блока). Пг., изд-во А. Ф. Маркса, 1924, с. 25.

[52] Д. Максимов. Поэзия и проза Ал. Блока, с. 319.

[53] Ср.: «Книга и революция», 1922, № 7 (19), с. 50. И еще: «В Блоке то и замечательно, что для него нет ни «формы», ни «содержания»,— в слове для него заключена истина в целом, и вот почему связь рифмой — для него всегда является связью „формы внутренней“» (Ю. Никольский. Александр Блок о России.— «Русская мысль», 1915, кн. II, ч. 3, с. 16—19). Эту заметку Ю. Никольского Блок вспомнил в 1921 г. и отметил в дневнике (VII, 414).

[54] М. Волошин. Поэзия и революция (А. Блок и И. Эренбург).— «Камена», Харьков, кн. 2, 1919, с. 14.

[55] Киевская жительница Горбачева сообщила мне, что в середине 20-х годов в Свердловске она слыхала и на всю жизнь запомнила частушку, звучавшую и с эстрады, и в массовом пении:

Ферт по улице идет,
Шоколад Миньон жует.
Деньги слямзил у отца,
Ламца-дрица-оца-ца.

Сообщение весьма любопытное. Если частушка родилась после «Двенадцати», то перед нами, возможно, случай проникновения поэмы «обратно» в фольклор и массовое пение; если же частушка бытовала до «Двенадцати», то естественно предположить, что строчку: «Шоколад Миньон жрала» — Л. Д. Блок не сочинила, а взяла (слегка видоизменив) из репертуара поющей улицы.

[56] «Блоковский сб.», 1, с. 286—287.

[57] Л. С. Козловский. Леонид Андреев.— В кн.: «Русская литература XX века. 1890—1910». Под ред. С. А. Венгерова, Кн. VI. М., «Мир», 1914, с. 265.

[58] Ар. А. Селиванов. Оклеветанный апостол. Критический этюд повести Л. Андреева «Иуда Искариот и другие». СПб., 1908, с. 9.

[59] М. А. Рейснер. Л. Андреев и его социальная идеология, с. 82.

[60] ЦГАЛИ, ф. 66, оп. 1, ед. хр. 47, л. 24 об.

[61] По авторскому замыслу, Иуда — как бы парадоксальный двойник Христа. Эту мысль Андреев разрабатывал и в своей живописи — среди его картин была «большая византийская икона, изображающая с наивным кощунством Иуду Искариотского и Христа. Оба похожи, как близнецы, у обоих над головами общий венчик» (К. Чуковский. Современники. М., «Мол. гвардия», 1967, с. 195). Другую картину (или ту же самую?) вспоминает дочь писателя: «Это головы Иисуса Христа и Иуды Искариота. Они прижались друг к другу, один и тот же терновый венец соединяет их. Но как они непохожи! И странная вещь,— несмотря на то, что сходства нет никакого, по мере того, как всматриваешься в эти два лица, начинаешь замечать удивительное, кощунственное подобие между светлым ликом Христа и звериным

лицом Иуды Искариота — величайшего предателя всех времен и народов. Одно и то же великое, безмерное страдание застыло на них <...>. Кажется, что от обоих лиц веет одинаковой трагической обреченностью» (Вера А н д р е е в а. Дом на Черной речке, с. 35). Удивительную близость к этой живописной автоиллюстрации Андреева обнаруживает замысел (по-видимому, неосуществленный) молодого Л. Бакста: «Затеял Бакст выразить в лицах взаимоотношения Иисуса и Иуды Искариота. Последний в его представлении <...> превратился из корыстного предателя в принципиального благородного противника. Левушка был уверен, что Иуда был не столько *учеником* Христа, сколько его *другом* — и даже *ближайшим* другом, под влиянием которого Иисус даже находился одно время и который видел в Иисусе некое орудие для своих религиозно-национальных замыслов. Лишенный личного обаяния, дара слова и заразительной воли, Иуда надеялся, что с помощью пророка-назарейца ему удастся провести в жизнь свои идеи. Одну такую беседу Христа с Иудой картина и должна была изображать. И до чего же мой друг огорчился, когда я стал его убеждать, чтобы он бросил и эту свою, на мой взгляд, нехудожественную затею!» (А. Б е н у а. Мои воспоминания. Кн. I, II, III. М., «Наука», 1980, с. 617).

[62] «Киевская мысль», 2 августа (20 июля) 1918 г., № 127. В этой же рецензии Л. Войтоловский сравнивает поэму Блока с «Пламенем» П. Карпова, ссылаясь на свой давнишний отзыв об этой книге,— тот самый отзыв, который Блок в своей рецензии на «Пламень» ошибочно приписал В. Д. Бонч-Бруевичу (V, 484).

[63] «Жизнь искусства», 1919, № 316, 12 декабря (под названием «Наследие Л. Андреева»). В ту же пору первоначальных откликов на поэму Блока А. Е. Крученых сравнивал выразительность «Двенадцати» с андреевской — правда, по контрасту, но здесь должна быть отмечена и эта любопытная попытка сопоставления: «Для изображения ужаса в искусстве все реже пользуются пирамидами трупов, „пожаром сердца“ и красным смехом — вся эта бутафория заменилась чуть заметным сдвигом, серым цветом, новым правописанием. Вот, например, перед нами поэма А. Блока „Двенадцать“ <...> Герои или злодеи? Где черное и где светлое? Чему поклоняется автор? Или он все смешал“ („Черная злоба, святая злоба“). Кабак и святость — это ли не путаница понятий...» (А. К р у ч е н ы х. Язык Аполлона.— «Феникс», Тифлис, 1919, № 1, с. 7). Заметим, что поэтике «Двенадцати», «секрету», который ему еще не понятен, А. Е. Крученых противопоставляет уже «разгаданный» экспрессионистский гиперболизм Л. Андреева — и В. Маяковского...

[64] В. Ч у в а к о в. Вступит. статья в кн.: Леонид Андреев. Пьесы. М., «Искусство», 1959, с. 578.

[65] Место «Двенадцати» в ряду «вторых пришествий» русской литературной традиции ясно видел Горький: «Достоевский, пытаясь создать в лице князя Мышкина нечто вроде Христа, сначала предусмотрительно назвал его „Идиотом“, а затем, поставив его перед лицом действительности — „Великого Инквизитора“,— убедительно доказал, что Христу нет места на земле. Блок сделал ошибку полуверующего лирика, поставив Хр<иста> во главу „Двенадцати“» (Архив А. М. Горького, т. XI. М., „Наука“, 1966, с. 42).

[66] М. А. Р е й с н е р. Андреев и его социальная идеология, с. 10—11.

[67] В романсово-песенном репертуаре тех лет она бытовала под названием «Былина (так! — *М. П.*) о Кудеяре-разбойнике» (в аранжировке К. Давыдова и др.), входила в репертуар Ф. И. Шаляпина.

[68] М. Б а к у н и н. Речи и воззвания, с. 240.

[69] Подробнее об этом см. в нашей работе «У истоков „Двенадцати“».— «Литературное обозрение», 1980, № 11, с. 26—27. См. также: З. М и н ц. Блок и Пушкин.— «Уч. зап. ТГУ, вып. 306. Труды по русской и славянской филологии», XXI, 1973.

[70] ЦГАЛИ, ф. 66, оп. 1, ед. хр. 471, л. 60—60 об.

[71] ЦГАЛИ, ф. 484, оп. 3. ед. хр. 9.

[72] ЦГАЛИ, ф. 1246, оп. 3, ед. хр. 79, л. 1—3 (11—13).

[73] ЦГАЛИ, ф. 66, оп. 1, ед. хр. 471, л. 53.

[74] Сведения об упоминаниях Блока и «Двенадцати» в дневнике Андреева сообщены профессором Ричардом Дэвисом (Лидс, Англия) в письме к А. Е. Парнису от 8 ноября 1983 г. «Нет, однако, оснований думать,— добавляет Дэвис,— что Андреев уловил *себя* в поэме». Приношу благодарность профессору Ричарду Дэвису за сообщение.

[75] А. В. Л у н а ч а р с к и й. Леонид Андреев. Социальная характеристика.— В кн.: Л. Андреев. Избранные рассказы. М., ГИЗ, 1926, с. 22.

[76] В. О р л о в. Поэма Александра Блока «Двенадцать», с. 211.

[77] «Уч. зап. ТГУ», вып. 119, т. 5, с. 379.

БЛОК И ГОРЬКИЙ

I

К ИСТОРИИ ЛИЧНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ БЛОКА И ГОРЬКОГО

Статья и публикация А. М. Крюковой

История личных и творческих отношений А. М. Горького и Блока, в достаточной мере изученная [1], может быть дополнена и в некоторых существенных моментах уточнена, если мы примем во внимание всю совокупность историко-литературных фактов, в первую очередь ставших известными в недавние годы. Это относится к публикации переписки Горького и Леонида Андреева [2], в которой впервые выявилась сложная позиция Горького по отношению к Блоку в период 1907—1911 гг.; публикации писем Блока к жене [3], из которых впервые стало известно о том решающем значении, которое придавал поэт своему участию в горьковских сборниках «Знание» в тот же период; публикации переписки Горького и А. В. Луначарского [4], содержащей новые сведения о деятельности Горького, направленной на облегчение участи Блока в последние дни его жизни; публикации дневниковых записей-заметок Горького о Блоке, относящихся к 1925—1930 гг. [5], периоду интенсивной работы писателя над своим итоговым произведением — романом «Жизнь Клима Самгина», и ко многим другим материалам.

Эти сведения должны быть, очевидно, дополнены фактами прямого обращения писателей к творчеству друг друга. Речь идет о личных библиотеках Горького [6] и Блока [7], сохранивших реальные свидетельства этих отношений.

Сопоставительное изучение соответствующих разделов этих библиотек могло бы внести некоторые коррективы в историю отношений писателей, в особенности послеоктябрьского периода.

В первую очередь нуждается в уточнении самое содержание проблемы «Горький — Блок», с давних пор рассматривавшейся в нашей науке несколько односторонне. Вот утверждение современного исследователя: «И Горький-художник, и Горький-организатор литературных сил, и Горький-революционер помогли Блоку, при всей мучительной противоречивости его исканий, найти выход из творческого кризиса, обрести пути к революции» [8].

Вернее было бы, очевидно, говорить о сложности и драматизме в отношениях этих двух великих, но разных художников, у каждого из которых был свой путь и в жизни, и в творчестве, и в революции. Однако при всем различии идейно-эстетических воззрений Горький и Блок часто шли навстречу друг другу, искали возможности взаимопонимания, или, если воспользоваться позднейшим определением Горького, «контакта» друг с другом [9].

Смена взаимных притяжений и отталкиваний, порою одновременное их существование, которыми характеризуется реальная история отношений писателей, имела в своей основе их творческие — художественные и идейные — устремления, в первую очередь глубокое чувство сопричастности судьбам родины.

Первые выступления Блока в печати, связанные с именем Горького, относятся к 1905 г. В этих выступлениях, при всей их «положительной» направленности (Блок высоко оценил «Рассказ Филиппа Васильевича» Горького, увидев в нем «какую-то истинную грусть, а может быть, большую радость, более совершенную, чем в обычном, немного абстрактном, пафосе Горького,— особенно за последние годы» V, 559), обнаруживается тенденция, которая более полно выступит в последующих критических высказываниях Блока о Горьком. «Вспомним,— писал Блок в рецензии на книгу нижегородской писательницы Мирэ

.Жизнь", в развитие своего тезиса об „абстрактном пафосе Горького", — что Горький подал сигнал к своему теперешнему падению именно тем, что, искренне ненавидя абстрактное, бездушное, рабское, он сам своей рукой загнал себя на какую-то отвлеченно-моральную кафедру под кулак какого-то огромного, прожорливого и бессмысленного деспота — „человека", который, несмотря на свою дебелость, все-таки остался абстракцией и пустотой. Позволено ли покидать прекрасный и свободный ужас Вечной Матери-земли для рабства кажущемуся прогрессу?» (V, 585).

В этой оценке Горького важно обратить внимание на лежащее в ее основе представление поэта о своей художественной, творческой противоположности Горькому: в письме к матери Блок сообщит, что он «выругал Горького» в этой рецензии, добавив при этом (в зачеркнутом варианте строки), что «новая пьеса Горького кажется, о нас, декад‹ентах›» [10].

Однако эта оценка Горького — с точки зрения «нас, декадентов»,— не помешала Блоку при первой же встрече с писателем с большой симпатией и интересом воспринять его человеческую личность: «Сегодня из всего многолюдного собрания ‹речь идет о собрании, посвященном проекту организации театра „Факелы"›,— писал Блок Андрею Белому 3 января 1906 г.,— мне понравился только Максим Горький, простой, кроткий, честный и грустный ‹. . .› Где-то в нем брезжит и „Максимка", а грусть его происходит во многом оттого, по-моему, что он весь захватан какими-то руками — полицейскими, что ли?» (VIII, 147).

Этот интерес к личности писателя усилил, можно предположить, поиски внутреннего, творческого контакта с ним.

Блок буквально «изучает» в те годы «реалиста» Горького: «Он обложился зелеными книжками „Знания", презираемого у эстетов, —свидетельствует современник,— внимательно перечел всю беллетристику реалистов и дал ряд очерков о Горьком и других. Это был прямой шаг на волю из узкого круга эстетизма, который его душил» [11]. 25 июня 1906 г. Блок сообщает Е. П. Иванову о том, что читает Горького (наряду с Сологубом, Гамсуном и Гауптманом), замечая: «„Трое" были для меня важны» (VIII, 157).

Именно к этому времени у Блока возникает своя концепция Горького как «писателя из народа», которую он будет отстаивать и развивать до конца жизни. Впервые она была сформулирована им в одном из писем 1906 г. С. М. Городецкому, о содержании которого мы узнаем по ответу адресата, датированному 28 июня 1906 г. (письмо Блока не сохранилось): «„Фома ‹Гордеев›" — последнее нужное произведение»,— цитирует Городецкий слова Блока, рассуждающего о новых путях искусства, связанных, по мысли поэта, с «реализмом»: «Искусство должно изображать жизнь» (см. наст. том, кн. 2, с. 28). Несколько позднее Блок в статье «О драме» (1907) подтвердит высокую оценку повести Горького, выделив среди всех пьес писателя пьесу «На дне», в которой, как говорится в статье, писатель остается на высоте «Фомы Гордеева» и «Троих» (V, 173).

В письмах и литературно-критических статьях поэта упоминаются почти все вышедшие к тому времени произведения писателя: «Форма Гордеев», «Трое», «Мальва», «Челкаш», «Мои интервью», «Товарищ», «Мать», «На дне», «Дачники», «Дети солнца», «Враги», «Варвары», «Исповедь», «Землетрясение в Калабрии и Сицилии».

Попыткой разгадать «секрет Горького» — именно это слово употребляет Городецкий в цитированном письме, ссылаясь на слова самого Блока,— было известное выступление поэта о Горьком «О реалистах» (1907).

Смысл этого выступления заключался не только и не столько в «защите» Блоком Горького от нападок реакционных и декадентствующих писателей, на что обращают внимание все пишущие на эту тему. Хотя были в этой статье, безусловно, и защита Горького и «нападки» на него, в том числе и со стороны самого Блока: «Убедиться в том, что Горький потерял прежнюю силу,— читаем мы в этой рецензии,— очень нетрудно: стоит прочесть те небольшие вещи, которые он поместил в сборниках „Знания" за прошлую зиму. Последние из этих вещей — „Мои интервью", „Товарищ" и „Мать" ‹. . .› Стыдно то, что Горький дает в руки

своим бесчисленным врагам слишком яркое доказательство своей бессознательности...» (V, 99).

Кстати сказать, сам Горький обратил внимание именно на этот «отрицательный» пафос статьи Блока. Через двадцать лет после появления ее Горький писал в статье «О пользе грамотности»: «...Враги читали и знали друг друга; и если А. А. Блок писал рецензию, скажем, о Горьком, так Горький в этой рецензии чаходил кое-что технически полезное для себя...» [12].

Можно предположить, что Горький «не заметил» в статье Блока другой, конструктивной направленности. Впрочем, возможно, умолчав о ней, он выразил тем самым свое неприятие ее...

Концепция Горького в этом выступлении Блока впервые получила развернутое и глубокое истолкование. «Я утверждаю ⟨...⟩ — писал Блок, —что если и есть реальное понятие „Россия", или, лучше,— *Русь* ⟨...⟩ то есть если есть это великое, необозримое, просторное, тоскливое и обетованное, что мы привыкли объединять под именем *Руси*,— то выразителем его приходится считать в громадной степени Горького ⟨...⟩. Горький больше того, чем он хочет быть и чем он хотел быть всегда, именно потому, что его „интуиция" глубже его сознания: неисповедимо, по роковой силе своего таланта, по крови, по благородству стремлений, по „бесконечности идеала" ⟨...⟩ и по масштабу своей душевной муки,— Горький — *русский писатель*» (V, 103).

Особую роль в эволюции Горького Блок отводил «Исповеди», «знаменующей собою очень резкий поворот этого писателя на его единственно ценный путь — на путь *художника*» (V, 338).

«Исповедь» примирила Блока с Горьким-художником [13].

Впрочем, рассуждения о Горьком-художнике имели в концепции Блока совсем особый смысл. По свидетельству современника, даже «слова Блока „а художник в Горьком еще не начинался" ⟨...⟩ означали скорее хвалу, открывая какие-то возможности для него в будущем, какие обыкновенные художники не имели». Так писал Пришвин Горькому в 1926 г., вспоминая о событиях двадцатилетней давности [14].

В статье «Народ и интеллигенция» Блок скажет об особом предназначении писателя, отступающем перед его художественными возможностями и стремлениями: «Я остановился на Горьком и на „Исповеди" его потому, что положение Горького исключительно и знаменательно, это писатель, вышедший из народа, таких у нас немного» (V, 321).

Таким образом, концепция Горького, содержащаяся в статьях и выступлениях Блока 1906—1908 гг., органически войдет в систему собственных идейно-эстетических взглядов поэта. Литературная судьба Горького — так, как она виделась Блоку в первые годы революции,— даст реальное подтверждение этим взглядам и внутреннее глубокое обоснование самого приятия Блоком революции.

Годы 1911—1916 не внесли каких-либо существенных изменений в историю отношений Блока к Горькому. Стоит отметить лишь два факта: запись Блока в дневнике 3 и 4 марта 1912 г.: «...сегодня утром — уже частичный ответ на наши вчерашние речи — фельетон М. Горького в „Русском слове" ⟨...⟩

Спасибо Горькому и даже „Звезде": после эстетизмов, футуризмов, аполлонизмов, библиофилов — запахло настоящим» (VII, 131). В этих записях речь идет о статье Горького «О современности», внутренний пафос которой оказался созвучен настроениям Блока — в первую очередь, очевидно, мысль писателя о противоположности жизненных устремлений «народа» и «интеллигенции». (Эта статья Горького вошла в 1-е и 2-е издания его книги «Статьи 1905—1916 гг.»; 2-е издание книги (Пг., «Парус», 1918) сохранилось в библиотеке Блока с его многочисленными пометками; отмечены и некоторые места этой статьи [15].

При чтении «Дневников» Блока Горький обратил внимание на эту запись поэта, констатировав, очевидно, указанное внутреннее совпадение взглядов.

22 февраля 1916 г. Блок написал П. С. Сухотину: «Прочтите „Детство" Горького — независимо от всяких его анкет, публицистических статей и прочего. Какая у него была бабушка! Я хотел об этом Вам напомнить и устно, да забыл»

(VIII, 456). Книга Горького «Детство» (Пг., «Жизнь и знание», 1915) также сохранилась в личной библиотеке Блока с надписью: «СПб., январь 1916. Александр Блок» [16]. Этот отзыв Блока имел продолжение в отношениях Горького к поэту более позднего времени (см. ниже).

В 1919 г. личные и творческие отношения писателей достигли, наконец, желаемой полноты и завершенности. Знакомство их могло состояться и раньше, в 1915—1916 гг., когда Горький привлек Блока к редактированию сборников национальных литератур. Однако их личные постоянные, почти ежедневные контакты относятся к 1919 г.

А. А. Кублицкая-Пиоттух, мать Блока, писала в одном из писем 1919 г.: «Часто видится ⟨Блок⟩ с Горьким. Отношения, кажется, хорошие» [17]. Тогда же она констатировала: «На днях чествовали Горького — пятидесятилетие его. ⟨...⟩ Саша произнес ему приветствие прекрасное ⟨...⟩ Наконец-то они сговорились и в некоторой степени оценили друг друга» [18].

В записных книжках Блока имя Горького упоминается 74 раза, из них 48 упоминаний приходится на 1919 г. Большая часть их связана с активной работой Блока в организованном Горьким издательстве «Всемирная литература» и связанных с ним издательских начинаниях [19]. Известный ряд сведений о деловых, дружеских отношениях писателей этого периода может быть подтвержден письмом Блока Горькому, публикуемым здесь впервые:

«Многоуважаемый Алексей Максимович!

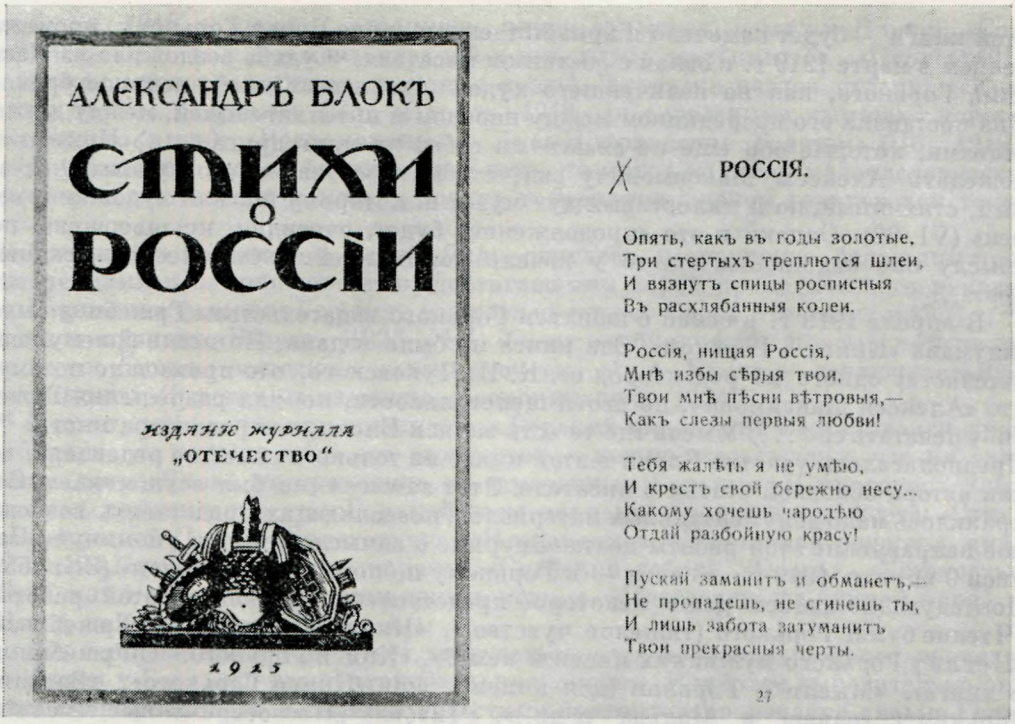
В пятницу в 1 час мы все соберемся для обсуждения списков. Так как Гржебин хотел, чтобы и в составлении Списка участвовал еще один член коллегии, то я постараюсь добыть к пятнице Иванова-Разумника, на основании вчерашнего разговора с Вами. Большинство — за него, а меньшинство против него ничего не имеет.— Не знаю, придет ли он, когда я его видел, он был совсем болен.

Преданный Вам

Ал. Блок» [20]

Текст написан на листе бумаги, сложенном вчетверо, с надписью на обороте «Алексею Максимовичу»; к тому же он не датирован, что не было свойственно Блоку,— это дает основания предположить, что обращение к Горькому представляет собой не письмо, а записку, переданную адресату на одном из редакционных заседаний. Судя по содержанию, записку можно датировать 19—28 ноября 1919 г., когда Блок занимался по поручению Горького составлением списков произведений русской литературы, для издательства Гржебина, сначала в количестве 100 томов, затем 250 (ЗК, 481—482). 23 декабря 1919 г., как записывает Блок, «гржебинская коллегия прекратилась» (ЗК, 483). Упоминание имени Иванова-Разумника в этом письме, очевидно, связано с желанием Блока примирить Горького с одним из старых его идейных литературных противников: 24 ноября 1919 г. Блок записывает: «Утром — Иванов-Разумник (разговор о «компромиссе»). Окончены два списка» (ЗК, 481). 28 ноября продолжает эту тему: «Горький, Иванов-Разумник. Наконец я пробую их опять соединить, оба топорщатся» (там же). (Заметим, что этот замысел Блока о «примирении» действительно не удался: в романе «Жизнь Клима Самгина», над которым писатель работал уже позднее, начиная с 1925 г. и до конца жизни, содержалась открытая полемика со взглядами Иванова-Разумника, чем и был подведен итог этому несостоявшемуся замыслу: Горький неоднократно возвращается здесь к позиции Иванова-Разумника, рассматривая ее как типичное выражение взглядов буржуазной интеллигенции. Некоторые положения книги писателя «О смысле жизни» (1909) целиком воспроизводятся в романе, приписываемые разным персонажам [21].)

В этот период усиливается интерес Блока к Горькому и как к художнику и человеку и в том плане, о котором упоминалось выше,— с точки зрения формирования взглядов Блока на предназначение художника в эпоху революции, эпоху — в представлении поэта — крушения цивилизации и гуманизма и победы стихийных начал в жизни (см. VI, 93—115).



БЛОК. СТИХИ О РОССИИ. 1915. С ПОМЕТОЙ ГОРЬКОГО
Музей А. М. Горького, Москва

Воспоминания Горького о Блоке построены на воспроизведении бесед с поэтом: «Дважды в неделю сижу рядом с ним на редакционных собраниях „Всемирной литературы"» [22]. О чем же они беседовали в те годы? Блок записывает очень скупо: «Горькому нравится „Катилина"»; «Горький рассказывает об общем положении и о Финляндии»; «Политические рассказы Горького» (ЗК, 451, 452, 455) и т. д. Горький более подробно воспроизводит содержание этих бесед — о судьбах гуманизма в современную эпоху, будущем человека, возможностях сохранения его психической энергии, о нравственных законах, строении мироздания — и о своем, сокровенном: «Уже в „Городке Окурове" заметно, что вас волнуют „детские вопросы" (самые глубокие, страшные! ⟨...⟩)

Он — ошибается, но я не возражал, пусть думает так, если это приятно или нужно ему...» [23].

В августе 1919 г. Блок подарит Горькому — наряду с другими своими книгами — книгу статей «Россия и интеллигенция» (изд. 2. Пб., «Алконост», 1919) [24]. В предисловии к ней, датированном 14 ноября 1918 г., поэт скажет об особом смысле антитезы «Россия и интеллигенция», в которой первое понятие «наиболее близко определяют⟨...⟩ слова: „народ", „народная душа", „стихия", но каждое из них отдельно все-таки не исчерпывает всего музыкального смысла слова *Россия*. Точно так же и слово „интеллигенция"⟨...⟩ опять-таки особого рода соединение, которое, однако, существует в действительности и, волею истории, вступило в весьма знаменательные отношения с „народом", со „стихией", именно — в отношения борьбы» (VI, 453). Смысловой и образный строй этого предисловия возвратит нас к идейно-эстетической концепции Блока 1907—1908 гг.,— в новом, обогащенном событиями революции виде. Особая роль в этих отношениях, по мысли Блока, будет принадлежать Горькому. В надписи на этой книге Блок выразит свои сокровенные раздумья: «Алексею Максимовичу Пешкову книжка, случайно оборвавшаяся на январе 1918 г., а конца ей — не видно. С глубоким уважением и преданностью Ал. Блок VIII, 1919» [25]. Продолжение ей — т. е. теме

этой книги — будет намечено в приветственном слове Блока Горькому, произнесенном в марте 1919 г. в связи с 50-летием писателя: «Судьба возложила на Максима Горького, как на величайшего художника наших дней, великое бремя. Она поставила его посредником между народом и интеллигенцией, между двумя станами, которые оба еще не знают ни себя, ни друг друга <...> Позвольте пожелать Алексею Максимовичу сил, чтобы не оставлял его суровый, гневный, стихийный, но и милостивый дух музыки, которому он, как художник, верен» (VI, 92). Однако и это «продолжение» будет, очевидно, не завершено: по смыслу оно находилось где-то у начала новых идейно-эстетических исканий поэта...

В апреле 1919 г. в связи с юбилеем Горького издательством Гржебина была задумана «Книга о Горьком». Эта книга не была издана. По позднейшему свидетельству одного из редакторов ее, К. И. Чуковского, это произошло потому, что «Алексей Максимович, по своей щепетильности, не дал разрешения Гржебину печатать ее <...> У меня где-то есть записи Блока, как редактора книги» [26]. Предполагалось участие Блока в этой книге не только в качестве редактора, но как автора основной статьи о писателе. Этот замысел не был осуществлен. Сохранилось мало документальных материалов, позволяющих представить возможное направление этой работы поэта. Впервые о замысле ее Блок упомянул в записи 9 апреля 1919 г.: «3 часа — к Горькому по поводу книги о нем» (ЗК, 455). Последующие записи дают некоторое представление о процессе этой работы: «Чтение бумаг Горького (тяжелое чувство)», «Книги Горького от Гржебина», «Нет ли у Горького мужицких писем к нему?», «Книги Горького. С Гржебиным о книге», «Мысли о Горьком (для книги)», еще «Книги Горького», «Занятие Горьким („Челкаш" и „Мальва" и др.)», «Чит<ал> „Несвоевременные мысли"».

И, наконец, 16 ноября: «Очень тяжелые мысли о Горьком. Нет, буду ждать знаков-знамений» (ЗК, 455—480).

Из сообщения Д. Е. Максимова известно, что «в архиве Блока в ИРЛИ имеется небольшая папка: „Материалы для книги о Горьком". В этой папке содержится выписанный кем-то из юбилейного сборника Московской духовной академии отзыв В. О. Ключевского о Горьком, а также два листка собственноручных выписок Блока из бумаг горьковского архива. Выписки эти датированы Блоком апрелем-маем 1919 г.» [27]. Отзыв В. О. Ключевского, упоминаемый в этом перечне, представляет собою запись беседы Елпидифора Барсова (члена императорского Общества истории и древностей российских, близкого Ключевскому человека) с Ключевским, состоявшейся 25 сентября 1907 г. (она опубликована в кн.: «У Троицы в Академии. 1814—1914». Юбилейный сборник исторических материалов. Изд. б. воспитанников Московской духовной академии. М., тип. т-ва И. Д. Сытина, 1914, с. 622—693); запись озаглавлена «Мнение о Горьком». Ключевский в этой беседе высказывает взгляд на Горького, распространенный в среде мелкобуржуазной, либеральной интеллигенции: «Горький — это пропаганда,— говорит он.— А пропаганда — не литература». Трудно установить, что привлекло Блока в этом «Мнении о Горьком» известного историка, почему из сотен других «мнений» интерес у него вызвало это, отчетливо не приемлющее пролетарского писателя. Если учесть блоковскую концепцию Горького, наиболее законченные формы приобретшую именно в эти годы (т. е. в 1919 г.), можно предположить, что поэт был не согласен с отзывом Ключевского, готовился к полемике с ним, для которой у него недостало каких-то внутренних сил.

Некоторое представление о возможном направлении работы Блока над «Книгой о Горьком» может дать сохранившийся раздел его библиотеки. Известно, что в 1919—1921 гг. Блок был вынужден расстаться со значительной частью своей библиотеки (продать ее через букинистические магазины). Сохранились лишь немногие, наиболее дорогие поэту книги. Среди них — пьеса Горького «На дне» (отд. оттиск изд. «Знание», 1903, т. 6) и упоминавшееся выше издание повести «Детство» (1916). Основную часть горьковского раздела библиотеки составили книги, о которых Блок упоминает в своих дневниковых записях: «Несвоевременные мысли. Заметки о революции и культуре» (Пг., «Культура и

свобода», 1918 — многие страницы книги содержат пометки Блока); «Статьи 1905—1916 гг.» (без ценз. изъятий и доп. двумя статьями. Пг., «Парус», 1918 —также с многочисленными пометами поэта). В этот же раздел входят: «Ералаш и другие рассказы» (Пг., «Парус», 1918, со словесными пометами неустановленного лица); «Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом» (Пб., 1919).

Горьковский раздел библиотеки Блока, несмотря на свою малочисленность, очень содержателен и помогает понять восприятие Блоком горьковской темы.

Отношение Горького к Блоку было отмечено несравненно большими противоречиями и напряженностью, достигавшими порой драматического накала.

Первое выступление Горького в печати по поводу Блока относится к 1923 г. [28], когда в журнале «Беседа» (1923, № 1) были опубликованы первые четыре заметки о Блоке, вошедшие затем в очерк «А. А. Блок» — заключительную часть книги «Заметки из дневника. Воспоминания» (1924).

Несмотря на то, что при жизни поэта Горький никогда не высказывался о нем публично, он хорошо знал его творчество — можно сказать даже, что ни одно выступление Блока не проходило не замеченным Горьким. В многочисленных письмах разным адресатам Горький называет такие произведения поэта: «Стихи о Прекрасной Даме», «Балаганчик», «Незнакомка», «Нечаянная радость», цикл «На поле Куликовом», стихотворения «Сиенский собор», «Осень», «Усталость», «Сусальный ангел», «Я коротаю жизнь мою...», «Повеселясь на буйном пире...», «Ветер налетит, завоет снег...».

Эти произведения, как и все творчество поэта дореволюционного периода, получили у Горького резко отрицательную оценку. Наиболее выразительно она была сформулирована в ставшем известным сравнительно недавно письме Горького Леониду Андрееву от 26—30 июля (8—12 августа) 1907 г.: «Мое отношение к Блоку — отрицательно, как ты знаешь. Сей юноша, переделывающий на русский лад дурную половину Поля Верлена, за последнее время прямо-таки возмущает меня своей холодной манерностью, его маленький талант положительно иссякает под бременем философских потуг, обессиливающих этого самонадеянного и слишком жадного к славе мальчика с душою без штанов и без сердца. Нет, ты его оставь в покое года на три, может быть, он подрастет за это время и научится говорить искренно о простых вещах — о том, что сейчас кажется ему изумительно премудрым и что уже сказано во Франции сильнее и красивее, чем это может сделать он» [29].

Высказывания подобного рода можно было бы продолжить. Можно предположить, что причиной их была все-таки «пристрастность» Горького — и эстетическая (в том же письме Леониду Андрееву Горький противопоставляет Блоку имена, в которых видит будущее отечественной литературы: «Зайцев, Башкин, Муйжель, Ценский, Лансере, Л. Семенов»; в письме С. С. Кондурушкину от 25 февраля 1908 г. он противопоставляет Блоку Городецкого и Тарасова [30]; в письме Д. Н. Семеновскому от 31 января 1915 г. Горький оценивает стихи Семеновского намного выше стихов Блока... [31]),— но в первую очередь — идейная. «Невозможно резкая характеристика» Блока, как оценит ее тотчас же Леонид Андреев в ответном письме Горькому, была связана с просьбой Леонида Андреева привлечь Блока к участию в сборниках «Знание». Эта просьба заставила, очевидно, Горького осмыслить свое отношение к Блоку как к писателю враждебного, «недемократического» лагеря: «Сборники „Знания“ — сборники литературы демократической и для демократии» [32] — так объяснял писатель невозможность участия в них Блока. На этом этапе творческого пути Горький воспринимал Блока — и по уровню таланта, и по его направленности (хотя известно, что демократическая направленность поэзии Блока определилась уже к 1906 г.) — в общем ряду декадентской (недемократической) литературы.

«...Я усердно читаю „скандаль-литературу“,— писал Горький С. С. Кондурушкину 25 февраля 1908 г.,— как вы ее назвали, „модерн“, как называют другие. Весь этот кавардак честолюбий, сомнений и голого стремления „урвать да удрать“ иногда наводит некоторую тоску ⟨...⟩ Бесспорно талантливый и до су-

дорог холодный Брюсов — весь дан во французской литературе лет двадцать тому назад. Блок — не очень ловко перепевает Верлена, времен его мистических настроений. В этом шуме мало оригинального» [33]. Однако в другом письме тому же адресату, написанном спустя месяц после приведенного, Горький предлагает более сложное и широкое понимание вопроса: «Само собою разумеется, что в Брюсовых, Блоках, Ивановых и т. д.— многое прямо-таки чуждо мне, но — не мог и не могу не видеть у них красоты, всем нам нужной, для всех — ценной, дорогой, редкой. О, черти, как хорошо они могли бы говорить, если б не болели этой изнуряющей болезнью — гипертрофией „я"!» [34]. (Свидетельством такой неоднозначности, сложности отношения Горького к Блоку может служить признание близкого Горькому человека. М. Ф. Андреева в письме Н. Е. Буренину, относящемся к 1910 г., объясняя отрицательную оценку Горьким стихов некоего Бориса, писала так: «Не подумайте, что это магия превосходства над пи‹ателем›, оказался, мол, интеллигент, так и все насмарку, отнюдь нет: восхищается же А‹лексей› Брюсовым, Бальмонтом и даже Блоком иногда...» [35]. Стоит обратить внимание и на то, что в тот же ранний период в отзывах Горького о Блоке появляется мотив, который получит преимущественное развитие в 1925—1930-е годы,— настойчивое противопоставление формы, «техники» блоковской поэзии, которой следует учиться молодым поэтам, ее содержанию, ее декадентскому (враждебному, антидемократическому) существу. В письме начинающему поэту И. Ф. Невинскому Горький писал 26 августа 1910 г.: «Мне хочется возразить вам на ваши слова о декадентствующих: они не все плохо пишут и читать их *вам* — нужно, раз вы тоже пишете стихи. У них следует и должно учиться *форме*, они очень обогатили язык. Проверьте меня, прочитав хотя бы стихи Блока, „Пламенный круг" Сологуба, Брюсова и т. д.» [36].

Сравним с замечаниями Горького в письмах 20—30-х годов.

А. А. Северному, 12 ноября 1927 г.: «‹...› не бойтесь и модернистов — Сологуба, Блока и др., рассматривая их прежде всего — только — как людей литературно грамотных, как отличнейших техников. Заразиться от них „декадентством" Вы не можете — этому помешает Ваш личный жизненный опыт, тот огромный запас впечатлений, которым Вы уже обладаете. Учиться надобно у всех, и у врагов — тоже» [37].

П. Капырину, 25 февраля 1928 г.: «Вам следует серьезно учиться на классиках, на мастерах стиха, каковыми у нас являются Пушкин, Лермонтов из старых, а из более новых Сологуб, Блок. Двое последних идеологически — люди совершенно чужие Вам, но ведь Вы к ним пойдете за техникой, а не за идеологией» [38].

П. К. Миловзорову, 2 января 1929 г.: «У Никитина и Сурикова — нечему учиться, это были поэты третьестепенные, учиться нужно у Пушкина, Лермонтова, Некрасова, даже у таких современных Вам „молодых", как, например — Асеев ‹...›

Стихов читайте больше: Брюсова, Сологуба, Блока,— смотрите, как тонко они разработали технику стиха» [39].

Ларисе Барышевой, 28 августа 1931 г.: «Вы очень плохо знаете тот язык стиха, который выработан Брюсовым, Блоком и др. поэтами 90—900 годов. В наши дни — нельзя писать стихи, не опираясь на этот язык» [40].

Можно было бы привести еще ряд высказываний Горького подобного рода.

Среди прочих обстоятельств, порождавших настороженное отношение к поэту в разные периоды жизни, следует, очевидно, признать и влияние непосредственно окружавших Горького близких людей. Так, сохранился ряд высказываний М. Ф. Андреевой, в которых отрицательно оценивается творчество Блока: в письме И. П. Ладыжникову 4 декабря 1913 г. она писала: «„Свободный театр"— это мои принципиальные, идейные, всяческие лютые враги ‹...› Они хотят ставить пьесу (мистическую пьесу!) Блока „Роза и Крест" — это просто плохая пьеса, написанная плохим стихом, плохим языком, искусственная и фальшивая, а я — должна буду играть в ней графиню Изору, и должна буду играть ‹...›

„Розу и Крест" я играть не буду, скорее уйду из театра, но — не буду, это

мистика и чушь!» [41]. Очевидно, это отрицательное отношение к поэзии Блока сохранялось у М. Ф. Андреевой долго. Лишь через десять лет, уже после смерти Блока, 10 мая 1924 г. она писала Горькому: «Прочла недавно все книжки Блока. Жалею, что не сделала этого раньше, тогда при встречах с ним, должно быть, иначе бы с ним разговаривала. Мне он всегда почему-то казался фармацевтом-неврастеником, несмотря на весь его талант. И сейчас — мне неловко за это» [42].

Не исключено, что на разных этапах влияние, если оно было, М. Ф. Андреевой на отношения Горького и Блока было различным: известно, например, что как член режиссерского управления Большого Драматического театра она привлекала Блока к работе в его Репертуарной секции в 1919—1920 гг., но ее непонимание Блока имело очевидный отрицательный смысл. Записные книжки Блока содержат записи такого рода: 28 февраля 1920 г.: «Тяжелое чувство от Андреевой продолжает угнетать» (ЗК, 488); то же — 2 марта 1920 г.; 18 марта: «Тяжело с Андреевой — еще тяжелее, чем с Горьким» (ЗК, 489). И так далее.

Такую же осложняющую роль в отношениях Горького и Блока играл, очевидно, и А. Н. Тихонов. Сохранилось письмо его Горькому, предположительно относящееся к 1911 г.: «Разговаривал я с Леонидом Николаевичем ⟨Андреевым?⟩ Переговорит ⟨Андреев⟩ с литераторами ⟨речь идет об объединении писателей.— *А. К.*⟩: Толстым, Ценским, Черным (он очень за Черного и против Блока, это, говорит, гнилое полено, которое ничем поджечь нельзя)» [43]. Однако из общения и переписки с Леонидом Андреевым до этого письма Горькому было известно о восторженном отношении его к Блоку [44].

В записных книжках Блока встречается фраза (3 мая 1920 г.): «Объяснение с Тихоновым» (ЗК, 492) [45]; то же — в дневнике 4 января 1921 г.: «Все, что я слышу от людей о Горьком, все, что я вижу в г. Тихонове, меня бесит...» (VII, 389—390). Можно предположить, что Блок чувствовал в окружении Горького какую-то явную недоброжелательность (или настороженность) [46].

После революции, когда произошло «потепление» в отношении Горького к Блоку, Горький — один раз за всю историю этих отношений — сделал попытку объяснить свою позицию (отметим — не выраженную ранее публично, но широко известную в литературной среде). Выступая (вместе с Блоком и другими литераторами) на вечере памяти Леонида Андреева в ноябре 1919 г., Горький сказал: «Когда расцветал «модернизм», пытались понять его, но больше осуждали, что гораздо проще делать. Серьезно думать о литературе было некогда, на первом плане стояла политика. Блок, Белый, Брюсов казались какими-то „уединенными пошехонцами“, в лучшем мнении — чудаками, в худшем — чем-то вроде изменников „великим традициям русской общественности“. Я тоже так думал и чувствовал. Время ли для „симфоний“, когда вся Русь мрачно готовится плясать трепака?» [47]

Блок слышал это выступление Горького: «В 4 часа,— записывает он 8 ноября 1919 г.,— памяти Л. Андреева в Тенишевском училище. Опять сумасшествие. Кучка людей в шубах и шинелях слушает Горького, которому солдат раздавил ногу» (ЗК, 480). И Блок не принял — судя по умолчанию в этой и других записях—протянутой к примирению руки Горького. Не исключено, что это «извиняющееся» объяснение в какой-то мере даже осложнило его отношение к Горькому в период напряженных размышлений о нем и его творчестве; в связи с упоминавшейся «Книгой о Горьком» 16 ноября того же года появляется запись, которая подвела черту этому замыслу, оставшемуся неосуществленным: «Очень тяжелые мысли о Горьком. Нет, буду ждать знаков-знамений» (там же).

В период первой мировой войны появляются — впервые в высказываниях Горького о Блоке — ноты не категорического осуждения, но понимания и сочувствия.

В январе 1915 г. начинающий поэт Дм. Семеновский обратился к Горькому с письмом:

«Вы, Алексей Максимович, кажется, не любите стихов Александра Блока? По-моему, он кривляется, любуется на себя, ходит по канату,— дряни у не-

го — гора, но есть стихи замечательной красоты. Они так задушевны, теплы и в них есть что-то умиленное, молитвенное:

„Россия, нищая Россия..." ⟨далее следует текст стихотворения⟩

Не правда ли, прекрасно? Не слова — огонь. Как хорошо он пишет про Россию! ⟨...⟩

Еще о России: вести плохую разгульную жизнь — „... и с головой, от хмеля праздной, сторонкой в Божий храм брести..." ⟨далее приводится текст стихотворения⟩, а стихотворение „Побывала старушка у Троицы" — сама простота, и достойно красоваться в хрестоматии:

„Девушка пела в церковном хоре..." ⟨приводится текст стихотворения⟩ Прелесть, чудо. В этих стихах Блок прост и искренен, и за рифмой не ухаживает, и за эти немногие стихи можно простить ему всю декадентскую чепуху. Наверное, и Вы думаете так же?» [48].

Известен ответ Горького на это письмо: «Блок? Я отношусь к нему внимательно, но — недоверчиво. Мне кажется, что он слишком литератор и вдохновение его — холодно, почерпает он его из книг, как я чувствую. Те стихи, которые вы привели в письме ко мне, я знаю и тоже считаю их книжными. Все, что сказано в них про Русь,— не однажды говорилось Хомяковым, Аксаковым, это можно встретить у Языкова, даже у Огарева. Старо, книжно, своих слов — мало, своего отношения — не вижу, не чувствую» [49].

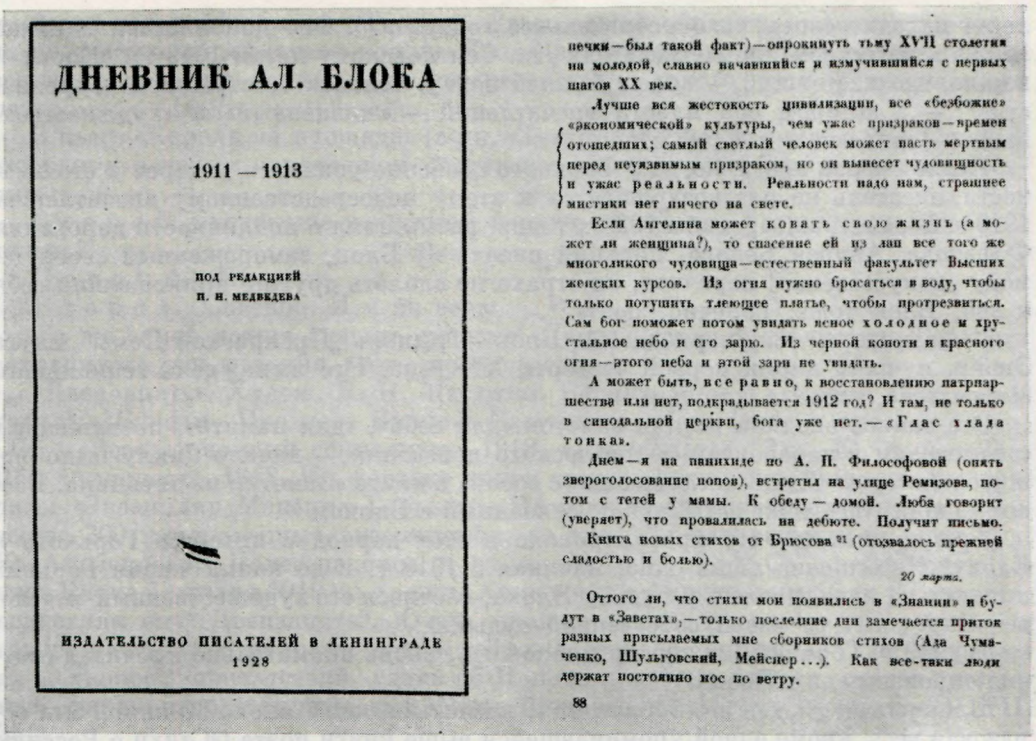
Несмотря на негативную оценку творчества Блока, в этом письме впервые ощутимо стремление Горького понять поэта вне его непосредственной литературной среды, но в русле отечественной традиции в целом. По свидетельству современника, именно в этот период Горький размышляет над творческими судьбами некоторых художников, которых принято было считать «декадентами», и выделяет среди них одного — Блока.

«Шел 1916 год, то есть год войны,— вспоминал Вс. Рождественский.— ⟨...⟩ Символизм прошел мимо него ⟨Горького⟩, почти ничем не задев внимания. Во всяком случае, он редко упоминал о нем. Исключение делал только для Валерия Брюсова, к учености которого относился с большим уважением, и А. А. Блока, „поэта страстного, ищущего своей правды". Небольшая книга Блока „Стихи о России" долго лежала у Горького на рабочем столе, и он не раз открывал ее в пылу беседы» [50].

Книга Блока «Стихи о России» (изд. журнала «Отечество», 1915) сохранилась в личной библиотеке Горького. Это единственная книга Блока, вошедшая в ранний состав блоковского раздела библиотеки по инициативе самого Горького (все другие книги Блока в этом разделе поступили в нее от автора, в 1919 г.) и сохраненная им до конца жизни. Очевидно, в 1915—1916 гг. Горький впервые прочитал ее, отметив простым карандашом (позднее писатель делал пометки на книгах цветными карандашами) крестиком в тексте книги (позднее этот знак Горький использовал редко, чаще встречаются в книгах его библиотеки подчеркивания в тексте и на полях, знаки «NB» и т. д.) два стихотворения Блока, которые, можно предположить, показались ему близкими и понятными: «Россия (Опять как в годы золотые...)» (с. 27) и «Грешить бесстыдно, непробудно...» (с. 37). (Вспомним, что об этих стихотворениях шла речь и в приведенной выше переписке Горького с Дм. Семеновским.)

Много лет спустя Горький, как он это делал обычно, вновь возвратился к этой, очевидно, дорогой для него книге, вложив в нее два листа (без подписей) из какого-то издания 1930-х годов с фотографиями Блока: Блока-юноши, Блока-мальчика, Блока в возрасте 3—4-х лет с матерью и отца поэта.

Рубежом в отношениях Горького к Блоку, как мы уже говорили, можно считать 1919 год. В первые годы революции Горький и Блок впервые лично познакомились и сблизились, занятые многочисленными начинаниями, связанными со строительством новой, революционной культуры. Те внутренние пути духовного развития, которыми шел каждый из них, пересеклись здесь и в определенной мере, конечно, совпали и соединились.



ДНЕВНИК АЛ. БЛОКА

1911 — 1913

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
П. Н. МЕДВЕДЕВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО ПИСАТЕЛЕЙ В ЛЕНИНГРАДЕ
1928

печки — был такой факт) — опрокинуть тьму XVII столетия на молодой, славно начавшийся и измучившийся с первых шагов XX век.

Лучше вся жестокость цивилизации, все «безбожие» «экономической» культуры, чем ужас призраков — времен отошедших; самый светлый человек может пасть мертвым перед неуязвимым призраком, но он вынесет чудовищность и ужас реальности. Реальности надо нам, страшнее мистики нет ничего на свете.

Если Ангелина может ковать свою жизнь (а может ли женщина?), то спасение ей из лап все того же многоликого чудовища — естественный факультет Высших женских курсов. Из огня нужно бросаться в воду, чтобы только потушить тлеющее платье, чтобы протрезвиться. Сам бог поможет потом увидать ясное холодное и хрустальное небо и его зарю. Из черной копоти и красного огня — этого неба и этой зари не увидать.

А может быть, все равно, к восстановлению патриаршества или нет, подкрадывается 1912 год? И там, не только в синодальной церкви, бога уже нет. — «Глас хлада тонка».

Днем — я на панихиде по А. П. Философовой (опять звероголосование попов), встретил на улице Ремизова, потом с тетей у мамы. К обеду — домой. Люба говорит (уверяет), что провалилась на дебюте. Получил письмо. Книга новых стихов от Брюсова [21] (отозвалось прежней сладостью и болью).

20 марта.

Оттого ли, что стихи мои появились в «Знании» и будут в «Заветах», — только последние дни замечается приток разных присылаемых мне сборников стихов (Ада Чумаченко, Шульговский, Мейснер...). Как все-таки люди держат постоянно нос по ветру.

88

ДНЕВНИК Ал. БЛОКА, 1911—1913. Л., 1928. С ПОМЕТОЙ ГОРЬКОГО
Музей А. М. Горького, Москва

«Не художественные, а жизненные черты сближали Блока с Горьким. Основной из них была страстность блоковского отношения к революции» [51]. Это свидетельство К. А. Федина нуждается в уточнении: факты показывают, что в восприятии Горьким Блока «жизненные» и «художественные» черты были неотделимы друг от друга, взаимозависели и взаимоопределялись друг другом.

Многие из этих фактов широко известны. Можем дополнить их малоизвестными свидетельствами мемуаристов. М. Дмитриев в позднейших воспоминаниях рассказывает о двух встречах Горького и Блока: «В „Привале комедиантов“ на Марсовом поле в Петрограде в 1918 г.— по случаю чтения А. В. Луначарским реферата о швейцарском поэте Миллере (или Мейере)» и «на праздновании 50-летия со дня рождения Горького, 28 марта 1918 г. в редакции газеты „Новая жизнь“» [52] (о праздновании юбилея Горького в 1919 г. известно из дневниковых записей самого Блока). Надежда Павлович в своих позднейших воспоминаниях рассказывает о беседе Блока с Горьким в 1919—1920 гг. по поводу устройства ее в качестве переводчика в издательство «Всемирная литература» (эту просьбу Блока Горький выполнил спустя несколько месяцев после смерти поэта) [53]. Этот ряд деловых дружеских связей можно было бы продолжить, напомнив факты участия Горького и Блока в судьбе поэта Дм. Семеновского, Николая Колоколова и др.

Известно и мемуарное свидетельство Федина, относящееся к его беседам с Горьким в 1919—1920 гг.: «Вы должны бывать в кругу молодых писателей 〈...〉 Особенно советую познакомиться с Александром Блоком. Непременно познакомьтесь. Это... это...— Горький замолкает, отыскивая верное слово... — Человек,— произносит он тихо и мгновение стоит неподвижно 〈...〉 Только в одобрении Блока чувство его совершенно не связано. О других он

легче находит слова, но осмотрительнее говорит» [54]. Оно дополняется оценкой Блока в известном письме писателя Дм. Семеновскому летом 1919 г.: «Блоку— верьте, это настоящий,— волею божией поэт и человек бесстрашной искренности» [55],— в котором оба пласта впечатлений — «жизненный» и «художественный» — сливаются в одно целое.

После смерти поэта, когда у Горького особенно усилился интерес к его личности, писатель не раз возвращается к этому непосредственному впечатлению 1919 г. В заметках середины 1920-х годов, размышляя о подлинности дарования Фофанова, Андрея Белого, Горький писал: «И Блок, замороженный своей темой, [искусственно] нарочито, из страха не одолеть другие, приковавший себя к ней, Блок тоже, конечно, поэт» [56].

Ср. запись того же периода: «А. Блок — рыцарь „Прекрасной Дамы", слуга Энойи, лучший лирик первой четверти XX века. Его жена, дочь гениального Менделеева, ушла с клоуном...» [57].

Эта запись входила в цикл заметок «для себя», «для памяти», посвященных странностям и парадоксам человеческого поведения,— начало циклу было положено в серии «Люди наедине сами с собой» в книге «Заметки из дневника. Воспоминания», где тоже есть сюжет, связанный с Блоком [58].

Трудно сказать, что превалировало в этот период в интересе Горького к Блоку. Несомненно лишь одно: начиная с 1919 г. и до конца жизни Горький пристально вглядывался в судьбу Блока, соотнося его художественный и человеческий опыт со своей собственной судьбой.

В 1919 г. Горький, можно предположить, вновь внимательно прочитал (изучил) произведения Блока.

Блоковский раздел его библиотеки, насчитывающий около 30 книг, был образован весь, кроме одной упоминавшейся выше книги поэта («Стихи о России», 1915), в 1919 г. Книги, по-видимому, переданы Горькому самим автором и тогда же прочитаны. То, что дело обстояло именно так, показывают материалы библиотеки и другие косвенные свидетельства.

29 августа 1919 г. Блок сделал такую заметку в записной книжке: «„Всемирная литература" 〈...〉 Горькому — мои книжки...».

Речь идет очевидно о книгах: «Россия и интеллигенция» (Пб., «Алконост», 1919) с дарственной надписью: «Алексею Максимовичу Пешкову книжка, случайно оборванная на январе 1918 года, а конца ей не видно 〈...〉» (см. наст. том, кн. 3, с. 53—54); «Стихотворения». Кн. 1—3 (М., «Мусагет», 1916); «Театр. Балаганчик.— Король на площади.— Незнакомка.— Действо о Теофиле.— Роза и крест» (М., «Мусагет», 1916).

На последней книге мусагетовского трехтомника есть дарственная надпись: «Максиму Горькому в знак давней любви и глубокого уважения. VIII, 1919» (см. наст. том, кн. 3, с. 55).

Очевидно, одновременно с этими книгами Блок подарил Горькому и книгу А. Григорьева: Аполлон Григорьев. Собрал и примечаниями снабдил Александр Блок. М., изд-во К. Ф. Некрасова, 1916; на книге — дарственная надпись: «Глубокоуважаемому и дорогому Алексею Максимовичу Пешкову книга, полная русской тоски и пьяной хандры, но и русских прозрений — от редактора ее. VIII, 1919» (наст. том, кн. 3, с. 53).

Тогда же, в 1919 г., эти книги были внимательно прочитаны Горьким. Об этом можно судить по характеру помет, их смысловой направленности, находившейся в русле собственных размышлений писателя этого периода.

В книге первой мусагетовского издания «Стихотворений» на с. 42 Горький отчеркнул красным карандашом строфу стихотворения (и отметил его в оглавлении):

Увижу я, как будет погибать
Вселенная, моя отчизна.
Я буду одиноко ликовать
Над бытия ужасной тризной...

— после которой написал: «Тютчев». Здесь важно обратить внимание не только на стремление писателя понять Блока в литературном ряду его предшественников, но и на самый факт интереса его к такого рода размышлениям поэта.

В пьесе «Король на площади» (в кн. «Театр» того же издания, с. 41) Горький отчеркнул зеленым карандашом следующее место в разговоре двух «неизвестных»:

В т о р о й. Скажи мне последнее: веришь ли ты, что разрушение освободительно?

П е р в ы й. Не верю.

В т о р о й. Спасибо. И я не верю.

То же самое можно сказать о поэме «Двенадцать». В библиотеке Горького сохранилось три издания этого произведения:

«Двенадцать». Худож. В. Н. Масютин. Берлин. Изд. 1. «Нева», 1922; «Двенадцать. Скифы». Предисл. Иванова-Разумника «Испытание в грозе и буре». СПб., «Революционный социализм», 1918; «Двенадцать». Рис. Ю. Анненкова. Пб., «Алконост», 1918. На форзаце книги типографским способом сделана надпись: «Экземпляр Максима Горького. Настоящее издание отпечатано в количестве 300 нумерованных экземпляров, из коих 25 раскрашены от руки худ. Ю. Анненковым». Далее надпись от руки: «№ 7. Ю. А.» [59] Ср. дневниковую запись Блока 6 января 1919 г.: «...они ⟨Алянский⟩ с Анненковым были у Горького, подносили ему „Двенадцать“. Очень знаменательно, что говорил Горький. Он говорил с ними с полчаса, очень доброжелательно, спрашивал, не встречает ли „Алконост“ препятствий, узнав об Ионове и многих книгах, сказал, что такие факты надо собирать, что Ионов бездарен и многому навредил...» (VII, 351).

Здесь важно отметить причастность Горького в это время к самому факту появления в печати книг Блока, и поэмы «Двенадцать» в том числе. О том, что Горький содействовал публикации поэмы, можно судить по упоминанию Блока в записной книжке 31 октября 1918 г.: «Телефон от Алянского (письмо Горького к Луначарскому по поводу „Двенадцати“ и „Алконоста“» (ЗК, 433).

В тексте поэмы нет помет Горького; однако, кроме упоминавшегося косвенного факта, мы можем судить об отношении к ней писателя по ряду его позднейших высказываний, в первую очередь относящихся к периоду его работы над романом «Жизнь Клима Самгина».

К раннему слою блоковского раздела библиотеки Горького относится и книга стихов поэта «За гранью прошлых дней», вышедшая в 1920 г. в издательстве З. И. Гржебина. Поэт много работал над составлением этой книги и придавал ей большое значение (ЗК, 462, 489). Сюда же входит и книга В. Жирмунского «Религиозное отречение в истории романтизма» (М., изд. С. И. Сахарова, 1919), подаренная автором Блоку и переданная, как свидетельствуют записи Блока (ЗК, 478, 484), а также сам автор [60], Блоком Горькому на одном из заседаний «Всемирной литературы». Поэт, очевидно, хотел привлечь внимание Горького к этой заинтересовавшей его книге (на ее страницах имеются пометки Блока — сплошные подчеркивания в тексте на с. 5—17). На книге дарственная надпись: «Глубокоуважаемому Александру Александровичу Блоку книгу о „радости-страдании“ с неизменной признательностью подносит автор. 1919. 25.IV».

После смерти Блока Горький продолжал собирать его книги, не пропустив практически ни одного издания произведений поэта. В этот раздел вошли: «Отроческие стихи. Автобиография». М., «Первина», 1922; Собр. соч., т. 1—3. Берлин, «Эпоха», 1923; «Стихи (1898—1921), не вошедшие в Собр. соч.». Л.— М., изд-во «Петроград», 1925;

«Неизданные стихотворения 1897—1919». Ред. и примеч. П. Н. Медведева. Л., «Жизнь искусства», 1926 (сохранилось два экземпляра этой книги; один из них не разрезан). Собр. соч. Стихотворения, поэмы, театр. Ред., вст. статья и комм. В. В. Гольцева. Изд. 2. М.—Л., ГИХЛ, 1931;

Собр. соч., тт. I—XI. Издательство писателей в Ленинграде, 1932—1935.

«Письма Александра Блока к родным». Предисловие и примеч. М. А. Бекетовой. Л., «Academia», 1927.

Все эти книги были прочитаны Горьким. Мы можем убедиться в этом не только по наличию помет писателя на некоторых из них: на кн. «Стихи (1898—1921), не вошедшие в Собр. соч.» и на Собр. соч. 1932—1934 гг. (в томах 2, 5, 10),— но и по упоминанию их в статьях и письмах. Например, в письме И. А. Груздеву от 10 марта 1926 г. Горький сообщает: «„Неизданных" стихов Блока не имею» [61] (экземпляр книги находится сейчас в библиотеке), в другом случае он пишет тому же адресату 23 сентября 1927 г.: «Письма Блока — ужасные! — имею» [62].

Чтение Горьким Блока, когда поэта уже не было в живых, приобретает иной по сравнению с чтением 1919 г. характер. Теперь Горький стремится понять Блока как значительное явление русской жизни на рубеже столетий, в переломную эпоху истории, соотнося это понимание с собственными творческими поисками.

Важно в связи с этим обратить внимание на то, что воспоминания Горького о Блоке, написанные в 1922—1923 гг., заключали «Книгу о русских людях, какими они были» (так предполагал автор назвать «Заметки из дневника. Воспоминания»). Образ Блока словно завершал тот круг размышлений писателя о судьбах русского народа, которым была посвящена эта книга и все пореволюционное творчество писателя в целом.

В книге «Стихи (1898—1921), не вошедшие в Собр. соч.» Горький отметил произведения, в которых наиболее ощутимо выражены пессимистические настроения поэта: «Жизнь — как море...», «Темнеет небо; туч гряда...», «Кошмар (Я проснулся внезапно в ночной тишине...)», «Метапсихоз (Никто не умирал. Никто не кончил жить)».

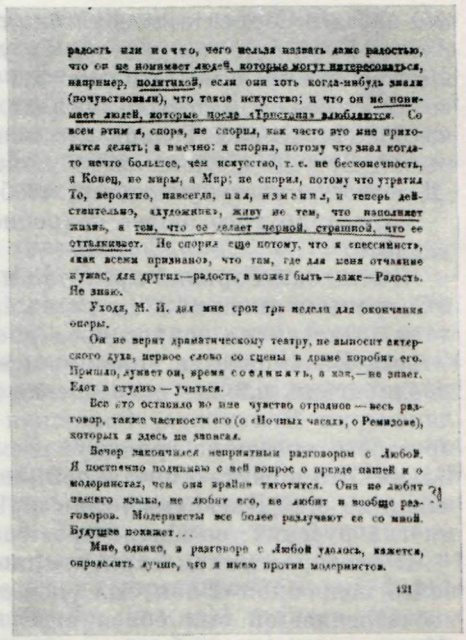
В эти годы у Горького впервые возникает интерес к биографической и мемуарной литературе о поэте. Сразу после смерти Блока появилось множество воспоминаний о нем его друзей и современников. Горький был, по-видимому, знаком со многими из них: «повестью петербургской» А. М. Ремизова «Ахру» (изд-во З. И. Гржебина, 1922), которая открывалась «плачем» по А. А. Блоку (книга сохранилась в библиотеке Горького); воспоминаниями Андрея Белого о Блоке, напечатанными в «Литературном ежемесячнике» «Эпопея» (М.— Берлин, «Геликон», 1922),— книга сохранилась в библиотеке с многочисленными пометами писателя; воспоминаниями Евг. Замятина, опубликованными в 1924 г. в журнале «Русский современник» (кн. 3), вызвавшими резко отрицательное отношение Горького [63], исследованиями о творчестве Блока авторов, которых писатель хорошо знал: В. М. Жирмунского «Поэзия Александра Блока» (Пб., 1922) и К. Чуковского «Книга об Александре Блоке». Изд. 2 (Берлин, «Эпоха», 1922) (обе книги сохранились в библиотеке Горького).

Наибольший интерес вызвала у Горького работа А. Я. Цинговатова «А. А. Блок. Жизнь и творчество» (М.— Л., Госиздат, 1926). Книга вызвала интерес Горького обилием биографических фактов и получила его высокую оценку: «Мне кажется, Алексей Яковлевич, что Ваша книжка о Блоке — лучшее, что написано о нем до сего дня,— писал Горький автору.— Вам удалось очертить его очень ярко, местами даже физически ощутимо. Весьма правильно указание на «немецкую стихию». Я не был близок с Блоком, но немало наблюдал его, и всегда казалось, что ему было бы легче жить, и вырос бы он духовно еще значительней, если б родился в эпоху Тика и Новалиса, даже позднее — Клейста. Я думаю, что «немецкая стихия» была в натуре его, дана ему непосредственно а русскую он принимал разумом, через Соловьева, через Москву (Соловьев был великий „разумник", об этом свидетельствует его блестящий талант диалектика, а юмористические — всегда очень горькие — стихи его говорят о нем даже как о „нигилисте"). В общем же Блок был изумительно красив как поэт и как личность. Завидно красив». В том же письме Горький говорит и о своем особом интересе к личности Блока в другом плане: «Думается мне, что Вами недостаточно подчеркнута „народно- и жизнебоязнь", свойственная многим людям поколе-

ния Блока, поколения, отравленного дедами и отцами, которые изображали народ огромным и страшно требовательным нищим. Отсюда его: „Мы бросаемся прямо под ноги...“. Он слишком много придал значения „золотым словам“ мужика: „О, какое бесконечно окаянное горе сознавать, что без вас *пока* не обойдешься“, он не решился вычеркнуть совершенно лишнее „пока“. Ибо они без Блоков *никогда* не обойдутся, а должны будут создавать своих Блоков. И уже пытаются создавать» [64].

Здесь — тот же интерес, который выразился в чтении Горьким «Дневников» поэта.

В дневниках и мемуарах В. Брюсова и Андрея Белого Горький отчеркнул места, касающиеся Блока. Например, в книге В. Брюсова «Дневники. 1891—1910» (М., изд. М. и С. Сабашниковых. 1927) Горький отметил следующую запись: «Всех этих мелких ⟨речь идет о Ремизове и Ященко⟩ интереснее, конечно, А. Блок, которого я лично не знаю, а еще интереснее, вовсе не мелкий, а очень крупный, Б. Н. Бугаев — интереснейший человек в России».



радость или нечто, чего нельзя назвать даже радостью, что он не понимает людей, которые могут интересоваться, например, политикой, если они хоть когда-нибудь знали (почувствовали), что такое искусство; и что он не понимает людей, которые после «Тристана» влюбляются. Со всем этим я, споря, не спорил, как часто это мне приходится делать; а именно: я спорил, потому что знал когда-то нечто большее, чем искусство, т. е. не бесконечность, а Конец, не миры, а Мир; не спорил, потому что утратил То, вероятно, навсегда, пал, изменил, и теперь действительно, «художник», живу не тем, что наполняет жизнь, а тем, что ее делает черной, страшной, что ее отталкивает. Не спорил еще потому, что я «пессимист», «как всеми признано», что там, где для меня отчаяние и ужас, для других—радость, а может быть—даже—Радость. Не знаю.

Уходя, М. И. дал мне срок три недели для окончания оперы.

Он не верит драматическому театру, не выносит актерского духа, первое слово со сцены в драме коробит его. Пришло, думает он, время соединять, а как,—не знает. Едет в студию — учиться.

Все это оставило во мне чувство отрадное — весь разговор, также частности его (о «Ночных часах», о Ремизове), которых я здесь не записал.

Вечер закончился неприятным разговором с Любой. Я постоянно поднимаю с ней вопрос о правде нашей и о модернистах, чем она крайне тяготится. Она не любит нашего языка, не любит его, не любит и вообще разговоров. Модернисты все более разлучают ее со мной. Будущее покажет...

Мне, однако, в разговоре с Любой удалось, кажется, определить лучше, что я имею против модернистов.

121

ДНЕВНИК Ал. БЛОКА. 1911—1913. Л., 1928
Страница с пометами Горького
Музей А. М. Горького, Москва

Мемуары Андрея Белого «На рубеже двух столетий» (М.—Л., «Земля и фабрика», 1930) вызвали у Горького, судя по его пометкам и словесным надписям на книге, как и упоминавшиеся воспоминания 1922 г., отрицательное отношение. Не согласился Горький со следующим суждением Андрея Белого о Блоке: «Блок-то и был единственный „мистик“, сперва фетишистски отнесшийся к метафорам жаргона, потом перенесший собственные смешения с больной головы на здоровую ⟨...⟩ А Блока я понимал, может, два-три года, не более; да и то оказалось, что ничего-то не понял» (Указ. изд., с. 378).

Всю книгу Андрея Белого Горький оценил как «самозащиту» или «хуже того» (эти слова он написал на с. 488 этой книги), а в данном случае, видим, не принял мысль мемуариста о «фетишизме» мистических настроений Блока,— сам Горький видел и противоречивость, и незаконченность этих настроений у поэта.

В этот период Горький по-прежнему проявляет большой интерес к тому, как воспринимал Блок его самого. Об этом свидетельствуют многие пометки Горького на книгах Блока. С этим же связана его переписка с П. С. Сухотиным. В ноябре 1927 г. Сухотин послал Горькому в Сорренто свою книгу рассказов «Куриная слепь» [65] и письмо, в котором, в частности, говорилось: «У меня лежит письмо ко мне Блока по поводу Вашего „Детства“, и оно каким-то крепким чувством связало меня с Вами, ибо я очень люблю Александра Александровича. Пришлите мне Вашу карточку, и я ее поставлю на столе рядом с Блоком, с которым в последний год его жизни мы часто говорили про Вас» [66].

4 декабря 1927 г. Горький ответил Сухотину: «Мне было бы очень интересно познакомиться с суждением Блока о „Детстве“,— Вы не можете прислать копию письма его?» [67].

Далее в переписке Горького и Сухотина наступает перерыв на 5 лет. Переписка возобновляется в 1932 г., и 28 мая 1932 г. Сухотин пишет Горькому: «Посылаю Вам письмо Блока с восторженным восклицанием по поводу Вашей бабушки. Другое, более подробное его письмо о „Детстве“ я послал Вам несколько

лет назад в Сорренто, и если оно где-то по дороге утерялось — обидно и безобразно. Блок был так увлечен бабушкой, что носил по знакомым Вашу книжку и читал любимые места. Однажды он зашел ко мне в гостиницу, положил перед собой на столе „Детство", погладил и поласкал обложку, как живое, милое существо, и сказал: „Теперь для меня ясна вся фальшь конца гончаровского „Обрыва". Вот где настоящая бабушка — Россия. Я любил Блока и люблю Ваше „Детство", а поэтому хочется, чтобы это письмо было в Ваших руках» [68].

Судьбу другого, более подробного письма Блока о «Детстве» установить не удалось.

В эти годы Горький прочитал и «Дневники» Блока. П. Н. Медведев послал их в Сорренто в январе 1928 г., а в марте того же года Горький писал о них Р. Роллану, отвечая на вопрос последнего о причинах трагической кончины поэта. Отъезд Бальмонта за границу и его выступления там, как сообщал Горький, имели «очень плохие последствия для Блока и Сологуба»: «Опираясь на факт лицемерия Бальмонта, Советская власть отказала Блоку и Сологубу в их просьбе о выезде за границу, несмотря на упрямые хлопоты Луначарского за Блока. Это я считаю печальной ошибкой по отношению к Блоку, который, как видно из его „Дневника", уже в 1918 г. страдал „бездонной тоской", болезнью многих русских, ее можно назвать „атрофией воли к жизни"» [69].

В неотправленном варианте письма тому же адресату Горький разъяснял более подробно: «Блок был „доведен до безумия"? Не знаю, был ли. [Но мое впечатление: он был болен атрофией воли.] Его статьи „Кризис культуры" и „Кризис гуманизма" были написаны, кажется, до большевиков. Статьи эти свидетельствуют о крайнем его пессимизме. Но поэма „12" была написана им после этих статей, как и стихи, посвященные Зинаиде Гиппиус, они заключались строчкой „Интернационала". Я никогда не слыхал от Блока осуждения Советской власти. Мне кажется, что у него была совершенно атрофирована воля к жизни. Разрешение на выезд он получил, но уже не мог воспользоваться им, был болен...» [70].

Это был первый отклик Горького на чтение «Дневников». При всем сочувствии к поэту он все время ощущал свои внутренние расхождения с ним. Отвечая отказом на просьбу «Издательства писателей в Ленинграде» написать вступительную статью к Собранию сочинений Блока, предпринятому этим издательством, Горький писал И. А. Груздеву 29 октября 1930 г.: «Писать о Блоке — не буду. Понимаю я его плохо, вижу в тумане и уверен, что если б написал что-нибудь, так это вышло бы очень плохо, да едва ли и правильно» [71].

И в письме К. А. Федину 9 ноября 1930 г.: «Я уже сообщил И. А. Груздеву, что не в силах написать об А. А. Блоке, ибо уверен: написал бы что-нибудь грубоватое и несправедливое. Мизантропия и пессимизм Блока — не сродни мне, а ведь этих его качеств — не обойдешь, равно как и его мистику ⟨...⟩

Вообще — у меня с Блоком „контакта" нет. Возможно, что это — *мой* недостаток» [72].

Однако когда тома этого Собрания сочинений вышли в свет, Горький внимательно прочитал их, отметив в оглавлениях томов 2 и 5 произведения поэта, заинтересовавшие его (в т. 2—«О, что мне закатный... („Заклятие")», в т. 5— поэму «Возмездие»), а в т. 11— сделал подчеркивания в статье «Болотов и Новиков»).

Особый интерес представляло для Горького, как уже было сказано, чтение «Дневников» Блока. В «Дневниках» одного из самых крупных представителей интеллигенции, выдающегося художника своего времени Горький пытался найти отзвук, какие-то соответствия или, наоборот, «точку опоры» для несогласия в своих размышлениях о судьбах интеллигенции и народа в России, т. е. в конечном счете найти ответы на коренные вопросы истории, революции и культуры. Именно эти вопросы явились предметом исследования в романе «Жизнь Клима Самгина»

Не исключено, что еще до знакомства с «Дневниками» Горький в размышлениях над этими проблемами обращался к художественному опыту Блока. В ро-

мане «Жизнь Клима Самгина», особенно в 1-й части (писатель работал над нею в 1925—1926 гг.), много места уделено именно этим «вопросам» — ответ на них, т. е. ясная, художественно убедительная позиция автора, будет развернут в последующих частях произведения, в особенности в последней, 4-й части. Причем на первоначальной стадии работы над произведением, в черновых вариантах, мысль художника была выражена более обнаженно (в дальнейшем многое в романе уйдет в «подтекст», будет дано опосредствованно, в системе образов).

Вот, например, размышления о народе и «народолюбцах», т. е. интеллигенции, в одном из ранних вариантов 1-й части. В беседе персонажей романа — Лидии Варавки, Клима Самгина и самого Варавки — возникает вопрос о том, что такое служение народу: героизм или жертва. Юные участники беседы отвечают так: «Нужно забыть о себе. Этого хотят многие, я думаю. Не такие, как Яков Акимович... Он... я не знаю, как сказать, он отдал себя в жертву сразу и навсегда. Он себя бросил...» [73].

Клим к этим словам Лидии добавляет: «И еще хотел сказать, что дядя Яков — жертва истории, Исаак». В другом варианте автор уточняет эту мысль главного персонажа, чрезвычайно важную для понимания его сущности: «Дядя Яков — жертва истории,— торопливо сказал Клим.— Он — не Иаков, а — Исаак...» [74]. В дальнейшем эта мысль получает развитие в романе [75]; в одном из вариантов она формулируется так: «Вырабатывая теоретически новые формы жизни, интел‹лигенция› энергией духа своего [сдвига‹ет›] толкает народ к революциям. [но история] История учит нас, что [масса народа] народ, подчиняясь силе необходимости и сделав шаг к революции, тотчас начинает сопротивляться воле интеллигенции, стремящейся [раз‹вивать›] продолжать дело развития новых форм жизни. Народ — физическое начало, строго подчиненное законам эволюции. Личность — стремится всячески нарушить [всякие] и все другие законы» [76]. Важно отметить, что первоначально эти слова произносились Томилиным, затем автор «передал» их Климу. Позднее писатель вернется к этим размышлениям в 4-й части, в связи с концепцией авторов сборника «Вехи», полемика с которыми станет по существу идейным центром всего произведения.

Ко времени работы над 1-й частью романа относятся и размышления Горького над поэмой Блока «Двенадцать». Вот начало одной заметки Горького середины 1920-х годов:

«Впереди идет Христос
В алом венчике из роз [77].

Едва ли Блок видел в этом Христе — Христа Нагорной проповеди или — что то же самое — индусского Авеля проповеди в Бенаресе.

Христос Блока — духовный родственник немецкого социалиста, любителя порнографии Э. Фукса, который сказал мне:

„Интеллигент — это каторжник, прикованный к тачке истории“» [78]. Это суждение возвращает нас к проблематике романа «Жизнь Клима Самгина».

В письме И. А. Груздеву 10 марта 1926 г. Горький писал: «Достоевский, пытаясь создать в лице князя Мышкина нечто вроде Христа ‹...› убедительно доказал, что Христу нет места на земле. Блок сделал ошибку полуверующего мистика, поставив Христа во главу „Двенадцати“» [79]. В письме Г. Камкову (1928 г. после 28 ноября) Горький советовал издать в Зифе «рассказ А. Струга, кажется, о том, как архиепископ Попель арестовал Христа, который присоединился к рабочим-демонстрантам, тема, повторенная Блоком в „Двенадцати“» [80].

Среди бумаг Горького сохранилась заметка, относящаяся к середине 1920-х годов, в которой писатель продолжает свой давний спор с Блоком, начатый в тот период, когда они, свидетели и участники событий, потрясших «мировой океан», вели беседы о судьбах мироздания и человека в нем. Приведем эту заметку полностью:

«„Назад к Мафусаилу“ — вещь многословная, местами наивная, почти насквозь скучная; в общем — одна из наиболее неудачных „сатир“ Б. Шоу. Обыч-

ное для него остроумие здесь сильно притуплено пессимизмом. Говорят: ирландцы, как раса, все, в целом, склонны к пессимизму. Это — признак расовой старости?

Очень удивился, прочитав слова „Древней":

„Настанет день, когда людей не будет, а будет только мысль". Это и моя идея. Однажды я сообщил ее А. А. Блоку, он угрюмо оценил: „Фантазия мрачная". В его устах — это странная оценка.

Два человека находили, что моя гипотеза не хуже других: доктор А. Н. Алексин и Ф. П. Макаров, самый суетливый из всех наиболее суетливых людей, встреченных мною. „Вот, вот, вот!— говорил он подземным голосом своим.— Только она все преодолевает, организует и, наконец, должна будет все претворить в себя саму и растворить в себе, единая, бессмертная» [81].

Эта запись сделана, очевидно, в 1924—1925 гг., во время чтения пьесы Б. Шоу «Назад к Мафусаилу», сохранившейся в личной библиотеке Горького в изд.: М.—Пг., ГИЗ, 1924, серия «Всемирная литература». (В книге на с. 334—335 отмечены приведенные в записи слова героини пьесы, выступающей под условным именем «Древней». Диалог, из которого Горький привел цитату, имеет продолжение: на слова Древней отвечает другой персонаж пьесы — «Древний»: «И это будет вечная жизнь»,— что также отмечено Горьким. В пьесе Б. Шоу действительно присутствует мысль о «торжестве чистого разума, свободного от материи» — с. 342—345.)

Здесь важно обратить внимание на продолжение спора, которому, казалось, Горьким был подведен итог в воспоминаниях о поэте в 1922—1923 гг. Напомним в связи с этим, что в этих воспоминаниях, написанных по живым, непосредственным впечатлениям, в споре писателей действительно соприкоснулись две, казалось бы, вечные тенденции:

«Лично мне,— говорит Горький в очерке,— больше нравится представлять человека аппаратом, который претворяет в себе так называемую „мертвую материю" в психическую энергию и когда-то, в неизмеримо отдаленном будущем, превратит весь „мир" в чистую психику ⟨...⟩

Она ⟨„психическая энергия"⟩ в себе самой найдет гармонию и замрет в самосозерцании — в созерцании скрытых в ней безгранично разнообразных творческих возможностей» [82].

Эта концепция «гармонии мира» опровергается, вернее сказать, уточняется позицией собеседника автора:

«— Не понимаю,— повторил Блок, качнув головою...»

«— Мрачная фантазия,— сказал Блок и усмехнулся».

«Он вздохнул:

— Если бы мы могли совершенно перестать думать хоть на десять лет. Погасить этот обманчивый болотный огонек, влекущий нас все глубже в ночь мира, и *прислушаться к мировой гармонии сердцем*» [83].

Напомним итог этого спора: в дневниковой записи Блока, в том месте, где речь идет о его докладе «Крушение гуманизма», приведены слова Горького: «Между нами — дистанция огромного размера,— я — бытовик такой, но мне понятно, что вы говорите, я нахожу доклад пророческим» (VII, 356).

Сохранились и еще заметки Горького, косвенным образом связанные с Блоком и чтением его «Дневников».

«„Спаси, Господь, от ненависти к людям!" А. А. Блок» [84],— записывает Горький в дневниковой книжке «Эпиграфы» мысль, возникшую у него при чтении Блока. Эта мысль трансформируется позднее в романе «Жизнь Клима Самгина».

Однако интересно отметить, что в этом романе, многие страницы которого посвящены критическому изображению литературной жизни начала века, в первую очередь символизма и «символистов», имя Блока почти не упоминается — он стоит как бы в стороне от направления, у него свой путь в искусстве и свое место в истории.

Имя Блока встречается в романе дважды, но совсем в другой, отнюдь не

«литературной» ситуации. В 4-й части романа, в том месте, где речь идет о собрании литераторов в петербургском ресторане «Вена», относящемся, очевидно, к 1910—1911 гг., в разноголосице фраз, суждений, которые воспринимает сквозь «пелену сизоватого дыма» наблюдающий эту сцену Самгин, вдруг неожиданно возникает имя Блока:

«— Господа! Премудрость детей света — всегда против мудрости сынов века. Мы — дети света.

— Долой премудрость!

— Премудрость это — веселье!

— Возвеселимся!

— И воспоем славу заслужившим ее...

— Предлагаю выпить за Александра Блока!

— Заче-ем? Пускай он сам выпьет.

— Позволь! Наука...

— Полезна только как техника.

— Верно! Ученые это — иллюзионисты...

— В чем различие между мистикой и атомистикой? А то! <...>

— Но позвольте! Для чего же делали революцию?

— Чтоб очеловечить Калибана <...>

— Миллионы — не разумны <...>

— Вы — уничтожьте толпу! Уничтожьте это безличное, страшное нечто...

— Кал-либана!»

И — последняя фраза в этой разноголосице:

«— Я потерял колечко, я не вижу подобных мне...» [85].

По мысли автора романа, на смену Блоку должно прийти новое поколение интеллигенции:

«Да, мне захотелось посмотреть: кто идет на смену нежному поэту Прекрасной Дамы, поэту „Нечаянной радости". И вот — видел. Но — не слышал» [86],— говорит в романе Леонид Андреев, выступающий как один из его персонажей. Следует обратить внимание на то, что на смену Блоку в романе приходит «Лаврушка, сын медника»: «Ученая ваша, какая-то там литературная, что ли, квалификация дошла до конца концов, до смерти. Ставьте точку. Слово и дело дается вновь прибывшему в историю, да! да!»— говорит он [87]. Однако эти речи — «не слышат».

Блок и его «Дневники» заставили Горького еще раз вернуться, уже в конце жизни, к причинам своих внутренних расхождений с поэтом. Можно предположить, что писатель стоял у начала какого-то нового понимания его.

Ниже публикуются пометы Горького на книгах:

«Дневник Ал. Блока. 1911—1913», под ред. П. Н. Медведева, Изд-во писателей в Ленинграде, 1928;

«Дневник Ал. Блока. 1917—1921», под ред. П. Н. Медведева, Изд-во писателей в Ленинграде, 1928;

А. Я. Цинговатов. А. А. Блок. Жизнь и творчество. М.—Л., Госиздат, 1926 и на страницах статьи того же автора «Блок и современный Запад» (оттиск из журнала «Современник», 1923, № 2).

Сведения о пометах Горького на «Дневнике» Блока 1911—1913 гг. впервые (с неточностями) приведены в статье Д. И. Максимова «Из архивных материалов об А. Блоке («Уч. зап. Ленинградского Гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена», т. XVIII. Факультет языка и литературы, вып. 5, 1956) и повторены в его книге «Поэзия и проза Ал. Блока». Л., «Сов. писатель», 1975, с. 522—523; сообщение о пометах Горького на страницах «Дневника» Блока 1917—1921 гг. вошло в наши примечания к очерку «А. А. Блок».— М. Горький. Полн. собр. соч. Художественные произведения в 25 томах, т. 17. М., «Наука», 1973, с. 601.

10 января 1928 г. Медведев послал Горькому в Сорренто свою книгу «Драмы и поэмы Ал. Блока. Из истории их создания» (Л., Изд-во писателей в Ленинграде, 1928), сопроводив посылку письмом, в котором говорилось: «Из Ваших воспоминаний об А. А. Блоке явствует, что он Вам дорог, что Вы его любите, хотя

бы и очень по-своему. Это дает мне право послать Вам мою новую работу о Блоке. Может быть, Вам будет небезынтересно познакомиться с процессом создания его драм и поэм» (Архив Горького, КГ-п 50-20-1). Книга сохранилась в личной библиотеке Горького с дарственной надписью: «Алексею Максимовичу с чувством глубочайшего уважения» — Автор. 9.I.1928» (без помет Горького).

Спустя месяц, 10 февраля 1928 г., Медведев послал Горькому два тома «Дневников» Блока.

Позднее Медведев отправил Горькому еще одну свою книгу: «В лаборатории писателя» (Л., Изд-во писателей в Ленинграде, 1933). Книга сохранилась в библиотеке писателя с дарственной надписью автора и с одной пометой Горького.

Знакомство Цинговатова с Горьким началось с посылки книги, страницы которой даются в настоящей публикации. Цинговатов писал Горькому в Сорренто 27 августа 1927 г.: «Позволяю себе послать Вам мою книгу об Александре Блоке.

Вы знали Блока лично, вы прекрасно знаете эпоху ту — мне бы очень хотелось услышать Ваше суждение о моем труде. Если не очень затруднит Вас это — не откажете хотя бы в кратком ответе» (опубл. частично: ЛН, т. 70, с. 625). На книге дарственная надпись: «Максиму Горькому — с любовью. Автор. 27.VIII.26». Ответ Горького см. выше.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См. работы: Е. Малкина. Александр Блок о Максиме Горьком.— «Звезда», 1937, № 6; И. Сергиевский. Горький и Блок.— «Лит. критик», 1938, № 1; Н. Венгров. А. Блок и М. Горький.— «Горьковские чтения. 1953—1957». М., 1959; Д. Максимов. К вопросу об А. Блоке и М. Горьком.— В кн.: Д. Максимов. Поэзия и проза Ал. Блока. Л., 1975. Кроме того, темы «Горький — Блок» касаются авторы монографических исследований: Л. И. Тимофеев. А. А. Блок. М., 1957; Е. Б. Тагер. Творчество Горького советской эпохи. М., 1964; З. Г. Минц. Лирика Ал. Блока. Тарту, 1965.

[2] ЛН, т. 72.

[3] ЛН, т. 89.

[4] ЛН, т. 80, с. 260—261, 292—294.

[5] М. Горький. Полн. собр. соч. Варианты, т. 5—6.

[6] Личная библиотека Горького хранится в Мемориальном музее писателя в Москве, входящем в состав Института мировой литературы АН СССР. См. «Личная библиотека А. М. Горького в Москве. Описание в двух книгах». М., «Наука», 1981.

[7] Личная библиотека Блока хранится в блоковском фонде рукописного отдела (Пушкинского Дома) в Ленинграде.

[8] Н. Е. Крутикова. В начале века. Горький и символисты. Киев, 1978, с. 286. Ср. также: «Творчество Горького было своего рода пробным камнем для испытания подлинной революционности всех тех, кто к нему приближался» (Е. Малкина. Александр Блок о Максиме Горьком, с. 179); «Ярким примером этого ‹влияния Горького› может служить роль Горького в эволюции творчества Александра Блока, выросшего в чужой Горькому среде,— поэта-символиста, которого и сам Горький в годы реакции воспринимал как своего „литературного врага...“» (Н. Венгров. А. Блок и М. Горький.— «Горьковские чтения. 1959», с. 201).

[9] Это слово употребил Горький в конце жизни, говоря (в письме к К. Федину, 9 ноября 1930 г.) о том, что у него «с Блоком „контакта“ нет» (см. далее).

Вообще применительно к Блоку Горький чаще пользовался другим словом — «понимание»: так, в дневниковой записи Блока приведены слова, сказанные Горьким после прослушивания доклада Блока «Гейне в России», в 1919 г. (идеи доклада были подробно развернуты поэтом в следующем знаменитом выступлении — «Крушение гуманизма»): «Между нами — дистанция огромного размера, я — бытовик такой, но мне это понятно, что вы говорите, я нахожу доклад пророческим...» (VII, 356). Ср. также в письме Горького И. А. Груздеву: «...писать о Блоке — не буду. Понимаю я его плохо, вижу в тумане...» — «Архив А. М. Горького», т. XI, с. 257.

[10] «Письма к родным», I, с. 140.

[11] С. Городецкий. Воспоминания об Александре Блоке.— «Печать и революция», 1922, № 1, с. 84.

[12] М. Горький. Собр. соч. в 30 томах, т. 24, с. 323—324.

[13] Мы имеем и косвенное подтверждение высокой оценки Блоком повести Горького. С. С. Кондурушкин в письме Горькому от 17 июля 1908 г. сообщал: «Был я на днях у Чулкова. Разговор был об Вас в связи со статьей Чулкова в „Речи“: „Правда о Горьком“. На мой взгляд, в его статье есть несомненные достоинства. Например: справедливо отметил он,

что Горький — один из самых верующих современных писателей. Но втроем мы (я, Блок и В. В. Розанов) осуждаем у Чулкова некоторые места фельетона. Между прочим, и Блоку, и Розанову, как и мне, глубоко трогательной показалась сцена с монахиней. Чулков этого не понимает, как, по-видимому, трудно понять ему и многое другое в жизни и литературе. Уж очень он весь выдуманный...» (Архив А. М. Горького, КГ-п 37-2-2).

[14] ЛН, т. 70, с. 331.

[15] «Библиотека А. А. Блока. Описание», кн. 1. Л., 1984, с. 241.

[16] Там же, с. 240.

[17] Отрывки из писем А. А. Кублицкой-Пиоттух М. А. Бекетовой от 5 апреля 1919 г. и 17 мая 1919 г. цит. по публикации в кн.: Д. Максимов. Поэзия и проза Ал. Блока. Л., «Сов. писатель», 1975, с. 519.

[18] Там же.

[19] См. записи 1919 г.: от 17 января, 6 февраля, 8 марта, 11 марта, 21 марта, 25 марта, 4 апреля, 23 апреля, 25 апреля, 28 апреля, 22 июля, 5 августа, 8 августа, 26 августа, 29 августа, 31 октября (ЗК).

[20] Архив А. М. Горького, КГ-п 9-5-1.

[21] См. об этом: М. Горький. Полн. собр. соч., т. 25, комментарий.

[22] М. Горький. Полн. собр. соч., т. 17, с. 224.

[23] Там же.

[24] Личная библиотека Горького.

[25] См. наст. том, кн. 3, с. 55.

[26] См. ниже статью Е. Ц. Чуковской «Блок в архиве Чуковского».

[27] Д. Максимов. К вопросу о Блоке и Горьком, с. 520—521.

[28] В литературе существует ошибочная точка зрения, что очерк «А. А. Блок» был написан Горьким в 1919 г. (Д. Максимов. К вопросу об А. Блоке и М. Горьком, с. 522). Об истории создания этого произведения см. подробно в наших комментариях в кн.: М. Горький. Полн. собр. соч., т. 17, с. 564—602.

[29] ЛН, т. 72, с. 289.

[30] Архив А. М. Горького, ПГ-рл 20-4-7.

[31] Архив А. М. Горького, ПГ-рл 38-22-8.

[32] ЛН, т. 72, с. 287.

[33] Архив А. М. Горького, ПГ-рл 20-4-7.

[34] Там же, ПГ-рл 20-4-8.

[35] Там же, ПТЛ 1-38-7.

[36] Там же, ПГ-рл 27-7-2.

[37] Там же, ПГ-рл 38-17-2.

[38] Там же, ПГ-рл 18-51-1.

[39] Там же, ПГ-рл 25-55-1.

[40] Отрывок из письма опубликован в кн.: «Летопись жизни и творчества Горького», т. 4, с. 145. Цит. по подлиннику — Архив А. М. Горького, ПГ-рл 3-10.

[41] Архив А. М. Горького, ПТЛ 2-1-83.

[42] Там же, КГ-рзн 1-159-74.

[43] Архив А. М. Горького, КГ-п 76-1-35.

[44] См.: ЛН, т. 72. Дополним эти сведения еще одним документом, не публиковавшимся ранее. Из письма Леонида Андреева И. С. Шмелеву от 23 марта 1916 г.: «Люблю Москву, но люблю и Рим, и без Рима мне труднее прожить, чем без Москвы; люблю Орловскую губ‹ернию› и Волгу, но люблю и Норвегию — и все, что есть жизнь. Я и немца, подлеца, временами люблю. И в литературе: люблю Вас — и Блока, и Сологуба (не всего) и Ваничку Бунина (не всего). Мечта моя: жить во всем. Иной раз до того захочется стать гвардейцем!» (Архив А. М. Горького, ПТЛ 4-19-4).

[45] Справедливости ради надо отметить, что А. Н. Тихонов по поручению Горького привлекал Блока ко многим издательским начинаниям и в 1915—1916 гг. (в сборниках национальных литератур), и в 1919—1920 гг. (в издательстве «Всемирная литература»). Вот характерное признание А. Н. Тихонова в письме к Горькому 30 января 1924 г.: «Когда я узнал на днях, что дневники Блока, на которые я рассчитывал, ушли из моих рук, я чуть не заревел от горя. И ведь опоздали мы всего на две недели. Черт возьми-то!» (Архив А. М. Горького, КГ-П 76-1-24).

[46] В «Записных книжках» Блока, помимо упоминавшихся М. Ф. Андреевой и А. Н. Тихонова, есть записи такого же примерно свойства, касающиеся З. И. Гржебина («С Замятиным — о мошенничестве Гржебина», с. 497), П. П. Крючкова (с. 491) и других лиц из окружения Горького.

[47] ЛН, т. 72, с. 387.

[48] Архив А. М. Горького, КГ-П 70-1-11.

[49] Отрывок из письма опубл.: Д. М. Семеновский. М. Горький. Письма и встречи. Изд. 2-е. М.: «Сов. писатель», 1940, с. 115 — 116. Цит. по: Архив А. М. Горького, ПГ-рл 38-22-2.

[50] Всеволод Рождественский. В Петрограде, у А. М. Горького (из воспоминаний).— В кн.: «М. Горький в воспоминаниях современников». М., ГИХЛ, 1955, с. 334—335.

[51] Конст. Федин. Горький среди нас. Картины литературной жизни. М., «Сов. писатель», 1977, с. 36—37.

[52] Архив А. М. Горького, МоГ 23-1.

[53] Там же, МоГ 11-32-1.

[54] Конст. Федин. Горький среди нас, с. 34—35.
[55] Дм. Семеновский. М. Горький. Письма и встречи, с. 115.
[56] М. Горький. Полн. собр. соч. Варианты, т. 5, с. 700—701. Комментатор этой заметки, датируя ее 1925 г., ошибочно соотносит содержание ее с концепцией отношения Блока к интеллигенции и народу, ссылаясь на «Дневники» поэта издания 1928 г.
[57] Там же, с. 662.
[58] М. Горький. Полн. собр. соч., т. 17.
[59] В «Записных книжках» Блока есть запись от 28 ноября 1918 г.: «Вечером Алянский принес „Двенадцать“ — из 300 экземпляров № 46» (с. 437—438).
[60] Об этом рассказал В. М. Жирмунский автору этой работы в декабре 1963 г., во время работы над блоковским разделом личной библиотеки Горького.
[61] «Архив А. М. Горького», т. XI, с. 42.
[62] Там же, с. 140.
[63] «Замятин написал кокетливо, вычурно и холодно,— писал Горький в письме А. Н. Тихонову ⟨...⟩ Замятин пишет: „Горький тогда был влюблен в Блока, он непременно должен быть на час в кого-нибудь или во что-нибудь влюблен“. Будьте любезны сказать Замятину, что не следует столь безоговорочно и решительно наклеивать на человека еще живого субъективные и ошибочные мнения о нем. Хотя я считаю Блока очень интересным человеком и многому удивлялся в нем, но любить его не мог. Это совершенно ясно» («Горьковские чтения...», 1959, с. 49).
[64] ЛН, т. 70, с. 625.
[65] На книге дарственная надпись: «Максиму Горькому с глубоким уважением и любовью. Павел Сухотин. Москва, 19 ноября 1927 год». Архив А. М. Горького, ДН-Г 6-17/1.
[66] Отрывок из письма опубл. в указ. статье Н. Венгрова «Ал. Блок и М. Горький», с. 258. Цит. по подлиннику.— Архив А. М. Горького, КГ-п 74-13-1.
[67] Там же, ПГ-рл 42-10-3.
[68] Отрывок из письма опубл. в указанной статье Н. Венгрова, с. 237. Цит. по подлиннику.— Архив А. М. Горького КГ-п 74-13-4.
[69] М. Горький. Собр. соч. в 30 томах, т. 30, с. 86.
[70] ЛН, т. 70, с. 21.
[71] «Архив А. М. Горького», т. XI, с. 257.
[72] Конст. Федин. Горький среди нас, с. 298—299.
[73] М. Горький. Полн. собр. соч. Варианты, т. 7, с. 542.
[74] Там же, с. 543.
[75] М. Горький. Полн. собр. соч., т. 21, с. 143.
[76] М. Горький. Полн. собр. соч. Варианты, т. 6, с. 657—658.
[77] Неточная цитата из поэмы «Двенадцать». У Блока:

В белом венчике из роз
Впереди — Исус Христос.

[78] Архив А. М. Горького, ЛСГ 2-27-1.
[79] «Архив А. М. Горького», т. XI, с. 42. В этой публикации, на наш взгляд, неточное прочтение рукописи; надо — «полуверующего мистика» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл 12-1-7).
[80] Архив А. М. Горького, ПГ-рл, 18-71-1.
[81] Архив А. М. Горького, ХПГ 30-1-8.
[82] М. Горький. Полн. собр. соч., т. 17, с. 226.
[83] Там же.
[84] М. Горький. Полн. собр. соч. Варианты, т. 6, с. 453.
[85] М. Горький. Полн. собр. соч., т. 24, с. 354—355.
[86] Там же, с. 523.
[87] Там же, с. 520.

ПОМЕТЫ ГОРЬКОГО НА СТРАНИЦАХ «ДНЕВНИКОВ» БЛОКА

«ДНЕВНИК АЛ. БЛОКА». 1911—1913

17 октября ⟨1911⟩

⟨17⟩ * | Весьма вероятно, что наше время — великое, и что именно мы стоим в центре жизни, т. е. в том месте, где сходятся все духовные нити, куда доходят все звуки (VII, 69).

* Здесь и далее в угловых скобках указываются страницы книги; в круглых скобках — том и страницы Собр. соч. Блока в 8 тт. Курсивом выделены слова, подчеркнутые Горьким. На полях — отчеркивания Горького.

10 ноября 〈1911〉

〈35〉 У Дризена — читает Волконский 〈...〉 О мировоззрении таких аристократов, которое иметь очень ответственно. Не любя демократии, ненавидя всякий американизм, ведь они не поймут и той тайной, запрятанной глубоко культуры, которая есть в По, Гиппиус, Пясте, Пушкине...

21 ноября 〈1911〉

〈43—44〉 Днем заехал к Пясту и поехал с ним на лекцию Вл. В. Гиппиуса 〈...〉 От Феодосия Печерского до Толстого и Достоевского — главная тема русской литературы — религиозная. В нашу эпоху общество ударилось в «эстетический идеализм» (это, по моему определению, кровь желтеет) 〈...〉

Пушкин. Пессимизм лицейского периода. Всегда — *сила только там, где просвечивает «доказательство бытия божия»*, остальное о боге — или бессильно, или отчаянно (переходящее в эпикуреизм)... (VII, 95).

3 декабря 〈1911〉

〈48—49〉 ...Мама дала мне совет — окончить поэму тем, что «сына» поднимают на штыки на баррикаде.

План — четыре части — выясняется 〈...〉

Мир во зле лежит. Всем, что в мире, играет судьба, случай, все, что встало выше мира, достойно управления богом (VII, 99).

9 декабря 〈1911〉

〈50〉 Послание Клюева все эти дни — поет в душе. Нет,— рано еще уходить из этого прекрасного и страшного мира (VII, 101).

27 декабря 〈1911〉

〈60〉 Брюсову все еще не надоело ломаться, актерствовать, делать мелкие гадости людям, имеющим с ним отношения и особенно — зависящим от него (VII, 110).

13 января 〈1912〉

〈75〉 ...Скучно, скучно, неужели жизнь так и протянется — в чтении, писании, отделыванье, получении писем и отвечании на них? — Но — лучше ли, «гулять с кистенем в дремучем лесу» (VII, 123).

19 марта 〈1912〉

〈88〉 Лучше вся жестокость цивилизации, все «безбожие» «экономической» культуры, чем ужас призраков — времен отошедших; самый светлый человек может пасть мертвым пред неуязвимым призраком, но он вынесет чудовищность и ужас р е а л ь н о с т и. Реальности надо нам, страшнее мистики нет ничего на свете (VII, 134) *.

5 апреля 〈1912〉

〈93〉 Гибель Titanica, вчера обрадовавшая меня несказанно (есть еще океан). Бесконечно пусто и тяжело (VII, 139).

1 мая 〈1912〉

〈98〉 Мысли печальные, *все ближайшие люди на границе безумия, как-то больны и расшатаны*, хуже времени нет (VII, 142).

3 мая 〈1912〉

〈99〉 Провели вечер все вместе с тетей и с Феролем, вернулись поздно домой, озябли, устали, *жить трудно* (VII, 143).

17 мая 〈1912〉

〈100〉 *День упадка сил.* Трудно приняться за работу (VII, 144).

22 мая 〈1912〉

〈101〉 Ужас после более или менее удачной работы: прислуга. Я вдруг заметил ее физиономию и услышал голос. Что-то неслыханно-*ужасное*. Лицом — девка, как девка, и вдруг — гнусавый голос из беззубого рта. Ужаснее всего — смешение человеческой породы с н е и з в е с т н ы м и низшими формами 〈...〉 В маминой прислуге есть тоже нечто *ужасное* 〈...〉 Так,

* Эти же строки Блока отчеркнуты Горьким и в предисловии П. Н. Медведева.

совершенно последовательно, мстит за себя нарождающаяся демократия: или неприступные цены, воровство, наглость, безделье, или забитые существа неизвестных пород. Середины все меньше, вопрос о «прислуге» «обостряется», т. е. прислуги не будет, просто, и чем больше у нас потребностей, тем больше их удовлетворять придется... самим (VII, 144—145).

28 мая ⟨1912⟩

⟨102⟩ Сегодня ночью, наконец, накануне отъезда Любы несказанный сон, в котором первый раз связаны Люба и мама. Сон хватания за убегающую жизнь, *боязнь жизни вообще*, *мучения и унижения* последних дней, страшная тяжесть, но за ней — несказанное и великое (VII, 145).

⟨103⟩ К в е ч е р у. В 4.30[1] Люба уехала...

Печальное, печальное возвращение домой. Маленький белый такс с красными глазками на столе грустит отчаянно. *Боюсь жизни*, улицы, всего, страшно остаться одному, а еще и мама уедет (VII, 146).

4 июня ⟨1912⟩

⟨105⟩ Вечером — в Зоологическом саду — борьба (VII, 148).

11 июня ⟨1912⟩

⟨106—107⟩ Я все еще не могу приняться за свою работу — единственное личное, что осталось для меня в жизни, так как *ужасы жизни* преследуют меня пятый день — с той злополучной среды (6 июня). Оправлюсь — одна надежда. Пока же — боюсь проклятой жизни, отворачиваю от нее глаза ⟨...⟩

После спектакля, от которого мне в общем было тяжело, мы с Любой прошли немного по туманному берегу моря (над ним висел красный кусок луны). Потом опять я стал одинок, и стало мне опять не переварить этой пакости, налезшей на меня ⟨...⟩

Может быть, пройдет скоро эта *мерзостная*, *вонючая полоса жизни*, придет другая. *Боюсь жизни* (VII, 149).

13 июня ⟨1912⟩

⟨107⟩ Работа не идет. Днем шляюсь — зной, вонь, *тоска* (VII, 150).

14 июня ⟨1912⟩

Ночью (почти все время скверно сплю) ясно почувствовал, что если бы на свете не было жены и матери,— мне бы нечего делать здесь (VII, 150).

Ночь на 3 июля ⟨1912⟩

⟨112⟩ Нет, все-таки я *усталый и больной*! (VII, 155).

11 октября ⟨1912⟩

⟨120—121⟩ Терещенко говорил о том, что искусство у р а в н и в а е т людей (одно оно во всем мире), что оно дает радость или н е ч т о, чего нельзя назвать даже радостью, что он *не понимает людей*, *которые могут интересоваться*, например, *политикой*, если они хоть когда-нибудь знали (почувствовали), что такое искусство; и что он *не понимает людей*, *которые после «Тристана» влюбляются*. Со всем этим я, споря, не спорил ⟨...⟩ не спорил, потому что утратил То, вероятно, навсегда, п а л, и з м е н и л, и теперь, действительно, «художник», *живу* не тем, что *наполняет* жизнь, а *тем*, *что ее делает черной*, *страшной*, *что ее отталкивает*...

⟨...⟩

Вечер закончился неприятным разговором с Любой. Я постоянно поднимаю с ней вопрос о правде нашей и о модернистах, чем она крайне тяготится. Она не любит нашего языка, не любит его, не любит и вообще разговоров. Модернисты все более разлучают ее со мной. Будущее покажет... (VII, 163—164).

17 октября ⟨1912⟩

⟨124⟩ *Мертвый я, что ли?* (VII, 166).

13 ноября ⟨1912⟩

⟨135⟩ Господи, неужели опять будут кошмары ночью (VII, 179).

24 ноября 〈1912〉

〈140〉 Вечером... *тоска* (VII, 183).

27 ноября 〈1912〉

〈142〉 Лао-тзы: «*Слабость велика, сила ничтожна*» (VII, 185).

11 февраля 〈1913〉

〈178—179〉 Вот мысли, которые проходили сегодня в мозгу, отдыхающем, работающем отчетливо (от музыки и Шувалова) 〈...〉

Чтобы изобразить человека, надо полюбить его — узнать. Грибоедов любил Фамусова, уверен, что временами — больше, чем Чацкого. Гоголь любил Хлестакова и Чичикова, Чичикова — особенно. Пришли Белинские и сказали, что Грибоедов и Гоголь «осмеяли». — Отсюда — начало порчи русского сознания — языка, подлинной морали, религиозного сознания, понятия об искусстве — вплоть до мелочи — полного убийства вкуса (VII, 217—218).

22 марта 〈1913〉

〈193〉 Письма от *** *Тоска растет* (VII, 231).

25 марта 〈1913〉

〈195〉 Я вернулся из театра, говорил с мамой по телефону, *тоскую, тоскую...* (VII , 234).

9 апреля 〈1913〉

〈197〉 *Бездонная тоска* (VII, 235).

10 апреля 〈1913〉

Грустно, грустно все... (VII, 236).

12 апреля 〈1913〉

〈198〉 Я обедал в Белострове, потом сидел над темнеющим морем в Сестрорецком курорте. Мир стал казаться новее, *мысль о гибели стала подлинней*, ярче («подтачивающая мысль») — от моря, от сосен, от заката (VII, 236).

20 апреля 〈1913〉

〈199〉 ...Так тянется, тянется непонятная моя жизнь (VII, 238).

1 мая 〈1913〉

〈210〉 *Опять находит тоска* (VII, 247).

4 мая 〈1913〉

〈211〉 Жить хочется мне, если бы было чем, *если бы уметь*... (VII, 248).

«ДНЕВНИК АЛ. БЛОКА». 1917—1921

13 июня 〈1917〉

〈21〉 Опять набегает запредельная страсть, *ужас желания жить* (VII, 261).

13 июля 〈1917〉

〈46〉 Я могу шептать, а иногда — кричать: *оставьте в покое, не мое дело, как за революцией наступает реакция*, как люди, не умеющие жить, утратившие вкус жизни, сначала уступают, потом пугаются, потом начинают пугать и запугивают людей, еще не потерявших вкуса, еще не «живших» «цивилизацией», которым страшно хочется пожить, как богатые (VII, 281).

30 июля 〈1917〉

〈59—60〉 〈Письмо Блока П. Струве, в ответ на «приглашение в члены Лиги русской культуры»〉:

...Тщательно взвесив для себя ваше предложение вступить в число членов Лиги русской культуры, я пришел к заключению, что только одно обстоятельство могло бы служить для меня препятствием: это обстоятельство выражается и конкретно и символически в отсутствии среди учредителей имени Горького, или говоря еще больнее и острее: есть М. В. Родзянко и нет Горького 〈...〉 нужно изыскать какие-то чрезвычайные средства для обретения Горького, хотя бы для того, чтобы его имя прошло через

«Лигу русской культуры» (по-человечески, что ли, как это делается, *избрать «почетным членом», а потом — пусть отказывается и ругается*) 〈...〉 но дело в том, что всякий скажет, что в истории русской культуры имя автора «Исповеди» и «Детства» знаменательнее, чем имя председателя IV Думы, что бы ни произошло (VIII, 509—510).

〈66〉 5 августа 〈1917〉

Утром — письмо от Струве (*замечательные слова о Горьком*) * (VII, 296).

〈72〉 15 августа 〈1917〉

\/ ...Едва моя невеста стала моей женой, лиловые миры первой революции захватили нас и вовлекли в водоворот (VII, 300).

〈80—81〉 29 августа 〈1917〉

Событие это — закрытие газеты «Новое время». Если бы не все, надо бы \/ устроить праздник по этому поводу 〈...〉 Это — второй департамент полиции, и я боюсь, что им удастся стибрить бумаги, имеющие большое значение (VII, 307).

〈87〉 | Крестьяне не дают городам хлеба, считая, что все сыты (VII, 312).

5 января 〈1918〉

〈92〉 Любимое занятие интеллигенции — выражать протесты 〈...〉 «Разочаровались в своем народе» 〈...〉 «Немецкая демонстрация» (г-н Батюш- \/ ков, Ф. Д.). Медведь на ухо. Музыка где у вас, тушинцы проклятые?

Если бы это — банкиры, чиновники, буржуа!

\/ А ведь это — интеллигенция!

Или и д у х о в н ы е ц е н н о с т и — буржуазны? (VII, 314—315).

11 января 〈1918〉

〈96〉 Но позор 3 1/2 лет («война», «патриотизм») надо смыть.

Тычь, тычь в карту, рвань немецкая, подлый буржуй! Артачься Англия и Франция! Мы свою историческую миссию выполним.

Если вы хоть «демократическим миром» не смоете позор вашего военного патриотизма, если нашу революцию погубите, значит вы уже н е а р и й ц ы б о л ь ш е. И мы широко откроем ворота на Восток.

Мы на вас смотрели глазами арийцев, пока у вас было лицо. А на морду вашу мы взглянем нашим к о с я щ и м, лукавым, быстрым взглядом; мы скинемся а з и а т а м и, и на вас прольется Восток (VII, 317).

14 января 〈1918〉

〈98〉 Происходит совершенно необыкновенная вещь (как все): «Интелли- NB генты», люди, проповедывавшие революцию, «пророки революции», оказались ее предателями.

Трусы, натравливатели, прихлебатели буржуазной сволочи 〈...〉

Так это называлось, что они боялись «мракобесия»? Оказывается, они мечтают теперь об учреждении собственного мракобесия на незыблемых началах своей трусости, своих патриотизмов (VII, 318—319).

26 (13) февраля 〈1918〉

〈109〉 Ночь.

Я живу в квартире, за тонкой перегородкой находится другая квартира, где живет буржуа с семейством 〈...〉

Он обстрижен ежиком, расторопен 〈...〉 Господи боже! Дай мне силу освободиться от ненависти к нему, которая мешает мне жить в квартире, душит злобой, перебивает мысли. Он такое же плотоядное двуногое, как я, он лично мне еще не делал зла. Но я задыхаюсь от ненависти, которая доходит до какого-то патологического истерического омерзения, мешает жить.

Отойди от меня, Сатана, отойди от меня, буржуа, только так, чтобы

* В примечании (с. 257) приведено это письмо: «...Меня обрадовало Ваше согласие вступить в члены «Лиги». Что касается Горького, то церковь, если бы он ее признавал, должна была бы призвать его к покаянию, как она это делала в былое время с великими мира сего».

не соприкасаться, не видеть, не слышать; лучше я или еще хуже его, не знаю, но гнусно мне, рвотно мне, отойди, Сатана (VII, 327—328).

31 июля ‹1918›

‹Письмо к З. Гиппиус›

‹117—119› Великий октябрь их и разрубил. Это не значит, что жизнь не напутает сейчас же новых узлов; она их уже напутывает; только это будут уже не те узлы, а другие.

Не знаю (или — знаю), почему Вы не увидели октябрьского величия за октябрьскими гримасами, которых было очень мало — могло быть во много раз больше.

Неужели Вы не знаете, что «России не будет» так же, как не стало Рима,— не в V веке после Рождества Христова, а в 1-ый год I века? Также не будет Англии, Германии, Франции. Что мир уже перестроился? Что «старый мир» уже расплавился? (VII, 336).

26 марта ‹1919›

‹150› Вчера — большой день. Я прочел доклад о Гейне ‹...›

Горький говорит большую речь о том, что действительно приходит новое, перед чем гуманизму, в смысле «христианского отношения» и т. д., придется временно стушеваться ‹...› Он переводит вопрос на излюбленную свою тему этих дней ‹...› — о борьбе деревни с городом.

Ссылается на съезды бедноты. Говорит, что предстоит отчаянная борьба деревни с городом, в которой непоздоровится не только капиталистам, но и писателям и артистам ‹...›

Гумилев ‹...› после закрытия заседания развивает мне свою теорию о гуннах, которые осели в России и след которых историки потеряли. *Совдепы — гунны* (VII, 356—357).

28 марта ‹1919›

‹153—155› «Быть вне политики» (Левинсон)? С какой же это стати? Это значит — бояться политики, прятаться от нее, замыкаться в эстетизм и индивидуализм, предоставлять государству расправляться с людьми, как ему угодно, своими устаревшими средствами. Если мы будем вне политики, то значит — кто-то будет только с «политикой» и вне нашего кругозора и будет поступать, как ему угодно, т. е. воевать, сколько ему заблагорассудится, заключать торговые сделки с угнетателями того класса, от которого мы ждем появления новых исторических сил, расстреливать людей зря, поливать дипломатическим маслом разбушевавшееся море европейской жизни ‹...›

Нет, мы не можем быть «вне политики», потому что мы предадим этим музыку, которую можно услышать только тогда, когда мы перестанем прятаться от чего бы то ни было. В частности, секрет некоторой антимузыкальности, неполнозвучности Тургенева, например, лежит в его политической вялости. Если не разоблачим этого мы, умеющие любить Тургенева, то разоблачат это идущие за нами люди, не успевшие полюбить Тургенева; они сделают это гораздо более жестоко и грубо, чем мы, они просто разрушат целиком то здание, из которого мы умелой рукой, рукою, верной духу музыки, обязаны вынуть несколько кирпичей для того, чтобы оно предстало во всей своей действительной красоте — просквозило этой красотой...

Быть вне политики — тот же гуманизм наизнанку (VII, 358—359).

31 марта ‹1919›

‹156› И дух музыки соединился отныне с новым движением, идущим на смену старому (VII, 360).

1 апреля ‹1919›

‹160—161› Основные положения, которые я хотел защитить ‹...›

Я боюсь каких бы то ни было проявлений тенденции «искусство для искусства», потому что такая тенденция противоречит самой сущности

искусства и потому, что, следуя ей, мы, в конце концов, потеряем искусство 〈...〉 *Сознательное устранение политических оценок есть тот же гуманизм, только наизнанку*, дробление того, что недробимо, неделимо (VII, 364).

5 апреля 〈1919〉

| А наш гуманизм — уже уличный; трамвайный разговор — самое дно. Общество покровительства животным, благотворительность, приветственный адрес начальству (скрежеща зубами) (VII, 365).

22 октября 〈1920〉

〈172—173〉 Вечер в клубе поэтов на Литейном 21 октября...

Гумилев и *Горький*. Их сходства: волевое; *ненависть к Фету* и Полонскому — по-разному, разумеется. Как они друг друга ни *не любят*, у них ? есть общее. Оба не ведают о трагедии — о двух правдах. Оба (северо) восточные (VII, 371).

5 января 〈1921〉

〈203—204〉 Из этой легенды проф. Мишеев сделал драму в 4 действиях и 12 картинах — «Во дни царя Соломона», с эпиграфом «есть конец страданью, нет конца стремленьям (?)», посвятил Горькому и потрафил моде 〈...〉 Горький, читая пьесу, все время поправлял слог, как он делает это повсюду (VII, 391).

14 января 〈1921〉

〈210〉 Л. Урванцев. «Человек, который смеется» (по роману В. Гюго) 〈...〉 *Есть погромные, по нашему времени, ноты* (*против господ*, хотя и английских XVII века). В Большом Драматическом театре не пойдет, что уже решили (VII, 397).

7 марта 〈1921〉

〈225—228〉 При Временном правительстве начиная с мая 1917 года и окончившись лишь после октябрьского переворота 〈...〉 выходил журнал Родзянко «Народоправство» 〈...〉 Чулков негодовал на Горького по поводу его презрения к русским и обожания евреев 〈...〉

Бердяев после Октября пишет многословно и талантливо, что революции никакой и не было, все — галлюцинации 〈...〉 все революционные идеи давно опошлились, ненависть к буржуазии есть исконная ненависть темного Востока к культуре, одолел «германский яд», Россия не выдержала войны 〈...〉

«Летопись» 〈...〉 С № 7 начинается роман Уэллса «Мистер Бритлинг пьет чашу до дна» 〈...〉 С № 1, 1917 г., начинается автобиография Шаляпина 〈...〉 Дальше я уж этого *чужого* журнала не получал (VII,411—414).

20 апреля 〈1921〉

〈234〉 Начало дневника З. Н. Гиппиус. Это очень интересно, блестяще, большею частью, я думаю, правдиво, но — своекорыстно. Она (они) *слишком утяжелена личным*, тут нет широких, обобщающих точек зрения (VII, 416).

ПОМЕТЫ ГОРЬКОГО НА КНИГЕ: А. Я. ЦИНГОВАТОВ. А. А. БЛОК. ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО.

Отец поэта — Александр Львович — был профессором государственного права Варшавского университета.

Это был неуравновешенный, странный, своеобразный человек: во 2-й половине 70-х годов появился он — красавец-ученый, «демоническая натура», в либеральном салоне А. П. Философовой и обратил на себя общее внимание. *Достоевский находил в нем сходство с Байроном* и собирался взять его в герои своих произведений.

〈20〉 ...идиллия дворянского гнезда с его тепличной идеалистически-романтической культурной традицией в Шахматове была — и в первой книге Блока отразилась,— но идиллия совсем особого, новейшего типа: *«идиллия на краю бездны»*...

〈21〉 Вспоминая в 1919 г. «благоуханную глушь» Шахматова, вдребезги разбитого Октябрьской бурей 〈...〉 Блок прямо признался: «А что там неблагополучно, что везде неблагополучно, что катастрофа близка, что ужас при дверях,— это я знал очень давно, знал еще перед первой революцией».

〈22〉 В 1911 г. он в таких словах определит сущность своих юношеских волнений и предчувствий: «У моего героя не было событий в жизни 〈...〉 NB С детства он молчал, и все сильнее в нем накоплялось волнение беспокойное и неопределенное. Между тем близилась Цусима и кровавая заря 9 января. Он ко всему относился как поэт, был мистиком, в окружающей тревоге видел предвестие конца мира...»

〈28〉 Но в революцию Блок все-таки не пошел — остался в стороне сочувствующим созерцателем. Впоследствии сам поэт объяснял пассивность эту кровной связью своей с привилегированной интеллигенцией: «Я все-таки кровно связан с интеллигенцией, а *интеллигенция всегда была в* ? *«нетях»* ...»

〈44〉 ...подводя в 1908 г. итоги взаимным отношениям интеллигенции и народа за период революции, Блок ставит вопрос именно так тревожно и остро: «Гоголь представлял себе Россию летящей тройкой... Что, если тройка, вокруг которой «гремит и становится ветром разорванный в куски воздух» — *летит прямо на нас*? Бросаясь к народу, мы бросаемся прямо под ноги бешеной тройке, на верную гибель».

〈45〉 Характеристике этого настроения Блок посвятит в 1908 г. целую статью 〈...〉:

«Самые живые, самые чуткие дети нашего века поражены болезнью... Эта болезнь — сродни душевным недугам и может быть названа «иронией» ...〉 〈эпидемия свирепствует... Мы видим людей, одержимых разлагающим смехом, в котором топят они, как в водке, свою радость и свое NB отчаяние, свое творчество, свою жизнь и, наконец, свою смерть... И все мы, современные поэты, пропитаны провокаторской иронией Гейне...

〈56〉 Подводя итоги, Блок отмечает в 1908 г., что современной интеллигенции не хватает «какого-то высшего начала». «Раз его нет, оно заменяется всяческим бунтом и буйством, начиная от вульгарного «богоборчества» декадентов и кончая неприметным и откровенным самоуничтожением — развратом, пьянством, самоубийством всех видов».

〈59〉 И в той же статье 〈1907 г.〉, намечая противовес дряблой, никчемной интеллигенции, Блок приводит из письма к нему одного крестьянина «золотые слова»: «Если бы у нашего брата было время для рождения обра- NB зов, то они не уступали бы вашим... *О, какое бесконечно — окаянное горе сознавать, что без вас пока не обойдешься*!..».

〈60〉 Вопрос об «интеллигенции и народе» Блок выдвигает как «насущнейший», «самый больной», «самый лихорадочный». Отношения между интеллигенцией и народом представляются поэту «не только ненормальными, не только недолжными». В них есть нечто жуткое, душа занимается страхом... народ и интеллигенция; полтораста миллионов с одной стороны и несколько сот тысяч — с другой; люди, взаимно друг друга не понимающие в самом основном.

〈62〉 ...Блок спрашивает: «А уверены ли мы в том, что довольно «отвердела кора» над другой, такой же страшной, не подземной, и земной стихией — народной?». И заключает: «Так или иначе мы переживаем страшный кризис 〈...〉 Мы видим себя уже как бы на фоне зарева 〈...〉 а под нами громыхающая и огнедышащая гора, по которой за тучами пепла ползут, освобождаясь, ручьи раскаленной лавы».

〈63〉 Далее Блок 〈...〉 уже всерьез спрашивает: «Есть ли в России какое-нибудь сословие, которое способно продолжать славную деятельность дворянства, или нет?».

〈69〉 Рассказывая об обстановке, в которой создавалась поэма 〈«Возмездие»〉, Блок дает беглый, кинематографически пестрый перечень явлений и событий русской и европейской жизни, поразивших его: смерть Толстого 〈...〉 кризис символизма 〈...〉 *грандиозные забастовки* в Англии 〈...〉 NB *французская борьба в цирках*, мода на авиацию...

〈109〉 Относительно же некоторого оттенка барственности в подходе Блока к революции интересно показание Чуковского:

«...Он ненавидел буржуазию, как ненавидел ее другой великий барин, Лев Толстой...».

Такою же барскою, толстовскою ненавистью ненавидел он интеллигенцию так называемого «культурного общества», противопоставляя ее лживому быту великую народную правду...

〈114〉 «К тем писателям, которые, убежав из России, клевещут на оставшихся в ней, он относился с несвойственным ему раздражением 〈...〉 только тогда я увидел, как измучила его самого трехлетняя травля, которую вели против него соотечественники 〈...〉 И становилась понятной та жестокая неблоковская злоба, с которой он говорил об этих заграничных ругателях» (Чуковский).

А. Я. ЦИНГОВАТОВ. БЛОК И СОВРЕМЕННЫЙ ЗАПАД

Отд. отт. из ж. «Современник», 1923, № 2

〈93〉 Что стоит на первом плане в отзывах Блока о Западе?

Великое *отвращение* ко всей той буржуазно-капиталистической обстановке, в которой протекает жизнь современной Европы 〈...〉 к ее *культуре*, «неудачно и неглубоко названной этим именем» *.

〈94〉 И обобщающий вывод Блока, сделанный из наблюдений над городской капиталистической цивилизацией в Европе, звучит совсем безнадежно: «Более, чем когда-либо, я вижу, что *ничего из жизни современной я до смерти не приму* и ничему не покорюсь. Ее позорный строй внушает мне только отвращение. *Переделать уже ничего нельзя — не переделает никакая революция*».

〈95〉 «*Жизнь — страшное чудовище*; счастлив человек, который может, наконец, спокойно протянуться в могиле».

〈96〉 Уезжал Блок из Франции в 1911 г. с таким чувством: «Я не полюбил Парижа, а многое даже в нем возненавидел. Я никогда не был *во Франции, ничего в ней не потерял, она мне глубоко чужда*».

〈97〉 «Да и вообще надо сказать, что мне очень надоела Франция, и *хочется в культурную страну — Россию, где меньше блох, почти нет француженок*».

〈97〉 〈Из поэмы «Возмездие»〉

Век девятнадцатый, железный,
Воистину жестокий век!

* Здесь и далее в статье приводятся цитаты из кн.: М. А. Бекетова. Александр Блок. Пб., «Алконост», 1922. 〈*Прим. ред.*〉

Тобою в мрак ночной, безвездный
Беспечный брошен человек!
В ночь умозрительных понятий,
Материалистских малых *дел*,
Бессильных жалоб и проклятий,
Бескровных душ и слабых тел!

〈97〉 Век расшибанья лбов о стену
Экономических доктрин,
Конгрессов, банков, федераций,
Застольных спичей, красных слов,
Век акций, рент и облигаций
И *мало действенных умов*.

〈98〉 «Переделать уже ничего нельзя — не переделает никакая революция».

〈99〉 *Только в Германии поэт чувствовал себя хорошо*,— как нигде в Европе. *Полунемец по крови* и определенный *германофил по убеждениям*, Блок *говорит о Германии* не иначе, как с *нежным пристрастием*, а в одном письме прямо *признается*: «*очень я люблю немцев*».

〈99〉 «... Меня поразила красота и родственность Германии, ее понятные мне *нравы и высокий лиризм*, которым все проникнуто. Родина готики — только Германия, страна, наиболее близкая России, вечный упрек ей».

II

ИЗ МАТЕРИАЛОВ АРХИВА А. М. ГОРЬКОГО

Сообщение Н. И. Дикушиной

Среди блоковских документов, хранящихся в Архиве А. М. Горького, несомненный интерес представляет письмо к Горькому матери Блока А. А. Кублицкой-Пиоттух, написанное 22 октября 1917 г., т. е. в тот самый день, когда отмечалось 25-летие творческой деятельности Горького.

Вот это письмо:

Дорогой Алексей Максимович.

Пользуюсь случаем (25 лет Вашей деятельности) выразить Вам горячее свое чувство к светлому, чистому Вашему облику русского художника. Ваши творения вошли в мою жизнь.— А Ваша деятельность идейного большевика дорога мне бесконечно. Люди изолгались, привыкли брать обманами. Вы смотрите событиям и фактам в глаза и не боитесь называть вещи своими именами. И над всеми ужасами жизни, во всех Ваших творениях светит великое будущее человеческого Духа.

Если б у меня был талант и я могла бы присоединить свой голос к воплям о мире и разоружении, я бы попросила у Вас место в газете, но — не дано.

Кланяюсь Вам низко с благодарным и восхищенным трепетом души.

А. Кублицкая-Пиоттух, по первому мужу — Блок, мать поэта.

22 октября 1917 года
Петербург.

Письмо А. А. Кублицкой-Пиоттух характеризует не только личное ее отношение к Горькому. Известна духовная близость Блока и его матери, разделявшей убеждения своего сына. «Сын был ее исключительной, самой глубокой привязанностью»,— писала М. А. Бекетова (М. А. Бекетова. Александр Блок и его мать. Л.— М., изд-во «Петроград», 1925, с. 35). Неслучайна поэтому подпись «мать поэта».

В письме А. А. Кублицкой-Пиоттух прозвучала высокая оценка личности Горького и его деятельности. В этом смысле оно может быть соотнесено с известным письмом Блока к П. Б. Струве, написанным несколько ранее (30 июня 1917 г.) по поводу предложения вступить в «Лигу русской культуры», и его выступлением в марте 1919 г. на чествовании Горького в редакции «Всемирной литературы».

Блок и его мать считали высшим критерием оценки Горького, человека и писателя, его культурную и общественную деятельность, имевшую такое огромное значение в эпоху революционных событий в России.

Попутно скажем, что имя матери Блока возникает в другом документе Архива А. М. Горького и в другой связи.

После смерти Блока его мать и тетка М. А. Бекетова находились в бедственном положении: тяжесть утраты усугублялась крайне трудными обстоятельствами страшного голодного года в России. Академик С. Ф. Ольденбург обратился в Петроградскую Комиссию по улучшению быта ученых с ходатайством об устройстве А. А. Кублицкой-Пиоттух и ее сестры в общежитие для престарелых ученых. Заявление С. Ф. Ольденбурга слушалось на заседании КУБУ под председательством Горького 30 августа 1921 г., было вынесено решение об устройстве одной из сестер временно, вне очереди в Дом отдыха, поскольку общежитие для престарелых ученых еще не было до конца организовано (АГ).

Драгоценные сведения о последних днях Блока содержатся в воспоминаниях его современников: С. М. Алянского, Надежды Павлович, К. И. Чуковского, М. С. Шагинян. Мемуарную литературу дополняют материалы об участии Луначарского и Горького в судьбе Блока, опубликованные в 80 томе «Литературного наследства» и XIV томе «Архива А. М. Горького».

Но имеет значение каждый новый факт, каждый документ, освещающий последний период жизни поэта.

В Архиве А. М. Горького сохранились два письма Л. Д. Блок и одно письмо секретаря редакции «Всемирная литература» Е. П. Струковой к Горькому. Первое письмо Любови Дмитриевны написано 21 июня 1921 г., когда начались хлопоты об отъезде Блока в Финляндию. Второе письмо — 1 августа, менее чем за неделю до смерти Блока. Письмо Е. П. Струковой — 6 августа, за день до его кончины.

Приведем тексты этих писем:

1

21/VI 21

Глубокоуважаемый Алексей Максимович.

Посылаю Вам медицинское свидетельство, составленное консилиумом врачей, и лично к Вам обращенное письмо проф. Троицкого, в котором он указывает то, что не нашел возможным упомянуть в свидетельстве — необходимость заграничной поездки, за неимением благоустроенных санаторий в России. Проф. Троицкий просит это его письмо использовать как документ, если встретится надобность.

Что же касается прошения о выдаче паспорта с опросным листом, который я должна была Вам доставить заполненным Ал. Ал.,—его мне не удалось приготовить к сегодняшнему дню. Я натолкнулась на болезненное, происходящее от той глубокой и мучительной полосы неврастении, которая сейчас подавляет Ал. Ал., нежелание ничего предпринимать для своего спасения и неверие в осуществимость его. Тем не менее доктору и мне он обещал, в случае если другие откроют ему возможности выздоровления,— ими воспользоваться. Т. е. если Вы достанете согласие в Москве на его выезд, он сделает все необходимое и выполнит все формальности.

Я знаю о Вашем собственном желании помочь Ал. Ал., знаю, что я не должна просить Вас, но я не могу не сделать этого — на Вас вся моя надежда, и я умоляю Вас спасти его, п⟨отому⟩ ч⟨то⟩ отъезд — его единственное спасение.

Не обращаюсь к Вам лично, т. к. не отлучаюсь совершенно из дому.

Глубоко уважающая Вас

Л. Блок

2

Многоуважаемый Алексей Максимович.

Еще раз прошу Вас о помощи. Благодаря Вам Ал. Ал. получил пропуск за границу; положение его теперь очень тяжелое и воспользоваться поездкой нужно бы как можно скорее, если наступят дни некоторого улучшения. Поэтому мой пропуск решает все дело; если он опоздает — пропуск Ал. Ал. может оказаться уже бесполезным. Спасайте его, Алексей Максимович, требуйте мой пропуск сейчас же, в течение нескольких дней.

Глубоко уважающая Вас Л. Блок

1 авг. 1921 г.

3

Августа 6-го дня 1921 г.

Многоуважаемый Алексей Максимович.

Посылаю анкеты А. А. Блока. И. Н. Мечников говорил с проф. Игельстремом: виза, санатория, проезд — все обеспечено. Необходимо только срочно получить паспорта для А. А. и для его жены. Паспорта будут визироваться здесь Сальбергом. Если формальности по заполнению и регистрации паспортов отнимут много времени, может быть, по мнению И. Н. Мечникова, легче взять простые удостоверения на выезд с тем, что паспорта будут высланы дополнительно вслед уехавшим.

Завтра выезжает в Москву близкий друг семьи А. А. Блока Евгения Федоровна Книпович. М. б., она смогла бы избавить Вас от каких-нибудь лишних хождений по комиссариатам по этому делу, т. е. снести куда-нибудь по В/указанию нужные бумаги, взять их обратно и принести Вам и проч. С ней же можно было бы и паспорта переслать сюда, если Вы лично задержитесь в Москве. Если вы уедете, не получив их на руки, то, м. б., по Вашей записке их выдадут ей. Она будет иметь на то доверенность и от Блока, но ведь это, кажется, не действительно теперь.

С И. Н. Мечниковым мы сговорились, что паспорта будут переданы ему лично, как только они получатся; он проделает все формальности с визами.

Уважающая Вас Е. Струкова

В первом письме Л. Д. Блок содержится характеристика состояния Блока, и это одно из прижизненных свидетельств о его болезни.

Возможно, что строки письма Л. Д. Блок о «глубокой и мучительной полосе неврастении», о «нежелании ничего предпринимать для своего спасения и неверии в осуществимость его» дали Горькому повод для более широких и общих выводов о характере Блока, которые он высказывал позже, в частности в письме к Р. Роллану в марте 1928 г., где он замечал, что в последние годы жизни Блок страдал «бездонной тоской», болезнью многих русских, ее можно назвать атрофией воли к жизни» (М. Горький. Собр. соч. в 30 томах, т. 29, с. 83).

В публикуемых письмах со всей определенностью вырисовывается роль Горького, принимавшего самое непосредственное участие в судьбе Блока. «Я знаю о Вашем собственном желании помочь Ал⟨ександру⟩ Ал⟨ександровичу⟩ ⟨...⟩ на Вас вся моя надежда»,— писала Л. Д. Блок 21 июня и 1 августа: «Благодаря Вам Ал⟨ександр⟩ Ал⟨ександрович⟩ получил пропуск за границу».

В письме Л. Д. Блок от 21 июня важна еще одна фраза: «Не обращаюсь к Вам лично, так как не отлучаюсь совершенно из дому». Дело, очевидно, в том, что первый раз Л. Д. Блок обращалась к Горькому именно лично, т. е. приезжала к нему с просьбой о помощи. И произошло это, по всей вероятности, 28 или 29 мая 1921 г.

Как известно, первые тревожные симптомы болезни Блока появились в середине апреля, и состояние его резко ухудшилось во время последней поездки в Москву в начале мая. Болезнь быстро развивалась. 28 мая у Блока случился сильный сердечный приступ, о котором он писал матери вечером этого дня: «У меня уже вторые сутки — сердечный припадок, вроде

твоих <...> я две ночи почти не спал, температура то ниже, то выше 38» (VIII, 538, см. также: М. А. Бекетова. Александр Блок. Биографический очерк. Пб., «Алконост», 1922, с. 301). После этого приступа Л. Д. Блок, видимо, и разговаривала с Горьким. Можно предположить, что, узнав от Любови Дмитриевны о тяжелом состоянии Блока, Горький 29 мая написал письмо Луначарскому, в котором сообщил о серьезной болезни поэта (и, в частности, о припадках астмы) и просил «выхлопотать — в спешном порядке <...> выезд в Финляндию», где он «мог бы помочь ему устроиться в одной из лучших санаторий» («Архив А. М. Горького», т. XIV. М., «Наука», 1976, с. 99).

В это время Горький как председатель КУБУ был связан с видными финскими учеными и деятелями искусства, которых он знал еще в предоктябрьские годы и которые именно летом 1921 г. деятельно помогали русским ученым продуктами и способствовали отправке ученых в санатории Финляндии (АГ — протоколы заседаний КУБУ от 3 мая и 26 июля 1921 г.).

В начале июня благодаря активному лечению состояние Блока несколько улучшилось, но затем вновь наступило ухудшение, и 18 июня состоялся консилиум, в котором приняли участие доктор Пекелис, лечивший Блока, профессор Троицкий и специалист по нервным болезням Гизе. Об этом консилиуме писала М. А. Бекетова: «Троицкий вполне согласился с Пекелисом в постановке общего диагноза; он нашел положение крайне серьезным и тогда же сказал Пекелису: „Мы потеряли Блока“... Решено было увезти больного в санаторию за границу» (М. А. Бекетова. Александр Блок, с. 299).

После этого консилиума, 21 июня, Л. Д. Блок и написала Горькому публикуемое здесь письмо.

Очевидно, к этому письму была приложена копия свидетельства врачей, сделанная Л. Д. Блок и заверенная секретарем редакции «Всемирная литература» Е. П. Струковой.

«Мы, нижеподписавшиеся, освидетельствовали 18/VI — 1921 г. состояние здоровья Александра Александровича Блока и находим, что он страдает хронической болезнью сердца с обострением эндокардита и субъективными ощущениями стенокардического порядка (Endocarditis chron. exacerbata).

Со стороны нервной системы имеются явления неврастении, резко выраженной.

А. А. Блок нуждается в продолжительном лечении, причем в ближайшем будущем необходимо помещение его в одну из хорошо оборудованных со специальными методами для лечения сердечных больных санаторий.

Профессор Военно-медицинской академии и Медицинского института П. Троицкий.

Заведующий Нервным отделением мужской Обуховской больницы доктор медицины Гизе.

Доктор медицины Пекелис. 18/VI — 1921 г. Петроград».

23 июня, уезжая в Москву, Горький, очевидно, взял с собой этот документ. В Москве Горький пробыл до 24 июля. Он вел здесь большую работу по организации помощи голодающим: 1921 год был очень трудным в жизни Советской России. Написанное им воззвание «Честные люди» было адресовано гражданам Европы и Америки и крупнейшим литераторам Запада и призывало помочь народу России. За этот месяц Горький неоднократно встречался с Лениным. Ленин был обеспокоен здоровьем самого Горького, у которого началось кровохарканье. В письме от 9 июля он настоятельно советовал Горькому уехать за границу для лечения.

В начале июля были получены новые известия о Блоке. Как вспоминала Н. А. Нолле-Коган, она была встревожена письмом Блока от 2 июля, где он писал об «остром состоянии» своей сердечной болезни, из которой он не видел «исхода». Она отправила Блоку письмо, в котором сообщала, что П. С. Коган говорил с Луначарским и Горьким о болезни Блока. «Горький сказал Петру Семеновичу, что Вы очень больны, что он делал доклад Ленину, прося выпустить Вас за границу,— писала Нолле-Коган.— Ленин согласился, и Горький передал заявление Менжинскому» (наст. том, кн. 2, с. 355, 364).

Вернувшись в Петроград и узнав о резком ухудшении здоровья Блока, Горький послал Луначарскому срочную телеграмму, в которой указывал на необходимость спешного выезда Блока в Финляндию, а также просил разрешить выезд его жене, так как без провожатого Блок уже не мог передвигаться (см. ЛН, т. 80, с. 294). Любовь Дмитриевна или не знала об этой телеграмме Горького, или возникла новая необходимость ускорить получение разрешения для нее на выезд вместе с Блоком. Разрешение было дано, и 6 августа Луначарский

телеграммой сообщил об этом Горькому (см. «Архив А. М. Горького», т. XIV, с. 100). Судя по всему, Горький сразу же известил Л. Д. Блок, и письмо Е. П. Струковой о том, что было сделано в связи с предстоящим отъездом, переслали Горькому в тот же день, так как 6 августа Горький уехал в Москву. Кстати, письмо Е. П. Струковой уточняет дату отъезда Горького. В письме к Е. П. Пешковой, написанном в начале августа, Горький сообщал, что приедет в Москву в ближайшую пятницу или субботу, то есть 6 или 7 августа (см. «Архив А. М. Горького», т. IX. М., «Худож. литература», 1966, с. 211). В ЛЖТ его отъезд в Москву помечен 9...10 августа (ЛЖТ, вып. III, с. 243). Но тогда непонятно, почему Горький, оставаясь в Петрограде, не присутствовал на похоронах Блока.

Стало быть, Горький выехал из Петрограда 6 августа с намерением продолжать хлопоты за Блока, потому что, каким бы плохим ни было состояние Блока, никто не предполагал (и это видно по письму Е. П. Струковой), что конец его так близок.

Горький вернулся из Москвы в середине августа, после 12 числа (в ЛЖТ сказано, что не позднее 15 — там же, с. 244). Поэтому он не был на первом после смерти Блока заседании редакционной коллегии «Всемирной литературы», которое состоялось 12 августа. Отсутствовал Горький и на посвященном памяти Блока заседании редакционной коллегии 26 августа, так как, скорее всего, 25 августа опять уехал в Москву (см. в его письме к Е. П. Пешковой, написанном в среду 24 августа 1921 г.: «Выеду, м⟨ожет⟩ б⟨ыть⟩, завтра, но — вероятнее — во вторник, после заседаний» («Архив А. М. Горького», т. IX, с. 212; дата отъезда, сообщенная в ЛЖТ: 27...30 августа,— нуждается в уточнении. См. там же, с. 246).

В письме Е. П. Струковой речь идет об анкете, необходимой для выезда за границу. В июне Блок отказался ее заполнить, 3 августа ее заполнила Л. Д. Блок. Вот эта анкета:

«В Народный комиссариат иностранных дел

З а я в л е н и е

Предоставляя при сем необходимые документы, прошу выдать мне заграничный паспорт для проезда *в Финляндию* *

Подпись *Ал. Блок*
Августа «3»1921 г.

Опросный лист

Александра Александровича Блока
Выезжающего в *Финляндию*
Через пограничный пункт...

1. Имя (если таковых несколько, то следует поименовать все)	*Александр*
2. Фамилия (сложные фамилии выписываются полностью; замужние, разведенные и вдовы указывают также свои девичьи фамилии)	*Блок*
3. Точное время и место рождения	*1880 г. Петербург*
4. Настоящее место жительства и с какого времени	*Петербург, постоянно*
5. Место жительства за последние 5 лет	*Петербург, постоянно, за выездами в Москву и др.*
6. Точное указание рода и места занятий, занимаемой должности и получаемого оклада	*Председатель Управления Большого драматического театра. Жалованье 40 тысяч в месяц.*
7. Род занятий за последние 5 лет	*Литературная работа*
8. Семейное положение (холост, женат, девица, замужем, вдова или разведенная, если есть дети, то их имена и возраст)	*Женат*
9. Отношение к воинской повинности	*Снят с учета 28/II 1921 г.*
10. Год призыва на военную службу	*Принят на учет 7/II 1919 г.*
11. Подданство	*русский*
12. Подданство родителей	*русские*
13. Если проситель перешел из иностранного подданства, то какого и когда	—

* Курсивом отмечен рукописный текст.

14. Национальность	*русский*
15. Партийность	—
16. Куда именно предполагается выезд за границу	*в Гельсингфорс и санатории*
17. Точное указание цели поездки и перечисление представляемых к удостоверению документов	*лечение, медицинское свидетельство*
18. Продолжительность поездки	*2—3 месяца*
19. Поездки за границу в течение последних 3-х лет	—
20. Если имеются за границей родственники, то указать их имена, место жительства и род занятий	—
21. Кто из родственников остается в Советской России	*мать*
а) Фамилия, имя, отчество	*Александра Андреевна Кублицкая-Пиоттух*
б) Чем занимается	*пенсионерка*
в) Адрес	*Офицерская 57, кв. 23*
22. Кто из Ваших знакомых, остающихся в Советской России, может поручиться в том, что Ваша деятельность за границей будет лояльна по отношению к РСФСР	

<Подпись> *Ал. Блок*
3 августа 1921 г.

Ваш адрес *Офицерская 57, кв. 23.*

Эта анкета в двух экземплярах была передана Горькому вместе с письмом Струковой. В письме Струковой речь идет о других лицах, также причастных к хлопотам за Блока.

«Завтра выезжает в Москву близкий друг семьи А. А. Блока, Евгения Федоровна Книпович»,— писала Е. П. Струкова. Отъезд Е. Ф. Книпович не состоялся. Как вспоминала Н. А. Павлович: «Утром (7 августа 1921 г.— *Н. Д.*) ко мне вошла Женя Книпович. Она вернулась с Московского вокзала: по просьбе Любови Дмитриевны она должна была поехать в Москву хлопотать о визе для сопровождения Александра Александровича в Финляндию в санаторий. Она позвонила к Блокам и узнала, что час назад Александр Александрович скончался» (Надежда Павлович. Воспоминания об Александре Блоке.— «Прометей», № 11, М., «Мол. гвардия», 1977, с. 252; см. также: Е. Ф. Книпович. Об Александре Блоке.— Наст. том, кн. 1).

Илья Николаевич *Мечников* — племянник известного ученого И. И. Мечникова, работал в издательстве З. И. Гржебина и по делам издательства выезжал в Финляндию, был хорошо знаком с финскими учеными и деятелями искусств, в частности с профессором Андреем Викторовичем Игельстремом (или Ингельстромом).

Профессор А. В. Игельстрем, которого Горький знал еще по пребыванию в Финляндии в 1906 г., участник революционных событий в Финляндии, в августе 1921 г. приезжал в Петроград с делегацией Финского Академического комитета и вместе с другими членами делегации 2 августа 1921 г. присутствовал на заседании Петрокубу, где в числе других обсуждался вопрос о помощи финских ученых ученым России. Поэтому И. Н. Мечников мог лично говорить с А. В. Игельстремом по поводу быстрейшего оформления бумаг Блока.

Следует сказать еще о двух документах Архива А. М. Горького: о протоколах заседаний редколлегии «Всемирной литературы» после смерти Блока.

Блок и «Всемирная литература» — тема обширная. Почти три года Блок был связан с этим издательством и через него — с Горьким.

В редакции «Всемирной литературы» были произнесены знаменательные слова Блока о Максиме Горьком в связи с его пятидесятилетием, прочитана статья «Крушение гуманизма». Для издательства «Всемирная литература» были написаны предисловие к сочинениям М. Ю. Лермонтова и важная для блоковской концепции культуры статья о Гейне, ряд рецен-

зий. Для секции исторических картин — пьеса «Рамзес» и пояснения к ней. Направление деятельности «Всемирной литературы» натолкнуло Блока на идею создания Библиотеки мирового репертуара. Много пометок о работе во «Всемирной литературе» встречается в «Записных книжках» Блока.

К сожалению, сохранившиеся в Архиве А. М. Горького протоколы (а сохранились не все) заседаний Секции исторических картин и редколлегии «Всемирной литературы» (см. фонд А. Н. Тихонова, оп. 2) отличаются крайней скупостью изложения. По ним можно лишь уточнить, кто присутствовал на заседании, какие вопросы обсуждались, кто выступал и какие решения были приняты в результате обсуждения.

Поэтому протоколы могут помочь только при уточнении факта присутствия Блока на том или ином заседании, его выступлений, порученных ему дел. Надо сказать, что Блок очень аккуратно посещал заседания и секции и редколлегии.

В Секции исторических картин, пожалуй, наибольший интерес представляет прохождение его пьесы «Рамзес», написанной специально по заказу этой секции в 1919 г.

На заседании 14 мая 1920 г. был решен вопрос о первоочередности представленных к постановке исторических пьес, и среди других была названа пьеса «Рамзес», однако уже 18 мая представитель БДТ А. Н. Лаврентьев сообщил, что директор БДТ А. И. Гришин считает эту пьесу недостаточно сценичной, а отдельные эпизоды, такие, как появление Озириса, сценически невыполнимыми. Это заявление Лаврентьева обсуждалось на заседании 25 мая, и мнение представителей БДТ было оспорено. Секция считала, что нужны не такие пьесы, которые могут идти на любой сцене, а «специфические». Было решено настаивать на постановке «Рамзеса» и просить Блока написать к «Рамзесу» два авторских предисловия, т. е. авторское слово к публике и авторское пояснение к пьесе. Примечание было написано (экземпляр хранится в Архиве А. М. Горького), и 12 августа пьеса была вновь рекомендована к постановке Петроградским ТЕО, однако постановка не осуществилась, так как Секция исторических картин не получила своего театра (см. протокол от 16 сентября 1920 г.).

На заседании Секции исторических картин Блок выступал и как рецензент представленных в секцию пьес, в частности пьесы А. Чапыгина «Олег Гориславич» (см. VI, 429—431), вокруг которой разгорелись споры, пьесы А. Бежецкого «История восстания в Нидерландах» (см. VI, 431—432) и др.

На секции же 10 июня 1920 г. были заслушаны вступительные статьи, точнее, речи Блока о «Разбойниках» Шиллера и «Много шуму из-за пустяков» Шекспира.

Протоколы заседаний редколлегии «Всемирной литературы», как уже сказано, очень лаконичны. В записях этих протоколов наибольший интерес представляет выступление Блока по поводу редактирования М. Шагинян либретто «Золота Рейна» Р. Вагнера (8, 18 и 22 февраля 1921 г.).

Кроме этого, представляют интерес два протокола заседаний редколлегии издательства «Всемирной литературы», происходивших после смерти Блока. Приведем их полностью.

Протокол заседания от 12 августа 1921 г.:

«Присутствовали В. М. Алексеев, Е. М. Браудо, Б. Я. Владимирцев, А. Л. Волынский, И. Ю. Крачковский и Б. П. Сильверсван.

Обсуждали.

Открывая заседание, председатель Коллегии А. Л. Волынский предлагает почтить вставанием память скончавшегося 7 августа члена коллегии Александра Александровича Блока. Память покойного почтена вставанием.

После краткой речи А. Л. Волынского Коллегия постановляет:

1. Ближайшее очередное заседание, имеющее состояться в пятницу 26 августа в 4 часа дня, посвятить исключительно памяти скончавшегося члена коллегии А. А. Блока. Предложить А. Белому, Иванову-Разумнику, В. А. Зоргенфрею и сотрудникам издательства принять участие в заседании.

2. Отслужить панихиду в помещении издательства в девятый день кончины А. А. Блока, то есть 15 августа.

3. Поместить в комнате заседаний издательства портрет А. А. Блока.

4. Благодарить лиц, озаботившихся покупкой цветов, возложенных на гроб А. А. Блока от лица членов коллегии и служащих издательства. А. Л. Волынский, Б. П. Сильверсван» (АГ, ф. А. Н. Тихонова, оп. 2, ед. хр. 54).

26 августа 1921 г. состоялось заседание памяти Блока.

«Присутствовали: Алексеев, Браудо, Владимирцев, Волынский, Крачковский, Лернер, Сильверсван, Ганзен.

Из сотрудников и гостей: С. М. Алянский, В. А. Пяст, В. А. Зоргенфрей и др.

Председатель А. Л. Волынский открывает заседание предложением почтить память покойного вставанием и произносит краткую речь. Затем слово предоставляется Е. М. Браудо, который делится своими воспоминаниями о последней своей встрече с А. А. Блоком. На отдельные вопросы о последних днях жизни поэта отвечает С. М. Алянский,— после этого с кратким словом выступают В. Н. Пяст, М. Л. Лозинский, Н. О. Лернер и В. А. Рождественский.

После заключительной речи председателя собрание закрывается. А. Волынский, Б. Сильверсван» (там же, ед. хр. 55).

В Архиве А. М. Горького хранится машинопись известной рецензии Блока «О Дмитрии Семеновском» с надписью-резолюцией Горького: «Перепечатать на машинке, дать мне два экземпляра, оригинал — автору. А. П.».

Рецензия помечена 8 июня 1919 г. (АГ).

Несколько лет спустя, в 1926 г., Д. Семеновский вспоминал: «Статья Блока написана по следующему поводу.— Весной 1919 г. я собрал все свои стихи в 3 сборника: „Заревые знамена“ (революционные стихи), „Иконостас“ (церковные) и „Сомнительные стихи“ (ни хорошие, ни плохие). Сборники я послал Горькому,— мне хотелось издать книжку. Горький, очевидно, передал их для отзыва Блоку, который и написал статью „О Дмитрии Семеновском“» (Д. Семеновский. Мир хорош. М., изд-во «Круг», 1927, с. 7; см. также: Д. Семеновский. Избранное. Иваново, 1955; «Рабочий край», 11 августа 1946 г.). Оригинал перепечатанной статьи был передан, однако, не Блоку, а Д. Семеновскому, о чем свидетельствуют письма М. Слонимского, бывшего в 1919 г. секретарем издательства З. И. Гржебина, к Д. Семеновскому и Д. Семеновского — Горькому.

1

Петербург, июня 19 дня 1919 г.

Тов. Семеновский,

прошу Вас очень вернуть оригинал посланной Вам рецензии А. Блока,— автору желательно было бы сохранить оригинал этот у себя.

Рецензию эту посылаю Вам в перепечатанном виде.

Оригинал прошу отправить заказным письмом по адресу Алексея Максимовича, чтобы он не мог пропасть.

С товар. прив. секретарь изд-ва М. Слонимский

2

С великим извинением возвращаю Вам, Алексей Максимович, рукопись Блока, присланную мне ошибочно.

Я давным-давно был должен отослать ее Вам, но преклонение пред поэзией Блока сделало для меня дорогой и его рукопись. Вот почему я так долго задерживал ее.

Ваш Д. Семеновский

21 дек. 1920 г.

Публикуемые документы, уточняя историю написания статьи, помогают прояснить некоторые более широкие проблемы.

Как известно, Горький обращался к Блоку с просьбой прочитать не только стихи Д. Семеновского, но и других иваново-вознесенских поэтов: И. Жижина и С. Семина. В «Записных книжках» Блока за 1919 г. есть пометки: «*12 мая*. У Горького (о журнале). Отдать ему стихи Семина и Жижина (из Иваново-Вознесенска). Томительно и неискренно»; «*6 июня*... Стихи Семеновского (Горький и Гржебин)» и «24 августа... О стихах Ив. Жижина» (ЗК, 460, 462,

472). Отзывы Блока о стихах Ив. Жижина и С. Семина не найдены, хотя слова в «Записной книжке» — «томительно и неискренно» — достаточно характеризуют отношение Блока к этим поэтам, но к Жижину Блок, как это следует из другой записи, обращался вторично.

Стихи Д. Семеновского, И. Жижина и С. Семина Горький, возможно, хотел дать в журнал, который он собирался тогда издавать. Не случайно первая запись Блока о стихах Семина и Жижина связана с его разговором с Горьким о журнале.

Отзыв Блока о Дмитрии Семеновском свидетельствует об очень серьезном отношении великого поэта к начинающему автору. Блок почувствовал, что перед ним «подлинный поэт» (VII, 343), и потому скрупулезно и тщательно прочитал все тетради Д. Семеновского. В его анализе не было скидок на молодость и неопытность. Поэтому, какими бы резкими ни были замечания Блока, они с благодарностью были приняты Семеновским.

Думается, что, поддерживая Семеновского и других иваново-вознесенских поэтов и обращая на них внимание Блока, Горький хотел до известной степени противопоставить их как поэтов подлинных — поэтам пролеткультовским, которые сбивались на декламацию — «насвистанность», как писал Блок в том же отзыве о стихах Д. Семеновского (VI, 343).

Несколько позже, в 1930 г., в предисловии к книге Д. Семеновского «Земля в цветах» Горький подтвердил эту мысль, высказанную Блоком и укрепившую его собственное мнение о поэзии Д. Семеновского: «Он — поэт настоящий, „от земли“,— поэт, которого должен знать наш массовый читатель» (М. Горький. Полн. собр. соч., т. 25, с. 267).

Почти одновременно с Блоком об иваново-вознесенских поэтах, чьи стихи (И. Жижина, М. Артамонова, С. Семина, Д. Семеновского и др.) вошли в сборник «Крылья свободы», благожелательно писал А. В. Луначарский в статье «Новая поэзия» («Известия ВЦИК», 27 ноября 1919; опубл. также: Собр. соч., т. 2, с. 216—220).

Несомненно, что, читая стихи рабочего поэта Д. Семеновского, Блок думал о путях развития новой поэзии. Об этом размышлял в своей статье и Луначарский. Утверждение подлинности было для них ее важнейшим критерием.

В этой связи нельзя не вспомнить еще об одном важном документе, который постоянно привлекает внимание историков советской литературы. Это — записка В. И. Ленина Ш. Н. Манучарьянц, написанная в конце января 1921 г.:

«Прошу достать (комплект) „*Рабочий край*“ в Ив.-Вознесенске. (Кружок *настоящих* рабочих поэтов.)

Хвалит Горький {Жижин
Артамонов
Семеновский»

(В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 52, с. 58).

Можно с уверенностью предположить, что, когда Горький хвалил Ленину иваново-вознесенских поэтов, как настоящих рабочих поэтов, он опирался и на мнение Блока.

БЛОК И ЛУНАЧАРСКИЙ

(ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОЙ КУЛЬТУРЫ)

Статья Н. И. Дикушиной

В 1908 г. в публичной лекции «О театре», развивая идею народного театра, Блок сослался на статью Луначарского «Социализм и искусство» [1], назвав эту статью замечательной (V, 262).

И Блок и Луначарский в своих размышлениях о театре неоднократно обращались к книге Р. Вагнера «Искусство и революция» (1848). Когда в 1918 г. она вышла в России вторым изданием [2], Луначарский во «Вступлении» к книге, а Блок в статье, опубликованной в газете «Жизнь искусства» [3], восторженно приветствовали появление этой, по словам Луначарского, «живой, глубокой и революционной брошюры» [4], рожденной, как и «Коммунистический манифест», революционными событиями 1848 г.

Эти факты дают ключ к важной и сложной теме «Блок и Луначарский».

Луначарскому принадлежало немало критических отзывов о Блоке и обширная статья о его творчестве, опубликованная в 12-томном собрании сочинений Блока [5], он был даже автором стихотворений, в которых полемизировал с поэтом [6]. В свою очередь, и у Блока можно найти ряд отзывов о Луначарском. Литературные взаимоотношения Луначарского и Блока исследованы в работе Н. А. Трифонова «А. В. Луначарский и советская литература» [7]. Автор сосредоточил внимание преимущественно на идейно-творческих расхождениях Луначарского с Блоком. Между тем возможен и другой путь. Естественно, многое разделяло крупнейшего поэта символизма Блока и революционера, марксиста Луначарского. Но имея в виду идеи, их объединяющие, в частности, идеи нового театра, представляется важным установить не только различие идейно-эстетических взглядов Блока и Луначарского, но и их близость в решении важнейших проблем строительства нового искусства.

Очень значительны для понимания послеоктябрьского творчества Блока слова А. Твардовского: «Сколько нужно было внутренней силы, чтобы через бездну предрассудков среды, литературной школы, из глубин старой культуры и чащобы новейших декадентских „премудростей", отвергая и осуждая бесповоротно эгоизм старого мира, выйти на одну дорогу с народом к революции и славить ее.

Не то нам подчеркивать, что в творчестве и зрелого Блока <...> есть черты, запечатленные предрассудками школы, ограниченностью мировоззрения и т. п., а то, что чрез все это — предрассудки, среду, обстоятельства социально-классового порядка — поэт услышал революцию, пришел к ней, пропел ей песнь — песнь ее торжества и силы, хотя бы понимаемые в особом духе. Поэзия его не осталась позади века...» [8].

Творческая жизнь Блока в послеоктябрьские годы была широкой и разнообразной. Автор «Двенадцати», «Скифов», блестящих публицистических статей, он вел еще и большую практическую работу «по ведомству Луначарского» — в Театральном отделе Народного комиссариата просвещения.

Блок всегда был человеком деятельным. «Моя лекция имела, в сущности, большой успех,— писал он жене 21 марта 1908 г., вскоре после своей лекции о театре.— Читал я хорошо <...> Очень широкие планы на будущее и много реального дела» [9]. «Широкие планы» и «реальное дело» всегда были для Блока взаимосвязаны. Поэтому так чутко уловил он «рабочую сторону большевизма, которая

за летучей, за крылатой» (VII, 321), поэтому так много сил отдал деятельности в Репертуарной секции и Большом драматическом театре.

Работа Блока в Репертуарной секции и в Большом драматическом театре освещалась в статьях В. Н. Орлова и Ю. К. Герасимова [10], но представляется важным вернуться к этой сфере его послеоктябрьской деятельности в связи с некоторыми общими проблемами нового искусства и в свете отношений Блока и Луначарского, развивавшихся более всего именно по линии Народного комиссариата просвещения.

1

«Может ли интеллигенция работать с большевиками?» Такой вопрос задала газета «Петербургское эхо» ряду видных литературных и общественных деятелей в начале января 1918 г.

Блок ответил на этот вопрос прямо, без колебаний: «Может и обязана» (VI, 8).

Формы работы с большевиками были еще не прояснены, еще только нащупывались возможные контакты, и прежде всего — в сфере деятельности Народного комиссариата просвещения, возглавляемого Луначарским. Необозримое в те годы поле деятельности Наркомпроса давало широкие возможности для развертывания работы в любой области литературы и искусства.

Многие советские писатели, художники, артисты, музыканты прошли «службу» в ЛИТО, ИЗО, ТЕО, МУЗО и других отделах Наркомпроса. Среди них был и Александр Блок. Его служба в Наркомпросе длилась с 1918 по 1921 г. Он работал в Комиссии по изданию классиков, в Петроградском Театральном отделе, Большом драматическом театре, был членом коллегии ЛИТО, редколлегии издательства «Всемирная литература», секции исторических картин.

Организуя всевозможные издательства, литературные, театральные и прочие отделы в Петрограде и Москве, Советское правительство наряду с высокими общественными целями просвещения и образования народа ставило и элементарную, практическую, но в то же время очень гуманную задачу: дать интеллигенции заработок, а следовательно, хлеб и дрова, т. е. дать возможность пережить суровые времена. Это было одним из проявлений деятельного — реального — гуманизма революции.

«Из слов Соловьева Любе выяснилось, что я буду получать 500 р. в Театральном отделе, в которой-то из секций. Надо, значит, работать там»,— записал Блок 24 апреля 1918 г. (ЗК, 402).

Деятельность Блока в Наркомпросе была службой, и она в те годы была неизбежностью. Обстоятельства жизни художественной интеллигенции той поры нельзя сбросить со счетов. Ее, не слишком практичную, не приспособленную к житейским невзгодам, в первую очередь коснулись тяготы быта, неизбежные в условиях страшной экономической разрухи. Сотрудники издательства «Всемирная литература» произвели подсчет прожиточного минимума в 1920 г. Сумма оказалась огромной — 255 тысяч рублей. Между тем гонорары писателей были низкими, и, как говорилось в том же документе, Шекспир, чтобы прожить, должен был бы писать 3 пьесы в месяц, а Тургенев, получив гонорар за «Отцов и детей» (155 000 р.), смог бы прожить на эту сумму всего 3 недели [11].

«Записные книжки» Блока отразили бедственность положения интеллигенции. «Ни пищи, ни денег»,— записал он 30 апреля 1918 г. (ЗК, 403). О деньгах, дровах, пище, платье, сапогах, точнее об их отсутствии или необходимости их достать, Блок писал часто. Это были трудные годы. Нередко Блок делал заметки другого рода—об утомительности бесконечных заседаний, на которых ему, члену различных бюро, комиссий, коллегий, приходилось присутствовать. «Как я устаю от бессмысленности заседаний!» (ЗК, 409),— однажды вырвалось у Блока. «Как безвыходно все,—пишет он 21 августа 1918 г.—Бросить бы все, продать, уехать далеко — на солнце и жить совершенно иначе» (ЗК, 422) [12].

Одновременно — и этот мотив также присутствует в «Записных книжках» — развивались болезни, ускорившие трагический конец поэта: болезнь сердца, цинга, сдавали нервы.

В этих тяжелых жизненных обстоятельствах протекали последние годы жизни Блока. Но «все бытовое, житейское, быстро сменяющееся» не могло закрыть от Блока смысла эпохи, «имеющей не много равных себе по величию» (VI, 12, 11).

Дневник Блока и его «Записные книжки» отразили одновременно напряженную духовную жизнь, которой жил Блок, создавая «Двенадцать», «Скифы», главы «Возмездия», статьи «Интеллигенция и революция», «Русские дэнди», «Крушение гуманизма», «Катилина», «О назначении поэта».

И, как это ни покажется странным, «службу» Блока, которая нередко приводила поэта к полному упадку сил, ввергала в отчаянье, эту «службу» надлежит рассматривать как особую область его творчества. «Поэзия» и «государственная служба» не вступили в непримиримое противоречие. Более того, в своей служебной деятельности Блок хотел видеть реальное осуществление своих идей в области культуры.

Гений Блока не пребывал постоянно на «горних вершинах» духа. «Русские *гениальные* писатели все шли путями трагическими и страшными; они урывали у вечности мгновение для того, чтобы потом упасть во мрак и томиться в этом мраке до нового озарения» (VI, 290). Эти слова были сказаны Блоком в 1918 г. о Грибоедове и Гоголе, но они имели глубоко личный, выстраданный смысл, особенно для последних лет жизни. «Elan» и «выпитость» (тоже слова Блока) характеризуют его душевное состояние той поры. В смене их отражались порой не противоречия Блока с новой действительностью, как это может показаться на первый взгляд, но его внутренняя неустойчивость, изменчивость настроений. И все же присущие Блоку «взлеты» и «падения» не нарушали удивительной цельности его натуры, стремившейся переплавить разнородные, противоречивые, великие и малые явления жизни в целостное и гармоническое мировосприятие.

В своем ответе на анкету газеты «Петербургское эхо» Блок писал: «Вне зависимости от личности, у интеллигенции звучит та же музыка, что и у большевиков. Интеллигенция всегда была революционна. Декреты большевиков — это символы интеллигенции. Брошенные лозунги, требующие разработки» (VI, 8).

Это заявление Блока — первое его печатное признание своей солидарности с большевиками — необычайно важно и в индивидуальном плане, для понимания блоковской судьбы в революции.

«...У интеллигенции звучит та же музыка, что и у большевиков»; «Декреты большевиков — это символы интеллигенции». Эти слова выражали глубокое убеждение Блока.

Декреты большевиков, которые мог иметь в виду Блок,— это Декрет о мире (гневное отношение Блока к империалистической войне известно), Декрет о земле, принятый 9 ноября 1917 г., Декрет об учреждении Государственной комиссии по просвещению (вскоре преобразованной в Народный комиссариат), в котором определялась важнейшая задача: «проводить в жизнь ряд мероприятий, имеющих целью обогатить и осветить как можно скорее духовную жизнь страны». Далее — Декрет о печати (10 ноября 1917 г.), Декрет о Государственном издательстве от 11 января 1918 г., поставивший важную цель дешевого издания классиков для широких народных масс.

Публикация ответа Блока совпала с началом его работы в Комиссии по изданию классиков при Народном комиссариате просвещения [13].

Первое заседание Комиссии состоялось 17 января 1918 г. под председательством П. И. Лебедева-Полянского. Оно показалось Блоку, судя по его дневниковой записи, несколько нестройным и незавершенным. Оно и было таким в силу сложности и непроясненности встававших перед Комиссией задач общего характера.

Выступивший первым П. И. Лебедев-Полянский изложил цели и задачи Комиссии. Необходимо переиздание классиков, говорил Лебедев-Полянский,

это «настоятельно диктуется тремя моментами: во-первых, голодом на книжном рынке, во-вторых, необходимостью придти на помощь безработным печатникам, в-третьих, нуждою народа к книге». Лебедев-Полянский сообщил, что полное, научное издание классиков подготовит Академия наук. Комиссия же даст издание для широких читателей — народное — в виде отдельных произведений или избранных сочинений.

Цели и задачи работы Комиссии ни у кого из присутствующих, разумеется, не вызвали возражений. Но в связи со вторым пунктом повестки— об издании сочинений Некрасова — встал вопрос о том, печатать ли эти книги по старой орфографии или по новой. «Вопрос так остро затрагивает высказывавшихся по нему членов комиссии — А. А Блока, П. И. Лебедева-Полянского, М. П. Горбункова и Л. М. Рейснер,— что по предложению А. Н. Бенуа окончательное решение о нем постановлено отложить до следующего очередного заседания Комиссии, причем для полноты освещения этого вопроса решено пригласить в состав Комиссии П. О. Морозова, Р. В. Иванова-Разумника и представителей от педагогов» [14],— лаконично говорится в протоколе заседания.

Но сохранилась дневниковая запись Блока от 18 января 1918 г., в которой более подробно, хотя и отрывочно изложена суть спора о новой орфографии. Дневниковая запись примечательна характерной для Блока точной, «протокольной» фиксацией аргументов спорящих, размышлениями самого Блока по поводу новой орфографии, острыми и меткими зарисовками присутствующих: «В Полянском— марксистско-эмигрантско-интеллигентско-луначарско-хитровато-добродушное. Очень любезный. Сам все это знает про себя (15 лет нелегальности)» (VII, 321).

В записях, сделанных Блоком на следующий день после заседания, отразились его раздумья об общем смысле происходящего, настойчивое стремление соотнести свою судьбу с судьбой народа и великими событиями революции.

Нельзя не помнить, что именно в эти дни писалась поэма «Двенадцать», что уже завершалась статья «Интеллигенция и революция». Поэтому так волновала Блока встреча с представителями новой власти и так остро переживал он свою ответственность перед революционным народом: «Я лично не привязан к старому,— объяснял Блок свою позицию в защиту старой орфографии,— и, может быть, могу переучиться даже сам, но опасаюсь за объективную потерю кое-чего для художника, а *следовательно*, и для народа» (VII, 320).

Заседание состоялось в Зимнем дворце. «Опять гадость Зимнего дворца (хотя эти комнаты прибранные, с мебелями)»,— пишет Блок. «Гадость Зимнего дворца» — это раскрывшаяся при допросах царских министров тягостная картина последних дней императорской власти. Зимний дворец для Блока стал символом мрачной и бездарной власти русских царей. И в том же Зимнем дворце он впервые лицом к лицу столкнулся с большевиками. Блок размышляет: «Трагичность положения (нас мало). Какая-то грусть — может быть, от неумелости, от интеллигентскости, от разных языков. Что-то и хорошее (доброе).

Это — труд, великий и ответственный. Господа главные интеллигенты не желают идти в труд, а не в „с кондачка“».

И далее как итог размышлений знаменательное признание, о котором уже упоминалось: «Вот что я еще понял: эту рабочую сторону большевизма, которая за летучей, за крылатой. Тут-то и нужна их помощь. Крылья у народа есть, а в уменьях и знаньях надо ему помочь. Постепенно это понимается. Но неужели многие *умеющие* так и не пойдут сюда?» (VII, 321).

Таким важным и значительным оказалось для Блока его первое служебное заседание, когда он приступил к практической разработке «лозунгов», брошенных большевиками. Еще более утвердило Блока в его взглядах на большевизм второе заседание Комиссии, 24 января 1918 г., когда он встретился с Луначарским.

«Заседание очень стройное и дельное (в противоположность первому). Председательствует Луначарский, который говорит много, охотно на все отвечает, часто говорит хорошо»,— записал Блок в дневнике 26 января (VII, 321). Сохра-

нившийся протокол и дневниковые записи Блока позволяют восстановить общую картину заседания.

Луначарский начал свое выступление с краткой исторической справки по поводу введения новой орфографии, сообщив, что новая орфография была выработана специальной комиссией Академии наук и академик Шахматов обратился к Временному правительству с предложением о переходе на новое правописание. Луначарский сказал, что после Октября Народный комиссариат просвещения постановил принять новую орфографию.

«В первую очередь решено было перейти к новому правописанию во всем бумажном делопроизводстве правительственных учреждений, что вполне удалось осуществить без затруднений. Попытка дать правительственные газеты в новой орфографии оказалась неудачной ввиду огромного падения тиража газет и сильного недовольства наборщиков на затруднение с новым правописанием. В итоге в правительственных газетах теперь осуществлено легкое упрощение, вроде, например, исключения «ѣ». В школе при симпатии учителей к новой орфографии есть уверенность, что она постепенно снизу будет целиком осуществлена. Раз школа целиком перейдет к новой орфографии, то и в вопросе об орфографии классиков приходится быть решительным. Они издаются не на короткий срок, и усвоившему в школе новое правописание необходимо дать русских писателей в этом новом правописании. У немцев с принятием ими новой орфографии Гете и Шиллер перепечатаны по-новому без особого чувствительного разрыва с прошлым. Надо поэтому решаться на упрощение орфографии и, не находя по этому вопросу коренных, принципиальных разногласий, покончить с вопросом об орфографии таким образом: не останавливаясь ввиду голода на книжном рынке перед срочным изданием русских писателей по матрицам со старой орфографией и учитывая большое сокращение расходов на печатание при новой орфографии, дать новое издание классиков с новым правописанием» [15]. Так изложено выступление Луначарского в протоколе заседания. Против новой орфографии возражал П. О. Морозов, считавший, что печатание по старым матрицам экономит время, труд, деньги. «Его доводы парирует комиссар»,— записал Блок (VII, 322). Сам Блок повторил свое возражение, высказанное на предшествующем заседании, прибавив, что он на нем не настаивает. Наиболее полно выступление Блока было изложено позже П. И. Лебедевым-Полянским: «Я понимаю и ценю реформу с педагогической стороны,— говорил Блок.— Но здесь вопрос идет о поэзии. В ней нельзя менять орфографии. Когда поэт пишет, он живет не только музыкой, но и рисунком. Когда я мыслю „лес“, соответствующее слово встает перед моим воображением написанное через „ѣ“. Я мыслю и чувствую по старой орфографии; возможно, что многие из нас сумеют перестроиться, но мы не должны искажать душу умерших. Пусть будут они неприкосновенны» [16].

«Луначарский определяет мой довод как невесомый»,— без какой-либо горечи или неудовольствия констатировал Блок (VII, 322), описывая ход заседания. Правда, судя по протоколу, Луначарский все же принял довод Блока, но — применительно к научным изданиям. «Для массы же дело, главным образом, в одолении русской грамоты, новое правописание, значит, необходимо»,— сказал Луначарский. Как записано в протоколе: «при голосовании возражений против новой орфографии *нет*».

Следующим обсуждался вопрос о примечаниях и вступительных статьях. Луначарский признал необходимость предисловий и комментариев. «В предисловии читателю из народа должна быть дана эпоха писателя в полной объективности фактов и чувств без фальсификации. Примечания и предисловия проходят через мнение Комиссии» [17]. Но если необходимость предисловий ни у кого не вызвала сомнений и возражений, то вопрос о том, какими должны быть эти предисловия, оказался не простым. Некоторые участники заседания (А. Н. Бенуа) высказывались за необходимость эстетических оценок в предисловиях. Луначарский выступил против субъективизма, за объективное, историческое освещение фактов. К нему присоединился Блок, внеся, однако, свои добавления. Цитируем протокол:

«А. А. Блок, стоя вполне за строгую объективность предисловия, против и исключительно социологической оценки.

А. В. Луначарский соглашается с недопустимостью и политической агитации в комментариях изданий Комиссии.

А. А. Блок находит возможным присутствие в предисловиях социологического момента, берущего перевес над эстетическим, поскольку социология является в наше время наукой более разработанной, нежели поэтика.

А. В. Луначарский, разделяя это мнение — допустимость социологического анализа,— еще раз высказывается за исключение политической агитации в издании классиков.

Это положение и принимается Комиссией» [18].

Из протокола, своеобразно воспроизведшего диалог Луначарского и Блока, видно, что они выступили единодушно. «Тут уж я поддержал комиссара, который голосовал за твердое проведение отсутствия эстетической оценки»,— записал Блок (VII, 323).

Но Блок не ограничивался одним лишь изложением хода заседания: в начале записи приведены отклики на только что опубликованную статью «Интеллигенция и революция»: «Впечатление от моей статьи ⟨...⟩ : Мережковские прозрачно намекают на будущий бойкот, Сологуб (!) упоминал в своей речи, что А. А. Блок, которого „мы любим", печатает своей фельетон против попов в тот день, когда громят Александро-Невскую лавру (!). В восторге — В. С. Миролюбов» (VII, 321).

И еще один очень важный для него факт записал Блок:
«Луначарский, прощаясь, говорит: „Позвольте пожать вашу руку, товарищ Блок"» (VII, 322—323). Слова Луначарского означали большее, нежели просто благодарность за поддержку на заседании. И эти слова Луначарского, и отклики на статью «Интеллигенция и революция» помогают понять тот глубокий смысл, который заключался для Блока в его сотрудничестве с большевиками на этом заседании Комиссии Наркомпроса: одновременно с поэтическим и публицистическим признанием и утверждением революции, выраженным в поэме «Двенадцать» и статье «Интеллигенция и революция», Блок начинал рабочее, деловое сотрудничество с большевиками, которое для него было столь же необходимой формой признания и утверждения.

«Товарищ Блок» — назвал Луначарский Блока, очень точно охарактеризовав суть его позиции. И хотя в дальнейшем у Луначарского будут встречаться даже резкие оценки послеоктябрьской деятельности Блока (см. его предисловие к Собр. соч. Блока в 12 томах), эти первые слова, сказанные при первой их встрече, останутся едва ли не самыми важными для определения сути их взаимоотношений.

Блок и Луначарский, как известно, принадлежали к разным идейным и художественным лагерям, и тем не менее их «товарищество» оказалось подлинным. Судить об этом их «товариществе» надо не по тем взаимооценкам, на которых нередко лежала печать злободневности, а по тому, как близки оказывались они в решении самых существенных проблем своего времени.

Одна из них — и важнейшая — отношение культуры нового общества к культуре предшествующих эпох. Поэтому знаменателен самый факт, что реальное сотрудничество Блока и Луначарского началось в Комиссии по изданию классиков. Вся последующая работа Блока в Народном комиссариате просвещения проходила под знаком именно этой идеи: борьбы за классическое наследие. В этой связи нельзя не упомянуть об одном выходившем за рамки «служебной деятельности» Блока моменте «пересечения» их взглядов на классическое наследие: почти одновременная и — главное — близкая по своей сути реакция на известное стихотворение Маяковского «Радоваться рано», опубликованное в газете «Искусство коммуны» [19]. Блок откликнулся на эти стихи письмом, правда, оставшимся не отправленным, Луначарский — известной статьей «Ложка противоядия» [20]. Дело было не только в их отношении к Маяковскому, талант которого они ценили. Блок и Луначарский отлично понимали, что за нигилистиче-

скими стихами Маяковского стоит определенная концепция, несущая в себе грозные последствия для развития культуры. Речь шла о целом направлении в поэзии, музыке, живописи, эстетике, театре, когда под флагом революционных преобразований отбрасывались и зачеркивались культурные ценности прошлого. Нигилизм в эти первые послеоктябрьские годы был явлением тревожным и в то же время достаточно широким, захватившим позиции на важных участках культурного строительства. Со стихами Маяковского сопоставимы некоторые выступления В. Керженцева о репертуаре театров или такие, например, высказывания деятелей Театрального отдела Наркомпроса, предлагавших «парализовать всякие попытки промежуточных групп, отравленных тлетворным духом буржуазной культуры, пришибленных мертвым величием прошлых эпох, навязать существующему пролетарскому, а грядущему социалистическому театрам мелкобуржуазные идеалы, паллиативы сценической культуры и прочие отбросы холопствующего мещанства» [21].

Луначарский и Блок и в своих ответах Маяковскому, и в своей деятельности в Наркомпросе парировали эти выпады защитников культурного нигилизма. Но они не только отстаивали «старье».

В письме Блока Маяковскому важна одна идея, свидетельствующая о том, что, защищая традиции от посягательства новаторов, Блок вовсе не думал ограничиваться только прошлым, только традициями.

«Разрушая, мы все те же еще рабы старого мира; нарушение традиций — та же традиция... Одни будут строить, другие разрушать, ибо „всему свое место под солнцем", но все будут рабами, пока не явится третье, равно не похожее на строительство и на разрушение» (VII, 351).

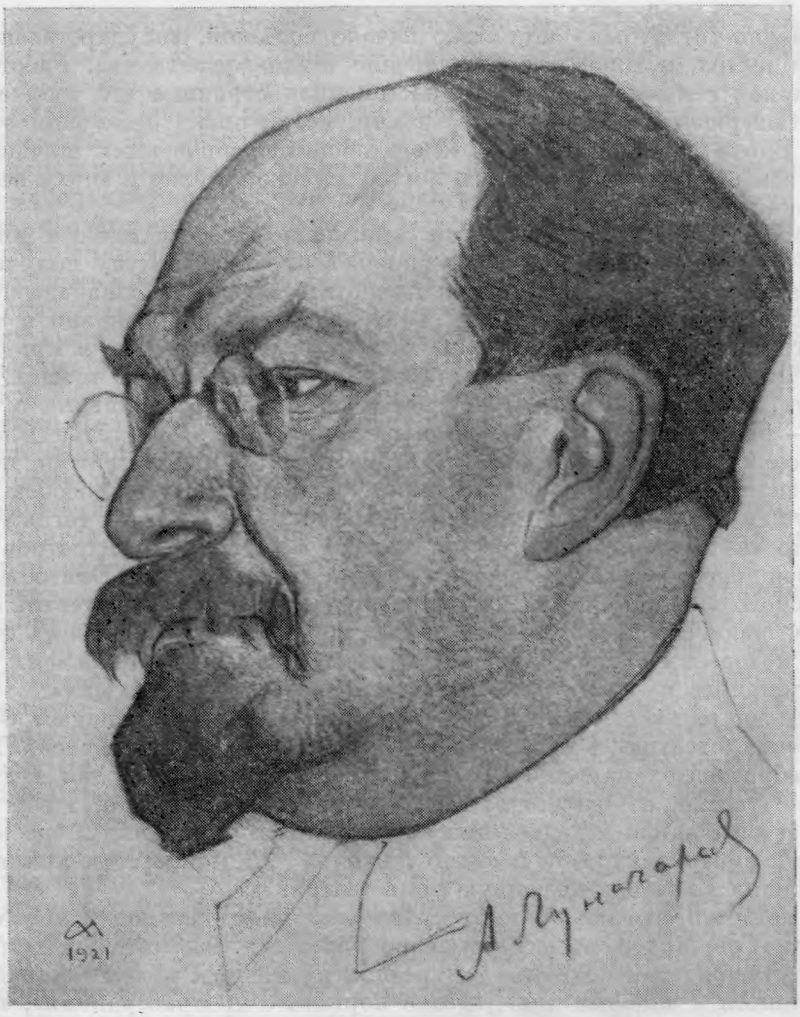
Поиски «третьего», нового, «равно не похожего на строительство и на разрушение», характерны и для самого Блока, создавшего поэму «Двенадцать», «Скифов», блестящие публицистические статьи, в которых передовые идеи русской культуры сплавлены с поэтическим ощущением перестройки мира.

Два первых заседания Комиссии по изданию классиков были самыми значительными для Блока. В дальнейшем он еще не раз будет участвовать в работе Комиссии (ЗК, 401), но уже весной 1918 г. он вошел в Петроградский Театральный отдел Наркомпроса, и с этого времени началась полоса его активной деятельности в этом отделе.

2

Театральный отдел (ТЕО) возник в первые месяцы и даже дни существования Наркомпроса. Задачи, стоявшие перед ним, были огромны: он имел своей целью общее руководство театральным делом в стране, а также создание нового театра «в связи с перестройкой государственности и общественности на началах социализма» [22]. В условиях упорного саботажа со стороны художественной интеллигенции работа ТЕО была необычайно сложной. Характерный пример этого дает переписка Луначарского с Ф. Д. Батюшковым [23]. Серьезными были тенденции нигилистического и формалистского характера. Между тем в числе первоочередных задач ТЕО значилось, что ТЕО «содействует объединению всех творческих и научных сил в области театральной идеологии». Надо сказать, что Наркомпросу удалось достичь многого, и в Театральный отдел вошли крупнейшие артисты, режиссеры, писатели, ученые.

Структура ТЕО была достаточно сложной и разветвленной: Центральный ТЕО состоял из Московского и Петроградского, каждый из которых делился на Педагогическую, Историко-театральную, Репертуарную секции и секции Театров и Зрелищ, а секции, в свою очередь, делились на группы. Так, в Репертуарную секцию входили группы архивных разысканий, издательская, теоретическая, переводческая, объяснительного чтения особо выдающихся пьес. Эта несколько громоздкая и излишне дробная структура, которая отчасти была вызвана сложностью и многопроблемностью задач, вставших перед Театральным отделом, отчасти новизной дела, неизбежно вызывала параллелизм в работе (особенно между Петроградским и Московским отделами), заседательскую суету и т. п. Задача Репертуарной секции была сформулирована в Положении о Репертуарной секции, подготовленном Петроградским ТЕО и утвержденном Наркомпро



А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ
Портрет работы Н. А. Андреева, 1921
Литография
Литературный музей, Москва

сом 10 июня 1918 г.: «Разработка всякого рода вопросов, связанных с составлением драматического репертуара государственных, народных, коммунальных театров, составление списка оригинальных и переводных пьес, изучение старого и новейшего репертуара европейского театра для перевода на русский язык, издание периодического органа и пьес оригинальных и переводных».

В конце 1918 — начале 1919 г. в состав Репертуарной секции Петроградского ТЕО входили: Блок, П. П. Гнедич, С. Э. Радлов, Л. С. Брянский, А. М. Вивьен, В. Н. Всеволодский, Ф. Ф. Зелинский, Вл. П. Лачинов, К. Ю. Ляндау, Вс. Э. Мейерхольд, К. М. Миклашевский, П. О. Морозов, В. Н. Соловьев, В. Я. Степанов, А. М. Ремизов [24].

Блок работал в Петроградском ТЕО примерно год, сначала он был членом теоретической группы Репертуарной секции, затем председателем Репертуарной секции и редактором сборника «Репертуар». Сердитые записи Блока в дневнике и Записных книжках более всего относятся именно к заседаниям Репертуарной секции и коллегии Петроградского ТЕО.

Но была не только «бессмысленность» заседаний. Это отлично понимал

Блок. Именно тогда было положено начало большой, государственной работе в области театра, и Блок непосредственно в этом участвовал. Работа Блока в Репертуарной секции — важная и насыщенная страница его творческой биографии. Совершенно прав был П. Громов, когда писал о закономерной связи исканий Блока в области театра «с его общими творческими поисками, с его стремлением постичь историческую логику русской жизни в эпоху величайших революционных потрясений» [25].

То, что в первые годы революции Блок оказался так близко к новому театру — не простая случайность. Его запись в дневнике: «Буду получать 500 р. в Театральном отделе... Надо, значит, работать там»,— не означала просто подчинение житейской необходимости. Театр всегда играл в жизни и творчестве Блока огромную роль. Блок был не только драматургом, но и критиком, теоретиком театра. В 1908 г. он выступил с публичной лекцией и написал статью «О театре», в которой значительное место занимали размышления о театре будущего — народном театре. Как уже говорилось, в этой статье Блок заявил о своей солидарности с мыслями Луначарского: «Именно театр с новым зрительным залом, театр большого действия и сильных страстей способен в ближайшем будущем занять первое место»,— писал он (V, 274). Блок тогда уже твердо верил, что «не сегодня — завтра постучится в двери наших театров ⟨...⟩ новая, живая, требовательная, дерзкая» толпа (там же, 276). Близость Блока и Луначарского в их дооктябрьских размышлениях о будущем театра объясняет во многом общность их позиций после Октября. Нельзя не сказать и о том источнике, который сближал Блока и Луначарского: оба они в своих мыслях о театре опирались на книгу Р. Вагнера «Искусство и революция».

Начало деятельности Блока в Репертуарной секции совпадает с публикацией «Письма о театре», в котором изложена его идея нового театра. «Театр есть могучая образовательная сила. Театр должен воспитывать волю. Театр есть та область искусства, о которой прежде других можно сказать: здесь искусство соприкасается с жизнью, здесь они встречаются лицом к лицу; здесь происходит вечный смотр искусству и смотр жизни: ⟨...⟩ рампа есть линия огня»,— так определял Блок общественную роль театра.

Блок понимал, что новый театр создается для людей новой породы, людей, неудержимо рвущихся вверх, «душевно голодных, внимательных и чутких», и потому утверждал необходимость «резким движением подняться над всякими направлениями и злобами дня», «резко порвать с предрассудками», «воспротивиться загромождению драматургии и сцены какими бы то ни было ценностями — философскими, публицистическими, всякими, кроме театральных; надо черпать из сокровищницы навсегда неисчерпаемой; из сокровищницы искусства классического, то есть из того искусства, над которым время бессильно» (VI, 273—274).

Утверждение великого классического репертуара как основы нового театра — эта идея, сформулированная в «Письме о театре», определила всю деятельность Блока в Репертуарной секции. Прозвучавшие в «Письме» тревожные ноты, вызванные боязнью государственного вмешательства в театральные дела, скоро исчезли, уступив место стремлению Блока оказать деловую помощь новому театру, который создавало именно государство. От заявлений общего характера Блок переходил к конкретному делу.

Весной и летом 1918 г. Блок посещал народные, коммунальные и государственные театры Петрограда, знакомясь с их репертуаром. «Мысли о репертуаре народного театра» (ЗК, 395),— записал он 17 марта 1918 г. Очевидно, это первое упоминание о работе, которую он тогда задумывал. 6 июня 1918 г. Блок выступил на заседании теоретической группы Репертуарной секции с докладом «Несколько мыслей о репертуаре коммунальных и государственных театров» и предложил созвать совещание с руководителями художественной частью коммунальных театров (ЗК, 410) [26].

Доклад Блока свидетельствовал об очень серьезном и вдумчивом подходе его к вопросам репертуара. Доклад делился на две части: первая касалась комму-

нального театра, во второй речь шла о театрах государственных. Такая дифференциация позволила Блоку придти к широким и чрезвычайно многозначным выводам.

В своем анализе репертуара народного театра Блок шел от требований жизни и от требований зрителя.

«Если какая-нибудь пьеса не только не влечет нас, но покажется нам совершенно неподходящей, вредной для репертуара коммунальных театров, то надо все-таки очень и очень подумать о том, вычеркнуть ее или нет,— писал Блок,— в большинстве случаев, по-моему, надо не вычеркивать ту пьесу, которая нужна почему-нибудь публике, но постараться окружить ее другим, что имело бы силу затушевать ее, свести на нет, чтобы пьеса сама, таким образом, ушла с горизонта театральной публики» (VI, 280). Эта мысль о постепенности обновления репертуара народных и коммунальных театров настоятельно подчеркивалась Блоком. «Деятельность по обновлению репертуара таких театров, как Народный Дом, должна заключаться в умелом и как бы незаметном вкрапливании в обычный и любимый репертуар того, что желательно носителям идей нового мира»,— утверждал Блок. «В том и трудность и привлекательность задачи, чтобы в бесформенную и рыхлую массу репертуара умелой рукой вкрапить камень — другой новой породы, который бы неожиданно осветил всю массу иначе, придал бы ей немножко другой цвет и вкус» (VI, 278).

Это утверждение Блока на первый взгляд противоречило отношению его к классическому репертуару. Можно ли было примирить какую-нибудь «Вторую молодость» Невежина с Шекспиром и Шиллером? Блок считал возможным, не ломая старый репертуар, который был привычным для определенных слоев народного зрителя, и умело «вкрапливая» в этот репертуар новое, постепенно воспитывать вкус. Это не было компромиссным решением, потому что одновременно, по мысли Блока, для того же нового зрителя государственные театры должны были перестроить свой репертуар: «время для коренной реформы назрело». Государственные театры, утратившие всякую связь с жизнью, не имеющие «ничего такого, что надо беречь», «опровинциалились». «Мне кажется,— заявлял Блок, у нас сейчас и право, и обязанность, и возможность, и долг,— потребовать от государственных театров служения не одному кварталу провинциального города, а жизни, искусству и обществу». Блок считал, что именно сейчас необходимо «выработать и продиктовать государственным театрам свой репертуар». И этот репертуар должен быть классическим, такую тенденцию «надо навязывать, надо проводить упрямо и неуклонно» (VI, 280—282).

Итак, бережность и тактичность по отношению к репертуару народных театров и жесткий диктат в утверждении репертуара на сцене государственных театров. Другого пути Блок не видел.

Репертуарная «политика», как понимал ее Блок, соответствовала общему направлению, проводимому в этой области Луначарским, хотя, разумеется, нельзя говорить о полном тождестве их позиций. Так, Луначарский первоначально полагал, что наряду с классическим репертуаром следует иметь репертуар новый, что необходимо «писать пьесы, носящие социальный характер» [27]. Позже он стал несколько сомневаться в этой возможности, считая, что пора создания революционных пьес еще не пришла. «Новые пьесы. Мы, конечно, приветствовали бы появление всякой новой революционной пьесы, но я решительно сомневаюсь в самой возможности появления непосредственно теперь пьес, о которых мечтают товарищи, требующие „политического“ репертуара» [28],— заявлял Луначарский.

В 1919—1920 гг. Луначарский напечатал в «Вестнике театра» ряд статей, в которых со всей определенностью сформулировал идею классического репертуара, который один в годы революционной борьбы может создать подлинно «великий театр, театр захватывающих широких идейных проблем и глубоких, глубинных чувств».

Эсхил, Еврипид, Аристофан, Лопе де Вега, Шекспир, Гете, Клейст, Грильпарцер, Корнель — вот имена, названные Луначарским [29].

Луначарский постоянно подчеркивал, что тактичное и бережное отношение к старому театру должно быть принципом работы Наркомпроса. Если Блок был своего рода защитником репертуара народных театров, решительно выступая за реформу театров государственных, то Луначарский, напротив, был обеспокоен стремлением некоторых излишне ретивых пролеткультовцев, требовавших преобразования на пролетарский лад именно государственных театров.

«Идея превращения государственного театра в пролетарский в данное время неосуществима: здесь ломки не нужно,— говорил Луначарский на заседании коллегии ответственных работников 10 декабря 1918 г.— В это тяжелое время надо проявить больше такта и в то же время надо открыть театр для пролетариата〈...〉Интерес пролетариата к театру громаден. Пролетариат, конечно, найдет другие пути, но пока следует дать ему ту образовательную ценность, какую имеет классический репертуар всех народов, традиции выработанной игры производят громадное впечатление на пролетариат. Это не значит, что у него нет исканий: 36 пролеткультов доказывают обратное и показывают правильную политику Народного комиссариата по просвещению〈...〉Охрана образцовых театров необходима. Пусть государственные театры сами вступают на путь обновления репертуара без излишней торопливости и ломки достигнутых художественных результатов» [30].

Эта бережливость к театральной культуре, глубокая вера в творческие силы народа, способного воспринять лучшее в мировом репертуаре, и одновременно понимание сложности процесса просвещения и образования были в высшей степени присущи и Луначарскому, и Блоку.

Блок не ограничился общим докладом о репертуаре на заседании. Он продолжал изучать репертуар народных театров, написал статью «О скудости нашего репертуара» и готовил список пьес для репертуара государственных театров. Этот список он огласил на заседании теоретической группы Репертуарной секции 4 июля 1918 г. Он предложил включить в репертуар государственных театров Софокла, а также Аристофана, Шекспира, Гете, Байрона, Шиллера, Гольдони, Дюма, Бомарше, Гюго, Грибоедова, Фонвизина, Пушкина, Гоголя, Толстого, Островского, Сухово-Кобылина. Одновременно Блок высказал опасение, что Александринский театр увлекается «романтическим модернизмом» (Ростан, Метерлинк) [31]. Это замечание Блока свидетельствовало о том, что он продолжал борьбу с «нежно стучащимися в двери театров веяниями модернизма» (VI, 283).

14 августа 1918 г. Блок предложил составить список пьес для постановки на сцене народных и коммунальных театров, тогда же встал вопрос об инсценировках «Мертвых душ», «Песни о купце Калашникове», «Записок пиквикского клуба», «Сверчка на печи», «Преступления и наказания» [32].

Было бы неверно представлять дело таким образом, что Блок отстаивал только классический репертуар. Когда он говорил о «вкраплении» в старый репертуар Народных домов новых пьес, он имел в виду и современные пьесы [33].

Отбор современных пьес для репертуара составлял важную часть работы Репертуарной секции, и на каждом заседании между членами секции распределялись пьесы для рецензирования, затем, на ближайших заседаниях, секция решала, заслуживает пьеса быть включенной в репетуар или нет. Именно поэтому Блок очень строго и взыскательно подходил к включению в репертуар пьес современных драматургов [34]. Даже в этих маленьких — внутренних — рецензиях он ставил общие важные вопросы театра и драматургии, выдвигая высокие критерии классики. Нетерпимость к штампам, требовательность к языку, неприятие искусственных ситуаций, внимание к интересам зрителей, для которых предназначалась пьеса,— все это придавало рецензиям Блока глубину и значительность. Блок не терпел внешних эффектов, внешней занимательности, выдающих «пустую душу» художника. «Равнодушно, деловито, трафаретно, не портя себе крови, подошел автор к темам, на которых сгорали Достоевский и Толстой»,— писал Блок о пьесе «Кровавые всходы» и, отдавая «должное способностям автора», все же признавал пьесу нежелательной для постановки на сцене (VI,

310—311). Взыскательный и строгий вкус Блока не пропускал фальши: «Главным недостатком сказки „Сказка об Иванушке-дурачке...“ К. Ляндау мне представляется то, что автор старается русить, но народный язык ему не дается, отчего и попадаются сплошь и рядом псевдорусские обороты» (VI, 316). Не терпел Блок ухищрений формы, эстетства («Вместо того, чтобы расшифровать сложное, он зашифровывает простое; вместо того, что попристальнее всмотреться в людей, он рядит их в титанические одежды...» (VI, 306 — о пьесе И. Калугина «Vos eos esse»). С горечью писал Блок о том, что в репертуаре детских театров «очень немного пьес проникнуто нежным и чистым духом сказки, духом, который счастливо умеет сочетать искусство с нравственностью, „возвышащий обман“ с правдой жизни» (VI, 315) и решительно протестовал против постановки в детском театре «пряной» сказки М. Кузмина «Два брата, или счастливый день». Каждая рецензия Блока несла не только эстетический, но и высокий нравственный заряд.

Как уже говорилось, в «Записных книжках» Блока нередко отражалось его недовольство работой Репертуарной секции: бессмысленностью заседаний, отсутствием живого практического дела. В начале октября он выступил с заявлением о необходимости реорганизации Репертуарной секции. Это записано в протоколе заседания от 4 октября 1918 г. и в «Записной книжке»: «Бюро. Мое заявление... Трехчасовой фонтан моей энергии, кажется, пробил бюрократическую брешь» (ЗК, 430) [35]. Выступление Блока привело к тому, что заседание постановило: «Просить Блока взять на себя председательство и идейное руководство делами секции» [36]. Так с 4 октября 1918 г. началась деятельность Блока как председателя Репертуарной секции Петроградского ТЕО. Она продолжалась до 1 марта 1919 г., когда Блок по его настоятельной просьбе был освобожден от обязанностей председателя (ЗК, 451).

Этот период, пожалуй, один из самых сложных в послереволюционной деятельности Блока. Он отмечен усиливающимися противоречиями душевного состояния. С одной стороны, «фонтан энергии», активность, поиски новых форм работы Репертуарной секции. Но в то же время на Блока все чаще и чаще находили приступы неудовлетворенности, усталости, почти отчаяния.

Смена настроений отразилась в «Записных книжках»:

2 октября — «Большое организационное заседание всех секций (результат наших переговоров о библиотеке — Соловьев, Бахтин и я) — отдельные библиотеки у секций, библиотека М. И. Писарева. Отчаянье, головная боль; я не чиновник, а писатель» (ЗК, 430).

26 октября «Заседание Репертуарной секции. Все разбегаются, собрать почти невозможно» (ЗК, 432).

31 октября. «Заседание бюро (окончить списки народного театра). Опять чепуха. Первое наше издание (секции) — деревенский репертуар» (ЗК, 433).

2 ноября. «Опять какой-то plenum (с Каменевой). Не приехала. Несмотря на все помехи, кое-что удалось сделать в отделе».

3 ноября. «*В отделе*. Пятичасовое заседание. Каменева не потерпит Бакрылова „ни одного часу“ в отделе („создает конфликты“). Я должен оставаться председателем. Секретарем — Радлов. С. Э. Радлов обратится к Н. А. Котляревскому — пригласить его в товарищи председателя (!?). Что и как перемелет еще эта политическая мельница?» (ЗК, 433—434).

4 ноября. «Р. В. Иванов у меня. Большой разговор о Репертуарной секции» (там же).

5 ноября. «Телефон от С. Э. Радлова: он был у Котляревского, который идет ко мне в товарищи председателя» (там же).

6 ноября. «Утром — в отдел (с Бакрыловым и Шкловской разбирали дела)» (там же).

15 ноября. «Вечером к Н. А. Котляревскому. Не застал и оставил любезную записку с просьбой прийти в заседание в понедельник.— Сырой вечер. Нервы (жесткость, политика, озабоченность, дела, деньги)» (ЗК, 435).

Почти безнадежный характер носят некоторые записи, сделанные Блоком в ноябре 1918 г.

17 ноября. «Полное отчаянье, не знаю, как выпутаться из грязи председательствования. Пишу заявление».

18 ноября. «Заседаю, сцепив зубы. *Отказ от председательствования*».

21 ноября. «Ужас! Неужели я не имею *простого права писательского*» (эти слова записаны поверх перечня дел по Театральному отделу) (ЗК, 436).

Но есть в ноябре и еще две записи. Одна — от 7 ноября: «Празднование Октябрьской годовщины. Вечером с Любой — на мистерию-буфф Маяковского в Музыкальной драме ⟨...⟩ Исторический день — для нас с Любой — полный. Днем — в городе вдвоем: украшения, процессии, дождь, у могил. *Праздник.* Вечером — хриплая и скорбная речь Луначарского, Маяковский, многое. Никогда этого дня не забыть».

Вторая запись — 8 ноября: «Пишу воззвание — для Театрального отдела» (ЗК, 434—435). Представляется важным самый факт, что на следующий день после празднования первой годовщины Октября Блок взялся за «Воззвание», которое было закончено им уже к 28 ноября и явилось одним из самых замечательных документов того времени (о нем нам еще предстоит говорить). Записи от 7 и 8 ноября 1918 г. и написанное в ноябре «Воззвание» помогают понять характер противоречий Блока. Да, были приступы отчаяния от невозможности творить, скепсис, утомление, но была и большая самозабвенная работа, расширившая диапазон его творчества, его связи с новой деятельностью, работа, которая изнуряла и обогащала одновременно. И все было взаимосвязано, поэтому деятельность Блока в Репертуарной секции, ее поистине подвижнический смысл не будет ясен до конца, если мы забудем о трудностях, которые изо дня в день сопровождали поэта, но нельзя видеть только трудности, забывая о содержании его деятельности.

По счастью, сохранились многие протоколы Репертуарной секции, которые Блок, став председателем, со всей аккуратностью и тщательностью редактировал сам. По этим протоколам и некоторым отчетам с известной полнотой можно восстановить содержание и объем его деятельности и несколько дополнить «Записную книжку».

11 октября, т. е. через неделю после избрания его председателем, на заседании Репертуарной секции Блок поставил вопрос об организации работ в архиве бывшей драматической цензуры. «Заседание бюро и членов Репертуарной секции,— записал Блок.— Несуразное. Мы с Бакрыловым главным образом и действуем. Вернулся я в 7-м часу, изможденный. Будем с Бакрыловым еще пробовать преодолевать всеобщий хаос, всеобщее равнодушие и ничегонеделание» (ЗК, 430—431).

В протоколе от 11 октября более подробно отражен ход заседания: «Председатель секции А. А. Блок предлагает обсудить вопрос об организации работ в архиве бывшей драматической цензуры, где имеется более 50 000 цензурных пьес: быть может, среди этой массы нам удастся отыскать ценный материал. Наши задачи при изучении архива будут далеки от библиографии. Мы не будем заниматься картотекой — мы будем выискивать там все то, что еще может жить в театре и может быть использовано сейчас же в наших работах по репертуару.

При рассмотрении пьес можно руководствоваться эпохой — написана пьеса, скажем, до или после карамзинской реформы: разбить пьесы на переводные и оригинальные, обратить внимание на репертуар классовый, на пьесы, трактующие социальные вопросы» [37].

Позиция Блока была достаточно широкой. Поборник античного театра, театра высокой трагедии, он в то же время высказывался за инсценировку произведений Диккенса. Так, говоря о переделке В. Соловьевым рассказа Диккенса «Битва жизни», Блок говорил: «Я просматривал пьесу, аромат Диккенса сохранился. Пьеса очень приспособлена к сцене. Правда, в ней 5 действий — 6 картин. Может быть, можно было бы что-нибудь сократить ⟨...⟩ В общем издатель-



А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ
Портрет работы Ф. А. Малявина, ⟨1919—1920⟩
Бумага, карандаш
Литературный музей, Москва

ском плане следовало бы иметь в виду издание сборника инсценированных рассказов Диккенса („Сверчок на печи", „Колокола" и др.)»[38], добавлял Блок.

Не без воздействия примера Горького, приступившего тогда к созданию издательства «Всемирная литература», 24 сентября Блок записал: «Горький и Тихонов — *договор с правительством на три года*: издавать в типографии „Копейки" под фирмой „Всемирная литература": 1) томов 800 больших — основные произведения всемирной литературы с историко-литературными предисловиями и примечаниями; 2) томиков 2000, вроде „Reclam'a" ⟨...⟩ Первое мерило — имеющее художественное значение» (ЗК, 428), Блок замышляет издание библиотеки мирового репертуара и тщательно готовится к реализации этой идеи.

«Мы будем издавать не сто, не двести пьес, а тысячу, две. Необходимо разбить их по сериям (античный театр, греческий и римский, средневековый, русский и пр.) по эпохам, по национальностям. Надо создать такую схему мирового масштаба, куда было бы внесено все, что может жить в театре. Мне думается, что эту работу мы могли бы распределить между членами секции. Для древнего театра это не трудно; большую трудность представляет 19 век»,— говорил он на заседании 16 октября 1918 г. Несколько позже Блок окончательно сформулирует свою идею: «Библиотека драматических произведений всех времен и народов под общим заглавием „Репертуар“» [39].

Главное, что занимало Блока — создать подлинно народный репертуар нового театра, о чем он размышлял еще в предоктябрьские годы. Когда Мейерхольд на заседании 11 октября предложил отыскать цензурный экземпляр «Маскарада» и напечатать его в предполагавшейся библиотеке «Репертуар», а также напечатать «Кота в сапогах» Тика, Блок заметил: «последняя тема, по-моему, слишком аристократична. Нам необходимо быть ближе к запросам широких народных масс» [40]. Задумывая грандиозные издания, Блок вновь и вновь подчеркивал, что задача библиотеки «Репертуара» — стать популярной и проникнуть в самые глухие места, куда не доходят старые дорогие издания. Поэтому текст пьес должен быть литературным. Сценическая же переработка может быть отмечена в примечаниях [41],— говорил Блок на заседании 2 декабря.

В работе Блока в Репертуарной секции постоянно проявлялся свойственный ему органический демократизм, глубокое и верное понимание народности искусства. В этом смысле поэзия и публицистика Блока этих лет и его служебная, театральная деятельность составляли единое целое.

В июльские дни 1917 г., размышляя о том, как писать доклад Следственной комиссии, «долженствующей вынести приговор старому 300-летнему режиму», Блок ориентировался прежде всего на восприятие этого документа народом, и тогда он написал знаменательные слова: «Нельзя оскорблять никакой народ приспособлением, популяризацией. Вульгаризация не есть демократизация. Со временем Народ все оценит и произнесет свой суд, жестокий и холодный, над всеми, кто считал его ниже его, кто не только из личной корысти, но и из своего 〈...〉 интеллигентского недомыслия хотел к нему „спуститься“. Народ — наверху: кто спускается, тот проваливается». Эта мысль, записал далее Блок,— «коренная и хорошая» (VII, 276, 277).

Эта мысль поистине была коренной для Блока. На нее опиралась его идея классического репертуара, когда он решительно восставал против приспособления, переделки классических пьес, приноравливания их к якобы низким вкусам публики.

Идея народности искусства с особой силой была провозглашена Блоком в «Воззвании Репертуарной секции». «Воззвание», как явствует из самого его заголовка, должно было быть документом именно Репертуарной секции. Но опубликованное в печати, оно оказалось подписанным одним только Блоком. История этого «Воззвания», его обсуждение в Репертуарной секции 25 ноября 1918 г. освещались В. Н. Орловым и Ю. Г. Герасимовым [42].

Блок писал в «Воззвании»: «Задача наша состоит не только в том, чтобы дать народу художественные произведения; мы должны еще помочь ему усвоить эти произведения и должны найти для этого новые приемы 〈...〉 Задача, как и все нынешние задачи, необычна, огромна, ответственна; не надо ничего навязывать от себя; нельзя поучать; нельзя занимать трибуну с чувством превосходства и высокомерия; должно бережно передать в трудовые руки все без исключения из того, что мы знаем, любим, понимаем 〈...〉 Мы — не пастухи, народ — не стадо. Мы — только более осведомленные товарищи...» (VI, 292—293).

Этот тезис и вызвал самые ожесточенные нападки главного оппонента Блока Н. А. Котляревского. Объясняя свою позицию, Блок подчеркивал: «„Воззвание“ как бы говорит народу: „пошли посла, который извлечет из нас то, что тебе нужно“. Нужно найти способ сообщаться». Котляревский же напротив считал, что «должно указывать, а за помощью обращаться нечего».

Стоит привести «диалог» Блока и Котляревского, записанный в протокол. «К о т л я р е в с к и й. Воззвание придает возвышенную окраску, много подъема по маленькому делу.

Б л о к. Всякое дело теперь должно стать большим, потому что велика эпоха... Теперь люди берутся за большие дела...

К о т л я р е в с к и й говорит, что для него неприемлемы отдельные мысли: „Мы не пастухи“ — это умаление значения работы, нужно подчеркнуть свой авторитет.

Б л о к: Вся суть воззвания в этой мысли.

К о т л я р е в с к и й против слова „стадо“ и „товарищи“.

Б л о к настаивает на том и на другом».

Участник обсуждения В. Гиппиус так определил различие позиций Блока и Котляревского: «Котляревский желает придать воззванию практический характер, воззвание же лирично, ныне же лирический тон полезен, и практически при помощи лирики можно добиться многого» [43]. Однако суть расхождения заключалась не столько в различии «лирического» и «практического» подхода к делу, сколько в различии последовательно демократической позиции Блока и позиции Н. А. Котляревского с его ощущением собственной интеллигентской элитарности.

Обсуждение «Воззвания» еще и еще раз показало, как близко подошел Блок к социалистической идее культурного преобразования страны, проводимой Советским правительством, и конечно же нельзя не увидеть близости позиций Блока и Луначарского. Примерно за десять лет до Великой Октябрьской революции Луначарский «просто и крепко», по словам Горького, сформулировал идею о революционерах как «единственном мосте», соединяющем культуру с народными массами» [44]. В 1919 г. Блок естественно, совершенно независимо от Луначарского высказал ту же мысль, только применительно к Горькому: «Судьба возложила на Максима Горького, как на величайшего художника наших дней, великое бремя. Она поставила его посредником между народом и интеллигенцией, между двумя станами, которые оба еще не знают ни себя, ни друг друга» (VI, 92).

Когда Луначарский утверждал великую роль народа в истории, а Блок писал: «Народ наверху»,— оба они нисколько не идеализировали народ. В этом плане примечательны их высказывания, также очень близкие по мысли.

На чествовании, которое устроила Луначарскому московская художественная интеллигенция в декабре 1918 г., Луначарский говорил: «Мы, коммунисты, с самого начала чуяли эту буйную злобу в душе окопника, вернувшегося с войны, мы чувствовали огромную ненависть фабричного пролетариата и деревенской бедноты к фабрикантам и помещикам ⟨...⟩ И мы поняли тогда, что народ в своем гневе может все опрокинуть, разрушить и обратить в пепел ... и мы, коммунисты, встали на гребне народной волны, чтобы спасти Россию: это мы сделали для народа ⟨...⟩ Мы часто защищали сокровища перед самим народом» [45].

Эта мысль Луначарского, перекликающаяся с его и Горького мыслью о культурной миссии революционеров, очень существенна. Блок приходил к сходной идее, выдвигая ее как задачу интеллигенции в революции. Он писал в дневнике 6—7 августа 1917 г.: «Желтобурые клубы, за которыми — тление и горение ⟨...⟩ стелются в миллионах душ,— пламя вражды, дикости, татарщины, злобы, унижения, забитости, недоверия, мести — то там, то здесь вспыхивает ⟨...⟩ И вот *задача русской культуры* — направить этот огонь на то, что нужно сжечь; буйство Стеньки и Емельки превратить в волевую музыкальную волну; поставить разрушению такие преграды, которые не ослабят напора огня, но организуют этот напор» (VII, 296—297).

В этих двух рассуждениях задачи коммунистов, как их понимал Луначарский, и задача русской культуры, русской интеллигенции в представлении Блока — оказывались очень близкими.

«Воззвание Репертуарной секции» имело глубокую внутреннюю связь со

статьей «Интеллигенция и революция». Оба эти выступления Блока 1918 г. решали проблемы «интеллигенция и революция», «интеллигенция и народ». Но если первая статья была направлена более всего против тех «лучших людей» России, которые «надсмеиваются и злобствуют», если она была *призывом слушать музыку* революции, то «Воззвание» было *призывом к работе* и обращалось к тем, кто музыку революции услышал.

«Дух организации хаоса и вдохновение труда» (VI, 293) — вот пафос «Воззвания». И не случайно в нем поставлено так много конкретных задач, намечено столько путей, по которым должно развиваться сотрудничество интеллигенции и народа. Пафос «Воззвания» был родственен пафосу горьковской идеи «Всемирной литературы», и знаменателен самый факт, что у истоков важнейших послеоктябрьских культурных начинаний стояли Горький и Блок.

Для Блока работа в Репертуарной секции была выполнением важной миссии, которую возложила революция на русскую интеллигенцию. «Только с верой в великое имеет право освобождающийся человек браться за ежедневную черную работу»,— писал Блок в «Воззвании» (VI, 293). Эта «вера в великое» и окрыляла его на трудном посту председателя секции.

Он оказался энергичным, активным председателем и много занимался практическими организационными делами, вникая во все мелочи. На заседании 16 октября 1918 г. он поставил вопрос о вознаграждении за литературный труд, и в связи с этим о характере вводных статей к издающимся пьесам. Блок считал одной из важных задач Репертуарной секции установление широких связей с жизнью, со всеми начинаниями в области театра: «ознакомиться всесторонне с деятельностью коллегий и учреждений, где ведется параллельно театральная работа, прежде всего с деятельностью Пролеткульта»,— значилось в 13-м пункте доклада Блока «Очередная работа Репертуарной секции» [46].

Блока беспокоил все более обнаруживающийся параллелизм в работе Петроградского и Московского ТЕО, и 28 ноября 1918 г. он обратился со специальным письмом к заведующему Театральным отделом: «Когда я сообщил в заседании Бюро о переговорах моих с секретарем Московского Театрального отдела, члены Бюро присоединились к моему мнению, что переговоры эти носили в большей степени характер случайной и частной беседы. Так, например, при обсуждении разделения работ по изданию библиотеки драматических произведений всех стран и народов „Репертуар“ между Петербургом и Москвой отсутствовал редактор этой библиотеки Р. В. Разумник-Иванов; не были оговорены технические подробности и т. п. Кроме того, со времени этого разговора жизнь Секции выдвинула новые требования и точка зрения Бюро изменилась.

В частности, особенно много возражений вызвала передача Романского театра Москве. У нас есть уже перевод пьес этого театра („Чудаки“ Вольтера, „Арлезианка“ Додэ и др.). Работа над французским театром входит в специальность таких необходимых членов Бюро, как, например, В. Н. Соловьев. Французский театр был предметом особенного внимания членов нашей группы с самого ее образования. Что касается Итальянского театра, я считаю своим долгом указать на то, что проблема Гольдони — Гоцци приобрела новую остроту на Петербургской почве, что ⟨по⟩ XIX веку среди нас есть такие знатоки, как П. О. Морозов, и что заведующий переводческой секцией Ф. Ф. Зелинский выражал желание работать в этой области. Кроме того, Ф. Ф. Зелинский указывал на желательность привлечения А. И. Петрова для работ над испанским театром. П. О. Морозов только что перевел две испанские пьесы XII столетия, а испанский театр эпохи Возрождения имеет среди нас достаточное число приверженцев.

Все сказанное заставляет меня указать на желательность возвращения Романского театра Петербургу, тем более, что в Москве, судя по полученному от Вас распределению работ, этот театр еще никому не поручен.

Что касается общих планов нашей работы по изданию библиотеки „Репертуар“, то он разрабатывается редактором ее Р. В. Ивановым-Разумником. В сме-

те на I половину 1919 года указано на необходимость выпускать не менее двух книжек в неделю, причем эта цифра может быть увеличена вдвое, если литературно-технический аппарат будет налажен. Близкое участие в этой работе примет Ф. Ф. Зелинский. Предстоит совещание с режиссерами и ряд других работ, о которых мы будем периодически осведомлять Вас. Р. В. Иванов-Разумник представил уже подробный доклад по своей группе. Точно так же налаживаются и другие работы секции. По группе архивных разысканий, во главе которой стоит Вл. В. Гиппиус, предлагается рас<ширение штата> сотрудников.

Разработкой отдельных частей плана мирового репертуара заняты пока П. С. Коган, Е. И. Сильверсван, С. Э. Радлов.

Сдача в набор полностью первого сборника „Репертуар" задерживается теперь почти исключительно незавершенностью коллективной работы над списком основного репертуара Народного театра.

Председатель Репертуарной секции» [47].

Энергия Блока была направлена на реализацию планов. Поэтому более всего его занимали издательские дела.

23 декабря Блок сделал доклад о пьесах, сданных в набор. Приводим текст этого доклада:

«Дело издания пьес Репертуарной секцией все еще проходит подготовительную стадию. Естественно, что дело, требующее ученого аппарата, многих собраний и совещаний, мобилизации сотрудников разных профессий, двигается не так быстро, как бы хотелось. Однако жизнь предъявляет свои требования.

Ежедневно в Издательское Бюро приходит несколько товарищей из провинции. Они требуют пьес и уходят ни с чем.

Одновременно у О. Д. Каменевой и В. Э. Мейерхольда в среде Издательского Бюро и у меня возникло беспокойство по этому поводу. Мы решаемся принять экстренные меры и вернуться на тот путь, с которого секция временно сошла и который следует признать правильным. Параллельно с ученой работой по подготовке образцового издания пьес со всеми необходимыми примечаниями мы выпустим ряд пьес или вовсе без примечаний или с краткими очерками. Это должно утолить голод хоть на первое время.

Прошу собрание высказаться по поводу списка книжек пьес, составленного мною (список прилагается). Эти пьесы мы можем сдать в набор частью сейчас же, частью — в ближайшее время.

Текст такой пьесы, которую секция признает возможной, немедленно приобретается (покупается или переписывается с *лучшего* текста) и сдается в типографию. Пока она печатается, кто либо из нас по мере возможности берет на себя составление хотя бы краткого очерка в виде послесловия. В Издательском Бюро ответственный корректор без замедления правит корректуру, как только она пришла из типографии. Пьеса подписывается к печати *одним из членов Бюро или заместителем заведующего Театральным отделом*. Пьесы печатаются в том количестве экземпляров, какое возможно, в зависимости от количества бумаги (О. Д. Каменева предлагала обратить всю бумажную наличность преимущественно на пьесы).

На задней стороне обложки каждой спешно выпущенной пьесы печатается следующее:

„Театральный отдел подготовляет к печати ряд пьес с примечаниями и пояснениями как общего, так и специального характера. Эта работа требует времени, а жизнь не ждет. Поэтому Театральный отдел издает первую серию пьес без таких примечаний или с малым количеством их для удовлетворения первых требований, поступающих со всех концов России" [48].

Как видно из этого доклада, Блок подходил к работе чрезвычайно серьезно, обдумывая и содержание будущей библиотеки мирового репертуара и одновременно практическое осуществление своего замысла вплоть до мелочей, до объявления на обложке, до прохождения корректуры. Издание пьес библиотеки мирового репертуара началось в 1919 г. Как писала М. А. Бекетова, «в 1919 году в

издательстве ТЕО вышел целый ряд пьес классического репертуара, как русских, так и переводных, а также пьесы новых писателей» [49].

В начале февраля, по свидетельству «Вестника театра», увидели свет пьесы: «Жареный гвоздь» А. Ф. Погосского, «Чужое добро впрок не идет» А. А. Потехина, «Оливы» Лопе де Руэда, «Игра интересов» — Бенавенте, «Два болтуна» Сервантеса (в переводе А. Н. Островского) и др. Были изданы также книги Н. Н. Холодковского о Гёте, П. О. Морозова — о Пушкине и К. Гуцкове, Ф. Ф. Зелинского об Еврипиде [50].

Выход этих книг был положительно оценен в «Вестнике театра». Рецензент Н. Львов писал, что выпуск пьес Петроградским Театральным отделом «как нельзя более своевременен, провинция давно уже переживает книжный голод, о чем ясно свидетельствуют беспрестанно поступающие запросы с мест с просьбой выслать пьес для рабоче-крестьянского театра». Но в той же рецензии говорилось: «К сожалению, не все изданные петроградцами пьесы подходят для исполнения на народной сцене,— часть их носит тот своеобразный интеллигентский отпечаток, которым так дышит вся европейская литература последнего века и который далек от общенародного духа — необходимого условия нового демократического театра» [51].

Думается, что рецензент, в сущности, правильно указал на то, что не все пьесы могли быть пригодны для народного театра. Изложив содержание пьес Гуцкова, Погосского, Бенавенте и Сервантеса, он посчитал самой интересной пьесу Сервантеса «Два болтуна», но добавил, что «начинающим артистам ⟨...⟩ трудно будет справиться с живостью и бурным темпераментом испанской интермедии» [52].

В 1919—1920 гг. Петроградским ТЕО были изданы также: «Арлезианка» А. Доде (с предисловием Блока), «Борис Годунов» Пушкина, «Женитьба», «Игроки», «Тяжба», «Лакейская» Гоголя, «Мельник, колдун, обманщик и сват» А. Аблесимова, «Сцены из народного быта» И. Горбунова, «Горе от ума» Грибоедова, «Псковитянка» Л. Мея, «Осенняя скука» Некрасова, «Бедность не порок» Островского, «Боевые соколы», «Птенцы последнего слета» Писемского, «Бесовское действо» А. Ремизова, «Дар мудрых пчел» Ф. Сологуба, «Первый винокур» Л. Толстого, «Неосторожность» Тургенева, «О вреде табака» Чехова, «Одноактные пьесы» И. Щеглова и др.

Вышли также пьесы иностранных авторов: «Либуша» Грильпарцера, «Саламанская пещера» Сервантеса, «Король лир» Шекспира. На обложках ряда книг были воспроизведены приводившиеся выше слова Блока о необходимости издания пьес без примечаний и пояснений.

Издание «Библиотеки мирового репертуара» вновь соединило, хотя и не так непосредственно, как ранее, Блока и Луначарского.

Первоначально издательская деятельность Репертуарной секции подверглась со стороны Луначарского критике, в частности, на особом совещании по театральному вопросу 10—12 декабря 1918 г. и на заседании коллегии ответственных работников Театрального отдела 12 января 1919 г. На заседании коллегии Луначарский отметил отсутствие общей идеи в списке пьес, представленных Репертуарной секцией, и сказал: «Издание шедевров в настоящее время не удовлетворяет запросам массы. Надо поэтому писать пьесы, носящие социальный характер, и сопровождать их при издании примечаниями, которые могли бы служить материалом лектора. Для этого надо пересмотреть весь старый и новый (западный) репертуар. Надо искать таких пьес в эпохи, соответствующие переживаемому моменту» [53]. Правда, как уже отмечалось, позже Луначарский отказался от включения в репертуар новых пьес.

В заключительном слове на особом совещании ответственных работников в области театра Луначарский говорил об оторванности планов ТЕО от жизни: «Если бы правительство и пошло навстречу этим широким планам, они тоже не удались бы, слишком уж большой широтой и оторванностью от жизни отличаются они» [54]. Речь шла о деятельности ТЕО в целом, но можно думать, что и о широких планах издания, в частности.

Блок не соглашался с такими упреками. Можно предполагать, что его «Доклад в коллегии Театрального отдела» 29 января 1919 г. явился своего рода ответом на критику Репертуарной секции, полемикой с Луначарским.

Блок заявил, что до сих пор Репертуарная секция при подготовке пьес к изданию руководствовалась тем, чтобы дать «просто хорошее театральное чтение», поэтому и были сданы в набор пьесы «разного времени и самого разнообразного направления», т. е., как писал Блок, «голодные рты» затыкались «картошкой несовершенных изданий в ожидании хлеба изданий образцовых». Блок снова настаивал на издании классического репертуара. При этом он говорил об «американизме» — о «больших масштабах» и «широком размахе» издательского дела. «Мы должны победить рынок и улицу, корысть частных предприятий и пошлость, неизменную спутницу корысти, не реквизициями, конфискациями и запретами, а лавиной действительно питательного материала, на который в России спрос достигает небывалых размеров ⟨...⟩ Только издание *сотен пьес* мирового репертуара парализует заразу десятков ничтожных „новинок", которыми кормится маленькая кучка несчастных пошляков — антрепренеров и предпринимателей ⟨...⟩ Но главное — действовать немедленно и действовать сразу в больших масштабах, в сознании того, что мы стоим действительно в дверях новой эпохи, которая малых дел не примет. Расправляющая члены Россия кустарей не потерпит» (VI, 298—300).


ВСЕРОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПОЭТОВ.
В БОЛЬШОЙ АУДИТОРИИ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
(Лубянский проезд, д. 4)
во Вторник, 27-го Апреля 1920 г.,
СОСТОИТСЯ
БОЛЬШОЙ ДИСПУТ
НА ТЕМУ:
БУДУЩЕЕ ПОЭЗИИ
под председат. профессора П. Н. САКУЛИНА
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО скажет
Почетный Председатель Всерос. Союза Поэтов
А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ
ВЫСТУПЯТ ПОЭТЫ:
Символисты—Ю. Балтрушайтис, А. Белый и В. Иванов.
Футурист—К. Большаков.
Центрифугист—С. Бобров.
Имажинист—В. Шершеневич.
Экспрессионист—И. Соколов.
Нео-классик—Н. Захаров-Мэнский.
Нео-романтик—Л. Никулин.
Пролеткульц—М. Герасимов.
КРИТИКИ: Н. Абрамович, Ю. Айхенвальд, П. Коган, В. Львов-Рогачевский и В. Полонский.
НАЧАЛО В 7 ЧАС. ВЕЧЕРА.
Билеты продаются в Петровской Театральной кассе (Петровка, 5), а в день диспута в кассе Музея с 12 час. дня.

АФИША ДИСПУТА О ПОЭЗИИ С УЧАСТИЕМ А. В. ЛУНАЧАРСКОГО. 1920
Литературный музей, Москва

То, что Блок определял как «американизм», было выражением его собственного духовного максимализма, его романтического мировосприятия, требующего немедленных и решительных действий. «Нам нужно выбросить на рынок миллионы экземпляров книг. Следовательно, мы должны стремиться к оборудованию своей грандиозной типографии какой бы то ни было ценой; мы должны гнать поезда с бумагой, чего бы это ни стоило. Дело должно сопровождаться грандиозным риском, но это общегосударственный риск» (VI, 300),— запальчиво отвечал он на упрек в оторванности от жизни.

Можно предположить, что позже — возможно, и под воздействием возражений Блока — Луначарский поддержал идею «Библиотеки мирового репертуара». Во всяком случае в своей очередной статье «Вопросы репертуара», напечатанной весной 1919 г., он писал: «Репертуар всех эпох и народов должен быть дан в образцовых русских переводах, отечественные лучшие драматурги должны быть изданы полностью; должно быть осуществлено по отношению к драматургии нечто подобное задуманному в широком масштабе изданию „Всемирная литература". Но на этих путях прежде всего стоит кризис — не театральный уже, а кризис бумажный и типографический, и другие — сопутствующие ⟨...⟩ Однако же работа по составлению такого мирового основного репертуара настолько важна и необходимость ее столь повелительна, что из-за временных, чисто материальных разрух не может быть приостановлена до лучших времен,

и она энергично ведется Репертуарными секциями Театрального отдела — Московской и Петроградской» [55].

Так был продолжен «диалог» Блока и Луначарского.

Издательская работа Блока в Репертуарной секции была связана и со сборником «Репертуар». 2 августа 1918 г. Блок был назначен редактором этого сборника. «На запрос Каменевой, „какие обязанности несут члены бюро“, в протокол занесли (без меня), что я — редактор альманаха „Репертуар“ и председатель Репертуарной секции»,— не без иронии записал Блок 4 августа (ЗК, 419). Но за работу над сборником он взялся всерьез, и уже 9 августа докладывал на совместном заседании Историко-театральной и Репертуарной секции о первом номере «Репертуара». Часть статей сборника предполагалось отвести информационно-официальным материалам. Блок считал желательным напечатать в первом номере статью Луначарского, разъясняющую, почему театр и искусство находятся в ведении Наркомпроса. Особый раздел должен был занять список пьес русских и переводных. Проект сборника был одобрен и было вынесено решение просить Блока переговорить с Луначарским и написать для первого номера редакторскую статью [56].

Вопрос о «Репертуаре» слушался на заседаниях 11 сентября, когда Блоку было поручено составление официальной части в «Репертуаре», и 17 сентября. 16 октября Блок заявил на заседании Репертуарной секции: «Я нахожу интересным создание в сборнике Репертуарного отдела „театральной хрестоматии“. Я уже заказал Княжнину приготовить в размере одного печатного листа „Мысли о театре Аполлона Григорьева“» [57].

23 ноября Блок, очевидно, смотрел обложку «Репертуара» (ЗК, 437).

28 ноября он вновь докладывал о сборнике: «Что касается первого сборника „Репертуар“, то сдача его в набор задерживается теперь почти исключительно тем, что не закончена большая коллективная работа над списком пьес основного репертуара народных театров» [58]. В ноябре же в первом номере «Временника Театрального отдела Наркомпроса» появилось сообщение: «У редактора А. А. Блока уже имеется „Обзор работ репертуарной секции“ (от редакции). Списки пьес: „Репертуар деревенского театра“, „Репертуар народного театра“, „Для переводов“.— Статьи: „Несколько мыслей о репертуаре коммунальных театров“ — Александра Блока. „К вопросу об основном репертуаре Народного театра“ — П. О. Морозова. „Театр“ — Алексея Ремизова. „Очерк развития новейшей английской драмы“ — (дост⟨авлено⟩ В. Э. Мейерхольдом из его архива). Пьесы: „Аллалей и Лейла“, „Красочки“ — Алексея Ремизова. Материалы: „Обзор журналов XX века“ со вступительной статьей А. М. Брянского. „Мысли Аполлона Григорьевича о театре“ — В. Н. Княжнина. „На площадь“ — Вл. Бакрылова.

Библиография.

Научный текст (1415 поправок) комедии „Горе от ума“ со вступительной статьей П. П. Гнедича» [59].

Пометки о работе над сборником «Репертуар» неоднократно встречаются в «Записных книжках» Блока: «Занятия „Репертуаром“» (19 ноября 1918 г.), «Весь день редактировал „Репертуар“» (1 января 1919 г.), «Первая корректура „Репертуара“» (13 февраля), «До глубокой ночи — мука над корректурами „Репертуара“, над которыми сидела и мама» (16 марта) (ЗК, 436, 444, 449, 452—453).

Последние записи о «Репертуаре» свидетельствовали о сложностях, которыми сопровождался его выход:

«Встреча с П. О. Морозовым, который рассказал, что приехавшая Каменева выкинула из „Репертуара“ статью Ремизова и мою» (11 июня). 13 июня Блок звонил в ТЕО: отказывался от редактирования сборника. 9 июля Блок написал: «Без меня А. Г. Ларош с останками „Репертуара“. Письмо ей и возвращение всех матерьялов в Репертуарную секцию» (ЗК, 463, 466).

Вышедший в 1919 г. первый сборник «Репертуар» оказался единственным.

Содержание его было беднее, нежели предполагалось. Отсутствовала статья Луначарского, не был напечатан научный текст «Горя от ума». «Репертуар» открывался редакционной статьей «Отчет о деятельности Репертуарной секции Петроградского отделения ТЕО Наркомпроса за 1918 год», написанной, очевидно, Блоком [60]. Далее следовал «Основной список пьес, рекомендуемых Репертуарной секцией Петроградского ТЕО для постановки на сценах народных театров». Этот список открывался русскими пьесами (иностранные пьесы предполагалось дать в ближайших номерах «Репертуара»). Каждая пьеса имела аннотацию, с указанием количества действующих лиц, краткой характеристикой жанра, изображаемой эпохи и т. п.

В третьем разделе печатались рецензии на те пьесы, которые обсуждались в Репертуарной секции, в том числе ряд рецензий Блока; затем шли статьи Блока, А. Ремизова, В. Княжнина.

Таким образом сборник «Репертуар» имел совершенно четкий и определенный замысел, который не был, однако, реализован. Но, очевидно, только энергия Блока могла преодолеть трудности выхода сборника в свет.

Можно предположить, что судьба «Репертуара», препоны на пути издания задуманной им Библиотеки мирового репертуара, т. е. отсутствие реального результата деятельности, столь важного для Блока, его недовольство бессмысленностью заседаний, которые так любила заведующая Театральным отделом О. Д. Каменева, сложные взаимоотношения внутри секции,— все это привело к тому, что Блок буквально со вздохом облегчения приветствовал свое освобождение от роли председателя Репертуарной секции. Как уже говорилось, это произошло 1 марта 1919 г. С этого времени Блок все более и более отдалялся от работы секции. Но тогда же он со всей присущей ему энергией отдался деятельности в только что созданном Большом драматическом театре.

3

Работа Блока в Большом драматическом театре оценивалась по-разному. «Может быть, я ошибаюсь, но мне казалось, что для Блока в ту страшную пору этот театр был как бы спасительной гаванью» [61],— писал вскоре после смерти Блока К. Чуковский.

«Как один из руководителей Большого драматического театра в Петрограде Блок проводил линию Луначарского»,— пишет современный исследователь [62].

Обе эти оценки — полярные по смыслу — не верны. Большой драматический театр не был для Блока «спасительной гаванью», да он и не искал ее даже в самые трудные дни своей жизни («...покой нам только снится!»). Точно так же Блок не мог быть и не был проводником чьей бы то ни было линии. Его деятельность в БДТ стала логическим, закономерным продолжением исканий в области нового народного театра, начатых теоретически в предреволюционные годы и продолженных в Репертуарной секции в 1918 г. Когда В. Н. Орлов писал, что Блок «оставил Репертуарную секцию с чувством досады и разочарования» [63], он имел в виду «досаду» Блока на бессмысленность бесконечных заседаний, его «разочарование» в некоторых людях, превращавших дело в суетную болтовню. Совершенно необоснованным представляется мнение Ю. Давыдова, что деятельность Блока в ТЕО, когда произошла «очная ставка теории и практики», привела к крушению его концепции культуры: то, «что так логично—и так эстетично! — развертывалось в отвлеченной сфере философии культуры, на практике оказывалось трудным и мучительным, а часто просто невыполнимым» [64].

Напротив, Блок ушел в Большой драматический театр (Больдрамте, как называли его в те годы), чтобы осуществить на практике идеи и замыслы, которые он развивал в Репертуарной секции: «широкие планы» должны были претвориться в «реальное дело».

Сам он в письме к М. Ф. Андреевой так объяснял причину своего ухода из Репертуарной секции: «Уходя из Театрального отдела, я уходил, собственно, от специфически театрального, от „театральщины“ в литературное, как в сти-

хию более родную, где, мне кажется, я больше могу сделать» (VIII, 523). Это замечание Блока о родной литературной стихии проясняет характер его деятельности в БДТ — отнюдь не «культуртрегерской» [65], как утверждает тот же Ю. Давыдов.

Блока привлек Большой драматический театр, программа которого, как она задумывалась его организаторами, была ему очень близка.

БДТ создавался как театр «трагедии, романтической драмы и высокой комедии» [66], т. е. как театр классического репертуара.

Вместе с тем в БДТ, казалось, осуществлялась близкая Блоку идея Вагнера о том, что процветание театра возможно тогда, когда дирекция его будет «чисто художественной», будет «представлена всеми художниками, соединившимися вместе для создания произведения искусства». Речь здесь не об автономии театра от государства, а об освобождении его от «обязанностей пред промышленной спекуляцией» [67].

В дирекции БДТ действительно соединились «все художники» — и художники первого ранга — Ю. М. Юрьев, Н. Ф. Монахов, А. Н. Бенуа, В. А. Щуко, М. Ф. Андреева, Блок.

То, что театр не был для Блока «спасительной гаванью» подтверждается свидетельствами современников. Да, Блоку нужен был Большой драматический театр как «реальное дело», но гораздо больше он сам нужен был молодому театру, в творческий коллектив которого так органически вошел. Присутствие Блока в БДТ вносило в жизнь театра «чистоту и благородство, которые дороже всего» [68],— писала М. Ф. Андреева.

С Блоком «вошла чистая душа в организм Большого драматического театра,— отмечал Н. Ф. Монахов в официальном докладе 〈...〉 — Работа его в театре неоценима 〈...〉 мы называли его не иначе, как *совестью Большого драматического театра*» [69]. О нравственном значении работы Блока в БДТ вспоминали Н. И. Комаровская, Г. М. Мичурин и др. [70]

Так же характеризовалась роль Блока в БДТ в научных исследованиях последнего времени: Блок стал «душой и идеологом» БДТ,— сказано в «Истории советского драматического театра» [71].

Этот нравственный аспект характеристики Блока очень важен, ибо он подтверждает значительность для самого Блока его работы в БДТ. Конечно, здесь были свои трудности, отчасти субъективного характера — присущие Блоку «взлеты» и «падения», состояние «выжатости», конфликты, трудные отношения с некоторыми деятелями БДТ. Все это было, но было главное — его вдохновенные выступления перед актерами и зрителями, развивающие важнейшие идеи публицистики той поры, и «реальное дело»— отбор пьес, внимательнейшая правка переводов, беседы с актерами о трактовке той или иной роли. Словом, работа Блока в БДТ — это еще одна важная и значительная область его послеоктябрьского творчества, дающая представление о широте и вместе с тем гармонической целостности его исканий, о глубокой связи этих исканий с общими идеями времени.

Блок пришел в БДТ, когда труппа уже сложилась в своей основе и с огромным успехом 15 февраля 1919 г. прошла премьера «Дон Карлоса» Шиллера. 24 апреля Блок записал: «*Свидание с М. Ф. Андреевой*, которая определила меня на должность председателя Директории Большого драматического театра» (ЗК, 457). 26 апреля он присутствовал на первом заседании в БДТ, а 27 апреля написал М. Ф. Андреевой письмо с отказом от предложенного поста. Письмо это представляет большой интерес, свидетельствуя о том, как, сохраняя собственные взгляды на роль и задачи театра, Блок оказался ближайшим союзником его организаторов, в частности, союзником Луначарского и М. Ф. Андреевой.

В своем письме Блок набросал «чертеж» репертуара: «Середина — неподвижный центр — Шекспир, *вечное*, общечеловеческое (в этом центре „Виндзорские кумушки", которых едва ли удастся поднять, заменяются „Алексеем" — тоже не современное, а общечеловеческое). Одна стрелка — Шиллер и Гюго

другая — Ибсен, Сем-Бенелли и Левберг. Все это вместе — хороший волевой напор, хороший таран» (VIII, 523).

Именно это глубокое понимание Блоком целей и задач театра заставило М. Ф. Андрееву «не заметить» и не принять отказ Блока. «Ваше письмо еще больше убедило меня, что наши радости по поводу Вашего согласия встать во главе Большого драматического театра были верны» [72],— написала она в ответ на его заявление в тот же день. Распоряжением по Отделу театров и зрелищ Комиссариата просвещения Союза коммун Северной области Блок был утвержден председателем правления БДТ.

Идеи о репертуаре БДТ, высказанные в письме к М. Ф. Андреевой, Блок повторил и развил в статье «Большой драматический театр в будущем сезоне». Эта статья отразила последовательность взглядов Блока не только на классику, но на неизбежность появления нового искусства. Он вновь, как и в Репертуарной секции, выступил защитником «великой сокровищницы» классического репертуара: «Сейчас нам нужно пить из самой драгоценной чаши искусства, стараться подойти к тем вершинам, на которые вели нас величайшие старые мастера», «высокая трагедия есть насущный хлеб для нашего времени» (VI, 348). Но он совсем не считал, что нужно покончить с разговорами о новом театре, нет, считал Блок, ему «суждено великое будущее» (VI, 347). И так же, как в неотправленном письме Маяковскому, он писал, что старое искусство «сменит новое, непохожее на старое; не полупохожее, какое мы теперь часто видим, а совсем непохожее как весь мир новый будет совсем не похож на мир старый» (VI, 347—348).

Так причудливо сочетались в Блоке глубокое чувство преемственности в развитии искусства и духовный максимализм, толкавший его к крайним выводам о новом искусстве, непохожем на все прежнее. Каким оно будет, это новое искусство, Блок даже в самой общей форме не представлял, но объективно чрезвычайно много сделал для того, чтобы новое искусство было теснейшим образом связано с «великой сокровищницей» мировой классики.

До утверждения Блока руководителем БДТ в театре были поставлены четыре пьесы: «Дон Карлос», «Макбет», «Много шуму из ничего» и «Разрушитель Иерусалима».

Репертуар БДТ при Блоке развивался соответственно нарисованной им схеме: центр его составили пьесы Шекспира («Отелло», «Король Лир», «Венецианский купец», «Двенадцатая ночь»), романтическую линию театра представляли «Разбойники» Шиллера, современные пьесы «Рваный плащ» Сем Бенелли, «Дантон» М. Левберг, «Синяя птица» Метерлинка, «Царевич Алексей» Д. Мережковского, которую Блок, впрочем, не считал современной. Из перечисленных Блоком авторов не пошли Гюго и Ибсен.

Но при всем том, что репертуар БДТ включал разные жанры: трагедию, романтическую драму, высокую комедию — он развивался как театр романтический, как театр Шиллера, а не Шекспира, хотя при Блоке в театре было поставлено только две пьесы Шиллера и шесть — Шекспира. Это дало повод уже в 30-е годы обвинить Блока в том, что именно он сузил формулу «БДТ — театр классики» до формулы «БДТ — театр романтический», что он повинен в «романтизации или „шиллеризации“ Шекспира», что романтизм Блока «реакционно-мистический» [73] и т. п. Эта тенденция проявилась и в 50-е годы. «Особенно ясно сказывалась приверженность к немецкому реакционно-идеалистическому варианту у Александра Блока, отходившего в это время от того патетического восприятия революции, на основе которого была создана его знаменитая поэма „Двенадцать“,— писалось в „Очерках истории русского драматического театра“ [74].

Как это ни странно, но такая негативная оценка послереволюционного Блока возникла в 30-е годы не без воздействия известной статьи Луначарского „Александр Блок“ (1932), в которой имелись чрезвычайно резкие и несправедливые оценки вульгарно-социологического толка. Но вот что любопытно: тот же С. Мокульский, который был так беспощаден к Блоку за его склонность к ро-

мантизму, не мог не признать, что „шиллеризация" Шекспира в БДТ была подготовлена установками Луначарского, Горького и Андреевой на романтизм, на „поэтическое раскрашивание человека" как метод интерпретации классиков в советском театре» [75]. Не будем вдаваться в полемику по поводу трактовки романтизма. Критик прав в том отношении, что БДТ и замышляли как романтический театр классического репертуара. Так мыслили себе новый театр его организаторы: и М. Ф. Андреева, и Н. Ф. Монахов, и М. Горький. М. Ф. Андреева говорила, что театр будет отдан «романтической драме» [76]. М. Горький писал, что на сцене современного театра необходим герой в широком, истинном значении понятия, нужно показать людям существо идеальное, о котором весь мир издревле тоскует. Горьковская идея «ценного, доброго, сильного, бесстрашного человека» [77] отразилась в выборе пьес для репертуара. Шиллеровский «Дон Карлос» определил направление театра на несколько лет вперед.

Поэтому БДТ оказался таким близким Блоку и так привлекал внимание Луначарского, вскоре после открытия театра уехавшего в Москву, но пристально за ним следившего. Луначарский ценил театр за высокую духовность, которая создавалась романтическим настроем спектаклей. Постоянно полемизировавший с теми, кто видит в марксизме одни лишь экономические догмы, Луначарский говорил: «Не для того русский пролетариат взял власть в свои руки, чтобы устремиться к идеалу сытости и всеобщего житейского благополучия, а для того, чтобы создать простор для жизни творческой и духовной, для расширения умственных и эмоциональных сил человека» [78].

Блок не был, разумеется, единственным «романтиком» в БДТ, его размышления о романтизме выражали объективные романтические тенденции времени, и, конечно же, они не имели реакционного, религиозно-мистического характера, в чем упрекала Блока критика 30 — 50-х годов.

Достаточно внимательно прочитать его речь «О романтизме», чтобы убедиться в том, как тенденциозно интерпретировал позицию Блока С. Мокульский, писавший, что «для Блока романтизм представляет художественное выражение периодически возрождающихся в истории человечества спиритуалистических, мистических и идеалистических тенденций» [79]. Между тем в речи «О романтизме» Блок выступал против понимания романтизма именно как чего-то отвлеченного, туманного, расплывчатого, а главное — далекого от жизни.

В противовес этим «неверным» или «поверхностным» признакам, которыми, как он считал, характеризовался «романтизм у популяризаторов и у филологов, лишенных философского взгляда» (VI, 363), Блок выдвигал такие важнейшие черты романтизма:

«1) Подлинный романтизм вовсе не есть только литературное течение. Он стремился стать и стал на мгновение новой формой чувствования, новым способом переживания жизни ⟨...⟩

2) ⟨...⟩ подлинный романтизм не был отрешенным от жизни; он был, наоборот, преисполнен жадным стремлением к жизни, которая открылась ему в свете нового и глубокого чувства ⟨...⟩ романтики не отвергли и разума; они лишь отличили разум от рассудка ⟨...⟩

3) Из двух главных новооткрытых признаков романтизма, который оказывается теперь на самом деле не чем иным, как новым способом жить с удесятеренной силой, следует, что все остальные признаки романтизма как литературного течения вполне производны, то есть второстепенны...» (VI, 363—364).

Очень важный смысл заключен во вступлении Блока к спектаклю «Разбойники»: «В Позе, например, и есть центр *того романтизма*, о котором у нас говорят: гуманизм, демократизация, идейный космополитизм» (VI, 478—479). Слова эти свидетельствуют о том, какое громадное содержание вкладывал Блок в *понятие «романтизм»*.

Правда, в этой широте и громадности содержания несколько утрачивалась отчетливость границ, но тем более это свидетельствовало о прямой противоположности блоковского истинного понимания романтизма той узкой, сугубо литературной схеме, которую ему навязывали в 30-е годы его интерпретаторы.



А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ
Портрет работы А. И. Костомолоцкого, 1925
Бумага, карандаш
Литературный музей, Москва

Утверждая, что романтизм есть новая форма мирочувствования, а не литературное течение, Блок подходил к определению романтизма как творческого метода. И в этой связи нельзя не отметить, с какой проницательностью писал Блок о связи романтизма и реализма. «Истинный реализм, реализм великий, реализм большого стиля, составляет самое сердце романтизма» (VI, 370),— говорил он, угадывая важнейшую творческую проблему нового искусства. И здесь, конечно же, опять напрашивается параллель со взглядами Луначарского. Идеи Луначарского о новом театре, высказанные им в статье «Социализм и искусство» и так привлекшие внимание Блока, утверждали будущее за «здоровым и пламенным романтизмом». Новый театр, считал Луначарский, будет театром «быстрого действия, больших страстей, резких контрастов, цельных характеров, могучих страданий, высоких экстазов», т. е. театром романтическим, который воскресит «Шекспира, Шиллера и многих других титанов старины для сближения великого искусства с великими господами будущего — народом» [80].

Романтизм и для Луначарского и для Блока был непременно связан с демо-

кратизмом, это очень важная черта нового искусства, рожденного революционным движением народа. Романтизм Блока — не спиритуалистический, не мистический, не реакционный, но демократический в своей основе,— мирочувствование, рожденное грандиозными революционными преобразованиями.

Идея народности революционного театра, высказанная Блоком в «Воззвании Репертуарной секции», конкретизировалась в его речах перед публикой БДТ, перед красноармейцами, уходящими на фронт, перед рабочими Петрограда. Это была удивительно демократическая и прямая форма общения великого поэта и нового зрителя. Речи перед публикой составляли характерную примету театральной жизни того времени. Обращенные непосредственно к сердцу и уму впервые пришедших в театр людей, они выполняли действенную просветительскую и одновременно пропагандистскую функцию. С такими речами выступал и Луначарский.

Блок был одинаково серьезен, глубок, требователен к содержанию своих речей, говорил ли он перед актерами БДТ или перед его зрителями. «Вульгаризация не есть демократизация» — Блок оставался верным этой своей заповеди в речах, обращенных к рабочим, или красноармейцам, или актерам. В этом плане любопытно сопоставить его речь перед спектаклем «Дон Карлос» и речь перед актерами о «Рваном плаще» Сем Бенелли, например: в них единый стиль, единая высокая культура. Блок не шел за слушателями, напротив, старался вести их, поднимать их сознание и чувство. И это отношение к зрителю было выражением той глубоко им прочувствованной идеи демократизации искусства, которая так привлекала его в деятельности большевиков и Луначарского.

Великолепно схвачен «демократический романтизм» Блока в описанной Г. М. Мичуриным сцене проводов на фронт рабочего БДТ коммуниста И. Е. Власова осенью 1919 г.: «Весь состав театра, отложив работы, собрался в фойе и стоя слушал Александра Блока. Отдаленный гул тяжелых орудий дредноута „Севастополь“ доходил к нам даже через толстые стены Консерватории. Холодные лучи неласкового осеннего солнца освещали Власова и Блока, неожиданно открыв то, что никому прежде не могло прийти в голову: тверской парень в солдатской шинели стоит навытяжку, как в строю, а против него в полувоенном костюме и белом свитере один из лучших поэтов России, и казалось, что одним солнцем выжжены русые волосы и высветлены голубые глаза и одинаков у них возникший взволнованный румянец.

Говорил Блок тихо и с трудными паузами, как бы выталкивал слова, отрывая их от сердца.

Скупая форма его речи только подчеркивала боль и страдания поэта от сознания своей ответственности за дикое неустройство мира, когда приходится провожать на войну доброго, чистого душой человека» [81].

Конечно же, лишено всякого основания замечание С. Мокульского о том, что для Блока «классика оказывается спасительной гаванью (опять „спасительная гавань“.— *Н. Д.*) от яростно клокочущих волн советской жизни» [82]. Тем и значительны выступления Блока, что в каждом из них, трактуя смысл той или иной пьесы, он обязательно обращался к современности, проецировал прошлое в настоящее, выясняя, какие уроки можно вынести из бессмертных творений Шиллера и Шекспира. «Вдохновенная пьеса Шиллера, написанная 140 лет тому назад не потеряет для нас даже своего политического значения до той поры, пока живы среди нас боевой дух и лозунг: „*На тиранов!*“ — говорил он во вступительном слове к спектаклю «Разбойники» в декабре 1919 г. (VI, 377). Примером того, как мало соответствовали действительности утверждения о «спасительной гавани», могла служить и речь Блока о пьесе «Рваный плащ», проникнутая язвительной иронией по адресу «книжных людей». «Книга,— говорил Блок,— великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Но ядом станет для него книга, когда он видит в ней только книгу, когда она прихлопнет его своей ученостью» (VI, 382).

Пьеса Сем Бенелли была близка Блоку своим бунтом против книжности, против «словесной гимнастики», против «комнатных, прихлопнутых ученой кни-

гой писателей» (там же), своим революционным духом. Это было отражением романтического мирочувствования Блока.

Как бы высоко ни ставил Блок литературу и искусство, считая их самыми сильными орудиями в борьбе народов за свободу, он никогда не замыкался в узком литературном ряду. Все его выступления всегда соотносились с жизнью, и они всегда были обращены к людям, к человеку.

«Как магнит тянет к себе железо, так революция вызывает к жизни и деятельности людей сильной воли» (VI, 380) — с такого обобщения начиналась речь Блока о драме М. Левберг «Дантон». «Человек сохраняет свое достоинство тогда, когда душа его напряжена и взволнована. Человеку надо быть беспокойным и требовательным к себе самому и к окружающим»,— предварял Блок рассказ о пьесе «Рваный плащ» (VI, 381).

«Шекспировский „Отелло" устареет в те времена, когда изменимся мы, когда мы улетим от солнца, когда мы начнем замерзать...»,— говорил он о великой трагедии Шекспира.

Таким был романтизм Блока. Человек и писатель «бесстрашной искренности», как сказал о нем Горький, Блок умел видеть действительность такой, как она есть, его романтическому мировосприятию не был нужен «возвышающий обман».

«Истинный реализм <...> составляет самое сердце романтизма»,— это не просто теоретическое положение, но один из важных творческих принципов самого Блока, автора поэмы «Двенадцать», статей «Интеллигенция и революция», «Без божества, без вдохновенья», «Сограждане», гневного обличителя «немузыкального» буржуазного мира.

Этот же творческий принцип помогал Блоку раскрывать сложное и глубокое содержание пьес, о которых ему приходилось говорить.

«Победой зла, лжи и смерти кончается великая трагедия Шиллера,— говорил он о трагедии „Дон Карлос".— Чему же она учит нас? Разве мало лжи, зла и смерти видим мы вокруг себя на земле?

Вдумайтесь в то, что вы сейчас увидите. Легко ли, сладко ли жить той волчьей стае, которая осталась царствовать на земле после того, как погубила все доброе?

Нет, такая жизнь — не жизнь... Ложь и зло сами себя губят, за всякое злое деяние человек рано или поздно получает возмездие.

Рядом с этим злом и ложью — каким радостным светом сияют добро и правда! Разве не счастливее и не полнее была каждая минута короткой жизни этих юношей, проданных и замученных негодяями?» (VI, 374—375).

Достаточно сопоставить эту речь Блока и статью Луначарского о постановке трагедии в БДТ, чтобы увидеть, как близки оказались в своем понимании сути романтизма и творчества Шиллера великий романтический поэт Блок и революционер, марксист Луначарский. «Шиллер умел давать победу силам тьмы, поставив настолько выше их в моральном отношении своих утренних людей, провозвестников свободы, что конечная победа этих последних в сердце зрителя остается несомненной» [83],— писал Луначарский.

Блок постоянно подчеркивал сложность жизни и человеческую сложность. «И под королевской мантией часто скрывается много горя и страдания»,— писал Блок о короле Филиппе (VI, 372). Яго—не «сатанинский персонаж», но «вполне реальный человек, умный, обаятельный и веселый»,— говорили Блок и режиссер А. Н. Лаврентьев исполнителю роли Яго Н. Ф. Монахову [84]. Гениальный художник, считал Блок, открывает всю душу человеческую — «все самые темные и грязные углы в этой душе и все самые чистые и светлые ее комнаты» (VI, 379). Ср. у Луначарского в той же статье: «Но надо отметить, что Шиллер, даже рисуя великого инквизитора, для которого употребил самые черные краски, придал ему замечательные черты величавости, и сделал это, конечно, правильно», и еще: «Муки ревности под королевской мантией изображены Шиллером с потрясающей силой».

Нельзя, как это делает Ю. Давыдов в своей работе о Блоке и Маяковском,

умозрительно выстраивать выступления Блока в некий логический ряд, игнорируя их взаимосвязь, внутреннее сцепление, общие корни. Ю. Давыдов писал об эволюции взглядов Блока в послеоктябрьские годы, считая, что у него «идея теургического значения искусства ⟨...⟩ начинала перерастать в теорию искусства „жизнестроения“» (речь шла об идеях статьи «Крушение гуманизма»), а затем вновь «центр тяжести» перемещался «в стихию художественного творчества» (статья «О назначении поэта») [85]. Это была не эволюция, а «разнонаправленность» поисков. Временами Блока целиком захватывала одна идея; она не отменяла и не перечеркивала других, а была сложным развитием общей, сформировавшейся в основе, но беспрестанно движущейся и обогащающейся концепции. Несомненна взаимосвязь статей «Крушение гуманизма» и речи «О романтизме». Самая идея статьи «Крушение гуманизма», несомненно, возникла под воздействием блистательного романтического спектакля «Дон Карлос». Об этом свидетельствуют две записи Блока в самом начале работы над статьей 27 марта 1919 г. «День напряженных, нахлынувших мыслей — до изнеможения» (ЗК, 454). И в дневнике: «Вершина гуманизма, его кульминационный пункт — Шиллер» (VII, 357). «Напряженные, нахлынувшие мысли» вылились в статью «Крушение гуманизма».

Две статьи Блока объединяли не только «сквозные» для его послеоктябрьского литературно-критического творчества герои — Вагнер и Шиллер, но взгляд на судьбу культуры. Пафос статьи «Крушение гуманизма» соединял в себе горечь и надежду. Развивая вагнеровскую мысль о разобщении искусств, трезво анализируя кризис гуманизма и индивидуалистического сознания, Блок констатировал неизбежность этих процессов в буржуазном обществе и одновременно неизбежность прихода «варварских масс», которые одни оказываются «хранителями культуры» (VI, 111).

Статья «Крушение гуманизма», начинавшаяся с утверждения романтика Шиллера величайшим гуманистом, оказывалась как бы незавершенной, но ее конец, открытый для дальнейших размышлений, подводил к идеям о романтизме как новом мирочувствовании. Речь о гуманизме продолжала и развивала блоковскую концепцию культуры.

Так, деятельность Блока в БДТ оказывалась важным и необходимым звеном его послеоктябрьского творчества и вместе с тем в ней нашли отражение общие тенденции развития эстетических исканий тех лет.

Блок любил театр и за то, что в нем он видел возможность «соединения разных искусств» (V, 369). Ему была близка высказанная Луначарским в статье «Социализм и искусство» мысль о том, что «театр, как одно из высших выражений человеческого искусства, находится в ⟨...⟩ тесной связи со всеми явлениями человеческого творчества» [86]. В сущности оба они, каждый по-своему, исходили из идеи Вагнера о том, что театр «является самым разносторонним, самым влиятельным учреждением искусства» [87].

Большой драматический театр с момента организации собирал в своем коллективе блестящие силы актеров, художников, режиссеров. Едва ли не каждая премьера была событием, ибо она являлась результатом дружественного союза слова, актерского мастерства, живописи, музыки.

Вот перечень осуществленных в 1919—1921 гг. постановок БДТ: «Дон Карлос» Шиллера — премьера 15 февраля 1919 г., режиссер А. Лаврентьев, художник В. Щуко, композитор Б. Асафьев; «Макбет» Шекспира — премьера 25 февраля 1919 г., режиссер Ю. Юрьев, художник М. Добужинский, композиторы И. Вышнеградский, А. Гаук; «Много шуму из ничего» Шекспира — премьера 15 марта 1919 г., режиссер Н. Арбатов, художник А. Радаков, композитор Ю. Шапорин; «Разрушитель Иерусалима» А. Ернефельдта — премьера 22 апреля, режиссер А. Лаврентьев, художник В. Щуко, композитор Б. Асафьев; «Дантон» М. Левберг — премьера 22 июня 1919 г., режиссер К. Тверской (К. К. Кузьмин-Караваев), художник М. Добужинский, композитор Ю. Шапорин; „Разбойники“ Шиллера — премьера 12 сентября 1919 г., режиссер Б. Сушкевич, художник М. Добужинский, композитор Ю. Шапорин; «Рваный плащ» Сем

Бенелли — премьера 20 сентября 1919 г., режиссер Р. Болеславский, художник О. Аллегри, композитор М. Кузмин, «Отелло» Шекспира — премьера 22 января 1920 г., режиссер А. Лаврентьев, художник В. Щуко, композитор Б. Асафьев; «Царевич Алексей» Д. Мережковского — премьера 25 марта 1920 г., режиссер и художник А. Бенуа; «Король Лир» Шекспира — премьера 21 сентября 1920 г., режиссер А. Лаврентьев, художник М. Добужинский, композитор Ю. Шапорин; «Венецианский купец» Шекспира — премьера 27 ноября 1920 г., режиссер и художник А. Бенуа, композитор Б. Асафьев; «Синяя птица» М. Метерлинка — премьера 8 января 1921 г., режиссер Н. Петров, художник В. Егоров, композитор И. Сац; «Слуга двух господ» Гольдони — премьера 28 марта 1921 г., режиссер и художник А. Бенуа, композитор Б. Асафьев; «Двенадцатая ночь» Шекспира — премьера 20 мая 1921 г., режиссер Н. Петров, художник В. Щуко, композитор М. Кузмин [88].

И все же при всей увлеченности Блока Большим драматическим театром, когда даже в серьезном и внутренне значительном для Блока выступлении против акмеизма он, иронизируя по поводу формалистических ухищрений, сопоставил термин «эйдолология» с названием кушания в комедии Гольдони «Слуга двух господ» — пьесы, которая ставилась тогда в БДТ,— при всем тяготении Блока к синтетическому искусству театра, он всегда оставался верным своей родной, литературной стихии, о чем писал М. Ф. Андреевой. И «на службе» в БДТ, будучи его руководителем, он оставался литератором, отвечавшим за слово. Луначарский неоднократно высказывал мысль о драматурге как главном действующем лице в театре. В статье «Социализм и искусство» он высказал ее в достаточно парадоксальной форме: «Сцена не есть место для проявления драматического дарования отдельных актеров, а место общения публики с поэтом, его идеями, его чувствованиями» [89].

Блок по существу придерживался того же взгляда, считая, что актер может быть «полным хозяином» в плохих или средних пьесах, но играя великие классические произведения драматургии, актер, если только он настоящий мастер, должен «незаметно стушеваться, уйти на второй план, принести себя в жертву, указать театру на того, кто стоит за ним, на то, чего носителем он является» (VI, 352).

Репертуар БДТ диктовал актеру, считал Блок, именно такое отношение к драматургии, и поэтому Блок так тщательно работал над каждой пьесой. Прежде всего он стремился разъяснить актерам ее смысл. Параллельно режиссерской трактовке драмы Блок в речах перед актерами давал свой поэтический, литературный «комментарий».

Беседы Блока с актерами и выступления перед зрителями составили значительный раздел его деятельности в БДТ. И так же, как рецензии для Репертуарной секции, эти его выступления соединяли в себе конкретный анализ пьес с общими, важными идеями, углублявшимися, уточнявшимися, приобретавшими новые и новые оттенки.

Записные книжки Блока помогают представить объем деятельности Блока, связанной с постановкой той или иной пьесы, и сложности, возникавшие в процессе работы. Можно проследить прохождение одной из пьес. 21 апреля 1919 г. состоялась встреча Блока с М. Е. Левберг «по поводу ее прекрасной пьесы „Дантон“» (ЗК, 457). 24 апреля он говорил о пьесе с К. К. Кузьминым-Караваевым, будущим режиссером спектакля. 26 апреля на первом заседании БДТ, очевидно, пьеса была утверждена к постановке. 19 мая Блок говорил о пьесе М. Левберг в речи к актерам (VII, 354). 21 мая в театре состоялась встреча Блока с Левберг, Кузьминым-Караваевым и М. Добужинским. Записи от 24 мая: «Французская революция — в связи с „Дантоном...“» (ЗК, 461) и 25 мая: «„Дантон“ и революция» (ЗК, 461), позволяют предположить, что Блок продолжал размышлять над проблемами исторического и современного содержания пьесы. 27 мая Блок занимался, очевидно, вопросами распределения ролей (см.: «Опоздал во „Всемирную литературу“, из-за отказа Тиме от „Дантона“» (ЗК, 461). 1 июня Блок присутствовал на полной репетиции «Дантона» с М. Ф. Андреевой и на ре-

петициях 8, 14, 19 июня. 20 июня состоялась первая генеральная репетиция пьесы. 22 июня Блок записал: «*Первое представление „Дантона“* (Тиме, Максимов). Мы с Любой. Автора вызвали, поднесли букет роз. Были Горький, Мария Федоровна, Лурье с О. А. ⟨Судейкиной?⟩. Лучше всех был Максимов. Музалевский почему-то сплоховал, Тиме очень плоха» (ЗК, 464).

Пьеса М. Левберг не имела успеха. Уже 2 июля Блок записал: «Конец „Дантону“?» (ЗК, 465). 17 июля, рецензируя пьесу Ф. Зарина-Несвицкого «Трибун» на предмет постановки ее в БДТ, Блок вновь размышлял о «Дантоне»: «Прочитав эту пошлость (пьесу „Трибун“.— *Н. Д.*) — создание пустой актерской души,— я чувствую нежность к неумелой Левберг, у которой — истинно новое и трудное. Еще раз подчеркивается новизна и прелесть этой пьесы рядом с настоящей пошлостью...

Если „Трибуна“ вздумают ставить, я должен уйти. Надо внести контрпредложение — возобновить „Дантона“, несколько исправив постановку» (VI, 476).

Пьеса «Дантон» не была снята с репертуара и шла еще некоторое время (состоялось 14 спектаклей).

В «Записной книжке» содержатся и другие записи, освещающие работу Блока над каждой пьесой, поставленной при нем в БДТ, которые свидетельствуют о его необычайном внимании не только к содержанию, но и тексту пьесы, особенно переводной.

Работа Блока над текстом Сем Бенелли «Рваный плащ» в переводе А. Амфитеатрова исследована В. Н. Орловым и Н. И. Комаровской [90]. Скрупулезная работа велась над переводами «Отелло» и «Разбойников», когда Блоком заново были переведены тексты песен Дездемоны (III, 414) и Амалии (ЗК, 594).

К маю 1919 г. относится заметка «О чтении стихов русскими актерами», в которой Блок обращал внимание актеров и критики на искажение текстов в переводах, на сокращение, разрушение стиха. Как обычно, очень конкретная заметка подводила к общим, широким выводам: «Если актеры будут правильно читать стихи, если они введут стих поэта в круг изучения своей роли, публика начнет незаметно приобретать слух, который не развит и в наше время у большинства людей, считающих себя интеллигентами» (VI, 474).

Пребывание Блока в Большом драматическом театре не было безоблачным. Порой, как и в Репертуарной секции, на него находили порывы отчаяния, и в «Записных книжках» можно встретить немало горьких слов по адресу проклятой «театральщины», которую он так ненавидел. Продолжались столкновения с заведующей ТЕО О. Д. Каменевой, возникали трения с М. Ф. Андреевой, которая, восторженно встретив Блока, в дальнейшей их совместной работе часто с ним не соглашалась. Одно из таких столкновений, имевшее принципиальный характер, зафиксировано Блоком.

М. Ф. Андреева предложила для театра девиз: «Человек, победитель рока». Она объясняла это таким образом: «Мы и решили будущий наш театр отдать прежде всего „романтической драме“, где человек борется как с подобными ему людьми, так и собственными страстями, и если гибнет, то не по воле слепого рока, а по собственной вине» [91].

Блок не соглашался с таким девизом, считая его «общим местом», публицистичным, не имеющим отношения к искусству и суживающим репертуар. «Театр Востока этим девизом от нас закрывается. Античный театр не говорил о победе над роком, а только о борьбе с ним иногда»,— размышлял Блок.

«Неизвестно, наконец, в большей ли мере определяются действия человека его личной волей, чем исторической необходимостью. Человек во многом — раб своей эпохи, и часто судьба ведет его туда, куда он идти не хочет...» (VI, 476—477).

Позиция Блока в данном случае была более широкой. Некоторые идейные и творческие разногласия перешли в личную неприязнь, обострившую отношения. Резкие отзывы Блока о М. Ф. Андреевой содержатся в его письмах и «Записных книжках». О характере отношения М. Ф. Андреевой к Блоку косвенное представление дает сердитая записка к ней Луначарского:

«Дорогая Мария Федоровна!

1) я не считаю унизительным для себя читать свои вещи там, где их читает Блок и др. поэты.

2) Мне 43 года, и я человек довольно самостоятельный. Жму Вашу руку.

А. Л у н а ч а р с к и й» [92].

Но дело, разумеется, не в отдельных конфликтах и конкретных высказываниях. Немало обидных и резких слов было сказано в свое время о Блоке и самим Луначарским.

Но, очевидно, когда речь идет о таких явлениях русской культуры, как творчество Блока и Луначарского, надо опираться не столько на частные выводы и оценки, имеющие преходящее значение, сколько на те важнейшие общие тенденции их деятельности, в которых выражались исторические закономерности.

Сопоставляя мысли Блока о новом искусстве и новом театре с направлением его работы в Репертуарной секции и в БДТ, мы видим, как много общих идей и принципов обнаруживалось у Блока и Луначарского. И в этом плане их товарищество, начавшееся в первые дни революции, приобретает глубокий смысл.

4

Естественным эпилогом отношений Луначарского и Блока явились энергичные ходатайства Луначарского за Блока, которые начались сразу же, едва Луначарский узнал о его тяжелой болезни. В свое время, в томе 80 «Литературного наследства» «В. И. Ленин и А. В. Луначарский», были опубликованы документы, в которых освещалась борьба Луначарского за спасение Блока, хотя положение поэта было уже чрезвычайно опасным. Особенно интенсивными хлопоты Луначарского стали в июле, когда состояние Блока резко ухудшилось. 11 июля 1921 г. он обратился в ЦК РКП(б) и лично к В. И. Ленину с ходатайством разрешить Блоку выезд за границу для лечения [93]. В этот же день Ленин познакомился с направленной к нему копией этого документа и написал на записке Луначарского: «Тов. Менжинский! Ваш отзыв? Верните, пожалуйста, с отзывом. Коммунистический привет. Л е н и н» [94]. В своем ответе член коллегии ВЧК В. Р. Менжинский предлагал «создать для Блока хорошие условия где-либо в санатории в пределах России» [95].

12 июля на заседании Политбюро в числе других вопросов обсуждалось ходатайство Луначарского и Горького о временной поездке поэта Блока для лечения в Финляндию и о выезде за границу Ф. Сологуба [96].

Сологубу разрешение на выезд было дано. Что касается Блока, то было вынесено постановление поручить Наркомпроду позаботиться об улучшении продовольственного положения Блока [97].

Тогда Луначарский 15 июля обратился в ЦК с новым письмом, копии которого послал Ленину и Горькому.

В письме содержится замечательная характеристика Блока как одного из крупнейших русских писателей XX в., поэта, воспевшего социалистическую революцию (цитируем по копии, хранящейся в Архиве Горького): «Кто такой Блок? Поэт молодой, возбуждающий огромные надежды, вместе с Брюсовым и Горьким — главное украшение всей нашей литературы, так сказать, вчерашнего дня. Человек, о котором газета „Таймс“ недавно написала большую статью, называя его самым выдающимся поэтом России и указывая на то, что он признает и восхваляет Октябрьскую революцию» [98].

В. И. Ленин получил это письмо 18 июля [99], и 23 июля путем опроса решено было «пересмотреть ранее принятое постановление Политбюро относительно поэта А. А. Блока и разрешить ему выехать за границу по состоянию здоровья» [100]. Несомненно, что в пересмотре решения важнейшую роль сыграло письмо Луначарского.

Когда 29 июля Горький телеграфировал Луначарскому о необходимости «спешного выезда» Блока в Финляндию вместе с женой, Луначарский вновь обратился в ЦК РКП(б): «Прилагая при сем срочную телеграмму М. Горького об

отпущенном согласно решения ЦК РКП А. Блоке, очень прошу ЦК признать возможным выезд жены его и уведомить об этом решении Наркоминдел и ВЧК. Нарком по Просвещению А. Луначарский» [101]. После того, как разрешение на выезд Л. Д. Блок было дано, Луначарский телеграфировал Горькому: «К выезду жены Блока стороны высшего органа возражения не встречаются» [102].

Близкие Блока еще надеялись на возможность выезда в Финляндию, и 3 августа Л. Д. Блок заполнила необходимые бумаги, которые 7 августа Е. Ф. Книпович должна была отвезти в Москву. Но состояние Блока резко ухудшилось, и 7 августа он скончался.

Цитируемое письмо Луначарского, так же, как и документы, напечатанные в 80-м томе «Литературного наследства», свидетельствуют не только об активном вмешательстве Луначарского в борьбу за спасение Блока, оно содержит высокую оценку поэта, его значения в прошлом и настоящем русской литературы.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] А. Луначарский. Социализм и искусство.— В сб.: «Театр». Книга о новом театре». СПб., «Шиповник», 1908.

[2] Р. Вагнер. Искусство и революция. Пг., ЛИТО Наркомпроса, 1918.

[3] «Жизнь искусства», 23—24 августа 1918 г.

[4] А. Луначарский. Вступление.— В кн.: Р. Вагнер. Искусство и революция, с. 1.

[5] А. Блок. Собр. соч. в 12 томах, т. 1. Л., Книгоизд-во писателей в Ленинграде, 1932.

[6] Н. А. Трифонов. Два стихотворения А. В. Луначарского.— «Вопр. лит.», 1961, № 1.

[7] Н. А. Трифонов. А. В. Луначарский и советская литература. М., «Худож. литература», 1974.

[8] А. Твардовский. Собр. соч. в 6 томах, т. 5. М., «Худож. литература», 1980, с. 23—24; А. Твардовский. О литературе. М., «Современник», 1973, с. 205.

[9] ЛН, т. 89, с. 224.

[10] См.: В. Н. Орлов. Эпизод театральной деятельности Александра Блока.— «Лит. критик», 1940, № 11—12; Ю. К. Герасимов. Александр Блок и советский театр первых лет революции.— «Блоковский сб.», 1. Когда наст. том находился в производстве, была напечатана статья Е. Беня ("Вопр. лит.", 1985, № 2).

[11] Архив А. М. Горького, КГ-изд 4-19-1.

[12] Только однажды позволил себе Блок «род „отпуска" (не ходить, не получать жалованья, числиться)». Это было в июле 1918 г. (ЗК, 417).

[13] О работе Комиссии см.: Б. С. Мейлах. Судьба классического наследия в первые послеоктябрьские годы. 1917—1919.— «Русская литература», 1967, № 3.

[14] ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 22, ед. хр. 6, л. 1—1 об.

[15] Там же, л. 2—2 об.

[16] В. Полянский. Из встреч с А. Блоком.— «Жизнь», 1922, № 1, с. 196. Ср. протокольную запись: Блок «находит то возражение против новой орфографии, что он считает правописание неотъемлемым от автора, видя и чувствуя в нем часть художественной техники — здесь особый выход для творческой энергии» (ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 22, ед. хр. 6, л. 3).

[17] Там же, л. 3, 4; См. также: «Русская литература», 1967, № 3, с. 30.

[18] ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 22, ед. хр. 6, л. 5.

[19] «Искусство коммуны», 15 декабря 1918 г., № 2.

[20] См. там же, № 4, а также ЛН, т. 65.

[21] ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 24, ед. хр. 5, л. 28 об.

[22] См. Положение о ТЕО Наркомпроса, подписанное Луначарским 18 сентября 1918 г.— Временник Театрального отдела Наркомпроса, вып. 1, ноябрь 1918 г., с. 1—4.

[23] «Исторический архив», 1959, № 1.

[24] Проект «Положения о Репертуарной секции» был разработан на совместном заседании Историко-театральной и Репертуарной секций Петроградского ТЕО 24 мая 1918 г. (ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 24, ед. хр. 6, л. 4). Положение было утверждено 10 июня 1918 г., опубликовано в выпуске 1 «Временника ТЕО Наркомпроса» (с. 40); там же (с. 46) перечислены члены Репертуарной секции Петроградского ТЕО; позже в нее вошли В. В. Гиппиус, Р. В. Иванов-Разумник, Н. А. Котляревский.

[25] П. Громов. Герой и его время. Л., «Сов. писатель», 1961, с. 386.

[26] См. также ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 24, ед. хр. 6, л. 21—22.

[27] Там же, ед. хр. 20, л. 23. Речь А. В. Луначарского на заседании коллегии ответственных работников Наркомпроса 12 января 1919 г.

[28] А. В. Луначарский. Собр. соч. в 8 томах, т. 3, М., «Худож. литература», 1964, с. 58.

[29] Там же, с. 59—60.

[30] ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 24, ед. хр. 24, л. 1—1 об.; см. также: «Советский театр. Документы и материалы. Русский советский театр. 1917—1921». Л., «Искусство», 1968, с. 48.

[31] ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 24, ед. хр. 6, л. 61; ЗК, 415. См. также: Ю. К. Герасимов. Александр Блок и советский театр первых лет революции.— «Блоковский сб.», № 1.

[32] ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 24, ед. хр. 6, л. 80.

[33] Блок, в частности, внимательно смотрел «Ежегодник императорских театров» за 1909—1910 гг. (см. VII, 337—338).

[34] Блок рецензировал для Репертуарной секции следующие пьесы: Аполлон Умов. Трагедия брака; Б. Ярославцев. Восстание рабов (Спартак); Игорь Калугин. Vos eos esse (Это — вы); Ф. Сологуб и Ан. Чеботаревская. Семья Воронцовых; Е. Ционглинская. Лаптисамоходы; Л. Печорин-Цандер. Кровавые всходы; Боги и люди; Борис Ветлугин. Царь-пастух; Бенедикт. Несмеяна; М. Кузмин. Два брата или счастливый день; К. Ляндау. Сказка об Иванушке-дурачке, Царевне-лягушке и волшебной дудочке, от которой всяк пляшет; В. Мейерхольд и Ю. Бонди. Алинур; неизвестный автор. Отчего вечно зелены хвойные деревья; М. Я. Загорская. Первые (Тайное общество).

[35] В записи Блока от 4 августа 1918 г. говорится, что он, отсутствовавший на заседании, в протокол был занесен как председатель Репертуарной секции (ЗК, 419). Других упоминаний о назначении его председателем секции в августе нет.

[36] ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 24, ед. хр. 15, л. 118. Этот факт приведен также в статье Ю. К. Герасимова («Блоковский сб.», 1, с. 329). В большинстве же работ о Блоке начало его председательской деятельности ошибочно относится к весне 1918 г.

[37] ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 24, ед. хр. 15, л. 136а-136б об.

[38] Там же, л. 139 об.

[39] Там же, л. 140, 170.

[40] Там же, л. 136а об.

[41] Там же, л. 190.

[42] См. прим. 10.

[43] ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 24, ед. хр. 15, л. 158 об., 159, 167.

[44] «Архив А. М. Горького», т. XIV. М., «Наука», 1976, с. 17.

[45] «Известия ВЦИК», 1918, № 271, 11 декабря.

[46] «Блоковский сб.», 1, с. 343. См. там же в статье Ю. К. Герасимова об установлении связей Репертуарной секции с Культурно-просветительским отделом Военкома (с. 333).

[47] ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 24, ед. хр. 15, л. 170—170 об. Машинопись без правки.

[48] Там же, л. 222. Машинопись без правки.

[49] М. А. Бекетова. Александр Блок. Биографический очерк. Пб., «Алконост», 1922, с. 263.

[50] «Вестник театра», 1919, № 4, с. 4.

[51] Там же, № 16, с. 6—7.

[52] Там же, с. 7.

[53] ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 24, ед. хр. 23, л. 23.

[54] Там же, ед. хр. 24, л. 8 об.

[55] «Вестник театра», 1919, № 9, с. 6.

[56] ЦГА РСФСР, ф. 2306, оп. 24, ед. хр. 15, л. 27—28.

[57] Там же, л. 91, 107, 138—138 об.

[58] Там же, л. 170 об.

[59] «Временник Театрального отдела Наркомпроса», вып. 1, с. 47.

[60] См. А. Блок. Собр. соч. в 12 томах, т. 12.

[61] К. Чуковский. Александр Блок как человек и поэт (Введение в поэзию Блока). Пг., изд-во А. Ф. Маркса, 1924, с. 39.

[62] А. С. Малинин. Творчество А. Блока в оценке А. В. Луначарского.— В сб.: «Октябрь и художественная литература». Минск, 1968, с. 135.

[63] Вл. Орлов. Эпизод театральной деятельности Александра Блока, с. 138.

[64] Ю. Давыдов. Блок и Маяковский: некоторые социально-эстетические аспекты проблемы «искусство и революция».— «Вопр. эстетики», сб. 9. М., «Искусство», 1971, с. 26.

[65] Там же.

[66] «Советский театр...», с. 240.

[67] Р. Вагнер. Искусство и революция, с. 31.

[68] «Мария Федоровна Андреева. Переписка. Воспоминания. Статьи. Документы.» М., «Искусство», 1968, с. 314—316.

[69] «Советский театр...», с. 242.

[70] См.: Н. Комаровская. Александр Блок в Большом драматическом театре.— «Театр и жизнь». Л.— М., «Искусство», 1957; Г. Мичурин. Горячие дни актерской жизни. Л., «Искусство», 1972.

[71] «История советского драматического театра», т. 1. М., «Наука», 1966, с. 148.

[72] «Мария Федоровна Андреева...», с. 315.

[73] С. Мокульский. В борьбе за классику.— «Большой драматический театр». Л., 1935, с. 50, 53, 59.

[74] «Очерки истории русского советского драматического театра», т. 1. М., 1954, с. 120.

[75] С. Мокульский. В борьбе за классику, с. 62.

[76] «Дела и дни Большого драматического театра». Пг., 1919, с. 44.

[77] М. Горький. Трудный вопрос.— Там же, с. 9, 8.

[78] А. Луначарский. Речь на открытии Государственного института декламации.— «Вестник театра», 1919, № 44, с. 13.
[79] С. Мокульский. В борьбе за классику, с. 55.
[80] А. Луначарский. Социализм и искусство, с. 34, 35, 40.
[81] Г. Мичурин. Горячие дни актерской жизни, с. 82.
[82] С. Мокульский. В борьбе за классику, с. 65.
[83] А. В. Луначарский. Собр. соч., т. 3, с. 52.
[84] Н. Ф. Монахов. Повесть о жизни. Л.— М., «Искусство», 1961, с. 175—176.
[85] Ю. Давыдов. Блок и Маяковский..., с. 25—26.
[86] А. Луначарский. Социализм и искусство, с. 9.
[87] Р. Вагнер. Искусство и революция, с. 30.
[88] «Большой драматический театр», с. 330—331.
[89] А. Луначарский. Социализм и искусство, с. 36; см. также Собр. соч., т. 3, с. 51.
[90] См.: В. Н. Орлов. Александр Блок и пьеса Сем Бенелли «Рваный плащ».— «Уч. зап. Гос. научно-исследовательского ин-та театра и музыки, т. 1, Сектор театра». Л., 1958; Н. И. Комаровская. Александр Блок в Большом драматическом театре.
[91] «Дела и дни Большого Драматического театра», с. 44.
[92] Архив А. М. Горького, ПТЛ 10-26-1.
[93] ЛН, т. 80, с. 292.
[94] «В. И. Ленин. Биографическая хроника». М., 1979, с. 673.
[95] «В. И. Ленин. Биографическая хроника», т. 10, М., 1979, с. 673.
[96] Там же, т. 11, с. 5.
[97] ЛН, т. 80, с. 234.
[98] АГ. В 1921 г. в газ. „Times Literary Supplement“ появилось несколько статей с высокой оценкой Блока — автора „Двенадцати“ и „Скифов“.
[99] «В. И. Ленин. Биографическая хроника», т. 11, с. 51.
[100] Там же, с. 81; ЛН, т. 80, с. 294.
[101] Там же.
[102] «Архив А. М. Горького», т. XIV, с. 100.

БЛОК В АРХИВЕ ЧУКОВСКОГО

Публикация и примечания Е. Ц. Чуковской

Чуковский бережно хранил в своем архиве письма от Александра Блока и его родных. Часть этих документов опубликована (см. кн. 2, с. 232). Однако сохранились не только блоковские письма, но также его заметки и наброски. В архиве Чуковского оказались и деловые записочки Блока к Е. П. Струковой (секретарю издательства «Всемирная литература») и два письма от матери Блока.

Эти разнородные документы прямо не связаны друг с другом. Их объединяет причастность к личности Блока, к его биографии. Заметки Блока и его письма к Е. П. Струковой дают новые примеры конкретного участия Блока в работе горьковской коллегии «Всемирная литература». Публикуем все эти наброски и письма с небольшим комментарием.

1

Отношения Блока и Горького постоянно привлекают к себе внимание мемуаристов и исследователей. Истории этих отношений посвящена статья А. Крюковой в настоящей книге. В статье, в частности, рассказано об участии Блока в подготовке юбилейного сборника о Горьком, задуманного в 1919 г.

«Решено было выпустить сборник, посвященный юбиляру,— вспоминал К. Чуковский.— Редактирование сборника поручили А. А. Блоку и мне ⟨...⟩ Молодому писателю Михаилу Слонимскому было поручено собрать материалы для этого сборника. Сборник был частично готов, когда Горький заявил нам, что по зрелом размышлении он считает выход сборника несвоевременным» [1].

А вот запись самого Блока: «9 апреля 1919. 3 часа — к Горькому по пов⟨оду⟩ книги о нем, кот⟨орую⟩ редактируем мы с Чуковским» (ЗК, 455).

Мих. Слонимский писал Б. А. Бялику в 1964 г.: «В 1919 г. группа писателей, близких Горькому, задумала издать сборник, посвященный его юбилею — 50-летию со дня рождения. К. И. Чуковский привлек меня к этому изданию как секретаря и мне было поручено составить хронологическую канву жизни и творчества Горького» [2].

Итак, по свидетельству К. Чуковского, «сборник был частично готов», о «хронологической канве» М. Слонимского можно прочесть в специальном исследовании [3], но есть лишь несколько упоминаний об участии Блока в подготовке юбилейного горьковского сборника (если не говорить о собственных заметках Блока в «Дневнике» и «Записных книжках»).

В письме к Д. Максимову Чуковский сообщает: «Ал. Ал. горячо принялся за дело. Он решил написать для этой книги статью и ходил вместе со мною к Шаляпину просить Федора Ивановича о том, чтобы тот написал мемуары о Горьком (Шаляпин согласился и написал страниц 20) ⟨...⟩ У меня где-то есть записи Блока, как редактора книги: мы выработали план, к кому обратиться за статьями о Горьком» [4]. В «Чукоккале» сохранился рассказ Чуковского о том, как они с Блоком были у Шаляпина, и запись Блока о Шаляпине, сделанная 9 апреля 1919 г. [5]

Михаил Слонимский дважды упоминает о работе Блока над статьей о Горьком. В «Книге воспоминаний» Слонимский пишет: «Самый неожиданный материал понадобился Александру Блоку — отзыв какого-то митрополита об Алексее Максимовиче. Не помню, к сожалению, что́ это был за митрополит или, может быть, архимандрит, и что́ он такое сказал о Горьком, но поразительно было своеобразие материала [6]. Слонимский вспоминает, что была записка к нему от Блока: «Он (Блок.— *Е. Ч.*) просил в записке достать ему некоторые матерьялы, эту записку лет 25 назад я отдал одному литератору. По ней видно было, с какой любовью, с какой проникновенной тщательностью готовился Блок к написанию статьи о Горьком» [7].

В письме ко мне от 28 мая 1981 г. И. И. Слонимская сообщила: «Этот „литератор“ — это Илья Груздев, которому М. Л. в то время передал все собранные им матерьялы по Горькому».

Как видно изо всех этих цитат, участники работы над «Книгой о Горьком» вспоминают и о «записке Блока», и о его «записях, как редактора книги», и о «плане» сборника. Однако сами эти документы никому не были известны и никогда не были опубликованы. Теперь в архиве Чуковского нам удалось обнаружить план «Книги о Горьком» и заметки Блока [8]. Найденные документы позволяют впервые установить ранее неизвестную структуру сборника. План книги написан рукою Чуковского. По этому плану сборник должен был открываться статьей Блока. На обороте этого листка с планом и на нескольких таких же листочках рукою Блока записаны отрывочные мысли о Горьком — всего четырнадцать фраз.

Приводим оба текста: план книги и заметки Блока.

«Предполагаемый состав книги о Горьком, редакторами которой были намечены Блок и я.

Статья Блока
Статья Чуковского 2 листа
Статья Амфитеатрова
Биография, написанная Строевым
Шаляпин
Замятин
Десницкий } Биография
Куприн
Ремизов

Матерьялы о Горьком
Слонимский

⟨Этот текст написан рукой К. Чуковского.— *Е. Ч.*⟩

Набор немного громоздкий
До него — поэзия неделания
счастьеискатель
очищаются Голгофой
В этом его помешательство
лишен чувства бесконечности и вечности
Фет слишком далек и Соловьев тоже
«Две души» после «В людях».
Никто из русских писат⟨елей⟩ русской болезни жестокости до Горького не замечал
Мысли, как бревна — много еще сравнений
Критическое подчеркиванье

Сколько людей у Горького
Талантлив — решающее для Чуковского
Несвоевр⟨еменные⟩ мысли — не все серо»

⟨Этот текст написан рукою Блока.— *Е. Ч.*⟩.

Первое, что приходит в голову, когда смотришь на эти беглые наброски,— что Блок записал свои мысли о Горьком, которые намеревался развить в будущей статье. Легко принять эти заметки за суждения Блока о Горьком. Тем более, что в «Дневнике» 20-го года Блок пишет почти то же самое об отношении Горького к Фету: «ненависть к Фету» (VII, 371).

Однако дальнейшее знакомство с историей этой невышедшей книги заставляет, хотя бы частично, отказаться от такого взгляда.

Первые сомнения возникают при чтении статьи «Вечер Студии „Всемирной литературы“ (А. Блок — „Возмездие“. К. Чуковский — статья о Горьком)». В газетном отчете о вечере рассказано о выступлениях Блока и Чуковского 12 июля 1919 г. Блок прочел новую главу из ненапечатанной поэмы «Возмездие», а Чуковский — в присутствии Блока — «неизданную статью о Максиме Горьком». Автор газетного отчета излагает содержание статьи: «Критику

удалось показать, что Максим Горький не романтик и не богоискатель, а *счастьеискатель* ‹...› *Россия больна жестокостью... больна азиатчиной неделания*» [9]. (Курсив здесь и далее мой.— *Е. Ч.*). Бросается в глаза, что даже беглый пересказ лекции Чуковского — текст ее, к сожалению, не сохранился — содержит несколько дословных совпадений с мыслями, высказанными в заметках Блока. По записным книжкам Блока видно, что Блок не только слышал 12 июля 1919 г. авторское чтение «неизданной статьи о Максиме Горьком», но ранее того, 23 апреля 1919 г. читал эту статью [10].

В пересказе ненапечатанной статьи 1919 г., прочитанной в присутствии Блока, и в книге Чуковского о Горьком, вышедшей в 1924 г.[11], можно обнаружить фразы, которые дословно или почти дословно повторяют мысли, записанные Блоком:

«До него ... *поэзия неделания*» (с. 12).

«Горький не богоискатель, не правдоискатель, он только *искатель счастья*» (с. 12).

«‹...› рассказать ей ‹Богородице› о наших скорбях. *В этом его помешательство*» (с. 19).

«Он ни за что не написал бы как *Фет*

Прямо смотрю я из времени *в вечность*» (с. 20).

«Ему некогда думать о потустороннем и *вечном*» (с. 19).

«Кроме повести „*В людях*“ будет чрезвычайно полезна маленькая статья Горького „*Две души*“, появившаяся почти одновременно с повестью» (с. 32).

«Горький в своей статье („Две души“.— *Е. Ч.*) заявил, что *русская душа больна жестокостью*» (с. 32, 34).

‹...› *Никто из русских писателей до сих пор этой болезни не замечал*» (с. 34).

«В его художественных образах бездна нюансов, а *мысли* элементарны, топорны, *как бревна*, и так же, как бревна, массивны...» (с. 37).

«Интересно бы сделать перепись ‹...› *в книгах Горького,— сколько людей* там приходится на каждый квадратный вершок» (с. 53).

«Нельзя было не заметить в нем (Горьком.— *Е. Ч.*) этой многообразной *талантливости*» (с. 25).

«‹...› его буйный декоративный *талант*» (с. 50). «Он — огромный *талант*» (с. 64). «*Несвоевременные мысли*». Где ни откроешь, *серо*» (с. 57).

Итак, из четырнадцати фраз Блока — одиннадцать обнаруживаются в книге Чуковского о Горьком. Правда, о «Несвоевременных мыслях» Чуковский и Блок высказывают прямо противоположные мнения. Лишь три фразы Блока: «набор немного громоздкий», «очищаются Голгофой» и «критическое подчеркивание» отсутствуют в книге Чуковского (если не считать цитаты из Достоевского «человек только и хорош страданием» (с. 45).

Дословное совпадение текстов Блока и Чуковского нуждается в объяснении.

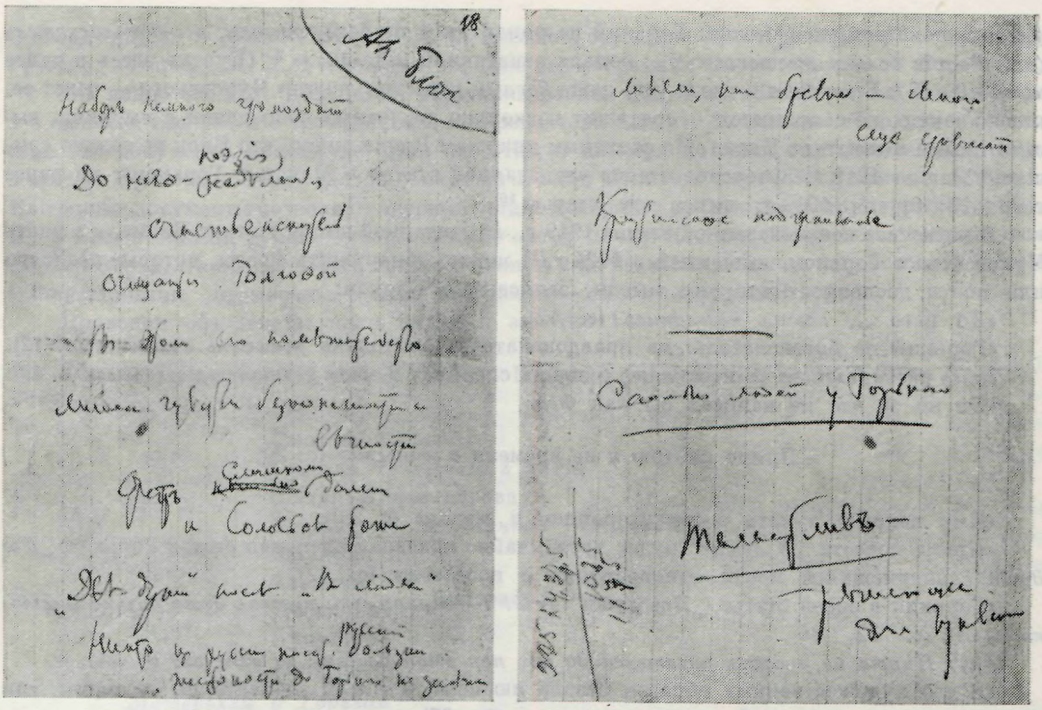
Одно из таких объяснений: Чуковский воспользовался замыслом Блока и выдал его мысли за свои сперва в присутствии Блока, на своей лекции, а потом, после смерти Блока, в своей книге о Горьком.

Это предположение, однако, легко опровергнуть. Ведь еще до того дня — весною 1919 г.,— когда Блок и Чуковский намечали состав юбилейного горьковского сборника и Блок набросал свои заметки о Горьком, Чуковский-критик уже многократно писал о Горьком в печати (см., например, его статьи «Максим Горький», 1907; «Новый Горький», 1910; «Покаяние Горького», 1910; «Утешеньишко людишкам», 1915) [12], а Чуковский-лектор выступал с лекциями о нем. Одна из таких лекций называлась «Больная Россия и ее целитель Горький» (1917) [13]. Знакомство с этими и другими критическими работами Чуковского позволило установить, что многое из того, о чем пишет Блок в своих набросках, было ранее напечатано Чуковским в его критических статьях.

Например, статья Чуковского «Покаяние Горького» начинается с перечисления жестокостей, описанных в горьковских книгах: «ленивая скука, необъяснимая *жестокость*, зевота».

В статье «Утешеньишко людишкам» читаем: «*До него лишь поэзия* непротивления, *неделания...*»

В предисловии к книге «От Чехова до наших дней» (1908) Чуковский утверждает: «Особый пункт помешательства есть у каждого писателя, и задача критики в том, чтобы отыскать этот пункт». Фраза Блока: «очищаются Голгофой, в этом его помешательство» — явно перекликается с вышеприведенной мыслью Чуковского.



ЗАМЕТКИ БЛОКА ДЛЯ СБОРНИКА СТАТЕЙ О ГОРЬКОМ
Автограф, 1919
Архив К. И. Чуковского, Москва

А вот что пишет о Горьком Чуковский в «Книге о современных писателях» (1914, с. 200): «Вот он сказал, что у кого-то „мысли были, как старые богомолки". А у кого-то еще — „как хохлы утром на ярмарке". Еще у кого-то мысли были, по выражению Горького, подобны змеям, а иногда и летучим мышам, у кого-то еще были мысли, как пчелы, „как испуганный рой пчел" ⟨...⟩ Если всмотреться, всегда у него уподобления». Уместно вспомнить эти слова Чуковского, читая у Блока «мысли как бревна, много еще сравнений».

Однако, оставив предположение, что Чуковский в своей книге о Горьком присвоил, пересказал и развил мысли Блока, не следует впадать в другую крайность, полагая, что наброски Блока — это конспективное изложение дореволюционных статей Чуковского о Горьком. Но тут, к сожалению, мы из области фактов и цитат вступаем в сферу догадок и предположений.

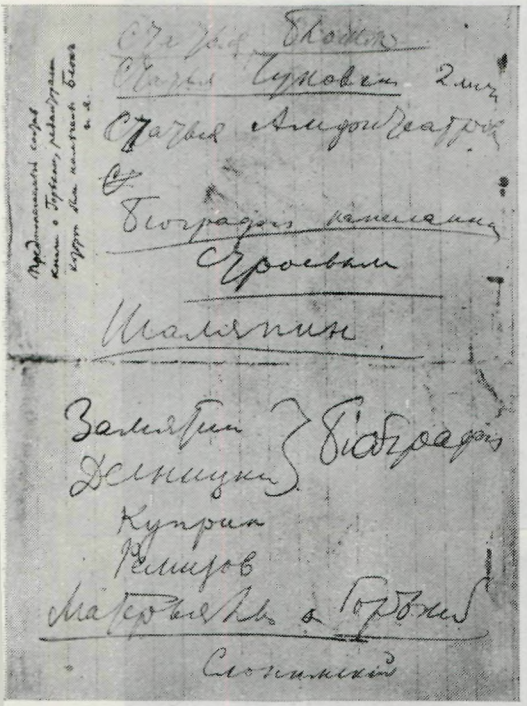
Одно из таких предположений: редакторы юбилейного сборника Блок и Чуковский после обсуждения состава книги заговорили о возможном содержании своих будущих статей. Может быть, Блок записал основные мысли, о которых шла речь в этом разговоре. Что-то из этих мыслей принадлежало Чуковскому, что-то самому Блоку. Очень вероятно, что кое-что из суждений Чуковского Блок записал, чтобы потом оспорить.

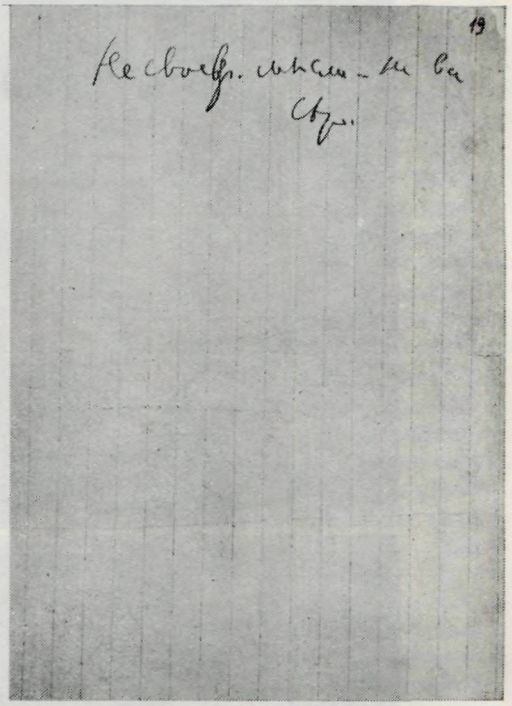
Можно только добавить в заключение, что в библиотеке Чуковского сохранилась книга, которая, вероятно, тоже имеет отношение к заметкам Блока. Речь идет о книге статей М. Горького [14]. Среди статей есть и «Две души». На обложке книги стоит штамп «Для отзыва». Книга издана в 1918 г. и испещрена пометками Чуковского. В конце книги, на внутренней стороне обложки среди пометок есть такая фраза: «...претенциозно и в то же время серо». Это же издание статей Горького со многими пометками сохранилось и в библиотеке Блока.

Возможно, что Чуковский и Блок говорили об этой книге, и отсюда пошло блоковское «не все серо» и размышления о статье «Две души».

Но, пожалуй, довольно догадок, цитат, сопоставлений.

Одно можно сказать с определенностью: намерение Блока написать статью для юбилейного горьковского сборника нашло новое документальное подтверждение в архиве Чуковского.





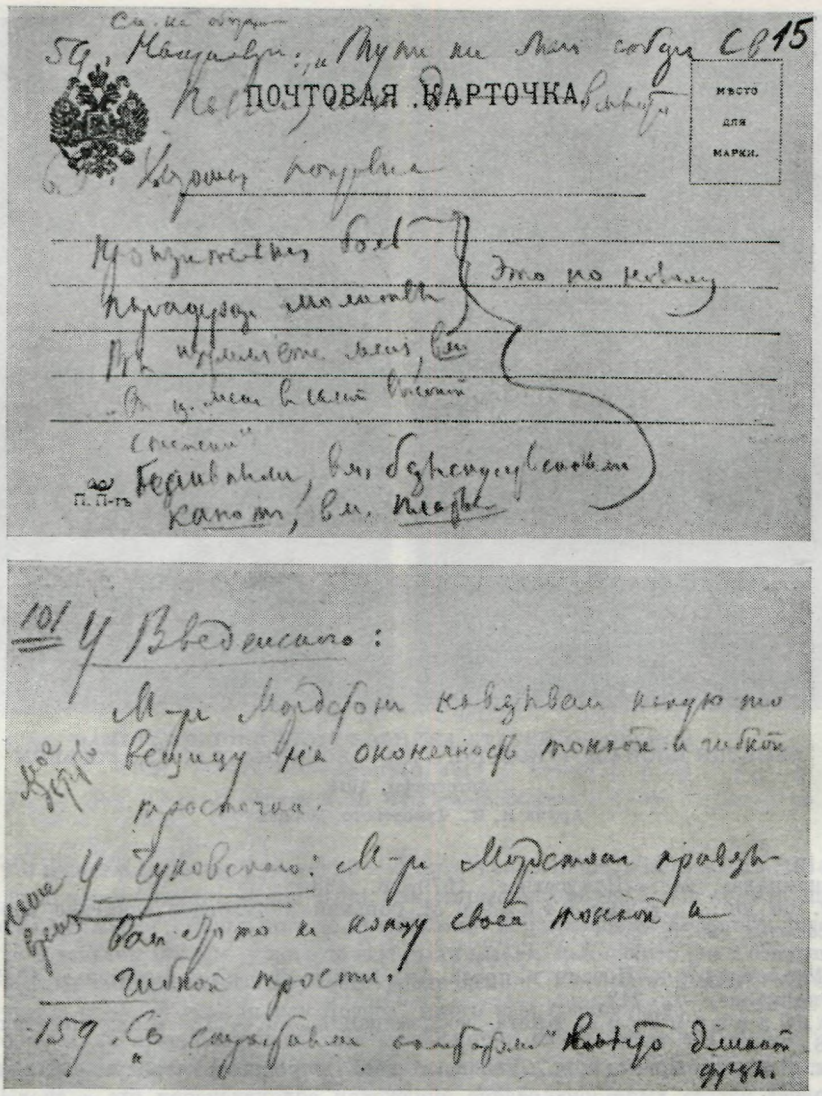
ЗАМЕТКИ БЛОКА И ЧУКОВСКОГО ДЛЯ СБОРНИКА СТАТЕЙ О ГОРЬКОМ
Автографы, 1919
Архив К. И. Чуковского, Москва

[1] «Чукоккала». М., «Искусство», 1979, с. 198.
[2] Цит. по кн.: Г. Гвенитадзе. М. Горький и духовное единение народов. М., «Сов. писатель», 1977, с. 11.
[3] Там же.
[4] Д. Максимов. Поэзия и проза Ал. Блока. Л., «Сов. писатель», 1975, с. 520.
[5] «Чукоккала», с. 212.
[6] Мих. Слонимский. Книга воспоминаний. М.— Л., «Сов. писатель», 1966, с. 45, 46.
[7] Мих. Слонимский. «...Любовью своей к родному народу».— «Звезда», 1981, № 10, с. 174.
[8] ГБЛ, ф. 620, к. 61, ед. хр. 19, л. 18, 18 об., 19, 19 об.
[9] В. Р. Вечер Студии «Всемирной литературы».— Газ. «Жизнь искусства», 16 июля 1919 г., с. 1.
[10] ЗК, с. 457, и прим. 46 на с. 591.
[11] К. Чуковский. Две души М. Горького. Л., Изд-во «А. Ф. Маркс», 1924. В тексте статьи все ссылки на страницы даны по этому изданию.
[12] См.: «Родная земля», 19 марта (1 апреля) 1907 г.; «Речь», 28 февраля (13 марта) 1910 г.; 2 (25) сентября 1910 г.; 5, 12 июля 1915 г.
[13] «Русская воля», 26 января 1917 г.
[14] М. Горький. Статьи 1905—1916 гг. Второе издание без цензурных изъятий и дополненное двумя статьями. Пг., «Парус», 1918.

2

Сохранились также карандашные заметки Блока по поводу «Давида Копперфильда» Диккенса в переводе Иринарха Введенского. Заметки сделаны на «почтовых карточках» двух сторон и касаются редакторских поправок Чуковского.

О происхождении этих листков Чуковский рассказывает: «Порою бывало и так, что он (Блок.— *Е. Ч.*) брал у меня какой-нибудь из проредактированных мною переводов, внимательно исследовал их и возвращал со своими заметками. Началось с того, что, редактируя Диккенса, я сделал одно горькое открытие. Оказалось, что Иринарх Введенский, которого мы лет шестьдесят или семьдесят считали лучшим переводчиком «Пиквикского клуба», «Давида


ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА

МЕСТО ДЛЯ МАРКИ.

Это по поводу

101 У Введенского:

У Чуковского:

ЗАМЕТКИ БЛОКА О РЕДАКТИРОВАНИИ ЧУКОВСКИМ ПЕРЕВОДА РОМАНА ДИККЕНСА «ДАВИД КОППЕРФИЛЬД»

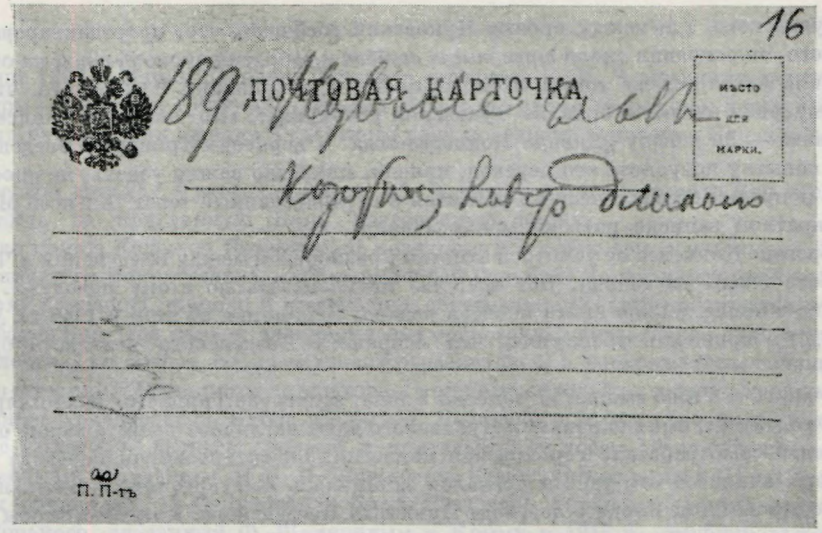
Автограф, 1919

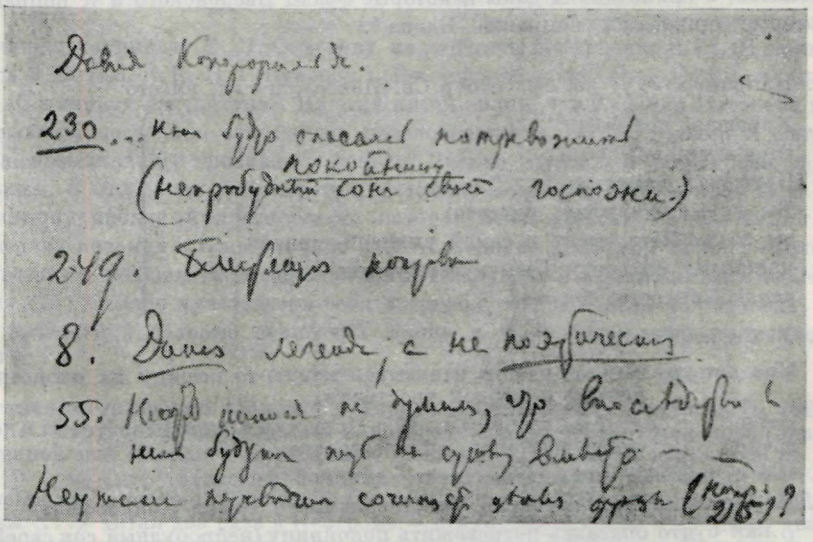
Архив К. И. Чуковского, Москва

Копперфильда», «Домби и сына», на самом-то деле был бесцеремонным невеждой и выдумщиком. Он не только искажал тексты Диккенса, он сочинял десятки отсебятин, которые навязывал Диккенсу. Об этом своем открытии я с грустью поведал Александру Александровичу. Стоило ли работать над текстом такого неряхи? Правда, неряха был очень талантлив, но это помогало ему еще сильнее отклоняться от подлинника. Иногда у меня уходило часа два или больше на то, чтобы привести в соответствие с подлинником одну-единственную страницу Введенского. Блок, который с детства привык считать этого переводчика замечательным мастером, взял у меня томик «Копперфильда» с моими поправками и к ближайшему заседанию принес этот томик со своими карандашными заметками.

Недавно я — полвека спустя — разыскал эти заметки и решил приобщить их к Чукоккале. Здесь не место расшифровывать их» [1].

Томик «Копперфильда» с многочисленными поправками Чуковского, вклейками, вписанными и зачеркнутыми фразами, подстрочными примечаниями и т. д. сохранился в его библиотеке. Это — та самая книга, которую внимательно перечел Блок [2].





ЗАМЕТКИ БЛОКА О РЕДАКТИРОВАНИИ ЧУКОВСКИМ ПЕРЕВОДА РОМАНА ДИККЕНСА «ДАВИД КОППЕРФИЛЬД»

Автограф, 1919

Архив К. И. Чуковского, Москва

Характеризуя редакторский труд Чуковского, Блок пишет в своих заметках: «хорошая поправка», «блестящие поправки» (указаны определенные номера страниц). Блок отмечает также, что Чуковский заменяет некоторые выражения более современными. Выписав в столбик несколько таких фраз, Блок пишет сбоку — «это по-новому». Сопоставляя отдельные фразы из переводов Введенского и Чуковского, Блок пишет о Введенском: «мое детство», о Чуковском: «наше время». Выписывает Блок и примеры того, как Чуковский заменяет длинные фразы Введенского короткими. Кончаются эти заметки вопросом: «Неужели переводчик сочиняет целые фразы (напр. 215)?».

В брошюре «Принципы художественного перевода» (Пг., 1920), в своей статье «Переводы прозаические» Чуковский подробно проанализировал и достоинства и недостатки перевода Введенского. Брошюра эта предназначалась в качестве пособия для молодых переводчиков — слушателей студии «Всемирной литературы». Ответом на вопрос Блока: «Неужели переводчик сочиняет целые фразы?» — можно считать главку «Текстуальная точность» в вышеназванной

статье Чуковского, где между прочим Чуковский сообщает, что, проредактировав перевод Введенского, он исправил около *трех тысяч ошибок* и отбросил около *девятисот* отсебятин [3].

Горький читал тот же томик «Копперфильда» с поправками Чуковского, что и Блок.

В мемуарном очерке «Горький» Чуковский вспоминает: «Вот еще одна записка Алексея Максимовича — по поводу „Давида Копперфильда" в переводе Иринарха Введенского ⟨...⟩ я сделал попытку исправить его перевод, причем, мне было важно узнать, не вносят ли мои обильные поправки стилистического разнобоя в переработанный текст. Алексей Максимович в своей краткой записке развеял мои опасения.

«В переводе Диккенса не усмотрел заметных разноречий между Введенским и Чуковским: ваша работа очень тщательна. Вот все, что могу сказать по этому поводу» [4].

Однако в конце концов книга не была издана. Вспоминая об этом в 1966 г., Чуковский писал: «⟨...⟩ я пришел к убеждению, что исправить Введенского нельзя, и бросил всю работу».

Хотя книга так и не вышла, но заметки Блока, записочка Горького, экземпляр «Копперфильда» с редакторскими поправками Чуковского дают наглядное представление о том, с какой тщательностью работала горьковская коллегия. Редактированием перевода Иринарха Введенского, анализом его удач и провалов занимались и Чуковский, и Блок, и Горький.

Приводим заметки Блока о переводе Иринарха Введенского. Для того, чтобы их характер был понятен, в примечаниях даны некоторые фразы Введенского и те поправки Чуковского, которые привлекли внимание Блока [5].

59. Например: «Тут же был собор Св. Павла», и т. д. вместо

69. Хорошая поправка
Пронзительная боль
Парафраз молитвы
Вы изумляете меня, вм⟨есто⟩
вы из⟨умляете⟩ меня в самой высокой степени
наивным, вм⟨есто⟩ безыскусственным
капот, вм⟨есто⟩ *платье*
} Это по-новому

101. *У Введенского*:

Мое детство М-р Мордстон навязывал какую-то вещицу на оконечность тонкой и гибкой тросточки.

Наше время *У Чуковского*: М-р Мордстон привязывал что-то к концу своей тонкой и гибкой трости.

159. «Со страстным аппетитом» вместо длинной фразы.

189. Название главы. Короткое, вместо длинного Давид Копперфильд

230 ...как будто опасаясь потревожить покойницу (непробудный сон своей госпожи)

249. Блестящие поправки.

8. *Дикая* легенда, а не *поэтическая*

55. Никто никогда не думал, что впоследствии в нем будут жить на суше, вместо...

Неужели переводчик сочиняет целые фразы (напр. 215)?

[1] Архив К. Чуковского. Комментарий к Чукоккале. Частично опубликовано. См.: «Чукоккала», с. 213.

[2] Чарльз Диккенс. Давид Копперфильд, ч. 1. Перев. Иринарха Введенского. СПб., Книгоиздательское т-во «Просвещение», ⟨1906⟩, 485 с.

[3] Принципы художественного перевода. Пг., «Всемирная литература», 1920, с. 49.

[4] К. Чуковский. Современники. М., «Мол. гвардия», 1967, с. 139.

[5] Так, на с. 69 *у Введенского* было: «Пропала моя головушка! — завопила м-с Гуммидж»; *у Чуковского*: «Бедная я, несчастная женщина! — завопила м-с Гуммидж». На с. 90 *у Введенского*: «Вы изумляете меня в самой, высокой степени! ⟨...⟩ я вступаю в супружеский союз с безыскусственным и детски-неопытным созданием...»; *у Чуковского*: «Вы изумляете меня! ⟨...⟩ Я вступаю в супружеский союз с наивным и детски-неопытным созданием...»; на с. 189 название главы VIII *у Введенского*: «Еду на зимние вакации и наслаждаюсь разнообразными удовольствиями в родительском доме, причем обращается особенное внимание на один счастливый вечер»; *у Чуковского*: «Зимние вакации. Главным образом — один счастливый вечер».

3

В конце 1962 г. Мария Петровна Струкова переслала К. И. Чуковскому папку с бумагами ее сестры — Евдокии Петровны, которая была одно время секретарем издательства «Всемирная литература». Так в архив Чуковского попали деловые записочки Блока к Е. П. Струковой.

В ответном письме [1] Чуковский писал: «⟨...⟩ теперь я могу выразить Вам горячую мою благодарность за присланную Вами драгоценную папку.

Я живо помню Евдокию Петровну. Я познакомился с нею еще в редакции „Летописи". Помню, с каким глубоким уважением говорил о ней Горький. Человек огромной дисциплины, неутомимая труженица, широко и всесторонне образованная, она была идеальным редакционным работником. При первом знакомстве она производила впечатление суховатого и замкнутого человека, но вскоре это впечатление рассеивалось, и раскрывалось любящее щедрое сердце. Ко всем нам, „Всемирным литераторам", она относилась как к своим лучшим друзьям. Очень любила Крачковского, Блока, Сологуба, Лозинского, и они относились к ней дружески. Даже Сологуб — человек суровый и мнительный — писал ей задушевные письма» [2].

Часть бумаг, полученных от М. П. Струковой, Чуковский передал в ЦГАЛИ, некоторые документы (письма к Е. П. Струковой от Блока, Сологуба, Горького) оставил в своем архиве, портрет Горького, сделанный Ф. Шаляпиным в Крыму в 1916 г., опубликовал в «Чукоккале» [3].

Блок также упоминает Е. П. Струкову на страницах «Чукоккалы» [4]. В архиве Блока сохранилось 3 письма от Е. П. Струковой [5]. Все письма написаны в 1921 г. на бланках издательства «Всемирная литература». Из этих писем видно, что Евдокия Петровна как секретарь издательства постоянно занималась разнообразными литературными и бытовыми делами Блока, посылала ему провизию и деньги. Письма Струковой отправлены не по почте, а с посыльным. В этой роли упоминается постоянно некая Нюша. Именно Е. П. Струкова переслала Блоку письмо Чуковского, на которое Блок ответил 26 мая 1921 г. [6]

В последних письмах к Блоку в июне 1921 г. Евдокия Петровна писала: «Если бы наше общее сочувствие и желание Вам здоровья могло помочь, то Вы должны были бы очень скоро поправиться ⟨...⟩ Стыдно чувствовать себя здоровой, когда болеют такие люди, как Вы».

Ниже печатаются деловые записочки Блока к Е. П. Струковой, написанные зимой 1919—1920 г.

[1] Оригинал этого письма хранится у Андрея Венедиктовича Федорова (р. 1906), родственника М. П. Струковой, переводчика и литературоведа. Цитируется по копии, любезно предоставленной мне Наталией Иосифовной Ильиной, получившей эту копию от А. В. Федорова.

[2] В письме от 18 июля 1920 г. Ф. К. Сологуб писал Е. П. Струковой: «Шлю Вам привет из Костромы ⟨...⟩ Читал два раза в Костроме,— стихи, потом главы из романа, два раза был в студенческом кружке, где читали „Розу и Крест" Блока; в Костроме ведь теперь есть Университет...» (оригинал письма в архиве К. И. Чуковского).

[3] «Чукоккала», с. 175, 177.

[4] Там же, с. 210.

[5] ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 416, л. 1—3.

[6] ЛН, т. 92, кн. 2, с. 242, 243.

⟨15 декабря 1919 г.⟩

Многоуважаемая Евдокия Петровна.

Позвольте просить Вас переслать в типографию вслед за V томом Гейне прилагаемый листок (Зоргенфрей сам просил обозначить его инициалами).

У меня жар (простуда), так что завтра мне не удастся придти. Если Вас не затруднит, не можете ли прислать хлеб с Нюшей?

Искренне уважающий Вас Ал. Блок

15 XII 1919

1.IV ⟨1920 г.⟩

Многоуважаемая Евдокия Петровна.

Спасибо Вам от всей души за Вашу заботливость. Я все еще лежу, так что завтра не смогу придти опять.— А у Свиридовой [1] ведь все равно — трагедия

остается трагедией: все деньги уходят на морфий (говорят). Сама себя убивает.

Преданный Вам Ал. Блок

Прилагаю 100 р. на хлеб и пр., у Вас, кажется, уже минус. На конверте рукою Блока:

Евдокии Петровне

Спасибо за все, прилагаю расписку.

А. Б.

[1] Софья Александровна *Свиридова* (псевд. Жильберта Свиридова, С. Свириденко) — поэтесса, переводчица. Переводила для «Всемирной литературы» стихотворения Г. Гейне. 26 марта 1920 г. Блок написал в издательство: «Ж. А. Свиридовой надо заплатить за перевод...» Речь шла о переводах стихотворений «Лирического интермеццо» Г. Гейне (цит. по кн.: «Александр Блок. Переписка. Аннотированный каталог», вып. 1. М., 1975, с. 417).

В архиве Блока сохранилось несколько писем Свиридовой, относящихся к 1921 г. (ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 395, л. 1—14). В письмах она называет Блока «доброй душой» и постоянно просит у него деньги, папиросы, продукты, книги. Из ее писем, а также из писем к Блоку Е. П. Струковой очевидно, что Блок пытался помочь Свиридовой. Так, 24 мая 1921 г. Е. П. Струкова пишет Блоку: «...Ваше письмо относительно Свиридовой передала в Союз писателей». В следующем письме Струкова сообщает Блоку, что выхлопотала для Свиридовой колбасу. И, наконец, в последнем письме (13 июня 1921 г.) Струкова пишет: «Передачи, хоть и не частые, С. Свиридовой наладим». (Свиридова в это время находилась в больнице, в Удельной.)

2 IV ⟨1920 г.⟩[1]

Многоуважаемая Евдокия Петровна.

Спасибо за все, простите, что расписался неверно. Прилагаемый «Маскарад» передайте, пожалуйста, Н. О. Лернеру, он ему принадлежит.

Преданный Вам Ал. Блок

[1] Датируется по фразе в предыдущем письме «прилагаю расписку».

15 апреля ⟨1920 г.⟩

Многоуважаемая Евдокия Петровна.

Я опять Ваш должник, пока прилагаю Вам 150 рублей. Деньги получил, спасибо, но завтра опять не приду — инфлуэнца не выпускает.

Преданный Вам Ал. Блок

15 апреля

4

Не только рукописи самого Александра Блока, но и письма близких ему людей передают атмосферу, его окружавшую, и косвенно дают представление о его взглядах и мыслях по тому или иному поводу. Особенно интересны в этом отношении письма матери Блока Александры Андреевны Кублицкой-Пиоттух, чья духовная близость с сыном общеизвестна.

Чуковский сохранил два письма от Александры Андреевны. Одно написано при жизни Блока, в феврале 1921 г. В этом письме Александра Андреевна с неодобрением отзывается об альманахе «Дракон» и хвалит лирические стихи Н. Павлович. Называя Чуковского «единственным русским критиком нашего времени», мать Блока пишет, что ее «крайне интересует будущая „книга о Блоке"», над которой в это время работал Корней Иванович. Через два месяца, в апреле 1921 г., сам Блок в письме к Н. А. Нолле-Коган упомянул, что «Чуковский написал большую и интересную книгу обо мне» [1].

Однако книга эта уже вышла после смерти Блока, в январе 1922 г. Чуковский тотчас обратился к матери Блока с просьбой «указать все недочеты книги». Он писал: «Многоуважаемая Александра Андреевна! Меня очень взволновало вчерашнее сообщение Марии Андреевны, что моя книжка Вам не противна. Мне почему-то казалось, что она не понравится Вам ⟨...⟩ Умоляю Вас и Любовь Дмитриевну указать мне все (сколько-нибудь исправимые) недочеты книги. Скоро придется готовить второе ее издание,— тогда многое можно будет раз-

вить, дополнить, устранить» [2]. Александра Андреевна тотчас отозвалась на просьбу Чуковского и написала главным образом о том, что вызвало ее несогласие. В своем письме мать Блока делает ряд глубоких и тонких замечаний по поводу книги и полемизирует с некоторыми суждениями Чуковского о Блоке. Особенно значительно то, что пишет она о стихотворении «Грешить бесстыдно, непробудно...» и о сопоставлении Блока и Гейне. Заканчивается письмо словами: «⟨...⟩ не стала бы говорить, если бы не чувствовала, что *Вы любите Сашу*. Но это я твердо чувствую».

Чуковский с благодарностью воспринял критические замечания матери Блока. Он ответил так: «Спасибо, глубокоуважаемая Александра Андреевна, за Ваше письмо. Вы прекрасно осветили мне всю книгу,— и я сейчас же сажусь переделывать ее. Как счастлив был Алекс⟨андр⟩ Алек⟨сандрович⟩, что у него такая мать: с таким вкусом, таким чутьем! Второе издание я хочу напечатать в Москве — очень дополненное и облагороженное. Спасибо, что потрудились написать так подробно. Ваше письмо ободрило меня: я вижу, что многое можно *поправить*!» [3].

«Книга об Александре Блоке» выходила тремя изданиями: Пб., 1922; Берлин, 1922; Пг., 1924 (под названием «Александр Блок как человек и поэт»). Александра Андреевна пишет о первом издании книги.

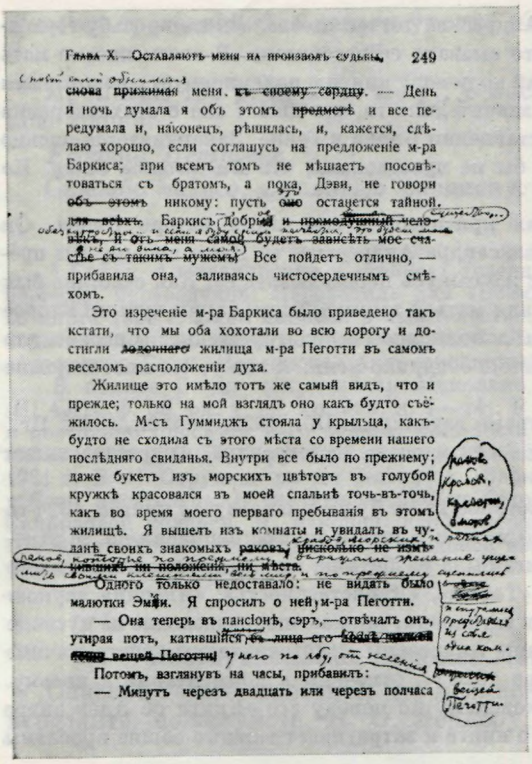
Перерабатывая книгу для 3-го издания (которое далее будет именоваться книгой 1924-го года), Чуковский очевидно перечел это письмо матери Блока и многое поправил по ее замечаниям. Так, например, в первом издании книга была разбита на множество мелких главок, снабженных заголовками: «Туманы», «Сны», «Тайны», «Двойственность», «Инерция звуков» и т. д. В книге 1924 г. Чуковский убрал все эти заголовки, так как «подразделение на кусочки с названиями» вызвало возражения Александры Андреевны. Многочисленные постраничные исправления, внесенные Чуковским в издание 1924 г., отмечены в комментарии к письму.

Письмо А. А. Кублицкой-Пиоттух к Чуковскому по поводу его «Книги об Александре Блоке» выходит за рамки частных замечаний о книге и затрагивает важные общие проблемы творчества Блока.

[1] Письмо к Н. А. Нолле-Коган от 23 апреля 1921 г. Наст. том, кн. 2, с. 353.
[2] Письмо К. И. Чуковского к А. А. Кублицкой-Пиоттух от 24 января 1922 г. ИРЛИ, ф. 462, оп. 1, № 170, архив М. А. Бекетовой.
[3] Открытка К. И. Чуковского к А. А. Кублицкой-Пиоттух, без даты.— Там же.

23 февраля 1921 г.

Многоуважаемый Корней Иванович, Вы не удивляйтесь, что я вздумала Вам написать. Это от полноты душевной. . . Вчера Саша принес «Дракона», изд. цеха поэтов [1]. Я прочла все эти стихи и поразилась их убожеством, сочиненностью, вычурностью, холодностью, ветхостью. И так как Вы — единственный русский критик нашего времени, и то, что Вы пишете и даже говорите (о крематории — у нас [2]), остается неизгладимо в памяти, благодаря *ярой* талантливости, чуткости восприятия и вкусу, отличающих Ваши суждения, я и почувствовала живую потребность написать Вам. Вы не примите за комплименты. Мне ведь ни к чему их Вам расточать: я стара и смотрю уже в могилу. Но мне хотелось бы знать Ваше мнение о Осипе Мандельштаме, Ходасевиче, Лозинском и о родоначальнике их Гумилеве [3]. Мне все это представляется поэзией вырождения: писано зря, нарочито, не из органической потребности и совсем не потому, что есть что сказать, а чтобы *называться поэтом*. Всеволод Рождественский — сын русского священника — хочет быть бретонцем и сообщает, что его повели в консержери [4]. Соблазняет пушкинский дар — перевоплощаться во все национальности. Но у Пушкина — *это в голову не приходит*, когда читаешь бескорыстно, а тут — все нарочно. Быть может, Вы совсем со мной несогласны. Но, может быть, Вы прочтете лекцию или напечатаете нам по этому поводу что-нибудь талантливое и меткое, как об Ахматовой и Маяковском (боже мой, я ведь и слушала это Ваше сообщение и перечла его на днях — как блестяще хорошо! [5]). И как поражает Маяковский крупностью — рядом с этими выродившимися!



Глава X. Оставляютъ меня на произволъ судьбы. 249

снова прижимая меня къ своему сердцу. — День и ночь думала я объ этомъ предметѣ и все передумала и, наконецъ, рѣшилась, и, кажется, сдѣлаю хорошо, если соглашусь на предложеніе м-ра Баркиса; при всемъ томъ не мѣшаетъ посовѣтоваться съ братомъ, а пока, Дэви, не говори объ этомъ никому: пусть оно остается тайной для всѣхъ. Баркисъ добрый и порядочный человѣкъ, и отъ меня самой будетъ зависѣть мое счастье съ такимъ мужемъ. Все пойдетъ отлично, — прибавила она, заливаясь чистосердечнымъ смѣхомъ.

Это изреченіе м-ра Баркиса было приведено такъ кстати, что мы оба хохотали во всю дорогу и достигли желаннаго жилища м-ра Пеготти въ самомъ веселомъ расположеніи духа.

Жилище это имѣло тотъ же самый видъ, что и прежде; только на мой взглядъ оно какъ будто съёжилось. М-съ Гуммиджъ стояла у крыльца, какъ-будто не сходила съ этого мѣста со времени нашего послѣдняго свиданья. Внутри все было по прежнему; даже букетъ изъ морскихъ цвѣтовъ въ голубой кружкѣ красовался въ моей спальнѣ точь-въ-точь, какъ во время моего перваго пребыванія въ этомъ жилищѣ. Я вышелъ изъ комнаты и увидалъ въ чуланѣ своихъ знакомыхъ раковъ, нисколько не измѣнившихъ ни положенія, ни мѣста.

Одного только недоставало: не видать было малютки Эмѣи. Я спросилъ о ней м-ра Пеготти.

— Она теперь въ пансіонѣ, сэръ,—отвѣчалъ онъ, утирая потъ, катившійся съ лица его. Какая-нибудь вещь Пеготти у него по лбу, от усердия

Потомъ, взглянувъ на часы, прибавилъ:

— Минутъ черезъ двадцать или черезъ полчаса

ПОПРАВКИ ЧУКОВСКОГО В ТЕКСТЕ ПЕРЕВОДА РОМАНА ДИККЕНСА «ДАВИД КОППЕРФИЛЬД»

Архив К. И. Чуковского, Москва

Прочтите нам, Корней Иванович, напишите и прочтите, а не то ведь Эйхенбаумы всех их нарядят в тоги гениальности, этих бедняг, сидящих *по уголкам*.

Читали ли Вы последние лирические стихи Н. Павлович? Она резко отличается подлинностью поэтических переживаний. И об этом хотелось бы знать Ваше мнение.

Не скрою от Вас, что меня крайне интересует будущая «книга о Блоке» [6]. Евг. Фед. Книпович кое-что сообщила мне об этом.

Хотелось бы дожить до ее появления в свет.

Кстати, интересен Оцуп — самый добродушный и безвредный из современных поэтов: все у него съедобное: небо — кипящий котел с супом; сам он — боится растаять, как сахар, и одиночество свое сравнивает с одиночеством хлебной крошки на столе. Поистине опыт целесообразного употр⟨ебления⟩ пищи. — Уж и припечатали же Вы его [7].

Не вздумайте мне отвечать на письмо.

Вы — человек занятой, а я — нет. Ответом будет то, что сообщите о «поэтах».

Вот, я написала, что хотела.
Будьте здоровы. Искренняя и горячая ценительница Ваша

А. Кублицкая-Блок-Бекетова

[1] «Дракон», вып. 1. Пб., 1921. В альманахе напечатаны стихотворения Блока «Сфинкс» и «Смолкали и говор и шутки...». Однако в статье «Без божества, без вдохновенья» (апрель 1921 г.) Блок выступил с критикой этого альманаха. «Пламенем „Дракон“ не пышет»,— писал он (VI, 182).

[2] 3 января 1921 г. К. Чуковский записал в дневнике свои впечатления от поездки 2-го января вместе с Борисом Каплуном и балериной Спесивцевой в недостроенный крематорий: «...Никакого пиетета. Торжественности ни малейшей. Все голо и откровенно. Ни религия, ни поэзия, ни даже простая учтивость не скрашивает места сожжения и погребения ⟨...⟩ Все в шапках, курят, говорят о трупах, как о псах ⟨...⟩ В самом деле, что за церемонии! У меня все время было чувство, что церемоний вообще никаких не осталось, все на чистоту, откровенно...».

Через несколько дней, как это видно из записи в дневнике Блока (VII, 395) Чуковский был у него в гостях. Судя по письму Александры Андреевны, Чуковский рассказал о том, что так поразило его во время поездки в крематорий.

[3] В 1-м выпуске «Дракона» помещены стихотворения Осипа Мандельштама «Tristia» и «Черепаха», стихотворения М. Лозинского «Тебе ль не петь...», стихотворения Н. Гумилева «Слово», «Лес» и его «Поэма Начала». Стихов В. Ходасевича в этом сборнике нет.

[4] Александра Андреевна имеет в виду строки из стихотворений Всеволода Рождественского «На палубе» и «В те времена...»: «И снится мне, что снег идет в Бретани»; «Какие-то сапожники и воры // Прикладом раздробили двери спальни // И увезли меня в Консьержери».

[5] Чуковский выступал с чтением лекции «Две России (Ахматова и Маяковский)» в Доме искусств осенью 1920 г. Блок упоминает о такой лекции 20 сентября (ЗК, 502). Эту же лекцию Чуковский читал в Доме искусств 16 декабря (В. Катанян. Маяковский. Литературная хроника. М., «Худож. литература», 1961, с. 451). Статья «Ахматова и Маяковский» опубликована в журнале «Дом искусств», 1921, № 1, с. 23.

[6] В это время Чуковский работал над книгой о Блоке и, придя к нему 10-го января, задавал ему множество вопросов о его стихах. См. запись в дневнике Чуковского 12 января 1921 г. (ЛН, т. 92, кн. 2, с. 254).

[7] В своем чукоккальском комментарии Чуковский вспоминает: «Когда Блок впервые услышал его имя, он спросил у меня, что такое ОЦУП, очевидно, полагая, что это — аббревиатура какого-нибудь учреждения. Я ответил, что, насколько я знаю, это Общество Целесообразного Употребления Пищи» («Чукоккала», с. 266).

Многоуважаемый Корней Иванович.

Отвечаю на Ваше письмо [1]. Повторяю: в книге Вашей, по-моему, много ценного и хорошего: о Двенадцати, о ветре, о Душе, о Серафиме, об «отъединенности». Все эти определения притом исключительно Ваши. Ни у кого я еще этого не встречала, не говоря уже об общей яркости, живости, талантливости, сопровождающих всякое Ваше печатное и словесное выступление (простите, что так прямо это выражаю). Но Вы хотите знать, что, по моему мнению, не так. И я опять буду откровенна: *фельетонность* — вот главный и общий недостаток. Подразделение на кусочки с названиями придает газетный характер, и все приемы, подходы и многие словечки — чисто фельетонные: «разжалованный серафим», «прилипло» (стр. 21), «сивуха» (стр. 34) — это понятие заменить бы только другими *звуками*, и не так бы ошибало — «гимнастика» (стр. 69), «оголтелой отчаянностью» (стр. 73) [2].— Найдется и еще, и в тоне, в приемах — тоже. Кроме того, Вы легко относитесь к *цветам*. И это большой пробел в постижении Блока. В одном месте, вместо *голубой* — Вы даже говорите *синий* цвет (стр. 30) [3]. И благодаря такой легкости отношения вывод, что сходство с Соловьевым «внешнее» и даже «случайное». Вывод рискованный, раз существуют «Три свидания» ... [4] — В одном месте Вы говорите: «голубое и розовое — благополучные, идиллически мирные краски». От Вас ускользает *значительность*... Об этом все сказано в статье о символизме.

На стр. 39 Вы говорите: ...в пошлейшем салоне декламирует *пошлейшие* стихи...

Уже сбегали с плит снега,
Блестели, обнажаясь, крыши,
Когда в соборе, в темной нише
и т. д.

Это пошло? — Тогда и весь первый том — пошлость [5].

Затем: «за всеми этими торжеств⟨енными⟩ образ⟨ами⟩...» (стр. 28) — 4 строки. Если бы Вы знали, до чего это не соответствует тому, что *там* было! И каждое слово этих 4-х строк обидно не то, а хуже всего «незатейливую русскую провинцию» и «румяная соседская барышня» [6].

Стр. 43: «циник»! Все, что хотите, только не циник. *Этого* не было и тени в Блоке...[7]

Стр. 65: «в сонме нигилистов: Ставрогиных, Ив⟨анов⟩ Карамазовых» — пусть так, но — «Смердяковых»! — Это как же: Блок и Смердяков? [8]

Стр. 80: «Да, и такой, моя Россия, ты всех краев дороже мне». Почему Блоку она и такая дорога? Потому что «Три раза преклониться долу, семь — осенить себя крестом». ...Три да еще семь раз подряд поцеловать *столетний, бедный* и *зацелованный оклад*.— А не потому, что «он в такой *скотоподобной* России чувствует хмель»— скотоподобная — да, но тут не в хмеле дело! [9] Затем мне лично очень больно хотя бы мимолетное сопоставление Блока и Гейне (стр. 67). Гейне — мелкая душонка; несмотря на громаду его таланта, это говорю.— Все у него, и самолюбьице, и цинизм.— Но тут могут быть разные *взгляды*. И потому — умолкаю.

Досадны опечатки: вместо «ты горишь *над* высокой горою» — «ты горишь *за* высокой горою» (стр. 15). И скажу еще под конец: стр. 13: «этот зыбкий, расплывчатый миф».— Нет, Корней Иваныч: это не был миф для него, и о зыбкости и расплывчатости не могло быть и речи [10].

О *бесцельности* (стр. 94) хорошо сказано у Тютчева в стих〈отворении〉 «Мужайтесь, о, други». Тут у Вас тоже не то.[11]

Видите, сколько я наговорила! И не стала бы говорить, если бы не чувствовала, что *Вы любите Сашу*. Но это я твердо чувствую.

Храни Вас Господь.

С искреннейшим расположением Александра Андреевна по первому мужу

Блок!

29 января 1922 г.

[1] Письмо от 24 января 1922 г. ИРЛИ, ф. 462, оп. 1, № 170.

[2] Привожу те фразы из 1-го издания книги К. Чуковского, о которых идет речь:

с. 16: «Бывший ангел, брошенный из зазвездного края на землю, *разжалованный серафим* (курсив здесь и далее мой.— *Е. Ч.*), чужой среди чужих на чужбине, он брезгливо озирался вокруг».

с. 21: «Вокруг были улицы, женщины, рестораны, газеты, но ничто не *прилипло* к нему, ни к чему он не привязался».

с. 34: «Странно читать после первого тома второй. Другая атмосфера, другой запах 〈...〉 И если после первого тома сейчас же открыть второй — не ладаном пахнет, а *сивухой*».

с. 69: «То, что здесь называется объятиями страсти, есть унизительная надоевшая *гимнастика*».

с. 73: «...едва ли тогда он ощущал эту тему (тему гибели.— *Е. Ч.*) во всей ее *оголтелой отчаянности*».

В издании 1924 г. убрано «прилипло» (с. 67) и вместо «оголтелой отчаянности» написано «обнаженной отчаянности» (с. 120).

[3] Александра Андреевна имеет в виду следующие слова из книги Чуковского: «Даже то тяготение к *синему* цвету, к лазури, которым отмечены первоначальные стихотворения Блока, даже оно отличало романтиков, ибо кто же не знает, что именно романтики, как сказал Веселовский, „имели предилекцию“ к этому цвету: к голубым далям, голубому цветку, голубому томлению».

В издании 1924 г. исправлено: «тяготение к бледно-синему цвету» (с. 76).

[4] На с. 23—28 своей книги, в главке «Владимир Соловьев» Чуковский рассматривает связь между поэзией Блока и поэзией Владимира Соловьева. Он пишет: «сам Блок повторял мне не раз, что поэзия Влад. Соловьева имела на него влияние огромное». Эту главку Чуковский заканчивает словами: «...если всмотреться внимательно, сходство между Соловьевым и Блоком лишь кажущееся».

[5] Александра Андреевна неточно истолковывает мысль Чуковского, который утверждает, что Блок «в начале 1906 г., к великому смущению многих, стал демонстративно издеваться над своими святынями. Особенно изумили всех его театральные пьесы, написанные в том же году, „Балаганчик“ и „Незнакомка“ 〈...〉 В 〈...〉 пьесе „Незнакомка“ он вывел себя самого в виде смешного поэта, который в *пошлейшем салоне декламирует пошлейшие стихи* все о той же Прекрасной Даме. Неудержимо было его стремление окарикатурить себя самого».

В издании 1924 г. вместо «пошлейшие стихи» написано «для светских пошляков» (с. 86).

[6] Речь идет о следующей фразе: «Когда читаешь в первой книге Блока о красных лампадках в терему у царевны, о голубях, которые слетаются к ее узорчатой двери, о высокой горе, на которой стоит ее терем и т. д., и т. д.— за всеми этими торжественными образами угадываешь *незатейливую русскую провинцию*: помещичью усадьбу на холме, голубятню, *румяную соседскую барышню*, речку, церковку, молодой березняк.

В книге 1924 г. слова, которые вызвали возражения Александры Андреевны, вычеркнуты (см. с. 74).

[7] В главе, посвященной двойственности Блока, Чуковский пишет: «Все двоилось в его душе, и причудливы были те сочетания веры с безверием, которые сделали его столь близким современной душе. Он и веря, не верил, что верует, и насмехаясь над мечтами — мечтал 〈...〉 Двоеверие в себе и других он заметил еще в 1904 г. 〈...〉 И тогда же впервые заговорил о своем Двойнике ... Этот двойник не оставлял его с тех пор никогда,— насмешливый и ни во что не верящий *циник*, привязавшийся к боговидцу-романтику. Он до странности любил в себе этого *циника*, и если побеждал его, то всегда против воли: в лирике, но не в сознании.

[8] Речь идет о следующей фразе Чуковского: «Вообще Блок третьего тома есть в каждом своем слове герой Достоевского: бывший созерцатель Иного, вдруг утративший это Иное и с ужасом ощутивший себя в сонме нигилистов: *Ставрогиных, Иванов Карамазовых, Смердяковых*, которым только и осталось, что петля. Блок, как и Достоевский, требовал у всех и у себя самого религиозного оправдания жизни и не позволял себе ни на одно мгновение оставаться без Бога».

В издании 1924 г. исправлено: «(даже иногда) Смердяковых» (с. 111).

[9] В издании 1924 г. исправлено «чувствует хмель и святость» (с. 127).

[10] В главке «Тайны» Чуковский утверждал, что «только таким сбивчивым и расплывчатым языком он (Блок.— *Е. Ч.*) мог повествовать о той тайне, которая долгие годы была его единственной темой 〈...〉 Только та уклончивая, сбивчивая, невнятная, непонятная,

дремотная речь, которою Блок овладел с таким непревосходимым искусством на 20 и 21 году своей жизни, могла быть применена к этой теме. Только из недр такого зыбкого, расплывчатого стиля мог возникнуть этот *зыбкий, расплывчатый миф*. Если бы Блоку не было дано говорить невнятно, его тема иссякла бы на первой же странице. Всякое отчетливое слово убило бы его Прекрасную Даму».

[11] Александра Андреевна имеет в виду то место книги Чуковского, где он пишет о трагедии Блока «Роза и Крест» и о ее герое Бертране, который «побеждает мировую чепуху своим бесцельным страданием». Далее Чуковский утверждает, что «в сущности Блок всегда был Бертраном, но осознал это только теперь».

Мать Блока не соглашается с Чуковским и напоминает ему о стихотворении Тютчева «Два голоса», где есть такие строки:

Мужайтесь, о други, боритесь прилежно,
Хоть бой и неравен, борьба безнадежна!
<...>
Тревога и труд лишь для смертных сердец...
Для них нет победы, для них есть конец.
<...>
Пускай Олимпийцы завистливым оком
Глядят на борьбу непреклонных сердец.
Кто, ратуя, пал, побежденный лишь Роком,
Тот вырвал из рук их победный венец.

Это тютчевское стихотворение очень любил и постоянно цитировал Блок (см. VI, 151; VII, 88; VIII, 395, 397). В одном из своих писем к матери он переписал для нее эти стихи (VIII, 397).

БЛОК И ПРИШВИН

Вступительная статья Н. В. Реформатской

В ряду крупнейших писателей нашего века, современников Пришвина, тех, кто вошел в его собственную биографию, Блок занимает особое место.

«Есть люди,— записывает Пришвин в своем дневнике,— от которых является подозрение в своей ли неправоте, или даже в ничтожестве своем и начинается борьба за восстановление себя самого, за выправление своей жизненной линии. Такой для меня Блок ‹...›

Блок для меня — это человек, живущий „в духе", редчайшее явление. Мне так же неловко с ним, как с людьми из народа: сектантами, высшими натурами. Это и плюс аристократизм стиха, в общем, какая-то мучительная снежная высота, на которой я не бывал, не могу быть, виноватусь в этом себе и утешаюсь своим долинным бытием без противопоставления».

Запись датирована 21 сентября 1926 г. (см. публикацию). Она пронизана глубокой взволнованностью: в ней и восхищение духовным обликом Блока, и признание его высокого морального авторитета.

Эта дневниковая запись Пришвина имеет свою длинную предысторию и отсылает нас к далеким дням личных встреч Блока и Пришвина.

Блок был на семь лет моложе Пришвина, но по литературному стажу почти настолько же старше его. Блок был уже прославленным поэтом-символистом, автором многих поэтических сборников и начатого издания трехтомного собрания стихотворений, когда Пришвин появился на литературном горизонте с двумя книгами очерков о Северной России — «В краю непуганых птиц» (1907) и «За волшебным колобком» (1908).

Пришвин познакомился с рядом писателей-символистов, сблизился с А. Ремизовым, очень симпатизировавшим молодому писателю, был благосклонно принят в салоне З. Гиппиус и Д. Мережковского, стал посещать собрания Религиозно-философского общества в качестве его действительного члена.

На одном из собраний он «заново» познакомился с В. Розановым, своим бывшим учителем по елецкой гимназии, из-за которого ему пришлось ее покинуть [1].

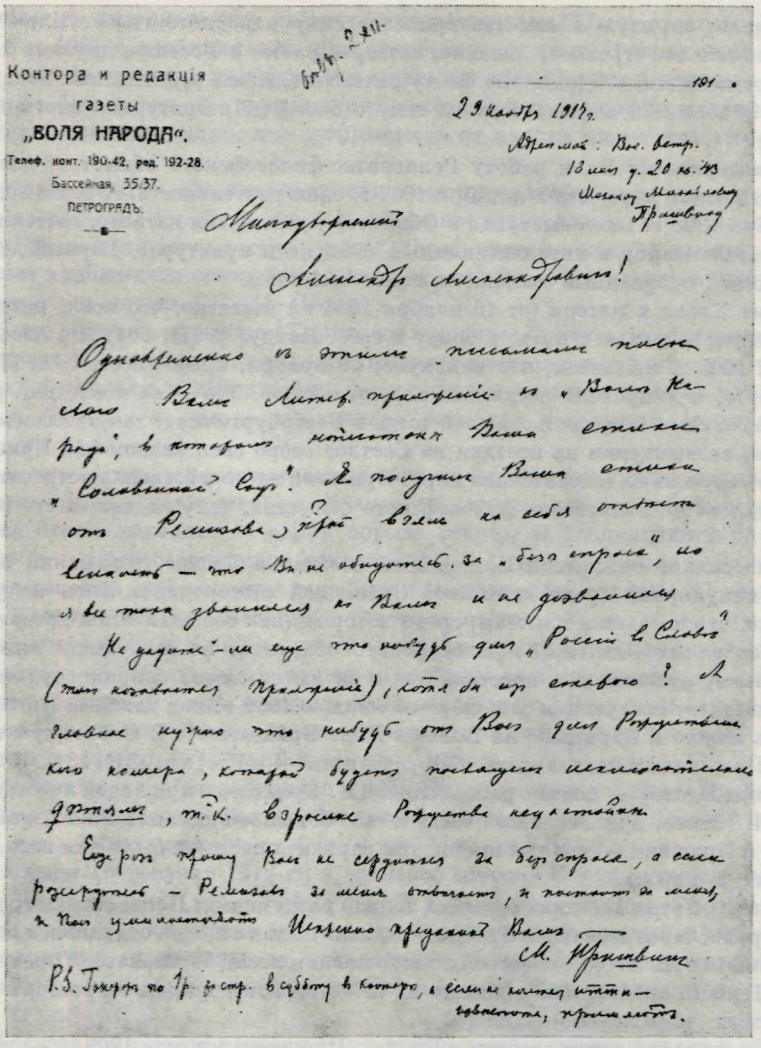
Там же произошло знакомство Пришвина с Блоком и состоялся тот навсегда запомнившийся Пришвину разговор с поэтом о книге «За волшебным колобком», когда Блок сказал: — «Это, конечно, поэзия, но и еще что-то...»

Четверть века спустя Пришвин приводит этот отзыв Блока о «Колобке» в своем автобиографическом очерке и пишет: «Так и сказал знаменитый поэт о книге начинающего автора, и уж конечно, как всегда в таких случаях, начинающий автор записал его в своем сердце на веки вечные, как вопрос, подлежащий разрешению во времени».

В 1909 г. появилась третья книга Пришвина — «У стен града невидимого» — очерки о его путешествии летом 1908 г. в Керженские леса на Светлое озеро к заволжским старообрядцам-сектантам.

Еще в первую книгу о Севере России Пришвин включил несколько интересных очерков об истории раскола в Выговском крае и своих встречах с так называемыми «скрытниками». Соприкосновение с петербургскими богоискателями из Религиозно-философского общества, интересовавшимися проблемами религиозного сектантства, способствовало подъему собственного интереса Пришвина к этой теме.

Первым, кто откликнулся в печати на эту книгу Пришвина, оказался Блок, выступивший с рецензией на нее в газете «Речь» (19 октября 1909 г.— V, 65). Обычно скупой на похвалы поэт писал о прекрасном владении Пришвиным русским языком и о богатстве его чисто народного словаря, «совершенно забытого нашей показной и по преимуществу городской



Контора и редакція
газеты
„ВОЛЯ НАРОДА".
Телеф. конт. 190-42, ред. 192-28.
Бассейная, 35/37.
ПЕТРОГРАДЪ.

29 ноября 1917 г.

Александр Александрович!

Однажды я в этих письмах писал Вам о своей Вашей литер. критике из «Воли Народа», в которой напечатана Ваша статья «Соловьиный сад». Я получил Вашу статью от Ремизова, кот. взял на себя отправку ее — что Вы не обидитесь за «без спроса», но я ведь тогда звонился к Вам и не дозвонился.

Не задастесь ли еще что-нибудь для «России и Слова» (так называется Прилож.), хотя бы из старого? А главное нужно что-нибудь от Вас для Рождественского номера, который будет посвящен исключительно детям, т. к. взрослые Рождества не празднуют.

Если Вам Воля не сердится за без спроса, а если рассердится — Ремизов за меня отвечает, и поэтому не мне, а Вам умилостивлять.

Искренно преданный Вам —
М. Пришвин

P. S. Только по 1 р. 50 стр. в субботу в контору, а если не хотите этого — то согласитесь, пришлете.

ПИСЬМО М. М. ПРИШВИНА БЛОКУ 29 НОЯБРЯ 1917 Г.
Автограф
Центральный архив литературы и искусства, Москва

литературой». В то же время Блок сетовал, что литературной формой Пришвин владеет не так свободно, как языком, отчего его книги, «очень серьезные, очень задумчивые, очень своеобразные», читаются с трудом.

В заключение рецензии Блок подчеркнул большую ценность книги Пришвина «У стен града невидимого» для этнографов и исследователей раскола и сектантства.

Надо думать, что не только поэтичность очерков Пришвина, их художественные достоинства, но и сама тема книги сыграла немаловажную роль в появлении рецензии Блока: это было как раз то время — конец 1907—1909 гг., когда захвативший соратников поэта по символизму интерес к сектантству затронул и его самого.

В поэзии Блока свидетельством этого интереса является одно из стихотворений цикла «Родина» — «Задебренные лесом кручи» — напоминание сегодняшней «испуганной России о временах крепких духом раскольников-самосожженцев» (III, 248).

Тема сектантства затронута Блоком в ряде статей 1907—1908 гг.: «Литературные итоги 1907 года», «Народ и интеллигенция», «Стихия и культура». В связи с главной темой этих статей — темой разрыва между народом и интеллигенцией — вставал и вопрос о современном сектантстве. Опираясь на письма участников этого движения, подчеркивающих его демокра-

тическое начало, скрытую в нем «до времени» силу народного гнева, Блок полемически противопоставляет это «грозное» явление, «которое растет в России», другому характерному явлению современности — «дрянному факту интеллигентских религиозных исканий» превращающихся в «словесный кафешантан» на тему о боге [2] («Литературные итоги 1907 года» — V, 212—216).

Так характеризовал Блок работу Религиозно-философского общества, возобновившего после четырехлетнего перерыва 3 октября 1907 г. свою деятельность. А через год — 13 ноября и 30 декабря 1908 г. Блок выступал в Обществе с докладами на тему, составившую содержание его статей «Народ и интеллигенция» и «Стихия и культура». Первый доклад вызвал бурные прения, прерванные вмешательством полиции.

Из письма Блока к матери (от 16 ноября 1908 г.) известно, что после доклада его «обступили сектанты — человек пять, и зовут к себе. Пойду» (VIII, 261). Из письма к матери от 30 ноября 1908 г. мы знаем, что накануне, 29 ноября, Блок вместе с А. М. Ремизовым был у сектантов, «где провели несколько хороших часов. Это — не последний раз» [3].

Речь шла, видимо, о существовавшей тогда в Петербурге секте так называемых хлыстов, с которыми по возвращении из поездки на Светлое озеро свел знакомство Пришвин, обогащая свой опыт изучением сектантского мира. Пришвин же содействовал встречам с хлыстами «ученых мистиков» из Религиозно-философского общества, чему посвящен его рассказ «Астраль» [4].

Среди участников описанной Пришвиным поездки в Лесное (тогдашний пригород Петербурга) к популярной среди «хлыстов» Охтинской «богородице» Блок не угадывается. Замечу только, что поездки к хлыстам, среди которых (как сообщал Блок матери) были даже посещавшие собрания Религиозно-философского общества, не заглушили интереса Блока к раскольничьему движению в крестьянстве и желания лично соприкоснуться с ним. Об этом свидетельствует следующая запись в его книжке 1909 г. под датой «ночь 16—17 февраля»: «Поехать можно в Царицыно на Волге к Ионе Брихничеву. В Олонецкую губернию — к Клюеву. С Пришвиным поваландаться? К сектантам — в Россию» (ЗК, 131). И оба сектанта (корреспонденты Блока) — поэт из раскольников И. Брихничев и молодой крестьянский поэт-раскольник Н. Клюев, привлекавший тогда к себе большое внимание Блока и переписывающийся с ним, и Пришвин — все три имени, три варианта поездок, были для него как три возможных «окна в народ».

Но раздумья об этих поездках остались только раздумьями. После тяжелого горя (смерти ребенка в феврале, через десять дней после рождения) Блок с женой отправился весной 1909 г. в Италию. Пришвин же из скитавшегося по заволжским лесам богоискателя превратился в легендарного «Черного араба», изъездившего на «пегатом коне» широкие просторы Киргизской степи в поисках «Земли обетованной».

Были ли, и на какой почве встречи у Блока с Пришвиным после 1909 г.,— нам неизвестно. В 1914 г., судя по лаконичным записям Блока за февраль, март, октябрь, он не раз встречался с Пришвиным в редакции издательства «Сирин», куда Пришвин заходил во время своих наездов из Новгорода, где он в то время жил. В редакции бывали также А. Ремизов, критик Р. В. Иванов-Разумник. Одна из таких записей Блока гласит:

«В „Сирин". (Опять Пришва помешала говорить. Все-таки говорил с Ивановым-Разумником)» (ЗК, 216).

После этого шуточно-укоризненного восстановления этимологии фамилии Пришвина имя его надолго исчезает из записных книжек Блока.

Наступает Великая Октябрьская революция, которую Блок — автор «Страшного мира», «Стихов о России», «Возмездия» — встретил поэмой «Двенадцать».

Известно, каким градом негодования и возмущения осыпали поэму бывшие литературные соратники Блока, как изощрялась буржуазная пресса, обвиняя поэта в предательстве и приспособленчестве. Блок не удивлялся этому, но очень огорчался, когда поэму не принимали друзья [5].

Поэма «Двенадцать» появилась в газете «Знамя труда» 3 марта 1918 г., но первый шквал нападок на Блока, и едва ли не еще более сильный и резкий, обрушился несколько раньше, в связи с его статьей «Интеллигенция и революция», написанной в самом начале января и опубликованной в той же газете 19 января 1918 г.

Накануне, 18 января, в газете «Петербургское эхо» (вечерний выпуск) был напечатан продиктованный Блоком несколько дней назад по телефону в редакцию газеты «Ответ на

анкету: „Может ли интеллигенция работать с большевиками?" Блок ответил: „Может и обязана"» (VI, 8 и 496) — и обещал дать ряд фельетонов на тему «Россия и интеллигенция».

Первый опыт на эту тему, появившийся десять лет назад в годы реакции — «Народ и интеллигенция»,— был полон уже неясных предчувствий неизбежной катастрофы, упреков и предостережений интеллигенции, что оторванность от народа может оказаться для нее гибельной.

Теперь, когда «долгая, бессонная, наполненная призраками ночь» ушла в прошлое, когда задумано «*переделать все*. Устроить так, чтобы все стало новым, чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью», поэт призывает художников слова видеть «то, „*что* задумано", слушать музыку революции, то „о чем ревет" ее поток» (VI, 14—15).

Нужно было обладать мужеством Блока, его историческим чутьем, убежденностью в своей правоте, смелостью, осознанием гражданского долга писателя перед народом, чтобы с такой страстностью обращаться к интеллигенции с призывом слушать музыку революции в тот момент, когда большая ее часть, подавленная размахом революции, растерянно думала, с кем и куда ей идти.

Сейчас, перечитывая этот замечательный образец блоковской публицистики, поражаешься экспрессивности ее художественных образов, ее ритмической напряженности, как бы выдержанной на одном дыхании, на одном порыве вперед. И вспоминаются слова Горького о Блоке: «это — человек бесстрашной искренности» [6]. О том же писала и Цветаева: «Блок? Это сплошная совесть», «не всякому дано быть совестью своей страны». И еще раньше в ее «Стихах к Блоку» (1921): «бессонная совесть» поэта [7].

Но в дни, когда статью Блока впервые читали на полосах газеты «Знамя труда», немногие из тех, к кому он обращался с призывом слушать музыку революции, способны были признать правоту позиций поэта, поверить в его искренность! В лучшем случае его обвиняли в политической наивности созданных им «красных призраков» [8], в худшем — в бесчестии, потере таланта и совести, трусости и прочих грехах.

Против статьи Блока «Интеллигенция и революция» резко выступил и Пришвин. В газете «Воля страны» (орган эсеров) был опубликован «Ответ Александру Блоку» под названием «Большевик из „Балаганчика"».

В тот же день, 16 февраля 1918 г., в записной книжке Блока отмечено: «Г-н Пришвин хаит меня в „Воле страны", как не хаил самый лютый враг. Письмо ему» (ЗК, 388).

Блок был прав. Он достаточно много слышал возмущений по своему адресу со стороны реакционной критики, но от писателя, казалось бы, духовно близкого услышать такой ответ, какой написал Пришвин, было, конечно, особенно больно. Недаром он тут же послал письмо Пришвину.

«Ответ Александру Блоку» написан был с нескрываемым раздражением и полон разоблачительно-иронических образов, через которые, как сквозь строй, автор проводит поэта и заканчивает свой фельетон патетическим предупреждением, что «на большом Суде у тех, кто владеет словом, „спросят ответ огненный", и слово скучающего барина там не примется» [9].

Суд истории решил по-другому.

Блок — барин, «скучающий, кающийся барин Александр Блок», Блок, который говорит о войне — как «земгусар», о революции — как «большевик из „Балаганчика"»,— все эти образные характеристики «нашего любимого поэта» имели чисто внешнюю связь с фактами социальной и творческой биографии Блока и звучали подчеркнуто иронично [10].

Блока, пришедшего к революции, Пришвин связывал со своими воспоминаниями о времени, когда они вместе «подходили к хлыстам,— я — как любопытный, он — как скучающий» [11].

Естественно напрашивается вопрос: почему «как скучающий?» Ведь время десятилетней давности, о котором вспоминает Пришвин, 1908—1909 г., было временем очень напряженной и разнообразной творческой работы Блока в области поэзии, театра, публицистики, выступлений с докладами. Характерна цитата из письма Блока к матери от 14 декабря 1908 г.: «...Все дни очень полны, постоянный наплыв дум и дел». И ей же несколько раньше, 16 ноября 1908 г., вскоре после прочитанного доклада «Россия и интеллигенция»: «Жаль, что тебя здесь нет. Здесь интересно. Я опять деятельно настроен» — VIII, 268 и 262. (На этом докладе Блока присутствовал и Пришвин.)

Пришвин вспоминает встречи с хлыстами, у которых, согласно обряду, в чан с водой

погружались в знак очищения и возрождения к новой жизни хлыстовские вожди и пророки: «Хлысты говорили: Наш чан кипит, бросьтесь в наш чан и воскреснете вождем» [12]. Из этих воспоминаний вырастает у Пришвина в полемическом азарте и образ «кипящего чана» революции и язвительно-риторическое обращение к автору статьи «Интеллигенция и революция»: «Только не подходите к чану кипящему с барским чувством: подумать и, если что <...> броситься в чан», т. е. стать вождем «пролетариев».

Такова схема фельетона «Большевик из Балаганчика» [13].

Все, что увидел Блок в Октябрьской революции — неизбежность исторического возмездия и разрешение прежде всего моральных проблем, идея всеобщей справедливости и рождения новой духовной культуры — было в дни великих революционных событий закрыто от Пришвина, как и от многих других литераторов того времени, пеленой жестоких противоречий настоящего дня.

Пройдет около четырех лет, и имя Пришвина вновь появится в печати в связи с Блоком — на этот раз как имя автора восторженного отзыва на книгу «Последние дни императорской власти. По неизданным документам составил Александр Блок» [14].

Что побудило Пришвина выступить с отзывом на эту книгу, помимо естественного интереса к ее содержанию? Не желание ли воспользоваться случаем, чтобы сказать доброе слово о поэте и вывести себя из числа его бывших врагов? Отзыв дает ему повод вспомнить о былых встречах с Блоком в Религиозно-философском обществе, где Блок «еще за несколько лет до революции выступал с пророчеством о революции», о встрече с Блоком на улице Петрограда, когда, работая над этой книгой, он с документами в руках «ходил, считал, мерил кусок оторванной жизни».

«В этой небольшой книжке по-видимому нет ничего блоковского,— пишет Пришвин,— фактический памятник... Но едва ли в какой-нибудь книге факт будет окружен обаянием своей фактичности — так чисто, отчетливо он выступает из Блока. Почему так? А потому, что эта книга все-таки вытекает из Блока, и если мы видим в ней аршин, то этот аршин не „свой аршин“ (всякий меряет на свой аршин), а тот особенный, святой, которым мерил и Леонардо свои фигуры».

Тогда же — 9 декабря 1922 г. в дневнике Пришвина (после разговора с О. Мандельштамом о молодых поэтах) появляется такая запись: «Тут я вспомнил Блока — вот кто единственный отвечал всем без лукавства, и по правде, вот был истинный рыцарь» [15].

Имя поэта в связи с размышлениями об эпохе символизма и отдельных ее литературных деятелях будет не раз появляться на страницах дневника Пришвина. Особый интерес представляет его высказывание о поэме «Двенадцать».

В 1929 г. выходит в свет повесть Пришвина «Журавлиная родина»; во второй главе повести — «Муки творчества» — Пришвин, размышляя по поводу различных приемов художественного творчества и в том числе случаев «обожествления» писателем собственного образа, пишет: «Сильно подозреваю, что Христос в поэме Блока „Двенадцать“, грациозный, легкий, разукрашенный розами, есть обожествленный сам Блок, иллюзорный вождь пролетариев» [16].

Нетрудно в этом толковании образа Христа, появляющегося в финале поэмы «Двенадцать», услышать отзвук знакомой пришвинской характеристики образа Блока — автора статьи «Интеллигенция и революция». В дневниковой записи от 10 января 1929 г., где много перекличек со второй главой «Журавлиной родины», Пришвин, повторяя сказанное в повести, добавляет: «эту свою догадку я очень подтверждаю себе наблюдением мистически-хлыстовской среды, окружавшей поэта» [17].

Нет надобности опровергать эту «догадку» и ссылаться на авторитеты исследователей поэмы Блока, тем более, что в конце концов от нее Пришвин отказался сам. Проходят еще многие годы жизни советского народа и участия в ней писателя Пришвина, суровые годы войны с фашизмом, пережитые вместе со всей страной, годы раздумий о духовном мире соотечественника, его чувстве Родины, и Пришвин вновь и вновь обращается к поэме Блока и по-новому раскрывает для себя смысл шествия «Двенадцати»: «Боже мой! Я, кажется, только сейчас подхожу к тому, что сказал Блок в «Двенадцати». Фигура в белом венчике есть последняя и крайняя попытка отстоять мировую культуру нашей революции. Как же я тогда этого не понимал. Как медленно душа моя опознает современность...».

Так записал Пришвин в своем дневнике 16 марта 1951 г. (см. публикацию).

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См. об этом в романе Пришвина „Кащеева цепь“ (глава „Маленький Каин“).

[2] М. Пришвин. Собр. соч. в 6 томах, т. 4. М., «Худож. литература», 1957, с. 10. Пришвин истолковал это блоковское «еще что-то» как постоянное наличие в его очерках «родственного внимания» к материалу, позволяющему выявлять «лицо самой жизни», ее правду.

[3] «Письма к родным», I, с. 236.

[4] М. Пришвин. Астраль (к процессу Охтинской «богородицы»).— «Заветы», 1914, апрель, с. 79—80.

[5] 11 мая 1918 г. Блок отметил в записной книжке: «Поразительное известие от Разумника Васильевича (вчерашний номер «Дела народа») — отказ Пяста и Ахматовой от меня. Сологуб тоже)» (ЗК, 406). Блок имел в виду сообщение в газете «Дело народа» (по словам Р. В. Иванова-Разумника), что 13 мая названные поэты должны были выступать на вечере литературного кружка «Арзамас», но, узнав, что в программе вечера стоит чтение женой Блока поэмы «Двенадцать», от участия отказались.

[6] Д. Семеновский. А. М. Горький. Письма и встречи. М., 1939, с. 87.

[7] М. Цветаева. Избр. произв. Л., 1965, с. 102.

[8] «Красные призраки» — название статьи Г. Чулкова.— «Народоправство», М., 1918, № 23—24.

[9] М. Пришвин. Большевик из «Балаганчика» (ответ Александру Блоку).— Газ. «Воля страны», ПГ., 3/16 февраля 1918 г.

[10] Напомним запись Блока в «Дневнике» от 6 декабря 1919 г., ценнейшую для понимания поэтом революции. Дворянин по происхождению, интеллигент по духу и по профессии, Блок, размышляя о разгроме Шахматова, вспоминал, что в молодости «любил погарцевать по убогой деревеньке на красивой лошади ‹...› спросить дорогу, которую знал и без того, у бедного мужика, чтобы пофорсить, или у смазливой бабенки, чтобы нам блеснуть друг другу мимолетно белыми зубами». Блок как бы читает про себя мысли бедноты, которая знала, что молодой барин и его невеста «оба господа. А господам — приятные они или нет — постой, погоди ужотко покажем. И показали. И показывают». Личный опыт помог Блоку понять непреодолимый антагонизм между деревней и барской усадьбой и осознать революцию как неизбежное и справедливое историческое возмездие. И даже после недоразумения с печатанием поэмы «Двенадцать» в типографии Государственного издательства, когда чьи-то руки по недоверию к бывшему барину стали выкидывать из станка его книгу («как же, мол, гарцевал барин, гулял барин, а теперь за нас? Ой, за нас ли барин?»), Блок пишет «*не смею я судить*» (VII, с. 353—354).

[11] См. прим. 10.

[12] См. прим. 10.

[13] Полемическое использование Пришвиным заглавия пьесы Блока «Балаганчик» имело своих предшественников: В. В. Розанов, обидевшись на Блока за его резкую критику заседаний Религиозно-философского общества в статье «Литературные итоги 1907 года», выступил под псевдонимом В. Варварин с ответным фельетоном под названием «Автор „Балаганчика“ о петербургских религиозно-философских собраниях» («Русское слово», 1908, 25 января). Д. С. Мережковский назвал свой ответ на статью Блока «О современном состоянии русского символизма» «Балаган и трагедия» («Русское слово», 1910, 17 сентября).

[14] См. альманах «Феникс» I, М., 1922, с. 177—178.

[15] «Контекст. 1974», с. 326.

[16] М. М. Пришвин. Собр. соч., т. 4, с. 323.

[17] «Контекст. 1974», с. 353.

ПИСЬМО БЛОКА ПРИШВИНУ

Публикация В. Д. Пришвиной

‹Петроград› 16 февраля 1918 г.

Михаил Михайлович, сегодня я прочел Вашу статью в «Воле Страны». Долго мы с Вами были в одном литературном лагере, но ни один журнальный враг, злейший, даже Буренин, не сумел подобрать такого количества *личной* брани. Оставалось Вам еще намекнуть, как когда-то делал Розанов, на семейные обстоятельства.

Я на это не обижаюсь, но уж очень все это — мимо цели: статья личная и злая против статьи неличной и доброй.

По существу спорить не буду, я на правду Вашу (Пришвина, а не «Воли Страны») не нападал; но у нас — слишком разные языки.

Неправда у Вас — «любимый поэт». Как это может быть, когда тут же рядом «балаганчик» употребляется в ругательном значении, как искони употребляет это слово всякий журналист? Вы же не знаете того, что за «балаганчиком», откуда он; не знаете, значит, и того, что за остальными стихами, и того, какую я люблю Россию, и т. д. Я не менялся, верен себе и своей любви, также — и в фельетоне, который Вам так ненавистен. Значит, надо сказать — не «любимый поэт», а «самый ненавистный поэт».

Александр Блок

P. S. Будьте любезны, передайте в газету прилагаемую записку.

В архиве Пришвина сохранилась рукопись ответного письма, вероятно, не посланного Блоку (среди писем корреспондентов Блока этого письма нет).

Обращаясь к Блоку, Пришвин писал: «Александр Александрович,— мой ответ [на Вашу статью в «Зна‹мя› Тр‹уда›»] был не злой [как Вы пишете], а кроткий. [Именно только любимому человеку можно так написать, как я] Если бы автор не был Блок, я написал бы, что он получает *ворованные* деньги, что земгусар ничего не делал на войне, а пьянствовал в тылу, что он ходит почему-то до сих пор в военной форме и еще [много] много всего. [И это надо бы все написать, потому что Вы это заслужили] О [Ваших] семейных отношениях земгусара я не мог бы ничего написать, потому что я этим не интересуюсь, все наши общие знакомые и друзья подтвердят Вам, что я для этого не имею глаза и уха, и если что вижу и слышу, забываю немедленно.

Лев Толстой говорит, что писать нужно о том, что знаешь. Вы не знали, о чем Вы пишете, и в этом Ваш грех». И далее: «Сотую часть не передал я в своей статье того негодования, которое вызвала Ваша статья у Мережковского, у Гиппиус, у Ремизова, у Пяста. Прежде, чем сдать свой ответ [Вам] в типографию, я прочел его Ремизову и он сказал: «ответ кроткий».

Да, я русский, кроткий, незлобивый человек, но я, кажется, теперь подхожу к последней черте и молюсь по-новому: Боже, дай мне все понять, ничего не забыть и ничего не простить.

Еще напослед вот что: Вам больно от меня и мне больно от Вас, так больно, что я и не знаю, где Вы лично, и где я лично — я к Вам, как к себе, а не то что Буренин к Вашему Балаганчику».

В заключение Пришвин пишет: «Я не торжествующий‹...›Вас понять могу».

(Частично тексты письма Блока и Пришвина напечатаны в книге: В. Пришвина. Путь к Слову. М., «Мол. гвардия», 1984, с. 182—183).

БЛОК В ДНЕВНИКЕ ПРИШВИНА И НОВОНАЙДЕННОЕ ПИСЬМО БЛОКА ПРИШВИНУ

Публикация В. В. Круглеевской и Л. А. Рязановой

Валерия Дмитриевна Пришвина (1899—1979) — спутник жизни, хранитель литературного наследия и исследователь творчества писателя, подводя итог своей почти двадцатипятилетней работы, выделила несколько центральных, по ее мнению, тем, которые были особенно важны для Пришвина. В их числе — тема «Блок и Пришвин».

В 70-е годы она подготовила к печати работу о взаимоотношениях Пришвина с писателями символистского круга (по материалам его архива). Во вступлении В. Д. Пришвина писала, что первоначально работа «была ограничена темой отношений Пришвина к Блоку и влияния Блока на личность и творчество писателя. В процессе работы материалы вышли за пределы поставленной вначале темы и превратились в широкое размышление Пришвина о времени символизма. Так случилось потому, что стало необходимым показать отношение Пришвина к самой среде, в которой жили оба писателя. По записям Пришвина мы убедимся, что в оценке этой среды Пришвин и Блок были очень близки».

Представленный ниже материал является частью этой работы. Из записей Пришвина о Блоке публикуются наиболее значительные.

Пришвин был начинающим писателем, искавшим свой путь в литературе, когда вошел в круг ведущих деятелей искусства и стал членом Религиозно-философского общества в Петербурге. На заседаниях этого общества Пришвин и встретил Блока. Встречи с Блоком были нечасты, всегда на людях, и возможность дальнейшего общения прервалась наступившей революцией и ранней смертью поэта.

Блок умер, но у Пришвина всю дальнейшую жизнь продолжался молчаливый с ним разговор о многих общих для них темах: о символическом смысле поэмы «Двенадцать» и образе Прекрасной Дамы, об отношении к России и революции. Это было глубокое, никогда не прекращавшееся общение, уходившее и под спуд, иногда на годы, и вновь выплывавшее на поверхность. Записи о Блоке начиная с 1908 г. встречаются постоянно в дневнике писателя вплоть до последних дней его жизни.

Ноябрь ⟨1908 г.⟩ На религиозно-философском собрании: Блок и Рябов [1], Философов и сектанты, Гиппиус и Рябов.

Подхожу сегодня к Блоку, спрашиваю его, и так он ответил мне проникновенно. Я его понял без слов. Хотел ему что-то сказать. Тут подошел Н. ⟨...⟩ и все закрылось. Теперь я встречу его — кто знает — что-нибудь помешает — закрылась душа, и нет его.

14 ноября ⟨1908 г.⟩ Вечер у Павла Михайловича [2]. «Чан». Чтение Сологуба у хлыстов ⟨...⟩

Я вижу Блока, слышу и опять боюсь: вот закроется окно...

7 января ⟨1909 г.⟩ В религиозно-философском собрании собрался было говорить, но выступление не удалось: Струве [3] занял время своей реформацией.

Вошел Блок. Вот тоже полярная противоположность Ремизову. Тоже Европа и Россия, тоже личность и быт, тоже открытое высказывание своих взглядов и присматривание к другим... и много всего.

Блок — юноша. Как охотно говорит он о своих переживаниях. Я попросил его прочесть мою книгу, обратить внимание на стиль и сказать мне о книге так, чтоб мне что-нибудь осталось для себя. И тут мы разговорились вообще о том, остается ли что-нибудь для себя от критики. У него, признался он, остается только несколько слов, остальное мимо. Но кто критикует? И так мы подошли опять к вопросу об интеллигенции и народе, о расколе интеллигенции, о том, куда легче предаться — Леониду Галичу [4] или мужику.

Он мне рассказал любопытное: есть в нем такое чувство к Венере Милосской, что хотелось бы разбить ее, чтобы остались только геометрические формы [5]. То же чувствует и Бенуа... Наш разговор остался неоконченным, но он и не может кончиться...

9 января ⟨1909 г.⟩ Были у меня опять хлысты. Подготовлял их к выступлению на р⟨елигиозно⟩-ф⟨илософском⟩ собрании. Если бы пробить их схоластическую мудрость, то внутри оказалось бы поразительное явление: в XX веке — начало христианства, «начало века» ⟨...⟩

Как они хорошо угадали Мережковского... Вслед за ними и я думаю: он иностранец, ему не понять русского народа, он только словесник... нет... он словесник, который искренно хочет отказаться от словесности, то есть от самого себя...

Блок и Мейер [6], по мнению хлыстов, обладают «пророческим» даром. Просто, по-моему, они искренние люди. Но ведь Мережковский тоже искренний, почему же он все же кажется неискренним...

20 декабря ⟨1909 г.⟩ У Мережковского. Был Блок. Блок сказал, что Мережковский как крестоносец застрял в Риме [7].

24 ⟨декабря 1909 г.⟩ Рел⟨игиозно⟩-фил⟨ософ ское⟩ собрание. Беседа с Блоком ⟨...⟩

Испуг — вот что может служить руководством для определения того момента, когда невозможно слиться со средой... Гармонического писателя нет: все с провалами. Пушкин под конец жизни сгустился и умер естественно, если бы не умер, то пал бы [8].

Я ему говорил:

— Истинное должно быть свободно, как все растущее из земли.

Он не понял и принялся доказывать:

— Нужно сказать да, рано или поздно, нужно.

Такое состояние, как у меня, и у него было до 〈1 *нрзб.*〉

〈1914 г.〉 У Блока два лица: одно каменное красивое, из которого неожиданно искренняя речь... а то вдруг он засмеется, как самый рядовой кавалер из Луна-парка.

〈Зима 1915 г.〉 Салон Сологуба: величайшая пошлость, самоговорящая, резонирующая всегда логичная мертвая маска... пользование, поиски популярности 〈...〉

Бунин — вид, манеры провинциального чиновника, подражающего петербуржцу чиновнику (какой-то пошиб).

Карташов [9] все утопает и утопает в своем праведном чувстве.

Философов занимается фуфайками [10].

Блок всегда благороден.

2 марта 〈1921 г.〉 Снилось, будто я ученик в классе, а учителем у нас поэт Жуковский. Он сказал: — Вот у нас Пришвин тоже литератор, только очень плохой.— Вы,— огорчился я,— Василий Андреевич, может быть, всю новую литературу за плохую считаете, например, Бальмонта?

— Бальмонта считаю за плохого.

— А Блока признаете?

— Блока признаю.

17 сентября 〈1921 г.〉 Вчера была у меня Мария Михайловна Энгельгардт [11] и вот что узнал я: умер Блок.

9 августа 〈1922 г.〉 Блок, прочитав «Колобок», сказал:

— Это не поэзия, то есть не одна только поэзия, тут есть еще что-то.

— Что?

— Я не знаю.

— В дальнейшем нужно освободиться от поэзии или от этого чего-то.

— Ни от того, ни от другого не нужно освобождаться.

8 сентября 〈1922 г.〉 Душа раздвоена 〈...〉 а станешь думать, выходит 〈...〉 хорошо, да хорошо: сонная, отвратительная Россия исчезает, появляются вокруг на улице бодрые, энергичные молодые люди. Встает ужасный вопрос: не я ли это умираю, как умирал Блок со своею Прекрасной Дамой?

9 декабря 〈1922 г.〉 Вчера Мандельштам сказал, что всего лучше, когда молодой поэт, прочитав стихи, просит сейчас же ответа, сказать: «Это для вас характерно». Тут я вспомнил Блока — вот кто единственный отвечал всем без лукавства и по правде, вот был истинный рыцарь.

Наконец, я понял теперь, почему в «Двенадцати» впереди идет Христос — это он, только Блок имел право так сказать: это он сам, Блок, принимая на себя весь грех дела и тем, сливаясь с Христом, мог послать Его вперед убийц: это есть Голгофа — стать впереди и принять их грех на себя. Только верно ли, что это Христос, а не сам Блок в вихре чувств закруженный, взлетевший до бога.

1 апреля 〈1926 г.〉 Читал «Живой Пушкин» Ашукина [12]. Вспомнился разговор с Блоком...— Но вот убили же Пушкина,— сказал я.— Он сам в то время уже был кончен, это его собственный конец был,— сказал Блок,— жить ему было нечем, его и убили.

6 мая 〈1926 г.〉 Первый раз в жизни во время тока думал о книжном, о Горьком и Блоке.

Горький часто изображает себя заступником какого-то «разума», но какого — трудно понять: есть разум европейского позитивиста при убеждении Заката Европы [13], едва ли он в него верит; есть разум американского прагматиста — едва ли это разум Горького и во всяком случае это не «разум» русского интеллигента, политического сектанта.

Я себе так представляю тот разум, который готов и я отстаивать вместе с Горьким: это момент ясности в человеке, наступающий иногда после борьбы разных противоречивых чувств, сопровождающийся способностью мерить и ставить вещи на соответствующее место. Этот момент творческой формации обусловлен, однако, большой мучительной предшествующей борьбой чувств, и без этого предшествующего процесса является совершенно другим, малым разумом, которым пользуются в общежитии как чем-то готовым.

Вот против этого малого обезьяньего разума и протестовали русские люди большого разума — Толстой, Блок и другие ⟨...⟩

Общаясь с декадентами, я всегда испытывал к ним в глубине души враждебное отталкивание, доходившее до отвращения, хотя сам себя считал за это каким-то несовершенным человеком, низшего круга. Но Ремизов понимал меня лучше, чем я сам себя, и, кажется, очень любил. Розанов, по-моему, не был тем хитрецом, о котором пишет Горький, он был «простой» русский человек, всегда искренний и потому всегда разный. И потому он был в нашем кругу с Ремизовым, а на другой стороне, совершенно противоположной, были Гиппиус, Блок и другие.

21 сентября ⟨1926 г.⟩ Вчера слушал по радио вечер Блока и очень волновался...

Есть люди, от которых является подозрение в своей ли неправоте, или даже в ничтожестве своем, и начинается борьба за восстановление себя самого, за выправление своей жизненной линии. Такой для меня Блок.

Стихов Блока и вообще этой высшей стихотворной поэзии я не понимаю: эти снежные кружева слишком кружева для меня. Эта поэзия, как стиль аристократических гостиных — признаю, что прекрасно, и рад бы сам быть в них своим человеком, но ничего не поделаешь, не приучен, ходить не умею.

Блок для меня — это человек, живущий «в духе», редчайшее явление. Мне так же неловко с ним, как с людьми из народа: сектантами, высшими натурами. Это и плюс аристократизм стиха, в общем, какая-то мучительная снежная высота, на которой я не бывал, не могу быть, виноватусь в этом себе и утешаюсь своим долинным бытием без противопоставления.

Но мы встретились с Блоком в отношении к Октябрю. Горним своим глазом он разобрал в нем Интернационал, а я своим долинным чутьем понимал это как несчастную для всех нас смуту. Мне представлялось, что смута скоро кончится и начнется лучшая жизнь. Я и теперь так просто думаю: чем меньше жертв, тем лучше. Словом, я не чувствую «музыки» революции, хотя верю и знаю, что она была у немногих, знакомая мне музыка по моей юности, этот как будто готовый смертельный выстрел в «буржуя», наведенное в упор, в брюхо ружье и... чик! осечка,— чик! — другой раз — чик! третий и толстый широкозадый, улыбаясь, проходит...

Романтизм вообще в моем понимании есть высшее выражение благородства природы, как есть представление о первородном грехе, так есть и уверенность в первородном добре и красоте. Блок был таким же романтиком, как и я, как и другие «природные оптимисты». Но мы разнимся с ним в отношении к «первородному греху», к дьяволу мира, к злу вообще. Блок глуповат и слеп в отношении к дьяволу ⟨...⟩

Редко родится человек совершенно голым от романтизма, огромное большинство людей романтики и в известный период жизни даже максималисты. Однако жить нельзя с романтизмом так односторонне, все заключают договоры с дьяволами и весь вопрос только кто с какими: с низшими — низшие, с средними— средние, с высшими — высшие ⟨...⟩

Я это все сознаю, но вероятно во мне самом остатки бездоговорного романтизма настолько сильны еще, что судьба Блока меня задевает и вообще ясности в моем договоре еще нет... с низшими — нет! с высшими — неясно. Очень возможно, что у меня тоже не хватит ума. Ведь даже у Пушкина, у Гоголя, у Толстого

не хватило, и они кончили совершенно так же, как Блок. Мудрее всех был Достоевский, у него были ошибки, близкие к провалу, но сам он не провалился ни физически, ни духовно.

14 октября ⟨*1926 г.*⟩ Да, вот вспомнилось из ночи об идеях, начиная с идеи Прекрасной Дамы. Идеи, мне кажется, как ложное солнце, немного сдвинуты в сторону от светящегося живого тела, и если метиться в тело, ставя прицел на идею, то снаряд пролетит мимо. Так идея Прекрасной Дамы приводит Дон Кихота даже не к Альдонсе, а к какой-то безобразной девке на осле ⟨. . .⟩

У самих творцов идей, подобных Прекрасной Даме, эти идеи были как ложное солнце от их настоящего горящего небесного тела: эти идеи были просто отсветом их жизни, принявшим определенную форму.

20 января ⟨*1927 г.*⟩ Прекрасная Дама непременно Дева, и родить может только Бога. Так смотрю на ангелов Рублева и чувствую в них монаха, заменившего любовь к женщине искусством. Такое же происхождение и тургеневских женщин. И не такое ли же происхождение моей весны?

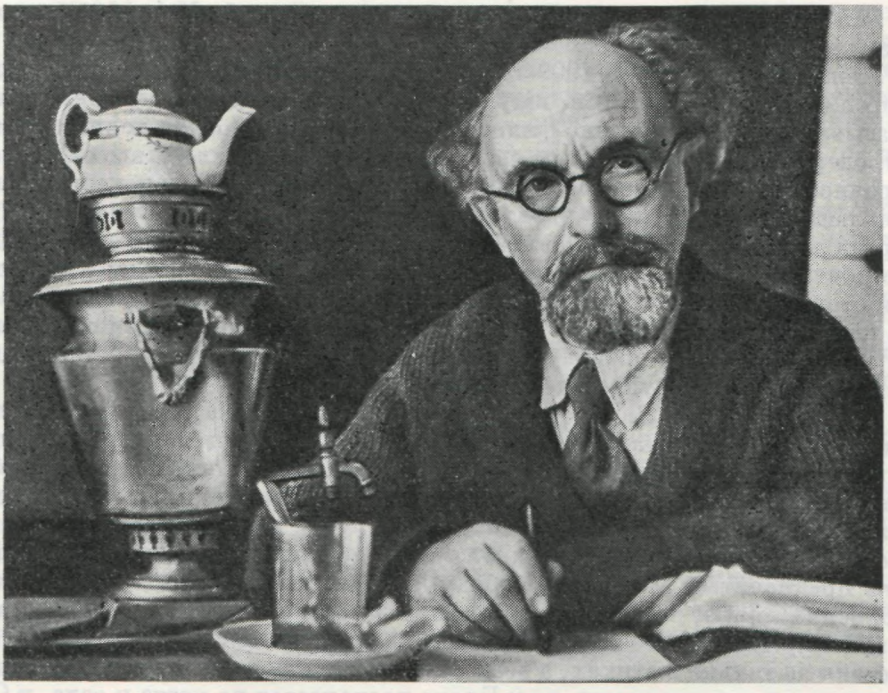
30 января ⟨*1927 г.*⟩ Почти десять лет я оставил Петербург и вернулся в Ленинград: да, действительно Ленинград, потому что Петербург умер — это другой город. Но Петербург был моей писательской родиной, и как только вышел я на Неву, мертвецы окружили меня и подавили все восприятие современности ⟨. . .⟩ Тут я познакомился с Блоком и многими другими поэтами и писателями. Блок, красивый, блестящий поэт окруженный барышнями, поразил меня с первого знакомства серьезностью своего духовного внимания. Он говорил «по духу» и там, где все обыкновенные люди говорили шутя.

7 декабря ⟨*1927 г.*⟩ Я не был декадентом-эстетом, но презирал народническую беллетристику, в которой искусство и гражданственность смешивались механически. И потому я искал сближения с теми, кого вначале называли декадентами, потом модернистами и, наконец, символистами ⟨. . .⟩ Никто из крупных писателей и поэтов того времени, однако, не оценивал себя как эстет, каждый из них, я знаю, писал в соотношении с тем, что происходило внутри вулкана, который представляла тогда народная жизнь. Мне кажется, более всех других, тоже очень чутких к жизни поэтов, отразил и в своем творчестве и в своей личности трагическую эпоху русского искусства Александр Блок.

Взять даже внешнюю жизнь поэта — рабочий, крестьянин, земский интеллигент — все бывали у Блока, и кто бывал, будет до гроба хранить очарование равенства всех в общении с этим прекрасным душой и телом человеком. И не один Блок, а все писали и озарялись в сторону революции. Мережковский даже пророчил, что символисты первые сгорят в огне революции, что с них начнется пожар. Где же был в это время Горький? Горький не жил в мире искусства. Он блуждал где-то там ближе к вулкану и появлялся. Блок о нем говорил: «Горький как художник и не начинался». Я хорошо и точно помню эти его слова: Блок очень много думал о Горьком, часто о нем вспоминал и говорил. В устах Блока «Горький как художник и не начинался» означало, конечно, не то, что Горький не написал еще ни одного художественного сочинения, а что Горький не принял в себя целиком трагедию художника того времени: быть художником во что бы то ни стало, хотя бы земля разорвалась под ногами [что если я выражу это такими словами: Блок принимал на себя обязательства неба, Горький земли и человека?]

2 октября ⟨*1934 г.*⟩ Мои вечные спутники поэты: Лермонтов, Блок, Есенин, Пушкин тоже бы, но тут начинается вопрос, который, усиливаясь, делает мне совсем недоступным Брюсова, Маяковского и других подобных больших, в том числе и Гете. Этот вопрос о рукотворности вещи, мне поэзия должна быть как молитва.

9 октября ⟨*1941 г.*⟩ Есть подпольные мысли у людей, ночные спутники, порожденные личным бессилием. Они все идут от лукавого, и их надо в самом начале, как только они заводятся, отгонять от себя ⟨. . .⟩ как бесов. Достоевский дает нам полную картину жизни и влияния этих бессильных перед светом и всесильных ночью существ ⟨. . .⟩



М. М. ПРИШВИН
Фотография, 1942 г.
Литературный музей, Москва

Помню, как-то Блок сказал мне: «Между тем, как пройдешь через все подполье, то почему-то показывается из этого свет».

24 июня 〈1942 г.〉 Помню, Мережковскому я сказал, что «Пан» Гамсуна превосходная поэма.

— Раза три прочел,— ответил М〈ережковский〉,— и не мог понять, чем увлекаются, если герой — дурак.

— Я тоже читал,— ответил Блок,— там чудесная природа, но так... я тоже не нахожу ничего.

— Но это же немало, дать природу, как Гамсун?

— Я не знаю,— сказал М〈ережковский〉,— какой интерес заниматься природой после Гете: о пантеизме все сказано, все пережито, все старо.

Совершенная правда была в словах М〈ережковского〉, но она тогда не могла меня тронуть, потому что я сам должен был пережить пантеизм, по-своему.

30 апреля 〈1944 г.〉 Против окна моего через двор за крышей флигеля глава церкви с облупленным железом, но крест золотой восьмиконечный хорошо сохранился, и шарик над ним цельный и луковка. Направо, на главном здании, над Пастернаком [14] на крыше торчат две пушки-зенитки, и между ними сейчас, когда я пишу, очень высоко, как ласточки, парят кругами два коршуна. Смотрю на коршунов и вспоминаю Блока в новом для себя освещении:

Идут века, шумит война
Встает мятеж, горят деревни.
А ты все та ж, моя страна,
В красе заплаканной и древней.—
Доколе матери тужить?
Доколе коршуну кружить? [15]

2 мая ⟨*1944 г.*⟩ В стихах Блока вязнешь, как в болоте, и тоже вечность, показывается, и засасывает.

7 сентября ⟨*1947 г.*⟩ В 1909 г. высший слой литературы в Петербурге был насыщен бродячими мыслями, ищущими своей материализации. Чего только ни высказывалось на религиозно-философских собраниях, о чем только ни мечтали люди, одержимые бродящими по свету мыслями. Создавалось в этом хаосе полупризрачное существование, похожее на сказочные души в непоказный час рождения людей: присыпушей, удавушей, заливушей.

Среди них были и замечательные поэты, как Александр Блок, но даже и такие почти гениальные люди держались неукрепленно, как держится прямым синим столбом в тихую погоду выходящий из трубы дым. Как хочется вырваться из такого душного Петербурга и укрепить себя где-то в действительности, где люди живые бьются за свое существование день и ночь и радуются по-детски, если выйдет какое-нибудь облегчение.

7 января ⟨*1948 г.*⟩ Начало: Соловьиная поэма Блока. Осел привез поэта в Соловьиный сад, и он там заскучал по своему ослу. Смысл этой поэмы тот, что каждый поэт мечтает освободиться от своего осла, и когда попадает в боги — скучает о своем осле. И такова вся жизнь поэта, как альпиниста: хочется уйти от осла, но осел везет продовольствие.

Поэзия — это сила центробежная, подчиненная центростремительной силе. Поэзия предпочитает этой силе свободу, она бы ушла в бесконечное пространство и бросила землю, но центростремительная сила земли держит поэзию и получается, как у Блока, что поэт, как осел, впрягается в воз. Движение по кругу.

Поэзия не только в стихах, а везде: и в прозе, и во всей повседневности. Если разорвать этот союз двух сил, то у Блока распадается на поэта и осла, у Сервантеса на Дон-Кихота и Санчо...

9 января ⟨*1949 г.*⟩ Вспомнив Блока, надо вспомнить о необходимости осторожного обращения с поэтическим образом, то есть не выходить за пределы поэзии в пророки и мудрецы. Блок в религиозно-философских собраниях выступал, если вникнуть в слова, как мудрец и пророк, но если отбросить интерес к словам, то всегда казалось, что выступает способный гимназист старшего класса. Все как-то не всерьез. И сейчас читаешь: чудесно, а взять нечего.

16 марта ⟨*1951 г.*⟩ Боже мой! Я, кажется, только сейчас подхожу к тому, что сказал Блок в «Двенадцати». Фигура в белом венчике есть последняя и крайняя попытка отстоять мировую культуру нашей революции. Как же я тогда этого не понимал, как медленно душа моя опознает современность.

13 августа ⟨*1951 г.*⟩ Я сказал молодым почитателям Маяковского: «Только вы должны понимать, что Маяковский сделался нашим не силой поэтического кривляния и фигурантства, а силой внимания к грядущей народной жизни и смирения. Я знаю это по Блоку и по себе».

20 февраля ⟨*1952 г.*⟩ Кончил читать письма Блока к матери, и сердце сжималось жалостью к судьбе этого юного Дон-Кихота, великого (да, наверно, великого!) поэта.

23 октября ⟨*1952 г.*⟩ Из всей массы писателей моего времени остались теперь: Чехов, которого я не знал, Горький, Блок и Бунин.

31 января ⟨*1953 г.*⟩ Вспоминается день, когда вождь секты «Новый Израиль» Павел Михайлович Легкобытов сказал Блоку:

— Поймите, Александр Александрович, что мы здесь представляем из себя кипящий чан, в котором все мы со своими штанами и юбками сварились в единое существо. Бросьтесь вы в наш чан, и мы воскресим вас вождем народа.

Блок ответил, что так просто располагать собой он не в состоянии, он не может «бросить» себя (у Маяковского — «наплевать»).

От Блока до Маяковского ⟨...⟩

Ляля [16] старается отвести мою работу «Слово правды» [17] от зависимости ее от спора между Блоком и Маяковским и поставить ее «по ту сторону», как умел я ставить до сих пор все мое писательство.

12 июня ⟨*1953 г.*⟩ На моем горизонте менялись цари, вырастали государственные думы, революции и войны мешали, как мешают людей, показывались необыкновенные люди, вроде Горького, Шаляпина, Блока. Все на свете задевало меня, но с тех пор, как я ощутил счастье создавать что-то из себя, ничто не могло отклонить меня в сторону.

Все происходящее совершается в свете и тьме, и я все переживаю, но делаю то, что сам хочу и что надо для всех.

⟨*1953 г.*⟩ Помню, Блок, прочитав какую-то мою книгу о природе, сказал мне:

— Вы достигаете понимания природы, слияния с ней. Но как вы можете туда броситься?

— Зачем бросаться,— ответил я,— бросаться можно лишь вниз, а то, что я люблю в природе, то выше меня: я не бросаюсь, а поднимаюсь.

Все живое в природе поднимается от земли к солнцу: травы, деревья, животные — все растут. Так точно и человек, сливаясь с природой, тоже возвышается и растет.

Хотя я и вошел к тому времени во все петербургские литературные круги, всюду печатался и был уже признанным писателем, я продолжал жить среди природы и простого русского народа, лишь изредка появляясь в столице.

В это декадентское время видел я поэтов, мелькавших, как бабочки-поденки, и видел настоящих поэтов, как Блок, всегда тоскующих в поэзии о чем-то большем, чем поэзия в метрах. Великие поэты разрешались от такой тоски стихами, а я гасил себя в соприкосновении с самой землей, стараясь захватить из нее хоть что-нибудь на память, хоть что-нибудь на показ людям во свидетельство великой, радостной, цельной жизни.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Рябов* — один из деятелей хлыстовства, участник религиозно-философских собраний.

[2] Павел Михайлович *Легкобытов* — один из руководителей секты хлыстов «Новый Израиль».

[3] Петр Бернгардович *Струве* (1870—1944) — русский экономист, философ, публицист и общественно-политический деятель; был теоретиком «легального марксизма»; после Октябрьской революции эмигрировал.

[4] Леонид Евгеньевич *Галич* (Габрилович, 1878—1953) — журналист.

[5] См. об этом статьи А. Блока «Памяти Врубеля» (1910) и «Крушение гуманизма» (1919).

[6] Александр Александрович *Мейер* (1875—1939) — философ-публицист, был членом совета Религиозно-философского общества в Петербурге.

[7] См. статью Блока «Мережковский» (1909) — V, 360—366.

[8] В статье «О назначении поэта» (1921), посвященной 84-й годовщине смерти Пушкина, Блок пишет: «Пушкина тоже убила вовсе не пуля Дантеса ⟨...⟩ И поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем; жизнь потеряла смысл» (VI, 167).

[9] Антон Владимирович *Карташев* (1875—1960) — профессор богословия Духовной академии; после Октябрьской революции эмигрант.

[10] По-видимому, разумеется заготовка одежды для армии.

[11] Родственница известного ученого-агрохимика и общественного деятеля А. Н. Энгельгардта, на опытной агрохимической станции которого в имении Батищево Дорогобужского уезда Смоленской губернии работал в это время Пришвин.

[12] Николай Сергеевич *Ашукин* (1890—1972) — литератор и библиограф, автор историко-литературного исследования «Живой Пушкин» (1934). Вероятно, запись связана со следующими строками: «Последние годы его жизни были мучительно тяжелыми. Причины его тревог и огорчений были разнообразны... Ко всему литературные дела Пушкина не были блестящи. Читатели к нему охладели. Издаваемый им «Современник» шел плохо. Критика бранила его новые произведения... Круг смыкался все теснее» (Н. А ш у к и н. Живой Пушкин. Московское товарищество писателей, 1934, с. 97).

[13] Имеется в виду книга немецкого философа Освальда Шпенглера (1880—1936) «Закат Европы».

[14] На верхнем этаже дома писателей в Москве в Лаврушинском переулке жил Б. Л. Пастернак.

[15] Из стихотворения Блока «Коршун» (1915).

[16] Валерия Дмитриевна Пришвина.

[17] Имеется в виду повесть-сказка «Корабельная чаща», над которой в это время работал Пришвин.

* * *

Когда книга уже находилась в производстве, в архиве Пришвина удалось обнаружить неизвестное письмо Блока к нему от 2 декабря 1917 г. (датируется по письму Пришвина Блоку от 29 ноября 1917 г. и помете поэта: «Отв. 2.XII»). Приводим тексты обоих писем.

ПРИШВИН — БЛОКУ

‹Петроград. 29 ноября 1917 г.› *

Многоуважаемый Александр Александрович!

Одновременно с этим письмом посылаю Вам «Литер‹атурное› приложение» к «Воле народа», в котором напечатаны Ваши стихи «Соловьиный сад». Я получил Ваши стихи от Ремизова, который взял на себя ответственность — что Вы не обидетесь за «без спроса», но я все-таки звонился к Вам и не дозвонился.

Не дадите ли еще что-нибудь для «России в слове» (так называется Приложение), хотя бы из старого? А главное нужно что-нибудь от Вас для Рождественского номера, который будет посвящен исключительно детям, так как взрослые Рождества недостойны.

Еще раз прошу Вас не сердиться за без спроса, а если рассердитесь — Ремизов за меня отвечает, и постоит за меня, и Вас умилостивит.

Искренно преданный Вам М. П р и ш в и н

P. S. Гонорар по 1 р. за стр. в субботу в конторе, а если не хочется итти — известите, пришлют.

‹Над письмом сверху›

Адрес мой: Вас‹ильевский› Остр‹ов›, 13 линия, д. 20, кв. 43
Михаилу Михайловичу Пришвину.

БЛОК — ПРИШВИНУ

‹Петроград. 2 декабря 1917 г.›, Офицерская, 57, кв. 21
тел. 612-00 (испорченный)

Многоуважаемый Михаил Михайлович.

Я совсем не сержусь, наоборот, очень рад, что эта поэма опять напечатана; публика новая, и читать будет (если будет) заново.

Посылаю Вам для детского Рождественского номера два стихотворения, которые тоже были напечатаны. Могу набрать и для взрослых для перепечатки довольно много и, мне кажется, подходящего теперь. Удастся ли мне сейчас сочинить что-нибудь новое — сомневаюсь.

Только одно: гонорар маловат. Может быть, поговорите о прибавке? Я и до революции больше получал, а теперь менее 3 рублей думал не брать. Жалованье на службе платить перестали. Сегодня пошел на Бассейную за деньгами, но трамваи встали.

Преданный Вам Ал. Б л о к.

* ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 373. Письмо на бланке газеты «Воля народа». Сверху — рукой Блока: «Отв. 2. XII».

ИЗ НЕИЗДАННОЙ ПЕРЕПИСКИ БЛОКА

ПИСЬМА БЛОКА К А. А., С. А. И Ф. А. КУБЛИЦКИМ-ПИОТТУХ

Вступительная статья, публикация и комментарии
В. П. Енишерлова

Среди эпистолярного наследия Блока, пожалуй, наиболее неожиданными оказываются его юношеские письма к двоюродному брату Андрею Адамовичу *Кублицкому-Пиоттух* (1886—1960), относящиеся к 1895—1903 гг. Вместе с несколькими сохранившимися небольшими посланиями к Феликсу Адамовичу Кублицкому-Пиоттух (1884—1970) и восемью письмами к их матери Софье Андреевне Кублицкой-Пиоттух (1858—1919), тетке Блока, они составляют корпус материалов, позволяющих лучше почувствовать атмосферу, окружавшую поэта в годы юности.

Известно, что Блок воспитывался весьма замкнуто. Об этом пишет в воспоминаниях «Саша Блок» Ф. А. Кублицкий-Пиоттух: «В сущности говоря, у Саши в детстве и ранней молодости не было настоящих близких товарищей. В детстве друзьями игр были мы, двоюродные братья, и другие родственники нашего возраста (Лозинские, Недзвецкие). Товарищ по гимназии Н. В. Гун едва ли мог быть действительно близок Блоку, так как по всем своим привычкам и вкусам был далек от духа и интересов, господствовавших в бекетовской семье. Точно так же случайна и кратковременна была неожиданно возникшая дружба с кадетом, а затем молодым офицером В. В. Греком. Нелюдимость Блока начинала сказываться уже в ранних годах» [1].

Бытовой уклад и традиции семьи Бекетовых предопределили тесное родственное общение четырех сестер — Екатерины, Софьи, Марии и Александры (матери поэта) в юности и в более поздние годы. Мемуаристы не раз отмечали, пишет об этом и Блок в автобиографии, что три из четырех дочерей профессора А. Н. Бекетова (Екатерина, Мария, Александра) были не чужды литературе. Действительно, писали и печатались все сестры Бекетовы, кроме Софьи Андреевны. В отличие от сестер ее увлечение литературой не было активным, профессиональным, но интерес был весьма устойчив и постоянен. Характерно, что среди книг из библиотеки Софьи Андреевны Кублицкой-Пиоттух наряду с произведениями Л. Н. Толстого, А. К. Толстого, Фета, Полонского, Тургенева, Гончарова и т. д. сохранились и два тома писем Владимира Соловьева с ее владельческой надписью и многими пометами в тексте [2]. Несомненно, они были приобретены не без влияния Александра Блока, чье внимание к Владимиру Соловьеву могло привлечь Софью Андреевну, живо интересовавшуюся всем, что касалось племянника. Вряд ли случайно и то, что именно ей подарил Блок свой первый (и единственный) рукописный сборник стихов (так называемая «тетрадь тети Софы»), куда вписал отобранные самой Софьей Андреевной стихотворения 1898—1899 гг.[3] Из библиотеки С. А. Кублицкой-Пиоттух до нас дошли, к сожалению, всего две книги стихов Блока с его автографами — «Ночные часы» и «Стихи о России» [4]. Но, как рассказывал Ф. А. Кублицкий-Пиоттух, поэт дарил Софье Андреевне все свои произведения за исключением отдельного издания поэмы «Двенадцать». Но и поэму «Двенадцать», напечатанную в журнале «Наш путь» № 1 в 1918 г., Блок послал Софье Андреевне в подмосковную деревню Сафоново, где она жила тогда с сыном Феликсом. На экземпляре этого журнала остался штамп ближайшего к Сафонову почтового отделения в селе Обольяново, на титульном листе инвентарный номер (№ 524) библиотеки Кублицких-Пиоттух, в текстах поэмы «Двенадцать» и стихотворения «Скифы» оценочные пометы карандашом — галочки, подчеркивания и т. д.

Софья Андреевна всегда поощряла любовь своих детей и племянника к театру. На квартире Кублицких-Пиоттух не раз устраивались спектакли с участием Блока, его двоюродных братьев и других родственников, нередко она водила детей в Александринский и Мариинский театры. Позже Софья Андреевна даже увлекалась драматургией Блока. Мария Андреевна Бекетова записывает в дневнике, что, побывав на знаменитой премьере «Балаганчика», «Софа нашла, что все лучше, чем ожидала» [5], а в 1908 г. она же отмечает в дневнике о Блоке:

«Он был один в июне в Шахматове. Все было хорошо. С тетей Софой они совсем поладили. Читал даже «Песню судьбы». Ей понравилось» [6].

Видимо, причину постепенно нараставших трений между Блоком, его матерью и семьей Кублицких-Пиоттух следует искать прежде всего в коренном психологическом антагонизме сестер Бекетовых — Александры Андреевны и Софьи Андреевны. Это были люди совершенно различного душевного склада. Обостренно-нервная, порывистая, эмоционально неуравновешенная мать поэта была полной противоположностью сестре, которая, как пишет М. А. Бекетова, «отличалась непреклонной принципиальностью и не признавала никаких отклонений от долга. Она доходила в этом отношении до крайности, впадая в пуританство; наша бабушка со стороны матери говорила про нее: «Сонька всегда с принсйпами ходит». Всякое легкомыслие было чуждо сестре Софье Андреевне. Оно вызывало в ней раздражение и протест. Она считала, что у матери не должно быть своей жизни, а к жизни вообще относилась довольно сурово» [7]. Восприятие жизни, искусства, религии — все было у сестер противоположно. 7 мая 1898 г. Александра Андреевна писала родителям: «Вчера вечером все мы были у Саши Енишерловой [8], и я там произвела серьезную огнестрельную вылазку против Ветхого Завета. Многие хохотали, а Софа все пугалась. Мои выстрелы попадали все в ее душу. Но все это ничего, обошлось. Завтра после экзамена мы с Сашурой там обедаем...» [9].

Софья Андреевна любила Блока спокойно, по-родственному, не разделяя того безудержного поклонения, которым окружали молодого поэта Александра Андреевна и Марья Андреевна. Характерно ее замечание в письме, посланном сыну Андрею летом 1907 г. Советуя ему поскорее поехать в Шахматово, Софья Андреевна оговаривается, что там наверно ему будет неприятна «атмосфера поклонения, которым окружен Саша» [10]. Лето 1907 г. было одним из самых напряженных во взаимоотношениях с Софьей Андреевной. Об этом свидетельствует запись от 26 августа в дневнике М. А. Бекетовой: «Уехала Аля из Шахматова. Поехала ко мне на квартиру из экономии и чтобы не жить у Кублицких. Последние дни страшно обижала Софу. Вообще, это лето они с Сашей ее совершенно сживали со свету. Мучительно было на это смотреть. Саша сделал большие успехи в распущенности, безжалостности и эгоизме. До чего он бывает груб. Ведь этого прежде не было. И это именно с Софой...Софа при нем теряет последнюю гибкость...» [11]. Такие напряженные отношения и стали позже (в 1910 г.) одной из причин, точнее главной причиной того, что семья Софьи Андреевны, получив от Блока одну треть стоимости Шахматова (сестры Бекетовы владели имением совместно), купила в двенадцати верстах усадьбу Сафоново. После покупки Сафонова, где очень часто бывал Блок (это одно из забытых, но значительных мест на карте блоковского подмосковья), отношения с Кублицкими стали значительно ровнее, без тех открытых всплесков вражды, которые встречались ранее. Сглаживанию напряженности, конечно, способствовал характер Софьи Андреевны и то, что теперь не надо было каждое лето жить совместно в тесном для большой семьи Шахматове.

Простота, «светскость» (по словам Андрея Белого), интеллигентность Софьи Андреевны привлекали к ней многих людей, казалось бы духовно ей чуждых. Андрей Белый в «Воспоминаниях о Блоке», в главе, посвященной поездке в Шахматово, писал: «Запомнилось это сиденье вместе, во время которого появились в гостиную двое юношей, что-то очень корректные: юноши были представлены как сыновья С⟨офьи⟩ А⟨ндреевны⟩ (тетки А. А.), появилась сама С. А., очень она мне понравилась; но она нас покинула...» [12]. Она была хорошо знакома с В. В. Розановым, который бывал у Кублицких, Ф. Д. Батюшковым и другими представителями петербургской литературной и художественной интеллигенции.

Неровность отношений Блока с Софьей Андреевной Кублицкой-Пиоттух, по всей видимости, отразилась и на сохранности их переписки. Из очень большого количества сейчас известны лишь семь юношеских писем Блока, одна поздравительная открытка и одно письмо к нему Софьи Андреевны. Письма Блока интересны обстоятельным описанием бытовых подробностей шахматовской жизни и, как замечал сам Блок, «окружающей нравственной атмосферы». Некоторые из них были отправлены в Барнаул, где Софья Андреевна жила с мужем и детьми в 1900—1902 гг. Одно из писем (от 27 ноября 1901 г.) содержит сведения о событиях, происходящих в Университете, и участии Блока-студента в общественной студенческой жизни.

6 марта 1919 г., получив телеграмму от Адама Феликсовича Кублицкого-Пиоттух, Блок отметил в записной книжке: «Известие о смерти тети Софы» (ЗК, 451). Она умерла 5 марта в Москве от воспаления легких и похоронена на Новодевичьем кладбище.

Имя мужа Софьи Андреевны Адама Феликсовича Кублицкого-Пиоттух не раз упоминается в письмах, дневниках, записных книжках Блока. Весьма сжатая, сухая характеристика, которую ему до сих пор давали исследователи жизни Блока, слишком лапидарна и тенденциозна. В 1879 г. он окончил юридический факультет Петербургского университета [13]. С семьей ректора А. Н. Бекетова его познакомил товарищ и коллега по университету Конрад Викторович Недзвецкий, который, будучи делегатом юридического факультета в Управлении Общества студенческой помощи при Петербургском университете, каждую субботу приглашался на чай в ректорский дом [14].

27 февраля 1882 года [15] Адам Феликсович Кублицкий-Пиоттух женился на Софье Андреевне Бекетовой. Он принадлежал к старому польскому роду (известен в Польше со второй половины XVI в.), давно обрусевшему. После окончания курса А. Ф. Кублицкий-Пиоттух был оставлен при университете, но ученой карьеры не сделал, а стал усердным и талантливым чиновником. У него был трезвый, положительный ум, практическая хватка, отличное юридическое образование. Это, вкупе с совершенно фантастической работоспособностью и абсолютной, кристальной честностью, обеспечило его быстрое и успешное продвижение по служебной лестнице. Начав службу чиновником 5-го класса в Удельном ведомстве, он в 1905 г. был назначен директором Лесного департамента. Вникая в самую суть своего дела, Адам Феликсович, как вспоминают современники, изъездил и исходил все леса России, став одним из крупнейших специалистов лесного хозяйства. С 1915 г. он сенатор. После революции профессор А. Ф. Кублицкий-Пиоттух (умер в 1932 г.) активно занимался научной работой в области лесного хозяйства и лесного права, работал и преподавал в Лесном институте. По заданию Госплана РСФСР им было составлено «Экономическое обозрение Северо-Западной области», опубликованы работы «Лесное хозяйство автономных республик РСФСР», «Лесной доход и местный бюджет», «Перерубы в лесах Ленинградской области» и многие другие [16]. Адам Феликсович принадлежал к тем государственным и хозяйственным деятелям России, которые старались до революции честной и активной работой противостоять губительной для страны хищнической хозяйственной политике царского правительства. Как и у его брата, отчима Блока, Франца Феликсовича Кублицкого-Пиоттух, ставшего генерал-лейтенантом, командиром дивизии в первую мировую войну [17], карьера А. Ф. Кублицкого-Пиоттух основывалась исключительно на его профессиональных качествах. Студент, родившийся в провинциальном Витебске, живший на жалование, получаемое от уроков, не имевший ни капитала, ни связей, ни протекции, он стал одним из видных деятелей России, конечно, не в силу каких-то «чиновничьих добродетелей», как иронически замечают некоторые исследователи жизни Блока, а благодаря ярким организаторским и деловым способностям и отличным знаниям. Именно это помогло ему найти себя в созидательной работе в новом обществе. Блок записывает 11 октября 1918 г.: «Приехавший Адам Феликсович — совершенно на стороне Советской власти, рассказывает много интересного о том, что делается в Москве и России, где чехословацкие и английские вши только не дают нам масла и хлеба» (ЗК, 431).

Не случайно Блок в сложные моменты своей жизни прислушивался к мнению психологически ему чуждого «позитивиста» и «практика» А. Ф. Кублицкого-Пиоттух, «дяди Адася», как он его называл в детстве и юности.

Адам Феликсович играл определенную роль в судьбе Блока. Именно он вел переговоры с отцом поэта А. Л. Блоком об условиях его развода с Александрой Андреевной. Юридические консультации А. Ф. Кублицкого-Пиоттух всегда были точны и квалифицированны.

В 1896 г. Блок ездил с Софьей Андреевной и двоюродными братьями в Нижний Новгород, на Всероссийскую художественную и промышленную выставку, где Адам Феликсович заведовал отделом Удельного ведомства. Это была одна из немногих и самых впечатляющих для Блока поездок по России, позже нашедшая отражение в пьесе «Песня судьбы». «Вчера весь день были на очень интересной выставке... пока в экспертизе все удельные вина идут первыми»,— сообщал Блок матери, особо подчеркивая заинтересованность делом дядюшки, представлявшего в конкурсе вина имений Главного управления уделов [18].

Разногласия Блока с Кублицкими и, в частности, с Адамом Феликсовичем, предопределялись кардинальным различием мироощущений. Позитивистское отношение к жизни, душевная трезвость были чужды и даже враждебны Блоку, поэту и человеку с отчетливо выраженным дисгармоничным мироощущением, считавшему, что чем неустроеннее жизнь художника, тем выше его искусство. Характерно, что самое резкое высказывание Блока об А. Ф. Кублицком-Пиоттух связано с его оценкой личности Владимира Соловьева. Как из-

вестно, Блок единственный раз видел Вл. Соловьева на похоронах родственницы Н. М. Дементьевой (урожденной Коваленской). Именно здесь произошел глубоко задевший его эпизод, который поэт упоминает трижды — в статье «Рыцарь-монах», «Заметках о Владимире Соловьеве» и в письме к Г. И. Чулкову от 23 июня 1905 г. «Передо мной шел большого роста худой человек в старенькой шубе, с непокрытой головой... на буром воротнике шубы лежали длинные серо-стальные пряди волос. Фигура казалась силуэтом, до того она была жутко непохожа на окружающее. Рядом со мной генерал сказал соседке: «Знаете, кто эта дубина? — Владимир Соловьев». Действительно, шествие этого человека казалось диким среди кучки обыкновенных людей, трусивших за колесницей» (V, 446). Эта реплика Адама Феликсовича оскорбила поэта. «Я чуть не убил его»,— сообщает он в письме Г. И. Чулкову (VIII, 128). Отрицание «обыкновенными» людьми, «средними петербургскими кругами» (V, 685), к которым несомненно, по мнению Блока, принадлежал А. Ф. Кублицкий-Пиоттух, личности, религиозных и нравственных исканий Владимира Соловьева, было неприемлемо для поэта. Нам же этот случай помогает раскрыть причину антагонизма «позитивистов» и «прагматиков» Кублицких, естественно чуждых мистическому миросозерцанию, и Блока, которого неудержимо влекли «миры иные», «несказанное».

Но лежащие в плоскости мировоззренческой разногласия не мешали Блоку считаться, причем в самые разные годы, с мнением А. Ф. Кублицкого-Пиоттух. Он не раз обращался к дядюшке, консультируясь по различным вопросам, внимательно относился к его практическим советам и часто следовал им. Так, начав работать в Чрезвычайной следственной комиссии, Блок с интересом выслушал и дважды отметил (в письме к матери и в «Записной книжке») точку зрения на работу комиссии А. Ф. Кублицкого-Пиоттух. «Между прочим,— сообщал он матери,— Адам Феликсович, которого я опять видел (на вокзале), высказал (как он часто это делает) весьма интересную точку зрения на комиссию. Он очень точно (юридически) умеет формулировать свои мысли, так что мне не раз уж удавалось «наматывать на ус» его соображения. И на этот раз тоже» [19] (VIII, 490). Прав А. Н. Шустов, утверждающий в журнале «Русская литература», что «отношение Блока к дяде Адаму не было поверхностным и постоянным, оно менялось с годами» [20] и, прослеживая динамику этих отношений, мы можем смело утверждать, что А. Ф. Кублицкий-Пиоттух играл в жизни Блока бо́льшую роль, чем это было принято считать.

Безусловно, из семьи Кублицких, наиболее тесно общался Блок с двоюродными братьями Феликсом (его Блок, а затем и все родственники называли уменьшительным именем — Фероль) и Андреем.

Зимой в Петербурге братья жили довольно далеко друг от друга и встречались обычно на квартире Кублицких-Пиоттух по субботам. Ф. А. Кублицкий писал в воспоминаниях: «Сначала это были просто детские шалости, затем в моду вошли «представления». В Мариинском театре тогда шел балет «Синяя Борода», на который нас водили. И вот мы втроем — Саша и мы, братья, стали изображать этот балет. Особенно комичен был Саша, представлявший одну из жен Синей Бороды: он влезал на шкаф в нашей детской и оттуда махал руками и своими уже длинными ногами, изображая, как призывает на помощь с башни несчастная жена Синей Бороды» («Саша Блок»). Так в атмосфере детских театральных спектаклей, бывавших почти еженедельно, проходило детство поэта [21].

Но особенно сближало братьев Шахматово, небольшая подмосковная усадьба А. Н. Бекетова, где постоянно проводили они лето [22]. Многие впечатления тех лет отразились позже в поэме «Возмездие», автобиографические мотивы которой очевидны.

Уже в детстве и ранней юности пробудилась в Блоке страсть к путешествиям по ближним и дальним окрестностям Шахматова: «Саша всегда старался забраться куда-нибудь подальше, в новые места, в глухие лесные дороги, открыть новые виды и дали, которыми так богата эта часть Московской губернии,— писал Ф. А. Кублицкий.— Большей частью эти поездки совершались под вечер, когда спадала жара, и лошадей меньше беспокоили мухи и слепни. Часто возвращались домой уже почти в темноте. Вставала полная красная луна, туман белой пеленой стлался вдоль речки и подбирался к усадьбе».

Несмотря на разницу в возрасте — Феликс был моложе Блока на четыре года, а Андрей — на шесть лет, они находили много общих занятий, среди которых были и уже упомянутые театральные постановки, и совместное с Феролем сочинение пьес, шарад, шуточных стихов и издание журнала «Вестник», активными сотрудниками которого были Фероль и Андрей Кублицкие [23], и просто многочисленные игры и забавы, которым самозабвенно предавались бра-

тья. «Блок долго играл в детские игры, увлекался ими сильно и всегда был зачинщиком и коноводом всех предприятий. Братья во всем его слушались и веселились с ним бесконечно. На всякие клоунские выходки и уморительные штуки он был великий мастер. Хохот почти не прекращался. Блок никогда не ссорился с братьями и относился к ним хорошо: никогда не действовал им на самолюбие, не дразнил их, не важничал и, даже шутя, никогда не ударил... Шалостей было очень много, но все какие-то безобидные» [24]. Тесному общению не мешало и то, что Андрей Кублицкий был глухонемым от рождения (специально взятая учительница научила его говорить и понимать речь по губам) [25]. Андрея Адамовича Блок особенно любил. Его мягкий, ласковый характер, доброта привлекали Блока и в более поздние годы, когда судьба развела его с друзьями детства и юности. С течением времени связи Блока с братьями стали более далекими [26]. С 1911 г., после переезда Кублицких-Пиоттух из Шахматова в приобретенное неподалеку имение Сафоново, Блок не раз бывал там и один, и вместе с матерью и женой Любовью Дмитриевной. В Сафонове, на втором этаже дома, даже была специальная комната, где обычно останавливался поэт, любивший прогулки верхом по холмам от Шахматова через село Семеновское к Сафонову, расположенному за Рогачевским шоссе.

После революции, когда братья Кублицкие-Пиоттух обосновались на постоянное жительство в Москве, Блок в каждый свой приезд из Петербурга посещал их [27]. Об этом сохранились скупые строки в дневниках и записных книжках поэта. «Мы много и подолгу разговаривали,— вспоминал Феликс Адамович.— Не во всем наши мнения сходились, но что никогда не могли мы забыть и что навсегда связало нас — так это счастливое, веселое детство и юность, проведенные в подмосковной глуши дедовской усадьбы». 1 мая 1921 г. Блок записал в дневнике: «Я был у Кублицких. Нежность Андрюши. Им живется плохо» (VII, 419). Это была последняя встреча Блока с двоюродными братьями.

Кублицкие-Пиоттух интересовались творчеством товарища своих детских игр. После гибели Шахматова они не раз ездили туда, стремясь найти и сохранить усадебный архив Блока и семьи Бекетовых. В том же дневнике 1921 г., 3 января, Блок записал: «В маленьком пакете, спасенном Андреем из шахматовского дома и привезенном Феролем осенью: листки Любиных тетрадей (очень многочисленные). *Ни следа* ее дневника. Листки из записных книжек, куски погибших рукописей моих, куски отцовского архива... кое-какие черновики стихов... На некоторых — грязь и следы человеческих копыт (с подковами). И все» (VII, 389). Это был последний материальный знак любимого погибшего Шахматова, о котором поэт «обливался слезами по ночам», спасенный и доставленный в Петроград теми, с кем на заре жизни так весело и беззаботно проводил он счастливые летние месяцы в «благоуханной тиши» маленькой усадьбы [28].

В стремлении понять личность Блока, прояснить феномен его «пути» литературоведы и биографы исследовали многие подробности жизни поэта, отношение с современниками, личные и литературные связи. Наиболее конкретные сведения о детстве, отрочестве, юности Блока и его семье содержат работы М. А. Бекетовой «А. Блок», «А. Блок и его мать», «Шахматово. Семейная хроника» (последняя опубликована в кн. 3 наст. тома). Непритязательно, но точно передается в них обстановка, в которой рос будущий поэт, раскрываются его отношения со сверстниками, родственниками и знакомыми.

М. А. Бекетова и другие мемуаристы подчеркивают свободный, непосредственный характер отношений юного Блока с двоюродными братьями Кублицкими-Пиоттух, постоянные розыгрыши, шутки, юмор, которые сопутствовали их общению. Именно этими чертами отмечены и публикуемые письма Блока к Андрею Кублицкому-Пиоттух. Читая их, мы как бы слышим голос молодого Блока, веселого юноши, умевшего и любившего смеяться, радоваться самым обыденным вещам. «Художник должен быть трепетным в самой дерзости,— говорил Блок в своей речи «О современном состоянии русского символизма»,— зная, чего стоит смешение искусства с жизнью, и оставаясь в жизни простым человеком» (VI, 435—436). Простого, непосредственного Блока узнаем мы из этих писем. Это тот Блок, который любил сочинять пародии, литературные шаржи, карикатуры, обожавший возню и «простую веселость»; Блок — автор поэтичных и ясных детских стихов; Блок, любивший работать в саду, поле, знавший цену любому труду. «Работа везде одна,— говорил он,— что печку сложить, что стихи написать» [29].

Конечно, адресуясь к младшему брату Блок несколько «подстраивается» под его уровень, лексика писем проста, содержание посланий подчеркнуто-бытовое (что дает нам сейчас немало ценных сведений биографического характера). При публикации опущены письма,

кроме трех, написанные в подражание особой системе (с нарушением правил грамматики, отрывочными, как бы рублеными фразами), по которой учили говорить, читать и писать глухонемого Андрея Кублицкого.

Особый интерес приобретают эти письма, если учесть, что некоторые из них относятся ко времени создания стихов, вошедших в первый том лирики Блока, а одно писалось «мистическим летом» 1901 г. Казалось бы, романтически настроенный юноша, поющий песни Деве, живущей на высокой горе за зубчатым лесом, должен быть далек от «мирских» дел и забот. Но не следует считать Блока того времени лишь очарованным рыцарем Прекрасной Дамы. Лето 1900 г., до отъезда братьев Кублицких-Пиоттух в Барнаул, прошло в постоянных забавах и мальчишеских дурачествах. «Все три брата,— пишет М. А. Бекетова,— ездили вместе верхом, устраивали смешные представления на шахматовском балконе, много хохотали» [30]. Этим настроением наполнены и многие письма Блока. Искреннее веселье, шутливые прозвища, которыми награждал Блок младших братьев, вполне естественно уживались с видениями Прекрасной Дамы и в «мистическое лето» 1901 г. Все письма выдержаны в духе бывших с братьями шутливых отношений. Полные житейских подробностей и, на первый взгляд, малозначащих деталей, они как бы вскрывают «второй план» духовной жизни юного Блока — интерес к земному, обыденному. Таких писем более Блок не писал никогда — они действительно уникальны.

Но восприятие этих «детских» писем ни в коей мере не может быть полным без сопоставления их с сохранившимися письмами Блока к тете, матери двоюродных братьев — Софье Андреевне Кублицкой-Пиоттух. В письмах к Софье Андреевне, часто написанными в одно время с посланиями брату, молодой Блок предстает взрослым, трезво и практически мыслящим человеком, чья «детскость» отношений с более младшими родственниками является не чем иным, как очень тактичной и умной игрой. Именно письма к С. А. Кублицкой-Пиоттух наилучшим образом комментируют письма Блока брату, создают выразительный фон для толкования и уяснения его весьма своеобразной переписки с детьми. В целом же весь корпус этой сохранившейся далеко не полностью переписки многое проясняет в характере молодого Блока. Письма этим двум адресатам неразделимы, поэтому ниже в приложении даны уже однажды напечатанные восемь писем к тете поэта как своеобразный и необходимый комментарий к его посланиям младшему брату.

Характеризуя блоковские документы в своем семейном архиве, Ф. А. Кублицкий комментировал: «...22 письма А. А. Блока к А. А. Кублицкому 1895—1901 гг. шутливо-интимного содержания. В детстве А. Блок и братья дразнили и обзывали друг друга шутя разными невинными ругательными словами, что и отразилось в письмах. В письмах есть также намеки на сцены из разных драматических пьес с известными артистами (Писарев, Давыдов, Варламов и др.). Письма содержат биографический материал. Одно письмо с рисунками» [31].

Феликс Адамович Кублицкий-Пиоттух, юрист, литератор, переводчик (он закончил в 1905 г. императорское училище Правоведения)[32], написал небольшие воспоминания о Блоке. Вместе с А. А. Кублицким-Пиоттух он составил генеалогическую таблицу рода Бекетовых, сохранил в семейном архиве богатый иконографический материал, связанный с Блоком и Бекетовыми. В настоящее время материалы архива Кублицких-Пиоттух рассредоточены и находятся в Государственном литературном музее, Институте русской литературы АН СССР (Пушкинский дом), мемориальном музее-квартире А. А. Блока в Ленинграде, частных собраниях.

К сожалению, нам известны далеко не все письма Блока к Кублицким-Пиоттух. Так почти полностью в конце 1930-х годов, за исключением нескольких открыток, которые хранятся в мемориальном музее-квартире А. А. Блока, утрачены письма к Ф. А. Кублицкому-Пиоттух (их, по сообщению самого адресата, было около 30); из нескольких десятков до нас дошло лишь восемь писем к Софье Андреевне Кублицкой-Пиоттух (семь из них находятся в отделе рукописей Института русской литературы (Пушкинский Дом) (р. 1, оп. 3, ед. хр. 33) и одно — в Мемориальном музее-квартире А. А. Блока). За исключением одного (ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 293), не сохранились и ответные письма [33]. Утрачены, кроме упоминавшихся выше двух, и все книги Блока с автографами, находившиеся в библиотеке Кублицких. По воспоминаниям Ф. А. Кублицкого-Пиоттух, некоторые автографированные сборники имелись в их библиотеке в нескольких экземплярах (Блок дарил книги разным членам семьи).

Публикуемые письма к А. А. Кублицкому-Пиоттух (кроме одного) находятся в Отделе

рукописей Государственного литературного музея, поздравительная открытка без даты и письма от 11/23 августа 1897 г. были переданы мной в собрание Н. П. Ильина, откуда поступили в Мемориальный музей-квартиру А. А. Блока в Ленинграде, две поздравительные открытки хранятся в собрании Е. В. Лидиной.

Письма к С. А. Кублицкой-Пиоттух (см. «Приложение») с очень кратким комментарием и некоторыми неточностями были опубликованы в 1927 г. в первом томе «Писем Александра Блока к родным» и не входили в другие издания.

Р. В. Иванов-Разумник точно заметил в статье о дарственных надписях Блока: «...Драгоценна каждая тропинка, которая помогает нам приблизиться к вершинам» [34]. Одна из таких «тропинок» — письма Блока к членам семьи Кублицких-Пиоттух. Они весьма существенны и для характеристики среды, в которой происходило становление поэта.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] В несколько сокращенном виде воспоминания Ф. А. Кублицкого «Саша Блок» опубликованы в сб. «Александр Блок в воспоминаниях современников». М., 1980, т. 1. В нашей работе цитируется по авторизованному машинописному экземпляру (собрание В. П. Енишерлова).

[2] Собрание В. П. Енишерлова.

[3] См. наст. т., кн. 1, с. 246—247.

[4] См. наст. т., кн. 3, с. 91.

[5] Там же, с. 620.

[6] Там же, с. 626.

[7] Там же, с. 666.

[8] Александра Петровна *Енишерлова* — жена двоюродного брата матери Блока Н. М. Енишерлова.

[9] «Блоковский сб.» 2, с. 439.

[10] Письмо хранилось в архиве Ф. А. Кублицкого-Пиоттух. Местонахождение в настоящее время неизвестно. Цит. по копии (Собрание В. П. Енишерлова).

[11] См. наст. т., кн. 3, с. 624.

[12] «Эпопея». Литературный ежемесячник. М.— Берлин, № 1, 1922, с. 247.

Ф. А. Кублицкий-Пиоттух писал: «Вспоминается приезд в Шахматово к Блокам Б. Н. Бугаева (Андрея Белого), одного или с А. С. Петровским и с С. М. Соловьевым, студентом Московского университета. В один из своих приездов Бугаев поразил всех своим необычным костюмом. На нем была надета белая длинная блуза из очень прозрачной материи, сквозь которую просвечивало тело и которая от ветра заворачивалась сзади. На груди был большой черный крест на черной цепи, как у богомольца. Бугаев был изысканно вежлив и любезен, целые дни и ночи у него шли с Блоком разговоры на мистические и литературные темы» («Саша Блок»).

[13] Диплом Петербургского университета об окончании курса юридического факультета со степенью кандидата № 9141 от 19 ноября 1879 г. С 1880 г. по 1882 г. А. Ф. Кублицкий-Пиоттух состоял магистрантом Петербургского университета для приготовления к профессорскому званию и выдержал экзамен на магистра. (Трудовой список А. Ф. Кублицкого-Пиоттух. Составлен 10 мая 1927 г. Собрание В. П. Енишерлова).

[14] K. Niedźwiecki. «Ze wspomnien». Warszawa, 1931, c. 11—13. Профессор Базыли Бялокозович в содержательном и подробном исследовании «Польша и поляки в сознании Александра Блока» («Przegląd Rusycystyczny», Rocznik V, zeszyt 1—4 (17—12). Warszawa — Łódź, 1983, c. 13—17) подчеркивает, что детские и отроческие годы Блока проходили в тесном общении с родственниками польского происхождения — Кублицкими, Лозинскими, Недзвецкими. К. В. Недзвецкий, чьи мемуары не переведены на русский язык, женился на двоюродной сестре матери Блока — А. М. Енишерловой, воспитывавшейся после смерти матери в доме А. Н. Бекетова. Возможно, что и эти детские впечатления в какой-то, хоть и малой мере, повлияли на устойчивый интерес Блока к Польше.

[15] Дату приводит А. Н. Шустов в статье «Комментарии требуют уточнения». «Русская литература», 1983, № 1, с. 250.

[16] Список научных трудов члена секции лесного хозяйства Госплана РСФСР А. Ф. Кублицкого-Пиоттух (Собрание В. П. Енишерлова).

[17] В авторизованном машинописном экземпляре воспоминаний о Блоке Ф. А. Кублицкого находится не вошедшая в опубликованный текст характеристика отчима поэта Ф. Ф. Кублицкого-Пиоттух: «Это был добрейший, славный человек. Гвардейский офицер, он без всяких связей и знакомств, без протекции дослужился до звания генерал-лейтенанта. Я помню, с каким волнением все мы ждали во время первой мировой войны сообщений из Галиции, где сражалась дивизия Франца Феликсовича. Он храбро воевал и как-то приехал в Петербург в шинели, забрызганной кровью.

Саша очень хорошо относился к своему отчиму, «милому Францику», ценил его мягкий, добрый характер, его честность и прямоту. Франца Феликсовича недаром сравнивали с Дон Кихотом, и не только внешне походил он на знаменитого испанского идальго. Не случайно, конечно, когда Блок написал драму «Роза и крест», многие увидели в образе ее героя Бер-

грана характерные черточки Ф. Ф. Кублицкого-Пиоттух... К сожалению, почти все письма его пропали, но сохранились в нашем семейном архиве фотографии Франца Феликсовича. в том числе и очень интересные, где изображен он с юным Блоком и его матерью, и редчайшие — с фронта. Последние хранились сначала у матери поэта, а после ее смерти их передала нам с некоторыми бумагами блоковского и бекетовского архива Мария Андреевна Бекетова» («Саша Блок»).

[18] В воспоминаниях Ф. А. Кублицкий пишет: «Поездка в провинцию была для мальчиков новостью, так как, кроме Петербурга и деревни, они почти не знали России. И дорога, и город на берегу Волги возбуждали интерес. Нарядные выставочные павильоны, толпы, обеды в ресторанах — все это было ново и казалось привлекательным. Помнится, с большим интересом мы с Сашей осматривали железнодорожный павильон. Как большинство мальчиков, нас привлекала железная дорога. В большом прохладном павильоне стояло множество чистеньких ж. д. вагонов и паровозов, и мы с Сашей с большим удовольствием беспрепятственно лазили по ним и осматривали всевозможные подробности.

Кроме посещений выставки, прогулок по городу и на гору с видом на Волгу и Оку, мы побывали в Драматическом театре. Играла труппа Московского Малого театра с Южиным и Лешковской, шла пьеса Вл. И. Немировича-Данченко „Цена жизни"... Саша, при выходе на сцену каждого артиста, делал вполголоса, но с полным авторитетом, замечания, как эту роль, по его мнению, исполнили бы в Александринке (например Савина, Аполлонский и др.), чем немало импонировал мне своим знанием театра» («Саша Блок»).

[19] В «Записной книжке» 7 мая 1917 г. Блок «расшифровал» точку зрения своего «дядюшки»: «Очень интересно мнение сенатора А. Ф. Кублицкого-Пиоттух (на вокзале) о Чрезвычайной следственной комиссии как скандальном учреждении: „Повесят",— потом выражение смягчено — людей юридически невинных. Предъявить обвинение можно к Протопопову, Сухомлинову, пожалуй, Щегловитову, но в чем виноват, например, Стишинский? Просто крайне правый, хотя и неприятный. Вырубова, конечно, мерзавка, но кому какое дело, что она жила с Распутиным? Таким образом, я вижу уже, что Чрезвычайная следственная комиссия стоит между наковальней закона и молотом истории. Положение весьма революционное» (ЗК, 321—322).

[20] «Русская литература», 1983, № 1, с. 17.

[21] Детским, ранним спектаклям, в которых участвовал Блок, дальним предшественникам «бобловского театра», во многом определившим его судьбу, посвящены страницы в целом ряде мемуаров. Пишет о них и самая юная участница этих спектаклей О. К. Самарина (Недзвецкая): «Появление Сашуры означало нечто неожиданное, выходящее из обычных рамок... Понятно, что он сразу становился командиром и весьма энергичным заводилой. Очень страшно было сидеть на высоченном шкафу лет пяти в виде Джульетты на балконе — а по лестнице (стулья, комод, шкафик, покрытые ковром) пробирался ко мне семилетний Ромео — сын тети Софы... Помню, как двоюродные братья скандировали в белых тогах (простыни) «греческие» стихи Козьмы Пруткова, помню размеренные жесты и длительные, застывшие позы: конечно инициатором и режиссером был Сашура.

Потом уже дошли до постановки на французском языке одной из комедий Лабиша «А'Грамматика».

Сашура изображал моего отца — безграмотного любителя-археолога. И надо сказать, изображал хорошо. По ходу действия ему приходилось потрясать в восторге «только что найденным» обломком старинной вазы — ничем иным как частью вполне неоспоримого ночного горшка. Надо было видеть эту восторженную серьезность и, казалось, несказанное удивление тому, что зрители вздумали хохотать при виде этой „древности"» (цит. по авторизованному машинописному экземпляру. Собрание В. П. Енишерлова).

[22] Ф. А. Кублицкий пишет: «Большинство наших воспоминаний о Саше Блоке связано с Шахматовым, небольшим имением нашего общего деда А. Н. Бекетова, куда нас троих привозили каждый год—примерно в мае, и где мы оставались до конца августа или начала сентября, вместе играя и резвясь в чудной деревенской обстановке. Первой приезжала в деревню бабушка. Затем понемногу съезжались прочие члены семьи. Вновь приезжающих все ранее приехавшие выходили встречать на дорогу, ждали, прислушивались к колокольчику. Когда усталая тройка лошадей в забрызганной коляске въезжала во двор, яростно лаяли дворовые собаки, раздавались шумные приветствия, а мальчики тотчас с восторгом бежали в сад, во флигель, в любимые места, наслаждаясь деревенской обстановкой после городской зимы. Начиналась для детей счастливая летняя пора; никаких занятий и уроков; полная свобода, все удовольствия деревенской жизни.

Дедушка и бабушка Бекетовы, приезжая на лето в деревню, стремились к одиночеству и отдыху от людей, которые их утомили за зиму в Петербурге. Всегда подчеркивалось, что мы живем «в деревне», а не на даче. Дачная жизнь была синонимом пошлости. Особенно в отношении одиночества была нетерпима бабушка Елизавета Григорьевна, весьма строго и остроумно, но не всегда справедливо оценивавшая людей. Поэтому гостей в Шахматове бывало всегда очень мало, а с соседями почти совершенно не знались. В этом сказывалась бекетовская исключительность, строгость и требовательность к людям, проявившаяся впоследствии так остро в характере Саши Блока <...> Саша очень любил разные затеи. На дворе в Шахматове была большая куртина из кустов шиповника, сирени, корнуса и спиреи. В этой куртине мы устроили ряд извилистых ходов, площадок и укрытий „для защиты от разбойников". Этой организацией мы вызвали неудовольствие со стороны бабушки, которая находила, что куртина может служить действительно хорошим укрытием, но лишь для кур и цыплят от налетов

коршунов; мы же нашими упражнениями разогнали кур, которые перенесли свои действия в сад. Но и из сада куры тщательно изгонялись, причем особенно рьяно этим занимался Саша. Гоняясь за курами, в сопровождении отчаянно лаявшей таксы Крабба, он говорил: „Мы с Краббом теперь как братья Гонкуры“ <...> Из игр одно время сильно увлекались крокетом, но потом он всем надоел. Устроенная на лужайке гимнастика больше привлекала Сашу. Он любил проделывать упражнения на кольцах и на трапеции» («Саша Блок»).

[23] См. об этом: наст. т. кн. 1, с. 203.

[24] М. А. Бекетова. Александр Блок. Л., 1930, с. 42—43.

[25] Сохранилось свидетельство, выданное 8 мая 1900 г. директором Петербургского училища глухонемых: «Дано сие Андрею Адамовичу Кублицкому-Пиоттух 14-ти лет, в том, что он, по произведенному испытанию, оказал успехи в чтении с губ, письме и грамоте весьма удовлетворительные...» (Собрание В. П. Енишерлова).

[26] Рубежом их отношений стали, видимо, 1900—1902 гг., проведенные братьями Кублицкими-Пиоттух в Барнауле, где работал их отец. М.А.Бекетова писала: «...За те два года, которые семья Софьи Андреевны провела в Сибири, братья потеряли всякую связь. Их сближали только игры, и когда прошел юношеский возраст, они разошлись, стали чужды друг другу» (М. А. Бекетова. Александр Блок, с. 75—76).

[27] В оба своих последних приезда в Москву в 1920 и 1921 гг. Блок бывал у Кублицких в их квартире в Трубниковском переулке, д. 30, кв. 12. 12 мая 1921 г. он писал матери: «Я был у Каменевых в Кремле и у Кублицких. Им живется, по-видимому, хуже, Адам Феликсович совсем старый. Андрей был очень нежен и трогателен. Фероль худой и злится» (VIII, 534).

[28] Феликс Адамович и Андрей Адамович много помогали исследователям жизни и творчества Блока, особенно его шахматовского периода. Первый очерк о Шахматове, написанный Г. П. Блоком, целиком основан на материалах, сообщенных братьями Кублицкими. К ним обращались многие литературоведы и всегда получали исчерпывающие и точные сведения. В частности, очень ценны для начавшегося восстановления Шахматова схемы расположения усадебных построек, насаждений и т. д., выполненные Ф. А. Кублицким. Он постоянно вместе с братом ездил в Шахматово и после гибели усадьбы (в записках братьев, например, зафиксированы поездки в 1936, 1948, 1952 гг.) и, прекрасно ориентируясь в том, что осталось от Шахматова, сумел подготовить документы, ныне неоценимые для реставраторов.

В ЦГАЛИ хранится письмо Ф. А. Кублицкого-Пиоттух к одному из первых исследователей Шахматова, автору работ об усадьбе и шахматовской библиотеке поэта П. А. Журову (ф. 55, оп. 3, ед. хр. 64):

«Многоуважаемый Петр Алексеевич, очень охотно я и мой брат поделимся с Вами теми сведениями о Шахматове, которыми мы располагаем и которые Вас интересуют. Мария Андреевна мне давно писала о Вас <...> О судьбе Тараканов ской церкви сейчас ничего не знаю, но через месяц, вероятно, буду в курсе <...> Уважающий Вас Ф. Кублицкий. Москва 28 июня н. ст. 1929». За сообщение письма приношу благодарность А. Е. Парнису.

В архиве и собрании Кублицких-Пиоттух были многие шахматовские реликвии, в том числе и около ста книг из шахматовской библиотеки Бекетовых — Блока. Некоторые памятные блоковские вещи подарила братьям М. А. Бекетова. В свое время среди бумаг Кублицких-Пиоттух я обнаружил письмо, адресованное ею Андрею Адамовичу: «Милый Андрюшечка, посылаю тебе с Дюшэном Сашину старую-престарую рубашку... Она с заплатами, в дегтю, в пятнах, которые нельзя отмыть, но я думаю, что ты все-таки будешь ее носить, потому что она очень напоминает Сашу: он в ней работал, рубил деревья, сажал цветы, косил. Напиши мне, было ли тебе приятно ее получить, несмотря на все... Мне очень хотелось послать Феролю «Записные книжки» Блока, но их нет в продаже (я искала везде), поэтому посылаю ему свою книгу с Сашиными статьями, которую ему приятно будет иметь...» Упоминаемый в письме Г. Дюшен — юрист, товарищ Ф. А. Кублицкого-Пиоттух по Императорскому училищу Правоведения. Это письмо и знаменитую вышитую узором с лебедями рубашку Блока, подаренную в свое время мне Ф. А. Кублицким-Пиоттух, я передал в собрание Н. П. Ильина, откуда они со многими другими шахматовскими реликвиями и документами поступили в Мемориальный музей-квартиру А. А. Блока в Ленинграде. Книга статей Блока, посланная М. А. Бекетовой, находится в моем собрании. (Александр Блок. Собр. соч., т. VII, Алконост, 1923. Статьи. Книга 1-я, 1906—1921).

[29] Мемуаристы, близко знавшие поэта и в юности, и в более поздние годы, отмечали, что Блок в обществе и у себя дома, в интимном кругу — два разных человека. Переход от одного настроения к другому бывал у него очень быстр: «...легко могло случиться, что утром или днем он напишет самое мрачное стихотворение, а к вечеру развеселится и начнет шалить» (М. А. Бекетова. Веселость и юмор Блока. Изд-во «Никитинские субботники», 1925. Отдельный оттиск). Ф. А. Кублицкий, вспоминая молодость Блока, также отмечал характерные черты двоюродного брата: «Саша почти всегда не любил общих прогулок. Охотно гулял он лишь с дедушкой Бекетовым. Это стремление к уединению росло с годами. Позднее с женой он совершал далекие прогулки. Собаки всегда его сопровождали.

Когда летом были свежие или дождливые вечера, мы втроем после чая забирались в гостиной («голубой комнате») на старинный красного дерева диван, где по бокам лежали два мягких валика и было много подушек, и начинали бросаться ими и тузить друг друга. Наши матери и тетушки со смехом, но не без страха, опасаясь, как бы подушки не попали в окно или лампу, наблюдали за нами. Саша необычайно ловко и метко тузил нас с братом, неожи-

данно швыряя в нас подушки и тяжелые валики с разных сторон. В этом занятии мы так бывало расходились, что было трудно унять нас и отправить спать.

Саша был весьма непрочь от занятий физической работой, временами он даже увлекался ею. Рубил кусты, пилил деревья, окапывал лужайки и цветники, расчищая заросли в саду к ужасу бабушки, не любившей «чрезмерную», по ее мнению, культурность садовой природы и считавшей, что надо оставить все, как было ранее и как само растет. Саша собственноручно с братом Андреем свел небольшую, но очень хорошую березовую рощу под садом. Взрослые приходили в ужас от такого «вандализма», но впоследствии сами были очень ему рады, так как благодаря этому открылся далекий и широкий вид с балкона и из дома:

И дверь звенящая балкона
Открылась в липы и в сирень,
И в синий купол небосклона,
И в лень окрестных деревень.

(«Возмездие»)

Дверь из столовой на балкон действительно открывалась с каким-то звенящим звуком» («Саша Блок»).

[30] М. А. Бекетова. Александр Блок, с. 75—76.

[31] Опись иконографических и рукописных материалов, относящихся к А. А. Блоку и его семье. (Из семейного архива Ф. А. и А. А. Кублицких в Москве), с. 3. Собрание В. П. Енишерлова.

[32] Приказ по ведомству Министерства юстиции от 27 мая 1905 г., № 18.

[33] С. А. Кублицкая-Пиоттух писала Блоку 16 июля 1918 г. из деревни Сафоново: «Милый Саша! Очень большое тебе спасибо за присылку «Нашего Пути». Фероль также очень благодарен. Нам обоим очень хотелось его иметь и, особенно, познакомиться с твоими последними произведениями. Целую тебя и желаю всего лучшего. Любящая тебя тетя *Софа*». В первом номере журнала «Наш путь» (апрель 1918 г.) были опубликованы поэма «Двенадцать» и «Скифы» Блока, а также его статья «Интеллигенция и революция». Экземпляр, посланный Блоком, сохранился (собрание В. П. Енишерлова). Судя по почтовому штемпелю, он был получен адресатами через ближайшее к Сафонову почтовое отделение в селе Обольяново.

[34] Р. В. Иванов-Разумник. Вершины (Александр Блок и Андрей Белый) Пг., «Колос», 1923, с. 246.

БЛОК — А. А. КУБЛИЦКОМУ-ПИОТТУХ

1

2 апреля 1895 года

Редактор журнала «Вестник» [1] поздравляет с праздником г-на зав. карт. отделом [2] и желает всего хорошего.

Редактор А. Блок

[1] М. А. Бекетова пишет: «В последних классах гимназии Блок начал издавать рукописный журнал «Вестник». Редактором был он сам, цензором — мать, сотрудниками — двоюродные братья, мальчики Лозинский, Недзвецкий, Сергей Соловьев, мать, бабушка, я, кое-кто из знакомых. Дедушка участвовал в журнале только как иллюстратор, и то редко. Все номера «Вестника», по одному экземпляру в месяц писались, склеивались и украшались рукой редактора... Всякого, кто присмотрится к «Вестнику», кроме талантливости и остроумия редактора, поразит и то обстоятельство, что в шестнадцать лет уровень его развития в житейском отношении подошел бы скорее мальчику лет двенадцати» (М. А. Бекетова. Александр Блок, с. 51).

Подробнее о журнале «Вестник» см. наст. т., кн. 1, с. 203.

[2] Андрей Кублицкий-Пиоттух неплохо рисовал. Сохранился целый ряд его работ, выполненных в Шахматове карандашом, акварелью и масляными красками. Им сделаны некоторые иллюстрации в «Вестнике».

2

⟨Апрель 1895 г.⟩

Дорогой Андрюша!

Целую также крепко! Я не писал «Вестник» февраль и март, потому что ленивый. Пожалуйста, пиши апрель «Вестник». Гимназия — скучно. Ты забавник и смеха⟨ч⟩! Прощай.

Твой Сашура [1]

[1] Это письмо, как и два следующих, написаны Блоком упрощенно, в соответствии с системой, по которой учили читать и писать глухонемого Андрея Кублицкого-Пиоттух.

3

〈Август 1895 г.〉

Дорогой Андрюша!

Я думаю, ты Петербург здоров. Фероль скоро гимназия — жаль. Шахматово погода очень хорошая, я много работал. Диана щенок можно видеть очень хорошо, весь толстый, кричит много и много кушает и спит.

Орел очень грязный и все кровь голова — больно. Пик [1] очень маленький, глупый, очень любит дедушку и был кровать. Саша — спал очень хорошо утром 1-го сентября. Шахматово новый дом был работает пять работников. Дом очень красивый и крыша белая.

Андрюша, дай мне письмо, пожалуйста. Я скоро буду в Петербурге — сентябрь 10. Прощай.

Целую. Твой Сашура

[1] *Диана*, *Орел*, *Пик* — собаки, любимцы Блока.

В детской записной книжке (1894) Блок, пародируя стихотворение Пушкина «Ангел», пишет о шахматовских собаках:

В дверях конурки Лебедь белый
Главой поникшею болтал,
Орелка ж, грязный и дебелый,
По кухне бешено скакал.

Дух объеданья, нетерпенья,
На духа грязного взирал,
Взор зависти и вожделенья
Туда он изредка бросал.

(Собрание В. Н. Орлова)

4

Шахматово. 1897. 11 (23) Августа. Понедельник.

Дорогой Андрэй!!!

Здравствуй. Пожалуйста пиши письмо. Письмо был хорошо; в Шахматове хорошая погода. Я не знаю, кто отец Орелки и сын Арапки? [1] Пожалуйста пиши, кто? Ты написал, что в Мариенбаде [2] много русских и евреев. Пожалуйста целуй всех. Тебе очень весело, и мне тоже: я и тетя Липа всегда театр много [3]. «*Мари*» [4] Москва долго, все много, всегда Москва, может 1900 также Москва!

Балет «Синяя Борода» [5] играет можно, потому-то я маленький мальчик-«спальчик». Целую тебя, маму, папу, Фероля и всех русских, а также евреев. Будь здоров, пиши письмо.
Прощай, Мариенбад!

Твой Сашура

Феликс Фор (теперь Петербург) [6]

[1] *Орелка* и *Арапка* — дворовые шахматовские собаки. «Перед отъездом в деревню из города, после гимназических экзаменов он (Блок.— *В. Е.*) приходил в радужное и особенно шаловливое настроение. Да ведь и то сказать — сколько радостей давало ему пребывание в Шахматове: воля, поля, леса, походы за грибами, верховая езда, катание в тележке и, наконец, собаки, из которых самая любимая была Дианка. Один из ее щенков, чернобурый Арапка, родившийся осенью, когда все еще были в сборе, составлял предмет бесконечных радостей и забав Блока и его двоюродных братьев. Впоследствии из него вышел огромный мохнатый пес. В Шахматове происходили и бесконечные игры с братьями Кублицкими — игры и мирные и воинственные 〈...〉 Само собой разумеется, что Саша Блок был зачинщиком и изобретателем всех игр и шалостей младших братьев. Тут же между играми, вероятно в дождливую погоду, писались стихи и проза для „Вестника“ и сооружались летние номера журнала» (М. А. Бекетова. Шахматово. Семейная хроника. Л. Н., т. 92, кн. 3, с. 766). Она же точно замечает, что «все лучшее, написанное Блоком в детском и отроческом возрасте, носит явный след влияния Шахматова» (там же), содержит прямые отголоски шахматовских общений и впечатлений. И позже в поэме «Возмездие», произведении автобиографического характера, явственен отзвук детских шахматовских впечатлений поэта.

[2] Мариенбад — курорт, на котором во время заграничного путешествия некоторое время жили Кублицкие. Путешествие братьев Блока проходило по маршруту: «Петербург — Вержболово — Берлин — Дрезден — Мариенбад — Мюнхен — Баденское озеро — Люцерн —



Ф. А. И А. А. КУБЛИЦКИЕ-ПИОТТУХ, ДВОЮРОДНЫЕ БРАТЬЯ БЛОКА

Фотография, 1900-е годы

Частное собрание, Москва

Монтре — Цюрих — Вена — Варшава — Петербург» (А. Кублицкий. Хронологические записи нашей жизни. Автограф. Собрание В. П. Енишерлова).

[3] Олимпиада Николаевна *Гущина* (урожд. *Галанина*) — подруга М. А. Бекетовой, часто гостившая в Шахматове. Она неоднократно участвовала в театральных затеях в Шахматове, даже вынуждена была однажды исполнять роль Джульетты в сцене перед балконом. М. А. Бекетова сообщает: «Саша продолжал изучать роль Ромео. Он задумал поставить в Шахматове сцену перед балконом и в ближайшее лето с жаром принялся осуществлять эту затею. Несоответствие нашей обстановки его не смущало. Главное затруднение было в том, что некому было играть Джульетту, так как ни молодых барышень, ни дам в нашем обиходе решительно не было» («А. Блок и его мать», с. 70).

Летом 1897 г. Блок приехал в Шахматово из Бад-Наугейма, испытав первую любовь (к К. М. Садовской). В Шахматове он застал разбитого параличом больного деда. Но несмотря на тяжелую болезнь А. Н. Бекетова привычный уклад жизни не был нарушен. Братья продолжали веселиться и их никто не останавливал. М. А. Бекетова в книге «Александр Блок и его мать» пишет: «Шалостям не было конца. И все эти ребячества уживались у Саши с романтическим настроением и переживаниями первой любви. Вскоре после нашего возвращения сестра Софья Андреевна уехала вместе с сыновьями за границу. После отъезда братьев Саша впал в романтическое настроение. Он зачитывался «Ромео и Джульеттой» и стал изучать монологи Ромео. Особенно часто декламировал он монолог последнего акта в склепе: «О, недра смерти...» Желание играть охватило его с необычайной силой» («А. Блок и его мать», с. 65).

[4] *Marie Kuhn* — гувернантка братьев Кублицких-Пиоттух, очень любившая своих воспитанников и Блока.

[5] «Синяя Борода» — балет. Музыка П. Шенка, постановка М. Петипа. В 1896—1897 гг. шел на сцене Мариинского театра.

[6] Феликс *Фор* — президент Франции, бывший в 1897 г. с визитом в России.

5

〈11 мая 1899 г.〉

Андрей Адамович! Поздравляю тебя и желаю тебе быть здоровым и не рисовать стыдное. Я скоро приеду в Шахматово. В Петербурге опять зима, идет снег и холодно. Целую тебя и всех. Скажи Феролю, что он свинья. Прощай.

11 мая 99 г.

Твой Сашура

6

27 июля 1899 г. Шахматово

Дорогой Андрюша!

Прости пожалуйста мне, что я долго не писал тебе, но я большой лентяй. Спасибо тебе за твое письмо, но ты пишешь столько стыдного, что я много раз покраснел. Тетя Липа [1] также читала твое письмо, но не покраснела. Что ты делаешь теперь в Гапсале? [2] Приятно ли тебе быть там? Какая у вас погода? У нас очень плохая, холодно и цветы плохо растут. Я думаю, что скоро поеду

к тете Соне [3] в Трубицыно [4] вместе с Сережей [5] и буду там несколько дней. Я думаю, что в Петербурге теперь приятнее, чем в Шахматове. Скоро приедут тетя Липа и тетя Маня [6] из Петербурга, они взяли там большую квартиру на Васильевском острове.

Пик [7] кланяется тебе, собакам и ежам. Недавно я сильно бил Арапку и Орелку — потому что они кусали лошадь гудинского мужика Никиты [8]. Лошадь испугалась и побежала очень скоро, чуть не сломала телегу, а Никита испугался, прыгнул из телеги и у него немного заболела шея. Лошадь остановилась далеко в поле. Никиту очень жаль, потому что он бедный, больной и старый, у него болят ноги. Теперь Арапка меня боится, а Орелка машет хвостом и ворчит, когда я его ласкаю. Арапка плохая собака, он кусает лошадей и рвет платье у баб. Надо посадить его на цепь, потому что он очень большой и сильный и может больно кусаться. Но большие собаки также, однако, кланяются тебе, преимущественно Орелка. Я очень тебя люблю и хочу видеть тебя и твою маму, но не хочу видеть твоего старшего брата Фероля, потому что он свинья! Скажи ему это, пожалуйста.

Я езжу в Боблово [9] иногда на Гнедом, потому что Мальчик [10] плохо ходит и брыкается задними ногами. Серый кушает много, но ничего не делает. Бурый очень много работает, также и Коська довольно много. У нас есть маленькие цыплята, но Пик не кушает их. Очень странно!

Сорок и коршунов также очень много, они лучше умеют кушать кур, чем Пик.

Целую тебя, поцелуй, пожалуйста, маму и скажи Феролю, что я тебя просил.

Твой Сашура

[1] См. п. 4, прим. 3.

[2] Лето 1899 г. братья Кублицкие-Пиоттух проводили сначала в Шахматове, а затем на курорте Гаапсаль (Эстляндия), где жили в пансионе Кноблоков.

[3] Софья Григорьевна *Карелина* (1826—1915) — сестра Е. Г. Бекетовой, двоюродная бабушка Блока и братьев Кублицких-Пиоттух.

[4] Трубицыно — подмосковное имение С. Г. Карелиной неподалеку от тютчевского Муранова. Ф. А. Кублицкий вспоминал: «Был он также и в маленьком именье тетушки Софьи Григорьевны Карелиной (тети Сони) Трубицыне. Она между прочим, пыталась ввести его в семью своих соседей и приятелей Тютчевых («Мураново»), сына поэта, но Сашу не удалось уговорить съездить к ним» («Саша Блок»).

[5] Сергей Михайлович *Соловьев* — троюродный брат Блока, Феликса и Андрея Кублицких-Пиоттух.

[6] Мария Андреевна Бекетова.

[7] *Пик* — такса. Ф. А. Кублицкий вспоминал: «У дедушки была такса Пик. Умная и веселая собака особенно любила Сашу. После смерти дедушки Пик сделался угрюмым. Он был привязан более всего к Саше, охотно всегда гулял с ним. Когда Пик в старости умирал (от сердечного приступа), присутствовали все шахматовские обитатели, в том числе и Саша. Пик перед последним вздохом взглянул на Сашу и опрокинулся на бок. Его похоронили в саду и на могилу положили камень» («Саша Блок»).

[8] Крестьянин из соседней с Шахматовым деревни Гудино.

[9] Боблово — имение Д. И. Менделеева. Любовь Дмитриевна Блок писала: «Лето 1899 года, когда по-прежнему в Боблово жили „Менделеевы“, проходило почти так же, как лето 1898 года, но, с внешней стороны, не повторялась напряженная атмосфера первого лета и его первой влюбленности. Играли „Сцену у фонтана“, чеховское „Предложение“, „Букет“ Потапенки» («Из воспоминаний Л. Д. Менделеевой-Блок». ЛН, т. 89, с. 40).

28 июня Александра Андреевна сообщала в письме Андрею Кублицкому-Пиоттух: «...Сашура бывает веселый, бывает также скучный. Он очень много работает в саду... Он полет цветники, обрезает траву вокруг них, чистит дорожки, косит и убирает сено в саду, также поливает. Я очень рада, что он это делает, потому что это очень хорошо для сада и полезно для Сашуры. Он после работы всегда веселый и много говорит глупостей. К Менделеевым он ездит не часто. Театр будет в июле, будет пушкинский: „Евгений Онегин“, „Дон Жуан“, „Скупой рыцарь“, „Дмитрий Самозванец“. В Боблове все преимущественно дамы, и Сашура один господин будет играть все роли мужчин. Трудно будет, много работы...» (письмо находилось в архиве Ф. А. Кублицкого-Пиоттух. Ныне Мемориальный музей-квартира А. А. Блока в Ленинграде).

За исполнение роли Скупого рыцаря Блок получил лавровый венок.

С. Д. Менделеева, двоюродная сестра Любови Дмитриевны, вспоминала: «Лета 1897 и 1898 года мы проводили в Боблове у Менделеевых. Дядя моего отца Д. И. Менделеев пригласил нашу семью: мать, сестру, брата и меня на лето в свою усадьбу Боблово близ Клина.

Там нам был отведен так называемый „старый дом". В то время в 7-и верстах от д. Боблово в деревне Шахматово жил по летам А. А. Блок с матерью у своего деда профессора Бекетова.

У Менделеевых в Боблове была традиция устраивать летом детские спектакли. Пьесы по большей части писала Над. Як. Капустина, племянница Дмитр. Иван., участвовали Люба и Ваня Менделеевы, и, иногда, соседи их Смирновы.

В 1897 году Любе было 15 лет, Ване 13 лет, а младшим близнецам Мусе и Васе 8—9 лет. Мы были старше хозяев. Мне шел 18-й год, сестре Лиде 16-й, брат был ровесник Ване.

И вот нам захотелось поставить настоящий спектакль. Выбрали пьесу Щепкиной-Куперник „Месть Амура", потому что в этой пьесе 6 женских ролей и ни одной мужской, а у нас не было актеров, одни актрисы. Главную роль взяла на себя Маня Турчанинова, ученица балетной школы, сестра знаменитой артистки Евд. Дм. Турчаниновой, жившая недалеко в селе Спас-Коркодино. Мы много возились с репетициями, много это принесло удовольствия и забот, но... спектакль не состоялся: Манечке надо было уехать в Москву, кто-то закапризничал и отказался.

Анна Ивановна Менделеева решила помочь нам. Она знала, что Саша Блок давно увлекается театром и устраивает представления со своими двоюродными братьями. Но в Боблове он не бывал, видимо стеснялся, и только иногда мы видели, как он проезжал верхом на своем белом коне. Теперь же, узнав о предполагаемых спектаклях, он приехал и сразу принял самое активное участие в подготовке. Анна Ивановна была у нас как бы режиссером, советовала и помогала. По ее распоряжению в большом сенном сарае, стоявшем на опушке парка, была сделана сцена, скамьи для зрителей, кулисы. Театр был готов. Пьесы уже репетировались. На первый раз должна была идти детская пьеса для маленьких Менделеевых Муси и Васи — „Художник Мазилкин", заглавную роль играл Алекс. Алекс., мать их играла моя гимназическая подруга, гостившая у нас, Юля Кузьмина. Для старших актеров и актрис шли отрывки из „Женитьбы" Гоголя и из „Горя от ума". Блок играл Чацкого, Люба — Софью, сестра моя Лидия — Лизу. Конечно, все костюмы мы шили сами, много нам пришлось применить изобретательности и выдумки. Снимки делал репетитор Вани — студент, который ни за что не хотел участвовать в спектаклях. Спектакль доставил нам много радости, публика осталась довольна. Были и соседи — помещики и крестьяне из Боблова и соседних деревень. На следующее лето, когда мы снова съехались, спектакли продолжались. По желанию Блока решили поставить Пушкинский спектакль. Он мечтал о классическом репертуаре ‹...›

Остановились на следующих сценах: 1) Сцена у фонтана, из „Бориса Годунова" — Блок — Самозванец, я — Марина. 2) Сцена из „Скупого рыцаря" — монолог его — Блок; 3) Сцена из „Каменного гостя" — Дон-Жуан — Блок, донна Анна — сестра Лидия. Статуя Командора — мальчик из деревни Ваня (своих ведь артистов у нас не было. Братья ни за что не хотели играть, они только устраивали декорации и т. п.). С ним произошла комическая сцена: когда Ваня вышел во всем белом, как мраморная статуя, публика узнала его и стала хохотать „Наш-то Ванюшка каков". Хорошо было Донне Анне, она упала в обморок и могла, закрывшись веером, смеяться, но каково было Дон-Жуану, но он вышел из этого положения геройски и сыграл замечательно хорошо.

В этом спектакле особенно хороша была декорация в сцене у фонтана. Был настоящий лес, настоящий фонтан и почти настоящая луна (лампа, закрытая голубым) — наши братья-декораторы тут отлично потрудились. Публика так и ахнула, увидав эту картину. На спектакле был и сам Дм. Ив. В публике говорили, что это были артисты из Москвы, поднесли всем цветы. Конечно, особенно хорош был Блок. Сейчас же после этого спектакля стали готовиться к постановке „Гамлета" Шекспира, о чем мечтал Ал. Ал. Это было его любимое произведение. Но у нас была очень маленькая труппа, 3 артистки и 1 артист, потому Блоку пришлось играть роли и Гамлета и короля, а моей сестре Лидии — Лаэрта. Перед спектаклем Блок сделал вступление — рассказал краткое содержание пьесы, т. к. наша публика, конечно, не знала „Гамлета", а потом мы сыграли отдельные сцены ‹...› Даны были следующие сцены: 1) Гамлет с матерью — Блок и я. 2) Сцена короля и королевы. Офелии и Лаэрта (Блок и я, Люба и Лидия Менделеевы). 3) „Быть или не быть" (Блок). 4) Офелия и Гамлет — Люба, Блок. Таким образом, главные роли были у Ал. Ал. и его будущей жены Люб. Дм. Особенно хорош был Блок. Он играл талантливо, ярко. Хороша и трогательна была Люба — Офелия.

Эти спектакли до сих пор памятны нам с сестрой (единственные из актеров, кто еще жив) и мне казалось, да кажется и сейчас даже, что Блок был лучшим Гамлетом из всех, каких я видела.

Этим закончились наши спектакли. На след. лето мы уже не жили в Боблове, и спектакли не ставились — Блок приезжал к своей Прекрасной Даме, а в 1903 г. была их свадьба, где были и мы.

Об этих спектаклях есть в книге Ан. Ив. Менделеевой «Менделеев в жизни». В главе об А. А. Блоке». («Спектакли в Боблове с А. А. Блоком». ГЛМ, ф. 8, оп. 1, ед. хр. 57).

[10] *Мальчик* — любимая лошадь Блока. «Конь этот был с норовом, в молодости его долго держали в темной конюшне, и потому зрение его было испорчено, и он часто пугался и бросался в сторону, но Саша привык к его замашкам и справлялся с ним довольно хорошо.

Высокий белый конь, почуя
Прикосновение хлыста,
Уже волнуясь и танцуя,
Его выносит в ворота ‹„Возмездие"›».

(«С а ш а Б л о к»)

7

5 сентября 1900 года. Шахматово

Дорогой Андрюша!

Мне было очень приятно, что ты написал мне письмо, благодарю тебя за то, что ты поздравил меня и желал мне быть умным, а не идиотом. Но я думаю, что ты сам идиот, потому что ты пишешь мало и по-идиотски. Ты целуешь меня крепко, но ты говоришь сам, что настоящая любовь не выражается в поцелуях, поэтому я не хочу целовать тебя — ты очень грязный извозчик. Позволяю тебе обнимать меня, как Писарев [1] с Серебряковым [2], один раз, довольно.

У нас погода не очень хорошая, часто бывает ветер и холодно, но дождя не очень много, я очень часто хожу, но не езжу верхом в Боблово. Хожу я недалеко, но езжу верхом иногда. Сегодня также я был в Шеплякове, Гудине и в Мильцеве [3]. Кроме того я много купался, после того как вы уехали, и тетя Маня также ходила купаться, но потом стало холодно, и мы перестали. Всего я купался вместе с вами и один 25 раз.

Мне очень жаль, что в Барнауле [4] грязно и некрасиво, но я думаю, что ты и Фероль скоро привыкнете и вам не будет скучно, потому что всякий будет учиться и читать, а также вы будете играть на биллиарде. Я думаю, что это трудная, но интересная игра и вы скоро научитесь играть. Также вы будете ездить с Феролем верхом, потому что папа и мама купили лошадей, но я не знаю, хорошие ли они для верховой езды? Завтра 6-го сентября мы с мамой поедем в Петербург. В Шахматово теперь очено хорошо и, я думаю, гораздо красивее и лучше, чем в Барнауле. У нас молотили рожь и овес, мы с Иваном [5] рубили очень много дров; наш работник Иван очень плохой и ленивый, но, нечего делать, он будет жить здесь зимой, потому что другого нет.

Почему ты пишешь мне, что я лентяй? Я очень прилежный и умный человек, но ты сам глупый и ленивый поросенок.

Обнимаю тебя, как Фрей [6] с Серебряковым! В день моих именин 30-го августа мы вспоминали, как мы были в театре и видели «Жизнь за царя» [7], тогда было очень приятно. Целую маму, папу, тебя и Фероля, будь здоровый и веселый человек. Прощай.

Твой Сашура

[1] В письмах Блока А. А. Кублицкому-Пиоттух часто встречается шутливое употребление имен известных артистов, в устойчивых лексических оборотах типа: «обнимаю тебя, как...» и т. п. Это было одним из элементов игры, которую Блок и в письмах продолжал вести с двоюродными братьями. Характерно, что, судя по воспоминаниям Ф. А. Кублицкого-Пиоттух, Блок постоянно упоминает актеров, с творчеством которых он и его братья были хорошо знакомы. Таким образом, письма к А. А. Кублицкому-Пиоттух дают дополнительную информацию о театральных интересах молодого Блока.

Александр Дмитриевич *Писарев* — актер. В архиве Кублицких сохранилась программа состоявшегося в воскресенье 17 ноября 1896 г. в Малом театре праздничного спектакля с тройным составом исполнителей, на котором давалась оперетта Оффенбаха «Прекрасная Елена». Роль Париса исполнял Писарев.

[2] Константин Терентьевич *Серебряков* (1852—1919), известный русский певец, бас. Дебютировал в 1887 г. на сцене Мариинского театра в роли Сусанина («Жизнь за царя») с большим успехом. Блок мог слышать его также в шедших в Мариинском театре операх «Русалка», «Евгений Онегин», «Демон» и др.

[3] Деревни неподалеку от Шахматова.

[4] В августе 1900 г. Феликс и Андрей Кублицкие-Пиоттух с матерью отправились в Барнаул, где уже ждал их А. Ф. Кублицкий-Пиоттух, назначенный в марте начальником Алтайского горного округа Томской губернии.

[5] *Иван Николаевич* — в течение нескольких лет был старшим работником в Шахматове. Ему посвящен сохранившийся в детской записной книжке Блока (1894) стихотворный набросок-пародия на балладу В. А. Жуковского «Смальгольмский барон»:

До рассвета поднявшись, коня оседлал
Знаменитый работник Иван,
И без отдыха гнал меж полей и меж скал
Он коня, торопясь в Старый Стан.
Через три дня назад воротился Иван
(Поражен, раздражен и смущен)

(Собрание В. Н. Орлова)

Упоминаемый в сочинении тринадцатилетнего Блока Старый Стан — деревня в окрестностях Шахматова.

[6] Яльмар Александрович *Фрей* — финский певец, бас, с 1885 г. артист Мариинского театра. В 1899 г. участвовал вместе с Ф. И. Шаляпиным в концертном исполнении оперы «Алеко», посвященном 100-летию со дня рождения Пушкина.

[7] «Жизнь за царя» — опера М. И. Глинки, которую Блок с братьями слушал в Мариинском театре весной 1900 г.

8

6 октября 1900 года. Петербург

Дорогой Андрей!

Спасибо тебе, что ты часто пишешь письма всем нам, очень приятно и интересно читать их, ты пишешь много и хорошо, мы узнаем, что вы делаете в Барнауле. Почему ты пишешь мне, что я называю Феролля свиньей? — напротив ты называешь его свиньей, а я называю идиотом. Скажи ему, что скоро он получит от меня письмо, в котором я буду бранить его за то, что он сам меня бранит. Напрасно ты думаешь, что крокет скучная игра, я очень люблю ее [1], но, может быть, и биллиард также интересная игра, я не умею и никогда не играл, а студенты зовут меня в трактир играть на биллиарде, потому что дураки.

Мари [2] покраснела, когда прочитала, что тебе больно было сидеть; я думаю, что у тебя была очень странная болезнь — очень стыдная, но теперь ты поправился и надо ездить верхом, потому что, мне кажется, будет весело, хотя ты и говоришь, что везде скверно. Кроме того, у вас хорошие лошади, ездить может быть, приятнее, чем на Гнедом или на Коське. Когда я ездил в Шахматове на Гнедом, мне он очень не понравился, потому что у него маленькие шаги, и он очень низкий, на Мальчике мне всего приятнее было ездить. Теперь мы уже целый месяц живем в Петербурге и совсем забыли про Шахматово, потому что у всех много дела. Я довольно много учусь и хожу в Университет [3], ты напрасно говоришь, что я лентяй и ночной пешеход! В Петербурге жить гораздо приятнее, чем в Барнауле, но погода хуже, чем у вас, иногда идет дождь, на улицах грязь и воздух очень плохой, пахнет дымом. На деревьях еще много листьев, мы были в Ботаническом саду 2 раза и смотрели новые большие цветы, называются Victoria regia. Они некрасивые, но у них очень большие листья, ты видел их, я думаю, там и на картинах. Очень жаль, что вы хотите ехать в Алтайские горы, но, все-таки, мне кажется, что вы приедете в Шахматово. Тебе пора заключить мир с Феролем и не бить его по щекам, потому что вы очень давно воюете, все равно никто не победит. Я написал тебе письмо не потому, что тебя люблю, но потому что очень боюсь, что ты сошлешь меня на остров Сахалин! Целуй, пожалуйста, маму, папу и будущего чиновника с усами и бородой [4], желаю тебе быть здоровым и не скучать очень в Барнауле. Также будь умный, а не идиот. Гурвича [5] не целуй от меня.

Твой Саша

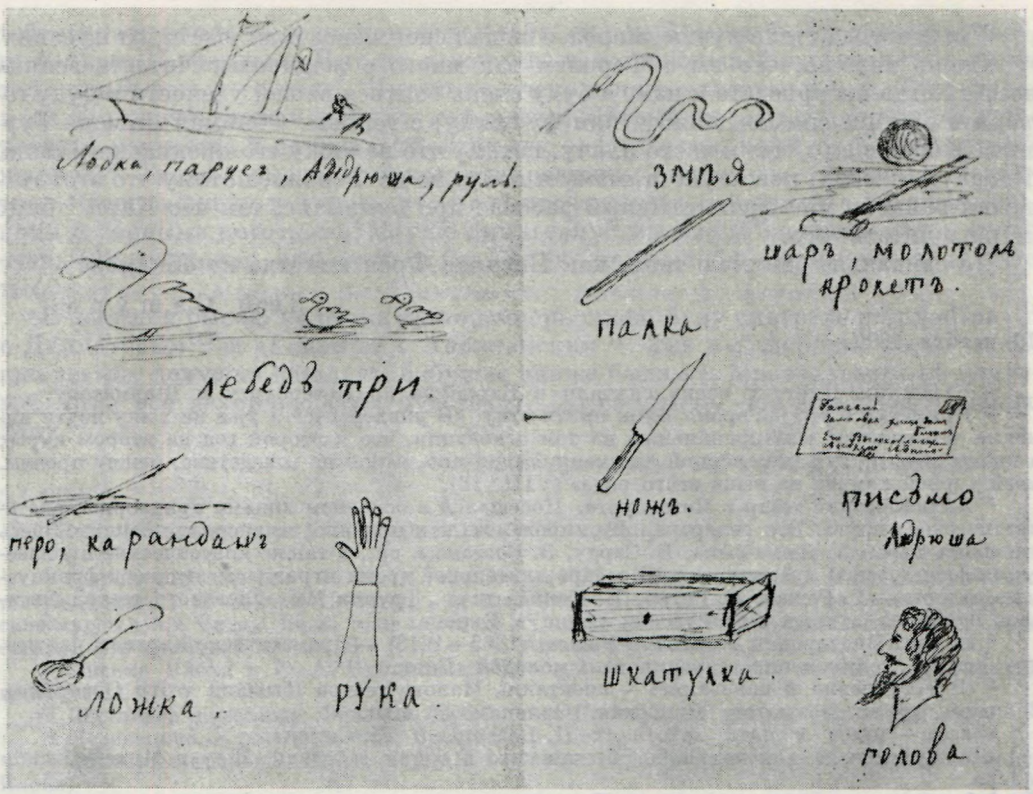
[1] В крокет братья много и увлеченно играли в Шахматове. «Одно время сильно увлекались крокетом, но потом он всем надоел» («Саша Блок»).

[2] См. прим. 4 к п. 4.

[3] В письме к отцу А. Л. Блоку от 26 сентября 1900 г. Блок сообщает об усиленных занятиях в Университете, и, благодаря отца за присылку его лекций, пишет: «Не знаю, когда мне удастся прочесть все это, потому что, кроме специально университетских юридических наук, я занимаюсь теперь историей философии вообще (которую слушаю у Введенского 3 часа в неделю) и специально Платоном по Льюису и переводу подлинника Вл. С. и Мих. С. Соловьевых... Программа II-го курса значительно увеличилась теперь сравнительно с прошлым годом» («Письма к родным», I, с. 55).

[4] Типичный пример шутливого прозвища, которыми награждал Блок двоюродных братьев, в данном случае — Феликса. Ср. с обращением Блока — редактора журнала «Вестник» к читателям: «Глубоко тронутый таким горячим выражением симпатии к моему журналу, благодарю всех подписчиков под адресом, а именно: г-ж Е. Бекетову, Н. Дементьеву... г-д А. Бекетова, Ф. Кублицкого-Пиоттух, *будущего генерала* (курсив мой.— *В. Е.*) А. Кублицкого-Пиоттух...» (наст. т., кн. 1, с. 214.)

[5] Одно из многих прозвищ, которые Блок в шутку давал Феликсу Кублицкому-Пиоттух.



РИСУНКИ БЛОКА В ПИСЬМЕ А. А. КУБЛИЦКОМУ-ПИОТТУХ
Автограф, 1896
Литературный музей, Москва

9

〈19 ноября 1900 г.〉

Светлейший Андрей!

Поздравляю тебя с твоими именинами, желаю тебе быть здоровым и скорее сделаться более умным, также стараться быть веселым и хотеть кататься на коньках в Барнауле, потому что от этого будет легче привыкнуть и тебе и маме [1]. Не погружайся также в глубокие думы и, когда ходишь по улицам, думай, что они очень чисты и красивы. Очень благодарю тебя за поздравления, но не понимаю, почему ты думаешь, что ты мой подданный, я думаю, что ты — свинья.

Я должен отвечать тебе на твои вопросы: я хожу в Университет очень редко, потому что я остался два года на втором курсе [2], занимаюсь довольно много, в театре был раз 10 — в Малом, Александринском и Михайловском [3]. Очень жаль, что не вижу щеки Дальского [4], остальное все по-прежнему. Я видел «Преступление и наказание», «Заза», «Золотой телец» [5], которого в прошлом году хвалила твоя мама, и несколько новых, часто скверных пьес.

Кроме того, я сам очень много читаю стихов, например у Захарьиных [6], потом у меня есть еще новые знакомые — Лучинские [7], а у Менделеевых я больше не бываю, потому что у них скучно [8].

Мама теперь нездорова, у нее был довольно большой жар, сильный кашель и насморк, должно быть инфлуэнца. Теперь ей лучше, но она сидит дома и не могла ехать в театр, а сегодня не может ехать к бабушке поздравлять ее [9]. Дядя Франц [10] целый день на службе, поэтому я один буду обедать у бабушки из всех нас.

У нас погода стала лучше, мороз, и выпал снег, извозчики уже ездят на санях.

Очень хорошо, что вы с Феролем так много с жадностью читаете всяких книг. Когда вы приедете к нам, я буду очень бояться вашей учености и буду говорить с вами, снимая шляпу (или фуражку) с головы. Обнимай от меня Гурвича и скажи ему, что я часто плачу, потому что не вижу его прекрасного лица. Поцелуй от меня, пожалуйста, маму и папу, но не Фероля, потому что этот господин написал мне очень стыдный рассказ про пипифакс, так что Кате [11] было стыдно читать его.

До свиданья, обнимаю тебя, как Писарев Фрея никогда не обнимал.

Твой Сашура

19 ноября 1900.

[1] Кублицкие-Пиоттух очень скучали в Барнауле по Петербургу и Шахматову.

[2] Примерно в это же время Блок писал отцу: «В университет я уже не хожу почти никогда, что кажется мне правильным на том основании, что я второй год на втором курсе, а кроме того, и слушание лекций для меня бесполезно, вероятно вследствие, между прочим, моей дурной памяти на вещи этого рода» (VIII, 16).

[3] Михайловский театр в Петербурге. Посещался в основном лицами придворно-аристократического круга. Его репертуар формировался, как правило, из модных новинок. Здесь ставились пьесы А. Дюма-сына, В. Сарду, Э. Ростана и др., а также классические произведения французской драматургии. В театре длительное время играли выдающиеся французские актеры — Г. Режан, С. Гитри, Б. Коклен и др. Труппа Михайловского театра считалась одной из лучших французских трупп в Европе.

[4] Мамонт Викторович *Дальский (Неелов)* (1865—1918) — драматический артист, чье чтение стихов великолепно пародировал молодой Блок.

[5] «Преступление и наказание» — спектакль Малого театра (бывший театр Суворина). В пьесе играли Далматов, Яворская, Орленев, Бурлак.

«Заза» — пьеса в пяти действиях П. Бертона и Ш. Симона.

«Золотой телец» — комедия С. Дбржанского в одном действии. Шла в Михайловском театре.

[6] *Зихрьины* — знакомые семьи Бекетовых.

[7] Семья Евгении Юстиновны Лучинской, участницы литературных вечеров, знакомой Блока и А. В. Гиппиуса.

[8] Осенью 1900 г. из-за размолвки с Любовью Дмитриевной Блок у Менделеевых не бывал, «полагая, что знакомство прекратилось» (VII, 342) Л. Д. Блок в воспоминаниях писала: «К разрыву отношений, произошедшему в 1900 году, осенью, я отнеслась очень равнодушно... О Блоке я вспоминала с досадой. Я помню, что в моем дневнике, погибшем в Шахматове, были очень резкие фразы на его счет, вроде того, что „мне стыдно вспоминать свою влюбленность в этого фата с рыбьим темпераментом и глазами...“ Я считала себя освободившейся» (ЛН, т. 89, с. 41—42).

[9] Елизавета Григорьевна Бекетова родилась 19 ноября 1834 г.

[10] Франц Феликсович Кублицкий-Пиоттух, отчим Блока, дядя Андрея Кублицкого-Пиоттух.

[11] С Екатериной Евгеньевной Хрусталевой, дальней родственницей, молодой талантливой пианисткой, Блок познакомился осенью 1900 г.

10

〈5 января 1901 г.〉

Дорогой Андрюша!

Прости, пожалуйста, что не скоро пишу тебе. Были праздники и потому долго не писал. На Рождество не было весело, надо было делать визиты и, хотя я делал их мало, но все-таки это было скучно и неприятно. Я познакомился с артисткой Александринского театра Читау, которая теперь учит меня читать стихи [1]. Она очень добрая и хорошая дама, не очень молодая, больше уже не играет на сцене. Может быть, вы захотите играть что-нибудь на Масленице или на Пасхе, поэтому, посылаю вам пять пьес, о которых я написал в письме к Феролю [2]. Кажется тебе и «кучеру» [3], а также маме и папе не было весело на Рождество. Мне очень было жаль, что нет вас, мы вспоминали ваши елки 24 декабря, без елки не весело. У Недзвецких [4] не было елки, но танцевали, и никто из нас у них не был. Я думаю, что там было очень скучно. Буля [5] уехал на Рождестве в Низголово [6] на охоту после танцевального вечера — молодец! Он очень хороший мальчик, теперь вырос еще и плечи стали шире. Отвечаю

тебе на твои вопросы: у нас погода так себе, сильный мороз был только два дня — не больше 27 градусов. В гости я хожу не часто и бóльшей частью читаю стихи там, где бываю в гостях [7]. Читаю не очень много, теперь читаю Тургенева, а также получаю новый журнал, называется «Новый журнал иностранной литературы, искусства и науки». Редактор его — Булгаков, кажется — интересный журнал [8]. Твоим письмам я никогда не радуюсь, потому что ты свинья; напротив — всегда плачу и думаю, что надо писать ответ господину с грязными руками и черными ноготками! Марию Эмильевну [9] мы видим не очень часто, у ней очень много уроков, она скучает без вас (но не без тебя, потому что знает, что ты<...>)

В театре я бываю не очень часто, теперь скоро буду смотреть пьесу «Кин» [10] с Далматовым [11] и «Гамлета» с Аполлонским [12]. Все мы здоровы, но не очень, как всегда, дедушка кашляет, бабушка также была нездорова, теперь ей получше, мама все нехорошо себя чувствует. До свиданья, дай мне твою грязную лапу.

Твой Александр Македонский

5.I.1901.

Поцелуй маму, папу и «управляющего лошадьми» [13].

[1] Мария Михайловна *Читау (Кармина)* (1859—1935) — актриса Александринского театра, педагог. «В том же 1901 году, когда Любовь Дмитриевна поступила на драматические курсы г-жи Читау, Саша тоже посещал их некоторое время, но, охладев к сцене, скоро оставил это занятие» (М. А. Бекетова. Александр Блок и его мать, с. 73).

[2] Письма Блока к Ф. А. Кублицкому-Пиоттух за исключением нескольких открыток неизвестны.

[3] Шутливое прозвище Феликса Кублицкого-Пиоттух за его любовь к лошадям.

[4] Недзвецкие — родственники Бекетовых.

[5] Виктор Конрадович *Недзвецкий* (1883—1940) — троюродный брат и в юности товарищ Блока.

[6] Низголово — имение Недзвецких

[7] Блок-студент увлекался декламацией. С. Н. Тутолмина пишет: «Когда он сделался студентом, а мы с сестрой одновременно кончили гимназию, мы стали чаще видеться с Сашей. По субботам у нас собиралась молодежь, по преимуществу студенческая (мой отец был тогда директором Электротехнического института), и у нас было много музыки, пения и декламации. В то время Ал. Блок увлекался Шекспиром <...> На наших вечеринках он любил декламировать монологи Гамлета, Отелло, а так же Дон-Жуана (из пьесы А. Толстого). Кроме того, он прекрасно читал „Сумасшедшего“ Апухтина, и я никогда с тех пор не слышала никого, кто бы читал это стихотворение так хорошо, как Ал. Блок (С. Н. Тутолмина. Мои воспоминания об Александре Блоке.— «Александр Блок в воспоминаниях современников», т. I, с. 92).

[8] Федор Ильич *Булгаков* (1852—1908) — редактор-издатель «Нового журнала иностранной литературы, искусства и науки».

[9] Гувернантка братьев Кублицких-Пиоттух.

[10] «Кин, или Гений и беспутство», пьеса А. Дюма.

[11] Василий Пантелеймонович *Далматов (Лучич)* (1852—1912) —драматический артист. «Всем было известно,— вспоминал Г. П. Блок, двоюродный брат Александра Александровича, в очерке «Герои „Возмездия“»,—что будущность его твердо решена — он будет актером. И держать себя он старался по-актерски. Его кумиром был Далматов, игравший в то время в Суворинском театре Лира и Ивана Грозного. Александр Александрович причесывался как Далматов (плоско на темени и пышно на висках), говорил далматовским голосом (сквозь зубы цедил глуховатым баском)» («Александр Блок в воспоминаниях современников», т. I, с. 97).

[12] Роман Борисович *Аполлонский* (1864—1928) — драматический артист. Играл в Александринском театре.

[13] Шутливое прозвище Феликса Кублицкого-Пиоттух.

11

<Петербург, 10 апреля 1901 г.>

Дорогой Андрей!

Прости, пожалуйста, что я не писал тебе писем десять лет. Брат твой держит теперь экзамены, а потому забыл о барнаульском идиоте — Андрее, и брате его — кучере, и управляющем лошадьми — Феликсе. Очень спасибо тебе за поздравительную карточку с зайцами, которые очень стыдные люди, потому что

ходят без брюк,— похожи на тебя. У нас очень хорошая погода, на Неве идет лед, но тепло, трава начинает расти в Ботаническом саду и около. Везде очень красиво, потому что яркое солнце, но я мало гуляю, потому что много учусь [1].

Вчера уехал твой папа [2], но мы не могли провожать его на вокзал, потому что у нас обедал доктор Каррик [3]. Напиши мне, пожалуйста, что вы делали на Пасхе, весело ли было тебе и что тебе подарили? Я получил очень приятные подарки — стихи Соловьева, его портрет [4], а также портрет Московского артиста Станиславского, который недавно приезжал и очень хорошо играл в Петербурге [5]. Много ли ты, как прежде, читаешь? Понравился ли тебе «Князь Серебряный»? Я теперь читаю почти только учебники, потому что я — человек очень умный и образованный и не похож на тебя — глупого и грязного господина.

У нас, наконец, есть собака, такса, по имени Крабб [6]; этому прекрасному животному немного больше двух месяцев — какой великолепный щенок! Но он часто делает стыдные вещи в комнате и иногда на диване — его еще рано бить за это, потому что он не все понимает. Он играет с туфлями, рвет их и носит по комнатам, играет с кошкой и грызет ее, но она также играет и редко сердится. Они катаются вдвоем по полу. Он очень громко и весело лает, вообще — очень веселый и со страшно красивым и толстым белым животом — гораздо красивее, чем у тебя, когда ты летом в Шахматове купаешься.

Целую тебя очень мало. Пожалуйста, целуй маму, папу и извозчика.

Твой С а ш у р а

1901. 10 апреля.

[1] Это были последние экзамены, которые Блок держал на юридическом факультете Петербургского университета. Осенью он перешел на филологический факультет. В апреле 1901 г. он послал в письме М. А. Бекетовой шуточное стихотворение, посвященное его экзаменационным заботам:

Права русского историю
Уподоблю я громам,
Что мешает мне на взморье
Уходить по вечерам.
Впереди ж (душа раскисла!)
Ждет меня еще гроза:
Статистические числа,
Злые Кауфмана глаза.
Мая до двадцать второго
Не «исхичу я из тьмы»
Имя третьекурсового
Почитателя Козьмы.

Приводя стихотворение в книге «Александр Блок и его мать» (с. 76), М. А. Бекетова поясняет, что упоминаемый в нем Кауфман — профессор статистики.

Очень любивший с детства дальние одинокие прогулки, особенно на взморье, Блок был вынужден ограничить их из-за экзаменов. Об этом он говорит и в письме к Андрею и в стихотворении.

[2] А. Ф. Кублицкий-Пиоттух был по делам в Петербурге.

[3] Егор Андреевич *Каррик* — домашний врач. М. А. Бекетова пишет о нем: «Лечил Сашу доктор Каррик и, по обыкновению, очень успешно. Скажу несколько слов об этом милом человеке, который два раза спас Сашу от жестокой опасности. Он происходил из шотландской семьи, основавшейся в Петербурге. Учился сначала в Peterschule, а потом в Эдинбургском университете. Был очень талантливый и решительный доктор, а также большой любитель детей — красивый, здоровый человек, огромного роста с громовым голосом и неистощимым запасом веселья. Он с большим юмором изображал разные сцены и рассказывал анекдоты, великолепно представлял, как хлопает пробка, или делал вид, что отчаянно стукнулся лбом об дверь, подражая только движению и звуку удара и т. д. Он очень любил Сашу и, забавляя его самыми простыми средствами, заставлял смеяться и радоваться. Саша называл его „крошка доктор“ и всегда рад был его приходу» (М. А. Б е к е т о в а. Александр Блок и его мать, с. 26).

[4] Это было время обостренного увлечения Блока поэзией Владимира Соловьева и становления его собственной лирической темы. «В связи с острыми мистическими и романтическими переживаниями, всем существом моим овладела поэзия Владимира Соловьева»,— отмечал Блок в автобиографии (VII, 13). Много позже поэт, обращаясь к минувшим годам, писал: «К весне началось хождение около островов и в поле за Старой Деревней, где произошло то, что я определял, как Видения (закаты). Все это было подкреплено стихами Вл. Соловьева, книгу которых подарила мне мама на Пасху этого года» (VII, 344). Книга сохранилась в библиотеке Блока.

[5] С 19 февраля по 23 марта 1901 г. в Петербурге проходили первые гастроли Московского Художественного театра. К. С. Станиславский играл роли Астрова («Дядя Ваня» Чехова), Штокмана («Доктор Штокман» Ибсена). Вершинина («Три сестры» Чехова).

Через двенадцать лет, 27 апреля 1913 г., на встрече Блока со Станиславским, во время которой поэт читал режиссеру «Розу и Крест» и собеседники обсуждали возможность ее постановки в МХТ, они, между прочим, говорили о первом приезде театра в Петербург. Блок в дневнике записал: «И мы вспоминали вместе ту первую весну (...), когда Художественный театр приехал впервые в Петербург, как я орал до хрипоты, жал руку Станиславскому, который среди кучи молодежи садился на извозчика и уговаривал разойтись, боясь полиции» (VII, 245).

[6] Крабб — такса, любимица Блока. С ее приобретением связано «зашифрованное» стихотворение «Пять изгибов сокровенных...». Идя покупать щенка, на Васильевском острове Блок увидел Любовь Дмитриевну Менделееву, вышедшую из саней на Андреевской улице. Она шла на курсы по 6-й линии, Среднему проспекту — до 10-й линии. Он, не замеченный, следовал позади. Отсюда родились «пять изгибов». «На следующее утро,— вспоминает Блок в дневнике 1918 г.,— я опять увидал Ее издали, когда пошел за Краббом (и привез в башлыке, будучи в исключительном состоянии, которого не знала мама)» (VII, 243).

12

(Петербург, 2 мая 1901 г.)

Дорогой Андрюша!

Поздравляю тебя с днем твоего рождения и желаю, чтобы ты был умнее после пятнадцати лет, чем до. Потому что, когда ты уезжал из Шахматова этой осенью, ты был очень идиотическим и глупым человеком.

Сегодня я выдержал еще один экзамен и получил три. Бедный кучер — брат твой — я думаю все еще держит экзамены [1]. О, несчастный! Пиши мне, пожалуйста, что ты делаешь руками, ногами и головой. Много ли ты ездишь верхом? Много ли ты бьешь Фероля? Много ли читаешь? Мы все по-прежнему. Бабушка очень скоро — 6 мая — поедет в Шахматово. И мы с мамой очень хотим ехать туда — пора отдохнуть. Мама очень устала здесь в Петербурге и чувствует себя нехорошо. Однако мой последний экзамен будет 22 мая, и мы не можем уехать раньше. Дядя Франц также скоро поедет в Красное Село, потом сейчас же приедет назад, как всегда, и будем жить вместе, пока не уедем в Шахматово. Может быть, летом я буду опять играть у Менделеевых в Бобловском театре [2]. Очень мне жалко, что вас не будет в Шахматове с нами, без вас очень грустно. Тетя Липа хотела приехать, но я думаю, что не приедет. Если же приедет, нам не будет приятно, как, ты сам знаешь, было в прошлом году [3]. Также хотела приехать Катя, но в Шахматове теперь трудно жить гостям, когда дедушка болен. Я думаю, что все-таки вам приятно, что у вас летом будут гости — веселые и молодые, может быть, будет с ними не так скучно. Вы с Феролем, кроме того, будете ездить верхом и гулять по новым местам. Это интересно. Пиши мне скорее обо всех вас, будь здоров и умен, как Писарев с Серебряковым. Целую тебя, маму, папу, Фероля, а также всех других кучеров и Джэка [4], которому кланяется господин Крабб с прекрасным толстым животом. Мне очень понравилась ваша фотографическая карточка с Джэком, но я не понял, кто Фероль и кто Джэк. Пожалуйста, напиши мне об этом. Обнимаю тебя, как Давыдов Варламова [5].

Твой племянник С а ш у р а

2 мая [1901 года. Петербург.]

[1] Феликс Кублицкий-Пиоттух держал экзамены в Томской гимназии.

[2] В «мистическое лето» 1901 г. Блок репетировал в Боблове несколько ролей, в том числе в «Горящих письмах» Гнедича. Спектакли, в которых участвовал Блок, состоялись в Боблове и на Зубовской мануфактурной фабрике близ имения Д. И. Менделеева.

[3] Блок имеет в виду отсутствие в Шахматове двоюродных братьев, в минувшее лето живших в усадьбе до августа.

[4] *Джэк* — охотничья собака братьев Кублицких.

[5] Блок вновь вспоминает в шутливой форме любимых им и его братьями петербургских актеров.

Владимир Николаевич *Давыдов* (1849—1925) в 1880 г. дебютировал на сцене Александринского театра. Был выдающимся исполнителем ролей в пьесах русского классического репертуара (Гоголя, Грибоедова, Островского, Л. Толстого, Чехова).

Константин Александрович *Варламов* (1848—1915) — популярный актер Александринского театра. За замечательное комедийное дарование его называли «царем русского смеха». Большой успех сопутствовал его игре в русских сатирических комедиях. Двадцать девять ролей исполнил он в пьесах Островского. К числу его лучших работ принадлежат образы, созданные в пьесах Сухово-Кобылина.

13

〈Шахматово,〉 28 июля 1901.

Дорогой мой Андрей, прости меня, пожалуйста, что я давно уже не писал тебе ни одного слова, потому что был очень ленив. Кроме того, в Шахматове была страшная жара и засуха последние дни, так что мы все ходили, как сонные мухи. Теперь, слава Богу, пошел непрерывный дождь и небо все серое, зато не так жарко! Ты спрашиваешь, почему я не приехал к вам? Для этого есть много объяснений. Главное то, что невозможно мне уезжать из Шахматова, когда так мало нас и жить неспокойно. Кроме того, я знаю, наверное, что мама ужасно горевала бы о моем отъезде и беспокоилась, как и все мамы, а это было бы, как ты знаешь, теперь особенно плохо [1]. Кажется, что вы уже отложили свое путешествие в горы? Надеюсь, что оно доставит Вам много удовольствия, а также будет полезно для твоей дурацкой головы. Почему ты назвал меня «красным раком»?

Теперь у нас в Шахматове живет Катя Хрусталева. Скоро она уедет. Гуляем мы мало и часто сидим в своих комнатах. Вообще, в Шахматове это лето приятно, но не весело, так как вас нет. В крокет никто не играет; верхом я езжу только, когда надо быть у Менделеевых. Большей частью ездил на Мальчике [2], но у него болит спина оттого, что седло мое — очень старое. Также ездил на Чандаре и на Гнедом. Последний мне совсем не понравился, Чандар лучше, но также плохо бегает и, кроме того, непослушен, потому что еще молод и не привык. Новый работник Дмитрий очень хорошо работает. В этом году очень рано сжали и смолотили рожь. Теперь уже поспел и овес, но дождь идет и жать нельзя пока. Овин, где молотили, упал почти весь от сильного ветра, а, главное, потому что совсем гнилой. Это было счастливо, потому что никого не убило, только немного ушиблись два молотильщика. Очень плохие также сарай с сеном и скотный двор. Все надо чинить, это очень дорого стоит! Однако хозяйство теперь гораздо лучше, чем было при Степане и Иване, потому что Дмитрий очень хорош пока. Он сам смотрит за всем и бранит здешних крестьян, когда они плохо работают. Зато лошадей мало, и они очень слабы. Большей частью работает один Бурый, потому что Коська — старик, Чандар и Гнедой — слабы, а Мальчик — болен. Дмитрий советует купить маленького жеребеночка, но на нем можно начинать работу только через 2—3 года. Ты пишешь, что ваши сибирские лошади хуже, но мне кажется, что шахматовские уж очень плохи и мало на что годны.

Желаю тебе быть умным и целовать маму, папу и Фероля с длинным носом, а также животных, например, себя.

Твой брат Сашура [3]

[1] Блок не раскрывает в письме к младшему брату истинной причины своего отказа от поездки в Сибирь. Лето 1901 г.— время напряженных духовных и поэтических исканий, в которые погружен молодой поэт. Рождается вторая глава «Стихов о Прекрасной Даме», «Влюбленность,— как пишет Блок,— стала меньше призвания более высокого, но объектом того и другого было одно и то же лицо» — Любовь Дмитриевна Менделеева. В незавершенных воспоминаниях «И были и небылицы о Блоке и о себе» она писала: «Блок мне начал говорить о том, что его приглашают ехать в Сибирь, к тетке, он не знает, ехать ли ему, и просит меня сказать, что делать. Как я скажу, так он и сделает.

Это было уже много, я могла уже думать о серьезном желании его дать мне понять об его отношении ко мне. Я отвечала, что сама очень люблю путешествия, люблю узнавать новые места, что ему хорошо поехать, но мне будет жаль, если он уедет, для себя я этого не хотела бы. Ну, значит он и не поедет» (ЦГАЛИ).

Блок писал об этом дне: «Любовь Дмитриевна проявляла иногда род внимания ко мне. Вероятно, это было потому, что я сильно светился. Она дала мне понять, что мне не надо ездить в Барнаул, куда меня звали погостить уезжавшие туда Кублицкие. Я был так преисполнен высоким, что перестал жалеть о прошедшем» (VII, 344).

[2] Л. Д. Блок вспоминала: «Он бывал у нас раза два в неделю. Я всегда угадывала день, когда он приедет; это теперь — верхом на белом коне и в белом студенческом кителе. После обеда в два часа я садилась с книгой на нижней тенистой террасе, всегда с цветком красной вербены в руках, тонкий запах которой особенно любила в то лето.

Вскоре звякала рысь подков по камням. Блок отдавал своего Мальчика около ворот и быстро взбегал на террасу. Так как мы встречались «случайно», я не обязана была никуда уходить, и мы подолгу, часами, разговаривали, пока кто-нибудь не придет. Блок был переполнен своим знакомством с «ними», как мы называли в этих разговорах всех новых, получивших название «символистов» («Были и небылицы о Блоке и о себе»).

[3] Психологическое состояние Блока во время, когда писались эти строки, определяло стихи, созданные накануне. 27 июля 1901 г. он пишет:

Не жаль мне дней ни радостных, ни знойных,
Ни лета зрелого, ни молодой весны.
Они прошли — светло и беспокойно,
И вновь придут — они землей даны.

Мне жаль, что день *великий* скоро минет,
Умрет едва рожденное дитя.
О, жаль мне, друг,— грядущий пыл остынет,
В прошедший мрак и в холод уходя!

Нет, хоть в конце тревожного скитанья
Найду пути, и не вздохну о дне!
Не омрачить заветного свиданья
Тому, кто *здесь* вздыхает обо мне (I, 115).

14

〈Петербург, 20 ноября 1901 г.〉

Дорогой Андрюша!

Поздравляю тебя очень и хочу, чтобы ты был умный и ученый человек, не как теперь. Спасибо тебе за твое письмо, после которого я действительно очень долго отдыхал, потому что оно очень глупое и свинское. Я не писал тебе много времени, потому что у меня страшно мало времени, я много хожу в Университет и учусь много [1]. Читаю же не очень много, потому что тоже нет времени, а стихи пишу, как прежде [2]. На праздниках думаю тоже учиться и очень мало ходить в гости — это гораздо приятнее и лучше. Теперь же иногда бываю у бабушки, у Менделеевых и у моего друга Гиппиуса [3], студента, но чаще нигде не бываю и сижу дома и в Университете. В театре тоже мы бываем не очень часто, играют все плохие пьесы, кроме того, петербургские театры не нравятся нам, после того, как мы видели московские. У мамы тоже мало времени, и ее часто нет дома, а дяди Франца — не бывает дома часто целый день. Все мы очень заняты, но это полезно только мне, а мама и дядя Франц очень устают от этого, и им нужно отдохнуть.— Я очень жалею тебя, потому что ты часто видишь черта и разных великоруссов и малоруссов. Я очень испугался твоих обещаний сечь меня в Шахматове, но все-таки думаю, что я сам буду сечь тебя, если ты будешь глупым сибиряком, похожим на Гурвича. Крабб был болен, у него была чума, как у всех собак, но я возил его к доктору, и теперь он веселый и шаловливый, как прежде, и очень много ест, как будто он не собака, а слон. Он кланяется тебе и твоему приятелю Джэку. Я же кланяюсь тебе и очень сержусь на тебя за твои странные и не умные вопросы, но прошу не дарить моему внуку конфеты, целую тебя, как Писарев — Серебрякова, или как Крабб Мура и очень жалею, что у тебя нет хвоста.

Искренне уважающий тебя А л е к с а н д р

Скоро я напишу письмо тому кучеру, которого ты называешь Феролем.

20 ноября 1901 года Петербург.

[1] Блок перешел на филологический факультет Петербургского университета.

[2] В 1901 г. Блок, как считал он сам, создал стихи, «имеющие первенствующее значение, как для первой книги, так и для всей трилогии». Осенью 1901 г. написана значительная часть стихов, составивших вторую главу «Стихов о Прекрасной Даме».

[3] Александр Васильевич *Гиппиус* — товарищ Блока. Некоторое время по его рекомендации был домашним учителем Андрея Кублицкого-Пиоттух, затем поддерживал добрые отношения с семьей Кублицких. См. об этом — наст. т. кн. 1, п. 41 и далее.

15

⟨Bad Nauheim. 13/26 июня 1903.⟩

Милый мой Андрей, Гиппиус просил тебя написать ему [1]. Вот его адрес: Забайкальская жел. дор., станция Маньджурия, Переселенческий пункт. А. В. Гиппиусу. Целую тебя крепко, будь здоров, целуй маму и Фероля.

Твой Сашура

[1] А. В. Гиппиус заведовал переселенческим пунктом на Дальнем Востоке, на ст. Маньчжурия.

16

Милый Андрей, поздравляем тебя с Рождеством. Будь здоров и счастлив [1].

Сашура и Л. Блок [2]

[1] Написано на почтовой открытке, посланной из Италии. Письмо было подарено Ф. А. Кублицким-Пиоттух писателю и библиофилу В. Г. Лидину.

[2] Подпись Л. Д. Блок сделана ее рукой.

17

Дорогой мой Андрей, поздравляю тебя с днем рождения. Будь здоров, счастлив и весел, крепко целую тебя и обнимаю.

Твой [Сашура [1].

[1] Написано на открытке с изображением храма Василия Блаженного. Открытка была подарена Ф. А. Кублицким-Пиоттух В. Г. Лидину. О поступлении этого и предыдущего (№ 14) автографа Блока в его собрание В. Г. Лидин рассказал в очерке «Письма Александра Блока». См. Вл. Лидин. Люди и встречи. Страницы полдня. М., 1980, с. 216.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПИСЬМА БЛОКА С. А. КУБЛИЦКОЙ-ПИОТТУХ

1

⟨Петербург⟩ 5 января 1896 г.

Дорогая тетя Софа!

Сегодня мама хотела отправиться к Вам, но с утра чувствует себя очень плохо. У нее жар 37,8, и, вероятно, начинается инфлуэнца. Она простудилась.

Напиши пожалуйста, как чувствует себя Фероль?

Целую тебя.

Твой Сашура

2

16 марта, суббота, 1896 год

Дорогая тетя Софа!

У мамы очень болят глаза, а потому я пишу тебе за нее. Мы, к сожалению, не можем приехать к вам обедать, потому что я не совсем здоров. Вчера, придя из гимназии, я почувствовал себя скверно и лег в постель сейчас же после обеда. У меня сразу было 39,3°. Сегодня был Метропольский [1] и сказал, что у меня простой приступ перемежающейся лихорадки. После ухода Метропольского я встал, и теперь у меня вероятно уже нет совсем жара.

Очень жалко, что вы сами не можете приехать к нам обедать; нельзя ли послать хоть одного Фероля к завтраку. Надеюсь, что ты его отпустишь!

Мы получили твое письмо сегодня, в конце обеда. Целую тебя, Фероля и Андрея.

Твой Сашура



БЛОК С МАТЕРЬЮ И ОТЧИМОМ
Фотография, 1896
Частное собрание, Москва

Пожалуйста, если отпустишь Фероля, скажи ему, чтобы он приезжал с портфелем редакции и со штемпелем [2].

Выходить мне не придется еще несколько дней, потому что я буду принимать хину

[1] *Метропольский* — домашний врач матери Блока и его отчима.

[2] Феликс Кублицкий-Пиоттух был одним из самых деятельных сотрудников семейного журнала «Вестник», редактировавшегося Блоком. Журнал велся по всем правилам. Печать «Редакция журнала „Вестник“» была подарена Блоку матерью, принимавшей активное участие в издании. Подробнее см. наст. т., кн. 1, с. 203.

3

⟨Шахматово⟩ 5 сентября 1900.

Дорогая тетя Софа!

Очень тебе благодарен за письмо, поздравления и пожелания, которые застали нас с мамой еще в Шахматове. Даже письмо, которое ты писала маме в Петербург [1],— Франциk переслал сюда. Теперь 5-ое сентября, а мы все еще сидим здесь, впрочем мама уже поговаривает, что пора было уезжать раньше, но мне здесь довольно приятно. Завтра 6-ого мы уезжаем, наконец, с надеждой видеть вас на будущий год в Шахматове [2] (об этом я не пишу ни Феролю, ни Андрею,— ты, вероятно, не очень льстишь их надеждами на этот счет, а между тем из твоих последних писем видно, что это может случиться, благодаря тоске по родным и России, отсутствию сколько-нибудь порядочной дачи и пр., и пр.). Не очень, по-видимому, выгодно для Томской губернии сравнение ее с Московской, а особенно уж ваши места не много говорят за себя! Остается только надеяться на то, что вы на будущее лето будете здесь, а пока привыкнете немного и к Барнаулу, чего особенно желаю тебе, потому что и Фероль и Андрей перенесут все гораздо легче и безболезненнее.

В Шахматове, по обыкновению, замечательно красивая, хотя сероватая осень [3]. Дождя не очень много, удается часто (особенно мне) быть на воздухе, а мама и тетя Маня, привязанные к диде [4], иногда уходили от него в период молотьбы ржи и овса, теперь же опять почти не выходят,— правда, холодно. Рожь убрана прекрасно, овес немногим хуже, но урожай ниже среднего (около сам 5). И мама стала принимать большое участие в хозяйстве после длинных известных тебе разговоров с бабушкой [5]. Теперь работы кончены, мамины нервы расстроены, конечно причин этому очень много, кроме хозяйственных. С Иваном, который остается на зиму и от времени до времени поражает своим идиотизмом, заключен в некотором роде, юридический акт, именно, составлен инвентарь и хранится у бабушки за его подписью; впрочем, в инвентаре не последнее место занимают сломанные тарантас и плуги, и другие вещи, или испорченные или стоющие сами по себе от 2 до 6 копеек; Иван, слава богу, пока принимает все это сериезно и считает «безгрешным делом». Не думаю, однако, чтобы вы отказались принимать участие и присутствовать при всем этом. При ближайшем рассмотрении оказывается сложным для неопытных людей и шахматовское хозяйство, требующее любви и труда.

Всякие подробности, вероятно, пишут тебе мама, бабушка и тетя Маня. Пока всех нас занимает это хозяйство, и я лично, несмотря на завтрашний отъезд и полную перемену обстановки, брожу кругом и мало представляю себе университет. Скоро все это переменится и «образ Шахматова утонет в грохоте Петербурга».

Желаю вам всем счастья, здоровья и привычки, надеюсь видеть вас через 9 месяцев. Целую тебя, дядю Адася и детей, целую твою руку, до свиданья.

Твой Сашура

[1] Письмо послано в Барнаул, куда временно переехала семья Кублицких-Пиоттух.

[2] Отъезд Кублицких-Пиоттух в Барнаул внес существенные перемены в жизнь шахматовских обитателей и поначалу отсутствие братьев было очень ощутимо для Блока. Можно предположить, что отсутствие веселых товарищей игр и забав во многом повлияло на нравственную атмосферу бекетовского дома. М. А. Бекетова писала: «В 1900 г. уехала в Сибирь сестра Софья Андреевна вместе с мужем и обоими сыновьями, товарищами Сашиных игр и любимцами Ал. Андр. Расставанье с ними было для нее большим горем. Она заливалась слезами в последний день их пребывания в Шахматове перед отъездом в Сибирь. Несмотря на то, что в год их отъезда Саше было уже почти 20 лет, а им 17 и 15, он еще охотно проводил с ними время, предаваясь самым невинным и веселым мальчишеским дурачествам. Без них исчез элемент этого здорового веселья. Теперь вполне ясное и жизнерадостное настроение исходило только от бабушки, так как запас ее жизненных сил был неиссякаем: они били ключом почти до последних дней ее жизни» («Александр Блок и его мать», с. 135).

[3] «Благоуханную глушь» Шахматова и совершенно сказочную природу этого места очень любили Блок и члены его семьи. «Русь настоящая»,— говорила об окрестностях усадьбы мать поэта. Особенно красиво было в окрестностях Шахматова весной и осенью. Александра Андреевна так передавала в одном из писем свое впечатление: «Очень у нас тут хорошо. Дни серые, свежие, тихие, но так все красиво, что об отъезде и думать не хочется ‹...› А сегодня светлый день и потянуло уже к морозу. Мы с Францем ходили в Тараканово. Там широкие дороги, вокруг золотые леса. Очень чувствуется Россия...» (письмо находилось в семейном архиве Кублицких-Пиоттух, затем в собрании Н. П. Ильина. Ныне — в Мемориальном Музее-квартире А. А. Блока в Ленинграде).

[4] Андрей Николаевич Бекетов был разбит параличом.

[5] Хозяйством в Шахматове занималась обычно Е. Г. Бекетова. Ее здоровье ухудшилось, забота о больном А. Н. Бекетове отнимала много сил и времени, и она просила дочерей уделять бо́льшее внимание хозяйственным делам.

4

‹Петербург, 23 ноября 1900 г.›

Дорогая тетя Софа!

Поздравляю тебя с днем твоего рождения, желаю тебе всего самого лучшего и благодарю тебя за очень ласковое письмо. У нас не очень то много новостей, как и у вас, особенно последнюю неделю, когда мама нездорова и никуда не выходит еще (у нее кончается инфлуэнца), да и у нас не бывает особенно много народу, что, впрочем, имеет свои большие достоинства — без недостатков, с моей точки зрения. На днях приедет дядя Лука [1], и тогда начнется порядочная кутерьма, что, впрочем, я думаю, тебе известно. Бабушкино рожденье прошло в этом году ужасно бледно, почти никто ее не поздравлял в этот день, были, конечно, Ольга Юрьевна с детьми (3-мя) [2], Евг. Осипович [3], m-lle Эмилия Железнова [4], и даже Гущины [5] спутали

день и не пришли. Я обедал там, но после обеда удрал, так как мне нужно было попасть в Зал Павловой для того чтобы аплодировать новой знакомой барышне, соучастнице наших литературных вечеров, по фамилии Лучинской [6]. Хотя и не очень было хорошо удирать от бабушки и тети Мани, но они поощряли, и я с опозданием прибыл в зал Павловой,— «ибо наступила черта моя,— а я прирожденный скот!» как говорит Мармеладов [7].

Теперь на очереди дидино рожденье, и мама может быть будет там, сильно закутанная, впрочем, еще не наверное, она сильно кашляет и насморк у нее, а, главное, после инфлуэнцы отчаянное состояние нервов и настроения, что почти всегда бывает при этом. Приходит к нам Катя Хрусталева [8] и происходит «мелодекламация» (с моим-то слухом!), впрочем, говорят недурно, она как-то подыгрывает под меня, а я без всякого с ней соображения, говорю стихи. Во всяком случае иногда это оживляет и отвлекает, маме нравится, Катя хохочет, болтает, иногда и вздор, но живой и полезный, что и требуется, потому что мы с мамой частенько «находимся по отношению к земному в меланхолическом состоянии» (выражение Фероля, очень меткое). Вероятно и вы в Барнауле разделяете наши настроения, притом на довольно реальной почве, вполне себе представляю это. Magie [9] также приходит, очень много говорит по-французски, убедительно, но не всегда с русской точки зрения понятно. Она грустит о вас и вообще не очень веселится. Веселиться-то вообще трудновато, зима встала, небо большей частью серое, а Петербург все, как всегда, волнуется, шумит, впрочем от нас довольно далеко, и «раскрывает объятия театров и магазинов», а Платон и Христос говорят о бессмертии души, в университете внушают юридические и другие науки. Не очень то я часто бываю в Университете, а если и бываю, то слушаю лекции Введенского [10] по истории философии вообще (а не права!) — и только. Больше занимаюсь дома по-прежнему, нахожусь в общении с Гиппиусом [11], который умен и часто интересен, вообще вполне противоположен Коке Гуну [12] и пр., «их же имена ты веси, господи».

Таковы эскизы нашей жизни в самых общих чертах, извини, пожалуйста, за крайне непоздравительное письмо мое, но «такова уж черта моя!» [13] Очень хочу видеть вас всех, целуй от меня дядю Адася, Фероля и Андрея. Целую тебя, до свиданья.

Твой Сашура

23/XI.1900

[1] Люциан Феликсович *Кублицкий-Пиоттух*, брат отчима Блока и А. Ф. Кублицкого-Пиоттух, офицер л.-гв. Гренадерского полка, затем начальник Нерчинского округа. Он часто бывал в доме Бекетовых и своих братьев. Блок (под псевдонимом Борский) однажды в его фраке участвовал в спектакле в Зале Павловой. Веселый и милый Люциан Феликсович очень нравился Блоку.

[2] Ольга Юрьевна *Каминская* — врач, лечившая Елизавету Григорьевну Бекетову.

[3] Евгений Осипович *Романовский* (1853—1918) — минералог, друг семьи Бекетовых. Исследователь архива прадеда Блока, естествоиспытателя и путешественника Г. С. Карелина.

[4] Эмилия Николаевна *Железнова* — дочь ботаника Н. И. Железнова.

[5] Борис Петрович *Гущин* (1874—1936) — библиограф, библиотекарь Института инженеров путей сообщения в Петербурге, заведующий русским отделением Библиотеки АН СССР.

Олимпиада Николаевна *Гущина* — учительница, подруга М. А. Бекетовой, жена Б. П. Гущина.

[6] Евгения Юрьевна *Лучинская* — знакомая Блока по литературным вечерам.

[7] Неточная цитата из романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». См. Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч., в 30 т., т. VI. Л., 1973, с. 15.

[8] Екатерина Евгеньевна *Хрусталева* — молодая пианистка.

[9] См. письма Блока к А. А. Кублицкому-Пиоттух. П. 4, прим. 4.

[10] Александр Иванович *Введенский* (1856—1925) — философ, профессор Петербургского университета.

[11] Александр Васильевич *Гиппиус* — товарищ Блока по университету. Переписку Блока с ним см. в кн. 1 наст. т.

[12] Николай Васильевич *Гун* (1879—1902) — гимназический товарищ Блока.

[13] Слова Мармеладова, героя романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». См. прим. 7 к наст. письму.

5

⟨Шахматово, 5 июля 1901 г.⟩

Дорогая тетя Софа!

Благодарю тебя очень за то, что ты все обо мне заботишься и беспокоишься — все думаешь о моих развлечениях. Мне бы хотелось вас увидеть и путешествовать с вами в горах [1], но дело в том, что мы решили, что моя теперешняя поездка в Барнаул была бы несвоевременна по следующим причинам: прежде всего, в Шахматове нас очень уж мало и отсутствие мое было бы очень заметно, особенно, если принять во внимание неприятное (хотя, по-моему, не имеющее особого значения практического) письмо [2], полученное бабушкой. Я уверен, что я составляю некоторую нравственную гарантию безопасности, хотя и не могу, конечно, спасти, например, от поджога; а впрочем, от него и никто не может спасти и мы не уберегли бы, будь десять мужчин в каждой комнате. Такова главнейшая и благоразумнейшая, по-моему, причина. Другая состоит в том, что при назначенном вами огромном маршруте и огромных расстояниях отсюда до вас я рисковал бы вернуться в конце августа и чуть не прямо в Петербург, а это в высшей степени нежелательно ввиду также и вышеуказанного. Что касается окружающей нравственной атмосферы [3], то я не угнетен ею, ибо у меня много ресурсов — книг, мыслей, а также спектаклей и репетиций. Только что миновал один спектакль (о котором, я думаю, тебе писала мама), оставивший мне прекрасные впечатления [4]. И вообще, я доволен окружающим настоящим, да, в сущности, это и естественно, потому что, кроме диди, около которого я мало бываю, все располагает к пользованию жизнью. Другое дело, мама и тетя Маня,— они угнетены, и то, впрочем, находят случаи восхищаться и радоваться, «будучи по природе не лишены чувства справедливости», как сказал про себя Вл. Соловьев. Очень еще раз, благодарю тебя, крайне жалко, что мы теперь не увидимся, но причины на это, как видишь, довольно серьезны. Целую вас всех крепко, желаю всем быть довольными путешествием, а тебе не очень устать.

Твой Сашура

Шахматово, 5 июля 1901 г.

[1] Кублицкие приглашали Блока совершить с ними путешествие в Алтайских горах по маршруту: Барнаул — Бийск — Чеман — Онгудой и обратно (А. А. Кублицкий-Пиоттух. Хронологические записи нашей жизни).

[2] Анонимное письмо с угрозами было послано в Шахматово кем-то из крестьян соседних деревень.

[3] Блок, погруженный в романтическую атмосферу «мистического лета», переживающий роман с Л. Д. Менделеевой и создающий стихи, вошедшие в первую главу «Стихов о Прекрасной Даме», не мог оставить Шахматово, чего не хотела и Любовь Дмитриевна. Письмо написано на следующий день после «самого значительного дня» лета 1901 г., когда в разговоре на липовой аллее в Боблове Любовь Дмитриевна дала понять Блоку, что ему не надо ехать в Барнаул.

[4] 1 июля 1901 г. Блок участвовал в любительском спектакле в Боблове.

6

⟨Шахматово, 5 сентября 1901 г.⟩

Дорогая тетя Софа, благодарю тебя очень за поздравления и пожелания. В свою очередь поздравляю тебя и желаю всего, что только может быть тебе приятно. Как видишь, я до некоторой степени воспользовался твоим разрешением и «подгоняю» к 17-ому [1]. Теперь так мало материалов для писания, что ответы Феролю и Андрею я даже откладываю до Петербурга, куда послезавтра мы едем [2]. Там сразу ожидают нас всевозможные новости и, по обыкновению, впечатления. Здесь же пока мы отправили тяжелый багаж, а сегодня слабо приготовились к завтрашним именинам бабушки, для чего мы с мамой принесли большой букет из дуба, папоротников и красных листьев вересклета. Осень чудная, совсем хрустальная, свежая; последние дни все очень пожелтело и покраснело, озими только чисто зеленые и всюду большие. Ночи ужасно темны и звездны, трудно добираться до флигеля [3]. Плотники в невероятном количестве (сосчитать нет возможности — не то 6, не то 8!) строят погреб, курятник, кроют крышу дранкой, без нас начнут вывешивать скотный. А Дмитрий копается в саду и наводит небывалую цивилизацию на яблони, смородину и кружовник — все это очень оживленно, а мама даже находит, что приготовляет к городу. «Инвентарь» значительно по-

полнился заступами и пр., вообще — фуроры и этуали! Настолько красиво и все идет быстро, что жалко уезжать (мне, но не маме, которой хочется в город). Впрочем, я и от Петербурга не прочь, только лекции должно быть начнутся поздно (числа 15?) Зима представляется мне в высшей степени привлекательной, мы с мамой уже мечтали о том, как будем ходить в Эрмитаж и др. музеи. Дела всякого будет очень достаточно вообще. Лето прошло прекрасно для меня, я им ужасно доволен (в общем); да и погода была какая-то исключительно лучезарная, хотя иногда трудно было терпеть жару. Последнее время я далеко ездил верхом по окрестностям, даже в некоторые места мало знакомые, куда, надеюсь поехать на будущий год уже в приятной и теплой кампании с братьями [4]. Целую тебя крепко и желаю всего самого приятного.

Любящий тебя Сашура

5 сентября 1901. Шахматово [5].

[1] 17 сентября — день именин Софьи Андреевны Кублицкой-Пиоттух.

[2] Мать Блока писала 6 сентября 1901 г. Софье Андреевне в Барнаул: «Мы с Сашурой завтра отправляемся в Петербург... В мечтах и разговорах о Вашем приезде будущего года Сашура выразился на днях, что приедут два Маминых-Сибиряка» (Письмо находилось в семейном архиве Кублицких, затем в собрании Н. П. Ильина. Ныне — в Мемориальном музее-квартире А. А. Блока в Ленинграде).

[3] Флигель, в котором жил Блок, был расположен в глубине усадьбы. Его изображение сохранилось только на рисунке А. Кублицкого.

[4] Об этом же писала Андрею Кублицкому-Пиоттух в Барнаул бабушка Елизавета Григорьевна Бекетова: «А знаешь ли, несмотря на близость железной дороги и больших городов, у нас в Шахматове природа совсем дикая, и многие места в окрестностях прелестны и еще неизвестны тебе. Сашура нынче много рыскал верхом и делал открытия: он собирается будущим летом объездить эти места вместе с вами» (Цит. по копии. Собрание В. П. Енишерлова).

[5] В этот день Блок написал стихотворение:

Глушь родного леса,
Желтые листы.
Яркая завеса
Поздней красоты.

Замерли далече
Поздние слова,
Отзвучали речи —
Память все жива.

Глухо долетают
Звуки топора,
Листья облетают,
И пора, пора... (I, 477)

7

〈Петербург, 27 ноября 1901 г.〉

Милая и дорогая тетя Софа, поздравляю тебя, очень люблю и желаю всего самого приятного и лучшего и в твоей семье и всюду. Благодарю тебя за необычайно любящие и ласковые письма, прости меня за то, что я так долго все-таки не писал и не отвечал. У нас не так благополучно, потому что у Франциска оказалась грыжа, к счастью в легкой и безопасной форме, о чем ты, вероятно, знаешь уже из писем мамы и тети Мани. Без операции, однако, нельзя будет обойтись, а это — неприятная перспектива. Мама была все это темное и сумеречное время в ужасно подавленном состоянии [1] — не помогал и приют [2]; я надеюсь, что после солнцеповорота кое-что в ее настроении изменится — все мы очень зависим от солнца, особенно же в Петербурге, где оно не балует. Я только в этом году в значительной степени избавился от гнета погоды, оттого ли, что поздоровел, или больше дела, или (что, по-моему всего скорее) начинаю чувствовать под ногами настоящую мистическую почву, только изредка ускользающую — «неподвижный ключ жизни», неподвижный всегда и при *всех* обстоятельствах [3]. У нас в Университете происходят очень важные и многим интересные события, именно — коренная реформа; дошло дело до того, что вчера мы («1-ый курс филологов») «выбирали» старост в «разрешенном» собрании под председательством Алекс. Ив. Введенского [4]. Определились партии — радикальная, оппозиционная; а я со многими другими принадлежу к партии «охранителей», деятельность которой, надеюсь, будет заключаться в охранении даже не существующих порядков, а просто учебных занятий, которые, как мне все больше кажется, составляют главную задачу Университета (по крайн. м.— русского). Такая партия (хотя не организованная) тем более необходима, что носятся тревожные слухи о том,

что Ванновский [5] может изменить свое поведение, видя в студентах постоянное и часто (по-моему) возмутительное упорство и обструкцию всем его начинаниям. Университет ужасно шумит и кипятится, а в наших аудиториях и музее древностей [6] чаще тишина, да и приват-доценты больше производят впечатление «грезящих небом Греции своей» [7]. Многие из филологов — люди сравнительно отвлеченные, что естественно; а это, можно надеяться, поддержит хоть у нас сильно вообще падающий дух науки. Пожалуйста, прошу тебя поцеловать от меня дядю Адася, Феролю и Андрея. Не рано ли Феролю умственно загромождаться Виндельбандтами [8] и прочее?

Твой Сашура

27/XI 1901. СПб.

[1] Осенью 1901 г. нервы Александры Андреевны были особенно расшатаны болезнью родителей, отъездом в Барнаул Кублицких, волнениями о сыне. Как и многие люди с неуравновешенным характером, часто страдающие угнетенным состоянием, она плохо переносила сумеречное время года. «Особенно тяжело доставались ей темные месяцы,— писала Мария Андреевна.— Хуже всего чувствовала она себя в ноябре и так же, как сын ее, очень рано начинала ощущать приближение весны, которая всегда ее ободряла. Это было ее любимое время года... Этот этап ее жизни был отмечен по преимуществу мистическим, религиозным характером. Усиленный интерес к религии, одно время уже почти заглохший, проявился теперь в новой форме. Ее не удовлетворяло обычное отношение к религии, она искала нового направления и новых путей. Ее внимание было обращено исключительно на духовную сторону. Не уклоняясь от христианства, она воспринимала его только как религию духа» («А. Блок и его мать», с. 135—136).

[2] Александра Андреевна Кублицкая-Пиоттух была попечительницей одного из приютов Общества защиты детей от жестокого обращения.

[3] Позже, 22 февраля 1903 г., Блок послал Л. Д. Менделеевой письмо, в котором объяснил свое понимание «мистицизма» и отношение его с жизнью. «Свой „мистицизм“ я уже пережил, и он *во мне* неразделен с жизнью ‹...› Самый этот „*мистицизм*“ (под которым ты понимаешь что-то неземное, засферное, „*теоретическое*“) есть *самое лучшее*, что во мне когда-нибудь было; он дал мне *пережить* и почувствовать (не пере*думать*, а пере*чувствовать*) все события, какие были в жизни, особенно 1) ярко, 2) красиво, 3) глубоко, 4) таинственно, 5) религиозно ‹...› „Мистицизм“ дал мне всю силу к *жизни*, какая есть ‹...› Мистицизм не есть „теория“; это — непрестанное ощущение и констатирование в самом себе и во всем окружающем таинственных, живых, неразрушимых связей друг с другом и через это — с Неведомым». (ЛН, т. 89, с. 107).

[4] См. п. 4, прим. 10.

[5] Петр Семенович *Ванновский* (1822—1904) — министр народного просвещения.

[6] Аудитории филологического факультета, на котором с осени 1901 г. учился Блок.

[7] Эти слова восходят к последним строкам стихотворения Тютчева «Н. Ф. Щербине»:

«Свободой бредил золотою И небом Греции своей».

[8] Вильгельм *Виндельбандт* (1848—1915) — немецкий философ, автор трудов по истории философии, переведенных на русский язык. Ф. А. Кублицкому, начавшему изучать философию по Виндельбандту, было 17 лет.

8

‹Петербург, 14 апреля 1902 г.›

Христос воскресе, дорогая тетя Софа, крепко тебя целую, люблю и скоро увижу.

Твой Сашура.

Пасха 1902.

БЛОК — Ф. А. КУБЛИЦКОМУ-ПИОТТУХ

1 (13) июня 1903 [1].

Поздравляю тебя, брат мой, внезапно утраченный мною в Берлине! Ходил и искал тебя тщетно — наверх не пустили. Некоторые немцы уже начинают изредка удовлетворять моим желаниям, когда я объясняюсь с ними на туземном наречии [2].

Будь весел и здоров.

Твой Сашура

[1] Написано на открытке с видом Бад-Наугейма.

1 июня — день рождения Ф. А. Кублицкого-Пиоттух. 26 мая 1903 г. Блок с матерью и двоюродным братом выехал из Петербурга. Путь матери и сына лежал в курортный горо-

док Бад-Наугейм. У Александры Андреевны обострилась сердечная болезнь, и она должна была пройти курс лечения.

[2] В связи с этой открыткой Ф. А. Кублицкий-Пиоттух писал в воспоминаниях: «Одной из отличительных черт Саши Блока была искренняя и глубокая любовь ко всему русскому и недружественное, иногда даже неприязненное чувство к «заграннце». Русская литература и поэзия, русское искусство, русская природа и деревня были его идеалами и любимцами. При этом, конечно, совершенно отсутствовали какие-либо намеки на «квасной патриотизм», который жестоко осуждался и презирался в бекетовской семье. Неприязненное отношение к иностранному поддерживалось в Саше его матерью, но не вполне соответствовало взглядам деда, А. Н. Бекетова, бывшего европейцем и горячим поклонником французской культуры.

Ранние поездки Саши в немецкий курорт Бад-Наугейм предпринимались с большой неохотой, исключительно для сопровождения больной матери. В связи с этими поездками высказывалось немало острых и язвительных суждений о немецкой аккуратности, скупости, безвкусице, филистерстве и т. д.

Несколько ироническое отношение его к поездке в Германию видно из сохранившейся у меня его открытки. Я доехал из Петербурга вместе с Александрой Андреевной и Сашей до Берлина, а там наши маршруты разошлись, и мы должны были расстаться, причем это разделение было проделано немцами так стремительно, что мы не успели проститься» («Саша Блок»).

У Ф. А. Кублицкого-Пиоттух хранились еще две поздравительные открытки Блока. 1. «Милый Фероль! Поздравляем тебя с Рождеством! Желаем здоровья и счастья. *Сашура* и *Л. Блок*». Подписана Блоком и Л. Д. Блок. 2. «Милый Фероль! Христос воскрес. Поздравляем тебя мы с Любой. Целую тебя. Твой *Сашура*». Обе открытки в составе коллекции Н. П. Ильина поступили в Мемориальный музей-квартиру А. А. Блока в Ленинграде.

ПЕРЕПИСКА Г. И. ЧУЛКОВА С БЛОКОМ

Вступительная статья, публикация и комментарии
А. В. Лаврова

Во второй половине 1900-х годов Георгий Иванович Чулков (1879—1939) — один из ближайших литературных спутников Блока. Взаимоотношения Блока с Чулковым никогда не достигали такой глубины и силы духовного общения, как, например, отношения с Андреем Белым, и такой доверительности и прочности дружеских связей, как отношения с Евгением Ивановым,— роль Чулкова в жизни Блока почти всегда оставалась второстепенной, даже в месяцы их наибольшей близости. Чулков не оказывал на Блока решающего влияния, что легко объясняется достаточно скромными масштабами его литературного дарования и столь же скромным, не выходящим за пределы обычного, потенциалом личности. Всецело принадлежа по идейным устремлениям и творческим принципам к той группе «младших» символистов, ярчайшим выразителем которой стал Блок, Чулков занимал в ней своеобразное и лишь ему одному логикой судьбы по праву предназначавшееся место — деятельного организатора литературной жизни, чутко улавливавшего дух и веления времени, реципиента идей и пропагандиста художественных завоеваний («самый неистовый энтузиаст, каких я знал»,— вспоминает о Чулкове М. В. Добужинский [1]), литератора par excellence. Чулков являл собою весьма типичный и характерный пример второстепенного писателя, творчество которого значимо не столько своей неповторимой индивидуальностью, сколько общими тенденциями, умением отразить те или иные отличительные черты литературно-исторической эпохи.

В свое время эта особенность литературного профиля Чулкова была проницательно отмечена анонимным рецензентом его рассказов: «Георгий Чулков — весьма своеобразный писатель. Не обладая значительным даром ни как поэт, ни как беллетрист, ни даже как критик или теоретик современного культурного сознания, он все же занимает достаточно видное положение в современной литературе. И в известном праве на это положение отказать ему нельзя. Это право сообщают ему, прежде всего, его несомненная культурность, значительная начитанность, напряженная чуткость ко всем проблемам современной мысли и сознания в области искусства, философии, религии. И эти качества неизменно отражаются во всех работах Чулкова, делая их, несмотря на то что они не блещут непосредственным, стихийным талантом,— всегда интересными и стоящими внимания» [2]. В этих свойствах личности Чулкова коренится одна из основных причин и «притяжений» Блока к нему, и «отталкиваний» от него: типовое, усредненное, «внешнее» в Чулкове то оборачивалось для Блока своей негативной стороной, то становилось порой значимым и притягательным. В биографии Блока общение с Чулковым вписывается в контекст его отношений с тем специфическим кругом «петербургских модернистов», который во всей своей определенности оформился в период революции 1905—1907 гг.

Знакомство Блока и Чулкова состоялось весной 1904 г. на квартире Мережковских, как сообщает сам Чулков в мемуарном очерке «Александр Блок и его время» [3]. Чулков, тогда только что появившийся в Петербурге и сразу же приглашенный Мережковскими на должность секретаря журнала «Новый путь», воспринимался в кругу символистов как весьма необычная фигура: автор единственной книги стихов и прозы «Кремнистый путь» (1904), выдержанной в вызывающе модернистской тональности, исполненной пафоса индивидуализма и эстетизма,— и «политический преступник», бывший студент Московского университета, поплатившийся в 1902 г. за активное участие в нелегальной деятельности и связь с социал-демократической партией тюремным заключением и изгнанием в Сибирь, в глухие места Якутии — улус Амга (где до него отбывал ссылку В. Г. Короленко), а затем освобожденный по амнистии и живший под гласным надзором полиции в Нижнем Новгороде. Столь наглядное сочетание новейших эстетических убеждений с ярко выраженным политическим радикализмом в пору, предшествовавшую революции 1905 г., еще не было характерным для символист-

ской литературной среды. Сходная судьба была лишь у вошедшего тогда же в круг деятелей «нового искусства» А. М. Ремизова, и Чулков отмечал, что они вдвоем, «как ссыльные, составляли особую литературную пару» [4]. Художники и писатели, близкие к «Миру искусства», как свидетельствует сам Чулков, смотрели в то время на него, «как на диковинку»: «Их удивляло то, что я, революционер, изведавший и тюрьмы, и ссылку, не только не равнодушен к искусству, но и проповедую какую-то эстетику, непохожую вовсе на традиционную интеллигентскую канитель. В головы петербургских эстетов никак не укладывалось, что можно совмещать в себе понимание искусства и вражду к тогдашнему политическому и социальному порядку» [5].

Безусловно, эта особенность личности Чулкова была и для Блока на первом плане: при свойственном ему в юношеские годы общественном индифферентизме знакомство с бывшим политическим ссыльным не могло не сыграть свою роль в преодолении духовной «келейности», в пробуждении интереса к живой современности и жгучим проблемам предреволюционной действительности. Жена Чулкова Надежда Григорьевна в своих воспоминаниях о Блоке отмечает: «И он и его жена смотрели на нас с любопытством, как на революционеров» [6]. Разумеется, немало преувеличения содержится в позднейших словах Чулкова: «Мне кажется, что именно на мою долю выпало „научить“ Блока „слушать музыку революции“» [7],— но есть в них и определенное зерно истины. В «музыке революции», в предчувствиях надвигающегося мятежа Чулков различал соловьевские, «софианские» ноты, глубоко созвучные Блоку; он убежденно выстраивал соответствия между неопределенно-мистическими чаяниями и социальными идеалами, на свой лад стремился «революционизировать» соловьевскую философию и эстетику. Характерно, что именно под знаком Владимира Соловьева проходила предыстория знакомства и началось сближение Блока с Чулковым: последний сообщает, что впервые имя молодого петербургского поэта он услышал в 1903 г. от А. Н. Шмидт, фанатичной поклонницы Соловьева и автора мистического трактата «Третий Завет» [8], которая, прочитав книгу Чулкова «Кремнистый путь», заговорила с ним о Блоке как о духовном преемнике Соловьева; первое письмо Блока к Чулкову, отправленное из Шахматова 15 июня 1904 г., извещало о встрече с той же Шмидт и содержало приглашение в Шахматово [9]; наконец, первый принципиальный спор между Блоком и Чулковым возник по поводу чулковской статьи «Поэзия Владимира Соловьева» (см. п. 3). В сходном ключе Чулков формулировал и свое общее представление о творчестве Блока этого времени. В рецензии на альманахи «Северные цветы» он указывал: «Поэзия Блока — прямая наследница поэзии Владимира Соловьева. Только влюбленность Блока более интимна и сосредоточенна и, пожалуй, более чувственна» [10]. О том, что с самого начала темы их общения были так или иначе связаны с соловьевской проблематикой, свидетельствует и сам Чулков: «При первых встречах моих с Блоком мы, кажется, несколько дичились друг друга, хотя успели перекинуться «символическими» словами: «софианство» сближало нас, но оно же и ставило между нами преграду. Я, причастный этому внутреннему опыту, страшился его, однако» [11]. Хотя Блок знал и принимал Соловьева весьма избирательно, высоко ценил прежде всего его поэзию и лишь отдельные философские и критические работы, он претендовал на целостное мифопоэтическое постижение «Несказанного» в духовной личности Соловьева [12]; Чулков же подходил к Соловьеву слишком аналитически и доктринально, и это вело, с точки зрения Блока, к определенному искажению облика поэта и философа.

«Преграды», о которых говорит Чулков применительно к идейным мотивам своего общения с Блоком, объяснялись, кроме того, и специфическими различиями, казалось бы, чисто «внешнего» характера. Блок в 1904 г. был еще малоизвестным поэтом с ограниченным кругом литературных связей и знакомств, принципиально замкнутым и оберегавшим свою уединенность, между тем как Чулков, такой же начинающий писатель, став секретарем «Нового пути», по существу взял в свои руки все текущие дела этого журнала и, развивая разнообразные инициативы, быстро оказался в центре литературной жизни. «Любовь Дмитриевна, жена поэта,— вспоминает Чулков,— говорила мне впоследствии, что она и Александр Александрович смотрели на меня тогда, как на „литератора“,— термин не слишком лестный в их устах» [13]. Но при всем том Чулков споспешествовал развитию собственно «литераторских» наклонностей у самого Блока. Последний в этом смысле даже ощущал известную зависимость от него, как от ответственного журнального работника и «работодателя», в особенности на фоне наступившего охлаждения в отношениях с Мережковскими и отсутствия прочных деловых связей с брюсовскими «Весами». Характерна фраза Блока в письме к матери от

29 августа 1905 г.: «Чулков по-прежнему меня очень признает»[14]. «Признание» Чулкова заключалось прежде всего в том, что он активно способствовал печатанию произведений Блока в «Новом пути» и в еще большей мере — в «Вопросах жизни», журнале, пришедшем на смену «Новому пути» в 1905 г. При непосредственном содействии Чулкова, руководившего литературно-критическим отделом «Вопросов жизни», в этом журнале (выходившем всего один год) из номера в номер появлялись произведения Блока, и не только стихотворения, но и статья «Творчество Вячеслава Иванова» (№ 4-5) и многочисленные рецензии, принадлежавшие к числу первых опытов Блока-критика. Выбор книг для рецензирования и стиль критических оценок Блок нередко согласовывал с Чулковым (см. п. 2).

На протяжении 1905 г. отношения Блока с Чулковым все более укрепляются. Показательно письмо Блока к матери от 12 сентября 1905 г., в котором описывается вечер 10 сентября и визит Чулкова с женой: «Говорили много интересного, просидели до 2-ого часа ночи. Я читал им много стихов, им страшно понравились сказки. Скоро, вероятно, мы пойдем к ним вечером»[15]. Регулярные дружественные встречи подобного рода, заполненные обсуждением литературных вопросов, проходили под знаком развивающейся революции, воспринимавшейся опять же сквозь призму «музыкальных», эзотерических соответствий. В статье «Памяти Александра Блока» Чулков подчеркивает, что именно 1905 год явился основной причиной этого сближения: «...все, для кого революция была не только внешний, социальный и политический факт, но и нечто большее, некоторое внутреннее событие, искали встреч друг с другом — даже одинокие люди, как Александр Блок»[16]. «Мы нашли общий язык, не для всех внятный»,— пишет Чулков в воспоминаниях о Блоке[17], указывая, что именно тревожные и волнующие события дня являлись тайным камертоном этих общений, хотя и редко становились непосредственным предметом обсуждения: «Я помню наши скитальчества с Блоком в белые петербургские ночи и долгие беседы где-нибудь на скамейке „Островов“. В этих беседах преобладали не „экономика“, „статистика“, не то, что называется „реальной политикой“, а совсем другие понятия и категории, выходящие за пределы так называемой „действительности“. Чудились иные голоса, пела сама стихия, иные лица казались масками, а за маревом внешней жизни мерещилось иное, таинственное лицо»[18]. В этих совместных наблюдениях и переживаниях, вписывавшихся в целостную лирико-символическую систему «мистицизма в повседневности», участие Чулкова сказывалось в том, что в сознание Блока со все более крепнущей силой проникали трагические социальные мотивы, образные картины, почерпнутые из окружающей действительности. Не случайно Блок посвятил именно Чулкову «Повесть» — одно из первых своих урбанистических стихотворений с ярко выраженной социальной окраской, напечатанное в № 4-5 «Вопросов жизни» (II, 163—164).

Чулков, чрезвычайно высоко ценивший поэтическое дарование Блока[19], стремился сделать его ближайшим участником своих литературных планов и инициатив. Все эти начинания были направлены к тому, чтобы оплодотворить «новое искусство» духом революции, освободительного мятежа. Осенью 1905 г. Чулков задумал издать сборник «Огни», в котором должен был участвовать и Блок[20]. В недатированном письме к Брюсову, относящемся к этому времени, он намечал программу «Огней» — «представить наших „декадентов“ в их отношении к дням мятежным. Сборник должен носить агитационный характер. Наши поэты-анархисты на этот раз должны беседовать с улицей и свои разрушительные и освободительные порывания применить к царизму и к буржуазному обществу»[21]. В другом письме к Брюсову, от 4 ноября 1905 г., Чулков упоминал уже не сборник, а журнал «Огни» — «мистический и бунтовской»[22]. 21-м декабря 1905 г. датировано свидетельство, выданное Чулкову на выпуск в свет журнала «Факелы»[23], однако периодического издания организовать не удалось, пришлось ограничиться альманахами того же названия, которым Чулков стремился придать пафос расплывчатого радикализма и максимализма. С «Факелами» были связаны и проекты нового модернистского театра, в разработке которых Чулков также принимал деятельное участие. Поддерживая театральные искания В. Э. Мейерхольда (своего товарища со студенческих лет), Чулков пропагандировал идеи, которые должен был нести затеянный в Москве в 1905 г. «Театр-студия»; задача его, по Чулкову, заключалась в том, чтобы «создать *новый* театр мистической драмы», содействовать рождению синтетического действа, в котором «вспыхнут новыми огнями мечты древних и мятежные мечты нашего времени»[24]. «Театр-студию» так и не удалось открыть, несмотря на большие подготовительные работы, и после этого решено было в Петербурге, при непосредственном содействии Чулкова, организовать театр «Факелы» под руководством того же Мейерхольда, но и этому театру тоже

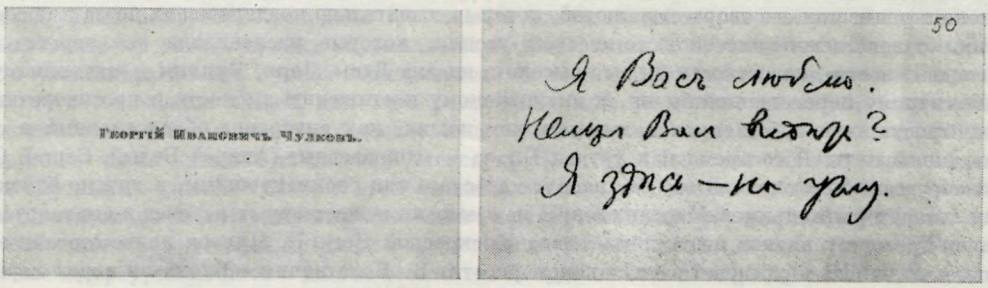
суждено было остаться в проекте. Тем не менее Чулков сумел обеспечить будущий театр пьесой, которая была написана по его просьбе в расчете на постановку в «Факелах»,— это был, как известно, блоковский «Балаганчик» (см. п. 4).

Поначалу Блок без особенного энтузиазма откликнулся на предложение Чулкова развить мотивы ранее написанного стихотворения «Балаганчик» в драматические сцены, не проявил он большого интереса и к проектам нового символистского театра. «Все это строительство таких высококультурных людей, как Вяч. Иванов, и высоко предприимчивых, как Георгий Чулков и Мейерхольд, начинает мучить меня. Чувствую уже, как хотят выскоблить что-то из меня операционным ножичком»,— писал он Белому 3 января 1906 г. (VIII, 146), уже согласившись, впрочем, на создание пьесы для нового театра. Однако работа его увлекла, и во второй половине января «Балаганчик» — этапное для Блока произведение, со всей определенностью заявлявшее о переоценке прежних духовных идеалов,— был завершен. Симптоматично, что именно Чулков оказался «крестным отцом» этой «мистической сатиры», как сам он определял жанр «Балаганчика». Чулков был одним из немногих близко знавших Блока и ценивших его творчество людей, которые сознательно поддерживали поэта в преодолении соловьевской мистико-эстетической утопии, которые расценивали его переход от «неподвижности», целостности былого высокого идеала Девы, Зари, Купины к «стихийному», динамичному переживанию бытия, к интуитивному постижению зыбкости и противоречивости, присущих и субстанциональным началам жизни, как внутренне обусловленный и оправданный путь. В то время как друзья Блока — «соловьевцы» (Андрей Белый, Сергей Соловьев) резко критиковали его за «надругательство» над своим прошлым, а другие близкие ему литераторы (например, Мережковские) не замечали существенных перемен в его творчестве, по-прежнему видя в поэте лишь певца Прекрасной Дамы [25], Чулков приветствовал эти новые тенденции и убеждал в их закономерности. В «Балаганчике» Блока он видел характернейшее выражение эпохи «переоценки ценностей», «когда поэты рискнули заподозрить многие святыни, когда какой-то страшный хмель кружил головы тем, кто полусознательно вошел в круг предчувствий, связанных с первым революционным взрывом 1905—1906 гг.» [26]

В конце 1906 г. Чулков принимал непосредственное участие в организации постановки «Балаганчика» в Театре В. Ф. Коммиссаржевской, 10 декабря на предварительной «беседе» прочитал актерам доклад о пьесе, в котором пытался разъяснить замысел автора и значение основных образов [27]. Позднее в перечне своих режиссерских работ Мейерхольд постановку «Балаганчика» посвятил Чулкову [28]. Последний считал ее «вершиною творчества Мейерхольда, его наилучшим и характернейшим достижением» [29], находил, что в сценическом воплощении «Балаганчика» достигнута «такая гармония всей постановки, такое согласие драматурга, актеров, режиссера, какого почти никогда не бывает» [30]. После нашумевшей премьеры «Балаганчика» 30 декабря 1906 г. Чулков не раз выступал по этому поводу в печати со своей интерпретацией постановки и авторского замысла [31]. Разъяснения Чулкова сыграли немаловажную роль, поскольку пьеса Блока сразу же обросла, помимо шаблонных «антидекадентских» глумливых отзывов, произвольными и прямолинейными толкованиями, далекими от понимания сути произведения.

«Странный и страшный фарс» Блока, по мысли Чулкова, дает «новое неожиданное освещение» прежней, столь близкой поэту идеи Вечной Женственности, проводит ее через испытание «мистическим скептицизмом» — мироощущением, противостоящим духовному догматизму: «Поэт первоначально приходит к „идее неприятия мира“: эмпирический мир пошатнулся, поколебался под его пытливым взглядом 〈...〉 Здесь звучит великая и последняя насмешка над самой дорогой и уже воплощенной мечтой. Поэт с болью и с отчаянием раскрывает свое неверие в абсолютное начало, им же созданное 〈...〉 Душа Пьеро-Арлекина — это причудливое сочетание высшего знания, великой наивности, таинственной и первоначальной любви и насмешливого презрения» [32]. При этом, обосновывая «мистический скептицизм» как главенствующий художественный принцип в «Балаганчике», Чулков вполне мог отдавать себе отчет, что подобным «скептицизмом» в пьесе окрашены не только карикатурные образы оцепеневших мистиков — «соловьевцев», но и те «стихийные», оптимистические, коллективистские мотивы, которые были созвучны его собственной идейной проповеди; ремарка: «Шум. Суматоха. Веселые крики: „Факелы! Факелы! Факельное шествие!“ Появляется хор с факелами. Маски толпятся, смеются, прыгают» (IV, 19),— заключает в себе, помимо реминисценций из блоковского стихотворения «Балаганчик» («Видишь факелы? видишь дымки?» — II, 67), и недвусмысленный иронический намек на тот театр, для которого

был написан «Балаганчик», и на тот альманах, в котором он был напечатан, а «факельный» пафос Чулкова находит свое отражение в монологе Арлекина, полного энергии, мятежности («Мир открылся очам мятежным» — IV, 20) и энтузиазма [33]. Сопоставляя «Балаганчик» со средневековым мираклем, Чулков находит между ними точку соприкосновения «в одном моменте необычайной важности»: «Это — религиозная влюбленность в Изначальную Реальность и в то же время безумная и кощунственная насмешка над Ней. Быть в Нее влюбленным и Ее не пожалеть,— значит, не пожалеть и себя: вот сущность мистерии, участвовать в которой еще не всем дано...» [34] Блок в целом принимал трактовку «Балаганчика», предложенную Чулковым, и был благодарен ему за столь заинтересованное участие в судьбе этого произведения. В недатированном письме к Чулкову, относящемся ко времени постановки «Балаганчика», Блок признается: «Я очень нежно Вас люблю, и Вы любите меня также. Только понимайте меня так же, как поняли в том, что написали о Балаганчике ⟨...⟩ Пожалуйста, знайте, что я Вас люблю очень по-настоящему» [35].



ЗАПИСКА Г. И. ЧУЛКОВА БЛОКУ НА ОБОРОТЕ ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКИ
Центральный архив литературы и искусства, Москва

Ко времени написания и постановки «Балаганчика» относится и начало самой бурной за всю историю русского символизма «междоусобной» полемики в связи с выдвинутой Чулковым теорией «мистического анархизма». Эта полемика отразилась и во взаимоотношениях Блока и Чулкова.

Прихотливая и претенциозная идеологическая постройка «мистического анархизма», в которой должны были найти гармоническое сочетание мистические и общественные идеи, наглядно выявляла незрелость мысли, компилятивность и эклектичность теоретических изысканий, шаткость и сумбурность логических доводов, но обладала, тем не менее, одной привлекательной особенностью, весьма характерной в целом для Чулкова,— созвучием с духовными запросами эпохи. Уже в 1918 г. Чулков вполне осознавал, что исключительно злободневность тематики привлекла столько внимания к его книге «О мистическом анархизме» (1906) — по его собственному признанию, «неудачно, неосновательно и торопливо написанной»: «Неопытный автор слишком громко, неосторожно и поспешно произнес такие слова, какие у многих были на уме,— это слова о кризисе декадентства, о зависимости этого явления от критического периода русской и, может быть, европейской культуры, о динамике религиозного творчества» [36]. «...Все эти тогдашние мои публикации,— замечает Чулков о „мистико-анархических“ манифестах, — были весьма незрелы, неосторожны и самонадеянны, но все же в них заключалась некоторая правда, никем до меня не высказанная» [37].

В обосновании «мистического анархизма» нашли свое специфическое отражение настроения общественного подъема, вызванного революцией 1905 г. Социальный аспект подразумевался как непременное составное начало «мистико-анархических» устремлений, движимых пафосом «неприятия мира», отвержения дисгармонического, несправедливого реального мира во имя грядущего соборного, тяготением к «почве», к народной стихии. Свои весьма неотчетливые и декларативные построения Чулков ставил в преемственную связь с выдвинутой Вячеславом Ивановым идеей «кризиса индивидуализма» и магистральным для его творческого сознания «пророчеством» «о наступлении новой „органической эпохи“ всенародного анархического единства людей, связанных общностью религиозно-этического сознания (идущая от Хомякова идея „соборности“)» [38]. В своих исканиях Чулков откровенно признавал себя учеником Иванова; Иванов, в свою очередь, «благословил» Чулкова, предпо-

слав его книге «О мистическом анархизме» свою вступительную статью «Идея неприятия мира и мистический анархизм» (последнее обстоятельство, безусловно, было немаловажным для Блока, находившегося в то время под сильным обаянием личности Иванова и его «дионисийской» проповеди [39]).

Конкретную боевую задачу «мистического анархизма» Чулков видел главным образом в том, чтобы противостоять «декадентскому индивидуализму» символистского искусства — по его мысли, уже завершившего определенный предначертанный круг развития и исчерпавшего творческие потенции, присущие этому этапу. На многочисленные упреки в том, что он неосновательно пытается создать из «мистического анархизма» новое литературно-эстетическое течение, Чулков возражал не раз, настаивая на сугубо идейной, философской направленности выдвинутой им доктрины, но возражения эти по сути опровергались его же собственными весьма ответственными и самонадеянными заявлениями: «Декадентская полоса русской литературы, желанная в свое время и необходимая исторически, по-видимому сменяется новым культурным движением. Обнаженный *индивидуализм* сменяется *мистическим анархизмом*. Это новое направление в искусстве неразрывно связано с революционно-религиозным движением, которому — верим — предстоит великое будущее» [40]; «...выросла новая общественность, новое идейное движение, принявшее, как принцип, известную формулу — „*мистический анархизм*“ ⟨...⟩ Декадентское движение, во главе которого стоял Брюсов, характеризуется *принятием мира в его мгновенности*, в его множественности и раздробленности ⟨...⟩ Наоборот, мистико-анархисты не принимают мира, мира как такового, и мечтают о мире преображенном. Отсюда воистину революционная непримиримость нового литературно-философского движения, которое нашло себе выражение *отчасти* в журнале „Вопросы жизни“» [41]. В статье «Молодая поэзия» Чулков прямо заявлял, что на смену «уединенному символизму» и «декадентскому эстетизму» пришло «новое *литературное* течение» — так называемый «мистический реализм», преемственный символизму в «декадентском» изводе, но, в отличие от него, обращенный навстречу реальному миру; при этом, по Чулкову, поэзия уходящего «декадентства» с наибольшей силой отразилась в творчестве Бальмонта и Сологуба, а новейшие эстетические тенденции — в творчестве Блока: «...для воплощения новых переживаний явилась и новая форма стиха, сочетавшая в себе и силу, и гибкость, и новую магию звукосочетаний. Таковы стихи, например, Александра Блока» [42].

Отношение Блока к «мистическому анархизму» (несмотря на то почетное место, которое отводилось его творчеству по чулковской философско-эстетической шкале ценностей) было двойственным: он принимал его как известное настроение, как мыслительную интенцию и отвергал как претендующую на концептуальную определенность и доказательность систему положений. Немаловажно, что «мистико-анархические» импульсы, насыщенные в значительной степени «дионисийскими» токами, были созвучны тому пониманию психологии творческого акта, которое определилось у Блока в период переоценки прежних идеалов и стремления к постижению трагической дисгармонии бытия и к стихийной раскованности самовыражения. Была созвучна Блоку и предложенная Чулковым трактовка мистицизма, под которым понималась «совокупность душевных переживаний, основанных на положительном иррациональном опыте, протекающем в сфере *музыки*» [43]. Такая расширительная трактовка музыки как субстрата мистического знания, как начала, раскрывающего суть мира и единство личности с миром, оказывалась внутренне родственной блоковским мифопоэтическим представлениям. «Мистический анархизм» Блок осознавал как опыт построения философской теории «на лирических основаниях» (статья «О драме» (1907 — V, 168), и в этом усматривал его сугубо национальную специфичность, что в системе духовных исканий поэта было уже само по себе интересно и ценно. Однако общая теоретическая ущербность предложенной доктрины была ясна Блоку с самого начала. Получив от Чулкова книгу «О мистическом анархизме» [44], Блок в письме к нему от 7 июля 1906 г. откровенно изложил свои впечатления: «Ваши краткие статьи, как стрелы — одна за другой,— ранят, пролетая, но откуда и куда летят — неизвестно. Многое попадает прямо в сердце. Вы пишете жестоко и справедливо». И далее, в этом же письме: «Почти все, что Вы пишете, принимаю отдельно, а не в целом. Целое (мистический анархизм) кажется мне не выдерживающим критики, сравн. с частностями его; его как бы еще нет, а то, что будет, может родиться в другой области. По-моему, имени» Вы не угадали,— да и можно ли еще угадать, когда здание шатается? И то ли еще будет? Все — мучительно и под вопросом» (VIII, 158) [45].

Однако, когда в связи с разгоревшейся в 1906—1907 гг. полемикой вокруг «мистиче-

ского анархизма» началась поляризация символистских литературных сил, Блок, сочувствовавший позиции Вяч. Иванова и находившийся в близких отношениях с Чулковым (к тому же всячески подчеркивавшим эту близость), естественно, воспринимался как один из представителей группы «петербургских» модернистов, сторонников «мистико-анархических» новаций, стоявших в оппозиции к «московским», «ортодоксальным» символистам, объединенным вокруг Брюсова и «Весов». При всем том «мистико-анархические» тенденции лишь отчасти импонировали Блоку, скорее в их исходных положениях (идея кризиса индивидуализма, утверждение связи искусства с общественной жизнью, преодоление отвлеченного утопизма и т. п.), чем в последних выводах, и адептом теории Чулкова он ни в какой мере не мог себя признать [46].

То объяснение причин отмежевания Блока от «правды» «мистического анархизма», которое дает сам Чулков, имеет односторонний характер: «Первоначально Блок почувствовал эту правду, т. е., что „уж если бунтовать, так бунтовать до конца", не останавливаясь на половине пути, но потом — под влиянием всеобщей травли — смутился и отступил» [47]. Действительно, Блок в августе 1907 г. оповестил о своей непричастности к идейной платформе Чулкова письмом в редакцию «Весов» под непосредственным давлением Андрея Белого, ведшего ожесточенную борьбу с «мистическим анархизмом» (см. п. 10). Однако критическое отношение к изысканиям Чулкова возобладало у Блока задолго до того, как он прямо заявил о своей позиции; обстоятельства междоусобной полемики и «весовские» разо лачения идейно-теоретической несостоятельности «мистического анархизма» только способствовали прояснению его взглядов. Принципиальный противник всяческой доктринальности, Блок распознал в «мистическом анархизме» в первую очередь именно эту особенность. Еще в письме к Чулкову от 23 июня 1907 г. он признавался со всей откровенностью: «Я все больше имею против мистического анархизма» (VIII, 187). 1 августа 1907 г. Блок записал о Чулкове: «У него, если пафос, так похож на чужой, а чаще — поддельный — напыщенная риторика» (ЗК, 96), а 20 августа, приняв решение печатно отмежеваться от теории Чулкова, занес в записную книжку раздраженные отзывы и о «мистическом анархизме», и собственно о Чулкове: «...он совсем некультурен. Возмутительно его притягивание меня к своей бездарности» (ЗК, 97—98). Такая резкость суждений в отношении личности Чулкова была в то время скорее данью преходящим эмоциям, чем сознательной позицией, но слова, тем не менее, говорят сами за себя.

Наконец, в статье «О современной критике», опубликованной в газете «Час» 4 декабря 1907 г., Блок прямо высказал свое отношение к идейным построениям Чулкова и М. Л. Гофмана, изобретшего «соборный индивидуализм» — новую версию «мистического анархизма»: «...неудачные статьи Георгия Чулкова и Модеста Гофмана ⟨...⟩ еще не создают теории. Я думаю, что писателей с такими кличками и вообще не может существовать, и потому этими кличками вовсе не исчерпываются суждения даже о самих авторах их — Георгии Чулкове и Модесте Гофмане» (V, 207). При этом Блок негодовал в связи с теми преследованиями, которым подвергался Чулков в «Весах» со стороны Белого, З. Гиппиус и других критиков, считал недопустимыми личные выпады и некорректный тон в печатной полемике. «К *Георгию Чулкову* имею отношение как к человеку и возмущаюсь выливанием помоев на голову его как человека. Считаю это *непорядочным*»,— писал он Андрею Белому 6 августа 1907 г., подчеркивая в очередной раз: «...к новейшим кудым теориям отношусь так же, как Ты» (VIII, 190, 191).

Позиция Блока по отношению к «мистическому анархизму» не сказалась отрицательным образом на его личных отношениях с Чулковым, которые сохраняли по-прежнему чрезвычайно дружественный характер. «...Одно из моих психологических свойств: *я предпочитаю людей идеям*»,— заявлял Блок в письме к Андрею Белому от 15—17 августа 1907 г. (VIII, 197), подразумевая прежде всего свои отношения с Чулковым на фоне полемики вокруг «мистического анархизма». Дружественность отношений сохранялась и в те месяцы зимы — весны 1907 г., когда развивался «роман» между Л. Д. Блок и Чулковым. Желая на свой лад ответить Блоку на его бурное увлечение «снежной маской» — Н. Н. Волоховой и испытать «легкий хмель» «декадентской» вседозволенности и «легкой любовной игры», Любовь Дмитриевна остановила свой выбор на Чулкове. Глубокого чувства не возникло ни с той, ни с другой стороны, отношения были окрашены в игровые, «маскарадные» тона и как бы проецировались на образность блоковского «Балаганчика». Характерна дневниковая запись Е. П. Иванова от 12 января 1907 г.: «С Любой от Таты ехал. Ужас. В балаганчик легче по

пасть, чем в Царство Небесное 〈...〉 Чулков в роли Арлекина» [48]. Эти отношения не составляли тайны ни для родных Блока, ни в литературном окружении [49]. Чулков запечатлел их в стихотворном цикле «Месяц на ущербе», опубликованном в альманахе «Белые ночи». В одном из стихотворений этого цикла отражается образ Блока и тот специфический характер общений, который связывал его с Чулковым:

И вновь ты уходишь во мрак,
Сияя мечтой золотистой;
И мраком венчается брак
Невинный, святой и пречистый.

И твой поцелуй на устах
Как ядом уста опаляет.
И мимо проходит монах
И молча, и строго кивает.

И бледный монах мне знаком:
Мы вместе плели наши сети:
Любили, влюблялись вдвоем,
Смеялись над нами и дети.

Потом уходил он на мост
Искать незнакомки вечерней:
И был он безумен и прост
За красным стаканом в таверне [50].

Близость с «бледным монахом» не преувеличена Чулковым в этом стихотворении. Взаимоотношения с Л. Д. Блок прямого влияния на его дружбу с Блоком не оказывали. Сам Блок воспринимал все «уходы» Любови Дмитриевны как свое собственное, а не ее «преступление» (в дневниковой записи от 27 октября 1912 г. Блок вспоминает ее связь с Чулковым, в ряду других связей, как «ответ на мои никогда не прекращавшиеся преступления» — VII, 170), и — шире — ощущал семейный разлад как некое фатальное следствие общей неустроенности бытия и быта. Отношения его с Чулковым развивались тоже под знаком этой неустроенности, зыбкости, дисгармоничности, которую Блок остро чувствовал в мире и которую стремился вобрать в себя сполна. В этих настроениях, отзвук которым Блок находил у Чулкова, сказывались и мотивы этического релятивизма, и тяготения к «самосожжению», к жизни «безбытной, уличной, хмельной» [51], в которой опять же Чулков был неизменным спутником. Их встречи «за красным стаканом в таверне» в 1907—1908 гг. происходили часто. Симпатии Блока к Чулкову во многом объяснялись его общим тяготением к житейски раскованным, открытым отношениям без примеси дидактики и духовной регламентации, к «внетеоретическим» дружбам [52]. «...Поэт ценил во мне то,— вспоминает Чулков,— что со мною можно было говорить не по-интеллигентски, что я с полуслова понимаю его символический язык» [53]. Фактическая непроявленность у Чулкова — при всем том, что и он был полноценным выразителем символистского мироощущения,— признаков человеческой и литературной исключительности оказывалась для Блока даже притягательным качеством в эту пору, когда он особенно тянулся к простоте во всем, к широко понятой демократичности.

Особенной теплоты отношения Блока с Чулковым достигли в 1908 г. «У меня очень дружеские и настоящие, даже трогательные отношения с Чулковым»,— сообщал Блок жене 14 июня 1908 г. (VIII, 244). «Я Вас люблю»,— писал он Чулкову 18 сентября того же года из Шахматова в Москву (VIII, 255), а возвратившись в Петербург, остро ощущал его отсутствие: «Отчего Вы так долго в Москве? 〈...〉 Приезжайте скорей, у меня накопилось и дум и дел — пропасть 〈...〉 Возвращайтесь, не пропадайте 〈...〉 Напишите мне еще, пожалуйста» (письмо от 4 октября 1908 г.— VIII, 255). С еще большей силой внутренняя связь с Чулковым подчеркнута Блоком в письме к нему от 7 ноября 1908 г.: «Милый Георгий Иванович, возвращайтесь в мрачный город, любимый Вами; свидимся опять; может быть, как всегда, немного не по-людски и немного странно; но видеться и вместе шататься по миру судила нам Судьба» (VIII, 260). «Блок чувствует в Вас потребность»,— сообщал Чулкову Городецкий 2 ноября 1908 г.[54] В сентябре 1908 г. Блок, возобновив общение с З. Н. Гиппиус и обсуждая планы совместных литературных предприятий, упрекал ее, в частности, за резкие выпады против Чулкова [55].

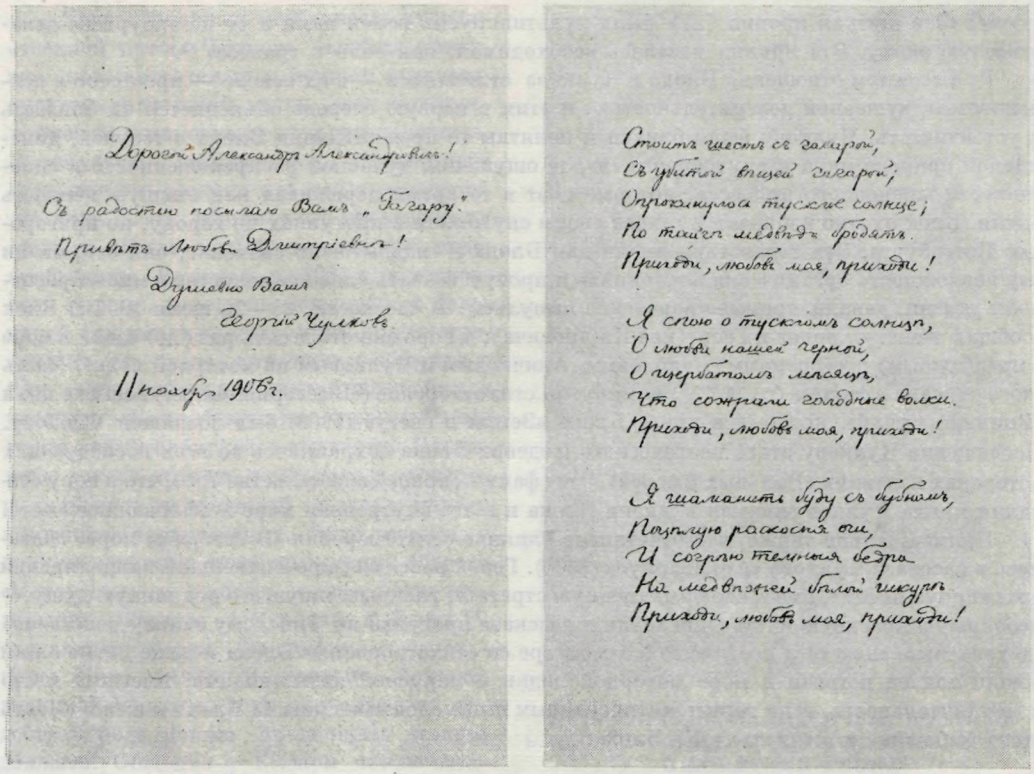
Относясь в целом весьма сдержанно к художественному творчеству Чулкова и не придавая ему большого значения, Блок в этот период старался не выносить критические приговоры произведениям своего приятеля и, наоборот, не упускал возможности — чаще всего мимоходом — отметить то немногое, что ему понравилось. В статье «Девушка розовой калитки и муравьиный царь» («Золотое руно», 1907, № 2) Блок целиком привел к тому времени еще не опубликованное стихотворение Чулкова «Гагара» («Стоит шест с гагарой...»), желая «простыми словами певца тайги» поведать о своих надеждах на появление «настоящих людей,

с человеческим удивлением в глазах», которые «придут и заговорят на свободном языке» (V, 94) [56]. Чулков посвятил Блоку лирическую поэму «Весною на север» (давшую заглавие сборнику стихов), в которой отразил свои впечатления от путешествия по Лене вместе с другими ссыльнопереселенцами [57]. Получив от Чулкова книгу «Весною на север», Блок писал ему: «Спасибо ⟨...⟩ за надпись и за посвящение поэмы, которую люблю» [58]. Косвенным подтверждением того, что Блок считал эту поэму удачной, служит его замечание в обзорной статье «Литературные итоги 1907 года» о цикле «Обручение»: «...стихи Чулкова ⟨...⟩ которые я поставил бы по качеству наряду с поэмой его „Весною на север“» (V, 223). Даже в тех случаях, когда произведения Чулкова Блоку не нравились, он смягчал их оценку указанием на его творческие успехи; в той же статье он упоминал о цикле «Месяц на ущербе» в альманахе «Белые ночи»: «Стихи Чулкова здесь — хуже» (V, 223) — в сравнении с циклом «Обручение», помещенным в альманахе «Цветник Ор». В статье «О драме» Блок, признавая неудачной пьесу Чулкова «Тайга» [59] и указывая, что «лирические пророчества» в ней «холодны, отвлеченны и непонятны», в то же время считает нужным отметить, что «„Тайга“ уступает некоторым рассказам Чулкова» (V, 181—182). И позднее Блок не упускает случая похвалить те или иные его произведения. «Мне очень понравилась Феклуша — в Новом Слове»,— например, писал он Чулкову 9 мая 1910 г. [60]

Если отзывы Блока о сочинениях Чулкова предельно лаконичны и имеют характер попутных замечаний, то Чулков посвятил творчеству Блока специальную статью — «Снежная Дева» («Золотое руно», 1908, № 10). В ней он одним из первых поставил вопрос о генеалогии поэтического мира Блока: назвал его «ближайшими учителями» Жуковского, Фета и Вл. Соловьева, отметил связь Блока с немецким романтизмом и провел подробные цитатные аналогии со «Снежной королевой» Андерсена. Уже в заглавии статьи, совпадающем с заглавием одного из стихотворений Блока 1907 г., содержится указание на то, что в центре внимания Чулкова — творчество поэта последних лет. Этот акцент сделан не без полемической цели. Чулков вновь возражает Андрею Белому и другим критикам, порицавшим Блока за отход от идеалов «Стихов о Прекрасной Даме», и утверждает единство художественного мира поэта, внутреннюю преемственность в его эволюции: «Прекрасная Дама, Незнакомка и Снежная Дева — это все образы единой сущности. И забвение прошлого, забвение прошлой иной любви не есть измена»; «Недавние литературные друзья поэта оплакивают его измену Прекрасной Даме (измену ли?); но я думаю, что нежная и тихая лирика первой любви поэта не испепелилась в новых его книгах» [61].

Однако Чулков также по-своему не удовлетворен тем этапом в творчестве Блока, который символизируется образом Снежной Девы: «высокий и опасный скептицизм» и «снежные астральные сны» все еще замыкают поэта в границах идеалистического символизма (этим термином он обозначает пройденный, «декадентский» этап «нового искусства»); спасительный же путь, по Чулкову, заключается в стремлении к познанию реального, «через оправдание земли и сораспятие с миром» [62]. Открывающей для Блока новые творческие горизонты Чулков считает тему России, национального самосознания — в той лирической тональности, которая задана в стихотворении «Осенняя воля». Заострив внимание на этом стихотворении 1905 г. (опубликованном в первом альманахе «Факелы»), Чулков прозорливо угадал заключенные в нем образно-стилевые мотивы, которые будут в полную силу развиты в поэзии Блока 1910-х годов. «Может быть,— пишет Чулков,— Александр Блок не случайно расточал жемчуг своей очаровательной лирики; может быть, он увидит, поймет, разгадает тайну пустынной земли нашей» [63]. Прогнозы и надежды Чулкова совпадали с теми перспективами, которые в эту пору открывались самому Блоку и которые уже были отчасти намечены в драме «Песня Судьбы» [64].

Дружба с Чулковым в 1907—1908 гг. отнюдь не означала, что Блок в это время полностью принимал своего спутника, со всеми особенностями его личности. 1 апреля 1907 г. Блок писал Эллису о Чулкове: «В нем есть правда, давно уже важная для меня, отчасти, может быть, враждебная мне, но — тем важнее» (VIII, 185). Противоречивое отношение к Чулкову нашло свое опосредованное отражение в «Песне Судьбы». П. П. Громов прямо утверждает, что в образе Друга Германа изображен Чулков, давая глухую отсылку на «мемуарные свидетельства» [65]. В. Н. Орлов пишет: «В *Германе* сквозят черты самого Блока, в *Фаине* — Н. Н. Волоховой, в *Елене* — Л. Д. Блок, в *Друге* Германа — Г. И. Чулкова. В самом сюжете пьесы в известной мере отразилась та житейская ситуация, в которой в 1907—1908 гг. оказались названные лица» [66]. Для соотнесения образа Друга с Чулковым имеются



Дорогой Александр Александрович!

Съ радостью посылаю Вамъ „Гагару".

Привѣтъ Любови Дмитріевнѣ!

Душевно Вашъ

Георгій Чулковъ

11 ноября 1906 г.

Стоитъ шестъ съ гагарой,
Съ убитой вѣщей гагарой;
Опрокинулось тускло солнце;
По тайгѣ медвѣдь бродятъ.
Приходи, любовь моя, приходи!

Я спою о тускломъ солнцѣ,
О любви нашей черной,
О щербатомъ мѣсяцѣ,
Что сожрали голодные волки.
Приходи, любовь моя, приходи!

Я шаманить буду съ бубномъ,
Поцѣлую раскосыя очи,
И согрѣю темныя бедра
На медвѣжей бѣлой шкурѣ
Приходи, любовь моя, приходи!

ПИСЬМО Г. И. ЧУЛКОВА БЛОКУ 11 НОЯБРЯ 1906 г. И ЕГО СТИХОТВОРЕНИЕ «ГАГАРА»

Автограф

Центральный архив литературы и искусства, Москва

веские основания: Друг сопровождает Германа в его скитаниях, Друг любит жену Германа Елену и сближается с нею после его «ухода» в мир, и т. д. В образно-семантической структуре драмы Друг — один из двойников-антагонистов Германа, всецело отдающегося бессознательному порыву, выразитель здравого смысла и благоразумности («...я живу во времени и пространстве, а не на блаженных островах, как вы»,— говорит он Елене; IV, 106); функции его в пьесе аналогичны роли Вагнера при Фаусте в трагедии Гёте. Приговор Другу Германа произносит Елена: «Вы, что называется, золотая середина» (IV, 153). В образе Друга сконцентрировалось то чуждое Блоку рационалистическое, прагматическое начало, которое он прозревал в личности Чулкова и которое решительно не было присуще его собственной поэтической натуре.

Но у Чулкова Блок распознавал и те негативные психологические черты, носителем которых он тогда не мог не признать также и самого себя. Это — специфически окрашенная «петербургским модернизмом» тяга к «неверности», мистической двусмысленности, зыблемости духовных и нравственных критериев. Ощутивший опасность этой «болезни», Блок со всей искренностью и откровенностью дал ее «диагноз» в статье «Ирония» (1908). Как следует из подтекста статьи, проявления этого духовного недуга Блок видит и в идеях «неприятия мира», прокламированных «мистическим анархизмом», и в той атмосфере богемного релятивизма, в которую он и Чулков погружались с воодушевлением: «Все смешано, как в кабаке и мгле. Винная истина, «in vino veritas» — явлена миру, все — едино, единое — есть мир; я пьян, ergo — захочу — «приму» мир весь целиком, упаду на колени перед Недотыкомкой, соблазню Беатриче; барахтаясь в канаве, буду полагать, что парю в небесах; захочу — «не приму» мира: докажу, что Беатриче и Недотыкомка одно и то же. Так мне угодно, ибо я пьян ⟨...⟩ Пьян иронией, смехом, как водкой; так же все обезличено, все «обесчещено», все — все равно» (V, 346—347). Чулков в своих воспоминаниях подтверждает правоту Блока в этой

статье: «Эта жуткая ирония 〈...〉 была культивируема всеми нами в ту петербургско-декадентскую эпоху. Эта ирония казалась необходимой, как соль к трапезе» [67].

При всем том отношения Блока и Чулкова отличались — в их основе — простотой и искренностью, душевной доверительностью, и этим в первую очередь объясняется их близость и устойчивость. Чулкову были близки и понятны те представления Блока о текучей, динамичной природе мира и внутреннего «я», те ощущения духовной раскрепощенности и спонтанности жизненного процесса, которые поэт в то время переживал как высшую ценность бытия. Блок охотно избирает Чулкова своим спутником в прогулках по городу, по пригородам Петербурга. Эти странствия имели для Блока и «надбытовое» значение; они открывали ему возможность органически воспринять и прочувствовать сложное единство и многокрасочность жизни, давали прямые творческие импульсы. В частности, 28—29 июня 1907 г. Блок сообщал жене: «...видел и Георг〈ия〉 Ив〈ановича〉, и Городецкого десять раз 〈...〉 ездил в море с прис〈яжным〉 пов〈еренным〉 Соколовым, Аничковым и Чулковым на моторной лодке. Часть этого описана в стихах 〈...〉» [68]. Упомянутое стихотворение («В северном море») вошло в цикл «Вольные мысли», который в книге Блока «Земля в снегу» (1908) был посвящен Чулкову. Посвящение Чулкову этого поэтического шедевра Блока сохранялось во всех последующих авторских изданиях «Вольных мыслей». Этот факт — яркое свидетельство того, что в пору создания цикла Чулков занимал в жизни Блока и в его внутреннем мире немаловажное место.

Примечательно также, что отчетливое влияние стихотворения «В северном море» сказалось в рассказе Чулкова «Архивариус» (1908). Герой рассказа, прозаичнейший канцелярский архивариус Шмидт, имеет свою «пламенную страсть», раскрывающую его подлинную душу,— небольшую красивую яхту. Описанная в рассказе прогулка по Финскому заливу родственна по трактовке сюжета и поэтической атмосфере со стихотворением Блока и даже имеет с ним общий эпизод встречи в море моторной лодки и парусной яхты (видимо, имевший место в действительности, если верить цитированным выше словам из письма Блока к жене: «Часть этого описана в стихах»). У Блока:

Над морем — штиль. Под всеми парусами
Стоит красавица — морская яхта. 〈...〉
Мы огибаем яхту, как прилично,
И вежливо и тихо говорит
Один из нас: «Хотите на буксир?»
И с важной простотой нам отвечает
Суровый голос: «Нет. Благодарю».
И, снова обогнув их, мы глядим
С молитвенной и полною душою
На тихо уходящий силуэт
Красавицы под всеми парусами...

(II, 304—305)

В рассказе Чулкова аналогичная ситуация описывается «с другой стороны»:

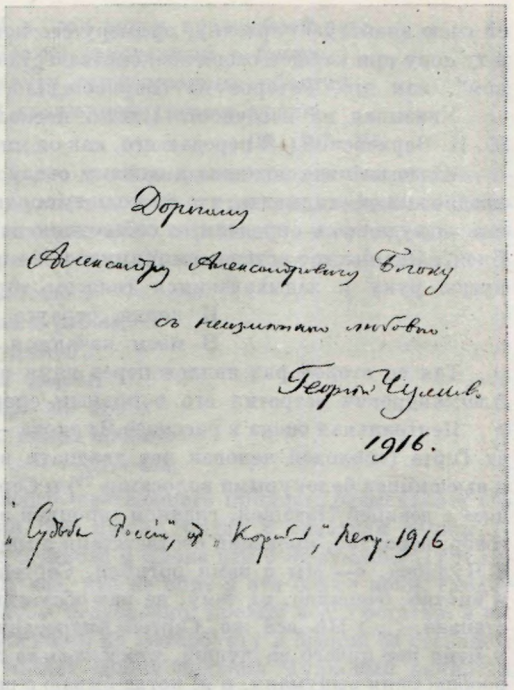
«...мимо нас мчалась моторная лодка. Услышав громкий скрежет этой водяной машины, Шмидт нахмурил брови.

— Я не люблю этих моторных лодок,— сказал он сердито: — пусть моя яхта во время безветрия стоит недвижно, я готов остаться с ней вдвоем на много дней. Что за счастье бегать по морю на этих моторных ящерицах.

Я не стал спорить с влюбленным моряком» [69].

Рассказ «Архивариус» — один из многочисленных примеров отражения в произведениях Чулкова общений с Блоком и усвоения его творчества. Многие стихотворения Чулкова написаны под явным воздействием лирической образной системы Блока, на что не раз указывали критики [70]. Мотивы блоковской лирики возникают и в прозе Чулкова. В частности, столь характерные для Блока трагически противоречивое восприятие образа России и осознание внутренней иррациональной связи темы родины с женственным началом, с образом прекрасной девушки-женщины были усвоены и Чулковым. Подобным мифопоэтическим мироощущением наделен герой его повести «Мертвецы» (1912): «И, как Россию, любил Туманов Лидию Николаевну, и, как России, боялся ее. Он боялся ее трепета, ее строгих, что-то тайное видящих глаз и ее святой бессмысленной улыбки»; «— Нет, нет,— думал Туманов,— Лидия Николаевна единственная и несравненная, родная, как Россия, близкая и чудесная...» [71]. Немало параллелей можно обнаружить у Блока и Чулкова также в трактовке образа Петербурга. Все эти аналогии — проводимые, разумеется, с учетом несопоставимости уровней художественного мастерства — говорят о том, что мир блоковских идей и образов был чрезвычайно притягательным для Чулкова и оказывал на него сильное влияние.

Характернейшая особенность художественной прозы Чулкова, вообще присущая повествовательным жанрам в литературе символистской эпохи,— ее автобиографизм и установка на «прототипичность». В мемуарах Чулкова «Годы странствий» описывается немало реальных эпизодов, которые потом вошли в его произведения лишь в слегка модифицированном виде: пребывание Чулкова в 1901 г. в московской тюрьме, находившейся рядом с больницей для умалишенных, куда смогла проникнуть его жена для немого общения с ним, стало фабульной канвой позднейшего рассказа «Как я бежал из тюрьмы» [72]; история любви сибирского ссыльного Мартынова к жене другого ссыльного и «товарищеский суд», устроенный по этому поводу в колонии политических, была развита в одну из основных сюжетных линий повести «Мертвецы»; в истории жизни Шурочки, героини рассказа «Шурочка и Веня» [73], отразились черты биографии писательницы Мирэ (А. М. Моисеевой), близкой знакомой Чулкова, и т. д.— аналогии подобного рода можно продолжать и продолжать. Общение с Блоком также оставило свой след в произведениях Чулкова. В романе «Сережа Нестроев» (1914) в ироническом свете характеризуется идея «содружества одиноких». С учредителями «кружка одиноких» — молодых людей, ставивших своей целью преодоление одиночества и душевного отчаяния, Чулков познакомился в 1908 г. у Блока, который с сочувствием отнесся к их устремлениям, распознал в них что-то живое и искреннее — в отличие от других литераторов, скептически и недоуменно воспринявших эти начинания [74]. Сам Блок выведен в произведениях Чулкова под именем Герта. Этот персонаж появляется мимоходом в повести «Слепые» (1910): главный герой, Лунин, встречает в столичном театре знаменитого поэта Герта в сопровождении «высокой дамы в черном» (подразумевается Н. Н. Волохова): «...за ней следовал, никого, по-видимому, не замечая вокруг, молодой человек, бледный, безбородый, с бескровными губами, с глазами мертвенно-серыми» [75]. Герт — один из основных героев рассказа Чулкова «Парадиз». Прочитав этот рассказ в журнале «Образование» (1908, № 7), Блок писал матери 7 августа 1908 г.: «Посылаю тебе № „Образования“, прочти рассказы Сологуба и Чулкова (последний — по-моему, лучшее, что он писал; я потребовал, чтобы в книжке он был посвящен мне, потому что и действующие лица — всё знакомые — Герт, конечно, я. А какой свежий и сильный рассказ, неправда ли?). Оба рассказа проникнуты какой-то влюбленностью, какой проникнут сейчас и я» [76].


Дорогому
Александру Александровичу Блоку
съ неизмѣнною любовью
Георгій Чулковъ
1916.
„Судьба Россіи“, изд. „Корабль“, Петр. 1916

ДАРСТВЕННАЯ НАДПИСЬ Г. И. ЧУЛКОВА БЛОКУ НА КНИГЕ «СУДЬБА РОССИИ». ПГ., 1916 С ПОМЕТАМИ БЛОКА

Центральный архив литературы и искусства, Москва

В сборнике Чулкова «Рассказы» (1909) «Парадиз» был напечатан с посвящением «Александру Блоку». Сюжетную основу рассказа можно обнаружить опять же в действительном случае, в подробностях охарактеризованном в «Воспоминаниях о Блоке» Вл. Пяста. Здесь описано посещение Блоком вместе с Чулковым и другими петербургскими литераторами «одного из „злачных“ мест» и разговор с «барышней», которую просили угадать род занятий каждого из ее собеседников:

«— А вот тот, которого вы приняли за рантье,— сказал Ч⟨улков⟩,— известный наш, знаменитый поэт Блок. Читали вы его стихи?

Оказалось, читала.

— Нравятся?

— Нравятся. Я помню: „Незнакомка“.

Говорила она все-таки без энтузиазма. ⟨...⟩ Однако Александр Александрович подал

ей свою визитную карточку; примеру его последовали и некоторые другие. Блок это делал в ту пору при каждом своем знакомстве с „такими женщинами". Даже и настолько „мимолетном", как это, которое не сопровождалось ничем интимным» [77].

Указывая на неточность Пяста, несколько иную версию этого эпизода сообщает Ю. Н. Верховский («Я передаю его, как он мне ярко запомнился во всей его значительности»):

«Одна певичка подошла к нашему столу 〈...〉 (мало с нами знакомый) в широкой шляпе предложил ей угадывать, что за люди тут сидят. Она плохо попадала. 〈...〉 Профессию Блока она затруднялась определить: собеседник не утерпел и тихим голосом сказал: „Александр Блок". Она быстро встала, выпрямилась во весь рост, гордо откинув голову, подняла вытянутую руку и задыхающимся голосом торжественно произнесла:

И перья страуса склоненные
В моем качаются мозгу...

Так во второй раз явился перед нами причудливый лик подлинной славы. Александр Александрович встретил его с полным спокойствием и тихой застенчивой простотой» [78].

Центральная сцена в рассказе Чулкова — встреча писателей Александра Александровича Герта («молодой человек лет двадцати восьми, небезызвестный поэт, с бритым лицом и вьющимися белокурыми волосами» [79]) и Сергея Гребнева в заведении под названием «Парадиз» с девицей Наташей, главной героиней этого повествования. Герт и Гребнев ведут разговор, вероятно, имеющий соответствия с многочисленными «ресторанными» беседами Блока и Чулкова. «— Мы с вами погибли, Сергей Андреевич,— говорил он 〈Герт〉 равнодушно и внятно, очевидно, на тему, не раз обсуждавшуюся ими: — погибли. Наша судьба на дне стакана. 〈...〉 Но все же, Сергей Андреевич, я лучше, чем вы думаете. Вам кажется, что у меня нет ничего за душой, что я *только* лирик. Но у меня есть что-то, уверяю вас. Вы вообще меня выдумали, и я, когда бываю с вами, невольно говорю и поступаю в лад с вашей выдумкой. Но я не таков» [80]. Этот монолог вполне достоверно передает особенности мироощущения Блока в «богемной» ипостаси его тогдашней жизни, а также идейно-психологические коллизии его отношений с Чулковым: последний воспринимал Блока исключительно как «лирика», чуждого «теориям» и вообще «нелирическим» трактовкам действительности; Блок же старался не разрушать «выдумки» своего собеседника. Чтения «Незнакомки» в рассказе «Парадиз» не происходит, но героиня его тоже на свой лад оказывается приобщенной к миру блоковской лирики; она воображает себя египетской царицей Клеопатрой:

«Наташе мерещится желтый Нил, сфинксы, не те, что стоят на Неве, а иные, огромные, высеченные из цельной скалы с непонятными человеческими лицами.

И мерещится Наташе пустыня и среди пустыни оазис, там ее дворец.

И вот приходит полководец, закованный в латы.

— Это я,— говорит он, переступая порог, и почтительно целует сандалии Наташи.— У меня много солдат, и большие корабли плавают у берегов моей страны. Но я все это оставил и пришел к тебе в Парадиз, моя прекраснейшая Наташа.

— Что мне твои корабли и царство? — говорит сурово Наташа: — видишь: я правлю миром. Звезды поют в честь меня и, когда встает солнце, оно делается красным, как кровь, от любви ко мне» [81].

Все эти картины, рождающиеся в воображении героини рассказа Чулкова, представляют собой развернутую реминисценцию стихотворения Блока «Клеопатра» («Открыт паноптикум печальный...»), написанного в декабре 1907 г., и, в частности, слов, вложенных в «истлевшие уста» египетской царицы:

«Кадите мне. Цветы рассыпьте.
Я в незапамятных веках
Была царицею в Египте.
Теперь — я воск. Я тлен. Я прах 〈...〉
Тогда я исторгала грозы.
Теперь исторгну жгучей всех
У пьяного поэта — слезы,
У пьяной проститутки — смех».

(II, 207—208)

Однако в мечтах и галлюцинациях Наташи в специфическом преломлении реализуется также метафорическая образная ткань стихотворения Блока «Снежная Дева»:

Но сфинкса с выщербленным ликом
Над исполинскою Невой
Она встречала легким вскриком
Под бурей ночи снеговой.
Бывало, вьюга ей осыпет
Звездами плечи, грудь и стан, —
Все снится ей родной Египет
Сквозь тусклый северный туман.〈...〉

И город мой железно-серый,
Где ветер, дождь, и зыбь, и мгла,
С какой-то непонятной верой
Она, как царство, приняла. <...>

И я, как вождь враждебной рати,
Всегда закованный в броню,
Мечту торжественных объятий
В священном трепете храню.

(II, 267—268)

Последующее развитие сюжета рассказа скорее всего является плодом беллетристической фантазии Чулкова: в угаре опьянения Герт увлечен своей спутницей, называет ее Клеопатрой: «Вы настоящая женщина, и каждое движение ваше царственно, и глаза ваши прекрасны и безумны» [82], и т. д.; ср. в «Клеопатре» Блока («У пьяного поэта — слезы»):

«Царица! Я пленен тобою!
Я был в Египте лишь рабом,
А ныне суждено судьбою
Мне быть поэтом и царем!
Ты видишь ли теперь из гроба
Что Русь, как Рим, пьяна тобой?»

(II, 208)

Наташа после этой встречи не может забыть своего «светлейшего принца», разыскивает его повсюду и все больше укрепляется в сознании, что она — гордая и властная царица.

Воплощенное в образе Герта представление Чулкова о Блоке как о «безумном» (Герт говорит о Наташе: «...сумасшедшая, как и мы. И все, кто не спит в эти белые ночи, сходят с ума» [83]) и «безответственном» лирике объяснялось, безусловно, прежде всего богатым и ни к чему не обязывающим опытом совместных блужданий по Петербургу и бдений за стаканом вина. Но это представление сказывалось и в самых общих оценках Чулковым личности поэта, определяло тот угол зрения, под которым он воспринимал блоковские искания. Такой подход со всей отчетливостью проявился в конце 1908 г., когда разгорелась полемика по поводу доклада Блока «Россия и интеллигенция». Блок и Чулков столкнулись в споре о самых коренных, глубинных проблемах русской культуры и исторического момента.

В воспоминаниях о Блоке Чулков так охарактеризовал суть этой полемики: «Доклад Блока был весьма примечателен своим пророческим духом. Поэт в самом деле с необычайной остротою предчувствовал стихийный характер надвигающейся революции. Он был сам сейсмографом, свидетельствующим, что близко землетрясение. Чувство катастрофичности всегда было присуще и мне,— и не эти предчувствия вызвали мое возражение Блоку. Мне был неприятен в его докладе тот невыносимый удушающий пессимизм, которым веяло от всего этого мистического косноязычия. Я тогда же устно и печатно возражал Блоку» [84]. «Устные» возражения Чулков высказал при личном общении с Блоком (14 декабря 1908 г. Блок писал матери: «10-го спорил с Чулковым не на жизнь, а на смерть — о „России и интеллигенции“»; VIII, 268), а на публичном диспуте 12 декабря в Литературном обществе при повторном чтении доклада, встреченного резкими нападками со стороны большинства выступающих, построил свое выступление совсем в ином ключе. «Возражения были так резки и порой несправедливы,— сообщается в газетном отчете,— что Г. И. Чулков, вышедший оппонировать А. А. Блоку, неожиданно для себя встал на его защиту, доказывая, что его реферат лирический и нельзя к нему подходить с научным масштабом. «Проклятые вопросы», которые только ставит Блок, не находя им разрешения,— это внезапно раскрывшаяся одинокая душа лирика, большая и окровавленная сознанием своего одиночества и оторванности от народа,— это мучительные переживания целой группы символистов — это кризис индивидуализма, и, вместе, утешительный симптом перехода к универсализму» [85].

Отказавшись от спора с Блоком на публичном заседании, Чулков обосновал свою позицию в полемической статье «Memento mori» [86]. Возражения Блоку в ней были сформулированы, впрочем, в той же тональности, что и защитная речь в Литературном обществе: это были возражения «теоретика», «универсалиста» — «лирику», «декаденту». Чулков гораздо более чутко, чем другие оппоненты Блока, отнесся к проблематике доклада. Поставленную поэтом проблему роковой разобщенности народа и интеллигенции, которую большинство блоковских критиков нашли надуманной, бездоказательной и противоречащей фактам, он считал жизненно важной и нуждающейся в осмыслении. Рациональное зерно заключалось в указаниях Чулкова на то, что Блок в своих тревожных прогнозах недооценил демократические начала, глубоко коренившиеся в широкой массе русской интеллигенции,—

их игнорирование, действительно, открывает уязвимые стороны в блоковских историософских размышлениях [87]. «Образ двойника заслонил Блоку образ интеллигенции, и печать смерти на лице этого двойника Блок принял за печальный знак гибели всего нашего общества,— писал Чулков.— Но напрасно Блок волнуется за судьбу всех этих юношей и девушек, которые рассеяны теперь среди народа,— всех этих учителей, врачей, статистиков, газетных работников, пропагандистов, агитаторов,— все они *органически* связаны с народом. Они умеют и жить с народом и умирать за народ. Правда, порой между грамотным и неграмотным русским человеком бывают недоразумения, но, ведь, не очевидно ли, что дух народа не может определяться его темнотой?». Но в то же время и Чулков недооценил масштаб и остроту блоковских предчувствий. Поставленный Блоком с предельной широтой вопрос об ответственности всех мыслящих людей за современное состояние России и ее судьбу он свел к проблеме «декадентство и народ». Рознь, которую почувствовал Блок, Чулков трактовал лишь как реально существующую — и интимно-близко переживаемую поэтом — рознь между индивидуалистами, носителями «декадентского» миросозерцания и народной стихией. В соответствии с этим допущением он свел вопрос о народе и интеллигенции к своему, не раз уже ранее обоснованному, тезису о «кризисе декадентства» и поиске путей к общественности.

Общая тенденция возражений Блока на критические выступления оппонентов — в том числе и на доводы Чулкова — заключалась в том, что он настаивал на несравненно большей правоте в самой постановке наболевших трагических вопросов, чем в формулировании банальных утешающих ответов, призывал пробудиться от «аполлинического сна» традиции и заведенного порядка жизни к постижению надвигающейся катастрофической реальности. В докладе «Стихия и культура», прочитанном 30 декабря 1908 г. и заново развивавшем тему народа и интеллигенции, Блок заключал о концепции Чулкова: «...стоило ли „огород городить", если дело идет всего только о том, что декаденты отделены от народа? И будто уж так благополучно живется уездным врачам среди русских мужиков? Откуда такой оптимизм?» (V, 352). Чулков во втором полемическом ответе Блоку, статье «Лицом к лицу», интерпретировал его взгляды на новый лад, но столь же односторонне и упрощенно: если в первом докладе Блок, по Чулкову, идентифицировал интеллигенцию с декадентами, то во втором он смешал ее с буржуазией и привилегированным дворянством, боящимися пробуждения народной стихии. Заявляя о логической несостоятельности блоковских предвещаний, Чулков вновь говорит об иррациональной основе его мировосприятия, находящегося в полной власти лирических интуиций: «...если мы забудем притязания Блока на идейную определенность, а вслушаемся в ритм его переживаний, непосредственно раскрытых в его докладе, мы должны будем признать, что ритм этот, порывистый и торопливый, воистину предвещает великий бунт. Как чайка, предчувствуя бурю, носится низко над водой, ища в чуждой ей стихии защиты от вихрей, поэт, смущенный надвигающимися грозами, обращается к народу, народности, России...» [88]. Однако всем ходом своих рассуждений Чулков подводит к мысли, что эти предчувствия имеют большее значение для характеристики внутреннего мира Блока, чем для восприятия окружающей реальности. Признавая, что Блок непричастен к «мистическому анархизму», Чулков трактует его мировоззрение как «анархический мистицизм». В этот термин он вкладывает представление о подлинном, и даже разрушительном пафосе, не нашедшем идейной формы, определяемом лирикой и настроением. «Принимаю упрек *Чулкова* в „анархическом мистицизме".— но сам-то он что? Раз не покаялся,— ничего не сказал, все даром, мимо»,— записал Блок 30 декабря 1908 г. после прений по поводу «Стихии и культуры» (ЗК, 128). «Ответы» Чулкова не удовлетворили Блока и на этот раз, а проявленная оппонентами, и Чулковым в их числе, нечуткость к его магистральной мысли о наступающем кризисе, о том, что «в сердце нашем уже отклонилась стрелка сейсмографа» (V, 359), стимулировала пробуждение у поэта мрачных настроений, ощущение полного одиночества. «Отвратительно. Один. 〈...〉 Тошно»,— эти краткие фразы в записной книжке обрамляют описание прений 30 декабря (ЗК, 128).

В 1909 г. начинается новый этап в жизни и творческой эволюции Блока, отчетливо противопоставленный предыдущему [89]. Характерные его черты — отказ от порываний к «общественности», усилившееся преклонение перед искусством и новое — кратковременное — исповедание «заветов» символизма, тяготение к духовной уединенности и «строгости» жизненного уклада. Непосредственным образом эти сдвиги в мироощущении Блока отразились на его отношениях с Чулковым. Последний превращается в сознании Блока в своеобразный знак уже пережитой им эпохи, в символ собственной «неверности» незыблемому идеалу. Даже

в пору своей вовлеченности в «мистико-анархическую» атмосферу Блок отдавал себе отчет в том, что эти настроения имеют наносный и преходящий характер: «...все это — не подлинный я» [90] (аналогичные слова произносит Герт Гребневу в чулковском «Парадизе»). В 1910 г. Блок уже настойчиво противопоставляет себя представлениям Чулкова о его внутреннем мире, оставшимся неизменными. В письме к Андрею Белому от 22 октября 1910 г. он заявляет: «...многие ⟨...⟩ считают моей истинной природой неверность, противоречивость; например — Чулков; но я не считаю этого правильным ⟨...⟩» (VIII, 318) [91]. Стремление восстановить свою «истинную природу» заставляет Блока отдаляться от Чулкова, сознательно избегать его влияния. Характеризуя осень 1909 г.— переходный период в своей внутренней биографии, Блок даже изобрел любопытный термин: «дочулковыванье жизни» [92]. Примечательна и дарственная надпись на втором издании «Стихов о Прекрасной Даме» (май 1911 г.), в которой Блок предлагает Чулкову «узнать и эту, лучшую часть моей души» [93]. В жизни Блока Чулков был одним из спутников, посвященных только в ту часть его души, которая выразилась в «Балаганчике», «Снежной маске» и других произведениях «критического» периода — периода «антитезы», переоценки ценностей. Характерно, что Чулков и позднее воспринимал поэта исключительно в той ипостаси, которая раскрылась ему своими интимными сторонами в 1906—1908 гг.; причастность «декадентству» и бессознательное исповедание «анархического мистицизма», по убеждению Чулкова,— неотъемлемые и неистребимые черты творческого облика Блока [94].

С формальной стороны отношения Блока и Чулкова не изменились. Встречи продолжались, хотя и стали гораздо более редкими и внешними, а потом эпизодическими (из-за продолжительного пребывания Чулкова в Москве и за границей). Однако в сознании Блока уже в 1909 г. произошло перемещение Чулкова в разряд «мнимых друзей»; задача Блока, как он ее сам себе формулирует,— жить и писать «без Чулкова, без модных барышень и альманашников, без благотворительных лекций и вечеров ⟨...⟩» [95]. Связь в этой записи имени Чулкова с лекциями и «альманашниками» выявляет дополнительный негативный аспект в его личности, который выдвинулся на первый план и стал особенно раздражать Блока: завербованность Чулкова литературной повседневностью и суетой, его организаторская активность, деловитость, порой воспринимаемая как делячество. Показательно при этом, что Чулков оказывается далек от всех литературных начинаний, в которых участвует Блок в первой половине 1910-х годов. Если раньше резкие отзывы о Чулкове были у Блока эпизодическими, то теперь это имя возникает под его пером чаще всего в отрицательном смысле и превращается даже в некое мерило недостатков: в романе Л. Андреева «Сашка Жегулев» «такая неприятная неправда, надоедливо разит Чулковым» (18 декабря 1911 г.; VII, 103); стихи Вл. Пяста напоминают Чулкова «неприятной банальностью приема» (28 октября 1912 г.; VII, 171); в резком отзыве о Мейерхольде последний наречен «вторым Чулковым» (29 апреля 1913 г.; VIII, 419). Апогей этих настроений — запись Блока от 26 декабря 1911 г.: «Дай господи ⟨...⟩ чтобы этот Георгий Чулков окончательно отвалился от меня — со всеми своими достоинствами, не только с недостатками» (VII, 109). Прежняя теплота в отношениях воскресает только в тех случаях, когда Чулков вызывает у Блока чисто человеческий интерес и сочувствие, в связи со своей болезнью (в 1912 г. у него был обнаружен туберкулез) или житейскими неурядицами. Описывая матери 14 февраля 1911 г. проведенный вместе с Чулковым день, Блок заключает: «Когда он уходил, я почувствовал вдруг, что он бесконечно несчастен и болен, и мне стало остро жаль его» (VIII, 329).

Идейно и литературно Блок и Чулков в 1910-е годы также двигались в разные стороны. Чулков (к этому времени уже преодолевший свой «мистический анархизм») стал предпринимать опыты обоснования символизма как целостного религиозно-философского и эстетического миросозерцания, вместе с Вяч. Ивановым и Ф. Сологубом стремился сплотить символистские литературные силы под единым знаменем; Блок в 1914 г., когда с особенной активностью предпринимались эти попытки, уже старался выйти из рамок «направления» и относился к символистской проповеди с полным равнодушием (см. п. 33). Бесконечно далек был Блок и от той формы мистического национализма, которую стал пропагандировать Чулков после начала мировой войны. Придя к пониманию германского империализма как воплощения всех гибельных, антигуманных сил современной цивилизации, Чулков уверил себя в мессианской роли России и в священном религиозном значении войны, якобы способствующей осуществлению богочеловеческих целей: «Мы все видим теперь Светлую Россию. Это она встала на защиту свободы и правды вселенской» [96]. Этим убеждениям Чулков остался верен

и после Февральской революции, которую он встретил с большим воодушевлением. В публицистическом журнале «Народоправство», выходившем в Москве в 1917—1918 гг. под его редакцией, Чулков немало сил приложил, для того чтобы обосновать необходимость продолжения борьбы с германским гегемонизмом и дать отпор «предательским» идеям интернационализма: «...пока прусский король мечтает править миром, народы не свернут своих красных знамен и будут защищать свободу и честь Европы» [97].

Со всей отчетливостью идейное противостояние Блока и Чулкова обнаружило себя после Октябрьской революции. В. Н. Орлов высказал правдоподобное предположение о том, что в поэме «Двенадцать» образ «писателя — витии», сетующего о гибели страны («Предатели! Погибла Россия!»), мог быть навеян Чулковым и его статьями в «Народоправстве», в частности статьей «Метель», опубликованной в начале января 1918 г.[98] Действительно, в словах «витии» сконцентрирован основной пафос чулковских публицистических выступлений в «Народоправстве». Немаловажно также, что революция в статье «Метель» символизируется Чулковым, как и позднее в поэме Блока, образом вьюги — правда, в противоположном семантическом ореоле: «Налетели бесы с визгом и воем, навалили сугробы снега, смешали его с уличной грязью, и в мутной метели исчезла строгая красавица, пропала во мгле, туманной и снежной» [99]. Блок мог обратить особое внимание на эту аналогию в дни, когда он вынашивал замысел «Двенадцати».

На статью Блока «Интеллигенция и революция» Чулков откликнулся в «Народоправстве» статьей «Красный призрак». В отношении поэта к Октябрьской революции он, на свой привычный лад, разглядел лишь проявление его «анархического мистицизма» и «безответственного лиризма», предполагающих готовность погружаться в «мутный хаос» и с равным упоением внимать симфонии и какофонии. Не зная и не понимая нового Блока, Чулков предпочел сохранить верность прежнему, неподвижному представлению о нем. Он воздержался от резких выпадов и обвинений по адресу Блока и заключил свои рассуждения в примирительной тональности: «Александр Блок — романтик и лирик. Бог простит ему его заблуждение» [100]. Блок иронически отозвался на эти слова: «Номер „Народоправства“ (23/24): Г. Чулков „прощает“ меня за статью „Интеллигенция и революция“» [101]. Примирительной укоризной проникнуто и обращенное к Блоку стихотворение Чулкова «Да, мы убоги, нищи, жалки...», датированное 30 августа 1920 г.[102]

В последние годы жизни Блока его отношения с Чулковым нового развития не получили. Чулков по-прежнему жил в Москве, где, оставив публицистику, продолжал активно заниматься литературой и историко-литературными изысканиями. Блок виделся с ним в оба свои приезда в Москву, в мае 1920 г. и в начале мая 1921 г. (см. ЗК, 418). Встречи их проходили под знаком воспоминаний о давно пережитом вместе, о той поре их наибольшей близости, которая в творческой биографии Блока отмечена созданием второго тома собрания стихотворений. «...За год до своей смерти,— пишет Чулков,— Блок снова искал со мной дружеской встречи, и у нас состоялось в Москве свидание вовсе небезразличное. И он опять цитировал когда-то полюбившиеся ему мои стихи» [103].

Из выявленных до настоящего времени 61 письма Блока к Чулкову [104] 46 писем были впервые опубликованы самим Чулковым в сборнике «Письма Александра Блока» (с. 121—150) и в книге его воспоминаний «Годы странствий» (с. 360—382); 4 письма были впервые опубликованы в Собрании сочинений Блока в 8-ми томах (VIII, 132, 255, 259—260, 402), 4 кратких записки — в издании: «Александр Блок. Переписка. Аннотированный каталог». Вып. 1. Письма Александра Блока. М., 1975, с. 401—403 [105]. Остальные семь писем включены в настоящую публикацию.

Письма Блока к Чулкову от 8 декабря 1907 г., 17 марта 1915 г. и 9 ноября 1915 г. печатаются по автографам, хранящимся в архиве Чулкова в ЦГАЛИ (ф. 548, оп. 1, ед. хр. 300, л. 1, 11, 13); письмо Блока к Чулкову от 21 декабря 1909 г.— по автографу, хранящемуся в архиве Чулкова в Отделе рукописей ГБЛ (ф. 371, карт. 2, ед. хр. 56, л. 32); письмо Блока к Чулкову от 16/29 мая 1911 г.— по автографу, хранящемуся в архиве поэта-орловца Евгения Сокола (Е. Г. Соколова; 1892—1939) в Гос. музее И. С. Тургенева в Орле (ОГМТ, ф. 40, ед. хр. 11365),— письмо выявлено и любезно предоставлено для публикации А. И. Понятовским, которому выражаем глубокую благодарность; письма Блока к Чулкову от 27 февраля и 24 марта 1916 г.— по автографам, хранящимся в архиве Чулкова в Отделе рукописей ИМЛИ (ф. 36, оп. 3, ед. хр. 6) [106].

33 письма Г. И. Чулкова к Блоку печатаются по автографам, хранящимся в архиве Блока в ЦГАЛИ (ф. 55, оп. 1, ед. хр. 455). В публикацию не включены две краткие записки Чулкова к Блоку, воспроизведенные в издании: «Александр Блок. Переписка. Аннотированный каталог». Вып. 2. Письма к Александру Блоку. М., 1979, с. 480, 486.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] М. В. Добужинский. Воспоминания, т. 1. Нью-Йорк, 1976, с. 379.

[2] «Слово», 1909, № 750, 28 марта.

[3] См.: «Письма Александра Блока со вступительными статьями и примечаниями С. М. Соловьева, Г. И. Чулкова, А. Д. Скалдина и В. Н. Княжнина». Л., «Колос», 1925, с. 93. В этом издании Чулков опубликовал значительную часть писем Блока к нему. В дальнейшем — сокращенно: «Письма Александра Блока», с указанием страницы.

[4] Георгий Чулков. Годы странствий. Из книги воспоминаний. М., «Федерация», 1930, с. 168.

[5] Там же, с. 198.

[6] Н. Чулкова. Воспоминания о Блоке.— В кн.: «А. Блок и современность». М., 1981, с. 338.

[7] «Письма Ал. Блока», с. 109. О том, что Чулков сообщал Блоку различные сведения о ходе революционных событий, свидетельствует сам Блок в письме к матери от 29 августа 1905 г.: «...долго говорил с Чулковым обо всем, кроме «дела» <...> Узнал много о наших литераторах и о здешней революции» («Письма к родным», I, с. 139).

[8] «Письма Ал. Блока», с. 91—92.

[9] Там же, с. 121. Приглашением Блока в Шахматово Чулков не воспользовался. А. Н. Шмидт во время своего пребывания в Шахматове 12—13 мая 1904 г. сообщала Блоку, что туда же собирается приехать Чулков; ср. запись Блока: «Чулков приедет на днях (половина мая)» (ЗК, 64).

[10] «Вопросы жизни», 1905, № 6, с. 253.

[11] «Письма Ал. Блока», с. 93.

[12] См.: Д. Максимов. Ал. Блок и Вл. Соловьев (по материалам из библиотеки Ал. Блока).— В кн.: «Творчество писателя и литературный процесс». Межвузовский сборник научных трудов. Иваново, 1981, с. 187.

[13] «Письма Ал. Блока», с. 96—97. Не исключено, что в первых строках стихотворения Блока, посвященного Чулкову (июнь 1905 г.): «Не строй жилищ у речных излучин,// Где шумной жизни заметен рост» — определенным образом проявилось отношение поэта к «литератору»; «шумной жизни» в стихотворении противопоставляются иные ценности — участь тихая, «как рассказ вечерний», «молчанье», «спокойных дум простота»:

Ты иди себе, молча, к какой хочешь вечерне,
Где душа твоя просит, там молись. (II, 65)

[14] «Письма к родным», I, с. 139.

[15] Там же, с. 147.

[16] Георгий Чулков. Наши спутники. 1912—1922. М., 1922, с. 87.

[17] «Письма Ал. Блока», с. 97.

[18] Там же, с. 109—110.

[19] Так, в рецензии на «Альманах к-ва „Гриф"» (М., 1905) Чулков, характеризуя помещенный в нем цикл стихотворений Блока «Город», подчеркивает новизну в блоковской трактовке урбанистической темы по отношению к признанным мастерам — Верхарну и Брюсову: «...это не тот город, который волновал Эмиля Верхарна и Валерия Брюсова: у Александра Блока нет сгущенного реализма и сочных золотых и темнозеленых тонов, характерных для гениального певца городов-пожирателей и для нашего русского поэта-скептика, который так талантливо воспользовался палитрой Верхарна. Поэзия Блока *призрачна и прозрачна*» («Вопросы жизни», 1905, № 2, с. 318).

[20] См. письмо Чулкова к Андрею Белому от 4 октября 1905 г. (ЛН, т. 92, кн. 3, с. 230).

[21] ГБЛ, ф. 386, карт. 107, ед. хр. 46.

[22] Там же.

[23] ЦГАЛИ, ф. 548, оп. 1, ед. хр. 13. Журнал «Факелы» задумывался по программе: 1) беллетристика, 2) художественные репродукции, 3) философия и религия, 4) хроника культурной жизни, 5) критика и библиография, 6) общественность и политика; периодичность — два раза в месяц.

[24] Георгий Чулков. Театр-студия.— «Вопросы жизни», 1905, № 9, с. 248, 247.

[25] З. Г. Минц. А. Блок в полемике с Мережковскими.— «Блоковский сб.», 4, с. 157.

[26] Георгий Чулков. Из истории «Балаганчика».— «Культура театра», 1921, № 7—8, с. 21.

[27] Георгий Чулков. Годы странствий, с. 222; К. Рудницкий. В театре на Офицерской.— В кн.: «Творческое наследие В. Э. Мейерхольда». М., 1978, с. 170.

[28] В. Э. Мейерхольд. Статьи, письма, речи, беседы, ч. 1. М., 1968, с. 232.

[29] Георгий Чулков. Годы странствий, с. 221.

[30] Георгий Чулков. Наши спутники, с. 54. 18 декабря 1906 г. Мейерхольд писал Блоку после одной из репетиций: «Г. И. Чулкову очень понравился „Балаганчик" даже

в том еще сыром виде, в каком был он на сцене сегодня» (В. Э. Мейерхольд. Переписка. 1896—1939. М., 1976, с. 81). В печатных отзывах о постановке Чулков, впрочем, упоминал и о ее несовершенствах, о «торопливости, которая чувствуется в руке режиссера» (Георгий Чулков. «Балаганчик». По поводу постановки пьесы Блока в театре В. Ф. Комиссаржевской.— «Перевал», № 4, 1907, февраль, с. 52).

[31] Первый отзыв о премьере «Балаганчика» Чулков дал в рецензии, помещенной в газете «Товарищ» (1907, № 154, 1 января, с. 6; подпись: Tch.); см. также письмо Чулкова к жене от 31 декабря 1906 г. (ЛН, т. 92, кн. 3, с. 264—265). Вынужденную краткость и строгую информативность этого отзыва сам Чулков объясняет следующим образом: «Редакция газеты, в которой я писал тогда театральные рецензии, отказалась на другой день поместить мою статью, благоприятную и для Блока и для режиссера, ссылаясь на то, что я слишком близко стою к поэту и к театру и потому пристрастен в моей оценке» (Георгий Чулков. Из истории «Балаганчика», с. 20).

[32] Георгий Чулков. О новом театре. (По поводу новых постановок в театре В. Ф. Комиссаржевской).— «Молодая жизнь», 1906, № 4, 27 декабря. Ср. запись Блока: «Статья Г. И. Чулкова о Метерлинке и мне в „Молодой жизни“ (№ 4)» (ЗК, 87).

[33] Ср.: Т. М. Родина. Александр Блок и русский театр начала XX века. М., 1972, с. 142.

[34] Георгий Чулков. «Балаганчик». По поводу постановки в театре В. Ф. Комиссаржевской.— «Перевал», № 4, 1907, февраль, с. 53.

[35] «Письма Ал. Блока», с. 134.

[36] Георгий Чулков. Красный призрак. Листки из дневника.— «Народоправство», 1918, № 23—24, 1 февраля, с. 14.

[37] «Письма Ал. Блока», с. 110. Начиная с 1910-х годов Чулков всемерно стремился умалить значение своей брошюры «О мистическом анархизме», из всех его произведений получившей наибольший общественный резонанс («...эта тема вовсе не определяет моего литературного лица: у меня, слава богу, есть девятнадцать книг, и моя брошюра лишь малый эпизод в истории моей жизни»,— писал он С. А. Венгерову 23 января 1918 г. в ответ на его вопрос, касающийся «мистического анархизма».— ГБЛ, ф. 371, карт. 2, ед. хр. 8), а впоследствии старался развенчать «мистико-анархические» идеи с точки зрения христианской догматики (см. его письмо к Н. Г. Чулковой от 6 января 1935 г.— ГБЛ, ф. 371, карт. 2, ед. хр. 31).

[38] Д. Максимов. Поэзия и проза Ал. Блока. Л., 1981, с. 220.

[39] См.: Е. Л. Белькинд. Блок и Вячеслав Иванов.— «Блоковский сб.», 2, с. 365—368; З. Г. Минц. А. Блок и В. Иванов.— В кн.: «Единство и изменчивость историко-литературного процесса». (Уч. зап. Тартуского гос. ун-та, вып. 604). Тарту, 1982, с. 103—107; «Из переписки Александра Блока с Вяч. Ивановым». Публикация Н. В. Котрелева.— «Известия АН СССР. Серия литературы и языка», 1982, т. LX, № 2, с. 163—168.

[40] «Вопросы жизни», 1905, № 6, с. 257—258 (рецензия Чулкова на альманахи «Северные цветы»).

[41] Г. Чулков. Из текущей литературы. Валерий Брюсов. I. Венок. Стихи. 1903—1905 г.— «Наша жизнь». Литературно-научное приложение, 1906, № 1-2, 15 января, с. 6.

[42] Георгий Чулков. Молодая поэзия.— «Товарищ», 1907, № 337, 5 августа. Притягивание Чулковым Блока к своим теоретическим выкладкам вызывало ироническую реакцию у современников. Характерна пародия А. А. Измайлова на Чулкова и его «мистико-анархический» пропагандистский курс: «Мистический анархизм!.. Анархический мистицизм!.. Александр Блок!.. Александр Блок!.. Дайте попочке сахару!.. Неприятие мира... Нетленная красота... Соборный индивидуализм!.. Внутренний кризис!.. Внутренний кризис!.. Александррр Блок, Александр Блок, Александррр Блокк!.. Мейерхольд!..», и т. д. («Незлобивые пародии». Стихи, беллетристика, критика. Собрал Авель. ‹Одесса, 1909›, с. 128).

[43] Георгий Чулков. О мистическом анархизме. Со вступительной статьей Вячеслава Иванова «О неприятии мира». СПб., «Факелы», 1906, с. 28.

[44] Экземпляр книги сохранился в библиотеке Блока (ИРЛИ) с надписью: «Александру Блоку в знак любви — Георгий Чулков».

[45] П. П. Громов в работе «Трилогия лирических драм 1906 г.» развивает мысль о том, что в образах заговорщиков в пьесе «Король на площади» отразилось представление Блока о «мистическом анархизме» (см.: Павел Громов. Герой и время. Статьи о литературе и театре. Л., 1961, с. 477—478). Однако в тексте пьесы и в репликах заговорщиков трудно обнаружить какие-либо непосредственные соответствия именно с доктриной Чулкова, не говоря уже о том, что отвлеченная символико-аллегорическая образность этого произведения Блока в принципе противодействует изысканию конкретных аналогий и прототипов подобного рода.

[46] Ср.: Вл. Орлов. Пути и судьбы. Литературные очерки. Л., 1971, с. 572—573.

[47] «Письма Ал. Блока», с. 110. Как знак «отступления» Блока от «мистического анархизма» можно расценивать его намерение не участвовать в чулковском альманахе «Факелы». «Отказался от участия в 3-й книге „Факелов“ ‹...›,— сообщал Блок матери 28 сентября 1907 г.— Хулиганства больше нет, чулковские попытки тщетны» (VIII, 210—211). Однако затем Блок все же передал для публикации в 3-й книге «Факелов» стихотворный цикл «Вольные мысли».

[48] «Блоковский сб.», 1, с. 416. «Тата» — Т. Н. Гиппиус, сестра З. Н. Гиппиус. Ср.: Вл. Орлов. Гамаюн. Жизнь Александра Блока. Л., 1978, с. 316—317.

[49] См. дневниковые записи М. А. Бекетовой от 4, 8 и 15 февраля 1907 г. (ЛН, т. 92, кн. 3, с. 622) и дневник В. А. Щеголевой (там же, с. 851). В своих воспоминаниях Л. Д. Блок так описывает характер своих отношений с Чулковым: «Мой партнер этой зимы, первая моя фантастическая «измена» в общепринятом смысле слова, наверно, вспоминает с неменьшим удовольствием, чем я, нашу нетягостную любовную игру. О, все было, и слезы, и театральный мой приход к его жене, и сцена à la Dostoievsky. Но из этого ничего не получилось, так как трезвая жена в нашу игру не входила и с удивлением пережидала, когда мы проснемся, когда ее верный, по существу, муж бросит маскарадную маску. Но мы безудержно летели в общем хороводе: «бег саней», «медвежья полость», «догоревшие хрустали», какой-то излюбленный всеми нами ресторанчик на островах с его немыслимыми, вульгарными «отдельными кабинетами» (это-то и было заманчиво) и легкость, легкость, легкость... Георгий Иванович, кроме того, обладал драгоценным чувством юмора, который очень верно удерживал нас от всякого „пересола“» (Л. Д. Блок. Были и небылицы о Блоке и обо мне. ЦГАЛИ. Частично опубл.: ЛН, т. 89).

Характерно, что и Чулков, подобно Любови Дмитриевне, воспринимал свои отношения с ней в магической образной тональности блоковских стихов. Об этом свидетельствует эпизод в его повести «Слепые» (впервые опубликована в № 11 «Вестника Европы» за 1910 г.), обнаруживающий аналогии со строками стихотворения Блока «На островах»:

Вновь оснеженные колонны,
Елагин мост и два огня.
И голос женщины влюбленный.
И хруст песка и храп коня.

Две тени, слитых в поцелуе,
Летят у полости саней.
Но не таясь и не ревнуя,
Я с этой новой — с пленной — с ней.

Да, есть печальная услада
В том, что любовь пройдет, как снег.
О, разве, разве клясться надо
В старинной верности навек?

(II, 20; стихотворение, написанное 22 ноября 1909 г., было впервые опубликовано в «Аль манахе для всех» (кн. 2. СПб., 1911, с. 7—8), но могло быть известно Чулкову в рукописи или устном исполнении). В повести Чулкова «Слепые» главный герой, художник Лунин (персонаж, во многом близкий самому автору), встречается с Любовью Николаевной Бешметьевой, женой его знакомого графа Бешметьева:

«— Нет, не все проходит,— как-то особенно серьезно и значительно прошептала Любовь Николаевна: — любовь не проходит. А вы? Вы могли бы влюбиться, Борис Андреевич?

Лунин посмотрел в пьяные и томные глаза Любови Николаевны, на ее нежные губы и неожиданно для себя сказал:

— Да.

Когда они вышли из клуба, мартовский влажный ветер обвеял их горячие лица. Любовь Николаевна теперь не смеялась.

— Я не хочу домой,— капризно сказала она, прижимаясь к плечу Лунина: — я хочу на Острова...

На Каменноостровском она торопила извозчика:

— Скорей! Скорей!

Неожиданно она запрокинула голову.

— Милый! Милый! Целуй!

Лунин покорно прижал свои холодные губы к ее тоже холодным губам.

— Мы мертвые,— прошептала в ужасе Любовь Николаевна». (Георгий Чулков. Соч., т. 3. Повести и рассказы. СПб., «Шиповник», (1911), с. 74). Этот эпизод в повести «Слепые» — не единственный, имеющий прямые биографические соответствия. Сближение Лунина и Любови Николаевны происходит в ночь, когда умер ее отец,— отношения Чулкова и Л. Д. Блок завязались в январе 1907 г., а 20 января скончался Д. И. Менделеев; муж Любови Николаевны граф Бешметьев общается с Кларой, «высокой женщиной с бледным овальным лицом и злыми красивыми глазами» (отзвук отношений Блока и Волоховой); Лунин и Бешметьев встречаются и выпивают в кафе-шантане «Аполло» — месте, регулярно посещавшемся Блоком и Чулковым (см. п. 7), и т. д.

Любопытно, что автобиографические реминисценции, связанные с повестью «Слепые», возникают у Чулкова много лет спустя, когда он описывает встречу с Л. Д. Блок на вечере памяти Ф. Сологуба в Ленинграде 1 февраля 1928 г.: «На Сологубовском вечере была Л. Д. Блок (...) Она сказала: «Двадцать один год тому назад, в этот самый день, мы ехали с Вами ночью мимо дома моего отца, когда он умирал». Сказала и заплакала. Все мы несчастные и слепые» (письмо к Н. Г. Чулковой от 2 февраля 1928 г.— ЦГАЛИ, ф. 548, оп. 1, ед. хр. 482).

[50] «Белые ночи. Петербургский альманах». СПб., 1907, с. 67.

[51] Георгий Чулков. Александр Блок и его время.— «Письма Ал. Блока», с. 119.

[52] См. вступительную статью З. Г. Минц к переписке Блока с Вл. Пястом (ЛН, т. 92, кн. 2, с. 177).

[53] «Письма Ал. Блока», с. 115.

[54] ЛН, т. 92, кн. 3, с. 338.

[55] См.: З. Г. Минц. А. Блок в полемике с Мережковскими.— «Блоковский сб.», 4, с. 160, 162.

[56] Стихотворение «Гагара» было опубликовано в кн.: Георгий Чулков. Весною на север. Лирика. ⟨СПб.⟩, «Факелы», 1908, с. 83. 11 ноября 1906 г. Блок писал Чулкову: «Не позволите ли Вы мне цитировать стих. с гагарой на шесте в статье, которую я пишу? Очень бы нужно. Если позволите, пришлите его ⟨...⟩» («Письма Александра Блока», с. 136). В тот же день Чулков выслал Блоку автограф стихотворения (см.: «Александр Блок. Переписка. Аннотированный каталог». Вып. 2, с. 480—481). В письме от 6 августа 1907 г. к Андрею Белому, намекавшему в отзыве об альманахе «Цветник Ор» («Весы», 1907, № 6, с. 68—69) на сходство образа «светловзора» из статьи «Девушка розовой калитки и муравьиный царь» с Чулковым, Блок отрицал связь этого образа с автором «Гагары»: «Уже не думал ли Ты, что я *его* называю „светловзором"?» (VIII, 189). Однако, кроме Чулкова, другого человека в кругу знакомых Блока, который «провел несколько лет в Сибири, среди тайги, в центре шаманства», как сообщается о «светловзоре» (V, 93), насколько известно, не было. Скорее всего образ «светловзора» в статье — вымышленный, условно-поэтический, но для его создания Блок воспользовался деталями биографии Чулкова, а также впечатлениями, почерпнутыми из его рассказов о тайге и шаманстве.

[57] Георгий Чулков. Весною на север, с. 71—75. Посвящение было сохранено при переиздании поэмы в кн.: Георгий Чулков. Соч., т. 4. Стихи и драмы. СПб., «Шиповник», ⟨1911⟩, с. 17.

[58] Письмо от 3 ноября 1907 г.— «Письма Ал. Блока», с. 139. Книга «Весною на север» сохранилась в библиотеке Блока в ИРЛИ; надпись: «Александру Блоку Георгий Чулков. 1907».

[59] Георгий Чулков. Тайга. Драма. СПб., «Оры», 1907. Экземпляр книги имеется в библиотеке Блока (ИРЛИ), надпись: «Александру Блоку „светлейшему принцу" в знак любви Георгий Чулков. 18 апреля 1907 г.».

[60] «Письма Ал. Блока», с. 150. «Феклуша» — рассказ Чулкова, опубликованный в журнале «Новое слово» (1910, № 5, с. 43—45), а также в газете «Биржевые ведомости» (1910, № 11693, 3 мая), вошел в 3-й том «Сочинений» Чулкова. Уже после выхода в свет «Дневника» Блока (т. 1—2. Л., 1928), содержавшего целый ряд негативных оценок Чулкова в записях 1910-х годов, последний подчеркивал, что Блок, тем не менее, признавал его творческие завоевания. 2 февраля 1935 г. Чулков записал: «Я медленно развивался и созревал как писатель. И почерк мой установился и окреп довольно поздно. Александр Блок, который (несмотря на брань в дневнике) признавал меня поэтом, не успел, однако, прочесть того, что я считаю наиболее удачным и совершенным. Даже стихов, изданных в 1922 г., Блок не знал. Удивительно не то, что он меня бранил в дневнике, а удивительно, что он все-таки признавал меня «в кредит». В сущности я стал настоящим писателем после Октябрьской революции, а у меня репутация дореволюционного литератора» (Г. И. Чулков. Откровенные мысли.— ГБЛ, ф. 371, карт. 2, ед. хр. 1, л. 9—9 об.).

[61] Георгий Чулков. Покрывало Изиды. Критические очерки. М., 1909, с. 85, 86.

[62] Там же, с. 87.

[63] Там же, с. 88—89.

[64] 4 мая 1908 г. Блок читал первую редакцию «Песни Судьбы» на квартире у Чулкова (см. письмо Блока к матери от 3 мая 1908 г.— VIII, 240). Отношение Чулкова к этой пьесе Блока было достаточно сдержанным. В статье «О лирической трагедии» («Золотое руно», 1909, № 11—12) «Песня Судьбы», наряду со «Слепыми» М. Метерлинка, рассматривается им как образчик лирической драмы, лишенной подлинно сценического действия и не открывающей путей для будущего театра: «„Les Aveugles" Мэтерлинка или „Песня Судьбы" Александра Блока — вот воистину мир, лишенный плоти и жизни, мир теней и мечтаний, театр неподвижный, чуждый событиям. Как литературные произведения прекрасны, быть может, эти лирические драмы Блока и Мэтерлинка, но как театр они не существуют. Лирика настолько преобладает в этих пьесах, что они теряют драматургическую форму, как бы растворяются в поэтической влаге, становятся аморфными и бездейственными» (Георгий Чулков. Соч., т. 5. Статьи 1905—1911 гг. СПб., «Шиповник», 1912, с. 223). Далеко не во всем принимал Чулков и критические опыты Блока (в этом, безусловно, проявлялась реакция на отмежевание поэта от «мистико-анархических» построений). В статье «Около быта» («В мире искусств», 1908, № 6-7) Чулков противопоставляет Блока — «безумного лирика и высокого поэта» — Блоку, «который пишет не всегда складные теоретические статьи и „письма в редакцию"» (Георгий Чулков. Покрывало Изиды, с. 113).

[65] Павел Громов. Герой и время, с. 515.

[66] Примечания Вл. Орлова в кн.: Александр Блок. Собр. соч. в 6-ти томах, т. 3. М., 1981, с. 430.

[67] «Письма Ал. Блока», с. 116. См. также два шуточных стихотворных экспромта Блока, относящихся к этой сфере его отношений с Чулковым,— «Чулков и я стрелой амура...» и «Чулков „Одною ночью" занят...» (II, 362—363).

[68] ЛН, т. 89, с. 206.

[69] Георгий Чулков. Соч., т. 1. Рассказы, кн. 1, СПб, «Шиповник», ⟨1911⟩, с. 158. Отзыв Блока об «Архивариусе» см. в прим. 7 к п. 16. Отметим попутно, что рассказ Чулкова был не единственным произведением тех лет, генетически связанным с «Вольными мыслями». В частности, поэту В. А. Юнгеру (члену «Кружка молодых», другу С. Городецкого и знакомому Блока) принадлежит стихотворение «Отплытие», написанное под отчетливым воздействием сюжета и образно-стилевой структуры блоковского стихотворения «В северном море». «Отплытию» Юнгера предпослана помета: «Терионы. Посв. „Лорне-Дун"» (название яхты); опи-

сывается в нем, таким образом, северо-восточное побережье Финского залива, как и в стихотворении Блока («Сестрорецкий курорт»):

Мы в море сумрака, в невнятном лунном мире.
Чуть зыблется пустынное стекло.
Лениво вспыхивает яркое весло.
То три, то две, потом опять четыре
Луны качаются у самых ног. Маяк
Сигарным огоньком посвечивает в мрак.
Двух-трех матросов сонные фигуры...
Шаги во тьме и чей-то голос хмурый...
И все мостки, и стадо сонных яхт.
И целый лес снастей, и шорох на мостках...
Потом протяжный крик «дежурный», и проворно,
Как льдина призрачна, едва озарена,
Восстав крылом огромным полотна,
Пошла на взморье царственная «Лорна».
Волна загорбилась, завилась у руля...
Прости, тяжелая земля!..

(Владимир Ю н г е р. Песни полей и комнат. (1911—1913). СПб., «Цех поэтов», 1914, с. 31.)

[70] К. Чуковский в статье «Третий сорт» («Весы», 1908, № 1) язвительно замечает, что чулковский шаман (подразумевается поэма «Шаман» из книги Чулкова «Весною на север») «похож на Александра Блока» (см.: Корней Ч у к о в с к и й. Собр. соч. в 6-ти томах, т. 6. М., 1969, с. 69). Ю. Н. Верховский, в целом благожелательно отнесшийся к сборнику «Весною на север», указывал в рецензии: «...всего слышнее отзвуки Александра Блока. Они заметны в большой части книги и прежде всего — в фактуре стиха, в причудливой музыке и в намеренной асимметрии и стихов и строф» («Слово», 1908, № 473, 3 июня).

[71] Георгий Ч у л к о в. Соч., т. 6. Рассказы и повести. СПб., «Шиповник», (1912), с. 95—96, 103. Неопределенные медитации Туманова («сны наяву») также обнаруживают связь с образностью блоковской лирики. Наблюдения за туманной завесой на берегу Лены — «голубой мглой, завесившей один из ближайших островов» — порождают у героя «воспоминание об одном гробе»: «...несколько мгновений он был уверен, что за этою завесою таится нечто небывалое, что надо спешить туда, что можно еще спасти кого-то, кто погибает сейчас. Ему представилось, наконец, что там стоит гроб, а *в гробу спит девушка и надо разбудить ее*» (там же, с. 53). Ср. стихотворение Блока «Вот он — ряд гробовых ступеней...» (1904):

Ты покоишься в белом гробу.
Ты с улыбкой зовешь: не буди (...)
Я отпраздновал светлую смерть,
Прикоснувшись к руке восковой,
Остальное — бездонная твердь
Схоронила во мгле голубой.

(I, 323)

[72] См.: Георгий Ч у л к о в. Люди в тумане. Книга рассказов. М., «Северные дни», 1916, с. 151—166.

[73] Там же, с. 101—118.

[74] О «содружестве одиноких» подробнее см.: А. А. Б л о к. Письма к Конст. Эрбергу (К. А. Сюннербергу). Публикация С. С. Гречишкина и А. В. Лаврова.— В кн.: «Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1977 год». Л., 1979, с. 152—153. «Очень много и важно говорили»,— сообщал Блок матери 24 ноября 1908 г. о визите участников «содружества» А. С. Андреева и М. Либерсон («курсистки»), которые «третьего дня» провели у него «целый день» («Письма к родным», I, с. 235). Блок пытался заинтересовать «одинокими» З. Н. Гиппиус, которая в письме к нему от 11 декабря 1908 г. дала резкую отповедь наивным притязаниям кружка (см.: З. Г. М и н ц. А. Блок в полемике с Мережковскими, с. 165—167). Скептической, хотя и не столь непримиримой, была и реакция Чулкова, который описал встречу у Блока с «симпатично-наивными борцами с одиночеством» в очерке «Самоубийцы» («Речь», 1912, № 64, 6 марта):

«Года два тому назад к одному петербургскому литератору, у которого я в то время был в гостях, пришли студент и курсистка (видимо, имеются в виду А. С. Андреев и Мария Либерсон.— *А. Л.*). Они просили этого литератора принять участие в каком-то „обществе борьбы с одиночеством". Мы разговорились. Но как я ни старался выяснить, что эти молодые люди разумеют под одиночеством, выходило что-то неопределенное, и даже как-то по-детски наивное, но в то же время я видел, что эти „борцы с одиночеством" по-настоящему взволнованы своим делом. Они не раз упоминали о том, что были в их среде случаи самоубийства от одиночества.

— Как же с этим бороться? — спрашивал я.

А надо интимнее общаться друг с другом. Все члены общества должны иметь возможность во всякое время навещать друг друга.

— А если у меня нет подходящего настроения, чтобы общаться?

— Этого не должно быть. Вот один товарищ пошел в гости, а его не приняли. Он к дру-

гому пошел, тому тоже было некогда. И третий тоже был занят... Товарищу стало очень скучно. Он и отравился.

Я только руками развел. И смешно мне было, и грустно чрезвычайно». (Георгий Чулков. Вчера и сегодня. Очерки. М., «Северные дни», 1916, с. 62—63).

В романе «Сережа Нестроев» сходная проповедь вложена в уста гимназистки Васильковской, произносящей ее на «сходке» в доме «радикального» гимназиста Грюнвальда; в утрированно-шаржированном виде Чулков излагает идеи «кружка одиноких» и даже те частные примеры и «проекты», о которых он узнал от участников кружка:

«— Я против одиночества, господа, т. е. я буду говорить от „лиги борьбы с одиночеством", господа,— лепетала гимназистка. <...> Мы все очень страдаем от одиночества. С этим, господа, надо бороться. Наша лига ставит себе это целью. Так вот, мне поручили предложить вам соединиться с нашею лигою. Не хотите ли вместе бороться с одиночеством? <...> Одиночество — это когда кому не с кем поделиться своими чувствами. У меня есть знакомый реалист, Митя Завьялов, так он даже отравился уксусной эссенцией от одиночества. Его едва спасли. Теперь он член нашей лиги, и я уверена, что он не отравится больше уксусной эссенцией. А то был случай с Катей Букиной. Она впала, знаете, в тоску. Пошла в гости к одной подруге, а ей сказали, что подруги дома нет, а на самом деле, представьте, подруга была дома. Тогда она к другой знакомой пошла, а знакомая говорит: „я, голубчик, не могу с тобою быть сегодня. Я в кинематограф обещала пойти". Такое совпадение. Букина пошла и нашатырного спирта приняла. Обожгла себе весь рот. Едва ее привели в чувство. Вот что значит одиночество.

— Как же думаете бороться с таким явлением? — нетерпеливо спросил Грюнвальд.

— Очень просто. Каждый член нашей лиги при вступлении дает честное слово, что он никогда не откажется от общения с тем, кто страдает от одиночества. И у нас есть такое правило, что ключи должны быть общие.

— Какие ключи?

— Ключи от комнат. Всякий член лиги во всякое время к другому члену может прийти, и тот должен его принять.

— Но, ведь, это не всегда удобно, однако,— чуть улыбнулся Грюнвальд». (Георгий Чулков. Сережа Нестроев. М., «Северные дни», 1916, с. 118—119).

С проповедью, которую в романе Чулкова произносит представительница «лиги борьбы с одиночеством», имеются прямые аналогии в «Воззвании к одиноким», открывающем брошюру М. Либерсон «Страдания одиночества» (СПб., 1909): «...чтобы уничтожить страшный призрак одиночества и *внутренне* сблизить людей, необходимо прежде всего разрушить *внешние перегородки* взаимной отчужденности и уничтожить нелепый предрассудок знакомства и незнакомства. Мы хотим, чтобы не было ни одного человека, которому *некуда пойти*. Мы хотим, чтобы приход незнакомых сделался таким же обычным и принятым, как приход старых знакомых», и т. д. (с. 8). Брошюра М. Либерсон, включавшая подборку цитат из многочисленных писем на тему одиночества и его преодоления, имелась в шахматовской библиотеке Блока; дарственная надпись: «Автор Блоку» (П. А. Журов. Шахматовская библиотека Бекетовых — Блока.— В кн.: Труды по русской и славянской филологии. XXIV. Литературоведение. (Ученые записки Тартуского гос. ун-та, вып. 358). Тарту, 1975, с. 411.)

[75] Георгий Чулков. Соч., т. 3. Повести и рассказы, с. 51.

[76] «Письма к родным», I, с. 224. Упоминаемый рассказ Ф. Сологуба — «Опечаленная невеста». Г. Э. Тастевен писал Чулкову 15 августа 1908 г.: «С большим интересом читал Ваш рассказ в „Образовании", где Вы вывели Блока <...>» (ЛН, т. 92, кн. 3, с. 333). Сам Чулков также выделял рассказ «Парадиз» в ряду своих беллетристических произведений. Сборнику своих избранных рассказов и повестей, составленному в 1931 г. и не вышедшему в свет, он дал заглавие «Парадиз»; тексту рассказа в макете этого издания предпослано посвящение «Памяти Александра Блока» (ЦГАЛИ, ф. 2208, оп. 2, ед. хр. 686, л. 18).

[77] «Александр Блок в воспоминаниях современников», т. 1. М., 1980, с. 390—391.

[78] Ю. Верховский. В память Александра Блока (Отрывочные записи, припоминания, раздумья).— В кн.: «А. Блок и современность», с. 355.

[79] Георгий Чулков. Соч., т. 1. Рассказы, кн. 1, с. 197.

[80] Там же.

[81] Там же, с. 195.

[82] Там же, с. 199.

[83] Там же, с. 198.

[84] «Письма Ал. Блока», с. 112—113.

[85] З. Ж. <З. А. Жилкина?>. В литературном обществе.— «Слово», 1908, № 650, 14 декабря, с. 5. Ср. письмо Л. Д. Блок к А. А. Кублицкому-Пиоттух от 14 декабря 1908 г. (наст. т., кн. 3, с. 341).

[86] «Речь», 1908, № 315, 22 декабря, с. 3.

[87] См.: Д. Максимов. Поэзия и проза Ал. Блока, с. 368.

[88] «Золотое руно», 1909, № 1, с. 106. Судя по письму Г. Э. Тастевена к Чулкову, относящемуся к началу февраля 1909 г. (наст. т., кн. 3, с. 347—348), последний пытался приостановить печатание своей статьи о Блоке в «Золотом руне», но высказал это намерение слишком поздно, когда номер журнала уже был готов к выходу.

[89] См. подробнее: З. Г. Минц. Блок и русский символизм.— ЛН, т. 92, кн. 1, с. 138—142.

[90] Письмо к Андрею Белому от 23 сентября 1907 г. (VIII, 209).

[91] Ср. позднейшую оценку Чулкова в дневниковой записи Блока от 17 февраля 1913 г. об А. Н. Толстом: «По-видимому, теперь *его* стравляет Чулков: надсмешка над своим, что могло бы быть серьезно, и невероятные положения ‹...›» (VII, 221).

[92] Запись от 1 декабря 1912 г. (VII, 188). Это «дочулковыванье» чаще всего выражалось в совместных увеселительных предприятиях. Ср. письмо Чулкова к жене от 7 марта 1911 г. «Вчера я встретился с Блоком и мы изрядно выпили. Однако, по обыкновению, когда мы бываем вместе, вино на нас не действует или полудействует, так что мы остаемся и трезвыми, и нравственными сугубо» (ЦГАЛИ, ф. 548, оп. 1, ед. хр. 480); Блок сообщал матери 8 марта: «Я тут покутил два дня с Чулковым и Судейкиным» («Письма Александра Блока к родным», т. 2. М.—Л., 1932, с. 133). 5 апреля 1911 г. Чулков вновь писал жене: «...недели две тому назад я с Блоком кутил-таки и потратился (стыдно! стыдно!)» (ЦГАЛИ, ф. 548, оп. 1, ед. хр. 480).

[93] ЛН, т. 92, кн. 3, с. 139.

[94] См.: «Письма Ал. Блока», с. 95, 107.

[95] Запись от 11—12 июня н. ст. 1909 г. (ЗК, 145).

[96] Георгий Чулков. Сатана. М., «Жатва», 1915, с. 4 (предисловие «От автора», март 1915 г.).

[97] Борис Кремнев ‹Г. И. Чулков.›. Наступление.— «Народоправство», 1917, № 1, с. 19, См. также: Георгий Чулков. Михаил Бакунин и бунтари 1917 года. М., 1917.

[98] Вл. Орлов. Поэма Александра Блока «Двенадцать». Страница из истории советской литературы. Изд. 2. М., 1967, с. 54—55. В. Н. Орлов отмечает, что «даже внешний облик „витии“ („длинные волосы“) не лишен в данном случае портретного сходства» с Чулковым.

[99] Георгий Чулков. Метель. Листки из дневника.— «Народоправство», 1918, № 20, 8 января, с. 6.

[100] Георгий Чулков. Красный призрак. Листки из дневника.— «Народоправство», 1918, № 23—24, 1 февраля, с. 15. В связи с этим укажем на неточность характеристики выступления Чулкова в статье З. Г. Минц «Блок и русский символизм»: «Г. Чулков громит Блока в статье „Красный призрак“» (ЛН, т. 92, кн. 1, с. 154); чулковская критика в данном случае строится совсем в ином регистре.

[101] Запись от 4 марта 1918 г. (ЗК, 393).

[102] Стихотворения Георгия Чулкова. М., «Задруга», 1922, с. 41. Перепечатано в публикации Ю. М. Гельперина «Блок в поэзии его современников» (ЛН, т. 92, кн. 3, с. 570).

[103] Георгий Чулков. Годы странствий, с. 224. Ср. свидетельство Н. А. Нолле-Коган в воспоминаниях о приезде Блока в Москву в мае 1920 г.: «Мы ‹...› приглашаем к себе его друзей, тех, которых он хочет видеть,— Георгия Чулкова, Вячеслава Иванова» («Александр Блок в воспоминаниях современников», т. 2. М., 1980, с. 367).

[104] Сам Чулков сообщал П. Е. Щеголеву 13 сентября 1921 г., что у него имеются 53 письма Блока (ИМЛИ, ф. 28, оп. 3, ед. хр. 498).

[105] В этом издании письмо Блока к Чулкову от 10 января 1908 г. ошибочно указано в перечне опубликованных писем Блока, не находящихся на государственном хранении (с. 428); однако оно хранится в Отделе рукописей ИМЛИ (ф. 36, оп. 3, ед. хр. 5).

[106] В издании «Александр Блок. Переписка. Аннотированный каталог» эти два письма, а также письмо, хранящееся в Музее И. С. Тургенева в Орле, не учтены.

1. ЧУЛКОВ — БЛОКУ

‹Петербург. 1 июня 1904 г.›

Многоуважаемый Александр Александрович!

Цензор погубил три стихотворения: «Мой любимый, мой князь...», «Я меч заостренный...», «Был вечер яростно-багровый...». Остальные пойдут в *июне*[1]. Корректуру держит Петр Петрович [2]. Пусть сам за нее и отвечает. В июне же пойдут рецензии о Вяч. Иванове и о Бальмонте [3], а рецензия о Брюсове пойдет в июле рядом со статьей Белого тоже о Брюсове [4].

Жму Вашу руку.

Искренно Ваш Георгий Чулков

1 июня 1904 г.

[1] Речь идет о подборке из двенадцати стихотворений, предложенной Блоком для публикации в журнале «Новый путь»; опубликовано было лишь девять стихотворений (1904, № 6, с. 26—34; перечень их см.: ЛН, т. 92, кн. 1, с. 463). Еще в письме к Блоку от 1 мая 1904 г. редактор «Нового пути» П. П. Перцов высказывал опасения, что стихотворения Блока могут быть отвергнуты духовной цензурой: «Стихи думаю поместить в № 6, если... не встретится препятствий» (ЛН, т. 92, кн. 1, с. 462; публикация И. И. Аброскиной). Два из отвергнутых стихотворений — «Я — меч, заостренный с обеих сторон...» и «Мой любимый, мой князь, мой жених...» — были впервые опубликованы в книге Блока «Стихи о Прекрасной Даме» (М., 1905), стихотворение «Был вечер яростно багровый...» — в газете «Речь» (1907, 25 декабря). 15 июня 1904 г. Блок отвечал Чулкову из Шахматова: «Спасибо Вам за извеще-

ние о судьбе моих стихов и рецензий. Еще не видал июньской книжки „Нового пути", не знаю, что сделали цензура и Петр Петрович» («Письма Ал. Блока». Л., «Колос», 1925, с. 121). В тот же день Блок писал Е. П. Иванову: «От Чулкова получил письмо, июньской книжки „Нового пути" еще не видал» (VIII, 106). См. также: Петр П е р ц о в. Ранний Блок. М., «Костры», 1922, с. 25—26.

[2] П. П. Перцов. Июньский выпуск «Нового пути» был, по его собственному признанию («Ранний Блок», с. 25), последним номером журнала, который он редактировал.

[3] Рецензии Блока на книги «Горные вершины» К. Бальмонта и «Прозрачность» Вяч. Иванова («Новый путь», 1904, № 6, с. 200—206; V, 534—540). Рукописи рецензий Блок выслал Перцову из Шахматова 27 апреля 1904 г. (Петр П е р ц о в. Ранний Блок, с. 38—39); последний отвечал ему 1 мая: «Рецензии о Бальмонте и Иванове — прекрасны ⟨...⟩ Сдал их в набор для № 5» (ЛН, т. 92, кн. 1, с. 462). Однако в майском номере «Нового пути» поместить рецензии не удалось; свою досаду в связи с этим Блок выразил в черновом неотправленном письме к Перцову: «С большим удивлением я увидел, что мои рецензии на книги Бальмонта и Вяч. Иванова, с которыми Вы торопили меня и которые были посланы в набор ⟨...⟩ — не напечатаны в майской книжке „Нового пути". К чему же было так торопиться?» (ЗК, 64—65).

[4] Рецензия Блока на книгу Брюсова «Urbi et orbi» («Новый путь», 1904, № 7, с. 202—208; V, 540—545); статья Андрея Белого «Поэзия Валерия Брюсова» была опубликована в том же номере «Нового пути» (с. 133—139). Перцов попросил Блока написать рецензию на «Urbi et orbi» в письме от 1 мая 1904 г. (ЛН, т. 92, кн. 1, с. 462); Блок отправил ее текст вместе с письмом к Перцову от 10 мая 1904 г. (VIII, 100—101).

2. ЧУЛКОВ — БЛОКУ

⟨Петербург. 22 мая 1905 г.⟩

Дорогой Александр Александрович!

Относительно Дымова я уже написал заметку. Он мне нравится [1].

О Л. Семенове и других из «Содружества» делайте рецензии для июля или августа.

Л. Семенов — талантлив, но мне совсем чужой. Если будете о нем писать — умоляю — не называйте его гением, право...[2]

Если что-нибудь хотите поместить в июне, присылайте рукописи не позднее 28—30 мая [3]. Стихи Ваши, вероятно, пойдут в июньской книжке,— в ней же — С. Соловьев [4].

Вяч. Иванов уехал [5], но мы всегда с людьми: на днях приезжает Брюсов [6]; Над⟨ежда⟩ Григ⟨орьевна⟩ и сестра моя [7] — на даче, в Райволе, а я буду в Петербурге до 1 июля.

Мой искренний привет Любови Дмитриевне. Жму Вашу руку.

Душевно Ваш Георгий Ч у л к о в

22 мая 1905 г.

[1] Осип *Дымов* (Осип Исидорович *Перельман*; 1878—1959) — прозаик, драматург, журналист, близкий к символистским кругам. 19 мая 1905 г. Блок писал из Шахматова Чулкову, предлагая очередной материал для «Вопросов жизни»: «Можно мне написать „литературную заметку" об изданиях „Содружества", если она еще не написана Вами? При этом мне хотелось бы упомянуть только вскользь Маковского (не хочется начинать с брани) и остановиться особенно на Л. Семенове и Дымове (то и другое Семенов прислал мне). О Габриловиче, может быть, лучше написать совсем отдельно и в заметке совсем не упоминать о нем. Впрочем, может быть, Вы найдете более удобным написать отдельные рецензии обо всех. Если можно, сообщите мне об этом. ⟨...⟩ Читали ли Вы Дымова? Мне нравится многое, особенно — „Весна". Но иногда, вместо того, чтобы проникать в свое, он скользит по поверхности чужих слов, и тогда приходится пропускать страницы» («Письма Ал. Блока», с. 123—124). Упоминаемые Блоком издания «Содружества» — вышедшие в Петербурге в 1905 г. в свет «Собрание стихотворений» Л. Семенова, «Собрание стихов» С. Маковского, сборник рассказов О. Дымова «Солнцеворот» и брошюра Л. Габриловича «Новейшие русские метафизики (идеализм П. Струве)». К «Содружеству» примыкали также Ю. Озаровский, Н. Рерих, С. Рафалович, Л. Вилькина, А. Руманов. Издательскую деятельность этого объединения литераторов предполагалось начать со сборника «Содружества», однако 9 января 1905 г. Дымов извещал Л. Н. Вилькину: «Со сборником решено сильно обождать. На очереди отдельные выпуски: сочинения Маковского, Дымова, Рафаловича, Габриловича, Вилькиной и др.» (ИРЛИ, ф. 39, ед. хр. 858). Издания осуществлялись на паях; деятельностью объединения руководил Совет «Содружества» (см. письма С. К. Маковского к Вилькиной за 1905 г.— ИРЛИ, ф. 39, ед. хр. 879).

Рецензия Чулкова на «Солнцеворот» Дымова была опубликована в «Вопросах жизни» (1905, № 6, с. 260—262; подпись: Г. Ч.).В ней была отмечена связь Дымова с повествовательной манерой Чехова, который, по мысли Чулкова, «вышел из реализма» и наметил пути к символизму; в этом направлении развивается и творчество Дымова: «...его образы нередко так значительны, что невольно видишь в них *символы*» (с. 261).

[2] В ответном, недатированном, письме Блок писал Чулкову: «Л. Семенова я не буду называть гением, но его стихи мне нравятся, как и Вам. ⟨...⟩ Некоторую „чуждость" стихов Семенова понимаю» («Письма Александра Блока», с. 125). Леонид Дмитриевич *Семенов* (1880—1917) — поэт-символист и прозаик, товарищ Блока по университету. О взаимоотношениях Блока и Семенова см.: Ю. К. Герасимов. Об окружении Александра Блока во время первой русской революции.— «Блоковский сб.», 1, с. 539—544. См. также: «Л. Д. Семенов-Тянь-Шанский и его „Записки"». Публикация З. Г. Минц и Э. Шубина. Вступ. статья З. Г. Минц.— Труды по русской и славянской филологии. XXVIII. Литературоведение. («Уч. зап. Тартуского гос. ун-та, вып. 414). Тарту, 1977, с. 102—146. Чулков охарактеризовал Семенова в своих воспоминаниях «Годы странствий» (М., 1930, с. 175—177).

Предложение написать статью об изданиях «Содружества» и, в частности, о «Собрании стихотворений» Л. Семенова исходило непосредственно от него самого. В первой половине мая 1905 г. Семенов писал Блоку: «Посылаю Вам мой сборник и вот о чем прошу. О моем сборнике Вы напишите — мне *письмом*, очень ценю Ваше мнение. Рецензию о стихах пишите Вы или попросите Чулкова. Это Ваше дело. Не стесняйтесь и ругать. Но о Маковском предоставьте писать Чулкову — если считаете нужным ругать. Я сам почти согласен с Вами в оценке его стихов, но как человека его ценю и не хотел бы огорчать, не хотел бы, чтобы руготня шла от Вас, потому что питаю замыслы *Вас* увидеть в нашем содружестве. Пока многое мне в нем не нравится — но погодите, и из него кое-что выйдет. Маковский же в высшей степени дельный, деятельный, образованный, воспитанный человек, без которого бы — как человека, а не поэта, конечно, наше содружество никогда бы и не вышло. Очень талантливым кажется мне Дымов и Габрилович ⟨...⟩ Может быть и Вы напишете в „В⟨опросы⟩ Ж⟨изни⟩" рецензию о нас, напишите ее обо мне и упомяните хоть вскользь о Маковском как о поэте консервативном, одним словом хоть как-нибудь не слишком *обидно*» (ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 399). Рецензия Блока на «Собрание стихотворений» Л. Семенова была напечатана в «Вопросах жизни» (1905, № 8, с. 194—197; V, 589—593); другие издания «Содружества» в ней не упоминались.

[3] В июньском номере «Вопросов жизни» была помещена (за подписью «Ал. Бл.») рецензия Блока на два перевода с латинского — «Амур и Психея» Апулея и «Наука любви» Овидия (с. 240—242; V, 578—581).

[4] В июньском номере «Вопросов жизни» были опубликованы цикл Блока из десяти стихотворений под заглавием «Нечаянная Радость» (с. 152—161) и стихотворение Сергея Соловьева «Ифигения в Авлиде» (с. 82—83).

[5] Вяч. Иванов, живший в Петербурге в первой половине мая в отеле «Сан-Ремо» (Невский пр., 90), 15 мая приехал в Москву. О своем предстоящем приезде он сообщал Брюсову письмом от 11 мая 1905 г. (ГБЛ, ф. 386, карт. 87, ед. хр. 3).

[6] 18 мая 1905 г. Брюсов писал Чулкову: «Через неделю, числа 27, буду проездом в Петербурге. Если Вы к этому времени будете еще в городе, позвольте посетить Вас» (Георгий Чулков. Годы странствий, с. 324).

[7] Надежда Григорьевна *Чулкова* (урожд. *Петрова*, в первом браке Степанова; 1874—1961) — жена Г. И. Чулкова. Сестра — вероятно, Анна Ивановна *Ходасевич* (урожд. *Чулкова*, в первом браке *Гренцион*, 1887—1964). Вторая сестра Чулкова — Любовь Ивановна *Рыбакова* (урожд. *Чулкова*, 1882—1973), автор «Воспоминаний из детской жизни о Георгии Ивановиче» (ГБЛ, ф. 371, карт. 5, ед. хр. 39).

3. ЧУЛКОВ — БЛОКУ

⟨Райвола.⟩ 11 июля 1905 г.

Дорогой Александр Александрович!

Ваше письмо доставило мне огромное наслаждение. Одна из многих «правд», заключенных в Соловьеве, выявлена Вами прекрасно [1]. Очень жалею, что Вы не позволяете напечатать этого письма [2]. Отбросив вступление и конец, можно было бы печатать его, ничего не изменяя. Я и сам чувствую всю значительность того Соловьева, о котором говорите Вы, и моя статейка не имела другой цели, как только поставить *вопрос*, ибо я вообще считаю себя правым только *в вопросе*; я — ведь — человек и, как человек, гневаюсь, когда торопливо *отвечают обыденными словами*. Но ваши слова не обыденные слова, а символы. Их я с радостью принимаю, как живую воду, и люблю Блока — поэта и Соловьева — пророка [3].

Спасибо за приглашение на будущее лето: теперь я все равно не сумел бы приехать [4]. Живем мы с Над⟨еждой⟩ Григ⟨орьевной⟩ в Финляндии; адрес такой:

Райвола, дача Якова Фирсова. Бываю часто в Петербурге. И я, и Над⟨ежда⟩ Григ⟨орьевна⟩ шлем Вам и Любови Дмитриевне наш искренний привет. Всего хорошего.

Любящий Вас Георгий Чулков

Написано на бланке журнала «Вопросы жизни».

Ответ на письмо из Шахматова от 23 июня 1905 г. (VIII, 126—129), в котором Блок полемизировал со статьей Чулкова «Поэзия Владимира Соловьева» («Вопросы жизни», 1905, № 4—5, с. 101—117).

[1] Основная идея статьи Чулкова «Поэзия Владимира Соловьева» заключалась в том, что стихи Соловьева, в отличие от его религиозно-метафизической системы, раскрывают «великий, черный разлад» в душе философа, обусловленный неприятием земного мира и земной любви. «Поэзия смерти празднует свою черную победу в стихах Соловьева,— утверждает Чулков.— Мы не хотим отрицать, что в трагическом миросозерцании монаха-поэта есть истинное величие. Мы желали только отметить, что душевное настроение, которое преобладало у Соловьева, несовместимо *с любовью и творчеством* здесь, *на земле.* Между сияющей ледяной вершиной и цветущей долиной разверзается пропасть. Перебросить через эту пропасть мост не сумел Соловьев, как не сумело это сделать все *историческое* христианство» («Вопросы жизни», 1905, № 4—5, с. 113). Блок в своем письме к Чулкову возражал против его рассуждений о «трагическом разладе, аскетическом мировоззрении и черной победе смерти» у Соловьева (VIII, 127), ссылаясь прежде всего на собственные поэтически-интуитивные впечатления и переживания.

В то же время А. В. Карташев (религиозный мыслитель, близкий по убеждениям к Мережковским) находил, что в своей статье Чулков поставил вопрос о мировоззрении Соловьева и о его соотношении и связи с «историческим христианством» чрезвычайно остро и правильно, с позиций нового религиозно-философского сознания. «Сейчас прочитал Вашу статью,— писал он Г. И. Чулкову 17 мая 1905 г.— Испытывал любимое наслаждение, привычное, скажу не стыдясь, мистическое пророчественное волнение, какое захватывает меня при мысли об *этой* теме. Да, мы охвачены принципом влюбленности в мир, влюбленность— единственное притяжение для нас в религии, в предстоящем ренессансе. ⟨...⟩ А последняя черта — знак творчества, показатель, что *этому* мы и должны отдаться всей душой, чтобы похитить новый факел с неба. Мы хотим *этого* ренессанса и никак не изжитых и неинтересных для нас церковных реформаций. Пусть на них спотыкаются Соловьев и его верные ученики. ⟨...⟩ Наш ренессанс *будет* назван конечно *нехристианским,* ибо он дерзко, диаметрально будет противоречить историческому христианству. Но мы — революционеры, сходясь по существу, разделимся (а мож⟨ет⟩ б⟨ыть⟩ и нет) на сознающих себя нехристианами *и* христианами (я — в последней группе). Но мы не можем ненавидеть друг друга, потому что нас опьяняет одно вино, одна влюбленность, одно творчество» (ЦГАЛИ, ф. 548, оп. 3, ед. хр. 13).

Развернутую полемику с концепцией Чулкова содержит статья С. Н. Булгакова из его авторского цикла «Без плана» («Вопросы жизни», 1905, № 6, с. 293—317). Тезисы Чулкова обосновываются, по утверждению Булгакова, «благодаря одностороннему цитированию, преувеличенному подчеркиванию одного из мотивов и замалчиванию других»: «...подлинный Соловьев в своих стихотворениях вовсе не тот скорбный и анемичный монах, какого рисует нам Чулков, а тот же могучий дух, многогранный, многообъемлющий, каким мы знаем его и в философских творениях» (Там же, с. 295, 299—300). Два месяца спустя в «Вопросах жизни» в отделе «Из частной переписки» был опубликован «Ответ г. Чулкову по поводу его статьи „Поэзия Владимира Соловьева“» Сергея Соловьева (1905, № 8, с. 230—237), в котором, в опровержение идей Чулкова, утверждалось, что «в стихах Соловьева поэзия жизни празднует свою победу», что «Владимир Соловьев никогда не враждует со стихией плотской жизни» и «в развитии христианского догмата ⟨...⟩ видит последовательное проведение принципа неразрывности неба и земли в едином божественном проявлении» (с. 232, 234). Отвечая на замечания Андрея Белого по поводу статьи «Поэзия Владимира Соловьева», высказанные в письме к Чулкову, последний сообщал ему в письме от 8 июля 1905 г.: «По поводу моей статьи писал мне Блок, С. Соловьев, Карташев и др. Я прошу всех высказаться в отделе «Из частной переписки». ⟨...⟩ А я — равно всем чужой — смотрю *со стороны* и, быть может, волнуюсь, но *один и по-своему*» (ГБЛ, ф. 25, карт. 25, ед. хр. 12). Ср. примечания Чулкова в кн. «Письма Ал. Блока» (с. 154—156). Статья о Соловьеве вошла в кн.: Георгий Чулков. Сочинения, т. 5. Статьи 1905—1911 гг. СПб., «Шиповник», 1912, с. 101—117. Некоторые выводы и формулировки Чулкова, вызвавшие наибольшие возражения, были при переиздании статьи сняты или смягчены.

[2] В письме от 23 июня 1905 г. Блок попутно замечал: «Мне хочется написать Вам именно так, без теорий, а *облик во мне живущий,* и просить Вас не показывать письма» (VIII, 128).

[3] Блок отвечал Чулкову 19 июля 1905 г.: «Спасибо за Ваши слова. Пожалуй, лучше все-таки не печатать моего письма к Вам, я не знаю, как отнеслись бы родные Соловьева к чуть-чуть разоблачительному духу его. Ведь у меня не только личные впечатления, а и навеянные разговорами с С. Соловьевым и другими. Да и не хочется утверждать так мельком сказанное о Мережковском и Розанове, ведь здесь следовало опереться на ряд рассуждений» (VIII, 132).

[4] Блок писал Чулкову 23 июня: «Мы с Любой ужасно жалеем, что не можем пригласить Надежду Григорьевну и Вас к нам. Дело в том, что мы живем не одни, а с родственниками, часть которых, как мы убедились по приезду А. Белого и С. Соловьева, страшно тяготится

близкими нам разговорами и страдает от них чуть что не физически. Я думаю, что это скоро прекратится, т. е. мы будем жить в более согласном обществе, и, может быть, на будущее лето Вы с Надеждой Григорьевной посетите нас» (VIII, 129).

4. ЧУЛКОВ — БЛОКУ

20 января 1906 г. ⟨Петербург⟩ Саперный, 10, кв. 55

Дорогой Александр Александрович!

Если Вы успеете доставить рукопись арлекинады дней через пять-шесть, Вс. Эм. Мейерхольд сумеет поставить эти сцены одновременно с музыкальным вечером числа 8—10 февраля [1].

Даже те три сцены, о которых Вы мечтали, дадут драгоценный материал для «Факелов» — театра и сборника [2]. Пишите, не стараясь развивать действие подробно и строить «настоящую» пьесу.

Привет Любовь Дмитриевне и Александре Андреевне [3]!

Любящий Вас Георгий Чулков

P. S. Вс. Эм. Мейерхольд присоединяется к моей просьбе и шлет свой привет.

[1] На следующий день, 21 января, Блок отвечал Чулкову: «Надеюсь, что успею написать балаган, может быть даже раньше, чем Вы пишете. Вчера много придумалось и написалось. Как только кончу, дам Вам знать» («Письма Ал. Блока», с. 131). Речь идет о пьесе Блока «Балаганчик». 23 января 1906 г. Блок писал Чулкову: «„Балаганчик“ кончен, только не совсем отделан. Сейчас еще займусь им» (там же, с. 132). 24 января он сообщал Андрею Белому: «Я написал балаган для Факелов, кажется его будут играть на масляницe» («А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 171). Ср.: IV, 567.

Идея создания драматического произведения на основе стихотворения Блока «Балаганчик» («Вот открыт балаганчик...»), написанного в июле 1905 г. (II, 67—68), принадлежала Чулкову, который вспоминал: «В конце 1905 года я предложил Александру Александровичу разработать в драматическую сцену тему этого стихотворения. Я просил у него эту вещь для альманаха „Факелы“, который я в то время подготовлял к печати. Блок согласился» (Георгий Чулков. Из истории «Балаганчика».— «Культура театра», 1921, № 7—8, с. 21). Предполагалось, что пьеса Блока будет поставлена Мейерхольдом в новом театре «Факелы», который в конце 1905 — начале 1906 г. пытались организовать Чулков и В. Э. Мейерхольд, при поддержке ряда литераторов и художников (см. примечания В. Н. Орлова в кн.: «А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 168; ЛН, т. 92, кн. 3, с. 238). 3 января 1906 г. Блок сообщал Андрею Белому: «Только что вернулся с большого собрания, где *Факелы* и *Жупелы* обсуждали свои театры ⟨...⟩ выяснилось, что мне придется читать на литературном вечере в пользу театра и писать пьесу, развивая стихотворение „Балаганчик“» (VIII, 146; об этом собрании см. также письмо Мейерхольда к Брюсову от 6 января 1906 г.: «В. Э. Мейерхольд. Переписка. 1896—1939». М., 1976, с. 59). Организовать театр «Факелы» не удалось («Наши с Мейерхольдом попытки найти средства для устройства театра „Факелы“ оказались тщетными»,— свидетельствует Чулков в воспоминаниях «Годы странствий», с. 216) и постановка «Балаганчика» в феврале 1906 г. не состоялась; в конце января Мейерхольд уехал из Петербурга в Нижний Новгород, а затем в Тифлис, где возобновил деятельность Товарищества новой драмы. 26 января Белый писал Блоку: «Саша, мне очень хотелось бы быть на первом представлении „*Балаганчика*“, очень хотелось бы. Напиши точно число, когда он пойдет» («А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 172). Блок отвечал 28 января: «Ты спрашиваешь о представлении „Балаганчика“. Его теперь не будет. Чулков, по обыкновению, все это рассказывал преждевременно, а теперь оказывается, что и „Факелы“ осуществятся не раньше осени (почти наверно)» (VIII, 148). Однако осенью 1906 г. Мейерхольд стал ведущим режиссером Театра В. Ф. Комиссаржевской, и идея самостоятельного театра «Факелы» тем самым исчерпала себя.

[2] Пьеса Блока «Балаганчик. Лирические сцены» была опубликована в альманахе «Факелы» (кн. 1. Спб., 1906, с. 199—211), скомплектованном и выпущенном в свет в апреле 1906 г. по инициативе Чулкова и под его руководством.

[3] А. А. Кублицкая-Пиоттух, мать Блока.

5. ЧУЛКОВ — БЛОКУ

⟨Петербург. 17 ноября 1906 г.⟩

Дорогой Александр Александрович!

Приходите в субботу, в 10 ч. вечера, 18 ноября в ресторан «Кин» в Фонарном пер. Там будет, быть может, что-нибудь смешное. Пишу Вам по просьбе П. Ярцева [1]. Будет, вероятно, Ф. Сологуб [2].

Денег много не нужно, да и без денег можно.
Крепко жму Вашу руку.

Душевно Ваш Георгий Чулков

P. S. Кабинет — наверху.

Открытка — бланк журнала «Вопросы жизни». Адрес: «Пет⟨ербургская⟩ Стор⟨она⟩. Лахтинская ул., д. 3, кв. 44». Почт. шт.: 17.11.06. Помета Блока: «1906».

[1] Петр Михайлович *Ярцев* (1871—1930) — заведующий литературным бюро Театра В. Ф. Коммиссаржевской в сезоне 1906—1907 гг.; театральный критик, драматург, режиссер. См. о нем: Борис З а й ц е в. Москва. Мюнхен, 1973, с. 73—81. В конце ноября 1906 г. Блок передал Ярцеву рукопись пьесы «Незнакомка», постановка которой была намечена Мейерхольдом в Театре В. Ф. Коммиссаржевской. См. письмо Блока к Мейерхольду от 6 декабря 1906 г. («Новый мир», 1979, № 4, с. 160).

[2] В тот же день Чулков отправил аналогичное приглашение в ресторан «Кин» Ф. Сологубу: «Там будут актеры, Сюннерберг и еще кое-кто. Кабинет — наверху. Пишу Вам по просьбе Ярцева» (ИРЛИ, ф. 289, оп. 3, ед. хр. 746). Адрес ресторана «Кин» — Фонарный пер., 9.

6. ЧУЛКОВ — БЛОКУ

⟨Петербург⟩ 13 марта 1907 г.

Дорогой Александр Александрович!

Вернулась Любовь Дмитриевна или нет? [1] Если вернулась, пожалуйста, передайте ей мое письмо [2]. Если нет, оставьте его до ее приезда.

Весной выходит в Петербурге «Невский альманах». Будет издан хорошо, с обложкой — вероятно — Бакста. Приглашают Вяч. Иванова, С. Городецкого, Сологуба, Вас и нек⟨оторых⟩ др⟨угих⟩; «реалистов» совсем не будет. Вам предоставлено право печатать что Вы хотите без вмешательства редакции. Желают получить от Вас *несколько* стихотворений. Будет особый отдел, в котором поместят *четыре* имени: Ваше, мое, Вяч. Ив⟨анова⟩ и Городецкого. Гонорар будет [3].

В среду в 7 ч. веч. на Высших Женских Курсах состоится мой реферат «Утверждение личности и Эрос». В числе оппонентов будут главари петерб⟨ургского⟩ позитивизма и — с другой стороны — Вяч. Иванов, А. Мейер и еще нек⟨оторые⟩ [4]. Очень хотелось бы, чтобы и Вы пришли. Тогда зайдите ко мне часов в 6 в среду.

Любящий Вас верно Георгий Чулков

[1] 28 февраля 1907 г. М. А. Бекетова записала в дневнике: «Люба уехала на масляницу с Мусей в Боблово. И превесело уезжала. Это еще раз доказывает мне, что никакой любви у нее к Чулкову нет ⟨...⟩» (ЛН, т. 92, кн. 3, с. 623; Муся — Мария Дмитриевна *Менделеева* (в замужестве *Кузьмина*; 1886—1952), младшая сестра Л. Д. Блок); 12 марта: «Люба вернулась, но я ее не видала» (там же). 28 февраля Л. Д. Блок отправила Блоку письмо, в котором описывала зимнее Боблово и сообщала о намерении завтра съездить в Шахматово (ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 161, л. 13—15).

[2] Переписка Чулкова и Л. Д. Блок не сохранилась. Л. Д. Блок сообщает, что Чулков в 1930-е годы возвратил ей ее письма, и приводит в воспоминаниях одно из них. (Л. Д. Б л о к. Были и небылицы о Блоке и обо мне.— ЦГАЛИ).

[3] Имеется в виду издание: «Белые ночи. Петербургский альманах». СПб., изд. т-ва Вольная типография, 1907. Книга была отпечатана в июне 1907 г. с обложкой работы Добужинского. Все упомянутые Чулковым авторы участвовали в альманахе, однако «особого отдела», объединявшего произведения Блока, Чулкова, Вяч. Иванова и Городецкого, в нем не было; видимо, по замыслу Чулкова, этот «особый отдел» призван был манифестировать сообщество писателей — приверженцев идей «мистического анархизма». Блок опубликовал в альманахе цикл из 15 стихотворений «Томления весны» (с. 7—34) и стихотворение «Белые ночи» (с. 235), Чулков — цикл из семи стихотворений «Месяц на ущербе» (с. 63—71) и поэму «Шаман» (с. 101—109). 19 июля 1907 г. А. А. Кондратьев сообщал Б. В. Беру, что альманах «Белые ночи» «редактировали Блок и Чулков» (ЛН, т. 92, кн. 3, с. 286). Блок, безусловно, принимал близкое участие в составлении и издании альманаха (ср. п. 8); скорее всего, по его инициативе в «Белых ночах» появились прозаические этюды «Всадник» Е. П. Иванова (с. 73—91) и «Белая ночь и мудрость» Н. П. Ге (с. 93—99); ср. запись Блока, относящуюся, видимо, к марту 1907 г.: «Жéне о „Белых ночах“» (ЗК, 93; Женя — Е. П. Иванов).

[4] Среда — 14 марта. Александр Александрович *Мейер* (1875—1939) — религиозный философ и публицист.

7. ЧУЛКОВ — БЛОКУ

⟨Петербург. 11 апреля 1907 г.⟩

Дорогой Александр Александрович!

Если Вы не суеверны и не боитесь коварных предсказаний Любови Дмитриевны, зайдите ко мне сейчас или через полчаса, и мы поедем в «Аполло» [1]. Денег не надо много. А если у Вас ничего нет, то я заплачу за билеты, а нам больше ничего не нужно [2].

С великим наслаждением и странной тревогой перечитал Вашу «Снежную Маску» [3]. Изумительная, магическая книга!

Жму Вашу руку.

Любящий Вас Георгий Чулков

Передайте, пожалуйста, мой привет глубокоуважаемой Любови Дмитриевне!

11 апреля 1907 г.

[1] «„Аполло“ — петербургский кафе-шантан, где Блок и Чулков встречались за бутылкой вина» (комментарий Чулкова к письму Блока к нему от 11 апреля 1907 г.— «Письма Ал. Блока», с. 163). Адрес театра-концерта «Аполло» — Фонтанка, 13.

[2] В тот же день Блок ответил Чулкову: «Приходите лучше сейчас к нам. ⟨...⟩ В „Аполло“ не хочется, да и не могу. Голова болит. Придете?» (там же, с. 138).

[3] Два экземпляра отдельного издания «Снежной маски» (СПб., «Оры», 1907) Блок послал с надписями Чулкову и Н. Г. Чулковой 11 апреля 1907 г. («Письма Александра Блока», с. 138); оба экземпляра погибли на второй год революции в Царском Селе, где была оставлена библиотека Чулкова (там же, с. 163—164; ср.: ЛН, т. 92, кн. 3, с. 137). Летом 1920 г. Чулков сообщал Конст. Эрбергу: «В Царском Селе остались у меня рукописи, письма и книги (15 больших ящиков). Все это находилось в квартире Семена Ильича Штейна, д⟨ом⟩ кн. Урусова, Безымянный пер. Он — Штейн — теперь давно уж не отвечает на письма и телеграммы. Нельзя ли справиться о судьбе моего архива и книг через кого-нибудь, кто живет в Царском, напр⟨имер⟩, через Иванова-Разумника?» (ИРЛИ, ф. 474, ед. хр. 285).

8. ЧУЛКОВ — БЛОКУ

⟨Петербург⟩ 8 мая 1907 г.

Дорогой Александр Александрович!

Не хотите ли поехать в «Вену»? Может быть, найдем там Попова. Тогда заставим его издать «Белые Ночи» [1]. Но если это только *вероятно*, то уже *несомненно* то, что мы будем пьяны, а это не так плохо, как иные думают.

Сейчас ехать в «Вену» рано, но Вы зайдите ко мне: мы сначала поедем в дом Мурузи: мне надо увидеть по делу Карташева [2].

Ваш Георгий Чулков

P. S. Уехала Любовь Дмитриевна или нет? [3]

[1] «„Вена“ — известный петербургский ресторан, где пребывала обычно литературная богема.— Попов, кажется, владелец книжного магазина на углу Невского, близ Аничкова моста, издатель, с которым, вероятно, предстояла деловая встреча Г. И. Чулкова в ресторане „Вена“» (комментарий Г. И. Чулкова к письму Блока к нему от 9 мая 1907 г.— «Письма Ал. Блока», с. 170). Михаил Васильевич *Попов* — владелец книжного магазина на Невском пр., 66. Переговоры с Поповым велись и до 8 мая. 1 мая 1907 г. А. А. Кондратьев сообщал Б. В. Беру, что виделся на днях в ресторане «Вена» с Блоком и Чулковым: «Они только что явились после объяснения с М. Поповым, который взялся издать им альманах „Белые ночи“» (ЛН, т. 92, кн. 3, с. 280). Адрес ресторана «Вена» — ул. Гоголя, 13, на углу Гороховой ул. Ср.: «Видели в „Вене“ и *А. Блока*. Поэт садился в стороне, один или с кем-нибудь из близких друзей, не вступал в споры и разговоры, молчал и наблюдал. ⟨...⟩ Он замкнут в себе и не разговорчив. ⟨...⟩ У него застывшее, спокойное бледное лицо, холодный взгляд, неподвижная поза...» («Десятилетие ресторана „Вена“». Литературно-художественный сборник. СПб., 1913, с. 57—58).

На следующий день, 9 мая, Блок писал Чулкову: «Простите, что отвечаю по почте. ⟨...⟩ Вчера Ваше письмо не застало нас. Были ли Вы в Вене и что Попов?» («Письма Ал. Блока», с. 148).

[2] Подразумевается квартира Мережковских (живших тогда в Париже) в так наз. доме Мурузи — большом доходном доме на углу Литейного проспекта, Пантелеймоновской улицы и Спасо-Преображенской площади (Литейный пр., 24). В отсутствие Мережковских там проживали сестры З. Н. Гиппиус Т. Н. и Н. Н. Гиппиус и Антон Владимирович *Карташев* (1875—1960), религиозный мыслитель, профессор Духовной академии.

[3] Блок отвечал 9 мая: «Л. Д. уезжает только завтра ‹...›» («Письма Александра Блока», с. 148). 10 мая Л. Д. Блок уехала в Шахматово. 11-м мая датировано ее письмо к Блоку, отправленное со станции Подсолнечная Московской губернии (ближайшей от Шахматова), в тот же день она написала Блоку из Шахматова (ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 161, л. 16—19). В примечаниях к письму Блока к жене от 13 мая 1907 г. ошибочно указано, что Л. Д. Блок уехала из Петербурга в Шахматово 6 мая (ЛН, т. 89, с. 194).

9. ЧУЛКОВ — БЛОКУ

‹Петербург [1]. 13 июня 1907 г.›

Дорогой Александр Александрович!

Напишите мне, пожалуйста, два слова о «Весах». Как Вы это чувствуете? Мне очень стыдно за Зинаиду Николаевну и Белого. И что же это такое, наконец? [2]

Любящий Вас Георгий Чулков

P. S. Возвращаю Вам с благодарностью мой долг.

13 июня 1907.

[1] О том, что Чулков находился в Петербурге, можно судить по его письму к М. А. Кузмину от 15 июня 1907 г., вместе с которым он высылал экземпляры только что вышедшего альманаха «Белые ночи»: «Сегодня, сейчас уезжаю в Финляндию» (ЦГАЛИ, ф. 232, оп. 1, ед. хр. 439).

[2] Подразумевается 5-й, майский номер «Весов» за 1907 г., в котором были напечатаны статьи «На перевале. VII. Штемпелеванная калоша» Андрея Белого (с. 49—52; подпись: Борис Бугаев) и «Трихина» З. Н. Гиппиус — отзыв о журнале «Перевал» (с. 68—72; подпись: Товарищ Герман). Статья Белого представляет собой памфлет, направленный против «петербургских модернистов», с выпадами по адресу «мистического анархизма» и новейшего творчества Блока; З. Н. Гиппиус в своей статье, негативно оценивая деятельность «Перевала», попутно высмеивает Чулкова и, в частности, его отзыв о «Балаганчике», помещенный в «Перевале»: «...над Блоком он так надрывается, что за Блока страшно. Блока Чулков прямо износил, истер. По поводу одного „Балаганчика“, этой милой, не новой и никакого ни для кого не имеющей значения вещицы,— Чулков до сих пор высыпает, раз за разом, свой горох. В „Перевале“ сызнова только что высыпал. Блок — „избранник“, около Блока полезно сыпать, думает Чулков. Блок, этот талантливый, цельный, всегда очень благородный *поэт*,— лишь страдательное лицо по отношению к Чулкову. Сущность Блока — вообще пассивность. Благодаря ей, вероятно, он не спасся от „Перевала“. ‹...› Зачем он пишет в „Перевале“ свои детские, несчастненькие статьи о „Михаиле Бакунине“,— срываясь из „общественности“ на Деву радужных ворот? Ну какой он „общественник“! Его насильно ставят на чужое место, он *насильно* смешон,— в противоположность Чулкову, который смешон „по собственной глупой воле“, говоря языком Достоевского. Не будь „Перевала“, этого специального места позора, да не будь суетливого, услужливого Чулкова,— никогда бы не очутился Блок в таком ненужном положении, а продолжал бы сохранять свое скромное достоинство тонкого, нежного лирика ‹...›» (с. 71). Резкие полемические выпады Андрея Белого, З. Н. Гиппиус, Эллиса и других «весовцев» против «петербургского модернизма», «мистического анархизма» и непосредственно против Чулкова в последующих номерах «Весов» стали определять основное содержание критического отдела журнала. Особенно насыщен был нападками на Чулкова и «петербуржцев» следующий, июньский номер журнала; С. М. Городецкий писал Чулкову 15 июля 1907 г.: «Шестой номер Весов возмутил всех» (ГБЛ, ф. 371, карт. 3, ед. хр. 11).

23 июня Блок отвечал Чулкову: «„Весы“ не удивили меня. Думаю в конце следующей своей статьи «Золотом руне» (о лирике) сделать маленький P. Scr. о том, что напрасно критики «Весов» касаются личностей и посвящают летучие «манифесты» темам, которые требуют, по важности своей, серьезных статей» (VIII, 187). В статью «О лирике» («Золотое руно», 1907, № 6) Блок, однако, такого «постскриптума» не добавил, но позднее высказал свое осудительное отношение к полемическим приемам Андрея Белого и З. Н. Гиппиус в статье «О современной критике» («Час», 1907, № 61, 4 декабря; V, 207—208). 6 августа 1907 г. Блок писал в этой же связи Андрею Белому: «Критики, основанной на бабьих сплетнях (каковую позволила себе *особенно* Зин. Гиппиус в статье о «Перевале» по поводу меня и Чулкова),— не признаю. Считаю, что такая критика должна оставаться на совести ее сочинителя» (VIII, 189).

10. ЧУЛКОВ — БЛОКУ

20 августа 1907 г.

Дорогой Александр Александрович!

Ничего не имею — конечно — против желания Вашего отказаться печатно от мистического анархизма, но очень прошу Вас об одном: позвольте мне предварительно ознакомиться с этим Вашим «письмом в редакцию». Ведь, *я* нигде

и никогда — насколько помнится — в печати Вас не называл «мистикоанархистом» и за мнения других не отвечаю. Вас «мистикоанархистом» называли мои критики, а не я. Я дружески прошу Вас не придавать Вашему письму такой формы, которая дала бы повод думать, что именно я Вас записывал в адепты моей теории: это было бы неправдою [1]. Я сам пишу статью по поводу «Mercure de France» (*возражаю* Семенову), где и заявляю о том, что не считаю возможным кого-либо приписывать к «мистическому анархизму» в качестве его сторонника и выразителя [2]. Мало того, из цитат из меня, которые приводит Семенов, это уже видно. Я пишу: «L'anarchisme mystique n'est pas une école littéraire» *. И в конце статьи: «Quant aux recueils des *Flambeaux*, ils ne défendent les idées mystico-anarchiques ⟨que dans les articles theoriques⟩ et *excluent tout programme de la rubrique de la poésie*. Ici, á côté des oeuvres de Viatcheslav Ivanov, je publie avec joie celles de Léonide Andreieff, Feodor Sologoub, Alexandre Blok, ⟨L. Zinovieff-Hannibal⟩, S. Gorodetzky et quelques autres...»**[3].

Я, конечно, предпочел бы, чтобы Ваше «письмо» появилось в «Золотом Руне», а не в «Весах». Ведь в «Весах» оно появится рядом с новым манифестом, и для читателей будет ясно, что Вы солидарны с теми, которые бросают в меня камни. Во всяком случае я верю, что Вы не станете торопливо посылать в «Весы» документ, которым будут пользоваться, как орудием против меня, московские декаденты и свора газетных фельетонистов [4]. Неужели не можете Вы, дорогой Александр Александрович, подождать с этим письмом до нашего свидания!

Ведь надо это сделать так, чтобы не умножились нечистые по существу своему статейки, направленные против линии Вячеслава Ивановича. Или Вы теперь другого мнения? Умоляю Вас: храните душу «незыблемой» [5].

Любящий Вас Георгий Чулков

Передайте, пожалуйста, мой привет Любови Дмитриевне.

Адрес Андреева: Куоккала, дача Фиельд, Леон⟨и⟩д⟨у⟩ Никол⟨аевичу⟩ А⟨ндрее⟩ву [6].

Письмо цитировалось ранее (в отрывках) в публикации Вл. Орлова «Александр Блок и Андрей Белый в 1907 году» (ЛН, т. 27—28. М., 1937, с. 401).

[1] 17 августа 1907 г. Блок писал Чулкову из Шахматова: «„Весы" меня считают „мистическим анархистом" из-за „Mercure de France". Я не читал, как там пишет Семенов, но меня известил об этом Андрей Белый, с которым у нас сейчас очень сложные отношения. Я думаю так: к мистическому анархизму, по существу, я совсем не имею никакого отношения. Он подчеркивает во мне не то, что составляет сущность моей души: подчеркивает мою *зыблемость, неверность* ⟨...⟩ я не относился к мистическому анархизму никогда как к теории, а воспринимал его лирически. По всему этому не только не считаю себя мистическим анархистом, но сознаю необходимость отказаться от него печатно, в письме в редакцию, например, „Весов". Пока это не сделаю, меня все будут упрекать в том, к чему я не причастен» (VIII, 204).

Поводом для этого письма послужила публикация (под рубрикой «Lettres russes») статьи русского корреспондента парижского журнала «Mercure de France» Е. П. Семенова «Le Mysticisme anarchique» (1907, t. LXVIII, № 242, 16 juillet, p. 361—364), в которой современные русские поэты были разделены по трем группам — на «декадентов» (в свою очередь разделявшихся на «парнасцев» и «чистых декадентов»), «неохристианских романтиков» и «мистических анархистов»; к последним причислены Вяч. Иванов, Блок, С. Городецкий и Чулков. Семенов указал, что его статья основывается на беседе с Чулковым. О появлении этой статьи Блоку сообщил Андрей Белый в письме от 10—11 августа 1907 г.: «...разве Вы не зарегистрированы в мистико-анархисты, когда „*Mercure de France*" объявляет об этом на всю Европу. ⟨...⟩ По-моему Вы обязаны заявить *печатно* о Вашей неприкосновенности к той тенденции, которую Вам навязывают. Иначе получается впечатление, что вы идете на идейных помочах Георгия Чулкова. ⟨...⟩ С одной стороны частное письмо, где Вы называете „*куцыми теоретиками*" Ваших друзей, с другой стороны „*Mercure de France*", провозглашающий о Вашей солидарности с этими „куцыми теоретиками". И „Весы" считают Вас мистическим анархистом»

[2] «Мистический анархизм не является литературной школой» (*франц.*).

** «Что касается сборника *Факелы*, они защищают мистико-анархические идеи лишь в теоретических статьях и *исключают всякую программу под рубрикой поэзии*. Здесь, наряду с произведениями Вячеслава Иванова, я с радостью публикую и произведения Леонида Андреева, Федора Сологуба, Александра Блока, Л. Зиновьевой-Аннибал, С. Городецкого и некоторых других...» (*франц.*)

(«А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 195, 196; по просьбе Блока Белый в письме к нему от 21 августа 1907 г. дополнительно привел цитаты из статьи Семенова в «Mercure de France» — там же, с. 212). В письме к Белому от 15—17 августа Блок утверждал: «Да, я признаю себя виновным в „потакательстве", которое выразилось в том, что я допускаю *такие* заявления, как в „Mercure de France". Не оправдываюсь. Потому сочту своим долгом сказать *нет* этим теориям в письме в редакцию „Весов"» (VIII, 202).

[2] «Мой ответ „Mercure de France"» Чулкова был опубликован в журнале «Перевал» (№ 10, 1907, август, с. 50—51). «В июльском номере „Mercure de France" появилась статья о „мистическом анархизме",— писал Чулков.— В этой статье г. Семенов беспристрастно и объективно излагает мои взгляды, и я очень ценю это внимательное отношение уважаемого журнала к „Факелам" и моим книжкам. Но в той части статьи, где г. Семенов характеризует современные литературные школы и группы, на мой взгляд есть принципиальная ошибка. 〈...〉 Г-н Семенов делит представителей нашей новой литературы на три группы: на декадентов, на неохристиан и мистиков-анархистов 〈...〉 остается невыясненным вопрос, *что* служит критерием этой классификации — метод ли художественно-поэтических приемов или известное мировоззрение и мироотношение. Благодаря этому смешению двух принципов, можно истолковать „мистический анархизм" как некоторое литературное течение, претендующее на значение литературной школы. Между тем, это неверно». Далее Чулков приводит те же слова, которые он ниже цитирует в настоящем письме к Блоку.

[3] С сокращениями цитируются высказывания Чулкова, приведенные в статье Е. Семенова («Mercure de France», 1907, t. LXVIII, № 242, p. 362, 364).

[4] «Письмо в редакцию» Блока, датированное 26 августа 1907 г., в котором он выражал несогласие с «тенденциозной схемой» Семенова и заявлял: «...высоко ценя творчество Вячеслава Иванова и Сергея Городецкого, с которыми я попал в одну клетку, я никогда не имел и не имею ничего общего с „мистическим анархизмом", о чем свидетельствуют мои стихи и проза» (V, 675—676),— было опубликовано в «Весах» (1907, № 8, с. 81). Рукопись его Блок отослал для публикации в «Весах» Белому 26 августа, в сопроводительном письме указав, что специально не упоминает «имени гонимого бедняги Чулкова» (VIII, 205). В тот же день Блок в письме к Чулкову привел текст своего «Письма в редакцию» и сообщил, почему он решил направить его именно в «Весы»: «...глубоко уважаю „Весы" (хотя во многом не согласен с ними) и чувствую себя связанным с ними так же прочно, как с „Новым путем". „Весы" и были и есть событие для меня 〈...〉» (VIII, 206). В этом же письме Блок со всей решительностью заявил: «Подчеркнуть мою несолидарность с мистическим анархизмом в такой решительной форме считаю своим *мистическим долгом теперь*. Мистическому анархизму я никогда не придавал значения, и он был бы, по моему мнению, забыт, если бы его не раздули теперь. Что касается этого раздувания его („Весами"), то на это есть *реальные* причины у них, которые я могу уважать, хотя и не совсем согласен с ними» (VIII, 207). Ср. запись Блока от 20 августа 1907 г.: «Действительно, с мистическими анархизмами в литературу проникла какая-то негодная струя. Отношение к культуре не бережно. 〈...〉 Напишу письмо в редакцию „Весов" по поводу идиотского сообщения „Mercure de France"» (ЗК, 97, 98).

[5] В письме к Чулкову от 17 августа 1907 г., объясняя внутренний смысл своего отмежевания от «мистического анархизма» (подчеркивающего «зыблемость» его души), Блок цитировал стихотворение С. Городецкого «Диавол» (Сергей Городецкий. Перун. Стихотворения лирические и лиро-эпические. СПб., «Оры», 1907, с. 10): «Я же

неподвижность не нарушу
И с высоты не снизойду,
Храня незыблемую душу
В моем неслыханном аду»

(VIII, 204; в оригинале у Городецкого 4-й стих: «В моем невиданном аду»; в принадлежавшем Блоку экземпляре сборника «Перун» (Библиотека ИРЛИ, шифр: 94 5/60) цитированное четверостишие отчеркнуто на полях). Отвечая Чулкову 26 августа на настоящее письмо, в котором идея «незыблемости» связывается с верностью «линии» Вяч. Иванова, Блок вновь подчеркивал: «Я и отказываюсь решительно от „мистического анархизма", потому что хочу сохранить „душу незыблемой"» (VIII, 205).

[6] Блок запрашивал адрес Л. Андреева в письме к Чулкову от 17 августа 1907 г. (VIII, 204). Однако с письмом к Андрееву Блок тогда, по всей вероятности, не обратился. Личное знакомство Блока и Андреева состоялось, видимо, 15 сентября 1907 г. (см.: В. Беззубов. Леонид Андреев и традиции русского реализма. Таллин, 1984, с. 228—229).

11. ЧУЛКОВ — БЛОКУ

〈Петербург〉 29 августа 1907 г.

Дорогой Александр Александрович!

Я получил из «Золотого Руна» три обширных послания с приглашением принять в нем снова участие [1].

Медлю с ответом только потому, что не знаю Вашего отношения к «Золотому Руну» и ко мне. Очень хочу увидеть Вас. Когда Вы будете в Петер-

бурге? Бога ради, известите меня [2].

Жму Вашу руку.

Любящий Вас Георгий Чулков

Передайте — пожалуйста — мой привет Любови Дмитриевне.

Мой адрес: Зоологический пер., д. 5.



С. М. ГОРОДЕЦКИЙ
Фотография с дарственной надписью
Г. И. Чулкову, 1907
Литературный музей, Москва

[1] Чулков вышел из состава сотрудников «Золотого руна» с № 4 за 1907 г. Инициатива приглашения Чулкову возобновить в нем деятельное сотрудничество исходила от секретаря «Золотого руна» Г. Э. Тастевена, оказывавшего в это время решающее влияние на выработку идейной платформы журнала и стремившегося, после разрыва «Золотого руна» с «Весами» в августе 1907 г., к установлению прочного союза с петербургскими модернистами — в частности с Вяч. Ивановым, Блоком и Чулковым. 20 августа 1907 г. редактор-издатель «Золотого руна» Н. П. Рябушинский обратился с письмом к Чулкову, в котором выражал надежду на его «активное сотрудничество в создании идейной физиономии журнала»; при этом текст письма — рукой Тастевена, подпись — Рябушинского (ЛН, т. 92, кн. 3, с. 298). Редакция «Золотого руна» рассчитывала обрести в лице Чулкова деятельного полемиста, способного вести активную борьбу с «Весами». См. также письма Тастевена к Чулкову, относящиеся к концу августа — началу сентября 1907 г. (ЛН, т. 92, кн. 3, с. 297—302). Переписка Тастевена с Блоком этого же времени, безусловно также затрагивавшая вопросы реорганизации «Золотого руна», по всей вероятности, не сохранилась.

[2] 4 сентября Блок отвечал Чулкову: «Ваше письмо мне только что переслали из Шахматова. Приехать-то мы приехали, но сидим в какой-то отчаянной конуре в ожидании квартиры, которую нашли на Галерной, 41, кв. 35. ⟨...⟩ Конечно, господи, соглашайтесь на приглашение „Руна". Почему Вы медлите ответом? Отношения мои к Руну пока — прежние, пишу критику. И к Вам я совсем не изменился ⟨...⟩ я по-прежнему „лично" отношусь к Вам с нежностью, а к мистическому анархизму — отрицательно» («Письма Александра Блока», с. 145). Чулков сообщает в своих комментариях к этому письму: «...заведующий редакцией Генрих Эдмундович Тастевен, по соглашению с издателем, обратился к Г. И. Чулкову с предложением вновь составить редакцию и пригласить сотрудников. От непосредственного редактирования „Золотого руна" Г. И. Чулков отказался, по нежеланию переезжать в Москву, но изъявил согласие на руководство журналом, оставаясь в Петербурге» (там же, с. 169). Говоря о «руководстве» «Золотым руном», Чулков несколько преувеличивает собственную роль в делах журнала; переговоры относительно «руководства» «Золотым руном» велись осенью 1907 г. не с ним, а с Вяч. Ивановым, который уклонился от выполнения этой обязанности (ср.: ЛН, т. 92, кн. 3, с. 302). Однако с осени 1907 г. Чулков становится ведущим сотрудником «Золотого руна» и оказывает определяющее воздействие на его идейно-эстетическую линию и полемическую тактику. О возвращении в состав сотрудников «Золотого руна» «ввиду реорганизации редакции» и «изменения программы журнала» Чулков заявил в коллективном письме в редакцию, подписанном также Л. Андреевым, И. Буниным и Б. Зайцевым («Золотое руно», 1907, № 7-8-9, с. 160).

12. ЧУЛКОВ — БЛОКУ

⟨Петербург. 17 сентября 1907 г.⟩

Дорогой Александр Александрович!

Устраивается журнал «Луч». Кажется, это будет приятный журнал. Я в нем *пока* не участвую, потому что его редактор полемизировал с «Товарищем» — и мне неудобно сейчас выступать в этом журнале, но люди «независи-

мые» — по-моему — могут там работать [1]. Сологуб дал сказочку [2]. Дайте им стихотворение [3].

Любящий Вас Георгий Чулков

17 сентября 1907 г.

[1] Имеется в виду издатель журнала «Луч», публицист Самуил Соломонович *Зусман* (псевдоним: *Гарт*; 1880—?); редактором журнала была обозначена Н. П. Боровская. «Товарищ» — петербургская газета либерального направления, издававшаяся экономистом и публицистом Л. В. Ходским; Чулков постоянно публиковал в ней театральные рецензии. С газетой «Товарищ» Зусман полемизировал в политических статьях, которые публиковал в 1907 г. в петербургской газете «Слово»: «Конституции или севрюжины» (№ 136, 29 апреля; подпись: Гарт), «По поводу победы большевиков на лондонском съезде» (№ 159, 27 мая; подпись: Гарт), «Справедливое признание „Товарища“» (№ 162, 31 мая; подпись: Г.), «Нездоровый и здоровый социал-демократизм» (№ 218, 5 августа; подпись: С. Г.), «Знаменательные резолюции» (№ 220, 8 августа; подпись: С. Г.), «Укрепление Думы» (№ 229, 18 августа, подпись: С. Гарт) и др. Кроме того, в газете «Слово» в 1907 г. постоянно помещались анонимные редакционные статьи, содержавшие полемику с «Товарищем», к сочинению которых Зусман также мог иметь прямое отношение.

Хлопоча о судьбе журнала «Луч», Г. И. Чулков писал также Конст. Эрбергу 5 октября 1907 г.: «Опять у меня — Сем⟨ен⟩ Сем⟨енович⟩ Гарт, уверяет, что первый нумер вышел неудачным по недоразумению, согласен предоставить Вам *все* культурные отделы. Попробуйте взять на себя *общую* редакцию этих отделов: может быть, что-нибудь и выйдет из этого журнальчика ⟨...⟩ Поставьте журнал на ноги: тогда, быть может, и я войду в него через некоторое время» (ИРЛИ, ф. 474, ед. хр. 285).

[2] В № 1 «Луча» (1907, октябрь, с. 7—9) была помещена «сказочка» Ф. Сологуба «А третий — Дурак», в № 2 (1907, октябрь, с. 4) — его же стихотворение «День сгорал, недужно бледный...».

[3] В журнале «Луч» Блок опубликовал стихотворения: «Я ухо приложил к земле...» (№ 1, с. 6), «Ты не пленишь. Не жди меня...», «Травы спят красивые...» (№ 2, с. 14—15), статью «Пробуждение весны» (о пьесе Ф. Ведекинда) (№ 1, с. 12—14) и прозаический этюд «Сказка о той, которая не поймет ее» (№ 2, с. 4—8). Общение Блока с редакцией «Луча» завязалось сразу же после получения письма Чулкова. 20 сентября 1907 г. Блок сообщал матери: «Появился на моем горизонте новый тип подобострастных людей: сейчас ушел приходивший второй раз редактор нового журнальчика „Луч“ ⟨...⟩, который кланяется чуть не в пояс, говорит на каждую фразу „спасибо“ и оставляет денежные авансы» (VIII, 207). Издание «Луча» прекратилось на втором номере. Кроме Блока и Сологуба, в журнале участвовали М. А. Кузмин, А. Н. Толстой, Я. В. Годин; Гарт помещал в нем передовые политические статьи.

13. БЛОК — ЧУЛКОВУ

⟨Петербург.⟩ 8.XII.07.

Дорогой Георгий Иванович.

Очень прошу Вас — нельзя ли напечатать в «Факелах» вот это объявление? Оно — тоже творческое [1].

Ваш Ал. Блок

[1] В альманахе «Факелы» (кн. 3. СПб., изд-во Д. К. Тихомирова, 1908), вышедшем в свет в январе 1908 г., никакого объявления, имеющего прямое отношение к Блоку, не было помещено.

14. ЧУЛКОВ — БЛОКУ

⟨Петербург. 24 мая 1908 г.⟩

Дорогой Александр Александрович!

У меня сидит Сологуб и сейчас придет Кузмин. Очень желаем Вас видеть. Мы послали записку Валентине Андреевне. Может быть, и она приедет [1].

Ваш сердечно

Георгий Чулков

24 мая 1908 г.

Ждем Вас до $10^1/_2$ часов. Или предупредите по телефону.

[1] О взаимоотношениях Блока с Валентиной Андреевной Щеголевой см.: «Блок и В. А. Щеголева». Сообщение Е. Ю. Литвин и С. С. Гречишкина.— ЛН, т. 92, кн. 3, с. 850—856. Щеголева была приятельницей Н. Г. Чулковой.

Маловероятно, что Блок откликнулся не предложение Чулкова. Этим же днем датировано письмо Блока к Щеголевой, из которого можно заключить, что он стремился тогда избежать встреч с нею: «Если бы Вы знали, как я *не могу* сейчас, главное — внутренно не могу: так сложно и важно на душе. Сегодня получил Ваше письмо и думал; но — не могу, право, поверьте. И еще — я, должно быть, уеду на той неделе в деревню» (VIII, 242). В записи об этом вечере в дневнике М. А. Кузмина (от 25 мая) о Блоке нет упоминаний: «Был у Чулковых; с ним заходил к Сологубу» (ЦГАЛИ, ф. 232, оп. 1, ед. хр. 53, л.203; сообщено К. Н. Суворовой).

15. ЧУЛКОВ — БЛОКУ

‹Петербург. 27 мая 1908 г.›

Дорогой Александр Александрович!

А я — ведь — был в $1^1/_2$ у Доминика! [1] Что же Вы?

Бога ради, поскорее возвратите мне сегодня рукопись и книжку.

Я завтра должен сдать рукопись в редакцию, а мне еще надо ее кончить и переписать [2].

Любящий Вас Георгий Чулков

27 мая 1908 г.

[1] Написано после назначенной, но несостоявшейся встречи с Блоком. Имеется в виду ресторан «Доминик» (Невский пр., 24).

[2] Либо в ответ на настоящее письмо, либо еще до его получения Блок отправил Чулкову полушутливое письмо, датированное тем же днем («27 маия 1908 года»): «Извините, что вчера в припадке умоисступления, вызванного нетрезвым состоянием, я: 1) самовольно похитил тот ладан, на который Вы дышали, и сделал на нем несоответствующую надпись,— а также — все Ваши имена, отчества, фамилии и сметы приходов, расходов и обоев, 2) самовольно уснул в 12 часов и не явился в срок, назначенный мною в ресторацию. ‹...› Упомянутые предметы прилагаю при сем» («Письма Ал. Блока», с. 146). Судя по текстам обоих писем, Блок накануне захватил с собою творческую рукопись Чулкова, предназначавшуюся для публикации, и его ваписную книжку.

16. ЧУЛКОВ — БЛОКУ

СПб. 9 июня 1908.

Дорогой Александр Александрович!

Я теперь совсем паинька. Очень мало пью, почти не каламбурю и прилежно сочиняю повесть [1]. Но в тот последний вечер, когда мы пили кианти — это была не последняя бутылка: и Ваши предчувствия относительно моих штанов оправдались: все по-прежнему [2].

Как Ваш роман? Убедили ли Вы Вашего возлюбленного, что Вы не Дора? Или он по-прежнему уверен в том, что Вы не Вы? [3]

Что нового в Петербурге? Ничего: газеты уверяют, что Чулков заключил с Блоком блок и они вдвоем «фланируют» по Летнему саду [4].

Архаично! — А в «Утре» (понедельник) какая-то сволочь — Петроний — пишет [5]:

Точно так же Тарасов не представляется мне стоящим в слишком большом отдалении от К. Бальмонта, а Георгий Чулков от Блока, когда пишет о своей героине, что она «черной верой крещена». Потому что у Блока еще раньше спрошено:

«Какою верой крещена?»

И если б этот вопрос был обращен к поэзии зачинателя мистико-анархизма, ей пришлось бы стыдливо ответить:

— Блоковской! *

Зная Вашу любовь к «письмам в редакцию» [6], уверен, что Вы поспешите с опровержением.

Ну, еще что? Посылаю Вам своего «Архивариуса» [7].

А Вы все-таки к первому июлю возвращайтесь с новой Фаиной [8]. А раньше, пожалуй, и не надо. Днем приходится сидеть дома, но ночи в Петербурге не

* Слова "Точно так ∞ Блоковской!" — текст газетной вырезки, вклеенной в письмо

хуже, чем в Шахматове. Право! И не потому, что мне хочется «соблазняя, соблазнить» [9].

Целую Вас.

Любящий Вас Георгий Чулков

Передайте, пожалуйста, мой привет глубокоуважаемой Александре Андреевне.

Письмо направлено в Шахматово, куда Блок приехал 4 июня (см.: ЛН, т. 89, с. 232).

[1] О каком произведении Чулкова идет речь, неясно.

[2] Блок замечал в ответном письме от 14 июня: «Жаль, что штанов Вы не приобрели. Советую: бывают — вполне терпимые — от 6 до 8 рублей с полтиною» («Письма Ал. Блока», с. 147).

[3] Блок отвечал 14 июня: «Романтическому корреспонденту ответить не умею, так как он продолжает уверять, будто я — Дора. Я хотел бы убедить его в том, что я — Ксения, и что у меня большие синие глаза с поволокой и волосы — с синеватым отливом. Но так как я заранее убежден, что он этому не поверит, то кажется переписка наша прервется» (там же, с. 147). Подразумевается эпизод, обозначенный в записи Блока: «Роман в письмах. *Рукавишников*» (ЗК, 107),— литературная игра, проводившаяся по взаимной договоренности Блоком и Иваном Сергеевичем Рукавишниковым (1877—1930), поэтом и прозаиком, близким к символистам. 25 мая 1908 г. Рукавишников прислал Блоку рукопись своего стихотворения «Вешаю свиток в притворе храма...» с сопроводительной запиской: «Здравствуйте, Александр Александрович! Вот Вам начало. Мой адрес пока городской. Как только перееду, напишу. Пожалуйста, и Вы поступите так же. Жму руку. Ваш Иван Р.» («Александр Блок. Переписка. Аннотированный каталог». Вып. 2, с. 396). Приводим в выдержках стихотворение Рукавишникова:

Вешаю свиток в притворе храма.
Читай мольбу мою та, кого жду.
Пусть же придешь ты в молчанье храма,
Сказав душою: — Ищу и найду.
Кто ты будешь — не знаю и знаю.
Ухожу из храма: в храме тоска.
Я мир отвергаю. Я мир проклинаю.
Отзовись. Я жду двойника.
〈.....〉

Явись. И будь моей, как хочешь.
Двойник! Открой свой Лик Любви.
Мы разрешим с тобой,— ведь хочешь? —
Загадку Смерти и Любви.

Я не знаю тебя.
Но я верю в тебя.
А зову я тебя:
Дора.
Не обманешь меня.
Осчастливишь меня.
Знаю: Ищешь меня,
Дора.

Девять дней протекут. И в забытый храм
Приду я в последний раз.
И увижу: Там этого свитка нет.
И висит там свиток твой.
Появись! Отзовись! Скажи: — Вот я! —

Двойник мой. Двойник мой. Дора моя!
Золотистая...

(Иван Рукавишников. 〈Соч.〉 Кн. 10. Стихотворения. М., «Московское книгоиздательство», 1915, с. 102—103). 25-м мая 1908 г. датировано ответное стихотворное послание Блока, опубликованное затем под заглавием «Незнакомка — смертному» с посвящением Ивану Рукавишникову («Лебедь», 1909, № 8, с. 1) и начинающееся строками:

В глубоких сумерках притвора
Прочла я длинный свиток твой:
Ты — не угадчик. Я — не Дора,
Но страстен голос твой земной.

И вот тебе — ответный свиток
На том же месте, на стене,
За то, что много страстных пыток
Ты ведал на пути ко мне.

Впоследствии послание было переработано в стихотворение «В глубоких сумерках собора...» (См.: II, 338—339, 446—448). Ответ Рукавишникова на стихотворение «Незнакомка — смертному» — послание «Стихам Александра Блока» («Тебе, незнаемая, нелюбимая...»), содержащее строки:

Каким путем пришла ты в храм покинутый?
Вела тоска тебя? Вела Любовь?
Иль оскорблен тобою храм покинутый?
И ты — лишь Смех, а не Любовь...

Я звал лучистую...
Я Дору чистую,
Звезду, обещанную небом, звал,
Я обнял огненную, золотистую.
И вот я лед поцеловал.

Ты слишком счастливо, ты слишком радостно
Поешь уверенность свою и власть.
И звон души твоей поет не благостно,
Для той души, которой жить нерадостно,
Для той души, в которой так нерадостно,
Погибла страсть,
Земная страсть.

(Иван Рукавишников. <Соч.> Кн. 10. Стихотворения, с. 145—146). В письме от 14 июня 1908 г. Рукавишников призывал Блока продолжать поэтическую переписку: «Что же это, Александр Александрович! Я получил всего один свиток. Давно-давно. Ответил. Писал Вам, дней 7 назад, уже отсюда, из Островков. Не знаю, где Вы. Советую и прошу поскорее приехать сюда. Скоро бы окончили. Итак, Вас ждет здесь Ваша комната, Нева, лес, тишина. И я. Напишите же. И в а н.» (ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 387). Письмо Рукавишникова к Блоку от 29 июня 1908 г. содержало повторное приглашение приехать в Островки и ответить на стихотворное послание: «Что это Вы, право, не пишете? Я говорю о той нашей начатой вещи. Без больших промежутков лучше было бы. А так — ослабеет внимание, упадет интерес. Помните, при последней встрече в Петербурге, я просил Вас приехать ко мне. Вы хотели, помнится мне, приехать в июле. Приедете? Напишите. Если надумаете, помните, что здесь у меня места много: друг другу мешать не будем. А в притворе храма всегда можно написать хотя бы несколько строк. Потом яснее станет. Итак, жду письма. И такого, и такого» (там же). Блок, однако, на эти предложения не откликнулся, уже утратив, по всей видимости, интерес к идее стихотворной переписки-мистификации; отношения его с Рукавишниковым после этого эпизода нового развития не получили. Образ Доры воспет Рукавишниковым также в стихотворениях «Накануне счастья жизни...» и «Дора восточная» («В память ушедшей из жизни Доры...»). Возможно также, что с темами поэтической переписки с Блоком соотносится стихотворение Рукавишникова «Ксения». См.: Иван Рукавишников. <Соч.> Кн. 10. Стихотворения, с. 21—22, 86—87, 110.

[4] Источник сведений не установлен.

[5] Далее вклеена газетная вырезка — фрагмент из статьи Петрония (псевдоним Петра Моисеевича *Пильского* (1876—1941), литературного критика и журналиста) «Впечатлительное племя» («Утро», 1908, № 2, 9 июня), в которой разоблачалась подражательность литературной манеры у «большинства современных авторов»; в частности, строки из стихотворения Чулкова «Зачем пришла ко мне в тайгу?..»:

И Темноокая Жена
Там, где белеет сонный иней,
Со мной давно обручена,
И черной верой крещена
В тайге холодной, темносиней

(Георгий Чулков. Весною на север. Лирика. [СПб.], 1908, с. 49),— возводились Пильским к стихотворению Блока «Ушла. Но гиацинты ждали...» (1907):

И, миру дольнему подвластна,
Меж всех — не знаешь ты одна,
Каким раденьям ты причастна,
Какою верой крещена.

(II, 258).

[6] Намек на «Письмо в редакцию» «Весов» (см. п. 10, прим. 3) и «Письмо в редакцию» газеты «Свободные мысли», опубликованное 21 января 1908 г. (V, 676), в котором Блок возражал против упоминания его имени в афишах, сообщающих о литературных вечерах. Блок замечал в ответном письме к Чулкову от 14 июня: «Вот свинья — Петроний. Но ведь не стоит писать больше писем в редакцию, это повлечет за собою новые нарекания» («Письма Ал. Блока», с. 147).

[7] Имеется в виду рассказ Чулкова «Архивариус», напечатанный в газете «Речь» (1908, № 136, 8 июня). Блок отвечал Чулкову 14 июня: «За „Архивариуса“ спасибо, я его еще раньше прочел, здесь получается — „Речь“. Мне очень нравится, а Марья Андреевна говорит, что его сжатость доказывает настоящее мастерство» («Письма Ал. Блока», с. 147; Марья Андреевна — тетка Блока М. А. Бекетова). «Архивариус» вошел в кн.: Георгий Чулков. Соч., т. 1. Рассказы, кн. 1. СПб., «Шиповник», <1911>, с. 154—159. См. также вступ. ст., с. 380.

[8] Вероятно, подразумевается новая, переработанная редакция пьесы «Песня Судьбы»; первоначальную редакцию Блок читал 4 мая 1908 г. на квартире у Чулкова (см. IV, 579). 14 июня 1908 г. Блок отвечал Чулкову: «Меня уже тянет в Петербург, но раньше 1 июля не приеду ⟨...⟩ я, кажется, таки допишу Песню Судьбы» («Письма Ал. Блока», с. 147). То же намерение Блок выражал и в письме к жене от 14 июня (VIII, 243), а 24 июня сообщал ей, что «Песня Судьбы» «кончена вчера» (VIII, 245); см. также письма Блока к жене от 19 и 21 июня 1908 г. (ЛН, т. 89, с. 237—238).

[9] Намек на заключительную строфу стихотворения Ф. Сологуба «Когда я в бурном море плавал...» (1902) — обращение к дьяволу:

Тебя, отец мой, я прославлю
В укор неправедному дню,
Хулу над миром я восславлю
И, соблазняя, соблазню.

(Федор С о л о г у б. Стихотворения. («Библиотека поэта», большая серия). Л., 1975, с. 279).

17. ЧУЛКОВ — БЛОКУ

⟨Петербург⟩ 11 сентября 1908

Дорогой Александр Александрович!

Высоко ли Ваш земляной диван? [1] «Пляшет ли веселье»? [2] Нет ли у Вас Холеры? А у нас Она очень есть [3].

Говорят, «на почве» алкоголизма развиваются холерные микробы. Sic! Нехорошая «почва»!

Николай Павлович Рябушинский, как Вам известно, стрелялся [4]. Этот романтизм возбудил во мне живую печаль и нежность. От избытка чувств послал в Руно телеграмму.

Лечусь от холеры красным вином.

Сочинил два рассказа: 1) «Распятые Лилии» [5] — 2) «Невеста» [6].

Очень хорошие рассказы.

Пришлось взять из «Слова» статью о Вас. Вот так Штильман! [7]

Любите меня. Любите меня. Любите меня.

Мой привет Любови Дмитриевне и Александре Андреевне!

После 15, вероятно, буду в Москве. Пишите в «Руно» на мое имя.

Жму Вашу руку.

Сердечно Ваш Георгий Ч у л к о в

[1] В ответном письме из Шахматова от 18 сентября Блок сообщал: «Земляной диван вырос, порублено много деревьев, земля изрыта и т. д.» (VIII, 254). О строительных работах в шахматовской усадьбе Блок писал и Е. П. Иванову 3 сентября: «Живем хорошо — копаюсь в земле, строю забор, рублю лес» (VIII, 251—252). «Земляной диван» был сооружен Блоком вместе с Любовью Дмитриевной в 1904 г. «В то лето,— вспоминает М. А. Бекетова,— занялись они устройством своего сада. Прежде всего соорудили дерновый диван. Его устроили в углу, где сходились две линии забора. Диван сработан был основательно и вышел очень удобный, широкий, с высокой спинкой. Блоки очень его любили и называли „канапэ“ в память стихотворения Болотова „К дерновой канапэ“. С боков, по сторонам его, посадили они два молодых вяза, привезенных из Боблова. Деревья эти разрослись очень пышно; через несколько лет они сошлись ветвями и осенили канапэ» (М. А. Б е к е т о в а. Александр Блок. Биографический очерк. 2-е изд. Л., «Academia», 1930, с. 89). О стихах А. Т. Болотова «К дерновой канапэ» Блок упоминает в письме к Брюсову от 23 февраля 1904 г. (VIII, 89). Как сообщает П. А. Журов в воспоминаниях «Впервые в Шахматове. Лето 1924 года», «дерновый диван» уцелел после разгрома усадьбы («Revue des études slaves». 1982, t. LIV, fasc. 4, p. 748).

[2] Парафраз строк из стихотворения Блока «Осенняя воля» (1905):

Вот оно, мое веселье, пляшет
И звенит, звенит, в кустах пропав!

(II, 75)

В статье о поэзии Блока «Снежная Дева» Чулков писал в связи со стихотворением «Осенняя воля»: «Здесь нет славянофильской Руси, что бы ни думал сам поэт. Здесь есть пушкинское «от стихийно-родного к всемирному». «Ницший, распевающий псалмы» — сколько здесь мучительной любви к бродяжничеству! ⟨...⟩ Сколько здесь мятежной тоски! И какие открываются надежды! Если поэт сумеет сорвать коварную снежную маску, если он сумеет отделить случайный образ обольстительницы от первоначального стихийного символа, мы можем возлагать на него нашу надежду» (Георгий Ч у л к о в. Соч., т. 5. Статьи 1905—1911 гг. СПб., «Шиповник». 1912, с. 52).

[3] *Ср. фразу в письме Блока к Е. П. Иванову от 13 сентября 1908 г.:* «...желаю вам всем быть здоровыми, чтобы миновала вас эта страшная холера (Чулков пишет мне о ней хотя и юмористически, но с большой буквы)» (VIII, 253).

[4] Н. П. *Рябушинский* (1876—1951) — редактор-издатель «Золотого руна». «Хорошо ли, что Вы послали телеграмму Рябушинскому? Не было ли ему от этого тяжело?» — писал Блок Чулкову 18 сентября (VIII, 254). 11 сентября 1908 г. газета «Русское слово» сообщала: «Третьего дня, в 12-м ч. ночи, покушался на самоубийство издатель „Золотого руна" Н. П. Рябушинский ⟨...⟩ Н. П. Рябушинский стрелялся и ранил себя в бок, задев левое легкое ⟨...⟩ Как в большинстве подобных случаев, молва связывает покушение на самоубийство с расстройством личных дел покушавшегося»; 12 сентября та же газета извещала, что здоровье Рябушинского «не внушает опасения». В «Русских ведомостях» указывалось, что «причиной самоубийства послужило неудачное издательство, что сильно расстроило г. Рябушинского» (1908, № 210, 11 сентября). «Подстрелился Н. Рябушинский ⟨...⟩,— сообщал секретарь „Весов" М. Ф. Ликиардопуло Брюсову 12 сентября 1908 г.— Причина — безденежье, осталось у него только *10—12* тысяч годового дохода» (ГБЛ, ф. 386, карт. 92, ед. хр. 22).

[5] Сохранились авторизованная машинопись рассказа «Распятые лилии» (дата под текстом: 1905 г.) и корректура-верстка, датированная *октябрем 1908* г. и предназначавшаяся, судя по шрифтовым особенностям, для «Золотого руна» (ЦГАЛИ, ф. 548, оп. 1, ед. хр. 110, л. 5—19). В «Золотом руне» этот рассказ, затрагивающий в условно-символической форме тему революции и последующего контрреволюционного террора, напечатан не был; по всей вероятности, он так и остался неопубликованным.

[6] Рассказ «Невеста» был опубликован в «Новом журнале для всех» (1908, № 1, ноябрь, с. 21—43), вошел в кн.: Георгий Чулков. Соч., т. 1. Рассказы, кн. 1, с. 111—138.

[7] Статья Чулкова о Блоке «Снежная Дева» была опубликована в «Золотом руне» (1908, № 10, с. 51—54; подпись: Борис Кремнев), вошла в кн.: Георгий Чулков. Покрывало Изиды. Критические очерки. М., 1909, с. 81—90; Георгий Чулков. Соч., т. 5. Статьи 1905—1911 гг. СПб., «Шиповник», 1912, с. 46—53. Григорий Николаевич *Штильман* (1877—1916) — юрист и публицист, один из редакторов петербургской газеты «Слово»; был лично знаком с Блоком и Чулковым.

18. ЧУЛКОВ — БЛОКУ

⟨Москва. 2 октября 1908 г.⟩

Дорогой Александр Александрович!

Простите великодушно, что до сих пор не вернул Вам долга [1].

Меня надул журнал «Северное сияние», откуда я должен был получить деньги [2]. Верну Вам мой долг лишь недели через две: надо мобилизовать всю армию!

Мой адрес: Москва, у Арбатских ворот, меблир⟨ованные⟩ комн⟨аты⟩ Счастневой. Останусь здесь еще на месяц.

«Золотое Руно», вероятно, будет издавать мою книгу критических статей [3].

Если Вы еще не уехали в Петербург, приезжайте ко мне, в Москву. Москва может быть фантастической в иные ночи.

Жду от Вас вести!

Любящий Вас нежно и верно

Георгий Чулков

2 октября 1908.

Статью о Вас напечатаю в «Руне» [4].

[1] Блок отвечал Чулкову 4 октября из Петербурга по возвращении из Шахматова: «...Ваше письмо получил я на станции, уезжая. Не беспокойтесь о долге, пожалуйста, и отдайте его лишь тогда, когда Вам будет не трудно» (VIII, 255).

[2] В московском ежемесячном иллюстрированном журнале «Северное сияние» тогда печаталось стихотворение Чулкова «Слова» («Слова и облачны, и лживы...») (1908, № 1, ноябрь, с. 80).

[3] Речь идет о книге статей Чулкова «Покрывало Изиды», вышедшей в свет в издании «Золотого руна» в ноябре 1908 г. Переговоры о ее издании велись с лета 1908 г. Так, 15 августа 1908 г. секретарь «Золотого руна» Г. Э. Тастевен писал Чулкову: «Николай Павлович несколько колеблется относительно издания ⟨...⟩ Мне лично очень хотелось бы видеть Вашу книгу в издании „Золотого руна", это очень утвердило бы нашу позицию» (ГБЛ, ф. 371, карт. 4, ед. хр. 69).

[4] См. п. 17, прим. 7.

19. ЧУЛКОВ — БЛОКУ

⟨Москва.⟩ 7 октября 1908.

Милый и дорогой Александр Александрович!

Остаюсь в Москве еще недели на три [1]: печатаю в изд⟨ании⟩ «Золотого Руна» книгу критич⟨еских⟩ очерк⟨ов⟩ «Покрывало Изиды» (увы! совсем без денег пока) [2]. Но, кажется, что это лишь внешний повод, чтобы остаться здесь. Признаюсь, я несколько влюбился в эту провинциалку-Москву и в ее невинный разврат. Что-то есть в ее тупиках, горбатых переулках и кремлевских стенах — какая-то безысходная сладость [3].

Как жаль, что Вас здесь нет. Я нашел здесь странных и красивых людей, которые не боятся вдыхать эфир. И это ребяческое преступление покорило мое слабое и пьяное сердце... [4]

Но днем я все-таки работаю и успел написать еще один рассказ — «Белая Криница» [5].

Очень люблю Вас.

Георгий Чулков

Белый недавно ходил по залам литер⟨атур⟩н⟨ого⟩ кружка и говорил всем встречным, что он ищет Г. И. Чулкова, чтобы мириться, и что он чувствует себя виноватым. Я надеюсь, что он был пьян [6].

Пишите мне!

Адрес: Воздвиженка, меблир⟨ованные⟩ комн⟨аты⟩ Счастневой. Передайте, пожалуйста, мой привет Любови Дмитриевне.

[1] Блок спрашивал Чулкова в письме от 4 октября: «Отчего Вы так долго в Москве? ⟨...⟩ Есть ли что-нибудь хорошее или таинственное в Вашем пребывании в Москве? Или только дела? Возвращайтесь, не пропадайте. ⟨...⟩ Напишите мне еще, пожалуйста» (VIII, 255).

[2] См. п. 18, прим. 3.

[3] Косвенным откликом на эти признания Чулкова можно считать слова Блока в письме к нему от 7 ноября 1908 г.: «Московские северные сияния слишком общедоступны, а московские лебеди — какие-то кривоносые. Ведь ибсеновские „королевские мысли" рождаются все-таки в Петербурге, и настоящая северная чума свирепствует здесь. В Москве ужасно, должно быть, уютно, а поистине неприютно — здесь» (VIII, 260; в тексте содержится намек на журналы «Северное сияние» и «Лебедь», начатые изданием в Москве осенью 1908 г.).

[4] Это пристрастие Чулкова нашло отражение в его рассказе «Сентябрь», опубликованном в «Золотом руне» (1908, № 11-12, с. 50—55) и вошедшем в сб. Чулкова «Рассказы» (кн. 1. СПб., «Шиповник», 1909); см. также: Георгий Чулков. Соч., т. 1. Рассказы, кн. 1, с. 160—172. В письме к А. А. Кублицкой-Пиоттух от 12 ноября 1908 г. Л. Д. Блок сообщала, что в Петербург только что возвратился Чулков, «нахулиганивший в Москве, вплоть до нюханья эфира и ссор в ресторанах» (ЛН, т. 92, кн. 3, с. 338); в примечаниях к этому письму (с. 339) ошибочно указано, что «московский опыт» Чулкова с вдыханием эфира лег в основу его рассказа «Ева» и что этот рассказ был опубликован в «Золотом руне» в 1909 г.; см. п. 22, прим. 2.

[5] Рассказ «Белая Криница» был опубликован в журнале «Лебедь» (1908, № 2, с. 7—12); вошел в сб. Чулкова «Рассказы» (кн. 1). См. также: Георгий Чулков. Соч., т. 1. Рассказы, кн. 1, с. 94—103.

[6] Личные отношения между Андреем Белым и Чулковым были разорваны в результате резких полемических нападок Белого на теорию «мистического анархизма» и непосредственно на Чулкова. Много позднее Белый признавался: «Я в этой полемике был особенно ужасен, несправедлив и резок ⟨...⟩ стал для меня «Чулков» — символом; полемизировал я не с интересным и безукоризненно честным писателем, а с «мифом», возникшим в моем воображении» (Андрей Белый. Начало века. М.—Л., 1933, с. 387—388). В ответном письме от 10 октября Блок замечал: «Что касается Белого, то, думаю, что ему всерьез взбрело в голову, что он должен помириться с Вами. Но, вероятно, не надолго. Ах, какой запутавшийся человек» («Письма Ал. Блока», с. 146). Примирение между Белым и Чулковым тогда не состоялось.

20. ЧУЛКОВ — БЛОКУ

⟨Петербург.⟩ 5 декабря 1908.

Дорогой Александр Александрович!

Пожалуйста, зайдите ко мне сегодня вечером и, если можн принесите Ваш реферат о народолюбии, дабы я мог подготовиться к ответу [1]. Или, по крайней мере, принесите Ваши тезисы: я что-то не очень их припоминаю, грешен. Может

быть, сегодня вечером у нас будет Вера Евгениевна Копельман [2] — и больше никого. Пожалуйста, приходите [3]. Я не зашел к Вам сейчас, потому что чувствую себя туберкулезно.

Кланяюсь Любови Дмитриевне.

Любящий Вас Георгий Чулков

[1] Имеется в виду текст доклада Блока, прочитанного 13 ноября 1908 г. в петербургском Религиозно-философском обществе и опубликованного под заглавием «Россия и интеллигенция» в «Золотом руне» (1909, № 1, с. 78—85). Первоначальный вариант заглавия — «М. Горький и народ (по поводу „Исповеди" Горького)» (V, 742). В сборнике Блока «Россия и интеллигенция» (М., «Революционный социализм», 1918; изд. 2 — Пб., «Алконост», 1919) доклад напечатан под заглавием «Народ и интеллигенция» (см. V, 318—328). Доклад вызвал оживленную полемику на следующем заседании Религиозно-философского общества 25 ноября (V, 743) и был повторен 12 декабря в петербургском Литературном обществе (под заглавием «Обожествление народа в литературе», которое дал С. А. Венгеров), в прениях участвовал Чулков. Именно это заседание подразумевает Чулков в своем письме. Свои возражения Блоку Чулков изложил в статье «Memento mori» («Речь», 1908, № 315, 22 декабря). Подробнее о содержании полемики между Блоком и Чулковым см. во вступ. статье, с. 383—384.

[2] Вера Евгеньевна *Беклемишева* (в замужестве *Копельман*, 1881—1944) — жена С. Ю. Копельмана, одного из владельцев издательства «Шиповник»; секретарь «Шиповника», писательница, переводчица. Воспоминания ее о Блоке («Встречи») см. в работе Р. Б. Заборовой «Новое об Александре Блоке» («Книги. Архивы. Автографы». Обзоры, сообщения, публикации. М., 1973, с. 42—56).

[3] 6 декабря 1908 г. Блок писал матери о встрече накануне: «. . . скучал у Чулковых с Городецкими и Копельманами» («Письма к родным», I, с. 237).

21. ЧУЛКОВ — БЛОКУ

⟨Петербург. 21 февраля 1909 г.⟩

Милый Александр Александрович!

Как здоровье Любови Дмитриевны? [1] Не можете ли Вы зайти ко мне? Я буду рад Вас видеть.

Ваш сердечно Георгий Чулков

21 февраля

Я был у Вас вместе с Верой Евгениевной, которая вас приветствует.

Мой адрес: Лиговка, «Версаль» [2].

Приписка В. Е. Копельман:

Георгий Иванович похитил меня из «Шиповника» и завез к Вам, теперь везет дальше куда-то. Прислуга Ваша говорит, что Любовь Дмитриевне лучше. Очень радуюсь за вас обоих. Жму руку.

В. Е. [3]

[1] 2 февраля 1909 г. родился, а 10 февраля умер сын Л. Д. Блок Дмитрий. 3 февраля 1909 г. Н. Г. Чулкова отправила Блоку письмо:

«Дорогой Александр Александрович,

Пожалуйста, сообщите нам, как здоровье Любови Дмитриевны. Городецкий говорил Георгию, что Любовь Дмитриевна уже четыре дня в больнице.

Жму Вашу руку. Н. Чулкова»

(ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 456). Блок отвечал в тот же день:

«3 II ⟨19⟩09.

Глубокоуважаемая и дорогая Надежда Григорьевна.

Вчера утром у Любы родился мальчик. Пока все слава Богу. Боли были ужасные — трое суток.

Преданный Вам Александр Блок.

Хочу зайти к Вам на днях. Георгия Ивановича приветствую». (ЦГАЛИ, ф. 548, оп. 1, ед. хр. 446; на письме примечание Н. Г. Чулковой: «Александр Александрович Блок, не застав меня дома, оставил эту записку о рождении мальчика Мити ⟨. . .⟩»).

[2] Меблированные комнаты «Версаль» (Лиговская ул., 35). 20 февраля 1909 г. Чулков сообщал А. Л. Волынскому: «Живу я теперь на Лиговке, в „Версале"» (ИРЛИ, ф. 673, ед. хр. 125).

[3] В. Е. Копельман в воспоминаниях о Блоке сообщает: «Очень жаль, что большое на восьми страницах письмо Алек⟨сандра⟩ Александровича ко мне погибло вместе со всем архивом изд. „Шиповник"» — и делает примечание: «Письмо А. Блока было написано в ответ на

мое письмо по поводу болезни Л⟨юбови⟩ Д⟨митриевны⟩ и смерти ребенка» («Книги. Архивы. Автографы», с. 53). Писем В. Е. Копельман в архиве Блока не имеется; впрочем, не исключено, что мемуаристка подразумевала лишь воспроизводимую здесь приписку к письму Чулкова.

22. ЧУЛКОВ — БЛОКУ

Томилино. 17 марта 1909.

Милый Александр Александрович!

Я сегодня люблю Вас. Напишите мне о себе. Я живу под Москвой, в уединении: сосны, снег и ни единого человека [1]. Только дровосеки стучат. Встаю в семь часов утра, иду через поле, в деревню: глазам больно от снежного сияния.

Пишу рассказ — «Ева» [2].

«Полунощного света» Мережковские испугались. Ах, какие нехрабрые! Ах, какие немудрые! И ничего-то не поняли... [3]

Кланяюсь Любови Дмитриевне. Как ее здоровье?

Дружески жму Вашу руку.

Любящий Вас Георгий Чулков

Пишите мне по адресу «Золотого Руна» [4].

[1] Ср. письмо Чулкова к Конст. Эрбергу от 2 апреля 1909 г.: «Живу я с Над⟨еждой⟩ Григ⟨орьевной⟩ на даче в Томилине. Сосны, снег, пустынность ⟨...⟩ Скоро нас удалят из Томилина. Буду, вероятно, томиться не в Томилине, а в Москве»; 9 апреля он извещал Эрберга, что «теперь переехал в Москву — на месяц, вероятно» (ИРЛИ, ф. 474, ед. хр. 285).

[2] Рассказ «Ева» был опубликован в газете «Правда живая» (1909, № 18, 31 марта), вошел в кн.: Георгий Чулков. Рассказы, кн. 2, СПб., «Шиповник», ⟨1910⟩, с. 145—164.

[3] Свой рассказ «Полунощный свет» Чулков читал 31 января 1909 г. в Петербурге на квартире Е. Е. Лансере (см. письмо Чулкова к Конст. Эрбергу от 30 января 1909 г. — ИРЛИ, ф. 474, ед. хр. 285). По всей вероятности, Чулков предложил «Полунощный свет» для публикации в журнале «Русская мысль», где в 1909 г. беллетристическим отделом заведовал Д. С. Мережковский, но рассказ был отвергнут. 9 апреля 1909 г. Чулков сообщал Конст. Эрбергу: «Я теперь работаю над „Полунощным светом“: пишу его заново. Кажется, теперь выходит лучше» (ИРЛИ, ф. 474, ед. хр. 285); на следующий день, 10 апреля, он писал публицисту И. В. Жилкину: «Я жил под Москвой — в уединении, зарывшись в сугробах, среди сосен. Работал. Заново написал „Полунощный свет“, первоначальную редакцию которого слышала Зинаида Андреевна» (ЦГАЛИ, ф. 200, оп. 1, ед. хр. 95; упоминается З. А. Жилкина, жена И. В. Жилкина). «Полунощный свет» опубликован в кн.: Георгий Чулков. Рассказы, кн. 2, с. 77—117. «Испуг» Мережковских Чулков объяснял, видимо, тем, что «Полунощный свет» был полон аллюзий из современной петербургской литературной жизни (неясно, были они усилены или смягчены при переработке рассказа). В образе одного из героев рассказа, известного писателя Сергея Савинова, отразились черты Вяч. Иванова, молодой жены Савинова Людмилы — жены Иванова Л. Д. Зиновьевой-Аннибал, друга Савинова Анны Николаевны Калиновской — теософки Анны Рудольфовны Минцловой, близкой к кругу Иванова; в квартире Савиновых происходят собрания литературных знаменитостей по пятницам — аналогично «средам» на «башне» Вяч. Иванова; писатель Иван Иванович Кассандров, говорящий о «параличе церкви» и о необходимости связи религии с общественной борьбой, в схематическом виде излагает идеи Д. С. Мережковского (там же, с. 94—95), и т. д.

[4] Блок ответил Чулкову с опозданием — письмом, датированным апрелем 1909 г., в котором извещал о намерении вскоре уехать в Италию (VIII, 282). Чулков получил его не позднее 9 апреля: в этот день он сообщил Конст. Эрбергу о «хорошем письме» от Блока (ЛН, т. 92, кн. 3, с. 350).

23. ЧУЛКОВ — БЛОКУ

⟨Углич.⟩ 4 июля 1909.

Дорогой Александр Александрович!

В Италии Вы или где? И как живете? [1]

Я вот уже три недели в Угличе. Здесь тишина, старина, бор сосновый, Волга... Церквей больше, чем жителей. Иногда за обедней, кроме священника, ни души. Какие здесь восходы! Какие закаты! [2] Одно плохо — луна. Мучает меня: по ночам сам не свой. Вас я люблю нежно. Привет Любови Дмитриевне.

Георгий Чулков

P. S. Скоро еду по Волге [3].

Открытка. На обороте — фотографический снимок: Углич. Храм Воскресения Христова. Упраздненный монастырь.

[1] Письмо отправлено в Шахматово. Из заграничной поездки Блок вернулся 21 июня, 29 июня уехал в Шахматово.

[2] В очерке «Вчера и сегодня. Листки из дневника», рассказывая о том, как он встретил начало мировой войны в швейцарском санатории, Чулков написал: «Я почему-то вспомнил об Угличе, закрыл глаза, и передо мною развернулась широкая даль, Волга, замаячили паруса, златоглавые церковки засияли на синем небе. Боже мой! Какая печаль около этих угличских церквей! Все они воздвигнуты, должно быть, «на крови», как та, что во имя царевича «убиенного»» («Народоправство», 1917, № 6, 9 августа, с. 4).

[3] Путешествие Чулкова по Волге было непродолжительным; 12 июля 1909 г. он уже сообщал жене, что приехал в Киев (ЦГАЛИ, ф. 548, оп. 1, ед. хр. 480). 16 сентября 1909 г. Чулков писал П. Е. Щеголеву: «Я скитался по России — по Волге, Днепру и всяческим иным местам» (ИМЛИ, ф. 28, оп. 3, ед. хр. 497).

24. БЛОК — ЧУЛКОВУ

⟨Петербург. 21 декабря 1909 г.⟩

Дорогой Георгий Иванович.

Вчера я лежал в постели в жару, оттого Вас и не впустили. Только что вернулся, как простудился [1]. Как только поправлюсь, опять уеду — в Ревель [2]. Очень трудные дела.

Ваш Ал. Блок

21 XII

[1] Письмо написано по возвращении из Варшавы, где 1 декабря скончался А. Л. Блок, отец поэта. В тот же день Блок писал М. А. Кузмину: «...только что вернулся из Варшавы, болен, и очень тяжело в семье» («Блоковский сб.», 2, с. 362); матери: «...я приехал из Варшавы третьего дня утром с бронхитом и вчера даже лежал ⟨...⟩ надо будет высидеть дома, что меня даже устраивает, потому что, по правде сказать, здесь я не имею особенного желания видеть кого-либо» («Письма к родным», I, с. 295).

[2] В тот же день Блок писал матери: «В Ревель (т. е. не в Ревель, а к вам) очень хотим приехать мы оба» — т. е. вместе с женой («Письма к родным», т. I, с. 295). 28 декабря Блок сообщал в письме к матери: «Я еду завтра вечером ⟨...⟩ и, значит, буду в Ревеле 30-ого утром, в 10 часов. Люба на следующий день» (там же, с. 300).

25. ЧУЛКОВ — БЛОКУ

⟨Нескучное.⟩ 23 мая 1910.

Дорогой Александр Александрович!

Только сегодня получил Ваше письмо. Я — в деревне. Мой адрес: село Нескучное, Харьковской губерн⟨ии⟩, Харьковского уезда, Веселовской волости, им⟨ение⟩ Лансере [1].

Здесь хорошо: цветет белая акация; поют соловьи, как сумасшедшие, днем и ночью; люди вокруг милые, тихие, нежные... Сейчас была гроза, и сад так благоухает, что голова кружится [2].

Старая усадьба наша стоит на берегу речки Муромки, в коей водятся огромные щуки; а по ту сторону речки — вишневый сад. Там хутор художницы Серебряковой [3].

Что Вы теперь делаете, милый Александр Александрович? Я езжу верхом (и прескверно), играю недурно в лаун-теннис и сочиняю повесть [4]. А по вечерам, когда все спят, читаю «La Divina Commedia» [5].

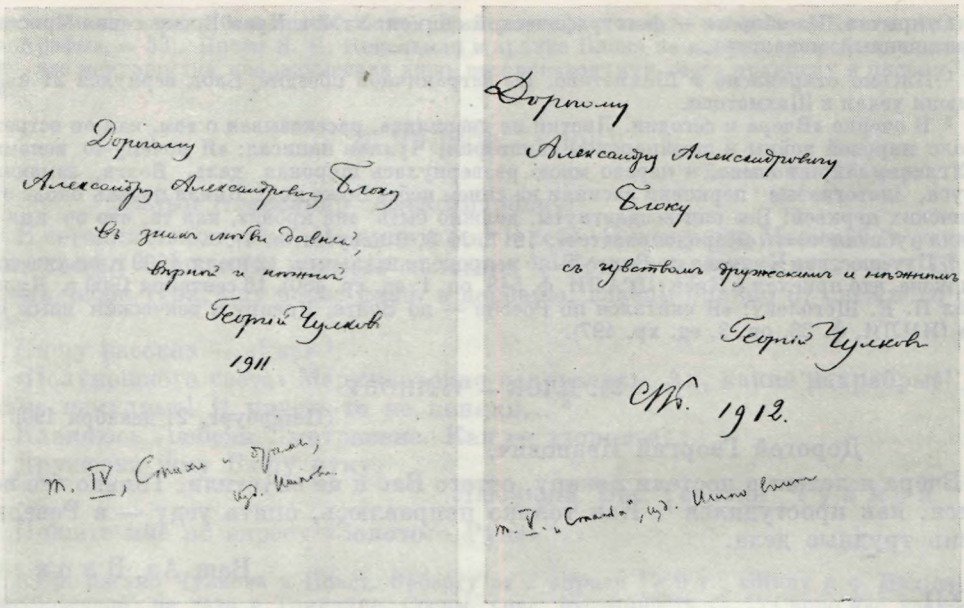
Мой привет Любови Дмитриевне.!

Любящий Вас нежно Георгий Чулков

Ответ на письмо Блока от 9 мая 1910 г., посланное из Шахматова в Петербург («Письма Ал. Блока», с. 150).

[1] Нескучное — усадьба в 30 верстах от Харькова, принадлежавшая семье Лансере. Чулков и Н. Г. Чулкова были близко дружны с семьей Лансере, в том числе и с художником Е. Е. Лансере. «Два-три года я часто встречался с этой семьею и даже одно время жил в квартире доброй и гостеприимной Екатерины Николаевны Лансере, урожд. Бенуа, на улице Глинки, против Николы Морского»,— вспоминает Чулков («Годы странствий», с. 201).

[2] 15 мая 1910 г. Чулков писал Конст. Эрбергу: «Я — в имении Лансере,— село Нескучное ⟨...⟩ Поют петухи, жаворонки, лягушки, соловьи... Такая трескотня и гомон! А тут еще



ТИТУЛЬНЫЕ ЛИСТЫ ТОМОВ III, IV И V СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ Г. И. ЧУЛКОВА. М., 1911—1912 ГГ. С ДАРСТВЕННЫМИ НАДПИСЯМИ АВТОРА И ПОМЕТАМИ БЛОКА. См. и с. 415

Центральный архив литературы и искусства, Москва

заливаются хохлушки. Страна веселая. А какие запахи! Одним словом, я принимаю мир» (ИРЛИ, ф. 474, ед. хр. 285).

[3] Художница Зинаида Евгеньевна *Серебрякова* (1884—1967), сестра Евгения Евгеньевича Лансере, жила в Нескучном с весны 1906 г. почти безвыездно. Чулков познакомился с нею летом 1910 г. См.: «Годы странствий», с. 202—203. В 1911 г. в Нескучном она выполнила портрет Н. Г. Чулковой (см.: В. П. К н я з е в а. Зинаида Евгеньевна Серебрякова. М., 1979, с. 58—60), в 1910 г.— портрет Г. И. Чулкова (воспроизведен на фронтисписе в кн. Чулкова «Годы странствий»).

[4] Речь идет, видимо, о повести «Дом на песке», опубликованной в журнале «Новая жизнь» (1910, № 1, с. 37—92, 1911, № 2, с. 64—88, № 3, с. 305—360) и вошедшей в кн.: Георгий Ч у л к о в. Соч., т. 3. Повести и рассказы. СПб., «Шиповник», 1911.

[5] «Божественная комедия» Данте.

26. ЧУЛКОВ — БЛОКУ

〈Москва. 6 января 1911 г.〉

Милый Александр Александрович!

Пришлите мне бога ради Вашу новую книгу! [1] Я живу уединенно и молчаливо. В Петербурге буду в начале января [2]. Мой адрес: Плющиха, Грибоедовский пер., д. 8, кв. д-ра Четверикова. Как живете Вы и Ваша поэма? [3] Любящий Вас неизменно

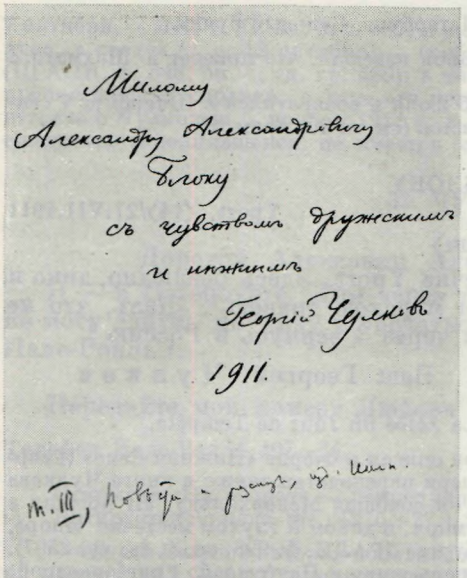
Георгий Ч у л к о в

Открытка с фотоснимком Тайницкой башни Кремля. Датируется по почт. шт.

[1] Возможно, что просьба Чулкова не подразумевает какого-либо определенного издания: «новой книги» Блока к этому времени не было напечатано. Ср.: ЛН, т. 92, кн. 3, с. 139.

[2] Чулков посетил Блока в Петербурге 16 января. На следующий день Блок писал матери: «Вчера прибежал Чулков, сидел весь день; это не было трудно, как я думал. Я ему сказал, как отношусь к его литературе и к его порханию над жизнью, он принимал это, не обижаясь» («Письма к родным», т. II, с. 112).

[3] Имеется в виду поэма Блока «Возмездие», истоки замысла которой восходят к декабрю 1909 г. 7-м июня 1910 г. датированы первые наброски поэмы в записной книжке, августом-сентябрем 1910 г.— черновик первой редакции поэмы («Отец»); в январе 1911 г. Блок написал так называемую «вторую редакцию» третьей главы, которая по первоначальному плану мыслилась как самостоятельное произведение («Возмездие (Варшавская поэма)»). См.: Александр Б л о к. Собр. соч., т. 5. Изд-во писателей в Ленинграде, 1933, с. 164—181, 217 (редакция текста Иванова-Разумника).


Милому
Александру Александровичу
Блоку
съ чувствомъ дружескимъ
и нѣжнымъ
Георгій Чулковъ.
1911.

27. ЧУЛКОВ — БЛОКУ

〈Париж. 7/20 мая 1911 г.〉 63. Rue Monsieur le Prince [1].

Дорогой Александр Александрович!

Париж не только французский город: он и наш русский (не потому, конечно, что здесь много «соотечественников»), а по существу, по традиции, по 1789 и по 1848 гг. * Все камни и картины, театры и небо, Сена и кафэ — все это наше, необходимое, печальное и милое, предсмертное и влекущее [2]. Приезжайте сюда, дорогой. Обнимаю Вас нежно.

Георгий Чулков

Привет Любови Дмитриевне.

Над〈ежда〉 Григ〈орьевна〉 кланяется.

Открытка. На обороте — репродукция картины: Puvis de Chavannes. Pauvre pêcheur. Musée de Luxembourg, Paris.

Датируется по почт. шт.: Paris. 20.5.1911.

[1] Чулков уехал в Париж 21 апреля/4 мая 1911 г. Н. Г. Чулкова жила там с марта 1911 г. Сообщаемый адрес — Hôtel de l'Univers.

[2] Впечатления Чулкова от пребывания в Париже в 1911 г. отражены в его очерках, объединенных под заглавием «Письма из Парижа» (Георгий Чулков. Вчера и сегодня. Очерки. М., «Северные дни», 1916, с. 114—134). Частично «Письма из Парижа» вошли в книгу Чулкова «Годы странствий» (с. 247—259).

28. ЧУЛКОВ — БЛОКУ

Париж. 〈13〉/26.VI.1911.

Дорогой Александр Александрович!

Бога ради, приезжайте в Париж. Это необходимо [1]. И жары здесь нет никакой и не будет. Какие здесь темные каштаны! Какие камни седые и «видавшие виды»! И как благоуханны леса вокруг Парижа! Обнимаю Вас нежно и люблю.

Георгий Чулков

63, rue Monsieur le Prince.

Открытка. На обороте репродукция — барельеф с изображением Леды (XVI в.), Musée de Cluny. Почт. шт. получения: 16.6.11.

[1] Ср. письмо Чулкова к Конст. Эрбергу от 9 июня 1911 г.: «Вот уже месяц, как я в Париже, а работаю мало 〈...〉 Зато Париж хорош и многообразен: каждый день открываешь в нем что-нибудь новое» (ИРЛИ, ф. 474, ед. хр. 285).

29. БЛОК — ЧУЛКОВУ

〈Петербург. 16/29 мая 1911 г.〉

Дорогой Г〈еоргий〉 И〈ванович〉,

целую Вас, завтра уезжаю в Шахматово [1]. Измотался здесь. М〈ожет〉 б〈ыть〉, увидимся летом в Париже [2].

Ваш Ал. Блок

Надежде Григорьевне поклон.

СПб. 16/29 мая 1911.

* Это случайный пример только — эти даты. 〈Примечание Чулкова〉

Ответ на п. 28. Открытка с репродукцией «С.-Петербург. Сальный буян».

[1] В двух письмах к матери от 11 мая 1911 г. Блок извещал, что приедет в Шахматово утром 18 мая («Письма к родным», II, с. 140).

[2] Блок отправился в заграничное путешествие 5 июля и возвратился в Петербург 7 сентября 1911 г. С Чулковым Блок в Париже не встретился (см. п. 30, прим. 2).

30. ЧУЛКОВ — БЛОКУ

Yport. ⟨14⟩/27.VII.1911

Милый Александр Александров⟨ич⟩

Я на берегу моря, в Нормандии, в местечке Yport. Здесь безлюдно, дико и глухо. Веет ветер соленый, пахнет рыбой и морскою травою [1]. Жаль, что не встретились мы с Вами в Париже! [2] Недели через 3 вернусь в Россию [3].

Ваш Георгий Чулков

Открытка. На обороте — фотоснимок: Yport. La Jetée un Jour de Tempête.

[1] Свое пребывание в Ипоре (близ Руана) Чулков описал в очерке «Нижняя Сена» (Георгий Чулков. Вчера и сегодня, с. 134—139). Очерк перепечатан также в книге Чулкова «Годы странствий» (с. 259—264). 2 августа (н. ст.) он сообщал Мейерхольду: «Я прожил в Париже три месяца, а теперь живу в Нормандии, у моря, в диком и глухом местечке Ипоре. Недели через две вернусь в Париж, а потом в Петербург» (ЦГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 2597). В тот же день Чулков писал Конст. Эрбергу: «Я теперь живу с Над⟨еждой⟩ Григ⟨орьевной⟩ в Ипоре, в Нормандии, на берегу моря. Здесь очень уединенно и провинциально. Море, как всегда, многолико, а жизнь наша однообразна: ложимся спать в 10 ч., встаем в 7; едим креветок; пьем сидр. Я пишу небольшую повесть...»; 21 августа (н. ст.) Чулков сообщал ему: «Только сегодня вернулся в Париж. Жили мы месяц у моря, в Ипоре. Ездили по окрестностям, по нормандским деревушкам. На обратном пути побывали в Руане, где дивные церкви-невероятные, каких нет в Париже» (ИРЛИ, ф. 474, ед. хр. 285).

[2] Блок был в Париже 8/21—9/22 июля, проездом из Германии в Аберврак — портовый городок в Бретани (см.: «Письма к родным», II; с. 146—147).

[3] «Я сейчас только что приехал в Петербург»,— сообщал Чулков жене в Париж 22 августа (ст., ст.) 1911 г. (ЦГАЛИ, ф. 548, оп. 1, ед. хр. 480).

31. ЧУЛКОВ — БЛОКУ

⟨Москва. 23 сентября 1911 г.⟩

Дорогой Александр Александрович!

Я — в Москве. Мой адрес: Плющиха. Грибоедовский пер., д. 8, кв. 2[1]. Скоро буду в Петербурге. Остановлюсь в гостинице «Пале-Рояль», на Пушкинской. Заходите. Очень хочу иметь Вашу книгу [2].

Сердечно Вам преданный Георгий Чулков

Открытка. На обороте — репродукция с видом Спасских ворот в Москве. Датируется по почт. шт.

[1] О приезде в Москву Чулков сообщал Конст. Эрбергу 10 сентября 1911 г.: «Я в Москве и как-то по-новому чувствую старое или, быть может, по-старчески переживаю прежнее юное, молодое, даже детское» (ИРЛИ, ф. 474, ед. хр. 285). В воспоминаниях «Годы странствий» Чулков писал: «После Парижа я поселился не в Петербурге, а в Москве, где я родился, где учился в гимназии и в университете, где сидел в тюрьмах, где женился, где напечатал первые мои рассказы и где лежит на кладбищах прах близких мне людей. ⟨...⟩ Приютил меня у себя мой верный друг, с коим я связан сердечно с гимназической скамьи, С. А. Четвериков, весьма ныне известный врач, специалист по детским болезням» (с. 265).

[2] Подразумевается книга Блока «Собрание стихотворений. Книга первая. Стихи о Прекрасной Даме» (М., «Мусагет», 1911). Дарственная надпись на ней Чулкову датирована маем 1911 г. (ЛН, т. 92, кн. 3, с. 139; «Прижизненные издания Александра Александровича Блока». Каталог. М., 1980, с. 18); Блок не мог тогда же передать книгу Чулкову, поскольку тот находился в Париже. По всей вероятности, именно эту книгу Блок вручил Чулкову в Петербурге 5 октября 1911 г., о чем последний в тот же день сообщил в письме к жене: «...пришел Блок ⟨...⟩ Он принес мне свою книжку» (ЛН, т. 92, кн. 3, с. 387). В комментарии к этому письму высказано предположение, что речь идет о книге Блока «Ночные часы», вышедшей в свет в конце октября, и в связи с этим авторская дата «5 октября 1911» сочтена опиской и исправлена на «5 ноября»; однако достаточных оснований для исправления датировки и выводов о том, что в письме Чулкова подразумевается книга «Ночные часы», не имеется. Наоборот, известно, что Чулков приезжал в Петербург в начале октября на короткое время (вторичная его встреча с Блоком состоялась у Вл. Пяста 6 октября, о чем Чулков сообщил жене

7 октября — ЛН, т. 92, кн. 3, с. 387) и в середине месяца вернулся в Москву: «Я выеду, вероятно, в среду» (т. е. 12 октября),— сообщал он из Петербурга Н. Г. Чулковой 11 октября (ЦГАЛИ, ф. 548, оп. 1, ед. хр. 480); в письме к Конст. Эрбергу из Москвы от 31 октября он просил навести справки о ходе его петербургских литературных дел. Никаких записей о встрече с Чулковым 5 ноября 1911 г. в дневнике Блока, в те дни очень подробном и почти ежедневно заполнявшемся, не имеется (см. VII, 81).

32. ЧУЛКОВ — БЛОКУ

⟨Петербург. 27 января 1912 г.⟩

Дорогой Александр Александрович!

Я — в Петербурге. Дня через три уеду. Очень хочу Вас видеть, но к Вам не могу зайти: не хочу встречаться с Бугаевым [1]. Мой адрес: Пушкинская, Пале-Рояль [2].

Любящий Вас Георгий Чулков

Передайте мой привет Любови Дмитриевне.

Телефон Пале-Рояля 107—54.

Открытка. На обороте — репродукция картины З. Е. Серебряковой «За туалетом». Датируется по почт. шт.: СПб., 27.1.1912.

[1] Андрей Белый во второй половине января 1912 г. приехал в Петербург, но остановился не у Блока (как, возможно, предполагал Чулков), а в квартире Вяч. Иванова. На следующий день, 28 января, Чулков писал жене: «Сегодня у меня был Вячеслав Иванович ⟨...⟩ Расточал хвалы Бугаеву, меня провоцируя. К нему я все-таки не поеду, хотя он меня очень звал к себе и опять уговаривал мириться с Белым» (ЦГАЛИ, ф. 548, оп. 1, ед. хр. 481).

[2] Встреча Блока и Чулкова в эти дни не состоялась: в каждодневных дневниковых записях Блока, относящихся к концу января, о Чулкове нет упоминаний; внутреннее состояние Блока в эти дни — «тоска смертная», «слабость, тоска» (VII, 128). «Блока я так и не видел: он болен»,— сообщал Чулков жене 30 января (ЛН, т. 92, кн. 3, с. 392).

33. ЧУЛКОВ — БЛОКУ

⟨Москва.⟩ 15 апреля 1912.

Дорогой Александр Александрович!

Большое спасибо за книги, за подпись, за память обо мне [1]. Ежели весною будете в Москве, навестите меня [2]. Я живу одиноко — в глухом переулке близ Девичьего Поля и монастыря [3]. Останусь здесь, вероятно, до средины мая [4]. Я слышал, что Вы были нездоровы. Надеюсь, что Вы поправились. Где Вы будете летом? Вам надо в Рим ехать. Я теперь неожиданно, перечитывая Гоголя и о Гоголе, по-новому почувствовал Рим [5].

Поезжайте, родной мой, в Рим.

Неизменно Вас любящий Георгий Чулков

[1] Имеются в виду книги Блока «Собрание стихотворений. Книга вторая. Нечаянная Радость» (М., «Мусагет», 1912) и «Собрание стихотворений. Книга третья. Снежная ночь» (М., «Мусагет», 1912). Надписи на них Блока Чулкову приведены в кн.: ЛН, т. 92, кн. 3, с. 139—140. В связи с надписью на «Снежной ночи», датированной апрелем 1912 г. («Милому Георгию Ивановичу Чулкову на память о пережитом вместе»), Чулков писал в очерке «Александр Блок и его время»: «Так это и было: самое страшное и опасное, что в те дни соблазняло души, воистину нам пришлось пережить вместе с ним» («Письма Ал. Блока», с. 117).

[2] Блок весной 1912 г. в Москву не приезжал.

[3] Имеется в виду Новодевичий монастырь.

[4] В мае 1912 г. Чулков с женой уехал в имение Покровское, близ станции Семлево Московско-Брестской железной дороги.

[5] Чулков был в Риме в конце октября — начале ноября н. ст. 1910 г., где жил вместе с Вяч. Ивановым. См. воспоминания Чулкова «Годы странствий» (с. 241—244).

34. ЧУЛКОВ — БЛОКУ

⟨Петербург.⟩ 9 февраля 1914.

Дорогой Александр Александрович!

Двадцать третьего февраля я повторяю мою публичную лекцию «Пробуждаемся мы или нет?» — в сокращенной редакции [1]. После лекции состоится диспут, и я надеюсь, что он не будет на этот раз носить такой случайный и

вульгарный характер, какой носят нередко модные теперь диспуты. Дело в том, что цель этого диспута — публичный спор об отношении общественности к символизму как миропониманию — цель определенная, как видите.

Я не приглашаю ни футуристов, ни акмеистов. Они неинтересны как оппоненты. Приглашены общественники-позитивисты и сторонники общественности религиозной. Мережковские с своей стороны предлагают как оппонентов Карташева и Мейера [2].

Я очень хочу также услышать Вас, Ваш голос, и узнать Ваше отношение к этой теме — насущной, на мой взгляд. Это важно и психологически, и принципиально. На этот раз, мне кажется, не надо брезговать публичным выступлением. Сегодня я участвовал в подобном диспуте в закрытом заседании (в Психоневрологическом институте). Там было много молодежи, и я убедился, что такие выступления имеют теперь реальное значение.

Не уклоняйтесь, дорогой Александр Александрович, от моего предложения. Дайте Ваше хотя бы *условное* согласие, т. е. оставьте за собою право отказаться от Вашего слова, если прения не представятся Вам интересными. Этот Ваш отказ не будет явным для публики, потому что «полицейский» час положит фатальный предел диспуту и некоторые «как бы» не успеют высказаться. Но, разумеется, и я, и многие очень и очень пожалеют, если Вы не воспользуетесь Вашим правом и не пожелаете высказаться. Если Вы не захотите говорить, Вы, конечно, можете *прочесть* записку, что сделать Вам легко, т⟨ак⟩ к⟨ак⟩ Вы уже знакомы с моим докладом в Рел⟨и⟩г⟨иозно-⟩ Фил⟨ософском⟩ обществе [3].

Жду Вашего ответа [4].

Неизменно любящий Вас Георгий Чулков

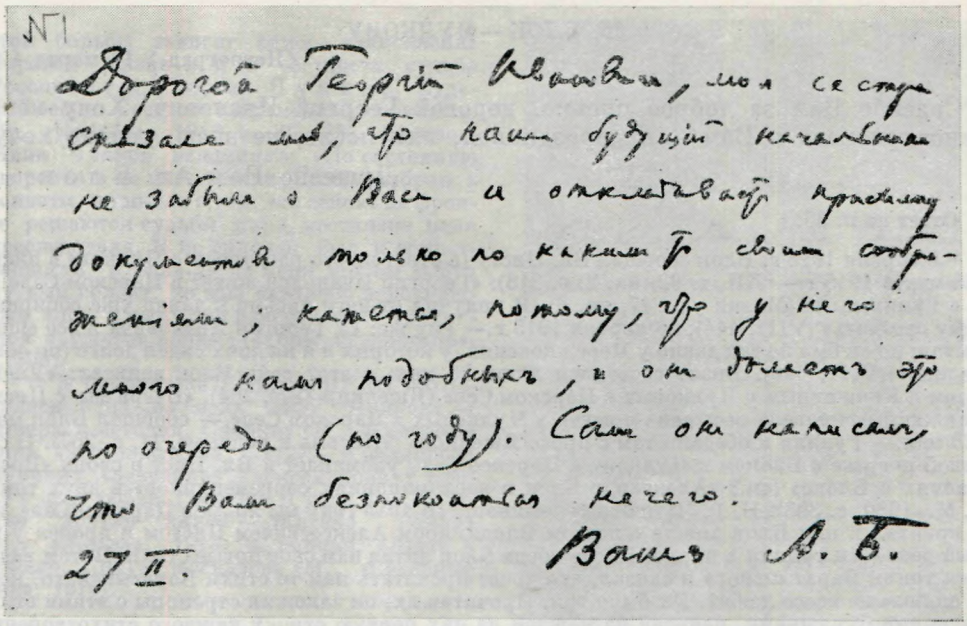
Ждановская набережная, 3[5]. Тел. 634-94.

[1] В первый раз Чулков выступал с лекцией «Пробуждаемся мы или нет?» в зале Тенишевского училища 16 января 1914 г. В ней обосновывались символизм как мироощущение и связь с символизмом «истинного реализма» в искусстве. «Эти тезисы,— отмечалось в отчете о докладе,— г. Чулков подкрепил указанием на эстетическую теорию Вл. Соловьева („магическое искусство“) и идеи Достоевского о реализме. Признание относительности земных вещей, обнаружение в знаках сущности мира, взгляд на земную красоту как на знак красоты абсолютной — вот свойства истинного реализма ⟨...⟩ Символизм делится, по докладчику, на идеалистическую и реалистическую грани; Ф. Сологуб, А. Белый, Вяч. Иванов и А. Блок — представители того и другого уклона в пределах символизма. Симпатии докладчика не на стороне крайнего субъективно-идеалистического мироощущения: свойственный крайнему идеализму пафос иллюзионизма опустошает душу художника». Вторая часть выступления Чулкова была посвящена критике новейших поэтических течений — акмеизма и футуризма. «После перерыва состоялись прения, очень краткие в силу наступления „полицейского часа“. На защиту реализма выступил г. Львов-Рогачевский, нападки на акмеизм отражали С. Городецкий и Н. Гумилев; возражали также из футуристов неизменный Н. Кульбин и молодой, страстный В. Шкловский» (Л. М. Доклад Г. Чулкова об искусстве. — «Речь», 1914, № 17, 18 января). Блок, присутствовавший на докладе, записал 16 января: «Лекция Г. И. Чулкова в Тенишевском зале („Пробуждаемся мы или нет?“) ⟨...⟩ Все (почти!) на лекции было бездарно, путано, гнусно или просто глупо» (ЗК, 201).

[2] О Карташеве см. п. 8, прим. 2. Александр Александрович *Мейер* (1875—1939) — религиозный философ и публицист.

[3] Имеется в виду доклад Чулкова «Оправдание символизма», прочитанный на заседании петербургского Религиозно-философского общества 19 января 1914 г.; в прениях по докладу участвовали Вяч. Иванов, Д. С. Мережковский и др. («Речь», 1914, № 19, 20 января). Доклад «Оправдание символизма» был опубликован в журнале «Голос жизни» (1915, № 24, с. 13—17; № 25, с. 7—12), вошел в кн.: Георгий Чулков. Вчера и сегодня, с. 94—113. Предпринятые в нем обоснование символистской эстетики и критический анализ акмеизма и футуризма целиком соответствовали тезисам лекции Чулкова «Пробуждаемся мы или нет?» (см. программу лекции: «Речь», 1914, № 51, 22 февраля). Блок записал 19 января: «Религиозно-философское собрание: ⟨...⟩ доклад Чулкова» (ЗК, 202).

[4] На письме Чулкова — помета Блока: «Ответ⟨ил⟩ по телеф⟨ону⟩». 10 февраля Блок записал: «Письмо от Г. И. Чулкова и телефон с ним — о диспуте» (ЗК, 206). О решении Блока можно судить по его записи от 23 февраля: «Повторение лекции Чулкова (на диспут после нее он опять звал меня). Мое имя поставлено на афише, „условное согласие“,— я предупредил, что, вероятно, не буду. И — не буду» (ЗК, 209); ср. записи Блока — от 18 февраля: «Некто заносил чулковские афиши с моим именем» (ЗК, 208); от 20 февраля: «Долидзе (по всей вероятности) заносил „почетные билеты“ (чулковские, где меня не будет)» (ЗК, 208; Ф. Е. Долидзе — ответственный распорядитель литературных вечеров и лекций); от 22 фев-


№1

Дорогой Георгій Ивановичъ, моя сестра сказала мнѣ, что наши будущіе начальники не забыли о Васъ и откладываютъ присылку документовъ только по какимъ то своимъ соображеніямъ; кажется, потому, что у него много намъ подобныхъ, и они дѣлаютъ это по очереди (по году). Сами они написали, что Вамъ безпокоиться нечего.

27 II. Вашъ А. Б.

ПИСЬМО БЛОКА Г. И. ЧУЛКОВУ 27 ФЕВРАЛЯ 1916 Г.

Автограф

Институт мировой литературы АН СССР, Москва

раля: «Телефон с Долидзе,— я отказался от завтрашнего» (ЗК, 209). «Афиша» — печатное объявление о лекции Чулкова: «Концертный зал Калашниковской биржи (Харьковская, 9). В воскресенье, 23 февраля состоится публичная лекция Георгия Чулкова „Пробуждаемся мы или нет?“ После лекции под председательством П. Е. Щеголева состоится диспут о современных литературных течениях, при участии Александра Блока, В. В. Гиппиуса, А. В. Карташева, П. С. Когана, А. А. Мейера, М. П. Неведомского, Л. И. Ортодокса, М. И. Туган-Барановского и друг. Начало в $8^1/_2$ ч. веч.» («Речь», 1914, № 49, 20 февраля).

[5] Адрес близкого друга Чулкова со студенческих лет, юриста и публициста А. С. Ященко (Ждановская наб., 3, кв. 22).

35. ЧУЛКОВ — БЛОКУ

⟨Царское Село.⟩ 17 марта 1915.

Дорогой Александр Александрович!

Время вовсе не умалило давней моей любви к Вам. Очень хочу увидеть Вас и с Вами побеседовать.

Я живу в Царском Селе — Малая, 47 [1].

Приезжайте пораньше. В первом часу позавтракаем, потом — в парк, где сейчас безлюдно и снежно.

Дружески жму Вашу руку.

Сердечно Ваш Георгий Чулков

[1] 10 февраля 1915 г., по возвращении из Швейцарии, Чулков писал из Петрограда сестре, А. И. Ходасевич: «Кажется, обстоятельства так складываются, что придется остаться под Петербургом, в Царском Селе ⟨...⟩ Надо будет работать в газетах. Это возможно, живя в Царском, и совершенно невозможно в Москве» (ГБЛ, ф. 371, карт. 2, ед. хр. 29). Климат Царского Села более, чем петербургский, благоприятствовал Чулкову, страдавшему туберкулезом. «Швейцарские горы хотя и подкрепили меня, но исцелить меня не могли,— вспоминал Чулков.— Врачи посоветовали мне поселиться в Царском Селе. Я так и сделал. Мы наняли с женою квартиру на Малой улице. Я перевез сюда из Петербурга свои книги. Друзья навещали меня, но в то же время здесь не было городской суеты, и я мог работать» («Годы странствий», с. 308). Чулков прожил в Царском Селе до лета 1916 г.

36. БЛОК — ЧУЛКОВУ

⟨Петроград.⟩ 17 марта 1915.

Спасибо Вам за доброе письмо, дорогой Георгий Иванович. Хочу непременно приехать к Вам — на праздниках, или после, не знаю, только хочу [1].

Душевно Ваш Ал. Блок

Ответ на п. 35.

[1] 6 апреля 1915 г. Блок сообщал Вл. Пясту (в ответ на его расспросы о Чулкове в письме от 25 марта 1915 г.— ЛН, т. 92, кн. 2, с. 218): «Георгий Иванович живет в Царском Селе рядом с Гумилевыми (Малая ул., 47, кв. 5). Я получил от него письмо и давно уже собираюсь к нему съездить» (VIII, 444); 26 апреля 1915 г.— ему же: «У Георгия Ивановича я все еще не побывал; но он был не так давно у Мережковских, у которых и я на днях сидел долго (по обыкновению)» (VIII, 446). Визит состоялся лишь 28 мая; в этот день Блок записал: «Днем с Пястом и Княжниным у Чулковых в Царском Селе (Ященки)» (ЗК, 264). «Вчера мы с Пястом и Княжниным провели весь день и вечер у Чулковых в Царском Селе,— сообщал Блок матери 29 мая.— Гуляли и обедали там с проф. Ященкой» («Письма к родным», II, с. 267). О совместной поездке с Блоком к Чулкову в Царское Село упоминает и Вл. Пяст в своих «Воспоминаниях о Блоке» (см.: «Александр Блок в воспоминаниях современников» в двух томах, т. 1. М., 1980, с. 393). Н. Г. Чулкова вспоминает: «В 1915 году мы жили в Царском Селе. Летом приехал к нам Блок вместе с поэтом Владимиром Алексеевичем Пястом и провел у нас целый день. Мы гуляли в парке. После обеда Блок читал нам свои новые стихи. Потом взял с полки томик Баратынского и сказал, что хочет прочитать нам те стихи Баратынского, которые он больше всего любит. Их было три. Прочитав их, он заложил страницы с этими стихотворениями бумажками, написав на каждой из них первую строку каждого стихотворения» (Н. Г. Чулкова. Воспоминания о моей жизни с Г. И. Чулковым и о встречах с замечательными людьми.— ГБЛ, ф. 371, карт. 6, ед. хр. 1, л. 84). Эти стихотворения Баратынского — «Когда взойдет денница золотая...», «В дни безграничных увлечений...», «Наслаждайтесь: все проходит!..» — называет также Чулков в очерке «Александр Блок и его время» и пытается истолковать блоковский выбор («Письма Ал. Блока», с. 117—118).

37. ЧУЛКОВ — БЛОКУ

⟨Царское Село.⟩ 8 ноября 1915 г.

Дорогой Александр Александрович!

Я вчера звонил к Вам по телефону, но Вас не было дома. Хочу с Вами побеседовать. З. Н. Гиппиус сказала мне, что у Вас есть какие-то сведения о призыве ратников нашего возраста [1]. Я — призыв 1900 года. Надо, ведь, обдумать этакое дело. Когда-то я был вынослив и сотни верст прошел пешком благополучно, а теперь дышу скверно и марширую худо. Не поступить ли нам в школу прапорщиков? Уж лучше офицером быть. Вы как думаете? Какие у Вас планы?

Во вторник [2] я уезжаю в Москву на неделю. Напишите мне туда: Смоленский бульв⟨ар⟩, Б. Левшинский пер., д. 10, кв. 7. Зинаида Николаевна не без удовольствия говорила мне о Вашем отношении к войне, а я, признаюсь, не очень в этом Вам сочувствую [3]. Но «частное да подчинится общему», и разномыслие — я думаю — не помешает нам совместно изучить воинское искусство. Вместе иногда веселее. На миру и солдатчина красна.

Любящий Вас Георгий Чулков

Я оставил для Вас у В. Э. Мейерхольда три мои новые книги [4].

P. S. А в Москву не хотите со мною ехать? Спальное место можно достать на Невском в «Международном Обществе» без малейшего труда. Я еду в 8 ч. 20 м. веч⟨ера⟩ 10-го числа.

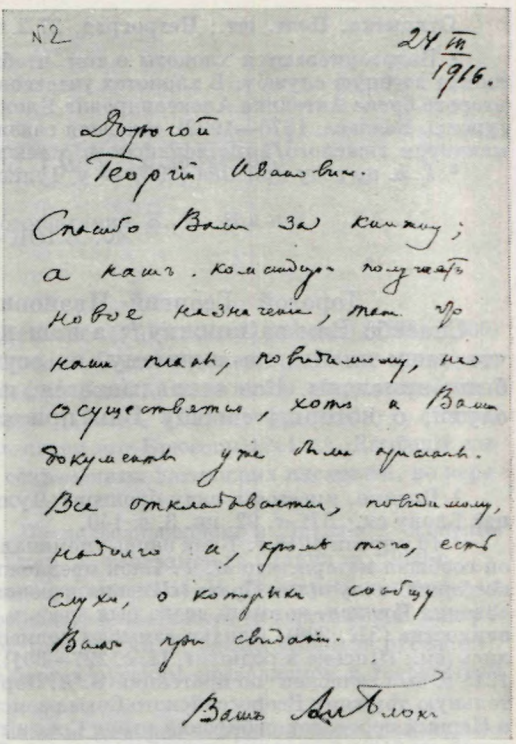
[1] Блок посетил З. Н. Гиппиус 6 ноября (ЗК, 276). Ср. записи Блока, относящиеся к этому времени: «Смутные слухи о призыве» (5 ноября); «Мама все хлопочет обо мне (война)» (9 ноября); «Новые слухи о призыве в декабре» (10 ноября) (ЗК, 274, 276).

[2] 10 ноября.

[3] В отличие от Блока, решительно не принимавшего войну, Чулков считал, что борьба с Германией и германским милитаризмом является священным долгом России и имеет свой высший смысл: «Современная антихристианская культура Европы нашла в германской абсолютной государственности и в немецком империализме свое седалище»; «...мировая война приобретает значение известного нравственного состязания, поединка, некоторой внутренней борьбы за ⟨...⟩ Единую Душу. Встретились два понимания мирового единства. От исхода

этой борьбы зависит самое становление мировой жизни — и в частности судьба России» и т. д. (Георгий Чулков. Судьба России. Беседа о современных событиях. Пг., «Корабль», 1916, с. 30, 35). Впоследствии Чулков вспоминал: «По состоянию здоровья я не мог, конечно, быть забран в солдаты, но мысль о том, что сейчас на фронте решаются судьбы мира, неотвязно меня преследовала. Я не склонен был к воинственности, и едва ли из меня мог бы выйти путный солдат, но мне казалось невозможным жить в тылу, не изведав вовсе трудностей и ужасов войны» («Годы странствий», с. 308).

[4] В библиотеке Блока в ИРЛИ сохранилась одна из этих книг Чулкова — «Вчера и сегодня. Очерки» (М., «Северные дни», 1916; шифр: 94 2/212) — с надписью: «Милому Александру Александровичу Блоку в знак любви. Георгий Чулков. 1915». Две другие книги — «Сатана. Роман» (М., «Жатва», 1915) и, видимо, «Люди в тумане. Книга рассказов» (М., «Северные дни», 1916).


№2 24 III 1916.

Дорогой Георгій Ивановичъ.

Спасибо Вамъ за книжку; а нашъ командиръ получаетъ новое назначеніе, такъ что наши планы, повидимому, не осуществятся, хотя и Ваши документы уже были присланы. Все откладывается, повидимому, надолго и, кромѣ того, есть слухи, о которыхъ сообщу Вамъ при свиданіи.

Вашъ Ал. Блокъ

ПИСЬМО БЛОКА Г. И. ЧУЛКОВУ 24 МАРТА 1916 Г.

Автограф

Институт мировой литературы АН СССР, Москва

38. БЛОК — ЧУЛКОВУ

⟨Петроград.⟩ 9 XI 1915.

Спасибо Вам за книги, милый Георгий Иванович! В Москву сейчас не могу ехать, некогда, а после Вашего возвращения увидимся, наконец, непременно и обсудим свое положение.

Мое теперешнее чувство войны — одно, и оно, конечно, не важно; трижды согласен, что «частное да подчинится общему», и надо это сделать весело. Планы у меня приблизительно такие же, а относительно того, чтобы связать наши с Вами судьбы, я много раз думал [1]. Я — 1902 года [2], позовут нас не раньше весны, а относит⟨ельно⟩ школы прапорщиков есть какие-то препятствия. За эту неделю я узнаю больше, чем знаю теперь. Вас-то, пожалуй, все-таки, не возьмут.— Во всяком случае,— до скорого свидания [3].

Ваш Ал. Блок

Ответ на п. 37. Отправлено из Петербурга в Москву по адресу, указанному Чулковым в п. 37. См. отзыв Чулкова об этом письме Блока в письме к Н. Г. Чулковой от 11 ноября 1915 г. (ЛН, т. 92, кн. 3, с. 455).

[1] В письме от 15 ноября 1915 г. Н. Г. Чулкова сообщала Чулкову, что Блок «все мечтает пойти служить» вместе с ним (ЛН, т. 92, кн. 3, с. 456).

[2] Т. е. ратник призыва 1902 г.

[3] Чулков посетил Блока 21 ноября (ЗК, 278).

39. БЛОК — ЧУЛКОВУ

⟨Петроград. 27 февраля 1916 г.⟩

Дорогой Георгий Иванович,

моя сестра сказала мне, что наш будущий начальник не забыл о Вас и откладывает присылку документов только по каким-то своим соображениям [1]; кажется, потому, что у него много нам подобных, и он делает это по очереди (по году) [2]. Сам он написал, что Вам беспокоиться нечего.

Ваш А. Б.

Открытка. Почт. шт.: Петроград, 27.2.16; Царское Село, 29.2.16.

[1] Подразумеваются хлопоты о том, чтобы Блок и Чулков, в случае их призыва, несли вместе военную службу. В хлопотах участвовали сводная сестра Блока, дочь А. Л. Блока от второго брака Ангелина Александровна Блок (1892—1918) и ее мать Мария Тимофеевна Блок (урожд. Беляева; 1876—1922), имевшая связи в военной среде (ее брат, С. Т. Беляев, был командиром тяжелого артиллерийского дивизиона).

[2] Т. е. по году призыва (1900 — у Чулкова, 1902 — у Блока).

40. БЛОК — ЧУЛКОВУ

〈Петроград.〉 24 III 1916.

Дорогой Георгий Иванович.

Спасибо Вам за книжку [1]; а наш командир получает новое назначение, так что наши планы, по-видимому, не осуществятся, хотя и Ваши документы уже были присланы. Все откладывается, по-видимому, надолго и, кроме того, есть слухи, о которых сообщу Вам при свидании [2].

Ваш Ал. Блок

[1] Видимо, имеется в виду брошюра Чулкова «Судьба России». Дарственную надпись на ней Блоку см.: ЛН, т. 92, кн. 3, с. 140.

[2] 16 апреля 1916 г. Блок вновь упоминал про слухи «о новом призыве» (ЗК, 295). 11 мая он сообщал матери, что М. Т. Блок предложила ему и Чулкову «другой тяжелый дивизион, кот〈орый〉 получил ее брат» («Письма к родным», II, с. 280); 2 июля 1916 г. Блок записал: «Звонил Чулков, который вчера был здесь и говорил с Любой — в хлопотах о воинской повинности» (ЗК, 296). Однако замыслы совместного несения воинской службы не осуществились (см.: «Письма к родным», II, с. 297—301). Блок по призыве в действующую армию в июле 1916 г. был зачислен (по протекции В. А. Зоргенфрея) табельщиком в 13-ю инженерно-строительную дружину Всероссийского Союза земств и городов, а Чулков в августе того же года — в Первый передовой сибирский отряд Союза городов (см.: Георгий Чулков. Годы странствий, с. 310). 3 августа он сообщал жене: «Я уже получил бумаги из Союза городов. Выезжаю из Петрограда в понедельник или во вторник» — т. е. 8 или 9 августа (ЦГАЛИ, ф. 548, оп. 1, ед. хр. 481). В действующей армии Чулков служил в военно-санитарном отряде. «Во время войны 〈...〉 я отправился на фронт и в течение нескольких месяцев жил среди солдат и офицеров. Это был канун революции»,— писал Чулков в автобиографии (ЦГАЛИ, ф. 548, оп. 1, ед. хр. 243, л. 4). Вновь Блок и Чулков встретились в Петрограде в мае 1917 г. «Вечером сейчас сидел у меня Чулков, рассказывал кое-что занимательное о фронте и об общем положении дел»,— сообщал Блок матери 8 мая 1917 г. («Письма к родным», II, с. 358).

ПИСЬМА В. ДАМБЕРГСА К БЛОКУ

Предисловие, публикация и комментарии Е. М. Б е н я

Латышский поэт и драматург Вольдемар Дамбергс (Vāldemārs Dambergs) (1886—1960) родился в селе Дружнополье Петербургской губернии [1]. После окончания в 1905 г. рижского политехникума занялся изучением классической филологии. Он — автор сборников стихотворений на латышском языке «Зарисовки. Стихи» (1907) [2], «Барельефы» (1910) [3], «Ритмы души. Стихи» (1921) [4]. Как свидетельствуют семь писем его Брюсову 1911 г.[5], Дамбергс пытался переводить на русский язык произведения современных латышских писателей, но переводы не были напечатаны.

С 1916 по 1920 г. Дамбергс жил в России. После возвращения в Латвию в основном занимался преподавательской деятельностью. Умер в эмиграции в Дании в 1960 г.

В переписке Блока имя Дамбергса впервые упоминается И. Гюнтером в письме от 17 ноября 1905 г. (на немецком языке, где он сообщает, в частности, что латышский литератор хотел бы переводить стихотворения Блока (см. наст. т., кн. 5, раздел «Блок за рубежом»). На это время приходится начало увлечения Дамбергса русским символизмом и творчеством Блока.

Письма Блока Дамбергсу неизвестны, тем важнее для нас сохранившиеся два письма латышского поэта к Блоку (ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 238). Во втором из них (от 26 июня 1906 г.), восхищаясь «Стихами о Прекрасной Даме», Дамбергс говорит о своем восприятии поэтического стиля этого цикла. Дамбергсу, далекому от столичных символистских кругов, первый сборник Блока оказался близок.

Но важнее другое: в послании Блока говорилось, что «стихов подобных „Стихам о Прекрасной Даме“ писать больше нельзя». В точности передачи Дамбергсом основной мысли Блока сомнений быть не может: о том же самом, т. е., по существу,— о кризисе прежней проблематики символизма в те же дни писал Блок Городецкому. В несохранившемся письме Городецкому была энергично заявлена идея, уже вполне овладевшая Блоком в 1906 г.— идея обращения художника к «окружающей цивилизации», к социальной действительности. Письмо Городецкого Блоку от 28 июня 1906 г. и письмо Дамбергса от 26 июня 1906 г. свидетельствуют о содержании предшествовавших им писем Блока. С. Городецкий констатировал: «〈...〉 Ваше письмо — самое важное, что совершилось за последнее время в литературе. Его будут воспроизводить в историях литературы. Вы — последнее, что надо было своротить с места во что бы то ни стало 〈...〉 Наступает великое время, выходит народ. И этому времени свое искусство, тоже великое. Я не знаю, что такое символизм, но что какой-то круг завершен, это слишком ясно. 〈...〉 Сегодня Вы пишете: „Искусство должно изображать жизнь“, „Фома“ — последнее нужное произведение» (напомню только одну фамилию — Леонид Андреев). Может быть, для Вас действительно дорога к большому искусству лежит через „реализм“. Всякий идет своим коридорчиком, зато, когда встретимся под общей крышей — небом, будет нечаянная радость, может, и чаянная.

〈...〉 Вы были одним из ярких воплощений минувшего периода, теперь крутой поворот, теперь нет никакого сомнения в наступлении нового — после письма» (наст. т., кн. 2, с. 27—29). Письма Блока Городецкому и Дамбергсу были написаны спустя три месяца после окончания работы над сборником «Нечаянная радость».

Упоминание о Дамбергсе позже встречается в письме Гюнтера Блоку от 19 января 1907 г.: «Сестра молодого латышского поэта В. Дамберг〈са〉 [6] хочет познакомиться с Вами» [7].

В «Перечне несохранившихся и неразысканных писем А. А. Блока» В. Н. Орловым названо и письмо Блока Дамбергсу в Митаву от 9 апреля 1916 г.[8] Можно предположить, что содержание этого неизвестного письма было связано с подготовкой к изданию «Сборника латышской литературы», в котором в переводе Блока было опубликовано стихотворение «Реквием» Вилиса Плудониса (1874—1940) [9].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Краткие биографические сведения о В. Дамбергсе см. в кн.: «Latviešu Konversācijas Vārdnīca», 3. Riga, 1928—1929, s. 4487, 4488, 4489, 4490 (см. там же фотографию Дамбергса).
[2] «V. Damberga Dzejoli zīmējumi». Riga, 1907.
[3] «Barelijefi V. Dambergs». Jelgava, 1910.
[4] V. Dambergs. Dvēsels ritmi. (Dzējoli no 1909—1920). Riga, 1921.
[5] Письма Дамбергса В. Брюсову хранятся в ГБЛ (ф. 384, к. 84, ед. хр. 34).
[6] В письмах И. Гюнтера Блоку и самого Дамбергса Блоку и Брюсову латышский литератор именуется Вольдемаром Дамбергом.
[7] См. «Александр Блок. Аннотированный каталог под редакцией В. Н. Орлова». Вып. 2. М., 1979, с. 220.
[8] Там же, с. 477.
[9] «Сборник латышской литературы». Под ред. В. Брюсова, М. Горького. Пг., «Парус» ⟨1916⟩, с. 240—243. В. Дамбергс послал для этого сборника свои стихотворения в письме Брюсову от 1 января 1916 г. (ГБЛ, ф. 384, к. 84, ед. хр. 34, л. 15—25), однако они в него не вошли.

1

⟨Митава, май — начало июня 1906 г.⟩

Многоуважаемый Александр Александрович!

Herr Hans мне сказал, что я могу к Вам писать и, вот, я, следуя его словам, пишу к Вам.

Прежде всего искренно и сердечно благодарю Вас за присланную мне через г-на Ивана Ивановича Гюнтера книгу «Стихов о Прекрасной Даме» и за надпись [1].

Ваши стихи столь же нежные и прекрасные, как и Прекрасная Дама, очаровали меня и впервые показали, в чем заключается соединение простоты с тонкой музыкальностью. Ваши прозрачные и тонко рисованные образы, как ряд белых ангелов тихо прошли в душе моей...

На меня, как на начинающего и выступающего со своими первыми опытами, они оказали сильное влияние, так что в одном из моих последних стихотворений Виктор Эглит [2] (вы, наверное, его знаете?) нашел сходство с Вашими. И я сам это чувствовал.

Полагаясь на авось, что Вы будете изредка отвечать, для первого знакомства сообщаю кое-какие сведения о себе.

Познакомившись впервые через Ивана Ивановича Гюнтера с символизмом, я почувствовал себя сильно привлеченным к нему, особенно его наиболее выдающимся представителям. Меня захватили ширь, даль и необъятность. И мне, до сих пор еще смутно и неверно искавшему дороги, тогда ясно предстали далекие горизонты с мистически мерцающей над ними звездою вечности.

К тому же времени во мне самом произошел неожиданный перелом от позитивизма к мистицизму, еще более сроднивший меня с символизмом.

Но не хочу более задерживать Вас своим письмом.

Еще раз сердечно благодарю за присланную книгу стихов и в ожидании ответа с искренним приветом.

В. Дамберг

Мой адрес: Г. Митава. Большая ул. № 73. Г-ну Готхарду.
Для передачи В. Дамбергу.

⟨Приписка Г. Гюнтера⟩

Дорогой Александр Александрович.

Это — милый человек и, как я думаю, большой поэт. Эглит тоже думает, что в нем много будущности. Напишите ему, пожалуйста. На днях я Вам напишу. Серд⟨ечный⟩ поклон Вам всем от Herr Hans.

[1] Местонахождение экземпляра книги «Стихи о Прекрасной Даме» с дарственной надписью Блока Дамбергсу неизвестно.
[2] Эгли́тис Викторс (Eglitis Victors; 1877—1945), латышский писатель, поэт, критик. Родоначальник латышского символизма. Литературную деятельность начал в 1898 г. (см. крат-

кие биографические сведения в кн. «Latvjas Padomja enciklopedija», 3. Riga, 1983, с. 28). Автор многих прозаических и стихотворных произведений. Переводил на латышский язык стихотворения А. Белого, В. Брюсова, Вяч. Иванова. Состоял в переписке с В. Брюсовым в 1904—1905, 1910—1911, 1913—1914, 1916 гг. (ГБЛ, ф. 386, к. 109, ед. хр. 37). В журн. «Весы» (1904, № 7, с. 33—38) была напечатана его статья о латышской литературе «Письмо из «Риги».

В письме к В. В. Розанову от 16 февраля 1914 г. Эглитис осудил шовинистическую направленность его публицистики (ЦГАЛИ, ф. 419, оп. 1, ед. хр. 714).

2

Митава, 26 июня 1906 г.

Многоуважаемый Александр Александрович!

Ваше письмо меня очень обрадовало [1]; оно пробудило во мне много отголосков и отчасти подтвердило некоторые мои неясные догадки и предчувствия.

Дело в том, что я не мог вполне ассимилировать символизм и вполне охватить его как литературное движение, потому что нет и года, как вообще с ним ознакомился. В сравнительно короткий промежуток времени освоившись с ним и приняв его тезисы, я в последнее время почувствовал, что остановиться только на нем нельзя, или, вернее говоря, на тех рамках, в которых он до сих пор воплотился. Ограничившись и уйдя в вышину и в глубь мистики, он (как мне кажется) как бы сузился и стал недосягаемым для большой публики. И сколько мне приходилось и приходится слышать упреков с ее стороны в оторванности символизма от жизни. Мне кажется, что символизм, созрев в одиночестве и в душах отдельных поэтов, выступит на более широкую дорогу...

Переводов Брюсова из Верхарна не читал [2], но дело в том, что Митава такое захолустье, что книг по новейшей литературе никак не раздобудешь.

Вы думаете, что стихов, подобных «Стихам о Прекрасной Даме» писать больше нельзя. Может быть, только такие нельзя, но такие, мне кажется, можно, и они очень хороши. Они мне понравились нежностью, прозрачностью и часто строгостью рисунка. Читая их, я всякий раз вспоминал пробуждение весны, когда все сплетено из нежных чистых линий и красок и когда душа волей-неволей отдается созерцанию их. Но здесь нет строгой пластики, и мне бы очень хотелось узнать, как Вы относитесь к этому вопросу.

Шлю Вам несколько своих стихотворений. Но только я пишу на латышском языке, а Вы его наверное не знаете. Поэтому я поместил рядом перевод стихов на русский язык (почти дословный) и снабдил их размером. Может быть, у Вас составится впечатление о них. Herr Hans передал Ваше послание, и он наверное уже Вам написал.

Очень буду ждать от Вас письма.

С искренним приветом В. Дамберг

26/VI 1906

г. Митава, Большая 73 par ad г-на Готхарда

〈Дословный перевод собственных стихотворений в письме В. Дамбергса помещен напротив оригинальных текстов〉

〈1〉

Свет без ярких красок
Моя душа часто видит,
Бледно-синее и розово-желтое
Покрывает свод небес.

В сердце нет ярких чувств,
Там — бледные ангелы,
Погрузившись в сияние мыслей,
Не могут прогнать грусть.

Грусть рождает великие сны,
Великим чувствам (вдохновениям)
связывает крылья,
Свершенья там нет,
Брезжит бледный, бледный свет.

〈2〉

Бледный свет и вечная тоска,
Потоки слез медленно иссякают:
Ангелы в глубоких мыслях
Смеют противоречить образам слез.

Бледные ангелы в глубоких мыслях
Гасят в груди яркие чувства,
В глубоких мыслях, в глубоких мыслях
Поникнув головами, немые сидят.

Мы сидели бледные и строгие,
Не белые облака летели над нами,
Не пёстрый цветок вдали упруго
Сгибал зелёный и гладкий стебель.

Мы все говорили серьезно и тихо
О великих цветах, которые вдали
цветут,
Тогда пришли худые бледные мальчики,
Рассказывали, что им холодно.

Мы ясно слыхали вдали смех.
Да, в черном домино кто-то смеялся.
Мы видели идущим темный образ,
Немо и безжизненно он вопрошал.

⟨3⟩

Детство

Я помню тихое время детства,
Когда при шелесте листьев
Я видел золотые стройные образы
Проходящими тихо во сне.

Я следил за нежными биениями природы
И был в природу погружён,
Дальние дуновения коснулись моих щек,
И сок, родившийся в сновидениях.
Я видел: в вышине летает птица
И в синем воздухе подымается и тонет.
Во мне пробуждались светлые и великие мысли.
Я чувствовал, что сомнения исчезают (падают, как
подкошенные).

У меня душа была прозрачная, нетронутая;
Вс⟨ем⟩ в природе отдаваясь снам,
Я чувствовал меж нею и собою связь,
Несознательно за ней следуя.

Я помню тихое время детства,
Мечтая у груди природы,
Я видел золотые стройные образы
Проходящими тихо, как во сне.

[1] Местонахождение этого письма Блока неизвестно.
[2] Речь идет о кн. Э. В е р х а р н. Стихи о современности. Пер. В. Брюсова. М., «Скорпион», 1906.

ПИСЬМА Н. А. КЛЮЕВА К БЛОКУ

Вступительная статья, публикация и комментарии
К. М. Азадовского

Знакомство и длившаяся в течение нескольких лет переписка Блока с Клюевым, крестьянином Олонецкой губернии и поэтом, впервые обратившимся к Блоку осенью 1907 г.,— факт, хорошо известный историкам русской литературы XX в. Достаточно перелистать дневники, записные книжки и письма Блока, чтобы получить представление о том, каким значительным событием оказалось для него общение с Клюевым, какие глубокие раздумья пробуждали у него в 1907—1911 гг. письма из Олонии. О том же свидетельствует и творчество Блока, его критическая проза: отрывки из писем Клюева Блок цитировал в своих статьях 1907—1908 гг.

Тем не менее отдельные, весьма существенные аспекты проблемы «Блок и Клюев» до сих пор не раскрыты. Как воспринимал Блока Клюев? Какую роль сыграл Блок в судьбе Клюева как художника? И с другой стороны: чем и почему был важен для Блока Клюев в 1907—1911 гг.? И эти, и другие вопросы до настоящего времени еще не получили исчерпывающего ответа. (Объясняется это, в частности, тем, что научное изучение биографии и творчества Клюева началось в нашей стране совсем недавно — лишь в 70-е годы.)

Переписка Блока и Клюева сохранилась односторонне; письма Блока утрачены и, по всей видимости, безвозвратно [1]. Ответные письма Клюева дают возможность установить, что с 1907 по 1912 г. Блок написал ему не менее 13 писем [2]. Содержание этих писем также отчасти проясняется благодаря письмам Клюева. Блок и Клюев обменивались друг с другом мыслями о современной литературе, о поэзии, о назначении искусства. Клюев подробно разбирает книги Блока («Нечаянная радость», «Земля в снегу»), его статью «О современном состоянии русского символизма». Блок, насколько можно судить, дает своему олонецкому корреспонденту советы, касающиеся стихотворного мастерства. Переписка Блока и Клюева была в значительной мере общением двух поэтов, из которых один (Клюев) признавал другого как более опытного, восхищался его творчеством и присылал ему собственные стихотворения для отзыва и публикации в журналах.

Однако содержание писем Клюева к Блоку далеко не исчерпывается литературными оценками и издательскими делами. Основной смысл их и богаче, и глубже. Один из участников переписки — дворянин по происхождению, городской «интеллигент». Другой — крестьянин, деревенский житель. Это различие остро ощущается обоими в 1907 г.— на фоне только что отзвучавших революционных событий. Едва вступив в переписку, каждый из них считает нужным подчеркнуть свою социальную принадлежность. «Я, крестьянин Николай Клюев...» — с этих слов начинается первое письмо Клюева. Блок отвечает ему на это «в духе кающегося дворянина» (см. ниже). На протяжении всей переписки и Блок, и Клюев выступают не только от собственного имени, но и от имени своей социальной и культурной среды. Происходит сближение (подчас столкновение) двух мировоззрений, двух культур, двух литературных движений. В лице Клюева и Блока — и это является в их общении наиболее примечательным — друг с другом встречаются «две России», пропасть между которыми еще в начале века многим казалась непреодолимой. Это определяет и существо диалога между Блоком и Клюевым, и характер их личных связей. Каждый из них тянется к другому, но в то же время вступает со своим собеседником в спор, видит в нем своего союзника, и одновременно — человека «с другого берега».

Задача настоящей статьи — показать, что сближало и что разъединяло Блока и Клюева, и кроме того раскрыть некоторые аспекты их знакомства, которые образуют его общественный фон.

I

1905—1907 гг. были эпохой, определившей развитие России на все последующее десятилетие. Изменения, произведенные революцией в жизни русского общества, глубоко затронули и патриархальную деревню. Широкое участие крестьянства в революционной борьбе способствует его политическому пробуждению, быстрому росту его классового самосознания. Активизируется и духовная жизнь русского села, в котором постепенно образуется своя «интеллигенция» — из числа грамотных, образованных крестьян. Их стремление внести свой вклад в общественную и культурную жизнь России становится все более настойчивым и очевидным.

Уже в XIX в. в русскую литературу вливается народная струя: писатели-самоучки, выходцы «из народа» во всеуслышанье заявляют о себе как талантливые литераторы. Среди них были и крестьянские авторы (И. З. Суриков, С. Д. Дрожжин и др.). В начале 1900-х годов в Москве возникает «Товарищеский кружок писателей из народа»; такие же кружки появляются и в других городах. В 1905 году эти разрозненные организации объединяются в «Суриковский литературно-музыкальный кружок», существовавший до 1933 г. Творчество крестьянских поэтов XIX и начала XX в. отличалось известным однообразием. Их муза была, как правило, тоскливой и заунывной. Поэты писали о горемычной бедняцкой доле, о безысходной судьбе русского пахаря. Основной мотив их творчества — жалоба.

После 1905 г. на русской литературной сцене появляется группа поэтов, которых принято называть «новокрестьянскими» (термин «новокрестьянский» употребляется главным образом для того, чтобы подчеркнуть отличие этих поэтов от их предшественников, «крестьянских» поэтов). Эту группу (во всяком случае, ее ядро) образуют шесть человек, писателей «из народа»: С. А. Есенин (1895—1925), П. И. Карпов (1887—1963), С. А. Клычков (1889—1940), Н. А. Клюев (1884—1937), П. В. Орешин (1887—1938), А. В. Ширяевец (наст. фамилия — Абрамов; 1887—1924) [3]. «Новокрестьянское» движение в русской литературе окончательно складывается лишь в 1913—1916 гг. Однако первые печатные выступления этих поэтов (Клюева, Клычкова, Карпова) относятся к более раннему периоду — к 1905—1907 гг.

Клюев был старшим в этой группе поэтов. Его первые стихотворения, помещенные в столичном сборнике «Новые поэты» (1904) и в изданиях московского «Народного кружка» («Волны», «Прибой» и др.), которым руководил П. А. Травин (1905) [4], проникнуты свободолюбивым пафосом. Из документов, обнаруженных к настоящему времени, явствует, что молодым Клюевым владели в те годы бунтарские, подчас радикальные устремления. Немалое влияние оказали на него «левонароднические» взгляды социалистов-революционеров. В 1905 г. Клюев активно занимался агитаторской и пропагандистской работой, ходил по олонецким деревням и, распространяя прокламации Крестьянского союза, призывал крестьян к неподчинению властям. «Я, отказываясь от семьи и службы, пешком, с пачкой воззваний, обошел почти всю губернию»,— писал о себе Клюев в 1906 г.[5] За свою антиправительственную деятельность Клюев был арестован в январе 1906 г. и до конца июля находился в тюрьме (сначала в Вытегре, затем — в Петрозаводске) [6]. В июне 1910 г., посылая Блоку свои стихотворения, Клюев делает к одному из них («Последний день») следующую приписку: «Я все не могу отделаться от тюремных кошмаров...» (п. 29).

Следует сразу же уточнить, что восприятие революции было у Клюева специфичным. Его бунтарские устремления — какой бы радикальный характер они подчас ни принимали — были в конечном итоге направлены у него на осуществление его религиозных чаяний. Революция представлялась Клюеву наступлением царства божьего, а долгожданное освобождение крестьян от нищеты и рабства было для него равносильно воплощению древних христианских заветов. Это сближает Клюева с русскими сектантами, религиозность которых нередко служила выражением их социального протеста. Воспитанный в старообрядческой среде (мать Клюева была староверкой, ее дядя — самосожженцем), поэт с ранней юности был захвачен сектантскими настроениями, распространенными тогда на русском Севере. Клюев не раз подчеркивал древность своего старообрядческого рода, который он возводил к протопопу Аввакуму («...мой прадед Аввакум» [7]) и называл свои стихи «самосожженческими» [8]. Как и некоторые другие из будущих «новокрестьянских» писателей [9], Клюев глубоко усвоил бунтарский дух русского сектантства, его антигосударственность и антицерковность [10]. Тем не менее революция для него не только социальный, но и духовный переворот. Ее конечная цель для Клюева — «братство». Встречая свободу, люди «братски» обнимают друг друга

и наряду с новыми революционными гимнами слагают «новые молитвы» (стихотворение «Гимн свободе», 1905, сб. «Прибой»). Мятежный порыв и религиозное переживание сливаются у молодого поэта в единое чувство [11].

Благодаря своей подпольной работе Клюеву удалось завязать ряд знакомств в кругах столичной интеллигенции. В частности, он был связан с сестрами поэта Александра Добролюбова — Марией (ум. в декабре 1906 г.) и Еленой. Видимо, через них он сближается с поэтом Леонидом Семеновым, считавшимся одно время женихом Маши Добролюбовой. Встреча Клюева с Семеновым состоялась в самом начале 1907 г. в Петербурге, вскоре после того, как последний был выпущен из Курской тюрьмы, где провел несколько месяцев за свою революционную деятельность (см. п. 1, прим. 4). Семенов, бесспорно, проявил внимание к судьбе Клюева, который был ему близок по своим «левым» настроениям. В первой половине 1907 г. Клюев регулярно присылает Семенову свои стихотворения, которые тот пытается напечатать в столичных журналах. «Всего я послал Вам 8 писем с 52 стихотворениями»,— сообщает Клюев Семенову 15 июня 1907 г.[12] Характер отношений Клюева с Семеновым во многом проясняет также слово «товарищ», употребленное в том же письме («...и за все, дорогой товарищ, буду благодарен») [13].

Благодаря усилиям Л. Д. Семенова имя Клюева-поэта приобретает в Петербурге некоторую известность. Один из столичных еженедельников уже в январе 1907 г. извещал читателей: «В литературных кругах говорят о девятнадцатилетнем поэте-самоучке крестьянине г. Клюеве; как ни странно, его стихи написаны в „декадентской форме“» [14]. Кто был автором этого короткого сообщения, определить трудно, но можно предположить, что он был знаком именно с рукописными текстами клюевских стихотворений (напечатанных стихотворений к этому времени у Клюева было лишь около десяти).

В 1907 г. Семенов был тесно связан с В. С. Миролюбовым, редактором широко известного в начале века «Журнала для всех» (1898—1906). Подобно Семенову, Миролюбов находился в то время на позициях «левого народничества». Он считал необходимым использовать свой журнал как трибуну для пропаганды антиправительственных настроений. После запрещения «Журнала для всех» Миролюбов продолжал его (вплоть до 1908 г.) под другими названиями: «Народная весть», «Трудовой путь», «Наш журнал». Все эти издания одно за другим подвергались цензурному запрету. Дольше всех существовал «Трудовой путь», одним из главных сотрудников которого был Л. Д. Семенов, принимавший, кроме того, участие в редакционных делах. Именно он обратил внимание Миролюбова на молодого поэта из Олонии. Миролюбов же, всегда стремившийся поддерживать начинающих писателей, напечатал в майской книжке «Трудового пути» стихотворение Клюева «Холодное как смерть...» Любопытно, что на той же странице, рядом со стихотворением Клюева, было помещено стихотворение Блока «В час глухой разлуки с морем». Эту публикацию можно считать первой встречей поэтов, состоявшейся за несколько месяцев до того, как Клюев написал Блоку.

Что заставило Клюева обратиться к Блоку? В своем первом письме Клюев говорит о том, что к этому его побудили стихотворения из сборника «Нечаянная радость». Сомневаться в правдивости слов Клюева не приходится: эта книга Блока действительно произвела на него неизгладимое впечатление. Несомненно, однако, что Клюев уже раньше слышал о Блоке и читал его стихотворения. В «Трудовом пути» в № 1-2 за 1907 г. было напечатано стихотворение Блока «Тебя в чужие страны звали», в № 3 — «Голос в тучах» (4-й номер журнала не вышел). В № 5 появилось уже упомянутое стихотворение «В час глухой разлуки с морем», а в № 6 — стихотворение «Ангел-хранитель», из-за которого «Трудовой путь» подвергается цензурному запрету [15]. В том же 6-м номере была помещена рецензия на сборник «Нечаянная радость» (подпись — Л. В.). Наконец, в № 10 «Трудового пути» за 1907 г. было напечатано стихотворение Блока «Старые мысли» («Хожу, брожу понурый»). Вряд ли Клюев видел все эти книжки «Трудового пути» — судя по некоторым из его писем, в его руки попадали случайные номера журнала, например № 3 (см. ниже). Видимо, он судил о Блоке главным образом по отзывам и оценкам Семенова. Из его сохранившегося письма к Семенову явствует, что уже в мае-июне 1907 г. Клюев пытался завязать отношения с Блоком и для этой цели спрашивал у Семенова петербургский адрес поэта. «Ради Христа, будьте терпеливы, выслушивая меня,— пишет Клюев 15 июня 1907 г.— Например, хотя бы насчет спроса про А. Блока — это не потому что Вас одного мне мало, а потому, что я прочитал в газетах, что Вы „сидите!“ и спросил про Блока, не желая бросать стихи» [16]. Ясно, что Клюев, остро нуждавшийся тогда в «покровителе», который помогал бы ему печататься в столичных изданиях,

хотел видеть в этой роли именно Блока — поэта, чьи стихи казались ему особенно созвучными.

Осенью 1907 г. Клюев находился в крайне тяжелом положении. Ему грозила воинская повинность, которую он не мог принять по своим нравственным убеждениям. Вслед за Толстым, Клюев считал, что воевать и носить оружие — грех. (Этот же взгляд отстаивали и проповедовали А. Добролюбов и — позднее — Семенов). Теме «армии» и «казармы» посвящен ряд стихотворений Клюева, написанных в 1907 г. («Казарма» — стихотворение, опубликованное в 9-м номере «Трудового пути» за 1907 г.; «Горниста смолк рожок... Угрюмые солдаты» — стихотворение, посланное Блоку в первом письме, и др.). Во втором письме к Блоку, вновь упоминая о том, что его должны забрать в солдаты, Клюев с отчаяньем восклицает: «Пропадут мои песни, а может и я пропаду» (последние пять слов в оригинале зачеркнуты). В письме Клюева к Е. М. Добролюбовой, написанном, судя по содержанию, в конце сентября — начале октября 1907 г., ощущается такое же подавленное настроение, как и в первых письмах к Блоку. «Прошу Вас — отпишите до 23 октября,— а потом, поди знай,— куда моя голова покатится»,— пишет Клюев [17]. Месяцы, проведенные в царской армии, были для Клюева тяжелым испытанием, однако по состоянию здоровья ему удалось в начале 1908 г. навсегда избавиться от солдатчины [18].

Из письма Клюева к Е. М. Добролюбовой можно также понять, что его переписка с Семеновым осенью 1907 г. временно прервалась. (Семенов переживал тогда тяжелый нравственный кризис, готовился «уйти» из культурного общества «в народ» и, видимо, не отвечал на письма Клюева). Ясно также, что Семенов заочно связал Клюева с Миролюбовым. «Он ⟨т. е. Семенов — *К. А.*⟩ велел мне писать В. С. Миролюбову, Тверская, 12, я посылал ему два заказных письма, но ответа не получал» [19]. Оказавшись — в этот трудный для него момент — в состоянии одиночества, без «покровителя», Клюев и принимает решение написать Блоку.

Однако Клюев тянулся к Блоку не только как к поэту, обладавшему именем и влиянием в литературном мире. Он обратился к нему еще и потому, что видел в нем, как и в Семенове, единомышленника, «товарища». Клюев, разумеется, знал, что Блок был тогда связан с кругом «левых народников», симпатизировал их взглядам. Ему было известно о сотрудничестве Блока в «Трудовом пути» (впрочем, этот факт Клюев мог сильно преувеличивать). Во всяком случае, Клюев понимал, что Блок находится в лагере сторонников революции. Придавая большое значение этому обстоятельству, Клюев в своих письмах к Блоку пытается уточнить общественную позицию своего собеседника. «Необходимо также мне узнать, какое отношение кроме литературного имеете Вы к В⟨иктору⟩ С⟨ергеевичу⟩?» — спрашивает он Блока 4 сентября 1909 г. (Виктор Сергеевич Миролюбов — *К. А.*). Ответил ли на этот вопрос Клюева Блок и что именно он ответил — неизвестно. Однако ясно, что основания для такого вопроса у Клюева были. Из его писем видно, что Блок стал в 1908—1912 гг. посредником между ним и Миролюбовым, который, опасаясь судебного приговора, уехал весной 1908 г. из России. Блок неоднократно пересылал Миролюбову стихотворения и статьи Клюева. Некоторые из этих материалов (статья «С родного берега», «пол-листа» под названием «Слово божие к народу» и др.) носили безусловно «крамольный» характер. Да и сами письма Клюева постоянно наводят на мысль о тех полуконспиративных условиях, в которых они были написаны. Находясь после 1906 г. под надзором полиции, Клюев крайне осторожен в своих высказываниях: он мало сообщает Блоку о себе, о своей жизни, о своих знакомствах, совершенно не касается вопросов общественной жизни, столь волновавших его в действительности. Многое в его письмах к Блоку выражено не открыто, намеком. «Сейчас ухожу и когда приду — тогда напишу»,— извещает он Блока в открытке, написанной 30 сентября 1908 г., т. е. накануне праздника Покрова. Блок, видимо, понял слово «ухожу» таким образом, что Клюев отправляется в один из близлежащих монастырей на праздничное богослужение и, отвечая Клюеву, выразил свое недоумение по этому поводу. В апрельском письме (1909) Клюев уточняет: «...если я и писал Вам, что пойду по монастырям, то это не значит, что я бегу от жизни. По монастырям мы ходим потому, что это самые удобные места: народ «со многих губерний» живет праздно несколько дней, времени довольно, чтобы прочитать к примеру хоть «Слово Божие к народу» и еще кой-что «нужное». Вот я и хожу и желающим не отказываю, и ходить стоит, потому удобно и сильно и свято неотразимо». Этими строками Клюев ясно дает Блоку понять, что он ведет среди крестьян пропагандистскую деятельность (как видно, Клюев продолжал заниматься ею и в 1908—1909 гг.). Особенно выразительно взятое Клюевым в ка-

вычки слово «нужное». Этим же приемом Клюев пользуется и в других случаях, когда ему необходимо подчеркнуть свою мысль, передать ее многозначительность. «Долгое же молчание Ваше кажется мне „зловещим“»,— пишет он, например, Блоку в начале 1909 г. (п. 16). Настойчиво требуя от Блока подтверждений того, что очередное письмо из Олонии им получено, Клюев как бы вновь напоминал ему об опасности, грозившей их переписке со стороны охранного отделения.

Впрочем, Клюев несколько преувеличивал эту опасность, как и связь Блока с социал-демократами и социалистами-революционерами. Блок, как известно, был действительно глубоко захвачен революционными событиями в России, однако воздерживался от непосредственного участия в них. «Он следил за ходом революции, за настроениями рабочих, но политика и партия по-прежнему были ему чужды»,— вспоминает М. А. Бекетова [20]. Важно подчеркнуть, что восприятие революции было проникнуто у Блока его религиозно-нравственными исканиями и во многом определялось ими. В его размышлениях о революции 1905 г. видное место занимает образ Христа. «Близок огонь опять,— какой —не знаю. Старое рушится. Никогда не приму Христа»,— пишет Блок Е. П. Иванову 25 июля 1905 г. (VIII, 131). «Приходил А. Блок. Говорили о революции и о Христе»,— записывает в своем дневнике Е. П. Иванов 8 октября 1905 г.[21] Это двуединство протестантского и религиозного начал, мятежа и святости (символическое выражение — красный и белый цвета) отличает поэзию Блока еще до 1905 г., о чем свидетельствует, например, стихотворение «Инок шел и нес святые знаки» (в первоначальном варианте — «Инок шел и нес восстанья знаки» —1, 676). Такое понимание революции сближало Блока с Клюевым и другими новокрестьянскими писателями (Карповым, Есениным, Орешиным), что ярко проявилось позднее — в 1917—1918 гг.

Революционная эпоха 1905—1907 гг. отразилась прежде всего в творчестве Блока, радостно встретившего «Деву-Свободу». Изданный в конце 1906 г. сборник «Нечаянная радость» содержал несколько стихотворений, являющихся непосредственным откликом на события тех лет («Митинг», «Все ли спокойно в народе», «Вися над городом всемирным», «Пришлецы» и др.) [22]. Некоторые из них Блок объединил во втором издании книги в разделе, озаглавленном «1905». Однако острое ощущение современной жизни пронизывает всю книгу «Нечаянная радость» — не только ее отдельные стихотворения. Ожидание близких, «носящихся в воздухе», перемен, радостное предчувствие обновления жизни, грядущего «чуда», дыхание свободы, раскрепощенности сквозит во многих стихотворениях сборника, на первый взгляд, не связанных с событиями 1905 г. И Млада, «дикой вольности сестра», и «вольная дева в огненном плаще», и «дерзкое солнце», пробившее себе путь в «пыльный город», и «безумные ключи», которыми «запирает ворота» дремлющая вода, и дальний прибой, «будто голос из родины новой» — все это лишь иносказания, символы, передающие блоковское восприятие современности. Образ «Прекрасной Дамы», к которой были обращены ранние стихотворения Блока, переосмысляется им в годы первой русской революции как образ «жизни прекрасной, свободной и светлой» [23], как «образ грядущего мира» [24] — центральный в «Нечаянной радости». Заглавие сборника получает тем самым расширительный обобщающий смысл, что ясно выражено, например, в последних строках завершающего книгу раздела «Ночная фиалка»:

И в зеленой ласкающей мгле
Слышу волн круговое движенье
И больших кораблей приближенье,
Будто вести о новой земле.

Так заветная прялка прядет
Сон живой и мгновенный,
Что нечаянно Радость придет
И пребудет она совершенной.

(II, 34)

Молодой Клюев прекрасно понял именно это «скрытое» содержание «Нечаянной радости». Пафос блоковских строк — свободолюбивых, устремленных в будущее, проникнутых ощущением грандиозных перемен и при этом окрашенных в евангельские тона,— был ему чрезвычайно близок. Для передачи своего «чувствования» Клюев нашел убедительные и поэтичные слова; во многом, конечно, он вдохновлялся образами блоковского предисловия к сборнику и отдельных его стихотворений («Голос в тучах», «Взморье», «Оставь меня в моей дали»). «Грядет жизнь, жизнь бессмертным и свободным» — вот главное, что увидел Клюев в «Нечаянной радости». Строки клюевского письма, кроме того, передают, насколько эмоциональным, поэтическим было тогда его собственное мировосприятие («Читая, чувствуешь, как

душа становится вольной, как океан, как волны, как звезды, как пенный след крылатых кораблей. И жаждется чуда прекрасного, как Свобода, и грозного, как Страшный Суд...» и т. п.). Отзыв Клюева о стихах Блока имеет глубокий, хотя и достаточно понятный подтекст. Особенно многозначительны слова о «могучих и прекрасных» бойцах, сражающихся с «тяготеньем веков» и одолевающих его.

Свободолюбивые устремления отличают и поэзию Клюева 1908—1910 гг. Значительная часть его стихотворений, написанных в эти годы, связана с современными событиями. Жестокая расправа властей с участниками революционной борьбы, казни, тюрьмы, ссылки — все это образует фон клюевских стихотворений, которые становятся до конца понятны лишь в контексте трагической действительности первых послереволюционных лет. Воспоминания о днях недавней борьбы перемежаются в них с картинами безрадостного настоящего. Стихи полны скрытых намеков, иносказаний. Однако образы Клюева определеннее и конкретнее, чем у Блока, стремившегося в своих ранних стихах погрузить лирическое повествование в атмосферу неясности, туманности, таинственности. «Злая непогода», «предзимняя тоска», «в изгнанья пути» и многие другие слова-символы получают в поэзии Клюева исторически отчетливый характер. Нередко встречаются у него и такие слова, как «тюрьма», «решетка», «казнь», «эшафот», которые, в свою очередь, символизируют всю эпоху реакции [25].

В сравнении со стихами Блока тех лет у Клюева — иная направленность, иная тональность. И тем не менее перекличка с Блоком ощущается постоянно. Не говоря уже о дословных совпадениях и перифразах, на которые справедливо обращали внимание исследователи [26], в стихотворениях Клюева после 1907 г. обнаруживаются некоторые структурные элементы, характерные для блоковской поэзии. Так, поразившие Клюева в «Нечаянной радости» образы морской стихии («как океан, как волны, как звезды, как пенный след крылатых кораблей») становятся в 1908—1910 гг. ведущими в его собственной поэтической системе. В стихотворениях Клюева этих лет постоянно появляются океан или море, корабль или ладья, летящие навстречу «весне», «заре» и т. д. («Я говорил тебе о боге», «Не оплакано былое», «Я пришел к тебе убогий», «Прельщение», «С осени повеяло новыми восторгами», «Что листья осени шептали» и др.). Самого себя поэт нередко уподобляет «отважному пловцу», стремящемуся в новую прекрасную страну («Предчувствие», «Пловец»). «Сонные корабли», блуждающие в «светло дремлющих заливах», «незримо веющие сирены», туман «сумеречной дали», «моря лазурь» и взморье, скованное пеной («Верить ли песням твоим»), граниты «пустынных берегов» и челнок, поглощенный пучиной («Я пришел к тебе убогий»), «путеводительные светы», зажженные с «высот материка» («Есть то, чего не видел глаз») — эти и многие другие образы, обычные в целом для поэзии того времени, навеяны, в первую очередь, стихами Блока и словами его предисловия к сборнику «Нечаянная радость» («Слышно, как вскипают моря и воют корабельные сирены» и т. д.— II, 370). Не случайно, символика моря, корабля, родного берега и т. д. становится всего насыщенней именно в тех стихотворениях Клюева, которые посвящены Блоку («Пловец», «Верить ли песням твоим») [27].

Первое письмо Клюева, посвященное «Нечаянной радости», положило начало диалогу между поэтами, которому со временем суждено было значительно углубиться.

II

Отправляя свое письмо в Петербург, Клюев, вероятно, не предполагал, что оно произведет на Блока яркое впечатление. Он вряд ли мог знать или догадываться о тех мыслях и настроениях, которые именно тогда — в конце 1907 г.— все сильней и сильней овладевали Блоком.

Революционная ситуация в России, сложившаяся к 1905 г., и события последующих лет решающим образом повлияли на развитие русского символизма. Уже в начале нового столетия стало ясным, что те принципы, на которых основывались символисты старшего поколения (индивидуализм, ориентация на западноевропейские, прежде всего французские, образцы «нового искусства» и т. д.), претерпевают кризис. Выступившие на литературную сцену «младшие» символисты (Блок, Белый, Вяч. Иванов) остро отзываются на общественное брожение в стране и пытаются — каждый по-своему — преодолеть индивидуализм на общих для них путях сближения с «народной душой» («братство», «соборность» и т. д.). «Какой-то переворот совершился в нашей душе, какой-то еще темный поворот к полюсу соборности»,— писал Вяч. Иванов в программной статье «Кризис индивидуализма» [28]. О «душе»

России размышлял Белый в своей известной статье «Луг зеленый» [29]. «Нео-народничество» — отличительная черта русского символизма 900-х годов. Вслед за теми, кого они считали своими предшественниками (прежде всего — Достоевским и Вл. Соловьевым), «младшие» символисты, отождествляя (как и народники XIX в.) «народ» и крестьянство, видят в русской патриархальной деревне источник и средоточие «народной души». Истолкованное в религиозном ключе понятие «народа» определило взгляды и творческий путь некоторых символистов (Вяч. Иванов) и близких к ним писателей (Городецкий, Ремизов): их искания обращены прежде всего к специфически отобранному и осмысленному фольклору, к народной поэзии и мифологии, к архаике. При этом внимание их приковывают к себе в первую очередь наиболее активные, динамические группы крестьянства — старообрядцы и сектанты; интерес к ним испытывают не только символисты, в том числе и «старшие» (Бальмонт, З. Гиппиус, Мережковский), но и такие писатели, как Л. Толстой и М. Горький, не только «левые народники», но и социал-демократы (В. Д. Бонч-Бруевич). «Я,— вспоминает Андрей Белый,— начитавшись Достоевского, искал героев его, Алеш, Зосим, Мышкиных, Иванов Карамазовых в жизни ⟨...⟩ влекли и самочинные сектанты: не хлысты, штундисты, евангелисты, а начинатели своих собственных сект» [30].

Такие «самочинные сектанты» выдвигаются из самой символистской среды. Уже в 1898 г. один из первых русских декадентов А. М. Добролюбов порывает с «образованным» обществом и уходит «в народ», становится основателем собственной, хотя и немногочисленной секты (см. о нем подробно п. 5, прим. 5). «Уход» Добролюбова не остался незамеченным в столичных литературных кругах — о нем писали З. Гиппиус, Мережковский, Минский и другие авторы (в том числе — Блок, посвятивший Добролюбову стихотворение и — как выясняется из публикуемых ниже писем Клюева — подаривший ему с надписью свой первый стихотворный сборник). «Ранний декадент Александр Добролюбов, автор двух книг стихов, изысканный поэт с утонченной душой интеллигента мистического пошиба, учуяв землю, сложил с себя как бремя легкое и ненужное всю сложность видимостей внутренних и внешних и ушел в деревню, и сгинул в ней, и нет его больше среди нас в городах, а есть там, за этой мнимою стеной, отпугивающей слабых и слепых, а для зрячих и крепких не существующей»,— писал в 1912 г. С. Городецкий в статье «Незакатное пламя», посвященной Клюеву [31]. Вторым символистом, решительно вступившим на путь А. Добролюбова, был Л. Д. Семенов. Их имена не случайно принято ставить рядом как два наиболее ярких свидетельства религиозно-народнических устремлений, отличавших русский символизм в 900-е годы. А. Добролюбов и Л. Семенов неоднократно упоминаются в письмах Клюева к Блоку: молодой олонецкий поэт видел в этих писателях, перешедших «в народ», опору для своих собственных народнических исканий. В статье «Незакатное пламя» С. Городецкий намечает следующую преемственную связь: А. Добролюбов — Семенов — Блок — Клюев.

Внимание русской интеллигенции к Северу, к старообрядчеству и сектам различного толка было в известной мере обострено и первыми книгами М. Пришвина, появившимися как раз в 1907—1909 гг. Путешествуя по Олонии, «в краю непуганных птиц», писатель увидел на русском Севере «остатки чистой, неиспорченной рабством народной души» [32]. Особенный интерес в этом плане представляет собой очерк Пришвина «У стен града невидимого» (в последующих изданиях — «Светлое озеро»), впервые опубликованный в «Русской мысли» при поддержке Мережковских (1909, № 1-3). Рассказывая о своем путешествии на берега озера Светлояра, в глубины которого, по народной легенде, погрузился некогда Китеж-град, Пришвин описывал свои встречи с сектантами и размышлял о «тайных подземных путях», соединяющих «этих лесных немоляк с теми культурными» [33]. На эту книгу Пришвина Блок откликнулся короткой рецензией, напечатанной в октябре 1909 г. в газете «Речь» (см. V, 651). Известно также, что в первых книгах писателя Блок, по свидетельству самого Пришвина, находил «поэзию, но и еще что-то» [34].

В октябре 1907 г. Блок делает первые наброски стихотворения о самосожженцах, законченного значительно позднее, в 1914 г. («Задебренные лесом кручи»). Тогда же им написано и восьмистишие «Меня пытали в старой вере». Далеко на Севере, в дремучих лесах, в скитах и срубах раскольников-староверов поэту видится «сжигающий Христос», несущий пламя всероссийского мятежа. «Народная душа», как кажется Блоку, уже охвачена «святым пожаром». В статье «Литературные итоги 1907 года» сказано: «...в России растет одно грозное и огромное явление ⟨...⟩ Явление это сектантство» (V, 215). Блок не сомневается в том, что именно сектанты и старообрядцы несут в себе огненное «аввакумовское» начало, что стихий-

ный протест, зреющий в народной глубине, выплеснется однажды наружу [35]. Тяготение Блока к этим аспектам народной жизни было в те годы чрезвычайно сильным. Не случайно А. Белый в одной из своих статей 1909 г. писал о том, что «тревожная» поэзия Блока в чем-то близка к русскому сектантству; ведь сам Блок, подчеркивал Белый, называет себя «не воскресшим Христом», а его Прекрасная Дама в сущности — хлыстовская богородица [36].

Размышления о «народе» и «народной душе» были в этот период неразрывно связаны у Блока с его все растущим неприятием «интеллигенции», что нашло отражение в ряде его статей, написанных в 1907—1908 гг. В статье «Литературные итоги 1907 года», касаясь возобновившихся в Петербурге религиозно-философских собраний, Блок язвительно пишет об «образованных и ехидных интеллигентах, поседевших в спорах о Христе и антихристе», о «многодумных философах, попах, лоснящихся от самодовольного жира» (V, 210). Настроения Блока той поры всего отчетливее передает его известная статья «Народ и интеллигенция», написанная в ноябре 1908 г. и, как вспоминает М. А. Бекетова, отчасти навеянная клюевскими письмами [37]. Вопрос об отношениях между интеллигенцией и народом Блок называет «важнейшим» для себя (V, 319). Он пишет о двух полюсах русской жизни, о «двух реальностях», отделенных, как кажется Блоку, стеною непонимания: «...полтораста миллионов с одной стороны и несколько сот тысяч — с другой; люди взаимно друг друга не понимающие в самом основном» (V, 323). Еще более определенно та же мысль выражена в записи от 22 декабря 1908 г.: «Мне ясно одно: ПРОПАСТЬ, недоступная черта между интеллигенцией и народом,— ЕСТЬ» (ЗК, 126). «На первый план,— пишет Блок С. А. Венгерову 4 декабря 1908 г.,— я ставлю вопрос о том, как интеллигенции найти связь с народом» (VIII, 264).

Желая преодолеть разрыв между интеллигенцией и народом или, по терминологии Блока, между «культурой» и «стихией», поэт размышляет в те годы о приобщении современных художников к «народной душе». «Творчество художника,— сказано в статье Блока «Душа писателя»,— есть отзвук целого оркестра, то есть отзвук души народной» (V, 371). В первую очередь Блок имеет в виду художников-символистов, в лице которых, по его мнению, современная культура достигла наиболее утонченных и рафинированных форм. Блоку одно время казалось, что культура символизма пропитывается все сильнее духом «стихии», что художники-символисты все больше приближаются к «жизни», к «реализму». Основанием для утверждений такого рода Блоку служили примеры «жизнетворчества» А. Добролюбова и Л. Семенова. «Символисты идут к реализму, потому что им опостылел спертый воздух «келий», им хочется вольного воздуха, широкой деятельности, здоровой работы»,— писал Блок в статье «О современной критике» (1907). И далее: «Недаром у всех нас на глазах деятельность А. М. Добролюбова, да и не одного его, и этот пример ярко указывает, что движение русского символизма к реализму началось с давних пор, чуть ли не с самого зарождения русского символизма» (V, 206).

Антитеза «интеллигенция — народ», возникшая уже в XIX в., не была для Блока отвлеченной теоретической проблемой. Напротив: в условиях русской действительности начала века она приобретала для него живой, сугубо личный характер. Поэт, как известно, тяжело переживал свое «барство» (т. е. свое дворянское происхождение) и, как многие народники-дворяне, испытывал острое чувство вины перед народом. В чисто народническом духе Блок полагал, что русская интеллигенция находится в долгу у народа, что «культура» в России куплена слишком дорогой ценой — ценой порабощения народа. Оторвавшийся от «почвы» интеллигент должен искупить свой социальный грех, приблизиться к народу, в котором, согласно разным народническим доктринам, скрыта либо социальная, либо религиозная правда. Вопрос о том, как искупить свою «вину» перед трудящимся народом, мучал Блока еще в 1901—1903 гг., что видно, в частности, из его переписки с композитором С. В. Панченко, воздействовавшим тогда на Блока в духе «кающегося дворянства». «Надо поклониться Мужику,— писал Панченко Блоку 1/14 января 1903 г.— Надо заплакать, упасть на колени и в рыданиях и в стенаниях головой биться об землю у ноги мужика. Чтоб он — простил... Так надо чувствовать к мужику. И когда Вы так к нему почувствуете — Вы обновитесь и начнете новую жизнь». Впрочем, Панченко тут же добавляет, что «не надо» «ходить в народ». «Это бессовестно. Это только ему, темному, создавать новый террор (...) И пахать, по Толстому, не надо...» [38].

Вопрос о том, как преодолеть пропасть, отделяющую «барина» от «мужика», «интеллигенцию» от «народа», «культуру» от «стихии» приобретает для Блока в 1907—1911 гг. принципиальное, жизненно важное значение. Ответить на него означало ответить на вопросы:

«Что делать?» «Как жить?» «Уйти» или «остаться»? Есть основания предполагать, что именно в эти годы Блок, порываясь изменить свою жизнь, неоднократно думал о разрыве с «культурой», о приближении к народной «стихии». Путь А. Добролюбова и Л. Семенова увлекал Блока, казался ему «выходом» из декадентства и шире — из «интеллигенции» в целом. Родственные устремления овладевали в ту пору А. Белым и некоторыми другими символистами. «Тема „ухода" меня, как Семенова, мучила,— вспоминал А. Белый,— неудивительно: мы говорили о том, что, быть может, уйдем; но куда? В лес дремучий?» [39] (Говоря «мы», Белый имеет в виду себя и Блока, беседы с которым воспроизводятся в этом месте его мемуаров).

Но «уйти» окончательно, сделать решающий шаг Блок, конечно, не мог; для этого он был слишком художником, личностью. Он искренне тянулся к народу, но ощущал себя в то же время «интеллигентом», человеком культуры. В известном письме к В. В. Розанову от 17 февраля 1909 г., где с особой ясностью выражена общественная позиция Блока, поэт говорит о своей «кровной» интеллигентности (VIII, 274). Столь же неоднозначно решалась для Блока и проблема «Россия — Запад». Глубоко любя Россию и посвящая ей замечательные стихи, Блок в то же время был многим обязан культуре Запада, и сам сознавал это. Эту двойственность своего положения Блок в 1907—1909 гг. переживал глубоко и остро. С нею связаны многие его метания и сомнения тех лет. Она же определяет сущность блоковского диалога с Клюевым.

Что именно ответил Клюеву Блок в ответ на его первое «очень трогательное письмо» (VIII, 215), мы не знаем. Однако ясно, что свое неожиданно для него начавшееся общение с Клюевым Блок сразу же перевел в русло актуальных для него тогда проблем.

«Очень отвлеченные оправдания в духе „кающегося дворянина"»,— так позднее охарактеризовал Блок свое первое письмо к Клюеву в статье «Литературные итоги 1907 года» (V, 214). В своем ответном письме Клюев несколько раз цитирует Блока (прямо или косвенно), и по этим цитатам можно восстановить некоторые фразы блоковского письма («Вы пишете, что не понимаете крестьян...»; «Наш брат вовсе не дичится «вас», а попросту завидует и ненавидит...»; «...нельзя зараз переделаться, как пишете Вы...»; «И из Ваших слов можно заключить, что миллионы лет человеческой борьбы и страдания прошли бесследно для тех, кто «имеет на спине несколько дворянских поколений»»). О разрыве между «интеллигенцией» и «народом», о своем «непонимании» крестьян, чувстве отчужденности от них Блок писал Клюеву неоднократно. «Получил Ваше письмо от 11 января. Оно резко, но не отличимо от прежних. Если бы Вы не упоминали почти в каждом письме про свое барство, то оно не чувствовалось бы мною вовсе»,— замечает Клюев 22 января 1910 г., цитируя (в том же письме) слова Блока: «Я барин — вы крестьянин».

Тема «народа», затронутая Блоком, была чрезвычайно близка Клюеву. Неудивительно, что на «отвлеченные оправдания» Блока он откликнулся большим письмом, в котором продолжил разговор, начатый петербургским поэтом. Подобно Блоку, Клюев пишет о «необоримой стене несближения», существующей, по его мнению, между крестьянами и «господами». Письмо Клюева проникнуто духом социального протеста, тон его резок, местами появляются гневные обличительные нотки. Бесспорно, в 1907 г. Клюев был уже вполне сложившимся радикальным народником. Нельзя, однако, не заметить, что его второе письмо к Блоку, как и некоторые последующие,— не только позиция, но и поза. Отделяя себя от своего адресата, Клюев делает это безжалостно, дерзко и в то же время несколько нарочито, с излишним пафосом. Хорошо понимая, чем вызван интерес Блока к нему, Клюев сознательно углубляет тему «несближения» и как бы «самоутверждается» за счет своей принадлежности к народу. Искренне обличая тот общественный слой, к которому принадлежит Блок, Клюев при этом в какой-то мере «играет» и даже юродствует, впадая то в неоправданно высокомерный, то в болезненно уязвленный тон, то поучая и наставляя Блока, то подчеркивая свою собственную необразованность, «темноту» и т. п. (см. также п. 4, 8, 12, 31 и пр.).

Противопоставление «народа» людям «ненуждающимся и ученым» (п. 26) переходит затем из писем Клюева в его поэзию и расширяется в его дооктябрьском творчестве до антитезы Города и Деревни. В этом Клюев мало чем отличается от других новокрестьянских писателей, в поэзии которых обличению «города» и «городской» культуры будет уделено значительное место. Деревня (уточним: русская патриархальная деревня) олицетворяла для этих поэтов естественное бытие, Природу, к которой они страстно влеклись; Город же был воплощением современной машинной цивилизации, которую они решительно отвергали. (В творчестве Клюева эта антиномия получает со временем форму противопоставления «березки»

и «железа»). Весной 1909 г. Клюев пишет Блоку о том, что является врагом «усовершенствованных пулеметов и американских ошейников и т. п.: всего, что отнимает от человека все человеческое» (п. 20). Ненавистной современности, лишившей человека, как казалось Клюеву и его единомышленникам, естественности, духовности, поэзии, писатели-крестьяне стремились противопоставить «старину» (народное творчество, быт деревни, ее вековые традиции, верования и т. п.). Свой поход против «города», «культуры», «интеллигенции» они вели с позиций патриархального российского крестьянства. Будущее представлялось им в виде ржаного мужицкого рая, в котором нет места «каменной тюрьме» — Городу [40].

Второе письмо Клюева еще более укрепило Блока в его влечении к «народу» и скептическом взгляде на «интеллигенцию». (Позы и «игры» Клюева в этом письме Блок не увидел). Важное свидетельство — письмо Блока к матери от 27 ноября 1907 г. «Забавно смотреть,— пишет Блок,— на крошечную кучку русской интеллигенции, которая в течение *десятка* лет сменила кучу миросозерцаний и разделилась на 50 враждебных лагерей, и на многомиллионный народ, который с XV *века* несет одну и ту же однообразную и упорную думу о боге (в сектантстве)». Вслед за этим Блок добавляет: «Письмо Клюева окончательно открыло глаза» (VIII, 219). Совершенно ясно, что уже тогда — в ноябре 1907 г.— Клюев персонифицировал для Блока ту самую сектантскую, т. е. религиозно-патриархальную, но вместе с тем бунтующую, мятежную Россию, к которой Блок настойчиво тянулся. Рассуждения Клюева о «народе» и «господах» Блок считал настолько важными, что процитировал их почти целиком в статье «Литературные итоги 1907 года».

Заметим, что отношение Блока к этой «сектантской», «клюевской» России было на деле довольно сложным. Ненависть, зреющую в русском народе, Блок, бесспорно, считал справедливым и даже святым чувством. Тонкое историческое чутье Блока подсказывало ему также, что эта ненависть рано или поздно выплеснется наружу, обернется восстанием. Блок верил в русскую революцию и ждал ее. Но воспринимая «народ» как «стихию», Блок и в будущей революции предугадывал действие и разгул стихийных сил. Он воспевал революцию как «великую грозу», которая «все сметет» (стихотворение «Да, так диктует вдохновенье», 1911—1914 гг.). Прежде всего, как казалось Блоку, революция уничтожит «культуру», старую («кровную») интеллигенцию, к представителям которой он относил и самого себя. Подобные мысли возникают у Блока в конце 1907 г. именно в связи с письмом Клюева. Об этом ясно свидетельствует опубликованная М. Бронным запись в дневнике Н. В. Недоброво от 8 января 1908 г. (запись сделана после визита Н. В. Недоброво и А. И. Белецкого к Блоку в конце 1907 г.). Похвалив стихи Белецкого, Блок задал вопрос: «Ну, а дальше что же?» После этого Блок начал говорить, «что подходит конец, что идет новая интеллигенция, которая истребит «нас»». И в заключение прочел прелюбопытное письмо от какого-то олонецкого мужика, из которого явствует, что где-то за 300 верст от железной дороги мужички читают стихи Блока, судят о них, сами сочиняют символические стихи и грозят русской интеллигенции отставкой, исповедуясь ей в ненависти и в неисцелимой тоске народной, проистекающей из сознания, что «без Вас нам еще не обойтись» [41].

В еще большей степени захватила Блока и навела его на такого рода мысли статья Клюева «С родного берега», написанная им в августе 1908 г. в форме письма к В. С. Миролюбову и, видимо, предназначенная для печати в одном из русских заграничных изданий. Блок получил эту статью от Клюева в сентябре 1908 г. В ней подробно рассказывалось о положении дел в олонецкой деревне, о растущем среди крестьян недовольстве, о приобщении их к политической борьбе. Бунтарские настроения крестьян, их «ненависть ко всякой власти предержащей» неотделимы в изображении Клюева от их религиозно-утопических чаяний. Слова «земля есть достояние всего народа» и «земля божья» для Клюева равнозначны. Религиозность народа, по Клюеву, не препятствие для восприятия революционных идей, а напротив — «своего рода чистилище, где все ложное умирает, все же справедливое становится бессмертным» [42]. Будущее социальное равенство рисуется Клюевым в народно-фольклорном духе. Это — «типично мужицкая социально-этическая утопия, перекочевавшая в письмо Клюева из народных сказок и легенд» [43]. Но будущее для Клюева в то же время — «тучная долина Ефрата, где мир и благоволение, где сам бог». Озорные и даже крамольные песни, которые поются в деревне, приведены у Клюева рядом с «духовным стихом», распеваемым по деревням «перехожими нищими слепцами» (впрочем, и в нем преобладает скорбно-негодующий мотив — звучит тема лжи и насилия, воцарившихся в «крещеном белом царстве»).

Статья Клюева как нельзя лучше подтверждала представления Блока о той России.

из глубин которой, как казалось поэту, грядет «сжигающий Христос». Прочитав статью, Блок, прежде чем отослать ее Миролюбову во Францию, сделал с нее копию. В письме к Е. П. Иванову 13 сентября 1908 г. он назвал эту статью «документом огромной важности (о современной России — народной, конечно)...» Этот документ, продолжает Блок,— «еще и еще утверждает меня в моих заветных думах и надеждах» (VIII, 252). Отдельные отрывки из письма-статьи Клюева Блок процитировал в своей статье «Стихия и культура», написанной в ноябре 1908 г. Комментируя письмо, Блок вновь определяет его как документ «большой <...> ценности» (V, 357).

Статья «С родного берега» была «ценна» для Блока прежде всего как свидетельство надвигающейся революции, ясно (хотя подчас и иносказательно) выраженное Клюевым. «Вообще мы живем, как под тучей,— вот-вот грянет гром и свет осияет трущобы земли» — эти клюевские слова цитирует Блок в своей статье. О будущих социальных переменах идет речь и в некоторых других отрывках, приведенных Блоком. Тема растущего народного гнева, подчеркнутая в статье «Стихия и культура», отразилась также в письме Блока к С. Ю. Копельману. 11 декабря 1908 г. Блок пишет ему о том, что в народе зреет злоба и что это — «единственное спасение». Блок далее говорит о том, что «лучше» ждать, пока «накопится довольно злобы, единственной и настоящей, разрушающей плотины» [44].

Цитируя в своей статье отрывки из письма Клюева и из письма одного сектанта к Д. С. Мережковскому, Блок образно выделяет в современной деревне две группы: тех, кто поет про «литые ножики», и тех, кто поет про «святую любовь». «В дни приближения грозы сливаются обе эти песни»,— замечает Блок (V, 359). Это означает, что бунтарское и религиозное начала должны, согласно Блоку, в дни грядущей революции соединиться вместе, слиться в один поток. Черты, отличающие раскольников и сектантов, определят лик будущей революционной России. Стихийные бунтари-разбойники и святые беглецы-отшельники — и те, и другие кажутся Блоку подлинными выразителями народного протеста, социального и духовного. Они в глазах Блока — сродни друг другу. «Они дети одной грозы; потому что земля одна, „земля Божья", „земля — достояние всего народа"» (V, 359). «Очистительный огонь» восстания в представлении Блока — религиозный огонь.

Представителем этой «огненной», «аввакумовской» («народной»!) России и в какой-то мере ее пророком становится после 1907 г. для Блока Клюев. Сохранилось важное свидетельство С. М. Городецкого, утверждавшего, что «своеобразное народничество» Блока проявилось прежде всего в его переписке с Клюевым. Городецкий приводит также слова из неизвестного письма Блока, которое он написал якобы в то время «одной из своих знакомых»: «Сестра моя, Христос среди нас. Это — Николай Клюев» [45]. К этому свидетельству Городецкого следует отнестись с доверием: образ олонецкого певца и проповедника действительно сливался порой в сознании Блока с огненным, «сжигающим», раскольничьим Христом его поэзии. Общение с Клюевым было важным, подчас жизненно необходимым для Блока и в 1907—1908 гг., и позже — в 1911-м. «В Клюева он крепко поверил»,— подчеркивал Городецкий [46]. Блок тянулся к Клюеву и внимательно прислушивался к его суждениям, глубоко переживал клюевские отзывы о его (Блока) поэзии. Клюев служил для него эталоном честности и гражданственности, его мнением Блок поверял свои собственные поступки. Примечательна запись в дневнике Блока, сделанная 27 ноября 1911 г.: «*Дважды* приходил студент, собирающий подписи на воззвании о ритуальных убийствах (составленном Короленкой). Я подписал. После этого — скребет, на душе тяжелое. Да, Клюев бы подписал, и я подписал — вот последнее» (VII, 97).

Блок принимал и те упреки, которыми осыпал его Клюев. Последовательно проводя (и неизменно заостряя) свою «народную» точку зрения, Клюев не стеснялся указывать Блоку на все то, что, по мнению олонецкого поэта, было в нем или в его творчестве «интеллигентского». Зная из писем Блока о том, что́ именно его угнетает и мучает, Клюев продолжал «играть» на блоковском чувстве вины перед «народом» (и значит перед ним, Клюевым, тоже). Блок же, воспринимавший свою «интеллигентность» и принадлежность к культуре как своего рода грех, готов был заранее согласиться на любое обвинение, поскольку оно исходило от носителя «народной души». Наиболее яркий пример — письмо Клюева, содержащее разбор книги «Земля в снегу». Это одно из самых «обличительных» посланий Клюева к Блоку, обвиненному им в «индивидуализме» («самоуслаждении») и «барстве» («Отдел „Вольные мысли" — мысли барина-дачника...»). Однако Блок отнесся к упрекам Клюева в высшей степени доверчиво. «Всего важнее для *меня* — то, что Клюев написал мне длинное письмо о „Земле

в снегу", где упрекает меня в интеллигентской порнографии (не за всю книгу, конечно, но, например, за „Вольные мысли"). И я поверил ему в том, что *даже я*, ненавистник порнографии, подпал под ее влияние, будучи интеллигентом»,— пишет Блок матери 2 ноября 1908 г. (VIII, 258). «Другому бы я не поверил так, как ему»,— добавляет Блок.

Спустя год, в автобиографии, написанной для сборника «Первые литературные шаги», Блок счел нужным отметить, что «важнейшими приговорами, кроме собственных», всегда были для него «приговоры ближайших литературных друзей и некоторых людей, не относящихся к интеллигенции» (VII, 434). Разумеется, среди критиков блоковского творчества, «не относящихся к интеллигенции», на первом месте должен быть назван Клюев. И поскольку о «Нечаянной радости» Клюев отзывался только восторженно, остается предположить, что говоря о «приговорах», Блок имел в виду прежде всего письмо Клюева, содержащее разбор книги «Земля в снегу».

Литературные «приговоры», которые выносил ему Клюев, запомнились Блоку надолго. Это становится очевидным, если проследить дальнейшую судьбу некоторых стихотворений, первоначально напечатанных в сборнике «Земля в снегу»: редактируя их впоследствии, Блок явно учитывал клюевскую критику. Так, в мусагетовском издании 1916 г. (Блок подверг стихи, составившие эту книгу, особенно внимательной и конструктивной переработке) были исключены отдельные строки из стихотворения «В дюнах» (цикл «Вольные мысли»), в частности: «И губы были ярки, обнажая/Звериные, сверкающие зубы». Ясно, что Блок устранил здесь те именно строки, которые среди других имел в виду Клюев, писавший в 1908 г. о «похабной» сущности многих блоковских стихов, о «вавилонском» отношении к женщине и т. п. (п. 12).

Подолгу размышляя над некоторыми письмами Клюева, Блок тем не менее соглашался далеко не со всем, в чем пытался убедить его олонецкий поэт-крестьянин. Адресованные ему обвинения Клюева вновь и вновь побуждали Блока думать о взаимонепонимании между «интеллигенцией» и «народом», о пропасти, отделяющей «культуру» от «стихии». 5-6 ноября в письме к матери Блок еще раз возвращается к последнему письму Клюева (о сборнике «Земля в снегу»). «*Следовательно*,— пишет Блок,— (говоря очень обобщенно и не только на основании Клюева, но многих других моих мыслей): между «интеллигенцией» и «народом» есть «недоступная черта». Для *нас*, вероятно, самое ценное в них враждебно, то же — для них. Это — та же пропасть, что между культурой и природой, что ли» (VIII, 258). Аналогичные мысли содержатся и в докладе Блока «Народ и интеллигенция», написанном тогда же (в ноябре 1908 г.): «Люди, выходящие из народа и являющие глубины народного духа,— говорил Блок, явно имея в виду Клюева,— становятся немедленно враждебны нам; враждебны потому, что в чем-то самом сокровенном непонятны» (V, 324).

Считая этот исторически сложившийся в России разрыв между «интеллигенцией» и «народом» неодолимым, трагически переживая его, Блок, однако, склонялся в те годы к мысли, что его собственное место — в лагере «интеллигенции». Он, как указывалось, глубоко ощущал свою причастность к «культуре» и «эстетике», и уйти в народ, раствориться в «стихии», т. е. отказаться от своего собственного я, он не мог. «Я люблю эстетику, индивидуализм и отчаянье ⟨...⟩ я сам — *интеллигент*...» — горько исповедывался Блок в статье «Народ и интеллигенция». «Во мне самом,— писал он далее в этой статье,— нет ничего, что любил бы я больше, чем свою влюбленность индивидуалиста и свою тоску, которая, как тень, всегда и неотступно следует за такою влюбленностью...» (V, 327). Конечно, отношение Блока к «эстетике, индивидуализму и отчаянью» в действительности было более сложным; однако называя себя «интеллигентом», Блок вынужден был признать за собою и эти «интеллигентские», с его точки зрения, качества. Веря в искренность и органичность того, что писал ему Клюев, Блок тем не менее хотел оставаться самим собой. В том же письме (5-6 ноября) он объясняет матери: «Клюев мне совсем не только про последнюю «Вольную мысль» пишет, а про *все* ⟨...⟩ или еще про многое. И не то, что о «порнографии» именно, а о более сложном чем-то, что я, в конце концов, в себе еще люблю. Не то, что я считаю это ценным, а просто это какая-то часть меня самого. Веря ему, я верю и себе» (VIII, 258).

Об этой «части себя самого» Блок писал и Клюеву. Многие из его писем носили, подобно некоторым его стихам и статьям, исповедальный характер. Блок рассказывал Клюеву правду о своей жизни, в которой многое его не устраивало, казалось ему «греховным» и «темным», делился с ним своими тайными сомнениями. «Мне слышно, что Вам тошно от наружного зла в жизни»,— пишет ему Клюев в апреле 1909 г. (п. 20). Это означает, что Блок уже в 1908—

1909 гг. «каялся» Клюеву и открывал ему душу. Позднее «исповеди» Блока стали более частыми и глубокими. Исповедальным было, например, его письмо от 11 января 1910 г., о чем можно судить по ответному письму Клюева. «Не вскрывайте себе внутренностей, не кайтесь»,— уговаривает Клюев Блока. И в том же письме: «Понимаю, что наружная жизнь Ваша несправедлива, но не презираю, а скорее жалею Вас». И далее: «Желание же Ваше „выругать" не могу исполнить...» Видимо, слова Блока о себе самом были настолько горькими, что Клюев считает нужным поддержать и утешить «брата Александра», отчасти разубедить его («Не отталкивайте же и Вы меня своей, быть может фальшивой, тьмою»). В том же духе было, по всей видимости, написано предыдущее письмо Блока (13 сентября 1909 г.) и письмо, отправленное Клюеву в декабре 1911 г. Об этом свидетельствует запись в дневнике Блока, датированная 17 декабря 1911 г.: «Писал Клюеву: „Моя жизнь во многом темна и запутана, но я не падаю духом"» (VII, 103).

В чем же «каялся» Блок? Почему называл свою жизнь «темной» и «запутанной»? Из ответных писем Клюева ясно, что Блок писал ему о том «страшном мире», к которому он считал себя глубоко причастным. Уже сборник «Земля в снегу» содержит ряд «исповедальных» стихотворений. Поэт жалуется на то, что «в тайник души проникла плесень», сокрушается о «растраченной душе», которая «туманам предана», пишет о своем «утопленном в вине» отчаяньи (стихотворения «Балаган», «Напрасно», «Холодный день»). Приметы «страшного мира» вторгаются в поэзию Блока 1908—1914 гг., заметно окрашивают ее. Лирический герой Блока погружен в метели и мрак, в «однообразный шум», в «городскую суету»; «вино и страсть» терзают его жизнь; он «пригвожден к трактирной стойке»; его окружают «стертые лица», «пустынный вопль скрипок», кабацкий разгул, цыганщина. Разделом «Страшный мир» открывался третий том лирики Блока; часть этого раздела составляли стихотворения, написанные в 1909 г. («Под шум и звон однообразный», «Из хрустального тумана», «Двойник», «Песнь Ада», «Поздней осенью из гавани», «На островах»). По стихотворениям этого цикла можно воссоздать духовную драму Блока, его мучительную и напряженную борьбу с самим собой, которая кажется подчас трагически безысходной. В «непроглядном сумраке» хмельной поэт сталкивается со своим двойником, «стареющим юношей», уставшим «в чужих зеркалах отражаться/И женщин чужих целовать» («Двойник»). Даже любовь теряет для поэта свой смысл: «Все только — продолженье бала, Из света в сумрак переход...» («На островах»). Как развернутая аллегория «Страшного мира» воспринимается написанная дантовскими терцинами «Песнь Ада».

Блок остро и тяжело переживал свои «нисхождения» в современный Ад, свои «погружения» в немое и неподвижное болото «страшного мира», где его собственная жизнь, как ему казалось, превращалась в застой и неподвижность. Глубоким отчаяньем, что охватывало порой Блока, проникнуты многие его стихотворения; в них говорится о безысходности, обреченности, забвенье и т. д. В сентябре 1909 г. Блок писал Клюеву о том, что «в хаосе нет света своего» (см. п. 23). Таким же мрачным и покаянным было, судя по всему, и его письмо в Олонию от 11 января 1910 г., в котором содержатся отмеченные Клюевым слова о том, что «во тьме лжи лучится правда» (см. п. 26).

Слова эти чрезвычайно важны: в них, строго говоря, раскрыт один из важнейших аспектов блоковского мироотношения. Погружаясь во тьму и хаос «страшного мира», Блок внутренне сопротивлялся ему, пытался противопоставить ему образ иной — негреховной жизни, воспоминание о «былой красоте», о «светлом» опыте. Блок глубоко и надолго впадал порой в тоску и отчаянье; обступавший его мрак казался ему тогда беспросветным; он терял ощущение «пути» и «цели». Но каким бы глубоким ни был кризис, потребность в «свете», в движенье, в «пути» никогда не угасала в нем полностью. Блоковская поэзия этих лет обнаруживает своеобразную диалектику «мрака» и «света», «забвенья» и «памяти», «распутицы» и «пути». (Эта тема глубоко раскрыта в известной работе Д. Е. Максимова [47]). Утрата и поиск своего «пути» обсуждались, видимо, Блоком и в его письмах к Клюеву. «Никогда не было в моих помыслах указывать Вам пути»,— заверяет Клюев Блока, желавшего, чтобы олонецкий крестьянин «выругал» его за «неправедный» образ жизни и помог ему освободиться из пут «страшного мира» (см. п. 26).

Нравственные искания Блока осложнялись тем, что свой путь через «хаос», через «адские» сферы бытия поэт считал для себя необходимым, неминуемым. «Разве можно миновать „мрак", идя к „свету"?» — этим вопросом Блок задавался еще в 1902 г. (VIII, 37). Неотвратимость своего пути через «мрак» Блок обосновывал социально и исторически. С одной сто-

роны, он склонен был искать причину своих недугов в своем привилегированном положении «барина», «интеллигента», «горожанина» (этими признаками Блок, как указывалось, постоянно и глубоко тяготился). С другой стороны, свое приобщение к «страшному миру» Блок ставил в непосредственную связь с общественной ситуацией в России после подавления революции 1905 г., воспринимая свой индивидуальный путь как путь целого поколения. «Сегодня многие из нас,— писал Блок в 1910 г. в статье о Владимире Соловьеве,— пребывают в усталости и самоубийственном отчаянии» (V, 454). В своем «грехопадении» Блок видел некий «Рок», подчинение «Судьбе» — судьбе человека страшной эпохи, безвременья, реакции. Голоса «метели», «вьюги», «хаоса» звучат в его стихотворениях как своего рода «Песня Судьбы». А «ключевые» для Блока слова-понятия «скука», «тоска», «отчаянье» и др. приобретают в общем контексте его поэзии символическое звучание, передают блоковское ощущение современной эпохи.

Изменить «путь» (т. е. победить «судьбу») можно было, лишь изменив действительность. Избавление от своих личных недугов Блок мог найти лишь в «исцелении» всей страны. Потерять внутреннюю связь с Россией всегда казалось ему поэтому тяжелейшим из грехов, величайшей опасностью. Даже в трудные для него годы Блок заботился о том, «чтобы распутица ночная/ От родины не увела» («Под шум и звон однообразный»). Не случайно, именно Клюеву, в известной мере воплощавшему для него русский народ, рассказывал он о «греховности» своей жизни и каялся в своем «беспутстве». Надежда на социальное и духовное обновление России подспудно питала сознание Блока и жила в нем — то почти угасая, то вновь возгораясь. «Во тьме лжи» Блоку — даже в те годы — виделся «луч правды», и это, как писал он в стихотворении «Благословляю все, что было» (1912), помогало ему продолжать свой путь «в холодном мраке снежной ночи».

Из ответных писем Клюева видно, что Блок не только каялся и оправдывался перед ним, но и защищался. Блок, в частности, пытался объяснить олонецкому поэту, почему он не рвет с «образованным» обществом, сохраняет связь с литературой, с «культурой». Он пытался отстоять и обосновать перед Клюевым свое право художника на творческое развитие. И Клюев понимал это и во многом соглашался с Блоком. «Простите меня, не омрачайте своих образов моей грубостью, ибо Вы истинны в «своей» правде, без которой Вы не художник...» — пишет он ему в конце 1908 г. (п. 13). В другом письме (апрель 1909 г.) Клюев возражает Блоку: «В одном фальшь, что говорите, что я имею что-то против Вас за Ваше тяготение к культуре» (п. 20). Многое в этом плане проясняет вопрос, заданный Клюевым в его письме от 5 ноября 1910 г. (п. 31): «Напишите мне, что это за «служение» — которое Вы упоминае⟨те⟩ в письме, говоря про самих себя?» Для Клюева этот вопрос не случаен: слово «служение» было наполнено для него и религиозным, и общественным смыслом. Блок же, как явствует из всего вышесказанного, имел в виду скорее всего художнический аспект этого понятия, т. е. «служение искусству». «Я служу искусству, тому третьему, которое от всякого рода фактов из мира жизни приводит меня к ряду фактов из другого, из своего мира: из мира искусства»,— писал Блок осенью 1909 г. в одном из очерков, составляющих «Молнии искусства» (V, 403). О «служении» говорится также в статьях Блока «Литературный разговор» и «О современном состоянии русского символизма», написанных в том же году, что и письмо к Клюеву (1910). «Путь к подвигу, которого требует наше служение,— сказано в последней статье,— есть — прежде всего — ученичество, самоуглубление, пристальность взгляда и духовная диета» (V, 436). Видимо, в таком же духе Блок высказался и в письме к Клюеву.

Вплоть до 1912 г. Клюев настойчиво продолжал воздействовать на Блока, пытаясь склонить его к разрыву с «культурой» и увлечь с художественного пути на путь религиозного служения (разумеется, не в ортодоксально-церковном смысле). Стремление заглушить в себе поэта глубоко захватывает самого Клюева в 1909—1910 гг.— религиозные искания определяют в эти годы его духовную жизнь. Не желая творить «красоту изреченную», Клюев, вдохновляясь примерами А. Добролюбова и Л. Семенова, порывается «замолчать», т. е. отказаться от художественного творчества ради «молитвы». «Буду молчать,— пишет он Блоку в сентябре 1909 г.— Не знаю, верно ли, но думаю, что игра словами вредна, хоть и много копошится красивых слов,— позывы сказать, но лучше молчать. Бог с ними, со словами-стихами» (п. 23). О том же (порой вскользь, намеком) говорится и в последующих письмах. Наиболее подробно Клюев обосновывает эту точку зрения в письме от 5 ноября 1910 г., посвященном разбору блоковской статьи «О современном состоянии русского симво-

лизма». Среди современных ему «словесников-символистов» Клюев выделяет тех, которые ужаснулись «тщете своих художнических исканий» и порвали с литературой — «недавно замолчавшего» Александра Добролюбова и «год с небольшим назад умолкшего» Леонида Семенова (п. 31).

Кульминационный момент в отношениях Блока и Клюева — письмо последнего, написанное около 30 ноября 1911 г. (спустя два месяца после их очного знакомства). Открыто и решительно, как ни в одном из предыдущих писем, Клюев выступает против «иноземщины», завладевшей, по его мнению, Блоком, напоминает ему о том, что его (т. е. Блока) творчество лишь постольку религиозно, «следовательно, и народно», поскольку далеко от «всяких Парижев и Германий». (Весьма показательно, что подлинная религиозность не мыслится Клюевым вне «народной души».) Положение Блока, оказавшегося, как представляется Клюеву, между Западом и Россией, «действительно роковое». Запад для Клюева — воплощение безбожия; с ним он связывает «поклонение Красоте», индивидуализм, творчество «во имя свое». Россия же, напротив, означает для него «поклонение Страданию» (т. е. христианство), творчество «для себя в другом человеке», приобщение к «Миру-народу». Клюев требует, чтобы Блок сделал окончательный выбор, чтобы он принял на себя «подвиг последования Христу» (слова из п. 31). Завершая свое обращенное к Блоку «письмо-проповедь», Клюев пророчествует «об обручении раба Божия Александра — рабе Божией России».

Блок был потрясен этим письмом. Получив его 5 декабря, он в течение нескольких дней перечитывал его, не расставался с ним. «Послание Клюева все эти дни — поет в душе»,— записывает он в своем дневнике 9 декабря (VII, 101). Слова и призывы Клюева на этот раз особенно усугубили смятенность Блока, обострили его нравственные терзания, его сомнения в правильности своего пути. Следует вспомнить, что в 1911 г. Блок еще глубоко и остро переживал «уход» Льва Толстого, который, как вспоминает М. А. Бекетова, «волновал и радовал» Александра Александровича [48]. Получив письмо Клюева, Блок с новой силой предается мыслям об «уходе» и «опрощении». «Я над Клюевским письмом,— записывает Блок 6 декабря,— *Знаю все, что надо делать:* отдать деньги, покаяться, раздарить смокинги, даже книги. Но не могу, не хочу» (VII, 101).

Мучительные размышления Блока над письмом Клюева продолжались несколько недель. Он показал его своей матери, поделился с ней теми сомнениями, которые оно в нем вновь пробудило. «Была на днях у Саши,— писала 10 декабря А. А. Кублицкая-Пиоттух М. П. Ивановой, сестре Е. П. Иванова,— говорила с ним, читала письмо, которое он получил из Олонецкой губернии» [49]. Психологическое состояние Блока, как явствует из дальнейшей переписки Александры Андреевны с М. П. Ивановой, чрезвычайно заботило в те дни его родных и близких. 15 декабря мать Блока пишет Марии Павловне: «Письмо, о котором говорили мы с Сашей, написано мужиком-поэтом. Чтобы понять его, надо предисловие. И я напишу Вам на днях об этом и пришлю письмо» [50]. И спустя несколько дней, 20 декабря: «Вот Вам письмо. Клюев нынче осенью провел с Сашей несколько дней. Сидел по ночам. Я думаю, Вы поймете всю важность этого *Крещения*. Саша принял письмо очень серьезно. Но томится... Покажите письмо Жене. Пусть прочтет. Я прошу его» [51].

Получив письмо, М. П. Иванова в тот же день ответила Александре Андреевне. По ее мнению, Клюев «много берет на себя», предъявляя Блоку «такие обвинения, угрозы, чуть ли не заклинания». Мария Павловна резко упрекала Клюева в гордости и самоуверенности. Основное содержание его письма к Блоку она также восприняла как призыв к «уходу». «Куда он зовет? — спрашивала она.— Отдать все и идти за ним, и что же делать? Служить России? Но это ведь даже не Россия, а его *дикий бор* только, неужели истина только там?..» Любопытно, что к словам «идти за ним» Блок сделал сноску: «Это и я понял — *так* честно понять». Всю часть письма Марии Павловны, относящуюся к Клюеву, Блок затем переписал в свой дневник (VII, 106—107).

Ознакомившись с письмом М. П. Ивановой, Блок на другой день, 21 декабря, пишет матери: «Мама, письмо М⟨арии⟩ П⟨авловны⟩ мне очень приятно. Оно необыкновенно значительно, так же как все в ней, я хотел бы оставить его у себя или переписать. Все это в глубине не противоречит письму Клюева и не представляет никаких соблазнов, кроме внешних, психологических. Скажи М⟨арии⟩ П⟨авловне⟩, что я и ее письмо слагаю в сердце, но и Клюева — тоже. Здесь прощающее дыхание женственного Духа. Там — костяной посох, сурово занесенный над головой «обеспамятевшего интеллигента». Все призывает «туда же» ⟨...⟩» [52].

С письмом Клюева Блок познакомил также Городецких. «Я плачу, читая Ваше письмо

и письмо к Вам Клюева»,— писала ему А. А. Городецкая (наст. том, кн.2, с. 58). 23 декабря Блок посетил Мережковских, где познакомил с письмом Клюева самого Мережковского, З. Н. Гиппиус и Д. В. Философова, которые единодушно «его ⟨т. е. Клюева⟩ бранили на чем свет стоит» (VII, 105), Мережковские пытались убедить Блока в том, что Клюев его «не понимает». Блок, как видно, защищался и защищал Клюева, причем в его споре с Мережковскими не раз упоминались имена А. М. Добролюбова, Семенова, Миролюбова. Под непосредственным впечатлением беседы у Мережковских Блок записал: «*Итак — сегодня: полное разногласие* в чувствах России, востока, Клюева, святости» (VII, 106). (Чрезвычайно характерен этот ряд имен и понятий, тождественных для Блока по своему содержанию!) Наконец, на другой день, 24 декабря, в дневнике Блока появляется запись: «Сомневаюсь о Мережковских, Клюеве, обо всем» (VII, 108).

Блок не разделял скептического в целом отношения к Клюеву М. П. Ивановой, Мережковских и других. Взгляды и требования олонецкого поэта отвечали, как уже указывалось, многим помыслам Блока, и притом наиболее глубоким, сокровенным. Однако перейти окончательно на его сторону Блок не мог и не считал нужным. Призывы Клюева к «братству» увлекали его, но не могли вырвать из орбиты «культуры». Он по-прежнему считал «не своим» тот путь, вступить на который так настойчиво звал его Клюев (путь А. Добролюбова и Л. Семенова). Поэтому в 1911 г., так же как и в 1908-м, Блок продолжал относиться к Клюеву с большим доверием, но и — с осторожностью. Все то, о чем писал и в чем убеждал его Клюев, Блок принимал скорее как «тенденцию», нежели как «программу действий». Кроме того, Блок уже видел, что Клюев подчас «хитрит» и «играет» с ним [53].

Необходимо отметить, что Блок — при всей своей смятенности и раздвоенности — переживал свою кризисную эпоху напряженнее и глубже, чем Клюев, пытавшийся свести национальную проблему (как социальную, так и культурную) к узкопонятой «народности» и «религиозности». Блок же, тянувшийся к народной «стихии», но не желавший в то же время расстаться с «культурой» и воспринимавший «западный» элемент в отечественной культуре как ее неотъемлемую традиционную часть, тем самым объединял в себе различные и достаточно далекие стороны русской духовной жизни. Он как бы вмещал в себя «всю Россию», тогда как Клюев, признавая одну лишь патриархальную крестьянскую Русь, обеднял и суживал такие *основополагающие* понятия, как «родина», «народ», «культура».

Одновременно с письмом от 30 ноября 1911 г. Блок получил от Клюева его первую книгу — сборник «Сосен перезвон» (VII, 100). Книга была посвящена Блоку (а в ней — стихотворения «Верить ли песням твоим» и «Я болен сладостным недугом») [54]. На экземпляре, посланном Блоку, Клюев сделал надпись, которая имела и скрытый полемический подтекст: «Александру Александровичу Блоку в знак любви и чаяния радости — братства. Андома. Ноябрь. 1911 г.» [55] Сборник содержал ряд программных для молодого Клюева стихотворений; одно из них («Пахарь») было проникнуто презрением, почти ненавистью к интеллигенции, которую автор гневно обличал от лица «поруганного» пахаря. Против четвертой строфы этого стихотворения («Вы обошли моря и сушу,/К созвездьям взмыли корабли, И лишь меня — мирскую душу, Как жалкий сор, пренебрегли») Блок карандашом написал два слова: «Очень озлоблен».

Впрочем, и отношение Клюева к Блоку также было не однозначным. Порицая и даже обличая Блока за «неправедность» его пути, Клюев — в личном плане — относился к нему с глубокой симпатией. В его письмах к Блоку, наряду с воинствующими интонациями, появляются подчас нотки трогательной нежности, даже влюбленности. «Всегда поминаю Вас светло, так как чувствую красоту и правду Ваши»,— пишет он ему 14 марта 1910 г. (п. 27). «Вас я постоянно поминаю и чувствую близким, родным...» — пишет он ему в июне того же года (п. 29). «Простите меня, если я этим письмом сделал Вам больно»,— пишет Клюев 5 ноября 1910 г. (п. 31). Завершая свои письма к Блоку, Клюев приветствует его «любовно и радостно». «Видно, что он любит А⟨лександра⟩ А⟨лександровича⟩» — замечает М. П. Иванова (VII, 106). Клюев действительно любил и глубоко уважал Блока, дорожил своим знакомством с ним. В конце письма от 22 января 1910 г. Клюев подписывается: «Без презрения любящ⟨ий⟩ Вас» (п. 26). В предыдущем письме (29 декабря 1909 г.), спрашивая Блока о причине его долгого молчания, Клюев прибавляет: «Не допускается мысль, что это разрыв духовный меж нами. Так хорошо бывает на душе от Вас и этого жалко смертно». Не только поэзия Блока — весь духовный строй его личности производил в те годы на Клюева глубокое впечатление. (Есенин однажды заметил, что Клюев был «пришиблен» Блоком [56]). Еще до их лич-

ной встречи Клюев сумел почувствовать то прекрасное и высокое, что присутствовало в поэзии Блока и в нем самом, он видел в Блоке не только «заблудшего брата», но и яркую неповторимую личность. «Желание же Ваше «выругать» не могу исполнить,— слишком для этого Вы красивы»,— признается он Блоку (п. 26). На книге «Братские песни», изданной весной 1912 г., Клюев сделал следующую надпись: «Александру Александровичу Блоку с любовью живой Николай К л ю е в. Андома. Месяц май 1912 г.» [57]. Более развернутыми и красочными были автографы на сборнике «Сосен перезвон», переизданном в 1913 г. ярославским издателем К. Ф. Некрасовым, и книге «Лесные были», выпущенной тогда же и там же. В каждой из этих надписей Клюев вновь возвращается к своему первому впечатлению — к «Нечаянной радости». На титульном листе сборника «Сосен перезвон» Клюев написал: «Александру Блоку — Нечаянной Радости. Николай К л ю е в. Осень. 1913 г. Я не боюсь потерять мою радость, довольно, что она была, довольно, что только была! Быть — значит есть в Едином, значит не может исчезнуть! Можно всю жизнь, все будущие жизни знать только медленный, невысокий путь сознанья, можно потерять даже сознанье, потерять воспоминанье о радости. Все же радость не может исчезнуть, и когда придет совершение, знавшие радость будут в радости» [58]. А «Лесные были» Клюев подарил Блоку со следующей надписью: «Александру — свет — Александровичу Блоку — Нечаянной Радости от велика Новогорода Обонежския пятины погоста Пятницы Парасковии усадища Соловьева Гора песенник Николашка по назывке Клюев славу поет — учестлив поклон воздает. День Прокопа полузимнего-дорогокрушителя лета от рожества Бога—Слова 1913» [59].

III

Отношения Клюева и Блока еще более проясняются, если вспомнить о другом «народном» писателе — Пимене Карпове, к общественным выступлениям которого Блок проявлял в те годы известный интерес. Клюев и Карпов — фигуры родственные (при всем различии и разнонаправленности их литературных талантов). И тот, и другой выступают на рубеже 900-х и 910-х годов как идеологи «новокрестьянского» движения, окончательно сложившегося, как указывалось, в 1913—1916 гг.[60]

Крестьянин Курской губернии, писатель-самоучка, воспитанный на произведениях современной русской литературы (в том числе и символистской), которую он хорошо знал, П. И. Карпов привлек к себе внимание в 1909 г. своей нашумевшей брошюрой «Говор зорь» (с подзаголовком — «Страницы о народе и интеллигенции»). В ряду других выступлений на эту злободневную тему книга Карпова выделялась своей остротой, воинственностью, непримиримостью по отношению к культурной части общества. Делая упор на угнетенное и бесправное положение русского народа, упоминая об «ужасах реакции», которые выпали на его долю, Карпов пытается, игнорируя истинные причины народных бедствий, переложить всю вину на... русскую интеллигенцию. Оказывается, что именно интеллигенты переманили народ в города, «чтобы высосать из него здесь последние соки», ограбили его духовно, что «ужаснее грабежа материального, который совершали над крестьянами помещики и над рабочими капиталисты». Интеллигенты, как пытался доказать Карпов, боятся народа — «надвигающейся стихии», и даже те из них, которые тянутся к нему и испытывают сострадание, не идут дальше «благих пожеланий». Среди интеллигентов, сочувствующих народу, Карпов называет Блока, Вяч. Иванова, Мережковского, но и у них, по мнению крестьянского автора, не хватает духу заявить ясно и во всеуслышанье о «преступлениях» интеллигенции. Народнические искания этих писателей кажутся ему «не вполне искренними». Как же преодолеть разрыв между интеллигенцией и народом? Карпов предлагает выход, поражающий своей радикальностью и в то же время наивностью. Интеллигентам, по его мнению, следует расстаться с городской жизнью, уйти в деревню и заняться там крестьянским трудом. «Отчего бы им,— в толстовском духе рассуждал Карпов,— не пожертвовать благами духовной жизни, личным счастьем, почему бы им не покинуть «городскую культуру» и не пойти за плугом..?» Лишь там, в деревне, завершает свою мысль Карпов,— «интеллигенты переродятся и полюбят все близкое: родную землю, родной язык, родной народ» [61].

Подобно Клюеву, Карпов подчеркивал, что говорит не от своего собственного имени, но от имени «народа». Свою книгу («Говор зорь») он называл «Голосом из народа» и склонен был совсем отказаться от авторства. «Говоря совершенно откровенно, я хотел даже издать книжку без подписи, просто как голос из народа, дабы не было обвинения в самозванстве и

рекламе»,— писал Карпов Блоку 26 ноября 1910 г.[62] Несмотря на свои скептические отзывы о Блоке, Иванове, Мережковском, П. Карпов настойчиво обращался к этим писателям, просил их «заступиться за народ» [63]. Карпов был убежден, что его книгу замалчивают «благодаря инсинуации со стороны тех же „интеллигентов“» [64]. В действительности книгу Карпова никто не замалчивал. Напротив, она, как указывалось, была воспринята с неподдельным интересом — ведь она затрагивала одну из наиболее жгучих в то время общественных проблем. Восторженно отозвался о брошюре Карпова Л. Н. Толстой, получивший ее в дар от автора. Книга понравилась Толстому «смелостью мысли и ее выражения» [65]. (И не случайно: основными положениями своей книги Карпов был обязан прежде всего Толстому, которого он называл «дорогим учителем жизни» [66]).

Обратил внимание на «Говор зорь» и Андрей Белый, написавший в конце 1909 г. Карпову одобрительное письмо: автор «Серебряного голубя» и книги «Пепел» не мог отнестись к призывам Карпова иначе как с глубоким сочувствием. Свое письмо Белый пытался переслать адресату через Мережковских. Это явствует из письма З. Гиппиус к А. Белому, которая настаивала на том, что Карпова «*не надо отталкивать*, как не надо и захваливать даром, а надо с добротой помочь разобраться в собственных мыслях, где *правда* так сплетена с изуверческой ложью» [67].

Резкий тон книги, дух нетерпимости, которым она была насквозь проникнута, неправомерные обобщения — все это, скорее, отталкивало от автора и его болезненно заостренной программы. Поэтому даже тянувшиеся к народу писатели символистского лагеря (видимо, за исключением Белого) восприняли ее в целом сдержанно. «Зачем «интеллигентам» браться за плуг?» — недоумевал Блок, которому суждения Карпова показались «крайними» [68]. Еще более резко высказался по поводу «Страниц о народе...» В. Иванов, к которому Карпов обращался с просьбой выпустить сборник его стихотворений в символистском издательстве «Оры» (Иванов стоял во главе этого издательства). «Дурной, прямо скажу, прием,— писал В. Иванов,— говорить как бы не от своего лица, а не более, не менее, как от лица некоего множества, которое Вы называете „народом“, в противоположность другому мнимому коллективу „интеллигенции“, точнее же и определеннее — от лица крестьянства. Это самозванное, простите, представительство Ваше я отвергаю» [69].

«Антиинтеллигентская» программа Карпова имела много общего с теми взглядами, которые отстаивал молодой Клюев (в частности — в письмах к Блоку). Правда, основной пафос клюевских стихов и статей 1907—1911 гг. направлен был против реальных палачей и мучителей народа — против царских «затюремщиков» [70]. К столь огульному и резкому осуждению «интеллигенции», какое отличает Карпова, Клюев почти не прибегал даже в более поздние годы, когда неприятие «города» и «городской» культуры усиливается в его творчестве. И тем не менее общность во взглядах Клюева и Карпова бросается в глаза уже на грани 900-х и 910-х годов. Не случайно, в дневнике Блока имена Карпова и Клюева несколько раз появляются рядом, несмотря на то, что к Карпову Блок относился не так, как к Клюеву: сдержанно, без симпатии (VII, 70). Особенно характерна запись, сделанная Блоком 23 декабря 1911 г. после визита к Мережковским. «Я читал письмо Клюева ⟨имеется в виду письмо от ноября 1911 г.⟩, все его бранили на чем свет стоит, тут был приплетен и П. Карпов» (VII, 105). Блок же, как отмечалось выше, был настроен иначе, чем Мережковские и Д. Философов, и, защищая Клюева, он тем самым, в некоторой мере, защищал и Карпова. «Его взволновал Пимен Карпов»,— вспоминал о Блоке Городецкий [71]. Блок был, кроме того, одним из тех, кто выступил в печати с рецензией на роман П. Карпова «Пламень».

Этот появившийся в 1913 г. и сразу же запрещенный цензурой роман был посвящен главным образом сектам «пламенников» и «сатанилов», быт и ритуалы которых Карпов описал с красочными (и подчас душераздирающими) подробностями. «Все, что приведено в моей книге,— сообщал Карпов А. А. Измайлову,— имело место в жизни до мельчайших подробностей,— я только случайное старался возвести в необходимое, в реальном раскрыть символы и образами выразить свое миросозерцание — миросозерцание пламенников» [72]. Это миросозерцание выражалось у Карпова прежде всего как нераздельное единство стихийно революционных и религиозных настроений. Блок не сомневался в достоверности того, что было описано Карповым в его романе; считая его книгу слабой в художественном отношении, Блок видел в ней глубоко правдивое и важное свидетельство о народной жизни. «Плохая аллегория, суконный язык и... святая правда»,— писал он о «Пламени» (V, 484). Особую роль в глазах Блока играло, бесспорно, то обстоятельство, что Карпов изобразил в своем романе

бунтующую сектантскую Россию и при этом сам принадлежал к сектантам (во всяком случае, заявлял об этом) [73]. Подобно Клюеву, Карпов оказался для Блока выразителем тех самых слоев русского народа, с которыми, как говорилось, Блок связывал определенные надежды. В произведениях Карпова он резко отделял поэтому художественную сторону от документальной. Рецензируя в 1917 г. драму Карпова «Три чуда», Блок подчеркивал, что все написанное Карповым, представляет собой «не литературу, не беллетристику, не драматургию, не рассуждение, а человеческий документ» (V, 658). В этой же рецензии сказано: «Как бы ни называлось то, над чем мучается Карпов, и то, для чего он ищет словесное выражение, есть нечто важное, большое и беспокойное; в истории культуры русской и русской литературы это займет не маленькое место...» (V, 659). И тут же Блок поясняет, что именно он имеет в виду: «Исконная тема автора — „народ и интеллигенция", она проходит сквозь все, что он писал» (V, 659).

Не поддерживая крайностей и догматической узости «антиинтеллигентской» программы Карпова, Блок, однако, понимал и сочувственно оценивал то «беспокойное» начало, которое крылось за ней. Сцены народного бунта, кровавого восстания, нарисованные Карповым в романе «Пламень», воспринимались Блоком как пророчество новой революции. Уже книга Карпова «Говор зорь» завершалась грозным предупреждением, обращенным к «интеллигенции»: «Он идет» (заглавие последней части). Явные намеки на грядущую расправу народа с «интеллигенцией» содержались и в некоторых письмах Карпова тех лет. Например, 17 февраля 1910 г. он писал Д. В. Философову: «Дорогой Дмитрий Владимирович, у Вас есть чувство народности. Вы не чужой для нас, крестьян. Верьте, что мы этого никогда не забудем, и в решительный час народ пощадит Вас» [74]. Не удивительно, что и свою рецензию на роман Карпова «Пламень» Блок заканчивал словами о России, которая «вырвавшись из одной революции, жадно смотрит в глаза другой, может быть более страшной» (V, 486).

IV

Знакомство с Блоком имело важные последствия для литературной судьбы Клюева. Именно благодаря Блоку фамилия олонецкого поэта появляется на страницах журналов «Золотое руно» и «Бодрое слово». Блок, как видно из писем Клюева, посылал его стихи и в редакции других изданий (журнал «Лебедь», сборники «Чтец-декламатор»). Предлагая стихотворения Клюева для публикации, Блок в большинстве случаев собственноручно переписывал их и затем, отправляя копию, оставлял себе клюевский автограф. Не исключено, что Блок делал при этом незначительные исправления, стремился улучшить клюевский текст [75].

Помочь Клюеву войти в «большую русскую литературу» — таково было желание Блока, которое он в 1908—1909 гг. настойчиво старался осуществить. Он пропагандировал имя Клюева в столичных литературных салонах, защищал его от нападок со стороны Мережковских, Розанова и др., пытался привлечь своего олонецкого корреспондента к сотрудничеству в таких изданиях, как, например, «Русская мысль». Не без участия Блока завязываются отношения Клюева и С. М. Городецкого, который начиная с 1911 г. деятельно покровительствует олонецкому поэту. Однако решающее значение для литературной карьеры Клюева имело его начавшееся в 1910 г.— также благодаря Блоку — сближение с И. П. Брихничевым.

Священник, лишенный права священнослужения за пропаганду своих не-ортодоксальных, отчасти бунтарских идей, Брихничев в те годы считал своей основной задачей духовное просвещение русского народа. Брихничев примыкал к тем представителям российского духовенства, которые в той или иной мере были захвачены революционной волной и свои религиозные убеждения излагали в более доступной для крестьянства форме социальных требований. Они выступали против государственности и официального православия, против имущественного неравенства и духовного гнета, призывали к осуществлению древних христианских заветов, к установлению «царства божия» на земле. Некоторые из них — в знак протеста — сами слагали с себя духовный сан. В годы первой русской революции и после нее брожение внутри русского духовенства усиливается. Среди священников, игравших в те годы заметную роль на русской общественной сцене, следует в первую очередь назвать Г. С. Петрова (1868—1925), лишенного в 1908 г. сана за свои публицистические выступления [76]. В одном из писем тех лет Г. С. Петров писал: «Меня года три мучает одна мысль:

о нашей интеллигентской большой молчаливой лжи. Почему мы все остаемся в церкви, числимся православными? ⟨...⟩ Полагаю, честнее положить конец этой лжи умалчивания. ⟨...⟩ Во многом мы расходимся с Толстым, но есть одно общее: наша отчужденность и от церкви, и от государственности. Вот и было бы большим общественным и культурным делом, если бы передовые люди России, не откладывая дела в долгий ящик, положили начало отделению от церкви. Я на днях посылаю в Синод официальное заявление о моем выделении из православной церкви» [77]. Одновременно и сообща с Г. С. Петровым выступал в русской печати и старообрядческий епископ Михаил (см. о нем п. 38, прим. 6). Деятельность Г. С. Петрова, епископа Михаила (в меньшей степени Брихничева) встречала поддержку и отклик прежде всего со стороны тех «интеллигентов», которые рассматривали революцию 1905 г. как своего рода «религиозный ренессанс» и пытались внедрить в русское общество идеи «христианского социализма». К ним, в частности, относились философ В. Ф. Эрн и писатель-публицист В. П. Свенцицкий, издавшие в 1906 г. известный сборник «Взыскующие града». Свенцицкий был связан с «Христианским братством борьбы» — первой в России христианской политической организацией, созданной в Москве в феврале 1905 г.[78]. В 1906—1912 гг. Свенцицкий активно занимался литературной работой [79]. Он писал о реформе церкви, обличал духовенство и «неверующую» интеллигенцию, призывал к выходу из религиозного уединения к общественной борьбе за возрождение Вселенской церкви. Один из критиков определил позднее «свенцицианство» как «смесь хлыстовщины и социализма» [80].

В 1905—1906 гг. Брихничев находился в Тифлисе, где одно время состоял священником в рабочем приходе (Брихничев был уроженцем Тифлиса и обучался в Тифлисской духовной семинарии). Выступая перед прихожанами, он говорил: «Мы, пастыри, не должны, не можем молчать, когда на наших глазах совершается вопиющее зло» [81]. Там же, в Тифлисе, Брихничев издавал в 1906 г. еженедельную «общественно-литературную» газету «Встань, спящий» (впоследствии издание продолжалось под названиями «Ходите в свете», «Встань и ходи», «Маяк», «Стойте в свободе», «Духа не угашайте» и др.). За редактирование еженедельника «Встань, спящий» и агитацию в войсках Брихничев был арестован и в июне 1906 г. помещен в Карскую крепость, затем судим и приговорен к одному году тюремного заключения. Наказание Брихничев отбывал в Тифлисском Метехском замке, где его товарищами по заключению, как рассказывает он в своей «Автобиографии», были «Степан Шаумян, Алексей Джапаридзе и многие другие мученики за коммунизм» [82]. По выходе из крепости, сообщает далее Брихничев, он был лишен сана и за выступление на предвыборном собрании в Государственную думу выслан в г. Егорьевск Рязанской губернии. В конце 1907 г. Брихничеву было разрешено проживание «всюду, кроме столиц и университетских городов». «Весь период времени с 1907 г. по 14 г.,— подытоживает Брихничев,— был для меня временем сплошных скитаний и высылок из одного города в другой» [83].

В первой половине 1908 г. Брихничев активно сотрудничает в еженедельном религиозном журнале «Пойдем за ним», издававшемся в Ростове на Дону. После закрытия этого журнала (в июле 1908 г.) Брихничев переносит свою деятельность в Царицын на Волге. «Затевая в г. Царицыне (Сар⟨атовской⟩ губ⟨ернии⟩) журнал (народнический и народный) «Слушай, земля», № 1 которого выйдет 25 декабря,— просил бы, умолял бы Вас принять в нем участие...» — писал Брихничев В. Г. Короленко в конце 1908 г.[84] «Затеваем такой журнал,— сообщал Брихничев в том же письме,— потому, что у нашего Ивана Простого нет своего органа — все пишут для интеллигенции... А народ жаждет духовной пищи. Я редактировал во дни свободы, еще будучи священником, народный популярный журнал — «Встань, спящий», к⟨ото⟩рый расходился в огромном количестве. Надеюсь, что и теперь будет спрос, если такие писатели, как Вы, не откажете в поддержке...» [85].

С аналогичной просьбой Брихничев обращается и к другим литераторам, известным своей народолюбивой позицией, в том числе — к Блоку. «Не найдете ли возможным принять участие в народном журнале „Слушай, земля“ и газете „Город и деревня“?» — спрашивает он Блока в начале февраля 1909 г. (письмо без даты, на листе рукой Блока помечено: «Получ⟨ил⟩ 15/II—09»). «Цель изданий,— замечает Брихничев и в этом письме,— служение Ивану Простому» [86]. Письмо Брихничева, насколько можно судить, чрезвычайно обострило блоковские размышления об «уходе» и служении народу. В день получения письма (15 февраля) Блок начинает стихотворение «В голодной и больной неволе» — о пробуждении униженного и обездоленного русского народа (III, 88). На другой день в его записной книжке появляется запись («в ночь 16—17 февраля»): «Поехать можно в Царицын на Волге — к Ионе

Брихничеву. В Олонецкую губернию — к Клюеву. С Пришвиным поваландаться? К сектантам — в Россию» (ЗК, 131). Примечательно и в то же время вполне закономерно, что в один ряд с сектантами поставлены здесь имена Брихничева, Клюева и Пришвина.

17 февраля 1909 г. Блок ответил на письмо Брихничева. Он, видимо, принял приглашение Брихничева участвовать в обоих изданиях, а кроме того переслал ему три стихотворения Клюева («Под вечер», «Победителям» и «Завещание») [87]. Можно также предположить, что в этом (несохранившемся) письме Блок сообщил Брихничеву ряд сведений о своем олонецком корреспонденте и дал оценку его стихов. («Блок писал мне о нем ⟨Клюеве⟩ панегирики»,— вспоминал позднее Брихничев [88]). Как прямое следствие блоковского письма следует рассматривать то обстоятельство, что в шестом (февральском) номере журнала «Слушай, земля» было сообщено о сотрудничестве Блока и Клюева (в предыдущих пяти номерах их имена в списке сотрудников не значились). Однако произведения их на страницах этого «еженедельного народного журнала» так и не появились: издание прекратилось на шестом номере. «Наш журнал „Слушай, земля“ на шестом № задушен администрацией. А мы сами высланы из пределов Саратовской губернии»,— извещал Брихничев Блока спустя несколько месяцев (письмо не датировано; судя по содержанию — конец лета или осень 1909 г.) [89].

Стихотворения Блока и Клюева не появились и в царицынской газете «Город и деревня», хотя уже в ее первом номере (16 июня 1909 г.) имена обоих поэтов были названы в списке сотрудников. Было упомянуто также о сотрудничестве Бунина, Горького, Мережковского и других известных писателей. В действительности же лицо газеты определяли в первую очередь Брихничев, епископ Михаил (главный инициатор издания), Г. С. Петров, В. Н. Свенцицкий и их ближайшие (немногочисленные) единомышленники, уже выступавшие на страницах журнала «Слушай, земля». Издание еженедельной газеты «Город и деревня» длилось всего лишь несколько недель — до 12 июля (вышло 23 номера).

В своем цитированном выше письме к Блоку (лето—осень 1909 г.) Брихничев писал о том, что «со второй половины октября решено издавать в *Питере* журнал „*Пламень огненный*“ (тоже народный и популярный — для Ивана Простого)», и просил Блока прислать «что-либо небольшое» для первого номера [90]. Однако издание «Пламени огненного» не состоялось, Брихничев вместе с семьей переезжает в Москву, где в течение первой половины 1910 г. ему удается организовать «Новую землю» — журнал, ставший вскоре главным печатным органом «голгофских христиан» (первый номер вышел 13 сентября 1910 г.).

Содержание «голгофского» учения, создателями и проповедниками которого были в первую очередь Брихничев, Свенцицкий и старообрядческий епископ Михаил, сводилось к двум-трем основным тезисам. Главный из них — тезис о «всеобщей ответственности» — Брихничев обосновывал в одной из своих статей следующим образом: «*...единственная заповедь* голгофского христианства — *всеобщая ответственность за зло мира. Христос не искупил мира, а положил начало совместному с нами искуплению* ⟨...⟩ Нужны нравственные усилия многих. И притом такие же, какие были у Христа на Голгофе — богочеловеческие» [91]. Через самопожертвование («голгофу») к освобождению («воскрешению») всего и всех — в этом призыве «голгофских христиан» содержался, разумеется, не только религиозный, но и социальный смысл. «Огнем горящие, пламенеющие сердца человеческие, *объединенные одним общим желанием воскрешения Всего*, составляет из себя то Вселенское Пламя, в котором, как сказано,— старая земля и все старые дела сгорят» [92]. О том же писал и Свенцицкий. «Идеи о новой земле, о земном Христе, об общественном христианстве, о царстве божием не только на „небеси“, но и на „земли“ — идеи Голгофского христианства...» — провозглашал он в одной из своих статей [93].

М. Пришвин, посетивший осенью 1910 г. в Белоострове епископа Михаила, так передавал затем с его слов суть голгофского учения: «...Христос требует, чтобы каждый был, как он. Как он, принял Голгофу, взошел на нее. Почувствовал на своей совести зло мира как свое дело, свое преступление, свой позор и принял на себя долг сорвать с жизни ее проказу. Христово христианство — постоянная Голгофа. Великое распятие каждого. Принятие на себя, в свою совесть всего зла, в котором лежит мир, ответственность за все, что жизнь разлагает, пятнает проказой. ⟨...⟩ Церковное христианство думает, что Христос ушел от земли, чтобы строить на небе чертоги для праведных, что земля — только темная грязная дорога на небо, которую надо скорей пройти, чтобы прийти туда. Нет! Христос — бог живых, *на земле* хочет создать царство свое — для человечества, соединенного с ним. *Для земли* он умер, чтобы ее спасти, ее обновить, с нее хотел он снять древнее проклятие» [94].

Таким образом, «новоземельцы» (т. е. идеологи и основные авторы «Новой земли») крайне далеки от христианской проповеди смирения и покорности; напротив, они постоянно призывают к активной самоотверженной борьбе против зла жизни. А евангельский Христос превращается у них (как и у французских «христианских социалистов» XIX в.) в бога-освободителя, защитника угнетенных и социального преобразователя. При этом, как подчеркивает В. Г. Базанов, специально изучавший данный вопрос, Христос у «новоземельцев» нередко приобретает черты русского мужика, становится *крестьянским* богом. «Мы с полным основанием можем рассматривать новоземельцев и их главного идеолога Иону Брихничева как запоздалых представителей утопического крестьянского социализма, обращенного в прошлое, к „первобытному христианству“» [95].

Своим проповедям о «новой земле» и «новом небе» «голгофские христиане» придавали в 1910—1912 гг. непомерное значение. К сотрудничеству в журнале «Новая земля» Брихничев стремился привлечь виднейших русских писателей того времени (Горького, Короленко и др.). «Дорогой Александр Александрович,— писал Брихничев Блоку 17 декабря 1910 г.,— хотелось бы, чтобы Вы работали с нами рука об руку, хоть изредка давая стихи и статейки» [96]. Брихничев пытался убедить Блока (как и других своих корреспондентов) в том, что идеи «голгофского христианства» стремительно распространяются в русском обществе, прежде всего, разумеется,— в народной среде. «Недавно ездил по Волге проверить на народе учение голгофских христиан — результат поразительный»,— рассказывал Брихничев Блоку летом 1912 г.[97]

«Новая земля» («Еженедельная общественная, литературная и политическая газета») издавалась (с перерывами) менее двух лет: до мая 1912 г. Основными сотрудниками журнала оставались Брихничев, епископ Михаил, В. Свенцицкий. Изредка печатались произведения Брюсова, Бунина, Мережковского. В первом номере журнала было помещено стихотворение Блока «Фабрика». В последнем номере журнала за 1910 г. (№ 15) Блок напечатал одно из переведенных им стихотворений Гейне («Три светлых царя из восточной страны»). В 1911 г. Блок в «Новой земле» не печатается ни разу, в 1912 г.— три раза (стихотворения «Верю в Солнце Завета» и «Самоотречение» («Между страданьями земными») в № 1-2, «Смотри приветно и легко» и «Дух и плоть» в № 3-4, и «Неведомому Богу» в № 5-6). Участие Блока в «Новой земле» было, как видно, весьма скромным [98]. Зато одним из ведущих авторов журнала, его постоянным и деятельным сотрудником становится Клюев.

Первым произведением Клюева, напечатанным в «Новой земле», было стихотворение «Под вечер» — одно из стихотворений, отправленных Блоком в Царицын 17 февраля 1909 г. Оно было напечатано в 13-м номере журнала, который вышел в свет в первой половине декабря 1910 г. Спустя несколько дней, 17 декабря, Брихничев спрашивает Блока: «Нельзя ли получить стихотворения Н. Клюева и вообще молодых авторов. Вы как-то мне писали, что у Вас попадаются такие вещицы» [99]. Ответное письмо Блока к Брихничеву не сохранилось; можно, однако, предположить, что именно в нем содержались строки, позднее приведенные Брихничевым в одной из его статей: «Обрадуете его, т. е. Клюева, если пошлете ему «Новую землю». *Он жаден до чтения* и, конечно, особенно до чтения о «жизни», а книг ему доставать неоткуда» [100] (о «жизни», т. е. о важнейших проблемах духовной жизни, прежде всего религиозных [101]). Брихничев, по всей вероятности, последовал совету Блока и написал Клюеву, который, в свою очередь, ответил ему и прислал несколько своих стихотворений, среди них — «Жнецы» и «В златотканные дни сентября», помещенные в № 1 и 2 «Новой земли» в январе 1911 г. (В архиве Блока этих стихотворений не обнаружено; видимо, вступив в переписку с Брихничевым, Клюев перестал посылать Блоку свои произведения).

В третьем (январском) номере «Новой земли», где напечатано объявление о продолжающейся подписке на этот журнал, Клюев назван среди авторов, которые «обещали сотрудничество» (с. 24). Такое же объявление было перепечатано и в № 6. Начиная с № 8 за 1911 г. (февраль) участие Клюева в «Новой земле» становится систематическим. В следующем, 9-м (февральском), номере «Новой земли» в списке сотрудников журнала названы и Блок, и Клюев. Стихотворения Клюева (а иногда и проза: «Пленники города», «Притча об источнике и о глупом мудреце») появляются теперь в каждом номере. В 1911—1912 гг. Клюев опубликовал в «Новой земле» значительную часть своих стихотворений, составивших впоследствии сборники «Сосен перезвон» и «Братские песни».

Знакомство и сближение с Брихничевым и его кругом означало перелом в литературной судьбе Клюева. Видя в нем «своего» и упорно выдвигая его на роль пророка «голгофского»

мировоззрения, Брихничев пишет о Клюеве статьи, рекламирует его в анонсах и объявлениях «Новой земли». Летом 1911 г., находясь в Москве, Клюев при поддержке Брихничева завязывает знакомство с Брюсовым, который пишет затем предисловие к сборнику «Сосен перезвон». Эта первая книга Клюева была напечатана в ноябре 1911 г. в московском издательстве В. И. Знаменского также благодаря усилиям Брихничева [102]. Как поэт «голгофского христианства» выступает Клюев и в следующей своей книге «Братские песни», появившейся в мае 1912 г. (Книга была выпущена дважды: в сокращенном виде, с подзаголовком «Песни голгофских христиан» — в дешевой серии «Библиотека „Новая земля"», издававшейся одноименным журналом, и в полном виде — в только что созданном издательстве «Новая земля», со вступительной статьей В. Свенцицкого). С этих книг и начинается литературная известность Клюева.

Общение Клюева с «новоземельцами» протекает начиная с 1911 г. непосредственно, уже минуя Блока. Тем не менее важно подчеркнуть, что именно Блок был посредником в знакомстве Клюева с Брихничевым, которое — в итоге — помогло олонецкому поэту обрести литературную известность. В письме к Блоку, написанном летом 1912 г., Брихничев с полным основанием замечает: «...Вам обязаны все мы его ⟨т. е. Клюева⟩ появлением» [103].

Период тесного сотрудничества Клюева с «Новой землей» охватывает два года: 1911—1912. Не приходится сомневаться в том, что Клюев искренне и с большой охотой печатался в органе «голгофских христиан»; многое в их учении было ему и близко, и дорого. Не случайно тема казни, «голгофы» появляется в его собственном творчестве еще до знакомства с Брихничевым и «Новой землей» (стихотворения «Под вечер», «Завещание» и др., написанные скорее всего под влиянием некоторых стихотворений Блока) [104]. В то же время поэзия Клюева в целом была свободна от той сектантской узости, которой отличались писания Брихничева, Свенцицкого и других. Роль «поэта голгофского христианства», на которую они упорно его выдвигали, смущала и тяготила Клюева. Примечательно в этом плане письмо Клюева к Блоку, написанное в конце февраля — начале марта 1912 г. (№ 38). С сомнением цитируя Брихничева, считавшего, что стихотворения Клюева — «отклик Елеонских песнопений», олонецкий поэт спрашивает у Блока о том, что его больше всего волнует,— о художественной стороне «братских песен». Становится ясно, что Клюев-художник с известным недоверием относился к своим покровителям из «Новой земли» и воспринимал их несколько иначе, чем Клюев-сектант, «голгофский христианин». И, бесспорно, Клюев имел все основания для сомнений такого рода. Брихничев, как и другие «новоземельцы», не понимал и недооценивал художнические искания Клюева, которые вели его в то время к народному творчеству, к фольклору; он хотел видеть в нем только «проповедника» и требовал от его поэзии, чтобы она полностью превратилась в «песни голгофских христиан». Это обстоятельство отвращало от «Новой земли» и Блока. 26 августа 1912 г. он писал Брихничеву: «Вы же (т. е. вся «Новая земля»), по-моему, пренебрегаете формой, как бы надеясь, что души людей, принявших Ваше содержание, сами станут формами, его хранящими». Блок пытался объяснить Брихничеву, что его собственный путь — это путь художника и что «голоса проповедника» у него нет (VIII, 401—402). Свойственная Брихничеву ограниченность во взгляде на поэзию и была причиной конфликта между ним и Клюевым, вспыхнувшего в конце 1912 г.

В 1911—1912 гг. Брихничев был глубоко увлечен Клюевым и превозносил его как «пророка новейшего времени» [105]. «После Христа я никого так не любил, как Клюева»,— признавался Брихничев Брюсову в одном из своих писем к нему (письмо не датировано; штемпель — 29 декабря 1912 г.) [106]. Он чрезвычайно переоценивал также значение клюевской поэзии, ее распространение в народе и воздействие на читателей. «Из своей поездки по Волге я вынес впечатление, что песни Клюева имеют громадное религиозное значение»,— писал Брихничев Блоку в июле-августе 1912 г.[107] По замыслу Брихничева, Клюев должен был стать главным сотрудником «Нового вина» — журнала, сменившего в декабре 1912 г. «Новую землю». На обложке первого номера был помещен портрет Клюева, а в самом номере публиковалось его стихотворение «Святая быль» («Солетали ко мне други-воины») с посвящением И. Брихничеву. В том же номере было напечатано и одно стихотворение Блока («В посланьях к земным владыкам»). Кроме того, на обложке «Нового вина» значилось, что в нем «сотрудничают Александр Блок, Валерий Брюсов, Сергей Городецкий, Николай Клюев». Однако уже во втором номере журнала (январь 1913 г.) имя Клюева отсутствует, если не считать статьи Брихничева «Богоносец ли народ? (Из бесед с Николаем Клюевым)». (На обложке второго номера был помещен портрет Блока, а в самом журнале напечатана статья Л. Столицы о нем,

озаглавленная «Христианнейший поэт XX века»). В третьем — и последнем — номере «Нового вина» Клюев вообще не упоминается. Нет его и среди 24 сотрудников журнала, перечисленных на обложке второго и третьего номеров.

Разрыв между «братьями» произошел после того, как Брихничев публично заявил о том, что Клюев —...плагиатор. В письме к Брюсову от 29 декабря 1912 г. Брихничев утверждал, что Клюев позволяет себе «*красть чужое* и подписываться под ним как под своим» [108]. Обращаясь к Брюсову и Городецкому, Брихничев требовал третейского суда над Клюевым. Кроме того, он послал им свою статью «Новый Хлестаков. Правда о Николае Клюеве», которая, по мысли автора, должна была разоблачить плагиатора. «Боюсь, что многие из них, если не все,— писал в ней Брихничев о стихотворениях Клюева,— являются произведениями не самого Клюева, а какого-нибудь оставшегося неизвестным поэта из народа, стихами которого господин Клюев воспользовался, как обыкновенно пользуются чужой вещью — и выдал за свои» [109]. Свои обвинения против Клюева Брихничев мотивировал тем, что и он сам, и другие люди уже раньше слышали, как в народе поются песни, которые Клюев печатает за своей подписью. «В 1909 году — в августе месяце — в станице Слепцовской — на Кавказе — я слышал гимн — «Он придет, Он придет и содрогнутся горы». *Буквально* то же, что помещено в «Братских песнях». Гимн этот пели сектанты «Новый Израиль». Он произвел на меня тогда потрясающее впечатление. Хотел записать его, но мне не позволили» [110]. Брихничев утверждал также, что в Клюеве есть «что-то очень темное», обвинял его, помимо плагиата, в алчности, корыстолюбии, вымогательстве и других пороках.

Статья Брихничева «Новый Хлестаков» не произвела эффекта, которого желал и добивался автор. В отличие от Брихничева, Брюсов и Городецкий хорошо понимали, что Клюев не заимствует, а использует народные песни, обрабатывает и приспосабливает их к своим собственным художественным целям. Статья Брихничева была, по всей видимости, известна и Блоку (от С. Городецкого). Дальнейшее развитие его отношений с Клюевым говорит, однако, о том, что Блок не придал ей ни малейшего значения.

Вскоре после закрытия «Нового вина» Брихничев перебирается в Одессу, где пытается организовать издание сборников «Вселенское дело». В письме к Блоку из Одессы, написанном 18 мая 1913 г., Брихничев просит поэта «дать хотя бы небольшую статейку на тему о миссии человечества...» [111] На это письмо Брихничева Блок скорее всего не ответил (как не отвечал уже на ряд его предыдущих писем) [112]. Его переписка с Брихничевым на этом прерывается. Что касается Клюева, то его отношения с Брихничевым впоследствии восстанавливаются [113], хотя под единым знаменем они больше уже никогда не выступали.

V

Как сложились отношения Блока и Клюева накануне Октябрьской революции и после нее? С осени 1915 г. и до середины 1917 г. Клюев редко появляется в родной Олонии: он живет преимущественно в Петрограде, участвует в организации «крестьянских» вечеров. Его имя часто появляется теперь на страницах столичных изданий. Конец 1915 — начало 1916 г.— апогей его дружбы с Есениным, который находился тогда под огромным влиянием своего «старшего брата». Именно теперь, в 1915—1916 гг., «новокрестьянское» направление в русской литературе складывается окончательно. В Петрограде возникают группы «Краса» и «Страда», в которых поэты-крестьяне (прежде всего Есенин и Клюев) объединяются с «городскими» поэтами (Городецкий, Ремизов и др.). Обе группы существовали недолго: сменившая «Красу» «Страда» распалась весной 1916 г.

21 октября 1915 г. Клюев и Есенин вместе навещают Блока, проводят у него несколько часов (ЗК, 269). В записи от 25 октября 1915 г. упомянут вечер «Красы» в Тенишевском училище, на котором выступали Клюев, Есенин, Городецкий, Ремизов (ЗК, 271). На этом вечере присутствовал и Блок.

В начале февраля 1916 г. в Петрограде в издательстве М. В. Аверьянова был выпущен четвертый сборник стихотворений Клюева — «Мирские думы». На экземпляре книги, подаренной Блоку, Клюев написал: «Сладчайшему Брату Александру Блоку автор». Далее следовали излюбленные изречения Клюева, заимствованные им из разных источников:

Думушка Мирская
Пресвятая —

Ена дыхом воздохну́ла
Сына Божьего трону́ла.
Из песен каргопольских бегунов

Мирская каша гуще.
Народная пословица

Миром ищите ключи от Царства
От словес старца Стефана Поддубного

Мирских умильных думушек
В долгий летний день не высказать,
В ночь осеннюю не выслухать!
Из северных причитов

Головой лягать — мух гонять.
Миром думать — смерть попрать.
Из бесед со старцем Григорием Распутиным [114].

Аналогичным образом Клюев надписал тогда несколько экземпляров «Мирских дум» (один из них был подарен Б. А. Садовскому) [115]. Книга была получена Блоком 8 февраля 1916 г., о чем свидетельствует собственноручно сделанная им помета на титульном листе.

Февральскую и затем Октябрьскую революции Клюев, как и другие новокрестьянские писатели, встретил восторженно [116]. Он приветствовал освобождение народа в своих стихах; одним из первых обратился он к образу В. И. Ленина. Глубоко ощущая мировое значение событий 1917 г., поэты стремились передать тогда в своих стихах всю масштабность, космический размах происходящего.

Мы, рать солнценосцев на пупе земном
Воздвигнем стобашенный пламенный дом;
Китай и Европа, и Север, и Юг
Сойдутся в чертог хороводом подруг,—

писал Клюев в программной «Песне солнценосца» [117].

Тем не менее восприятие революции было у Клюева и других поэтов его круга специфическим. Они увидели ее глазами бунтарей и свободолюбцев, всегда ожидавших Свободу, даже боровшихся за нее, однако вкладывавших в это слово прежде всего религиозно-нравственный смысл. Клюеву, Есенину и другим казалось, что они переживают религиозное обновление, являются очевидцами того, как зарождается новая религия. «Пришествие», «преображение», «воскресение» — в этих и подобных словах выражалось их отношение к переломному моменту русской истории.

Мы восстали могучей громов,
Чтоб увидеть все небо в алмазах,
Уловить серафимов хвалы,
Причаститься из Спасовой чаши!—

писал Клюев в декабре 1917 г.[118] Одна из наиболее «революционных» поэм Орешина той поры называлась «Я, Господи».

Революция была для новокрестьянских поэтов явлением нового бога, который отличался у них непомерным буйством, разгульной мощью, стихийной силой. Не удивительно, что в их стихах того времени постоянно появляются образы Разина, Пугачева, Буслаева и других бунтарей. «С кистенем ходит красный Господь»,— писал Орешин [119]. «Радостные звуки вечевых колоколов» услышал в русской революции А. Ширяевец [120]. В поэме «Отчарь» Есенин, воспевая «буйственную Русь», славил «красное лето», в котором ему, как и Ширяевцу, слышался «волховский звон и Буслаев разгул» [121]. «Я,— писал Клюев Городецкому в 1920 г.,— радуюсь, что сбылось наше — разинское, самосожженческое, от великого Выгова до тысячелетних индийских храмов гремящее» [122]. Будущее России Клюев неизменно рисовал в те годы как сказочное «мужицкое царство», как патриархальный «киноварный рай» и даже образ Ленина (в стихах, посвященных вождю) пытался наделить «мужицкими» и старообрядческими чертами.

Как «святой бунт» воспринял революцию и Блок, что нашло наиболее полное выражение в его поэме «Двенадцать». «Сжигающий», раскольничий Христос вновь появляется в финале поэмы как Христос, ведущий красногвардейцев [123]. Христос в «Двенадцати» — скорее, сим-

вол, осеняющий народное восстание, нежели реальный персонаж. А двенадцать человек, изображенные Блоком, это в равной мере и бунтари («разбойники» народных легенд), и святые, апостолы. Пытавшийся еще в 1905 г. соединить революцию и Христа, слить воедино мятеж и святость, Блок осуществляет свой замысел в январе 1918 г. Поэма «Двенадцать» — итог многолетней внутренней работы Блока; говоря об этом произведении, невозможно не вспомнить о «сжигающем», раскольничьем Христе, черты которого проступили в творчестве Блока уже десятилетием раньше и были, вероятно, навеяны образом самого Клюева и общением с ним. «Он,— писал о Блоке Городецкий,— до Октября уловил его лозунги, правда, в их внешней, стихийно-бунтарской форме, но все же уловил и дал им оправдание, опять-таки, как и Клюев, в старой церковной идее Христа» [124]. Характерно, что еще за день до начала работы над поэмой «Двенадцать» Блок набрасывает в дневнике план другой пьесы —об Иисусе Христе (VII, 316—317). Насколько можно судить по этим обрывочным записям, Блок и здесь попытался увидеть Иисуса и его учеников народными глазами и потому усилил в них бунтарские, «разбойные» черты. За несколько дней до окончания работы над «Двенадцатью» в записной книжке Блока появляются слова: «А *свое бы* писать (Иисус)» (ЗК, 386). Поэма «Двенадцать» была завершена 28 января 1918 г. А 29—30 января Блок пишет стихотворение «Скифы», где тема революционной России вновь получает религиозно-нравственное звучание («Товарищи! Мы станем — братья!»).

В аналогичном духе разрабатывал тему революции Андрей Белый (поэма «Христос воскрес», 1918), Есенин (поэма «Товарищ», явно перекликающаяся с финалом «Двенадцати») и, наконец, сам Клюев. В своих стихах тех лет он постоянно сближает русский народ с Христом и революцию с Богоматерью (см. стихотворения 1918 г. «Февраль», «Товарищ» и др.). Общее для всех этих писателей восприятие революции позволило им в 1917—1918 гг. сорганизоваться и выступить под единым знаменем. Объединяющим центром оказался на недолгое время альманах «Скифы», вдохновителем и организатором которого был Р. В. Иванов-Разумник, близко стоящий в то время к Есенину и Клюеву, с одной стороны, к Белому и Блоку — с другой. Он же был инициатором Вольной философской академии («Вольфилы»), открывшейся в начале 1919 г. (Блок поначалу принимал в делах «Вольфилы» активное участие). «Мы стремимся не дать угаснуть в нашем поколении искре вечной революции, той последней духовной Революции, в которой единый путь к чаемому Преображению»,— говорил Иванов-Разумник [125]. Слова эти отражают (расплывчатую в целом) программу «Скифов» и «Вольфилы».

В «Скифах» происходит сближение Белого и Блока с Есениным и Клюевым. («Тесный кружок родных по духу людей»,— как именовали себя «скифы» в предисловии к первому выпуску) [126]. Белый опубликовал в сборниках «Скифы» ряд стихотворений (в том числе — знаменитое «Родине»), роман «Котик Летаев», статью «Жезл Аарона (о слове в поэзии)». Во втором сборнике была помещена также хвалебная статья Белого о «Песне Солнценосца», напечатанной в том же номере. Помимо «Песни Солнценосца», Клюев опубликовал в «Скифах» два стихотворных цикла («Земля и железо» и «Избяные песни»). Есенин был представлен в «Скифах» главным образом своими поэмами («Марфа Посадница», «Товарищ», «Отчарь» и др.). Кроме того, в обоих выпусках «Скифов» содержались статьи Иванова-Разумника: «Испытание огнем», «Поэты и революция», «Две России». В последней из них он называл Есенина и Клюева «глубиннейшими народными поэтами» и упоминал об их перекличке с Блоком [127]. Видимо, так же думал тогда и Блок, который в беседе с поэтом А. Д. Сумароковым (январь 1918 г.) назвал Клюева «единственным истинно народным поэтом» [128].

Сам Блок в «Скифах» не печатался ни разу, хотя поддерживал в то время тесные отношения с Ивановым-Разумником и другими участниками этого альманаха. «Только случайным отсутствием Александра Александровича в Петербурге и спешностью печатания сборника объяснялось отсутствие имени Блока в „Скифах“»,— вспоминал в 1921 г. Иванов-Разумник. Он утверждал также, что Блок дал согласие на участие в третьем сборнике «Скифов», который должен был открываться стихотворением «Скифы» и поэмой «Двенадцать» [129]. Третий сборник «Скифов» не вышел, а оба названных произведения Блока были напечатаны в 1918 г. в левоэсеровской газете «Знамя труда», где Блок сотрудничал тогда вместе с Ивановым-Разумником, Есениным и Клюевым. В той же газете была помещена и статья Блока «Интеллигенция и революция» [130].

С особым вниманием относился в 1918 г. Блок к тому, что думал и писал тогда Клюев. Об этом свидетельствуют следующие факты. На книге «Стихи о России», подаренной им своей

матери, А. А. Кублицкой, в мае 1915 г.[131], Блок 3 августа 1918 г. делает дополнительную надпись: он цитирует по памяти первую и пятую строфы известного клюевского стихотворения о Ленине («Есть в Ленине керженский дух»). К слову «истока» (строка в записи Блока: «Как будто истока разрух») он делает сноску: «Надо понимать не «источника», а «исхода»), а к слову «старый» (строка в записи Блока: «Там старый колодовый гроб») — еще одну сноску: «Мож⟨ет⟩ быть, другие слова, но тоже не особенно удачные» [132]. Ясно, что внимание Блока привлекли к себе опять-таки не столько литературные достоинства этого стихотворения, сколько его рожденная революцией тема и тот своеобразный «раскольничий» облик Ленина, который был создан Клюевым.

Тогда же, в 1918 г., подготавливая к печати сборник своих статей «Россия и интеллигенция», Блок включил в него статью «Литературные итоги 1907 года» (новое название — «„Религиозные искания“ и народ»). Он значительно сократил ее и видоизменил, однако сохранил отрывок, в котором цитировалось письмо Клюева. В этот сборник вошла также статья «Стихия и культура», где приводились выдержки из клюевского письма «С родного берега». (Кроме того, здесь была перепечатана рецензия Блока на роман П. Карпова «Пламень»).

Сближение Блока и Белого с новокрестьянскими поэтами было отмечено современной критикой. Один из авторов, С. Гордон, писал о группе, названной им «левыми народниками», следующее: «К этой группе примкнули «коренные» интеллигенты — А. Блок, А. Белый и интеллигенты из недр народных — Клюев, Есенин и другие. Они приемлют революцию до конца ⟨...⟩ Революция для них Голгофа: сквозь муки страдания они провидят светлый образ Спасителя. Революцию они переживают мистически, воплощая в ней свои религиозные чаяния. Творения их — сплошной апофеоз христианской веры в искупление через боль и кровь, за которым грядет Христос ⟨...⟩ Апофеоз жертвенности в идеологии левого народничества достигает своего апогея» [133].

В начале августа 1918 г. Клюев вновь появляется в Петрограде. Одна из главных причин его приезда — устройство своих издательских дел. С середины 1916 г. Клюев вел длительные переговоры с издателем М. В. Аверьяновым относительно «Песнослова» — двухтомника своих избранных сочинений, который должен был выйти в свет весной 1918 г. «Присылаю Вам „Песнослов“ в окончательном виде и буду ждать издания в радости, с уверенностью во внешности его, соответствующей содержанию»,— писал Клюев Аверьянову 3 октября 1917 г.[134]

Однако издание «Песнослова» у Аверьянова уже не могло состояться. Приехав в Петроград, Клюев начинает искать другие издательские возможности. И здесь помощь ему вновь оказывает Блок. Работавший с марта 1918 г. в Театральном отделе Наркомпроса, Блок, видимо, рекомендовал Литературно-издательскому отделу издать стихотворения Клюева. 16 августа 1918 г. Клюев разрывает свой контракт с Аверьяновым. «Имея заявление от Комиссариата Народного Просвещения об издании им моих сочинений в целях широкого распространения в народе, ставлю Вас в известность, дорогой Михаил Васильевич, что договор Ваш со мной, как совершенный вопреки закону и не выполненный Вами по пункту, предусматривающему срок выхода издания, считается отныне *недействительным*. Полученные от Вас деньги сим обязуюсь выплатить. Николай К л ю е в. Офицерская 57, кв. 21, А. А. Блоку для Н. К.» [135]

Адрес Блока в этом письме к Аверьянову Клюев указал не случайно. В летние-осенние месяцы 1918 г. он часто встречается с Блоком, обсуждает с ним свои издательские дела. «Вечером пришел Клюев и ночевал»,— записывает Блок 10 августа (ЗК, 420). «Телефон от Клюева (мямлит о своих стихах)» — запись от 4 октября (ЗК, 430). «Встреча с Клюевым» — запись от 14 октября (ЗК, 431).

Тогда же (т. е. в августе 1918 г.) Блок связывает Клюева с В. В. Пашуканисом, руководителем издательства «Земля», где в то время готовились к переизданию тома стихотворений Блока (см. VIII, 516 и 622). Видимо, разговор о возможности издания «Песнослова» в «Земле» состоялся у Блока с Клюевым 10—11 августа. 12 августа Блок записывает: «Утром пришел Р. В. Иванов, с которым мы вместе были в «Земле» и устроили Клюева» (ЗК, 420), 14 августа Блок отдает Клюеву свои экземпляры книг «Братские песни» и «Мирские думы», оставив себе лишь титульные листы с надписями Клюева и сделав на каждом из них помету: «Отдал Клюеву 14.VIII. 1918 для типографии (печат⟨ается⟩ в «Земле»)» [136].

Следует заметить, что отношение Блока к поэзии Клюева, прежде весьма сочувственное, в эти годы меняется. В 1917—1918 гг. Клюев не был уже тем робким начинающим поэтом,

который некогда посылал Блоку свои стихотворения. Его поэтический голос приобрел силу, выразительность, самобытность. Давно преодолев влияние символизма, Клюев совершенствовал теперь собственную манеру — густую, сочную, подчас тяжеловесную. Он стремился вдохнуть в свои стихи ощущение земли и плоти, придавал им чувственный характер; в них прорывается иногда эротика хлыстовского типа. Созданный Клюевым образ России (в стихотворениях, составивших второй том «Песнослова») был ярко орнаментирован, расцвечен «избяной» и церковной символикой, предельно метафоричен и во многом однообразен. Суть стихотворения подчас исчезала благодаря усложненности и обилию образов. Это «материальное» начало поэзии Клюева, характерное для нее во второй половине 1910 г., ее «телесность» и перегруженность деталями отдаляли от новокрестьянского поэта некоторых из его недавних сторонников. В разговоре с Блоком в январе 1918 г. Есенин называл Клюева «изографом», а в «Ключах Марии» утверждал, что «сердце его ⟨т. е. Клюева⟩ не разгадало тайны наполняющих его образов»[137]. Блок также не одобрял этой «пестрядинной» поэзии, в которой господствовал «дух земли». Даже в начале 1918 г. (т. е. в период нового и весьма интенсивного сближения поэтов) Блок в разговоре с А. Д. Сумароковым заявляет, что, по его мнению, книга «Сосен перезвон» — лучшее, что дал Клюев[138]. Блок принимал, таким образом, лишь раннюю поэзию Клюева, отмеченную влиянием русских символистов и весьма созвучную его собственным стихам. Своеобразный «русский» стиль, который культивировал Клюев, как видно, не отвечал вкусам Блока. В июле 1919 г. в рецензии на рукопись стихотворений Д. Н. Семеновского Блок подчеркивал: «В родовом, русском — Семеновский роднится иногда с Клюевым, не подражая ему, но черпая из одной с ним стихии; это как раз то, что мне чуждо в обоих, что приходится признать, с чем нельзя не считаться, но с чем, по-моему, жить невозможно: тяжелый русский дух, нечем дышать и нельзя лететь» (VI, 342). Аналогичным образом воспринимал тогда Клюева и Андрей Белый. По свидетельству Р. В. Иванова-Разумника, Белый восторгался его стихотворной техникой, но, с другой стороны, «боялся того духа, который сквозит за «жемчугами Востока» стихов Клюева»[139]. Особенно чужд был Блоку и Белому тот новый «усладный» Христос, образ которого явственно вырисовывается в стихах Клюева после 1917 г. «Это подлинно «плотяной» Христос, хлыстовский Христос»,— констатировал Иванов-Разумник[140].

Обе книги «Песнослова» были изданы в 1919 г. в Петрограде. Клюев к этому времени вновь возвратился в Вытегру, куда он окончательно переселился еще весной 1918 г. (после смерти отца). В Вытегре Клюев живет приблизительно до середины 1923 г., изредка выезжая в Петроград и Москву. Он принимает активное участие в общественной и культурной жизни этого уездного города, систематически выступает в местной печати со своими стихами и статьями. Его переписка со знакомыми затухает в годы гражданской войны или прекращается полностью.

Ослабевают после 1918 г. и его связи с Блоком. Ни одной из книг Клюева, изданных в 1919—1920 гг., в библиотеке Блока не обнаружено («Песнослов», «Медный кит», «Песнь солнценосца», «Избяные песни»)[141]. Отсутствует имя Клюева и в записных книжках Блока за эти годы (единственное исключение — запись от 24 октября 1920 г.).

Тем не менее встречи между поэтами, скорее, случайные, происходили и после 1918 г. В начале 1919 г. Клюев некоторое время находился в Петрограде[142]. «Николай Клюев по слухам в Петербурге, но след его простыл. Я думаю, что он получит, если Вы напишете ему в Смольный»,—советует Блок П. Н. Зайцеву в феврале 1919 г. (см. наст. кн., с. 559). 20 февраля 1919 г. в Петроградском литературно-артистическом клубе «Привал комедиантов» состоялся вечер поэтов, где среди других выступал и Блок (ЗК, 450). Клюев также был объявлен в числе участников вечера[143], но его выступление не состоялось[144]. Совместное чтение намечалось и в петроградском театре «Гротеск», где вечером 24 марта 1919 г. должны были выступить, согласно афише, сохранившейся в архиве Д. М. Цензора, Блок, Гумилев, Замятин, Г. Иванов, Клюев, Кривич и другие писатели[145]. Участие Блока в этом вечере, устроенном петроградским «Союзом деятелей художественной литературы», подтверждается пометой в его записной книжке: «Вечером читал в „Гротеске“...» (ЗК, 453). Однако Клюев отсутствовал и на этот раз[146]. С уверенностью можно сказать, что лишь осенью 1920 г., находясь в Петрограде, Клюев вновь встречается с Блоком. Свидетельство этому — дарственная надпись Блока на книге «Седое утро»: «Николаю Клюеву через пространства и времена великие. А. Б. X. 1920»[147]. Это была, по всей вероятности, последняя встреча поэтов.

Об откликах Клюева на смерть Блока ничего не известно. В августе 1921 г. Клюева в Петрограде не было, и ему не пришлось проводить Блока в последний путь. Спустя несколько месяцев, в ноябре 1921 г., в «Летописи Дома литераторов» (№ 2, с. 8) появилось объявление о том, что № 5-7 журнала «Записки мечтателей» «будет весь посвящен Александру Блоку». Среди авторов, чьи воспоминания предполагалось напечатать в этом номере, упомянут и Клюев. Однако месяцем позже в той же «Летописи» это объявление печатается в иной редакции: имена Клюева, Иванова-Разумника, В. В. Гиппиуса и других авторов, названных в № 2, здесь отсутствуют [148]. В посвященном Блоку 6-м (последнем) номере «Записок мечтателей» за 1922 г. воспоминаний Клюева не появилось.

7 августа 1922 г. в Доме литераторов состоялся вечер, посвященный памяти Блока. В ознаменование этой же годовщины «Вольфила» устроила несколько открытых заседаний; в них предполагалось и участие Клюева. «В Петроград приехал поэт Николай Клюев, который будет читать свои воспоминания об Ал. Блоке на одном из ближайших заседаний Вольфилы»,— сообщала в конце августа 1922 г. газета «Жизнь искусства» [149]. В одной из зарубежных хроник упоминалось о том, что на заседаниях Вольфилы, посвященных Блоку, «прочитаны главы из биографии поэта, написанные М. А. Бекетовой, воспоминания о поэте Е. П. Иванова, Н. А. Клюева, Иванова-Разумника, В. А. Княжнина, отрывки из дневника А. Белого и т. д.» [150]. Клюев действительно выступал в Вольфиле в конце августа — начале сентября 1922 г.; он читал там свою новую поэму «Мать-Суббота» [151]. Но рассказывал ли он тогда о своем знакомстве с Блоком и, если рассказывал, то что именно — вопрос этот остается открытым. Ничего неизвестно и о судьбе его «воспоминаний».

Клюев навсегда сохранил о Блоке благодарную память. «Он говорил мне о нем с большой теплотой, проникновенно»,— вспоминает В. А. Мануйлов [152], встречавшийся с поэтом в Ленинграде во второй половине 20-х годов. В этот период Клюев поддерживает отношения с близкими поэту людьми (Е. П. Иванов, Р. В. Иванов-Разумник), дружит с П. Н. Медведевым, исследователем и публикатором поэтического наследия Блока [153]. Клюев хорошо помнил отдельные блоковские строки и фразы и подчас цитировал их. «Так развертывается жизнь, так страдною тропою проходит душа»,— пишет он, например, в одном из писем 1934 г.[154] (дословная цитата из блоковского предисловия к сб. «Земля в снегу»). Надписывая в 1928 г. В. А. Мануйлову первый том «Песнослова», Клюев явно использует обращенную к нему надпись на книге «Седое утро», но перефразирует ее и наделяет совершенно иным смыслом: «Светлому брату Вите Мануйлову через годы и туманы великие еще встретимся и все будет по-новому. Н. К л ю е в» [155]. Можно с уверенностью сказать, что свое знакомство с Блоком Клюев до конца жизни воспринимал как самое яркое ее событие, как неповторимую «Нечаянную Радость», которую ему посчастливилось пережить.

Письма Клюева к Блоку печатаются с оригиналов, хранящихся в ЦГАЛИ (ф. 55, оп. 2, ед. хр. 39). Выдержки из отдельных писем (помимо отрывков из п. 2, цитированных Блоком в статье «Литературные итоги 1907 года») публиковались в комментариях к письмам Блока (VIII, 587, 595) и в статье «Раннее творчество Н. А. Клюева» (с. 198, 199, 201, 207, 208, 211). Три письма (№ 26, 28 и 35) и отрывки из писем № 1, 2, 12, 31 приведены В. Г. Базановым в статье «Олонецкий крестьянин и петербургский поэт» («Север», 1978, № 8, с. 93—112 и № 9, с. 91—110).

В 1907—1910 гг. Клюев регулярно присылал Блоку свои стихотворения. В общей сложности Блок получил от него около 60 стихотворений (не считая тех, которые были отправлены Блоку для пересылки Миролюбову). Это значительная часть раннего поэтического творчества Клюева, во многом предопределившая состав и характер сборников «Сосен перезвон», «Братские песни», «Лесные были». В архиве Блока сохранились рукописи 55 стихотворений Клюева (некоторые из них образуют часть письма, как например, в п. 26 и 28). Не обнаружены автографы упомянутых Клюевым стихотворений «Поэт» и «Предчувствие». Отсутствие этих стихотворений объясняется, видимо, тем, что Блок, отправлявший произведения Клюева в редакции различных периодических изданий и альманахов, как правило, в копиях, собственноручно им сделанных, иногда — в виде исключения — посылал и клюевскую рукопись. Это произошло, вероятно, со стихотворениями, приложенными Клюевым к п. 2. Не установлено также, какое третье стихотворение было послано Блоком в 1908 г. в журнал «Золотое руно» (см. п. 10, прим. 2 и 3).

Сравнивая подлинники клюевских стихотворений с позднее опубликованными текстами, можно почти в каждом случае обнаружить разночтения. Клюеву было свойственно совершенствовать свои стихотворения и улучшать их от издания к изданию. Некоторые из них Клюев в 1907—1910 гг. подвергал решительной переработке, следуя советам Блока. Редакция стихотворений, сохранившихся в архиве Блока, является, таким образом, первоначальной.

Ниже публикуются 30 стихотворений Клюева (каждый раз — после текста того письма, к которому они были приложены). 15 стихотворений печатаются впервые. Остальные 15 публикуются на том основании, что их автографы существенно отличаются от текстов, позднее появившихся в печати. Исключение составляет стихотворение «На пороге зимы»: оно печатается как составная часть п. 26. Это стихотворение, как и 24 других, не включенных в настоящую публикацию, почти не обнаруживает расхождений с более поздними печатными редакциями. Исправления касаются отдельных слов (реже — строк), названий, знаков препинания и т. п. Сведения об основных публикациях этих стихотворений даются в примечаниях к соответствующему письму.

Автор выражает искреннюю признательность лицам, советами и помощью которых он пользовался в своей работе, прежде всего — М. И. Дикман, Л. Ф. Капраловой, М. С. Лесману, З. Г. Минц, Г. М. Прохорову, К. Н. Суворовой, Р. Д. Тименчику.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Вероятно, письма Блока погибли в Вытегре в 1918—1923 гг. В середине 20-х годов на вопрос В. Н. Орлова о судьбе писем Блока Клюев ответил, что «письма пропали» («Александр Блок. Переписка. Аннотированный каталог». Вып. 1, с. 474).

[2] Письма Блока датируются приблизительно следующим образом: 1. Октябрь 1907 г. 2. 2 июня 1908 г. 3. Сентябрь 1908 г. 4. Ноябрь 1908 г. 5. Декабрь 1908 г. (открытка). 6. Конец февраля 1909 г. 7. Апрель 1909 г. (до 15 апреля). 8. 13 сентября 1909 г. 9. 11 января 1910 г. 10. Ноябрь 1910 г. 11 и 12. Декабрь 1911 г.— январь 1912 г. (два заказных письма). 13. 7 марта 1912 г.

[3] Состав этой группы иногда несколько сужается (в ней не всегда фигурируют Карпов и Ширяевец), иногда же значительно расширяется. Например, в известной антологии И. С. Ежова и Е. И. Шамурина «Русская поэзия XX века» (М., 1925) среди «крестьянских» поэтов не значится П. Карпов; он причислен к поэтам, «не связанным с определенными группами». Зато к группе «крестьянских» поэтов отнесены еще шесть человек: П. И. Борисов (наст. фамилия — Глушаков), П. А. Дружинин, И. И. Морозов, М. В. Праскунин, П. А. Радимов и С. Д. Фомин. Видимо, составители антологии руководствовались чертами внешнего сходства между отдельными писателями (происхождение, тематика и т. д.), тогда как при подобной дифференциации следовало бы в первую очередь принять во внимание идейно-эстетические взгляды поэтов, их общественную позицию, подход к поэтическому слову и т. д.

[4] См. подробнее: А. Грунтов. Первые публикации стихов Н. А. Клюева.— «Север», 1967, № 1, с. 155—157; К. М. Азадовский. Раннее творчество Н. А. Клюева (Новые материалы).— «Русская литература», 1975, № 3, с. 192—193 (далее сноски на эту статью даются без указания фамилии автора, названия и выходных данных журнала).

К немногочисленным стихотворениям Клюева, опубликованным в 1904—1905 гг., следует добавить еще одно: «Проснись! Проснись! Минула ночь...» («Родная нива», 1904, № 51, 17 декабря, с. 459). Это стихотворение Клюева (оно публиковалось также в «Семейном журнале», 1912, № 50, с. 15) не было включено Клюевым ни в одно из прижизненных изданий его произведений и не упоминается в указанных выше статьях.

Укажем, кроме того, на стихотворения, предназначавшиеся для сборника «Огни» (один из сборников, изданных «Народным кружком» П. А. Травина в 1905 г.). Об этом издании и стихотворениях Клюева, включенных в него, см. подробно в кн.: И. Белоусов. Литературная Москва. (Воспоминания 1880—1928). Писатели из народа. Писатели-народники. Изд. 2-е и доп. М., <1929>, с. 122—123.

[5] Письмо Клюева к политическим ссыльным в Каргополь (приблизительно март 1906 г.). — Центр. гос. архив КАССР (г. Петрозаводск), ф. 19, оп. 2, д. 30/4, л. 37 (впервые обнаружено А. К. Грунтовым).

[6] См. подробнее: А. К. Грунтов. Материалы к биографии Н. А. Клюева.— «Русская литература», 1973, № 1, с. 118—119; см. также: «Раннее творчество Н. А. Клюева», с. 192.

[7] Н. Клюев. Песнослов, кн. 2. Пг., 1919, с. 140.

[8] Там же, с. 205. Приведем попутно слова современного исследователя, который называет среду, в которой шло духовное и нравственно-эстетическое формирование Николая Клюева, «исключительной» — «среда раскольников, бунтарей, самосожженцев, приверженцев старообрядческих заветов, странников, «бегунов», искателей земли праведной, обетованной» (В. Дементьев. Мир поэта. Личность. Творчество. Эпоха. М., 1980, с. 50. Из главы «Олонецкий ведун. Николай Клюев»).

[9] «Я ведь сам сектант. Весь род Карповых — сектанты»,— сообщал Карпов Блоку 15 октября 1913 г. (ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 268, л. 6). «Дед мой замечательный человек, был старообрядцем, начетчиком»,— рассказывал Есенин И. Н. Розанову в феврале 1921 г. (И. Р о з а н о в. Есенин о себе и о других. М., 1926, с. 20).

[10] О тесной связи Клюева с сектантами, особенно хлыстами, говорили некоторые из его современников, основываясь при этом прежде всего на рассказах самого поэта. Так, Р. В. Иванов-Разумник, близко знавший Клюева в течение многих лет, подчеркивал, что Клюев — «громадное явление не баптизма, а хлыстовщины <...>, оказавший неизгладимое влияние на Блока в 1909—1910 гг.» (письмо к Е. П. Иванову от марта 1941 г. из г. Пушкина). А в письме к К. А. Сюннербергу от 6 июня 1941 г. Иванов-Разумник утверждал, что «Клюев не только «работал» под какого-то хлыстовского «голубя», но и был им в действительности» (оба письма хранятся в собрании М. С. Лесмана). Однако ко всем этим свидетельствам следует подходить с известной осторожностью.

[11] А. Копяткевич, один из организаторов петрозаводской группы социал-демократов, вспоминает, как летом 1906 г. на одном из местных митингов выступал Клюев (вскоре после его выхода из тюрьмы); обращаясь к собравшимся, он называл их «дорогие братья и сестры» и «произвел своей апостольской речью очень сильное впечатление» (Александр К о п я т к е в и ч. Из революционного прошлого Олонецкой губернии (1905—1906 гг.). Петрозаводск, 1922, с. 4—5).

[12] ИРЛИ, ф. 185, оп. 1, ед. хр. 617, л. 2 об. Письмо находится среди писем Клюева к Миролюбову и не имеет обращения; по этой причине оно ранее было ошибочно аттрибутировано нами как письмо к Миролюбову («Раннее творчество Н. А. Клюева», с. 198). Основание для новой аттрибуции — строки: «Рассказ Ваш, про который Вы говорите, мне читать не приходилось. Читал только стихотворение „Проклятье“<...> Стихотворение „Проклятье“ мне очень нравится — таким, как я, до этого далеко. Больше мне ничего Вашего читать не приходилось». Стихотворение Л. Д. Семенова «Проклятье» было напечатано в 3-м номере «Трудового пути» за 1907 г.

[13] Там же.

[14] «Родная земля», 1907, № 3, 22 января (раздел «Календарь писателя»).

Появление этой заметки, вероятно, связано с пребыванием Клюева в январе 1907 г. в Петербурге и его сближением с литераторами символистского круга.

[15] См. подробнее в статье О. В. Цехновицера «Символизм и царская цензура».— В кн.: «Уч. зап. ЛГУ». Серия филол. наук, вып. 11, 1941, с. 292—294.

[16] ИРЛИ, ф. 185, оп. 1, ед. хр. 617, л. 2 об.

[17] Письмо Клюева к Е. М. Добролюбовой опубликовано в статье «Раннее творчество Н. А. Клюева», с. 194.

[18] Подробнее о военной службе Клюева см.: «Раннее творчество Н. А. Клюева», с. 199—200.

[19] Раннее творчество Н. А. Клюева, с. 194.

[20] М. А. Б е к е т о в а. Александр Блок. Биографический очерк. Пг., 1922, с. 94.

[21] «Блоковский сб.», 1, с. 396.

[22] См. подробнее статью Д. Е. Максимова «Блок и революция 1905 года».— В кн.: «Революция 1905 года и русская литература». М.—Л., 1956, с. 246—279.

[23] Слова из предисловия к книге «Лирические драмы» (предисловие написано в августе 1907 г.; книга вышла в феврале 1908 г.) — (IV, 434).

[24] Начальные слова предисловия к сборнику «Нечаянная радость» (II, 369).

[25] См. подробнее: «Раннее творчество Н. А. Клюева», с. 196, 203 и др.

[26] Б. А. Филиппов указал на общность между строками стихотворения Клюева «К родине», помещенного в сб. «Сосен перезвон», и заключительными строками из блоковского стихотворения «Балаган» (Н. К л ю е в. Соч., т. I, Мюнхен, 1969, с. 55). Добавим к этому еще несколько наблюдений. Выражение «лохмотья пены» («Я говорил тебе о боге») Клюев заимствовал из блоковского стихотворения «Голос в тучах», опубликованного в журнале «Трудовой путь» (1907, № 3). Блок, в свою очередь, видимо, воспользовался клюевским образом «заревое море», которым завершается стихотворение «Завещание», присланное Блоку в конце 1908 г. Эти слова появляются в стихотворении Блока «Голоса скрипок», посвященном и отправленном Е. П. Иванову в феврале 1910 г.

В предисловии к сб. «Лирические драмы» (см. прим. 23) Блок писал: «В лирике закрепляются переживания души <...> Переживания эти обыкновенно сложны, хаотичны; чтобы разобраться в них, нужно самому быть „немножко в этом роде“» (IV, 433). Этот сборник Блок в июне 1908 г. отправил Клюеву (см. п. 7, прим. 1). Тогда же, летом 1908 г., работая над статьей «С другого берега», Клюев употребляет блоковское выражение, взятое в кавычки. «<...> чтобы понять ответы мужика, особенно из нашей глухой и отдаленной губернии <...> нужно быть самому „в этом роде“» (см. прим. 42).

[27] Вопрос о влиянии Блока на раннее творчество Клюева представляет собой самостоятельную и большую проблему, требующую особого исследования. В настоящей статье этот вопрос подробно не рассматривается (см. прим. 54).

[28] «Вопросы жизни», 1905, № 9, с. 54.

[29] «Весы», 1905, № 8, с. 5—16.

[30] А. Б е л ы й. Начало века. М., 1933, с. 139.

[31] «Голос земли», 1912, № 30, 10(23) февраля.

[32] М. М. П р и ш в и н. Собр. соч. в 8 томах, т. 1, М., 1982, с. 72.

[33] Там же, с. 473.

[34] М. Пришвин. Собр. соч., т. 4, М., 1957, с. 10. См. также: «Контекст 1974». М., 1975, с. 336.

[35] Тема «Блок и Аввакум» исследуется В. Г. Базановым в статье «„Гремел мой прадед Аввакум!“ (Аввакум. Клюев. Блок)». В кн.: «Культурное наследие Древней Руси (Истоки, становление, традиции)». М., 1976, с. 334—348.

[36] А. Белый. Настоящее и будущее русской литературы.— «Весы», 1909, № 3, с. 79—80.

[37] М. А. Бекетова. Александр Блок, с. 115.

[38] ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 358(2), л. 45, об.— 46.

[39] А. Белый. Начало века, с. 302.

О стремлении Белого к «уходу» говорится и в его воспоминаниях о Блоке, причем имя Клюева упомянуто здесь в одном ряду с именами А. Добролюбова и Л. Семенова. «Мне мечталась,— пишет Белый,— тихая праведная жизнь нас всех вместе ⟨т. е. Белого, Блока, С. М. Соловьева и Л. Д. Блок⟩, чуть ли не где-то в лесах или на берегу Светлояра, ожидающих восстания Китежа (или Грааля). И однажды, в квартире Марконет, у меня сорвалась подобная фраза: „Ах, как бы хорошо нам зажить там вместе“. И казалось, что нет в этом ничего невозможного,— да и не было ничего невозможного: ведь ушел же Добролюбов, ушел к Добролюбову светский студент Л. Д. Семенов через два с лишком года после этого, ушел сам Лев Толстой, пришел оттуда, из молитвенных чащ и молелен севера, к нам сюда Николай Клюев, наконец я сам уходил (не на Восток, правда, а на Запад) уже в 1912 году, ища не старцев, не Китежа, а, может быть, рыцаря Грааля... Не удивительно, что на заре „символизма“, на заре нашей культурной жизни, нам казалось, что уйти всем вместе из старого мира и легко и просто, потому что Новый Мир идет навстречу к нам» (Андрей Белый. Воспоминания об Александре Александровиче Блоке. В кн.: «Александр Блок в воспоминаниях современников». Т. I. М., 1980, с. 249).

[40] Эта крестьянская утопия изложена Клюевым в его прозаическом эссе «Пленники города» («Новая земля», 1911, № 22). См. подробнее: «Раннее творчество Н. А. Клюева», с. 205—206.

[41] М. Бронный. Об одном эпизоде биографии Блока.— В кн.: «Тезисы I Всесоюзной (III) конференции „Творчество А. А. Блока и русская культура XX века“». Тарту, 1975, с. 177—178.

[42] К. М. Азадовский. Олонецкая деревня после первой русской революции (статья Н. А. Клюева «С родного берега»). В кн.: «Социальный протест в народной поэзии». («Русский фольклор», XV). Л., 1975, с. 206. (В дальнейшем цитируется без ссылок).

[43] В. Г. Базанов. «Гремел мой прадед Аввакум!» (Аввакум. Клюев. Блок), с. 342.

[44] Письма Блока к С. Ю. Копельману приведены В. Беклемишевой в ее воспоминаниях («Встречи»), опубликованных Р. Б. Заборовой в статье «Новое об Александре Блоке».— См.: «Книги. Архивы. Автографы». М., 1973, с. 53.

[45] Сергей Городецкий. Воспоминания об Александре Блоке. В кн.: «Александр Блок в воспоминаниях современников», т. 1, с. 338.

[46] Там же.

[47] Д. Е. Максимов. Идея пути в поэтическом сознании Ал. Блока.— В кн.: Д. Е. Максимов. Поэзия и проза Ал. Блока. Л., 1981, с. 6—151.

[48] М. А. Бекетова. Александр Блок, с. 141.

[49] ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 536(3), л. 134.

[50] Там же, л. 139.

[51] Там же, л. 142 об.— 144. *Женя*— Е. П. Иванов.

[52] Оригинал письма Блока к матери от 21 декабря 1911 г., видимо, утрачен. Текст его приведен полностью в письме А. А. Кублицкой-Пиоттух к М. П. Ивановой от 23 декабря 1911 г. «Родная Маша, посылаю Вам Сашино письмо целиком,— добавляет Александра Андреевна.— Прочтите его. Это лучший ответ на Вашу „критику“ Клюева» (там же, л. 154—155).

[53] См.: В. Гиппиус. Встречи с Блоком.—В кн. „Александр Блок в воспоминаниях современников“, т. 2, М., 1980, с. 82.

[54] Сразу же после появления сборника «Сосен перезвон» критика стала говорить о влиянии Блока на раннее творчество Клюева. Это прежде всего подчеркивал в своих статьях и рецензиях С. Городецкий. «Влияние его ⟨т. е. Блока⟩ стихов несомненно»,— утверждал он в газете «Речь» (1911, № 334, 5/18/декабря, с. 3). В статье «Незакатное пламя», отмечая, что Клюев «органически заражен» Блоком, Городецкий восклицал: «И поистине безбрежен поцелуй двух этих поэтов, учителя и ученика, Блока и Клюева» («Голос земли», 1912, № 30, 10/23 февраля). Влияние Блока на Клюева подчеркивал также критик П. М. Пильский в статье «Мужик и символизм (Новый поэт Н. Клюев)», напечатанной в одесской газете «Южная мысль» (1911, № 74, 27 ноября).

«Эта маленькая книжка,— писал о сборнике „Сосен перезвон“ один из рецензентов,— посвящена автору „Нечаянной радости“ А. Блоку. И недаром: г. Клюев — явный поклонник поэтического дарования Блока, и это видно из всего строя его лиры. Очень часто те же размеры стиха, тот же ритм, те же настроения и почти та же внутренняя озаренность, которую Брюсов назвал „огнем религиозного сознания“». (Цит. по кн.: «Книгоиздательство т⟨оргового⟩ д⟨ома⟩ „В. И. Знаменский и К°“». ⟨Каталог⟩. М., ⟨1912⟩, с. 5). Приведем также мнение Б. Садовского, считавшего, что «на первых его ⟨т. е. Клюева⟩ стихах лежала печать несомненного влияния Блока. Это был Блок, плохо усвоенный, чуждый первобытной душе, но поко-

ривший ее неодолимостью своих чар» (Б. Садовской. О народных поэтах.— В кн.: Б. Садовской. Ледоход. Статьи и заметки. Пг., 1916, с. 144).

[55] Библиотека ИРЛИ.

[56] С. Есенин. Собр. соч. в 6 т., т. 6. М., 1980, с. 105.

[57] ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 2, ед. хр. 39, л. 68.

[58] Там же, л. 73 об. Любопытно, что и самого Клюева один из авторов, писавших о нем, назвал «Пророком Нечаянной Радости». Статья с таким названием принадлежала перу писателя-коммуниста А. В. Богданова (1898—1925), одного из наиболее видных деятелей Вытегорской партийной организации в 1919—1923 гг., и во многом основывалась на его личных встречах и беседах с Клюевым (А. В. Богданов. Пророк Нечаянной Радости (творчество поэта Н. Клюева).— «Известия Олонецкого губернского совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов» ⟨Петрозаводск⟩, 1918, № 90, 26 мая; перепечатано: «Известия Вытегорского совета крестьянских, рабочих и красноармейских депутатов», 1919, № 4, 18 января; № 6, 25 января; «Вытегорская коммуна», № 17, 5 марта).

[59] Библиотека ИРЛИ. «День Прокопа...» — 27 февраля (ст. стиль). «Преподобный Прокопий декаполит, перезимник, дорогорушитель» (см.: «Народный календарь». СПб., 1911, с. 8). «Прокоп полузимний» — народное название. В том же стиле —надписи на „Лесных былях". Подаренных Брюсову, Гумилеву, Ремизову.

[60] Из других новокрестьянских поэтов Блок хорошо знал и ценил Есенина (их знакомство относится к 1915 г.). А. Белый вспоминал: «Он ⟨Блок⟩ любил возиться с *„молодыми"*: он — открыл юношу Городецкого; покровительствовал Леониду Семенову (†). Возился одно время с Есениным (Есенин любил Блока: кажется, будучи вовсе неизвестным, проездом через Петербург, он отправился к Блоку с улицы, застал его: и Блок его пригрел; петербургская эпопея Есенина начинается со встречи его с Блоком (и потом уже Городецкий, Клюев, Разумник и т. д.). Блока любит Орешин» (А. Белый. Дневниковые записи.— См. наст. т., кн. 3, с. 800).

Однако творчество С. Клычкова Блок воспринял недоверчиво (см. п. 43, прим. 39) и отклонил предложенную им встречу (VIII, 434). Не принял он и А. Ширяевца, который, находясь в Петербурге в мае-июне 1915 г., пытался встретиться с Блоком. В письме к В. С. Миролюбову 10 марта 1916 г. обиженный и раздраженный Ширяевец рассказывает: «Сладко журчащий о России, о русском народе г. Блок, оказывается, не расположен заводить знакомства с писателями из народа. Не принял меня, а до меня не принял Сергея Клычкова (по рассказу А. Тинякова), который тщетно пытался познакомиться с ним. Один только Есенин попал к нему, да и то обманным путем (тоже по рассказу Тинякова). Честь и слава! Оно, конечно, не подобает потомку крестоносцев иметь дело с разным сбродом... Из-за этого поссорился я с Тиняковым, который защищал его и выразился так: „Если бы я был знаменем — тоже не принял бы". Знакомство мое с г. Блоком кончилось тем, что после нескольких писем к нему и вызовов по телефону, я, явившись к нему, проторчал в прихожей, и горничная вынесла мне книгу его „Стихи о России", которую я купил в магазине и с которой явился к их степенству с просьбой дать автограф. Автограф-то в книге был, но автора видеть не сподобился... Мерси и на том, что увидел горничную знаменитости...» (ИРЛИ, ф. 185, оп.1, ед. хр. 1265, л. 15—16 об.).

[61] П. Карпов. Говор зорь. Страницы о народе и интеллигенции. Спб., 1909, с. 6, 14, 15, 18, 53 и др.

[62] ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 268, л. 3.

[63] Там же, л. 1.

[64] Там же.

[65] Письмо Л. Н. Толстого к П. И. Карпову от 20 ноября 1909 г.— Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 80, М., 1955, с. 205.

[66] Письмо П. И. Карпова к Л. Н. Толстому от 16 ноября 1909 г.— Там же.

[67] Письмо от 8 декабря 1909 г. из Петербурга.— ГБЛ, ф. 25, карт. 14, ед. хр. 6, л. 78. В письме дана развернутая и весьма любопытная характеристика Карпова: «Письмо Пимену Карпову я, если Вы на этом стоите, передам, — пишет З. Гиппиус Белому, — но раньше я должна сказать Вам про него. Мы его видели, долго с ним говорили (и еще будем говорить), мы знаем его, а Вы не знаете. Он очень неприятный, самомнительный, честолюбивый, ругающий интеллигенцию сплошь, а сам в интеллигенцию лезущий, главное же — круглый невежда. Это бы ничего, если б он свое невежество сознавал, но он к каждому слову прибавляет „я знаю, знаю", и в одну кучу „интеллигентов-человекодавов" сваливает декабристов, революционеров, Каляева и Боборыкина etc. Можете себе вообразить этот хаос. К тому же он получил ободряющее письмо от Л. Толстого за то, что советует разрушить города и жить „среди злаков и цветов", и письмо это его отравило. Ваше — будет для него тоже лишней каплей яду. Мне его жаль. Если б он ускромнился и вошел в разум — то он мог бы стать значительным явлением. Я считаю, что Блок неправ, когда не захотел его даже видеть» (там же).

[68] Письмо к П. Карпову от 27 января 1910 г.— VIII, 303—304. Впрочем, у Блока встречаются и иные суждения — в пользу «опрощения» и физического труда. См., например, написанное в мае 1906 г. стихотворение «Май жестокий с белыми ночами» в особенности его последние строки («Но достойней за тяжелым плугом/В свежих росах поутру идти» — III, 161).

[69] Письмо без даты.— ГПБ, ф. 124, ед. хр. 1791. Судя по письмам П. Карпова к В. Иванову оно относится к самому концу ноября 1910 г. (ГБЛ, ф. 109, карт. 27, ед. хр. 19, л. 1—3).

[70] Слово из статьи «С родного берега».

[71] Сергей Городецкий. Воспоминания об Александре Блоке. В кн.: «Александр Блок в воспоминаниях современников», т. 1, с. 338. Мнение Городецкого подтверждается также сохранившимся экземпляром книги «Говор зорь», испещренным пометами Блока (см.: Библиотека А. А. Блока. Описание. Кн. 2, с. 16—23).

[72] Письмо от 21 января 1912 г.— ИРЛИ, ф. 115, оп. 3, ед. хр. 141.

[73] См. прим. 9.

[74] ГПБ, ф. 614, ед. хр. 56, л. 1.

[75] Ср., например, 7-ю строку стихотворения «Прельщение». В рукописи: «Прельщенная душа, как прежде, не жалеет». В печатной редакции: «Прельщенная душа — она уж не жалеет» («Бодрое слово», 1909, № 17, сентябрь, с. 22). Ср. также публикуемый ниже текст «Песня девушки» с текстом, напечатанным в «Бодром слове» под названием «Современная былина» (1909, № 5, март, с. 39—43).

[76] Непосредственным поводом к этому послужило известное письмо Г. С. Петрова к митрополиту Антонию, отрывки из которого Миролюбов напечатал в «Трудовом пути» (1908, № 1).

[77] Письмо к Вас. И. Немировичу-Данченко от 18 ноября 1910 г. из Харькова.— ИРЛИ, ф. 204, ед. хр. 73, л. 5.

[78] См.: В. П. Свенцицкий. «Христианское братство борьбы» и его программа. М., 1906.

[79] Свенцицкий писал также драмы и повести, обсуждая и углубляя в них главным образом одну тему — нравственно-религиозные искания современного «интеллигента». Наиболее известное из его беллетристических произведений — повесть «Антихрист (Записки странного человека)», которой интересовался Блок (V, 486).

[80] «Новая земля», 1912, № 3—4, январь, с. 17.

[81] Эти сведения о себе Брихничев сообщает в своей статье «Чего ждать от духовенства», опубликованной в газете «Руль» 6 сентября 1912 г. (№ 367).

[82] ГБЛ, ф. 516, карт. 3, ед. хр. 39, л. 1.

[83] Там же. О Брихничеве см. также: Вл. Эрн. Пастырь нового типа. М., 1907; В. Г. Базанов. Трудная биография.— «Звезда», 1979, № 12, с. 176—188.

[84] Письмо не датировано. Рукой Короленко: «Ответил 30/X1—08».— ГБЛ, ф. 135. раздел II, № 19, ед. хр. 65, л. 1.

[85] Там же.

[86] ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 173, л. 1.

[87] Против каждого из этих стихотворений рукой Блока помечено: «Посл⟨ал⟩ 17/II Слушай земля».

[88] И. Брихничев. Поэт голгофского христианства.— «Новая земля», 1912, № 1-2, с. 6.

[89] ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 173, л. 2 об.

[90] Там же.

[91] И. Брихничев. Новое религиозное сознание (Что такое голгофское христианство?).— «Руль», 1912, № 358, 9 июля.

[92] Там же.

[93] В. Свенцицкий. Наши ближайшие задачи.— «Новая земля», 1911, № 2.

[94] М. Пришвин. Не от мира сего.— «Русские ведомости», 1910, № 251, 31 октября. Перепечатано в кн.: М. М. Пришвин. Собр. соч. в 8 томах, т. 1. М., 1982, с. 749.

[95] В. Г. Базанов. К творческим исканиям Блока. В кн.: «А. Блок и современность». М., 1981, с. 217.

[96] ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 173, л. 4 об.

[97] Там же, л. 5 об.

[98] Об участии Блока в «Новой земле» см.: В. Г. Базанов. К творческим исканиям Блока, с. 214—215.

[99] ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 173, л. 4 об.

[100] И. Брихничев. Северное сияние (о Николае Алексеевиче Клюеве).— «Руль», 1912, № 355, 18 июня. Цитируемым фразам из письма Блока предшествуют слова: «Вот что об этой жажде знания Клюева писал мне в декабре 1910 г. Александр Блок».

[101] Употребление слова «Жизнь» в религиозно-нравственном смысле встречается в литературе послереволюционного периода сравнительно часто. Ограничимся лишь одним характерным примером. Издававшийся в конце 1907 — начале 1908 г. в Москве двухнедельный религиозно-философский журнал «Живая жизнь», в котором будущие «голгофские христиане (Аггеев, Брихничев, Свенцицкий) пытались объединиться с символистами (З. Гиппиус, А. Белый) и философами (Аскольдов, Бердяев, Булгаков, Флоренский и др.), обосновывал свою программу следующим образом: «Журнал ставит себе задачей служить по мере сил торжеству живой жизни. Признавая религию за единый живой источник сил, необходимых для этого торжества, имея свои надежды, верования и теоретические взгляды ⟨...⟩ журнал будет ко всему подходить, все освещать с точки зрения своего основного отношения к жизни, в которой главное не преходящее и злободневное, а вечное, нетленное, живое» (рекламный проспект «Живой жизни», печатавшийся во многих периодических изданиях на рубеже 1907 и 1908 гг.). Журнал «Живая жизнь» можно — с некоторыми оговорками — назвать предшественником «Новой земли» и «Нового вина».

[102] См. подробнее в статье «Раннее творчество Н. А. Клюева», с. 207—211.

[103] ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 173, л. 7 об.

[104] См. подробнее прим. 17 к п. 12.
[105] ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 173, л. 7 об. Слова из недатированного письма Брихничева к Блоку (судя по содержанию — июль-август 1912 г.).
[106] ГБЛ, ф. 386, карт. 78, ед. хр. 18, л. 5.
[107] ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 173, л. 7.
[108] ГБЛ, ф. 386, карт. 78, ед. хр. 18, л. 5.
[109] ГБЛ, ф. 386, карт. 55, ед. хр. 21, л. 1.
[110] Там же.
[111] ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 173, л. 11.
[112] На открытке Брихничева со штемпелем «Москва 2.1.12» рукой Блока помечено: «Не отвечать».
[113] «Брихничев и я хотели ехать по осени в Ташкент, но война помешала»,— сообщает Клюев Ширяевцу 15 ноября 1914 г. (ИМЛИ, ф. 29, оп. 3, ед. хр. 25).
[114] ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 2, ед. хр. 39, л. 75 об.
Упоминания Клюева, притом неоднократные, о его «беседах» с Распутиным не нашли до настоящего времени документального подтверждения. Сам же Клюев был явно склонен преувеличивать свою близость к «старцу», сопоставлять и даже отождествлять себя с ним (см. «Песнослов», кн. 2, с. 205). Взгляд на Клюева как на фигуру, родственную Распутину, был присущ и некоторым из его современников, в частности Р. В. Иванову-Разумнику. «О Клюеве и его „распутинстве“ никакой новости Вы мне не сообщили,— пишет он 22 апреля 1941 г. Е. П. Иванову.— Разве Вы не видели с самого начала (а не только после Вольфилы), что Клюев по крайней мере двоюродный брат Распутина?» (письмо находится в собрании М. С. Лесмана).
[115] ЦГАЛИ, ф. 464, оп. 1, ед. хр. 70.
[116] «Наше время пришло», — говорил Клюев в феврале 1917 г. Эти слова приводит Р. Ивнев в своих воспоминаниях об Есенине («Сергей Александрович Есенин. Воспоминания». М.— Л., 1926, с. 18).
[117] Песнослов, кн. 2, с. 168.
[118] Там же, с. 183.
[119] П. Орешин. Дулейка. Саратов, 1919, с. 13.
[120] А. Ширяевец. Алые маки. Песни последних дней. Пг., 1917, с. 8.
[121] С. Есенин. Собр. соч., т. II. М., 1977, с. 30, 32.
[122] Цитируется по копии, хранящейся в собрании М. С. Лесмана. Письмо не датировано.
[123] Подробнее об осмыслении Блоком образа Христа см. в кн.: В. Н. Орлов. Поэма Александра Блока «Двенадцать». М., 1962, с. 84—103; Л. К. Долгополов. Поэмы Блока и русская поэма конца XIX— начала XX веков. М.— Л., 1964, с. 145—181; его же. Александр Блок. Личность и творчество. Изд. 2. Л., 1980, с. 181—203; Б. Соловьев. Поэт и его подвиг. Творческий путь Александра Блока. Изд. 4-е. М., 1980, с. 632—644; В. Г. Базанов. К творческим исканиям Блока, с. 200—205 и др.
[124] Сергей Городецкий. Воспоминания об Александре Блоке.— В кн.: «Александр Блок в воспоминаниях современников», т. 1, с. 341.
[125] А. Белый, Р. В. Иванов-Разумник, А. В. Штейнберг. Памяти Александра Блока. Пг., «Вольная философская ассоциация», 1922, с. 63.
[126] «Скифы». Пг., 1917, с. VIII (предисловие, подписанное «Скифы»).
[127] «Скифы». Сб. 2. Пг., 1918, с. 230.
[128] А. Сумароков. Моя встреча с А. Блоком.—В кн.: «Александр Блок в воспоминаниях современников». Т. 2. М., 1980, с. 191.
[129] А. Белый, Р. В. Иванов-Разумник, А. В. Штейнберг. Памяти Александра Блока, с. 57.
[130] По своим политическим взглядам новокрестьянские поэты тяготели к социалистам-революционерам (Клюев, как указывалось, был связан с ними уже в 1905—1906 гг.). Именно в петроградском левоэсеровском издательстве «Революционная мысль» был выпущен в 1918 г. сборник «Красный звон», составленный из произведений четырех поэтов: Клюева, Есенина, Орешина и Ширяевца. Это был первый (и последний) групповой сборник новокрестьянских поэтов, их единственное выступление под общей обложкой.
[131] Надпись 1915 г.: «Маме! 27 мая 1915 г.» См. наст. т., кн. 3, с. 90—91. См. также письмо Блока к матери от 29 мая 1915 г. («Письма к родным», II, с. 266).
[132] Библиотека ЦГАЛИ, (48879/5063а).
[133] С. Гордон. Приспособление к трагедии (О левом народничестве).— В кн.: «Слово о культуре. Сборник критических и философских статей». М., 1918, с. 81—82.
[134] ИРЛИ, ф. 428, оп. 1, ед. хр. 49.
[135] Там же.
[136] ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 2, ед. хр. 39, л. 68 и 75. См. также прим. 141.
[137] С. Есенин. Собр. соч. в 6 томах, т. 5. М., 1979, с. 184—185.
[138] А. Сумароков. Моя встреча с А. Блоком.— В кн.: «Александр Блок в воспоминаниях современников», т. 2, с. 191.
[139] Р. В. Иванов-Разумник. «Три богатыря».— «Летопись Дома литераторов», 1922 № 3 (7), 1 февраля, с. 5.
[140] Там же.
[141] См.: Алфавитный каталог библиотеки А. А. Блока, составленный им самим (ИРЛИ, ф. 654, оп. 1, ед. хр. 338). В этом каталоге значатся: «Сосен перезвон» (оба издания), «Братские

песни», «Лесные были» и «Мирские думы». Возле названий книг Блок делает несколько приписок. Под словами «Н. Клюев. Сосен перезвон» помечено (в скобках): «мам⟨ин⟩ экз⟨емпляр⟩ прод⟨ан⟩ за 800—XII 1920». Названия «Братские песни» и «Мирские думы» зачеркнуты; рядом с каждым из них — помета: «Отд⟨ал⟩ Клюеву». Ниже следует запись (последние шесть слов приписаны карандашом): «Две вычеркнутые книги отданы Клюеву 14.VIII. 1918 для типографии (печ⟨атается⟩ в „Земле“). Но он не дал стихов „Земле“» (л. 88 об.).

[142] Новый 1919 год Клюев встречал в мастерской Передвижного театра П. П. Гайдебурова. Об этом свидетельствует появившееся затем в печати описание новогоднего праздника, где между прочим сказано: «В третьем часу ночи читал свои стихотворения Н. А. Клюев».— «Записки Передвижного общедоступного театра», 1919, вып. 17 (январь), с. 14.

[143] См.: «Жизнь искусства», 1919, № 82, 20 февраля, с. 2.

[144] В статье об этом вечере, написанной М. Кузьминым, отмечалось, что «из двадцати участников присутств⟨овало⟩ только двенадцать, причем не было ни Ахматовой, ни Гумилева, ни Есенина, ни Клюева» (М. К у з ь м и н. Вечер поэтов.— «Жизнь искусства», 1919, № 91, 5 марта, с. 1).

[145] ЦГАЛИ, ф. 543, оп. 1, ед. хр. 7, л. 95.

[146] «Вечер закончился чтением стихов. Выступили поэты: А. Блок, Н. Гумилев, Георгий Иванов. Валентин Кривич, Всеволод Рождественский и Дмитрий Цензор» («Жизнь искусства», 1919, № 105, 27 марта, с. 2).

[147] Собрание Н. Б. Чирскова (Ленинград). См. также наст. т., кн. 3, с. 82.

[148] «Летопись Дома литераторов», 1921, 20 декабря, № 4, с. 4.

[149] «Жизнь искусства», 1922, № 33 (856), 22—28 августа, с. 4.

[150] «Новая русская книга», 1922, № 8, с. 28.

[151] «Жизнь искусства», 1922, № 35 (858), 5 сентября, с. 5.

[152] Запись беседы с В. А. Мануйловым от 5 сентября 1976 г.

[153] Сохранился экземпляр книги «А. Блок. Неизданные стихотворения 1897—1919. Л., 1926» со следующей дарственной надписью П. Н. Медведева: «Милому другу и светлому брату Алексею Николаевичу Клюеву с любовью составитель. 22.I.926. Пб.» (Музей Пушкинского Дома).

[154] Письмо от 10 июня 1934 г. к Н. Ф. Садомовой.— ИРЛИ, Р. I, оп. 12, ед. хр. 534, л. 4.

[155] Библиотека В. А. Мануйлова.

1

⟨Дер. Желвачева,
конец сентября — начало октября (до 3) 1907 г.⟩

Александр Александрович!

Я, крестьянин Николай Клюев, обращаюсь к Вам с просьбой — прочесть мои стихотворения и, если они годны для печати, то потрудиться поместить их в какой-либо журнал [1]. Будьте добры— не откажите. Деревня наша глухая, от города далеко, да в нем у меня и нет знакомых, близко стоящих к литературе. Если Вы пожелаете мне отписать, то пишите до 23 октября. Я в этом году призываюсь в солдаты (21 год [2]) и 23 октября последний срок. Конечно, и родные, если меня угонят в солдаты, могут переслать мне Ваше письмо, но хотелось бы получить раньше. Мы, я и мои товарищи, читаем Ваши стихи, они-то и натолкнули меня обратиться к Вам [3]. Один товарищ был в Питере по лесной части и привез сборник Ваших стихов; нам они очень нравятся. Прямотаки удивление. Читая, чувствуешь, как душа становится вольной, как океан, как волны, как звезды, как пенный след крылатых кораблей [4]. И жаждется чуда прекрасного, как свобода, и грозного, как Страшный Суд... И чудится, что еще миг и сухим песком падет тяготенье веков, счастье не будет загадкой и власть почитанием. Бойцы перевяжут раны и, могучие и прекрасные, в ликующей радости воскликнут: «Отныне нет смерти на земле, нужда не постучится в дверь и сомнение в разум. Кончено тленное пресмыкание и грядет Жизнь, жизнь бессмертным и свободным,— как океан, как волны, как звезды, как пенный след крылатых кораблей!»

Бога ради, простите написанное. Я человек малоученый — так понимаю Вас,— и рад, и счастлив возможности передать Вам свое чувствование. Много бы у Вас хотелось спросить — очень тяжело не говорить — прошу Вас, отпишите по возможности скорее, доставьте и мне *«Нечаянную радость»*.

Адрес: Олонецкая губ⟨ерния⟩, Вытегорский уезд, станция Мариинская, деревня Желвачева [5]— Клюеву.

Остаюсь — Николай К л ю е в

Не можете ли мне сообщить адреса — поэта Леонида Дмитриевича Семенова? [6]

*

Вот и лето прошло, пуст заброшенный сад,
На дорогу открыта калитка.
Из поблекшей травы сквозь сырой листопад
Сиротливо глядит маргаритка.
Чьих-то маленьких ног на дорожке следы
И обрывки письма у крокета.
На скамье позабытый букет резеды —
Это память угасшего лета:
Были грезы и сны, и порывы ума.
Сгибло все под дыханьем ненастья.
Позабытый букет да обрывки письма
Нам с тобою остались от счастья.

*

Я поведаю миру былину,
Про кручину недавний рассказ.
Мне хотелось бы спеть про кручину,
Чтоб катилися слезы из глаз,
Много в небе лазурно-бездонном
Светлых звезд и лучистых планет —
Много горюшка в сердце народном
Накопилось за тысячу лет!
Сколько листьев в осенние ночи
Перелетные вихри сорвут,—
Столько слез материнские очи
На Руси неповедано льют!
И не столько скалистых порогов
Громоздится в надречной дали,
Сколько высится мрачных острогов
По раздолью родимой земли!
Ты пропойся про горюшко наше
Ладословная песня звончей;
Степь от солнца вольнее и краше—
От запевки душа удалей.
Кабы птицей душа очутилась,
Буйнокрылою чайкой морской,
Не с надрывным бы стоном кружилась
Над рокочущей гневно волной.
Кабы молодцу шапка повыше —
Мглистей ночи казалася б бровь...
Чайка-песня бьет крыльями тише
Там, где трупы, застенки и кровь.

Немая любовь

Поведай мне, дитя, с безбрежными глазами,
С пучиною волос и мраками ресниц,
Не песня ль моря ты, где, вея парусами,
Несутся корабли при всполохах зарниц?

Увы! Созвучий мир, сиянья радуг полный,
Орлиных клекотов и сини берегов,
Постичь не в силах ты душой слепорожденной,
Как в рифмах уловить певучий гул валов.

Ты только взором жжешь, как знойная пустыня,
Далекая стиха прибоям грозовым,
В песчанности твоей затерянный отныне
Я сфинксом становлюсь, жестоким и немым.

Датируется на основании письма Блока к матери, в котором 9 октября 1907 г. поэт сообщал: «За мое отсутствие получили ‹...› очень трогательное письмо от крестьянина Олонецкой губернии» (VIII, 215). Отсутствие Блока в Петербурге длилось пять дней (с 3 по 7 октября включительно). 8 октября утром Блок возвратился из Киева, куда ездил для участия в «Вечере нового искусства». Таким образом, письмо Клюева могло прибыть в Петербург самое позднее 7 октября (почтовый путь от Олонецкой губернии до столицы длился тогда, судя по другим письмам Клюева, от 4-х до 6-ти дней).

[1] В письме было прислано пять стихотворений. Два из них («Горниста смолк рожок... Угрюмые солдаты» и «Вот и лето прошло, пуст заброшенный сад») были написаны на том же листе, что и письмо (на обратной стороне). Три других стихотворения («Я поведаю миру былину», «Мы любим только то, чему названья нет» и «Немая любовь») — на отдельном листе.

Стихотворения «Вот и лето прошло, пуст заброшенный сад», «Я поведаю миру былину» и «Немая любовь» печатаются впервые. Стихотворения «Горниста смолк рожок... Угрюмые солдаты» опубликовано К. М. Азадовским с автографа, хранящегося в ИРЛИ («Раннее творчество Н. А. Клюева», с. 199—200). Стихотворение «Мы любим только то, чему названья нет» было включено Клюевым в сб. «Сосен перезвон» (оба издания) и впоследствии — в «Песнослов».

Комментируя письмо Блока к Е. П. Иванову, А. Косман указывал, что в своем первом письме Клюев прислал Блоку лишь два стихотворения («Горниста смолк рожок... Угрюмые солдаты» и «Вот и лето прошло, пуст заброшенный сад»). Датируя данное письмо январем 1908 г., комментатор сообщал также, что «Блок напечатал эти стихи» (Письма Ал. Блока к Е. П. Иванову. Редакция и предисловие Ц. Вольпе. Подготовка текста и комментарии А. Косман. М.— Л., 1936, с. 124). Утверждения А. Косман (в основном ошибочные) перешли затем и в некоторые из последующих исследований о Клюеве.

[2] Как установил А. К. Грунтов, Клюев родился 10 октября 1884 г. (см. его статью «Материалы к биографии Н. А. Клюева».— «Русская литература», 1973, № 1, с. 118—119). Однако сам поэт указывал иные даты своего рождения: чаще всего 1886 или 1887 г. Так, в «Деле департамента полиции», заведенном на Клюева в связи с его арестом в 1906 г., значится: «Родился в 1886 году» (ЦГАОР, ф. 7, ед. хр. 1567, ч. I, л.1). Автобиографическая справка, собственноручно написанная Клюевым в середине 20-х годов, начинается со слов: «Родился 1887 г.» (ИМЛИ, ф. 173, оп. 1, ед. хр. 10).

[3] Книгой Блока, «натолкнувшей» Клюева на мысль написать ему, была «Нечаянная радость» (М., «Скорпион», 1907). Как следует из последующих писем Клюева к Блоку, стихотворения этой книги произвели на него, действительно, неизгладимое впечатление (п. 23, 29, 33, 40 и др.). См. также посвящение книги «Сосен перезвон»: «Александру Блоку — Нечаянной Радости».

[4] Ср. это место с заключительными строками блоковского предисловия к сборнику «Нечаянная радость»: «Слышно, как вскипают моря и воют корабельные сирены. Все мы потечем на мол, где зажглись сигнальные огни. Новой Радостью загорятся сердца народов, когда за узким мысом появятся большие корабли» (II, 370).

[5] Деревня Желвачева (или Желвачево), где проживал тогда Клюев вместе с родителями, находилась на реке Андоме в Макачевской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии (ныне — Вытегорский район Вологодской области), в 36 верстах к северу от г. Вытегра. Подобно многим Олонецким селениям, эта деревня состояла всего из нескольких крестьянских дворов. В 1873 г. она насчитывала 9 дворов с 53 жителями («Список населенных мест Олонецкой губернии по сведениям 1873 года». СПб., 1879, с. 1036). В начале XX в. число жителей в ней уменьшилось до 45 («Список населенных мест Олонецкой губернии по сведениям за 1905 год». Составил И. И. Благовещенский. Петрозаводск, 1907, с. 166). «Живу я в деревне, о 8-ми дворах»,— писал Клюев С. А. Гарину в 1913 г. (письмо не датировано; дата установлена по содержанию.— ЦГАЛИ, ф. 146, оп. 1, ед. хр. 38, л. 4). Почтовое отделение Мариинское (деревня Марьино) находилось приблизительно в 10 верстах от деревни Желвачева. «Живу я в бедности и одиночестве в лесной деревушке, около 500 верст от чугунки, еще дальше водой, не близко и от почтового отделения»,— рассказывал Клюев А. А. Измайлову в 1913 г. (дата письма установлена по содержанию.— ИРЛИ, ф. 115, оп. 3, ед. хр. 147, л. 1).

Некоторые подробности о деревне Желвачева сообщает И. П. Брихничев в своей статье, посвященной Клюеву и написанной в основном со слов самого поэта (некоторые детали явно расцвечены автором, желавшим подчеркнуть экзотику жизни в глухой Олонии). «Село Желвачево лишено растительности,— рассказывает Брихничев.— Около одной избы каким-то чудом выросла вишенка. Старики, посоветовавшись между собой, решили срубить деревцо, «чтобы было гладко»... и срубили... ‹...› Односельчане его ‹т. е. Клюева› занимаются земледелием, но это занятие так бедно вознаграждается скудною природой севера, что им приходится еще заниматься и рыболовством и звероловством, чтобы свести концы с концами. В урочное время за шкурками зверьков является в деревню целая стая алчных скупщиков и

выменивают роскошные шкурки на безделушки». Брихничев упоминает также о том, что в родной деревне Клюева появлялись время от времени «ссыльные с Кавказа и других мест», оказавшие влияние на развитие поэта (И. Брихничев. Северное сияние (о Николае Алексеевиче Клюеве).— «Руль», 1912, 18 июня, № 355, с. 2).

[6] Леонид Дмитриевич *Семенов* (1880—1917), поэт-символист, внук известного русского ученого и общественного деятеля П. П. Семенова Тянь-Шанского. В 1889 г. Семенов поступил на естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета, но в 1901 г. перешел на историко-филологический факультет. Сблизился с Блоком в студенческом литературном кружке, которым руководил доцент Б. В. Никольский. Л. Д. Семенову посвящено стихотворение Блока «Жду я смерти близ денницы», написанное в январе 1904 г.

Духовные искания Семенова накануне первой русской революции отличаются крайней неустойчивостью. После «кровавого воскресенья» Семенов с энтузиазмом включается в политическую борьбу. Примкнув к группе социал-демократов, он участвует в деятельности Крестьянского союза, избирается депутатом в I Государственную думу, летом 1906 г ведет революционную агитацию среди крестьян Курской губернии. Огромное влияние оказывает на него в это время М. М. Добролюбова (1880—1906), сестра ушедшего «в народ» поэта А. М. Добролюбова, считавшаяся невестой Семенова. В июле 1906 г. за произнесение антиправительственных речей Семенов был задержан в Курской губернии и заключен в тюрьму, из которой освободился в декабре 1906 г. Постепенно в нем совершается глубокий внутренний переворот. Считая любую общественную работу бесплодной, он, подобно А. М. Добролюбову, принимает, в конце концов, решение уйти «в народ». В 1908 г. Семенов осуществляет свое намерение и последние десять лет своей жизни проводит в основном в Рязанской губернии. «Уход» Семенова сопровождается его почти полным отказом от литературной деятельности, которой до этого он активно занимался (в 1905 г. в Петербурге в издательстве «Содружества» вышел в свет его сборник «Собрание стихотворений», на который Блок откликнулся сочувственной рецензией («Вопросы жизни», 1905, № 7); кроме того, Семенов сотрудничал в журналах «Новый путь», «Трудовой путь» и др.). Особую главу в биографии Семенова образуют его личные отношения с Л. Н. Толстым.

Из работ и публикаций последнего времени, посвященных Семенову, см.: В. Сапогов. Лев Толстой и Леонид Семенов (об одном корреспонденте Л. Н. Толстого).— «Уч. зап. Костромского пед. ин-та, вып. 20, филол. серия, 1970, с. 111—128; «Л. Д. Семенов Тянь-Шанский и его „Записки“». Публикация З. Минц и Э. Шубина.— «Труды по русской и славянской филологии». XXVIII. Литературоведение. (Уч. зап. Тартуского гос. ун-та, вып. 414). Тарту, 1977, с. 102—146. Об отношениях Клюева и Семенова см. во вступительной статье, см. также: «Раннее творчество Н. А. Клюева», с. 194—196.

2

〈Дер. Желвачева, октябрь — ноябрь (до 12 ноября) 1907 г.〉

Я получил Ваше дорогое письмо и «Нечаянную радость», умилен честью, которую Вы оказали мне, Вашей сердечностью ко мне, так редко видящему доброе человеческое отношение.

В лютой нищете, в темном плену жизни такие переживания, какие Вы доставили мне,— очень дороги. Благодарю Вас!

Вы пишете, что не понимаете крестьян, это немножко стесняет меня в объяснении, поневоле заставляет призывать на помощь всю свою «образованность», чтобы быть сколько-нибудь понятным. Раньше я читал только два отдела Вашей книги — «Нечаянная радость» и «Ночная фиалка», остальное было вырвано, теперь прочел всю и дерзаю сказать Вам, что несмотря на райские образы и электрические сны душа моя как будто раньше видела их, видела — «Осеннюю волю», молодость, сгубленную в хмелю, незнаемый, но бесконечно родной образ, без которого нельзя плакать и жить, видела Младу — дикой вольности сестру, «Взморье» с кораблем, уносящим торжество, чаяние чуда и прекрасной смерти [1].

Простите мне мою дерзость, но мне кажется, что если бы у нашего брата было время для рождения образов, то они не уступали бы Вашим. Так много вмещает грудь строительных начал [2], *так ярко чувствуется великое окрыление!... И хочется встать высоко над Миром, выплакать тяготенье тьмы огненно-звездными слезами и, подъяв кропило очищения, окропить кровавую землю* [3], в славословии и радости дав начало новому дню правды.

Вы — господа чуждаетесь нас, но знайте, что много нас, неутоленных сердцем, и что темны мы только, если на нас смотреть с высоты, когда все, что

внизу, кажется однородной массой, но крошка искренности, и из массы выступают ясные очертания сынов человеческих, их души, подобные яспису и сардису [4], *их ребра, готовые для прободения.*

Вот мы сидим, шесть человек, все читали Ваши стихи, двое хвалят — что красивы, трое [5] говорят, что Ты [6] от безделья и что П. Я.[7] пишет лучше Вас,— за сердце щиплет, и что в стихотворении «Прискакала дикой степью» слово «красным криком» не Ваше, а Леонида Андреева [8], и что Вы — комнатный поэт, стихот〈ворение〉 «День поблек — изящный и невинный» — одна декорация и что после первых четырех строк — Вы свихнулись «не на то». Что такое «голубой кавалер», нимб, юр? [9] Что «Сказка о петухе и старушке» — это пожар в причте. Милые, милые, дорогие мои братья! Я смотрю на них и думаю: призри с небеси и виждь, и насе за виноград сей, юже насади десница твоя! [10]

Наш брат вовсе не дичится «вас», а попросту завидует и ненавидит, а если и терпит вблизи себя, то только до тех пор, покуда видит от «вас» какой-либо прибыток. О, как неистово страданье от «вашего» присутствия, какое бесконечно-окаянное горе сознавать, что без «вас» пока не обойдешься! Это-то сознание и есть то «горе-гореваньице» — тоска злючая-клевучая,— кручинушка злая беспросветная, про которую писали Никитин, Суриков, Некрасов, отчасти Пушкин и др. Сознание, что без «вас» пока не обойдешься,— есть единственная причина нашего духовного с «вами» несближения, и — редко, редко встречаются случаи холопской верности нянь или денщиков, уже достаточно развращенных господской передней. Все древние и новые примеры крестьянского бегства в скиты, в леса-пустыни, есть показатель упорного желания отделаться от духовной зависимости, скрыться от дворянского вездесущия. Сознание, что «вы» везде, что «вы» «можете», а мы «должны» — вот необоримая стена несближения с нашей стороны. Какие же причины с «вашей»? Кроме глубокого презрения и чисто телесной брезгливости — никаких. У прозревших из «вас» есть оправдание, что нельзя зараз переделаться, как пишете Вы, и это ложь, особенно в Ваших устах, — так мне хочется верить. Я чувствую, что Вы, зная великие примеры мученичества и славы, великие произведения человеческого духа, обманываетесь в себе. Так, как говорите Вы, может говорить только тот, кто не подвел итог своему миросозерцанию.— И из Ваших слов можно заключить, что миллионы лет человеческой борьбы и страдания прошли бесследно для тех, кто «имеет на спине несколько дворянских поколений».

Еще я Вас спрошу: — хорошо ли делаю я, стремясь попасть в печать? Стремлюсь же не из самолюбия, а просто чтобы увидеть — реальный результат затраченной незримой энергии.— Окружающим же меня любо и радостно за меня,— они гордятся мной, просят меня, чтобы я писал больше. Присылаю Вам еще стихотворений [11] — напишите, чего, по-Вашему, в них не хватает. Я мучусь постоянным сомнением — их безобразием, но отделывать их некогда, надо кормиться,— а хлеб дорогой.

Нельзя ли исправить подчеркнутые строки в стихах — по-моему, они очень плохи. Да и вообще, все, что плохо с моей стороны,— пусть не огорчает Вас. Такой уж у меня характер.

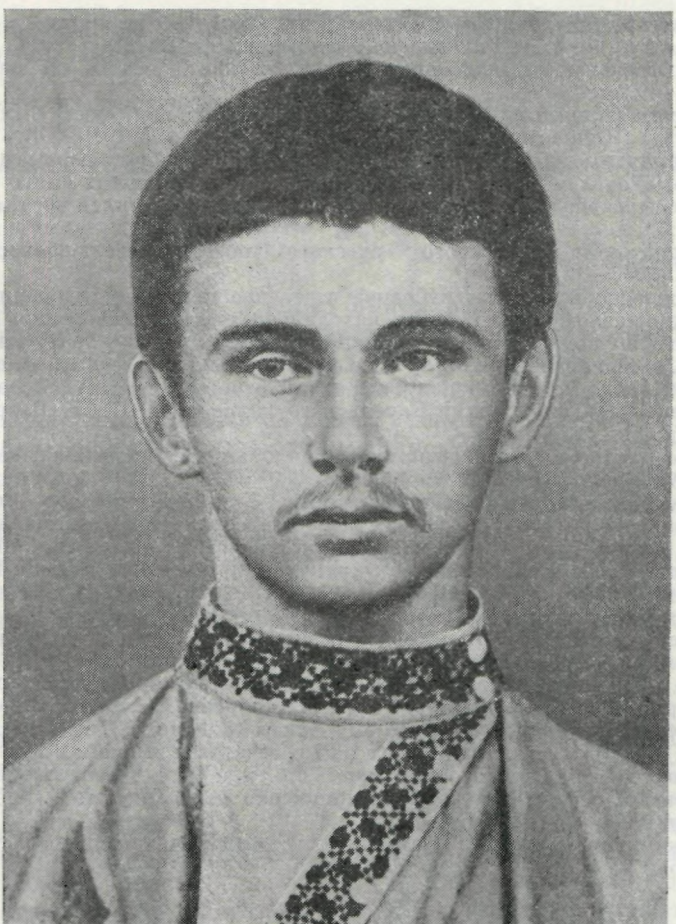
Пойду в солдаты, пропадут мои песни [12] — про запас прощайте, примите на память мою любовь к Вам, к Вашей «Нечаянной радости».

Нельзя ли что-либо из моих произв〈едений〉 поместить в «Русское богатство» или «Трудовой путь» [13]. С «Трудового пути» я получил 10 руб. 80 коп., за которые очень благодарен.

Если вздумаете писать, то пишите так: Олонецкая губ〈ерния〉, Вытегорский у〈езд〉, станция Мариинская, деревня Желвачева. *Клавдии* [14] *Клюевой* [15].

Писать нужно заказным письмом, иначе у нас потеряется, почтовое отд〈еление〉 от нас далеко. Письма идут через правленье, где могут заваляться.

Датируется на основании письма Блока к матери от 27 ноября 1907 г., в котором говорится: «Письмо Клюева окончательно открыло глаза» (VIII, 219). В это же время Блок пишет статью «Литературные итоги 1907 года», цитируя в ней отрывки из письма Клюева. Ясно, что



Н. А. КЛЮЕВ
Фотография, 1900-е годы
Литературный музей, Москва

данное письмо написано между 13 октября и 12 ноября, т. е. до того как Клюева забрали в солдаты (см. п. 3, прим. 1).

[1] «Осенняя воля» и «Взморье» — названия стихотворений из сб. «Нечаянная радость»; «электрические сны» — неточно процитированные Клюевым слова из блоковского стихотворения «В кабаках, в переулках, в извивах» (сб. «Нечаянная радость»); «молодость, сгубленная во хмелю» — перифраз блоковской строки из стихотворения «Осенняя воля»; «Млада — дикой вольности сестра» — образ из стихотворения «Прискакала дикой степью» (сб. «Нечаянная радость»); «корабль, уносящий торжество» — перифраз строки из стихотворения «Взморье».

[2] Французский ученый М. Никё в статье «Блок и призыв Клюева» обратил внимание на то, что выражение «строительные начала» появляется в драме Блока «Песнь Судьбы» (1908); их произносит Человек в очках (четвертая картина). Это совпадение М. Никё объясняет как «непосредственный отзвук клюевских писем» (M. N i q u e u x. Blok et l'appel de Kljuev.— «Revue des études slaves». Tome 54 (4). Paris, 1982, p. 626).

Наблюдение М. Никё представляется совершенно справедливым, тем более что весь монолог Человека в очках живо напоминает рассуждения Блока о «народе» и «интеллигенции», навеянные именно клюевскими письмами. «Она ⟨Фаина⟩ принесла нам часть народной души. За то мы должны поклониться ей в ноги, а не смеяться. Мы, писатели, живем интеллигентской жизнью, а Россия, неизменная в самом существе своем, смеется нам в лицо. Эти миллионы окутаны ночью; еще молчат их дремлющие силы, но они уже презирают и ненавидят нас. Они придут и, знаю, принесут неведомые нам строительные начала» (IV, 134). Аналогичные мысли Блок излагал в начале января 1908 г. Н. В. Недоброво и А. И. Белецкому, после чего прочитал им письмо Клюева, где упоминается о презрении и ненависти крестьян к «господам» (см. вступ. ст.); об этом же идет речь и в его докладе «Народ и интеллигенция» (ноябрь 1908).

в письме к матери от 5—6 ноября и т. д. О «презрении» Блок писал, видимо, и самому Клюеву (см. ответ Клюева в п. 26: «... не презираю, а скорее жалею Вас...»).

[3] Курсивом выделены отрывки, приведенные Блоком в статье «Литературные итоги 1907 года».

[4] Образ, заимствованный из Нового Завета: «И Сей Сидящий видом был подобен камню яспису и сардису...» («Откровение святого Иоанна Богослова», 4, 3).

[5] Далее зачеркнуто несколько слов, из которых можно разобрать первые два: «зовут Вас».

[6] Слова «Ты», «Твой», «Твоя» и т. п. в некоторых стихотворениях книги «Нечаянная радость» написаны с заглавной буквы («Белый конь чуть ступает усталой ногой», «Пляски осенние» и др.).

[7] *П. Я.*— криптоним известного русского поэта, революционера-народовольца П. Ф. Якубовича (1880—1911).

Влияние гражданской лирики Якубовича отчетливо проявляется в ранних стихах Клюева. Среди книг, принадлежавших Клюеву, находился и том «Стихотворений» П. Я., который, покидая Вытегру, поэт подарил своему земляку Михаилу Ручьеву, брату вытегорского поэта С. И. Ручьева, с надписью: «Михаилу Ручьеву с пожеланием весны и юности малиновой. Н. Клюев. 1923» (Альбом фотоснимков к материалам о творчестве Н. А. Клюева с аннотациями А. К. Грунтова.— Научный архив Карельского филиала АН СССР (Петрозаводск), Разряд XI, оп. 2, ед. хр. 12, л. 4).

[8] Основанием для такого утверждения послужило, видимо, название известной антивоенной повести Л. Андреева «Красный смех» (1904).

[9] Голубой кавалер — образ из стихотворения «А l'ombre»; нимб, юр — слова из стихотворений «An Hans Guenther» и «Ты оденешь меня в серебро» (сб. «Нечаянная радость»).

[10] Псалтирь, псалом 79, 15—16. В каноническом переводе: «Боже сил! обратись же, призри с неба и воззри, и посети виноград сей; Охрани то, что насадила десница Твоя, и отрасли, которые ты укрепил Себе».

[11] См. п. 10, прим. 2 и 3.

[12] Далее зачеркнуто шесть слов, из которых можно разобрать: «а может и я пропаду».

[13] В «Русском богатстве» Клюев не печатался, хотя еще летом 1907 г. Л. Д. Семенов пытался связать его с редакцией этого журнала. «Хотелось бы мне просить Вас прислать мне хотя бы ту книжку „Трудового пути“, в которой мое стихотворение, а в случае помещения в „Русское богатство“, то и эту книжку»,— писал ему Клюев 15 июня 1907 г. (ИРЛИ, ф. 185, оп. 1, ед. хр. 617, л. 1). В «Трудовом пути» Клюев в 1907 г. печатался дважды: в № 5 было опубликовано его стихотворение «Холодное, как смерть...», а в № 9 — стихотворение «Казарма».

[14] После слова «Клавдии» рукой Блока приписано «Алексеевне». *К. А. Клюева* (в замужестве Расщеперина) — сестра Клюева.

[15] В этом месте письма можно разобрать полустертый первоначальный текст: «Клюеву, имени не нужно».

3

⟨Петербург, 19 февраля 1908 г.⟩

Сестра писала мне, что Вы спрашивали у ней мой адрес [1]. С 5-го января я нахожусь в Питере, в Николаевском военном госпитале, если что имеете сообщить — то пишите: Здесь, Николаевский военный госпиталь, третье нервное отделение, палата № 23 [2]. Может быть, найдете возможным зайти лично — прием по четвергам и воскресеньям с 2 ч. до 4 ч. дня.

Приветствую Вас Н. К л ю е в

Открытка. Датируется по почт. шт.

[1] Сохранилось письмо К. А. Клюевой к Блоку от 12 января 1908 г., в котором она сообщает: «Коля находится с 13 ноября на военной службе» и указывает его адрес: «Финляндия, г. Выборг, Выборгский крепостной пехотный батальон, 5-я рота» (ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 271, л. 1).

[2] Те же сведения о себе Клюев сообщает и Миролюбову 25 января 1908 г. (ИРЛИ, ф. 185, оп. 1, ед. хр. 617, л. 3).

4

⟨Дер. Желвачева, 16 мая 1908 г.⟩

Здравствуйте, господин Блок.

Вы напечатали мое письмо [1]. К чему это?

Будьте благожелательны, отпишите мне и пришлите что-либо из новой поэзии. Я очень буду Вам благодарен. Если что соблаговолите, то вышлите закрыто, иначе потеряется.

Я пробыл зимой в Петербурге четыре месяца, писал Вам письмо, но ответа не получил... Не оставьте, пожалуйста, в просьбе.

Ваш — Николай К л ю е в

16 мая

Адрес. Олонецкая губ⟨ерния⟩, Витегорский уезд, станция Мариинская, деревня Желвачева, Николаю Клюеву.

На обороте листа — приписка рукой Блока:

«Я ответил 2 июня большим письмом о „народной душе“».

[1] Имеются в виду отрывки из п. 2, приведенные Блоком в статье «Литературные итоги 1907 года».

5

⟨Дер. Желвачева, май 1908 г.⟩

Простите за беспокойство, я снова присылаю Вам стихи [1] — прошу поместить их в какой-либо подходящий журнал (может быть, годятся в «Золотое руно»).

Если годятся, то сообщите, я буду дожидать. Я пробыл в Питере 4 месяца, хотел зайти к Вам, походил мимо дома, а потом раздумал. Мне сказывал В. С. Миролюбов, что Вы опубликовали мое письмо к Вам в «Золотом руне» [2] и что потом было по этому поводу писано в газетах Розановым [3] и в «Столичной почте» тоже [4] — мне бы хотелось прочесть — не можете ли переслать эти статьи мне. Читать мне нечего — хочется, как в жару воды испить, прочитать книгу А. Добролюбова «Из книги Невидимой» [5]. Не можете ли снабдить меня и ею.

Не томите молчанием, откликнитесь — адрес: Олонецкая губ⟨ерния⟩, Вытегорский уезд, станция Мариинская, деревня Желвачева, Николаю Клюеву.

Радостно приветствую Вас!

*

... брату

Зеленеют травкою могилы,
Голубеют талые кресты...
Я принес тебе, мой милый,
Росный ладан и цветы.
Не грусти о прошлом невозвратном,
Ты нетленно светел навсегда,
Чьи-то руки ткут в огне закатном
Для тебя бессмертия года.
Осенюсь могильною иконкой,
Накормлю малиновок кутьей
И опять с клюкою и котомкой
Побреду тележной колеей.

Убелись, душа моя, белее,
Позабудь печаль и суету,
Возвращусь я прежнего святее
Целовать заветную плиту.
На распутьях дальнего скитанья,
Как пчела медвяную росу,
Соберу певучие сказанья
И тебе, родимый, принесу.
В глубине народной незабытым
Ты живешь, кровавый и святой...
Опаленным, сгибнувшим, убитым —
Всем покой за дверью гробовой.

*

брату

Под плакучею ракитой
Бледный юноша лежал.
На прогалине открытой
Распростертый умирал.
Кровь лилась из свежей раны
На истоптанный песок.
Оглядеть простор поляны
Взор измученный не мог.
Каркал ворон в выси синей,
Круги ровные чертя.
Умирало над пустыней
Солнце, дали золотя.

Вечер близился к пределу,
Затемнялась неба гладь.
К отстывающему телу
Не пришла родная мать.
В вечный путь не снарядила
Дорогого мертвеца,
Кровь багряную не смыла
С просветленного лица.
Только заревом повита,
От заката золотым,
Одинокая ракита
Тихо плакала над ним.

Датируется по содержанию.

[1] На обратной стороне листа — два стихотворения, одинаково озаглавленные «...брату» (подразумевается «убитому брату» или «казненному брату»). Двенадцать строк первого сти-

хотворения опубликованы впоследствии (с разночтениями и без названия) в сб. «Братские песни» как самостоятельное стихотворение («Осенюсь могильною иконкой»), позднее перенесенное в «Песнослов» и в сб. «Медный кит» (Пг., 1919). Второе стихотворение печатается впервые.

[2] Статья Блока «Литературные итоги 1907 года» с отрывками из клюевского п. 2 была напечатана в журнале «Золотое руно», 1907, № 11—12.

[3] Статья В. В. Розанова, подписанная «В. Варварин» и озаглавленная «Автор „Балаганчика“ о петербургских религиозно-философских собраниях», появилась 25 января 1908 г. в газете «Русское слово» (№ 21). Корреспондент Блока охарактеризован в статье Розанова как «бывший дворовый человек», как «бородач», подпоенный шабли или «пенистой лирикой», но скорее всего, кажется, «пенистыми похвалами и лестью Блока...», «Блок выбрал в корреспонденты неудачного „мужичка“...» — заключает автор фельетона, добавляя, что «и Блок — не настоящий русский умный человек, образованный в работе и рабочий в образовании, и „мужичок“ его взят откуда-нибудь из ресторана, где он имел достаточно поводов завидовать кутящим „господам“».

[4] В петербургской газете «Столичная почта» 14 февраля 1908 г. была опубликована статья Д. Философова «Декадентские мужички» (№ 237), весьма язвительная в отношении Блока. Повторяя выдержки из письма Клюева, опубликованные Блоком, автор резюмировал: «...крестьяне сбиты с толку — это факт, может быть, и грустный. Однако не еще ли более грустно, что сбиты с толку и мы, интеллигенты?»

[5] Имеется в виду издание: А. М. Добролюбов. Из Книги Невидимой. М., «Скорпион», 1905. Книга представляет собой собрание написанных Добролюбовым стихов, молитв, притч, проповедей и т. д. В ней ярко отразился анархический социально-религиозный бунт Добролюбова против современной ему цивилизации в различных ее проявлениях (Город, Образование, Искусство и т. д.). «Книга Невидимая» обличает «бывших единомышленников» Добролюбова (т. е. поэтов-символистов), содержит призывы к опрощению и «уходу». О Добролюбове см. статьи С. А. Венгерова и В. В. Гиппиуса в кн.: «Русская литература XX века. 1890—1910», т. I. Под ред. проф. С. А. Венгерова. М., 1914, и статьи А. С. Пругавина «Новая секта...» («Речь», 1913, № 3, 4/17 января) и «Декадент-сектант» («Русские ведомости», 1912, № 282, 7 декабря и № 287, 13 декабря). См. также статьи К. М. Азадовского: «Путь Александра Добролюбова» — в кн.: «Блоковский сб.», 3, с. 121—146, и «Блок и А. М. Добролюбов» — в кн.: «Тезисы I Всесоюзной (III) конференции „Творчество А. А. Блока и русская культура XX века“», с. 96—102.

Взгляды и личный пример Александра Добролюбова оказали на Клюева (после 1905 г.) огромное воздействие, о чем прежде всего свидетельствуют его письма к Блоку. (Об отношении Клюева к А. Добролюбову см. «Раннее творчество Н. А. Клюева», с. 194—195). Впоследствии влияние Добролюбова на Клюева ослабевает. Однако даже после Октябрьской революции Клюев возвращался к мыслям и словам Добролюбова, пытался приложить их к новой действительности. Так, в 1919 г. в одном из номеров уездной вытегорской газеты, литературный отдел которого в ту пору практически возглавлял Клюев, рядом со стихами С. Есенина, В. Кириллова, А. Ширяевца и самого Клюева (раздел озаглавлен: «Поэты великой русской революции») были помещены некоторые изречения Александра Добролюбова («Звезда Вытегры», 1919, № 62, 7 сентября).

6

〈Дер. Желвачева, 6 июня 1908 г.〉

Здравствуйте, г. Блок. Пишу Вам третье письмо за один май. От Вас не получал ни одного. Будьте добры, удостойте ответом, мне так хочется услышать Вас. Прошу Вас — не найдете ли возможным прислать мне книгу А. Добролюбова «Из книги Невидимой». Что-нибудь из поэзии. Я буду очень благодарен. Сообщите, куда можно посылать стихи, кроме «Трудового пути». Адреса каких-либо журналов. Не откажите.

Приветствую Вас

Олонецкая губ〈ерния〉. Вытегорский у〈езд〉, станция Мариинская, деревня Желвачева — Н. Клюеву

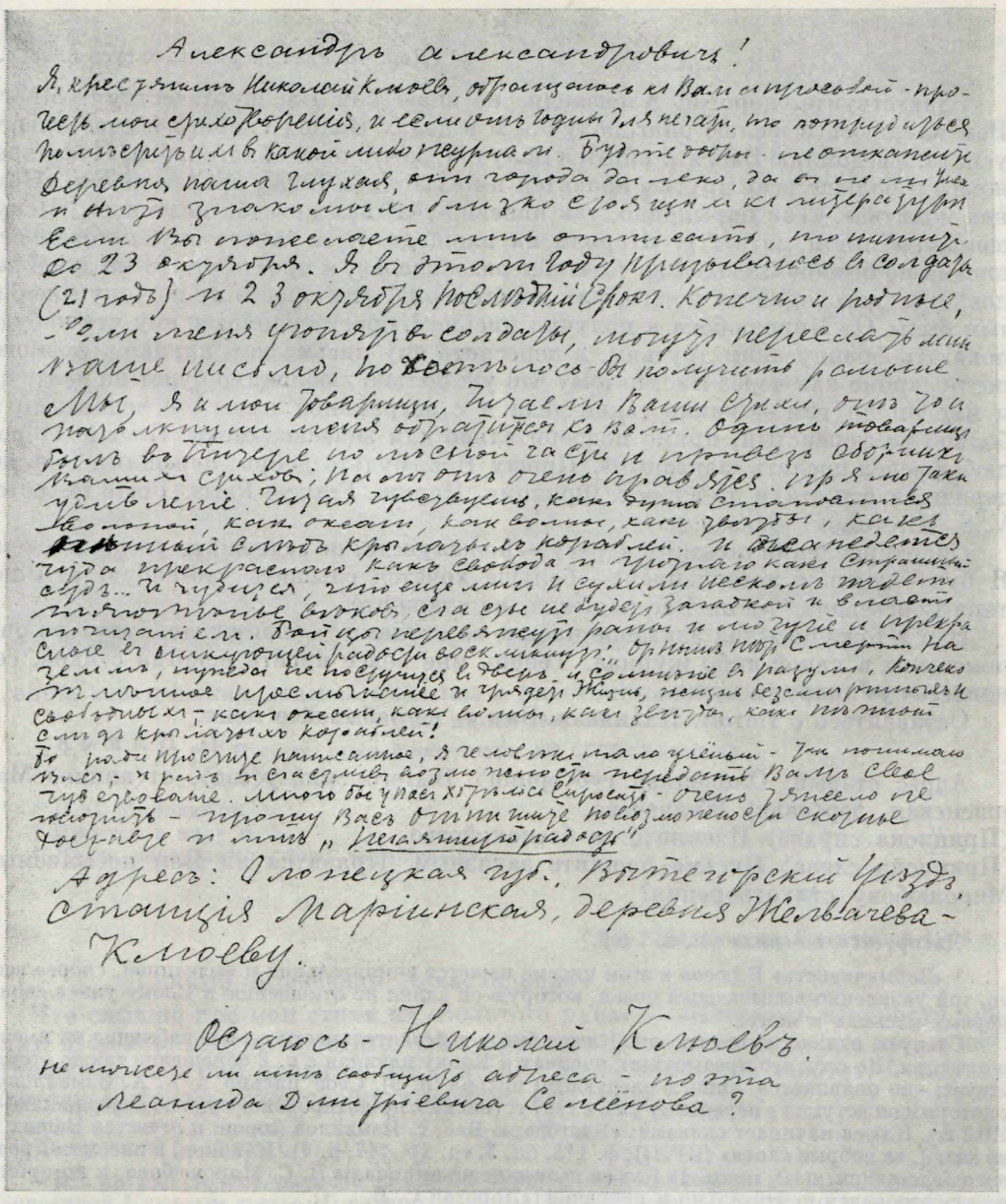
Открытка. Датируется по почт. шт.

7

〈Дер. Желвачева, 27 июня 1908 г.〉

Получил Ваши книги [1]. Очень благодарен. Жду ответа на стихотворения. Приветствую Вас.

Клюев



Александръ Александровичъ!
Я, крестьянинъ Николай Клюевъ, обращаюсь къ Вамъ съ просьбой - прочтя мои срамословія, и если они годны для печати, то потрудитесь поместить въ какой либо газетѣ. Будьте добры - неопасайтесь деревня наша глухая, отъ города далеко, да и не читаютъ ихъ здѣшніе близко съ ними не сходящіе интересуются. Во снисхожденіе мнѣ отписать, по крайней мѣрѣ до 23 октября. Я въ этомъ году призывался въ солдаты (21 годъ) и 23 октября послѣдній срокъ. Конечно и родные, - они меня упросятъ въ солдаты, могутъ переслать мои наши письма, но боюсь-бы получить рваные.
Мы, я и мои товарищи, читали Ваши стихи, они для нашего поколѣнія являются откровеніемъ. Одинъ товарищъ берегъ въ тюрьмѣ по листочкамъ газеты и прочелъ обо всѣхъ нашихъ стихахъ; Ницше онъ очень хвалитъ. Это я могу удивленіе. Читая Гиперборею, какъ будто становится высокой, какъ океанъ, какъ волны, какъ звѣзды, какъ бѣлый слонъ крылатый корабль. И вспоминается чудо прекрасное какъ свобода и ужасное какъ страшный судъ... И чудится, что еще мигъ и сумѣемъ песенкой тайной тончайшіе волокна сна сего не будетъ загадкой и влагать мечтанія. Вѣщій пѣснетворецъ рапсодъ и мудрецъ и прекрасный Слово въ ликующей радости воскликнулъ: „Орлиный взоръ Смерти на землѣ, пусть онъ не ослѣпнетъ въ звѣздѣ" и сомкнулъ въ разумѣ, конечно, глубокое преслѣдованіе и трудъ Жизни, пѣснь безсмертнаго и свободныхъ - какъ океанъ, какъ волны, какъ звѣзда, какъ тяжкій сонъ крылатыхъ кораблей!
Во рядѣ простое написалось, я человѣкъ малограмотный - Вы поймете меня, и рядъ въ стихахъ дозволю себѣ передать Вамъ свое чувствованіе. Много бы хотѣлось сказать - очень умѣло не говорить - прошу Васъ отписать возможность скорые свѣдѣнія и мнѣ „Печатникъ радость"

Адресъ: Олонецкая губ., Вытегорскій уѣздъ, станція Мариинская, деревня Желвачева - Клюеву.

Остаюсь - Николай Клюевъ.

Не можете ли мнѣ сообщить адресъ - поэта Леонида Дмитріевича Семёнова?

ПЕРВОЕ ПИСЬМО Н. А. КЛЮЕВА БЛОКУ
(СЕНТЯБРЬ — НАЧАЛО ОКТЯБРЯ 1907 Г.)

Автограф

Центральный архив литературы и искусства, Москва

Открытка. Датируется по почт. шт.

С 3 июня по 2 июля Блок находился в Шахматово (станция Подсолнечная, почт. отд. Солнечногорское). Адрес на открытке: «Николаевской железной дороги, станция Подсолнечная, сельцо Шахматово, Александру Блоку».

[1] Блок прислал Клюеву альманах «Белые ночи» (СПб., 1907) и сб. своих драматических произведений («Лирические драмы»), изданный в Петербурге в начале 1908 г. (см. п. 8, прим. 2 и 3). Отправленный Клюеву экземпляр «Лирических драм» хранится в Литературном музее Пушкинского Дома (Ленинград). На титульном листе — дарственная надпись: «Николаю Клюеву с приветствием от души Александр Блок 2 июня 1908. СПб» (см. наст. т., кн. 3, с. 82).

8

〈Дер. Желвачева, июль-август 1908 г.〉

Здравствуйте, дорогой Александр, не знаю как Вас по отечеству [1]. Много Вам кланяюсь и желаю благополучия и в делах Ваших скорого и счастливого успеха. Уведомляю Вас, что книги я получил, за что очень благодарен. Пуще прежнего и больше всех других нравятся в них только Ваши произведения: «Ночная молитва», «Так окрыленно, так напевно», «Я вам поведал неземное», «Искушение», «Сын и мать» [2] и «Король на площади» [3]. А насчет опубликованного письма не беспокойтесь, я не то чтобы разобиделся, а просто что-то на душе неловко: не договорил ли я чего, или переговорил, или просто не по чину мне битым быть. От Миролюбова я получил письмо [4], просит написать ему что-нибудь показать французским друзьям, а переслать ему письмо нет никакой возможности, кроме как через Вас, потому что уж больно любопытно будет на почте да и многим другим — какие такие дела я с заграницей имею [5] — человек-то я больно не форсистый, прямо подозрительно для знающих меня. Письмо Миролюбов велел послать «заказным». Прошу Вас, будьте добры, перешлите, не задерживая, эти стихи по адресу: Франция. Париж. France. Paris. Poste restante. V. S. Mirolubov. *Заказное*

Об отправлении по этому адресу — пожалуйста, не задержите уведомлением. Я буду ждать с нетерпением — больше хочется слышать что-нибудь от Виктора Сергеевича [6] — на Вас надежда, не откажите.

Вам я тоже посылал заказное письмо со стихами [7] — напишите, будут ли они помещены в какой-либо журнал. Теперь мне вовсе писать некогда стихов, сенокос,— у [8] народа нужда.

Оставайтесь с Богом. Кланяюсь Вам — не забывайте меня.

Н. К л ю е в

Адрес старый: Олонецкая губ〈ерния〉, Вытегорский у〈езд〉, ст〈анция〉 Маршенская, дер〈евня〉 Желвачева.

〈Приписка справа〉 Извините за беспокойство.

〈Приписка слева〉 Письмо пошлите заказным. Нравятся ли Вам посылаемые Миролюбову стихотворения?

Датируется по связи с п. 6, 7 и 9.

[1] «Забывчивость» Клюева в этом письме кажется сомнительной и вызванной, скорее всего, той уязвленно-вызывающей позой, которую он занял по отношению к Блоку уже в своих первых письмах к нему.

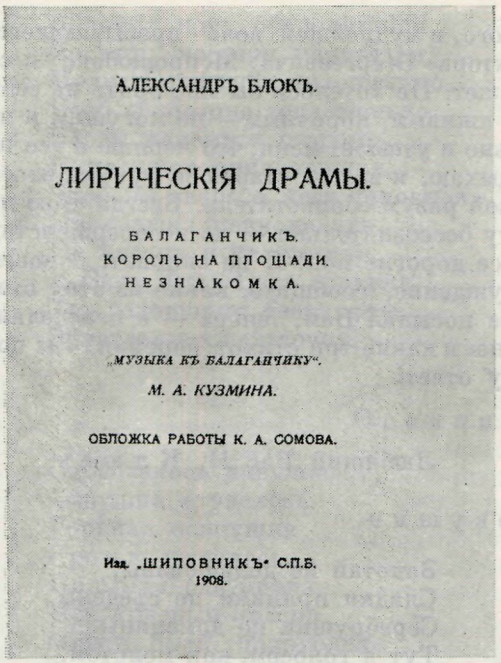
Следует, однако, заметить, что Клюев был в действительности весьма забывчив на имена и отчества. Во всех его предыдущих письмах к Блоку начиная с п. 2 обращение также отсутствует; оно появляется лишь в следующем письме (п. 9). Свое письмо к А. А. Измайлову, с которым он вступил в переписку уже в 1907 г. (письмо не датировано; судя по содержанию — 1913 г.), Клюев начинает словами: «Благодарю Вас, г. Измайлов (имени и отчества Ваших я не знаю), за добрые слова» (ИРЛИ, ф. 115, оп. 3, ед. хр. 147, л. 1). Наконец, в письме «С родного берега» (см. п. 9, прим. 1) Клюев путает даже инициалы В. С. Миролюбова, к которому всегда относился почтительно и искренне («Дорогой С. В. ...»).

[2] Эти стихотворения Блока были опубликованы в петербургском альманахе «Белые ночи», в котором, кроме того, содержались стихи Ю. Верховского, М. Волошина, С. Городецкого, В. Иванова, А. Кондратьева, В. Пяста, Ф. Сологуба и др. Блок представлен в этом альманахе стихотворным циклом «Томления весны» (15 стихотворений, среди них стихотворение об А. М. Добролюбове, озаглавленное «Одному из декадентов»). Одно стихотворение Блока «Белые ночи» («С каждой весною пути мои круче») помещено в конце альманаха.

[3] Одна из трех драм, составивших сб. «Лирические драмы» (см. п. 7, прим. 1).

[4] В. С. Миролюбов находился за границей с марта 1908 г. по март 1913 г. Его переписка с Клюевым, относящаяся к этому периоду, не обнаружена.

[5] После освобождения из тюрьмы (в июле 1906 г.) и вплоть до 1917 г. Клюев находился под наблюдением местных властей, что в частности заставляло его с осторожностью вести свою переписку. Это и было главной причиной, вынудившей Клюева обратиться к Блоку с просьбой о посредничестве между ним и В. С. Миролюбовым. В одном из писем к А. А. Измайлову (письмо не датировано; судя по содержанию — январь 1915 г.) Клюев рассказывает: «Почтовое отделение от меня далеко, письма идут через волостное правление, а там много всякого любопытствующего начальства, у которого я на дурном счету,— так что Ваше письмо, верно, попало Попу или Уряднику, а не то и самому Становому» (ИРЛИ, ф. 115, оп. 3, ед. хр. 147, л. 12).


АЛЕКСАНДРЪ БЛОКЪ.

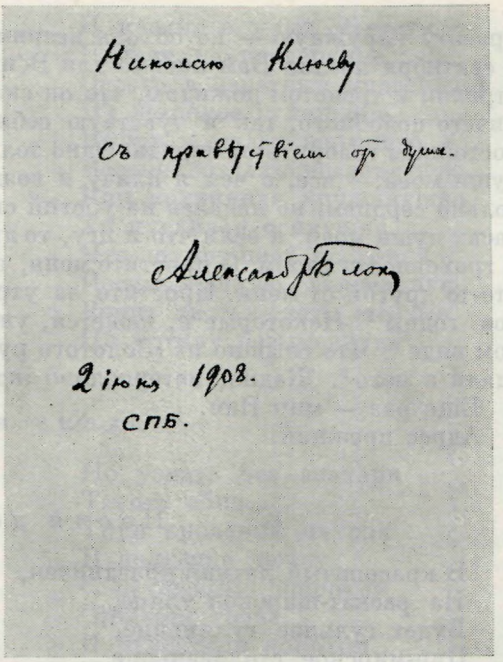
ЛИРИЧЕСКІЯ ДРАМЫ.

БАЛАГАНЧИКЪ.
КОРОЛЬ НА ПЛОЩАДИ.
НЕЗНАКОМКА.

„МУЗЫКА КЪ БАЛАГАНЧИКУ".
М. А. КУЗМИНА.

ОБЛОЖКА РАБОТЫ К. А. СОМОВА.

Изд. „ШИПОВНИКЪ" С.П.Б.
1908.


Николаю Клюеву
съ правом[illegible] гр. душа.
Александр Блок
2 іюня 1908.
СПБ.

БЛОК. «ЛИРИЧЕСКИЕ ДРАМЫ». СПб., 1908 С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ Н. А. КЛЮЕВУ ОТ 2 ИЮНЯ 1908 г.
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

[6] В. С. Миролюбов.
[7] Имеется в виду п. 5.
[8] Далее зачеркнуто слово «крещеных».

9

〈Дер. Желвачева, 1 сентября 1908 г.〉

Дорогой Александр Александрович.

Что слышно про мои стихи из «Золотого руна» — собираюсь вскорости прислать Вам еще много. Простите, что утруждаю Вас, напишите мне, что и как? Напишите, как Вам нравится эта статья? [1] Меня она очень заботит. О получении этого письма тоже прошу известить вскорости.

Датируется по связи с п. 10.

[1] Это письмо (точнее, записка на клочке бумаги) было приложено к большой, только что написанной Клюевым статье «С родного берега». Заказное письмо было, по всей видимости, отправлено Блоку в Петербург и оттуда переслано ему в Шахматово. Статья Клюева глубоко потрясла Блока. «Если бы ты знал, какое письмо было на днях от Клюева 〈...〉 Это — документ огромной важности (о современной России— народной, конечно), который еще и еще утверждает меня в моих заветных думах и надеждах»,— писал Блок Е. П. Иванову 13 сентября 1908 г. (VIII, 252). Прежде чем отправить статью во Францию, Блок собственноручно переписал ее. (На первом листе копии сверху — приписка рукой Блока: «Получ〈ил〉 11/IX08. Шахм〈атово〉»). Несколько отрывков из нее были затем приведены Блоком в его статье «Стихия и культура», написанной в конце 1908 г. Полный текст статьи см. в публикации К. М. Азадовского «Олонецкая деревня после первой русской революции» в кн.: «Социальный протест в народной поэзии» («Русский фольклор», XV). Л., 1975, с. 200—209.

10

〈Дер. Желвачева, середина сентября 1908 г.〉

Здравствуйте, дорогой Александр Александрович. Много Вам кланяюсь и желаю от Господа — блага и Духа осенителя — мира душевного. Воспевать

красоту наружную — не обходя незримого, в мудрейшей воле пребывающего. 1 сентября послал Вам письмо для В⟨иктора⟩ С⟨ергеевича⟩ М⟨иролюбова⟩ и со страхом и трепетом дожидаю, что он скажет. Не хотелось бы мне брать на себя ничего подобного, так я чувствую себя лживым, порочным— не могущим и не достойным говорить от народа. Одно только и утешает меня, что черпаю я все из души моей,— все, о чем я плачу и воздыхаю, и всегда стараюсь руководиться только сердцем, не надеясь на убогий свой разум-обольститель. Всегда стою на часах души моей, и если что и лгу, то лгу бессознательно — по несовершенству и греховности своим. О простите меня, все дорогие мои! Я не виноват, виновен кто-то другой от меня. Простите за утруждение, сообщите, какие из этих стихов годны [1]. Некоторые я, кажется, уже посылал Вам, теперь — в переделанном виде [2]. Что слышно из «Золотого руна» и какие три стихот⟨ворения⟩ Вы послали в него [3]. Жадно, нетерпеливо жду ответ!

Еще раз — мир Вам.

Адрес прежний.

Любящий Вас Н. Клюев

Песня девушки

В красовитый летний праздничек,
На раскат-широкой улице,
Будет гульное гуляньице,
Пир-мирское столованьице.
Как у девушек-согревушек
Будут поднизи плетеные,
Сарафаны золоченые.
У дородных добрых молодцев,
Мигачей и залихватчиков,
Перелетных зорких кречетов,
Будут шапки с кистью до уха,
Опояски соловецкие
Из семи шелков плетеные.
Только я млада о гульбище
Выйду в гуне — старой рябуше,
Нищим лыком опоясана.
Сгомонятся красны девушки —
Белолицые согревушки,
Как от то́ропа повального
Отшатятся на сторонушку.
Парни ражие удалые
За куветы встанут талые,
Притулятся на завалины
Старики, ребята малые —
Диво дивное увидючи,
Промежду себя толкуючи:
Чья здесь ведьма захудалая
Ходит в землю носом клюючи.
Уж не горе ли голодное,
Лихо злое, подколодное,
Забежало частой ра̀ской,
Ко́рбой темною, дремучею,
Через ля̀гу — грязь топочую
Во селенье домовитое,
На гулянье красовитое?
У нас время не догуляно,
Зелено вино не допито,
Молодцы не доцелованы,
Запотай не долюбованы,
Сладки пряники не съедены,
Серебрушки не доменяны.
Тут я голосом, как молотом,
Выбью звоны колокольные!
Не дарите меня золотом,
Только слухайте, крещеные!
Мне не спалось ночкой синею,
Перед Спасовой заутреней.
Вышла к озеру по инею,
По росе медвяной, утренней.
Стала озеро выспрашивать,
Оно стало мне рассказывать
Тайну тихую поддонную —
Про святую Русь — крещеную.
От озерной прибауточки —
Водяной, потайной басенки,
Понабережье насупилось,
Пеной-саваном окуталось.
Тучка сизая заплакала —
Слезным бисером прокапала,
Рыба в заводьях повытухла,
На лугах трава повызябла.
Я поведаю на гульбище
Праздничанам-залихватчикам,
Что мне виделось в озерышке,
Во глуби, на самом донышке.
Из конца в конец я видела
Царство белое кручинное
Все столбами огорожено.
Меж столбов брусы дубовые —
Поперечины положены,
Петли новые, пеньковые
Хомутами заморожены.
Кто завечен Свету Белому,
Доброрадью человечьему,
Кто в пустыне верным пастырем,
На земле смиренным пахарем,

В темну ночь оборонителем,
Во миру честном рачителем,
Молит Солнышко тихошенько,
Чтоб пекло оно теплёшенько,
Чтобы малому и старому
Была жира приволожная,
Чтоб ни тварь в лесу голодная,
Ни гадюка подколодная,
Не кусали и не жалили,
А Свят Духа Бога славили,
Тот головушку безвинную
Залагает во петелочку,
И казнят его без милости
Палачи немилосердные.
Оттого в заветный праздничек
На широкое гуляньице,
Выйду я млада непутною,
Встану вóтдаль неславутною,
Как кручинная крушинушка,
Та пугливая осинушка,
Что шумит-поет по осени
Песню жалкую, свирельную,
Ронит листья-слезы желтые
На могилу безыменную [4].

Осенняя сказка

Сдивовалось дивушко,
Бедушка стряслась.
Горькая осинушка
Кровью изошлась.
Полымем разубрана,
Вся красным-красна,
Может быть, подрублена
Топором она.
Может, червоточина
Гложет сердце ей.
Черная проточина
Въелась меж корней.
Облака по просини
Крутятся в кольцо...
От кручинной осени
Вянет деревцо.
Не узнать без знахаря
Тяготу обид...
Труп кровавый пахаря
В полюшке лежит.
С заунывным шорохом
Стелется трава,
И ружейным порохом
Пахнет синева.
Кутает долинушку
Заревой багрец...
Видела осинушка
Пахаря конец.
И горючей жалостью
В сердце пронзена
До корней кровавостью
Изошлась она [5].

Сентябрь 〈1908 г.〉

Датируется по содержанию и на основании помет Блока в «Записной книжке» 21 и 28 сентября: «Письма Клюева» (ЗК, 114—115).

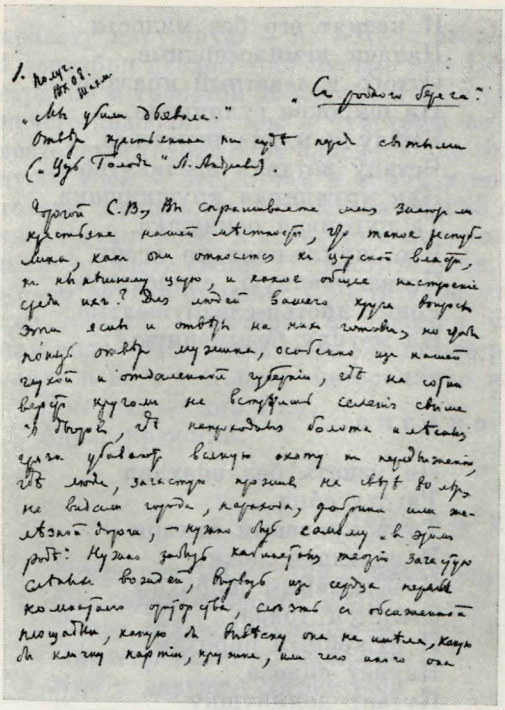
[1] К данному письму было приложено пять стихотворений: «Я говорил тебе о боге» (над стихотворением — надпись: «Посвящается Л. Д. Семенову»), «Любви начало было летом» (с припиской в конце стихотворения: «Сентябрь 1908»), «Песня девушки» («В красовитый летний праздничек»), «Песня о Царе-Соколе и о трех птицах божиих» и «Осенняя сказка». После стихотворения «Я говорил тебе о боге» — приписка, сделанная Клюевым: «Адрес. Станция Мариинская. Олонецкой губ〈ернии〉, Вытегорского уез〈да〉, деревня Желвачева».

Первые два стихотворения были напечатаны в журнале «Золотое руно», 1908, № 10, с. 25—26. К каждому из них рукой Блока (красным карандашом) сделана приписка: «Зол〈отое〉 Руно, 1908, № 10». Рядом со стихотворением «Я говорил тебе о боге» зачеркнуто несколько слов, написанных рукой Блока (красным карандашом); можно разобрать: «20.X.08. Моск〈овский〉 журнал».

Стихотворение «Песня о Царе-Соколе и о трех птицах божиих» Блок отправил в петербургский журнал «Бодрое слово», в котором он тогда сотрудничал (приписка рукой Блока: «Посл〈ал〉 24 II 〈т. е. 24 февраля 1909 г.〉 в „Бодрое слово“»). Озаглавленное «Песня о Соколе и о трех птицах божиих», это стихотворение было напечатано в «Бодром слове» (1909, № 7, апрель, с. 1—6); печатный текст почти полностью совпадает с рукописным (См. также п. 19, прим. 1).

«Песня о Соколе и о трех птицах божиих» была затем помещена Клюевым в журнале «Новая земля» (1911, № 21, июль, с. 10—11) и включена в первое издание сб. «Сосен перезвон»; позднее (с изменениями в тексте) напечатана в «Лесных былях» и (с новыми изменениями) в «Песнослове» и в сб. «Медный кит».

[2] Имеются в виду стихотворения «Я говорил тебе о боге» и «Любви начало было летом», находившиеся среди стихотворений, которые Клюев отправил Блоку вместе с п. 2. Три из них были позднее (видимо, летом 1908 г.) посланы Блоком в «Золотое руно». Поскольку опубликованный текст полностью совпадает с текстом автографов, приложенных к данному пись-



ПЕРВАЯ СТРАНИЦА СТАТЬИ
Н. А. КЛЮЕВА «С РОДНОГО БЕРЕГА»,
ПЕРЕПИСАННОЙ БЛОКОМ
(С ЕГО ПОМЕТОЙ)
Центральный архив литературы и искусства, Москва

му, можно предположить, что Блок, получив его, скопировал оба стихотворения в новой редакции и вторично отправил их в «Золотое руно».

[3] Какое третье стихотворение было отправлено Блоком в «Золотое руно», установить не удалось.

[4] Это стихотворение вместе с «Песней о Царе-Соколе...» Блок, как видно из приписки, также отправил 24 февраля 1909 г. в журнал «Бодрое слово», где оно и было вскоре напечатано под названием «Современная былина» («Бодрое слово», 1909, № 5, март, с. 39—43). Многие слова, особенно местные, были в этой публикации либо искажены, либо исправлены на более понятные; строки 73—90 были опущены (вероятно, по цензурным соображениям). Впоследствии с незначительными исправлениями Клюев перепечатал это стихотворение (под названием «Современная былина») в журнале «Новая земля» (1911, № 20, июль, с. 3—4). Затем это стихотворение, озаглавленное «Лесная быль» и несколько сокращенное, вошло в сб. «Сосен перезвон» (во втором издании отсутствует) и в сб. «Лесные были». Под заголовком «Обидин плач» и с новыми строками перепечатано в «Песнослове» (раздел «Мирские думы») и в сб. «Изба и поле» (Л., 1928).

[5] Рядом со стихотворением — приписка рукой Блока (красным карандашом): «Посл⟨ал⟩ 10.XI⟨1908⟩ в «Лебедь».

Впоследствии стихотворение в измененном виде было напечатано под названием «Осинушка» в журнале «Заветы» (1913, № 8) и вошло затем в сб. «Лесные были»; позднее — в «Песнослов» и сб. «Медный кит».

11

⟨Дер. Желвачева, 30 сентября 1908 г.⟩

Получил Ваше письмо и книгу «Земля в снегу». Благодарю Вас, что не забываете — подробно отпишу, как только получу Ваш ответ на второе после «*рукописи*» письмо со стихами [1]. Сейчас ухожу и когда приду — тогда напишу. Думаю — прошу Вас — не забывать меня.

Мир Вам. Н. К л ю е в

Возвращусь я скоро.

Открытка. Датируется по почт. шт.

[1] Имеется в виду п. 10.

12

⟨Дер. Желвачева, конец октября 1908 г.⟩

Дорогой Александр Александрович, тронут Вашей добротой ко мне, благодарен за присланную книгу «Земля в снегу»; красивая книга, прекрасны заглавие и внешность ее; но я очень стесняюсь много говорить про нее. Вы ведь сами человек образованный, имеете людей, понимающих искусство и творящих прекрасное, но что по-ихнему неоспоримо хорошо, то по-моему, быть может, безобразно и наоборот. Взгляды на красоту больно заплевывать, обидно и горько может и Вам выслушивать несогласное с этими взглядами. Если я читал Вашу «Нечаянную радость» и, поняв ее по-своему, писал Вам про нее кой-что хорошее, то из этого еще не значит, что я верно определю и «Земля в снегу». До «Нечаянной радости» я не читал лучшего, а потому и прельстился ею, как полустер-

той плитой, покрытой пестрыми письменами, затейливо фигурными знаками далекой, незнаемой руки, в которых нужно разбираться с тихостью сердца и с негордостью духа. Я не умею читать книгу с пеной у рта, и если вижу в написанном много личной гордости, самомнения, то всегда смотрю на это, как путник на развалины Ниневии: «Вот, мол, было царство и величие и слава, а стал песок попираемый» [1]. «Нечаянная радость» веет тихой мудростью, иногда грешной, и, видимо, присущей Вам острой страстью, умно прикрытой рыцарским обожанием «к прекрасной», кой-где сытым, комнатным благодушием, чаще городом, где идешь, и все мимолетно [2], где глухо и преступно, где господином чувствует себя только богач, а несчастных, просящих хлеба, никому не жаль [3], изредка — самомнительным, грубо-балаганным фокусом. «Нечаянная радость» — калейдоскоп, где пестрые камешки вымысла, под циркуль и наугольник, кропотливой работой расположены в эффектный узор, быстро вспыхивающий и еще мгновеннее угасающий. Отдаленная, уплывающая в пьяный сумрак городских улиц [4] музыка продрогшего, бездомного актерского оркестра, скрашенная двумя-тремя аккордами псалтири. Уличная шарманка с сиротливой птичкой, вынимающей за пятачок розовый билетик счастья, с хозяином полумужчиной, с невозмужалой [5] похотью в глазах, с жаждой встречи с вольной девой в огненном плаще [6], который играет и поет только для того, чтобы слушали [7]. Я недоумеваю, за что бранили меня [8] публицисты, когда я высказал Вам впечатление, оставшееся от чтения этой книги, по бумажной ли привычке лаяться, по подозрению ли Вас в рекламе (хотя я не знаю, что было рекламного в моих словах) или по брезгливому представлению о нашей серости, по барскому отношению к простому человеку... Бог с ними и с публицистами, не для них я пишу Вам, но обидно, что люди, считающие себя лучшими в царствии, светом родной земли, духовно не выше публики, выведенной в «Царе Голоде» в картине «Суд над голодными» [9], родственны с нею во взглядах на крестьянина: «оно говорит...», «оно не понимает...», «в таких случаях нужен, казалось...» Отчего милостивые господа хохочут? — спрашиваю я у них.

Отлил пулю помещик Энгельгард, что народ фефёла [10] — ему есть вера. Скажу я, что Ваши стихи красивы,— «господа» публицисты догадаются: «Верно Блок дал на сороковку». Мне чувствуется, что отношения людей литературы умышленно нелепы и лживы. Литературные судьи, как и уголовные, избравшие своей эмблемой виселицу, служат смерти, осуждают во имя дьявола, а не во имя Духа истины, а потому и дела рук их ни на волос не устраняют лжи жизни— безобразия отношений человеческих, а прекрасному даже вредят, потому что оно всегда робкое, по каплям нарождающееся.

Нечто по каплям урожденное вижу я и в новой книге «Земля в снегу» —молитвенное пенье предвесенних ласковых капель, борьбу тела с духом. Земля в снегу... Небо как голубой далекий брат [11], чуть слышны колокола [12], над равниной бело и смертно [13], как тонкий сон надвигается и кутает безбрежной тишиной «предчувствуемое». Что оно? Задумчивая ли голубоокая Мэри [14], легковейная ли весна [15], палач ли, вобьющий в ладонь роковой гвоздь [16], да свершится «последнее» — перед ликом Родины суровой закачается на кресте завершительная жертва? [17] Земля в снегу — символ голубиной чистоты и Духа высоты, но старый грех, каранирная <?> мусорность жизни, уродливой изначала, изъязвили целомудренный белый покров бурыми, как сукровица, проталинами «культурной» страсти, за которой, несмотря на пышный художественный альков, настойчиво маячит мертвый, провалившийся рот [18]. Смертная ложь нашего интеллигента это, как мне кажется, не присущее ему по Духу вавилонское отношение к женщине. Многие стихи из Вашей книги похабны по существу, хотя наружно и прекрасны — сладкий яд в золотой, тонкой чеканки чаше, но кто вкусит от нее? Питье усохнет, золотой потир треснет, выветрится и станет прахом. Смело кричу Вам: не наполняйте чашу Духа своего трупным ядом самоуслаждения собственным я — я!

В общем «Земля в снегу» проще «Нечаянной радости», меньше веет городом, а по заголовкам и выпискам из прошлых поэтов знакомее при чтении. Но вы-

писки почти над каждым стихом как будто выдают тайную робость перед чужим суждением [19]. (Прикрываться авторитетом — мудрый прием рецидивиста [20], указывающего судье на Англию как на оправдание своих дел). Отдел «Вольные мысли» — мысли барина-дачника, гуляющего, пьющего, стреляющего за девчонками «для разнообразия» и вообще «отдыхающего» на лоне природы. Никому это не нужно, кроме Чулкова, коему посвящены эти «Мысли».

Милы и родны стихи: «В этот серый, летний вечер...», «Русь» (без строчки «И ведьмы тешатся с чертями»), «Мы встретились с тобою в храме», «Осенняя любовь», «Прошли года», «О несказанном», «Я насадил мой светлый рай», «Колдунья», «Инок», «В четырех стенах»,— принимаю — старые мысли в них — первые четыре и шестой стихи. «Прости» [21].

Стихотв⟨орения⟩ «Песельник», «Пляска» — балаганные прищелкивания про Таньку и Ваньку.

Я читал их на беседе (посиделке), девки долго смеялись над словом «лови лесной тумана косой» [22], а в «Пляске» слово «лютики» будто с того света свалилось [23], незнакомое, уродливое, смешное, как барыня в буклях, с лорнетом и в плиссе, попавшая в развеселый девичий хоровод, где добры молодцы — белы кречеты, красны девушки — што малинушка. Я не упоминаю про внешность стихов, потому что не придаю ей, кроме музыкального, никакого значения.

Земля в снегу... Верю, что будет весна, найдет душа свет солнца правды, обретет великое «Настоящее», а пока надтреснутый колокол пусть звенит и поет и вместе с вьюгой, лесными тропами и оврагами, на огни родных изб несется звон его — вспыхивает, как ивановский червячок в сумерках человеческих душ, отчего длиннее и кручиннее становится запевочка, крепче думушка сухотная неотпадная, голее горюшко голое, ярче и больнее ненависть зеленоглазая, изначальная ярость Земли-матери, придавленной снегами до часа и дня урочного [24].

Что Вы думаете про такое стихотворство, как моя «Песня о царе соколе и о трех птицах Божиих»? Можно ли так писать — не наивно ли, не смешно ли [25]? Если пожелаете, то опубликуйте это письмо [26], а потом пришлите мне газету. Простите, если что неладно — не огорчайтесь, мне так жалко с Вами расстаться. Буду ждать ответа — мир Вам — Н. К л ю е в.

Датируется на основании письма Блока к матери от 2 ноября 1908 г.: «Всего важнее для *меня* — то, что Клюев написал мне длинное письмо о „Земле в снегу", где упрекает меня в интеллигентской порнографии (не за всю книгу, конечно, но например, за „Вольные мысли")» (VIII, 258).

[1] Ниневия — древний город в Северной Месопотамии, разрушенный мидийцами в 612 г. до н. э. Неоднократно упоминается в Ветхом Завете (см. напр.: Книга пророка Наума, Книга пророка Софонии, 2, 13—15 и др.).

[2] Вольно процитированная Клюевым первая строка стихотворения «Иду — и все мимолетно» (сб. «Нечаянная радость»).

[3] Перифраз двух строк из стихотворения Блока «Еще прекрасно серое небо»: «Еще несчастных, просящих хлеба/Никому не жаль, никому не жаль!» (сб. «Нечаянная радость»).

[4] Перифраз строки «Уплываешь ты в сумрак снеговый» из стихотворения Блока «Там в ночной завывающей вьюге» (сб. «Нечаянная радость»).

[5] Рукой Блока исправлено: «Не возмужавшей».

[6] «Вольная дева в огненном плаще» — строка из стихотворения Блока «Иду — и все мимолетно» (сб. «Нечаянная радость»).

[7] Далее зачеркнуто одно слово.

[8] Далее зачеркнуто: «и Вас».

[9] «Царь Голод» — драма Л. Андреева (1908) — своеобразный отклик на события первой русской революции. Третья картина драмы называется «Суд над голодными». Появление одного из голодных, символизирующего все крестьянство, сопровождается следующими репликами из зала, где расположились «сытые»: «Оно, быть может, кусается», «оно кланяется», «оно не понимает» и т. п. «Отчего милостивые господа хохочут?» — спрашивает голодный. На это следует ответ: «Это не твое дело, голодный. Ты этого не поймешь. Ты что сделал, голодный?» — «Мы убили дьявола»,— отвечают крестьяне; последние слова послужили Клюеву эпиграфом к статье «С родного берега».

[10] Имеется в виду статья публициста М. А. Энгельгардта «Без выхода», опубликованная в либеральной петербургской газете «Свободные мысли» (1908, № 35, 7 января, с. 1—2). Объясняя поражение русской революции бессилием и слабостью русского народа, Энгель-

гардт безапелляционно называл его «фефёлой». Одним из откликов на статью Энгельгардта была напечатанная в журнале «Наш журнал» (1908, № 1, с. 62—63) анонимная заметка «В черные дни. (Из письма крестьянина)», автором которой был Клюев. (Обоснование авторства Клюева дается в статье «Раннее творчество Н. А. Клюева», с. 200—204).

[11] Перифраз нескольких строк стихотворения «Я в четырех стенах — убитый» (сб. «Земля в снегу»). У Блока: «А в небе — золотом расшитый/Наряд бледнеет голубой. Как сладко, и светло, и больно,/Мой голубой далекий брат» и т. д.).

[12] Строка из стихотворения «О несказа́нном» (сб. «Земля в снегу»).

[13] Контаминация образов «снежной равнины» и «белой смерти», характерных для сб. «Земля в снегу» (см. прежде всего циклы «Снежная маска», «Заклятие огнем и мраком»).

[14] Слова из стихотворения «Нет имени тебе, мой дальний» (сб. «Земля в снегу»).

[15] Слова из стихотворения «В синем небе, в темной глуби». Это стихотворение, наряду с предыдущим («Нет имени тебе, мой дальний»), вошло в состав цикла «Мэри» (сб. «Земля в снегу»).

[16] Перифраз двух строк из стихотворения «Когда в листве сырой и ржавой» (сб. «Земля в снегу»; цикл «Осенняя любовь»). У Блока: «Когда палач рукой костлявой/Вобьет в ладонь последний гвоздь».

[17] Перифраз двух строк из того же стихотворения. У Блока: «Пред ликом родины суровой Я закачаюсь на кресте».

Мотив жертвы (точнее — революционной жертвы), непосредственно соотнесенной с образом Христа, станет одним из ведущих в творчестве Клюева 1909—1911 г. Вполне вероятно, что именно строки блоковского стихотворения «Когда в листве сырой и ржавой» вдохновили Клюева на создание ряда стихотворений о революционере-мученике. Уже в приложении к следующему письму Клюев присылает Блоку несколько произведений такого рода («Завещание», «И опять я мудро весел», «Под вечер»). Следует также подчеркнуть, что «голгофская» тема в поэзии Блока и Клюева — продолжение и развитие определенной традиции, уже существовавшей в русском революционно-гражданском искусстве. «Сочетание богоборческого (или атеистического) и антиклерикального пафоса с апологией Христа, понимаемого как жертвующий собой за народное дело революционер — характерная черта революционной и демократической культуры XIX в.»,— пишет З. Г. Минц в кн.: «Лирика Александра Блока. Вып. 3. Александр Блок и традиции русской демократической литературы XIX века» (Тарту, 1973, с. 99).

[18] Вольно цитируемая Клюевым последняя строка стихотворения «Не пришел на свиданье» (сб. «Земля в снегу»). У Блока: «Провалился мертвый рот».

[19] Значительная часть стихотворений сб. «Земля в снегу» имела эпиграфы, заимствованные из произведений самых различных авторов (Платон, Гейне, Ибсен, Лермонтов, Тютчев, Фет, Ап. Григорьев, Вл. Соловьев, Л. Андреев, С. Городецкий и др.). В последующих изданиях Блок отказался от большинства эпиграфов, а также снял или изменил многие названия.

[20] В подлиннике: рецедевиста.

[21] Заголовки и первые строки стихотворений сб. «Земля в снегу» («В этот серый летний вечер» — первая строка стихотворения «Цыганка»; «Мы встретились с тобою в храме» — первая строка стихотворения «Холодный день»; «Осенняя любовь» — цикл, состоящий из трех стихотворений; «Я насадил мой светлый рай» — второе стихотворение из цикла «Сын и мать»).

[22] Неточно цитируемая Клюевым строка из стихотворения «Песельник». У Блока: «Эй, девка, собирай лесной туман косой!» В «Собрании стихотворений» (1911—1912) «Песельник» отсутствует.

[23] Клюев имеет в виду следующие строки из стихотворения «Пляска»: «Эй, желтенькие лютики,/Весенние цветки!» В «Собрание стихотворений» вошло без заглавия.

О различном понимании фольклора у Блока и Клюева пишет В. Г. Базанов, сопоставляя в частности блоковскую «Пляску» и клюевскую «Плясею» (В. Б а з а н о в. Олонецкий крестьянин и петербургский поэт.— «Север», 1978, № 8, с. 106—108).

[24] Клюев использует в этом отрывке слова и образы из блоковского предисловия к сб. «Земля в снегу». У Блока: «Надтреснутый колокол мерно качается и поет серебряным голосом 〈...〉 Я знаю сам страны света, звуки сердца, лесные тропинки, глухие овраги, огни в избах моей родины 〈...〉 И снега, застилающие землю — перед весной» и т. п.

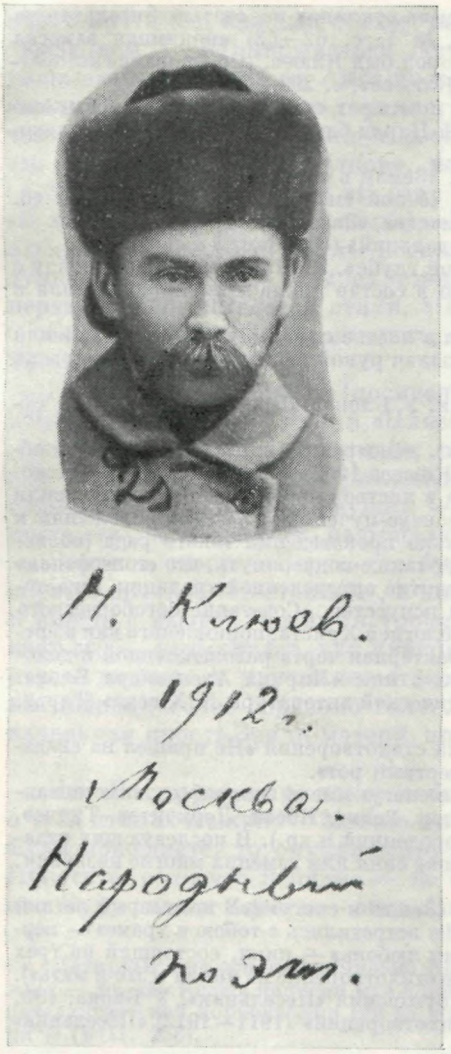
[25] См. п. 10, прим. 1. Вопрос Клюева не случаен. Это стихотворение (как и несколько других, ему родственных) знаменует собой начало нового «лиро-эпического» этапа в его поэтическом творчестве (см. подробнее: «Раннее творчество Н. А. Клюева», с. 211—212).

[26] Блок действительно предполагал напечатать это письмо Клюева. «Письмо его *вообще* опять настолько важно, что я, кажется, опубликую его»,— сообщал он матери 2 ноября 1908 г. (VIII, 258). Публикация не состоялась, однако раздумья над этим письмом Клюева отражены в письме Блока к матери от 5—6 ноября 1908 г. и в докладе «Россия и интеллигенция», прочитанном 13 декабря 1908 г. в Религиозно-философском обществе (см. прим. М. И. Дикман к письму Блока от 5—6 ноября 1908 г.— VIII, 594).

13

〈Дер. Желвачева, ноябрь—декабрь 1908 г.〉

Простите, Бога ради, дорогой Александр Александрович, за мое письмо. Быть может, я холодно отнесся к тому, что требует теплоты, благоговения, про-



Н. А. КЛЮЕВ

Фотография из альбома Н. М. Гариной с ее надписью: «Н. Клюев, 1912 г., Москва. Народный поэт»
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

никновенного внимания. Простите меня, не омрачайте своих образов моей грубостью, ибо Вы истинны в «своей» правде, без которой Вы не художник, и только теперь я так больно почувствовал это. Я так тоскую, что не могу всего высказать Вам, ибо многое не укладывается в буквы, но я знаю, Вы бы поняли меня на словах и были бы светлы. Не знаю, что писать в «Русскую мысль» [1], я ничего из новых писателей не читал, окромя «Трудового пути», Ваших книг да «Царя Голода»; газет я тоже не читаю, разве когда в городе в чайной почитаешь «Свет» [2].

Получил из Москвы, Скатертный переулок, дом 13, кв. 21 денег за стихи 3 рубля 15 копеек, но не знаю, из Золотого ли руна они или нет, получал их отец и не посмотрел перевод, а на отрезном купоне журнального имени не прописано, а только адрес с изображением лебедя [3].

Посылаю В〈иктору〉 С〈ергеевичу〉 М〈иролюбову〉 эту рукопись. Стихотворение «*Ты разлюбила*» [4] он хвалил, но не успел поместить, а потому присылаю его Вам снова. Извините за беспокойство, за мою навязчивость. Быть может, все скоро отойдет от меня.

Мир Вам и свет.

〈Приписка к стихотворению «Победителям» [5]〉 В «Русскую мысль» — думаю писать — и про литературу, но только сколько знаю, а так в общем могу написать свои мысли [6]. Как Вам кажутся эти стихи [7]. Не помню, были ли они Вам присланы. «Возвращение» [8] — переделано.

〈Приписка к стихотворению «Зимняя сказка» [9]〉 «Слово» [10] нужно отдельным листом и ни отнюдь иначе. Так передайте ему.

〈Приписка к стихотворению «Под вечер» [11]〉 Еще раз напоминаю Вам, что если стоит, то опубликуйте мое письмо без урезок. В〈иктору〉 С〈ергеевичу〉 собираюсь писать. Не огорчайтесь, если что не ладно, прошу Вас. Я всегда боюсь за свои слова, все кажется плохо и не так. Буду ждать ответ. Привет и мир Вам. Любящий Вас Н. К. Адрес старый.

*

Прошли те времена, когда нелицемерно
Мы верили с тобой в божественность небес,
На звездную лазурь взирая суеверно
В предчувствии святых несбыточных чудес.
Без чуда небеса, поблекнув, отсияли,
Души не озарил полночный звездопад,
Украшенный чертог безумно мы искали,
А обрели тюрьму и мрачный каземат.

Безвинною четой, подвергнуты изгнанью,
В краю, где гаснет жизнь в пустынной тишине,
Не верим больше мы обманному сиянью
Созвездий золотых, горящих в вышине.
Сосновый дымный сруб, занесенный метелью,
Для нас стал алтарем таинственно-святым,
Где зажигает сны над снежною постелью,
Как звезды в небесах, незримый херувим [12].

*

Ты разлюбила мир иконы,
Мерцанье кроткое лампад,
Собора белые колонны
И монастырский старый сад.
С тоской глубокою во взгляде,
Лицом девически светла,
В старинном клетчатом наряде
Ты в город каменный пришла.
Гуляешь ночью до рассвета,
А днем усталая сидишь,
И перья смятого берета
Иглой неловкою чинишь.
Такая хрупко испитая
Рассветным кажешься ты днем,
Моя квартира холостая
Пропахла пудрой и бельем.

По ней слоняешься небрежно
Ты вечерами без огня,
Зовет и тянет неудержно
Соблазном улица тебя.
Томит загадкою красивой,
Сулит грядущее простить,
И ты уходишь торопливо,
Боясь мгновенье упустить.
А утром смотришь богаделкой
Так виновато глубоко,
Берет с кричащею отделкой
Забросив в угол далеко.
Сидишь убито, чуть не плача,
Потупив судорожный взгляд...
Тебя постигла неудача:
Из моды вышел твой наряд [13].

Возвращение

Посв. Леониду Семенову

Помню я обедню строгую,
Позолоту царских врат,
Свитый млечною дорогою
Ряд мерцающих лампад.
Солею, ковром покрытую,
Тени синие углов,
Над толпою, тесно сбитою,
Тяжкий гул колоколов.
Опьяненный перезвонами,
Гулом четко золотым,
Дал обет я пред иконами
Стать блаженным и святым.
Но в ответ мольбе медлительной
Помню: с выси голубой
Голос ясно повелительный
Мне ответил: Ты не мой.
С той поры я тенью серою
По земле скитаться стал,

И уж больше с детской верою
Откровенья не искал.
Минул срок грехопадению,
И посланец горних сил
К позабытому смирению
Нечестивца возвратил.
Был он белый и сияющий
С ветвью райскою в руке,
Перед ним, спасенья чающий,
Преклонился я в тоске.
И услышал уходящие
В вечность темную года,
Разгадал слова горящие
В книге жизни и суда.
Знаки замысла предвечного
Зодиака и креста,
И на диске солнца млечного
Лик прощающий Христа.

*

Все напевней и благостней звоны,
Колокольные выси темней.
Выходи на вечерние склоны
Убаюканных звоном полей.
Омрачаются дымкою ночи
В небесах заревые цветы,
Надовратного ангела кротче

Пред иконой склонилася ты.
Помолись о сияющем лете,
О светилах в пространстве ночном,
Обо всех, кто томится на свете
Одиноким во мраке глухом.
Помолись о безбурных возвратах
Моряков в океанах седых,

Об угасших в сырых казематах,
Неоплаканных, юных, святых.
Отлетят лебединые зори,
Мрак и вьюги на землю сойдут,
И на тлеюще-дымном просторе
Безнадежно молитвы замрут [14].

*

И опять я мудро весел,
Синеок, как глубь озер.
На сафьяне старых кресел
Тот же дремлющий узор.
Те же ветхие обои
Догорают в тишине,
Но в беззвучности покоя
Роковое мнится мне.
Поцелуй и шопот клятвы,
Умереть и жить любя,—
Накануне судной жатвы

Побелевшие поля.
Кто я? Кто я невечерний,
Не рассветный, не дневной,
В Отчем Царствии последний,
На земле полусвятой?
И не станет ли, как тучке,
Мне родною синева...
На терновника колючке
Кровь — заметная едва.
Кто прошел стезею правой,
Не сомкнув хвалебных уст...
Шелестит листвою ржавой
За окном мерновый куст:
Чтоб на Божьем аналое
Сокровенное читать,
Надо тело восковое
На заклание отдать [15].

Пловец

Нужны цари из Истинного Града,
Умеющие Башню различать.
Данте

Посвящается А. Блоку

В страну пророков и царей
Я челн измученный направил
И на безбрежности морей
Творца Всевидящего славил.
Рукою благостной Господь
Развеял сумрак непогодный
И дал мне светлую милоть
И пояс, радуге подобный.
Молниевиден стал мой лик
И ясновидящ взор туманный,
Прозрев за далью материк
Земли, пловцу обетованной...
Но сон угас, как зори мая,
Надводным холодом дыша,
И с той поры о дивном крае
Томится падшая душа.
Ей снятся солнечные стены
Нерукотворных городов,
И в ледяном мерцаньи пены
Сиянье чудится венцов.
Как будто в сумраке далече,
За гранью стынущей зари,
Пловцу отважному навстречу
Идут пророки и цари [16].

Песня о мертвом женихе

Вы не пойте, вихри звонкие,
Не шумите, буйнокрылые,
Не клоните низко маковку
У надрубленной березыньки.
Та березка белокорая,
Деревинка не ядреная,
До сырой земли наклонится,
Как былинка переломится.
Ой не меть, стрелок, в лебедушку,
Не кровавь стрелой озерышка,
Порази каленовострою
Птицу-ворона могильного.
Ой ты, солнце огнеокое,
Надосветное, высокое,
Не рони закатна золота
Во озерышко глубокое —
Не пугай сорóгу малую,
Водяницу пододонную,
Не мани улыбкой алою
За туманность небосклонную.
Дай излить, золотоликое,
Горе девичье великое...
Мое горе — медный колокол,
Непогодою надколотый:
Стриж летит над колокольнею,
Канет ласточка касатая —
Стонет медь позеленевшая,
Больно крыльями задетая.
Так и слухами уколото
Запевает песню горюшко,

И звенит она, как золото,
Разливается, как морюшко.
То приветна, то суровая
Быль-кручина ладословая.
Петухи поют дворóвое,
Пташки жýбруют садовое,
Кличут-чивкают зазнобушек,
Коноплянников-воробушек.
Только мне, неприголубленной,
Кликать некого в окошечко,
Во светлице новорубленной
Одинокой тяжелешенько.
Не проедет по подóконью
Богосуженый с гармоникой,
Не зажжет звонкоголосую
На лице зарю малинову.
Ты пошто, гармонь звончатая,
До поры обезголосилась —
Не допела, не дославила
Жизнь-кручину молодецкую.

Стародавняя кручинушка,
Как угрюмая крапивушка,
Затомила сердце ясное
У удалого детинушки.
Выжгла очи соколиные,
Красён жар с лица повывела,
Довела головку буйную
До брусовой перекладины.
Так не вейтесь, вихри звонкие,
Вкруг стекольчата окошечка,
Полетайте, скорокрылые,
На распутья святорусские.
Пойте в ельниках малиновкой,
Плачьте чайкой над озерами,
Разливайтесь колокольчиком
Над окольнею дороженькой.
Чтоб голубке норовилося,
Сизу-голубю любилося,
Старцу ветхому, преклонному
По писанию молилося [17].

Датируется по содержанию.

[1] Из последующих писем (п. 14 и 16) явствует, что в ноябре 1909 г. Блок просил Клюева написать для «Русской мысли» статью о современной русской литературе. Вопрос об участии Клюева в только что реорганизованной «Русской мысли» Блок, без сомнения, согласовал с Д. С. Мережковским, который с 1909 г. возглавил беллетристический отдел журнала. «Мы, действительно, вошли в «Русск⟨ую⟩ Мысль» как заведующие литер⟨атурным⟩ и литер⟨атурно⟩-критич⟨еским⟩ отделом, должны теперь подготовлять книжку к 1 января» — сообщала З. Н. Гиппиус А. Белому 30 октября 1908 г. из Петербурга (ГБЛ, ф. 25, карт. 14, ед. хр. 6, л. 68).

Знакомый с несколькими статьями Клюева (в том числе и с теми, которые до настоящего времени не обнаружены), Блок, несомненно, высоко ценил публицистические выступления олонецкого поэта. В одном из несохранившихся писем к И. П. Брихничеву Блок сообщал: «Клюев пишет в прозе очень замечательные вещи. Но... если просить у него статьи, он сейчас же сошлется по скромности на малограмотность и малокнижность» (цит. по статье И. Брихничева «Северное сияние», опубликованной в газете «Руль», 1912, № 355, 18 июня; в статье приведены выдержки из неизвестных ныне писем Блока к И. П. Брихничеву). Предлагая редакции «Русской мысли» своего олонецкого корреспондента в качестве автора, Блок, возможно, рассчитывал на то, что Клюев — в духе своих статей и писем того времени — подвергнет резкой критике «город» и «интеллигентскую» культуру с позиций «народа».

[2] «Свет» — ежедневная политическая, экономическая и литературная газета, крайне националистическая по своему направлению; издавалась в Петербурге в 1882—1916 гг. Благодаря дешевизне газета имела огромное распространение.

[3] Судя по адресу, названному Клюевым, денежный перевод был получен им из московского журнала «Лебедь», который издавался с ноября 1908 г. по апрель 1909 г. Блок был одним из сотрудников этого журнала и печатался в нем. 10 ноября 1908 г. он, как указывалось выше (см. п. 10, прим 4), послал в «Лебедь» стихотворение Клюева «Осенняя сказка». Однако ни «Осенняя сказка», ни другие произведения Клюева в журнале «Лебедь» не появились.

[4] Имеется в виду стихотворение «Ты разлюбила мир иконы», которое затем, полностью переделанное и озаглавленное «Грешница», было опубликовано в журнале «Новая земля» (1911, № 19, июль, с. 14—15); под тем же названием вошло в первое издание сб. «Сосен перезвон» и (без заглавия) — во второе («Бледна, со взором полным боли»). В «Песнослове» — без заглавия и в измененном виде («За лебединой белой долей»).

[5] Стихотворение «Победителям» («Свое вы счастье проклянете») опубликовано в статье «Раннее творчество Н. А. Клюева» (с. 204—205) с автографа, хранящегося в архиве В. Я. Брюсова. Рукописный текст в архиве Блока имеет помету, сделанную его рукой: «Послал 17/II Слушай земля» т. е. данное стихотворение было послано им 17 февраля 1909 г. в царицынский журнал «Слушай земля», где оно, однако, опубликовано не было.

[6] Насколько можно судить по последующим письмам Клюева к Блоку (см. п. 14 и 16), статья для «Русской мысли» так и не была им написана.

[7] В данном письме Клюев прислал Блоку 13 стихотворений: «Прошли те времена, когда нелицемерно», «Ты разлюбила мир иконы», «Возвращение», «Победителям», «Все напевней и благостней звоны», «И опять я мудр и весел», «Пловец», «Завещание», «Зимняя сказка», «Из книги Откровения», «Горние звезды, как росы», «Песня о мертвом женихе» и «Под вечер».

Шесть стихотворений в настоящей публикации не воспроизводятся. О стихотворениях «Победителям», «Зимняя сказка» и «Под вечер» см. соответствующие примечания к данному

письму. Стихотворение «Завещание» впервые напечатано в журнале «Новая земля» (1911, № 18, май, с. 2) и вошло затем в оба издания сб. «Сосен перезвон» и впоследствии — в «Песнослов» и сб. «Медный кит». Печаталось также в журнале «Северная звезда» (1916, № 1, с. 39—40). Всюду под тем же названием и без изменений в тексте. Стихотворение, озаглавленное «Из книги „Откровения“» («Я был в Духе в день Воскресный»), было позже без заголовка и с эпиграфом из Апокалипсиса напечатано в журнале «Новая земля» 1911, № 10, март, с. 15. Затем вошло в оба издания сб. «Сосен перезвон» и «Песнослов». Стихотворение «Горние звезды, как росы» опубликовано в статье «Раннее творчество Н. А. Клюева» (с. 202—203). Перепечатано в кн.: Н. К л ю е в. Стихотворения и поэмы. М., 1977, с. 107.

[8] Впоследствии без заголовка и посвящения, в сокращенном виде и с рядом существенных поправок это стихотворение («Помню я обедню раннюю») вошло в оба издания сб. «Сосен перезвон»; перенесено в «Песнослов».

[9] На автографе этого стихотворения после названия «Зимняя сказка» следует: «Посвящается Елене Добролюбовой» (одной из четырех сестер А. М. Добролюбова). Рядом с этими словами Блок красным карандашом поставил знак †. Впоследствии без заголовка и посвящения это стихотворение («Ты все келейнее и строже») печаталось в сб. «Сосен перезвон» (оба издания), в «Песнослове» и сб. «Медный кит». Сличение опубликованного текста с рукописным обнаруживает существенные расхождения в концовке стихотворения (см. об этом подробнее в статье «Раннее творчество Н. А. Клюева», с. 196; там же на с. 194—195 см. о знакомстве Клюева с Е. М. Добролюбовой).

[10] «Слово» или, возможно, «Слово божие к народу» (см. п. 18 и 20) — название неизвестного произведения Клюева, отправленного им через Блока В. С. Миролюбову. Судя по упоминаниям о «Слове» в п. 16, 18 и 20, это сочинение Клюева носило антиправительственный характер.

[11] Стихотворение «Под вечер» («Я надену черную рубаху») было впервые напечатано в журнале «Новая земля», 1910, № 13, декабрь, с. 5. С публикации этого стихотворения начинается сотрудничество Клюева в «Новой земле». Затем оно вошло в сб. «Сосен перезвон» (во втором издании — без заголовка) и впоследствии — в «Песнослов» и сб. «Медный кит». Текст автографа имеет четыре строки, вычеркнутые Блоком (красным карандашом) и позднее не включенные Клюевым ни в одну из редакций (строки 4—8: «На камнях затеют тени пляску,/ За стеной чиликнет воробей,/Искривятся судорожно маски/В золотистом свете фонарей»).

[12] Печатается впервые.

[13] Отдельные строчки, подчеркнутые Блоком, выделены курсивом.

[14] Печатается впервые. Отдельные строки (в том числе — 4 последних) вошли затем — в измененном виде — в стихотворение «Заревеют нагорные склоны», впервые напечатанное под заглавием «Валентине Брихничевой» в «Новой земле» (1912, № 9—10, март, с. 8) Позднее — в «Братских песнях» и «Песнослове».

[15] Последние двенадцать строк образовали позднее самостоятельное стихотворение с разночтением в двух первых строках («Как звезда пролетной тучке,/ Мне — отчизна — синева...») и незначительными расхождениями в последующих. Впервые опубликовано в журнале «Новая земля» (1912, № 3—4, январь, с. 11; первая строка: «Как звезде, крылатой тучке»); вошло в сб. «Братские песни» и впоследствии — в «Песнослов».

[16] Печатается впервые. Эпиграф из «Божественной комедии» (Чистилище, песнь XVI) в переводе О. Чюминой.

[17] Печатается впервые.

14

<Дер. Желвачева, ноябрь—декабрь 1908 г.>

Ответил на Ваше письмо с просьбой от «Русской мысли», получили ли Вы его?

Я пишу для «Русской мысли», но сведения мои по этому предмету очень скудны. Передайте это Мережковскому. Хоть я и чувствую, что есть, что писать, но нельзя ли чего другого.— Жду ответ.

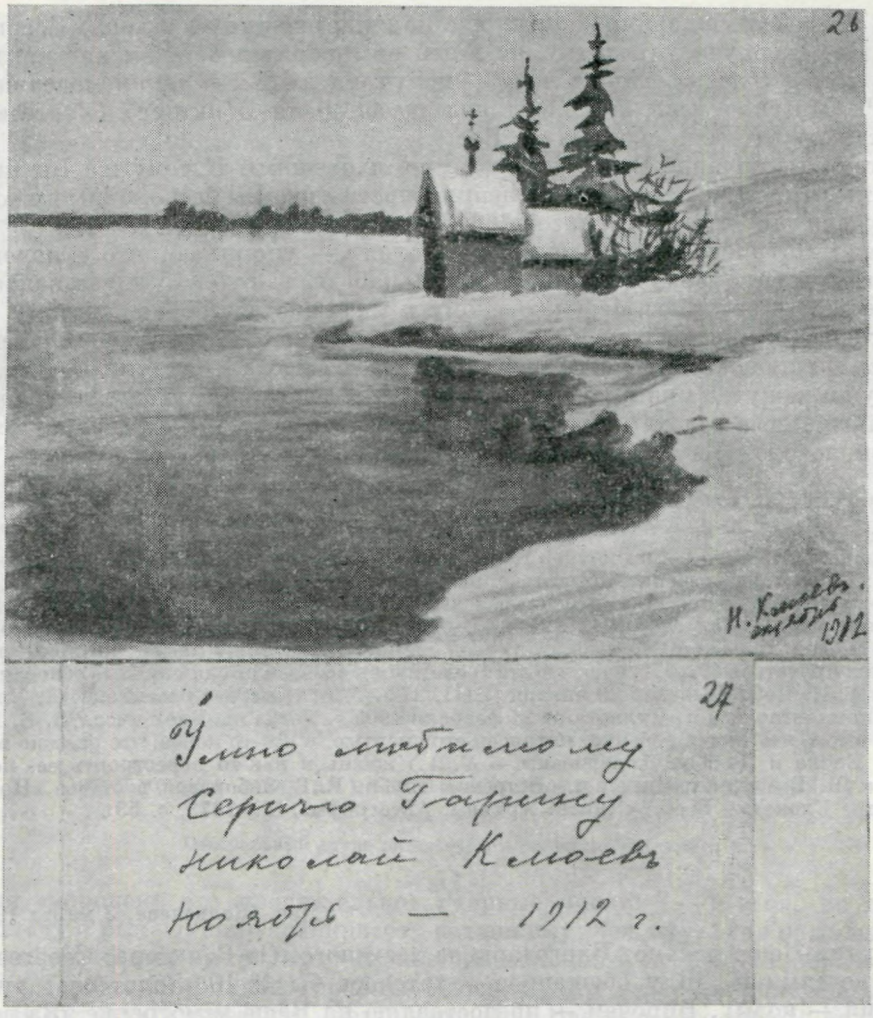
Приветствую Вас Н. К.

Открытка. Почт. шт.: Мариинское <нрзб.>

15

<Дер. Желвачева, 28 декабря 1908 г.>

Здравствуйте, дорогой Александр Александрович, получил Вашу открытку, Вы в ней не сообщаете явственно, получили ли мое письмо заказное. Я же обеспокоен этим зловеще. Как только получите эту открыточку, то потрудитесь ответить кряду же. Приметы письма моего следующие: Стихи — «Ты все келейнее и строже», «Возвращение», «Из книги Откровения», «Горние звезды», «Ты разлюбила», «Свое вы счастье»— и «пол-листа» — для В<иктора> С<ергее-



СЕВЕРНЫЙ ПЕЙЗАЖ С ЧАСОВНЕЙ

Рисунок Н. А. Клюева с подписью «Н. Клюев. Октябрь 1912» и дарственной надписью: «Умно любимому Сергею Гарину. Николай К л ю е в. Ноябрь — 1912 г.»

Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

вича〉[1]. Получили ли Вы такое письмо? Еще я в нем сообщал, что из «Золотого руна» денег не получал, а получил из «Лебедя» три руб. 15 коп.[2] Низко Вам кланяюсь и желаю Вам света и тихости душевной. Мир Вам и любовь. Адрес мой прежний. Жду ответа «подробного».

28 декабря.

Какие стихи в «Лебеде» — сообщите тоже.

Открытка. Почт. шт.: Мариинское 30.12.08; СПб. 4.1.09.

[1] См. п. 13, прим. 5, 7, 8, 9 и 10.
[2] См. п. 13, прим. 3.

16

〈Дер. Желвачева, январь-февраль 1909 г.〉

Здравствуйте, дорогой Александр Александрович. Еще раз беспокою Вас своим письмом,— но я *очень* озабочен о судьбе письма со стихами: «Ты все келейнее», «Из книги Откровения», «Горние звезды», «Возвращение», «Победи-

телям», «Ты разлюбила мир иконы» и с полулистом для В⟨иктора⟩ С⟨ергеевича⟩. От Вас я получил открытку, но в ней не говорится о таком письме. *Очень и очень прошу Вас: известите меня* — получили ли Вы с таким содержанием письмо [1]. Особенно меня беспокоит пол-листа — для В⟨иктора⟩ С⟨ергеевича⟩. И не столько за себя, сколько за Вас.

Долгое же молчание Ваше кажется мне «зловещим». К тому же Вы писали в открытке, что стряслись какие-то неприятности и что Вы беспокойны душой [2]...

Получали ли что от В⟨иктора⟩ С⟨ергеевича⟩?

Думая, что прежние мои письма не дошли,— упоминаю, что я ничего из «Золотого руна» не получил, получил из «Лебедя» 3 руб. 15 к., за какое стихот⟨ворение⟩ — не знаю. Мережковскому писал, писал и сорвал, потому всего мало в голове, хоть на сердце и есть многое — про поэзию настоящего времени. Хотелось бы любовно прочесть — Бальмонта, Брюсова — что-либо. Уж больно цветущи кажутся мне их стихи, которые мне изредка приходилось прочитывать кой-где, но в целом я ничего, буквально ничего не читал ни из поэзии, ни из прозы нового. Жду Ваше письмо. Привет Вам и любовь.

Датируется по содержанию.

[1] Имеется в виду п. 13.

[2] В декабре 1908 г.— январе 1909 г. Блок был «беспокоен душой» прежде всего потому, что Л. Д. Блок ждала ребенка. «Мне теперь очень трудно вообще. Вы знаете, что мы с Любовью Дмитриевной со дня на день ждем ребенка»,— писал Блок 22 января 1909 г. А. Н. Чеботаревской и Ф. К. Сологубу (VIII, 271). «Вы не можете себе представить, как мне трудно и тяжко — не только сейчас, но весь этот сезон. Даже, когда вижу людей, которых люблю, хочу от них прятаться ⟨...⟩ Думаю, что эта тревога имеет совсем не одни личные основания»,— писал он А. Н. Чеботаревской 30 января (VIII, 272—273). О смерти ребенка Л. Д. Блок см. выше,— комментарий к п. Чулкова от 21 февраля 1909 г. Тогда же Блок писал В. Е. Беклемишевой о том, что «ждал ребенка, потрясен его смертью, и что-то новое, что должно войти в их ⟨т. е. Блока и Любовь Дмитриевны.— *К. А.*⟩ жизнь и как-то перестроить ее, погибло навсегда» (В. Беклемишева. Встречи. Опубл. Р. Б. Заборовой в статье «Новое об Александре Блоке».— В сб.: «Книги. Архивы. Автографы». М., 1973, с. 53).

17

⟨Дер. Желвачева, 3 марта 1909 г.⟩

Получил Ваше письмо. Благодарю за все много. От В⟨иктора⟩ С⟨ергеевича⟩ ничего не слышно. Жду обещанное — хотелось бы № 10 «Золот⟨ого⟩ руна» и из поэзии — новых. Впрочем — предоставляю на Ваше усмотрение. За все буду больно благодарен. Меня Ваше письмо гораздо обрадовало. Я это время прихварывал — и до сих пор не очень здоров. Простудился — или что другое — не знаю. Приветствую Вас братски и желаю всего светлого.

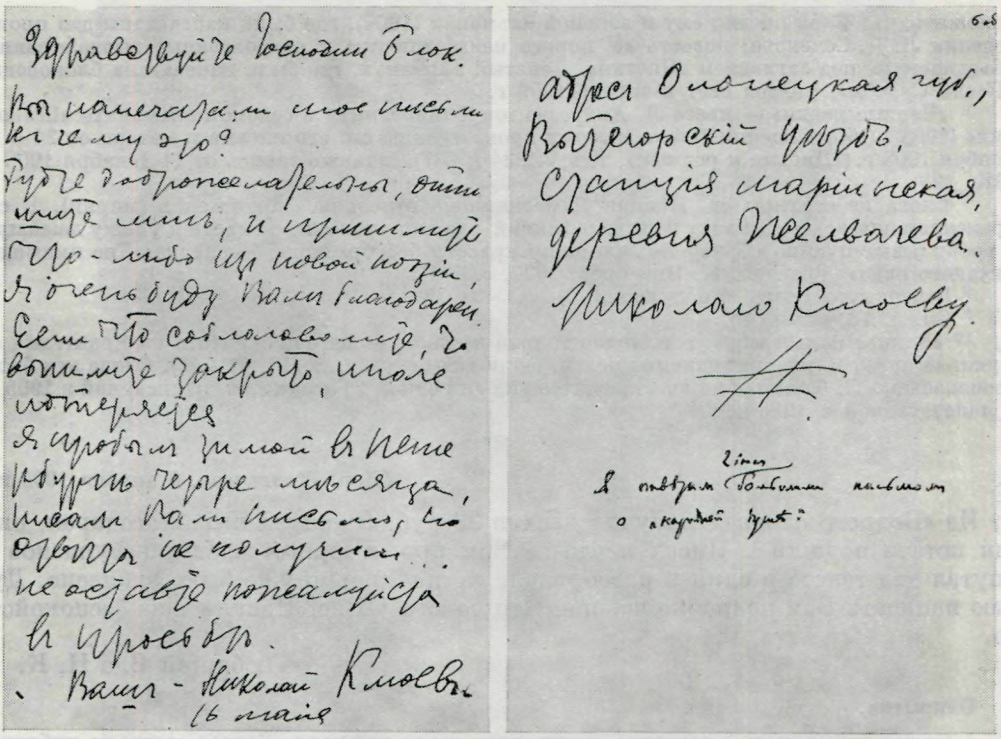
марта 3 1909 года

Открытка. Почт. шт.: СПб. 7.3.09 (другой штемпель стерся).

18

⟨Дер. Желвачева, 12 марта 1909 г.⟩

Очень благодарю Вас, дорогой Александр Александрович, за присланное. Это большая, большая радость для меня. Какие книги! Как веет от них мучительным исканием «Радости». Каждая заставка вопиет «о смысле». Я, например, поражен, почти пришиблен царственностью стихов из Бодлера — Вячеслава Иванова [1], умилен Вашим словом «о Прозрачности» и о «Кормчих звездах» [2]. Сколько красоты, пророчески провидящих полу-мгновений. И уж стыдно мне показывать Вам свою мазню, уж заранее я краснею, что скажете Вы. Есть народное выражение: «Свет глаза крадет». Вот и Вы украли у меня глаза наружные и на серой глыбе сердца чуть-чуть наметили — иные очи — жажду струнно-певучей мудрости. Ведь, Вам-то она сестра и милый брат, завечерело, чуть слышны колокола... [3] Похожи [4] на «Соломона» корочки у альманахов «Шиповник» [5],



ПИСЬМО Н. А. КЛЮЕВА БЛОКУ 16 МАЯ 1908 Г. С ПОМЕТОЙ БЛОКА

Автограф

Центральный архив литературы и искусства, Москва

но для «корочек» это простительно. «Черные маски» [6] — жутки, но понятны как «плачу и рыдаю, камо зрю красоту недвижиму, лежащу, вида не имеющу...» [7] Но по-моему в них выкрадено [8] «явное» умышленно и несколько даже при всем честном народе. Но больше говорить боюсь. Судите *меня* без снисхождения.

От В〈иктора〉 С〈ергеевича〉 нет ничего. И от Вас про него ничего не получал. Видно, у них там что-либо не ладно, пахнет чем-то зловещим, не Антихрист ли народился на «Слово Божие» [9] — он ничего ведь не отвечал??? Как *Вам* это «Слово» показалось? Да и здоровье у него папиросное, мучаются, мучаются много зря, а единое нужно на потребу [10] — мир и благоволение, а остальное все приложится.

Простите. Не забывайте когда.

12 марта

Письмо Ваше получил.

[1] Шесть стихотворений Бодлера, переведенных В. И. Ивановым, были впервые опубликованы в журнале «Вопросы жизни», 1905, № 4—5. Этот номер, судя по содержанию данного письма, Блок прислал Клюеву.

[2] В том же № 4—5 «Вопросов жизни» была помещена статья Блока «Творчество Вячеслава Иванова», во второй части которой Блок высоко оценивал два первых стихотворных сборника В. Иванова — «Кормчие звезды» (СПб., 1903) и «Прозрачность» (М., 1904).

[3] «Милый брат! Завечерело. Чуть слышны колокола» — первые две строки стихотворения «О несказанном» (сб. «Земля в снегу»). См. также п. 12, прим. 12.

[4] С этого слова начинается новый лист (оборотная сторона) — по всей видимости, продолжение другого письма (см. п. 19).

[5] Имеются в виду «Литературно-художественные альманахи издательства „Шиповник“», издававшиеся с 1907 по 1917 г. Соломоном Юльевичем Копельманом, с которым Блок был знаком лично и переписывался. В 1907—1909 гг. произведения Блока регулярно появлялись на страницах «Шиповника» (редактором альманахов был тогда Л. Андреев). Несколько выпусков, в том числе — седьмой (см. след. прим.) Блок отправил Клюеву. Можно также пред-

положить, что Блок послал ему и восьмой альманах (1909), где были напечатаны два произведения Л. Д. Семенова: повесть «У порога неизбежности» и разрозненные высказывания, объединенные под заглавием «Листки». Девятый альманах, где была напечатана блоковская «Песня Судьбы», увидел свет в апреле 1909 г.

[6] «Черные маски» — пьеса Л. Андреева, опубликованная в седьмом альманахе «Шиповник» (1908). Об отношении Блока к этому произведению см. его письма к матери от 24 и 30 ноября 1908 г. («Письма к родным», т. I, с. 234 и 237), а также запись от 11 декабря 1908 г. (ЗК, 123).

[7] Слова из стихиры св. Иоанна Дамаскина на отпевание покойников (мирян). В современном переводе: «Я плачу и рыдаю всякий раз как помыслю о смерти и увижу лежащую в гробу созданную по образу Божию нашу красоту безобразною, бесславною, не имеющею никакого вида» (Требник. Н.-Новгород, 1927, с. 101).

[8] Зачеркнуто слово «пропущено».

[9] См. п. 13, прим. 10.

[10] «Единое на потребу» (т. е. «одно только нужно») — неточная цитата из Евангелия от Луки: «Марфа, Марфа, печешися о мнозем, единое на потребу...» (10, 41—42). Слова эти были использованы Л. Толстым в качестве заголовка для одной из его статей, написанной в 1905 г. и напечатанной в 1906 г.

19

〈Дер. Желвачева, 3 апреля 1909 г.〉

Из «Бодрого слова» [1] получил деньги 23 руб. Очень за них благодарен, они так кстати подшли [2]. Писал я что-то Вам про «Черные маски» несуразное [3]. Спутал два текста в один и разобрался, когда письмо уже было заклеено. Думаю написать Вам подробно вскоре. Что нового у Вас? Извините за беспокойство.

Любящий Вас Н. К.

Открытка.

[1] Клюев пишет здесь о гонораре, полученном им из журнала «Бодрое слово» за публикацию в нем «Современной былины» и «Песни о Соколе и о трех птицах божиих» (см. п. 10, прим. 1 и 4). Как выясняется из письма Блока к Р. С. Ельциной, фактической издательнице «Бодрого слова», Блок 24 февраля 1909 г. отправил в этот журнал не два, а три стихотворения. «Прилагаемые 3 стих. (одно — собственноручное, а другие два — переписаны) принадлежат крестьянину Николаю Клюеву, которого, если Вы помните, начал печатать Виктор Сергеевич. Теперь Клюев постоянно переписывается со мной и через меня — с В〈иктором〉 С〈ергеевичем〉, а стихи свои посылает мне с просьбой печатать. Выберите из этого, что найдете подходящим, и вышлите ему, какой назначите гонорар...» (см. наст. т., кн. 2, с. 229). Какое именно третье стихотворение Клюева («собственноручное») отправил Блок 24 февраля 1909 г. в «Бодрое слово», установить трудно. Стихотворение «Прельщение», опубликованное позднее в «Бодром слове» (см. п. 20, прим. 10), было получено Блоком лишь в апреле 1909 г. и, поскольку в его архиве сохранился клюевский подлинник, послано им в журнал также в переписанном, а не «собственноручном» виде.

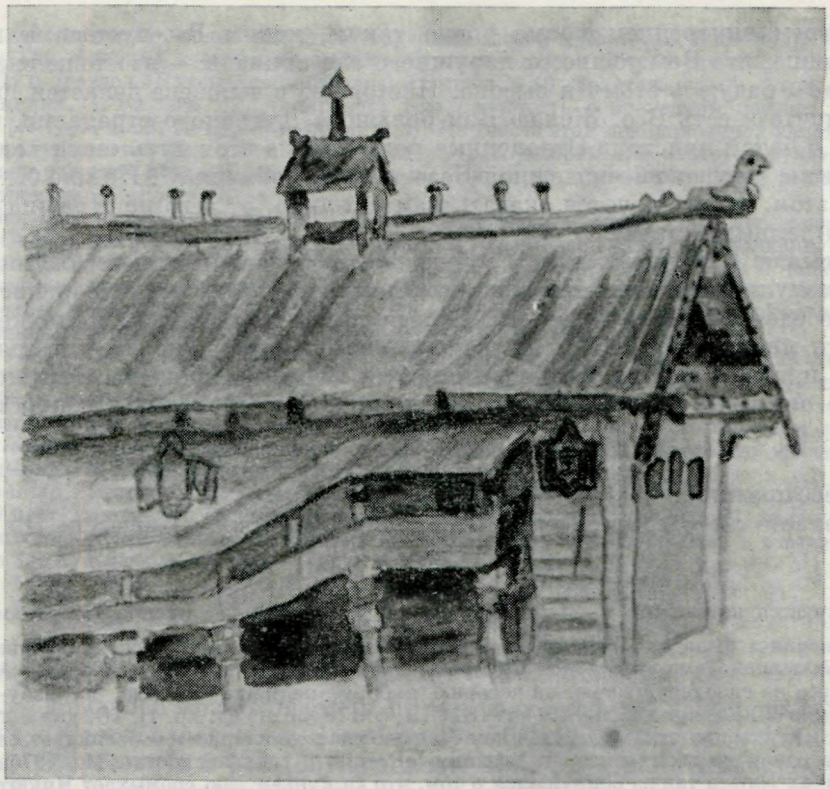
[2] Так в оригинале.

[3] Так в оригинале.

20

〈Дер. Желвачева, апрель 1909 г.〉

Благодарю Вас, дорогой Александр Александрович, что не забыли меня. Письмо я Ваше получил, и оно мне дорого — потому справедливо. В одном фальшь, что Вы говорите, что я имею что-то против Вас за тяготение Ваше к культуре. Я не знаю точного значения этого слова, но чувствую, что им называется все усовершенствованное, все покоряющее стихию человеку. Я не против этого всего усовершенствованного от электричества до перечницы-машинки, но являюсь врагом усовершенствованных пулеметов и американских ошейников [1] и т. п.: всего, что отнимает от человека все человеческое. Я понимаю Ваше выражение «Не разлучным с хаосом», верю в думы Ваши, чувствую, что такое «Суета» в Ваших устах. Пьянящие краски жизни манят и меня, а если я и писал Вам, что пойду по монастырям, то это не значит, что я бегу от жизни. По монастырям мы ходим потому, что это самые удобные места: народ «со многих губерний» живет праздно несколько дней, времени довольно, чтобы прочитать к примеру хоть «Слово Божие к народу», и еще кой-что «нужное». Вот я и хожу и желающим не отказываю, и ходить стоит, потому удобно и сильно и свято неотразимо. Без этого же никак невозможно [2].



ИЗБА
Рисунок Н. А. Клюева
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

Я не считаю себя православным, да и никем не считаю, ненавижу казенного бога, пещь Ваалову Церковь, идолопоклонство «слепых», людоедство верующих — разве я не понимаю этого, нечаянный брат мой!

В одном я грешу, что пленяет меня «грусть несказанных намеков» [3]; боюсь, что

«Люди придут и растратят
Золоторунную тишь,
Тяжкие камни прикатят,
Нежный растопчут камыш» [4].

А «одинокая участь светла, безначальная доля свята» [5]. Не знаю, как бы Вам пояснее, так хорошо выражено это Вами в отделе «Нечаянная радость». И я люблю Вас заочно тихо, не спрашивая, «что» Вы такое есть. И не желать Вам мира, а я подразумеваю под ним высшую, самую светлую радость,— я не могу — сердце не дозволяет. Такой уж я человек зарожен, что от дум и восторгов и чаяния радости жизнь для меня разделена на два — в одном красота, «жемчуговые сны наяву» [6], в другом нечто «Настоящее», про что говорить я не умею, но что одно со мной нерушимо, но что не казенный бог или «православие».

Дорогой мой Александр Александрович, буде Вам тяжело валандаться со мной, то Вы напишите мне об этом и простите меня. Не омрачайте Духа своего моей серостью.

В〈иктор〉 С〈ергеевич〉 говорил мне, что Вы больно впечатлительный и милый и что я должен показывать Вам свои стихи. Но если для Вас это нудно, то не откажите хоть передавать все присылаемое В〈иктору〉 С〈ергеевичу〉. Вам кажется странным, что Вы не знаете меня в лицо, а мне ничуть, я часто вижу

Вас в своем внутреннем храме ровно таким, каким Вы чуетесь в письмах. Мне слышно, что Вам тошно от наружного зла в жизни — это тоже знак благополучия, и радуюсь этому я высоко. Настоящее в человеке делается из ничего, это-то ничто и есть Все. Желаю Вам большого Духовного страдания, «чтоб услышать с белой пристани Отдаленные рога» [7], и на этот путь «если встанешь — не сойдешь, и душою безнадежной Безотзывное поймешь» [8]. Не мне бы говорить Вам об этом, но так хочется сказать Вам что-либо, от чего не страшна бы стала «пучина темных встреч» [9].

Присылаю Вам еще стихов [10] и буду ждать ответа нетерпеливо и о присланных с «полулистом» тоже. Не забудьте упомянуть, *какое* стихотворение помещено в «Лебеде» и пошлет ли деньги «Золотое руно» за те стихи. Не можете ли Вы прислать мне этот № 10 [11], так жадно хочется читать, но чтения взять негде. Все эти просьбы исполняйте, если они для Вас не сопряжены с неудобствами, если же они *чуть* неудобны, то и не нужно Вам беспокоиться и простите меня за них...

Любящий Вас — НК

Адрес прежний.

Не знаете ли Вы, где Семен Федорович Быстров [12]. Кажется, Вы знакомы с ним?

Датируется по связи с п. 21 («Получили ли до отъезда мое письмо со стихами...»).

[1] «Америка» была для Клюева своего рода символом, олицетворением ненавистной ему машинной цивилизации. «... какой бы крест, какую бы голгофу понес — чтобы Америка не надвигалась на сизоперую зарю, на часовню в бору, на зайца у стога, на избу-сказку»,— писал Клюев Ширяевцу в конце 1914 г. (ИМЛИ, ф. 178, оп. 1, ед. хр. 1). «О, как я люблю свою родину и как ненавижу Америку, в чем бы она ни проявлялась», — заявляет он в августе 1915 г., в одном из своих писем к Есенину («Есенин и современность». М., 1975, с. 240). В своих стихах Клюев также сокрушался о том, что «в куньем раю громыхает Чикаго» («Песнослов», 2, с. 65).

[2] Весь данный отрывок — яркое свидетельство того, что Клюев и после освобождения из тюрьмы продолжал активно заниматься революционной пропагандой среди крестьян северных губерний. Читая верующим «Слово божие к народу» или «еще кой-что „нужное“» Клюев в религиозной форме излагал им свои социальные и политические взгляды. Характерно, что свою опасную подпольную деятельность сам Клюев воспринимает как «святое дело» («потому удобно и сильно и свято неотразимо»), уподобляя себя в известной мере своему лирическому герою тех лет — революционеру-мученику.

[3] Строка стихотворения Блока «Федору Сморадскому» («Нежный! У ласковой речки») из сб. «Нечаянная радость».

[4] Четверостишие из того же стихотворения.

[5] Две строки стихотворения Блока «Полюби эту вечность болот» (сб. «Нечаянная радость»).

[6] Последняя строка стихотворения «Облака небывалой услады» (сб. «Нечаянная радость»).

[7] Неточно процитированные Клюевым две строки стихотворения «Последний путь» (сб. «Земля в снегу»). У Блока: «Ты услышишь с белой пристани/Отдаленные рога».

[8] Из того же стихотворения. У Блока: «И на этот путь оснеженный,/Если встанешь — не сойдешь,/И душою безнадежной/Безотзывное поймешь».

[9] Перифраз последней строки стихотворения «На страже» (сб. «Земля в снегу»). У Блока: «И канет темная комета/В пучины новых темных встреч».

[10] Как следует из содержания п. 21, Клюев отправил Блоку четыре стихотворения: «Поэт», «Предчувствие», «Змей» и «Прельщение». Автографы двух первых стихотворений в архиве Блока не сохранились. Оба стихотворения опубликованы по автографам, находящимся в ИРЛИ, в кн.: Николай К л ю е в. Сочинения, т. 2. Мюнхен, 1969, с. 210—211. Стихотворение «Змей» с подзаголовком «Из серии „Тюрьма“» было впервые опубликовано в журнале «Новая земля» (1912, № 15—16, с. 11). В сокращенном и переделанном виде (без названия и подзаголовка) вошло в сб. «Братские песни» и — позднее — в соответствующий раздел «Песнослова». Стихотворение «Прельщение» публиковалось в журнале «Бодрое слово» (1909, № 17, сентябрь, с. 22—23); см. альм. «Поэзия» 43, М., 1985, с. 106. Сличение печатного текста с рукописным обнаруживает несколько мелких расхождений (исправления, возможно, были сделаны Блоком при копировании и пересылке стихотворения).

[11] Клюев не случайно столь настойчиво просил Блока прислать ему № 10 «Золотого руна» за 1908 г., а еще ранее интересовался судьбой своих стихотворений, отправленных Блоком в редакцию этого журнала (см. п. 10, прим. 2 и 3). Публикация на страницах такого рафинированного и «современного» издания, как «Золотое руно», была для молодого крестьянского поэта немаловажным событием, как бы знаменовавшим его вступление в «новейшую» литературу, к которой Клюев тогда тяготел и тянулся, признание его писателями символистского

лагеря. И действительно, появление стихотворений Клюева в «Золотом руне» не прошло незамеченным. Так, близкая к символистам петербургская газета «Утро» сообщала читателям в ноябре 1908 г. (раздел «Календарь писателя»): «Вышел № 10 „Золотого руна“. Интересны стихи крестьянина Н. Клюева, воспринявшего всю сложность современной поэзии, ученика А. Блока» («Утро», 1908, № 24, 10 ноября, с. 4). Из текста этой неподписанной заметки ясно, что в литературных кругах, где читалось и имело распространение «Золотое руно», было к тому времени известно и о знакомстве Клюева с Блоком, и о стремлении Блока всячески поддержать олонецкого поэта.

[12] Семен Федорович *Быстров* (1877—1942?) — писатель-прозаик, сын деревенского священника. Одно время работал сельским учителем; в годы первой русской революции занимался пропагандой среди крестьян. «Уже давно прошло 17 октября; я два раза и чаще делал в своей школе митинги. Духовенство мне запретило заниматься с крестьянами... Меня присудили к аресту»,— рассказывал Быстров 15 августа 1906 г. в своем автобиографическом письме, написанном по просьбе В. С. Миролюбова (ИРЛИ, ф. 185, оп. 1, ед. хр. 345). Рассказы Быстрова 1905—1908 гг. были посвящены в основном жизни сельского духовенства. Один из них («Отставной поп») был помещен в «Русском богатстве» (1905, № 9). Быстров печатался также в «Трудовом пути».

В начале 1908 г. в связи с привлечением Миролюбова к суду и его отъездом из России Быстров в течение нескольких месяцев почти единолично ведал редакционными делами. В мае 1908 г. выезжал из Петербурга в Тамбовскую губернию.

Знакомство Быстрова с Клюевым состоялось, видимо, в январе — феврале 1908 г., когда олонецкий поэт, находясь в Петербурге (в Николаевском военном госпитале), писал для «Нашего журнала» публицистическую заметку «В черные дни» (см. подробнее в статье «Раннее творчество Н. А. Клюева», с. 200—201).

21

〈Дер. Желвачева, начало июля 1909 г.〉

Насилу дождался возможности написать Вам, дорогой Ал〈ександр〉 Ал〈ександрович〉. Стосковался я по Вам очень.— Не видали ли в далеких краях [1] В〈иктора〉 С〈ергеевича〉? Как он поживает? Как бы мне хотелось сказать ему кой-что. Чтоб не кручинились они попусту, милые, милые люди. Что нужно забыть «кто горд и зол, что тучи вдали встают, и слышатся песни далеких сел, что плачет сердце, просится в бой, зовет и манит» [2]. Ах, дорогие мои, милые люди! Сколько раз я говорил про то, что теперь исполнилось. Дорогой Ал〈ександр〉 Ал〈ександрович〉, будьте светлы, властной ненужности не подчиняйтесь. Безбрежно счастье смотреть в глаза белому сиянию жизни.

В мае получил письмо из «Золотого руна» — просят написать статью «Интеллигенция и народ». Извиняются, что денег за стихи в № 10 потому не высылали, что не знали адреса.— Теперь, т. е. 6 мая, некто Г. Тастевен [3] распорядился, чтобы выслали, но вот уж два месяца, а их нет. Что́ бы написать, что интересно чистой публике знать про интеллигенцию и народ, а так я не знаю. Разницы всякие по воздуху ловить — мукушка одна. Да и стоит ли овчинка выделки? Вот если бы оказалась возможность пожить в Питере, то чувствую, что написал бы. Низко Вам кланяюсь и жду ответа. Адрес старый. Если что мое в «Лебедь», в «Слушай земля», и какое стих〈отворение〉 в «Бодрое Слово»? Очень хочется знать. Получили ли до отъезда мое письмо со стихами: «Поэт», «Предчувствие», «Змей», «Прельщение» [4].

Мир Вам.

Датируется по содержанию. На листе — помета красным карандашом, сделанная Блоком: «Июль 1909».

[1] С середины апреля 1909 г. Блок путешествовал по Италии и Германии.

[2] Неточная цитата из стихотворения «На родине» (сб. «Земля в снегу»).

[3] Генрих Эдмундович *Тастевен* — секретарь «Золотого руна». В августе 1908 г. Тастевен писал Блоку, что стихи Клюева «очень интересны» (ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 424).

[4] См. п. 20, прим. 10.

22

〈Дер. Желвачева, 4 сентября 1909 г.〉

Здравствуйте, дорогой Александр Александрович, пятый месяц пошел, как не получал я от Вас весточки. Послал в Подсолнечную заказное письмо, получили ли Вы его? Очень мне хочется знать, видали ли Вы В〈иктора〉 С〈ергееви-

ча⟩. Я получил из тех краев очень нехорошее письмо — и тяжелое для сердца. Необходимо также мне узнать, какое отношение, кроме литературного, имеете Вы к В⟨иктору⟩ С⟨ергеевичу⟩?

Всегда Ваше долгое молчание почему-то мне кажется зловещим, и так тяжело становится и даже одиноко на душе, что со мной очень редко бывает. Не забывайте меня. Жду от Вас письмеца.

Любящ⟨ий⟩ Вас Н. К л ю е в

Я по-прежнему стихи пишу.

4 сентября

На последнем чистом листе письма — помета Блока: «Получ⟨ено⟩ в Шахм⟨атово⟩ 9.IX.09».

23

⟨Дер. Желвачева, конец сентября 1909 г.⟩

Дорогой Ал⟨ександр⟩ Ал⟨ександрович⟩. Я очень обрадован Вашим письмом [1], благодарен за теплоту Вашу. Писал бы Вам больше, но боюсь наболтать негожее. За последнее время так не хочется говорить. Буду молчать. Не знаю, верно ли, но думаю, что игра словами вредна, хоть и много копошится красивых слов,— позывы сказать, но лучше молчать. Бог с ними, со словами-стихами. Буду бороться с ними [2]. Присылаю Вам еще, быть может, последние [3]. Будьте добры написать, *какие* стих⟨отворения⟩ мои напечатаны в № 5 «Бодрого слова» [4] и «Лебеде» [5] и предполагаете ли из новых поместить что и что это за «Новый журнал для всех», имеет ли он общее со старым «Ж⟨урналом⟩ для всех»? [6] И, простите назойливость, что это за грусть мутная в Вашем последнем письме [7] — куда же сокрылась «Нечаянная радость»? Дорогой Ал⟨ександр⟩ Ал⟨ександрович⟩ — неверно то, что в хаосе нет света своего, «Покорности» умиленной. Радуйтесь. (Жду ответ поскорее).

В р а з л у к е

Мне хотелось бы плакать, моя дорогая,
В безнадежном отчаяньи руки ломать,
Да небес бирюза так нежна голубая,
Так певуча реки искрометная гладь.
Я, как чайка, люблю по-надречные дали—
Очертанья холмов за тумана фатой,
В них так много живой, но суровой печали,
Колыбельных напевов и грусти родной.
И еще потому я в разлуке не плачу,
Хороню от других гнев и слезы свои,
Что провижу вдали наших крыльев удачу
Долететь сквозь туман до желанной земли.
Неисчетны, дитя, буйнокрылые рати
В путь отлетный готовых собратьев-орлов,
Но за далью безбрежней ли степь на закате,
Зарубежных синей ли весна берегов?
Иль все та же и там разостлалась равнина
Безответных на клекот курганов-полей,
И о витязе светлом не легче кручина
В терему заповедном царевне моей?

Датируется по связи с п. 24 («...в конце сентября отписал по петербургскому адресу...»).

[1] Блок ответил Клюеву 13 сентября 1909 г. (см. ЗК, 159).

[2] В этом письме Клюева впервые появляется тема «ухода» и «молчания». Как следует из дальнейших писем, Клюев на грани 1909—1910 гг. всерьез думал о том, чтобы — вслед за А. Добролюбовым и Л. Семеновым — совсем отказаться от литературного творчества, т. е. «замолчать». Свой «уход» из культуры А. Добролюбов обосновал прежде всего в «Книге Невидимой» (см. п. 5, прим. 5), а Л. Семенов — в «Листках», опубликованных в восьмом альманахе «Шиповник» (см. п. 18, прим. 4). «Писание это окостевание всего живого»; «Писать это

значит — не верить живому делу, душе»; «... стыдно всякого писания, всякого слова написанного, потому что это забота о внешнем»,— доказывал в «Листках» Семенов (с. 47, 48).

[3] В данном письме Клюев прислал Блоку пять стихотворений. На той же стороне листа, что и письмо — стихотворение «Девичья песня» («Вы белила — румяны мои»). Под заглавием «Девичья» это стихотворение было впервые опубликовано в альманахе «Аполлон» (СПб, 1912). Под тем же названием — в сб. «Лесные были» и журнале «Северная звезда» (1916, № 1, с. 31). На обратной стороне листа с письмом — стихотворения «На волнах» («Сердцу сердца говорю») и «Под ветром» («Не оплакано былое»). Оба стихотворения были под теми же названиями опубликованы (с исправлениями) в журнале «Новая земля» (1911, № 22, август, с. 5—6 и 1912, № 9-10, март, с. 8); затем вошли в сб. «Братские песни» и впоследствии — в «Песнослов» (разночтения незначительны). На отдельном листе — стихотворения «Песня» («Как во нашей ли деревне») и «В разлуке» («Мне хотелось бы плакать, моя дорогая»). Первое стихотворение было впервые опубликовано в альманахе «Аполлон» (СПб., 1912, с. 37—38) под заглавием «Теремная»; вошло затем в сб. «Лесные были» (название — «Слободская») и под тем же названием — в «Песнослов». Разночтения незначительны. Стихотворение «В разлуке» печатается впервые.

[4] См. п. 10, прим. 1 и 4.

[5] См. п. 13, прим. 3.

[6] «Новый журнал для всех» издавался с ноября 1908 г. в Петербурге (до 1916 г.) и по своему направлению был отчасти похож на миролюбовский «Журнал для всех» (1896—1906), который всегда выделялся своим демократизмом, а в последние (революционные) годы приобрел ярко выраженный антиправительственный характер и в конце концов был закрыт цензурой. Блок с 1909 г. сотрудничал в «Новом журнале для всех», о чем, возможно, он и сообщил Клюеву в своем письме к нему 13 сентября 1909 г.

[7] О смятенном состоянии духа, в котором находился Блок, вернувшись из Западной Европы в Россию, свидетельствует ряд документов. «Что-то стало тяжело на душе»,— признавался Блок Е. П. Иванову 9 августа 1909 г. (VIII, 291). Спустя десять дней после того как было послано письмо Клюеву, Блок записывает: «Ночное чувство непоправимости всего подползает и днем» (ЗК, 160).

24

〈Дер. Желвачева, 4 ноября 1909 г.〉

Получил Ваше письмо из Шахматова и в конце сентября отписал по петербургскому адресу [1] — получили ли Вы что?

Жду не дождусь от Вас письмишка, вот уже почти два месяца, но я не унываю и все жду, жду... Желаю Вам доброго от любви моей.

Адрес старый.

1909 г. Ноября — 4.

Открытка. Почт. шт.: Мариинское. 7.11.09. Петербургский штемпель отсутствует.

[1] Имеются в виду блоковское письмо от 13 сентября 1909 г. и п. 23.

25

〈Дер. Желвачева, 29 декабря 1909 г.〉

Дорогой Алек〈сандр〉 Алек〈сандрович〉, после Вашего письма из Шахматова пишу Вам третье письмо по старому петербургскому адресу. Четвертый месяц от Вас не слыхать ничего, верно Вы меня совсем забыли, но страшно не хочется верить в это.— Не допускается мысль, что это разрыв духовный меж нами. Так хорошо бывает на душе от Вас, и этого жалко—смертно. Всего Вам светлого, дорогой Александр Александрович. Я живу по-старому, т. е. в бедности и одиночестве наружно. Услышьте меня на этот раз — потрудитесь написать что-либо. Радуйтесь. Любящий Вас.

Н. К.

Адрес прежний.

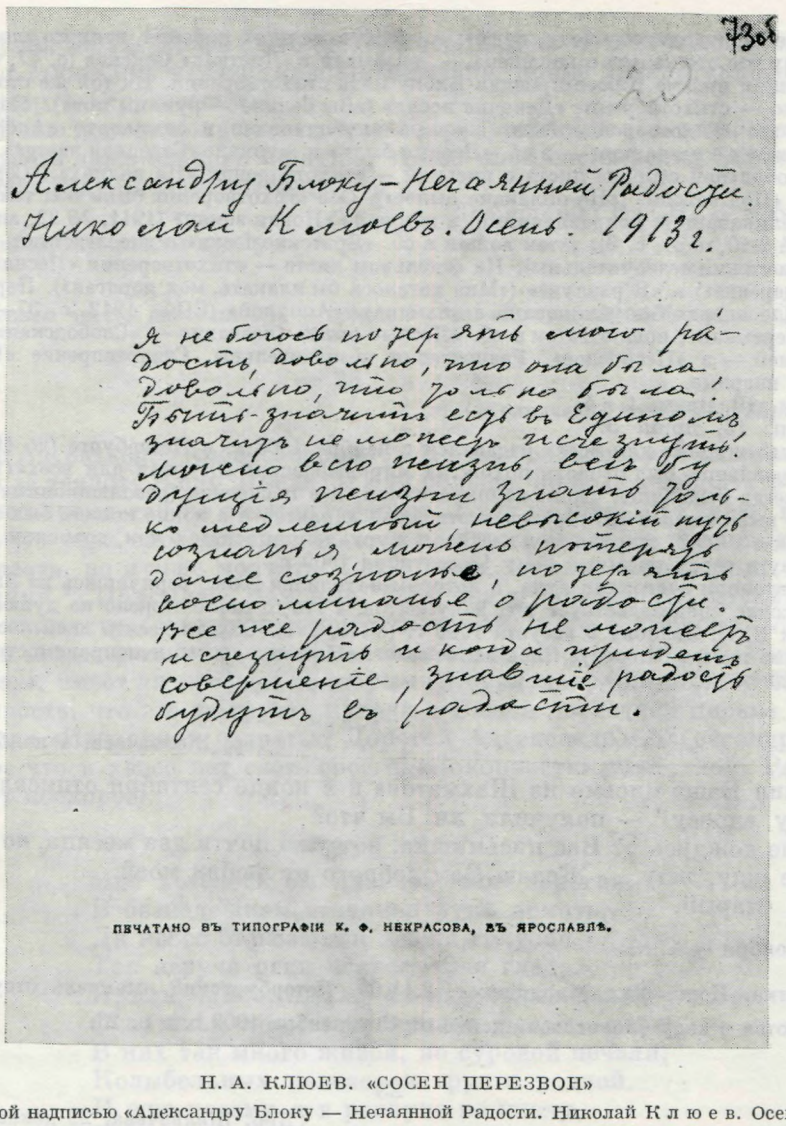
29 декабря 1909.

Открытка.

26

〈Дер. Желвачева, 22 января 1910 г.〉

Здравствуйте, дорогой Александр Алек〈сандрович〉. Получил Ваше письмо от 11 января. Оно резко, но не отличимо от прежних. Если бы Вы не упоминали



Александру Блоку — Нечаянной Радости.
Николай Клюевъ. Осень. 1913 г.

Я не боюсь потерять мою радость, довольно, что она была, довольно, что только была! Быть-значитъ есть въ Единомъ значитъ не можетъ исчезнуть! Можно всю жизнь, всѣ будущія жизни знать только медленный, невысокій путь сознанья, можно потерять даже сознанье, потерять воспоминанье о радости. Все же радость не можетъ исчезнуть и когда придетъ совершеніе, знавшіе радость будутъ въ радости.

ПЕЧАТАНО ВЪ ТИПОГРАФІИ К. Ф. НЕКРАСОВА, ВЪ ЯРОСЛАВЛѢ.

Н. А. КЛЮЕВ. «СОСЕН ПЕРЕЗВОН»

с дарственной надписью «Александру Блоку — Нечаянной Радости. Николай Клюев. Осень. 1913 г.»

Центральный архив литературы и искусства, Москва

почти в каждом письме про свое барство, то оно не чувствовалось бы мною вовсе. Бедный человек, в частности крестьянин, любовен и нежен к человеку-барину, если он заодно с душой-тишиной т. е. с самой жизнью, которую Вы неверно зовете елейностью. Эта тишина — жизнь во всех людях одна, у бедных и неученых она сказывается в доброте, ласке, у иных в думах, больше религиозных, у иных в песнях протяжных, потому что так ощутительней она. Так поют сапожники за работой, печники, жнецы, ямщики и т. д. У ненуждающихся и ученых, когда наука просто надоест, а это в большинстве так и бывает, живущая в человеке Тишина проявляется (как это ни странно) тоже в думах. Но думы всегда певучи, красочны — отсюда музыка и живопись, и живопись и музыка вместе — это книга — проза и поэзия. Есть премия-картинка к Всеобщему календарю Сытина [1] — «Свят. Николай спасает от смерти трех невинно осужденных граждан», прибавка «с картины Репина» [2]. Вероятно, эта картина нарисована наперво барином, но глядя на нее не помыслишь, что это *затея*, и как сквозь туман видишь не усы колечком, не гусиное мясо, а «Лик», беру на себя смелость прибавить: родной, общедушевный. (Чтобы полюбить, что за этой картиной, не-

обходима тишина и в обыкновенном значении). В Питере мне говорили, что Ваши стихи утончены, писаны для брюханов, для лежачих дам, быть может, это и так *в общем*, но многое и многое, в особенности — же «Тишина» их, какие-то жаворонковые трепеты,— переживанья мгновенные общелюдски, присущи каждому сердцу. Ведь в тех же муках рождала и простого человека мать, так же нежно кормила у груди («пришлецы» из «Неч⟨аянной⟩ рад⟨ости⟩»)[3], и исчезает «род презренья», а уж «кто-то ласковый рассыпал золотые пряди, луч проник в невидимую дверь» [4].

И Ваше жестокое: «Я барин — вы крестьянин» становится пустотой — «*новой* ложью», и уж не нужно больше «каяться» (что Вы каялись раньше мне почему-то не узнавалось). И верится, что «во тьме лжи лучится правда» (слова из вашего письма). Быть может, Вам оттого тяжело — что время летит, летит... или что я хорошо думаю о Вас. Но не вскрывайте себе внутренностей, не кайтесь мне, не вспугивайте то малое, нежное, что сложилось во мне об Вас. *Говорить про это много нельзя, иначе истратишь слова, не сказав ничего.* Понимаю, что наружная жизнь Ваша несправедлива, но не презираю, а скорее жалею Вас. Никогда не было в моих помыслах указывать Вам пути, и очень прошу Вас не считать меня способным на какое-либо указание. Желание же Ваше «выругать» не могу исполнить,— слишком для этого Вы красивы. Желаю Вам от всего сердца Света, Правды и Красоты новой, здоровья и мужества переносить наружные потери жизни. Крепко желается не забыть Вас. Не отталкивайте же и Вы меня своей, быть может фальшивой тьмою. Сам себя я не считаю светлым и Вы не считайте меня ни за кого другого, как за такого же. Всякое другое мнение Ваше для меня тяжко [5]. Если я Вас не огорчил этим письмом окончательно,— то не огорчитесь моей старой просьбой о книгах — стихов — Бальмонта, Брюсова, Сологуба, Гип⟨п⟩иус, какие Вам не трудно. Всего Вам светлого. Без презрения любящ⟨ий⟩ Вас К л ю е в.

На пороге зимы

Не говори, без слов понятна
Твоя предзимняя тоска,
Она, как море, необъятна,
Как мрак осенний глубока.
Не потому ли сердцу мнится
Зимы венчально белый сон,
Что смерть костлявая стучится
У нашей хижины окон.
Что луч зари ущербно-острый
На елей меркнет бахроме...
Не проведут ли наши сестры,
Как зиму — молодость в тюрьме?

От их девического круга,
Весну пророчащих судьбин,
Тебе осталася лачуга,
А мне умолкший карабин.
Но о былом не сожалея,
Мы предвесенни, как снега,
О чем же, сумеречно тлея,
Вздыхает пламя очага?
Или пока снегов откосы
Зарозовеют жданным днем,
Твои отливчатые косы
Зимы затмятся серебром [6].

1910 г. 22 января

Жду ответ.

[1] Имеется в виду ежегодный «Всеобщий русский календарь» — дешевое издание «для народа», которое в огромных тиражах выпускалось книгоиздательской фирмой И. Д. Сытина («Товарищество Сытин и К°»).

[2] Речь идет о картине Репина «Св. Николай избавляет от смертной казни трех невинно осужденных в Мирах Ликийских» (1888). Хранится в Гос. Русском Музее.

[3] «Пришлецы» — стихотворение из сб. «Нечаянная радость». У Клюева — перифраз следующих строк: «Пусть заменят нас новые люди! В тех же муках рождала их мать. Так же нежно кормила у груди».

[4] Строки из стихотворения «Зажигались окна узких комнат» (сб. «Нечаянная радость»).

[5] Далее зачеркнуты следующие слова: «Не пишу Вам о своих покойниках и живых, о своем горе».

[6] Получив письмо Клюева 26 января, Блок спустя несколько дней переписал это стихотворение и отправил его в редакцию известного киевского периодического издания «Чтец-декламатор». (Приписка рукою Блока: «Получ⟨ил⟩ 26/I 1910. Посл⟨ал⟩ 29/I 1910 Чтец-декламат⟨ор⟩, т. IV, с неск⟨олькими⟩ строк⟨ами⟩ на обороте»). Незадолго до этого, в конце 1909 г., в IV томе «Чтеца-декламатора» было помещено 13 стихотворений Блока. Однако именно это стихотво-

рение Клюева в «Чтеце-декламаторе» не появилось. Под названием «У очага» и с незначительными поправками оно вошло в сб. «Сосен перезвон» (во втором издании — без названия) и позднее (без названия) — в «Песнослов».

27

〈Дер. Желвачева, 14 марта 1910 г.〉

Получил книжку стихов [1], за что очень благодарен. Радуюсь, что мои слова утешительны для Вас. Желал бы дарить Вас радостью большей — Любимый. Всегда поминаю Вас светло, так как чувствую красоту и правду Ваши.

Дивлюсь стихотворению Сергея Городецкого — «Ну-ка, сердце, вспоминай...» [2]. По-моему, он весь в этих словах — весь, как куст белой калины — утренней, росной — «у тесового крута крыльца на беду девичью сращеный» [3]. Как Вам кажется?

Остаюсь в неизменности с горячим желанием Вам — надежд и радости.

14 марта 1910 г.

Открытка.

[1] Блок прислал Клюеву кн. «Антология современной поэзии» («Чтец-декламатор», т. IV, Киев, 1909). В этом издании была широко представлена новейшая мировая лирика, в том числе и русская (Бальмонт, Белый, Блок, Брюсов, З. Гиппиус, В. Иванов, Кузмин, Мережковский, П. Соловьева и мн. др.). Книга появилась осенью 1909 г. «В Киеве вышел IV том „Чтеца-декламатора", где перепечатано (с ист. бесстыдством) 13 моих стихотв. с портретом»,— писал Блок матери 24 октября 1909 г. («Письма к родным», I, с. 277). В библиотеке Блока сохранился экземпляр «Антологии» со следующей надписью, сделанной Блоком на титульном листе и обращенной скорее всего к матери: «Посылаю тебе эту пакость, которой ты, может быть, будешь рада, потому что здесь перепечатано много хороших стихов».

[2] Слова из стихотворения С. Городецкого «Юхано», помещенного в «Антологии современной поэзии» (с. 558).

[3] Эти строки в духе народной «девичьей» песни навеяны, видимо, портретом молодого Городецкого, помещенным в «Антологии» (с. 556). Под «Девичью» стилизовано также стихотворение Городецкого «Весна», напечатанное в «Антологии» (с. 559—560).

28

〈Дер. Желвачева, апрель-май 1910 г.〉

Дорогой Ал〈ександр〉 Ал〈ександрович〉, я Вашу книжку стихов получил давно — и давно уже сообщил Вам об этом открытым письмом [1]. Хочется Вам сказать, что Ваше недоумение насчет своего барства и моей простоты поверхностно, ложно. Как пример это известный Вам писатель Леонид Димитриевич Семенов. Вы, кажется, вместе учились [2]. Он ведь тоже барин потомственный, а иначе не обращается ко мне как к брату и больше чем близок душе моей. Еще, может, Вы не забыли Александра Добролюбова. Ваши стихи о Прек〈расной〉 даме подарены ему Вами с надписями как другу [3]. Он то же самое. Он во мне, и я в них [4] — и духовно мы братья. Ваш же живущий во мне образ — не призрак, а правда моя. Я видал и побои, и пинки — их легче сносить, чем иногда слово простое будничное — от которого иногда разреветься недолго, а такие ведь слезы никогда не остаются неотомщенными, хотя бы и невидимо. Жизнь Вам и радость.

Сколько перепутий, тропок-невидимок.
Грез осуществленных и ума ошибок.
Сколько кубков поднятых, сколько их разбитых,
Светочей неявленных, подвигов забытых.
Исчислять и взвешивать прошлое бесплодно,—
В миге народившемся ключ к душе народной.
Сломим же минувшего тяжкие печати,
Станем многорадужны, как воды на закате,
Отразим стоцветности блики и зигзаги,
Мир окинем взорами, полными отваги.
Братья, загрустившие о мирах безвестных,—



С. М. ГОРОДЕЦКИЙ И Н. А. КЛЮЕВ
Фотография, 1915 г.
Частное собрание, Москва

Огоньки маячные в подземельях тесных,
Не ищите истины под былого схимой,—
Только в мимолетности будущее зримо.
Вверьтесь же текущего сумеркам прозрачным,
Ландыши весенние на кладбище мрачном [5].

Николай К л ю е в

Датируется по содержанию

[1] Имеется в виду п. 27.
[2] См. п. 1, прим. 6.
[3] Никаких сведений, подтверждающих дарственную надпись Блока А. М. Добролюбову на книге «Стихи о Прекрасной Даме», до настоящего времени не обнаружено. Впрочем, возможно, что Клюев по забывчивости назвал имя А. Добролюбова вместо Л. Д. Семенова, которому Блок в 1904 г. действительно подарил экземпляр «Стихов о Прекрасной Даме» с дружеской надписью (см. наст. т., кн. 3, с. 123).
[4] Перифраз евангельского стиха: «Я в них, и Ты во Мне» (Иоанн, 17, 23).
[5] Впервые напечатано в 1978 г. (см.: В. Б а з а н о в. Олонецкий крестьянин и петербургский поэт, с. 103).

29

〈Дер. Желвачева, июнь 1910 г.〉

Вновь потянуло написать Вам, дорогой Ал〈ексанр〉 Ал〈ександрович〉. Что напишется, то хочется нестерпимо показать Вам. Хоть пишу я теперь и редко. Кажется, мало-помалу, быть может, отвыкну вовсе. А пока что напишется, то все еще дорого и мучительно. Мне прямо стыдно больше беспокоить Вас, но иначе пока нельзя.— Все мои петербург〈ские〉 друзья рассеялись или рассеяны и уж пишут мне не о стихах, а все спрашивают и спрашивают, и я мучусь, что не могу рассказать им о Нечаянной радости — о свете, который и во тьме светит [1]. Вас я постоянно поминаю и чувствую близким, родным и очень боюсь, как бы не солгать Вам чего бессознательно — помимо воли. Я писал Вам о стихах С. Горо-

децкого из Вашей книги [2] — Простите меня за слова! ...Напишите, прошу, об этих моих стихах [3]. И еще: какие мои стихи помещ⟨ены⟩ в «Бодром слове» № 5 за 1909 г. [4] Всего Вам светлого.

Любящ⟨ий⟩ Вас Н. К л ю е в

⟨Приписка к стихотворению «Последний день»⟩ Я все не могу отделаться от тюремных кошмаров, как-то невольно пишется все больше о них.

Облака — нагорная церковь,
Ветер-колокол гудит победно.
Там за гранью бренности, не меркнув,
Протекает белая обедня.
Сердце чует радужные клиры
И звенит, цветет, как тишина.
Грезу-челн от тягостного мира
Мчит в безбрежность нежности волна.
Миг, как вечность!.. Чу!.. Рыдает чайка —
Грусть моя о дольности морей,
Где о высях плакалося жалко
Меж ущелий мрачных и камней.
Где же высь? Опять земные встречи
На тропах унылых гробовых...
О мечтанья — вечности предтечи,
Взлеты крыл безумных и слепых! [5]

З а г р а н ь ю

Я за гранью... Я в просторе
Изумрудно-голубом
И не знаю, степь иль море
Расплеснулося кругом.
Прочь ветрила размышленья,
Рифм маячные огни.
Ветром воли и забвенья
Поле-море полыхни.
Чтоб души корабль надбитый,
Путеводных волен уз,
Не на прошлого граниты
Драгоценный вынес груз.
Пусть не в жизни темных
гнездах
Отсияет страсть моя...
Как дитя, улыбчив воздух,
Сладок лепет ковыля.
Колыбельны трав приливы,
Кругозор как моря дно...
Спит ли ветер, спят ли нивы,
Я уснул давно... Давно [6].

*

Нам закляты и заказаны
К пережитому пути,
И о том, что с прошлым связано,
Ты не плачь и не грусти.
Сестры-ели над лачугою
Протянули полога,
Затмевают лунной вьюгою
Свечеревшие снега.
Предадим же души пленные
Ночи призракам седым,
Сны певучие, мгновенные
О грядущем предадим.
Настоящего виденьям
Скорбь и траура венки,
А безвестным поколениям
Снежной сказки лепестки [7].

Р о д н о е

Сторона наша забытая,
Бездорожная, окольная,
О полдён некрасовитая,
На закате беспотемная.
На лугах у нас коровушки
Щиплют горькие лопушники,
Не поют весной соловушки
В прибережном черемушнике.
От глухой у парня участи
Муравой душа муравеет,
Будто колокол в зыбучести
Синя моря удаль ржавеет.
Пробудись било пучинное
Гулом в зыби, ветром в парусе
Чтобы сердце лебединое
У детины бурей сталося! [8]

Датируется по связи с п. 30 («Послал Вам в Питер заказное письмо в июне...»).

[1] Слова из Евангелия от Иоанна (I, 5), использованные Л. Н. Толстым в качестве заголовка его известной пьесы (1902).

[2] Далее зачеркнута фраза; начало ее можно прочитать: «Сергей Городецкий в этой книге...»

[3] Клюев в этом письме прислал Блоку одиннадцать стихотворений. На той же стороне листа, что и письмо,— стихотворение «Отверженной», напечатанное под тем же названием и без разночтений в обоих изданиях сб. «Сосен перезвон» и в «Песнослове». На обратной стороне листа — стихотворения «Облака — нагорная церковь», и «Есть то, чего не видел глаз». Последнее стихотворение также печаталось в обоих изданиях сб. «Сосен перезвон» и в «Песнослове». Внизу листа — дата: «Май 1910 год».

Кроме того, к письму были приложены стихотворения: «Голос из народа» («Вы отгул глухой, гремучей»), «За гранью» («Я за гранью, я в просторе»), «Нам закляты и заказаны», «Костра степного взвивы», «Александру Блоку» («Верить ли песням твоим»), «На рассвете» («Не жди зари, она погасла»), «Родное» («Сторона наша забытая») и «Последний день» («Сегодня небо, как невеста»).

Первое из этих стихотворений печаталось в «Новой земле» (1911, № 9, март, с. 12) и вошло затем в оба издания сб. «Сосен перезвон» и в «Песнослов». Стихотворение «Костра степного взвивы» опубликовано в сб. «Братские песни», затем — в «Песнослове». Стихотворение «Александру Блоку» («Верить ли песням твоим») Клюев поместил в сб. «Сосен перезвон» (оба издания) и впоследствии — в «Песнослове». Стихотворение «На рассвете» («Не жди зари, она погасла») впервые напечатано в «Новой земле» (1912, № 13—14, апрель, с. 8), затем (без заглавия) — в сб. «Братские песни» и, наконец,— в «Песнослове». Стихотворение «Последний день» («Сегодня небо, как невеста») опубликовано под названием «На пороге жизни» в первом издании сб. «Сосен перезвон» (во втором издании — без названия); вошло в «Песнослов» (без названия). Отметим, что в названии этого стихотворения — явная перекличка с Блоком, стихотворение которого «Последний день», помещенное в сб. «Земля в снегу», Клюев, бесспорно, знал.

[4] В № 5 «Бодрого слова» за 1909 г. помещено стихотворение «Современная былина» («В красовитый летний праздничек»). См. п. 10, прим. 1.

[5] Печатается впервые.

[6] В сокращенном виде (опущены строки 13—16) это стихотворение опубликовано в сб. «Братские песни» и позднее — в «Песнослове» (в разделе «Сосен перезвон»).

[7] Впервые опубликовано в сб. «Сосен перезвон», где отсутствуют строки 5—12. Впоследствии (с незначительным исправлением в одной строке) — в «Песнослове». (Печаталось также в «Северной звезде» 1916, № 4, с. 32).

[8] Печатается впервые.

30

⟨Дер. Желвачева, 7 сентября 1910 г.⟩

Приветствую Вас, дорогой Александр Александрович. Вновь затосковал по Вам, что не слышно Вас, все нет от Вас весточки, хотя бы и с сомнениями и раздражением. Послал Вам в Питер заказное письмо в июне, получили ли Вы его? Теперь боюсь присылать Вам свои стихи, чтобы не подумали Вы, что ради их я тоскую по Вам. Да и не пишу я теперь почти вовсе. Виктор Сергеевич [1] половину чего-то (как будто) увез с собой... И теперь горько. Свет Вам и жизнь весенняя. Не огорчайтесь на меня за слова — я не в них. Жду от Вас слов Ваших — радостно и любовно. Еще раз приветствую. Адрес прежний.

Н. К.

Открытка. На лицевой стороне — шахматовский адрес Блока.

[1] В. С. Миролюбов.

31

⟨Дер. Желвачева, 5 ноября 1910 г.⟩

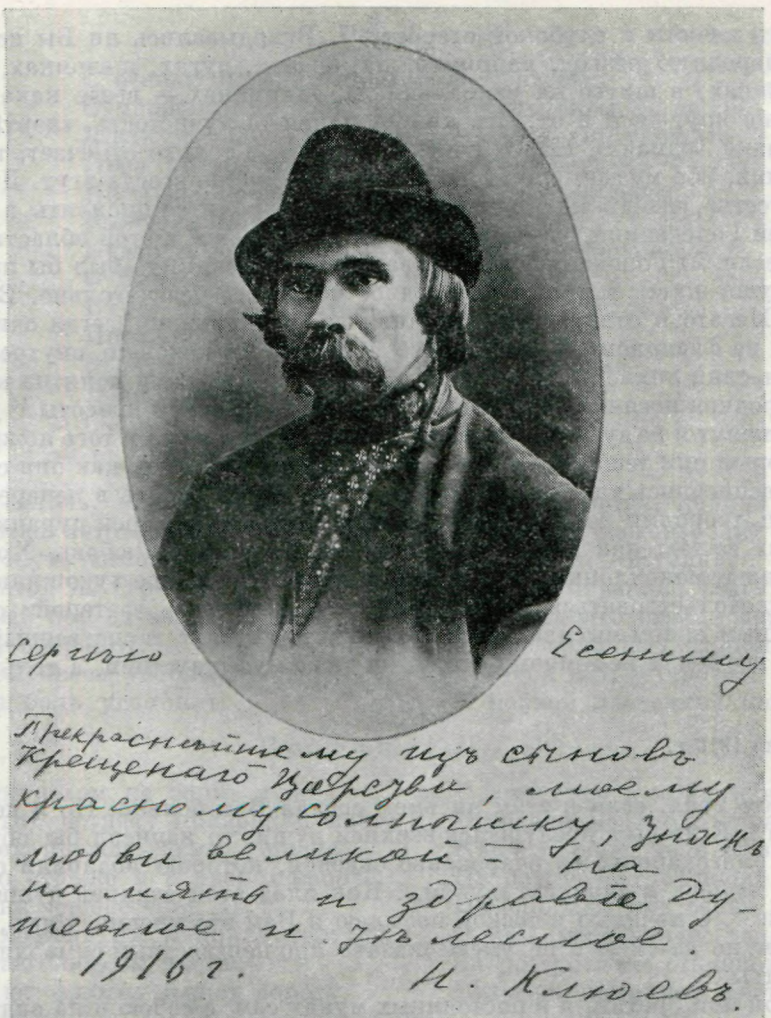
Дорогой Александр Александрович, благодаренье Вам за Ваши слова ко мне — любезные моей душе. Статью Вашу о современном состоянии русского символизма [1] прочел, но по темноте своей многого не уразумел, не понял отдельных, неизвестных мне слов вроде: теурга, Бедекера, конкретизировать, теза и антитеза, Беллини и Беато, Синьорелли, но чувствую что-то роковое в ней для вообще символистов, какой-то трубный звук над полем костей. Отсюда заключаю, что в области русского художественного слова что-то, действительно, не ладно.

Насколько я знаком с этим словом, а знаком я с ним очень смутно, оно, по-моему, за малым исключением, выдумывается людьми, не сообразующимися со средствами своего таланта, стремящимися сказать больше своего пониманья, людьми, одержимыми злой грезой построить башню до небес. При таком положении дела, т. е. когда вместо, как предполагалось, величественного здания, вырастают только бесчисленные «шаткие леса» и происходит то, что Вы зовете «глухой полночью искусства» [2], — смешение языков, такое состояние, при котором внешний человек перестает понимать внутреннего и наоборот. Когда утрачен мысленный чертеж постройки, а упорные думы не хотят вспомнить его. Страшный, зловещий час. (Мгновенье,— остановись! [3]). Безмолвие, холод и дым. И над бездной жалкие и жадные строители. *Если действительно это так*, то строителям ничего не остается делать, как «спасаться»,— побросать циркули и молотки, все предумышленные вычисления и схемы, спуститься в зеленый дол и не оглядываясь рассеяться каждому в свою отчизну. Отчизна простит им прошлое, а о будущем пусть сердце не плачет:

«Тихо ведаю: будет награда:
Ослепительный всадник прискачет...» [4]

Творчество художников-декадентов, без сомнения, принесло миру более вреда, чем пользы. Самая дурная сторона их — это совершенная разрозненность с действительной жизнью, искажение правды жизни по произволу, только для проведения непонятых даже самими авторами, ложных в действительности мыслей (напр., о Боге, о любви, о мировой душе). Если такие мысли и действовали на людей, то всегда губительно, возбуждая в них чудовищные, неисполнимые стремления, разжигая, например, и без того похотливую интеллигентскую молодежь причудливыми и соблазнительными формами страсти, выкроенной авторами из собственных блудливых подштанников [5] (подобные неисполнимости могут быть причиной самоубийства). Бог же и Мировая душа не могут быть предметом каких бы то ни было художественных описаний, которые только запутывают, затемняют и порождают ложные мысли о величайшей тайне в Мире. Тайну эту нельзя выразить ни аллегорией, ни так наз⟨ываемыми⟩ новыми словами, ни тонкостью образов, ничем, по единственной причине ее несказанности. Сказаться же душой без слова, о чем, как говорите Вы, мечтает каждый художник [6],— может только Сын разумения — Человек, уразумевший единую душу во всем, прозревший, что весь род человеческий одно, что отдельные видимые люди — есть бесчисленные, его же собственные отражения в зеркале единой души (хоть это и не точно).

Только при таком прозрении, а это дело мгновения, человеку все понятно без слов, потому что они уже не нужны и даже вредны. Современные словесники-символисты, пройдя все стадии, все фазы слова, дошли до рубежа, за которым царство молчания — «пустая, далекая равнина, а над нею последнее предостережение — хвостастая звезда» [7], поэтому они неизбежно должны замолчать, что случалось и раньше со многими из них, ужаснувшихся тщете своих художнических исканий. Как пример: недавно замолчавший Александр Добролюбов и год с небольшим назад умолкший Леонид Семенов. Человеческому слову всегда есть предел, молчание же беспредельно. Но перейти за черту человеческой речи [8] — подвиг великий, для этого нужно иметь великую душу, а главное веру в жизнь и благодаренье за чудо бытия — за милые лица, за высокие звезды, за разум, за любовь... Познание же «Вечной красоты» возможно только при освобождении себя от желаний Мира и той наружной, ложной красивости, которая людьми, не понимающими жизни, выдается за творчество, за искусство. Странным, конечно, покажется, что я, темный и нищий, кого любой символист посторонился бы на улице, рассуждаю про такой важный предмет, как искусство. Но я слушаюсь жизни, того, что неистребимо никакой революцией, что не подчинено никакой власти и силе, кроме власти жизни. И я знаю и верую, что близок час падения вавилона — искусства пестрой татуировки, которой, через мучительство и насилие, размалевали так наз⟨ываемые⟩ художники — Мир.



Н. А. КЛЮЕВ
Фотография, 1916 г. с дарственной надписью С. А. Есенину
Центральный архив литературы и искусства, Москва

Явить себя миру можно только двумя путями: музыкой слова и подвигом последования Христу, как единственному, воплотившему в себе совершенную Красоту и Истину, чтоб через Него проявить свое всеединство, свою сущность, стать подобным Отцу, как говорит Евангелие [9]. Я сказал: «Музыкой слова». О, если б только музыкой! Но все ложь, что скажется, ибо язык человека — грубый и несовершенный инструмент,—пустая бочка с натянутой вместо днища свиной кожей, в которую бьют дикари как в барабан при своих плясках вокруг костра. Остается одно: воздыхание неизреченное... молитва всемирная... сожаленье бесконечное... Но такое душевное состояние, Христово настроение, не совместимо с каким-либо художественным творчеством в здешнем мире, недаром Христос — величайший Художник, чудо тогдашнего искусства, Иерусалимский храм, не пожалел обречь на разрушение, чтоб воздвигнуть его в Вечной Красоте в душах людей. Христос похерил изреченную красоту — «и вот осталась нежность линий, и в нимбе пепельном чело» [10], то светлое молчание [11], невыразимая красота, которая сквозит в русской природе и в нашем мужике [12]

в пору его юности и глубокой старости [13]. Вглядывались ли Вы когда-нибудь в простонародную резьбу, например, на ковшах, дугах, шеломках, на дорожных батожках, в шитье на утиральниках, ширинках,— везде какая-то зубчатость, чаще круг-диск и от него линии, какая-то лучистость, «карта звездного неба», «знаки Зодиака». Народ почти не рисует, а только отмечает, только проводит линии, ибо музыка линий не ложна, краски же всегда лгут. Душу народного искусства, сознательно или бессознательно, силится проявить в своих стихах Сергей Городецкий, но слово не резец, и оно вовсе в этой области не приложимо, и если бы Городецкий вырезывал дуги и ложки, то был бы прекрасным, ибо его душа живет в линии и народное искусство безглагольно. Вы скажете: а песня? На это я отвечу так: народная песня, наружно всегда однообразная, действует не физиономией, не словосочетаниями, а какой-то внутренней музыкой, опять-таки линией, и кому понятен язык линий, тому понятна во всей полноте и народная песня [14]. Художники не познают Вечной красоты [15] до тех пор, пока не плюнут и не дунут на Сатану [16], не отрекутся мира и того ложного искусства, которым они тешат себя и князя воздушного. Но так как они собственной кровью расписались в верности Зверю, то не могут верить в неизреченное, не могут быть творцами невидимого и должны устыдиться своей дурацкой болтовни о таких вещах, как Бог, Мировая душа, Красота и Любовь. Храм невидимый не для самопоклонников, каковыми являются вообще художники, они же должны удовольствоваться только наружной жизнью — «фатерой» с пыльным, загрязненным окном-мыслью, за которым чуть сквозит таинственный, прекрасный мир, где место не земному слову, ни даже музыке линий, а только единому «Есьмь»

ноября 5 дня 1910 г.

Простите меня, если я этим письмом сделал Вам больно. Но я не могу иначе, милый... Если бы я послушался верхней души, то написал бы обратное, написал бы благодаренье за очарованье сказкой, которою подарили символисты Мир, про любовь к сладким звукам... Как плод этой верхней души прилагаю свои стихи [17]. С печалью и тоской посылаю я Вам это письмо. Знаю, что не все сказано им, но не смею и не умею сказать про неизвестный символистами мир, мир молитвы...

Дорогой мой братик, я в постоянных муках сам с собою и на видимой бумаге все-таки лгу — простите меня за это. Напишите мне, что это за «служение» — которое Вы упоминае⟨те⟩ в письме, говоря про самих себя? Вы ведь больше, милый, знаете, и мне очень тяжело про что-либо Вам высказываться, но из любви к Вам все-таки написал и в этот раз. И хоть горько, но почему-то желается, чтоб оно (письмо) пропечаталось где-либо. Быть может, оно в ком и пробудит что-нибудь. Тяжело мне [18], если огорчитесь Вы. Не можете ли мне сообщить адрес какого-нибудь недорогого журнала, где бы были Ваши стихи. Я ведь ничего не читаю и ничего не знаю, а так бы иногда хотелось узнать — почитать!

Жизнь Вам и радость! Приветствую Вас лобзанием невидимым.

(Будут ли эти стихи где напечатаны?).

⟨Приписка к стихотворению «Сказка»⟩ Очень больно иногда без книг.

⟨Приписка к стихотворению «Под осенней луной» в левой части страницы⟩ Тяжело утруждать Вас, но приходится просить еще о книгах поэзии — Брюсова, Бальмонта, Надсона, А. Белого, Сологуба, «Иней» Соловьевой [19], Тютчева, из них *только не трудных* для Вас. Все надежды на Вас — услышать, как пишут эти [20] поэты.

⟨Приписка к стихотворению «Под осенней луной» внизу страницы⟩ Я стараюсь следовать Вашему совету писать короче и не повторяться в одном стихе — заметно ли это в этих стихах? Нравится ли Вам посвященное стих⟨отворение⟩ «Верить ли песням твоим?»[21], как бы мне хотелось, чтобы его напечатали! Чем дальше я пишу, тем явственней становится какое-то незнакомое страдание,— когда пишу Вам, то легче. Не огорчайтесь просьбой о книгах.

*

С осенью повеяло новыми восторгами:
Сумеречным вечером, поздним камельком,
Жалким колокольчиком, дальними дорогами,
Неба углубленностью и месяцем-серпом.
Но душе не верится... Свадебно украшены,
Кажутся поникшими просека и дол,
Будто в келью строгую девушки-монашены
О былом с кручиною юноша вошел.
Будто взором длительным моряки отбывшие
Провожают родину с корабля кормы...
Это ты, рассветная, сердцу подарившая
Белое предчувствие смерти и зимы! [22].

Осенняя разлука

Ты не плачь, моя касатка,
Что на юг лететь пора.
Мне уснуть зимою сладко
Под фатой из серебра.
Снежный бор от вьюг студеных
Сироту оборонит,
Сказкой инеев узорных
Сердца боль угомонит.
И когда метель-царица
Допрядет снегов волну —
По тебе я, голубица,
Закручинившись, вздохну.
Нам недолго сердце маять —
Из безоблачных сторон
От тебя я буду чаять
С первой ласточкой поклон [23].

На отлете

Темным зовам не верит душа,
Не летит встречу призракам ночи;
Ты, как прежде, ясна, хороша,
Только строже и в ласках короче.
От меня неневестная ты
Не отходишь ли к брака чертогу...
Отряхают березы листы,
И на юг флюгер кажет дорогу.
Потянулися с криком в отлет
Журавли над болота равниной...
Как со мною, тебя эшафот
Не разлучит с отчизны кручиной.
Не однажды под осени плач
О тебе, невозвратно-далекой,
За разгульным стаканом палач
Головою поникнет жестокой [24].

Сказка

Ветхая ставень резьба,
Кровли резной шеломок,
Тебе или мне судьба
Войти в теремок.
Счастья-царевны глаза
Там цветут в тишине,
И пленных небес бирюза
Томится в окне.
Подойди же к калитке ворот
Звякнуть заклятым кольцом.
День за днем и за годом год
Протекут в затишьи немом.
По зиме в теремок прибреду
Про свои поведать вины
И глухую старуху найду
Вместо синей, звенящей весны [25].

Родное

Лапти новые с котомкою...
Вдоль по берегу реки
Бичевою хлещет звонкою...
Бог вам в помощь, мужики!
Ты откуль, кормилец,— слышится
По пути,— поведай нам,
Не от Бога ль пробираешься
К обездоленным людям?
Богоданный я, беспошлинный,
В поле нищими найден,
От Печерских пробираюся
К Соловецким на поклон.
Почитай вокруг Россиюшку
Христа ради обошел,
Горше, лютее судьбинушки
Я мужичьей не нашел.
Смолк. Убогие, понурые
Потянулись бурлаки,
И вослед им долго бурые
Волны плакали реки [26].

*

Белизна небесных риз,
Как нетающая пена,
На меже расцвел анис,
Земляника и марена.
Все победнее окрест
Жизни творческие ходы,
Иисусовых невест
Неоглядней хороводы.
Тяжело лежать в гробу
Серафиму без истленья,
Слышать судную трубу
И не чаять отпущенья [27].

Духу святому (песнь предсмертная)

Белому брату
Хлеб и вино новое
Уготованы.
Помолюсь закату,
Надем рубище суровое
И приду на брак непозванный.

Ты узнай меня, братец,
Не отринь меня, Одноотчий,
Дай узреть зари твоей багрянец,
Покажи мне солнце после ночи.
Я пришел к тебе без боязни
Молоденький и бледный, как былинка:
Укажи мне после тела казни
В Отчие обители тропинку.
Божий Сын, Невидимый учитель,
Изведи из мира тьмы наружной
Человека — брата Твоего!..
Чтоб горел он, как и Ты, пресветлый,
Тихим светом в сумраке ночном,
Чтоб белей цветов весенней ветлы
Стала жизнь на поприще людском!

Белого духа
Устами моего сердца
Поют небо и земля...
Чья это старуха
Ест младенца?
А! Петля! [28]

Под осенней луной

Мерно стукает машинка,
Что-то дальнее поет,
Букв оттиснутых тропинка
Нас к бессмертию ведет.
Старый дом зловеще-гулок,
Бел под лунным серебром...
Час мечтательных прогулок,
Встреч и вздохов о былом.
Но былому не подвластны,
Мы в грядущее глядим,—
Замок сказочно-прекрасный
Под луною сторожим.
Выйдем в сад. С тобою рядом
Мне так ново, так светло.
Под луны волшебным взглядом
Ты, как белое крыло.
Оттого ли, как в темнице,
Сердцу плачется с утра.
Что тебе, урочной птице,
Отлететь на юг пора?
Иль душе поверить тяжко,
Что, забыт в саду глухом,
Твоего возврата, пташка,
Не дождется лунный дом? [29]

Что листья осени шептали...

Я до рожденья был крылат
В надмирном ангелов жилище.
И райских кринов аромат
Мне был усладою и пищей.
Но смертной матерью рожден
И человеком ставший ныне,
Люблю я сосен перезвон
В лесной блуждающий пустыне.
Светил заоблачных милей
Мне тучи медленные стали,
И крик осенних журавлей,
Чем душ, представленных печали.
Трудом рыбачьим проживя
У моря зим и весен много,
Седой и мудрый, как дитя,
Сижу у хижины порога.
Как эхо гор и крики цапль
Над морем жалостны сегодня...
Прибудет к берегу корабль
И... воля сбудется Господня.
На труп простертый листопад
Сухих навеет листьев груду...
Я до рожденья был крылат
И по отбытьи светел буду [30].

[1] 8 апреля 1910 г. Блок выступал с докладом «О современном состоянии русского символизма» в Обществе ревнителей художественного слова (Петербург). Доклад Блока был ответом на доклад В. И. Иванова «Заветы символизма», прочитанного там же 26 марта 1910 г. Статья Блока под тем же названием была напечатана в журнале «Аполлон» (1910, № 8).

[2] Слова из статьи Блока «О современном состоянии русского символизма». У Блока: «...происходит смешение миров, и в глухую полночь искусства художник сходит с ума и гибнет».

[3] Перифраз известных слов Фауста: «Остановись, мгновенье,— ты прекрасно!»

[4] Заключительные строки стихотворения «Моей матери» (сб. «Нечаянная радость»). У Блока: «Пусть о будущем сердце не плачет./Тихо ведаю: будет награда:/Ослепительный всадник прискачет».

[5] В оригинале: почтаников.

[6] У Блока сказано: «Дело идет о том, о чем всякий художник мечтает,— «сказаться душой без слова», по выражению Фета» («О современном состоянии русского символизма»). Блок не точно цитирует здесь заключительные строки стихотворения Фета «Как мошки зарею». (У Фета: «О, если б без слова/Сказаться душой было можно!»).

[7] Слова из статьи Блока «О современном состоянии русского символизма».

[8] Строка из стихотворения Блока «Снова иду я над этой пустынной равниной», впервые напечатанного в журнале «Вопросы жизни», 1905, № 6. У Блока: «Но, перейдя за черту человеческой речи,/Я и молчу, и в слезах на тебя улыбаюсь». Можно предположить, что этот номер, наряду с предыдущим, был также послан Клюеву Блоком в марте 1909 г. (см. п. 18, прим. 1 и 2). В номере были помещены десять стихотворений Блока, составившие цикл «Нечаянная радость», рецензия Блока на русский перевод книг Апулея и Овидия Назона, подписанная «Ал. Бл.», рецензия Б. Кремнева на «Книгу Невидимую» А. М. Добролюбова, произведения В. Иванова, Ремизова, Ф. Сологуба и ряд других материалов, которые не могли не заинтересовать Клюева.

[9] Клюев имеет в виду скорее всего следующие слова Евангелия: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные! Мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему...» (I Иоанн, 3, 1—2).

[10] Две строки из стихотворения «An Hans Guenther» (сб. «Нечаянная радость»).

[11] Возможно, намек на слова из стихотворения Блока «Высоко с темнотой сливается стена» (вторая строка: «Там — светлое окно и светлое молчанье»). Стихотворение было впервые напечатано в журнале «Нива», 1908, № 10.

[12] Далее первоначально следовал текст: «особенно в пору его возмужания».

[13] Нижеследующие строки до слов «и народное искусство безглагольно» отчеркнуты (или, возможно, взяты в скобки) неизвестной рукой.

[14] В. Г. Базанов сопоставляет весь данный выше отрывок (со слов «Вглядывались ли Вы...») с начальными строками из «Ключей Марии» Есенина, посвященными народному орнаменту («Орнамент — это музыка» и т. д.), обнаруживая почти дословные совпадения («Вглядитесь в цветочное узорочье наших крестьянских простынь и наволочек. Здесь с какой-то торжественностью музыки переплетаются кресты, цветы и ветви» — С. Есенин. Собр. соч. в 6 томах, т. 5, с. 167, 172—173). «Есенин и Клюев,— обобщает исследователь,— глубоко чувствовали эту немую музыкальность орнаментики. <...> Оба поэта указывали на философский смысл декоративно-символических и графических изображений и цветовых обозначений, содержащихся в гравюрах по дереву, в росписях на прялках, в вышивках на полотенцах» (В. Г. Базанов. По следам дневниковых записей Александра Блока (Есенин и Блок).— Сб. «В мире Блока». М., 1981, с. 398).

[15] Первоначальный текст, зачеркнутый Клюевым: «Художников всегда будет мучить тайна Вечной красоты».

[16] Из молитвы, произносимой при приготовлении на св. крещение (Требник, с. 14). Священник повелевает крещаемому или восприемнику: «Дунь и плюнь на него <т. е. на Сатану>».

[17] К письму Клюев приложил десять стихотворений. Девять из них публикуются выше



Н. А. КЛЮЕВ И С. А. ЕСЕНИН

Фотография, 1916 г.

Литературный музей, Москва

Не публикуется стихотворение «На распутье» («Позабыл, что в руках»), печатавшееся (без названия) в «Новой земле» (1912, № 5—6, январь, с. 8), в сб. «Братские песни» и «Песнослове». Разночтения отсутствуют.

[18] Зачеркнуто слово «будет».

[19] Имеется в виду кн.: П. С. Соловьева. Иней. Рисунки и стихи. СПб., 1905. Рецензия Блока на эту книгу была напечатана в журнале «Вопросы жизни» в № 4-5 за 1905 г., т. е. в том самом номере, который Блок прислал Клюеву в марте 1909 г. (см. п. 18).

[20] Зачеркнуто слово «настоящие», первоначально написанное и замененное на «эти».

[21] См. п. 29, прим. 3.

[22] Печатается впервые.

[23] В переделанном виде (строки 13—16) и без названия это стихотворение вошло в сб. «Братские песни» (заключительная часть цикла «На отлете», состоящего из трех стихотворений); позднее перенесено в «Песнослов».

[24] В сокращенном виде (отсутствуют строки 5—8) и с незначительными исправлениями опубликовано в сб. «Братские песни» как вторая часть цикла «На отлете». В «Песнослове» (раздел «Сосен перезвон») и в сб. «Медный кит» напечатано отдельно и без названия.

[25] В сокращенном виде (отсутствуют строки 9—12) и с исправлениями в первой строфе опубликовано в журнале «Современник» (1912, № 12, с. 361). Затем под названием «Сказка» перенесено в сб. «Лесные были» и впоследствии — в «Песнослов».

[26] Печатается впервые.

[27] Печатается впервые.

[28] Впервые напечатано в «Новой земле» (1911, № 25, август, с. 15); вошло в сб. «Братские песни» и позднее — в «Песнослов». В печатной редакции вместо последних шести строк повторены первые шесть.

[29] В сокращенном виде (отсутствуют строки 1—4) и без названия опубликовано в сб. «Братские песни» как первая часть цикла «На отлете». В «Песнослове» напечатано отдельно (в разделе «Сосен перезвон»).

[30] Первые восемь строк этого стихотворения образовали позже начало стихотворения «Изгнанник» («Я был прекрасен и крылат»), публиковавшегося в «Новой земле» (1911, № 14, март, с. 9) и включенного в сб. «Сосен перезвон» (во втором издании — без названия). В переделанном виде вошло в «Песнослов».

Последние двенадцать строк, почти целиком измененные, Клюев опубликовал впоследствии как самостоятельное стихотворение («Отвергнув мир, врагов простя») в журнале „Хмель" (1913, № 7—9) и «Песнослове».

32

⟨Олонецкая губ., Вытегорский уезд, 3 апреля 1911 г.⟩ [1]

Брат Александр, жизнь тебе и радость. Не знаю почему, за последнее время часто вижу тебя, или ты мучишься много, или наоборот — перестал стремиться к Высшему. Прошу тебя — сообщить мне на мое письмо, которое вызвано твоей статьей о Символизме. Много ли по-твоему в нем правды или полное невежество и тьма? Я же остаюсь неизменным к тому малому прекрасному, которое получил от общения с тобой, и вижу в этом не свою волю.

Приветствую тебя лобзаньем любви. Твой брат Николай. Адрес. Станция Мариинская, Олонецкой губ⟨ернии⟩, Вытегорского уезда.

Открытка. Датируется по почт. шт. На лицевой стороне открытки — приписка Клюева: «За ненахожд⟨ением⟩ воз⟨вратить⟩ стан⟨дия⟩ Мариинская, Ол⟨онецкой⟩ г⟨убернии⟩, Вытегорского у⟨езда⟩ Н. Клюеву.

[1] Начиная с 1911 г. Клюев не жил постоянно в деревне Желвачево, часто гостил в соседних деревнях у знакомых или родственников. Поскольку он сам не указывает в своем адресе: «Дер. Желвачева» (ср. п. 1, 2, 4, 5, 6, 8) и не пишет «адрес прежний» или «адрес старый» (ср. п. 10, 13 и др.), то место отправления письма указывается нами здесь и далее: «Олонецкая губ., Вытегорский уезд».

33

⟨Москва, август 1911 г.⟩

Дорогой Александр Александрович.

Я в настоящее время нахожусь в Москве, здесь мне предлагают издать мои стихи, которые получше. Обещают выполнить все мои желания по изданию. Книжку обещают издать красиво, и издатель, говорят, очень богатый [1]. Спрашиваю у Вас совета. Мне почему-то немного тревожно, но меня уверяют, что книжка моих стихов в настоящий момент нужна и найдет много читателей. Также сулят написать об ней в двух-трех газетах... Если Вы посоветуете, то я желаю в духе своем посвятить книгу Вам — «Нечаянной Радости» и прошу Вас написать хотя бы маленькое предисловие. Озаглавить книгу /стихи я предполагаю так:

Николай Клюев.
Сосен перезвон.

Не то, что̀ мните вы,— природа!
Ф. Тютчев [2]

Адрес мой: Москва, Новослободская улица, дом № 13, кв. 9
Редакция журнала «Новая земля» Н. Клюеву

Жду скорого ответа [3], так как пробуду здесь недолго. Приветствую Вас в любви.

Н. Клюев

Датируется по содержанию (Клюев находился в Москве в августе 1911 г.).

[1] Инициатором издания стихотворений Клюева отдельной книгой был И. П. Брихничев, который, видимо, и рекомендовал его издателю В. И. Знаменскому, сочувственно относившемуся к начинаниям «голгофских христиан». (В 1911 г. в книгоиздательстве «В. И. Знаменский и К°»была выпущена составленная Брихничевым книга «Христос в мировой поэзии»). О том, что Брихничев пытался найти для Клюева издателя, свидетельствует его недатированное письмо к Брюсову (видимо, август 1911 г.): «О Клюеве. Это простой крестьянин. Страшно нуждается. Как было бы хорошо, если бы можно было издать его сборник стихов — нельзя ли что-нибудь сделать в этом отношении?» (ГБЛ, ф. 386, карт. 78, ед. хр. 18, л. 3).

[2] Первая строка программного стихотворения Тютчева, в котором утверждается идея одухотворенной природы, особенно близкая Клюеву. (Первая строфа: «Не то, что мните вы, природа — /Не слепок, не бездушный лик./В ней есть душа, в ней есть свобода./В ней есть любовь, в ней есть язык»).

[3] Блок не мог дать на это письмо Клюева «скорый ответ», так как 5 июля покинул Петербург, отправившись в заграничное путешествие. Вернулся в Петербург 7 сентября 1911 г. (Предисловие к сб. «Сосен перезвон» было написано В. Я. Брюсовым).

34

⟨Петербург, 22 сентября 1911 г.⟩

Я (Клюев) в настоящее время нахожусь здесь. Пробуду очень недолго. Буду весьма огорчен, если не удастся увидеть Вас. Если можно, то сообщите, когда можно к Вам зайти [1].

Мой адрес: Садовая улица № 112—114, кв. № 1. Н. Клюеву.

Открытка. Датируется по почт. шт. На лицевой стороне открытки приписка Клюева: «За ненахожд⟨ением⟩ возв⟨ратить⟩ Садовая 112, кв. 1, Клюеву.

[1] Встреча Клюева с Блоком, во время которой и произошло их очное знакомство, состоялась, скорей всего, 26 сентября 1911 г. Накануне, 25 сентября, в открытке, отправленной матери, Блок сообщал: «Завтра днем у меня будет Клюев» («Письма к родным», II, с. 185 и 446). Беседа с Клюевым произвела на Блока сильное впечатление. «*Клюев* — большое событие в моей осенней жизни» — записано в его дневнике 17 октября 1911 г. Насколько можно понять из записи, Клюев посетил Блока дважды; он рассказывал ему о жизни Л. Д. Семенова и А. М. Добролюбова, излагал свое отношение к проблеме «ухода» («...лучше оставаться в мире...» и т. д.). Кроме того, Клюев сообщил Блоку, что его стихотворения «поют» в Олонецкой губернии, и это известие также взволновало Блока (VII, 70—71). Об этой первой встрече поэтов и содержании их беседы см. также в следующем письме.

35

⟨Олонецкая губ., Вытегорский уезд, около 30 ноября 1911 г.⟩

Дорогой Александр Александрович.

Это мое приветствие к Вам уже не имеет характера «С добрым утром», ибо я воочию убедился, что Вы спите, хотя и не в зачарованном замке, как думается с первого взгляда. И кажется Вам, что все еще ночь в мире и еще далеко до того, когда наступит день, и что два необъятных привидения, Убийство и Чувственность, бродят по всей земле и называют ее своею. Тщетно я подбрасываю сучьев в свой одинокий лесной костер, чтобы огонек его стал виден Вам в пустыне Вашей Ночи и чтоб почувствовали Вы, что он приводит на грудь брата. Все мои письма и слова к Вам есть раздувание этого костра.— Я обжег руки, на губах у меня пузыри и болячки, валежник и сучья разорвали мою одежду... Но сон обуял Вас. Мнится Вам, что Мир во власти демонов. Демоны кишат, рыщут в безднах ночи и, покорные Вашей воле, приносят Вам то аметист, то священного скарабея [1]. На самом же деле происходит следующее: В сером безбрежьи всерусского поля, где синь-горюч камень, ковыль-трава и ракитов куст, чарым сном спит прекрасный Иван Царевич. В шумучих ковылях теряется дикий шлях — путь искания возлюбленной (Прекрасной дамы) и с какой-нибудь Непрядвы или речки-Смородицы доносятся лебединые гомон и всплески [2]. Далеким-далеко, за нитью багровой заряницы, скоком-пòходом мчится серый волк: несет воду живую и мертвую. И не демоны ширяют в дымных воздухах, а курганное воронье треплет ши́банками (крыльями), клюет падальчеловечину, то белую руку со ѕлатым кольцом, то косицу с жарким волосом молодецким. За синим бором, на ровном месте (как хлеб на скатерти) идет побоище смертное, правый бой с самим Диаволом...

И зигзица прокуковала *тридцать годов* судины [3]. Пора вставать Прекрасному на резвы ноги, да заломил Враг отступную дань — не много-не мало, душу из белой груди. Мается маятой смертной в Кощеевом терему Царевна: чья возьмет?..

Топится воск в малой келье на бору. Истекает смоль-душа — Спасу в дар приносится: — «прими Господи за грехи наши». И «сосен перезвон», как колокол, красное яйцо сулит,— белую вербу, ключевую воду, частый гребень, ворона коня, посвист удалецкий, зазнобу — красну девицу...

Я знаю, что Вам опять это письмо покажется неверным, опять заговорите Вы в Лермонтовском «и скучно, и грустно», но мне теперь видно Ваше действительно роковое положение, так как одной ногой Вы стоите в Париже, другой



Н. А. КЛЮЕВ И С. А. ЕСЕНИН
Фотография, 1916 г.
Литературный музей, Москва

же «на диком бреге Иртыша». Отсюда то тяжелое и нудное, что гнело нас при встрече и беседе друг с другом. Я видел Вас как-то накосо, с одного бока, и тщетно пытался заглянуть Вам прямо в лицо, то отдаваясь течению Ваших слов в надежде, что (как это иногда бывает) оно прибьет к берегу, то окликая Вас Вашим тайным, переживаемым. Напрасно! Даже Ваш прощальный поцелуй был (если не из физического отвращения) половинчат и не унесен мною в мир. Ясно, что такие люди, как я, для Вас могут быть лишь материалом, натурой для Ваших литературных операций, но ни в коем случае не могут быть близкими, братьями. Доказательством этому служит Ваше признание, что Вы творите не для себя в другом человеке, а во имя свое, т. е. как Бог, и не знаете, боитесь поверить, что Ваше «я» вовсе не Ваше Я, а наполовину мое «Он», Тот, Кого назвать я не умею и не смею, и еще: вещи, которые меня волнуют настолько, что под тяжкой улыбкой приходится скрывать слезы, Вами встречены даже с иронией, с полным недоверием. (Помните за обедом я заикнулся о Прощении,

и Вы засмеялись в ответ). Все это открыло мне, что Вам грозит опасность, что Ваше творчество постольку религиозны, а следовательно и народны, поскольку далеки всяких Парижев и Германий [4] и т. п. Повторяю, что моя беседа с Вами была сплошной борьбой с иноземщиной в Вас. Я звал Вас в Назарет,— Вы тянули в Париж, я говорил о косоворотке и картузе,— Вы бежали к портному примеривать смокинг, в то же время посылая воздушный поцелуй и картузу, и косоворотке. Такое положение долго продолжаться не может, а если и продолжится, то вскоре Мир увидит вместо Ивана Царевича «Идолище поганое», нового бога с лицом быка и спиной дракона [5]. В тот день безумства и позора дунет Дух и велико будет падение идола [6], и Вечная Зима (которую Вы уже слышите в «Земля в снегу») дохнет метелью и мраком [7] на светлый рай Ваш [8]...

В настоящий вечерний час я тихо молюсь, да не коснется Смерть Вас, и да откроется Вам тайна поклонения не одной Красоте, которая с сердцем изо льда, но и Страданию. Его храм, основанный две тысячи лет тому назад, забыт и презрен, дорога к нему заросла лозняком и чертополохом; тем не менее отважьтесь идти вперед!— На лесной прогалине, в зеленых сумерках дикого бора приютился он. Под низким обветшалым потолком Вы найдете алтарь еще на месте и Его тысячелетнюю лампаду неугасимо горящей. Падите ниц перед нею, и как только первая слеза скатится из глаз Ваших, красный звон сосен возвестит Миру — народу о новом, так мучительно жданном брате, об обручении раба Божия Александра,— рабе Божией России.

В этом смысле понимайте и название моей книжки, всецело обращенной к Вам. *Простите меня за беспокойство, которое я причинил Вам своим посещением.* Если найдете удобным, то покажите это письмо С. М. Городецкому [9], так как ничего другого в настоящее время я и ему сказать не имею. Что он написал (как говорил) обо мне в газете «Речь»? [10] Спрашиваю Вас, воздержаться ли мне писать о Вас в «Аполлон», о чем есть оттуда просьба ко мне? [11] Не могу больше писать, очень еще слаб после болезни. Было воспаление легких, в боку еще очень колет и кашель страшный.

Жизнь Вам и Прощение.

Освящайтесь, просветляйтесь и прославляйтесь.

Остаю⟨сь⟩ в любви Н. К.

⟨Приписка на отдельном листе⟩ [12] О моей книжке ни слуху, ни духу. Видимо меня книгоиздательство Знаменский и К⁰ обмануло и теперь не хочет знать. Не высылают ни книг, ни денег, хотя и есть на это писаный договор. Обидно и противно об этом говорить, но мне тут ничего не поделать. Вся надежда на Вас: быть может, Вы потрудитесь написать два слова по адресу Москва, Грузинская, дом № 3, книгоиздательство Знаменский и К⁰. Только это и подействует на них, так как они побоятся Вас. *Очень прошу об этом* [13].

Датируется по связи со след. п. (30 ноября — дата отправления письма, написанного, по всей видимости, накануне или за несколько дней). Ряд записей в «Дневнике» Блока свидетельствует о том, что письмо Клюева было получено им одновременно с экземпляром книги «Сосен перезвон», отправленной 30 ноября. Например: «5 декабря. Письмо и книга Клюева»; «6 декабря ⟨...⟩ Я над Клюевским письмом» (VII, 100—101). Из этих дневниковых записей видно также, что письмо Клюева вновь произвело на Блока исключительно глубокое впечатление.

[1] Перифраз отрывка из блоковской статьи «О современном состоянии русского символизма». У Блока: «Благодаря этой сети обманов,— тем более ловких, чем волшебнее окружающий лиловый сумрак,— он ⟨т. е. художник — *К. А.*⟩ умеет сделать своим орудием каждого из демонов, связать контрактом каждого из двойников; все они рыщут в лиловых мирах и, покорные его воле, добывают ему лучшие драгоценности — все, чего он ни пожелает: один принесет тучку, другой — вздох моря, третий — аметист, четвертый — священного скарабея, крылатый глаз».

[2] Перифраз следующего отрывка из статьи Блока «Народ и интеллигенция»: «Над городами стоит гул, в котором не разобраться и опытному слуху; такой гул, какой стоял над татарским станом в ночь перед Куликовской битвой, как говорит сказание. Скрипят бесчис-

ленные телеги за Непрядвой, стоит людской вопль, а на туманной реке тревожно плещутся и кричат гуси и лебеди». Со стихотворным циклом Блока «На поле Куликовом», где почти дословно повторены некоторые места статьи («Над Непрядвой лебеди кричали» и т. д.), Клюев познакомился лишь после того, как отправил это письмо (см. п. 36, прим. 1).

Образы блоковского Куликовского поля возникают в статье Клюева 1919 г. «Огненное восхищение». «Слушаю свою душу,— пишет Клюев,— степь половецкую, как она шумит ковыльным диким шумом. Стонет в ковылях златокольчужный вить, унимает свою секирную рану; только ключ рудный, кровавый неуемен... И за ветром свист сабли монгольской» («Звезда Вытегры», 1919, № 12, 1 мая).

[3] Намек на то, что Блоку исполнилось тридцать лет.

[4] Так в оригинале.

[5] Слова из стихотворения В. С. Соловьева «Кумир Небукаднецара». У Соловьева: «Он был велик, тяжел и страшен,/С лица как бык, спиной — дракон».

С поэзией Владимира Соловьева Клюев, насколько можно судить, познакомился также благодаря Блоку, который в своих произведениях того времени нередко цитировал Соловьева и ссылался на него. Так, в сб. «Земля в снегу» эпиграфами к отдельным стихотворениям Блока были строки В. Соловьева. В декабре 1910 г. Блок читал в Петербурге доклад о Вл. Соловьеве — «Рыцарь-монах», напечатанный затем в сб. «О Владимире Соловьеве» (М., 1911). В статье «О современном состоянии русского символизма» Блок дважды цитирует стихи Вл. Соловьева и называет его своим «учителем». Стихотворение «Кумир Небукаднецара» было напечатано в сб. «Чтец-декламатор», который Клюев получил от Блока в марте 1910 г. (см. п. 27, прим. 1).

[6] Перифраз отдельных строк того же стихотворения: 1. «В сей день безумья и позора/ Я крепко к господу воззвал»; 2. «И дунул дух и погасил/Огонь небес»; 3. «Он пал в падении великом».

Клюев не случайно цитирует слова и строки из стихотворения «Кумир Набукаднецара». Гражданственный, обличительный пафос этого произведения, сатирически направленного против К. П. Победоносцева, передан у Соловьева возвышенным, библейски-пророческим языком; к такому же «профетическому» стилю стремился и Клюев в некоторых своих стихотворениях 1907—1911 гг.

[7] «Метель» и «мрак» — слова-символы, ключевые для многих стихотворений сб. «Земля в снегу», прежде всего для цикла «Заклятие огнем и мраком» (первоначальное название — «Заклятие огнем и мраком и пляской метелей»).

[8] Намек на стихотворение Блока «Я насадил мой светлый рай» (сб. «Земля в снегу»).

[9] Как свидетельствует запись в дневнике Блока, сделанная 7 декабря 1911 г., Блок переписал это письмо Клюева и отправил его Городецкому (VII, 101).

[10] В газете «Речь» от 5 декабря 1911 г. (№ 334) была напечатана рецензия С. М. Городецкого на сборник «Сосен перезвон». Поскольку Клюев упоминает о ней до того, как она появилась в печати, можно предположить, что либо Блок, либо сам Городецкий заранее известили его о предполагаемой статье. Книгу Клюева, как и все его творчество в целом, Городецкий оценивает чрезвычайно высоко. «Редко мы встречаем у начинающих поэтов — сказано в его статье-рецензии,— такое четкое, прекрасно выраженное самоопределение». Добавляя, что «интимные переживания» переданы в поэзии Клюева «с прямотой настоящего большого лирика», Городецкий отмечает в ней несомненное влияние стихов Блока.

[11] Инициатором сближения Клюева с «Цехом поэтов» и кругом «Аполлона» был С. М. Городецкий; его знакомство с Клюевым, состоявшееся осенью 1911 г., быстро переросло в дружбу. «Он очень близок моим песням»,— писал о Городецком Клюев 27 декабря 1912 г. издателю К. Ф. Некрасову (Гос. архив г. Ярославля и Ярославской области, ф. 952, оп. 1, ед. хр. 106). Однако в сущности отношение Клюева к Городецкому было более сложным (см. п. 43, прим. 29).

Что касается Городецкого, то он в те годы был горячим приверженцем «народной» поэзии Клюева, не раз писал о нем и широко пропагандировал его творчество. Видимо, по его рекомендации стихи Клюева были напечатаны в журнале «Гиперборей» (1912, № 1) и альманахе «Аполлон» (1912; вышел в свет в конце 1911 г.). В 1912 г. в журнале «Аполлон» Н. С. Гумилевым был дважды сделан разбор стихов Клюева (см. п. 40, прим. 4), а кроме того, в издании «Цеха поэтов» готовилась к печати книга его стихотворений «Плясея» (об этом сообщалось на страницах русских периодических изданий). Ясно, что «просьба» из «Аполлона», о которой упоминает здесь Клюев, была ему направлена также не без участия Городецкого.

[12] Подтверждением того, что приписка на отдельном листе относится именно к данному письму, служит большое письмо Клюева к Брюсову, отправленное в тот же день (30 ноября). Завершая его, Клюев делает приписку, в которой излагает Брюсову ту же просьбу и употребляет при этом же слова и выражения, что и в письме к Блоку. «Вышла ли моя книжка стихов? — спрашивает Клюев.— Я ничего об ней не слышу. Писал своему издательству Знаменский и К°, но ответа не получил. Денег тоже, хотя и есть на это у меня писаный договор. Наверно, меня эта компания обманула и больше не хочет знать. Обидно и противно говорить об этом, но мне-то тут ничего не поделать. Вся надежда на Ваше заступничество. Быть может, Вы потрудитесь сказать по телефону № 103-82 — книгоиздательство „Знаменский и компания", чтобы мне выслали должные деньги и 25 штук моих книжек. Только это и подействует на них, так как они не посмеют огорчить Вас» (ГБЛ, ф. 386, карт, 89, ед. хр. 49, л. 1).

Видимо, в тот же день (30 ноября) Клюев отправил и С. Городецкому письмо, содержащее аналогичную просьбу. 5 декабря 1911 г. Городецкий пишет Брюсову: «Дорогой Валерий

Яковлевич. Не откажите в любезности сказать по телефону в кн-во „В. И. Знаменский и К°“, чтоб оно выслало деньги Николаю Алексеевичу Клюеву 〈...〉 за его книгу „Сосен перезвон“, к которой Вы написали предисловие. Необходимо также выслать авторские экземпляры книги. Клюев мне пишет, что он ни того, ни другого не получает» (ГБЛ, ф. 386, карт. 83, ед. хр. 36, л. 26).

[18] Блок написал Знаменскому. На обратной стороне листа — помета его рукой: «Знаменскому написал 12.XII» (см. также п. 37).

36

〈Марьино, 30 ноября 1911 г.〉

Сейчас получил «Ночные часы»: и так обрадовался, что на первых же страницах нашел те же самые слова, которые написаны мною в этом заказном письме...[1] Сейчас получил и «Сосен перезвон» — свою книжку [2],— изуродованную, с перепутанными стихами, с не моими заглавиями, с множеством опечаток, и вдобавок с недохваткой многих непонравившихся [3] издателю стихов [4]. Видите, как с нашим братом церемонятся, что даже за свои книжки нужна плата. Напишите что либо об ней [5]. Очень буду ждать.

С любовью Н. К.

Открытка. Датируется по почт. шт.

[1] Сб. «Ночные часы» вышел из печати в конце октября 1911 г. В начале первого раздела книги, озаглавленного «На родине», был помещен стихотворный цикл «На поле Куликовом». Перекличку со своим письмом к Блоку Клюев, скорее всего, увидел в словах «О Русь моя! Жена моя!»

[2] Один из первых экземпляров книги (возможно, самый первый) Клюев отправил Блоку (см. подробнее во вступ. статье).

[3] В оригинале «не подравившихся»

[4] В тот же день Клюев писал Брюсову: «Дорогой Валерий Яковлевич, присылаю Вам свою книжицу, изуродованную до неузнаваемости, с перепутанными стихами, с множеством опечаток, с не моими заглавиями и с недостающими, потерянными издательством стихами» (ГБЛ, ф. 386, карт. 89, ед. хр. 49, л. 4). Отзыв Клюева совпадает с мнением Брихничева, изложенным им в открытом письме к Брюсову 27 декабря 1911 г.: «Как безобразно издал Знаменский Клюева. Но я уже ничего не мог сделать, ибо был на ножах с издателем, и он мне книги Клюева не показывал» (ГБЛ, ф. 386, карт. 78, ед. хр. 18, л. 8).

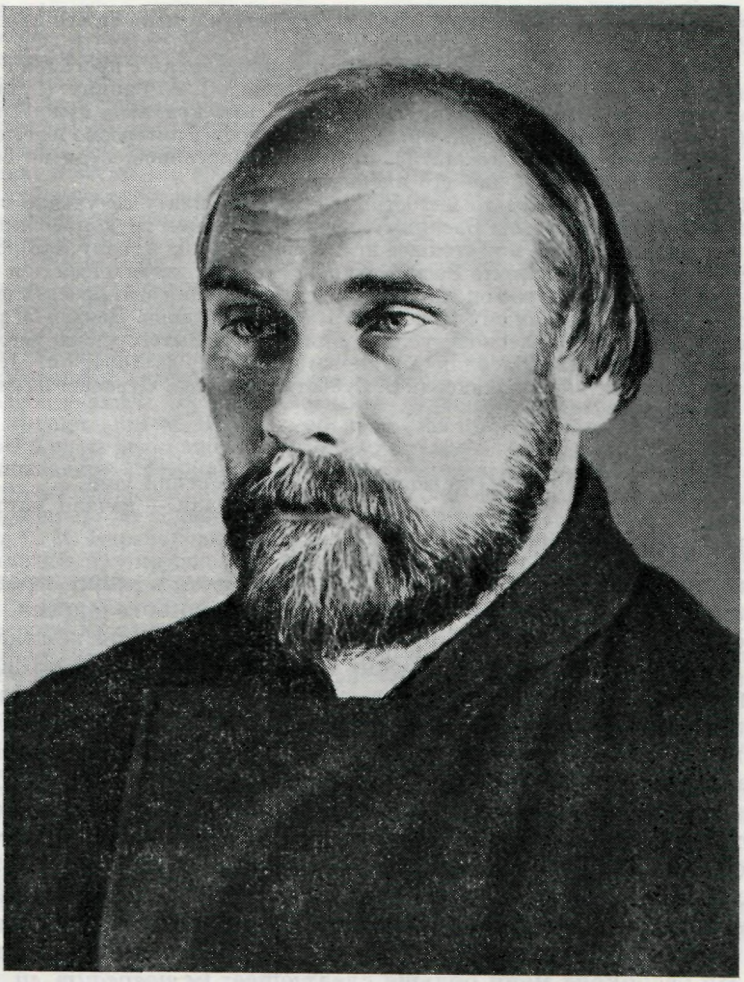
[5] Блок воздержался писать рецензию на «Сосен перезвон», как, впрочем, и на все последующие книги Клюева, несмотря на то, что друзья и единомышленники олонецкого поэта не раз просили его об этом: «Не напишете ли Вы нам к первому номеру отзыв о книге Клюева. Кому как не Вам *по-настоящему* осветить образ и поэзию этого пророка новейшего времени»,— спрашивал его, например, Брихничев в августе 1912 г., имея в виду получить от Блока рецензию на сб. «Братские песни» для первого номера журнала «Новое вино», сменившего с декабря 1912 г. запрещенную цензурой «Новую землю» (ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 173, л. 7 об.). Блок ответил отказом. «Любя Клюева, — писал он 26 августа 1912 г.— не нахожу ни пафоса, ни слова, которые передали бы третьему (читателю „Нового вина“) нечто от этой моей любви...» (VIII, 401).

37

〈Олонецкая губ., Вытегорский уезд,
конец декабря 1911 г.— начало 1912 г.〉

А〈лександр〉 А〈лександрович〉.

Получил от Вас два заказных письма — ответ на мое письмо. В одном Вы пишете, что Знаменский ответил Вам, что деньги мне посланы. Денег же я не получил никаких. Прилагаю к сему письмо дорогих для меня людей, из которого видно, как мучительно нужно сейчас сколько-нибудь рублей и как бы к месту была получка за книжку. Дорогой Александр Александрович, ради малого хорошего, что мы с Вами нашли в самих себе и что связывает нас с людьми и с родиной, прошу Вас послать по прилагаемому адресу сколько для Вас не жалко. В письме Вы найдете строки: «У меня все пожгли, всю солому — так что не осталось ничего,— не скотину кормить, не топить нечим».— Это ужасно, дорогой мой, милый родной Александр Александрович! 5, 10, 15 рублей нужно не медля. Адрес: станция Урусово, Рязанской губ〈ернии〉, деревня Гремячка, крестьянину Григорию Васильевичу Еремину [1].



Н. А. КЛЮЕВ
Фотография, 1928 г.
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград

На переводе поставьте мою фамилию, так как хоть там Вас и знают, но деньги, пожалуй, с Вашим именем отошлют назад. Не могу больше писать ничего и не успокоюсь, пока не получу ответа на деньги из Рязанской губ⟨ернии⟩ [2].

Остаюсь в любви Н. К.

Датируется по содержанию.

[1] Григорий Васильевич *Еремин* — крестьянин-сектант, у которого в течение долгого времени жил Л. Д. Семенов, предполагавший впоследствии жениться на его дочери. Еремин бывал у Л. Н. Толстого и переписывался с ним. По поводу посещения его Ереминым Толстой писал 10 мая 1908 г. Л. Д. Семенову: «Мы много беседовали с ним, но я жалею, что мало. Хотелось бы поделиться и, главное, попользоваться от него многим ⟨...⟩ Он много мне сказал полезного и много говорил о вас» (Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч., т. 78. М., 1956, с. 137). Клюев гостил у Еремина летом 1911 г. Позднее, в своем письме к Есенину (август 1915 г.) Клюев вспоминал : «Я бывал в вашей губернии, жил у хлыстов в Даньковском уезде, очень хорошие и интересные люди...» («Есенин и современность», с. 240). Упоминаемое Клюевым письмо Еремина к нему сохранилось в архиве Блока. «Мир тебе дорогой брат Коля Приветствую тебя Духом Любви прости меня за долгое молчание к тебе Я ⟨...⟩ ждал от тебя ответа и не подумай брат что мы забыли о тебе нет Мы всегда помним тебя ты всегда блис серца нашего»,— так начиналось это письмо (цитируется с воспроизведением особенностей оригинала). Далее Еремин сообщал Клюеву о постигшем его «наружном неблагополучии»: «...у меня еще пожгли всю солому так что не осталось ничево не скотину кормить не топить нечим если име-

ешь свободную возможность то помоги по силе возможности а меня за все прости» (ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 2, ед. хр. 39).

[2] Клюев не раз обращался к своим знакомым и покровителям с просьбой о денежной помощи себе и другим людям. Так, в недатированном письме к С. А. Гарину (судя по содержанию — первая половина 1913 г.) Клюев, ссылаясь на свою крайнюю нужду, просит «300—400 рублей» (ЦГАЛИ, ф. 146, оп. 1, ед. хр. 38, л. 4). Наиболее интересно в этом плане письмо Клюева к А. В. Руманову (о нем см. п. 39, прим. 1), написанное, судя по содержанию, в 1915—1916 гг. и отчасти аналогичное его письму к Блоку:

«Аркадий Вениаминович, будьте милостивы — внесите плату за учение в Вытегорском реальном училище мужицкого сына Василия Хотякова. Великим трудом, собирая копейки, я довел его до шестого класса, но в настоящее время сам голодаю и живу, где попало, добрых же людей всех отняла война. Спасите Васю Хотякова, ведь он такая радость и гордость крестьянская. В противном же случае он должен, не доучась лишь года, бросить школу и его не медля заберут в солдаты, так как ему 18 лет. На Вас все упование. Деньги 50 руб. высылать по адресу: Город Вытегра, Олонецкой губ. Г-ну директору Вытегорского реального училища — взнос платы за ученика Василия Хотякова» (ЦГАЛИ, ф. 1694, оп. 1, ед. хр., 306, л. 4—5. Полный текст письма опубликован С. Субботиным в газ. «Красное знамя» (Вытегра), 1985, № 73, 18 июня.

38

〈Олонецкая губ., Вытегорский уезд,
конец февраля — начало марта 1912 г.〉

Дорогой Алек〈сандр〉 Алек〈сандрович〉.

Я послал на Ваше имя письмо В. С. Миролюбову [1], очень прошу отослать его заказным письмом, я не умею написать иностранного адреса. Обращаюсь к Вам еще с просьбой: посоветуйте, что мне делать? «Новая земля» предлагает мне издать книжку стихов в духе «Песнь братьям» — в № 7-8 «Новой земли» [2]. Все чтоб были стихи в таком же роде — обещает за это триста рублей и просит отвечать немедленно, так как надо пропечатать в газетах, что будет за этот год к журналу приложена моя книга. Пишут так убедительно с заголовком: «Торопитесь делать добро», что мне как-то неловко ответить необоснованным отказом. Быть может, новоземельцы и искренне веруют, что мои песни «отклик Елеонских песнопений». Я вовсе сбит с толку. По Москве распространяют мои письма, поют в Ямах [3] мое стих〈отворение〉 «Поручил ключи от ада...» и «Под ивушкой зеленой» [4]... Не знаю, врут или правду пишут. Брюсов мне пишет, что я должен держаться «на занятом положении» [5], одним словом недоумениям моим нет конца. Книга предполагается с вступительной статьей что ли Епископа Михаила [6]. Но беспокоит меня больше следующее: *не повредит ли мне книжка с такими песнями с художественной стороны?* Быть, может, Вы прочтете в № 7-8 «Новой зем〈ли〉» одну песню — как образец предполагаемой книжки. Очень и очень прошу написать мне поскорее. Без Вашего же слова я не смею ни соглашаться, ни отказывать [7]. Знаменский и К⁰ Вам все врет, денег я за «Сосновый звон» не получал. С Рязанской губ〈ернии〉 ответа на 10 руб. не получил. Потрудитесь ответить мне насчет книжки — приложения к «Нов〈ой〉 земле» и простите, что я Вас беспокою.— Вышла ли книга с Вашими статьями? [8]

Н. К л ю е в

Датируется по содержанию (упоминание о № 7-8 «Новой земли»).

[1] В. С. Миролюбов заведовал в то время литературным отделом журнала «Заветы», издававшегося в Петербурге с 1912 г. Стихотворения Клюева печатались почти в каждом номере журнала. «Надо бы известить Клюева, что два стихотв〈орения〉, к〈ото〉рые он мне присылал, к〈ото〉рые в „Зн〈ание〉“ 〈т. е. в сб. „Знание“, которые с 1911 г. Горький редактировал при активной поддержке Миролюбова — *К. А.*〉 не взяли, я помещу в 1 кн〈ижке〉 нашего журнала 〈т. е. „Заветов“ — *К. А.*〉. Чтобы он не поместил их в другом месте»,— писал Миролюбов Блоку 29 января 1912 г. Переписка Клюева и Миролюбова, как видно, осуществлялась через Блока и в 1912 г. «Писать прямо Клюеву боюсь. Пусть и он пишет через Вас»,— указывает Миролюбов Блоку в своем письме к нему из Италии 15 декабря 1912 г. (ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 335, л. 8 об. и 16). К одному из писем относится, очевидно, помета, сделанная Миролюбовым в его записной книжке 1912 г. (16 ноября): «Зак〈азное〉 Блоку — Клюеву» (ИРЛИ, ф. 185, оп. 1, ед. хр. 26, л. 180).

Какие именно произведения Клюева пересылал Блок Миролюбову в феврале-март 1912 г., не установлено.

[2] В № 7-8 «Новой земли» за 1912 г. (февраль) была помещена «Песнь — братьям» (с. 3), которая затем под новым заглавием «Песнь похода» вошла в сборник «Братские песни» и позднее — в соответствующий раздел «Песнослова» (с разночтениями).

[3] ...в Ямах (или на Ямах) т. е. в Николо-Ямском переулке Москвы, где находилось несколько старообрядческих церквей.

[4] Стихотворение «Поручил ключи от ада», озаглавленное «Братская песня», впервые напечатано в журнале «Новая земля» (1912, № 1-2, январь, с. 3); перешло (с разночтениями) в «Братские песни» и затем — в «Песнослов». Стихотворение «Под ивушкой зеленой» первоначально также публиковалось в «Новой земле» (1912, № 11-12, март, с. 2), где оно имело название «Вечерняя песня»; озаглавленное затем «Усладный стих», оно было (в переделанном виде) включено Клюевым в «Братские песни» и «Песнослов».

[5] Письма Брюсова к Клюеву (за исключением одного), видимо, не сохранились. В своем письме к Брюсову Клюев спрашивал его 3 февраля 1912 г.: «Очень хотелось бы знать, что слышно про „Сосновый звон" в печати устно» (ГБЛ, ф. 386, карт. 89, ед. хр. 49, л. 6). В ответном (февральском) письме Брюсова и содержались, скорее всего, слова, приведенные Клюевым.

[6] Епископ *Михаил* (настоящее имя — Павел Васильевич *Семенов*; 1872—1916), старообрядческий священник, писатель, автор учебников по богослужению и работ по истории восточной и западной церквей. Окончил Казанскую духовную семинарию (в начале 90-х годов). В 30 лет стал архимандритом. В 1905 г. объявил себя христианским социалистом; опубликовал 12 писем «О Христе подлинном», в которых пытался соединить марксизм с христианством. Вместе со священником Григорием Петровым организовал кружок «32 прогрессивных священника». В 1906 г. уволен из академии, сослан в Задонский монастырь, оттуда переведен в Валаамский монастырь. В конце 1907 г. приехал в Нижний Новгород; сотрудничал в журнале священника Г. М. Карабиновича «Старообрядец». Лишенный синодом сана архимандрита, уехал в Финляндию, где продолжал заниматься литературным трудом. Его расхождения со старообрядцами достигают к этому времени значительной остроты. На старообрядческом соборе в 1909 г. о. Михаилу было разрешено священнослужение при условии, что он уедет в Канаду для основания там новой старообрядческой епархии. Недостаток средств заставил о. Михаила отказаться от этого начинания и вернуться в Россию. В 1909 г. издает в Царицыне газету «Город и деревня» и печатается в журнале «Слушай земля». К этому же времени относится его переписка с Горьким. Старообрядческий собор 1911 г., выслушав доклад Г. М. Карабиновича «О еретических мыслях», запретил о. Михаилу заниматься священнослужением. Умер в Москве от гнойного воспаления мозга в больнице, куда его доставили избитым до полусмерти (см. «Волгарь», 1916, № 298, 30 октября).

[7] Блок высказался за издание книги. В письме к Брюсову, спрашивая у него совета относительно издания «Братских писем», Клюев пишет 16 марта 1912 г.: «А. Блок советует издать, говорит об этом твердо» (ГБЛ, ф. 386, карт. 89, ед. хр. 49, л. 5). Отзыв Блока о «Братских песнях» сохранился в передаче И. Брихничева: «Александр Блок сказал: это книга— *земная, сильная, национальная*» („Руль", 1912, № 355, 18 июня).

[8] Клюев имеет в виду задуманную, но так и не осуществленную Блоком книгу «Собрание статей», которая аннонсировалась на обложке каждого тома «Собрания стихотворений».

39

〈Олонецкая губ., Вытегорский уезд, 16 марта 1912 г.〉

Дорогой Александр Александрович, я получил Ваше письмо от 7 марта. Я не забыл Вас, и всегда Вы у меня в сердце, не писал же я Вам, потому что остерегаюсь на белом мраморе Вашей залы наследить сапогами, в атмосферу левкоев и гиацинтов внести запах ночлежки. В общем же только из какой трепетной заботливости о Вашей радости — о Вашей белизне, святости — «прибела».

Я бы был благодарен Вам, если б Вы сказали Руманову [1], что Знаменский обидел меня. Про свои обиды я уже привык говорить Вам и в этот раз не утаиваю ее. В Рязани 10 руб. получили. Спасибо. От Миролюбова ответ на письмо получил.

В любви крепкой НК

Открытка. Датируется по почт. шт.

[1] Аркадий Вениаминович *Руманов* (1878—1960) — журналист и писатель, петербургский представитель газеты «Русское слово»; автор книги «Священник Г. С. Петров, член Государственной думы. Биография и история ссылки в монастырь» (М., 1907).

Сближение Руманова с Блоком относится к концу 1911 г. Приблизительно в это же время Руманов познакомился и с Клюевым. Посредником в их знакомстве был скорей всего С. М. Городецкий. В недатированном письме к Руманову (судя по содержанию — лето 1912 г.) Клюев писал: «Мне С〈ергей〉 Г〈ородецкий〉 передавал от Вас поклоны и мне так любо, что Вы не забыли меня» (ЦГАЛИ, ф. 1694, оп. 1, ед. хр. 306, л. 1). О Клюеве Руманов мог слышать и от Л. Д. Семенова, с которыми он также поддерживал отношения. Кроме того, об олонецком поэте Руманову рассказывал Блок (запись в дневнике Блока от 11 января 1911 г. фиксирует их разговор о Клюеве — VII, 122).

40

〈Олонецкая губ., Вытегорский уезд, апрель — май 1912 г.〉

Я очень и очень тронут Вашим подарком — книгами. Пишу и слезы застилают глаза, вспоминая первую встречу с «Нечаянной радостью». Чем-то родным, извечным пахнуло на меня, когда я взял эту книгу в руки [1] и все три поистине называю «Рекою жизни» [2]. Целую Вас в сердце Ваше и прошу не смущаться моим молчанием, ибо я не перестаю дышать ароматом Вашим и говорил Вам из уст в уста, что «*мой Блок*» со мной [3] всегда и вовеки. Всё это слова не простые, но оправданные опытом, и потому я и не скрываю их от Вас. Жизнь Вам и слава, дорогой мой и единственный. *Где Вы будете летом?*

В любви крепкой Н. К л ю е в

Что написал Гумилев в «Аполлоне» про «Сосен перезвон»? [4] Просили ли Вы Руманова за меня, т. е. чтобы он воздействовал на Знаменского? Ведь Знаменский — человек богатый, книжка уж почти разошлась, срок уплаты февраль месяц, а за ним еще 125 руб. Огромная для меня сумма. Кроме того, есть слухи, что Знаменский напечатает еще две тысячи книжек без моего согласия и спроса. Что тут делать, я не знаю. Пусть Руманов подпишется на письме, что он — редактор «Русс〈кого〉 слова» и «Бир〈жевых〉 В〈едомостей〉». Это, думаю, подействует.

Датируется по содержанию.

[1] Клюев имеет в виду третий том «Собрания стихотворений», изданный в конце марта 1912 г.

[2] Называя три тома «Рекою жизни», Клюев, возможно, перефразирует следующие слова блоковского предисловия к «Собранию стихотворений»: «Всю трилогию я могу назвать „романом в стихах“...»

[3] Далее зачеркнуто полторы строки.

[4] Н. С. Гумилев писал о сб. «Сосен перезвон» в сводной рецензии, открывавшейся разбором книги Блока «Ночные часы» («Аполлон», 1912, № 1). Называя Клюева «уже совершенно окрепшим поэтом, продолжателем традиций Пушкинского периода», Гумилев предвидел в его творчестве «возможность поистине большого эпоса» (с. 70—71). Спустя несколько месяцев в том же «Аполлоне» (1912, № 6) Гумилев одобрительно высказался и о второй книге Клюева «Братские песни». Видимо, к началу 1912 г. Клюев был уже лично знаком с Гумилевым. Сохранился экземпляр книги «Сосен перезвон» с дарственной надписью Клюева: «...мы выйдем для общей молитвы на хрустящий песок золотых островов. Дорогому Н. Гумилеву с пожеланием мира и радости от автора. Андома. Ноябрь 1911 г.» (Б-ка ИРЛИ; цитируются две строчки Гумилева из цикла «Беатриче», сб. «Жемчуга»).

41

〈Петербург, 5 сентября 1912 г.〉

Дорогой Александр Александрович: я нахожусь в настоящее время в СПб. и не могу уехать, не увидев Вас. Когда Вам удобней свидеться,— я приду [1].

Адрес: Усачев переулок, дом № 11, кв. 1. К. А. Ращепериной, для Николая Клюева

С приветом. Н. К л ю е в

Открытка. Датируется по почт. шт.

[1] Встреча Клюева с Блоком состоялась вечером 7 сентября 1912 г. (см. п. 42, прим. 4).

42

〈Петербург, 9 сентября 1912 г.〉

Озеро Лаче [1], оказывается — по-местному зовется «Ляча», а не «Плача». О Данииле же с ним не упоминается, хоть я и знаю Даниила [2]. Кажется, я согласился с Вами, что оно (озеро) Плача [3]; это осталось во мне терпко, потому и спешу сказать Вам [4].

Н. К.

Открытка. Датируется по почт. шт.

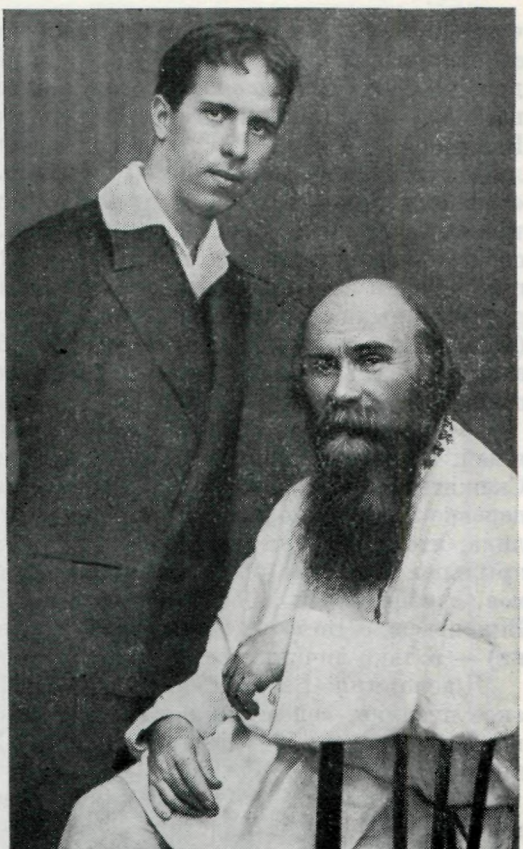
[1] Лача (или Лаче) — озеро в истоках р. Онеги в Архангельской обл. Упоминается в стихотворении Клюева «Сготовить деду круп, помочь развесить сети», опубликованном в «Песнослове»: «С полатей смотрит Жуть, гудит, как било, Лача»; «А Лача ткет валы размашисто и хлябко» и т. п.

[2] Имеется в виду древнерусский писатель Даниил Заточник (XII—XIII вв.), сосланный («заточенный»), по некоторым источникам, на озеро Лаче.

Клюев действительно «знал Даниила». В 1932 г. в письме во Всероссийский союз писателей Клюев называет Даниила Заточника в ряду самых дорогих для него имен в искусстве. «Просвещенным и хорошо грамотным людям,— пишет Клюев,— давно знаком мой облик как художника своих красок и в некотором роде туземной живописи. Это ⟨...⟩ образами живущие во мне заветы Александрии, Корсуня, Киева, Новгорода от внуков велесовых до Андрея Рублева, от Даниила Заточника до Посошкова, Фета, Сурикова, Нестерова, Бородина, Врубеля и меньшого в шатре Отца — Есенина» (цит. по копии из архива К. М. Азадовского).

[3] В «Слове» и «Послании» (или «Молении»), автором которых считается Даниил Заточник, озеро Лаче обыгрывается как озеро Плача. Например, в «Молении» (основная редакция, XLI): «Кому Переславль, а мнѣ гореславль; кому Боголюбово, а мнѣ горе лютое; кому Белоозеро, а мнѣ чернѣе смолы; кому Лача озеро, а мнѣ много плача исполнено» («Слово Даниила Заточника по редакциям XII и XIII вв. и их переделкам». Приготовил к печати Н. И. Зарубин. Л., 1932, с. 61). Можно предположить, что и Блок знал произведения Даниила Заточника и беседовал о них с Клюевым.

[4] Письмо написано на другой день после встречи с Блоком. Ср. записи в «Дневнике»: «*7 сентября* ⟨...⟩ Вечером — Клюев, мама, Женя. Клюев ночует. *8 сентября*. Утро с Клюевым» (VII, 156—157).



Н. А. КЛЮЕВ И ХУДОЖНИК А. Н. ЯР-КРАВЧЕНКО
Фотография, начало 1930-х годов
Центральный архив литературы и искусства, Москва

43

⟨Олонецкая губ., Вытегорский уезд, конец (после 19-го) ноября 1913 г.⟩

Видно, мне не забыть Вас, дорогой Александр Александрович! Опять тянет поговорить с Вами, выклянчить от Вас весточку и с ней какую-то звуковую волну — Ваше дыхание. Когда умер у Вас отец и Вы написали мне об этом, я вздыхал и припадал головой к Вашему письму [1], теперь пришел черед Вам пожалеть меня: у меня умерла Мама... Родная моя, сиротинная моя, унывщица и былинщица моя — умерла! Теперь я остался только со стариком-отцом, у осиротевшей печи, у заплаканной божницы, у горькой нуды — работушки...[2]

Последняя встреча с Вами [3] непамятна мне: в ней было что-то злое, кто-то загораживал Вас от меня. Запомнилась мне лишь старая, любимого народом письма — икона «без лампадки». (Чья душа?). Я пришел в отчаяние от Питера с Москвой. Вот уж где всякая чистота считается Самарянскою проказою и потупленные долу очи и тихие слова от жизни почитаются вредными и подлежащими уничтожению наравне с крысиными полчищами в калашниковских рядах [4] и где сифилис титулован священной болезнью, а онанизм под разными соусами принят как «воробьиное занятие» — походя, даже без улыбки, отли-

чающей человеческие действия вообще, а непроизольно, уже без памяти о совершившемся. Нет, уж лучше рекрутчина, снохачество, казенка, чем «Бродячая собака» [5], лучше Семеновские казармы [6], Эрмитаж с гербами и с привратником в семиэтажной ливрее [7], чем «танец апашей» [8], лучше терем Виктора Васнецова [9], чем «Зон» [10], и крест на месте убиения князя Сергия в Кремле [11] лучше искусства Бурлюка [12]. Я теперь узнал, что к «Бродячей собаке» и к «Кривому зеркалу» [13], и к Бурлюку можно приблизиться только через грех, только через грех можно сблизиться и с людьми, живущими всем этим. Я по способности своей быть «всем для всех» [14] пожил два месяца Собачьей жизнью [15], пил даровой коньяк, объедался яблоками в 6-ть руб. десяток, принимал ласки раздушенных белых, как кипень (и почему они такие белые?) мужчин и женщин (но в баню с ними все-таки не ездил). Из них были такие, которые чуть не лизали меня. И ни одной души не выискалось спросить о моей жизни, о моем труде, о матери!...[16]

У меня на столе старая, синяя, глиняная кружка с веткой можжевельника в ней. В кружку налита горячая вода, чтобы ветка, распарясь, сильнее пахла. Скажите это кому-либо из Собачьей публики, Вам скажут, что по Бунину деревне этого не полагается (мне часто говорили подобное). И не знает эта публика, что у деревни личин больше, чем у любого Бунина [17], что «свинья на крыльце» и «свиное рыло», и Сергий Радонежский и недавний Трошка Синебрюхов, а сейчашный Трофим Иванов по формуляру (в командировке Валентин Викентьевич Воротынский), око охранки и кокотка Норма (на деревне Стешка) — только личины, только «Бесовское действо» в ночь на «Воскресенье» [18].

Я вспомнил «Бесовское действо» Ремизова [19], прибавляю, что это всеславянское писание, вещественное доказательство Буниным, что «Золотой вертеп» [20] и «Святой вечер» [21] нетленны на Руси. Быть может, потрудитесь передать мой поклон Ремизову [22].

Прочитали ли Вы «Лесные были» [23] и что про них скажете? В глаза Вы мне говорили: «Вот у А. Толстого есть много былин, но все второго сорта» [24], но из этого я не заключил, что не может быть былин «первого сорта».

Александр Александрович, вспомните: «Загляжусь ли я в ночь на метелицу» [25], «Ой, синь туман ты мой» [26], «Ой, косыньку развей» [27] — ну разве после таких былин можно не запеть «Плясею» или «Бабью песню» с «Сизым голубем»? [28]

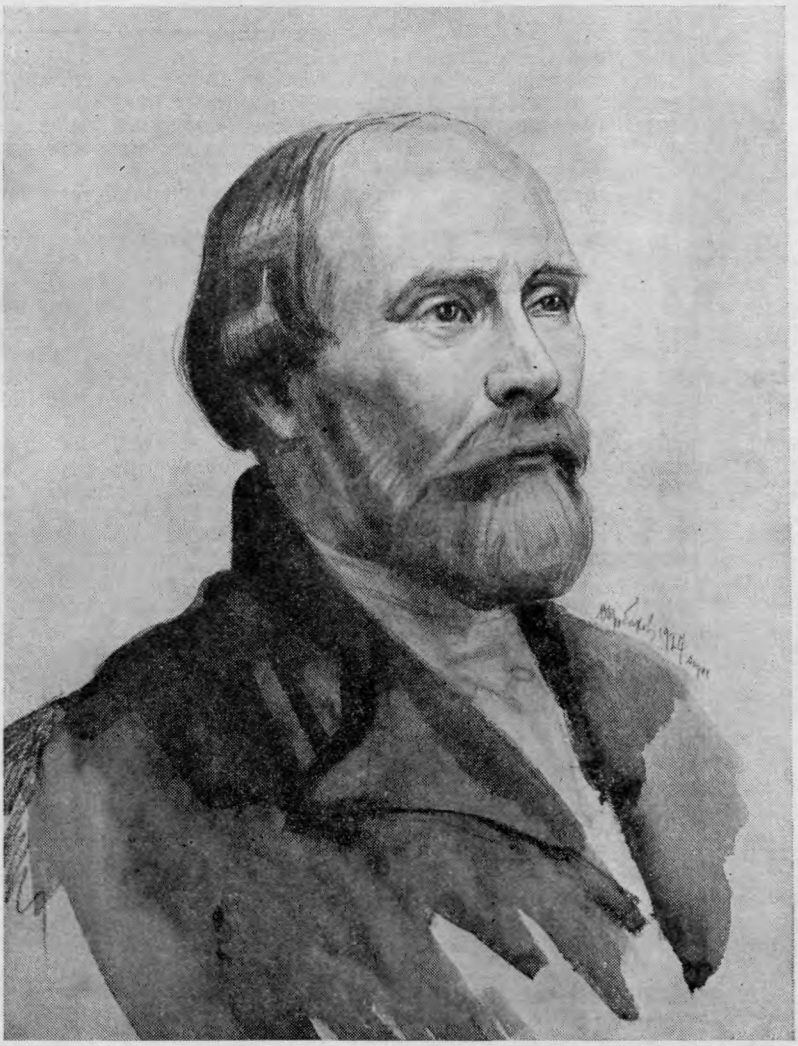
Как показался Вам отдел «Скорбящая весна» в «Иве» Городецкого [29], «Потаенный сад» Клычкова [30], «Осанна» Брихничева [31]? — мне важно услышать от Вас про них. Нравятся ли «Лесные были» Ремизову и Философову [32]? Кроме этого, у меня к Вам насущная просьба: похлопотать перед «Сириным» [33] о переиздании «Братских песен»,— это даст возможность пожить мне со стариком некоторое время на теплом куске с прихлебкой... Очень прошу Вас об этой помощи. Я бы написал Вам много про «бедность горемычную», но всегда такие разговоры бывают похожи на жалобы, а потому я избегаю их, особенно с Вами — моей радостью и благоуханием (еще Вам мою <?>!). Итак, жизнь Вам и алая кровь, и ветер с моря — возлюбленный.—

Николай Клюев

Ноябрь. 1913 г.

[1] А. Л. Блок, отец поэта, умер в Варшаве 1 декабря 1909 г. Блок мог сообщить об этом Клюеву, всего вероятней, в письме от 11 января 1910 г.

[2] Мать Клюева, Прасковья Дмитриевна, скончалась 19 ноября 1913 г. в возрасте 62 лет. Клюев тяжело переживал ее смерть, оплакивал ее в своем творчестве («Избяные песни») и в духе традиционных народных причитаний сложил надпись для могильного креста (см.: А. К. Грунтов. Материалы к биографии Н. А. Клюева, с. 122). Элементы «плача» ощущаются не только в этом письме Клюева к Блоку, но и в других его письмах, где он рассказывает о смерти матери. «Нахожусь в великой скорби,— писал Клюев В. С. Миролюбову приблизительно в это же время (письмо не датировано),— у меня умерла Мама. Былинщица, песельница моя умерла — «от тоски» и от того, что «красного дня не видела»... Тяжко мне, Виктор Сергеевич. Теперь я один со стариком отцом, с криворогой старой коровой, с котом Оськой, с осиротевшей печью, с вьюгой на крыше... Неужели и у меня жизнь пройдет без



Н. А. КЛЮЕВ

Портрет (акварель) работы В. С. Щербакова, 1927 г.

Собрание Б. В. Щербакова, Москва

«красного дня»?» (ИРЛИ, ф. 185, оп. 1, ед. хр. 617, л. 19). Ср. также письмо Клюева к Брюсову, написанное в конце февраля 1914 г. (ГБЛ, ф. 386, карт. 89, ед. хр. 49, л. 8).

[3] Имеется в виду одна из встреч в марте 1913 г. Например, в дневнике Блока 4 марта 1913 г. записано: «Пришла мама. Потом Клюев, *очень хороший*, рассказывал, как живет» (VII, с. 227). Клюев пробыл в Петербурге до 11—12 марта. «Я сейчас уезжаю из Питера домой...»,— писал он А. В. Ширяевцу 10 марта 1913 г. (ИМЛИ, ф. 29, оп. 3, ед. хр. 25).

[4] Имеется в виду Калашниковская хлебная биржа в Петербурге.

[5] «Бродячая собака» — известное литературно-артистическое кабаре в Петербурге в 1912—1915 гг., оставившее заметный след в художественной жизни того времени. Клюев бывал в «Бродячей собаке» в конце 1912 — начале 1913 гг. В недатированном письме к Есенину (видимо, август 1915 г.) Клюев вспоминает о «Бродячей собаке», где ему «хлопали без конца» и где он чувствовал себя «наинесчастнейшим существом из земнородных» («Есенин и современность», с. 239). Блок также относился к «Бродячей собаке» отрицательно и не посещал этого кабаре (см.: VII, 184 и 192).

[6] Семеновские казармы — казармы лейб-гвардии Семеновского полка, находившиеся в Петербурге на Загородном пр.

[7] Несомненно, Клюев имеет здесь в виду здание музея Эрмитаж, примыкавшее к Зимнему дворцу — царской резиденции.

[8] Танец апашей — танец, модный накануне первой мировой войны.

[9] Виктор Васильевич *Васнецов* (1848—1926) — известный русский художник, автор нескольких архитектурных проектов в древнерусском стиле.

[10] «Зон» — известный московский театр И. С. Зона (до 1913 г.— театр «Буфф»).

[11] Имеется в виду крест, воздвигнутый на месте гибели великого князя Сергея Александровича, московского генерал-губернатора, убитого эсером Каляевым 4 февраля 1905 г.

[12] Давид Давидович *Бурлюк* (1882—1967) — поэт и художник, один из первых русских футуристов и инициаторов «Бродячей собаки».

[13] «Кривое зеркало» — петербургский комедийный и сатирический театр, организованный в 1908 г. Существовал до 1931 г.

[14] Перифраз известных слов апостола Павла: «Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых» (I Коринф., 9, 22).

[15] Явный намек на «Бродячую собаку». В цитированном выше письме Клюева к В. С. Миролюбову, написанном вскоре после смерти матери поэта, говорится: «Много обиды кипит у меня на сердце против Питера, из которого я вынес лишь трековую пару да собачью повестку на лекцию „Об акмеизме“» (ИРЛИ, ф. 185, оп. 1, ед. хр. 617, л. 19; под «собачьей повесткой» Клюев имеет в виду приглашение на лекцию Городецкого «Символизм и акмеизм», прочитанную в подвале «Бродячей собаки» 19 декабря 1912 г.). Ср. ниже упоминание о «Собачьей публике».

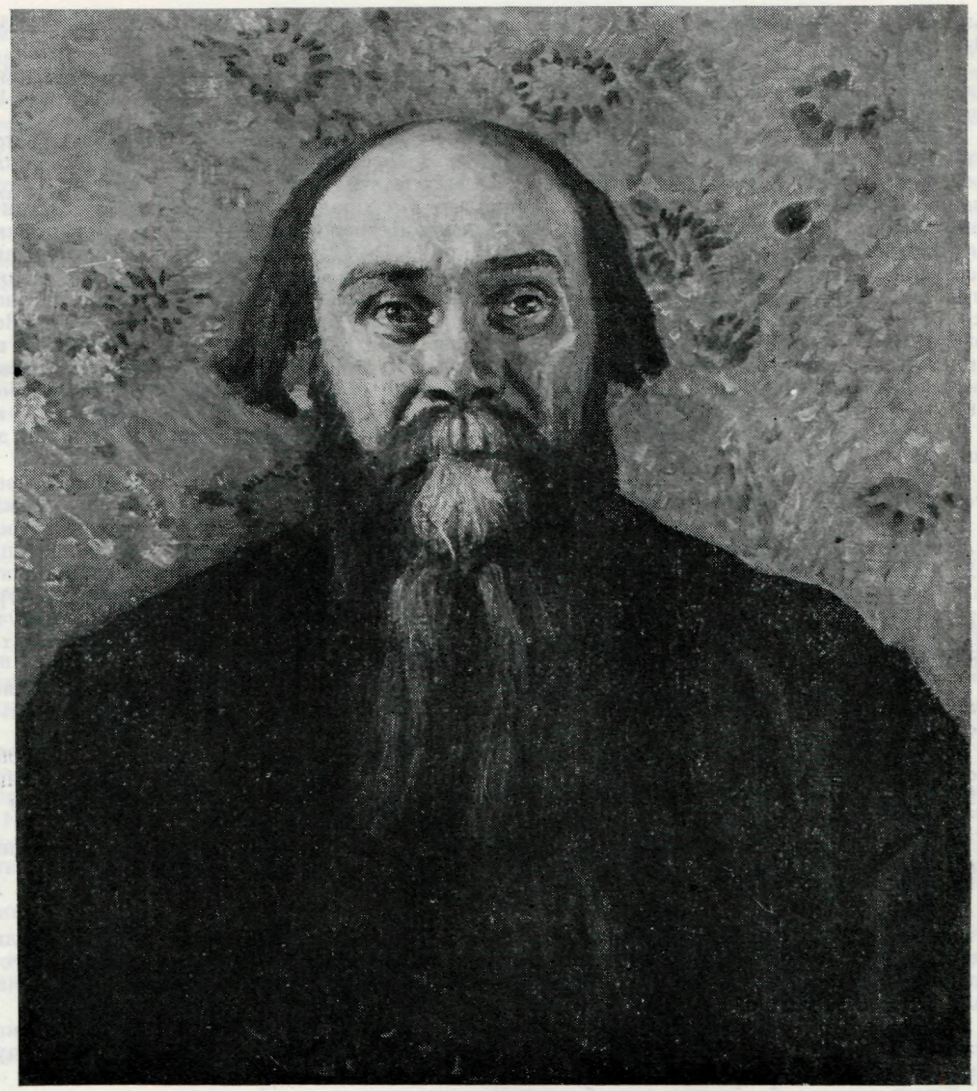
[16] О том же и приблизительно в тех же выражениях писал Клюев Ширяевцу в августе — сентябре 1913 г. Письмо не сохранилось, однако отрывок из него Ширяевец цитирует 25 сентября 1913 г. в письме к своему другу тех лет, литератору П. С. Поршакову: «Самое главное вот в чем. Получил от Н. Клюева все три книги с надписями (падай на колени!) и письмо. Описывает, как его в Питере и Москве таскали по разным салонам, собраниям и т. д. Жалуется на свою судьбу, говорит, что никто из таскавших его не позаботился узнать, есть ли у него на завтрашний день кусок хлеба... Пишет, что живет в деревне с матерью, которая вечно болеет и которая «чуть поздоровше, всхлипывающим старушьим голосом поет мне свои песни: она за прялицей, а я сижу и реву на всю избу, быть может в то время, когда в Питере в атласных салонах бриллиантовые дамы ахают над моими книжками...» Очень интересное письмо. Это я привел только часть. Без волнения прямо немыслимо читать» (ИМЛИ, ф. 29, оп. 3, ед. хр. 5, л. 37—38).

[17] Отрицательный отзыв Клюева о Бунине был вызван, в первую очередь, принципиальными различиями во взглядах обоих писателей на русскую деревню. Подобно другим новокрестьянским писателям, Клюев чрезмерно идеализировал патриархальный уклад, воспевал быт и древние традиции русского села и как художник ориентировался на фольклор, мифологию, народные поверья и т. д. В забитом и убогом («темном») русском пахаре Клюев видел носителя светлого, религиозно-нравственного и творческого начала. Бунин же, напротив, в своих повестях и рассказах 1909—1912 гг. («Деревня» и др.) изображал прежде всего нищету и косность русской деревни, стремился привлечь внимание к жестоким и диким сторонам ее жизни, тем самым разоблачая легенду о «святой Руси». В мрачных, порой отталкивающих тонах представлена у Бунина и духовная жизнь русского крестьянства. Такой взгляд, как видно из настоящего письма, казался Клюеву предосудительным, односторонним, «барским», и он пытался убедить Блока в том, что Бунин не знает деревни, не чувствует ее многообразия и красоты. «Душа деревни», по убеждению Клюева, особенно ярко раскрывается в тех старинных обычаях и обрядах, которые пытался воссоздать в своем творчестве Ремизов.

Бунин, со своей стороны, также воспринимал Клюева как своего идейного противника (наряду с Ремизовым и другими писателями, тяготевшими к «народу», стремившимися всячески разукрасить деревню, воспевавшими «старину» и т. д.). «Изругал поэтессу Столицу, упражняющуюся в том же роде, что и Клюев...» — писал он, например, Горькому из Одессы 14 мая 1913 г. («Горьковские чтения 1958—1959». М., 1961, с. 72).

[18] Изображая «личины» русской деревни, Клюев прибегает к свойственной для его эпистолярного стиля манере «намека» и недосказанности, употребляет вымышленные имена и названия, благодаря чему содержание этого отрывка прочитывается недостаточно ясно. «Свинья на крыльце» и «свиное рыло» — образы, восходящие скорее всего к гоголевскому «Ревизору» (ср. реплику Городничего: «Какие-то свиные рылы вместо лиц» — действие V, явление VIII; «свинья на крыльце» — реминисценция из явления XI действия III). Поставленное рядом имя русского святого XIII в. указывает на противоположный полюс деревенской жизни, который убежденно отстаивал Клюев,— святость. Трансформация имени и фамилии Синебрюхова должна отражать приобщение вчерашнего «холопа» к городской («мещанской») жизни и содержит намек на его связь с охранным отделением («в командировке» Синебрюхов «облагораживается» и получает звучную дворянскую фамилию — Воротынский). Таким же образом поставлены в один ряд деревенская Стешка, кокотка Норма и «око охранки». Название известной оперы Беллини («Норма») использовано здесь Клюевым скорее всего ради эвфонического эффекта, «звуковой волны». (Связь с Гоголем не исключена и в этом случае, ибо «Норма» упоминается в «Ревизоре» — действие III, явление VI). Заключительные слова о «Бесовском действе» (т. е. о «нечистой силе») напоминают опять-таки о колдовских превращениях, описанных Гоголем в повести «Ночь накануне Ивана Купала».

С. И. Субботин усматривает в фамилии «Воротынский» связь с одним из персонажей романа А. Белого «Петербург»: агент охранного отделения П. Я. Морковин, будучи на задании (т. е. «в командировке») выдает себя за писаря Воронкова (письмо С. И. Субботина к К. М. Азадовскому от 18 ноября 1984 г.). Однако четвертая глава «Петербурга», где впервые



Н. А. КЛЮЕВ
Портрет (масло) работы И. Я. Грабаря, 1932 г.
Собрание семьи художника, Москва

упоминается Воронков, была напечатана лишь во втором сборнике «Сирин», изданном, согласно «Книжной летописи», в самом конце декабря 1913 г. Остается предположить — если принять эту версию, что Клюев был знаком с романом Белого еще до его выхода в свет.

Заметим попутно, что аналогичный сюжет (перемена тайным агентом своей фамилии) встречается и в романе «Серебряный голубь» (рассказ о генерале Чижикове), а восприятие народной жизни, выразившееся в этом произведении Белого и отчасти близкое клюевскому, также коренится в творчестве Гоголя (см.: В. М. П а п е р н ы й. Андрей Белый и Гоголь.— Типология литературных взаимодействий.— «Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение» («Уч. зап. Тартуского гос. ун-та», вып. 620). Тарту, 1983, с. 89—91.

Можно также допустить, что комментируемый текст является продолжением каких-то конкретных разговоров Клюева и Блока, которые они вели в начале 1913 г. (в частности — о прозе Белого).

[19] «Бесовское действо» — «символическая» драма А. М. Ремизова, написанная и впервые изданная в 1906 г.; вошла в 8-й том Собрания сочинений Ремизова („Сирин", 1910—1912).

[20] Золотой вертеп — т. е. украшенный изнутри золотой бумагой ящик, в котором разыгрывались на Руси святочные представления. Этот вид народного театра воссоздан и описан Ремизовым в одной из его «отреченных повестей» — «О безумии Иродиадином». Опубликова-

но в 7-м томе «Сочинений» Ремизова, издававшихся в Петербурге в 1910—1912 гг. (с. 25 и 193—194).

[21] Святой вечер — т. е. канун Рождества. Название одного из рассказов Ремизова (Сочинения, т. III), в котором слова «святой вечер» введены в повествование как «древний колядский припев».

[22] Из этих слов Клюева можно заключить, что его личное знакомство с Ремизовым состоялось в конце 1912 — начале 1913 г. 4 марта 1913 г. в Петербурге Клюев подарил (возможно, передал через Блока) Ремизову экземпляр «Лесных былей», сделав на нем надпись — стилизацию в духе народной «челобитной» (хранится в собрании М. С. Лесмана). Позднее, осенью 1915 г., Клюев часто встречается с Ремизовым в Петрограде (сохранилась его записка к Ремизову от 10 сентября 1915 г.— ИРЛИ, ф. 256, оп. 1, № 114). Период наиболее интенсивного общения между Клюевым и Ремизовым — 1915—1917 гг. «Во время своего пребывания в Петрограде ему ⟨Клюеву⟩ чаще всего приходится встречаться с Ремизовым, который для него близок и как писатель, и как человек» (Борис Л а в р о в. Беседа с Н. А. Клюевым.— «Волгарь», 1916, № 352, 23 декабря, с. 2). Вместе с Ремизовым Клюев участвует в публичных выступлениях (например, 25 октября 1915 г. в Тенишевском училище на вечере группы «Краса»). Свое восхищение Ремизовым Клюев выражал и позднее (см. его письмо к Миролюбову 1919 г.— ИРЛИ, ф. 185, оп. 1, № 617, л. 23). Ремизов, со своей стороны, высоко ценил Клюева; 18 февраля 1917 г. он подарил Клюеву «обезьяний знак первой степени с кисточками для ношения» (музей ИРЛИ).

В сущности, Ремизов был в то время одним из наиболее близких и созвучных Клюеву русских писателей. Свойственная многим русским символистам устремленность к фольклору проявила себя у Ремизова, тесно связанного с символистским кругом, особенно остро и последовательно. Значительная часть его творчества представляет собой либо стилизацию «под фольклор», либо своеобразную обработку фольклорных текстов (Ремизов был знатоком и собирателем фольклора), а также памятников житийной и апокрифической литературы. Наряду со сказками, легендами и песнями Ремизов обильно использовал духовные стихи, народные обряды, описания различных древнерусских действ и народно-сценических представлений. К такой же стилизаторской манере тяготел и Клюев в 1912—1916 гг.

[23] Имеется в виду сб. «Лесные были» — третья книга стихотворений Клюева, появившаяся, согласно «Книжной летописи», между 4 и 11 марта 1913 г. (издательство К. Ф. Некрасова).

[24] Имеются в виду, скорее всего, «былины» А. К. Толстого, о которых Блок еще в 1906 г. говорил, что они написаны «скверным русским языком» (V, 90). Позднее, в рецензии на книгу В. В. Сиповского «История русской словесности», Блок писал о А. К. Толстом: «Едва ли его дворянская поэзия имеет много общего с народной» (V, 624).

[25] Первая строка неозаглавленного стихотворения Блока (1902), впервые напечатанного в журнале «Образование», 1908, № 3; вошло в том 1 «Собрания стихотворений».

[26] Слова из блоковского стихотворения «Песельник» (см. п. 12, прим. 22).

[27] Из того же стихотворения.

[28] «Плясея», «Бабья песня», «Сизый голубь» — названия стихотворений («песен») Клюева из сб. «Лесные были». Примечательно, что сложившийся у него в 910-е годы принцип стихотворчества на народно-песенной эпической основе Клюев здесь явно связывает с некоторыми аналогичными попытками Блока.

[29] «Ива» — сб. стихотворений С. Городецкого (СПб., 1913; фактически книга издана в октябре 1912 г.). Раздел «Скорбящая весна» состоит из стихотворений, выдержанных в духе народных песен.

Клюев ревниво и в целом неодобрительно воспринимал те фольклорные стилизации, с которыми выступал в свое время Городецкий; они казались ему не подлинными, поверхностными, «литературными». Это проскальзывает и в его письмах к Блоку (см. напр., п. 27). В конце февраля 1914 г. Клюев писал Брюсову: «Откуда-то вынырнуло и утвердилось понятие, что с появлением «Лесных былей» эпосу Городецкого приведется заяриться до смерти,— и Городецкий закатил болотные пялки и загукал на мои песни...» (ГБЛ, ф. 386, карт. 89, ед. хр. 49, л. 9). В недатированном письме к В. С. Миролюбову (судя по содержанию — конец 1914 г.) Клюев делится с ним своими сомнениями: «За этот год я получил больше 70 вырезок о себе и о „лесных былях" и десятка три писем,— вот только Городецкий, несмотря на то, что чуть ие собственной кровью дал мне расписку в братстве — молчит и на мои письма ни гу-гу... Или это и есть тот сорт публики, которая увлекается и братством лишь на полчаса времени» (ИРЛИ, ф. 185, оп. 1, ед. хр. 617, л. 14). Недоверчивое отношение Клюева к Городецкому проступает и в его письмах к Есенину, написанных в 1915 г. («Есенин и современность», с. 236 и 240). Тем не менее, видя в Городецком своего союзника и покровителя, Клюев в те годы продолжал общаться и сотрудничать с ним.

Спрашивая у Блока о его мнении относительно раздела «Скорбящая весна», Клюев, вероятно, знал, что Блок уже в конце 1912 г. читал сборник «Ива» и отзывался о нем весьма раздраженно. «Нет работы,— писал Блок о книге Городецкого,— все расплывчато, голос фальшивый, все могло бы быть в десять раз короче, сжатей, отдельные строки и образы блестят самоценно — бо́льшая же часть оставляет равнодушие и скуку» (VII, 178).

[30] «Потаенный сад» — сб. стихотворений С. Клычкова (М., 1913). Блок был знаком и с первой книгой Клычкова — «Песни» (М., 1911), о чем свидетельствует, в частности, его письмо к А. М. Кожебаткину от 12 марта 1911 г. («Советская Украина», 1961, № 8, с. 176). Однако творчество этого крестьянского поэта Блок воспринял скептически. «Не скажу, чтобы они

были мне близки...»,— писал он Клычкову 28 февраля 1914 г. о стихах из сб. «Песни» и «Потаенный сад». И в том же письме: «Поется Вам легко, но я не вижу в песнях насущного» (VIII, 434). Клюев же, напротив, приветствовал появление Клычкова в литературе. В несохранившемся письме к А. В. Ширяевцу Клюев писал, что у Клычкова, по его мнению, «хрустальные песни» (эти слова Клюева Ширяевец цитирует в своем письме к П. С. Поршакову от 1 июня 1914 г.— ИМЛИ, ф. 29, оп. 3, ед. хр. 6, л. 5).

[31] «Осанна» — сб. стихотворений И. Брихничева, изданный в Одессе в 1914 г. (фактически книга вышла в ноябре — декабре 1913 г.).

Ряд стихотворений этого сборника Брихничев посвятил писателям: Ф. Достоевскому, В. Брюсову, В. Свенцицкому, И. Северянину, Л. Столице и др. Блока среди них нет. Зато имеется стихотворение, посвященное Клюеву и в какой-то мере проясняющее историю отношений между ним и Брихничевым после их разрыва в конце 1912 г. (см. вступ. ст.):

Николаю Клюеву

Я все простил Тебе, Поэт...
Не вспомяну и Лжи Последней...
Вершу я Позднюю Обедню —
Нам нужен мир. И мира нет...

Мой Псалмопевец, мой Давид —
И змию и орлу подобный...
С душою ангельски незлобной
И с сердцем темным, как Аид...

Я верю, верю в Светлый Май...
Исполним вящее Закона...
Ты снова скажешь: брат Иона!
И я воскликну: Николай! (с. 115).

[32] Экземпляр «Лесных былей» был отправлен (или передан лично, или, возможно, через Блока) Клюевым Философову в марте 1913 г. (титульный лист этой книги с дарственной надписью сохранился в собрании М. С. Лесмана).

Д. В. Философов регулярно выступал в то время с рецензиями и литературными статьями в газете «Речь», и Клюев рассчитывал, видимо, на его печатный отзыв о «Лесных былях». Философов был знаком с новокрестьянскими писателями, поддерживал их (П. Карпова; позднее, в 1915 г.,— Есенина); Клюева знал, скорее всего, через Блока (VII, 105).

[33] «Сирин» — петербургское издательство, основанное в октябре 1912 г. и принадлежавшее М. И. Терещенко и его сестрам. В конце 1912 — начале 1913 гг. Блок часто виделся с Терещенко и принимал близкое участие в делах этого издательства, возлагая на него определенные надежды (см. например, его письмо к А. Белому от 15 ноября 1912 г.; см. также: ЛН, т. 92, кн. 2, с. 371—372). «Книгоиздательство солидное, просвещенное, художественное и русское»,— писал о «Сирине» А. М. Ремизов, имевший к этому издательству самое непосредственное отношение (письмо к В. Я. Брюсову из Петербурга от 16/29 октября 1912 г.— ГБЛ, ф. 386, к. 100, ед. хр. 15, л. 13). Литературными делами «Сирина» ведал Р. В. Иванов-Разумник.

Судя по записи в дневнике Блока (VII, 227), Клюев мельком виделся с М. И. Терещенко 4 марта 1913 г. в петербургской квартире Блока. Выполнил ли Блок просьбу Клюева, неизвестно: во всяком случае, переиздание «Братских песен» в «Сирине» не состоялось.

44

〈Петроград, сентябрь 1915 г.〉

Дорогой Александр Александрович!

Я приехал в град Петра на малое время [1] — уехать вновь года на три, не взглянув на Вас, мне очень тяжело...

Н. Клюев

Адрес: Фонтанка 149—9, для Н. К. тел. 609—81.

Датируется на основании пометы Блока («Получил, вернувшись из Шахм〈атова〉 29.IX.1915») и других данных (см. прим. 1).

[1] Клюев приехал в Петроград в начале сентября 1915 г. «Я пробуду в Петрограде до 20 сентября...» — пишет он Есенину 6 сентября 1915 г. «Я пробуду здесь до 5 октября»,— сообщает он 23 сентября ему же («Есенин и современность», с. 241). Однако личная встреча с Есениным, состоявшаяся в первых числах октября, быстрое сближение поэтов и начавшиеся затем их совместные выступления, новые издательские возможности, открывшиеся перед Клюевым,— все это изменило его планы. Клюев оставался в Петрограде до весны 1916 г. За это время он, по-видимому, неоднократно виделся с Блоком. В своей записной книжке 21 октября 1915 г. Блок отметил: «Н. А. Клюев — в 4 часа с Есениным (до 9-ти). Хорошо» (ЗК, 269).

БЛОК И М. А. ВОЛОШИН

I. ВСТРЕЧИ БЛОКА С ВОЛОШИНЫМ

Сообщение В. П. Купченко

Блок и Максимилиан Волошин были поэтами второго поколения русских символистов, в их судьбах немало общего. Волошин в автобиографии отмечал «последний год постылого XIX века», 1900-й,— «когда явственно стали прорастать побеги новой культурной эпохи, когда в разных концах России несколько русских мальчиков, ставших потом поэтами и носителями ее духа, явственно и конкретно переживали сдвиг времени. То же, что Блок в Шахматовских болотах, а Белый у стен Новодевичья монастыря, я по-своему пережил в те же дни в степях и пустынях Туркестана, где водил караваны верблюдов...» [1]. Одновременно и в тех же изданиях состоялись поэтические дебюты Блока и Волошина: в 1903 г. в журнале «Новый путь» и альманахе «Северные цветы».

Личное знакомство поэтов произошло, по-видимому, зимой того же 1903 г. Находясь с 3 января по 2 февраля в Петербурге, Волошин, получивший от К. Д. Бальмонта в Париже ряд рекомендательных писем, познакомился с В. Я. Брюсовым, Д. С. Мережковским, Н. М. Минским, В. В. Розановым, Венгеровыми. В письме к Е. С. Кругликовой, в котором Максимилиан Александрович перечислял свои новые знакомства, имени Блока еще нет [2]. Но позже, в автобиографии 1925 г., он именно к 1903 г. отнес знакомство «со сверстниками — А. Белым, Блоком».

Вне сомнения, знакомство было мимолетным. В последующие два года в переписке Блока Волошин упоминается лишь однажды [3]. Волошин также, по-видимому, только раз вспомнил Блока в своих письмах. 24 октября 1905 г., в Париже, он переписал для М. В. Сабашниковой стихотворение Блока «Мой любимый, мой князь, мой жених...», которое ему «мерещилось по вечерам» и где он «неуловимо чувствовал» свою будущую жену. «Иногда мне бывает странно, что это не я написал»,— прибавлял Максимилиан Александрович.

Более близкое знакомство поэтов произошло зимой 1906—1907 гг., когда Волошин с женой поселился в Петербурге. Молодые супруги сняли квартиру на Таврической улице, в одном доме с Вячеславом Ивановым, и стали активными участниками кипучей, культурно перенасыщенной жизни, которая шла на ивановской «Башне». Можно наметить своего рода хронику вечеров, на которых присутствовали и Блок, и Волошин:

14 октября 1906 г.— чтение Блоком его драмы «Король на площади» у В. Ф. Комиссаржевской [4].

21 октября — чтение Вячеславом Ивановым его «Дифирамба», у Комиссаржевской же [5].

28 декабря — репетиция «Балаганчика».

30 ноября Блок «был у Волошиных» [6],— о чем последний писал уехавшей в Финляндию жене 1 декабря: «У нас был Блок во время обеда и обедал Вячес. Иванов».

6 января 1907 г. Блок письмом приглашает Волошина на чтение «Незнакомки», состоявшееся 12 января:

«Многоуважаемый Максимилиан Александрович.

Не можете ли Вы собраться ко мне в пятницу 12-го января вечером? Мне хотелось бы, чтобы Вы услышали мою пьесу «Незнакомка». Сейчас у меня жар и я сижу дома; если это затянется, или примет серьезный оборот, я извещу Вас. А пока позвольте ждать Вас двенадцатого. Адрес мой: Петерб〈ургская〉 Сторона, Лахтинская ул., 3, кв. 44.

Искренно уважающий Вас Александр Блок

6 янв. 1907» [7].

Весной того же года, задумав написать цикл статей о новой русской литературе («ряд характеристик-портретов»), Волошин, разумеется, не мог обойти Блока. 27 марта он сообщал жене из Коктебеля, что «начал писать статью о Блоке (о «Нечаянной радости»)». Статья эта: «Лики творчества. Александр Блок. Нечаянная радость» — появилась в газете «Русь»,



М. А. ВОЛОШИН
Фотография, 1910, Коктебель
Литературный музей, Москва

№ 101, 11 апреля 1907 г. Рядом с «ликами современных поэтов»: К. Бальмонта, В. Иванова, В. Брюсова, А. Белого — Волошин выделяет лицо Блока. «Академически нарисованное, безукоризненное в пропорциях, с тонко очерченным лбом, с безукоризненными дугами бровей, с короткими вьющимися волосами, с влажным изгибом уст, он напоминает строгую голову праксителева Гермеса, в которую вправлены бледные глаза из прозрачного тусклого камня. Мраморным холодом веет от этого лица». В «гибком и задумчивом» стихе Блока Волошин слышит его голос. «Сам он читает свои стихи неторопливо, размеренно, ясно, своим ровным, матовым голосом. Его декламация развертывается — строгая, спокойная, как ряд гипсовых барельефов. Все оттенено, построено точно, но нет ни одной краски, как и в его мраморном лице. Намеренная тусклость и равнодушие покрывают его чтение, скрывая, быть может, слишком интимный трепет, вложенный в стих. Эта гипсовая барельефность придает особый вес и скромность его чтению».

Отталкиваясь от этих внешних черт, увиденных острым глазом художника, критик лепит образ «поэта-мечтателя», «поэта сонного сознания». По словам М. В. Сабашниковой, «Блоку очень понравилась рецензия о нем»,— «только он просит тебя приписать ему больше сознания»,— прибавляет она в письме к мужу от 22 апреля 1907 г.

В апреле же 1907 г. в Коктебеле, приветствуя сонетом «Я здесь расту один, как пыльная агава...» рождение сборника «Цветник Ор», Волошин называет и Блока: «Там снежный хмель взрастил и розлил Александр». О горячем интересе Волошина к поэзии Блока косвенно говорит шарж А. Белого в его «Кубке метелей»: «На другой день всех объездил Волошин, воспевая чудо св. Блока» [8].

Между тем, и Волошину, и Блоку становилось все труднее в атмосфере ивановской «Башни». 20 сентября 1907 г. Максимилиан Александрович записал в дневнике: «Белый рассказывает, что Блок приезжал в Москву каяться, мирился ⟨с москвичами.— *В. К.*⟩ и отрекался от Вячеслава». Сам Волошин тут же отмечает: «В литературе — отравленная атмосфера воспаленных самолюбий. В ней погибнут многие таланты и многие страстные сердца».

Отдельные встречи Блока и Волошина зафиксированы весной 1908 г. Согласно письму В. Я. Степанова Г. И. Чулкову от 12 апреля, оба они входили в организационное бюро «Северной студии» [9]. 4 мая Волошин был на чтении Блоком драмы «Песня судьбы» у Чулковых [10]. 10 мая Блок и Волошин присутствуют на банкете издательства «Шиповник», где их и запечатлел, среди других, художник Петр Троянский [11].

В 1909—1910 гг. поэты, без сомнения, встречались на редакционных заседаниях «Аполлона» и на собраниях «Поэтической академии». (Блок, как известно, состоял членом президиума последней) [12]. Волошин бывал и в квартире Блока на Галерной улице, где однажды прочел ему первую строку стихотворения Катулла «Аттис», поразившую Блока [13]. Другое свидетельство их общения в то время — дарственная надпись Волошина на его книге «Стихотворения. 1900—1910»: «Александру Блоку Максимилиан В о л о ш и н. «Я шорох знал Ее шагов И шелест чувствовал одежды». $19\frac{7}{IV}$ 10. Коктебель» [14]. В 1911 г. Блок и Волошин приняли участие в «грузинском вечере» [15].

Всегда стремившийся постичь душу поэта и через его внешний облик, Волошин при встречах с Блоком по-прежнему пристально вглядывался в него. Известный портрет Блока работы К. А. Сомова его не удовлетворил. «Лицо Блока само по себе — маска греческого бога. (Маска гипсовая, но не мраморная: здесь вся разница в материале, а не в чертах и пропорциях). Но это маска не культурная, а наложенная на его лицо от природы. Только глаза своею усталою тусклостью отражают Петербург. Этого характера противоречий, Сомов, на мой взгляд ⟨...⟩ не уловил» [16]. В более поздней статье «Голоса поэтов» Волошин зафиксировал «отрешенный, прислушивающийся и молитвенный голос А. Блока» [17].

Отголоском личных встреч был и позднейший отзыв Волошина о Блоке (в письме к Е. К. Герцык, после чтения дневника Блока): «В Блоке была странная пустота. Может, она и порождала это гулкое лирическое эхо его стихов. Он проводил *часы*, вырезывая и наклеивая картинки из „Нивы“!» [18].

Весной 1916 г., по пути из Франции в Крым, Волошин на двенадцать дней останавливался в Петрограде. В эти дни, с 5 по 16 апреля, он надписал свою, только что вышедшую книгу стихов «Anno Mundi Ardentis 1915»: «Дорогому Александру Александровичу Блоку. Максимилиан В о л о ш и н. СПБ. 1916» [19]. Передать книгу лично поэт не успел и просил об этом Е. Я. Эфрон. Ответное письмо Блока, остававшееся до сих пор неизвестным и поступившее в 1979 г. в ЦГАЛИ в составе архива Е. Я. Эфрон, публикуется ниже (см. сообщение Р. Б. Вальбе).

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Набросок «Автобиографии» («Родился в Киеве в 1877 г.»...) — ИРЛИ, ф. 562. Здесь же хранятся все другие материалы, приводимые без ссылки на источник.
[2] Письмо от 2 февраля 1903 г.
[3] VIII, 83.
[4] ЦГАЛИ, ф. 232, оп. 1, ед. хр. 52, л. 143.
[5] Там же, л. 153.
[6] «Письма к родным», I, с. 160.
[7] Впервые опубликовано (на украинском языке) в журн. «Радянське літературознавство», 1970, № 5, с. 43.
[8] А. Б е л ы й. Кубок метелей. М., «Скорпион», 1908, с. 24.
[9] ГБЛ, ф. 371, к. 4, ед. хр. 65.
[10] VIII, 240, и дневник М. Волошина «История моей души» (рукопись), с. 62.
[11] «Прометей», № 1, М., «Молодая гвардия», 1968, с. 246, 247; «Чукоккала». М., «Искусство», 1979, с. 155—157. См. наст. кн., с. 221.
[12] С. М а к о в с к и й. На Парнасе «Серебряного века». Мюнхен, 1962, с. 150.
[13] «Дневник Ал. Блока, 1911—1913». Л., 1928, с. 117.
[14] ИРЛИ, библиотека, 94⁵/49. Строки из стихотворения Волошина „Она“, в котором можно усмотреть определенную перекличку с образом блоковской Прекрасной Дамы.
[15] Письмо Блока к Г. Чулкову от начала февраля 1911 г.— «Письма А. Блока», с. 131.
[16] М. В о л о ш и н. Художественные итоги зимы 1910—1911 гг. (Москва).— «Русская мысль», 1911, № 6, с. 26.

[17] Речь, 1917, № 129, 4. VI.
[18] Письмо на обороте акварели Волошина, датированной 10.I. 1929. — Собрание Т. Н. Жуковской (Москва).
[19] ИРЛИ, библиотека. 94[5]/50.

II. НЕИЗВЕСТНОЕ ПИСЬМО БЛОКА К М. А. ВОЛОШИНУ

Сообщение Р. Б. Вальбе

До сих пор было известно только одно письмо Блока к М. А. Волошину — от 6 января 1907 г., содержащее приглашение на чтение пьесы «Незнакомка» (оно приведено выше, в сообщении В. П. Купченко).

Публикуемое нами другое письмо Блока обнаружено в архиве Елизаветы Яковлевны *Эфрон* (1885—1976) — режиссера и педагога художественного слова. Е. Я. Эфрон и ее семью соединяла с Волошиным тесная и долговременная дружба. С этим связано возникновение своеобразной коммуны, получившей шутливое название — «обормотник». Коммуна эта была создана летом 1911 г. в Коктебеле. Ядро ее составили М. А. Волошин, его мать Елена Оттобальдовна, сестры Эфрон — Елизавета и Вера, их брат Сергей и его будущая жена Марина Ивановна Цветаева. Осенью 1911 г. Эфроны, Марина Цветаева и Е. О. Волошина поселились вместе в Москве. Волошин, находившийся в это время в Париже, писал Е. Я. Эфрон 30 октября 1911 г.: «О Вашем обормотском житии ⟨...⟩ я думаю как о доме» (ЦГАЛИ, ф. Е. Я. Эфрон). Состав «обормотника» менялся, менялся и его адрес. Но неизменно в течение 1911—1916 гг. с наступлением холодных месяцев поселялась здесь Е. О. Волошина. Сюда же возвращался из заграничных поездок и сам Волошин.

Царицей «обормотника» или «Царь-Девицей обормотской» шутливо титуловали Е. Я. Эфрон. Сохранилась рукописная книжечка, куда рукой Волошина вписано посвященное ей стихотворение:

Л и л я

Полет ее собачьих глаз
Огромных грустных и прекрасных,
И сила токов неогласных
Двух близких и враждебных рас,
И звонкий смех, неудержимо
Вскипающий как сноп огней —
Неволит всех спешащих мимо
Шаги замедлить перед ней.
Тяжелый стан бескрылой птицы
Ее стесняет и гнетет,
Но шеи гордый поворот,
Но глаз крылатые ресницы,
Но вознесенный мглистый лоб,
Но музыкальность скорбных линий —
Прекрасны...

Ей родиться шло б
Цыганкой или герцогиней...
Все платья кажутся на ней
Одеждой нищенской и сирой,
А рубище ее — порфирой
Спадает с царственных плечей.
В ней все свободно, своенравно:
Обида, смех и гнев «всерьез»,
Обман, свершенный слишком явно,
Копна нечесаных волос,
Величие и обормотство,
И мстительность, и доброта...
Но несказанна красота
И нет в моем портрете сходства.

28 янв. 1913 г.
М а к с

В начале апреля 1916 г. Волошин возвратился из Франции через Петербург в Москву, затем в Коктебель. В Петербурге он встречался с жившей там в это время Е. Я. Эфрон. Уезжая в Москву в середине апреля, он поручил ей передать Блоку свою вышедшую в марте этого года в Москве, в издательстве «Зерна», книгу «Anno mundi ardentis» («В год пылающего мира») с дарственной надписью (книга эта ныне находится в библиотеке ИРЛИ, дарственная надпись приведена в сообщении В. П. Купченко).

Е. Я. Эфрон передала Блоку книгу, по всей вероятности, между 17 и 29 апреля. Письмо было отправлено Блоком по адресу: Москва, М. Молчановка, 8, кв. 27; пришло в Москву 1 мая. Впоследствии по просьбе Е. Я. Эфрон письмо Блока было ей подарено Волошиным (ныне хранится в ЦГАЛИ).

«29 апреля 1916.

Дорогой Максимилиан Александрович.

Спасибо Вам за книгу, любезно переданную мне незнакомой дамой. Я не могу дать Вам подробного отчета; мы — очень разные, потому мне запомнится из этой книги, вероятно, не главное; а именно — «Реймская Богоматерь», несколько описаний Парижа в дни войны и «Под знаком Льва».

Третье же седмиглавие говорит мне меньше всего; может быть, потому что для меня настал «холодный белый день».

Жму Вашу руку Александр Блок»

Стихи, вошедшие в книгу «Anno mundi ardentis», написаны в 1914—1915 гг. в Дорнахе и Париже.

В критике тема книги определялась как «современная война с точки зрения мировой, даже космической», как «осуществление мистических откровений» в этой войне (Валерий Брюсов [1]); отмечали, что автор пишет не о «сражениях» и не о «геройских подвигах», а о «гигантской тени» войны, «которая лежит на наших городах и наших душах, которая неуловимо окрасила и парижскую весну» (Георгий Иванов [2]).

Книга разделена на три части: I. Внутренние голоса. II. Солнечные сплетения. III. Армагеддон. Каждая часть предваряется четверостишием-эпиграфом и включает в себя семь стихотворений. (Отсюда определение Блока «седмиглавие»).

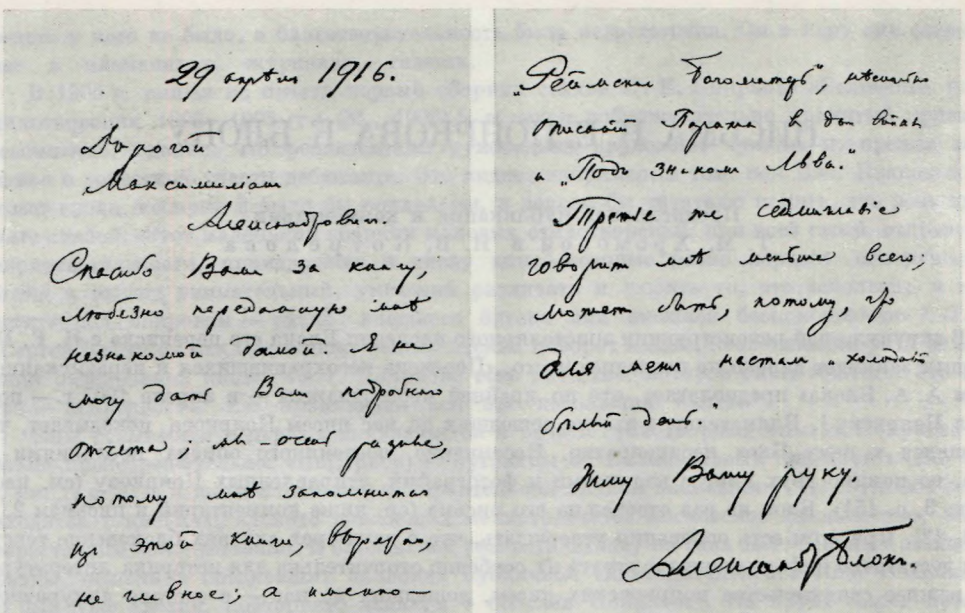
Отмеченное Блоком стихотворение «Под знаком Льва» включено в первую часть. Оно продолжает традиции пушкинского «Пророка»: «Томимый снами, я дремал,/Не чуя близкой непогоды,—/Но грянул гром, и ветр упал,/И свет померк, И вздулись воды»... В вызвавшей наибольший интерес Блока второй части помещены остальные отмеченные им стихотворения: «Реймская Богоматерь» — о разрушении немецкими войсками знаменитого собора, и стихи о Париже в дни войны: «Париж в январе», «Парижу», «Ночь весеннего равноденствия» и «Весна». Но Блок не указывает, какие именно из них привлекли его внимание.

Третья часть книги или, как ее называет Блок, седмиглавие, насыщена образами Апокалипсиса: Ангел Бездны — Аполлион; Звезда Полынь, предвещающая конец мира; Кони и Всадники; Вестник «шестикрылатый и покрытый очами с ног до головы» и т. п. По всей вероятности, это и было причиной неприятия Блоком этой части. На эту мысль наводит его запись о постановке драмы «Роза и Крест», сделанная приблизительно в это же время (в марте 1916 г.): «Одним из главных моих „вдохновений“ была *честность*, т. е. желание не провраться „*мистически*“. Так, чтобы все можно было объяснить *психологически*, „просто“. События идут, как в жизни, и если они приобретают иной смысл, символический, значит, я сумел углубиться в них» (ЗК, 285).

В письме к Волошину Блок мотивирует свое отрицание тем, что для него «настал холодный белый день». «Холодный белый день» — цитата из стихотворения Вл. Соловьева: «В тумане утреннем неверными шагами...»:

...В холодный белый день дорогой одинокой,
Как прежде я иду в неведомой стране.
Рассеялся туман, и ясно видит око,
Как труден горный путь и как еще далеко,
Далеко все, что грезилося мне.
И до полуночи неробкими шагами
Все буду я идти к желанным берегам,
Туда, где на горе, под новыми звездами
Весь пламенеющий победными огнями,
Меня дождется мой заветный храм.

Известно, что это стихотворение вошло в сознание Блока очень рано, что оно переписано им в числе немногих стихотворений Вл. Соловьева в одну из рукописных тетрадей, озаглавленных «Моя декламация, роли, заметки, стихи разных поэтов, выписки из книг и пр. 1898 и позднейшие университетские времена». При ознакомлении с подлинником этой тетради [3] нам удалось обнаружить, что текст первых шести строк стихотворения «В тумане утреннем» наклеен на листок этой тетради, а на обратной стороне наклеенного листка сделана выписка со ссылкой на журнал «Жизнь» № 12, 1900 (ценз. раз.— 20 декабря). Следовательно, стихотворение переписано не ранее 1901-го или самых последних дней предыдущего года.



29 апреля 1916.

Дорогой
Максимилиан
Александрович.

Спасибо Вам за книгу, любезно переданную мне незнакомой дамой. Я не могу дать Вам подробного отчета; ни — оттого, разве, почему мне запомнился из этой книги, вероятно, не главное; а именно — „Ветлянский Богомаздъ", имевшийся описаний Пророка в духе вещей и „Под знаком Льва."

Прежде же сего мне говорит мне меньше всего; может быть, потому, что для меня настали „холодные белые дни."

Жму Вашу руку.

Александр Блок.

ПИСЬМО БЛОКА М. А. ВОЛОШИНУ 29 АПРЕЛЯ 1916 Г.
Автограф
Центральный архив литературы и искусства, Москва

Поэтический образ «Холодный белый день» приобретает для Блока особое значение, поэт многократно о нем упоминает. Начиная с юношеского дневника и кончая публикуемым письмом 1916 г.: В «Наброске статьи о русской поэзии» (декабрь 1901 — январь 1902 гг.) отмечено: „Необъятный храм. Он белеет перед Соловьевым во всю его долгую жизнь — и в тумане утреннем, и в холодный белый день" (VII, 32—33). 29 ноября 1902 г. Блок пишет отцу: «У многих в душе „холодный белый день", и я часто ощущаю его...» (VIII, 48). В 1907—1908 гг. Блок часто обращается к тому же полустишию: 1 августа 1907 г. он записывает: «Уже не молод я, много „холодного белого дня" в душе. Но и прекрасный вечер близок» (ЗК, 96). В важнейшем письме к Андрею Белому 15—17 августа 1907 г. мы находим эту же поэтическую формулу: «*Теперь* вся разница только в том, что надо мною — „холодный белый день", а тогда я был «в тумане утреннем». Благодаря *холоду белого дня* я нахожу в себе трезвость и большую работоспособность...» (VIII, 195). В 1908 г. в «Песне Судьбы» мы опять встречаем то же многозначащее для Блока полустишие Вл. Соловьева:

Все миновало: прошлое, как сон.
Завладевай душой освобожденной
Ты, белоснежная, родная Русь.
Холодный белый день.
Душа, как степь,—
Свободная от краю и до краю,
Не скованная ни единой цепью»[4] (IV, 445).

Таким образом публикуемое письмо Блока к Волошину органически вписывается в его многократные признания о своем духовном пути. Вместе с тем, оно становится дополнительным источником для изучения взаимоотношений двух столь разных поэтов.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Русская мысль», 1916, № 6.
[2] «Аполлон», 1916, № 6, с. 71—72.
[3] ИРЛИ, ф. 654, оп. 1, ед. хр. 175.
[4] Начиная с отдельного издания «Песни Судьбы» (изд. «Алконост», 1919), вышедшего после авторской переработки пьесы, во всех изданиях печатается «Холодный бледный день». Однако в наборной рукописи значится «Холодный белый день», что дает основание предполагать в книге опечатку.

ПИСЬМА Н. Е. ПОЯРКОВА К БЛОКУ

Предисловие, публикация и комментарии
Т. М. Хромовой и Н. В. Котрелева

В скрупулезной реконструкции эпистолярного наследия Блока его переписка с Н. Е. Поярковым занимает далеко не последнее место. «Перечень несохранившихся и неразысканных писем А. А. Блока» предполагает, что по крайней мере однажды — в апреле 1907 г.— поэт писал Пояркову [1]. Внимательное чтение дошедших до нас писем Пояркова показывает, что обращался к нему Блок неоднократно. Несомненно, постоянного обмена посланиями не было, но помимо двух книг с надписями и фотографий, отправленных Пояркову (см. наст. т., кн. 3, с. 151), Блок не раз отвечал на его письма (ср. ниже комментарий к письмам 2, 3, 7, 10, 12). При этом есть основания утверждать, что в двух-трех случаях блоковские тексты были достаточно информативны и утрата их особенно огорчительна для историка литературы. Тем важнее свидетельства поярковских писем, дошедших до нас — в составе аккуратного блоковского архива — без потерь.

По ним можно составить ясное представление об истории участия поэта в нескольких печатных изданиях — в журнале «Юность» и альманахах «Корона» и «Корабли». Тут же мы находим важные сведения о начале взаимоотношений Блока с художником Д. И. Митрохиным, некоторые данные к малоизвестной истории отношений поэта с критиком Ю. И. Айхенвальдом.

Наконец, интересным штрихом к нравственной характеристике Блока оказывается и сама история отношений его с Поярковым, которую нужно видеть в перспективе лучших, гуманных традиций русской литературной среды — традиций человеческого участия к собрату по перу в беде, бескорыстной помощи, равенства больших и малых. Блок прекрасно сознавал литературную заурядность Пояркова, порою резко говорил о ней в интимном кругу ближайшим друзьям (С. М. Соловьеву, А. В. Гиппиусу), но в деле литераторской взаимопомощи поэтом руководило только знание о действительном несчастье человека.

Николай Ефимович *Поярков* (1877—1918) — забытая (и вполне по праву), но в свое время заметная в литературной среде фигура. Родился он в семье священника, образование начал в Ставропольской семинарии, откуда из последнего класса был исключен с «волчьим билетом» за революционную деятельность и пропаганду. Вскоре после этого Поярков уехал в Париж, где случайно встретился с М. М. Ковалевским, который предложил ему место секретаря. В этом качестве Поярков много ездил по разным городам и странам, записывая лекции, которые читал Ковалевский, встречался с В. И. Лениным и Г. В. Плехановым [2].

Своим призванием Поярков считал беллетристику и критику. Его увлекали новые направления литературы и искусства. По всей видимости, в Париже Поярков сдружился с Вяч. Ивановым, об этой связи говорит, в частности, посвящение Пояркову ивановского стихотворения «Цветы» [3].

Осенью 1903 г. Поярков возвращается в Россию, устраивается на работу в Московскую городскую управу. Он становится своим человеком в редакции «Скорпиона» и в кружке С. А. Соколова-Кречетова, где даже активно участвует в формировании первого выпуска альманаха «Гриф». К этому времени относится самое раннее восторженное упоминание Поярковым имени Блока. Он захвачен «мистической струей» «молодой русской поэзии» и, видя в себе прежде всего критика, «живого, полного любви к новому пути в русской действительности», считает, что должен прочно обосноваться в его средоточии — Москве, где «есть многое, очень многое интересное» (из писем к Вяч. Иванову — см. наст. т., кн. 3, с. 207—208).

Но вскоре Пояркова настигает ужасная болезнь, не оставлявшая его потом всю жизнь: у него началось срастание суставов ног, правой руки и позвоночника. Как ни мучительна была болезнь, о которой читатель услышит в письмах Пояркова к Блоку, Поярков не мог отказаться от единственно возможного для него заработка — литературного, собственных

средств у него не было, а благотворительность была недостаточна. Он в меру сил сотрудничает в альманахах, журналах, газетах.

В 1906 г. вышел из печати первый сборник стихов Н. Е. Пояркова «Солнечные песни. Стихотворения 1903—1905 гг.» (М., 1906) [4], в целом доброжелательно принятый критикой. Несомненно, однако, что рецензентами руководили дружеские чувства и, прежде всего, знание о горестной участи дебютанта. Это видно, например, в том, как Вяч. Иванов подыскивает слова, которые и были бы похвальны, и давали бы читателю понять, что речь идет о книге слабой: «Этот маленький сборник молодых стихотворений, при всей своей откровенной непритязательности, принадлежит к числу книг, которые разно поразят поверхностный взгляд и взгляд внимательный, умеющий различать и любить то, что «скользит и тайно светит» под покровом — равно внешнего блеска или внешней беспомощности» [5]. Также и Сергей Кречетов как будто ищет рецензентский поворот мысли, позволяющий уйти от осуждения разбираемой книги: «У г. Пояркова есть качество, которое стоит многого. Это качество — искренность. Ею проникнута вся эта небольшая книга» [6].

Блок отзывается о первых появившихся в печати стихотворных опытах Пояркова предельно пренебрежительно: «По(Ярков) — пуговицы от Бальмонтовых панталон!» (см. наст. т., кн. 1, с. 371) и даже с оттенком оскорбительной личной насмешки (VIII, 91). Оба отзыва находятся в письмах, ядовито поносящих мелкотравчатое московское декадентство, быстро возраставшее количественно. В блоковской резкости с глазу на глаз было больше критической правды, нежели в позднейших экивоках публичной снисходительности Вяч. Иванова (но он был уже связан, повторяем, знанием о болезни Пояркова). Из круга самых незначительных эпигонов декадентства не вышел Поярков и во второй своей книге [7].

Восхищение Пояркова поэзией Блока было, очевидно, неподдельным. Во всяком случае, о герое своей повести «К жизни», автобиографической по характеру, Поярков писал: «...ему мечталось о романтике любви, тянуло к песням Гейне, к стихам о Прекрасной Даме и он безумно полюбил странные, загадочные, едва понятные порой, но такие музыкальные и задумчивые песни одного молодого поэта романтика» [8].

В хронографии русского литературного процесса память о Пояркове связана не с бесцветными его стихами и прозой, а с тем, что он одним из первых попытался дать панораму новой русской поэзии. Мы имеем в виду его книгу критических этюдов «Поэты наших дней» — о Бальмонте, Брюсове, Андрее Белом, Блоке, Вяч. Иванове, Ф. Сологубе. Ни глубиной, ни оригинальностью рассуждения Пояркова о Блоке не отличаются, но тон их — восторженный: «Книга А. Блока „Стихи о Прекрасной Даме“ — редкая книга — такая цельная и музыкальная <...> Прекрасная Дама не является таинственной незнакомкой в русской поэзии. Ее искал и ей посвятил свои лучшие стихи более крупный мастер, более сильный поэт — философ Вл. Соловьев. Тонкое, но все же ощутимое, влияние его поэзии заметно в стихах Блока» [9]. Вся без остатка ценность поярковских заметок в том, что они зафиксировали общее место восприятия блоковской лирики в более или менее широком уже круге сторонников новой поэзии.

Как первая попытка целостной характеристики современного состояния русской поэзии книга Пояркова вызвала ряд откликов в печати [10]. Блок в обзоре «Литературные итоги 1907 года» едва упомянул ее, избрав вместо оценки малозначащие критические пожелания: «Новейшей литературе <...> (именно „символизму“) посвящена книга Н. Е. Пояркова „Поэты наших дней“ (надо надеяться, что автор исправит во втором издании некоторые чисто фактические ошибки и использует больше материалов)» (V, 219).

Личные отношения Блока и Пояркова, сколько можно судить о них по письмам Пояркова и другим материалам, развивались под иным знаком.

Первую засвидетельствованную их встречу следует отнести к началу декабря 1906 г. В это время писатели решили издать литературный сборник «Корабли» (вышел весной 1907 г.), весь доход от которого должен был поступить Пояркову — «нашему другу, больному поэту», как отмечено было на титульном листе. Участие в сборнике приняло около 40 человек, в числе которых были: Аллегро (П. С. Соловьева), Бальмонт, Брюсов, В. И. Иванов, Сологуб, Бунин, Блок, А. Белый, Н. И. Петровская, Городецкий, Кузмин, Чулков, И. А. Новиков и др., околосимволистская молодежь. Символистов в данном случае соединило чувство солидарности. «В собирании материала для сборника,— вспоминал В. И. Стражев, принимал ближайшее участие и сам Николай Ефимович Поярков: ему передавались рукописи, он держал корректуру, сносился с типографией, хлопотал об обложке <...> „Корабли“ стали вол-

нующим событием его жизни, дружеское внимание к нему большого числа писателей глубоко трогало его» («Блоковский сб.», 1, с. 428) [11]. По сути дела, составителем «Кораблей» следует признать самого Пояркова, так думать заставляет нас хотя бы сообщение в письме его к Вяч. Иванову о том, что он «приемлет» «первую категорию» поэтов и т. п.[12]

Осенью 1906 г. Вяч. Иванов и Блок обещали участвовать в «Кораблях», свои «вклады» они привезли лично, когда оказались в Москве в первых числах декабря 1906 г. (см. наст. т., кн. 3, с. 263). Тогда Поярков и просил «милого моего» Вячеслава Ивановича с Александром Александровичем Блоком заехать к нему «хоть на 10 минут» из «Золотого руна» [13]. Петербуржцы побывали у больного собрата, эту встречу, чтение гостями стихов, восторг Пояркова описал в воспоминаниях его друг В. И. Стражев (Блоковский сб., 1, с. 428—429).

О дальнейшем развитии отношений между Блоком и Поярковым рассказывают публикуемые ниже письма.

В них часто упоминается «Юность» — литературно-художественный сборник, в издании которого Поярков принимал непосредственное участие. Всего вышло 5 номеров «Юности», № 1 и № 2 именовались литературно-художественными сборниками, далее «Юность» была преобразована в двухнедельный «журнал литературы и искусства», выпустивший № 1 и № 2-3. Поярков редактировал «Юность», начиная со сборника и до конца издания. Участие в «Юности» принимали С. А. Ausлендер, Лев Зилов, Сергей Кречетов, И. Новиков, М. Папер, Н. Поярков, Н. Русов, Ф. Сологуб, В. Стражев и др. В числе оформителей и художников «Юности» были Е. С. Кругликова, С. П. Яремич, Н. С. Гончарова, Д. И. Митрохин.

Поярков просил Блока принять участие в «Юности». Предупрежденный Поярковым о том, что это участие на первых порах будет бесплатным, Блок, тем не менее, согласился поддержать сборник и помочь Пояркову, как он незадолго до этого поступил и в отношении «Кораблей» [14]. Интерес Блока к новому московскому журналу нужно понимать и в другой перспективе: весна — лето 1907 г. для Блока, крупнейшего — рядом с Вяч. Ивановым — представителя «петербуржских» символистов, увлеченного литературно-общественной полемикой, прошло в напряженных поисках группового издательского органа и союзнических связей. Отсюда и переговоры со «Знанием», и советы Пояркову по формированию круга авторов для «Юности», и то, что в конце концов Блок становится ведущим критиком «Золотого руна». Стихи Блока опубликованы в № 2 литературно-художественного сборника и в № 1 журнала «Юность».

Не менее интересны в письмах Пояркова и сведения из истории блоковского участия в альманахе «Корона», существенным образом дополняющие то, что известно из переписки Блока с его издателем Н. Н. Русовым, с которым, собственно, и свел поэта Поярков. По всей вероятности, и в харьковское «Утро» стихотворения Блока попали не без участия Пояркова, связывавшего Блока и с харьковским альманахом «Кристалл».

История литературных отношений Пояркова и Блока дает материал для понимания того, насколько быстро усваивалось элитарное искусство крупнейших русских символистов, новаторов художественного слова в сравнительно широком кругу молодых русских читателей, вкусы которых складывались под определяющим влиянием столичного модернизма. Важнейшей издержкой этого процесса были канонизация и одновременно — измельчание новой поэтики у эпигонов, одним из которых и был Поярков. Как известно, остро и болезненно переживал этот процесс инфляции духовных и литературных ценностей Блок. К концу 1900-х годов все настоятельнее для поэта становится стремление выйти из своей литературной и бытовой среды. В числе многих других, гораздо более значительных для него, рвется и нить отношений с Поярковым: после 1908 г. их переписка и личные встречи, видимо, прекращаются.

Упоминаний имени Пояркова в последующее время мы у Блока не находим.

Поярков не все понимал и принимал в Блоке даже в пору самого дружелюбного общения. Как для очень многих из тех, кто принял Блока в начале его пути, образ рыцаря «Прекрасной Дамы» был свят и для Пояркова. «Блок изменяет своей „Прекрасной Даме“ — сетовал Поярков-критик в конце 1907 г.,— занят кабаками и самой обыденной жизнью, создает „Балаганчик“ и опять ряд музыкальных песен „Снежной Маски“» [15]. И все же творчество Блока было для Пояркова, кажется, наиболее устойчивой ценностью в русском поэтическом движении: «Моя вторая часть «П⟨оэтов⟩ наш⟨их⟩ дней» будет и меньше, и бесцветнее первой,— писал он 20 ноября 1911 г. И. А. Новикову.— Кого хвалить искренне и необузданно? Кузмина, Гумилева, Садовского что ли? А вот расхваленные там за эти пять лет дали не очень-то

много ценного (кроме Блока и Сологуба (с натяжкой), а кое-кто и срывался часто (Бальмонт, Белый, Брюсов, Гиппиус)» [16].

Пояркова, разумеется, был связан не только с Блоком. Он переписывался и с Буниным [17], с Сологубом [18], И. А. Новиковым [19], В. И. Стражевым [20], И. А. Белоусовым [21] и др. Исключительность горестной личной судьбы поставила его в такое положение, что выдающиеся современники не могли отказать ему в помощи. В частности, из писем Пояркова к Бунину (письма Бунина к Пояркову не сохранились) видно, что Бунин, сочувственно относясь к Пояркову, присылал ему стихи для «Антологии современной поэзии», над которой Поярков работал несколько лет, находил переводческую работу, подарил ему книгу «Тень птицы» [22].

Писатели посещали Пояркова и дома. «Первым пришел Гриф, за ним — Брюсов, предложивший ему работу по корректуре. Поярков взялся за корректуру,— рассказывает биограф, вспоминая начало болезни.— Писал лежа, левой рукой на груди. Вскоре появились и другие писатели, многие из которых стали его друзьями. Его любили за его терпеливость, он никогда никому не говорил о своих страданиях, за приветливость, за внешнюю жизнерадостность. Среди писателей, чаще всего его посещающих, были: Виктор Стражев, с которым он близко дружески сошелся, П. К. Иванов, Борис Зайцев, Мариэтта Шагинян, Мария Паппер, часто бывал и И. А. Новиков и совсем молодой Ашукин, Грифцов, Бальмонт, Муратов, Виктор Гофман и его сестра Лида» [23].

Умер Поярков 10 сентября 1918 г. в Екатеринодаре [24].

Все 15 писем Пояркова к Блоку хранятся в ЦГАЛИ.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Александр Блок. Переписка. Аннотированный каталог». Вып. 1. М., 1975, с. 479.

[2] Е. О. Гамбургер. Краткая биография поэта Ник. Еф. Пояркова. (Со слов сестры-сиделки М. И. Парфеновой, находившейся при нем с 1904 по 1918 и по кратким воспоминаниям о нем В. И. Стражева).— ЦГАЛИ, ф. 2239, оп. 1, ед. хр. 8, л. 1.

[3] Вяч. Иванов. Прозрачность. М., 1904, с. 72.

[4] Сохранилась цензурная рукопись этого сборника с разрешением от 19 марта 1906 г.— ЦГИА г. Москвы, ф. 31, оп. 2, ед. хр. 881.

[5] «Весы», 1906, № 7, с. 58.

[6] «Золотое руно», 1906, № 5, с. 90.

[7] Николай Поярков. Стихотворения. 1905—1907 гг. Кн. 2. М., 1908. В Государственной публичной исторической библиотеке РСФСР нами обнаружен экземпляр книги с дарственной надписью рукой Н. Е. Пояркова: «Многоуважаемому Ивану Алексеевичу Бунину. Ник. Поярков. П. 1.08». Ср. письмо Пояркова Бунину от 14 января 1908 г.: «Вам подарю том‹ик› своих стихов (сегодня напечатали 5 перв‹ых› эк‹земпляров›» (ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 184, л. 3.). См. рецензии на этот сборник: Виктор Гофман — «Руль», 1908, № 43, 29 февраля; П. Р.— «Утро», Харьков, 1908, № 359, 8 февраля.

[8] Николай Поярков. Рассказы, т. 1. М., 1909, с. 206.

[9] Николай Поярков. Поэты наших дней. Критические этюды, М., 1907, с. 101—104.

[10] См., например, рец.: Скальд.— «Перевал», 1907, № 4, с. 62; Волжский (А. С. Глинка).— «Русская мысль», 1907, кн. V, с. 92; Д'Эм (Д. И. Митрохин).— «Утро», Харьков, 1907, № 156, 7 июня; «Вестник Европы», 1907, 6, с. 777—779; С. Юрьевский.— Известия книжных магазинов М. О. Вольфа, 1907, № 5, с. 102—106; А. Закржевский.— «В мире искусств», 1907, № 6, с. 32; С. Б. «Кружковщина».— «Живая мысль», 1907, № 22, с. 11; ‹А. Г. Горнфельд› — „Русское богатство", 1907, № 7, с. 191—193 (б. п.— см.: ЛН, т. 87, с. 677); А. Печковский. — „Новь", 1907, № 66, 21 марта.

[11] Ср. также письмо Пояркова к Бунину от 11 октября 1906 г.— ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 184, л. 1. О каких-то иных формах поддержки больного писателя говорит, в частности, обязательство С. А. Полякова ежемесячно вносить в его пользу 20 рублей— см. письмо С. А. Соколова к Полякову — ИМЛИ, ф. 76, оп. 3, ед. хр. 191, с. 1.

[12] ИРЛИ, ф. 607, ед. хр. 261. Письмо недатировано, но могло быть послано адресату только в Москве в период со 2 по 4 декабря, как видно по содержанию, в частности, по упоминанию о Блоке (см. ниже). Из письма следует, что ивановская «башня» была петербургским центром подбора авторов для благотворительного сборника.

[13] ИРЛИ, ф. 607, ед. хр. 261.

[14] Ср. письмо Н. Е. Пояркова Сологубу от 18 мая 1907 г.: «С осени „Юность" будет платить за помещаемое в ней, так как первые номера идут хорошо» (ЦГАЛИ, ф. 482, оп. 1, ед. хр. 424, л. 1.). Ср. письмо Н. Е. Пояркова В. И. Анненскому-Кривичу от 28 октября 1907 г.: «Юность» пока не платит сотрудникам п. ч. совсем недостает денег на печатание и, например, Ф. Сологуб или А. А. Блок участвуют бесплатно» (ЦГАЛИ, ф. 5, оп. 1, ед. хр. 92, л. 1.).

[15] Н. Поярков. Критические этюды. Умирание символизма.— «Утро», Харьков, 1907, № 293, 18 ноября.

[16] ЦГАЛИ, ф. 343, оп. 2, ед. хр. 49, л. 53. Помня о бескорыстном участии Блока в «Кораблях» и «Юности», иначе как странным не назовешь последний из известных нам откликов Пояркова о блоковских стихах. 17 февраля 1914 г. он отвечал И. А. Новикову на вопрос о юбилейном альманахе «Гриф» (М., 1913): «... из стихов оцените не многие — несколько ваших, одно Одинокого, одно Бальмонта, несколько Вяч. Иванова, и с формальн⟨ой⟩ стороны цикл сонетов Волошина, милое стих⟨отворение⟩ В. Гофмана. Стыдно за Белого, Блока ... дали труху, наверное потому, что бесплатно» (там же, л. 66).

[17] ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 184.

[18] ЦГАЛИ, ф. 482, оп. 1, ед. хр. 424.

[19] ЦГАЛИ, ф. 343, оп. 2, ед. хр. 49.

[20] ЦГАЛИ, ф. 1647, оп. 1, ед. хр. 373.

[21] ЦГАЛИ, ф. 66, оп. 1, ед. хр. 869.

[22] ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 184, л. 1—5.

[23] Е. О. Гамбургер. Краткая биография поэта Ник. Еф. Пояркова.— ЦГАЛИ, ф. 2239, оп. 1, ед. хр. 8, л. 7.

[24] Там же, л. 8.

1

Москва. 2 апр⟨еля 19⟩07.

Дорогой Александр Александрович!

Из «Перевала» узнал я о выходе в свет Вашей «Снежной Маски» [1] — и напоминаю об обещании с надписью прислать мне.— Я дам отзыв в два места, только поторопитесь [2]. Что думаете о «Кораблях»? [3] Я скоро (в конце мая) еду на грязи, а осенью — на Ривьеру — благодаря помощи М. М. Ковалевского.

Надоели мне литерат⟨урные⟩ дрязги и хочется к южному морю, подальше от людей. Возьму с собой десятка два любимых книжек — в том числе «Нечаянную радость» и о «Прекрасной Даме» — и буду насыщаться солнцем и морем, скандируя стихи.

Привет Вашей жене и Ф⟨едору⟩ Кузмичу [4].

Жму Вашу руку. Не забывайте больного и присылайте.

Н. Пояркова

Адрес: Клиника пр⟨офессора⟩ Ширвинского. (Девичье поле).

После 14 апр⟨еля⟩ — Скатертный переул⟨ок⟩, д. Муромцева, лечеб⟨ница⟩ Левитана.

[1] Рецензия М. Гофмана появилась до выхода «Снежной маски» из печати, см.: Модест Гофман. А. Блок. «Снежная маска» — «Перевал», 1907, № 5 (март), с. 50—51. Ср. прим. к следующему письму.

[2] Специальных рецензий Пояркова о «Снежной маске» обнаружить не удалось, но см. упоминание об этом сборнике в статье Пояркова «Молодые искатели»: «Снежная маска» производит впечатление блестящей импровизацией, особенно дорогой самому поэту. Вспоминается посвящение книжки» (журнал «Юность», 1907, № 1, с. 8). См. также в письме Н. Пояркова И. А. Новикову (б. д.; по смыслу письмо датируется 1907 г.): «Книга Блока „Снежная маска“ менее интересна, чем „Нечаянная Радость“, но местами очень хороша» (ЦГАЛИ, ф. 343, оп. 2, ед. хр. 49, л. 72).

[3] Сборник «Корабли» получил несколько рецензий, см.: Б. Г. (Б. М. Попов) — «Перевал», 1907, № 5, с. 52; Б. С. (Б. А. Садовский) — «Русская мысль», 1907, № 10, с. 195; Волжский (А. С. Глинка) — «Новь», 1907, № 88, 15 апреля. Эллис писал в «Весах» (1907, № 5, с. 73): «Мы не считаем „Корабли“ литературным явлением и говорим о них лишь как о характерном симптоме бессилия, явившегося результатом стремления к синтезам, по сущности своей неосуществимым. ⟨...⟩ в основу сборника положены синтезы искусства и благотворительности...» В связи с этим см. письмо Пояркова И. А. Новикову от 21 июля 1907 г.: «Мне не пришлось получить того № „Весов“, где помещена ст⟨атья⟩ Эллиса о «Кораблях». Но я воображаю, что написал этот самолюбивый человек о «Кораблях», не будучи приглашен туда» (ЦГАЛИ, ф. 343, оп. 2, ед. хр. 49, л. 16). См. наконец, отзыв о сборнике самого Блока: «Выделим с грехом пополам и еще два благотворительных: «Корабли» (составлено довольно литературно) и «Ссыльным и заключенным»» (V, 221).

[4] Федор Сологуб.

2

М⟨осква⟩. IV.13.⟨19⟩07.

Дорогой Александр Александрович!

Эта неделя прошла в приготовлении к отъезду из клиники (она закрывается на лето и до отъезда на грязи в Саки мне больше месяца придется жить в Москве).

Приглашаю Вас по поручению редакции прислать что-нибудь для «Юности», первый ном⟨ер⟩ которой вышлю завтра [1].

Предупреждаю, что пока, до удачного *расхода* ж⟨урнала⟩, денег сотрудникам не платят, но собираются. Пришлите хоть одно, небольшое стих⟨отворение⟩. «Юность» высоко ценит Вас — поэта, а я, помня Вашу доброту к моим «Кораблям», обращаюсь с просьбой. Втор⟨ой⟩ номер выйдет в понед⟨ельник⟩ после Красной Горки. Отвечайте, ради бога, скорее, вместо красного яичка пришлите мне стихи (я вроде редактора) и «Снежную Маску».

Спасибо Вам за напечатанье «Неч⟨аянной⟩ Радости» — я много раз читал ее и пропагандирую среди друзей. Появившимися о ней рецензиями, особенно в «Зол⟨отом⟩ Руне», я недоволен — неглубоки, быстры они слишком [2].

С нетерпением жду «Снежную Маску», которую (после рецензии «Перевала») в магазинах уже требуют.

Мне хочется Черного моря, а после — Италии, куда я, быть может, уеду на зиму на год от литературы и закулисных дрязг, которыми так богата наша жизнь. Ведь я лежу и иногда не могу уйти от разговоров.

В П⟨етербурге⟩ ли Вячесл⟨ав⟩ Иванович? Он почему-то перестал писать мне. Наверное, страшно занят? [3]

«Корабли» идут хорошо — в Москве за наличные в месяц продаю более 300 экз⟨емпляров⟩ и в случае *полного* успеха я выручу около 400 р⟨ублей⟩ — ехать на грязи.

Я за три года забыл, как ходят, и с удивлением думаю, что через несколько дней буду кататься в колясочке по бульвару. Вы, кажется, в последн⟨их⟩ стихах приветствуете огненную Жизнь? [4]

До свиданья в ответном письме. Будьте счастливы.

Н. Пояркова

Только что переехал в колясочке на новую квартиру — впечатлений много — улицы, рынок, весеннее в облаках небо и дома на новосельи «Снежная Маска».

Спасибо за книгу.

Привет забывшим меня Ивановым.

Н. П.

При встрече с Ф⟨едором⟩ Кузмич⟨ем⟩ напомните ему о моей просьбе и сообщите мне *свой адрес*.

Адр⟨ес⟩: Скатертный пер., д. Муромцева, кв. д-ра Левитана Н. Е. П.

По всей видимости, письму предшествовал ответ Блока на предыдущее письмо, который и упоминал Поярков в перечне литературных новостей, сообщенном И. А. Новикову 12 апреля 1907 г.: «...вышла книга стихов С. Соловьева (не покупайте), вот-вот выйдет Алая Книга (Гриф недавно был у меня), а Блок пишет, что скоро выпускает Снежную Маску (отзыв *уже был* в Перевале)» (ЦГАЛИ, ф. 343, оп. 2, ед. хр. 49, л. 5 об.); упомянуты книга С. М. Соловьева «Цветы и ладан» и «Алая Книга» владельца издательства «Гриф» Сергея Кречетова (С. А. Соколова).

[1] Лит.-худ. сб. «Юность», М., 1907, № 1.

[2] О рецензии С. М. Соловьева («Золотое руно», 1907, № 1, с. 88) см. наст. т., кн. 1, с. 314; кн. 3, с. 263, 272.

[3] Письма Вячеслава Иванова к Пояркову не сохранились.

[4] Трудно сказать, какие именно стихи Блока имел в виду Поярков. Возможно — опубликованные в альманахе «Белые ночи» (1907); ср. в стихотворении «Так окрыленно, так напевно...» — «Иду за огненной весной», или в стихотворении «Я вам поведал неземное...» —

И скоро я расстанусь с вами,
И вы увидите меня
Вон там, за дымными горами,
Летящим в облаке огня!

3

〈Москва.〉 V.3. 〈19〉07.

Дорогой Александр Александрович!

Пасха ушла и Вы, наверное, уже в Пет〈ербурге〉 на распутье — в раздумье — куда летом ехать?

Жизнь полна случайностей и, в зависимости от того, где Вы проведете лето, быть мож〈ет〉 расцветет новая книжка изящных свирельных стихов.

Вчера был у меня Ю. И. Айхенвальд — такой славный он.— Он Вас как поэта очень любит и «Нечаянную Радость» имеет. Быть может, я помещу в «Рус〈ской〉 Мысли» статью о Вас, так как Айхенв〈альду〉 очень нравится моя ст〈атья〉 о Вас в «П〈оэтах〉 н〈аших〉 дней» [1].

Громадное спасибо за стихи для «Юности» — № 2 печатается и выйдет во втор〈ник〉, одно Ваше стих〈отворение〉 пойдет в № 3[2]. С осени «Юность» буд〈ет〉 журналом и буд〈ет〉 оплачивать стихи и прозу.— По всей вероятности, редакт〈ором〉 буду я (если не уеду за границу).— Ф〈едор〉 К〈узмич〉 прислал свои стихи — я рассчитываю и на него, и на Б. К. Зайцева, и на некотор〈ых〉 петербуржцев по Вашему совету [3].

Будьте счастливы и здоровы.

Искренне любящий Вас Ник. Поярков.

P.S. Посылаю отзыв художн〈ика〉 Митрохина из харьковской газ〈еты〉 «Утро» о «Неч〈аянной〉 Радости».

Пришлите свою карточку — в «Юности» будет ряд портретов поэтов наших дней и, если позволите, Ваш [4].

Пишите — я еду 22 мая.

Скатертный пер., д. Муромцева, кв. Левитана

К письму приложена газетная вырезка с отзывом Д. И. Митрохина (подпись: Д'Эм) — «Утро», Харьков, 1906, № 126, 21 апреля. Отметим, что там же, в разборе книги рассказов Брюсова, Митрохин пишет: «Книга хорошо издана; несколько надоедливы в ней виньетки Вас. Милиоти, все одни и те же и в „Весах" 1906 г., и во втором сборнике стихов Ал. Блока, и в повести М. Кузмина".

По всей вероятности, ответ на письмо Блока со стихами для «Юности» и советами пригласить в этот сборник «петербуржцев» — в противовес московским, «весовским» символистам. Но обсуждение внутрисимволистских раздоров можно отнести и к встрече двух литераторов в Москве — если выражение из первой фразы письма Пояркова «Вы, наверное, уже в Петербурге...» прочесть в пользу подобного предположения (о поездке Блока в Москву в середине апреля 1907 г. см., наст. т., кн. 3, с. 278—279). В этой связи кажется не случайным соседство в ЗК, 94, записей о возвращении из Москвы и о Б. К. Зайцеве (ср. ниже, прим. 3).

[1] Статья Пояркова в «Русской мысли» не появлялась.

[2] Во втором выпуске сборника «Юность» за 1907 г. было напечатано стихотворение Блока «Над этой осенью — во всем...» (1903). Стихотворение «Поет мой день, будя ответы...» (1903; в позднейших изданиях — «Горит мой день, будя ответы...») было опубликовано в № 1 журнала «Юность», выходившего вместо сборников.

[3] Стихотворение Сологуба «Где безбрежный океан...» было опубликовано в № 2 сб. «Юность». Б. К. Зайцев в «Юности» участия не принимал.

[4] В журнале «Юность» (1907, № 2—3, с. 7) помещен портрет Блока работы С. А. Яковлева.

4

V.11.〈19〉07. Москва

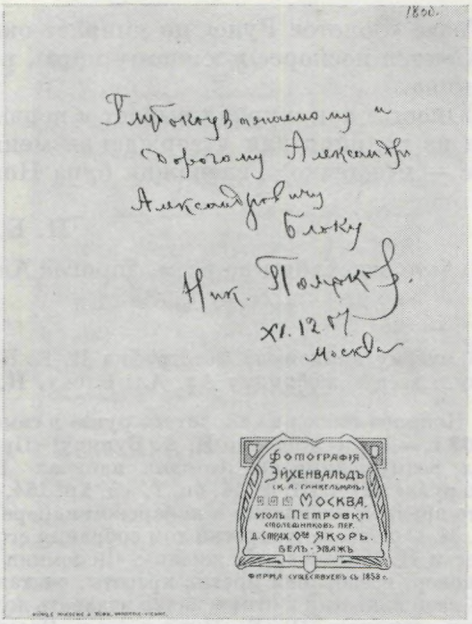
Дорогой Александр Александрович.

Спасибо Вам за карточку [1] — сегодня думаю съездить к фотографу — сняться и выслать Вам. «Юность» (2 №) печатается и выйдет во вторник или среду. Одно сти〈хотворение〉 Ваше мы поместили в этом №, другое, воспроизведенное автографом,— в № 3[2]. 14го (в понед〈ельник〉) мой приятель П. К. Иванов читает в Тенишевс〈ком〉 з〈але〉 лекцию (1/2 сбора мне) о «Драме жизни» в Моск〈овском〉 Худ〈ожественном〉 театре.

Быть может, Вы сходите. Он читал ее два раза в Москве [3].

Ваш Бог Поэзии, кажется, зимний Бог, и теперь Вы мало пишете? А я так рад, что в колясочке иногда могу дни проводить на воздухе, под деревом. Все





Н. Е. ПОЯРКОВ

Фотография, 1907 г. с дарственной надписью Блоку на обороте

Центральный архив литературы и искусства, Москва

кажется новым и особенно красивым. Дорогой Ал⟨ександр⟩ Ал⟨ександрович⟩, есть ли у Вас мои «Солнечн⟨ые⟩ песни»? Если нет — напишите и я вышлю Вам. Я их издал в мае прошл⟨ого⟩ года, только 600 экз⟨емпляров⟩, и теперь они распроданы. У меня и в магазине экземп⟨ляров⟩ 30—40, не больше. «Нечаян⟨ную⟩ Рад⟨ость⟩» перечитываю 7-ой раз — так дорога мне она. Готовлю о Вас этюд в «Р⟨усскую⟩ Мысль», куда приглашен Айхенвальдом.

Пишите до 25—28 в Москву.

Будьте счастливы Н. П о я р к о в

[1] Речь идет о присланной фотографии Блока.

[2] В № 1 журнала «Юность» стихотворение «Поет мой день, будя ответы...» воспроизведено набором, а не клише.

[3] Петр Константинович *Иванов* — критик. «Драма жизни» — пьеса К. Гамсуна. 15 апреля 1908 г. Пояркoв писал И. А. Новикову: «Начал выезжать, был на лекции П. К. Иванова в л⟨итературно⟩-х⟨удожественном⟩ кружке: ругали его в газетах неделю и в стихах, и в прозе. А он ничего — уже читал ее в Рязани, повторяет в Москве и буд⟨ет⟩ читать в Пет⟨ербурге⟩ и Харькове...» (ЦГАЛИ, ф. 343, оп. 2, ед. хр. 49, л. 29). Одна из лекций, прочитанных в Москве, состоялась 13 апреля в помещении Литературно-художественного кружка («Новь», 1907, № 86, 13 апреля. О ее повторении, про которое Пояркoв пишет Блоку, сведений найти не удалось, хотя оно, вероятно, имело место, судя по заметке в Харьковской газете «Утро» (1907, № 144, 23 мая): «Лекция П. К. Иванова о «Драме жизни», дважды прочитанная в пользу больного поэта Н. Пояркова, имела большой материальный успех: из оппонентов самым энергичным был небезызвестный Бобрищев-Пушкин, во второй раз бесцветно оппонировал г. Неведомский».

5

⟨Москва.⟩ V.30.⟨19⟩07.

Дорогой Александр Александрович.

Пока посылаю свой домашний портрет — снялся несколько дней тому назад на дворе, а после пришлю другой, более правильный и крупный. На днях уезжаю мучиться — принимать грязевые ванны *, что является вещью очень неприятной, но как-нибудь перенесу.

---

* Меня ждет *пятая под хлороформом операция* — скверно.— *Прим. Н. Е. Пояркова.*

Разве «Золотое Руно» не умирает окончательно? [1]

Хочется поскорее к южному морю, родному и слишком дорогому для меня, южанина.

«Юность» как журнал выйдет в первых числах июня (в обложке) — сегодня были из полиции для утверждения меня в редакторстве. До 15 авг⟨уста⟩ мой адрес — м⟨естечко⟩ Геленджик близ Новороссийска, дача свящ⟨енника⟩ Конограй.

Н. Е. П.

Будьте счастливы во всем, дорогой Александр Александр⟨ович⟩

Ваш Н. Пояркова

К письму приложена фотография Н. Е. Пояркова в кресле-каталке, с надписью: «Дорогому и всегда любимому Ал. Ал. Блоку. Н. Пояркова. V.30.07».

[1] Поярков вышел из «Золотого руна» в самом конце января или в первых числах февраля 1907 г.— см. его письмо И. А. Бунину: «Прочитав позавчера вздорную заметку о Ваших стихах, возмущенный ею, сегодня написал Рябуш⟨инскому⟩ о моем выходе из «Золотого руна» (ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 184, л. 13; письмо без даты, которая устанавливается по времени появления в январском номере журнала оскорбительной для Бунина рецензии С. М. Соловьева на третий том собрания его сочинений — ср. наст. т., кн. 3, с. 299). Ср. в повести Н. Пояркова «К жизни»: «Вспомнил историю одного художественного журнала. Миллионер, грешивший против красоты, считая себя поэтом и художником, чтобы легче печатать свои виньетки и стихи, начал издавать журнал, внося в его жизнь свои купеческие привычки и замашки». (Н. Е. Пояркова. Рассказы, т. 1, М., 1909, с. 201).

12 апреля 1907 г. Поярков писал И. А. Новикову: «Зол⟨отое⟩ руно» скоро уничтожает литературный отдел, да и вообще г. Рябушинский, этот декадентствующий купчик, скоро закроет свою лавочку, заменив «З⟨олотое⟩ р⟨уно⟩» красивой содержанкой» (ЦГАЛИ, ф. 343, оп. 2, ед. хр. 49, л. 5 об.). Однако ожидания Пояркова, как известно, не оправдались; его же вопрос к Блоку вызван, по-видимому, официальным сообщением в апрельской книжке «Золотого руна» о том, что Блок принял на себя ведение критических обозрений текущей литературы в журнале (ср. наст. т., кн. 3, с. 298).

6

⟨Москва. 3 июня 1907 г.⟩

Дорогой Александр Александрович.

Огромную просьбу имею к Вам. Мой товарищ Русов [1] нашел возможность издать в августе альманах (у него есть 1200 руб.) «Корона» в количестве *4000* экз., на отличной бумаге. Условия участия следующие: весь чистый доход (в удачном случае 2500 р.) делится поровну между 8 участник⟨ами⟩ — Белый, Рукавишников, Стражев, Русов (хороший рассказ), я, Садовский, если захотите — Вы и некий Крачковский (беллетрист). Я уеду 7го и здесь меня Ваше письмо ⟨не застанет⟩, поэтому ответьте телеграммой: Москва, лечебница Левитана, Скатертный, согласен (или нет) [2].

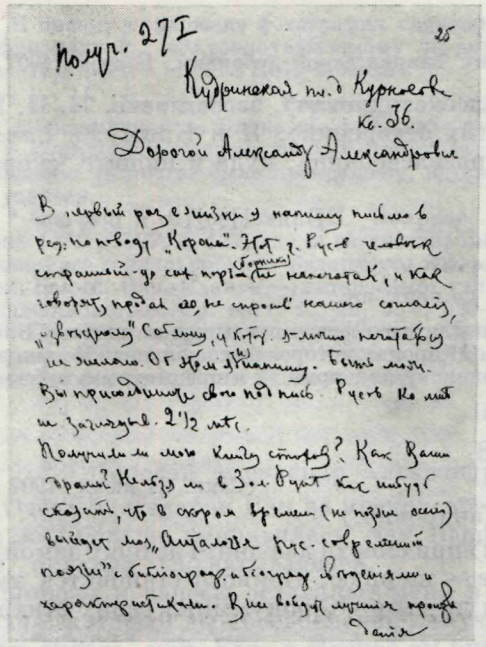
Глубоко уважая Вас как человека и любя как поэта, я поспешил предложить Вас, и Русов сейчас же попросил написать Вам. Если Вы согласны прислать цикл стих⟨отворений⟩, то он напишет Вам, куда и когда прислать. Все означен⟨ные⟩ участники уже прислали, и я читал их, кроме Стражева, кот⟨орый⟩ заграницей и пришлет оттуда [3]. Соглашайтесь — в хорошем случае заработаете *300* р. На объявления ассигновано 150 р. Если Вы дали стихи для «*Протолины*», то нам должны дать обязательно [4]. Больше приглашать мы не будем *никого*.

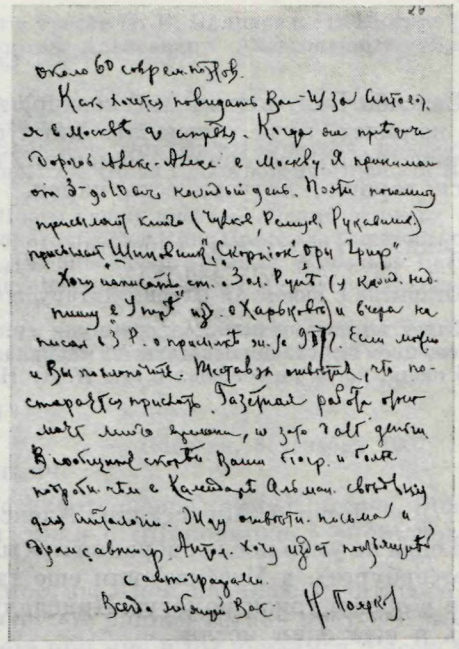
В «Юности» (выйдет 15 июня) буд⟨ет⟩ моя ст⟨атья⟩ о Вас *всём* как вожде молодых [5]. Редакция «Юности» шлет Вам свой привет.

Итак, дорогой Александр Александрович, немедленно телеграф⟨ируйте⟩, чтоб можно было печатать анонсы. Повторяю, деньги есть — а самый прием равного дележа мне нравится новизной.

Всегда Ваш Н. Пояркова

VI.3.⟨19⟩07.





ПИСЬМО Н. Е. ПОЯРКОВА БЛОКУ ‹25 ИЛИ 26 ЯНВАРЯ 1908 г.›
С ПОМЕТОЙ БЛОКА
Центральный архив литературы и искусства, Москва

Присылайте стих‹отворений› 8—10, не меньше. Мне страшно нравится «Перед ликом твоим» [6]. Ведь зимой Вы можете издать еще книгу (стихи в «Корабл‹ях›», «Перевале», «Проталине», «Цветнике Ор» и т. д.[7]).

Будьте счастливы. Немедленно телеграф‹ируйте› мне.

Н. П.

[1] Николай Николаевич *Русов* (1884 — ?) — писатель и критик. С письма Русова, о котором ниже предупреждает адресата Поярков, началась его переписка с Блоком.

[2] Состав участников будущего альманаха не был еще установлен окончательно, ср. в письме Пояркова И. А. Новикову от 14 июня 1907 г.: «В августе выйдет альм‹анах› „Корона“ с участием Блока, Белого, Рукавишникова, Русова, Садовского, Стражева, Пояркова, б‹ыть› м‹ожет›, Зайцева. Хотят пригласить и Вас. Весь чистый доход с 4000 экз‹емпляров› пропорционально делится между сотрудниками». В печатном анонсе «Короны» список имен совпадает с приводимым Поярковым в письме к Блоку, но опущено имя издателя, а в конце поставлено «и др.» — («Свободные мысли», 1907, № 1, 13 авг.). В конце концов альманах вышел тиражом 3000 экземпляров, при составе участников, указанном в комментируемом письме. Блок дает в «Корону» цикл «Подруга светлая. Тринадцать стихотворений 1899—1907 года».

[3] Поярков не мог знать всего цикла стихотворений Белого, которому Русов писал уже 6 июля 1907 г.: «Борис Николаевич, мне пора уже получить от Вас остальные Ваши стихи. Кроме Ваших, будут еще стихи Блока, Стражева и Рукавишникова. Хотелось бы наверное застать Вас дома. Напишите, когда» (ГБЛ, ф. 25, карт. 22, ед. хр. 9, л. 1).

[4] В чрезвычайно пестром и неровном по подбору авторов альманахе «Проталина» (СПб., 1907) Блок поместил пять стихотворений.

[5] В первом номере журнала «Юность» специальной статьи о всем творчестве Блока и о роли поэта в литературном движении не появилось. Но в помещенной там статье «Молодые искатели» (вероятно, авторский замысел несколько изменился) Поярков признавался: «Среди молодых наших поэтов выше всех ставлю Ал. Блока» (с. 7).

[6] В альманахе «Цветник Ор. Кошница первая» (СПб., 1907) был напечатан блоковский цикл «Перед ликом твоим», при дальнейших перепечатках не воспроизводившийся.

[7] В журнале «Перевал» (1907, № 7) были опубликованы стихотворения «Открыл окно. Какая хмурая...» (без заглавия «В октябре») и «Последний день» («Ранним утром, когда люди ленились шевелиться...»).

7

Саки Таврич<еской губернии. 14 июня 1907 г.>

Спасибо Вам, милый Ал<ександр> Ал<ександрович>, за согласие. Н. Н. Русов напишет, куда присылать цикл стих<отворений>. Я в Крыму, в *Саках*, Тавриче<ой> губ<ернии>, Земск<ая> грязелечебница, куда и пишите скорей. Здесь хорошо, лечусь, есть народ.

Ваш Н. Поярков

Саки, Таврич<еской губернии>

Открытка с видом Ай-Петри. Датируется по почт. шт.

Ответ на письмо (или телеграмму — ср. последнюю фразу предыдущего письма) Блока с извещением о согласии печататься в альманахе «Корона», которое было получено Поярковым до 14 июня, когда он сообщал о нем И. А. Новикову (см. прим. 2 к предыдущему письму).

8

<Саки. 24 июля 1907 г.>

Дорогой Алекс<андр> Алекс<андрович.>

Я едва не умер после операции и б<ыл> при смерти два дня. Где буду зимой — в Пет<ербурге>, в Мос<кве> или еще где — не знаю. Немного становится лучше, и в общем грязи помогут. Прислали ли вы в «Корону» цикл своих стихов? Здесь я еще один месяц.

Н. П.

Открытка с видом озера в Саках. Датируется по почт. шт.

Ср. в биографии Пояркова, составленной Е. О. Гамбургер: «Здесь же, в Саки, Поярков перенес тяжелейшую операцию — поломку всех суставов. После операции его три дня не могли добудиться от наркоза. Операция не помогла и его отправили в Москву». (ЦГАЛИ, ф. 2239, оп. 1, ед. хр. 8, л 4). Ср. также и письмо Пояркова И. А. Новикову от 21 июля 1907 г.: «Итак, я чуть не отдал Богу душу. Не было бы это лучше, чем лежать и мучиться. Оказывается, два дня моя жизнь была в опасности» (ЦГАЛИ, ф. 343, оп. 2, ед. хр. 49, л. 15).

9

<Москва.> XI. 12.<19>07.

Дорогой Александр Александрович.

Узнал Ваш адрес и тороплюсь послать свою карточку. Видите, уже сижу и даже хожу потихоньку. Но это досталось мне дорогой ценой — едва не умер после летней (пятой) операции.

Над чем теперь работаете? Я издаю томик рассказов — буду рад, если Вы скажете о них в печати свое мнение [1]. С трудом (мало денег) издали 2-3 № «Юности», а через три недели издадим следующ<ий> двойн<ой> номер. Пришлите что-нибудь красивое для следующ<его> ном<ера>. Я собираю материал [2].

На святках уеду в Тифлис к солнцу и цветам и прощусь с Москвой до осени.

Ваш адр<ес> сообщил и о Вас говорил мне мой большой друг Ив<ан> Алекс<еевич> Новиков.

Недавно из-за Вас был изруган в альм<анахе> «Белый Камень». Но я спокоен. На всякое чиханье и т. д.[3]

Как провели лето и успешны ли Ваши планы о поездке в Италию [4]? Что собираетесь издавать? Согласились бы Вы прочитать платную лекцию в М<осковском> Худ<ожественном> литерат<урном> Кружке (100 рублей) и о чем бы прочли? Напишите мне, а я передам секретарю литературной комиссии [5].

Пока до свиданья.

Уважающ<ий> Вас Н. Поярков

Стихи, дорогой Алекс<андр> Алекс<андрович>, пришлите скорее. Ведь Вы получили № «Юности»?

Адрес мой: Скатертный пер. д. Муромцева, кв. Левитана, Н. Ефим. П.

К письму приложена фотография сидящего в кресле Н. Е. Пояркова. На обороте фотографии надпись: «Глубокоуважаемому и дорогому Александру Александровичу Блоку. Ник. Поярков. XI.12.07. Москва».

[1] Н. Е. Поярков. Рассказы, т. I. Зеленый шум. М., 1909. Ни публичных, ни частных высказываний А. Блока об этой книге найти не удалось.

[2] Судя по следующему письму Пояркова, Блок и на этот раз откликнулся на просьбу, но издание «Юности» было прекращено, и установить, что за стихотворения прислал Блок, не удалось.

[3] См. рец. А. Бурнакина: «Н. Поярков. Поэты наших дней».— «Белый камень». Альманах I. М., 1907, с. 127, где, в частности, говорится: «Для Ник. Пояркова решительно все хорошо, все гениально, что базируется возле „Скорпиона“ и „Грифа“. Конечно, Брюсов, Блок, Белый, Вяч. Иванов — интересные, талантливые поэты, но к чему такое исступленное идолопоклонство». Ср. наст. т., кн. 3, с. 320—321.

[4] Очевидно, в одном из неизвестных нам писем или в беседе при встрече Блок делился с Поярковым планами поездки в Италию, осуществленными лишь весной 1909 г.

[5] Лекция прочитана не была.

10

〈Москва. 3 декабря 1907 года〉

Дорогой Александр Александрович.

Очень благодарен Вам за прекрасное стих〈отворение〉 для «Юности». Знаете, оно *мне* больше понравилось, чем Ваши стихи в «Шиповнике» [1] — оригинальней, сильней, захватывающей.

Морозы и заносы оставляют меня в Мос〈кве〉 и я начинаю печатать томик стихов, который вы своевременно получите [2]. А ранней весной уеду в Крым на март, апрель, май. Ergo в Москве вы будете при мне и мы увидимся. Расск〈азы〉 отложил на осень с 2-м изд〈анием〉 «Поэты наших дней».

Если у Вас есть лишний экз〈емпляр〉 Ваших драм, пожал〈уйста〉, пришлите — я во 2 изд〈ании〉 помещу более подробный этюд о Вас (добавлю о «Нечаян〈ной〉 Рад〈ости〉», «Снежной Маске» и драмах) [3].

Да, хорошо жить во хмелю и работе, особенно во хмелю любви и творческ〈ой〉 работы, когда вся жизнь превращается в красивую сагу.

Русов дал мне честное слово, что к 10 д〈екабря〉 «Корона» выйдет (3 тыс〈ячи〉 экземп〈ляров〉). Стихи свои по внешности хочу издать по образцу моей любимой книги стихов «Неч〈аянной〉 Радости» [4].

Не забывайте, пишите. Присылайте драмы.

Ваш Н. Поярков

XII.3.07.

Ответ на письмо Блока, сопровождавшее стихотворение для журнала «Юность» (см. прим. 2 к предыдущему письму), в котором, вероятно, поэт говорил о намерении побывать в Москве зимой 1907—1908 гг. (ср. тоже в письме А. Белому от 28 декабря 1907 г.— VIII, 222), спрашивал о судьбе альманаха «Корона»; возможно, слова Пояркова о жизни «во хмелю и работе» также связаны с блоковским письмом.

[1] Речь идет о стихотворениях Блока: «В этот серый, летний вечер...» и «Девушке» («Ты перед ним — что стебель гибкий...») — Альманах «Шиповник», кн. 3, СПб., 1907.

[2] Н. Е. Поярков. Стихотворения 1905—1907 гг. Кн. 2., М., 1908.

[3] Речь идет о втором издании «Поэтов наших дней», мысль о котором Поярков не оставлял в течение нескольких лет. См., например, его письмо И. А. Новикову от 6 июня 1910 г.: «Понемногу работаю, но не над поэтами, а над книжкой критических этюдов, скорее, по западной литературе. Ограничусь тем, что в нее включу статью о поэтах наших дней. Говоря откровенно, слишком мало новых оригинальных поэтов, чтобы из-за них издавать второе переработанное издание «Поэтов наших дней». 〈...〉 Поэты «Аполлона» чепуховые, Блок, Белый, Городецкий потускнели». (ЦГАЛИ, ф. 343, оп. 2, ед. хр. 49, л. 42). Однако второе издание «Поэтов наших дней» осуществлено не было.

[4] Книгу Блока «Нечаянная радость» оформлял художник Вас. Милиоти, книгу Ник. Пояркова «Стихотворения» (М., 1908)—художник Дм. Митрохин (ср. прим. к п. 3). Митрохин был также одним из оформителей журнала «Юность». В книге Пояркова «Стихотворения» помещены некоторые из рисунков Митрохина, ранее опубликованные в «Юности» (ср. «Юность», 1907, № 2-3, с. 3 — «Стихотворения», с. 96; «Юность», 1907, № 2-3, стр. 8 — «Стихотворения», с. 63, и т. д.). Митрохин был и автором обложки книги Н. Пояркова «Рассказы», т. 1, М., 1909. Эти работы Митрохина были одними из первых работ его в области книжной графики. Позднее, в 1910 г., сотрудничая в «Аполлоне», Митрохин оформлял «Итальянские стихи» Блока («Аполлон», 1910, № 4, лит. альманах, с. 39). В 1924 г. этот мастер книжной графики исполнил обложку к изданию «Двенадцати» (А. Блок. Двенадцать. Скифы. П.— М., «Петроград», 1924).

11

⟨Москва. Между 3 и 30 декабря 1907 г.⟩

Дорогой Александр Александрович.

Я послал Вам письмо, где благодарил за присланное стихотв⟨орение⟩, но, кажется, на адресе не поставил номера дома, а лишь квартиру 4. Получили ли Вы письмо?

«Юность» умрет, а выйдет альманах с участием Вашим, Новикова, Кожевникова, Ходасевича, Грифа, Стражева, Зилова, моим и мн⟨огих⟩ других [1]. Просил я прислать мне Ваши драмы (я читал лишь «Балаганчика»). Теперь я постоянно работаю как критик в больш⟨ой⟩ харьков⟨ской⟩ газ⟨ете⟩ «*Утро*» и хотел бы очень о них написать фельет⟨он⟩ [2].

Присылайте скорей. Готовлю 2 изд⟨ание⟩ «Поэт⟨ов⟩ наших дней», переработанное и дополненное (нашел издателя).

Печатаю 2 кн⟨игу⟩ стихов (7 листов) и вышлю ее Вам в начале января [3].

В Харькове изд⟨ается⟩ альм⟨анах⟩ «Кристалл» с участием С. Городецкого, Новикова, моим, Тарасова, Чуковского и др. Издатель просит пригласить Вас — если Вы согласны — он напишет Вам (а Вы мне отвечайте *скорей*) [4].

Был бы рад, если бы Вы еще прислали одно, два ст⟨ихотворения⟩ для нашего; в случае его распродажи, конечно, гонорар буд⟨ет⟩ уплачен [5].

Ах, эти проклятые деньги, я в газете работаю из-за них, но месяца через два брошу — скучно — и уеду в Крым, где жизнь не дороже московской. В Тифлис не еду: холода. Получили ли «Юность»?

Боюсь, что ее посылали по адр⟨есу⟩ Галерная, 4.

Рассказы буду печатать в сентябре.

Сегодня у меня был Новиков — гости каждый день — то Зайцев, то Айхенвальд, Стражев и т. д.

Когда же в Москву — если в янв⟨аре⟩ — февр⟨але⟩, то, конечно, жду, дорогой, Вас к себе.

Будьте счастливы и творите радостно.

Глубоко любящий Вас Н. П о я р к о в

Скатертный пер⟨еулок⟩ д. Муромцева, кв. Левитана

Письмо датируется по связи с предыдущим и последующим.

[1] Издание, состав которого, вероятно, определялся нереализованным портфелем «Юности», было отложено, а в дальнейшем оставлено. Вероятно, к этому времени следует отнести недатированное письмо Н. Пояркова И. А. Новикову: «Не пришлете ли Вы для альман⟨аха⟩ „Юность“ свой рас⟨сказ⟩ об анархистах и 2-3 стихотворения. Блок, Кондратьев, Кречетов, П. Кожевников, Ходасевич уже прислали, приглашу еще многих» (ЦГАЛИ, ф. 343, оп. 2, ед. хр. 49, л. 80).

[2] Подробного отзыва о драмах Блока Поярков в «Утре» не помещал. Упоминание о «Балаганчике» см.: Н. П о я р к о в. Умирание символизма. Критические этюды.— «Утро», Харьков, № 293 (18 ноября).

[3] Н. П о я р к о в. Стихотворения 1905—1907 гг. Кн. 2. М., 1908.

[4] Речь идет об издании «Альманах «Кристалл». Харьков, 1908. Блок и К. И. Чуковский в альманахе не печатались. Имени издателя альманаха установить не удалось.

[5] т. е. для нового альманаха «Юность».

12

⟨Москва. 30 декабря 1907 г.⟩

Дорогой Александр Александрович.

Я рад, что остаюсь в Москве до февраля — быть может, Вы в январе приедете в Москву и тогда мы увидимся. А в час при встрече сказать можно больше во много раз, чем в 10 письмах [1].

В Харьков написал сегодня. «Юность» мне надоела и мысль об альман⟨ахе⟩ я пока отложил. В утешение мое Вы должны посвятить стих⟨отворение⟩, присланное для «Юн⟨ости⟩», *мне*. Куда его девать? [2] Айхенв⟨альд⟩ буд⟨ет⟩ у меня скоро (платят там не много — 25 к⟨опеек⟩ строка) и я осторожно узнаю, что

надо. Дело в том, что я нашел издателя для «Антологии соврем〈енной〉 рус〈ской〉 поэзии» (где Вам будет уделено много места) и занят теперь окончательным редактированием этой книги [3].

Об этой книге поговорим подробно при нашей встрече. В ответном письме назовите мне 10—12 стих〈отворений〉 своих, наиболее любимых Вами.

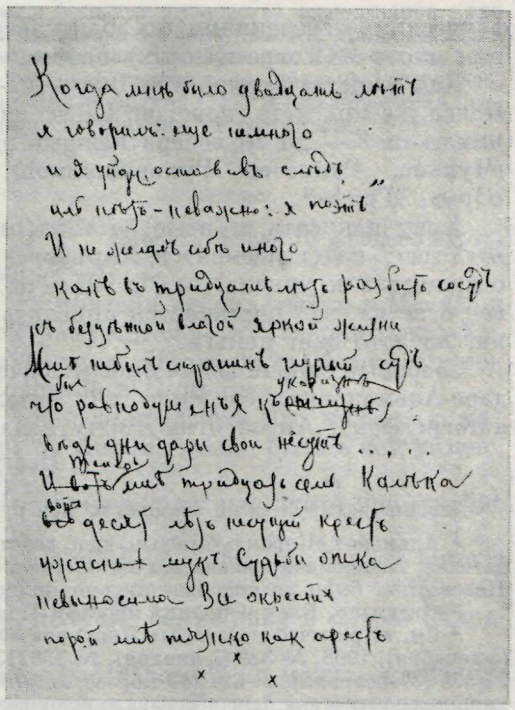
Скажите знакомым петерб〈ургским〉 поэтам, чтобы они поскорее прислали мне свои томики стихов. Я не знаю их адреса и хотел бы для работы иметь их книги под рукой всегда. О, как я рад, что удается напечатать антологию, ведь «Русская Муза» П. Я.— какая-то слякоть и мерзость [4].

Шлю Вам поздравления: быть счастливым в Нов〈ом〉 году, разбогатеть и уехать к Готикам, побродить по свету.

Будьте счастливы.

Ваш Н. Поярков

XII.30.07.



СТИХОТВОРЕНИЕ Н. Е. ПОЯРКОВА «КОГДА МНЕ БЫЛО ДВАДЦАТЬ ЛЕТ...»

Автограф

Центральный архив литературы и искусства, Москва

Ответ на письмо Блока, где поэт — 1) отвечал (положительно или отрицательно— судить нет возможности) на предложение напечататься в харьковском альманахе «Кристалл»; 2) интересовался в какой-то связи Ю. И. Айхенвальдом и, по-видимому, возможностями помещения определенного материала или сотрудничества в «Русской мысли»; 3) последние слова поярковского письма позволяют предположить, что Блок говорил о своем намерении летом отправиться в Германию — «к Готикам».

[1] А. Блок в январе 1908 г. в Москву не приезжал.

[2] См. прим. 1 к п. 11.

[3] Поярков работал над этой книгой несколько лет. См., например, его письмо И. А. Бунину от 9 июля 1908 г.: «Антологию» закончу в июле-августе в Геленджике, куда уеду через 12 дней. Буду глубоко благодарен, если Вы пришлете мне свою автобиографию для антологии, и поскорее» (ЦГАЛИ, ф. 44, оп.1, ед. хр. 184, л. 5). Ср. письмо Пояркова И. Новикову от 17 августа 1909 г.: «Антология почти готова, но тусклость современной поэзии и ряд других соображений — 〈заставляет〉 — отсрочить издание антологии на несколько лет». (ЦГАЛИ, ф. 343, оп. 2, ед. хр. 49, л. 32 об.). Издателем антологии должен был стать В. К. Иванов — брат П. К. Иванова (см. там же, л. 25—25 об.).

[4] Речь идет о составленной П. Ф. Якубовичем-Мельшиным антологии: «Русская муза. Собрание лучших оригинальных и переводных стихотворений русских поэтов XIX века». Сост. П. Я. СПб., 1904.

13

〈Москва〉. Кудринская пл. д. Курносова кв. 36.
〈До 27 января 1908 г.〉

Дорогой Александр Александрович.

В первый раз в жизни я напишу письмо в ред〈акцию〉 по поводу «Короны». Этот г. Русов — человек странный — до сих пор сборника не напечатал, и, как говорят, продал его, не спросив нашего согласия, «известному» Саблину, у которого я — лично печататься не желаю. Об этом я и напишу. Быть мож〈ет〉, Вы присоедините свою подпись. Русов ко мне не заглядывал $2^1/_2$ мес〈яца〉 [1].

Получили ли мою книгу стихов? Как Ваши драмы? Нельзя ли в «Золотом Руне» как-нибудь сказать, что в скором времени (не позже осени) выйдет моя «Антология рус〈ской〉 современной поэзии» с библиограф〈ическими〉 и биогра-

ф〈ическими〉 сведениями и характеристиками. В нее войдут лучшие произведения около 60 соврем〈енных〉 поэтов.

Как хочется повидать Вас — из-за антолог〈ии〉 я в Москве до апреля. Когда же приедете, дорогой Алекс〈андр〉 Алекс〈андрович〉, в Москву? Я принимаю от 3 — до 10 вечера каждый день. Поэты понемногу присылают книги (Чулков, Ремизов, Рукавишников), присылает «Шиповник», «Скорпион», «Оры», «Гриф» [2].

Хочу написать ст〈атью〉 о «Зол〈отом〉 Руне» (я кажд〈ую〉 нед〈елю〉 пишу в «Утре», изд〈ающемся〉 в Харькове) [3] и вчера написал в «З〈олотое〉 Р〈уно〉» о присылке ж〈урнала〉 за 〈1〉 907 г〈од〉. Если можно, и Вы похлопочите. Тастевен ответил, что постарается прислать. Газетная работа отнимает много времени, но зато дает деньги.

Сообщите скорей Ваши биогр〈афические〉 и более подробн〈ые〉, чем в Календаре-Альман〈ахе〉, сведения для антологии [4]. Жду ответного письма и драм с автогр〈афом〉. Антол〈огию〉 хочу издать поизящней, с автографами.

Всегда любящий Вас Н. Поярков

Письмо датируется по надписи на нем рукою Блока: «получ〈ено〉 27/I».

[1] Альманах «Корона» был выпущен, действительно, В. М. Саблиным, московским книгоиздателем, специализировавшимся на поставке декадентской литературы широкому читателю Неизвестно, было ли подобное письмо написано Н. Е. Поярковым.

[2] Очевидно, Блок исполнил просьбу Пояркова, высказанную и в предыдущем письме.

[3] См. «Критические этюды» Пояркова «Утро», Харьков, 1907, № 293 (18 ноября), № 306 (5 декабря), 1908, № 329 (3 января), № 338 (13 января), № 353 (31 января), № 360 (9 февраля), № 375 (27 февраля), № 391 (16 марта), № 570 (19 октября). Вероятно, не без совета Пояркова харьковское «Утро» перепечатывало блоковские стихотворения из «Киевских вестей» — см.: «Русские советские писатели. Поэты. Библиографический указатель», т. 3, А. А. Блок. М., 1980, с. 100.

[4] См. Автобиографическую справку Блока — VII, 432—433, впервые опубликованную в «Литературном календаре-альманахе». СПб., 1908, с. 33—35.

14

〈Москва, после 29 февраля 1908 г.〉

Дорогой Александр Александрович.

Горячее спасибо за книгу с такой хорошей надписью [1]. Сегодня моя комната — золотой фонарь с 4 окнами, на улицах много солнца, а у меня еще больше. Когда же Вы в Москву? Я пробуду до половины апреля, и потом айда в Алупку, к морю. Хочется кипарисов, сапфировых далей, шумящих волн.

«Корона» печатается и выйдет вот-вот — у меня была корректура дней 6 назад. Взял ее на комиссию Саблин [2].

Как понравилась Вам книжка моих стихов? Думаете ли Вы где-нибудь о них писать? Пока было, насколько мне известно, две рецен〈зии〉 — в «Руле» В. Гофмана и в «Утре» (Харьков) пр. Риттера [3].

О, как тянет в солнечный день из Москвы к морю и как я жду апреля.

В Москве скучно — в литер〈атурном〉 мире сплетни, интрижки, и я рад, что моя болезнь ставит вне шумихи жизни. Мне лучше — я сам хожу.

До свиданья, дорогой Алекс〈андр〉 Александров〈ич〉.

Хочу Вас видеть до весны.

Ваш Н. Поярков

Датируется по упоминанию рецензии В. В. Гофмана (см. прим. 3).

[1] Экземпляр не сохранился; по всей вероятности, Блок прислал «Лирические драмы», о которых Поярков неоднократно просил его — предыдущие книги Блока уже были у Пояркова.

[2] Н. Н. Русов намеревался продолжать издание альманаха и даже заручился согласием Блока на участие; 3 июня 1908 г. он писал Вяч. Иванову: «Весной этого года я издал сборник „Корона“,— с участием Андр. Белого, А. Блока, Рукавишникова, Стражева, Пояркова и Б. Садовского и Дим. Крачковского. При моих предварительных расходах на типографию они участвовали с тем условием, что получали равную долю чистой прибыли. В настоящее время я занят подготовлением второго сборника и приглашаю авторов на тех же условиях,

но с намерением выпустить книжку уже в гораздо большем количестве экземпляров, так тысяч 12—15. У меня уже на руках рассказы Крачковского и Осипа Дымова, стихи Белого и согласие Блока. Будут, весьма вероятно, стихотворения Валерия Брюсова. И вот я льщу себя надеждой, Вячеслав Иванович, если Вы ничего не имеете против кого-нибудь из участников, убедить Вас дать хотя бы небольшой цикл Ваших стихотворений ⟨...⟩ Я еще пригласил Сергеева-Ценского» (ГБЛ, ф. 109). Однако второй выпуск «Короны» не состоялся.

[3] См. прим. 7 к вступ. статье.

15

⟨Москва, после 10 ноября 1908 г.⟩

Дорогой Александр Александрович

Я давно собирался написать Вам, но эти полтора месяца жизни в Москве я был безумно занят чтением лекций. (Три раза читал — в Литерат⟨урно⟩-Худож⟨ественном⟩, в Педагогич⟨еском⟩ клубе и в Политехнич⟨еском⟩ музее): о «Северной любви» и о «Андрееве, Ф. Сологубе и Куприне» [1].

Педагогич⟨еский⟩ клуб уполномочил меня пригласить Вас читать у них лекцию за сто р⟨ублей⟩ в январе или феврале. Лекция может быть о чем угодно, но должна читаться первый раз в Москве [2].

Дорогой Александр Александрович! Не позже недели напишите мне, удобно ли Вам это предложение?

Полгода я был счастлив, живя вне газет и литературы, на берегу моря в Крыму и на Кавказе. Весной опять уеду туда.

Жду немедленно Вашей новой книги и, получив ее, напишу в «Утро» (Харьков) [3].

Завтра высылаю Вам свою первую книгу рассказов. Если можно, напишите о ней или попросите кого-ниб⟨удь⟩ [4]. «Поэты наших дней» выйдут вторым изд⟨анием⟩ в феврале — марте, дополненные антологией. При встрече поговорим подробно об антологии.

Я наметил 16 ваших стихот⟨ворений⟩ и хотел бы знать, какие Вы сами особенно любите. Напишите в ответ⟨ном⟩ письме их заглавия.

Здоровье мое гораздо лучше — среди туч засинело небо — и, б⟨ыть⟩ м⟨ожет⟩, через полгода — год я буду ходить и по улицам.

Всего, всего хорошего, дорогой Александр Александрович. Жду ответа о лекции, книги стихов и вестей о Вас — где были летом, что делаете.

Любящий Вас Н. Пояркова

Страстной б⟨ульвар⟩ д⟨ом⟩ кн⟨язя⟩ Горчакова, кв. 86

Письмо датируется по упоминанию лекции Пояркова (10 ноября 1908 г.), упомянутой в нем.

[1] 21 октября 1908 г. в Московском Литературно-художественном кружке Поярков читал реферат на тему «Северная любовь»; смысл заглавия уясняется из репортерского отчета: «Г. Поярков, видимо, серьезно полагает, что создал новую гипотезу, додумавшись до „северной любви". А „северная любовь" г. Пояркову представляется в таком виде. Она, эта „северная любовь" — целомудренна, длительна и содержит элемент трагизма. Не то — южная любовь. Это — любовь, как ее определил лектор, „однодневка". — «Раннее утро», 1908, № 281 (23 октября). Ср. письмо Пояркова И. Бунину от 3 октября 1908 г.: «В один из ближайших вторников я читаю в кружке реф⟨ерат⟩ о северной любви» (ЦГАЛИ, ф. 44, оп. 1, ед. хр. 184, л. 11). 10 ноября 1908 г. состоялась лекция Пояркова о Л. Андрееве, Ф. Сологубе и А. Куприне в большой аудитории Политехнического музея. — «Раннее утро», 1908, № 296 (9 ноября). Сведений о лекции, прочитанной в Педагогическом клубе, найти не удалось.

[2] Блок лекции в Московском педагогическом клубе не читал.

[3] Речь идет, несомненно, о сборнике «Земля в снегу» (СПб, 1908), вышедшем в свет в июле 1908 г. Поярков ее не рецензировал.

[4] Н. Е. Поярков. Рассказы, т. 1. М., 1909. Рец. на эту книгу см.: Виктор Гофман — «Русская мысль», 1908, кн. XII, с. 263; Яков Годин — «Современный мир», 1909, № 3, с. 126—127. Блок об этой книге не писал.

БЛОК И ЛИТЕРАТОРЫ

(НЕИЗВЕСТНЫЕ ПИСЬМА С. А. АЛЯКРИНСКОМУ, М. Ф. АНДРЕЕВОЙ, Н. С. АШУКИНУ, П. Н. ЗАЙЦЕВУ, В. А. ЗОРГЕНФРЕЮ, П. П. МУРАТОВУ, С. Л. РАФАЛОВИЧУ).

Публикации и комментарии Р. Д. Тименчика

I. БЛОК — СОВЕТНИК СТУДЕНЧЕСКОГО ЖУРНАЛА

В архиве Блока сохранилось недатированное письмо Владимира Ивановича Нарбута:

«Глубокоуважаемый Александр Александрович!

По некоторым обстоятельствам издание студенческого журнала «Студенческий мир» перенесено на сентябрь. Я очень извиняюсь перед Вами за невольный обман, но вместе с тем разрешаю себе считать в портфеле редакции Ваше прекрасное стихотворение „Из Гейне". Оно пойдет в № 1. Журнал будет Вам высылаться и обо всем подробно Вы будете извещены. Тот список сотрудников, какой Вы дали мне, когда я был у Вас, целиком принят редакцией. Все будут приглашены.

Еще раз извиняюсь перед Вами и прошу не взыскать.

Всегда уважающий Вас Вл. Нарбут

Коломенская ул., д. 4, кв. 4, Вл. Ив. Нарбут» [1]

Письмо относится, по-видимому, к весне 1910 г.[2] Журнал «Студенческий мир», предполагавшийся как двухнедельный [3], стал выходить с января 1911 г. под названием «Gaudeamus» еженедельно (всего вышло 11 номеров). В этом письме обращает на себя внимание тот факт, что Блок предложил планировавшемуся журналу список желательных сотрудников. Имена их выясняются из мемуарного очерка Нарбута, в котором он рассказывает о встрече с Блоком, упоминаемой в письме:

«С Александром Александровичем я уже был знаком и носил пушкинский его, темно-зеленого цвета, с большими отворотами и упрямой талией сюртук. Упомяну кстати, что последний унаследовал я от художника И. Я. Билибина, в квартире которого я в ту пору жил и где, если не изменяет мне память, впервые видел Блока [4].

Было Рождество 1910 года, звонкое и сухое петербургское время. Наша студенческая и литературная братия (отчасти осколок прежнего «Кружка молодых», отчасти дальнейшее его развитие) добыла средства для издания своего студенческого журнала. Торжествующая реакция и общее политическое упадничество среди сознательной части питерского студенчества наложили на этот еженедельник свою мертвую печать, хотя в нашу литературную группу в университете входили такие лица, как ⟨А. А.⟩ Гизетти (теперь, кажется, член РКП), А. ⟨И.⟩ Гидони (в 1917 г. игравший в Москве видную роль как анархист), ⟨Д.⟩ Шапиро (с.-д.), И. Розенталь (с.-д.) и чуть ли не Д. ⟨В.⟩ Кузьмин-Караваев (с.-д.) — принимавший непосредственное участие в партийных организациях.

Решено было (как и когда, точно не помню) издавать журнал, посвященный исключительно искусству. И действительно, в 11 вышедших номерах его студенческое бытие было отражено лишь серой хроникой, да двумя, тремя статьями проф. Рейснера и Сватикова. Весь прочий материал может быть классифицирован как литературно-художественный. И самая-то конфискация 2-го номера произошла больше по недоразумению (стихи Волошина и рисунок). Редакционная коллегия «Гаудеамуса» (так назывался журнал) ⟨...⟩ поручила мне достать стихи у Блока и у тех поэтов, каких он укажет.

А. А. обитал в те дни во дворе на Галерной, недалеко от «Биржевки». Пришел я к нему в воскресенье утром, а засиделся до обеда. Долго толковали мы, кого и как (гонорара у нас почти не полагалось, весь «капитал»-то был что-то около 1000 рублей плюс типографский кредит, а журнал должен был выходить на меловой бумаге с тоновыми клише и при тираже в 5—8 тысяч,— так оно впрочем и было осуществлено) приглашать в сотрудники «Гаудеамуса». Здесь я и смог удостовериться с одной стороны в красном словечке К. И. Чуков-

ского [5], а с другой в неприятии А. А. какой бы то ни было литературной школы, в органическом отвращении к футляру. На мой вопрос, заданный, конечно, в расчете на положительный ответ, не привлечь ли П. Потемкина и В. Пяста (о Цензоре я заговорил позже), А. А. поморщился и отрицательно качнул белокурой головой.

— Они вам не нужны. Ваш журнал должен быть свежим, молодым. А как может пригодиться вам Потемкин? Владимира Алексеевича ⟨Пяста⟩, пожалуй, следовало бы пригласить, как рецензента... Но их стихи, по моему мнению, не поэзия.

И тут же настойчиво стал рекомендовать мне: «Непременно возьмите у него стихи, у В. Гиппиуса» ⟨«Вас. Галахов», затем учитель гимназии, родственник Зинаиды Гиппиус⟩, только что напечатавшего, по протекции того же А. А., следующую пьесу (помню начало):

Листья осенние вертятся, падают.
Павшие листья уносит река.
Ветер летит, задыхаясь и радуя:
.....Ты будешь близка [6].

Стихи В. Гиппиуса, разумеется, были приобретены. Но «портфель редакции», освобождаемый ь мае 1911 г. при ликвидации «Гаудеамуса», вырыгнул и ворох архисимволических произведений этого будто бы узаконенного последователя Блока. «Будто бы», потому что в другие года А. А. отзывался о том же Гиппиусе неважно.

— А вот еще бы Цензора...— заикнулся я и моментально ощутил знойный зуд в корнях волос.

А. А. весело рассмеялся.

— Митя Цензор (его все так и звали: «Митя») не для вас. Из «Нивы» он скоро перекочует в «Родину» (Блок не ошибся). А вам он совсем не нужен. Им вы убьете журнал. Возьмите стихи у Кузмина, Иванова, Брюсова... Но не подпускайте к себе и близко Цензора. Он вообще не поэт.

Сам Александр Александрович дал нам перевод из Гейне («Лорелеи»).

— Хорошо было бы,— заметил вдруг, пожевав губами, Блок,— если бы «Гаудеамусу» удалось выцарапать рассказ у Аверченко. Прекрасные рассказы у него, настоящие. Думаю, что Аверченко самый лучший сейчас русский писатель. Вы не гонитесь за эстетикой, а вот Гоголя нового найдите. А то — очень уж скучно...

Этим визитом не ограничилась моя связь с А. А. по поводу журнала. Всей коллегией мы, помнится, навестили Блока два раза. И Александр Александрович не особенно одобрял наш «Гаудеамус», плывший по морю символизма на полных парусах. Потом, за кончиной журнала, в «Аполлоне», «Цехе поэтов» и в других клубно-редакционных местах, а также и на дому, я неоднократно беседовал с А. А. на тему о символизме — в частности и о литературной школе вообще — и вынес твердое убеждение, что Блок никогда не был ортодоксальным символистом. Он одинаково восторженно принимал Ахматову и Маяковского, Аверченко и Ремизова, Гофмансталя и Мопассана.

Блок был реалистом-романтиком. И символизм его был подвенечной фатой этой романтики» [7].

Рекомендованных Блоком Кузмина, Вячеслава Иванова и Брюсова Нарбут привлек к журналу — стихи первых двух были напечатаны в № 3 «Gaudeamus» (10 февраля 1911 г.; перевод Блока из Гейне появился во 2-м номере — 3 февраля 1911 г.), Брюсова — в последнем, пасхальном № 11 (7 апреля 1911 г.).

Нарбут писал Брюсову 19 марта 1911 г.: «Позвольте выразить Вам душевную благодарность всей редакции за внимание, оказанное Вами Gaudeamus'у. Мы приложим все силы, чтобы поставить наш орган на должную высоту: будем бороться с рутиной, шаблоном и улицей и — никогда не сольемся с ею: лучше — смерть издания, чем войти в русло такого литературного течения...» [8]. Предсказанный в этом письме финал скоро наступил — 5 апреля 1911 г. Нарбут сообщил Кузмину: «Вчера на нашем заседании окончательно выяснилось, что прежнее ведение Gaudeamus'а невозможно: издатель предложил такие условия, на которые я никак не мог согласиться... Посему пасхальный (вообще очень беспорядочный) номер будет последним, вышедшим под бывшей редакцией. Из стихов, что было лучшего и набранного, я вместил все в этот последний номер» [9]. В одиннадцати вышедших номерах журнала Нарбут печатал стихи поэтов, уже успевших себя зарекомендовать в символистских кругах

в 1900-е годы,— С. Городецкого, Б. Дикса (Лемана), В. В. Бородаевского, М. Волошина, И. Рукавишникова, Л. Столицу, а также и начинающих — Ахматову, Георгия Иванова, А. Д. Скалдина, В. Н. Княжнина, А. А. Конге [10]. Но стихов забракованных Блоком Потемкина и Цензора в журнале не появилось [11]. Заметим, что, передавая ироническое пророчество Блока по поводу Цензора, Нарбут умалчивает о том, что он и сам впоследствии печатал стихи в невзыскательном журнале «Родина» не реже, чем Цензор. Здесь следует вообще оговорить некоторую «кружковую» тенденциозность, которая окрашивает воспоминания Нарбута и, возможно, иногда приводит к прямому искажению фактов — так, маловероятно, хотя и допустимо, что Блок советовал привлечь А. Т. Аверченко к журналу; он осуждал «дымовско-аверченко-юмористическое» (VII, 166); что же касается восторженного «приятия» Гуго фон Гофмансталя, то неизменная отрицательная оценка этого автора у Блока заставляет считать свидетельство Нарбута неточным [12]. «Отлучение» Блока от символизма предпринималось Нарбутом и в прижизненных отзывах о Блоке. В 1913 г., когда Нарбут высмеивал «беззастенчивое поклонение символизму, так сурово и правдиво осужденному акмеизмом (новой литературной школой, выступившей в защиту всего конкретного, действительного и жизненного)» [13], он писал по поводу «неумелого и нетщательного подбора стихотворных пьес» в альманахе «Прометей»: «Ведь есть же „акмеисты“, да и у некоторых символистов (например, у Блока) существуют произведения более веские, чем те, которые вошли в этот сборник» [14]. Свою первую «акмеистическую» книгу стихов «Аллилуйа» Нарбут поднес Блоку с надписью: «Дорогому Александру Александровичу Блоку на память светлую Владимир Нарбут. Спб. Апрель 912 г.» (ИРЛИ). Блок, однако, не принял поэтики этого сборника с ее эпатирующим физиологическим натурализмом, облеченным, как говорили в Цехе поэтов, в «метафизический сюртук» [15]. В 1913 г., читая акмеистический манифест Городецкого, Блок во фразе: «Владимир Нарбут ⟨...⟩ во второй книге («Аллилуйа») является поэтом, осмысленно и непреклонно возлюбившим землю» — подчеркнул слова «осмысленно и непреклонно» и приписал: «первое — едва ли» [16].

Как явствует из стихотворения Нарбута на смерть Блока, он бывал у Блока и на Офицерской [17]. Последним случаем их делового (хотя и заочного) сотрудничества было участие Блока в издававшемся Нарбутом в 1918—1919 гг. воронежском журнале «Сирена» [18].

[1] ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 2, ед. хр. 49, л. 1—2. О В. И. Нарбуте см. в разделе «Блок в поэзии его современников». В Петербургском университете Нарбут числился (на разных факультетах) с 1906 по 1912 г.

[2] В указателе «Александр Блок. Переписка. Аннотированный каталог», вып. 2,— письмо датируется: «1909, до сентября» (с. 341). Однако стихотворение «Из Гейне» («Не знаю, что значит такое...»), о котором идет речь в письме Нарбута, еще 19 ноября 1909 г. было предложено Блоком С. А. Венгерову для Сборника Литературного фонда (III, 638; VIII, 297); ровно месяц спустя Блок узнал о том, что этот перевод его просят заменить другим стихотворением («Блоковский сб.», 2, с. 340) и, следовательно, только после этого мог передать перевод «Лорелеи» Нарбуту —их встреча, по-видимому, произошла в 20-е числа декабря 1909 г. (на «Рождество 1910 года», как указывает Нарбут).

[3] Первый номер планировалось выпустить 26 марта 1910 г. (см. письмо Нарбута к Брюсову — ГБЛ, ф. 386, к 96, ед. хр. 1). В начале 1910 г. Нарбутом была также взята статья у В. В. Розанова, возвращенная позднее автору в связи с отсрочкой издания журнала (ЦГАЛИ, ф. 419, оп. 2, ед хр. 1).

[4] Один из визитов Блока к Билибину состоялся, по-видимому, в октябре 1907 г., в пору, когда оба они сотрудничали в постановке «Действа о Теофиле» в Старинном театре (см. письмо Н. В. Дризена к Блоку от 18 октября 1907 г. о том, что тому необходимо заехать к Билибину.— ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 2, ед. хр. 30, л. 1—2). Учеником и другом Билибина был старший брат В. И. Нарбута — график Г. И. Нарбут.

[5] По-видимому, имеется в виду перечень подражателей и последователей Блока (Л. Семенов, П. Потемкин, М. Пожарова, В. Пяст) в статье К. Чуковского «О современной русской поэзии» («Литературные и популярно-научные приложения к «Ниве», 1907, № 3, стб. 418).

[6] Стихотворение Вас. Гиппиуса было напечатано, насколько можно судить по его воспоминаниям, без всякой протекции Блока. О высокой оценке этого стихотворения Блоком писал и сам Вас. Гиппиус. Приведем его текст:

Листья безумные вертятся, падая,
Павшие листья уносит река.
Ветер летит, увлекая и радуя.
...Ты будешь близка.

Пусть изнеможет под грозами новыми
Плавный полет моего корабля,—
Все примирит снеговыми покровами
Невеста-земля.

Круг завершится. В волнах очищения
Мука недавняя станет легка.
Снова заслышим весенние пения.
Ты будешь близка.

(«Новый журнал для всех», 1908, № 2, стлб. 70)

О Вас. В. Гиппиусе и отношении Блока к нему см. в разделах «Дарственные надписи Блока на книгах и фотографиях» и «Блок в неизданной переписке и дневниках современников» (наст. том, кн. 3). Стихи Вас. Гиппиуса напечатаны в «Gaudeamus» в № 7 и 10. В надписи на экземпляре своей книги «Аллилуйа», подаренном Вас. Гиппиусу, Нарбут подчеркнул свое противостояние ему как «акмеиста» — «символисту»: «Другу моему Гиппиусу Василью — небесняку от земняка» (ОРК ГБЛ).

[7] Вл. Нарбут. О Блоке. Клочки воспоминаний.— «Календарь искусств», Харьков, 1923, № 1, с. 2—3.

В перечислении и характеристике членов литературной группы Петербургского университета у Нарбута есть неточности: «И. Розенталь» — это, по-видимому, Семен Розенталь, А. А. Гизетти не стал членом РКП, Александра Иосифовича Гидони мемуарист спутал, по-видимому, с известным анархистом Александром Ге.

[8] ГБЛ, ф. 386, к. 96, ед. хр. 1.

[9] ЦГАЛИ, ф. 232, оп. 1, ед. хр. 308.

[10] Александр Александрович *Конге* (1891—1915) — поэт, в судьбе которого, возможно, принял участие Блок: П. В. Безобразов в рекомендательном письме по поводу А. А. Конге, направленном Блоку, просил внимания к «молодому певцу, который, говорят, Вам подражает» (ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 143, л. 2). Влияние Блока на Конге отмечено в рецензии Вас. Гиппиуса на сборник стихов А. А. Конге и М. А. Долинова «Пленные голоса» (СПб., 1912) — «Новая жизнь», 1912, № 1, с. 269).

[11] Об отношении Блока к творчеству П. П. Потемкина см. в разделе «Дарственные надписи Блока на книгах и фотографиях». Оценку творчества Д. М. Цензора Блок дал в 1919 г. (VI, 333-335).

[12] См. отзыв Блока о Гофманстале в письмах к матери от 31 июля 1908 г. («Письма к родным», I, с. 221) и к Л. Д. Блок от 20 февраля 1913 г. (VIII, 410). Отношение же Блока к Мопассану действительно было заинтересованным (VI, 152—153).

[13] «Новый журнал для всех», 1913, № 5, стлб. 149.

[14] Там же, стлб. 150.

[15] А. Ахматова. Листки из дневника. ОРиРК ГПБ, ф. 1073, ед. хр. 66.

[16] П. В. Куприновский. Пометки А. Блока на манифестах поэтов-акмеистов.— «Ученые записки Ивановского гос. пед. ин-та», т. XII, Филол. науки, вып. 3, 1957, с. 127.

[17] Текст стихотворения см. в разделе «Блок в поэзии его современников» (наст. т., кн. 3).

[18] В 1918—1919 гг. В. И. Нарбут редактировал в Воронеже двухнедельный литературно-художественный журнал «Сирена». В числе прочих авторов (К. Чуковского, О. Мандельштама, Н. Гумилева, Н. Н. Евреинова, А. М. Ремизова, А. П. Чапыгина, М. М. Пришвина и других) Нарбут стремился привлечь к участию в журнале и Блока— см. письма Нарбута к Г. И. Чулкову от 12 августа 1918 г. (ГБЛ, ф. 371, к. 3, ед. хр. 39, л. 1) и к А. М. Ремизову от 21 сентября 1918 г. (ИРЛИ, ф. 256, оп. 1, ед. хр. 167, л. 5). 10 сентября 1918 г. Нарбут сообщал Брюсову, что Блоку (как и Белому, Клюеву, Есенину, Луначарскому) послано приглашение участвовать в «Сирене» (ГБЛ, ф. 386, к. 86, ед. хр. 17). Это приглашение в архиве Блока не сохранилось. 1 октября 1918 г. Блок послал для публикации в «Сирене» 5 стихотворений (ЗК, 429—430), которые и были там опубликованы. В 1919 г. Нарбут участвовал в Киеве в издании журнала «Зори» (редактором был С. Д. Мстиславский). Предложение Блоку участвовать в этом журнале, а также в журнале «Красный офицер», затеянном Нарбутом (издание не состоялось), было сделано в письме Нарбута к А. М. Ремизову от 28 июля 1919 г. (ИРЛИ, ф. 256, оп. 1, ед. хр. 167, л. 6). См. также записку А. М. Ремизова Блоку от 5 августа 1919 г. (наст. т., кн. 2, с. 124—125).

II. БЛОК И «МОЛОДЫЕ ПОЭТЫ»

Взаимоотношения Блока с начинающими поэтами как отдельная проблема блоковедения еще систематически не изучались, хотя ряд важнейших материалов по этой теме уже введен в научный оборот — укажем хотя бы публикацию В. Н. Орлова «Александр Блок о начинающих поэтах» [1]. В значительной степени неразработанность этой темы объясняется ее сравнительной трудоемкостью; для того чтобы в полной мере осветить Блока как наставника (само это слово, впрочем, применимо к Блоку с существенными оговорками [2]) молодых поэтов, одной опубликованной и даже неопубликованной его переписки недостаточно. Требуются,

например, биографические разыскания о большом числе более или менее (обычно — менее) известных поэтов блоковской эпохи, поскольку содержание многих из недошедших до нас или известных в искажающем пересказе оценок и рекомендаций Блока может быть только опосредованно восстановлено по изменениям в тематике и стилистике стихов, да и просто в количестве написанного и напечатанного (в том числе и в полном отказе от писания стихов) — изменениям, которые произошли вследствие контакта этих поэтов с Блоком.

В разные периоды жизни Блока, в различных литературных и общественных ситуациях разнилась и степень его заинтересованности тем, что пишут представители следующего литературного поколения [3], хотя по количеству получаемых рукописей в 1910-е годы он, по-видимому, уступал только Брюсову [4]. В первой половине 1910-х годов безразличие и любопытство у него достаточно часто сменяли друг друга. Так, 4 июня 1911 г. Блок записывает по поводу альманаха издательства «Мусагет»: «„Стихи в большом количестве вещь невыносимая“,— очень справедливо [5]. Надоели все стихи — и свои» (ЗК, 182). Однако уже осенью того же года Блок знакомится со стихами молодых, и притом «в большом количестве», беседует с Рюриком Ивневым, Грааль-Арельским (С. С. Петровым) [6], Г. В. Ивановым. 5 декабря 1911 г. он писал матери: «<...> я хотел бы показать тебе несколько книжек молодых поэтов, где есть много хорошего» [7].

Год спустя резкое неприятие Блока вызвала поэтическая продукция большинства акмеистов, а осенью 1913 г. он проявляет внимание к эгофутуристам, но они, по выражению самого Блока, «надежд не оправдали» (ЗК, 197), и, по-видимому, у Блока на несколько лет ослабел интерес к чужим стихам вообще [8]. Как признавался он Ахматовой 14 марта 1916 г.: «Всегда почти — посмотришь, видишь, что, должно быть, очень хорошо пишут, а мне все не нужно, скучно, так что начинаешь думать, что стихов вообще больше писать не надо» (VIII, 458—459). Но он не уклонялся от обязанностей поэтического судьи, возложенной на него читающей Россией («Раз Вы Блок — несите это»,— писала ему писательница М. Л. Толмачева, мать молодого поэта, 26 февраля 1916 г. [9]). И очередная дебютантка свидетельствовала в письме к нему: «...говорят, что Вы всегда отвечаете на письма и говорите искреннее мнение» [10].

Содержание многих блоковских отзывов нам неизвестно — например, о стихах С. Коммиссарова — 21 октября 1914 г.[11], А. Леушина — 30 декабря 1914 г.[12], Б. Г. Шаца — 14 мая 1915 г.[13], Т. М. Глаголевой — 24 февраля 1916 г.[14]. 2 ноября 1913г. Блок ответил киевскому поэту В. Н. Маккавейскому по поводу присланных им стихотворений (на полях этих стихотворений есть пометы Блока; например, рядом со стихами «Мы все капризней,— все жеманней / Непризнанное говорим» Блок сделал помету «зачем же?» и подчеркнул слова «все жеманней») [15]. 7 ноября 1914 г. Блок ответил поэтессе Агате Гальпериной, которая писала ему: «Считая Вас самым выдающимся поэтом нашего времени, я хотела бы знать Ваше мнение о моем творчестве прежде, чем печатать свои стихи. То, что я предлагаю Вашему вниманию,— несколько стихотворений, написанных за последнее время,— не зрелый труд, а только первый опыт. Я была бы бесконечно благодарна Вам, если бы Вы откровенно высказали мне Ваше мнение, есть ли у меня данные для того, чтобы быть хорошим поэтом. Мне самой слишком дорога наша литература, чтобы наводнять ее ненужными произведениями» [16]. Возможно, что ответ Блока не был резко отрицательным,— во всяком случае, в следующем году Агата Гальперина выпустила в Москве сборник стихов «Веретено». 29 июля 1915 г. актриса О. Н. Высотская в письме к Блоку спрашивала, что он думает о стихах ее брата Сергея, а 24 октября 1915 г. писала Блоку: «...все, что Вы пишете о стихах Сережи, передала ему в Москву. Я думаю, что он будет писать Вам сам и, конечно, будет присылать Вам свои стихи» [17].

В 1910-е годы с ростом блоковской славы приток писем, рукописей и книг, присылаемых для отзыва, увеличился. Но блоковская требовательность оставалась неизменной. Эксцентричное по тону письмо Тихона Чурилина (впоследствии автора незаурядных поэтических сборников) — одно из свидетельств рыцарской прямоты Блока: «Я получил мои тетради. Благодарю: Вы умеете уважать чужую личную жизнь... даже и бездарностей. Извиняюсь за мой нелепый поступок. Тихон Ч у р и л и н» [18].

Приведем еще одно свидетельство о характере блоковского общения с молодыми поэтами. 23 декабря 1914 г. Блок получил письмо и стихи от Клары Букштейн (ЗК, 251), которую направил к нему Вяч. Иванов. К. С. Букштейн писала: «В сущности говоря, если принять во внимание, что пишу я по-настоящему около года и что последние 3—4 года моей жизни почти весь мир мой духовный был наполнен Вашей поэзией, что с нею я засыпала и просыпалась,

то, может быть, она неминуемо должна была отразиться на мне вначале? ⟨...⟩ Но будьте со мной откровенны до конца. Все равно, что бы Вы мне ни сказали, я буду одинаково благодарна Вам. Я извиняюсь, что во время работы все-таки и письмом отрываю Вас, но Вячеслав Иванов мне говорил, чтоб я непременно дала Вам мои стихи, и уверял, что Вам будет не скучно их читать. А я так верю всему, что он мне говорит!» 29 декабря 1914 г. Блок говорил с К. Букштейн по телефону, а 31 декабря он получил от нее письмо: «Не знаю, может быть, это надо объяснить влиянием Вашей личности вообще, что пока я говорила с Вами, мне казалось, что происходит что-то хорошее, не печальное для меня; и вдруг, когда положила трубку, поняла — что Вы говорили! Я, кажется, постарела за эту ночь от тоски. Поэзия для меня все, я не могу жить без нее. А если все так, как Вы говорите... Но все равно я не могу бросить писать, потому что я жить тогда не могу. Может быть, я всю жизнь буду страдать от того, что Вы не сможете этих стихов полюбить, но все равно я не могу бросить. Я никому не скажу правды о том, что Вы мне сказали, кроме одного близкого друга и Вячеслава Иванова ⟨...⟩ хотя думаю, что и он вдруг отвернется от меня, когда узнает, ему все разнравится; так ведь бывает. Прошу Вас только, никому не показывайте этих стихов. Спасибо за голос Ваш, за тон, спасибо за то, как Вы со мной говорили» [19]. Впоследствии К. С. Букштейн (1894 — 1972) стала профессиональным поэтом и под псевдонимом «Клара Арсенева» выпустила несколько сборников стихов.

Сохранился ряд других косвенных свидетельств о нелицеприятных и мотивированных ответах Блока честолюбивым молодым авторам. 16 ноября 1915 г. филолог и поэт К. А. Вогак, сотрудник студии Мейерхольда и журнала «Любовь к трем апельсинам» (ранее, в письме от 9 ноября 1915 г., просивший дать оценку сборнику стихов И. Ф. Каллиникова [20]), писал Блоку: «Отзыв о стихах Каллиникова по своей полноте и определенности не оставляет желать ничего лучшего. Что он не из лестных — так ведь дело не в лести, а в правоте» [21].

Среди других оставшихся нам неизвестными отрицательных отзывов Блока о начинающих поэтах в 1915 г.— утраченное письмо к Б. Ю. Кудишу от 18 января («Суровость Вашего отзыва вначале „обезнадежила“, но потом я научился понимать ее»,— писал адресат Блоку 21 февраля) [22] и письмо к А. В. Берсеневой от 14 мая, также утраченное («Спасибо Вам за то, что Вы ответили так просто и прямо ⟨...⟩ но нелегко мне было узнать, что Вы запрещаете мне писать стихи»,— отвечала Берсенева [23]).

Поэт, писавший под псевдонимом «Чролли», 26 января 1916 г. отвечал на какое-то не известное нам высказывание Блока: «Многоуважаемый Александр Александрович! Вы сказали, что в месяц в среднем выходит 30—40 сборников. Следовательно, около 400 в год, или около 2000 в пять лет. Возьмите любой сборник из этих двух тысяч за годы 1911—1915, и я обязуюсь после второго чтения указать резкие и очевидные различия между этим сборником и моим. Чролли» [24]. Блок, судя по помете на письме, ответил на него. Резюме этого ответа о сборнике Чролли «Гуингм» (Пг., 1915) приведено в подборке отзывов о «Гуингме», помещенной в следующем сборнике молодого автора: «Ал. Блок: Неинтересно. З. Гиппиус: (Неодобрительный отзыв). Н. Гумилев: Безнадежно-неинтересно. Ал. Толмачев: Плохо, скучно. Г. Маслов: Чролли что-то хочет сказать, но сказать ему нечего» [25].

Стихотворец Николай Черкасов, поднесший Блоку 24 апреля 1916 г. свой сборник «Выше!», в письме от 18 января 1917 г. ссылается на недошедший до нас отзыв Блока: «Прошлая моя книга „Выше!“ вызвала с Вашей стороны решительное и бесповоротное суждение: „не имеет права на существование“» [26].

Критик П. С. Воробьева-Владимирова писала Блоку 7 марта 1916 г.: «...простите великодушно, что запоздала несколько поблагодарить Вас за отзыв о книге стихов Соина „Мои песни“ [27]. Ваша любезность меня глубоко-глубоко тронула,— спасибо Вам, Александр Александрович! Но как Вы суровы в своем приговоре! Ведь от него веет чем-то роковым, бесповоротным, не оставляющим и тени надежды... Александр Александрович! Вы подошли с слишком высокой меркой к этому человеку. Вы сравниваете его с Пушкиным, Эдгаром По, Бодлером, с А. Блоком и проч⟨ими⟩ звездами первой величины,— ну куда же бедному Соину выдержать этакое сравнение! Обыватель он, конечно, ибо велика сила среды, но ведь от обывательщины не свободен и Кольцов, и даже сам Некрасов» [28].

Той же предельной требовательностью и отсутствием всякого лукавства отмечены и публикуемые ниже два письма Блока, относящиеся к апрелю 1914 г.— времени для их автора очень важному: в марте он написал «Кармен», и за его оценками и суждениями на сей раз

стоит не только былой профессиональный опыт, но и чувство правоты и уверенности, связанное с осознанием себя как первого, быть может, лирика своей эпохи.

Адресат первого письма Николай Сергеевич Ашукин (1890—1972) — известный советский литературовед, в частности, один из первых блоковедов: в 1923 г. он выпустил книгу «Александр Блок. Синхронистические таблицы жизни и творчества. 1880—1921. Библиография 1903—1923», а в 1924 г.— сборник «А. А. Блок в воспоминаниях современников и его письмах». До революции Ашукин издал два сборника своей лирики. О первой из этих книжек — «Осенний цветник» (М., 1914) — Блок и пишет в письме к Ашукину.

«Осенний цветник» открывается программным стихотворением «Шкатулка с музыкой»:

Люблю наивно с музыкой шкатулки,
Их нежных песенок хрусталь;
Как светлые осенние прогулки,
Они баюкают печаль...

И в большинстве других стихотворений этой книги («Над прудом», «Короче дни и сумерки синее...», «Городок», «Октябрь. Стоит давно пустою дача...» и т. д.) прослеживается установка на описательную поэзию, на «бесхитростные» стихотворные пейзажи и натюрморты, апеллирующие к самоценной и скромной красоте простого мира. С. Кречетов (С. А. Соколов) писал об этом сборнике: «Есть хорошая проникновенность в лирике Н. Ашукина:

Гудят телеграфные струны,
Истлел за лесами закат,
И пыль не дымит по дороге,
И вечер и мирен, и синь.

Алмазные звездные руны
На пологе темном дрожат,
И шепчутся травы о боге.
И ладаном пахнет полынь...

В его стихах много робкой, тихо ступающей по земле нежности и искреннего чувства, способного трогать. Однако ж г. Ашукину надо немало поработать над собой. Образы лирики должны быть так же четки и значительны, как образы эпоса. Их творят из иного материала, но по тем же законам. Надо бояться незначущих вздохов и ходячих слов. Лирик должен по преимуществу избегать воды, ибо в ложке ее можно утопиться так же удачно, как в Черном море. Г. Ашукину есть смысл работать» [29].

В иные моменты своей жизни Блок даже склонен был поддерживать «скромное стихослагательство» скорее, чем широковещательные пророчества и лирические монологи «волевого» героя («самохвальство») [30]. По-видимому, реакцией на становившуюся модной «декадентскую» риторику объясняется выбор, сделанный Блоком из книги С. Л. Рафаловича, которому он сообщал в неопубликованном письме:

«Многоуважаемый Сергей Львович.

Большое спасибо за Ваш сборник, который я получил на днях, и за надпись, сделанную Вами на нем. Только сейчас узнал Ваш адрес, потому не ответил сразу. Пока еще не успел прочесть всего, а только просматривал немного; при перелистываньи внимание остановилось на стихотворении «На могиле» — нежном, тихом и простом [31]. Кажется, в Вашей поэзии мне будет ближе всего нота печальной тишины.

Истинно уважающий Вас Александр Блок

13 января 1906» [32]

Но письмо Блока к Ашукину написано непосредственно после создания цикла «Кармен», насквозь пронизанного мотивами «игры, пестроты, воли, тревоги», и Блок, еще остро ощущавший напряжение «стихии», которой он, по собственному позднейшему признанию, слепо отдался в марте 1914 г. (III, 474), остался глух к подчеркнуто-сдержанной тональности стихов Ашукина. Отзыв Блока проливает свет на его представления о своего рода «диалектике» взаимоотношений «безыскусного» и «эстетического» в стихах. Блок не принимал модной манеры петербургских поэтов 1910-х годов, преимущественно определявшейся как раз «игрой» и «пестротой» и ориентированной на «стилистический жест», или, как определил эту манеру Блок в письме к Мейерхольду от 15 января 1915 г., «миндальничанья и жантильничанья». «После таких стихов я начинаю обыкновенно жаждать сухого, чопорного „пушкиньянца" Верховского»,— добавляет Блок в том же письме [33]. Но и противоположная стилевая тенденция, возрождающая незатейливую до-символистскую поэтику, тоже была для Блока «не-

питательной», как он отозвался (в один день с письмом к Н. С. Ашукину) о стихах П. С. Сухотина, во многом стилистически близких к «Осеннему цветнику» (VIII, 437).

Адресат второго из публикуемых блоковских писем, Сергей Аркадьевич Алякринский в недошедшем до нас письме, по-видимому, говорил о своей любви к творчеству Блока. В автобиографии 1924 г. Алякринский сообщал: «Поэтическое развитие начал под влиянием Александра Блока, которого считал своим учителем до 1912 года. Все, что было написано им после книги „Ночные часы", меня уже не интересовало, и этой книгой Блок для меня кончился» [34]. Имя Алякринского ранее дважды всплывало при обсуждении вопроса о «новой» постсимволистской поэзии на рубеже 1910-х годов. Обозреватель «Аполлона», рецензируя книгу Алякринского «Цепи огней» (М., 1910), писал: «Он модернист: когда вы встретите у него неряшливую рифму, он скажет вам, что это ассонанс; если вы спросите его о какой-нибудь строчке, для которой нет места в метрических схемах, как бы изысканны они ни были, он объявит, что ритм ее ласкает его ухо; если вы выразите недоумение по поводу выражения „излучные зовы дня", он повернется к вам спиной. Есть от чего смутиться робкому читателю. Но перелистайте его книгу, и вы успокоитесь. Он не имеет понятия о том, что такое ассонанс, он совершенно невинен в ритмических новшествах, его душа не утонченнее по переживаниям вашей, он типичный любитель, но только пишет не под Надсона, а под Бальмонта и Блока ⟨...⟩ несправедливо видеть в Алякринском и ему подобных тип поэтов, идущих на смену Блоку и Белому» [35]. Брюсов в связи с тем же сборником заметил, что Алякринский «не понимает, насколько простота выражения сильнее, чем его „сладостные заклятья" и „таинственно-зовущая мгла". Кроме того, он исключительно занят самим собой и думает, что всем на свете интересно выслушивать, как он впивал „сны чьих-то ресниц" и как через „отраву" чьих-то ласк для него „расцвело солнце"» [36]. Холодный отзыв Блока относится, по-видимому, к сборнику Алякринского «Кактусы» [37].

[1] «День поэзии», М., 1972, с. 273—274.

[2] Ср. отзыв Вяч. Иванова в записи Ф. И. Коган (раздел «Блок в неизданной переписке и дневниках современников» — наст. том, кн. 3, с. 507.

[3] О взаимоотношениях Блока с начинающими поэтами в 1900-е годы, см. в предисловии к «Письмам Валентина Кривича к Блоку» (наст. том, кн. 2, с. 406—407).

[4] Е. Н. К о н ш и н а. Переписка и документы В. Я. Брюсова.— «Записки Отдела рукописей ГБЛ», вып. 27. М., 1965, с. 24—25.

[5] Эту цитату Блок употребил 10 лет спустя в статье «Без божества, без вдохновенья» (VI, 183 — «как сказал однажды один умный литератор»). По свидетельству М. А. Бекетовой, эта фраза была сказана ей некогда М. М. Стасюлевичем, причем «он ссылался на Тургенева, который вряд ли мог сказать такие слова» (М. А. Б е к е т о в а. Мои редакторы и издатели.— ГЛМ, ф. 8, оп. 2, ед. хр. 4, с. 3). Ю. М. Лотман в устном сообщении высказал предположение, что этот афоризм перефразирует слова Хомы Брута из гоголевского «Вия»: «Всякому известно, что такое кожаные канчуки; при большом количестве вещь нестерпимая».

[6] 20 февраля 1912 г. эго-футурист Д. А. Крючков писал Блоку: «Обратиться к Вам позволяет моя уверенность в Вашем отзывчивом и благожелательном отношении к начинающим поэтам, о чем я слышал от сотоварищей — Грааль-Арельского и Георгия Иванова» (ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 2, ед.хр. 42, л. 1 об.). О неразысканном письме Блока к Г. В. Иванову от лета 1911 г. см. в примечаниях к письму Г. В. Иванова А. Д. Скалдину от 16 августа 1911 г. («Блок в неизданной переписке и дневниках современников» — наст. том, кн. 3).

[7] «Письма к родным», II, с. 88. Осенью 1911 г. вышли следующие книги молодых поэтов, которые мог иметь в виду Блок: Б. Л и в ш и ц. Флейта Марсия; В. Ш е р ш е н е в и ч. Весенние проталинки; Грааль-А р е л ь с к и й. Голубой ажур; И. Э р е н б у р г. Я живу; М. Д о л и н о в и А. К о н г е. Пленные голоса. С Александром Конге (1891—1915) и его стихами Блок был знаком и ранее — см. рекомендательное письмо П. В. Безобразова к Блоку об А. А. Конге (ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 143, л. 2). Об интересе Блока к опытам Вас. В. Гиппиуса и Н. А. Чернявского см. в разделе «Блок в неизданной переписке и дневниках современников» (наст. том, кн. 3).

[8] Особая, нуждающаяся в специальной разработке (и в первую очередь — в хронологизации) тема — это интерес Блока к Игорю Северянину. Отметим только шутливую итоговую формулу Блока: «Говорить о нем поэт, это не то слово. Он просто поет и ничего более» (М. В. Б а б е н ч и к о в. Наброски к воспоминаниям о Блоке.—ЦГАЛИ, ф. 2094, оп. 1, ед. хр. 4, л. 152). Об отношении Блока к кубо-футуристам см. в разделе «Блок в неизданной переписке и дневниках современников».

[9] ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 430, л. 6.

[10] Письмо Н. Д. Белаго от 5 марта 1916 г.— ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 146, л. 1. Отметим, что Брюсов в 1910-е годы вынужден был признаваться: «... я отныне ставлю себе правилом отвечать только тем авторам, которые покажутся мне людьми талантливыми» (ЛН, т. 85, с. 205).

[11] ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 282.

[12] ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 310.
[13] ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 460.
[14] ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 217.
[15] ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 319, л. 8 об. Об этой переписке Блок помнил и семь лет спустя. Несомненно, о ней идет речь в воспоминаниях Виктора Третьякова: «Когда в „Союзе поэтов" рассматривался привезенный мною киевский сборник „Гермес", Блок заинтересовался и вспомнил, что с одним из участников его он когда-то обменялся письмами. У него, отчужденного, была памятливость даже на мелочи, особенно если дело шло о близком ему» («Сегодня», Рига, 1927, № 174а, 8 августа). В альманахе «Гермес» (Киев, 1919) Вл. Маккавейский опубликовал перевод на французский язык одного стихотворения Блока и одного — Вяч. Иванова.
[16] ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 207.
[17] ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 206, л. 9. Какое-то суждение о стихах Е. Л. Недзельского Блок, возможно, высказал в неразысканном письме от 3 ноября 1913 г., отвечая на письмо Недзельского, полученное 31 октября 1913 г.: «Очень извиняюсь за свое нахальство, но решил просить Вашего отзыва о моих стихах. Если будет можно, то прочтите их, но пожалуйста, не стесняйтесь, если нельзя, то не надо ⟨...⟩ Хотел послать их в один из журналов, но решил спросить Вашего совета» (ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 2, ед. хр. 50). Отметим, что обращению Недзельского к Блоку непосредственно предшествовало объявление в «почтовом ящике» «Воскресной вечерней газеты» (№ 89, 27 октября 1913 г.) о том, что его стихи не приняты к публикации. В 1914—1915 гг. Недзельский публиковал стихи в московских литературных журналах, в 1915 г. выпустил сборник стихов с «блоковским» заглавием «Радость в страдании». Впоследствии — переводчик чешской поэзии.
[18] «Александр Блок. Переписка. Аннотированный каталог». Вып. 2. М., 1979, с. 486. Иногда Блок откладывал вынесение окончательного суждения. Так, из письма Е. Н. Вавулиной от 19 февраля 1913 г. следует, что хотя Блок осудил ее за склонность «дилетантствовать в стихах», он пожелал «оставить ее листки на память» (ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 181, л. 4—5). Ольге Кауфман Блок 28 апреля 1916 г. предложил «прислать еще стихи через год», а 21 мая 1917 г., когда корреспондентка выполнила это условие, «написал, чтобы стихи бросила, нестоющие» (ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 270, л. 4, 11).
[19] Письма К. Арсеневой (Букштейн) — ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 133, л. 1—4. См. также: К. Арсенева. Воспоминания о Блоке.— «Александр Блок в воспоминаниях современников». М., 1980, т. 2, с. 98.
[20] Иосиф Каллиников. Крылатые песни (1913—1915 гг.). Орел, 1915. В письме от 3 ноября 1915 г. И. Ф. Каллиников сообщал Блоку: «Крылатые песни» — изданы мною на правах рукописи в 75 экземплярах, из которых ни в продажу, ни на отзыв в редакции журналов не дано мною. Я люблю литерату⟨ру⟩ и очень ее уважаю, а потому считаю, что для того, чтобы выступить с книжкой перед широкой публикой, я должен иметь еще и нравственное право, которое мне дадут мнения людей, близких литературе» (ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 2, ед. хр. 36, л. 1; на письме помета Блока: «Ответ. 8. XI»).
[21] ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 199, л. 3. Ответ Блока К. А. Вогаку с отзывом о стихах Каллиникова был написан 12 ноября 1915 г.
[22] ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 295, л. 3.
[23] ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 157, л. 3. Отвечая на утраченное ныне письмо Блока от 22 мая 1915 г., поэт Н. В. Ястребов (по поводу стихов которого Блок сделал помету «Свежести нет, вот что страшно»), писал: «Стихи, которые я Вам посылал, действительно оказались полны всяких влияний и всяких наслоений. В них как будто проглядывает и Брюсов, и Сергей Городецкий, есть даже заимствования и из Вашей поэзии» (ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 2, ед. хр. 72, л. 2).
[24] ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 453, л. 1. Согласно справочнику Н. В. Здобнова «Материалы для сибирского словаря писателей» (М., 1927, с. 50, 54), псевдоним «Чролли» принадлежал Константину Фавстовичу Тарасову. Ср.: Библиотека А. А. Блока. Описание. Кн. 2, с. 302,
[25] Чролли. Сын Фауста. Вторая книга стихов. Пг., 1917, с. 32.
[26] ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 449, л. 3.
[27] И. Соин. Мои песни. Гороховец, 1913.
[28] ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 204, л. 1—1 об.
[29] «Утро России», 1914, № 96, 26 апреля.
[30] Так он противопоставлял Б. А. Садовского С. М. Городецкому в 1912 г. (VII, 186).
[31] Приводим текст этого стихотворения.

На могиле

Тускло и уныло
Вся кругом цвело,
Мало счастья было,
Да и то прошло.

Солнце не светило,
Только жгло твой путь;
Там где ты ходила,
Не на что взглянуть.

Скорбны, жалки, серы
Были все, как ты.
Не хватало веры
Для живой мечты;

Злобы не хватало
До конца презреть.
Боже! как устала
Ты о всех жалеть.

Как улыбку счастья
Жаждала от них
Вместо слов участья,
Вместо слез чужих...

Шопот слов унылый,
Ропот тихих слез
Ветер до могилы
Может быть донес;

И над нею ветлы
Скорбно шелестят...
Но я понял: светлый
Нужен ей наряд.

Нужен ландыш гибкий,
На заре — туман,
И моей улыбки
Горестный обман.

(Сергей Рафалович. Светлые песни. СПб., 1905, с. 117—118). Эта книга Рафаловича с карандашными пометами Блока находилась в его шахматовской библиотеке («Труды по русской и славянской филологии», XXIV, Тарту, 1975, с. 409).

[32] ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 113.

[33] «Новый мир», 1979, № 4, с. 165.

[34] ИМЛИ, ф. 516, оп. 1, ед. хр. 4, л. 1. Ср. в этой же автобиографии: «В настоящее время занят работой над темой о ликвидации романтизма и главным образом „блоковизны" как наиболее интенсивной его струи в период 1904—1914 гг., залившей умы и настроения интеллигенции и далеко не изжитой в наши дни ни в литературе, ни в жизни. Тема, завладевшая мной, разрабатывается в прозе задуманным и пишущимся уже лирическим романом „Сердце и эпоха"». Сергей Аркадьевич *Алякринский* (1889—1938) писал Блоку также 25 июля 1921 г. из Иркутска, где он в это время занимал видное место в литературном объединении «Барка поэтов» (см.: В. Трушкин. Литературная Сибирь первых лет революции. Иркутск, 1967, с. 181). К этому письму приложены 13 стихотворений Алякринского (ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 123).

[35] Н. Гумилев. Письмо о русской поэзии.— «Аполлон», 1911, № 4, с. 83—84. О влиянии «Снежной маски» на «Цепи огней» см. в рецензии Н. Ме⟨шкова⟩ («Студенческая жизнь», 1910, № 36, с. 10).

[36] Валерий Брюсов. Собр. соч., т. 6. М., 1975, с. 362.

[37] Приведем для наглядности два стихотворения из этого сборника:

Бред сердца

Мне в этом мире все враждебно
И нечего родным назвать,
Давно не мудрствую волшебно
Любовью сердце врачевать.

Люблю и властвую отныне
Над тем, что умерло во мне
И что дало простор гордыне,
Что только вижу лишь во сне.

В пустыне по пескам кочую,
Где дышит смерти торжество,
Все ж, все, чем властвовать хочу я,—
Пустой бред сердца моего!

Бред

Сгустилась ночь...
И ты сверкнула
Мне, дьявольская дочь,
Порочной негой Вельзевула.

Еще обман
Распятья страсти
И сладострастье ран
Твоей кровоточащей власти!

Сдавила ночь...
И средь разгула
Ты, проклятая дочь,
Навеки подо мной уснула.

(Сергей Алякринский. Кактусы. Вторая брошюра стихов. М., 1912, с. 4, 28).

БЛОК — Н. С. АШУКИНУ

1 апреля 1914 г.

Уважаемый Николай Сергеевич.

Я не люблю таких стихов, как Ваши: в них нет игры, пестроты, воли, тревоги; от этого все только кажется простым, а на самом деле — ужасно не просто. До простоты надо дожить, а когда начинаешь с нее, она оказывается какой-то неживой. Книжечка красивая, спасибо.

Александр Блок[1]

БЛОК — С. А. АЛЯКРИНСКОМУ

12 апреля 1914 г.

Спасибо за письмо и за присылку книги. Стихи мне не нравятся, они старые и подражательные.

Книжка стихов К. Павловой («Стихотворения», Москва, 1863) попадается у букинистов, спросите у Фаддеева на Моховой [2].

Более полное собрание (если не ошибаюсь) собирается выпустить Валерий Брюсов, кажется, в «Альционе» [3].

Александр Блок [4]

[1] ЦГАЛИ, ф. 1890, оп. 2, ед. хр. 1, л. 1—2.
[2] Этот сборник Каролины Павловой Блок получил от московского книгопродавца Фаддеева 22 ноября 1912 г. (VII, 182).
[3] Двухтомное собрание сочинений Каролины Павловой под редакцией В. Я. Брюсова вышло в московском издательстве К. Ф. Некрасова в 1915 г.
[4] ИМЛИ, ф. 12, оп. 1, ед. хр. 32.

III. БЛОК И ЖУРНАЛ «СОФИЯ»

6 мая 1921 г. в Москве Блок выступил в Институте итальянской культуры (Lo Studio Italiano). Обстоятельства приглашения Блока изложены в воспоминаниях М. И. Грифцовой [1]. Однако в них, по-видимому, содержатся некоторые неточности, устраняемые приводимыми ниже материалами. В частности, в этом эпизоде выпало имя Павла Павловича Муратова (1881—1951), личность которого — «одного из тончайших созерцателей и в высокой степени чуткого знатока искусства» [2]— была чрезвычайно авторитетна для Блока.

В 1914 г. Муратов издавал в Москве художественный журнал «София», стоявший под знаком «поисков художественного синтеза»,— эта задача ощущалась как насущная в последний предвоенный сезон [3]. Толчком к возникновению журнала было открытие древнерусской иконописи. В статье «Возраст России», открывавшей журнал, говорилось: «Благодаря искусству нам является теперь образ первой России, более рыцарственный, светлый и легкий, более овеянный ветром западного моря и более сохранивший таинственную преемственность античного и первохристианского юга. ⟨...⟩ Мы слишком долго отказывались от него, забывали о нем, поглощенные историческими бедствиями второй и третьей России. В заботах о будущем мы не раз обольщались мыслью начать все сначала, как начинают страны молодые, страны без прошлого. Но в России нельзя не ощущать прошлого, не будучи ей чужим, так же как нельзя не ощущать прошлого и быть достойным Италии. Сознание важности и древности теней, все еще витающих над опустошенной Русью — вот первое, чему учат нас новые художественные открытия» [4].

По замечанию Н. Н. Пунина, «„София“ имела смелость говорить о великих именах и говорить часто новым языком» [5]. Среди материалов, помещенных в журнале, многие должны были привлечь внимание Блока,— например, статья К. Локса «Апулей» (№ 3): в октябре 1912 г. Блок перечитывал Апулея (VII, 165). Но, конечно, в первую очередь таким материалом была заметка Б. А. Грифцова «Роза и крест» (подписанная «Б. Г.») в первом номере. Здесь Блок прочел важное для себя утверждение о «несомненной и простой сценичности его новой драмы» («Она вполне осуществима и на современной сцене. В роли Изоры — богатый материал для драматической актрисы»). В этой заметке пьеса анализировалась именно как сценарий театрального действа, с учетом законов зрительского восприятия: «Представляем себе, что некоторые поклонники Блока будут огорчены недостаточной напряженностью многих страниц его новой драмы. Но можно иначе взглянуть на это умышленное самоограничение: должны медленно и привычно развертываться многие сцены, чтобы среди них вдруг возникли лирические моменты, нужны простые и долгие рассказы, чтобы стала выносима исключительная острота основной, в обрывках вспоминающейся все время, создающей действительное содержание пьесы песни странника „Путь твой грядущий — скитанье...“ ⟨...⟩ Лирическое течение пьесы, рисковавшее напрячься до непередаваемой идейности (что отчасти и случилось прежде с „Незнакомкой“), сменяется подлинной иронией. Простота ситуаций сдерживает и только подчеркивает ту старинную идею, к которой все творчество Блока приближается с исключительной личной болью, преданностью» [6].

22 марта 1914 г. сотрудничавший в «Софии» П. С. Сухотин (Блок одобрительно отозвался о его статье «Древнерусская повесть» в № 2) писал Блоку: «Счастлив еще исполнить данное мне поручение Павлом Павловичем Муратовым — выразить его полную солидарность со мною в отношении к Вам как к поэту и литератору. Редакция „Софии“ долгое время не решалась беспокоить Вас просьбой о сотрудничестве, но Ваши строки ко мне послужили последним толчком [7], и мы просим Вас не отказать нам в любезности высказать по поводу этого свое мнение. Разрешите ждать от Вас ответа в ближайшее время. ⟨...⟩ Адрес мой: „София“, Павлу

Сергеевичу Сухотину. Павел Павлович просит также писать ему на „Софию“» [8]. 7 апреля Блок ответил: «Спасибо Вам и „Софии“ за приглашение сотрудничать, не знаю только, чем могу быть ей полезным. Если что надумаю, пришлю. „Софию“ я люблю. Передайте, пожалуйста, Павлу Павловичу Муратову мой поклон и мое искреннее уважение; по Италии я ездил в 1909 году, скоро после него, и местами находил его следы в виде надписей в книгах при музеях и церквах. С тех пор как-то часто я вспоминал его, не будучи знакомым, и время выхода его книг, особенно „Образов Италии“ для меня памятно» (VIII, 437).

А 7 мая Блок написал и самому Муратову:

7 мая 1914.

СПб. Офицерская 57, кв. 21

Многоуважаемый Павел Павлович.

Спасибо Вам за Ваше милое отношение ко мне и за приглашение Ваше в «Софию». Я думаю о том, чтобы написать для Вас, думаю, в частности, и о Лермонтовском юбилее, но не могу сейчас обещать Вам положительно. Напишу Вам, если дело наладится. Уж очень я отвык за последние годы писать статьи, хочется писать их совсем иначе, чем прежде писал, языка своего не люблю. При этом — лень — мой всегдашний порок, да еще я не знаю, где и как буду летом, а на осень у меня большой заказ — перевод [9]. Вся эта куча причин венчается одной главной, а именно: если бы мне удалось приняться за новую пьесу, я бы все остальное с чистым сердцем забросил. Спасибо Вам, во всяком случае, верьте, что мне дорого Ваше отношение ко мне.

Преданный Вам Ал. Блок [10]

В этом откровенном, доверительном письме содержится важное признание, сам факт которого свидетельствует о симпатии к адресату,— мечта о новой драме. Можно предположить, что речь идет о нереализованном замысле «драмы о фабричном возрождении России». Блок записал план этой пьесы 9 декабря 1913 г. и позднее не раз возвращался к нему. С одним из мотивов плана — «Читая словарь(!), обнаруживает уголь, копает и — счастливчик — нашел пласт, ничего не зная...» (VII, 251) — по-видимому, связана запись от 11 января 1914 г.: «Телефон с книжным магазином насчет геологических карт» (ЗК, 200). О Лермонтове Блок говорил спустя пять дней после приведенного письма с Мейерхольдом (ЗК, 227). Но сотрудничество Блока в московском издании, о котором он записал 28 мая 1914 г.— «Хороший журнал — эта „София“...» (ЗК, 230),— не состоялось [11].

В позднейшей мемуарной заметке П. П. Муратов писал:

«Я мало знал Блока. В прежние времена видел его два-три раза, слышал, как читал он „Незнакомку“. Во время издания „Софии“ мы обменялись с ним письмами, содержание которых я, однако, не помню. ⟨...⟩ Весной 1921 года я состоял председателем странного учреждения, носившего имя „Студио Италиано“. ⟨...⟩ То был, в сущности, маленький кружок лиц, дружных между собой и связанных общей любовью к Италии. В самые тяжелые и страшные годы появлялись на стенах московских домов афиши, извещавшие о предпринятом нашим кружком „осенним“ или „весенним“, „флорентийском“ или „венецианском“ цикле лекций. Лекцию о Венеции или Флоренции прочесть немудрено, даже в шубе, даже в зале с температурой ниже нуля, но меня всегда удивляло, как это находились люди, готовые эти лекции слушать. ⟨...⟩ Как бы то ни было, наши лекции посещали, и посещали очень приятные люди. „Студио“ некоторым образом укреплялось, и это привлекло внимание власти. После сложных дипломатических переговоров с Главнаукой нас „ввели в сеть“ каких-то народно-образовательных учреждений и обязали получать заработную плату. ⟨...⟩ Денег получалось очень немного, но мы эти деньги хранили и раз или два в сезон сообща готовили на них макароны, покупали вино. Раз или два потчевали даже заезжих итальянских литераторов.

Весной 1921 г. „Студио“ переживало как бы расцвет. ⟨...⟩ „Весенний цикл“ мы решили во всяком случае закончить празднично: мы узнали о приезде в Москву Блока и „постановили“: пригласить его прочесть у нас „Итальянские стихи“. Блока должен был приглашать я. Я отправился разыскивать его в дом одного литератора, славившегося своим умением доставать дрова и недурно жившего в переулке близ Пречистенского бульвара. Здесь Блока не оказалось, но выскочил на мой вопрос высокий человек с проворными манерами ⟨...⟩. То был Корней Чуковский; он взялся немедленно доставить меня к Блоку.

Мы направились в конец Арбата к „профессору“ Когану. ⟨...⟩ Я не был знаком с „профессором“, мы познакомились без всякого энтузиазма. Он осведомился о цели моего посещения; вышел Блок, тяжело волоча ноги, явно больной, желто-бледный, осунувшийся, чем-то недовольный, чем-то крайне расстроенный. Он стал жаловаться на свое здоровье и на тот прием, который ему оказала Москва. Разговор принял неожиданный и неприятный оборот: больше всех стрекотал Чуковский, убеждая Блока, что, действительно, он все еще знаменит и все еще популярен, что „выступление“ его имело огромный успех, и виноваты лишь распорядители, что какие-то „курсистки“ собрались „засыпать его цветами“, но вот только не достали цветов ⟨...⟩. Мне было досадно и неловко и грустно за Блока. Я уже раньше слышал, что он остался очень недоволен своим вечером, кажется, в консерватории. Слушатели раздражали его, обратившись к одному из них в солдатской шинели, он, глядя на него в упор, медленно прочел свои латинские стихи. ⟨...⟩ [12] Читать у нас Блок отказывался. Он жаловался, кроме того, что ему предстоит читать в тот вечер в каком-то „Доме печати“. Я разъяснил ему, что „Дом печати“ учреждение казенное. ⟨...⟩ Мне никогда в жизни не приходилось приглашать куда-либо каких-либо знаменитостей. Чувствуя себя не на высоте положения, я встал и попрощался. Чуковский крайне засуетился в беспредметном своем любопытстве. Прощаясь с Блоком, я сказал, что друзья мои и друзья нашего „Студио“ будут, конечно, жалеть. В лице Блока мелькнуло вдруг что-то доброе и человеческое. „Я постараюсь прийти, я наверно приду“ — сказал он и, наконец, улыбнулся.

В тот вечер у нас было еще какое-то чтение [13]. О Блоке стало уже известно, и в аудитории курсов Герье в Мерзляковском переулке собралось больше народу, чем собиралось обыкновенно. Мы ждали и не напрасно. В одиннадцатом часу на лестнице послышался шум, вошел Блок, кучка верных людей сопровождала его; несколько барышень несли цветы. Это, вероятно, и были обещанные Чуковским „курсистки“.

Блок казался возбужденным и более бодрым. Поздоровавшись, он успел мне рассказать, что в „Доме печати“ какой-то молодой поэт (Блок сказал „какой-то идиот“) аттестовал его мертвецом и выходцем с того света [14]. Я заметил, что иного от этих господ и не следовало ждать. Блок махнул рукой и начал читать стихи.

Он начал читать несколько „скупо“ и утомленно. Но аудитория наша состояла из людей, которые знали и любили его стихи. Блок это угадал, услышал — иной раз замедленное им слово произносилось полушепотом сразу на нескольких скамьях. Блок остановился, радость мелькнула в его лице, озаренном внутренним огнем былых вдохновений, голос его зазвучал иначе...

...Я в эту ночь больной и юный
Простерт у львиного столба [15].

Я смотрел сбоку на его тяжелый и правильный профиль, видевший столько житейских бурь и вот смягченный, видимо, этой минутой бережного внимания, этим ветром сочувствия. Невольно думалось, как немного, в сущности, нужно, чтобы внимающий нашел того, кому он счастлив внимать и чтобы поэт перестал себя чувствовать вопиющим в пустыне. Каким образом могло случиться, что этот столь многими любимый в прекрасном своем даровании человек, столь явно одинок и несчастен, столь горестно молчалив...» [16].

Эту «минуту бережного внимания» должно отнести к самым отрадным моментам в последнем году блоковского земного бытия. Он отметил в своем дневнике: «приветствие Муратова, Зайцев, милая публика» (VII, 418). Резюме краткого приветствия председательствовавшего П. П. Муратова привел в своем дневнике К. И. Чуковский: «Не знаю, как люди другого поколения, но для нас, родившихся между 1880 и 1890 годом, Александр Блок — самое дорогое имя» (наст. т., кн. 2, с. 256).

[1] М. И. Г р и ф ц о в а. Из воспоминаний об Институте итальянской культуры в Москве.— «Дантовские чтения». М., 1979, с. 262.
[2] Н. П у н и н. «София», № 1.— «Северные записки», 1914, № 1, с. 214.
[3] См. письмо В. А. Дмитриева к П. П. Муратову от 13 октября 1913 г.— ИРЛИ, Р. III, оп. 2, № 778.
[4] «София», 1914, № 1, с. 4.
[5] «Северные записки», 1914, № 12, с. 175.
[6] «София», 1914, с. № 1, с. 129—130.
[7] Речь идет, по-видимому, о письме Блока к Сухотину от 19 марта 1914 г.: «Книгу Вашу

получил, спасибо Вам за нее и за Вашу сердечную надпись от души» («Блоковский сб.», 1, с. 546).

[8] ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 418, л. 1—2.

[9] Речь идет о переводе из Г. Флобера.

[10] ИМЛИ, ф. 12, оп. 1, ед. хр. 40.

[11] С началом войны издатель «Софии» К. Ф. Некрасов был вынужден прекратить издание журнала. Об этом, ссылаясь на письмо К. Ф. Некрасова, Блок сообщал В. Н. Княжнину 30 августа 1914 г. (Письма Александра Блока. Л., 1925, с. 204).

[12] Сохранилась записка, посланная Блоку на этом вечере: «Мы ничего не поняли по латыни. Просим Ваш перевод» (ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 14).

[13] В тот вечер читался доклад М. Осоргина.

[14] Об этом эпизоде см. наст. т., кн. 2, с. 256.

[15] Из стихотворения «Венеция» («Холодный ветер от лагуны...»).

[16] «Возрождение». Париж, 1927, № 828, 8 сентября. Этот четвертый очерк из цикла «Ночные мысли» — «Воспоминания о Блоке».

IV. БЛОК И КРУЖОК «АРИОН»

3 февраля 1919 г. Блок получил письмо от П. Н. Зайцева, написанное на бланке журнала «Сирена» [1]:

«Многоуважаемый Александр Александрович.

По поручению редакции воронежского журнала „Вестник Воронежского округа путей сообщения“ обращаюсь к Вам с очень большой просьбой дать для этого журнала Ваши стихи.

Я здесь, в Москве, состою представителем этого журнала, равно как и „Сирены“, и нахожусь в постоянных сношениях через „оказию“ с Воронежем. Поэтому лучше всего будет, если Вы вышлете Ваши стихи мне сюда. Немедленно по получении их я вышлю Вам гонорар (за ненапечатанные вещи 5 р. строка, за напечатанные ранее, но малоизвестные — 3 р.). Желательно ненапечатанные.

Затем позвольте обратиться к Вам с очень большой просьбой: не встречаетесь ли Вы с Ник. Клюевым? с Цензором? Если да, то передайте, пожалуйста, им, особенно Клюеву, приглашение в „Сирену“ и „Вестник“. Им гонорар 3 р. строка. Если бы они выслали также мне сюда стихи, я мог бы немедленно оплатить их.

Кроме того, позвольте еще затруднить Вас просьбой. Не имеете ли Вы у себя на виду молодых поэтов, неизвестных, но с признаками таланта. Для них страницы „Сирены“ открыты, и мне будет приятно получить их стихи, а им гонорар.

Надеюсь, я не очень затрудняю Вас этими просьбами, но иначе я не знаю, как мне быть. К сожалению, я не мог достать адреса Н. Клюева, я бы ему сам написал.

А Ваших стихов для „Вестника“ я очень жду, и надеюсь получить.

Кроме того, напоминаю Вам, что „Рабочий мир“ жив, вступил во второй год жизни и также очень бы хотел получить Ваши стихи (по новому тарифу 5 р. строка!).

Наконец, последняя просьба, касающаяся уже личного вопроса. Я пишу (не очень большое) исследование о „Соловьином саде“, который я и со мной многие считают изумительным по музыкальности Вашим созданием. Исследование, главным образом, формальное: ритм, образы и лишь в части затрагивает содержание, в котором я усматриваю нечто „антропософическое“ (в исследовании я этого слова не употребляю). Так вот мне для справки нужно было знать, в каком году эта поэма Вами написана.

Искренне уважающий Вас П. З а й ц е в» [2]

Блок ответил П. Н. Зайцеву 6 февраля 1919 г.:

«Многоуважаемый Петр Никанорович.

Посылаю Вам шесть стихотворений, из них: три набранных нигде не были напечатаны (это корректура моей книги, котор⟨ая⟩ выйдет не ранее, чем через месяц). Три других были напечатаны в мало известных изданиях, притом — с кое-какими вариантами [3].

Если пришлете мне деньги за все сразу, буду Вам благодарен. Распределяйте их между изданиями, как хотите.

Николай Клюев, по слухам, в Петербурге, но след его простыл. Я думаю, что он получит, если Вы напишете ему в Смольный, издательство Союза коммун С⟨еверо-⟩З⟨ападной⟩ Области (бывш. Петросов⟨ета⟩).

Дм. Цензор секретарствует в профессиональном союзе писателей — Вас⟨ильевский⟩ Остров, 11 линия, 18.

Есть теперь кружок молодых поэтов, группирующихся около Горького и издательства „Арион". Мне лично сборник их не нравится, но, кажется, среди них есть подающие надежды.

Рад, что Вы так относитесь к Соловьиному саду, я его до сих пор люблю, хотя он дописан в 1915 году (а начат в 1914). Интересно будет прочесть Ваше исследованье. Да, если хотите, „антропософическое" (хотя я не антропософ) — в том смысле, как и некоторые из прилагаемых стихотворений» [4].

Это письмо отчасти примыкает к корпусу блоковской эпистолярии 1918—1919 гг., связанной с вопросами публикации его сочинений в периодике. Приведем одно из не введенных в оборот писем такого рода:

«13 VIII 1918
Петербург, Офицерская 57, кв. 21

Милостивый государь
Господин редактор [5].

Газета „Жизнь" осталась в долгу у меня рублей на 600, или более, по моим расчетам[6]. Я давно и напрасно прошу переслать мне эти деньги, что Н. Р. Кугель [7] обещал мне сделать месяца два тому назад.

Очень прошу Вас, распорядитесь о высылке, чем очень меня обяжете.— Так как газета закрыта, то я позволю себе воспользоваться статьей „Что надо запомнить об Ап. Григорьеве", которая, если не ошибаюсь, в газете „Жизнь" не появилась, и напечатать ее в другом месте [8].

С совершенным уважением Ал. Блок» [9]

Аналогично и более раннее письмо Блока к тому же П. Н. Зайцеву как секретарю редакции журнала «Рабочий мир»:

«14 XI 1918
Пб. Офицерская 57 кв. 21.

Многоуважаемый товарищ.

Относительно стихов, может быть, Вы и правы. Другого ничего сейчас нет, чтобы послать Вам. Денег я получил за все время 40 рублей (5 сентября), пожалуйста, дошлите остальные (по Вашему расчету — 44 рубля).

С искренним уважением Ал. Блок

№№ „Рабочего мира" с моими стихами тоже хотел бы» [10].

Однако в письме 1919 г. к Зайцеву, помимо информации, относящейся к «деловой» жизни Блока, интересна и его оценка целой группы новых поэтов.

Отношение Блока к молодым поэтам в 1916—1919 гг. было суммировано М. В. Бабенчиковым по впечатлениям от бесед с Блоком осенью 1917 г.: «Вообще к современным поэтам у него было сугубо критическое отношение, точно он нес ответственность за каждого из них» [11]. По-прежнему, как и в предвоенные годы, Блок предостерегал начинающих поэтов от преждевременного печатания — так, отвечая на несохранившееся письмо Блока от 15 февраля 1918 г., двадцатилетний поэт Г. Р. Шомер писал: «Как и Вы, я думаю, что хорошие стихи не могут пропасть» [12].

Кружок «Арион» составился из бывших участников университетского «Кружка поэтов», группировавшегося отчасти вокруг Ларисы Рейснер [13]. В альманах «Арион» (Пг., 1918) вошли стихи В. А. Злобина [14], Дмитрия Майзельса [15], Георгия Маслова [16], Н. А. Оцупа [17], Анны Регатт (псевдоним Е. М. Тагер) [18], В. А. Рождественского и В. Тривуса [19]. Сборник был отмечен поощрительной рецензией Н. С. Гумилева [20]. В январе 1919 г. поэты В. А. Рождественский, Н. А. Оцуп, Д. Майзельс и музыкант А. М. Дубянский [21] учредили «общество искусств „Арион"» [22]. Почетными членами «Ариона» были избраны М. Горький, А. В. Луначарский, А. Н. Тихонов и Н. С. Гумилев. Общество провело несколько литературных вечеров — 25 апреля 1919 г. Н. С. Гумилев читал свою трагедию «Отравленная туника» [23] (в обсуждении которой приняли участие А. Н. Тихонов, В. М. Жирмунский и Адриан Пиотровский); 2 мая был вечер поэзии И. Анненского (доклад В. А. Рождественского «Чувство вещи у Иннокентия Анненского» и чтение неизданных стихов Анненского В. И. Кривичем) [24]; 16 мая Н. А. Оцуп читал доклад о «трех произведениях современности» — «Мисте-

рии-буфф», «Христос Воскресе» А. Белого и «Двенадцати» (в прениях выступали Адр. Пиотровский, В. А. Рождественский, Е. М. Геркен, композитор Н. Н. Стрельников и другие) [25].

С некоторыми из членов «Ариона» у Блока впоследствии установились деловые и дружеские взаимоотношения. Н. А. Оцуп посвятил Блоку в декабре 1919 г. стихотворение «Россия», в котором писал:

...Лишь Россия тобою любима,
Пулеметная лента трещит.

И не только Россия печали,
Снегом падавший блоковский стих,—
Эта, полная скрежета стали,
Пут железных и петель тугих [26].

Н. А. Оцуп считал себя продолжателем акмеизма и лично тяготел к Гумилеву, что, по-видимому, вызывало холодную реакцию Блока. На это, очевидно, указывают сопроводительные оговорки Оцупа при посылке им Блоку своей поэмы «Александрина» 5 октября 1920 г.: «Перечитывая теперь, вижу технические недостатки и буду очень признателен, если Вы, встречаясь с ними, будете делать отметки на полях. Но главное, конечно, не в этом. Главное, найдете ли Вы поэму живой, найдете ли в ней элемент героической романтики, которая, мне так показалось, созвучна с эпохой. Прочтя эти стихи, Вы поймете, почему мне, причисляемому к „аполлонцам", важно иметь Ваш отклик на „Александрину". ⟨...⟩ Очень прошу Вас об „Александрине" пока не говорить Гумилеву и другим» [27]. Эта апелляция Оцупа к Блоку точно обрисовывает психологическую ситуацию, в которой находились в первые послереволюционные годы многие поэты околоакмеистического круга по отношению к Блоку. О ней впоследствии так вспоминал Г. В. Адамович:

«Мечта? Но Блок не умел мечтать, он занят был делом, которое ему не казалось а приори безнадежным. Он не бывал темен искусственно, умышленно, по примеру Малларме. Он бывал темен лишь тогда, когда не в силах был перевести на внятный язык то, что хотел бы внятно сказать, и когда будто бился головой о стену своего „несказанного"... А мы с акмеизмом и цехом в багаже, мы все-таки чувствовали, что не Гумилев — наш учитель и вожатый, а он» [28].

Блоковская фраза о молодых поэтах, которые ему «не нравятся», но тем не менее «подают надежды», в сжатом виде определяет то двойственное отношение, которое испытывал Блок к стихотворцам акмеистской ориентации — т. е. большинству юных петроградских поэтов 1918—1921 гг.

[1] О «Сирене» см. прим. 18 к заметке «Блок — советник студенческого журнала».

[2] ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 248. Петр Никанорович *Зайцев* (1889—1970) — поэт, печатался с 1913 г., с 1915 г. писал рецензии в газетах; в 1918—1919 гг. секретарь редакции журнала «Рабочий мир». Впоследствии был литературным секретарем Андрея Белого, работал редактором в Гослитиздате, занимался педагогической деятельностью (см. его автобиографию— ЦГАЛИ, ф. 1610, оп. 1, ед. хр. 6).

[3] Ср. запись Блока от того же дня: «П. Зайцеву („Рабочий мир" и „Воронежский вестник"): 1) Другу, 2) Говорят черти, 3) Говорит смерть, 4) „Пристал ко мне...", 5) „Весь день—как день...", 6) „Или устал ты..."» (ЗК, 449). Ранее печатались 4-е, 5-е и 6-е стихотворения (в журнале «Голос жизни», в газетах «Голос» и «Русь»). Из присланных стихотворений были опубликованы П. Н. Зайцевым в «Вестнике Воронежского округа путей сообщения»: 2-е и 3-е — 1919, № 6-7; 4-е и 6-е — 1919, № 10.

[4] ИМЛИ, ф. 15, оп. 2, ед. хр. 21. Текст письма сообщила Е. Ю. Литвин.

[5] Редакторами газеты «Жизнь», выходившей в Москве с 23 апреля по 6 июля 1918 г. (59 номеров), были Алексей Алексеевич Боровой (1875—1935), в чьих бумагах и сохранилось это письмо, и Я. И. Новомирский.

[6] В газете «Жизнь» были напечатаны «Письмо о театре», «Дневник женщины, которую никто не любил», а также стихотворения «Весна» (I, II) и «О, не тебя люблю глубоко...» (№ 9, 10, 26—30, 54).

[7] Натан Рафаилович *Кугель* (1871—1927) — сотрудник газеты «День», после революции — заведующий Петроградским отделением РОСТА.

[8] Статья была напечатана в «Жизни искусства» 16—17 августа 1919 г. Обращение за экземпляром в редакцию «Жизни» было вызвано предложением А. С. Грина участвовать в газете «Честное слово». «Честное слово» («газета вне партий и направлений») выходила в Москве в 1918 г. (редактор П. Ашевский. Вышло 8 номеров).

[9] ЦГАЛИ, ф. 139с/1023, оп. 1, ед. хр. 783.

[10] ИМЛИ, ф. 15, оп. 2, ед. хр. 21. Письмо П. Н. Зайцева, на которое отвечает Блок, в бумагах Блока не сохранилось. Ср.: «4 ноября 1918 г. ⟨...⟩ письмо от „Рабочего мира": стихи мои для рабочих не годятся» (ЗК, 434). В воспоминаниях о Брюсове П. Н. Зайцев рассказы-

вает о том, что «Рабочий мир» на том же основании отверг ряд стихотворений Брюсова, который спокойно отнесся к этому остракизму (ЦГАЛИ, ф. 1610, оп. 1, ед. хр. 7). Список стихотворений, предложенных «Рабочему миру», с отметкой, какие из них были напечатаны, приведен в записи Блока от 6 сентября 1918 г. (ЗК, 425).

[11] М. В. Бабенчикова. Наброски к воспоминаниям о Блоке. — ЦГАЛИ, ф. 2094, оп. 1, ед. хр. 100, л. 152.

[12] ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 468, л. 2. По-видимому, у Г. Р. Шомера и ранее был устный или эпистолярный контакт с Блоком — в письме от января 1918 г. он пишет: «как Вы признали — серьезно отношусь к стихам» (там же, л. 1).

[13] С. В. Житомирская. Архив Л. М. Рейснер.— «Записки отдела рукописей ГБЛ», вып. 27. М., 1965, с. 46. О «Кружке поэтов» см. также в воспоминаниях В. А. Рождественского «Страницы жизни» (М., 1974, с. 111—114).

[14] Владимир Ананьевич *Злобин* (1894—1967) — поэт, в течение многих лет лично связанный с З. Н. Гиппиус и Д. С. Мережковским. В «Кружке поэтов» он представлял «антиакмеистическое» крыло, «считая это направление ложным» (В. Злобин. Памяти Н. А. Оцупа.— «Возрождение», Париж, 1959, № 86, с. 136). В 1919 г. Блок по просьбе Мережковского хлопотал за В. А. Злобина перед М. Ф. Андреевой (по-видимому, насчет предоставления отсрочки по воинской повинности) (ЗК, 461).

[15] Дмитрий Львович *Майзельс* (он же «С. Майзельс») приносил Блоку стихи 26 сентября 1914 г. (ЗК, 241). Стихи, которые он мог показывать Блоку, сохранились в почте журнала «Русская мысль» (ГБЛ, ф. 386). В 1918 г. Майзельс выпустил сборник стихов «Трюм» (вышедший под маркой того же издательства «Сиринга», что и альманах «Арион»); в 1920-е годы печатался в ряде альманахов.

[16] О Георгии Владимировиче *Маслове* (1895—1920) см. примечания Е. А. Тоддеса, М. О. Чудаковой, А. П. Чудакова в кн.: Ю. Н. Тынянов. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977, с. 450—453.

[17] О Н. А. Оцупе см. в публикации «Блок в поэзии его современников» (наст. том, кн. 3).

[18] О Е. М. Тагер см. примечания к письму Ю. А. Никольского Л. Я. Гуревич от 29 января 1915 г. («Блок в неизданной переписке и дневниках современников»— наст. том, кн. 3).

[19] О Викторе Михайловиче *Тривусе* (1895—1920?) см.: Вс. Рождественский. Страницы жизни. «Звезда», 1958, № 12, с. 121. Посмертную публикацию стихов В. М. Тривуса см. в сб. «Литературные вечера». Вечер первый. Пгр., 1923, с. 24—25.

[20] Н. Гумилев. «Орион».— «Жизнь искусства», 1918, № 4, 1 ноября.

[21] Пианист Александр Маркович *Дубянский* (1899—1920) в письме к Блоку от 7 апреля 1916 г., в котором он просил предоставить ему на время «собрание сочинений» Блока, назвал себя — «Горячий поклонник Ваших сочинений» (ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 239).

[22] «Жизнь искусства», 1919, № 65, 25 января.

[23] См. о ней: «Театр», 1986, № 9.

[24] «Жизнь искусства», 1919, № 123, 29 апреля.

[25] «Жизнь искусства», 1919, № 141, 20 мая. Доклад о «Двенадцати» Н. Оцуп читал и в августе 1920 г. в Могилеве (Н. Оцуп. Собеседник.— «Жизнь искусства», 1920, № 559, 17 сентября).

[26] ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 2, ед. хр. 53, л. 1. Помета Блока: «Получ⟨ено⟩ 10.XII.1919».

[27] ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 53, л. 4—4 об.

[28] Г. Адамович. Комментарии. Вашингтон, 1967, с. 175. В январе 1916 г. Г. В. Адамович писал Блоку в ответ на письмо с оценкой его сборника «Облака»: «Я Вам очень благодарен за Ваше письмо. Меня оно не обрадовало, конечно, но я понимаю, что Вы правы. Я ведь и не думал, правда, что эти стихи могут Вам нравиться. Все очень верно, что Вы говорите — и „позы“, и „утонченности“, и „кому какое дело?“. Только когда я стараюсь читать свои стихи, как чужие, я понимаю, что основное в них — скука, и значит, они просто пустые стихи. Но я их очень любил, когда писал, и правда, писал без равнодушия. Простите, что я занимаю Вас такими для Вас неинтересными вещами. Так много значит, с кем встречаешься и говоришь, кому читаешь стихи и кого слушаешь. Для меня Ваше письмо — совсем новое и непривычное, просто по подходу. Вы смеетесь над „пэонами“,— а Вы ведь знаете, что почти всегда только о них говорят.

Мне все-таки очень больно, если в моих стихах нет ничего. Я так ведь знаю, что живу „в комнате“ и что никогда мне не „раскачаться“, чтобы дух захватило,— не выйдет, и не знаю, как. Мне всякий подвиг представляется (лично для себя) чуть смешным,— что же я буду делать, если все брошу и изменюсь, и забуду свою городскую жизнь? В таких формах, совсем реальных, только и могу себе представить,— и знаю, что меня просто не хватит. Вот, может быть, стихи и есть попытка устроиться иначе.

Я пишу Вам и чувствую, что и это для Вас — только „жеманство“, конечно. Но я Вас так давно люблю — ведь и мне приятно чувство, что пишу Вам и никому другому. Простите, что надоедаю» (ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 2, ед. хр. 20, лл. 4—5 об.). Блоковское письмо, о котором идет речь в письме Адамовича, утрачено; много лет спустя Адамович воспроизвел по памяти последнюю его строчку: «Раскачнитесь выше на качелях жизни, и тогда вы увидите, что жизнь еще темнее и страшнее, чем кажется вам теперь» («Александр Блок. Переписка. Аннотированный каталог». Вып. 1, с. 475). В мае 1918 г. Г. В. Адамович писал Блоку: «Мне сейчас, в этом письме, невозможно говорить, что для меня с „Двенадцатью“ связано и как я „привязан“ к ним» (ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 2, ед. хр. 20, л. 7).

V. «П. П. СУВЧИНСКИЙ ИЗ КИЕВА»

За текущей эпистолярией поэта иногда стоит история пусть краткого, но несомненно важного для Блока духовного общения.

В архиве П. П. Сувчинского сохранилось письмо:

28 июня 1919

Многоуважаемая Мария Федоровна.

Позвольте просить Вас дать возможность Петру Петровичу Сувчинскому познакомиться с музыкальной жизнью в петербургских театрах. Он командирован для этого из Киева и имеет документы только украинские, потому — может быть, не мешало бы ему иметь удостоверение от отдела Театров и Зрелищ, которое бы окончательно легализировало его пребывание здесь.

Преданный Вам Ал. Блок[1]

П. П. Сувчинский (1892—1985), выпускник Тенишевского училища (где он учился у Вл. В. Гиппиуса), выходец из семьи киевских сахарозаводчиков (почему он и стал в сравнительно молодом возрасте издателем журналов и меценатом[2]), наиболее известен как музыкальный критик, вдохновитель и помощник Сергея Прокофьева и Игоря Стравинского[3]. Блок впервые услышал о нем в начале 1914 г. в семье Вл. В. Гиппиуса (ЗК, 201) и в том же доме встретился с ним четыре года спустя (ЗК, 388). Позднее между ними состоялся телефонный разговор, по-видимому, коснувшийся «Двенадцати»,— 19 марта 1918 г. («Все меня утешают сегодня» — ЗК, 396). 28 июня 1919 г.— в день, которым помечено письмо к М. Ф. Андреевой, по-видимому, не предъявленное адресату, Блок записал: «С 11-ти до 2-х — П. П. Сувчинский из Киева — много болтал умного» (ЗК, 465). Был он у Блока и 8 июля (ЗК, 466). Предстоит еще определить, что именно из этих разговоров могло отразиться в предисловии П. П. Сувчинского к «Двенадцати», написанном год спустя. В этой статье шла речь о «чувственном реализме» блоковского третьего тома, об «ощущении», преобладающем над «воплощением» (как мастера «синтеза» П. П. Сувчинский противопоставлял Блоку Маяковского), о «заеме» образов в иных творческих областях и сакральных откровениях. «Сущность поэмы,— писал П. П. Сувчинский,— в трепетной первой части. Великое смятение, когда, казалось, все перестало стоять на ногах, все опрокинулось среди ветряной ночи „всего божьего света“, и одновременная растерянность всего „сознательного“, жалкая, неуклюжая, трусливая растерянность, бесстыдная даже — восчувствованы и претворены удивительно. Все „сознательное“ скользит, падает, шарахается в сторону, хоронится, шепчется, в то время как ветер бесцеремонно „рвет, мнет и носит“ последний символ прошлого „сознательного“ владычества — большой плакат: „Вся власть Учредительному собранию“. Лишь двенадцать „бессознательных“ человек, которым „ничего не жаль“, которые „ко всему готовы“, устояли и идут против ветра и бури, среди огней и метели, да бродяга, один на опустевших улицах, как вещий призрак возвещает „черное, черное небо“, „черную злобу, святую злобу“ грядущих дней. ⟨...⟩ А. Блоку стало скучно, душно в мире своих чувственных видений и призраков. ⟨...⟩ С самим собой стало страшно. Хотелось чужого буйства, быть больше наблюдателем, чем самому переживать. А. Блок хотел вырваться из этого кольца, отрекаясь от прежних соблазнов эстетизма. Хотелось разрыва, но вышло продолжение. Желанного примитива в частушках „Двенадцати“ нет, а есть, как всегда у Блока, чувственно-утонченное изображение любовного разгула...»[4]. Спустя два месяца по смерти поэта П. П. Сувчинский написал статью, в которой сопоставлял Блока с Пушкиным: «...никто из русских поэтов не очертил, подобно Пушкину и Блоку, своим творчеством и жизнью столь цельный, замкнутый и обособленный круг. Ни у кого не было такого ярковыраженного пути создававшегося, развивающегося мировоззрения. Можно смело сказать — Пушкин и Блок, будучи великими поэтами, были вместе с тем одними из самых больших людей России, на долю которых выпало опытом страстей их жизни — разыграть великую человеческую трагедию. ⟨...⟩ Неразрывного пути (ни творческого, ни жизненного) у Пушкина и у Блока нет. Их пути — это беспутья, недохоженные тропы, разметанные направления. Нет концов достижений. а есть концы — обрывы. И для того и для другого — последний обрыв — смерть, был лишь *решительным* концом очередного периода»[5].

В этой же статье есть важное — не столько рассуждение ученого, сколько свидетельство человека блоковской эпохи:

«Подобно тому, как Раевская, Ризнич, Воронцова, Керн, Гончарова, декабристы, Николай Павлович — вплелись в творчество и жизнь Пушкина, многие биографии со временем также должны будут слиться с творчеством Блока, их запечатлевшим» [6].

Эти чужие биографии отчасти составляют фабульный фон той протяженной эпистолярной эпопеи, которая завязалась вокруг Блока. Речь идет о «диалоге» с миром, ибо при всей своей замкнутости, Блок «воскрешает давно забытое нами слово о Поэте-Эхо и ведет перекличку со всем миром» [7].

В этой связи следует отметить, что авторитетность и влиятельность Блока, еще в 1905 г. причисленного Брюсовым наряду с С. К. Маковским и А. А. Кондратьевым к «второстепенным поэтам» [8], к концу 1900-х годов становится весьма ощутимой в среде поэтических дебютантов. А. С. Бухов констатировал в 1908 г.: «Этот талантливый поэт в поэтическом обиходе нашей современности стал чем-то вроде уксуса, соли и перца в обиходе домашнем. Им обязательно сдабриваются стихи почти всей нашей поэтической молодежи — талантливой и бесталанной» [9]. Возникает «культ Блока», и в начале 1912 г. киевский литератор Артур Хоминский сообщает поэту об основании «скромного общества имени Блока» [10]. На протяжении 1910-х годов приверженность молодежи к Блоку перестает быть сугубо-профессиональной, приобретает общественную окраску. Л. Андреев замечал в начале 1917 г.: «...если за Вербицкой и Северяниным шли низы молодежи, ее моральные morituri, то за Надсоном, как ныне за Блоком (не говорю об огромной разнице дарований) следовали верхи ее, те чистые и светлые души, для которых небо всегда было ближе, нежели земля» [11]. У молодежи возникало естественное стремление вступить в прямой контакт с поэтом, но оно часто сталкивалось со ставшей вскоре широко известной нелюдимостью Блока. Тот же А. С. Бухов едва ли не обиженно писал о Блоке в 1914 г.: «Живет и пишет замкнуто. Живет замкнуто до грубости. Как средневековый опальный герой, готовый сбросить в ров даже почтальона, принесшего грамоту королевской милости» [12]. Поэтому среди части петербургской молодежи возникло нечто вроде вкусового запрета на эпистолярное обращение к Блоку, и в роли «писем к Блоку» выступали статьи о нем [13], а немногие счастливцы, удостоившиеся быть корреспондентами Блока, всю жизнь прожили в ореоле этого эпизода, вроде одессита Семена Кессельмана (1889—1940), выведенного в прозе В. П. Катаева под именем «Эскес» [14]. И чем сильнее Блок-литератор отстранялся в своих письмах от Блока-поэта, тем сильнее было желание счастливых адресатов «вчитать» в деловые письма поэтическую ипостась адресанта. П. Д. Жуков, обменявшийся как-то письмами с поэтом, признавался спустя десятилетие: «Письма Ал⟨ександра⟩ Ал⟨ександровича⟩ простотою, исключительной прямотою и отстранением себя от своих творений переплелись в моем представлении с его драмами и стихами» [15].

[1] Ксерокопия этого письма предоставлена нам И. С. Зильберштейном.

[2] Круг киевских знакомств Сувчинского очерчен в одном из писем А. М. Дубянского из Киева (1919): И. Эренбург, О. Мандельштам, Н. Л. Слонимский (ГПБ, ф. 1170).

[3] См.: И. М. Нестьев. Жизнь Сергея Прокофьева. М., 1973, с. 144.

[4] А. Блок. Двенадцать. С предисловием П. Сувчинского. София, «Русско-болгарское книгоиздательство», ⟨1920⟩, с. 9—11.

[5] П. Сувчинский. Типы творчества. (Памяти А. Блока).— «На путях. Утверждение евразийцев», кн. 2. М.— Берлин, 1922, с. 153, 157.

[6] Там же, с. 166.

[7] Б. Энгельгардт. В пути погибший.— Об Александре Блоке. Пб., 1921, с. 11.

[8] Пентаур ⟨В. Я. Брюсов⟩. Рец. на кн.: В. Г. Тан. Стихотворения.— «Весы», 1905, № 5, с. 44.

[9] «Весна», 1908, № 9, с. 4. Перечислим лишь некоторые из свидетельств рецензентов о влиянии Блока на других поэтов: на Б. Садовского (В. В. Гофман—«Речь», 1909, 6 июня), В. В. Гофмана (Л. Гроссман — «Одесские новости», 1911, № 8484), В. Г. Шершеневича (Кеерsak — «Путь», 1911, № 2, с. 76), Н. М. Мешкова (А. Бартенев ⟨А. Альвинг-Смирнов⟩ — «Жатва», кн. 3. М., 1912, с. 265), Ф. И. Котан (Б. Сергеев ⟨Б. А. Лавренев⟩ — там же, с. 274), Л. Копыловой (Е. Г. Лундберг — «Заветы», 1914, № 2, с. 55), Н. Крандиевской (Ан. Чеботаревская — «Заветы», 1914, № 5, с. 53). См. также перечень рецензий, трактующих о влиянии Блока на Городецкого, В. В. Каменского, В. Г. Шершеневича, А. Биленкина, Г. В. Иванова: «Русские советские писатели. Поэты. Библиографический указатель», т. 3, ч. 2. М., 1980, с. 140, 146, 147, 151.

[10] ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 442, л. 1. Ср. в его прозе о «бессмертных словах величайшего из русских поэтов Александра Блока» и эпизод спора о стихах Блока в ресторане: А. Хоминский. Уют Дженкини. Первые сны. Киев, 1914, с. 79, 98.

[11] «Русская воля», 1917, № 18, 19 января.

[12] А. Бухов. Потерянная могила (К постановке блоковских пьес) — «Театр и жизнь», 1914, № 318, 11 апреля.

[13] См. письмо Ю. А. Никольского к Л. Я. Гуревич — наст. т., кн. 3, с. 462.
[14] См. о нем: «Русская речь», 1984, № 4, с. 10. Возможно, что стихотворение С. Кесельмана «Осень» (1914), помещенное им в газете, содержащей подборку материалов о Блоке («На хлеб». Одесса, 1921, 29 августа), входило в число тех, которые он некогда Блоку посылал.
[15] «Книга и революция», 1923, № 4 (28), с. 54, Ср. также характеристику стиля писем Блока к матери: Л. Гинзбург. О старом и новом. Л., 1982, с. 383—384.

VI. БЛОК В РЕДАКЦИИ «ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

Работа Блока как организатора «Всемирной литературы» нуждается в специальном рассмотрении. Архив этого издательства в настоящее время, по-видимому, утрачен, поэтому «труды и дни» Блока во «Всемирной литературе» могут быть восстановлены только на основании его записных книжек и сохранившейся переписки с переводчиками. Блок старался привлечь к работе над переводами как можно больше одаренных литераторов. Так, 22 июня 1920 г. Блок пометил: «Гумилеву о 〈...〉 Третьякове (переводы, стихи)» (ЗК, 495). В. В. Третьяков [1] впоследствии вспоминал: «Узнав, что я перевожу, он 〈Блок〉 вызвался, невзирая на мои просьбы не утруждать себя, сказать обо мне во „Всемирной литературе“. На другой же день я с удивлением узнал, что Блок уже успел осведомить обо мне К. Чуковского и Гумилева. Какая аккуратная памятливость к земному у человека, прозревающего дали» [2].

О стиле работы Блока-редактора дают представление его письма к Вс. Е. Чешихину, переводившему Гейне: «Перевод не удовлетворяет меня. Прежде всего, не соблюден размер. Первая строка слишком торжественна, в следующих двух — обилие уменьшительных» (письмо от 11 апреля 1919 г.); «В присланных Вами переводах многие строки, по-моему, хороши. Все-таки, я спорил бы и с размерами (например, в „Германии“) и с отдельными выражениями („обычно“, „рученька“, „сестренка“; сокращения, вроде „поэзьи“, „фантасмагорьи“)» (письмо от 6 августа 1919 г.); «Должен Вам признаться, что переводы Ваши не удовлетворяют меня в общем — они очень вольны, часто — небрежны, слишком много — от себя, вообще — не соответствуют целям, какие поставило издательство» (письмо от 29 августа 1919 г.) [3].

Блок-организатор предстает перед нами и в двух ниже публикуемых письмах к В. А. Зоргенфрею [4]. Зоргенфрей неоднократно обращался к Блоку в 1919 г. с просьбами о какой-либо работе для «Всемирной литературы». 6 июня, например, он писал: «Берусь опять за Reisebilder и скоро надеюсь окончить „Луккские воды“. Другой переводной работы у меня сейчас нет, и я в некотором унынии. Очень бы хотел получить работу покрупнее, в стихах — прозу не стоит брать. Не имеете ли Вы в виду какого-либо автора? Хотелось бы опять драматическую вещь [5]. Я не знаю, как распределяется работа во „Вс〈емирной〉 Лит〈ературе〉“. Не переговорить ли с Гумилевым? Он предлагал мне как-то. Мною руководят, как видите, корыстные соображения. Но, помимо этого, стихотворные переводы мне приятны необычайно сами по себе» [6]. Такого рода просьбами и вызваны оба письма Блока 1919 г.

22.V. 1919

Дорогой Вильгельм Александрович.

Когда занесете рукописи Гейне во «Всемирную Литературу», возьмите там, пожалуйста, рукопись драмы Иммермана «Мерлин». Это и есть та работа, о которой я Вам говорил. Перевод и сделан и проредактирован неважно (редактор — Зелинский), его надо безымянно исправить — язык, стиль и стихи [7]. За это можно будет получить, кажется, по 40 коп. за стих, а пьеса — большая, и вся — в стихах. После Зелинского приходится редактировать весь том Иммермана, и в отношении «Мерлина» мы с Гумилевым [8] очень надеемся на Вас.

Ваш Ал. Блок

5.IX. 1919

Дорогой Вильгельм Александрович.

Ф. А. Браун [9] сказал, что пока все немецкие поэты розданы для редактированья. Гумилев же предлагает редактировать Вам свой перевод Pucelle (Вольтера), на чем в заседании и порешили [10].

Заглянув в Harz (пока только мельком) [11], я уже обрадовался и мечтаю, что Вы возьмете все-таки «Зимнюю сказку» [12]; а если не ее, то отдельные стихи.

Ваш Ал. Блок

[1] Виктор Васильевич *Третьяков* (1888—1961) — поэт, переводчик латышской литературы, автор сборников «Солнцерой» (Берлин, 1930), «Берег дальний» (Таллин, 1940).

[2] Виктор Третьяков. Памяти А. Блока.— «Сегодня», Рига, 1927, № 174[a], 8 августа. Во «Всемирной Литературе» В. В. Третьяков был привлечен к переводу Вордсворта.

[3] ЦГАЛИ, ф. 553, оп. 1, ед. хр. 1196, л. 1, 2, 5. Ср. также письмо Н. А. Оцупа к Блоку от 5 сентября 1920 г.: «Говорят, что Вас раздосадовал один из моих переводов Бодлера. Каюсь: я сам знаю, что он (да и некоторые другие мои переводы Бодлера) плохи, я был в бездарном настроении, а Гумилев торопил. Я пробовал в деревне взять на абордаж Шота Руставели и хотел бы сделать об этом сообщение в Вашей коллегии, т⟨ак⟩ к⟨ак⟩ богатые дактилические рифмы из 1500 четверостиший поэмы (всего 6000 строк) должны неизбежно бороться с красотой языка, и я хочу просить санкции на рифмоиды и ассонансы» (ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 2, ед. хр. 53, л. 4 об.). Ср. также примечания к дарственной надписи Блока В. Е. Аренс («Дарственные надписи Блока на книгах и фотографиях») и примечания к вступительной статье к публикации рецензии Н. С. Гумилева «Театр Александра Блока».

[4] Подробнее об участии Зоргенфрея в работе «Всемирной литературы» см.: А. А. Блок. Письма к В. А. Зоргенфрею. Публикация С. С. Гречишкина и А. В. Лаврова.— «Русская литература», 1979, № 4, с. 130—138. Публикуемые письма находятся в собрании И. С. Зильберштейна, которому приносим благодарность за предоставление их для публикации.

[5] В 1918 г. Зоргенфрей по предложению Блока переводил драматическую поэму Ф. Грильпарцера «Либуша» (см. подробнее: А. А. Блок. Письма к В. А. Зоргенфрею, с. 133—134).

[6] ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 257, л. 19—19 об.

[7] В памятной записке от 3 июня 1919 г. Блок суммировал работу, проделанную Зоргенфреем по исправлению перевода мистерии К. Иммермана «Мерлин» (редактором перевода был Ф. Ф. Зелинский) (А. А. Блок. Письма к В. А. Зоргенфрею, с. 135—136). «Пропуски и ошибки» в переводе «Мерлина» поправлял впоследствии и сам Блок (см. его внутреннюю рецензию «Три драмы Иммермана» — VI, 470). Драмы Иммермана во «Всемирной литературе» изданы не были.

[8] Н. С. Гумилев был одним из экспертов редакционной коллегии «Всемирной литературы».

[9] Федор Александрович *Браун* (1862—1942) — филолог-германист, член редакционной коллегии экспертов «Всемирной литературы».

[10] «Орлеанская девственница» для издательства «Всемирная литература» была переведена, в основном, Г. В. Адамовичем и Г. В. Ивановым. Редакция М. Л. Лозинского. Н. С. Гумилев начал переводить «Девственницу» уже в 1918 г. (Вс. Е. Чешихин. Дневник 1918 г.— ЦГАЛИ, ф. 553, оп. 1, ед. хр. 1163, л. 42 об.), но им были переведены только песни I (начиная со стиха 26), II, III и IV (до стиха 487). Первые 25 стихов песни I было решено дать в пушкинском переводе (см.: Вольтер. Орлеанская девственница. М.— Л., 1924, т. 1, с. 184; т. 2, с. 208). В свою очередь, Гумилев редактировал переводы Зоргенфрея — трагедии Ф. Грильпарцера «Конец короля Оттокара» (осталась неопубликованной) и Ф. Хеббеля — «Генофева» и «Ирод и Мариамна» (письмо В. А. Зоргенфрея к Я. Б. Лившицу от 31 августа 1925 г.— ЦГАЛИ, ф. 1255, оп. 1, ед. хр. 2). Обсуждение последней из названных трагедий в заседании «Всемирной литературы» отмечено в записной книжке Блока (ЗК, 509).

[11] «Путешествие в Гарц» — первые две части «Путевых картин» Гейне. Перевод В. Зоргенфрея опубликован в изданном «Всемирной литературой» пятом томе «Избранных сочинений» Гейне (Пб., 1920).

[12] От перевода поэмы Гейне «Германия. Зимняя сказка» Зоргенфрей отказался еще в январе 1919 г. В письме от 6 июня 1919 г. Блок возобновил предложение (А. А. Блок. Письма к В. А. Зоргенфрею, с. 136), однако Зоргенфрей так и не согласился на эту работу.

УТРАЧЕННОЕ ПИСЬМО БЛОКА

Сообщение Л. А. Озерова

В конце пятидесятых годов (дело было в Голицыно, под Москвой) Борис Владимирович Нейман в одном из разговоров с горечью поведал мне об утраченном письме Блока. Он сокрушался по этому поводу. Я спросил о копии. И копии не осталось.

— Одна из тяжких потерь! — сказал он.

Совсем недавно в перечне изданных адресатов Блока оказалось и упоминание о письме Б. В. Неймана. Мне сообщил об этом И. С. Зильберштейн. Вскоре я получил копию этого письма и посланные Блоку стихи.

Привожу текст письма Б. В. Неймана.

«Дорогой учитель!

Я знаю, как нехорошо с моей стороны то, что я отнимаю у Вас время. Но так сильно во мне желание узнать Ваше мнение о моих стихах, что невольно становлюсь эгоистичным.

Мне трудно разобраться в самом себе. Я не могу судить себя объективно. Не хочу доверяться окружающим.

Понятно, я — только плохое зеркало, отражающее Вас. Но чувствуется ли, что это лишь временно, что потом, когда у меня появятся новые чувства (мне теперь 20 л.), то они облекутся в новые одежды? А пока — можно ли узнать отраженный в зеркале лик?

Но ответите ли Вы?

Если да, то вот мой адрес:

Киев, Ник-Ботаническая № 5, кв. 6, Борису Нейману».

За письмом следовали стихотворения: «Дни» («Никому я здесь не нужен...»), «Меж нами рождается тайна», «Я встречаюсь с тобой ежедневно...», «Ты — печальная принцесса», «Я иду к золотящимся странам».

На первом листе письма Б. В. Неймана к Блоку помета Блока синим карандашом: «Ответил 24 VI 09» (ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 2, ед. хр. 51).

При упомянутом выше разговоре в конце 50-х годов Б. В. Нейман сказал мне, что отзыв был по-блоковски сдержанно-благожелательным. Одно замечание Блока запомнилось: в стихотворении «Меж нами рождается тайна» вторая строфа гласит:

Пришло — и что было, исчезло...
Я в царстве волшебных поверий
Отослан движением жезла.
Ты — жрица священных мистерий.

Блок, по рассказу Б. В. Неймана, написал, что слово «жезла» имеет ударение на последнем слоге, поэтому рифма «исчезло — же́зла» неправомощна и неверна, поэтому она не состоялась...

В письме Б. В. Неймана Блок подчеркнул слово «жезла» и на полях поставил знак вопроса.

Профессора Б. В. Неймана (1888—1969) я слушал в ИФЛИ (Институт истории, философии и литературы) в годы 1935—1938. Он читал курс истории русской литературы (XIX век). Среди его слушателей были А. Т. Твардовский, В. Ф. Боков и др.

Друг и соратник Н. К. Гудзия, И. Н. Розанова, Д. Д. Благого, Н. А. Глаголева, Л. И. Тимофеева, Борис Владимирович много сделал для приобщения нескольких поколений филологов к литературе. Скрупулезный анализ текста Б. В. Нейман совмещал с лиричностью и патетикой, изобличавшей в нем поэта.

Б. В. Нейман опубликовал примерно сто шестьдесят литературоведческих работ, посвященных главным образом Пушкину, Лермонтову, Рылееву, Веневитинову, Гоголю, Горь-

кому. Важной вехой в развитии отечественного лермонтоведения явилась книга Б. В. Неймана «Влияние Пушкина в творчестве Лермонтова» (Киев, 1914).

Стихи Б. В. Нейман писал всю жизнь, особенно в ранние годы (1905—1909). В 1908—1909 гг. была написана основная их часть (семьдесят стихотворений), главным образом лирического характера. В них ощущается явное влияние Блока и отчасти Бальмонта. В 1907 и 1909—1910 гг. опубликованы некоторые стихотворения Б. В. Неймана («Студенческий альманах», «Киевская мысль» и др.).

В пору написания письма к Блоку Б. В. Нейман учился на 1—2 курсах Киевского университета, встречался с киевскими писателями и музыкантами, выступал вместе с ними на вечерах современной поэзии. В «Клочках воспоминаний» (1969) — незаконченных заметках, писавшихся в последний год жизни, Б. В. Нейман называет имена людей, с которыми общался в раннюю пору своей деятельности. Это уже известные в то время И. А. Новиков, впоследствии автор романов о Пушкине, Де-ла-Барт, историк западноевропейской литературы, актеры Соловцовского театра, переводчики и критики.

В позднюю пору жизни Б. В. Нейман достаточно критически относился к своим юношеским стихотворным опытам. В тех же «Клочках воспоминаний» он упоминает свои «первые, достаточно слабенькие, подростковые стихотворения и прозаические отрывки». Публикация их в киевской прессе позволила сблизиться «с другими начинающими писателями города, о существовании которых я ранее и не подозревал».

Общительный, добрый, трудолюбивый, любознательный, бескорыстный Б. В. Нейман в беседах, касавшихся русской литературы, неизменно упоминал имя Блока с трепетом, всякий раз добавляя к нему то одну, то другую блоковскую строфу, то целое стихотворение, которое произносил наизусть, патетически, как дар, пронесенный им через всю жизнь.

ИЗ АРХИВА В. А. ЗОРГЕНФРЕЯ

Сообщение И. М. Васильевой

В 1982 г. в фонды музея-квартиры Александра Блока (филиал Государственного музея истории Ленинграда) поступили материалы из архива Вильгельма Александровича Зоргенфрея [1], хранившиеся в семье Таисии Андреевны и Павла Яковлевича Рябининых. Семью Зоргенфреев и семью Рябининых связывали долгие годы добрых отношений. Знакомство Зоргенфрея и Рябинина состоялось в 1926 г., во время их совместной работы в Первом ленинградском электротехникуме. В 1938 г., после смерти Зоргенфрея, семья Рябининых взяла на себя заботы о его вдове — Александре Николаевне Зоргенфрей (урожденной Кирпичниковой, 1886—1971). С 1971 г. в семье Рябининых хранились следующие материалы, связанные с Блоком:

Александр Блок. Стихи о России. П., 1915 (с дарственной надписью В. А. Зоргенфрею)[2].

Письмо А. А. Кублицкой-Пиоттух к Зоргенфрею от 5 (18) декабря 1921 г.

Письмо М. А. Бекетовой к Зоргенфрею от 21 августа 1932 г.

Ходатайство Президиума Петербургского отделения Всероссийского союза поэтов от 24 декабря 1920 г. о предоставлении академического пайка членам Союза (с подписью председателя Союза Александра Блока).

Копии текстов открыток, посланных Блоком Зоргенфрею (от 10 января 1907 г. и от 17 января 1919 г.).

Копия текста письма Блока А. В. Луначарскому от 6 сентября 1918 г. (копии сделаны рукой А. Н. Зоргенфрей).

Книги из библиотеки Зоргенфрея, в том числе: Гете. Торкватто Тассо. Л., 1935 (перевод Зоргенфрея) [3].

Неизвестные нам доныне материалы позволяют дополнить «хронику отношений» Блока с талантливым переводчиком, своеобразным поэтом В. А. Зоргенфреем. Единственная книга стихов Зоргенфрея «Страстная суббота» (Пб., 1922) посвящена Блоку.

Воспоминания Зоргенфрея о Блоке [4], передают живую радость общения с великим поэтом, глубокое понимание его личности. Об этом выразительно свидетельствуют публикуемые ниже по копиям письма к Зоргенфрею матери Блока — А. А. Кублицкой-Пиоттух и М. А. Бекетовой.

А. А. Кублицкая-Пиоттух — Зоргенфрею

⟨5/18 декабря 1921 г.⟩

«*Чище, глубже* Вас никто еще не писал о Саше, дорогой Вильгельм Александрович (только что прочла). Весь облик встает перед глазами.

Трогательно до глубины. Мне лично *такое* его понимание всего дороже. Такой он и был. Он не обманывал людей... И ваши слова о нем звучат музыкой... Спасибо Вам. Ваши воспоминания из всех, до сих пор поступивших, *для меня*, всего дороже.

Александра Андреевна Кублицкая-Пиоттух
(Блок)

5/18 декабря 1921 г.

М. А. Бекетова — Зоргенфрею

«21 августа 1932 г. г. Ленинград.

Многоуважаемый Вильгельм Александрович.

Я только что прочла Ваши воспоминания об Ал⟨ександре⟩ Ал⟨ександровиче⟩. Я нахожу, что это лучшее, что написано о Блоке. Есть воспоминания более блестящие по яркости, по силе таланта, но столь трогательно благоговейных, как Ваши, нет и не будет. Написано вообще прекрасно (это не только мое мнение), кроме тона, бесценного для меня по своей искренности, проникновенности, мне дорога еще та необыкновенная точность, с которой Вы описываете Блока. *Этого* я не нашла ни у кого, кроме Вас, да еще у Е. П. Иванова. Но у Вас больше подробностей, и всегда очень верных. Для того, чтобы так написать, надо любить А⟨лександра⟩

А⟨лександровича⟩ так бескорыстно, без задних мыслей, без тени зависти, как любили его Вы, дорогой Вильгельм Алекс⟨андрович⟩; Вы написали не только точно и верно, но и красноречиво в лучшем смысле этого слова. Я не могу выразить Вам, что я чувствую, когда читаю эти Ваши слова об А⟨лександре⟩ А⟨лександровиче⟩. Я ведь живу главн⟨ым⟩ обр⟨азом⟩ воспоминанием об нем и всем, что было связано с ним, начиная с бесконечно любимой его матери, которую я любила не меньше его. Но он был для меня не только дорогой из дорогих человек, дитя души моей, но еще и великий, несравненный по своей простоте поэт — с годами и сам он, и стихи его для меня становятся все понятнее и понятнее. Дорогой Вильгельм Александрович, мне очень захотелось, чтобы Вы пришли ко мне, когда Вам это удобно и захочется, чтобы поговорить с Вами о Блоке. Говорить о нем с теми, кто его любил, для меня высокая радость. Не откажите мне в этой просьбе. Позвоните по телефону, и мы сговоримся о дне и часе Вашего посещения. Крепко, крепко, с живой симпатией жму Вашу руку.

Преданная Вам М. Бекетова

До скорого свидания».

Известные нам письма Блока к Зоргенфрею неизменно лаконичны и отличаются той близостью, которая делает естественными простоту и немногословность. Вспомним, например, письмо от 30 июня 1914 г., когда Вильгельм Александрович был тяжело болен: «⟨...⟩ Не нравится мне, как я пишу, не умею сказать конкретнее и проще. Этим посильным ответом я просто хочу откликнуться Вам и сказать: „поживем еще“» (VIII, 517—518).

В 1918 г. Зоргенфрей обращается к Блоку с просьбой помочь в освобождении из-под ареста некоего офицера В. Д. Иванова [5]. В записных книжках Блока появляются заметки: «3 сентября 1918 г. Заходил Зоргенфрей — просить Луначарского об арестованном. 4 сентября 1918 г. Просьба В. А. Зоргенфрея — боже, непосильно! Сегодня не успею. Когда же! ? ! ?

6 сентября 1918 г. Зоргенфрей — две книжки и письмо к Луначарскому» (ЗК, 424—425).

Это письмо Блока до сих пор остававшееся неизвестным, обнаруживает особую степень доверия поэта к Зоргенфрею и ярко характеризует его нравственные принципы.

Блок — А. В. Луначарскому

⟨Петроград, 6 сентября 1918 г.⟩

Глубокоуважаемый Анатолий Васильевич.

Позволяю себе обратиться к Вам с письменной просьбой, чтобы не отнимать у Вас времени лично. Дело идет об арестованном бывшем офицере военного времени, раненом, георгиевском кавалере Вл. Дм. Иванове, живущем на хуторе Ратково ⟨?⟩ близ станции Новоселье, арестованном на этой станции, привезенном в Лугу, а 30 августа из Луги на Гороховую, 2.

Я не решился бы просить Вас о человеке, которого не знаю лично, если бы приятель мой, поэт В. Зоргенфрей, который за него просит и которому я верю, как себе, не свидетельствовал, что В. Д. Иванов — человек, стоящий вне политики, и что за него просили уже военный комиссариат ст. Торошино ⟨?⟩ и местный комитет деревенской бедноты: Все это говорит за то, что в деле Иванова есть, по-видимому, недоразумение и что речь идет о человеке, которого, может быть, просто забыли, так что надо только указать следы, по которым его можно найти.

Искренне уважающий Вас Александр Блок

6 сентября.
Офицерская 57 кв. 21, т. 612—00».

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] О В. А. Зоргенфрее и его отношениях с Блоком см.: Л. Н. Чертков. В. А. Зоргенфрей —спутник Блока. В кн.: «Русская филология. II сб. научных студенческих работ». Тарту, 1967, с. 113—139; А. А. Блок. Письма к В. А. Зоргенфрею. Публикация С. С. Гречишкина и А. В. Лаврова.— «Русская литература», 1979, № 4, с. 128—138.

[2] Текст опубликован в наст. томе, кн. 3, с. 142.

[3] Текст на шмуцтитуле: «Настоящий перевод драмы „Торквато Тассо“ просмотрен был, незадолго до смерти, А. А. Блоком, пометки которого в значительнейшей части использованы».

[4] В. А. Зоргенфрей. Александр Александрович Блок.— В кн.: «А. Блок в воспоминаниях современников», т. 2, 1980, с. 1—40.

[5] К сожалению, личность В. Д. Иванова нам установить не удалось. История его отношений с В. А. Зоргенфреем неизвестна.

ПЕРЕПИСКА БЛОКА С А. А. АХМАТОВОЙ

Предисловие и публикация В. А. Черных

Письмо Ахматовой Блоку от 6 или 7 января 1914 г.[1] и ответное письмо Блока от 18 января 1914 г.[2], публикуемые ниже, существенно дополняют известные источники о взаимоотношениях двух поэтов. До настоящего времени были напечатаны два письма Блока к Ахматовой — от 26 марта 1914 г. и 14 марта 1916 г. (VIII, 436—437, 458—459). Письма Ахматовой к Блоку не публиковались. В автобиографических заметках, датируемых концом 1959 г., Ахматова упоминает о трех своих письмах Блоку и выражает сожаление, что они «по-видимому, не сохранились» [3].

Публикуемые письма имеют непосредственное отношение к знаменитой «стихотворной переписке» между Блоком и Ахматовой. Стихотворение Блока «Анне Ахматовой» («„Красота страшна", Вам скажут...») (III, 143) и стихотворение Ахматовой «Я пришла к поэту в гости...», посвященное Александру Блоку [4], не раз привлекали внимание исследователей. О посвященном ей Блоком мадригале Ахматова писала в «Воспоминаниях об Ал. Блоке» [5]. Оба стихотворения подробно анализируются в работах В. М. Жирмунского и Д. Е. Максимова [6]. Черновики блоковского стихотворения опубликованы В. Н. Орловым (III, 550). Структуру этого стихотворения, «сознательно отвлекаясь от внетекстовых связей», анализировал Ю. М. Лотман [7]. Стилевых особенностей ахматовского стихотворения коснулся С. А. Небольсин [8]. Интересные соображения относительно поэтического диалога Блока и Ахматовой высказаны В. Н. Топоровым [9]. Тем не менее творческая история обоих стихотворений и, в частности, история их текстов далеко еще не выяснены полностью. Необходимо прежде всего уточнить основные факты, касающиеся их создания и опубликования.

Как известно, оба стихотворения были впервые напечатаны в первом номере журнала «Любовь к трем апельсинам», издававшегося В. Э. Мейерхольдом [10]. В части архива Мейерхольда, находящейся в ОР ГБЛ, хранятся беловой автограф стихотворения Блока и аккуратно переписанный рукой Блока список стихотворения Ахматовой, послужившие наборными экземплярами для этой публикации [11].

Блок, редактировавший отдел поэзии журнала, поместил вначале посвященное ему стихотворение Ахматовой, а за ним — свое стихотворение, посвященное ей. Однако в журнале под обоими стихотворениями поставлены даты, которые должны были дать четкое представление о последовательности их создания. Под стихотворением Ахматовой стоит дата: «Январь 1914 г.»; в дату же стихотворения Блока вкралась опечатка: вместо «Декабрь 1913 г.» напечатано: «Декабрь 1914 г.» То, что это именно опечатка, было ясно каждому читателю журнала, поскольку номер вышел в свет в феврале 1914 г.[12] Тем не менее в комментариях к Собранию сочинений Блока указано, что стихотворение Блока «Анне Ахматовой» является ответом на стихотворение Ахматовой (III, 550), хотя в действительности дело обстояло как раз наоборот. На эту ошибку еще в 1967 г. указал Д. Е. Максимов [13], однако и в более поздних работах ошибка, совершенно искажающая историю «стихотворной переписки» Блока и Ахматовой, к сожалению, повторяется [14].

Сопоставление текста стихотворения «Я пришла к поэту в гости...», напечатанного в журнале «Любовь к трем апельсинам», с его автографом, приложенным к письму Ахматовой Блоку, а также с текстом второй его публикации в сборнике «Четки» [15] (март 1914 г.) показывает, что в журнале стихотворение было напечатано в строгом соответствии с автографом; текст же «Четок» имеет по сравнению с ними разночтения, из которых лишь одно, причем не самое существенное, учтено в наиболее авторитетном посмертном издании стихотворений Ахматовой [16]. Прежде всего в автографе, в списке рукой Блока, и в журнале слова «Александру Блоку» являются не посвящением (как в «Четках» и в большинстве последующих публикаций), а заглавием стихотворения (точно так же, как стихотворение Блока «„Красота страшна", Вам скажут...» озаглавлено: «Анне Ахматовой»). Кроме того, в автографе,

списке и в журнальной публикации 11-й стих читается: «Мне же лучше осторожно», что придает всей строфе несколько иной смысловой оттенок.

Неправильно датируется в литературе визит Ахматовой к Блоку, описанный ею в стихотворении «Я пришла к поэту в гости...» и состоявшийся, по ее воспоминаниям, «в одно из последних воскресений тринадцатого года» [17]. В. М. Жирмунский считал датой визита 16 декабря 1913 г.[18], однако в этот день было не воскресенье, а понедельник. По-видимому, Ахматова посетила Блока 15 декабря. Это уточнение существенно, так как благодаря ему становится ясно, что Блок, по всей вероятности, писал стихотворение «„Красота страшна", Вам скажут...» (черновик которого датирован 15 декабря 1913 г.) (III, 550) не в ожидании визита Ахматовой, а после него, под впечатлением беседы с ней.

Печатаемые письма во многом проясняют историю опубликования стихотворений Блока и Ахматовой в журнале «Любовь к трем апельсинам». Вместе с тем они характеризуют отношения их авторов в период написания писем. В. М. Жирмунский, анализируя стихотворения Блока и Ахматовой, посвященные ими друг другу и породившие, по его словам, «легенду о любовном „романе" между первым поэтом и крупнейшей поэтессой эпохи или, по крайней мере, о ее безнадежной любви к нему» [19], отмечал характерный «контраст художественных методов: романтическую испанскую экзотику Блока Ахматова в своей манере заменила реалистической картиной русской зимы» [20]. Не менее контрастны по тону и стилю письма двух поэтов, публикуемые ниже.

На дружески-доверительное письмо Ахматовой Блок ответил письмом, по существу весьма лестным для молодой поэтессы, однако подчеркнуто деловым. Сухо-официальный тон письма Блока к Ахматовой от 18 января 1914 г. в какой-то мере находит объяснение в письме матери Блока— А. А. Кублицкой-Пиоттух к М. П. Ивановой от 29 марта 1914 г. Это письмо было впервые процитировано В. М. Жирмунским (с пропуском одного неразобранного им слова).

«Я все жду,— писала мать Блока,— когда Саша встретит и полюбит женщину тревожную и глубокую, а стало быть и нежную... И есть такая молодая поэтесса, Анна Ахматова, которая к нему протягивает руки и была бы готова его любить. Он от нее отвертывается, хотя она красивая и талантливая, но печальная. А он этого не любит. Одно из ее стихотворений я Вам хотела бы написать, да помню только две строки первых:

Слава тебе, безысходная боль. —
Умер он — сероглазый король.

Вот можете судить, какой склон души у этой юной и несчастной девушки. У нее уже есть, впрочем, ребенок. А Саша опять полюбил Кармен...» [21].

У нас нет достаточных оснований, чтобы судить о том, что в этом письме написано А. А. Кублицкой-Пиоттух со слов сына (который вообще, как известно, был очень откровенен с матерью), а что могло быть домыслено ею самой. Нельзя не отметить, что в этом письме Кублицкая-Пиоттух цитирует не стихотворение Ахматовой, посвященное Блоку, а впервые опубликованное еще в 1911 г. и широко к этому времени известное стихотворение «Сероглазый король», к тому же цитирует его неточно. Ясно, что за творчеством Ахматовой она не следила и, скорее всего, до этого ничего не знала о ней ни как о поэте, ни как о человеке.

Известно, что 24 или 25 марта 1914 г. Ахматова послала Блоку только что вышедший сборник стихотворений «Четки» с дарственной надписью на титульном листе:

«Александру Блоку
Анна Ахматова.

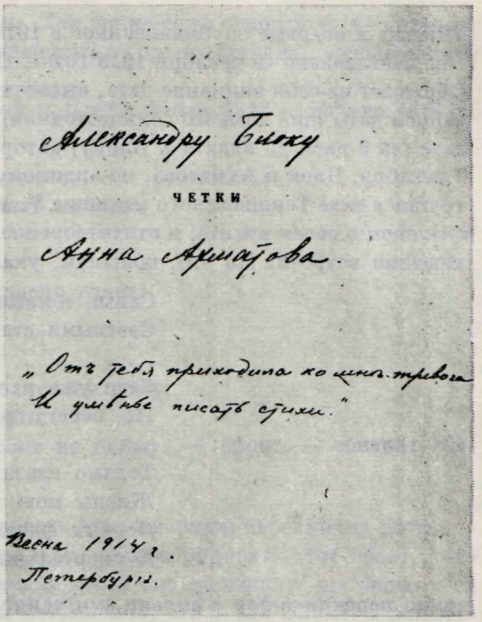
«От тебя приходила ко мне тревога
И уменье писать стихи».

Весна 1914 г.
Петербург» [22].

По мнению В. М. Жирмунского, «двустишие, вставленное в кавычки, представляет, очевидно, цитату,— однако трудно сказать, откуда: из неизвестного нам стихотворения самой Ахматовой или из другого источника, также пока не разысканного. Первое более вероятно, так как стихи имеют метрическую форму дольника, неупотребительную в классической поэзии; кавычки встречаются у Ахматовой и в автоцитатах» [23]. Нам представляется, что это двустишие не автоцитата, а самостоятельная стихотворная миниатюра, сочиненная Ахматовой специально для данного посвящения. Известны и другие подобные стихотворные миниатюры,

сопровождающие дарственные надписи Ахматовой на книгах (например, Ф. К. Сологубу от 16 марта 1912 г.) [24].

26 марта 1914 г. Блок писал Ахматовой: «Вчера я получил Вашу книгу, только разрезал ее и отнес моей матери. ⟨...⟩ Сегодня утром моя мать взяла книгу и читала, не отрываясь: говорит, что не только хорошие стихи, а по-человечески, по-женски — подлинно» (VIII, 436—437). Весьма возможно, что оставляя матери книгу Ахматовой, Блок что-то рассказал ей об авторе книги и о своих отношениях с ней. Письмо Блока Ахматовой от 26 марта значительно мягче и душевнее, чем его письмо к ней от 18 января.



А. А. АХМАТОВА «ЧЕТКИ»
Титульный лист с дарственной надписью автора Блоку.
Институт русской литературы АН СССР, Ленинград.

Совместную публикацию Блоком и Ахматовой посвященных друг другу стихотворений в журнале «Любовь к трем апельсинам», а также обмен публикуемыми ниже письмами следует рассматривать не только в плане их личных и литературных взаимоотношений, но и в более широком контексте отношений между Блоком и литературной группировкой акмеистов, к которой в то время принадлежала Ахматова [25]. Как известно, в конце 1912 — первой половине 1913 г. эти отношения резко обострились. Если ранее, в 1911 г., Блок с симпатией отзывался о будущих акмеистах, то после того как Гумилев и Городецкий начали в своих публичных выступлениях настойчиво противопоставлять творческие принципы акмеизма наследию символизма, якобы исчерпавшему себя, симпатия со стороны Блока сменилась глубоким раздражением [26]. Тем не менее, как мы знаем, Блок не присоединил своего голоса к кампании против акмеизма, развернутой в печати Брюсовым [27]. В этот же период в письмах Блока к жене неоднократно встречаются резко отрицательные отзывы о Мейерхольде (VIII, 410, 415, 427).

Участие Блока в журнале «Любовь к трем апельсинам» и совместное с Ахматовой выступление в первом номере этого журнала свидетельствовали не только о новом сближении Блока с Мейерхольдом, но и о некотором пересмотре Блоком своего отрицательного отношения к акмеистам или, может быть, о более дифференцированном подходе его к участникам этой группировки [28].

Наибольший интерес представляет, разумеется, вопрос о том, какое отражение нашли отношения Блока и Ахматовой 1912—1914 гг. в их творчестве (помимо двух стихотворений, напечатанных в журнале Мейерхольда). В. М. Жирмунский, рассматривая стихотворения Ахматовой, в разное время посвященные Блоку и одинаково, по его мнению, свидетельствующие «о том исключительном значении, которое имело для нее явление Блока» [29], условно присоединял к ним «еще два, которые современники связывали с именем Блока без фактических доказательств — на основании биографических домыслов» [30]. Это — напечатанные в сборнике «Четки» стихотворения: «Безвольно пощады просят...» и «Покорно мне воображенье...». Следует отметить, что содержащиеся в этих стихотворениях определения и реалии, такие, как «короткое, звонкое имя», «мой знаменитый современник» (к тому же живущий не где-нибудь, а «на левом берегу Невы»), воспринимались тогдашними (и более поздними) читателями как почти не завуалированные указания на Блока. Предшествующая публикация в журнале «Любовь к трем апельсинам» стихотворений Блока и Ахматовой, посвященных друг другу, без сомнения, поддерживала эту трактовку. Ахматова, включая названные стихотворения в сборник «Четки», не могла не учитывать возможности такого читательского восприятия. По-видимому, оно не противоречило в тот период творческим намерениям автора, авторской установке.

В этой связи можно рассмотреть еще одно стихотворение Ахматовой, не включенное в

«Четки» и впервые опубликованное в 1916 г. в первом номере журнала «Северные записки». Оно озаглавлено «9 декабря 1913 года». Сведения о времени его создания противоречивы [31]. Обращает на себя внимание дата, вынесенная в заголовок. Само по себе превращение календарной даты (дня зимнего солнцестояния) в название стихотворения говорит о том, что этой дате (за 6 дней до визита к Блоку) автор придавал особое значение. Двумя днями раньше, 7 декабря, Блок и Ахматова, по-видимому, встретились на лекции В. А. Пяста «Поэзия вне групп» в зале Тенишевского училища [32]. Может быть, именно в эти дни Ахматова условилась с Блоком о своем визите, и стихотворение «9 декабря 1913 года» написано как бы в предвосхищении встречи. На это, пожалуй, указывают его начальные и заключительные строки:

Самые темные дни в году
Светлыми стать должны
. . . . . .
Сети уже разостлал птицелов
На берегу реки.

Но главное — строфа:

Только глаза подымать не смей,
Жизнь мою храня.
Первых фиалок они светлей,
А смертельные для меня,—

прямо перекликается с сильно смягченной вариацией той же темы в стихах, посвященных Блоку:

У него глаза такие,
Что запомнить каждый должен,
Мне же лучше, осторожной,
В них и вовсе не глядеть.

В авторизованном рукописном сборнике Ахматовой «Избранные стихотворения» [33] стихотворение «9 декабря 1913 года» посвящено Н. В. Н⟨едоброво⟩. Ни в одном из изданий этого посвящения нет. Возможно, что это — один из случаев «перепосвящений», которые встречаются в поэзии Ахматовой.

Почти совершенно не изученным остается чрезвычайно интересный вопрос, отразился ли образ Ахматовой в поэзии Блока (помимо посвященного ей в декабре 1913 г. мадригала). Между тем нельзя не отметить, что в один день с мадригалом «„Красота страшна“ — Вам скажут...» Блок написал еще одно стихотворение: «О нет! не расколдуешь сердца ты...» (III, 147—148). Между обоими стихотворениями имеются текстуальные соответствия. Причем ключевые слова, общие для обоих стихотворений, в стихотворении «О нет! не расколдуешь сердца ты...» подчеркнуты Блоком. Так, строки:

Упоена *красивыми* мечтами,
Ты укоризны будешь слать судьбе
. . . . . .
И ты *простой* возжаждешь красоты...

прямо соотносятся со стихом: «„Красота проста“,— Вам скажут...». Стихи: «Ему расскажет, что прошел *недуг*», «Забудешь ты мою могилу, имя» могут быть соотнесены со стихами Ахматовой: «И ты виновник моего недуга» (из стихотворения «Не будем пить из одного стакана...», 1913) и «Когда при мне произносят короткое звонкое имя» (из стихотворения «Безвольно пощады просят...», 1912). А концовку стихотворения:

Но есть ответ в моих стихах тревожных:
Их тайный жар тебе поможет жить,—

Ахматова, возможно, имела в виду, сочиняя дарственную надпись Блоку на экземпляре «Четок»:

От тебя приходила ко мне тревога
И уменье писать стихи.

Содержащееся в комментариях к Собранию сочинений Блока утверждение, что стихотворение «О, нет! не расколдуешь сердца ты...» посвящено Л. Д. Блок (III, 551), никак не

аргументировано и не представляется убедительным. Так же не ясны основания, по которым в комментариях к стихотворению Ахматовой «Не будем пить из одного стакана...» указано, что оно посвящено М. Л. Лозинскому [34].

Можно еще отметить, что в стихах Ахматовой и Блока конца 1913 — начала 1914 г. повторяется мотив поднятых и опущенных глаз.

Ахматова, 9 декабря 1913 г.(?):

Только глаза подымать не смей.

Блок, 2 января 1914 г.:

Нет, опустил я напрасно глаза.

Ахматова, 31 января 1914 г.:

Чтоб тот, кто спокоен в своем дому,
Раскрывши окно, сказал:
«Голос знакомый, а слов не пойму»,—
И опустил глаза.

Не следует, конечно, непосредственно проецировать стихотворную перекличку двух поэтов на их реальные жизненные отношения; нельзя и игнорировать тот факт, что «в своих мемуарных записях Ахматова уделила немало места опровержению «легенды» о ее «так называемом романе с Блоком» [35]. Вместе с тем несомненно, что и для Блока, и для Ахматовой личный душевный опыт был важнейшим источником их поэтического творчества. В своих литературоведческих исследованиях, связанных главным образом с жизнью и творчеством Пушкина, Ахматова систематически применяет метод анализа текстов произведений (не только лирических, но и драматических) для выяснения жизненных обстоятельств и душевного состояния автора [36]. Как справедливо отмечает Э. Г. Герштейн, статьи Ахматовой о Пушкине «проливают свет на процесс ее собственной поэтической работы, приближают к пониманию ее творческой личности» [37].

В не полностью еще опубликованных набросках, касающихся генезиса «Поэмы без героя», Ахматова неоднократно отмечает: «Поэма перерастает в мои воспоминания...», Поэма «превращается в мою биографию...» [38]. Нельзя не привести также отрывок из первой картины балетного либретто на сюжет «Поэмы без героя», опущенный В. М. Жирмунским при его частичной публикации: «Х — отрекается от всех и больше всего от себя самой, молодой, в воспетой шали» [39]. Этот же мотив «отречения» явственно звучит и в известных ахматовских «Воспоминаниях об Ал. Блоке», и в ее отрывочных мемуарных записях о нем.

В поэтической биографии Ахматовой (которая, без сомнения, находится в сложных и далеко не однозначных отношениях с ее реальной биографией) [40] «Блоковская легенда» занимает одно из ключевых мест. История формирования и развития этой легенды от стихов начала 1910-х годов до «Поэмы без героя» представляет несомненный историко-литературный и, шире, историко-культурный интерес. Однако рассмотрение этих вопросов, разумеется, далеко выходит за рамки настоящей работы [41].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 137, л. 1.
[2] Там же, ф. 13, оп. 1, ед. хр. 136, л. 1—2.
[3] Там же, ед. хр. 99, л. 21.
[4] А. А. Ахматова. Стихотворения и поэмы. Л., 1976, с. 81.
[5] «Звезда», 1967, № 12, с. 186—187; то же в кн.: А. А. Ахматова. Стихи и проза. Л., 1977, с. 556.
[6] В. М. Жирмунский. Анна Ахматова и Александр Блок.— В его кн.: В. М. Жирмунский. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977, с. 323—354 (далее — ссылки на это издание); он же. Творчество Анны Ахматовой. Л., 1973, с. 58—60; Д. Е. Максимов. Ахматова о Блоке.— «Звезда», 1967, № 12, с. 187—191.
[7] Ю. М. Лотман. Анализ поэтического текста. Л., 1972, с. 223—234.
[8] С. А. Небольсин. В поисках стилевой соразмерности.— В кн.: «Многообразие стилей советской литературы. Вопросы типологии». М., 1978, с. 75.
[9] В. Н. Топоров. Об одном аспекте «испанской» темы у Блока.— В кн.: «Тезисы I Всесоюзной (III) конференции „Творчество А. А. Блока и русская культура XX века"».

Тарту, 1975, с. 118—121. С книгой В. Н. Топорова «Ахматова и Блок» (Berkeley, 1981) мне удалось познакомиться, когда эта статья уже была сдана в печать.

[10] «Любовь к трем апельсинам. Журнал доктора Дапертутто», 1914, № 1, с. 5—6.

[11] ГБЛ, ф. 644, 2.15.

[12] См. запись Блока от 13 февраля 1914 г.: «...„Любовь к трем апельсинам", № 1,— Люба принесла из типографии».— ЗК, 207.

[13] Д. Е. Максимов. Указ. соч., с. 188.

[14] См., напр., Ю. М. Лотман. Указ. соч., с. 223.

[15] А. А. Ахматова. Четки. Стихи. Спб., 1914, с. 82.

[16] А. А. Ахматова. Стихотворения и поэмы. Л., 1976, с. 389.

[17] А. А. Ахматова. Стихи и проза. Л., 1977, с. 556.

[18] В. М. Жирмунский. Анна Ахматова и Александр Блок, с. 326.

[19] В. М. Жирмунский. Творчество Анны Ахматовой. Л., 1973, с. 54.

[20] В. М. Жирмунский. Анна Ахматова и Александр Блок, с. 327; ср.: он же. Творчество Анны Ахматовой, с. 58—60.

[21] ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 541, л. 37—37 об.; ср. В. М. Жирмунский. Творчество Анны Ахматовой, с. 180. Ахматова в последние годы жизни знала о существовании этого письма. В составленном ею библиографическом списке отзывов современников о ее творчестве («Библиография. 1911—1964») под номером 48-а указано: «Письмо матери Блока к сестре Ев. Иванова (в Архиве)» — ГПБ, ф. 1073, ед. хр. 669.

[22] Экземпляр хранится в ИРЛИ; ср. запись Блока от 25 марта 1914 г.: «„Четки" от А. Ахматовой...» — ЗК, 218.

[23] В. М. Жирмунский. Анна Ахматова и Александр Блок, с. 328—329; ср. он же. Творчество Анны Ахматовой, с. 60.

[24] Р. Д. Тименчик, А. В. Лавров. Материалы А. А. Ахматовой в Рукописном отделе Пушкинского Дома.— «Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1974 год». Л., 1976, с. 54.

[25] Отношениям Блока с акмеистами посвящена статья: П. В. Куприяновский. Александр Блок и поэты-акмеисты.— В его кн.: «Сквозь время». Ярославль, 1972, с. 37—70. Автор, к сожалению, сильно упрощает и схематизирует эти отношения.

[26] См., напр., записи Блока в дневнике 20 октября 1911 г. (VII, 75—76), а также конца 1912 и первой половины 1913 г. (VII, 193, 207, 232, 238, 248 и др.).

[27] В. Я. Брюсов. Новые течения в русской поэзии. Акмеизм.— «Русская мысль», 1913, № 4, разд. 2, с. 134—142.

[28] Как известно, впоследствии Блок подчеркнуто выделял Ахматову из ее ближайшего литературного окружения. См.: В. М. Жирмунский. Творчество Анны Ахматовой, с. 37—38.

[29] В. М. Жирмунский. Анна Ахматова и Александр Блок, с. 352.

[30] Там же, с. 356.

[31] А. А. Ахматова. Стихотворения и поэмы, с. 93, 462.

В машинописном экземпляре «Бега времени» (ЦГАЛИ) первоначальная дата «1917» исправлена Ахматовой на «1913».

[32] См. наст. том, кн. 3, с. 426—427.

[33] ЦГАЛИ, ф. 13, оп. 1, ед. хр. 77, л. 67.

[34] А. А. Ахматова. Стихотворения и поэмы, с. 456, 457.

[35] В. М. Жирмунский. Анна Ахматова и Александр Блок, с. 325.

[36] А. А. Ахматова. О Пушкине. Л., 1977.

[37] Э. Г. Герштейн. Послесловие.— В кн.: А. А. Ахматова. О Пушкине. Л., 1977, с. 317.

[38] См. «Встречи с прошлым», вып. 3. М., 1978, с. 395—396.

[39] ЦГАЛИ, ф. 13, оп. 1, ед. хр. 99, л. 27. Ср.: В. М. Жирмунский. Творчество Анны Ахматовой, с. 169. Буквой Х (икс) Ахматова в своих черновых записях нередко обозначала автора, т. е. себя.

[40] Ср.: Ю. Н. Тынянов. Блок; Литературный факт; О литературной эволюции.— В его кн.: Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977; Л. Я. Гинзбург. О лирике. Л., 1974.

[41] Интересные соображения по этим вопросам, помимо названных работ Ю. Н. Тынянова, В. М. Жирмунского, Л. Я. Гинзбург, содержатся также в кн.: Л. К. Долгополов. Александр Блок. Л., 1978, с. 98—100, 125, в его же статье «По законам притяжения (о литературных традициях в „Поэме без героя" Анны Ахматовой)» («Русская литература», 1979, № 4, с. 38—57), в ряде статей Р. Д. Тименчика, В. Н. Топорова, Т. В. Цивьян и др.

1. АХМАТОВА — БЛОКУ

(Петербург. 6 или 7 января 1914 г.)[1]

Знаете, Александр Александрович, я только вчера получила Ваши книги. Вы спутали номер квартиры, и они пролежали все это время у кого-то, кто с ними расстался с большим трудом. А я скучала без Ваших стихов.

Вы очень добрый, что надписали мне так много книг, а за стихи я Вам глубоко и навсегда благодарна [2]. Я им ужасно радуюсь, а это удается мне реже всего в жизни.

Посылаю Вам стихотворение, Вам написанное [3], и хочу для Вас радости. (Только не от него, конечно. Видите, я не умею писать, как хочу) [4].

Анна Ахматова

Тучков пер., 17, кв. 29[5]

[1] Датируется на основании записи Блока: «7 января. Письмо и стихи от *А. А. Ахматовой*».— ЗК, 200.

[2] В «Воспоминаниях об Ал. Блоке» Ахматова писала: «В одно из последних воскресений тринадцатого года я принесла Блоку его книги, чтобы он их надписал. На каждой он написал просто: „Ахматовой — Блок". ⟨...⟩ А на третьем томе поэт написал посвященный мне мадригал: „Красота страшна, Вам скажут..."». (А. А. Ахматова. Стихи и проза. Л., 1977, с. 556).

[3] К письму приложен автограф стихотворения Ахматовой «Я пришла к поэту в гости...» на отдельном листе.

[4] Последняя фраза, быть может, проливает некоторый свет на содержание беседы Блока с Ахматовой 15 декабря 1913 г. Похоже, что слова: «Видите, я не умею писать, как хочу» являются ответом на обращенные к Ахматовой слова Блока, которые могли звучать приблизительно так: «Вы умеете писать, как хотите». Если такие слова действительно были Блоком произнесены, то Ахматова по праву могла расценить их как весьма высокую оценку Блоком ее поэтических возможностей.

[5] Ахматова жила в это время с мужем в Царском Селе (Малая, 63). В Петербурге, в Тучковом переулке они снимали небольшую комнату («Тучка»).

2. БЛОК — АХМАТОВОЙ

18.I.1914.

Глубокоуважаемая

Анна Андреевна.

Мейерхольд будет редактировать журнал под названием «Любовь к трем апельсинам». Журнал будет маленький, при его студии, сотрудничают он, Соловьев, Вогак, Гнесин [1]. Позвольте просить Вас (по поручению Мейерхольда) позволить поместить в первом номере этого журнала — Ваше стихотворение, посвященное мне, и мое, посвященное Вам. Гонорара никому не полагается. Если Вы согласны, пошлите стихотворение Мейерхольду (Площадь Мариинского театра, 2), или напишите мне два слова, я его перепишу и передам.

Простите меня, что перепутал № квартиры, я боялся к Вам звонить и передал книги дворнику [2].

Преданный Вам

Александр Блок

Офицерская, 57, кв. 21. тел. 612—00.

На конверте: Её Высокородию
Анне Андреевне Гумилевой.
Царское Село, Малая, 63.

Поч. шт.: Санктпетербург. 18.I.14; Царское Село. 19.I.14.

[1] Владимир Николаевич *Соловьев* (1887—1941), Константин Адреевич *Вогак* (1887 —?), Михаил Фабианович *Гнесин* (1883—1957) — преподаватели студии Мейерхольда.

[2] Книги Блока с его дарственными надписями Ахматовой (см. наст. т., кн. 3, с. 28—29).

ПЕРЕПИСКА БЛОКА С Л. А. ДЕЛЬМАС НА ТЕАТРАЛЬНОМ ДИСПУТЕ 30 марта 1914 г.

Сообщение Ю. Е. Галаниной

В ленинградском Музее-квартире А. А. Блока (филиал Государственного музея истории Ленинграда) в составе собрания московского коллекционера Н. П. Ильина хранится ряд материалов, связанных с Блоком и оперной актрисой Л. А. Андреевой-Дельмас, которой посвящен один из шедевров лирики Блока — поэтический цикл «Кармен» [1].

Любовь Александровна *Андреева* (урожденная Тищинская, сценический псевдоним Дельмас [2], 1884[3]—1969) родилась и провела свое детство в Чернигове, на Украине, богатой народными песенными традициями. Благодаря родителям — матери-француженке, преподававшей музыку, и отцу — видному укринскому общественному деятелю, часто занимавшемуся организацией благотворительных концертов, Любовь Александровна с детства росла в атмосфере музыки и пения. В своей автобиографии, хранящейся в Музее-квартире А. А. Блока, она писала: «Я не помню себя не поющей. С детства мы 5 детей под руководством матери, которая нас обучала и музыке, знали многие песни. В гимназии я также выступала на всех гимназических концертах в качестве солистки». Окончив Черниговскую гимназию, Любовь Александровна приехала в Петербург, где в 1900 г. по конкурсу поступила в консерваторию. Она училась у одного из ведущих педагогов консерватории Н. А. Ирецкой и актрисы Мариинского театра М. А. Славиной, которая была первой исполнительницей партии Кармен на русской сцене. По окончании консерватории в 1905 г. певица, обладающая приятным меццо-сопрано, поступила в петербургскую труппу «Новая опера», где выступала вместе со своим мужем, впоследствии выдающимся солистом Мариинского театра П. З. Андреевым. В 1907/1908 гг. она была актрисой театра Солодовникова в Москве, сезон 1908/1909 гг. пела в Большом оперном театре в Киеве. В следующем сезоне Л. А. Андреева была принята в труппу петербургского Народного дома, где до весны 1913 г. пела такие партии, как Марины Мнишек в «Борисе Годунове» М. П. Мусоргского, Ольги в «Евгении Онегине», Полины в «Пиковой даме», боярыни Морозовой в «Опричнике» П. И. Чайковского, Зибеля в «Фаусте» Ш. Гуно, Никлауса в «Сказках Гофмана» Ж. Оффенбаха и др.

Совершая частые гастрольные поездки, в январе-феврале 1912 г. Л. А. Андреева-Дельмас выступала в опере «Борис Годунов» (партия Марины Мнишек) в Монте-Карло вместе с Ф. И. Шаляпиным [4], с которым пела еще в 1909 г. в Киеве (о благожелательном отношении Ф. И. Шаляпина к Л. А. Андреевой-певице свидетельствуют дарственные надписи знаменитого артиста на портретах, подаренных им. Л. А. Андреевой)[5].

Летом 1913 г. Л. А. Андреева участвовала в концертных программах в Париже, в Тургеневской библиотеке [6].

С начала сезона 1913/1914 гг. певица вступила в труппу петербургского Театра музыкальной драмы, куда была приглашена специально для участия в опере «Кармен» [7].

В партии Кармен Л. А. Андреева выступала еще в 1906 г. Сохранилась афиша гастрольного спектакля, осуществленного «Товариществом оперных артистов С.-Петербургской оперы» (режиссер О. Бестрих, дирижер М. Бихтер) [8].

Летом 1912 г. Л. А. Андреева-Дельмас вошла в труппу артистов, выступавших в петербургском Луна-Парке [9]. В этом театре актриса участвовала в нескольких постановках, в том числе — в опере Нугеса «Камо грядеши» (Поппея; реж. Н. Евреинов), в оперетте Лекока «Дочь m-me Анго» и др. Пела она и партию Кармен. По поводу образа Кармен, созданного этой актрисой, рецензент писал: «‹...› она привлекательна. Именно привлекательна. В передаче г-жи Андреевой-Дельмас Кармен является, быть может, лишенной огневой страсти, но зато и слушателем, и зрителем она приемлется, как Кармен, обладающая приятным голосом, приятной пластикой, вообще, как приятная Кармен» [10].

Следующим воплощением Л. А. Андреевой образа Кармен на сцене стала партия, спетая в петербургском Театре музыкальной драмы.

Театр этот, открывшись 11 декабря 1912 г. оперой «Евгений Онегин» П. И. Чайковского [11], сразу же привлек к себе большое внимание петербургской публики [12]. Труппа театра была составлена в основном из молодых певцов, недавно окончивших консерваторию. Вдохновленные руководителем театра И. М. Лапицким, выступавшим в печати со статьями о необходимости реформы оперной сцены еще за несколько лет до открытия ТМД, молодые актеры в своем стремлении преодолеть многолетнюю отсталость и рутину оперных постановок задались целью создать совершенно особый, новаторский тип оперных спектаклей (отсюда и термин «Музыкальная драма», заимствованный у Р. Вагнера, стремившегося к созданию в оперном произведении синтеза музыки, текста и действия). Одной из главных задач, которую ставили перед собой организаторы нового театра, было внесение в оперные спектакли принципов драматической игры, делающих оперное пение, по природе своей условное, естественным, а сценическое действие правдивым и убедительным (конечно, в осуществлении этого были и свои крайности, неизбежные для всего нового). Лапицкий, верный последователь театральных принципов Станиславского, сделал попытку перенести в оперный театр сценические приемы руководителя МХТ. Каждой постановке ТМД предшествовала большая подготовительная работа, которая должна была помочь актерам вжиться в создаваемые ими образы. Чтобы достичь максимальной реальности в оформлении спектаклей, на сцену в ТМД вносилось множество бытовых деталей. Эти натуралистические подробности не раз были объектом резкой критики со стороны рецензентов. В труппе ТМД не было выдающихся талантов, обладающих исключительными голосовыми данными, и это способствовало созданию единого актерского ансамбля, положительно оцененного современниками. Особым успехом пользовался хор ТМД, который был разбит на отдельные группы, и таким образом, из традиционной бессмысленной и статичной толпы, только отяжелявшей оперное действие, был превращен в живых, активных людей, каждый из которых и имел свою собственную роль [13]. Об успехе, которого добился ТМД, писали уже после второй премьеры театра — «Нюрнбергских мастеров пения» (21 декабря 1912 г.) [14]. До конца первого сезона были показаны еще две оперы — «Гензель и Гретель» Гумпердинка (4 января 1913 г.) [15] и «Садко» Римского-Корсакова (5 февраля 1913 г.) [16].

Второй сезон открылся 1 октября 1913 г. премьерой «Бориса Годунова» [17]. Вступившая к этому времени в труппу ТМД Л. А. Андреева стала основной исполнительницей партии Марины Мнишек. Очевидно, ей пригодился опыт, полученный в других постановках этой оперы. Критика встретила постановку ТМД довольно прохладно. Похвалив театр за кропотливую работу по подготовке спектакля, в которой чувствовалась увлеченность всей труппы, рецензенты упрекали его в чрезмерно вольном обращении с партитурой, нарушении темпа музыкальных партий, в отступлении от авторских ремарок в либретто [18]. В рецензиях Л. А. Андрееву-Дельмас сравнивали с другой актрисой театра — М. С. Давыдовой. Одна из газет писала по этому поводу: «Марину Мнишек на репетиции пела г-жа Давыдова, а на спектакле г-жа Андреева-Дельмас. У обеих свои достоинства и недостатки. Первой удается сделать Марину тоньше, аристократичнее, несмотря на то, что почему-то думают, будто Марина должна быть более „внушительной". ⟨...⟩ К сожалению, несмотря на музыкальность и несомненные способности этой артистки у нее порою не хватает голоса для партии Марины. Г-жа Андреева-Дельмас дает тип несколько более грубоватый: голос у нее ⟨...⟩ сильнее ⟨...⟩. В общем, однако, она справилась с партией недурно» [19]. Другой рецензент отмечал, что Л. А. Андреева в этом спектакле предстала «артисткой опытной, старательной и наделенной содержательным голосом» [20].

Следующей премьерой театра была постановка оперы Ж. Бизе «Кармен». Генеральная репетиция состоялась 6 октября 1913 г.[21], премьера — 9 октября [22]. Эту постановку критики почти единодушно назвали большой победой театра. В рецензиях писали о том, что в этом спектакле, совершенно не похожем на все предшествующие постановки в других театрах, опера предстала «яркой, живой, одухотворенной, засверкали ее пленительные краски, в ней загорелась настоящая жизнь». Одно из главных нововведений Музыкальной драмы заключалось в том, что действие оперы было перенесено в начало XX в., и таким образом, удалось разбить привычный трафарет создания пышной оперной Испании. «На сцене была подлинная Испания — не фантастическая Испания оперной сцены, где все мужчины ходят в костюмах тореадоров ...» [23]. Критики отмечали, что в этой опере театру удалось создать тот синтез пения и драматического действия, к которому он стремился. К недостаткам постановки относили в основном лишь натуралистические подробности оформления в последнем акте —

на сцене находился перевязочный пункт с фельдшером и медсестрой, оснащенный носилками, ватой и т. д. [24]

В премьере оперы «Кармен» Л. А. Андреева-Дельмас не участвовала. С начала сезона она была почти ежедневно занята в постановках «Бориса Годунова» (1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14 октября и т. д.). В опере Бизе она выступила впервые лишь в третьем спектакле, который состоялся 13 октября [25]. В дальнейшем за весь сезон 1913 /1914 гг. Л. А. Андреева исполняла партию Кармен лишь 11 раз (всего же за сезон опера была показана 50 раз). Ведущей исполнительницей этой партии в ТМД была М. С. Давыдова, внешние данные которой (она была караимкой) более подходили к типу Кармен. Актер ТМД С. Ю. Левик писал о ней в своих воспоминаниях: «Временами казалось, что не она вошла в спектакль, а весь спектакль пригнан к ней». Без Давыдовой сцены «тускнели, хотя исполнялись другими по тому же плану и совсем не плохо. Л. А. Андреева-Дельмас также была достаточно рельефна в роли Кармен ⟨...⟩ Но все же нужно сказать, что в этом „театре ансамбля", в „театре спектакля", который представлял собой ТМД, „Кармен" при Давыдовой казалась произведением монолитным, высеченным из каррарского мрамора. При других исполнительницах в мраморе проступали чуждые ему прожилки северного гранита» [26].

По рецензиям можно воссоздать образ Кармен, созданный на сцене ТМД. Современники писали, что в героине этой постановки «была настоящая притягательная сила ведьмы, ⟨...⟩ дразнящая, волнующая распущенность ⟨...⟩» [27]. При первом появлении на сцене Кармен ничем не выделялась из группы работниц табачной фабрики. «Оперного выхода примадонны нет. Кармен появляется незаметно. Она такая же работница, как и все. И костюм не подчеркивает героиню: темно-малиновая юбка, оранжевая блуза, черный фартук. Настоящая дочь народа. Но она выделяется красотой и развязностью манер: она знает себе цену. Некоторая вульгарность идет к типу» [28]. Во втором действии, в кабачке, «три куплета „Цыганской песни" исполняли по очереди Фраскита, Мерседес и Кармен. Фраскита начинала уставшим тоном в соответствии с сонным видом некоторых гостей ⟨...⟩ Это мало действовало. Мерседес брала более энергичный тон и пела гораздо зычнее. Кто-то приходил в себя. Тогда Кармен будила двух гитаристов и врывалась в песню со своим бешеным темпераментом. Она вскакивала на стол и исступленной пляской будила к жизни всех гитан. В кабачке все мгновенно превращалось в танцевальный вихрь». В последнем акте раненная Кармен «⟨...⟩ хватается обеими руками за колонну, но силы ее покидают. Одна рука падает, тогда тело, скользящее по круглой поверхности, поворачивается, ноги сгибаются, и Кармен, сползая вниз, остается в полусидячем положении. Хозе как бы нечаянно толкает ее и она падает навзничь» [29].

«Кармен» принесла ТМД большой успех, продемонстрировав сценические принципы этого театра. Впоследствии эту оперу не раз называли лучшей постановкой ТМД.

Следующей премьерой после «Кармен» был «Мазепа» Чайковского (10 декабря 1913 г.), в нем Л. А. Андреева пела партию Любови, матери Марии [30]. Затем до конца сезона были показаны премьеры опер «Богема» Пуччини (22 января 1914 г.) [31] и «Парсифаль» Р. Вагнера (24 февраля 1914 г.) [32]— Л. А. Андреева в них не участвовала. Кроме названных партий, в этом же сезоне она исполняла партию Любавы в опере «Садко», шедшей в ТМД второй год [33]. В дальнейшем в этом театре до 1919 г. Л. А. Андреева пела партии Солохи в «Черевичках» Чайковского (имела большой успех), Марфы в «Хованщине» и Хиври в «Сорочинской ярмарке» Мусоргского, Амнерис в «Аиде» Верди, Сузуки в «Мадам Баттерфляй» Пуччини и т. д. В последующие годы певица выступала в разных труппах, гастролировала, преподавала в консерватории. В 1916 и в 1920-х годах снова исполняла партию Кармен [34]. Однако, наиболее запоминающейся партией, прославившей имя этой актрисы, был образ Кармен, созданный ею в 1913/1914 гг. на сцене ТМД, вдохновивший Блока на создание одного из лучших поэтических циклов его лирики.

С деятельностью Театра музыкальной драмы Блок был знаком почти с самого начала существования этого театра. 10 декабря 1912 г. поэт записал в дневнике: «Милая на репетиции „Евгения Онегина" („Музыкальная драма", позвала ее Шура Никитина ⟨...⟩ муж ее — Бихтер — дирижирует в этой опере)» (VII, 191). Месяц спустя, 15 января 1913 г. сам Блок был на «Нюрнбергских мастерах пения». По-видимому, постановка не произвела на него большого впечатления, вернувшись из театра, он записал: «Все — „штатское" — и пение. Все-таки — плаваешь в музыкальном океане Вагнера. Как жаль, что я ничего не понимаю» (VII, 208). 9 февраля 1913 г. Блок слушал в ТМД оперу «Садко», которую в отличие от «Мейстерзингеров» нельзя отнести к лучшим постановкам театра, тем не менее после этого в дневнике появились

известные записи поэта: «Ничего нет нужнее музыки на свете; омытый ею, усталый» и далее: «Только музыка необходима. Физически другой. Бодрость ‹...›» (VII, 215).

1 апреля 1913 г., после закрытия сезона в ТМД, Блок был на опере «Кармен» с участием знаменитой исполнительницы заглавной партии, испанки Марии Гай, о которой упомянул лишь, что она была «не в духе» (VII, 235) [35].

Сведений о посещении Блоком ТМД в первой половине второго сезона не сохранилось. Частые посещения этого театра поэт фиксирует лишь начиная с января 1914 г. Из его записей известно, что 8 января он был на опере «Евгений Онегин» (IX, 200) — Л. А. Андреева в этом спектакле не участвовала. Затем, 12 января, 14 февраля и 2 марта — на «Кармен» (IX, 200, 207, 210) — в первых двух спектаклях пела Л. А. Андреева-Дельмас, в третьем — М. С. Давыдова. 22 марта поэт слушал «Парсифаль» (IX, 217, 219—220), 26 марта — «Богему» (IX, 218, 220) — Л. А. Андреева не была занята в этих спектаклях. 28 марта Блок снова был на «Парсифале», закрывающем второй сезон в ТМД (IX, 220). Кроме этого, возможно, 25 марта утром он был в этом театре на «Борисе Годунове» и вечером на «Парсифале» (IX, 218), а 27-го на «Кармен» (IX, 220) — во всех этих спектаклях Л. А. Андреева-Дельмас не выступала.

Начиная со 2 марта 1914 г. записи Блока о ТМД посвящены исключительно Любови Александровне Андреевой-Дельмас.

До сих пор неизвестен день, когда поэт впервые увидел на сцене эту актрису в роли Кармен. Он писал о том, что 14 февраля 1914 г. слушал Дельмас-Кармен третий раз (VIII. 433). До этого он был на спектакле с ее участием 12 января. Следовательно, впервые Блок видел эту актрису в опере «Кармен» на одном из восьми спектаклей с ее участием, предшествовавших этой дате,— 13, 16, 23, 26 октября, 15 ноября, 6, 27 и 29 декабря 1913 г.[36]

14 февраля 1914 г. написано первое письмо Блока к Л. А. Андреевой (VIII, 433), 4 марта — первое стихотворение из цикла «Кармен» (III, 227), 28 марта состоялось личное знакомство поэта с Л. А. Андреевой (IX, 220).

Об увлечении Блока этой певицей писали много [37]. Как известно, весной 1914 г. поэт пережил период огромного творческого подъема, подобные которому были в его жизни еще лишь дважды — в 1907 г. во время создания цикла «Снежная маска» и в 1918 г., когда он писал поэму «Двенадцать» (III, 474).

Очень характерно для Блока, что его внимание в опере «Кармен» привлекла именно Л. А. Андреева. Эта актриса предстала перед ним «влекущей колдуньей» [38], более притягательной, чем признанная премьерша М. С. Давыдова [39], потому, что поэт почувствовал в ней «воплощенную музыку» [40], ту внутреннюю сущность, для которой не важны внешние данные.— Естественными для Блока были золотисто-рыжие волосы испанской цыганки Кармен (Л. А. Андреева пела в опере без парика), славянский тип ее лица, живость и эмоциональность. Эта музыка, исходящая для Блока от Л. А. Андреевой, увлекала, захватывала против воли, сопротивляться ей было невозможно.

Близкие отношения Блока с певицей продолжались до конца его жизни. В дальнейшем он написал еще целый ряд произведений, вдохновленных этой женщиной, лучшими среди которых остаются стихотворения, включенные в поэтический цикл «Кармен». Поэт присутствовал на вечерах и спектаклях с участием Л. А. Андреевой-Дельмас, интересовался новыми постановками Театра музыкальной драмы.

Однако, не следует считать, что внимание Блока к ТМД объяснялось только его увлеченностью актрисой. Поэта чрезвычайно привлекали принципы, воплощенные в постановках этого театра, стремление следовать теоретическим работам Рихарда Вагнера — художника, очень высоко ценимого Блоком, создать на оперной сцене гармоническое сочетание музыки, речи и движения. Кроме этого, ТМД для него был связан с очень важным «вопросом о двух правдах — Станиславского и Мейерхольда» (VII, 187), который был непосредственным отражением борьбы реалистического и условного направлений на русской сцене того времени. 21 февраля 1914 г. Блок писал: «Опять мне больно все, что касается *Мейерхольдии*, мне неудержимо нравится „здоровый реализм“, Станиславский и Музыкальная драма. Все, что получаю от театра, я получаю *оттуда*, а в Мейерхольдии — тужусь и вяну» (IX, 209). И еще две недели спустя: «Люблю в „Онегине“, чтоб сжалось сердце от крепостного права. Люблю деревянный квадратный чан для собирания дождевой воды на крыше над аптечкой возле Plaza de Toros в Севилье (Музыкальная драма — „Кармен“). Меня не развлекают, а мне помогают мелочи (кресла, уюты, вещи) в чеховских пьесах (и в „Кармен“, например, тоже).

Очень люблю *психологию* — в театре. И вообще чтобы было питательно» (IX, 214).

И тем не менее Блок продолжает поддерживать связи с признанным главой условного театра — Мейерхольдом. Именно на 1914 г. падает период наиболее активного сотрудничества Блока с этим режиссером, что объясняется некоторым потеплением его отношения к Мейерхольду [41]. С 1914 г. Блок начинает редактировать отдел поэзии в журнале «Любовь к трем апельсинам», издаваемом учащимися театральной студии Мейерхольда. Одновременно студийцы под руководством Мейерхольда осуществляют постановку двух лирических драм Блока «Балаганчик» и «Незнакомка».

Интерес Блока к Мейерхольду, особенно возросший в это время, проявился и в том, что 30 марта 1914 г. поэт посетил диспут о театре, организованный редакцией журнала «Любовь к трем апельсинам», возглавляемой В. Э. Мейерхольдом. На этот диспут Блок пригласил Л. А. Андрееву-Дельмас.

Первая часть материалов из сборника ленинградского Музея-квартиры Блока, публикуемых в настоящей работе, представляет собой записки поэта к Л. А. Андреевой-Дельмас на театральном диспуте, состоявшемся 30 марта 1914 г. в зале Тенишевского училища [42]. Диспут этот был организован для ознакомления широких кругов публики с историей итальянской комедии масок и ее сценическими принципами, в которых Мейерхольд видел пути возрождения современного театра.

Как сообщалось в хронике журнала, на диспуте состоялись следующие выступления: Вольмар Люсциниус (псевд. В. Н. Соловьева) — «Сеньор Гольдони, граф Гоцци, аббат Кьяри», К. А. Вогак — «Театральные маски», В. П. Веригина — «Фантастический театр», К. М. Миклашевский — «Итальянское возрождение и театр». Е. А. Зноско-Боровский — «Импровизация», К. К. Кузьмин-Караваев — «Театральные эмоции», В. Э. Мейерхольд — «Гротеск» [43]. Некоторое представление о содержании докладов позволяют составить отзывы о диспуте, появившиеся в печати [44].

Блок пригласил Л. А. Андрееву-Дельмас на диспут 29 марта — на следующий день, после того как произошло их личное знакомство. В этот день он писал ей: «Скажите мне по телефону, хотите ли Вы пойти со мной завтра вечером в Тениш⟨евское⟩ училище на conférence Трех апельсинов? Если Вы свободны, и если Вам не скучно,— моя мать пойдет отдельно, билеты у меня есть. Начало в 8 1/2 ч.» [45].

Об этом вечере поэт писал в записной книжке: «Телефон утром.— Диспут трех апельсинов в Тенишевском зале,— мы идем с ней (вернулись в 4 часа ночи). Мама с тетей. ⟨...⟩ Дождь, ванна, жду вечера. Надел обручальное кольцо.— Розы, ячмень, верба и красное письмо» (IX, 221).

Хранящиеся в Музее-квартире Блока записки сделаны на 12 листках небольшого формата, причем преимущественное число записей принадлежит поэту. Л. А. Дельмас делала лишь короткие приписки. Стиль записок Блока — осторожность в суждениях и характеристиках выступающих — объясняется тем, что на диспуте произошла лишь вторая его встреча с актрисой, во время которой он только начинал выяснять ее вкусы и интересы. В записках сам Блок объясняет особенности своего восприятия выступления следующим образом: «Сегодня очень странно слушать; почти ничего не понимаю, и вдруг отдельные образы или слова — освещенные каким-то странно ярким и страшным светом от Вас». Этим, очевидно, следует объяснить тот факт, что в записках отсутствует упоминание важнейшего выступления на диспуте — доклада Мейерхольда «Гротеск», раскрывающего идеи, наиболее значимые для режиссера в этот период. Единственная запись Блока о Мейерхольде сделана, очевидно, во время доклада В. Н. Соловьева.

В переписке Блока и Л. А. Дельмас на диспуте отсутствует авторская нумерация листов, поэтому последовательность записей дается, когда это возможно, в соответствии с очередностью выступлений на диспуте. В заключение помещаются записи, которые не могли быть отнесены к определенному докладу. В тексте имеется рисунок Блока, изображающий Пьеро, и начертанные поэтом геометрические фигуры, которые, возможно, имеют связь со строго определенными, подчеркнуто графическими схемами движений персонажей по сцене в итальянской комедии масок.

Текст приводится с соблюдением особенностей авторской пунктуации. Записи, находящиеся на разных листках, в публикации отделены друг от друга тремя звездочками.

Вторую группу публикуемых материалов составляют два черновых наброска письма Блока к Карлу Александровичу Гутхейлю (1851 — после 1914) — владельцу московской музыкально-издательской фирмы. Издательство Гутхейля, основанное в 1859 г. А. Б. Гутхейлем и перешедшее в 1883 г. в ведение его сына К. А. Гутхейля, после расширения в 1886 г., когда в него вошло нотное издательство Ф. Стелловского, стало одним из крупнейших в дореволюционной России (со дня основания и до перехода фирмы в 1914 г. к С. А. и Н. К. Кусевицким выпущено 12000 названий) [46].

Обращение Блока к издателю было связано с комментированием стихотворения Ап. Григорьева «А. Е. Варламову» для подготавливаемого им собрания стихотворений этого поэта.

Как известно, поэзию Ап. Григорьева Блок ценил очень высоко. На его стихотворения, посвященные Варламову, Блок обратил внимание еще в юности. В июне 1902 г., читая Ап. Григорьева в поезде по пути в Шахматово, Блок записал о стихотворениях, посвященных этому композитору: «(К. Варламову) ‹„А. Е. Варламову“ и „Звуки“› прекрасны» (IX, 30).

В 1914 г. Блок получил предложение издателя К. Ф. Некрасова редактировать собрание сочинений Аполлона Григорьева, подготавливаемое в связи с 50-летием со дня его кончины.

Занимаясь комментированием стихотворения «А. Е. Варламову» («Да будут вам посвящены...»), 27 октября 1914 г. Блок упомянул в записной книжке телефонный разговор «по поводу сочинений А. Е. Варламова» с Сергеем Константиновичем Буличем (IX, 245) — музыковедом и лингвистом, который был близко связан со многими литераторами конца XIX — начала XX в. Он возглавлял «Общество писателей о музыке», был автором ряда работ, посвященных значению художественного творчества писателей для развития русской музыкальной культуры [47]. Поэт обратился к нему, очевидно, зная о большой статье Булича «„Александр Егорович Варламов“ (1801—1848). Несколько новых данных о его биографии» [48]. Однако, по-видимому, телефонный разговор желаемого результата не дал. В письме Блока упоминается профессор Петербургской консерватории Станислав Иванович *Габель* (1849—1924) [49], к которому с вопросом об издании биографии Варламова обратилась, очевидно, по просьбе Блока Л. А. Дельмас, хорошо знавшая его (учеником С. И. Габеля был ее муж П. З. Андреев). Как следует из текста письма Блока, И. С. Габель посоветовал написать К. А. Гутхейлю — так появились черновые наброски письма, хранящиеся в Музее-квартире Блока. Письмо было составлено Блоком от имени Л. А. Андреевой-Дельмас. Объясняется это, по-видимому, тем, что поэт счел более уместным подписать письмо, затрагивающее музыкальные темы, именем оперной актрисы.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См. III, 227—239.

[2] Л. А. Андреева была вынуждена в 1906 г. взять сценический псевдоним (фамилию своей матери) в связи с тем, что в это время в Петербурге выступала оперная певица М. И. Андреева.

[3] Дата рождения указывается в соответствии с записью в паспорте певицы, хранящемся у ее племянницы И. А. Фащевской.

[4] РО ГПБ, ф. 1056 (П. З. Андреев), ед. хр. 375.

[5] В фонде Л. А. Андреевой (рукописный отдел ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина) имеются пять портретов Шаляпина с его дарственными надписями певице, относящимися к 1909—1911 гг. Приводим тексты трех из них: «В знак искреннего уважения милому товарищу Любови Александровне Андреевой (Дельмас) от Федор‹а› Ш а л я п и н а. Киев 19 Апр. 909», «Милому Зибелю — Любови Александровне Мефистофель Шаляпин. Апр. 1909. 19», «На добрую память Любови Александровне Андреевой-Дельмас в знак симпатии с пожеланиями всяких успехов. „Сгорим, но не дадимся“. Ф. Ш а л я п и н. СПб. 2 дек. 1911» (РО ГПБ, ф. 1056, ед. хр. 505—507).

[6] РО ГПБ, ф. 1056, ед. хр. 375.

[7] РО ГПБ, ф. 1056, ед. хр. 372, л. 31 об.

[8] Там же, л. 32.

[9] Там же, л. 39.

[10] Там же, ед. хр. 372, л. 31 об.

[11] «Обозрение театров», 1912, № 1936, 11 декабря с. 25.

[12] О ТМД см.: «Театр Музыкальной драмы». СПб., 1912; С. Л е в и к. Записки оперного певца. М., 1962; е г о ж е. Четверть века в опере. М., 1970; А. Х е с с и н. Из моих воспоминаний. М., 1959; А. Г о з е н п у д. Русский оперный театр между двух революций (1905—1917). Л., 1975.

[13] Осенью 1913 г. хор ТМД получил приглашение от С. П. Дягилева принять участие в русском оперном сезоне в Германии («Речь», 1913, № 305, 7 ноября, с. 7).

[14] «Обозрение театров», 1912, № 1946, 21 декабря, с. 29.

[15] Там же, 1913, № 1959, 4 января, с. 29.
[16] Там же, 1913, № 1989, 5 февраля, с. 21.
[17] Там же, 1913, № 2219, 1 октября, с. 33.
[18] «Речь», 1913, № 267, 30 сентября, с. 5; № 270, 3 октября, с. 7; «Театр и жизнь», 1913, № 148, 3 октября, с. 4—5.
[19] «Обозрение театров», 1913, № 2219, 1 октября, с. 14.
[20] РО ГПБ, ф. 1056, ед. хр. 372, л. 21.
[21] «Речь», 1913, № 272, 5 октября, с. 7.
[22] «Обозрение театров», 1913, № 2227, 9 октября, с. 27.
[23] Там же, № 2229, 11 октября, с. 12.
[24] «Театр и жизнь», 1913, № 156, 11 октября, с. 4—6; «Театр и искусство», 1913, № 47, 24 ноября, с. 964.
[25] «Обозрение театров», 1913, № 2231, 13 октября, с. 31.
[26] С. Л е в и к. Записки оперного певца. М., 1962, с. 632.
[27] «Обозрение театров», 1913, № 2229, 11 октября, с. 14.
[28] «Речь», 1913, № 278, 11 октября, с. 7.
[29] С. Л е в и к. Записки оперного певца. М., 1962, с. 691—692, 695.
[30] «Обозрение театров», 1913, № 2289, 10 декабря, с. 30.
[31] Там же, 1914, № 2331, 22 января, с. 27.
[32] Там же, № 2362—2363, 23—24 февраля, с. 29.
[33] Там же, № 2247, 29 октября, с. 25.
[34] РО ГПБ, ф. 1056, ед. хр. 373, 372, л. 31 об.
[35] В исполнении Марии Гай Кармен представала молодой девушкой, полной непосредственности и душевной чистоты. По-видимому, 1 апреля 1913 г. Блок не впервые слушал Марию Гай (эта актриса выступала в партии Кармен в Петербурге в октябре 1906 и в апреле 1910 гг.), так как по свидетельству М. А. Бекетовой, эта певица Блоку «очень понравилась» (М. А. Б е к е т о в а. А. Блок. Биографический очерк. Л., 1930, с. 192), а мать поэта писала о том, что до знакомства с Л. А. Андреевой он уже пережил увлечение Кармен (см. наст. т., кн. 3, с. 431).
[36] См. соответствующие №№ «Обозрения театров».
[37] А. Г о р е л о в. Гроза над соловьиным садом. Л., 1973; «А. Блок и современность». М., 1981, с. 265—289; «Звезда», 1969, № 11, с. 190—199; 1970, № 11, с. 177—201.
[38] «Звезда», 1970, № 11, с. 196.
[39] Ср. характеристику, данную Блоком М. С. Давыдовой: «коротконогая и рабская подражательница Андреевой-Дельмас» (IX, 211).
[40] «Звезда», 1970, № 11, с. 201.
[41] «Театр», 1980, № 11, с. 41—42.
[42] Гос. музей истории Ленинграда, ф. материалов А. А. Блока, КП-97646. Отдельные фрагменты записок были опубликованы в следующих изданиях: «Звезда», 1969, № 11, с. 191; «Простор», 1970, № 3, с. 98; «Звезда», 1979, № 11, с. 186, 188; «Альманах библиофила». Вып. VIII. М., 1980, с. 72.
[43] «Любовь к трем апельсинам», 1914, № 3, с. 91.
[44] «Речь», 1914, № 89, 1 апреля, с. 5, № 93, 5 апреля, с. 3; «День», 1914, № 89, 1 апреля, с. 3; «Театр и искусство», 1914, № 14, 6 апреля, с. 319; «Обозрение театров», 1914, № 2396, с. 6; № 2398—99, с. 20.
[45] «Звезда», 1970, № 11, с. 193.
[46] «Музыкальная энциклопедия», т. 2. М., 1974, стлб. 121.
[47] Там же, т. 1. М., 1973, стлб. 604—605.
[48] «Русская музыкальная газета», 1901, № 45—46, 49. Вышла отдельным оттиском в СПб в 1902 г.
[49] «Музыкальная энциклопедия», т. 1, стлб. 864.

I

Gozzi, Chiari *[1]
Мейерхольд — необыкновенно
милый и *грустный*
человек

Chiari
Надо бы пересесть [2]
Bravo morti **[3]
Вам еще не скучно? [4]
А я ничего не слышу.

---

* Гоцци, Кьяри (*итал.*)
** Браво, мертвецы (*искаж. итал.*)

[1] Карло *Гоцци* (Gozzi, 1720—1806) — итальянский драматург, выступал с резкими нападками на своих соотечественников, драматургов Карло *Гольдони* (1707—1793) и Пьетро *Кьяри* (Chiari, 1711—1785), упрекая их в том, что они отрывают театр от его народных корней, являются распространителями просветительских идей, чуждых Италии. Гоцци стремился возродить на сцене принципы народной итальянской комедии масок, утверждающей в театре сказочную фантастику, буффонаду, условность и импровизацию.

Доклад на тему «Сеньор Гольдони, граф Гоцци, аббат Кьяри» прочел на диспуте Владимир Николаевич *Соловьев* (1888—1941) — режиссер, педагог и театральный критик. В студии Мейерхольда вел класс, в котором знакомил с принципами сценической игры итальянской комедии масок. На страницах журнала «Любовь к трем апельсинам» опубликовал ряд статей, посвященных комедии дель арте и несколько драматических произведений.

[2] В. П. Веригина писала об этом диспуте и своем выступлении на нем: «Когда я рассказывала о предполагаемом выступлении Александру Александровичу, он начал посмеиваться, пугать, что будет сидеть непременно в первом ряду и рассмешит меня. Когда я вышла на эстраду вместе со всеми выступающими, мне сразу бросился в глаза Блок, действительно сидевший в первом ряду, рядом с певицей Андреевой-Дельмас. Блок смотрел на меня веселыми глазами, я укоризненно покачала головой» (В. П. Веригина. Воспоминания. Л., «Искусство», 1974, с. 201).

[3] Возможно, в своем докладе В. Н. Соловьев упоминал И.-В. Гете, положительно оценившего драматические опыты Гоцци (Собр. соч. в 10-ти томах, т. 9. М., 1980, с. 45), и пересказывал описание спектакля в венецианском театре, приведенное в «Итальянском путешествии» Гете: «Пьеса была недурна, автор выложил все свои трагические козыри, и актерам было легко играть. Некоторые положения были общеизвестны, другие новы и даже удачны. Два отца, исполненных ненависти друг к другу, сыновья и дочери этих разделенных враждою семейств, страстно влюбленные вопреки родовой вражде, более того, одна пара даже тайно обвенчана. Вокруг молодых людей разыгрывались свирепые, дикие страсти, и под конец автору, чтобы устроить их счастье, пришлось заставить заколоться обоих отцов, после чего занавес опустился под бурные аплодисменты. Овация становилась все громче, публика кричала: „Fuora!“ („Выходите!“ — *Ю. Г.*) — до тех пор, покуда две главные пары не выбрались из-под занавеса, чтобы отвесить несколько поклонов и уйти в другую кулису.

Но публика этим не удовлетворилась, под неумолчные аплодисменты она вопила: „I morti“. Длилось это, покуда оба мертвеца не вышли, чтобы, в свою очередь, раскланяться, а так как многие все еще кричали: „Bravi i morti!“ — то их еще долго задерживали на просцениуме, прежде чем отпустить» (там же, с. 44).

Пользуюсь случаем выразить свою глубокую благодарность М. Л. Гаспарову, указавшему мне на описанный Гете эпизод.

[4] Одно слово на следующей строке и строка на полях густо зачеркнуты.

* * *

Вл. Ник. Соловьев
Вольмар Люсциниус
он написал несколько *интермедий* [1]
Вы бывали на диспутах? [2]
МАСКИ [3]

[1] В. Н. Соловьев, выступая под псевдонимом Вольмар Люсциниус (от латин. luscinius — соловьиный), написал ряд интермедий, арлекинад и либретто пантомим для упражнений учащихся Студии: «Арлекин, пристрастный к картам» («Любовь к трем апельсинам», 1914, № 4), «Арлекин, продавец палочных ударов», «Арлекин, ходатай свадеб» (отзыв Блока см. в кн. «Уч. зап. Тартуского Гос. ун-та», вып. 104, 1961, с. 353), «Два жонглера, старуха со змеей и кровавая развязка», «Женщина — кошка, птица и змея» (две последние — совместно с Доктором Дапертутто). Кроме того, в журнале Мейерхольда был напечатан дивертисмент «Любовь к трем апельсинам», написанный по сценарию К. Гоцци В. Н. Соловьевым совместно с Мейерхольдом и К. А. Вогаком («Любовь к трем апельсинам», 1914, № 1, с. 18—47), вызвавший отрицательный отзыв Блока (VII, 232; VIII, 413), и пьеса «Огонь», написанная В. Н. Соловьевым, Ю. М. Бонди и Мейерхольдом («Любовь к трем апельсинам», 1914, № 5, с. 19—55).

[2] Следующая строка густо зачеркнута.

[3] Далее два слова густо зачеркнуты.

«Театральные маски» — тема выступления на диспуте К. А. Вогака. Статья Вогака «О театральных масках» опубликована в журнале «Любовь к трем апельсинам» (1914, № 3).

Константин Андреевич *Вогак* (1887 — ?) — театровед, критик, преподаватель студии В. Э. Мейерхольда (курс техники стихотворной и прозаической речи), переводчик. Автор ряда статей по истории западноевропейского театра (Гоцци, Мольер и т. д.). В первом номере журнала «Любовь к трем апельсинам» за 1914 г. опубликована рецензия Вогака на драму Блока «Роза и Крест», в которой он выделяет те особенности произведения, которые близки театральным приемам студии Мейерхольда: симметрическую законченность сценической формы, схематику деления персонажей на два противопоставленных друг другу мира и гротеск в обрисовке некоторых сцен.

* * *

Она — словом [1]
Будет в Балаганчике играть
и играла у Коммиссаржевской [2]
Только по моему *не* актриса [3]

[1] Предшествующие пять строк густо зачеркнуты.

[2] Актриса студии Мейерхольда Валентина Петровна *Веригина* (в замужестве Бычкова, 1882—1974), принимавшая участие в постановках Мейерхольдом лирической драмы Блока «Балаганчик» в 1906 и 1914 гг. (исполнительница женской роли во второй паре влюбленных), выступила на диспуте 30 марта 1914 г. с речью «Фантастический театр». В. П. Веригина — автор воспоминаний о Блоке («Уч. зап. Тартуского гос. ун-та», вып. 104, с. 310—371). Блока связывали с ней теплые дружеские отношения, особенно в период его сближения с театром В. Ф. Коммиссаржевской (1906—1908). Блок ценил в В. П. Веригиной хорошего рассказчика, советовал ей заняться литературным творчеством. В письме к матери он писал: «Она очень хорошо рассказывает и говорит по-русски, вообще — в ней есть милая русская женщина» (VIII, 332—333).

[3] Написано на полях.

Блок, очень требовательно относившийся к званию «актриса», приравнивая его к понятию «художник» (такой актрисой для поэта была В. Ф. Коммиссаржевская), в ряде высказываний весьма критически отзывается о театральной деятельности В. П. Веригиной. Так, в письме к жене (1913) он писал: «〈...〉 очень милая, но, в самом деле, нельзя же считать серьезно, что она относится к театру» (VIII, 427). Ср. в воспоминаниях В. П. Веригиной: «Надежда Ивановна 〈Комаровская. — *Ю. Г.*〉 сразу почувствовала к себе дружеское отношение со стороны поэта, они очень скоро подружились. 〈...〉 В одну из прогулок Блок сказал ей с шутливой интонацией: Вы не похожи на актрису, Вы, как Валя Веригина» (Уч. зап. Тартуского гос. ун-та, вып. 104, с. 370).

* * *

〈Д.〉 Мне почему-то нравится
〈Б.〉 Это не она сочинила.
А может быть и она [1]
[На вас смотрит молодой
человек
А на меня — старая девушка] [2]
〈Д.〉 Я была в келье Савонароллы
〈Б.〉 *И я* [3].
Очень сильное впечатление производит *сломанная скамья* [4].

[1] В. П. Веригина в воспоминаниях пишет о своем выступлении на диспуте: «Моя речь касалась преображенного театра старой Италии. По пророчеству Карло Гоцци, образ фантастического театра, скрывшийся некогда в море, должен был выплыть у северных берегов. Я говорила о том, что это случится в Петербурге. В сиянии белой ночи старый театр будет неузнаваемым. По-иному зазвенят бубенцы, по-иному засияют цветные лоскутки на его плаще, и маски получат другое значение. Мудрость и юмор севера дадут старому театру другое содержание» (В. П. Веригина. Указ. соч., с. 201—202).

[2] Вся фраза зачеркнута.

[3] Джироламо *Савонарола* (1452—1498) — флорентийский религиозно-политический деятель и поэт. Выступал против тирании Медичи, способствовал установлению республиканского строя во Флоренции. В 1497 г. Савонарола отлучен от церкви, в 1498-м арестован, повешен, труп сожжен на костре. Деятельность Савонаролы связана с монастырем Сан-Марко во Флоренции, одной из достопримечательностей которого в последующие века стала бережно сохраняемая келья Савонаролы. Блок был во Флоренции дважды — в 1884 и в 1909 г. В стихотворении Блока «Умри, Флоренция, Иуда...» упоминается казнь Савонаролы на площади Синьории во Флоренции.

[4] Вся фраза написана на полях. Последнее слово повторено дважды. В путеводителях по Флоренции начала XX в. среди вещей Савонаролы, сохранившихся в монастыре Сан-Марко, упоминаются «распятие, четки, остатки его одежды, обломок того столба, к которому он был привязан на костре 〈...〉 старинное седалище с его гербом» (Е. Долгова. Флоренция. Картинные галереи. II. Галерея Питти. Академия художеств. Музей Сан-Марко и др. М., 1905, с. 145).

* * *

Он — шахматный маэстро и лицеист
Победил однажды, кажется Капа-Бланку [1]

[1] Евгений Александрович *Зноско-Боровский* (1884—1954) — драматург и театровед, секретарь редакции журнала «Аполлон». Как шахматист выделился в турнирах Александровского лицея, который окончил в 1904 году. В 1907 году на международном турнире в Остенде добился звания маэстро. Вел шахматные отделы в «Новом времени» и в «Ниве». Автор нескольких книг по истории и теории шахматной игры. В декабре 1913 г. во время первых гастролей в России Х.-Р. Капабланки выиграл партию у знаменитого кубинского шахматиста (см. «Речь», 1913, № 335, 7 декабря, с. 7). Е. А. Зноско-Боровский — автор рецензии на постановку Мейерхольдом «Балаганчика» и «Незнакомки» Блока в 1914 г. («Современник», 1914, № 11, с. 118—123). В своем выступлении на диспуте он говорил об импровизации, требующей особой подготовки актера, который должен в совершенстве владеть сценической техникой.

В нижней части листа нарисованы геометрические фигуры — квадрат и два треугольника.

* * *

Не могу слушать.
Вас слышу.
Почему Вы каждый день
в новом платье?
Нет, — — — —
Не слышу
Пришла Тэффи [1].
Надо пересесть?
Теперь уже неловко?

[1] *Тэффи* (псевд. Надежды Александровны *Бучинской*, урожденной Лохвицкой, 1872—1952) — писательница, автор юмористических рассказов, пьес, фельетонов и критических статей. Н. А. Бучинская была постоянной фельетонисткой «Биржевых ведомостей» и «Русского слова», одной из ведущих сотрудниц «Сатирикона» и «Нового сатирикона».

* * *

Слушайте! Статья
была в
газете *День* [1].
Все это я вижу во сне, что
Вы со мной рядом, когда
проснусь, никто даже не сможет
сказать мне было это, или не
было потому что Вы даже не
[вспомните об этом никогда] [2].
А если это будет часто?
Мы пересядем
в перерыве
〈Д.〉 *ой к*
〈Б.〉 Какая Вы умница, все
знаете, а я профан 〈Д.〉-*ка* [3]

[1] «День» — петербургская газета (1912—1917), после февральской революции — орган меньшевиков. В газете печатались Г. Чулков, Ф. Сологуб, Д. Мережковский, Ан. Чеботаревская, В. Шершеневич и др. В еженедельном приложении к газете «Отклики» (1914, № 6) была опубликована статья Д. Крючкова «Любовь к трем апельсинам» (Журнал доктора Дапертутто)», содержащая положительную оценку двух первых номеров журнала.

[2] Зачеркнуто, возможно Л. А. Дельмас.

[3] Ниже нарисован прямоугольник и литера А.

* * *

Сегодня очень странно
слушать: почти ничего
не понимаю, и вдруг
отдельные образы
или слова — освещенные каким-то
странно ярким

и страшным
светом
от Вас.
Напр. Эдгар По [1]

[1] Фраза «Напр. Эдгар По» приписана на полях.

Эдгар Аллан *По* (1809—1849) — американский писатель. Оказал большое воздействие на писателей французского и русского символизма, которые называли Э. А. По своим предшественником. Среди книг, принадлежавших Л. А. Дельмас, сохранился первый том Собрания сочинений Эдгара По с инскриптом А. А. Блока (см. наст. т., кн. 3, с. 64).

* * *

Это — 1) Леон. Андреев [1]
2) Карпов и пр. [2]
Сургучев
— Торговый дом [3]
3) Commedia
del' arte.
Пришла Л. Я. Гуревич [4].
κάυαρσις τῶν
παυημάτων [5]
Так называется *очищение*
(Аристотель) [6]

[1] Об отношении А. А. Блока к Л. Н. Андрееву см. статью В. И. Беззубова «Александр Блок и Леонид Андреев» («Блоковский сб.», 1, с. 226—320).

[2] Евтихий Павлович *Карпов* (1857—1926) — режиссер и драматург. Написал более 20 пьес из крестьянского и помещичьего быта, отличающихся натурализмом и примитивной односторонностью. Театральные приемы Е. П. Карпова Блок пародирует в шуточной «трагедии» «Укрощение строптивой» (III, 417—422). В «Письме о театре» (1918) Блок пишет: «Искусство кончается там, где начинается Евт. Карпов» (VI, 450).

[3] Илья Дмитриевич *Сургучев* (1881—1956) — драматург, автор эффектно построенных пьес с мнимыми конфликтами, в которой драматург подражал писательской манере Достоевского и Чехова. После постановки первой пьесы Сургучева «Торговый дом» (отд. изд. в 1913 г. в изд. Рассохина) в 1913 г. в Александринском театре газеты писали о бездарности этой пьесы, демонстрирующей полный упадок современного бытового репертуара.

15 декабря 1913 г. еженедельник «Театр и искусство» писал: «На недавней лекции о современном театре В. Э. Мейерхольд, говоря о репертуаре Александринского театра, рекомендовал бросать гнилыми яблоками в артистов, играющих такие пьесы, как „Торговый Дом“» (№ 50, с. 1026).

[4] Далее зачеркнуто четырехзначное число.

Л. Я. Гуревич выступала с пропагандой и защитой театральных принципов Московского Художественного театра. В 1910-х годах ее статьи и рецензии печатались в «Речи», «Русских ведомостях», «Русской молве» (в 1913 г. заведовала театральным отделом) и др. изд. Об отношениях Блока с Гуревич см. в разделе «Дарственные надписи Блока на книгах и фотографиях» (наст. т., кн. 3).

[5] «Очищение страстей» (*греч.*)

[6] В «Поэтике» Аристотеля (гл. VI) дается следующее определение: «трагедия есть подражание действию ⟨...⟩, совершающее посредством сострадания и страха очищение подобных страстей» (цит. по последнему переводу, выполненному М. Л. Гаспаровым и опубликованному в кн.: «Аристотель и античная литература». М., «Наука», 1978, с. 120).

* * *

⟨Б.⟩ L'Origan? ⟨Д.⟩ Coti [1].

Тот, кто предложил бы мне рассказать, что говорили, попал бы в грязную историю.

Вы *учились* или нет
в [Scala]
(*Милан*) [2]

[1] Марки французских духов (правильное написание — «Coty»).

[2] Слово «Scala» повторено дважды и оба раза зачеркнуто, видимо, Дельмас.

«Ла Скала» — название оперного театра в Милане, который является одним из крупнейших центров мировой оперной культуры. Как уже указывалось, Л. А. Андреева в 1905 г.

окончила Петербургскую консерваторию (см. вступ. ст. к наст. публ.).

* * *

Стало грустно.
Наверное, Вам нравятся всякие *интермедии*, потому что в Вас много детского [1].

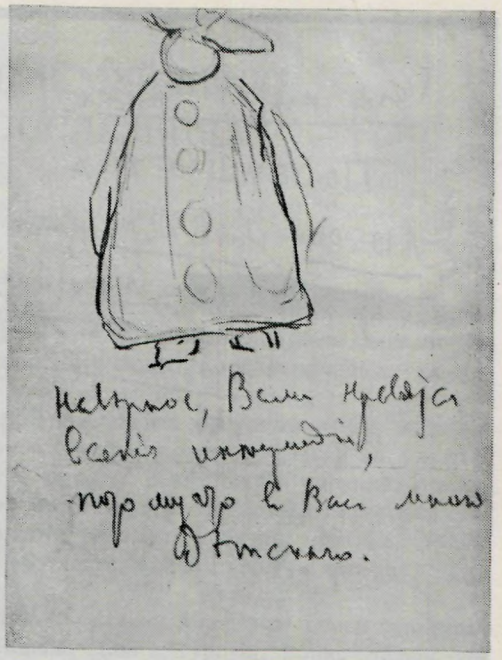
[1] В верхней части листа рисунок Блока, изображающий Пьеро.

* * *

А как Вам нравится такое сочетание

Розы, верба и рожь?
Это послано с целью —
с какой?
Почему рожь? [1]

В стихах я имею право писать, что угодно, Вы не можете запретить.
АБ.



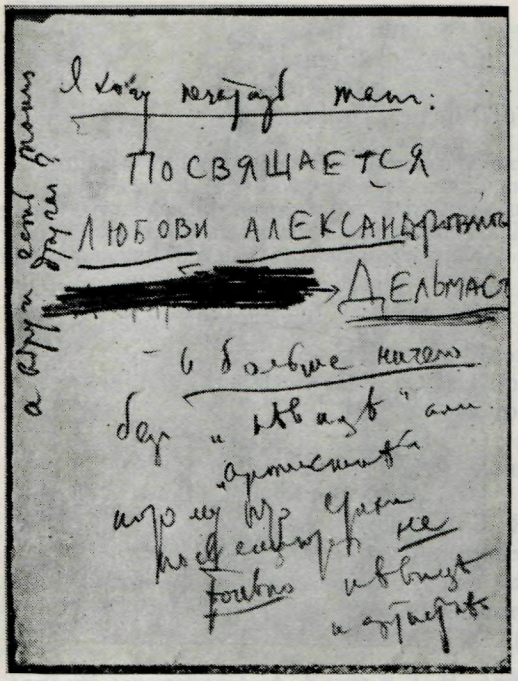
ЗАПИСКА БЛОКА Л. А. ДЕЛЬМАС НА ТЕАТРАЛЬНОМ ДИСПУТЕ 30 МАРТА 1914 Г.
Автографы
Музей А. А. Блока, Ленинград

[1] Ср. запись в записной книжке Блока: «Розы, ячмень, верба и красное письмо» (IX, 221). В тот же день, 30 марта 1914 г., было написано стихотворение «Вербы — это весенняя таль...» (III, 235).

Символика растений, зародившаяся в древнейшие времена и широко используемая в XVIII—XIX вв. в разнообразных руководствах по составлению букетов, особое распространение получила в конце XIX в., о чем свидетельствуют издания многочисленных святочных игр для народа, основанных на эмблематическом значении растений. Для Блока, проявлявшего большой интерес к народным верованиям и представлениям о силах природы, особое значение символика цветов приобретает в период его знакомства с Л. А. Андреевой-Дельмас. В своих воспоминаниях актриса писала о том, что после каждого выступления в партии Кармен Блок присылал ей розы — «эмблему красоты, радости жизни, „восторга любви и счастья обладания“» («Аврора», 1971, № 1, с. 67, 68). Ср. записи самого поэта: 23 мая 1914 г.— «Возвращаюсь в 1 час ночи ⟨...⟩ у швейцара — колосья ячменя, ландыши и фиалки в лиловой ленте с ее волос» (IX, 229); 5 мая 1915 г.— «Розы и сирень от Любови Александровны» (там же, 262); дарственная надпись, сделанная 11 июня 1916 г.— «Любови Александровне Дельмас на память о вербах, розах и ячменных колосьях 1914 года» (см. наст. т., кн. 3, с. 65) и, наконец, запись 21 мая 1917 г.— «Сколько у меня было счастья („счастья“, да) с этой женщиной. Слов от нее почти не останется. Останется эта груда лепестков, всяких сухих цветов, роз, верб, ячменных колосьев, резеды, каких-то больших лепестков и листьев. ⟨...⟩ Шпильки, ленты, цветы, слова ⟨...⟩ Разноцветные ленты, красные, розовые, голубые, желтые, розы, колосья ячменя, медные, режущие, чуткие волосы, ленты, колосья, шпильки, вербы, розы» (IX, 339—340).

* * *

Я хочу печатать так:
Посвящается
Любови Александровне
[Андреевой] [1] — *Дельмас*
и больше ничего
без «певице» или
«артистке»
потому что стихи
посвящаются *не*
только певице и артистке [2]
А вдруг есть такая другая? [3]



ЗАПИСКА БЛОКА Л. А. ДЕЛЬМАС НА ТЕАТРАЛЬНОМ ДИСПУТЕ 30 МАРТА 1914 Г.

Автографы

Музей А. А. Блока, Ленинград

[1] Слово «Андреевой»— зачеркнуто.

[2] 18 марта 1914 г. Блок написал в записной книжке: «⟨...⟩ Я напишу цикл стихов и буду просить принять от меня посвящение» (IX, 219).

[3] Приписано на полях.

II

«Сколько *вышло* томов из обещанного издателем Стелловским в 60-х годах 12-ти-томного издания сочинений композитора А. Е. Варламова? Была ли помещена в этом издании биография Варламова, написанная *Аполл. Григорьевым*? [1]

Есть ли этот том в библ⟨иотеке⟩ консерв⟨а⟩тори ⟨и⟩?»

На обороте листка — запись рукой Л. А. Дельмас: «Карл Александрович Гутхейль — *Москва* Кузнец⟨кий⟩ мост он приобрел издание Стелловского оно упразднилось (издание) Стелловски⟨м⟩ лет 20—30 купил Гутхей ⟨ль⟩» [2].

* * *

«Милост⟨ивый⟩ Госуд⟨арь⟩
Карл Ал⟨ександрович⟩

Обращаюсь к Вам по совету [Вашего род⟨ственника⟩] Станис⟨лава⟩ Ив⟨ановича⟩ Габеля с просьбой сообщить мне возможно скорее, [следующее:] было ли [издано] выпущено в свет [3] Ф. Стелловским или Вами двенадцатитомное издание сочинений А. Е. Варламова и была ли помещена в каком-нибудь из томов (в XII ли?) биография композитора, составленная А. А. Григорьевым?

В ожидании Вашего любезного ответа остаюсь

А. М. Д. [4]
Л. А. Д.

Петроград, Офицерская, 53, кв. 9» [5]

[1] Рядом на полях приписано (рукой Л. А. Андреевой?) — «12 томе».

[2] ГМИЛ, фонд материалов А. А. Блока, КП-97631.

[3] Слова «выпущено в свет» приписаны над строкой.

[4] См. стихотворение А. С. Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный...» (Полн. собр. соч., в 10-ти томах, т. 3. Л.: «Наука», 1977, с. 114, 420) в передаче Ф. М. Достоевского:

«А. М. D. своею кровью
начертал он на щите»

(Полн. собр. соч., т. 8, Л.: «Наука», 1973, с. 209). Ср. у Блока — VII, 64).

[5] ГМИЛ, фонд материалов А. А. Блока, КП-97636.

В архиве Л. А. Андреевой, хранящемся у ее племянницы И. А. Фащевской, имеется ответное письмо К. А. Гутхейля. Выражаем большую благодарность хранительнице архива за предоставление этого письма для данной публикации:

«Москва, 29 ноября 1914.

Госпоже Л. Андреевой-Дельмас.
Петроград

В ответ на Ваше письмо от 27 с⟨его⟩ м⟨есяца⟩ сообщаю Вам, что в *первом* томе двенадцатитомного издания сочинений А. Е. Варламова, выпущенного Ф. Стелловским, была помещена биография композитора, составленная А. А. Григорьевым; в моем (*новом*) издании (тоже 12-томное) сочинений Варламова этой биографии уже нет.

С совершен⟨ным⟩ почт⟨ением⟩ К. Гутхейль»

ПИСЬМО БЛОКА В. В. МУЙЖЕЛЮ В АЛЬБОМЕ Ю. Л. СЛЕЗКИНА

Публикация С. С. Никоненко

У писательницы Ольги Константиновны Слезкиной, вдовы писателя Юрия Львовича Слезкина (1895—1981) [1], хранятся два альбома. Один из них, с золотым обрезом, давным-давно утратил оранжевый сафьяновый переплет. Однако страницы его сохранились почти все, хотя альбому идет восьмой десяток лет.

Что же содержит этот альбом? Здесь и шутливый дневник литературных субботников, которые организовывал в 1909—1911 гг. в Петербурге Юрий Слезкин, и краткая информация о творческих достижениях присутствующих, и их экспромты, новые стихи, рисунки. Все это объединяется заглавием «Альбом Богемы», поскольку Слезкин и его друзья окрестили свое литературно-художественное содружество «Богемой». Не очень, конечно, оригинально, но вполне соответствовало тому духу веселья и беззаботности, какой царил на вечерних субботних встречах молодых литераторов и художников.

Многие имена тех, кто бывал на этих субботниках, вписаны в историю нашей культуры: Алексей Толстой, Саша Черный, Велимир Хлебников, Давид Бурлюк, Борис Эйхенбаум, Петр Губер, Сергей Городецкий.

Поэты и писатели не только читали свои новые рассказы и стихотворения на этих вечерах, но и обсуждали их, спорили. В одну из суббот возник разговор о роли и значении критики. Саша Черный выразил свое мнение следующим экспромтом:

Нелепо надевать носки поверх ботинок
И прежде книги критику читать...
А после книги кто спешит на рынок
Чужое мнение скорее покупать?
Конечно, тот, кто понял не совсем,
Что дважды два — четыре, а не семь.

В ту пору будущий крупный литературовед Борис Эйхенбаум, который в шутку на страницах альбома приписывал себе звание «профессор всемирной литературы», был известен в кругу богемцев лишь как начинающий поэт.

О том впечатлении, какое его стихи производили на друзей, сам Эйхенбаум 13 марта 1910 г. записал четверостишие в альбом:

Мерные строфы гекзаметра всех усыпили богемцев,
Слезкин главою поник, Ващенко тяжко молчит,
Скованы члены тоской, опустились угрюмые лица,
Будь терпеливым, поэт: скоро проснутся они!

Алексей Толстой оставил в альбоме несколько стихотворений; некоторые из них вошли потом в его сборник «За синими реками».

Вот одно из них, не вошедшее ни в Собрание сочинений 1928 г., ни в Полное собрание сочинений, изданное в 50-е годы:

Осень

На море-океане, на острове Буяне
бел-горюч камень.

Высоко жемчужные бусы
Над холмами могильными.
Улетают белые гуси,
Отрясаются крыльями.

И от крыльев пух их белесый
Упадает снежинками,
Над рекою холодной, над лесом,
Над забытой тропинкою.

Я посыплю зерна пшеницы
Между липой и хатою
И махну ширинкою птицам:
Отдохните, крылатые.

Неизносно девичье горе —
Что терновники острые...
Унесите горе за море,
Посадите на острове.

Придавите камнем горючим,
Среди моря глубокого...
Показалися гуси над кручей
И промчалися около.

Иной характер носит другой альбом — в нем Ю. Л. Слезкин стремился запечатлеть образы тех писателей, деятелей культуры, с которыми его сводила жизнь. На страницы этого альбома большого формата в твердом коричневом переплете наклеены фотографии, вырезки из газет и журналов, автографы — стихотворения, письма, записки, дарственные надписи многих известных писателей, относящиеся к первой четверти XX в.

Альбом, по всей вероятности, начал создаваться в 10-е годы, последние комментарии в нем сделаны в конце 20-х годов.

Интересна запись поэта и критика Александра Измайлова от 18 апреля 1919 г.: «Пока нравится эта игра,— портреты, автографы, мимолетные ласки слов,— Вы еще молоды. Когда это перестанет интересовать, и альбом останется на забытой полке, покрываясь пылью, и в один прекрасный день вы подарите его кому-то близкому на память, скажите себе: „я старею“». Быть может, это была и игра, но она позволила сохранить до наших дней редкие фотографии А. Куприна, К. Бальмонта, С. Городецкого, М. Волошина, Вас. Немировича-Данченко, А. Свирского, В. Муйжеля, А. Ремизова, О. Мандельштама, М. Кузмина, А. Измайлова.

С некоторыми из людей, чьи фотографии и материалы мы находим в альбоме, Слезкин был дружен, с другими его сводили либо издательские дела, либо случайные встречи. Так или иначе, содержимое альбома представляет историко-литературную ценность, поскольку мы находим здесь автографы таких крупных писателей и деятелей русской культуры, как Горький, Блок, Брюсов, А. Н. Толстой, А. Ф. Кони, А. И. Куприн, Н. Морозов, Максимилиан Волошин, Александр Грин, А. М. Ремизов, Вас. И. Немирович-Данченко, М. Кузмин и др.

Одни авторы представлены лишь несколькими строчками (например, Горький, Куприн), другие — большими письмами или стихотворениями (например, Блок, Брюсов, Кузмин).

Автограф Горького — это краткий критический отзыв о рассказе Ирецкого «Последний час», написанный во время заседания редколлегии Союза деятелей художественной литературы в 1919 г.: «Не удалось. Очень интересная, чисто русская тема, но автор отнесся к ней поверхностно. Следовало бы посоветовать ему возратиться к рассказу через год, два».

Значительный интерес представляет письмо, наклеенное на лист альбома и загнутое в верхней части с надписью: «Письмо ко мне Александра Блока 10 февраля 1919 г.» Из содержания письма невозможно определить, кому оно было адресовано. Однако, отогнув верхнюю часть, мы обнаружим дату (10 февраля 1919) и обращение: «Многоуважаемый Виктор Васильевич». Вот это письмо:

10 февраля 1919 г.

Многоуважаемый Виктор Васильевич.

Позвольте в лице Вашем принести мою благодарность Редакционной Коллегии за избрание. Однако, я считаю своим долгом заранее предупредить, что никак не могу ручаться за то, что смогу бывать в заседаниях, так как слишком связан обязанностями, которые приходится нести в Театральном отделе и в других местах.

Ваше предложение об издании моих сочинений, конечно, очень приятно для меня. Предварительно мне говорили об этом Н. С. Гумилев и Д. М. Цензор, но несколько различно, поэтому позвольте мне формулировать точно то, что я мог бы предложить Издательству.

Я хотел бы издать у Вас мои стихи (дореволюционного периода — 1898—1916 годов), которые до сих пор издавались обыкновенно в трех книжках. Так они издаются и теперь в Издательстве «Земля»: I том уже распродан, II и III выйдут в ближайшее время в таком малом количестве экземпляров, что издатель заранее дает мне свободу в заключении любых договоров, так как вопрос распродажи их есть вопрос месяца.

Хотя эти стихи я привык распределять на 3 книжки, но теперь мог бы, без ущерба для содержания, разделить их на четыре, из которых каждая заключала бы в себе около 4000 сти-

хов (меньше или больше), т. е., как раз то количество, которое, если не ошибаюсь, требуется по Вашим условиям (при этом я не принимаю во внимание ни заглавий отделов, ни указателей, ни возможного предисловия). Первые три составили бы пятое, а четвертая — четвертое издание моих «Стихотворений». Важно единство формата, а также — указание в договоре сроков выхода (не позже такого-то числа и месяца). Условия — Ваши (т. е., по 20000 экземпляров каждой книги, цена по 7 р. за экземпляр, авторские — 10% с номинальной цены и уплатой половины при сдаче тома и половины — при выходе в свет). Срок, на который продается издание, я хотел бы фиксировать, по опыту, не более, чем полгода (со дня выхода каждой книжки), рассчитывая, гл. обр., на провинцию.

Авторских экземпляров я хотел бы получать по 50-ти.

Если Редакционная Коллегия найдет эти условия подходящими, сообщите мне, пожалуйста, когда мы сможем заключить договор.

С истинным уважением Ал. Б л о к»

Слезкина зовут Юрий Львович. Почему же письмо оказалось у него в альбоме и кому оно адресовано?

В записных книжках Блока в записях за близкие к 10 февраля числа мы не встречаем упоминания Ю. Слезкина, зато в шестидесятой книжке есть следующая запись от 11 февраля 1919 г.: «*11 февраля.* „Двенадцать" — Имнайшвили, Станиславскому и Немировичу-Данченко.— Заказные В. Муйжелю, А. Шрейдеру и З. Бухаровой» [2]. Можно было предположить, что письмо адресовано Муйжелю, поскольку именно его зовут Виктор Васильевич.

Виктор Васильевич *Муйжель* (1880—1924), автор многочисленных произведений из крестьянской жизни, был знаком с Блоком уже давно, но встречи их были редкими.

Известно лишь одно письмо Блока Муйжелю, от 15 августа 1919 г., написанное в ответ на письмо Муйжеля от 10 августа, где тот просит поэта принять участие в альманахах. Из содержания этих писем видно, что они никак не связаны с письмом от 10 февраля.

Необходимо было установить, если это действительно письмо Муйжелю, каким же образом попало оно к Слезкину.

Ни о какой переписке Блока и Слезкина неизвестно. Об отношении Блока к Слезкину как к писателю судить трудно. Известен лишь один отзыв Блока о первой повести Ю. Л. Слезкина «В волнах прибоя», весьма резкий. Что касается Слезкина, для него Блок был всегда идеалом.

В дневнике Юрия Слезкина есть запись от 22 января 1938 г.: «Юбилей 75-летний Станиславского. Вот человек. Я с ним встречался раза три и каждый раз не мог оторвать от него глаз, как от Блока. Редки такие люди». Здесь будет уместно привести информацию, напечатанную в разделе «Литература и искусство» журнала «Просвещение», который издавался в 1919 г. Черниговским губнаробразом.

«В пятницу 23-го мая в помещении рабочего клуба (театр „Мираж") состоялось собеседование о поэме Александра Блока „Двенадцать", открывшееся вступительным докладом З. Давыдова, указавшего на то, что поэма „Двенадцать" не должна быть такой неожиданностью для тех, кто внимательно следил за творчеством Блока, кто знает не только его стихи о Прекрасной Даме, но и песни города, в которых нередко довольно сильно звучат социальные мотивы („Фабрика", „В кабаках, в переулках, в извивах", „Поднимались из тьмы погребов" и др.).

И вот, когда пришла настоящая революция, пришла „не в книгах поэтов, которых сладко читать при свете лампы, не на картинах художников, баюкающих композицией и колоритом", а в грозе и буре, устрашившей сразу умолкших писателей,— только голос Блока раздался над ревом бесформенной стихии, голос в „Двенадцати", „как всегда, крепкий, как всегда, чистый, как всегда неповторяемо прекрасный".

Каждая страна, каждый класс, каждая эпоха нуждаются в своих певцах, которые являются организаторами жизни, и таким певцом нашей бурной эпохи и современной русской народной мятущейся души — и явился в своей поэме Александр Блок, с изумительным мастерством и музыкальностью выявивший двойственный лик революции, „выпевший" ее темную и светлую стихию. Блок приемлет и благословляет нашу революцию, которую — в его поэме — ведет за собой Христос. И Блок иначе и не мог подойти к революции, потому что этот его подход обусловлен его литературным прошлым.

После того как артист Лихомский прочитал поэму, началось, под председательством Юрия Слезкина, собеседование, в котором приняли участие М. Альтман, давший интересную

трактовку революционных символов поэмы; А. Архангельский, говоривший о бездарной гражданской поэзии Надсона и о том, какова должна быть настоящая гражданская поэзия, которая — всегда искусство и которая нашла место в симфонической поэме Блока.

Интересным было выступление В. В. Роменской, говорившей о призрачности поэмы, о призрачности Христа, который не в терновом венце жизни, а в мертвенном „белом венчике" ведет за собой в поэме двенадцать красногвардейцев.

Выступали еще и другие ораторы (Нехес, Парацевич), и собеседование о поэме, собравшее полный зал рабочего клуба, вышло очень оживленным и интересным» [3].

Как видим, Слезкин в том же 1919 г. оказался в Чернигове и председательствовал на вечере, посвященном поэме Блока.

Быть может, он попросил у Муйжеля на память это письмо? Тем более, что такая возможность предоставилась в начале марта 1919 г. Обратимся опять к записным книжкам Блока: «*5 марта*. Заседание у К. Чуковского. С Чуковским — о „Холодном доме". С Горьким — о Лундберге (больная жена, на 8000 работы...). Горький, Мережковский, Куприн, Муйжель, Чуковский, Замятин, Слезкин, Гумилев.— Горькому нравится „Катилина"» [4].

И все же у Ю. Л. Слезкина было основание считать, что письмо Блока адресовано ему. Дело в том, что письмо носит чисто деловой характер, а следовательно, оно является ответом на деловое письмо.

Так вот, среди деловых писем, адресованных Блоку, мы находим два письма — одно от 3 февраля, другое от 4 февраля 1919 г. Письма на бланках Издательства товарищеского кооператива при Профессиональном союзе деятелей художественной литературы. В первом письме содержится просьба предоставить издательству право на издание сочинений, во втором сообщается, что Блок избран членом редакционной коллегии. Оба письма подписаны управляющим делами издательства В. Муйжелем и секретарем редакционной коллегии Ю. Слезкиным.

Таким образом, публикуемое письмо Блока является ответом на два письма кооперативного издательства. Письма издательства хранятся в Пушкинском доме в Ленинграде (их копии есть в фонде Ю. Л. Слезкина в ЦГАЛИ).

Письмо Блока позволяет понять смысл его помет на письмах издательства: в них коротко резюмируется содержание его ответа. На первом письме читаем: «Пос. Викт. Вас. Муйжелю. 10.II.4 книжки по (+, —) 4000 стихов — 5-е изд., IV — 4-е изд.) *на полгода* со дня выхода каждой книжки. обусл. *сроки выхода* (не позже числа месяца). Единство формата. Каждая книжка — 20000 экз. по 7 р., авт. 10%, половина — при сдаче, половина — при выходе. Авт. экз. по 50 кн. Прошу обсудить в редакц. коллегии». На втором письме: «Благодарю за избрание, но предупреждаю, что едва ли смогу бывать на заседаниях. 10.II. 1919». По верхнему краю листа рукой Блока записаны адрес и телефон Ю. Л. Слезкина [5].

Обнаруженное письмо показывает, что Блок не столь категорически придерживался принципа деления своих стихотворений на три книги (как об этом пишут все исследователи). Однако поскольку издание стихотворений в 4 книгах из-за трудностей того времени не состоялось, мы, к сожалению, не знаем, намечал ли Блок его план. Единственное, о чем мы можем судить, это о составе четвертой книги: Блок предполагал включить в нее стихотворения, которые в 1921 г. вышли 3-м изданием (III том в 1919 г. издательством «Земля» выпущен не был, он вышел лишь в 1921 г. уже в другом издательстве).

Письмо это является еще одним документом, свидетельствующим о многообразии дел, которым отдавался Блок после Октябрьской революции.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] О Ю. Л. Слезкине см. вступительную заметку Ст. Никоненко к публикации фрагментов из дневника: Ю. Слезкин. Пока жив — буду верить и добиваться...— «Вопросы литературы», 1979, № 9.

Выступив в печати в начале XX в., Юрий Слезкин активно работал в литературе более сорока лет. Его обширный фонд в ЦГАЛИ содержит, помимо рукописей писателя, многочисленные документы, освещающие литературную жизнь страны и писательские связи первой половины XX в. В фонде есть автограф А. В. Луначарского, письма А. И. Куприна, М. Арцыбашева, В. Брюсова, И. Ясинского, З. Гиппиус.

[2] ЗК, с. 449.

[3] «Просвещение», Чернигов, 1919, № 5, с. 33.

[4] ЗК, с. 451.

[5] «Александр Блок. Переписка. Аннотированный каталог». Вып. 2, с. 501.

РАЗЫСКАНИЯ И СООБЩЕНИЯ

АЛЕКСАНДР БЛОК ВО ВВЕДЕНСКОЙ ГИМНАЗИИ

Сообщение К. А. Кумпан и А. М. Конечного

Гимназический период жизни Блока не привлекал специального внимания исследователей. Принято считать, что гимназия не сыграла заметной роли в творческой биографии поэта; сам он отмечал, что она оказала на него значительно меньшее влияние, чем домашнее окружение — «старинная дворянская атмосфера с литературными вкусами» (VII, 432), в которой прошло его детство и отрочество.

Однако при разработке научной биографии Блока гимназическое окружение необходимо учитывать, как среду, в которой проходило формирование и становление личности поэта. При внешнем замедленном развитии Блока в эти годы, его инфантильности и «бессознательности» в нем совершалась сложная внутренняя работа. Яркое и глубинное переживание окружающего в специфически-возрастных формах [1] нашло в дальнейшем выход в его творчестве. Не случайно в «Исповеди язычника» (1918) Блок возвращается к этой «давней поре своей жизни», которая, как он пишет, его «преследует и не дает покоя» (VI, 39).

Основными печатными источниками сведений о пребывании Блока во Введенской гимназии до сих пор остаются биографические работы М. А. Бекетовой и В. Н. Княжнина. Они частично использованы в позднейших монографиях А. М. Туркова («Александр Блок». М., 1969) и В. Н. Орлова («Гамаюн. Жизнь Александра Блока». Л., 1980). Исследователи привлекают также несколько записей из рукописного альбома «Касьян» и отрывки из писем А. А. Кублицкой-Пиоттух к Бекетовым [2].

Книги М. А. Бекетовой «Александр Блок. Биографический очерк» (Пб., 1922; 2-е изд. Л., 1930) и «Александр Блок и его мать» (Л.—М., 1925) построены на документах семейного архива и материалах мемуарного характера. Однако, как показал просмотр дневника М. А. Бекетовой за 1890—1900-е годы (ИРЛИ, ф. 462, арх. М. А. Бекетовой, ед. хр. 1), ее душевное сближение с Блоком произошло только во время их поездки в Бад Наугейм летом 1897 г. Поэтому наиболее достоверны ее воспоминания о Блоке последнего класса. Сведения о Блоке в младших классах содержат ряд фактических неточностей (например, в обеих книгах ошибочно указаны даты поступления в гимназию: 1889 и 1890).

Монография В. Н. Княжнина «Александр Александрович Блок» (Пг., 1922) является важным дополнением к книгам М. А. Бекетовой. Воспользовавшись устными воспоминаниями бывших воспитанников Введенской гимназии, в том числе А. А. Шилова (учился в 1890—1899 гг.), В. Н. Княжнин впервые дал картину быта этой гимназии, характеристику ее учителей и учащихся. В книге помещен аттестат зрелости Блока.

Упоминания об этом периоде жизни Блока содержатся также в воспоминаниях М. А. Грибовской, Ф. А. Кублицкого, А. И. Менделеевой, С. М. Соловьева, С. Н. Тутолминой («Александр Блок в воспоминаниях современников», т. I. М., 1980), С. М. Алянского («Встречи с Александром Блоком». М., 1972), Н. А. Павлович («Блоковский сб.», 1) и в письмах Блока-гимназиста («Письма к родным», I).

Указанные выше печатные источники, пополненные архивными документами, использованы в настоящей работе.

В основу статьи легли материалы из фонда Введенской гимназии, хранящиеся в Ленинградском государственном историческом архиве (ЛГИА, ф. 303; поступили в архив в 1929 г.). Это прежде всего документы, непосредственно связанные с пребыванием Блока в гимназии (1891—1898), а также сведения о его ближайших товарищах, учителях, о быте гимназии: классные журналы, ведомости об успехах, внимании, прилежании и поведении учеников, дела о переводных испытаниях, отчетные ведомости классных наставников, протоколы заседаний педагогического совета, кондуитные и штрафные журналы, личные дела гимназистов и педагогов и проч. Ряд документов в фонде отсутствует: не удалось обнаружить кондуитных

и штрафных журналов за первый год обучения Блока и второе полугодие последнего класса, большинство классных журналов и т. д.

Отсутствующее в фонде гимназическое дело Блока находилось в собрании В. Н. Орлова, который в свое время предоставил его нам для публикации. «Дело об ученике Александре Блоке» (№ 35, 1891 г.) содержит:

1. Прошение А. А. Кублицкой-Пиоттух директору Введенской гимназии от 27 августа 1891 г. о принятии Александра Блока во II класс. На прошении помета рукой Блока: «Метрическое свидетельство за № 12, свидетельство о привитии оспы за № 55, свидетельство ректора Варшавского университета 3919 получил 23 мая 1898 г. Александр Блок».

2. Обязательство А. А. Кублицкой-Пиоттух от 27 августа 1891 г. о соблюдении ею и сыном гимназических требований.

3. Прошение А. А. Кублицкой-Пиоттух директору гимназии от 30 апреля 1897 г. с просьбой дать Блоку письменное разрешение на заграничное путешествие вместе с ней.

4. Ходатайство директора гимназии перед попечителем С.-Петербургского учебного округа от 2 мая 1897 г. «на увольнение Александра Блока в заграничный отпуск». На ходатайстве помета попечителя: «Разрешаю. 8 мая 1897 г.».

5. Копия удостоверения за № 469, выданного Блоку «к увольнению его в заграничный отпуск по 18 августа сего 1897 г.». С пометой: «Удостоверение получил 12 мая 1897 года. Александр Блок».

6. Свидетельство о приписке А. А. Блока к призывному участку за № 66 от 22 мая 1898 г.: «подлежит исполнению воинской повинности в тысяча девятьсот втором году».

7. Копия аттестата зрелости за № 435 от 30 мая 1898 г. С пометой: «Подлинный аттестат получил. А. Блок. 1 июня 1898 года» [3].

К этому делу непосредственно примыкает хранящееся в Государственном литературном музее «Свидетельство, выданное А. Л. Блоку ректором Варшавского университета для включения А. А. Блока в гимназию» за № 3919 от 20 июня 1890 г.[4]

Помимо этого, ряд сведений о гимназическом окружении Блока и о самой гимназии нами выявлены в фондах Петроградского университета (ЛГИА, ф. 14), Канцелярии попечителя Петроградского учебного округа (ЛГИА, ф. 139), Департамента народного просвещения (ЦГИА, ф. 733) и др.

В личных фондах Блока в ИМЛИ, ГБЛ, ГПБ материалы о гимназическом периоде отсутствуют. Крайне скудно они представлены в семейном архиве Бекетовых (ИРЛИ, ф. 462), в альбоме сестер Бекетовых «Касьян» (там же, ф. 654, оп. 4, ед. хр. 15), в рукописном журнале «Вестник» (там же, оп. 1, ед. хр. 164) и в письмах А. Л. Блока к матери поэта (там же, оп. 7, ед. хр. 23). В блоковском фонде ЦГАЛИ интересны письма Н. Гуна к Блоку (ф. 55, оп. 1, ед. хр. 233а) и О. М. Соловьевой к А. А. Кублицкой-Пиоттух (там же, ед. хр. 551). Из пятнадцати неопубликованных писем Блока (1891—1898), хранящихся в ГЛМ и ИРЛИ, гимназия упоминается только в четырех: «отпущен в 2 $^1/_2$ часа», «гимназия — скучно» и т. п.

Ученические тетради, сочинения по русской словесности, дневники для записывания уроков и «книжечки для баллов» (о них упоминает Блок в письме к матери от 21 августа 1897 г.[5]) обнаружить не удалось.

Однако сохранились две записные книжечки Блока-гимназиста (собрание В. Н. Орлова), в которых отражены интересы Блока второго—четвертого классов [6]. Книжечки украшены аппликациями рисунков бабочек, жучков, цветов, аккуратно заполнены чернильными и карандашными записями. Некоторые записи связаны с гимназией: расписание уроков и экзаменов, латинские упражнения, правила французской грамматики и проч.

Другие записи дневникового характера, отражающие гимназическую жизнь, нам неизвестны. Ранний дневник (1898 г.) был уничтожен самим Блоком [7].

Нам не удалось разыскать людей, как-то связанных с Введенской гимназией. Но сохранились устные воспоминания соученика Блока Н. Ф. Барабанова (Икара) — их успела записать искусствовед А. Г. Лебедева в 1961 г. Выражаем ей благодарность за внимание и помощь в поисках материалов. Некоторые биографические сведения об актере Икаре были сообщены нам ныне покойной актрисой и поэтессой М. Н. Ланг (Вега).

Авторы приносят глубокую благодарность Л. Я. Гинзбург, З. Г. Минц и Д. Е. Максимову, прочитавшим статью в рукописи, за советы и замечания, а также выражают признательность сотруднице ЛГИА Е. А. Сунцовой за помощь и содействие в работе над документами.

1

Введенская гимназия [8], в которой Блок провел семь лет, пользовалась, как вспоминает один из ее учеников, «особенной репутацией среди других учебных заведений Петербурга» [9]. Она находилась на Большом проспекте Петербургской стороны [10], в районе, отдаленном по тогдашним условиям от центральных частей города и заселенном в основном мелкими чиновниками, мещанством и военными. К тому же плата за обучение в ней была самой низкой из всех классических гимназий столицы [11]. Все это во многом определяло как состав учащихся, так и атмосферу гимназии.

Сам поэт охарактеризовал ее как «очень захолустную» и «страшно плебейскую» [12]. «Я наблюдаю там типы купцов, хлыщей, забулдыг и проч.,— пишет восьмиклассник Блок матери.— А таких типов много, я думаю больше и разнообразнее, чем в каком-нибудь другом месте (в другой гимн⟨азии⟩)» [13].

«И действительно среди этой буйной молодежи находили себе приют отчаяннейшие сорвиголовы, когда-либо носившие гимназическую фуражку. Около 500 человек всякого возраста, от 8 до 24 лет, и всякого звания и состояния сходились здесь ежедневно, и гам стоял здесь, как в кипящем котле» [14]. Среди учеников были и такие, «которые ухитрились просидеть на гимназических партах по 11 лет вместо 8 (вторые годы падали преимущественно на 6-й класс — особенно строгие и тяжкие работы и экзамены по древним языкам)» [15]. «Дети быстро развращались ⟨...⟩ Учились курить, говорили и рисовали много сальностей» (VI, 41), «многие из таких, начав примерно уже со 2-го класса заниматься уличным «ухажерством» и благодаря близости кафешантана в лице «Зоологии» (в парке у Зоологического сада.— *К. К.* и *А. К.*) и раннему знакомству с пивными и всеми видами любви, сходили и вовсе на нет» [16].

Чтобы подтянуть «совсем распускавшуюся гимназию», был призван новый директор — А. И. Давиденков, «искренне ненавидимый всеми учениками за свое черствое сердце, за мелкую злобность» [17]. Он обращал особое внимание на дисциплину в гимназии и неукоснительное выполнение циркуляров попечителя учебного округа.

Правила для учеников Введенской гимназии [18] были более обширными по сравнению с другими петербургскими классическими гимназиями [19]. Например, в них был раздел «Относительно образа жизни учеников», который регламентировал время приготовления уроков, обеда, отдыха и прогулок: «а) Вставать в 6 часов утра, ложась в 10 часов вечера, так, чтобы сна было не более и не менее 8 часов. б) Заниматься приготовлением уроков с половины седьмого часа утра до времени, когда понадобиться идти в гимназию. в) По окончании уроков в учебном заведении употреблять около часу на возвращение домой и игры ⟨...⟩ на чистом воздухе» и т. д.

Раздел VI касался «соблюдения порядка и приличия учениками вне стен учебного заведения и вне дома». Ученики обязаны были «быть всегда в одежде установленной формы», в фуражке «с установленными буквами» (СПВГ), по дороге в гимназию и домой «нести на спине ранец».

В этом же разделе содержатся запреты, известные по художественной и мемуарной литературе о гимназии. «Ученикам строжайше воспрещается посещать маскарады, клубы, трактиры, сады при них, кофейни, кондитерские, бильярдные», а также «следующие увеселительные места: Крестовский сад, Баварию, Ливадию, Демидов сад, Тарасов сад и другие подобного рода заведения с платою за вход» и театры, «в коих обыкновенно даются пьесы сомнительного содержания». Разрешалось посещение «таких садов, как Зоологический, Павловский, Озерки» и Летнего сада до 10 часов вечера. Строго воспрещалось также «курение табаку, употребление крепких напитков, ношение тросточек, хлыстов, палочек».

Помимо правил, некоторые запреты для учеников Введенской гимназии дополнительно вводились постановлением педсовета. Так, в 1894 г. было запрещено посещение Пассажа на Невском проспекте, «ввиду необходимости оградить юношество от неподходящей для него среды» [20], а в 1896 — пребывание на катке у Тучкова моста после восьми часов вечера, так как «в этом месте происходят по вечерам безобразия (посетители курят, пьют спиртные напитки, окружают собирающихся там неприличных женщин)» [21] и др.

Нарушения правил фиксировалось в кондуитных и штрафных журналах. Процитируем несколько записей, дающих представление как о типичных проступках гимназистов (1895—1897 гг.), так и о самом характере записей:

Де-Лазари, III класс — «гулял с тросточкою по улице» (наказан карцером на 1 час);



В. М. ГРИБОВСКИЙ
Фотография, 1887 г., Петербург
Ленинградский исторический архив

Воейков, III класс — «задевал в Зоологическом саду женщин предосудительного поведения» (карцер на 4 часа);

Оленчиков, III класс — «во время всенощной гулял с барышней без ведома родителей» (карцер на 2 часа);

Сиверс, III класс — «курил на улице близ гимназии (шел с барышней и курил из трубки), при приближении моем (классного наставника.— *К. К.* и *А. К.*) опустил трубку с огнем в карман и только по настоятельному моему требованию вынул ее из кармана» (приглашена мать ученика, наказан карцером на 5 часов);

Гун и Фосс, VIII класс — «проходил по Невскому проспекту после 10 часов вечера» (выговор с предупреждением не повторять проступка) ⟨...⟩

Федоров, IV класс — «читал в ватерклозете листок воззвания православным христианам и прилепил его к стенке» (карцер на 4 часа);

Конопасевич, VII класс — «упорное несоблюдение формы (носит ранец, держа один ремень в руке, кушак с неформенной бляхой)» (карцер на 3 часа) [22].

Из кондуитных записей, а также по воспоминаниям бывших учеников Введенской гимназии можно составить представление о духовных запросах гимназистов. Это были «дети мелкого чиновничества и зажиточного мещанства, с крайне невысоким интеллектуальным уровнем». Лучшее, что было,— это летом «игры в лапту и городки, а на улицах и в Александровском парке — частые драки с „Рощей", компаниями уличных подростков ⟨...⟩ Гораздо хуже то, что не только научных интересов, но и интереса к простому чтению не было почти никакого» [23]. Среди материалов фонда гимназии (периода обучения Блока) не встречается документов, свидетельствующих и об интересе учащихся к политике (о чтении запрещенной литературы, об участии в политических кружках и пр.) [24].

«Времена были деляновские; толстовская классическая система преподавания вырождалась и умирала, но, вырождаясь, как это всегда бывает, особенно свирепствовала: учили почти исключительно грамматикам, ничем их не одухотворяя,— пишет Блок в „Исповеди язычника",— учили свирепо и неуклонно, из года в год, тратя на это бесконечные часы» (VI, 41).

Министерские программы заменили курс истории русской словесности чтением и разбором рекомендуемых произведений [25]. В соответствии с этим на одном из заседаний педсовета обсуждался вопрос «о главных основаниях устройства литературных бесед». Было признано «весьма полезным устройство литературных бесед» только в виде «чтений». При этом не рекомендовалось обсуждение «современных произведений» в форме диспутов или научно-критических статей, чтобы не «приучать учеников к самомнению» [26].

Особое значение, как и в других гимназиях, придавалось обязательным внеклассным мероприятиям: вечерам и собраниям, на которых (по рекомендованной методике) отмечались «исторические даты», связанные с августейшей фамилией, и другие «достопамятнейшие события» (например, визит русской эскадры во Францию в 1893 г.). Для этого учеников собирали в актовом зале, и директор или кто-нибудь из преподавателей рассказывал о событии дня и объяснял его историческое значение «с целью запечатлеть в юных умах важность события и вызвать в них патриотическое воодушевление» [27].

В гимназии устраивались также платные литературно-музыкальные вечера [28], на которых выступали ученический хор и оркестр, а старшеклассники разыгрывали сцены из произведений Фонвизина, Пушкина, Грибоедова, Гоголя, Чехова и других русских писателей.

Вечера заканчивались бальными танцами, которые, как правило, продолжались до трех часов ночи.

Уроки танцев были введены в гимназии в 1895/96 учебном году; они были платными (5 руб. в год) и проходили под руководством артиста императорских театров М. М. Федорова [29]. Как свидетельствует запись в кондуите (см. об этом ниже), Блок посещал эти уроки в VII классе.

Для старшеклассников давались уроки «выразительного чтения и декламации» [30]. По воспоминаниям М. А. Бекетовой, Блок прошел курс декламации «в последнем классе гимназии под руководством учителя Глазунова» [31].

Атмосфера гимназии во многом определялась и ее педагогическим составом. Новые веяния в методике преподавания и дискуссии вокруг устаревших министерских программ почти не коснулись этой гимназии. Большинство учителей строго придерживалось установленных требований и программ [32]. Многим из них, вспоминает Блок, «и в голову не приходило пробовать научить мальчиков чему-нибудь, кроме того, что было написано в учебниках „крупным шрифтом“ („мелкий“ обыкновенно позволяли пропускать)» (VI, 41).

Личные дела преподавателей и другие материалы из фонда гимназии дополняют и уточняют сведения, собранные В. Н. Княжниным. Удалось выявить и круг учителей, преподававших в блоковском классе.

Прежде всего необходимо назвать классных наставников Блока: латиниста С. А. Смирнова (в младших классах) и учителя истории и географии В. В. Яковлева (в средних и старших). Оба они, по определению В. Н. Княжнина, относились к типу «формалистов-бюрократов».

С. А. Смирнов [33], тогда еще молодой человек, был назначен в гимназию по протекции адмирала Арсеньева и быстро продвигался по службе, получая чины и награды; в отсутствии директора исполнял его обязанности. Не располагая сведениями о педагогических способностях С. А. Смирнова, можно, однако, отметить, что он ревностно осуществлял надзор за гимназистами: его записи часто встречаются в кондуитных журналах.

В. В. Яковлев [34] окончил университет со «степенью кандидата» (она предшествовала магистерской), но его научная карьера так и не состоялась — после болезни отца (паралич) он остался кормильцем большой семьи. Преподавал он историю формально, повторяя учебник Д. Иловайского, от отвечающих требовал «повод и причину». Гимназисты относились к нему «в лучшем случае равнодушно и не учились» [35].

Вероятно, к этому же типу учителей можно отнести законоучителя С. С. Наркевича [36], одновременно преподававшего в нескольких учебных заведениях; математика И. Д. Яковлева [37] и «немца» Л. К. Якобсона [38], успешно окончивших университет, но так и не сумевших заинтересовать учеников своими предметами.

Но были в гимназии и два талантливых человека, серьезно увлеченных наукой.

Один из них — физик Е. А. Роговский [39], ученик Петрушевского и Менделеева, стал впоследствии известным ученым, профессором физики. (Возможно, был знаком с Бекетовыми, так как провел лето 1887 г. на станции Подсолнечная, где вместе с Д. И. Менделеевым входил в состав комиссии по наблюдению за солнечным затмением.) Обремененный семьей, редактированием журнала, практическими занятиями со студентами, Е. А. Роговский «преподавал в гимназии, вероятно, по нужде, и потому был страшно раздражителен, дело вел спустя рукава — у него не учились и ничему не выучивались» [40].

Другой — учитель французского языка П. Г. Мижуев [41], в отличие от Роговского, был прирожденным педагогом. Известный публицист, автор сотни книг по вопросам народного образования и государственного права, он был реформатором в области методики преподавания иностранных языков. Ратуя за уменьшение грамматического курса, он сумел добиться расширения в министерских программах чтения и переводов связанного текста [42]. Его талантливыми учебными пособиями широко пользовались в гимназиях (в том числе и во Введенской), и он смог научить гимназистов читать французские книги без словаря. Ученики относились к нему с «уважением, и даже с любовью» [43].

Необходимо упомянуть еще троих педагогов: учителей русского языка и словесности А. Г. Суровцева (в средних и старших классах) и И. Я. Киприановича (в младших), а также латиниста А. Ф. Влашимского.

Антон Егорович (или Георгиевич, как он требовал называть себя) Суровцев [44] был яркой фигурой в гимназии. Он по-своему любил предмет, устраивал литературно-

музыкальные вечера и, будучи библиотекарем ученической библиотеки, заботился об ее пополнении. «С ним можно было поговорить, он указывал иногда книжки, давал советы» [45]. Однако именно Суровцеву принадлежит пространная записка в педсовет об организации литературных бесед. В этой записке (1896) Суровцев выступает против научно-критических статей гимназистов, опасаясь, что ученики захотят «чего доброго, поделиться с публикою плодами своего „творчества“» [46]. Как вспоминают бывшие ученики, несмотря на свою резкость, Суровцев «все же не вызывал озлобления к себе; к нему относились с некоторой любовью, как бы гордились им, и класс он умел держать в руках» [47]. Строя свой курс по учебнику А. Д. Галахова, «Суровцев кое-что рассказывал и сам» [48]. Догматическая узость, печать которой лежит на его научных исследованиях о И. В. Лопухине [49] и других работах, проявлялась и в его литературных вкусах. «Он был поклонником Тургенева, которому ставил 5, тогда как Толстому — 3» [50]. Новейшие течения в литературе он совершенно не принимал (см. его позднейшие высказывания о Бальмонте и Л. Андрееве [51]).

В письме к матери от 19 августа 1897 г. Блок передает диалог, в котором проскальзывает скептическое отношение к учителю словесности:

«Суровцев: Что Вы делали летом по русскому языку?

Я: Читал Достоевского.

С⟨уровцев⟩: Что именно?

Я: То-то и то-то!

С⟨уровцев⟩: А сочинение писали?

Я: Нет, я был за границей.

С⟨уровцев⟩: Значит у Вас не было времени заниматься русским языком?

Я сажусь...» [52].

Однако уже в следующем письме, от 21 августа,— другая оценка учителя: «Суровцев читал удивительно интересную статью о Гоголе, где описывается его жизнь. Статья, к удивлению, написана, хотя и со школьными приемами, но не усыпительно» [53].

Преподаватель русского языка И. Я. Киприанович [54] принадлежал к числу педагогов, выше всего ценивших хороший почерк [55]. Он преподавал из года в год по собственным учебникам, изданным еще в 1880-х годах. Эти учебники неоднократно подвергались критике «Журнала Министерства народного просвещения» за массу «мало определенных, поэтому бесконечных правил, в которых и при хорошо воспитанном внимании разобраться трудно» и которые «должны отозваться гибельно и на самой орфографии учащихся». «Не достает только,— пишет автор рецензии,— чтобы, введя учебник г. Киприановича, какой-нибудь учитель заставил эти правила заучивать наизусть» [56]. Именно доскональное знание правил и требовал Киприанович.

Это был «довольно добродушный, чистенький старичок, даже „франт“» [57], прослуживший тридцать лет во Введенской гимназии и совершенно отупевший от долгого занятия педагогикой. Очень характерно его выступление на заседании педсовета с предложением исключить из программы «стихотворение Лермонтова „Дума“, как могущее вести к кривотолкованиям» [58].

Вероятно, Киприановичу, как гласит семейное предание, и принадлежит запись в журнале: «Блоку нужна помощь по русскому языку» [59]. Во всяком случае уже в конце жизни в разговоре с С. М. Алянским Блок вспоминал, что у Киприановича он «никогда больше четверки получить не мог» [60].

В этом же разговоре Блок упоминает «грека» и латиниста в старших классах — «фамилию которого никто из гимназистов не знал, все звали его просто Арношт» [61] — Арношта Федоровича Влашимского [62]. Будучи родом из Чехии, латинист смешно коверкал русскую речь и был постоянным предметом насмешек гимназистов. Это был единственный учитель, обративший внимание на Блока и отметивший его переводы из античных классиков [63].

Таковы были педагоги, обучавшие Блока, и обстановка в гимназии. По свидетельству ее бывших воспитанников, «гимназия отбывалась как неприятная и ненужная повинность». Часть учеников уходила «в мелкие чиновники по окончании 4-х классов», других «съедал без остатка близкий сосед — Павловское военное училище», а лучшим уделом считалось уйти вольноопределяющимся в армию, «потолкавшись по окончании гимназии года полтора на юридическом факультете университета» [64].

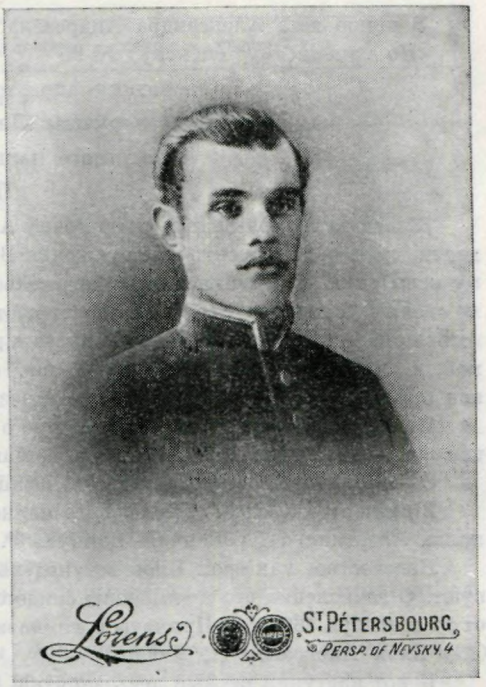
В эту гимназию и привела Александра Андреевна сына. Блок в эти годы жил вместе с матерью и отчимом в офицерском корпусе казарм Гренадерского полка, расположенном на Петербургской набережной Большой Невки [65], и выбор пал на Введенскую гимназию,

«потому что ходить приходилось недалеко и на пути не было мостов, а стало быть, меньше шансов для простуды» [66].

2

Домашнее обучение Блока началось довольно рано. Прабабушка А. Н. Карелина научила пятилетнего Сашуру читать и писать по рассыпной азбуке, но он больше любил, когда родные или няня Соня читали ему вслух [67]. По свидетельствам М. А. Бекетовой и детскому творчеству поэта [68] можно представить, насколько широк был этот круг чтения: Пушкин, Жуковский, Тургенев, Ершов, Гофман, Дефо и др.

В 1888 г., когда Блок вступил в возраст «приготовишек», в «Касьяне» появилась запись: «Сашура уже учится, очень способен и красив» [69]. Мы не располагаем достаточными сведениями, чтобы судить, в какой мере это была подготовка к гимназии. Известно только, что попытка обучить Блока в эти годы французскому языку не увенчалась успехом. С гувернанткой-француженкой он любил только играть, а разговаривать совсем не желал, так что пришлось с ней расстаться [70].



Н. В. ГУН
Фотография, 1898 г., Петербург
Ленинградский исторический архив

В июне 1890 г. А. Л. Блок ходатайствует перед ректором Варшавского университета о выдаче ему свидетельства для определения сына «в одну из С.-Петербургских гимназий» [71]. Возможно, Блока собирались отдать учиться в этом же году, но почему-то передумали. Для подготовки был взят учитель — Вячеслав Михайлович Грибовский [72], выпускник Введенской гимназии.

Это был молодой человек, «очень живой и деятельный» [73], с широким кругом интересов и знакомств [74]. Рано вошедший в литературный мир гимназист Грибовский в 1885 г. поместил в «Неделе» свои воспоминания «Беседы с графом Л. Н. Толстым», с которым был лично знаком [75]. После окончания гимназии (1887), увлеченный ориенталистикой, Грибовский проучился год на восточном факультете Петербургского университета, а затем перешел на юридический. «Талантливый дилетант» [76], как охарактеризовал его впоследствии Блок, Грибовский совмещал занятия литературой (он автор рассказов, повестей, поэтических экспромтов; в 1899—1903 гг. вместе с П. Н. Красновым и другими посещал «пятницы Случевского») [77] с научной деятельностью [78] и службой [79].

Еще в студенческие годы он входил в круг молодежи, посещавшей дом Бекетовых [80], куда, возможно, ввел его П. Н. Краснов [81] — будущий муж Е. А. Бекетовой. Грибовский взялся приготовить Блока во второй класс гимназии и «предложил для облегчения зимних занятий теперь же, летом, приступить к латинскому языку» [82]. В. Н. Княжнин относит этот факт к лету 1890 г.[83] Однако из студенческого дела Грибовского явствует, что в этом году (как и в предыдущие — 1888 и 1889) он в Шахматове не был, а проводил отпуск в Могилевской губернии [84]. Скорее всего, занятия латынью начались летом 1891 г., когда Грибовский только что окончил университет.

Репетитор «оказался веселый и милый, не томил Сашу науками и в свободное время пускал с ним кораблики в ручье возле пруда» [85]. Изучение римской истории порой превращалось в строительство Via Appia и акведуков в овраге шахматовского имения.

Отношения Грибовского с Блоком и его родными сохранились и в дальнейшем [86]. Он сотрудничал в рукописном журнале «Вестник» [87], в университете вел у Блока практические занятия по русскому праву [88].

В конце лета Александра Андреевна подает прошение о принятии сына в гимназию: «По приемн⟨ому⟩ сп⟨иску⟩ № 90

Господину директору Введенской гимназии
Жены поручика Лейб-Гвардии Гренадерского
пехотного полка Кублицкой-Пиоттух

Прошение

Желая дать образование сыну моему Александру Блоку во вверенном Вам учебном заведении, имею честь просить распоряжения Вашего о том, чтобы он был подвергнут надлежащему испытанию и медицинскому освидетельствованию и помещен в тот класс, в который он, по своим познаниям и возрасту, может поступить, при чем имею честь сообщить, что он приготовлялся к поступлению в ⟨о⟩ II класс и до сего времени обучался дома. Желаю, чтобы сын мой, в случае принятия его в заведение, обучался французскому или немец⟨кому⟩ языку как обязательному в течение всего гимназического курса.

При этом прилагаются: свидетельство о привитии оспы № 55. Свидетельство ректора Варшавского университета № 3919 и свидетельство о рождении за № 12.

С.-Петербург. 1891 года августа месяца 27 дня.

Жительство имею: Гренадерского полка казармы. Жена поручика Л.-Гв. Гренадерского полка Александра Кублицкая-Пиоттух» [89].

Неизвестно, как сдал Блок вступительные экзамены — эти материалы в фонде отсутствуют. О зачислении его в гимназию свидетельствует запись в протоколе заседаний педсовета от 14 сентября 1891 г.: «Приняты в гимназию: а) по выдержании испытаний: ⟨...⟩ во II класс ⟨...⟩ Блок Александр ⟨...⟩» [90].

И вот наступил первый день занятий, о котором поэт вспоминал впоследствии с мистическим ужасом. «Мама привела меня в гимназию; в первый раз в жизни из уютной и тихой семьи я попал в толпу гладко остриженных и громко кричащих мальчиков; мне было невыносимо страшно чего-то, я охотно убежал бы или спрятался куда-нибудь; но в дверях класса, хотя и открытых, мне чувствовалась непереходимая черта ⟨...⟩ Главное же чувство заключалось в том, что я уже не принадлежу себе, что я кому-то и куда-то отдан и что так вперед и будет» (VI, 39—40). «Придя первый раз из гимназии,— рассказывает Н. А. Павлович со слов Александры Андреевны,— он был взволнован, но внешне сдержан. Мать стала его расспрашивать, что же было в классе. Он долго молчал, потом тихо сказал: „Люди“» [91].

Шло время, Блок «привык, оправился, но мать поняла свою ошибку: нельзя было отдавать его в гимназию в таком нежном, ребячливом возрасте и из такой исключительной обстановки» [92].

В младших классах — втором и третьем, как вспоминает М. А. Бекетова, Блок не любил рассказывать о гимназии даже матери: «Придет, бывало, из гимназии,— мать подходит с расспросами. В ответ — или прямое молчание, или односложные скупые ответы» [93]. В его письмах этого периода, где так «много нежности ко всему домашнему», «о гимназии почти не упоминается, о товарищах ни полслова» [94].

Учится Блок средне, но на общем фоне — неплохо, о чем не без гордости гласит запись в «Касьяне» за 1892 г.: «Сашура во II классе Введенской гимназии, поступил в сентябре 1891-го. Учится порядочно. Ученик 11-ый. Живот болит часто. Вообще здоров» [95]. И действительно, в первой четверти Блок — 11-й ученик (из 33), пропустил 40 уроков по болезни; во второй — болеет чаще (65 пропущенных уроков) и занимает 13-е место; а в третьей четверти II класса (пропустил 25 уроков) он уже 7-й ученик [96].

В мае 1892 г., выдержав переводные испытания (русский язык и математика — 3; латынь и немецкий — 4; закон божий — 4; французский язык — 5) [97], он переходит в III класс [98].

По классному журналу за 1892/93 г.[99] (это единственный журнал блоковского класса в фонде гимназии (см. с. 605) можно представить, как учился Блок в третьем классе.

Экзамены он сдает более успешно: греческий язык и география — 5, математика и закон божий — 4. Ведомости о переводных испытаниях по русскому языку и латыни не сохранились, но в расписании экзаменов указано, что их принимали Киприанович и Смирнов [100].

Этот период учения Блока ярко рисуется в воспоминаниях его соученика по второму и третьему классам Н. Ф. Барабанова [101]. И хотя в этом рассказе, записанном А. Г. Лебедевой в 1961 г., содержится ряд неточностей, сведения о Блоке представляют несомненный ин-

Предметы	Количество отметок за учебный год				
	единиц	двоек	троек	четверок	пятерок
Русский язык	—	3	13	4	—
Чистописание (только за второе полугодие)	—	2	—	—	—
Латинский язык	1	6	9	3	1
Греческий язык	1	3	6	—	—
Французский язык	—	—	4	2	—
Немецкий язык	—	1	6	1	—
История	—	—	2	2	—
География	—	—	3	3	—
Математика	—	—	6	7	—
Закон божий	—	—	1	1	7

терес. Хронологически рассказ выходит «за рамки» гимназии, однако приводим его полностью, чтобы дать представление о позднейших встречах поэта и актера.

«С Ал⟨ександром⟩ Блоком я учился в одном классе б⟨ывшей⟩ Введенской гимназии на Петерб⟨ургской⟩ стороне, но не с 1-х классов.

Ребята относились к Блоку с интересом. В нем было много благородства, спокойствия — и это действовало на мальчишек. С товарищами он не ссорился. В шалостях Блок не принимал участия (к нему это не подходило и его не втягивали), но если что-нибудь происходило на его глазах, он смеялся глазами и довольно сочувственно. Я не шалил, я препирался с учителями и рисовал на них карикатуры, посылая их по классу [102]. Блоку нравились карикатуры, у него сохранилась целая кипа их, о чем он впоследствии вспоминал в одну из встреч со мной.

Блок был курчавый; его лицо напоминало изображения на старинных римских монетах; немного великовата была его голова [103]. Учился он хорошо, но не вдавался в науку. Сидел за партой у окна. Учителя относились к нему с осторожностью. Если кто-нибудь из гимназистов «набезобразит»,— они говорили: «Ну это, конечно, не Блок». Учителя у нас были ископаемые, на уроках — страшная скука. Я ушел из последнего класса гимназии» [104].

Впоследствии мы иногда сталкивались с Блоком, когда ездили на пароходике с Мытнинской набережной; ездили часа по 2, взад-вперед — не могли расстаться. Вспоминали гимназию, говорили об искусстве, поэтах, книгах. Блок вспоминал меня в письмах к матери и в дневнике: «встретил Икара, хохотал; единственный из актеров, не похожий на актера» [105].

Впервые имя Блока встречается в кондуитном журнале за 1893—1894 гг. Среди других записей его проступки выглядят совершенно невинно: в IV классе — «дневник без подписи» (объявлен выговор), в V — оставлен на полчаса за то, что «уроки не вписывает в дневник» [106]. Он по-прежнему держится обособленно, не принимает участия в классных проделках, «молодое буйство товарищеской ватаги как будто бы не задевало его» [107].

В отчетной ведомости классного наставника В. В. Яковлева средний балл Блока в IV классе — между тройкой и четверкой [108]. Во второй четверти он долго болел корью [109] и был аттестован только по русскому, латинскому, математике (тройки) и французскому (четыре) [110]. Дело о переводных испытаниях за этот год не сохранилось. Но в записной книжечке Блока-гимназиста (собрание В. Н. Орлова) имеется рассказ о событиях дня 25 мая 1894 г., когда был сдан последний экзамен — латынь — на четыре [111].

Успехам в латинском языке во многом способствовал П. Н. Краснов, который во время болезни Блока (корь) взялся подогнать его по латыни. Платон Николаевич, по воспоминаниям М. А. Бекетовой, «особенно любил Блока, повторял его словечки». Они штудировали программные «Записки о Гальской войне» Цезаря, и «дело шло у них хорошо, дружно и весело» [112]. Краснов — переводчик Тибулла и Сенеки [113] — несомненно содействовал и первым переводческим опытам Блока из древних. На страницах своего рукописного журнала «Вестник» [114] Блок помещает переводы из Овидия и Горация [115]. Родные также всячески поддерживали ин-

терес Блока к латыни. В стихотворениях Е. Г. Бекетовой и П. Н. Краснова занятия Блока латинской грамматикой обыгрываются в ироническом и дидактическом тоне [116]. Переводы из Овидия были отмечены положительно и латинистом «Арноштом», который с этого времени стал «благоволить» к Блоку [117].

В начале нового учебного года Александра Андреевна сообщает Бекетовым в Шахматово, что в гимназии дела идут «очень благополучно»: «Прошли очень мало. Некоторых уроков совсем еще не было, напр(имер), русского (...) Киприанович не будет учить в их классе (...) Сашура все это время очень занят и очень доволен» [118]. А. Л. Блок в письме от 30 октября 1894 г. также радуется «гимназическим успехам» сына-пятиклассника, «не по летам быстрым» [119].

В связи с хорошей успеваемостью директор обещал перевести Блока в VI класс без экзаменов в случае, «если будут две четверки из главных предметов в годовом» [120]. Но к концу учебы Блок устал и «разленился». «Хотя мои дела идут не особенно хорошо,— пишет он бабушке 10 марта 1895 г.,— но я почти уверен, что перейду без экзаменов. Мама в этом не уверена!» [121]

Из главных предметов у Блока была твердая четверка только по латинскому языку, который он предпочитал греческому [122]. Далеко не так благополучно обстояло дело с русским языком и словесностью.

В воспоминаниях М. А. Бекетовой Блок предстает как способный, но ленивый ученик с ярко выраженными гуманитарными склонностями: «Всего слабее шла арифметика, вообще математика. По русскому языку дело шло гладко» [123] (ср. в черновике: «Всего слабее была у него математика, всего лучше шли излюбленные им классические языки и, разумеется, русская словесность», он был «одним из лучших учеников по части русской словесности» [124]. Однако, судя по отметкам, в эти годы Блок не проявляет особенного интереса к русской словесности и грамматике. Не случайно в мае 1894 г. Александра Андреевна записывает в книжечку Блока (собрания В. Н. Орлова) стихотворение, в котором напоминает ему о предстоящем экзамене и увещевает взяться за «грамматику славянскую». А в V классе, когда перевод без экзамена решала годовая отметка по русскому языку, она жалуется в письме к Бекетовым: «Завтра решительный день, Суровцев ему сказал: „Я спрошу Вас“. Задано все повторить хорошенько, а он все смотрит на пароходы, дуется на нас за то, что мы умоляем его учиться, а когда я попробовала его спросить по книгам, оказалось, что он многого не знает (...) Время от времени приходит он ко мне (...) и мямлит разные утешительные вещи, вроде того, что в книгах, по которым ему надо учиться, „все страшные глупости“ и ничего нельзя понять» [125]. «Теперь все зависит от Суровцева,— пишет Александра Андреевна в предыдущем письме.— И вот я вчера же с ним познакомилась, спросила его, есть ли надежда Сашуре получить из его предмета 4 в годовом. Он сначала (...) жаловался на то, что Сашура плохо написал сочинение на тему «О просветительном значении Кирилла и Мефодия», но «сказал в конце концов, что Блок мальчик ничего, сообразительный, и он лично не имеет ничего против того, чтобы его перевели без экзамена» [126].

15 мая 1895 г. решением педсовета Блок был переведен в VI класс [127]. На следующий день А. А. Кублицкая-Пиоттух сообщает в Шахматово: «По-видимому, у него не только по латинскому и по русскому четверки в годовом, но и по математике (...) А можете вы себе представить, как радуется и гордится „Блёк“ тому, что его перевели без экзамена!» [128]

В VI классе Блок впервые «находит удовольствие» в посещении гимназии и начинает принимать участие в классных шалостях. «В первый же день, придя из гимназии, он мне прежде всего сказал: „Пришлось-таки подраться, стр'ашно весело“,— пишет Александра Андреевна в августе 1895 г.— Началась физика. По этому случаю шалость доведена уже до безграничного состояния, так как бегают в физический кабинет. Впрочем, Сашура нашел, что физика „легко и интересно“» [129].

О новых интересах Блока-шестиклассника дает представление «Вестник». В январе 1896 г. в журнале появляется его гимназическое сочинение по словесности «О начале русской письменности». Меняется и круг чтения. Если раньше «ему нравилось приключенческое, героическое» (Майн-Рид, Купер, Жюль Верн), а русских писателей, по свидетельству М. А. Бекетовой, он не любил, «даже скучал над ними» [130], то теперь на страницах «Вестника» мелькают имена А. К. Толстого, И. И. Лажечникова, Г. П. Данилевского и Пушкина («Выстрел») [131].

В этом году были отменены переводные испытания, о чем Блок еще зимой помещает

объявление в своем журнале: «Следующая весна 1896 года пройдет без всяких экзаменов для учащихся в средних учебных заведениях. По случаю коронации экзамены совершенно отменены для учеников, имеющих удовлетворительные отметки. Не имеющие удовлетворительных баллов должны держать экзамены в сентябре 1896 года или оставаться на второй год в том же классе. Занятия начнутся 1-го сентября вместо половины августа» [132].

В связи с коронацией Николая II, которая состоялась 14 мая, занятия в гимназии были прекращены раньше обычного — 11 мая, и Блок в числе остальных успевающих учеников был переведен без экзаменов в VII класс [133].

В последних классах (по письмам и воспоминаниям родных) Сашура по-прежнему ребячливый, непосредственный и веселый: «Росту очень большого, но дитя. Увлекается верховой ездой и театром [134], Жуковским, обожает Шахматово. Возмужал, но женщинами не интересуется» [135]; «в 16 лет Саша остался почти таким же ребенком, как и в 13» [136], и от него «веяло каким-то душевным равновесием и ясностью» [137]. По свидетельству тетки поэта, «в семье Бекетовых слишком долго относились к нему, как к маленькому» [138].



Н. Ф. БАРАБАНОВ
Фотография, 1903 г.
Ленинградский исторический архив

Домашнее поведение Блока — его веселость и «детскость», его юмор, о котором пишет М. А. Бекетова [139], — в последних классах гимназии становится «своеобразной формой защиты от „дома“» [140]. В этом смысле интересно неопубликованное письмо Блока-старшеклассника к матери от 8 мая (не позднее 1898 г.). Письмо также дает представление о распорядке дня Блока и маршруте его прогулок: от казарм Гренадерского полка на Фурштадскую улицу, где жили в это время его двоюродные братья [141].

«Его Высокопревосходительству Титулованному Советнику Многих Коллегий Штоссу (Кокушкин мост, кв. 27).

Ваше Высокопревосходительство!

Имею честь уведомить Вас: 1). О благополучном моем прибытии из среднего учебного заведения. На всем следовании моем я не встретил никаких препятствий. Отпущен в $2^1/_2$ часа. 2). Отбытие мое из казарм сего полка произошло между 3-мя и 5-ю часами 8-ого сего мая. 3). Я имел честь отбыть *без калош* по следующим уважительным причинам:

А). Набережные, улицы, мосты и проспекты на всем пути моего следования высохли достаточно, благодаря стараниям С.-Петербургского градоначальника и норд-норд-ост пассата.

Б). Высохли следующие пункты моего следования по столице Российской империи:

α). Петербургская наб⟨ережная⟩.

β). Самс⟨ониевский⟩ мост.

γ). Самарская ул⟨ица⟩.

δ). Нижегородская ул⟨ица⟩.

ε). Лит⟨ейный⟩ мост.

η). Литейный проспект.

ϰ). Сергиевская улица.

л). Воскресенский проспект.

ς). Фурштадская улица.

4). *Экстренно*: прошу принести письменную благодарность генерал-майору *Клейгельсу* за своевременную просушку улиц столицы.

Подпись: А. Блок
Руку приложил Блок» [142].

Позже Блок двойственно оценивал эти годы: «бессознательная» жизнь в уютных стенах «бекетовского дома» и «рядом — приступы отчаянья и иронии» [143].

Это был период «глубинного», бурного формирования личности Блока — канун «Ante lucem» и первого романа [144].

Переменилось и его отношение к гимназии: «Гимназия надоедает страшно, особенно с тех пор, как я начал понимать, что она ни к чему не ведет» [145]. Он начинает отходить от прежних домашних увлечений — в январе 1897 г. прекращает выпуск «Вестника» — и все больше времени проводит с товарищами по классу.

Среди них одним из первых в письмах Блока упоминается Лев Кучеров [146]. Это был один из лучших учеников, по характеристике педсовета «обнаруживал живой интерес ко всем предметам»; гимназию он окончил с серебряной медалью. Блок часто бывал в Лесном у братьев Кучеровых [147], отец которых в то время состоял приват-доцентом химии Лесного института. Отношения с Львом Кучеровым были, видимо, скорее приятельские, чем дружеские. По воспоминаниям М. А. Бекетовой, их связывали только общие игры [148].

И лишь «в последних двух классах завелись уже настоящие друзья» [149] — Фосс и Гун.

Леонид Фосс [150] — «сын богатого инженера», «щеголь и франт, но не без поэтических наклонностей» [151], поступил в блоковский класс в 1895 г. Способный к точным наукам Фосс «интереса к учению не обнаруживал»; учился небрежно, но хорошо сдавал экзамены, зато часто наказывался за опоздания, гимназические шалости и внеклассные проступки [152].

Николай Гун [153]— «мечтательный и страстный юноша немецкого типа» [154] — учился с Блоком со второго класса, но сошлись они только в старших классах. Успевал Гун средне [155], особенно плохо шли у него классические языки. Но как сын «лиц несостоятельных» — его мать была вдовой надворного советника и получала скромную пенсию 25 рублей — постоянно освобождался от платы за обучение [156]. При этом от Гуна требовалось «одобрительное поведение», что, вероятно, удерживало его от «классных проступков» [157]. Блок из друзей особенно выделял Гуна, хотя тот по «своим привычкам и вкусам был далек от духа и интересов, господствующих в бекетовской семье» [158].

Друзья «часто сходились втроем у Блока или в красивом доме Фоссов на Лицейской улице» [159]. Вели разговоры «про любовь», Блок читал свои стихи, восхищавшие обоих, Фосс играл на скрипке серенаду Брага, бывшую в то время в моде. В весенние ночи разгуливали они вместе по Невскому, по островам [160].

После окончания гимназии Блок вскоре потерял Фосса из виду [161]. Дружба с Гуном, правда «уже остывавшая», продолжалась и в студенческие годы [162].

В 1902 г. Гун покончил с собой. В его студенческом деле имеется донесение жандармского полковника ректору университета от 21 января: «В 5 час⟨ов⟩ утра, на реке Б⟨ольшая⟩ Нева на Клинической ездовой дороге, в 300-х шагах от Гагаринского спуска, обнаружен застрелившимся студент местного университета Николай Вас⟨ильевич⟩ Гун, 24 лет, с огнестрельною раною в левой стороне груди, около соска; из найденного при Гуне письма на имя матери выясняется, что он решился на самоубийство вследствие безнадежной любви» [163]. Причины самоубийства были известны Блоку и его родным. В черновых материалах к биографии поэта М. А. Бекетова пишет: «В 1902-ом году, когда Блок был еще на юридическом факультете (Блок в это время учился на филологическом ф-те.— *К. К.* и *А. К.*), произошло событие, которое его сильно расстроило и взволновало: он узнал, что застрелился его товарищ по гимназии Кока Гун». Будучи «репетитором сына какой-то дамы», Гун «влюбился и попал в тяжелое положение» [164]. На смерть Гуна поэт откликнулся стихотворением «На могиле друга» [165].

Дружба с Гуном нашла отражение и в творчестве Блока. Еще в гимназии ему было посвящено стихотворение «Ты много жил, я больше пел...» (1898). Возможно, существует сложно опосредованная связь между Гуном и художественным образом гимназического товарища в «Исповеди язычника» — Дмитрием... (VI, 40, 43—44).

Материалы об успеваемости Блока в VII классе в фонде отсутствуют [166]. За этот год сохранился только подробный «Журнал для записывания проступков учеников», где имя Блока встречается один раз: 4 апреля 1897 г. не явился на урок танцев и был оставлен на полчаса после занятий [167].

В конце учебного года, 30 апреля, А. А. Кублицкая-Пиоттух подает прошение директору гимназии:

«Имея намерение отправиться предстоящим летом в заграничное путешествие вместе с сыном своим, учеником VII класса С.-Петербургской Введенской гимназии Александром Блоком, прошу Ваше Превосходительство дать ему на эту поездку письменное разрешение» [168].

12 мая Блок получает удостоверение «в том, что к увольнению его в заграничный отпуск по 18 августа сего 1897 г. препятствий со стороны начальства гимназии не встречается» [169].

Окончание занятий ознаменовалось поездкой в Бад Наугейм и встречей с К. М. Садовской [170].

Осенью Блок возвратился в Петербург один: Александра Андреевна задержалась в Шахматове из-за болезни отца — А. Н. Бекетова. В августовских письмах он сообщает матери о новостях и событиях каждого дня. Из писем Блока о гимназии — это самые содержательные. В них жалобы на «страшно» надоевшую гимназию, которая «совсем не вяжется» с его «мыслями, манерами и чувствами», где «нечего делать» и «много идиотизма». И рассказ о том, как вместе со своими товарищами он отвоевал «не без больших скандалов» лучшее место в классе — «у стенки и в уютном уголке среди столиков: при случае можно соснуть, списать и спрятаться! ⟨...⟩ Там мы будем сидеть в своей компании, а именно. Направо Кучеров, затем по сторонам Галкин, Лейкин, Фосс, Гун и др.» Он приводит расписание занятий и прозвища учителей («француз-дурак»; учитель космографии — «сиамец»), описывает уроки (словесности и французского) и классные проделки: «На гимнастике нам сказали, что мы основа гимназии, на что мы отвечали мяуканьем (по обыкновению!)» [171].

На страницах кондуитного журнала за 1897 г. блоковский VIII класс встречается довольно часто: «в большую перемену пили чай в кофейной на Большом проспекте»; «самовольно находились в шинельной»; «пели перед 4-м уроком» (весь класс оставлен на полчаса) и т. д. Попал в кондуит и Блок: 23 ноября опоздал на молитву и получил выговор [172].

Как видно из «Ведомости об успехах, внимании, прилежании и поведении», Блок — девятый ученик класса (из 35) в первой четверти и восьмой — во второй. Тройки имеет по греческому, немецкому и физике. В третьей четверти заметно снижаются его успеваемость (восемнадцатый ученик) и внимание (на уроках немецкого языка двойка). Добавляются тройки по латыни и истории, появляется двойка по физике [173].

Во втором полугодии предстоящие выпускные экзамены, по-видимому, мало беспокоят Блока. «С января уже начались стихи в изрядном количестве,— вспоминает он в 1918 г.— В них — К. М. С⟨адовская⟩, мечты о страстях, дружба с Кокой Гуном...» (VII, 339). В весенние вечера Блок ждет Ксению Михайловну в закрытой карете вблизи ее дома, на Забалканском. «Если Ты думаешь, что экзамены и пр. будут страдать,— пишет он Садовской в конце марта,— то знай, что мне прежде всего нужна жизнь» (VIII, 9).

В шуточном стихотворении Е. Г. Бекетовой рисуется образ романтически влюбленного («беспредметно») внука, который, «в мечтанья тихо погруженный», бродит один по городу накануне экзаменов:

В мечтанья тихо погруженный
И полон богатырских сил,
Однажды юноша влюбленный
Один по улицам бродил.

Он был влюблен, но беспредметно;
Стремился в даль, но не дерзал;
И дальше улицы Монетной
Обыкновенно не гулял.

Не от болезни, не с похмелья
Он скверно чувствовал себя:
Он жаждал славы и безделья,
Научных истин не любя.

И думал он: «В тиши безвестной
Ужель прожить мне суждено?
Ужель вращаться в сфере тесной
Такому гению дано?

Когда б я был гвоздем железным
Или ключем от кладовой,
И с этим жребием полезным
Не примирился б гений мой.

В мечтах я лезу на балконы,
Джульетту ангелом зову,
Внимаю пенью Дездемоны,
И что я вижу наяву?

Увы! Хочу я быть Гамлетом,
Любить Офелию-красу...
Какой же прок в желанье этом,
Когда экзамен на носу?

Крепись мой дух, впивай познанья,
Терпенье в зубы захвати,
И как к Джульетте на свиданье,
Стрелой в гимназию лети!»

Когда б я был простой тарелкой,
На коей носят пироги,
Не свыкся б я с сей ролью мелкой
И сам разбился б в черепки.

Так бодрствуя в часы ночные
И внука юного любя,
Старуха-бабка не впервые
Слагала стансы для тебя.

При этом все она мечтала,
Чтоб ты здоров и весел был,
Не пил вина (иль очень мало)
И папиросы не курил! [174]

13 апреля 1898

16 апреля 1898 г. Блок был допущен к испытаниям на аттестат зрелости [175], имея «средний вывод из обязательных предметов» — 3,7/11 и следующие «успехи в предметах гимназического курса»: закон божий — 4, русский язык с церковно-славянским и словесность — 4, логика — 4, латинский язык — 3, греческий — 3, математическая география — 5, математика — 4, физика — 3, история — 4, география — 3, французский язык — 4, немецкий — 3.

Экзамены проходили с 28 апреля по 29 мая. Блок выдержал их «с грехом пополам» [176], получив двойку по устной математике и тройки по письменным переводам с латинского и греческого, по истории и немецкому; остальные предметы сдал на четыре [177].

30 июля 1898 г. по секретному запросу Петербургского университета Введенская гимназия отправляет характеристики на своих выпускников, подавших прошение в университет. В характеристике на Блока указано: «Ученик с очень порядочными умственными способностями, занимался довольно ровно в течение гимназического курса. Вежливый и скромный молодой человек, ни в чем дурном никогда не был замечаем; вполне обеспечен в материальном отношении» [178].

Получив аттестаты зрелости, Блок и Гун, как это было условлено ранее, в начале июня отправились в Москву, где «отпраздновали свою свободу выпивкой и концертом Вяльцевой» [179].

Вероятно, в это время в память о гимназической дружбе Гун и подарил Блоку свою фотографию, сделанную весной 1898 г., на обороте которой он написал:

«Одно могу пожелать Тебе как своему лучшему другу: чтобы Ты в предстоящей жизни испытал и счастье и несчастье в равной степени. Наслаждайся счастливыми минутами жизни умело и не забывай никогда своих обязанностей; если же Тебя постигнет несчастье, то не падай духом, но работай, дабы снова завоевать себе счастье. Не забывай также в тяжелые минуты жизни своего друга, который всегда будет готов помочь тебе словом и делом. Дай бог, чтобы жизнь из тебя сделала независимого, довольного, не думающего только о себе человека, но трудящегося на благо других и видящего свое счастье также и в счастье близких ему людей — вот единственное желание любящего тебя Коки» [180].

Появление друзей и сферы интересов вне «бекетовского мира» было, пожалуй, наиболее существенным, что дала Блоку гимназия. Здесь — истоки культа юношеской дружбы, возникшего через несколько лет, во время сближения с С. Соловьевым и Андреем Белым.

«В августе 1898 года я встречал Блока в перелеске, на границах нашего Дедóва,— вспоминает Сергей Соловьев.— Показался тарантас. В нем — молодой человек, изящно одетый, с венчиком золотистых кудрей, с розой в петлице и тросточкой. Рядом — барышня. Он только что кончил гимназию и веселился. Театр, флирт и стихи...» [181]

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] З. Г. Минц. Рукописные журналы Блока-ребенка.— «Блоковский сб.», 2, с. 292.

[2] «Блоковский сб.», 2, с. 434—443.

[3] Аттестат зрелости находится в студенческом деле Блока (ЛГИА, ф. 14, оп. 3, ед. хр. 35242, л. 46, 46 об., 47).

[4] ГЛМ, ф. 8, ед. хр. 4558. Свидетельство поступило в музей в 1948 г. от Г. П. Блока (сообщено М. Г. Ватолиной).

[5] «Письма к родным», I, с. 37.

[6] См. о них: М. А. Бекетова. Александр Блок и его мать. Л.—М., 1925, с. 59—62; Вл. Орлов. Гамаюн. Л., 1980, с. 56—57; фрагменты одной из книжечек, опубл. В. Н. Орловым.— «Детская литература», 1980, № 11.

[7] ЛН, т. 27/28, с. 508, 563.

[8] С 1862 по 1882 г. была прогимназией; в 1883 г. преобразована в гимназию; в 1913 г.

переименована в С.-Петербургскую гимназию императора Петра Великого (IX классическая).

[9] Из неопубликованных воспоминаний гимназического товарища Блока.— В кн.: О. Немеровская, Ц. Вольпе. Судьба Блока. Л., 1930, с. 21.

[10] Ныне Большой пр., дом 37/39; здание сохранилось.

[11] Годовая плата за обучение во Введенской гимназии в 1890-х годах составляла 50 руб., в то время как в остальных — 60 руб., кроме VI гимназии (70 руб.) и X (52 руб.) (ЛГИА, ф. 303, оп. 2, ед. хр. 1372, л. 3, об.— 4; ЦГИАЛ, ф. 733, оп. 165, ед. хр. 1134).

[12] VI, 41; «Письма к родным», I, с. 36.

[13] «Письма к родным», I, с. 36.

[14] О. Немеровская, Ц. Вольпе. Судьба Блока, с. 21.

[15] В. Н. Княжнин. Александр Александрович Блок. Пг., 1922, с. 28.

[16] Там же.

[17] Там же, с. 30. Ср. образ директора в «Исповеди язычника» (VI, 43—44). Алексей Иванович *Давиденков* (1853—?) был назначен на должность директора в январе 1893 г. (перемещен из Нарвской гимназии); пребывал в этой должности до января 1899 г. (ЛГИА, ф. 303, оп. 2, ед. хр. 879).

[18] «Правила для учеников С.-Петербургской Введенской гимназии». СПб., 1888. Эти правила помещались в ученических дневниках и являлись извлечениями из министерского циркуляра «Правила для учеников гимназий и прогимназий ‹...› утвержденных ‹...› 4 мая 1874 г.»

[19] Например, по сравнению с V гимназией, в которой учился В. Н. Княжнин (ГПБ, ф. 353, арх. В. Н. Княжнина, ед. хр. 1).

[20] ЛГИА, ф. 303, оп. 2, ед. хр. 1033, л. 1.

[21] Там же, ед. хр. 1237, л. 2—2 об.

[22] Там же, ед. хр. 1151, 1313.

[23] В. Н. Княжнин. Александр Александрович Блок, с. 27—29. Известный цирковой борец Иван Владимирович Лебедев (1879—1950), окончивший в 1898 г. III гимназию, в своих неопубликованных воспоминаниях «Записки счастливца» пишет, что компания уличных подростков на Невском проспекте называлась «гайда»; а на Большом пр. Петербургской стороны — «рощинцы» (ИРЛИ, ф. 757, арх. А. Г. Лебедевой; фонд в обработке). Гимназистов по цвету мундира звали «синей говядиной» (В. Н. Княжнин. Александр Александрович Блок, с. 29).

[24] См. об этом: В. Динзе. Очерки по истории среднешкольного движения. СПб., 1909, с. 27. Вероятно, политика коснулась гимназии позднее, в 1905 г. (см.: ЛГИА, ф. 2189, личный фонд Ю. М. Васильева, учащегося Введенской гимназии, члена школьных подпольных организаций).

[25] Ш. И. Генелин. Очерки по истории средней школы в России второй половины XIX века. М., 1954, с. 150.

[26] ЛГИА, ф. 303, оп. 2, ед. хр. 1237, л. 26; ср.: «Сборник постановлений и распоряжений по гимназиям и прогимназиям ведомства Министерства народного просвещения». СПб., 1874, с. 206—207.

[27] ЛГИА, ф. 303, оп. 2, ед. хр. 1237; «Краткий отчет о состоянии С.-Петербургской Введенской гимназии». СПб., 1894, 1896, 1897; ср.: Ш. И. Генелин. Очерки..., с. 152.

[28] ЛГИА, ф. 303, оп. 2, ед. хр. 1150; «Краткий отчет...». СПб., 1894, 1896, 1897.

[29] ЛГИА, ф. 303, оп. 2, ед. хр. 1150, л. 88 об; «Краткий отчет...». СПб., 1897, с. 19.

[30] В 1896/97 учебном году уроки декламации не были возобновлены из-за ухода преподавателя Никольского («Краткий отчет...», с. 20).

[31] М. А. Бекетова. Александр Блок и его мать, с. 73. Этот факт не нашел подтверждения в документах гимназии.

[32] По существующему положению преподаватель мог вносить изменения в рекомендованную программу. В этом случае он обязан был представить собственную программу с обоснованием на обсуждение педсовета.— Ш. И. Генелин. Очерки..., с. 156.

[33] Сергей Александрович *Смирнов* (1866—?), сын секретаря Мокшанского уездного полицейского управления. Окончил Пензенскую гимназию (1886) и Петербургский историко-филологический ин-т (1890). Сверхштатный преподаватель латинского языка (1890), а с 1891 г.— помощник классного наставника и штатный преподаватель древних языков во Введенской гимназии; отстранен от должности в 1918 г. (ЛГИА, ф. 303, оп. 2, ед. хр. 642).

[34] Владимир Владимирович *Яковлев* (1855—1918), сын коллежского секретаря. Окончил петербургскую Ларинскую гимназию (1877) и историко-филологический ф-т Петербургского ун-та (1884) (ЛГИА, ф. 14, оп. 3, ед. хр. 19855).

[35] В. Н. Княжнин. Александр Александрович Блок, с. 30.

[36] Самуил Семенович *Наркевич* (1862—?) — выпускник Петербургской Духовной академии (1888); преподаватель закона божьего во Введенской (1888—1900) и Покровской (с 1897 г.) гимназиях, а также в гимназии и реальном училище К. Мея (с 1888 г.); в 1888—1900 гг. — священник церкви Кирилла и Мефодия — прихода Введенской гимназии (ЛГИА, ф. 303, оп. 2, ед. хр. 492).

[37] Иван Дмитриевич Яковлев (1862—?) окончил Петербургский ун-т со «степенью кандидата» (1890); во Введенской гимназии преподавал математику с 1891 по 1896 г. (ЛГИА, ф. 303, оп. 2, ед. хр. 728).

[38] Людвиг Карлович *Якобсон* (1868 — после 1920) — выпускник Дерптского ун-та (1891),

преподаватель немецкого языка во Введенской гимназии (1891—1919) (ЛГИА, ф. 303, оп. 2, ед. хр. 727).

[39] Евгений Александрович *Роговский* (1855—?), сын врача. После окончания Петербургского ун-та со «степенью кандидата» (1882) занимал при нем должность приват-доцента и одновременно преподавал физику в Покровской (1885—1904) и Введенской (1891—1904) гимназиях; помощник редактора «Журнала русского физико-химического общества» (1885—1904); профессор физики Харьковского ун-та (с 1904 г.); действительный член русского астрономического и французского физического обществ; автор многочисленных работ и рефератов по физике и астрономии (ЛГИА, ф. 303, оп. 2, ед. хр. 725; Физико-математический ф-т Харьковского ун-та за первые сто лет его существования (1805—1905). Харьков, 1908, отд. III, с. 92—93).

[40] В. Н. Княжнин. Александр Александрович Блок, с. 31.

[41] Павел Григорьевич *Мижуев* (1861—1931), сын морского обер-офицера. После окончания Морского училища служил во флоте (1877—1885); принимал участие в морских экспедициях; в 1885 г., выйдя в запас, сдает экзамен при Петербургском учебном округе «на звание учителя французского языка». Преподавал в VI (с 1895 г.) и во Введенской (по найму, 1885—1898) гимназиях. Впоследствии, заведуя библиотекой в Технологическом ин-те (1902—1924), читал лекции как профессор в различных высших учебных заведениях Петербурга; известен также своими реформами в области библиотечного дела (ЛГИА, ф. 303, оп. 2, ед. хр. 168; там же, ф. 492, оп. 2, ед. хр. 7234; С. А. Венгеров. Краткий биографический словарь писателей и ученых, т. II. Пг., 1916, с. 106; «Наука в России», вып. I. Пг., 1920; вып. III. Пг., 1923).

[42] Ш. И. Генелин. Очерки..., с. 155.

[43] В. Н. Княжнин. Александр Александрович Блок, с. 31.

[44] Антон Егóрович *Суровцев* (1864—?), из архангельских мещан. По окончании Петербургского ун-та (1887) преподавал в учительском ин-те (1888—1889), Нарвской (1889—1894) и во Введенской (1894—1903) гимназиях (ЛГИА, ф. 303, оп. 2, ед. хр. 1030).

[45] В. Н. Княжнин. Александр Александрович Блок, с. 33.

[46] ЛГИА, ф. 303, оп. 2, ед. хр. 1237, л. 29.

[47] В. Н. Княжнин. Александр Александрович Блок, с. 32.

[48] Там же.

[49] А. Г. Суровцев. Иван Владимирович Лопухин. Его масонская и государственная деятельность. Биографический очерк. СПб., 1901.

[50] В. Н. Княжнин. Александр Александрович Блок, с. 32.

[51] А. Г. Суровцев. На досуге. Заметки старого учителя о новых учебных книгах по русскому языку и о новой повести в стихах. СПб., 1913, с. 38—39.

[52] «Письма к родным», I, с. 32.

[53] Там же, с. 37.

[54] Иван Яковлевич *Киприанович* (1848—1908) после окончания Петербургского ун-та (1873) преподавал в Архангельской гимназии (1873—1875), штатный помощник классных наставников в III петербургской прогимназии и преподаватель русского языка (по найму) во II реальном училище (1875—1878); заслуженный преподаватель русского языка во Введенской гимназии (1878—1908) (ЛГИА, ф. 303, оп. 1, ед. хр. 279). Автор учебников «Синтаксис русского языка, сличенный с синтаксисом классических и церковно-славянских языков». СПб., 1887; «Учебник русской грамматики для низших классов. Часть I. Этимология». СПб., 1891.

[55] С. Алянский. Встречи с Александром Блоком. М., 1972, с. 31.

[56] «Журнал Министерства народного просвещения», 1891, апрель, ч. CCLXXIV, с. 47—48.

[57] В. Н. Княжнин. Александр Александрович Блок, с. 32.

[58] ЛГИА, ф. 303, оп. 2, ед. хр. 1237, л. 3 об; там же, ф. 139, оп. 1, ед. хр. 8321, л. 665 об.

[59] М. А. Бекетова. Александр Блок. Биографический очерк. Л., 1930, с. 48; ср. в рукописи, где вместо Киприановича назван Суровцев: «...учитель русского языка Суровцев почему-то написал в журнале, что Блоку нужна помощь в русском языке» (ИРЛИ, ф. 462, арх. М. А. Бекетовой, ед. хр. 11, тетр. 1, л. 29 об.).

[60] С. Алянский. Встречи с Александром Блоком, с. 31.

[61] Там же.

[62] Арношт (Эрнест) Федорович *Влашимский* (1846—1916) родился в Чехии, в семье деревенского учителя. После окончания Пражского ун-та (1867) сдает экзамен при Петербургском ун-те «на звание учителя древних языков»; в 1888 г. принял русское подданство; преподавал в Тамбовской (1875—1879) и во Введенской (1879—1912) гимназиях; в 1900 г. ему присвоена должность старшего учителя столичных гимназий (ЛГИА, ф. 303, оп. 1, ед. хр. 300).

[63] М. А. Бекетова. Александр Блок. Биографический очерк, с. 48.

[64] В. Н. Княжнин. Александр Александрович Блок, с. 28.

[65] Ныне Петроградская наб., 44 (здание перестроено в 1934—1939 гг.).

[66] М. А. Бекетова. Александр Блок. Биографический очерк, с. 47.

[67] М. А. Бекетова. Александр Блок и его мать, с. 26—27.

[68] О детском творчестве и круге чтения юного Блока см.: З. Г. Минц. Рукописные журналы Блока-ребенка; М. А. Бекетова. Александр Блок и его мать, с. 27 и публикацию М. И. Дикман в наст. томе, кн. 1.

[69] ИРЛИ, ф. 654, арх. А. А. Блока, оп. 4, ед. хр. 15; опубл. в кн.: А. Турков. Александр Блок. М., 1969, с. 8.

[70] М. А. Бекетова. Александр Блок и его мать, с. 31. Уже во время учения в гим-

назии «присутствие в доме сестры Софьи Андр⟨еевны⟩ гувернанток-француженок таки заставило» Блока «говорить по-французски и читать французские книжки. Он говорил с ошибками и неизящно, но мог вполне удовлетворительно объясняться и выражать свои мысли» (там же, с. 41).

[71] ГЛМ, ф. 8, ед. хр. 4558.

[72] Вячеслав Михайлович *Грибовский* (1866—1924), сын чиновника, родился г. Сувал⟨к⟩. После окончания Введенской гимназии (1887) и юридического ф-та (1891) — приват-доцент (с 1897 г.), доктор государственного права (с 1900 г.), ординарный профессор Петербургского и позже Новороссийского ун-тов; в последние годы — профессор Высшей школы в Латвии (ЛГИА, ф. 303, оп. 1, ед. хр. 292; там же, ф. 14, оп. 3, ед. хр. 26081; В. Н. Чувакова. Русский зарубежный некрополь (1917—1967). М., 1967 (рукопись).

[73] Письмо Блока к отцу от 3 июня 1908 г. («Письма к родным», I, с. 215).

[74] Характерно в этой связи письмо Грибовского к В. М. Владиславлеву из Парижа, куда он был послан в 1895 г. «для усовершенствования в науках»; он сообщает в нем о визитах к академику Леметру и иезуиту отцу Нирлите, о поездке в замок к Доде и настойчивых поисках поэта Верлена, о занятиях в Национальной библиотеке и работе над повестью «из средневековой жизни» (ИРЛИ, Р. II., оп. 3, ед. хр. 7, л. 4—4 об.).

[75] См.: письмо Грибовского к О. К. Нотовичу от 29 марта 1890 г. (ИРЛИ, ф. 207, арх. О. К. Нотовича, ед. хр. 73); автобиографию Грибовского (там же, ф. 357, арх. В. И. Яковлева, оп. 5, ед. хр. 36, л. 1—2 об.).

[76] «Письма к родным», I, с. 215.

[77] Грибовскому принадлежат популярные в свое время книги: «Студенческие рассказы» (СПб., 1898), «В годы юности. Повести и рассказы» (СПб., 1902), а также экспромты, буриме и эпиграммы (ИРЛИ, ф. 123, собр. А. Е. Бурцева, оп. 1, ед. хр. 294; Альбом обеденных благоглупостей российских беллетристов. ГПБ, ф. 494, собр. Д. Л. Мордовцева, ед. хр. 1). Он сотрудничал в журналах «Север», «Вестник всемирной литературы», «Исторический вестник» и др., в газете «Новое время» (ИРЛИ, ф. 357, арх. В. И. Яковлева, оп. 5, ед. хр. 36). Об участии Грибовского в «пятницах» и «вечерах» Случевского см.: ГПБ, ф. 703, арх. К. К. Случевского, ед. хр. 2; там же, ф. 124, собр. П. Л. Вакселя, ед. хр. 1338.

[78] В. М. Грибовский — автор многочисленных статей и рецензий по истории и государственному праву (ГПБ, ф. 874, арх. С. Н. Шубинского, оп. 1, ед. хр. 84, 88, 92, 108 и др.), а также книг: «Народ и власть в Византийском государстве» (СПб., 1897); «Сборник русских законодательных памятников XVIII столетия». СПб., 1900; «Высший суд и надзор в России в первую половину царствования императрицы Екатерины Второй». СПб., 1901; «Государственное устройство и управление Российской империи». Одесса, 1912; «Древнерусское право», вып. 1—2. Пг., 1915—1917; и др.

[79] Директор петербургской Славянской гимназии; член комитета по народному образованию; начальник III (законодательного) отделения канцелярии министерства путей сообщения (В. Н. Чувакова. Русский зарубежный некрополь... ГПБ, ф. 152, арх. К. А. Военского, оп. 2, ед. хр. 272; ИРЛИ, ф. 273, арх. П. В. Быкова, оп. 1, ед. хр. 184, 352).

[80] Упоминание о студенте Грибовском см.: М. А. Бекетова. Александр Блок. Биографический очерк, с. 47; Мар. Грибовская. Воспоминания об Александре Блоке.— В кн.: «Александр Блок в воспоминаниях современников», т. 1. М., 1980, с. 81.

[81] Платон Николаевич *Краснов* (1866—?) начал бывать у Бекетовых с 1884 г., а в 1891— женился на Е. А. Бекетовой (ИРЛИ, ф. 654, оп. 4, ед. хр. 13, л. 65).

[82] Мар. Грибовская. Воспоминания об Александре Блоке, с. 81.

[83] В. Н. Княжнин. Александр Александрович Блок, с. 24.

[84] ЛГИА, ф. 14, оп. 3, ед. хр. 26081, л. 26.

[85] М. А. Бекетова. Александр Блок. Биографический очерк, с. 47; ср.: Мар. Грибовская. Воспоминания об Александре Блоке, с. 81.

[86] См. упоминания о Грибовском: «Что выйдет из Грибовского — писатель или чиновник?» («Касьян», запись 29 февраля 1896 г.— ИРЛИ, ф. 654, арх. А. А. Блока, оп. 4, ед. хр. 15, л. 18 об.); письма А. А. Кублицкой-Пиоттух к Бекетовым (там же, оп. 8, ед. хр. 15, л. 4 об., 6 об., 20 об.).

[87] В «Вестнике» (1894, № 5) помещено стихотворение Грибовского «Ранний час» (опубл.: «Рижский курьер», 1921, 7 сентября, № 208).

[88] «Письма к родным», I, с. 48; VIII, 11. Вл. Пяст, описывая встречу Блока с Грибовским (после 1905 г.), отмечает «сухой» тон ответов Блока на вопросы «его гимназического репетитора» (Вл. Пяст. Воспоминания о Блоке. Пб., 1923, с. 31). Позже, в письме к отцу (1908), характеризуя Грибовского с явной симпатией, Блок писал о своем скептическом отношении к нему во времена студенчества («Письма к родным», I, с. 215). См. ироническое упоминание Блоком Грибовского в стихотворении (1901) «К Бальмонту» (I, 555—556) и в письмах к отцу 1900 г. («Письма к родным», I, с. 52, 56). О взаимоотношениях Грибовского со студентами во время волнений в университете см. в его брошюре: «Из истории студенческих движений 1899 года». Берлин, 1901.

[89] «Дело об ученике Александре Блоке» (собрание В. Н. Орлова).

[90] ЛГИА, ф. 303, оп. 2, ед. хр. 729, л. 22. В «Хронологической канве жизни и творчества Александра Блока» (VII, 523) зачисление в гимназию ошибочно датировано днем подачи прошения — 27 августа.

[91] Н. А. Павлович. Воспоминания об Александре Блоке.— «Блоковский сб.», 1, с. 463; то же: «Прометей», 1977, № 11, с. 229; ср.: «Огонек», 1946, № 28, с. 26.

[92] М. А. Бекетова. Александр Блок. Биографический очерк, с. 47.
[93] Там же, с. 48—49.
[94] М. А. Бекетова. Александр Блок и его мать, с. 39; гимназия упоминается только в письме к матери (1892, июнь, до 22. Шахматово): «Я соскучился о III-ем классе, о тебе, о Францике...» («Письма к родным», I, с. 12).
[95] ИРЛИ, ф. 654, арх. А. А. Блока, оп. 4, ед. хр. 15, л. 13 об.—14 (частично приведено в кн.: А. Турков. Александр Блок, с. 8).
[96] ЛГИА, ф. 303, оп. 2, ед. хр. 729, л. 41, 48, 70.
[97] Там же, ед. хр. 782, л. 11—13, 40—41.
[98] Там же, ед. хр. 790, л. 16 об.—17 об.
[99] Там же, ед. хр. 873.
[100] Там же, ед. хр. 884, л. 110—113; 25 мая 1893 г. Блок переводится в IV класс (там же, ед. хр. 887, л. 15—15 об.).
[101] ИРЛИ, ф. 757, арх. А. Г. Лебедевой (запись рассказа датирована: 27 сентября 1961 г.). Николай Федорович *Барабанов* (1880—1975) — актер (сценический псевдоним Икар), преподаватель ритма, пластики и танца. Учился во Введенской гимназии (1890—1900), окончил в 1902 г. гимназию Видемана. С 1903 по 1906 г. студент 1-го курса юридического ф-та Петербургского ун-та. Впоследствии член РТО (с 1909 г.), актер (имитатор балерин) в театре «Кривое зеркало» (1908—1915); с 1922 по 1947 г. жил за границей (работал в римском театре «Пантомимы» и парижском театре «Одеон»); руководитель кружков художественной самодеятельности с 1947 г.; последние годы (1953—1975) жил в ленинградском Доме ветеранов сцены. Известен и как коллекционер вееров (см. об этом: «Нева», 1960, № 10; «Советский Союз», 1961, № 2; и др.). С Блоком учился только во II и III классах; в III классе был оставлен на второй год (Дело Н. Ф. Барабанова в Доме ветеранов сцены; ЛГИА, ф. 303, оп. 2, ед. хр. 648; там же, ф. 14. оп. 3, ед. хр. 41746).
[102] Фамилия Барабанова часто встречается в кондуитных журналах Введенской гимназии, но нет ни одной записи о его рисунках на уроках.
[103] Ср.: «Помню его классически правильное, бледное, спокойное лицо с ясными задумчивыми глазами» (О. Немеровская, Ц. Вольпе. Судьба Блока, с. 23).
[104] Барабанов оставался также по два года в IV и VI классах и был отчислен по неуспеваемости в 1900 г. (ЛГИА, ф. 303, оп. 2, ед. хр. 648, л. 4).
[105] Ср.: «В трамвае я встретился с Барабановым-Икаром. Мы хохотали всю дорогу, он — от простой веселости, а я от того, что не мог смотреть на него без смеха. С гимназии он потолстел, но ничего актерского в нем нет. Танцевать стал случайно и непосредственно» («Письма к родным», II, с. 103); «Третьего дня я был в „Кривом зеркале“ и восхищен Барабановым (Икаром)» (там же, с. 118); в опубликованных дневниках и записных книжках Барабанов не упоминается.
[106] Записи от 4 октября 1893 г. и 15 октября 1894 г. (ЛГИА, ф. 303, оп. 2, ед. хр. 891).
[107] О. Немеровская, Ц. Вольпе. Судьба Блока, с. 23.
[108] Средний вывод у Блока: I четверть — 3 $^{3}/_{8}$, III — 3 $^{1}/_{2}$ (ЛГИА, ф. 303, оп. 2, ед. хр. 888).
[109] М. А. Бекетова. Александр Блок. Биографический очерк, с. 52. Этот факт нашел отражение в протоколе заседания педсовета от 20 декабря 1893 г., где отмечалось, что корью «переболело не менее 34 человек, из которых каждый пропустил средним числом 108 уроков»; среди болевших упоминается Блок (ЛГИА, ф. 303, оп. 2, ед. хр. 887, л. 80).
[110] «Письма к родным», I, с. 18; в списках учащихся против фамилии Блока помета: «отметки не по всем предметам» (ЛГИА, ф. 303, оп. 2, ед. хр. 888, л. 20—20 об.).
[111] Ср.: М. А. Бекетова. Александр Блок и его мать, с. 61—62; 27 мая 1894 г. Блок переведен в V класс (ЛГИА, ф. 303, оп. 2, ед. хр. 1033, л. 37).
[112] М. А. Бекетова. Александр Блок. Биографический очерк, с. 51—52.
[113] См. переводы П. Н. Краснова: «Из Тибулла. „К Немезиде. Элегия первая“».— «Журнал министерства народного просвещения», 1886, декабрь; Сенека. Избранные письма к Люцилию. СПб., 1893.
[114] Первый номер «Вестника» вышел в январе 1894 г., последний — в январе 1897 г. (ИРЛИ, ф. 654, арх. А. А. Блока, оп. 1, ед. хр. 164; см. о нем: наст. том, кн. 1, с. 203—221. К своему участию в «Вестнике» Блок относился с удивительной серьезностью. С. Соловьев, который познакомился с ним как раз в эти годы, вспоминает, что его «поразила и пленила» в этом «вялом и флегматичном» гимназисте «любовь к технике литературного дела и особенная аккуратность» (Сергей Соловьев. Воспоминания об Александре Блоке.— В кн.: «Александр Блок в воспоминаниях современников», т. 1, с. 110).
[115] Отрывки из «Орфея и Эвридики» Овидия («Вестник», 1895, № 5, 6, 8, 9), из «Энеиды» Горация («Вестник», 1897, январь).
[116] Приводим стихотворение П. Н. Краснова «Спасительный звонок (идиллия)»:

Над грамматикой латинской
Блок давно уж чуть не спал:
Силой воли исполинской
Он всхрапнуть себе мешал.
Был урок уже последний;
Блок почти торжествовал;
Ибо знал уроки «средне»,
Но никто не вызывал.

Вдруг сквозь сон как будто слышит
Он: «К доске идите, Блок!!!..»
Встал он, дышит и не дышит;
Но... раздался тут звонок.
Прозвучал он, как нарочно...
Тотчас Блок стал резв и мил
И пошел веселый, точно
Рыба быстрая Кирилл.

(«Вестник» 1894, № 2)

См. также стихотворное примечание Е. Г. Бекетовой к пьесе Блока «Король Пингвинов» («Вестник», 1894, № 5); стихотворение П. Н. Краснова «Тень Цезаря» («Вестник», 1894, № 9; опубл. в кн.: М. А. Бекетова. Александр Блок. Биографический очерк, с. 52).

[117] М. А. Бекетова. Александр Блок. Биографический очерк, с. 48; ср.: «Письма к родным», I, с. 34. На списке «Орфея и Эвридики», хранящемся в ЦГАЛИ (ф. 55, оп. 1, ед. хр. 77, л. 1), имеется помета А. А. Кублицкой-Пиоттух о том, что этот перевод был удостоен «почетного отзыва преподавателя латинского языка С. А. Смирнова». Однако в V классе, когда по программе проходили Овидия, латинский язык у Блока преподавал не С. А. Смирнов, а А. Ф. Влашимский (ЛГИА, ф. 303, оп. 2, ед. хр. 1150).

[118] «Блоковский сб.», 2, с. 434.

[119] Наст. том, кн. 1, с. 282.

[120] «Блоковский сб.», 2, с. 435.

[121] «Письма к родным», I, с. 25.

[122] Письмо А. А. Кублицкой-Пиоттух к Бекетовым от 16 мая 1895 г. («Блоковский сб.», 2, с. 436).

[123] М. А. Бекетова. Александр Блок. Биографический очерк, с. 48.

[124] ИРЛИ, ф. 462, арх. М. А. Бекетовой, ед. хр. 11, тетр. 1, л. 29 об.—30.

[125] Письмо от 12 мая 1895 г. («Блоковский сб.», 2, с. 436).

[126] Письмо от 9 мая 1895 г. («Блоковский сб.», 2, с. 435; уточнено по рукописи).

[127] ЛГИА, ф. 303, оп. 2, ед. хр. 1150, л. 27—27 об.

[128] «Блоковский сб.», 2, с. 436.

[129] Письмо от 25 августа («Блоковский сб.», 2, с. 437); ср. письмо Блока к Е. Г. Бекетовой от 2 сентября 1895 г.: «Тем не менее тут вовсе не скучно: в гимназии довольно весело» («Письма к родным», I, с. 26).

В своих воспоминаниях С. М. Алянский приводит рассказ Блока о «случае, нашумевшем на всю гимназию. В VI классе во время перемены один из учеников, играя со стулом, выронил его в окно, за что весь класс был наказан четверкой по поведению» (С. Алянский. Встречи с Александром Блоком, с. 32). В кондуитном журнале и протоколах заседаний педсовета за 1895—1896 гг. этот инцидент не упомянут.

[130] ИРЛИ, ф. 462, арх. М. А. Бекетовой, ед. хр. 11, тетр. 1, л. 18 об; М. А. Бекетова. Александр Блок. Биографический очерк, с. 54; ср.: М. А. Бекетова. Александр Блок и его мать, с. 39—40.

[131] «Вестник», 1895, № 11.

[132] Там же, 1896, январь.

[133] ЛГИА, ф. 303, оп. 2, ед. хр. 1237, л. 1 об., 73 об.

[134] Об интересе Блока к театру в эти годы см. также: М. А. Бекетова. Александр Блок. Биографический очерк, с. 54, 56. Сам поэт впоследствии придавал огромное значение этой «с ранних лет зреющей любви к театру» (VII, 432).

[135] «Касьян». Запись 29 февраля 1896 г.; опубл. в кн.: Вл. Орлов. Гамаюн, с. 60.

[136] М. А. Бекетова. Александр Блок и его мать, с. 42.

[137] С. Н. Тутолмина. Мои воспоминания об Александре Блоке.— В кн.: «Александр Блок в воспоминаниях современников», т. 1, с. 92.

[138] ИРЛИ, ф. 462, арх. М. А. Бекетовой, ед. хр. 11, тетр. 1, л. 13 об.

[139] М. А. Бекетова. Веселость и юмор Блока.— В сб.: «О Блоке». М., 1929, с. 7—19.

[140] З. Г. Минц. Из писем А. А. Кублицкой-Пиоттух к Бекетовым.— «Блоковский сб.», 2, с. 432.

[141] С. А. и А. Ф. Кублицкие-Пиоттух жили на Фурштадской (ныне Петра Лаврова) улице, 43 («Весь Петербург на 1900 г.», III раздел, с. 309).

[142] ИРЛИ, ф. 654, арх. А. А. Блока, оп. 1, ед. хр. 381. Адресат письма — титулярный советник Штосс и адрес (Кокушкин мост, кв. 27) — из повести Лермонтова «Штосс».

[143] VII, 13; «Письма к родным», I, с. 66.

[144] См. об. этом во вступительной статье З. Г. Минц к публикации писем А. А. Кублицкой-Пиоттух к Бекетовым («Блоковский сб.», 2, с. 431—432).

[145] Письмо к матери от 20 августа 1897 г. («Письма к родным», I, с. 35); ср.: «Теперешней своей жизнью я очень доволен, особенно тем, конечно, что развязался с гимназией, которая смертельно мне надоела, а образования дала мало, разве „общее“» (Письмо к отцу от 18 октября 1898 г.— VIII, 7).

[146] 2 сентября 1895 г. Блок писал Е. Г. Бекетовой: «Завтра я отправлюсь, вероятно, в Лесной к Кучерову» («Письма к родным», I, с. 27). Лев Михайлович *Кучеров* (1879—?), сын статского советника, родился в Петербурге, учился в гимназиях Гуревича (1889—1893) и во Введенской (1893—1898). В 1904 г. окончил естественное отделение Петербургского ун-та (ЛГИА, ф. 303, оп. 2, ед. хр. 942; там же, ф. 14, оп. 3, ед. хр. 34924). О студенческих отношениях Блока и Л. Кучерова сведений нет. См. о нем запись от 12 июня 1916 г.: «Встреча с Л. Кучеровым — сапер, в комиссии, состоящей из генералов, подает практические советы, женился» (ЗК, 306).

[147] Братья Лев и Михаил Кучеровы жили по адресу: Лесной институт, кв. 4 (ЛГИА, ф. 303, оп. 2, ед. хр. 942, л. 1). Михаил Кучеров (1881—1936) поступил по II класс гимназии в 1893 г. (там же, ед. хр. 939); упоминание о нем — ЗК, 249.

[148] М. А. Бекетова. Александр Блок. Биографический очерк, с. 49.

[149] Там же.

[150] Леонид Федорович *Фосс* (1878—?), сын инженера-механика, родился в Москве, учился в гимназиях Екатеринославской (1890—1891), III московской (1891—1893), VI петербургской (1893—1895) и Введенской (1895—1898) (ЛГИА, ф. 303, оп. 2, ед. хр. 1215). После окончания гимназии поступил в институт путей сообщений (ЛГИА, ф. 381, оп. 3, ед. хр. 4, л. 93 об.); личное дело студента не обнаружено.

[151] М. А. Бекетова. Александр Блок. Биографический очерк, с. 49.

[152] ЛГИА, ф. 303, оп. 2, ед. хр. 1369, л. 8 об, 9; ед. хр. 1322, л. 29; ед. хр. 1372, л. 69 об., 70. В штрафном журнале Фосс записан за опоздания на молитву, уход с молебна, пропуски уроков, прогулки вечером по Невскому проспекту (вместе с Гуном) и т. д. Интересна запись от 18 ноября 1897 г.: «Вынул из рамки список книг для чтения. Написал на спинке рамки, из которой вынут был список книг: „Читать все то, что кто хочет"»; наказан карцером на 4 часа (там же, ед. хр. 1313, л. 131).

[153] Николай Васильевич *Гун* (1878—1902), сын надворного советника (Вильгельм Гун служил в Военно-медицинском управлении и скончался еще до поступления сына в гимназию), родился в Петербурге, учился во Введенской гимназии (1888—1898) с приготовительного класса (пробыл два года во II классе). В 1898 г. поступил на физико-математический ф-т Петербургского ун-та; намеревался перейти в электротехнический и горный ин-ты; с 1900 г. учился на юридическом ф-те ун-та (ЛГИА, ф. 303, оп. 2, ед. хр. 509; там же, ф. 14, оп. 3, ед. хр. 35651).

[154] М. А. Бекетова. Александр Блок. Биографический очерк, с. 49.

[155] ЛГИА, ф. 303, оп. 2, ед. хр. 1237, 888, 1322, 1372, 1369. Отметки Гуна в аттестате зрелости: закон божий и немецкий язык — 5, математическая география — 4, остальные предметы — 3 (там же, ед. хр. 509, л. 10). В характеристике на Гуна, выданной гимназией по запросу ун-та в августе 1898 г., говорится: «Ученик с небогатыми умственными способностями, не всегда серьезно относился к своим обязанностям, поэтому не всегда успевал в предметах гимназического курса; относительно поведения можно было изредка замечать некоторое легкомыслие, впрочем дурных качеств в этом молодом человеке никогда не обнаруживалось. Материально совсем не обеспечен» (там же, ф. 14, оп. 27, ед. хр. 342, л. 90).

[156] Там же, ф. 303, оп. 2, ед. хр. 729, 1033, 1150, 1372.

[157] В штрафном журнале Гун записан за пропуск урока, отсутствие ранца и дневника. Остальные проступки «вне стен» гимназии: прогулки по Невскому проспекту после 10 часов вечера, ношение студенческой тужурки и тросточки (там же, ед. хр. 1151, 1313).

[158] Ф. А. Кублицкий. Саша Блок. Из воспоминаний детства и юности.— В кн.: «Александр Блок в воспоминаниях современников», т. 1, с. 82. Ср. характеристику Гуна в черновых записях М. А. Бекетовой: «Кока Гун был товарищ по гимназии Блока, юноша совсем незначительный, очень буржуазного склада. Их сближали именно „мечты о страстях". Остальные интересы Блока — природа, литература, театр — были ему чужды» (ИРЛИ, ф. 462, арх. М. А. Бекетовой, ед. хр. 12, нумерация отсутствует). Гун упоминается дружелюбно, но не без иронии в письмах А. А. Кублицкой-Пиоттух к Бекетовым («Блоковский сб.», 2, с. 439, 440).

[159] Отцу Фосса принадлежал дом № 5 по Лицейской (ныне Рентгена) улице (ЛГИА, ф. 303, оп. 2, ед. хр. 1215, л. I); Гун проживал недалеко: Съезжинская улица, дом 12/21, кв. 3 (там же, ед. хр. 509, л. 1). Но друзья вряд ли бывали у него, так как мать Гуна, нуждаясь в средствах, «пускала жильцов за плату» (ЛГИА, ф. 14, оп. 3, ед. хр. 35651).

[160] М. А. Бекетова. Александр Блок. Биографический очерк, с. 49; ср.: Она же. Александр Блок и его мать, с. 70.

[161] М. А. Бекетова. Александр Блок. Биографический очерк, с. 49.

[162] VII, 339; Гун упоминается в письмах Блока: к отцу от 18 октября 1898 г. (VIII, 8) и к С. А. Кублицкой-Пиоттух от 23 ноября 1900 г. («Письма к родным», I, с. 58).

[163] ЛГИА, ф. 14, оп. 3, ед. хр. 35651, л. 32.

[164] ИРЛИ, ф. 462, арх. М. А. Бекетовой, ед. хр. 12, нумерация отсутствует; ср.: М. А. Бекетова. Александр Блок. Биографический очерк, с. 49.

[165] I, 485. Это событие интересно сопоставить с записями Блока о самоубийстве в 1902 г. (ЗК, 42, а также VII, 39—40, 53—54, 58, 59); см. записку от 7 ноября (ЛН, т. 27/28, с. 370).

[166] О том, что Блок выдержал испытания и был переведен в VIII класс см.: «Краткий отчет...». СПб., 1897, с. 38.

[167] ЛГИА, ф. 303, оп. 2, ед. хр. 1313, л. 51.

[168] «Дело об ученике Александре Блоке» (собрание В. Н. Орлова).

[169] Там же.

[170] См. вступительную статью Л. В. Жаравиной к письмам Блока К. М. Садовской («Блоковский сб.», 2, с. 309—315); Вл. Орлов. Гамаюн, с. 66—72.

[171] Письма от 19, 20 и 21 августа 1897 г. («Письма к родным», I, с. 32—37).

Павел Петрович *Галкин* (1879—?), сын отставного коллежского советника, родился в Парголове, во Введенской гимназии учился с первого класса (1889—1898). В 1898 г. поступил на естественное отделение Петербургского ун-та (ЛГИА, ф. 303, оп. 2, ед. хр. 567; ф. 14, оп. 3, ед. хр. 35126).

Александр Васильевич *Лейкин* (1880—?), сын купца, потомственного почетного гражданина, родился в Петербурге, во Введенской гимназии учился с приготовительного класса (1889—1898). В 1902 г. окончил юридический факультет Петербургского университета (там же, ф. 303, оп. 2, ед. хр. 582; ф. 14, оп. 3, ед. хр. 35064).

Галкин и Лейкин учились с Блоком со второго класса; были лучшими учениками, осо-

бенно Лейкин (в IV и V классах переводился без экзаменов с наградой); в кондуитах не встречаются. Блок упоминает их только в гимназических письмах.

[172] ЛГИА, ф. 303, оп. 2, ед. хр. 1313, л. 134 об.

[173] Там же, ед. хр. 1322, л. 3.

[174] ИРЛИ, ф. 462, арх. М. А. Бекетовой, ед. хр. 152, л. 1, 1 об., 2. Предпоследний катрен стихотворения Блок приводит в автобиографии (VII, 10).

[175] ЛГИА, ф. 303, оп. 2, ед. хр. 1369, л. 2 об., 8 об., 9. В графе «интерес к учению» против фамилии Блока записано: «С большим интересом занимался всеми предметами».

[176] На аттестате зрелости имеются пометы, что испытания проходили: 28, 29 и 30 апреля; 1, 8, 15, 20, 26, 28, 29 мая (ЛГИА, ф. 14, оп. 3, ед. хр. 35242, л. 46 об.). О Блоке в период выпускных экзаменов см. в письмах А. А. Кублицкой-Пиоттух к Бекетовым от 7, 16 и 21 мая 1898 г. («Блоковский сб.», 2, с. 439—440).

[177] ЛГИА, ф. 303, оп. 2, ед. хр. 1372, л. 69 об., 70. В аттестате зрелости, который был присужден 30 мая 1898 г., следующие отметки: закон божий — 4; русский язык с церковнославянским и словесность — 4; логика — 4; латинский язык— 3; греческий—3; математика— 4; математическая география— 5; физика — 3; история — 4; география — 3; французский язык — 4; немецкий — 3 (там же, ф. 14, оп. 3, ед. хр. 35242, л. 46, 46 об., 47).

[178] Сведения и характеристики на лиц, окончивших гимназию С.-Петербургского округа в 1898 г. (ЛГИА, ф. 14, оп. 27, ед. хр. 342, л. 74).

[179] М. А. Бекетова. Александр Блок. Биографический очерк, с. 49. О поездке Блока с Гуном в Москву см. также: письмо А. А. Кублицкой-Пиоттух к Бекетовым от 21 мая 1898 г. («Блоковский сб.», 2, с. 440); письмо Блока к матери от ⟨4⟩ и 5 июня 1898 г. («Письма к родным», I, с. 39, 40). В 1920 г. Блок переписывает в дневник романсы из «Полного сборника романсов и песен в исполнении А. Д. Вяльцевой, В. Паниной, М. А. Карсинской» и в скобках отмечает: «Это научил меня любить в молодости Кока Гун...» (VII, 377).

[180] ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 233а.

[181] Сергей Соловьев. Воспоминания об Александре Блоке.— В кн.: «Александр Блок в воспоминаниях современников», т. 1, с. 112; ср. портрет Блока в письме О. М. Соловьевой к А. А. Кублицкой-Пиоттух от августа 1898 г.: «Я ⟨...⟩ нахожу, что он очень красив ⟨...⟩ совершенно Ван Диковский портрет ⟨...⟩ сначала он показался мне похож на Филиппа IV в молодости, портрет Веласкеса» (наст. том, кн. 3, с. 168).

ПРИЛОЖЕНИЕ

РУССКАЯ СЛОВЕСНОСТЬ ВО ВВЕДЕНСКОЙ ГИМНАЗИИ В 1890-х ГОДАХ

Учебные планы классических гимназий в 1890-х годах строились по программе Министерства народного просвещения, утвержденной 20 июня 1890 г. («Правила и программы классических гимназий и прогимназий Министерства народного просвещения». М., 1892; в дальнейшем переиздавались ежегодно). В эти годы Петербургским учебным округом была предпринята попытка создать новые программы (Дело о составлении примерных программ.— ЛГИА, ф. 139, Канцелярия Петроградского учебного округа, оп. 1, ф. 8321), которая не увенчалась успехом (Ш. И. Генелин. Очерки по истории средней школы в России второй половины XIX века, с. 156).

В связи с пересмотром программ в 1894 г. классическим гимназиям Петербурга было предложено представить в учебный округ «списки руководств и пособий, употребляемых в гимназии». В фонде Введенской гимназии подобный документ сохранился. «Дело со списком руководств и пособий, употребляемых во Введенской гимназии» (ЛГИА, ф. 303, оп. 2, ед. хр. 1015) уточняет министерские программы по словесности и классическим языкам.

Выходные данные учебников и пособий по русскому языку и словесности для II—VIII классов (период обучения Блока) проверены нами по каталогам ГПБ и справочникам.

Программа по русскому языку и словесности предусматривала изучение русской грамматики с I по III классы и грамматики старославянского языка в IV классе на материале Остромирова Евангелия («грамматический разбор звуковых и формальных особенностей языка» этого текста). На практических занятиях в III и IV классах рекомендовалось «чтение небольших описаний и повествований с целью показать их строение или план», пересказ их, письменное изложение и заучивание наизусть отрывков из прозаических стихотворных произведений. В трех последних классах по одному уроку в неделю отводилось письменным упражнениям — изложению «образцовых произведений отечественной литературы».

Курс словесности начинался в V классе с изучения деятельности Кирилла и Мефодия.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ

V класс

Произведения XI в.: Слово митрополита Илариона; Из летописи Нестора (Легенда об апостоле Андрее, Предание об основании Киева, Мщение Ольги, Князь Святослав и кончина Ольги, О крещении Руси, Сказание о Кожемяке *); Житие Федосия Печерского.

* См. перевод Блока «Сказания о Кожемяке» («Вестник», 1895, № 7).

Произведения XII в.: Отрывки из «Слова в неделю новую по Пасцѣ» Кирилла Туровского; Отрывки из «Хождения игумена Даниила во Святую землю» (Вступление, О Иерусалиме, О иеорданской рецѣ, Заключение); Поучение Владимира Мономаха; Главнейшие отрывки из «Слова о полку Игореве».

Произведения XIII в.: Отрывок из слова Серапиона Владимирского о нашествии татар; Отрывок из «Моления Даниила Заточника».

Устная народная словесность:

былины: «Волх Всеславьевич», «Вольга Святославович», «Микула Селянинович», «Святогор», «Илья Муромец», «Добрыня Никитич», «Василий Буслаев», «Садко, богатый гость» (по одной былине), «Отчего перевелись витязи на Руси»;

духовные стихи: «Стих о Егории Храбром»;

исторические песни: «О Щелкане Дудентьевиче», «Об Иване Грозном», «На рождение Петра Великого».

VI класс

Произведения XVI в.: Отрывки из «Домостроя» Сильвестра («Наказание от отца к сыну», «Како царя и князя чтите»); История князя великого московского о делах <...> князя Курбского (отрывки); Послания Ивана Грозного в Кирилло-Белозерский монастырь.

Произведения XVII в.: «О России в царствование Алексея Михайловича» Катошихина (отрывок о царском воспитании).

Произведения XVIII в.:

Стефан Яворский. «Слово о победе под Полтавою»;

Феофан Прокопович. Из «Похвального слова о флоте российском» (необязательно), «На погребение Петра Великого»;

Татищев. Из «Истории Российской» (Польза истории), «Духовное завещание сыну» (необязательно);

Кантемир. «Сатира на хулящих учение» (отрывок, где сатирик выводит четырех противников просвещения: Критона, Сильвана, Луку и Медора);

Ломоносов. «Рассуждение о пользе книг церковных...», Из «Похвального слова Петру I», «Утреннее размышление о божьем величестве» и «Вечернее размышление о божьем величестве» (наизусть), «Ода на день восшествия на престол императрицы Елизаветы Петровны» (наизусть — три строфы начала и две в конце: «О, вы, которых ожидает отечество из недр своих» и «Науки юношей питают»);

Сумароков. Отрывки из трагедий «Хорев» или «Димитрий Самозванец»;

Херасков. Из поэмы «Россияда» (Вступление, Казанский лес, Зима);

Богданович. Отрывки из «Душеньки» (плаванье Венеры, Чертоги Душеньки, Змей Горыныч, Душенька в аду);

Хемницер. Басни: «Метафизик», «Богач и бедняк», «Два соседа» (все три басни наизусть);

Фонвизин. «Недоросль»;

Державин. «На рождение на Севере порфирородного отрока» (наизусть), «На смерть князя Мещерского» (наизусть), «Фелица» (некоторые строфы наизусть), «Видение Мурзы», «Бог» (наизусть), «Памятник» (наизусть), «Водопад» (семь первых строф наизусть).

VII класс

Произведения XIX в.:

Карамзин. Отрывки из «Писем русского путешественника» (Письмо из Твери 18-го мая 1789 г.; Письмо из Базеля 9-го августа 1789 г.; Письмо из Парижа апреля... 1790 г.; «о французской трагедии»; Письмо из Лондона июля... 1790 г.; «о Шекспире»). «Бедная Лиза» (отрывок, помещенный в хрестоматии Галахова). «О любви к отечеству и народной гордости» (наизусть). «О счастливейшем времени жизни». «История государства Российского» (Из «Предисловия»: определение истории и важность ее; осада и взятие Киева татарами — наизусть; битва на Куликовом поле — наизусть; характеристики Иоанна III — наизусть — и митрополита Филиппа; вторая половина царствования Годунова), «Рейнский водопад» (наизусть);

Дмитриев. «Чужой толк», «Стонет сизый голубочек», «Размышления по случаю грома», «Петух, кот и мышонок» (все наизусть);

Крылов. «Ворона и лисица», «Стрекоза и муравей», «Осел и соловей», «Слон и моська», «Синица», «Квартет», «Червонец», «Лжец», «Кот и повар», «Волк на псарне», «Обоз», «Демьянова уха», «Щука и кот», «Лебедь, щука и рак», «Добрая лисица», «Любопытный», «Тришкин кафтан», «Мартышка и очки», «Зеркало и обезьяна», «Свинья под дубом», «Три мужика» (все басни наизусть). В программу могли входить и другие басни, «относящиеся к вопросу о просвещении, образовании и воспитании»;

Озеров. Отрывки из «Эдипа в Афинах» или «Димитрия Донского»;

Жуковский. «Сельское кладбище» (наизусть), «Теон и Эсхин» (наизусть), «Людмила», отрывки из «Двенадцати спящих дев», «Светлана» (несколько строф наизусть), «Граф Габсбургский», отрывок из «Одиссеи», «Лесной царь» (наизусть), из «Орлеанской девы» (Прощание Иоанны д'Арк с родиной), «Рейнский водопад» (наизусть), «Кто истинно добрый и счастливый человек» (наизусть);

Батюшков. Ода «Надежда» (наизусть), «Послание к Дмитрию Васильевичу Дашкову» (наизусть), «Тень друга», «Умирающий Тасс», одно или два стихотворения из греческой антологии, прозаический отрывок «Финляндия» (наизусть);

Грибоедов. «Горе от ума» (наизусть: монолог Фамусова из II действия, явления 5-го и монолог Чацкого «Французик из Бордо...»);

Пушкин. «Кавказский пленник» (наизусть: начало, «Меж горцев пленник наблюдал...», «Черкесская песня» и пр.), «Цыганы» (наизусть: начало, «Птичка божия не знает...», рассказ старика об Овидии), «Полтава» (наизусть описание Полтавского боя), «Медный всадник» (наизусть вступление), «Капитанская дочка», «Евгений Онегин» (наизусть: воспитание Онегина — гл. I, строфы II—VII; воспитание Татьяны — гл. II, строфы XXV—XXIX; песня девушек — гл. III, строфа XXXIX; гадание и сон Татьяны — гл. V, строфы IV—XXI; осень и зима — гл. IV, строфы XL—XLII; зима — гл. V, строфы I—II), «Борис Годунов» (наизусть: сцена в келье Чудова монастыря; монолог Бориса «Достиг я высшей власти...»), «Скупой рыцарь», «Руслан и Людмила» (наизусть: бой с Головою — «Уж побледнел закат румяный...» и пролог), «Птичка» (наизусть), «Песнь о вещем Олеге» (наизусть), «Пророк» (наизусть), «Ангел» (наизусть), «Поэт» (наизусть), «Чернь» (наизусть), «Кавказ» (наизусть), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» (наизусть), «Бесы» (наизусть), «Безумных лет угасшее веселье» (наизусть), «Эхо» (наизусть), «Клеветникам России» (наизусть), «Сказка о рыбаке и рыбке», «Туча», «Пир Петра Первого», «Памятник» и ряд других лирических стихотворений, элегий и баллад;

Лермонтов. «Ангел» (наизусть), «Когда волнуется желтеющая нива...» (наизусть), «Дума», «Молитва» (1839; наизусть), «Пророк» (наизусть), «Спор» (наизусть), «Ветка Палестины» (наизусть), «Песня про купца Калашникова», «Бородино» (наизусть), «Казачья колыбельная песня» (наизусть), «Воздушный корабль» (наизусть), «Мцыри», новеллы «Бела» и «Максим Максимыч» из «Героя нашего времени»;

Кольцов. «Песня пахаря», «Урожай», «Лес», «Последняя борьба», «Что ты спишь, мужичок» (все наизусть);

Гоголь. «Старосветские помещики», «Ревизор», «Тарас Бульба», «Мертвые души».

VIII класс

Изучение теории литературы — основ стихосложения, тропики и жанров литературы и фольклора. Изложение этого курса рекомендовалось подкреплять «примерами из произведений, выученных, прочитанных и разобранных в предыдущих классах, а также и тех, которые могут быть прочитаны и разобраны в этом классе ‹...›, например, одна из трагедий Софокла в русском переводе, одна из трагедий Шекспира («Король Лир»), комедия Аристофана «Облака» (в переводе Муравьева-Апостола) и т. п.»

ОТРЫВКИ ИЗ «ХРЕСТОМАТИИ» ГАЛАХОВА, КОТОРЫЕ ЗАУЧИВАЛИСЬ НАИЗУСТЬ В РАЗНЫХ КЛАССАХ

Проза: Загоскин (Кремль при лунном свете), Гоголь (Днепр, Украинская степь), Устрялов (Петр I в Сардаме), Грановский (Людовик IX), Павлов (Различие между изящными искусствами и науками).

Песни: «А мы просо сеяли...», «Уж как пал туман на сине море...», «А и горе, горе, гореваньице», «Слава богу на небе».

УЧЕБНИКИ

1. И. Я. Киприанович. Синтаксис русского языка, сличенный с синтаксисом классических языков. Курс сред. учеб. заведений. СПб., 1889 (II и III классы);
2. П. Н. Полевой. Учебная русская хрестоматия с толкованиями, ч. I, СПб., 1892 (II класс); ч. II. СПб., 1884 (III класс);
3. М. А. Колосов. Старославянская грамматика. Учебник для гимназий. Варшава, 1892 (IV класс);
4. А. Д. Галахов. Русская хрестоматия, т. I—II. СПб., 1887 (т. I—IV класс; т. II—V класс);
5. А. Д. Галахов. История русской словесности. Учебник для среднеучебных заведений. СПб., 1890 * (V—VIII классы);
6. Ф. И. Буслаев. Русская хрестоматия. Памятники древнерусской литературы и народной словесности, с истории., литературными и грамматическими объяснениями, словарем и указателем. Для средн. учеб. заведений. М., 1881 (V класс);
7. А. Д. Галахов. Историческая хрестоматия нового периода русской словесности, т. I—II. СПб., 1880 (VI—VII классы);
8. А. Г. Филонов. Учебник по словесности: 1. Стилистика. 2. Теория прозы. 3. Теории поэзии. Для средних учеб. заведений. СПб., 1890 (VIII класс).

---

* В библиотеке А. А. Блока (ИРЛИ) находится издание А. Д. Галахова 1880 г.

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИРИЧЕСКОЙ ТРИЛОГИИ

Статья И. С. Правдиной

Глубина и неповторимое обаяние лирики Блока во многом связаны с ее особым, исповедническим характером, с тем, что Горький назвал «бесстрашной искренностью» [1]. «Блок — самая большая тема Блока»,— писал Ю. Тынянов [2]. Воплощение своего пути, раздумья о сложном и трудно поддающемся определению процессе духовного развития составляют стержень блоковской поэзии. Специфическое, обостренное чувство пути, отличавшее Блока от многих его современников и предшественников, диктовало поэту «неумолимую логику» его книг (II, 373) [3]. Сам Блок неоднократно — в письмах, дневниках, предисловиях к своим сборникам — повторял, что структура его книг — это последовательность его внутренней жизни. «Так развертывается жизнь. Так, всему изумляясь, ни о чем не сожалея, страдной тропой проходит душа» (II, 373). Широко известны слова Блока о «трилогии вочеловечения» (VIII, 344), которыми он определил основную устремленность своего движения, своих мучительных поисков связи «личного» и «мирового» в эпоху надвигающихся социальных катаклизмов. Каждый том трехтомного собрания — определенный этап этих поисков, а лирические циклы — главы, составляющие том,— «страны души» (II, 369); они обычно сосуществуют и дополняются во времени, поясняя друг друга. Создавая свои тома, Блок мыслит циклами (блоковская трилогия насчитывает 18 лирических циклов), создавая трилогию,— томами.

И в многочисленных журнальных публикациях Блок, как правило, предпочитает циклы, объединяя общим заглавием несколько внутренне связанных стихотворений,— это далеко не всегда совпадает с расположением этих стихов в циклах сборников или трехтомника.

Характерно, что некоторые современники возражали против этой выстроенности. Н. Горелов писал В. Брюсову в 1913 г.: «Разве, когда я изливаю мое чувство, я думаю о том, как его озаглавить, стихотворение — и все, а тот же Блок свое „мистическое чувство“ разделил на книги, главы, §§ и отделы!» [4]. А для Блока — это стремление преодолеть лирическую «уединенность», упорядочить лирический «хаос», объективировать субъективное. В таком построении сказалось тяготение к монументальности лирики и одновременно к углублению психологизма, к детализации душевного состояния, к воспроизведению тончайших оттенков мысли, чувства, переживания в их непрекращающемся движении. Масштабы одного стихотворения оказывались слишком узкими и ограниченными, нужна была другая единица измерения. Ею и становился сначала цикл (глава, раздел) — некое синтетическое целое, в котором каждое стихотворение и самостоятельно и не самостоятельно в одно и то же время, и далее — том — совокупность циклов [5]. «Книга стихов должна быть не случайным *сборником* разнородных стихотворений, а именно *книгой*, замкнутым целым, объединенным единой мыслью ⟨...⟩ Отделы в книге стихов — не более как главы, поясняющие одна другую, которых нельзя переставлять произвольно»,— Блок сочувственно цитирует эти строки Брюсова из предисловия к «Urbi et orbi» и видит главную заслугу книги Брюсова в осуществлении этого принципа (1904, V, 540—541). «Задача всякого сборника стихов состоит, между прочим, в группировке их, которая должна наметить основные исходные точки; от каждой из них уже идет пучок стихов, пусть многообразных, но с им одним присущим, в них преобладающим ароматом. Так создаются *отделы*» — это суждение Блока (1905) как бы дополняет предыдущее (V, 552).

И еще одно высказывание на эту же тему (в рецензии на книгу стихов С. Городецкого «Русь», 1909 г.): «Книга ⟨...⟩ лишена цельности. В ней нет упорства поэтической воли, того музыкального единства, которое оправдывает ⟨...⟩ лирическую мысль; нет и упорства работы, которое заставляет низать кольцо за кольцом в целую цепь» (V, 649—650).

И Блок неустанно добивался «музыкального единства»: трижды переиздавая трехтомник (принцип трехчленного деления оставался неизменным), он менял состав томов, расположение циклов, добавляя отдельные стихи или целые циклы-главы или внося сокращения.

Он придавал первостепенное значение построению своих книг, всегда самостоятельно осуществляя весь процесс подготовительной работы к новым изданиям.

«Переиздание моих книг побуждает меня всегда проверять весь путь, потому я семь раз отмериваю, чтобы раз отрезать ⟨...⟩ Все это не имеет ничего общего с „полным собранием сочинений". Выбираю и распределяю все так, чтобы как можно яснее (насколько в данное время жизни понимаю) было, чего хотел, чего не достиг, как падал, где удалось удержаться»,— пишет Блок в 1916 г. (VIII, 456—457).

Каждая новая редакция — это определенная стадия осмысления Блоком своего пути, и исследование истории формирования томов и циклов — необходимое звено в изучении творческого развития поэта. В обобщающих работах современных исследователей этот вопрос затрагивается в самом общем плане [6]. Интересующего нас вопроса касаются и немногочисленные работы, посвященные изданиям книг Блока [7].

История формирования отдельных циклов и томов нуждается в более пристальном и детальном рассмотрении, без этого невозможно в полном объеме представить творческую эволюцию поэта, невозможно и до конца понять специфику его лирики во всей ее многогранности и глубокой внутренней целостности. Особенно существенным является исследование различных этапов создания третьего тома— вершинного и итогового в лирическом творчестве Блока.

1

К работе над первым собранием своих стихотворений Блок приступил в ноябре 1910 г. и уже 19 декабря писал издателю, что выработал «совершенно определенный план», что он отказывается от «собрания сочинений», а предпочитает «собрание стихотворений в трех книгах» [8].

Необходимо отметить, что Блок свои поэтические сборники всегда воспринимал в их внутренней связи: книга, вышедшая после «Стихов о Прекрасной Даме» (М.,«Гриф», 1904),— «Нечаянная радость» (М., «Скорпион», 1907) — имела подзаголовок «второй сборник стихов»; «Земля в снегу» (М., «Золотое руно», 1908) — «третий сборник стихов», «Ночные часы» (М., «Мусагет», 1911) — «четвертый сборник стихов». Эта преемственность подчеркивалась также и в предисловии к сборнику «Земля в снегу», где говорилось о том, что «„Стихи о Прекрасной Даме" — ранняя утренняя заря — те сны и туманы, с которыми борется душа, чтобы получить право на жизнь» (II, 371), «„Нечаянная радость" — первые жгучие и горестные восторги — первые страницы книги бытия » (II, 372), а «Земля в снегу» — следующий этап в «неизбежной драматической последовательности жизни» (II, 371), приводящий в конце концов к «изначальной родине, может быть, самой России» (II, 373, 374).

И все же трилогия не адекватна этим изданиям,— это другой, следующий этап осознания своего пути. «Я еще не настолько отошел от своих лирических стихов, чтобы забыть их, но, однако, настолько, что получил возможность и, как мне кажется, право отнестись к ним с большей объективностью»,— эта запись сделана в июне 1911 г. (ЗК, 182). «Объективность» обусловлена тем, что в это время Блок ясно ощутил произошедшую в нем перемену: «Я думаю, что последняя тень „декадентства" отошла» (VIII, 331), он почувствовал в себе «рождение человека „общественного", художника, мужественно глядящего в лицо миру» (VIII, 344). Теперь он может на новом уровне воплотить свое «вочеловечение», создать «роман в стихах», где «каждое *стихотворение* необходимо для образования *главы*; из нескольких глав составляется *книга*; каждая книга есть часть *трилогии*» (I, 559. Предисловие к «Собранию стихотворений», 1911 г.).

По-новому осмысляется теперь начало пути: первый том в издании 1911 г. включает втрое больше стихотворений, чем «Стихи о Прекрасной Даме», вышедшие в 1905 г. Изменилась и композиция: вместо трехчленного тематического деления («Неподвижность», «Перекрестки», «Ущерб») — строгая хронология. «Здесь главы определяются годами» (I, 559), даты являются заглавиями разделов, причем в примечаниях Блок подчеркивает значение IV главы («1901»). В следующем издании центральная часть первого тома («Стихи о Прекрасной Даме») будет начинаться с 1901 г. (все предыдущие стихи включаются во вводный раздел — «Ante lucem»). В 1901 г., в сущности, уже воплотилась вся гамма настроений первого тома: культ Прекрасной Дамы, ее неземного, недоступного бытия («Сегодня шла ты одиноко», «Она росла за дальними горами», «Я жду призыва, ищу ответа»), ожидание встречи («Ты горишь над высокой горою»), первые сомнения в возможности соединения «земного» и «небесного», предчувствие «падения», отказа от «служения тайне» («Предчувствую Тебя. Года

проходят мимо», «Будет день — и свершится великое»), отсюда — начало мучительного раздвоения души («Двойнику») и в то же время — стремление к «простой», земной жизни, сознание ее красоты («Встану я в утро туманное»).

Блок указывал, что IV глава «впервые освещает смутные искания трех вступительных глав; она же есть тот «магический кристалл», сквозь который я различил впервые, хотя и «неясно», всю «даль свободную романа»» (I, 560). Это высказывание, первостепенное для исследования раннего творчества Блока, свидетельствует о том, что поэт, выстраивая для собрания первый том, смотрел на него как бы из будущего. При таком взгляде становилось значительным и то, что было ранее опущено, то, что в первом издании воспринималось бы только как вариант, точнее, повторение. Теперь же важны все оттенки, все тончайшие переходы от одного состояния к другому, многочисленные возвращения,— все это должно быть прослежено в логике «романа в стихах» (I, 559), т. е. явно выраженного процесса.

И первый том в издании 1905 г. по сравнению с 1911 г. кажется больше «результатом», чем «процессом», он является как бы конспективным, тезисным изложением следующего издания первого и отчасти второго томов.

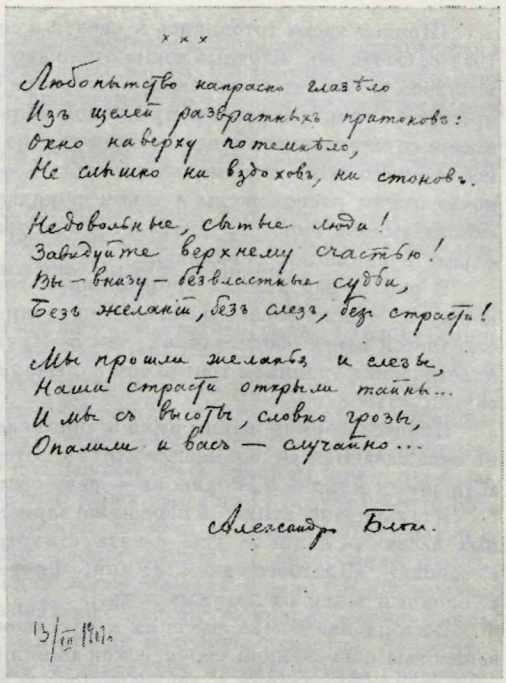
Так же «из будущего» смотрит Блок и на второй том своего собрания. «Нечаянная радость» — переходная книга: еще не отзвучали «Стихи о Прекрасной Даме», а уже основной отдел («Магическое») связан со «Снежной ночью» (II, 375). В предисловии к первой книге Блоку важно было подчеркнуть, чем она подготавливает вторую, в предисловии ко второй — выявить то, что связывает ее с третьей.

Второй том («Нечаянная радость», 1912) несколько перестроен по сравнению с одноименным сборником 1907 г., который составил основу тома. В сборнике— семь отделов, в томе — восемь: «Весеннее», «Детское», «Магическое», «Отравы», «Перстень-страданье», «1905», «Покорность», «Нечаянная радость». А раздел «Магическое», особенно отмеченный Блоком, существенно изменен по сравнению с одноименным разделом 1907 г.: из прежнего состава (23 стихотворения) оставлено всего 6, вновь включено 8 стихотворений. Главная тема обновленного цикла — «мистицизм в повседневности» городского бытия. Греховность, гибельность города часто таит в себе неотразимую привлекательность, демонские соблазны («Петр», «В высь изверженные дымы», «Вечность бросила в город», «Иду — и все мимолетно», «В кабаках, в переулках, в извивах» и др.). Здесь, «средь этой пошлости таинственной», происходит явление Незнакомки, павшей кометы,— в цикл стягиваются стихи «кометной» темы: рядом с «Незнакомкой» и ее вариантом («Там дамы щеголяют модами») — «Твое лицо бледней, чем было», «Шлейф, забрызганный звездами», «Там, в ночной завывающей стуже». Начинается тема стихийной страсти — «снежных вьюг», «бубна метели», «снегового сумрака». Так подготавливается «Снежная маска», которой открывается третий том (заглавие тома — «Снежная ночь»), и так постепенно в стихах, которые в дальнейшем составят цикл «Город», начинает вызревать тема «страшного мира» — одна из ведущих в третьем томе. Таким образом, цикл «Магическое», который Блок считал центральным, переформировывается, переосмысляется в свете будущих этапов пути.

Характерно и то, что в «Нечаянной радости» 1912 г. «мистицизм в повседневности», «двоемирие» оказываются в большей степени, чем в 1907 г., связанными с реальными жизненными событиями. Один из новых циклов второго тома озаглавлен «1905», некоторые из стихов, его составляющих, не входили ранее в поэтические сборники («Барка жизни встала», «Сытые»), другие собраны из разных отделов «Нечаянной радости» 1907 г. («Шли на приступ», «Митинг», «Поднимались из тьмы погребов»). Заканчивается раздел поэмой «Ее прибытие», впервые напечатанной в целостном виде. В этой поэме сквозь традиционную мистическую символику проглядывают черты социальной утопии, читается мечта о всеобщем земном счастье, о «нечаянной радости» преобразования земной жизни. В примечании Блок указывал, что эта поэма характерна для книги и для того времени, как посвященная разным «несбывшимся надеждам» (II, 392). Характерны и слова из предисловия ко второму тому: «Взглянувший на даты книги поймет, почему она отличается всеми свойствами переходного времени» (II, 375). «Даты книги» — 1904—1906. Так Блок дает понять, что переход от «одноструннности» первого тома, посвященного единому мистическому идеалу мировой гармонии, к многообразным поискам новых духовных ценностей во многом зависит от потрясений 1905 г. Об этом же говорится, например, и в письме к Брюсову от 17 октября 1906 г.: «Вероятно, революция дохнула в меня и что-то раздробила внутри души, так что разлетелись кругом неровные осколки, иногда, может быть, случайные» (VIII, 164).

Итак, переработка второго тома подчинена «романной» логике: детальнее воспроизведен психологический процесс, соответственно в книге больше глав, явственнее ощутимы приметы исторического времени,— «путь души» приобретает большую эпичность.

Третий, заключительный том («Снежная ночь»), сформированный на основе двух поэтических сборников: «Земля в снегу» (1908) и «Ночные часы» (1911), вышел из печати в марте 1912 г. и состоял из следующих разделов: Снежная маска (Снега, Маски), Вольные мысли, Заклятие огнем и мраком и пляской метелей, Песня судьбы, Страшный мир, Возмездие, Итальянские стихи, Арфы и скрипки, Родина. Первые четыре цикла соотносятся со сборником «Земля в снегу», остальные — с «Ночными часами». Прежде всего бросается в глаза изменение порядка циклов. В сборнике «Земля в снегу» (хронология его стихов 1906—1907) разделы были расположены следующим образом: Подруга светлая, Мещанское житье, Вольные мысли, Песня судьбы, Послания, Снежная маска. Книга завершалась стихией «метельных страстей» и гибелью «На снежном костре» (последнее стихотворение сборника). В «Снежную ночь» вошли в измененном виде не все разделы (отчасти это объясняется тем, что хронология тома — 1907—1910 гг., поэтому более ранние стихи оказались во втором томе). Здесь построение обратное: от «субъективных», «вихревых» циклов (само их звучание несколько усилено: выделен специальный раздел «заклятий») — к угасанию страстей, прощанию с ними. Так, в цикле «Песня судьбы» соединены стихи из двух разделов сборника Земля в снегу» («Послания» и «Песня судьбы»), в таком виде цикл явно приобретал интонацию прощания с пережитыми бурями. Это подчеркнуто и тем, что после стихотворения «Ты и я» («Всю жизнь ждала. Устала ждать»), заключающем раздел «Послания» в сборнике «Земля в снегу», в «Снежной ночи» поставлены еще два: «Я помню длительные муки» и «Своими горькими слезами» (это последние из стихотворений, посвященных Н. Н. Волоховой, с которой связаны все «снежные» циклы). И, наконец, заключение раздела «Песня судьбы» — стихотворение «Все это было, было, было» — как бы подведение итогов, финал, за которым открываются другие грани душевной жизни. Следующий цикл — «Страшный мир» — в таком контексте воспринимается прежде всего как выход в объективный мир, как стремление соотнести личную трагедию с трагизмом реальности.



Любопытство напрасно глазело
Из щелей развратных притонов:
Окно наверху потемнело,
Не слышно ни вздохов, ни стонов.

Недовольные, святые люди!
Завидуйте верхнему счастью!
Вы — вконец — безвластные судьбы,
Без желаний, без слез, без страсти!

Мы прошли желанья и слезы,
Наши страсти открыли тайны...
И мы с высоты, словно грозы,
Опалили и вас — случайно...

Александр Блок.

СТИХОТВОРЕНИЕ БЛОКА «ЛЮБОПЫТСТВО НАПРАСНО ГЛАЗЕЛО...»

Автограф

Собрание И. С. Зильберштейна, Москва

Интересно в этой связи письмо Блока издателю Э. Метнеру, который, очевидно, считал, что центр всего третьего тома — максимальное напряжение стихийных страстей, «Заклятие»: «Не в „Заклятии“ все-таки центр книги. Если Вам она „откроется“ когда-нибудь еще раз, Вы найдете и другое — лучше ⟨...⟩ Но все это было (да, *действительно — было*), есть другое, будущее, даже в этой книге» [9].

«Будущее» связано для поэта со второй половиной тома (в следующем издании трилогии вся первая половина будет перенесена во второй том). И опять необходимо отметить перестановку разделов в «Снежной ночи» по сравнению с «Ночными часами». В «Ночных часах» цикл «На родине» открывал книгу, затем — «Возмездие», «Опять на родине» (переводы из Г. Гейне), «Голоса скрипок», «Страшный мир», «Итальянские стихи», т. е. итог «страдного пути» — уход в мир искусства с его нетленной красотой и гармонией.

«Ночные часы» готовились к печати в сентябре 1910 г., а «Снежная ночь» — в мае-июне 1911 г. Очевидно, «Ночные часы» отражают более ранний этап осмысления пути, как это отмечалось в исследовательской литературе [10]. А композиция «Снежной ночи» подчинена принципу, сформулированному Блоком в предисловии к книге: «Я хотел бы, чтобы читатели вместе со мною видели в ней не одни глухие ночные часы, но и приготовление к ночи,— свет последних закатов, и ее медленную убыль — первые сумерки утра» (III, 433). И в «Снежной ночи» циклы расположены в таком порядке, что итог пути — приобщение к Родине, к ее «многодумной», «многотрудной» жизни («Страшный мир», «Возмездие», «Итальянские стихи», «Арфы и скрипки», «Родина»).

В работе над первым трехтомником главное для Блока — вычертить общее направление пути. Что же касается логики сцепления стихов внутри некоторых циклов, то она представляется менее обоснованной, чем в «Ночных часах» (одна из причин — расширение хронологических границ: в третий том включались стихи начиная с 1907 г., а в «Ночные часы» — только с 1908 г.)

Процесс формирования циклов протекает по-разному. Наиболее легко и последовательно складываются «Итальянские стихи», затем «Арфы и скрипки», а с основными циклами — «Страшным миром» и «Родиной» — дело обстоит гораздо сложнее.

Итальянские стихи в первом же варианте получают определенное направление. В «Ночных часах» — в цикле уже девять стихотворений, составляющих его основу («Равенна», «Успение», «Благовещение», «Умри, Флоренция, Иуда», «Слабеет жизни гул упорный», «Холодный ветер от лагуны» и др.).

Восхищение Блока высоким искусством, контраст между его вечной жизнью и мертвенностью современной европейской цивилизации, острое ощущение неумолимого течения времени, размышления о «повторяемости» жизни, о «прапамяти», возникающие у поэта в связи с осмыслением своего пути,— все это основывается на определенном и достаточно локальном материале итальянских впечатлений. Границы цикла, таким образом, очерчены с самого начала. Поэтому цикл в дальнейшем будет только пополняться от редакции к редакции. В самом расположении итальянских стихов Блока не связывает хронология — ведь все они датируются маем — августом 1909 г., — и в «Снежной ночи» их последовательность несколько изменена. Теперь цикл начат «Равенной» (в «Ночных часах» это было финальное стихотворение), а закончен «Успением». От этого весь раздел приобретает иную тональность, подчиняясь общей «рассветной» линии тома, этому способствуют также вновь включенные стихи — «Перуджия», «Сиенский собор» с их светлым, жизнеутверждающим началом.

Примерно так же, т. е. сравнительно последовательно, пополняясь от редакции к редакции, формируется и раздел «Арфы и скрипки». В «Ночных часах» он назван «Голоса скрипок», в 1912 г. название уточнено. Ключ к символу заглавия — статья «Памяти В. Ф. Комиссаржевской» (1910), где говорится о том, что «душа настоящего человека есть самый сложный и самый нежный и самый певучий музыкальный инструмент ⟨...⟩ Бывают скрипки расстроенные и скрипки настроенные. Расстроенная скрипка всегда нарушает гармонию целого; ее визгливый вой врывается докучной нотой в стройную музыку мирового оркестра ⟨...⟩ Художник — это тот ⟨...⟩ кто слушает мировой оркестр и вторит ему, не фальшивя» (V, 417, 418). Итак, исходный момент цикла — блоковская концепция музыки — основы мира, его внутренней сущности, «Арфы и скрипки» — это человек в соотношении с «мировым оркестром», человек, поставленный перед космосом, природой, страстью, смертью, временем. И уже с самого начала в разделе присутствуют стихи, сохраняющиеся во всех редакциях: «Голоса скрипок», «Свирель запела на мосту», «Уже померкла ясность взора», «Я не звал тебя — сама ты», «Все, что память сберечь мне старается» и др. В «Снежной ночи» нет больших отклонений по сравнению с «Ночными часами». В заглавии появляется образ арфы; в отличие от скрипок, которые могут быть «расстроенными» и «настроенными», «арфа» у Блока — всегда символ единства с музыкой мироздания. Начинает создаваться один из важнейших циклов внутри цикла — «Через двенадцать лет». В «Ночных часах» присутствовало только одно стихотворение — завязка темы, в «Снежной ночи» — уже пять стихотворений, объединенных общим заглавием. Финалом раздела в «Снежной ночи» становится впервые включенное стихотворение «На смерть В. Ф. Комиссаржевской», символика которого развивает образы заглавия раздела.

«Арфы и скрипки» так же, как и «Итальянские стихи», в контексте тома более самостоятельны, чем другие разделы, но в отличие от «Итальянских стихов» «Арфы и скрипки» не

имеют такой точной тематической границы. Раздел формируется широко и свободно; раздумья о сложности человеческой души и ее верности «духу музыки» (VI, 93) настолько всеобъемлющи, что сюда могут войти стихи самого широкого диапазона и раздел становится в последней редакции самым объемным в томе.

Что же касается цикла «Страшный мир», то в «Ночных часах» он производит явно более цельное впечатление, чем в «Снежной ночи» [11].

В самом понятии «страшный мир» для Блока соединяется мысль об «утрате части души» (VIII, 344), о трагедии человека, потерявшего всеобщие начала, погруженного в мир «индивидуальных» «цыганских» страстей («Страшный мир! Он для сердца тесен!» — III, 163), — и реальная действительность российского бытия после 1905 г. («Так. Буря этих лет прошла»). В «Ночных часах» уже формируется основа цикла — это стихотворения «Демон» («Прижмись ко мне крепче и ближе»), «Из хрустального тумана», «На островах», «Дух пряный марта», «В ресторане», «Песнь Ада», «Идут часы, и дни, и годы». Здесь уже звучат главные мотивы «Страшного мира»: тоска по идеалу, подчинение страстям, невозможность противостоять их соблазну и как следствие этого — опустошение души, утрата нравственных критериев, сознание своей тяжкой вины, суд над собою. Но в «Снежной ночи» границы цикла оказываются как бы размытыми, четкость очертаний теряется: добавлено еще 11 стихотворений, которые, конечно, связаны с этим комплексом настроений, но в то же время могут найти в других разделах бесспорное место, наиболее полно раскрывающее их внутренний смысл. Из этих 11 стихотворений в окончательной редакции останется только одно («В эти желтые дни меж домами»). Включение этих новых стихов связано с тем, что, сохранив «зерно» цикла (9 стихотворений из «Ночных часов»), поэт ищет дальнейших путей его развития. Вероятно, одно из направлений этих поисков — стремление подчеркнуть «всеобщность» трагедии: рядом с «я» появляется «ты» («Сегодня ты на тройке звонкой»), «мы» («Усните блаженно, заморские гости, усните»), включаются стихи о повседневных трагедиях различных обитателей «страшного мира» («Девушке», «Не пришел на свидание», «На железной дороге»). В дальнейшем развитии цикла эта «всеобщность» будет подчеркнута другими средствами.

Раздел находится в процессе становления, то же можно сказать и о его прямом продолжении — «Возмездии». Здесь развивается одна из тем «Страшного мира»: возмездие за измену первой любви, идеалу юности. В «Снежную ночь» вошел весь состав «Возмездия» из «Ночных часов» и прибавились еще 6 стихотворений, из которых ни одно не останется в окончательном варианте.

«Страшный мир» и «Родина» противопоставлены и в то же время как бы взаимно уравновешивают друг друга. «Родина» — «приобщение к народной душе» (ЗК, 114) — постоянный «противовес» «Страшному миру» — «индивидуализму, демонизму, отчаянию» (V, 327), «любви к гибели» (VIII, 317). Это противопоставление чувствуется с самого момента появления этих двух циклов: уже в «Ночных часах» «родные просторы» и «черный город» — два полюса. Это подчеркнуто и текстом: «Забудь, забудь о страшном мире,// Вздохни небесной глубиной» (III, 258). Стихотворение с этими строками («Дым от костра струею сизой») помещалось во всех редакциях «Родины». Но сам цикл «Родина» и в «Ночных часах» и особенно в «Снежной ночи» не производит целостного впечатления.

Этот цикл начал формироваться еще в сборнике «Земля в снегу», хотя здесь только истоки темы: всего два стихотворения («В густой траве пропадешь с головой» и «Ты отошла, и я в пустыне») войдут в заключительную редакцию. Заглавие этого цикла — он открывает сборник «Земля в снегу» — «Подруга Светлая». Это образ первой любви, ему иногда еще присущи «надмирные» черты Прекрасной Дамы, но здесь уже заметно проявляется и земное начало. Подруга Светлая — душа родных мест, хранительница «тихого дома» — прибежища от жизненных бурь и битв. Правда, уже и здесь рядом со стихами «Милый брат! Завечерело», «Прошли года, но ты все та же», «Так окрыленно, так напевно», циклом «Мэри» (четыре стихотворения) поставлено стихотворение «Русь» с эпиграфом из Тютчева («Не поймет и не заметит // Гордый взор иноплеменный, // Что сквозит и тайно светит//В наготе твоей смиренной»), но все же самостоятельное существование тема обретает только в разделе «На Родине» в «Ночных часах». Здесь этот раздел тоже в достаточной мере эклектичен: с одной стороны — продолжение цикла «Мэри» (три стихотворения), с другой — «На поле Куликовом», «Россия», «Родине» (Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?), «Осенний день», «Романс» (Дым от костра струею сизой), т. е. те стихи, которые пройдут через все редакции раздела и войдут в окончательную.

Раздел «Родина» в «Снежной ночи» составлен из двух предыдущих вариантов («Подруга Светлая» и «На Родине»). Поэт стремится связать их общим заглавием (впервые появляется заглавие «Родина») и самой композицией: цикл как бы делится на две части (хронология внутри раздела не соблюдается). Первая часть (первое стихотворение — «Прошли года, но ты все та же») в основном отражает первую стадию работы над темой: здесь почти все стихи связаны с образом первой возлюбленной, с темой родного дома («Везде — над лесом и над пашней», «Ты так светла, как снег невинный», «Она, как прежде, захотела», цикл «Мэри» из шести стихотворений и др.). Стихотворение «О доблестях, о подвигах, о славе» как бы завершает первую часть раздела. Вторая часть начинается стихотворением «Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?» и включает стихи, составляющие основу раздела, в то время как из всех стихов «первой части» останутся только два: «В густой траве пропадешь с головой» и «Осенний день».

Цикл явно распадается, достаточно прочной связи между двумя его частями не возникает. Черты Подруги Светлой или тем более Мэри не сливаются с «ликом родины суровой» (II, 263). Новый идеал — Родина — не вполне еще отграничен от старых форм воплощения, идущих от традиций первого тома. Не имеет непосредственной связи с раздумьями о душе Родины, о ее многострадальном пути и стихотворение «О доблестях, о подвигах, о славе» — жемчужина блоковской лирики.

Поэту необходимо противопоставить «страшному миру» все светлые начала жизни — для него любовь к Родине и первая любовь всегда внутренне соединены («Россия, нищая Россия,//Мне избы серые твои,//Твои мне песни ветровые — //Как слезы первые любви!») (III, 254), но не во всех стихотворениях эта связь достаточно ощутима. В дальнейшем предстоит уточнение, кристаллизация темы.

Вероятно, желая скрепить и этот раздел и весь том, поэт в финале помещает «Заключение» (Благославляю все, что было), утверждающее верность избранного пути и перекликающееся со стихотворением «Все это было, было, было» — финалом первой половины тома.

Итак, в 1911—1912 гг. определяется главная линия пути, определяется основное содержание его этапов, намечается проблематика циклов. И в двух последующих редакциях трилогии, которые во многом отличаются от первой, Блок исходит из тех главных структурных принципов, которые были выработаны в первом издании.

2

В 1916 г. выходит второе издание стихотворений: в апреле — первый том, в июне — второй, в июле — третий. За годы, которые отделяют второе издание от первого, почти не появлялись книги Блока, вышли только две книжки для детей и сборник «Стихи о России» (1915), который на $^2/_3$ состоял из стихов, опубликованных в трилогии. Между тем в 1912—1915 гг. Блок много работал, и новое издание давало возможность систематизировать накопившийся за эти годы материал, подвести определенные итоги, еще раз охватить взглядом все пройденное. Угол зрения теперь несколько сместился: Блок периода первой мировой войны, непримиримый к различным «ядам» декадентства, к «узорным финтифлюшкам вокруг пустынной души» (VIII, 440), работающий над поэмой «Соловьиный сад» и пьесой «Роза и Крест», утверждающий волю и чувство долга в качестве главных, определяющих черт облика художника, склонен к более критическому, чем раньше, отношению к своему прошлому, а следовательно, и к более строгому отбору материала. Так, готовя к печати первый том, он делает следующую запись: «Открытие: все почти, половина — шарлатанство, надо переделать» (ЗК, 256), в то время как в 1911 г. он собрал первый том с максимально возможной полнотой и в предисловии специально оговорил необходимость включения «полудетских или слабых» стихов (I, 559). И заглавие новой трилогии — не «Собрание стихотворений», а просто — «Стихотворения».

Серьезным сокращениям и упорядочению подвергается прежде всего первый том [12]. Здесь впервые появляется то трехчастное деление, которое сохранится и в окончательном варианте («Ante lucem», «Стихи о Прекрасной Даме», «Распутья»). Центральный отдел делится на четыре части, озаглавленные датами и «понятиями» (I, 559): «Видения», «Ворожба», «Колдовство», «Свершения», т. е. чувствуется потребность обозначить, «объективировать» трудно поддающиеся определению душевные движения, воплотившиеся в «Стихах о Прекрасной Даме».

Если в первом томе такие названия — это «объективация» материала, то во втором томе они («Магическое», «Покорность» и др.) звучат слишком субъективно. Здесь ведь иное качество душевной жизни, здесь происходит приобщение к реальному миру, пусть еще часто воспринимаемому в мистическом освещении. И в заголовках циклов нового второго тома подчеркнуто это начало реальности: «Город», «Пузыри земли», «Фаина» — имя «объективированной» героини.

Происходит перераспределение материала: во второй том переходят из третьего стихи, составившие разделы «Снежная маска», «Фаина», «Вольные мысли», которыми теперь второй том завершается (в предыдущем издании он завершался «Ночной фиалкой»).

Теперь во второй том перенесено все, что связано с утратой единого идеала и попыткой заменить его множественностью, разносторонностью жизни. Третий том теперь начинается с выхода в «страшный мир», т. е. с отказа от всех иллюзий: раскрепощающей «природности», «снежных», «метельных» страстей, «мистицизма в повседневности» — и рождения художника, «мужественно глядящего в лицо миру» (VIII, 344), твердо знающего, что он «безмерно больше ⟨...⟩ чем каждый из нас» (VIII, 412).

В работе над трилогией теперь ясно чувствуется стремление поэта максимально уточнить, выкристаллизовать темы томов и циклов. Тема становится определяющим началом в структуре собрания, хронология ей подчинена (хронологическая граница между томами не выражена с достаточной определенностью: во второй том входят стихи 1904—1907 гг., а в третий 1905—1914 гг.). Выделение основной темы приводит к тому, что во втором и третьем томах стихи, не имеющие с ней органической связи, образуют циклы «Разные стихотворения». В первом томе раздел «Разных стихотворений», конечно, немыслим, там весь материал сосредоточен вокруг одного центра, подчинен одной теме, одному образу.

Итак, второй том теперь предстает в следующем виде: Вступление, Пузыри земли, Ночная фиалка, Разные стихотворения, Город, Снежная маска, Фаина, Вольные мысли. Структура определена окончательно, она будет повторена и в последней редакции.

Что касается состава стихов, то по сравнению с соответствующими разделами предыдущего издания их количество сокращено. Очень трудно понять логику этих сокращений, предположительно можно объяснить только некоторые изъятия. Так, например, в издании 1916 г. отсутствуют некоторые стихи, продиктованные событиями 1905 г. («Сытые», «Шли на приступ. Прямо в грудь» и др.), и поэма «Ее прибытие», сам раздел «1905» расформирован. Возможно, эти стихотворения показались Блоку слишком связанными с моментом, он отобрал наиболее обобщенные: «Поднимались из тьмы погребов», «Еще прекрасно серое небо», «Митинг» — и включил их в цикл «Город». Здесь они органически соединились с картинами городской жизни, которые пронизаны «знанием о социальном неравенстве». Поэт считал, что оно «одно только делает человека человеком» (ЗК, 406).

Во втором томе издания 1916 г. отсутствует цикл «Заклятий» и нет многих стихов, входивших в него («Принявший мир, как звонкий дар», «Я неверную встретил у входа», «Перехожу от казни к казни», «Пойми же, я спутал, я спутал», «В бесконечной дали коридоров», «О, что мне закатный румянец»). Исключена также «Песня Фаины», стихи «Ушла. Но гиацинты ждали», «Я был смущенный и веселый» и другие, связанные с увлечением Н. Н. Волоховой. Возможно, эти стихи показались поэту слишком «личными» и давно пережитыми, в то время как ему необходимо было сосредоточить внимание на выходе из «индивидуального» ко «всеобщему». Этим стремлением пронизана вся работа над лирической трилогией.

Третий том подвергся самой значительной переработке, которая здесь выразилась прежде всего в существенных дополнениях благодаря включению стихов последних лет (на титульном листе третьего тома стоит: «издание второе, переработанное и дополненное», а на втором — только «переработанное»). Структура тома определилась почти окончательно: Страшный мир, Возмездие, Опять на родине (из Г. Гейне), Итальянские стихи, Разные стихотворения, Арфы и скрипки, Кармен, Родина, О чем поет ветер. В основе построения тома — «рассветное» начало, утвержденное в «Снежной ночи» в отличие от «Ночных часов», хотя это нельзя понимать буквально и безоговорочно. После наиболее светлого цикла «Родина» идет новая глава «О чем поет ветер» (1913), состоящая из шести стихотворений, полных грустной примиренности, стихотворений-прощаний со всем пережитым. Нельзя не согласиться с Д. Е. Максимовым, который считает, что, «завершая этим сумеречным — с редкими просветами — финалом композицию третьего тома, Блок, по-видимому, стремился к тому, чтобы пропорция света и тени, „личного“ и „общего“ соответствовала его представлению о целом» [13], т. е. при

выделении главного направления пути поэт хотел избежать прямолинейности, хотел сохранить сложность, объемность, многосторонность своего «я». Еще два цикла, которых не было в «Снежной ночи», — «Опять на родине» и «Кармен» (не считая «Разных стихотворений»; часть из них ранее входила в трехтомник, но большинство включено впервые).

Чем объясняется присутствие в сборнике «Ночные часы» и в третьем томе 1916 г. раздела переводов из Гейне, который в окончательной редакции будет снят? В книге П. Громова «А. Блок, его предшественники и современники» высказывается мысль о том, что этот раздел необходим Блоку потому, что «в стихах Гейне иронические и скептические мотивы изнутри вторгаются в душевную жизнь лирического „я“» [14]. Вряд ли дело только в том, что Блоку недоставало «трагического скепсиса», тем более что в стихах Гейне, переведенных Блоком, скептическое и ироническое начало вовсе не является ведущим. Блок помещает двенадцать переводов, и эти стихотворения явственно соотносятся с собственными, блоковскими темами циклов третьего тома. Так, стихи «В этой жизни, слишком темной», «На дальнем горизонте», «Тихая ночь, на улице дрема» и другие ассоциируются с циклом «Возмездие», они и поставлены непосредственно за ним. Блоку, очевидно, понадобилось подкрепить основную тему третьего тома — трагедию человека в «страшном мире» — обращением к поэту, чье творчество стало достоянием мировой культуры.

Опора на образы, вошедшие в общекультурный обиход,— основа цикла «Кармен». (Он был создан в марте 1914 г. и посвящен певице Л. А. Дельмас — исполнительнице партии Кармен.) В редакции 1916 г. в разделе — 8 стихотворений, в окончательной редакции — 10, и эти два стихотворения внесут некоторые коррективы в звучание цикла. Пока, в рассматриваемом нами варианте, Кармен — это героиня Мериме и Бизе, а ее поклонник — Поэт, видящий «творческие сны», они оба живут в мире этих грез и блаженных видений. Этот раздел поставлен после цикла «Арфы и скрипки» и перед «Родиной». С предыдущим разделом он связан общими темами страсти, музыки, некоторые стихи, помещенные в конце «Арф и скрипок», как бы предвосхищают «Кармен»: «Испанке», «Есть времена, есть дни, когда...», «Седое утро», «Натянулись гитарные струны» и др. Что же касается логики перехода к следующему разделу, то она еще недостаточно ощутима: нет еще «Соловьиного сада» — необходимого звена между «Кармен» и «Родиной». Но уже намечена тема выхода из замкнутого мира страсти: «О, да, любовь вольна, как птица» — финал «Кармен» в этом издании — прощание с «дивным сном», а «Осенняя воля» (начало «Родины») — слияние с «необъятными далями» и просторами родной страны («Выхожу я в путь, открытый взорам»).

Обращаясь к «старым» циклам и прежде всего к разделу, открывающему том, мы видим, что из «Страшного мира» исключены все стихи, добавленные в 1912 г. к основе — к составу «Ночных часов». Из этой основы тоже оставлено не все — только «Из хрустального тумана», «Демон», «Песнь Ада» и «В ресторане». Двенадцать стихотворений введены в раздел впервые. Прежде всего это стихи, развивающие тему гибели души в «страшном мире»,— возникает цикл в цикле — «Пляски смерти» (три стихотворения). Усиливается мысль о трагедии морального опустошения, утраты нравственных критериев, «демонизма» (цикл в цикле — «Черная кровь», пять стихотворений). Утверждаются их вселенские масштабы путем постоянных выходов в область «инфернального» («К Музе» и «Пляски смерти» продолжают и развивают инфернальное начало, заложенное уже в «Ночных часах»,— «Демон», «Песнь Ада»). С одной стороны, отчетливее, чем в предыдущих редакциях, вырисовываются космические очертания «страшного мира», с другой — ощутимее приметы реальности, современного города с его сенатом, судом, банком, бальным залом («Пляски смерти»), аэродромом («Авиатор»), публичным домом («Унижение»). Для Блока эти аспекты тесно связаны: чем углубленнее восприятие страшной реальности эпохи реакции, тем теснее она будет связываться с образом вселенского ада. Эта ассоциация: современность — ад, населенный мертвецами, выходит на первый план в редакции 1916 г.

Становится особенно насущным вопрос о нравственных критериях («Разве так суждено меж людьми?»), о незыблемых жизненных ценностях, тем более что прежний идеал отошел в далекое прошлое (сняты стихи с «безумными» сожалениями о «прошлых снах» — «Дух пряный марта был в лунном круге», «Идут часы, и дни, и годы»), а человеческая душа непостижима в своей сложности (введено стихотворение «Есть игра: осторожно войти» с характерными строками: «Слишком много есть в каждом из нас//Неизвестных, играющих сил 〈...〉 О, тоска! Через тысячу лет//Мы не сможем измерить души...») (III, 44).



Н. Н. ВОЛОХОВА

Фотография, 1909—1910 гг. с автографом: «Нат. Волохова, 909—10.»

Частное собрание, Москва

В этом варианте цикл характеризуется напряженно трагической интонацией, нотки грустной примиренности исчезают: стихотворение «На островах» — в разделе «Разные стихотворения», «Усните блаженно, заморские гости, усните», «Я пригвожден к трактирной стойке», «Сегодня ты на тройке звонкой» — в разделе «Арфы и скрипки» (все эти стихи в «Снежной ночи» входили в «Страшный мир»).

Усиливается трагическое звучание и следующего цикла — «Возмездие». Здесь происходят аналогичные изменения: возврат к основе раздела, сложившейся в «Ночных часах», перенос в другие разделы всего, прибавленного в 1912 г., и включение стихотворений, которые отчетливо ведут главную тему: «человек может достигнуть вершины славы ⟨...⟩ но — горе ему, если на своем восходящем пути он изменит юности» (V, 317). В 1916 г. к постоянно присутствующим в разделе стихам («Когда я прозревал впервые», «Когда, вступая в мир огромный», «Ночь как ночь, и улица пустынна», «Я сегодня не помню, что было вчера», «Весенний день прошел без дела», «Ты в комнате один сидишь», «На смерть младенца») прибавлены следующие: «О доблестях, о подвигах, о славе», «Как свершилось, как случилось», «Чем больше хочешь отдохнуть» и, наконец, «Шаги командора» — одно из самых значительных стихотворений раздела.

Усиливается «музыка» в «Арфах и скрипках». Раздел увеличивается вдвое, звучат «струны напряженной, как арфа, души» (III, 202), которой коснулась «музыкальная волна, исходящая из мирового оркестра» (VI, 101). Это воспоминания о первой любви, соединенной со светлыми началами природы и музыки, противопоставленные «забвению» и «гибели» («Есть минуты, когда не тревожит», «Смычок запел, и облак душный», цикл «Через двенадцать лет», расширенный в этой редакции, и др.). Постоянные порывы от «бытийственных метаний», «сбивающих с пути», от «тягостных снов бытия» к «несбыточной яви», к «знанью несказанных очертаний» (III, 198) внутренней, подлинной сущности мира — этот «стержень» раздела явственно обозначился в 1916 г.

Увеличивается количество «Итальянских стихов» («Фьезоле», «Сиена», закончен цикл «Флоренция»).

Значительно меняется состав раздела «Родина». Теперь Блок имеет возможность включить более ранние стихи, чем те, которые входили в «Снежную ночь» (хронологические рамки «Снежной ночи» — 1907—1910 гг., а третьего тома 1916 г.— 1905—1914 гг.), и он собирает их определенным образом. «Осенняя воля», «Не мани меня ты, воля», «Белый конь чуть ступает усталой ногой», «Вот он — Христос — в цепях и розах» — все эти стихи датируются 1905 г. Кроме того, в раздел впервые входят более поздние стихи: «Когда в листве, сырой и ржавой», «Задебренные лесом кручи», «Там неба осветленный край», «Ветер стих, и слава заревая» и др. При этом неизменно остаются стихи «На поле Куликовом», «Россия», «Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?», «Осенний день», «Дым от костра струею сизой». Тема выражена гораздо более отчетливо. Исключены стихи, в которых облик Родины заслонен Подругой Светлой (цикл «Мери», «Везде — над лесом и над пашней», «Ты так светла, как снег невинный», «Она, как прежде, захотела»). Теперь на первом плане — широкий простор, раздолье, ветер, осенняя печаль, прозрачность и распахнутость пространства, тем самым еще более, чем в предыдущих вариантах, подчеркивается контраст с душевным мраком и замкнутостью «страшного мира». Здесь нет места «демонизму», «черной крови», здесь — просветленная «радость-страданпе» от сознания своей сопричастности всеобщим началам. Родина, которая продолжает связываться с обликом первой любви, тем не менее окончательно обретает самостоятельное бытие. И теперь над родными просторами Блоку чаще, чем образ Подруги Светлой, видится лик Христа. В стихотворениях «Вот он — Христос — в цепях и розах», «Ты отошла, и я в пустыне», «Когда в листве, сырой и ржавой», «Россия» и других развивается сопоставление Поэт—Христос: «Ко мне плывет в челне Христос,//В глазах — такие же надежды//И то же рубище на нем» (II, 263); «И крест свой бережно несу» (III, 254); «Ты — родная Галилея//Мне — невоскресшему Христу» (III, 246). Христос здесь — воплощение души народа: «Пока такой же нищий не будешь» (II, 84), «Рубили деды сруб горючий//И пели о своем Христе» (III, 248),— он нищий, бездомный бродяга, скиталец, как бы вобравший в себя всю печаль Родины. Он кроткий, светлый, страдающий, но в то же время — и «сжигающий», карающий («Задебренные лесом кручи»), и в этом плане — предтеча Христа из «Двенадцати». В обоих случаях его обитель — родные поля, из «черного города» он изгнан. В контексте третьего тома 1916 г. «страшный мир» противопоставлен «Родине» и как мир «попиранья заветных святынь» (III, 8), оскорбления божества («Унижение»).

Раздел «Родина» в 1916 г., очевидно, должен воплощать абсолютный идеал, создавая полный контраст «Страшному миру». Знаменательно, что такие стихи, как «Грешить бесстыдно, непробудно», «Петроградское небо мутилось дождем», «Рожденные в года глухие», «На железной дороге», входят в 1916 г. в раздел «Разные стихотворения». Здесь «Страшный мир» не проникает в обетованные, хотя и печальные просторы, он ощущается за их пределами. В последней редакции третьего тома это будет изменено.

Итак, общие тенденции в формировании первого, второго и третьего томов в 1916 г. различны: в одном случае — сокращение стихов и «укрупнение», в другом — «детализация», увеличение количества и объема циклов. Последний этап пути — напряженные и мучительные поиски абсолютных жизненных ценностей в объективном мире и обретение высшего идеала — Родины — теперь представлен более многогранно и подробно.

В значительной мере собрание 1916 г.— итог дореволюционного творчества поэта, следующая проверка пути произойдет уже после решающих событий Октября 1917 г.

3

Последний раз собрание стихотворений подготавливается Блоком к печати летом 1918 г., т. е. уже в другую — революционную — эпоху. Уже созданы поэмы «Двенадцать» и «Скифы», написана статья «Интеллигенция и революция», и все, сделанное ранее, теперь проверяется не предчувствием революции, а ее свершением. Трилогия пересматривается еще раз, и общее направление этой последней переработки — расширение, во многом возвращение к первой редакции, продиктованное стремлением наиболее полно представить «путь среди революций, *верный* путь» (VII, 355). «Одно лучше, другое хуже, а третье и вовсе без значения ⟨...⟩ Но какое освобождение и какая полнота жизни (насколько доступна была она): вот — я — до 1917 года» (там же). Поэт не хочет «недосказанности», «полуясности» (ЗК, 422), он стремится быть до конца понятым: «Мои переделки стихов (главным образом сокращения) были напрасны. Поэтому я восстанавливаю многие выкинутые строфы и строки» (ЗК, 417).

Над подготовкой нового издания трехтомника Блок работает в июне — августе 1918 г., первый том вышел в сентябре 1918 г., второй — в апреле 1919 г. (издательство «Земля»), а третий том появился только в 1921 г., после смерти Блока (издательство «Алконост») [15].

Первый том в издании 1918 г. повторяет издание 1916 г., но, как известно, Блок был явно неудовлетворен этим и уже в августе 1918 г. задумал новое издание, которое должно было быть построено по принципу «Новой жизни» Данте. «Я задумал, как некогда Данте, заполнить пробелы между строками „Стихов о Прекрасной Даме" простым объяснением событий» (ЗК, 423). Объяснения предполагалось дать в прозе, включая и письма к невесте периода 1902—1903 гг. Этот замысел остался неосуществленным, но Блок все же придал тому характер дневника. В апреле 1920 г. он закончил составление пятой — окончательной — редакции первого тома (вышел уже посмертно). Том значительно расширен — добавлено более семидесяти стихотворений, центральный отдел — «Стихи о Прекрасной Даме» — состоит уже из шести, а не из четырех разделов, сняты их заглавия («Видения», «Ворожба» и др.), вместо них — указание места и дата, как в дневниковых записях.

Второй том тоже существенно увеличился в объеме: были возвращены все стихи, входившие в редакцию 1912 г., и добавлены новые. Установлены хронологические границы между вторым и третьим томами: 1907—1908 гг.— важнейший рубеж в творческом развитии Блока (статьи «Народ и интеллигенция», «Стихия и культура», драма «Песня судьбы», стихи «На поле Куликовом»). Теперь второй том включает стихи 1904—1908 гг., а третий — 1908—1916 гг., таким образом, все стихи 1905—1907 гг., прежде входившие в третий том, теперь находятся во втором томе. В связи с этим чрезвычайно расширился прежде всего раздел «Разных стихотворений», он стал почти вдвое больше, чем в предыдущем издании. Увеличился в объеме и один из самых значительных разделов — «Город». Сюда вошли все стихи, связанные с 1905 г. (поэма «Ее прибытие» помещена в «Разных стихотворениях»), и вообще все те стихи из «Нечаянной радости» 1912 г., которые были исключены из второго тома в 1916 г. Соответственно в раздел «Фаина» вошел весь цикл «Заклятие огнем и мраком» (одиннадцать стихотворений), «Песня Фаины», «Ушла. Но гиацинты ждали», «Всю жизнь ждала. Устала ждать» и др. Интересно, что в том вошли некоторые стихи, прежде вообще не включавшиеся ни в собрания, ни в сборники: «Жду я смерти близ денницы», «Я восходил на все вершины», «Поет, краснея, медь. Над горном», «Твое лицо мне так знакомо», «Есть лучше и хуже меня», «Твоя гроза меня умчала», «Когда я создавал героя» и др. («Разные стихотворения»). Вероятно, поэт считал их «вариантами», но, стремясь в последнем собрании к максимальной полноте, он включил и их.

В связи с этим хотелось бы отметить возросшее значение «Разных стихотворений», особенно во втором томе, менее поддающемся строгой циклизации, чем первый и третий. Здесь как бы собраны воедино разные «страны души» (II, 369) поэта в их временной последовательности (расположение стихов, как почти всегда в последнем издании, хронологическое): и культ Прекрасной Дамы, впрочем, уже на «ущербе» («Фиолетовый запад гнетет», «Я живу в глубоком покое», «Поет, краснея, медь. Над горном» и др.), и прощание с мистическим идеалом, окрашенное автоиронией («Балаганчик», «Поэт»), и революционные предчувствия, облеченные в мистические формы ожидания Нечаянной радости («Ее прибытие»), и преклонение перед Судьбой — очень значимый для цикла и вообще для тома мотив («Потеха! Рокочет труба», «Угар», «Ангел-хранитель», «Усталость» и др.). Здесь же — варианты «Незнакомки» («Я миновал закат багряный») и начало темы «Снежной маски» («Там, в ночной завывающей

стуже», «Шлейф, забрызганный звездами») и раздумья о России («Русь», «Осенняя воля»). Именно в этот раздел Блок включает стихи о пути — «Бред», «Зачатый в ночь, я в ночь рожден», и др.— стихи с определенным итоговым обобщением пройденного.

Таким образом в «Разных стихотворениях» сходятся темы других разделов, это некое синтетическое, объединяющее начало.

Самые значительные изменения произошли в последней редакции третьего тома. Прежде всего необходимо отметить появление нового цикла — «Ямбы», исполненного гражданского пафоса и несущего тему действительного революционного возмездия «страшному миру». Большинство стихотворений этого раздела публиковалось и ранее в периодике, но после революции Блок собрал их в цикл, предпослав ему эпиграф из Ювенала: «Негодование рождает стих». Публикуя «Ямбы» отдельной книжкой в 1919 г., Блок рядом с заглавием поставил «Современные стихи», имея в виду, конечно, не время их создания (их хронология — 1907—1914 гг.), а их звучание. В декабре 1918 г. Блок пишет издателю В. С. Миролюбову: «Если напечатаете их, буду очень рад, так как мне они кажутся одними из лучших моих стихов» (VIII, 517). В томе «Ямбы» поставлены на место переводов из Гейне («Опять на родине»), т. е. непосредственно после «Возмездия». «Ямбы» и «Возмездие» тесно связаны между собой: в сознании Блока сопряжены «внутреннее» и «внешнее» возмездие, духовное опустошение человека, изменившего идеалу юности, и неизбежная гибель «страшного мира», поправшего все законы нравственности и человечности. «Юность — это возмездие»,— Блок неоднократно приводил эту цитату из Ибсена (V, 317; III, 295), а в одном из писем он говорил о том, что «революция русская ⟨...⟩ — юность с нимбом вокруг лица» (VIII, 277). Объединить эти мысли о возмездии должна была одноименная поэма, от которой в ходе работы «отпочковались» многие стихи, вошедшие в «Ямбы». И естественно, что некоторые стихи перемещаются из «Возмездия», в «Ямбы»: «Я — Гамлет. Холодеет кровь», «Не спят, не помнят, не торгуют».

К этому циклу о неизбежности гибели «сытых», о грядущем торжестве народной России, о «правом гневе» художника, отвергающего «красивые уюты», тянутся нити из многих разделов тома. «Ямбы» по-новому освещают весь том, здесь особенно ярко проявляется устремленность поэта в будущее, которое в 1918 г., когда он работал над томом, начинало осуществляться: «Что же задумано? *Переделать все.* Устроить так, чтобы все стало новым; чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью»,— писал он в знаменитой статье «Интеллигенция и революция» (VI, 12). Очертания этого будущего он провидел за «непроглядным ужасом» предреволюционного бытия («пора цветенья началась» — III, 88). И само это бытие теперь воплощено с максимальной силой отрицания. «Страшный мир» в свете решающих исторических событий отчетливо осмысливается как последний, кризисный, катастрофический этап старой жизни, непосредственно подготавливающий возмездие: чем чернее мрак «страшных лет России» (III, 278), чем мучительнее мытарства одинокой души, тем закономернее и неизбежнее очищающий «революционный циклон» (VI, 18).

Душевное опустошение, ощущение обреченности и бесцельности существования, холод одиночества, тоска по идеалу — весь этот комплекс переживаний приобретает особую остроту в последней редакции «Страшного мира». Раздел увеличивается втрое по сравнению с 1916 г. Сюда стягиваются стихи о «живом мертвеце»: «Поздней осенью из гавани», «Я коротаю жизнь мою», «Как тяжело ходить среди людей», «Как растет тревога к ночи!». (В издании 1916 г. эти стихи помещались в «Возмездии» и в разделе «Разные стихотворения».) Включен новый цикл — «Жизнь моего приятеля», закончены циклы «Черная кровь» и «Пляски смерти». «Роковая о гибели весть» (III, 7) теперь становится доминирующей, организующей звучание раздела. Появляются стихи космического масштаба, почти отвлеченные от конкретности: «Миры летят. Года летят. Пустая...», «Ну, что же? Устало заломлены слабые руки», «Демон» (Иди, иди за мной, покорной), «Голос из хора» и др. Здесь человек прямо поставлен перед Роком, «пред Гением Судьбы» (III, 42), с которым он находится в вечном поединке. Его метания между «землей» и «небом», его опустошение — всеобщий закон («ваш удел на все похож» — III, 48). Жизнь символизируется в образе бесцельного полета в зияющей пустоте среди «вихря планет» и «эфирной пыли». Объективных закономерностей не существует («Не сходим ли с ума мы в смене пестрой//Придуманных причин, пространств, времен...» (III, 41). Апокалипсические предсказания гибели звучат в стихотворении «Голос из хора». Мысль о всеобщей виновности («Лжи и коварству меры нет», III, 62) приходит здесь к своему завершению, законы «страшного мира» оказываются вселенскими. Неоднократно уже отмечалось, что для Блока

это вовсе не означает примирения со «страшным миром», что кризисное стихотворение «Голос из хора» — необходимый шаг в его стремлении к будущему. Об этом говорил сам поэт: «Лучше бы было этим словам оставаться не сказанными. Но я должен был их сказать. Трудное надо преодолеть. А за ним будет ясный день» (III, 515). Результат преодоления — «стремление жить удесятеренной жизнью» (VI, 367), с этого начинаются «Ямбы»: «О я хочу безумно жить» (III, 85).

И как всегда у Блока, рядом с «космосом», с «инфернальностью» — обилие реалий: например, в «Жизни моего приятеля», с одной стороны: «Дворовый щенок голосил,//В воротах старуха стояла,//И дворник на чай попросил», с другой — «Говорят черти», «Говорит смерть» (III, 49, 52, 53). Рядом со «всеобщей греховностью» — четкое социальное разграничение: «Вновь богатый зол и рад,//Вновь унижен бедный» (III, 39) — это стихотворение из «Плясок смерти» было включено только в последнюю редакцию. Рядом с «концом мира» — предсказание революционного возмездия, особенно отчетливое в стихах, появившихся в окончательной редакции, так, например, в «Страшный мир» из «Возмездия» перенесено стихотворение «Как растет тревога к ночи!». Герой цикла становится более «объективированным», отсюда такое обилие двойников. К Двойнику, герою одноименного стихотворения, и стареющему Юноше из «Песни Ада» в последней редакции прибавляется Матрос («Поздней осенью из гавани»), Соблазнитель («Повеселясь на буйном пире»), Мертвец («Пляски смерти»), Джентльмен «Осенний вечер был. Под звук дождя стеклянный»), Приятель («Жизнь моего приятеля»), еще один Демон («Иди, иди за мной, покорной»). «Двойничество» становится одним из ведущих принципов поэтики «Страшного мира» [16].

Таким образом, в ходе развития цикла поэт все явственнее выступает летописцем и судьей «Страшного мира», циклы в цикле — «Пляски смерти», «Черная кровь», «Жизнь моего приятеля» (они датируются 1912—1915 гг.) — являются синтезом лирических стихотворений, поднимающим на новую ступень сложную проблематику «Страшного мира».

В последней редакции более наглядной становится связь между разделами: в «Страшном мире» помещено стихотворение «Под шум и звон однообразный», в котором заявлена тема родины («Чтобы распутица ночная//От родины не увела» — III, 9), а также два варианта к «Шагам командора» («Возмездие») — «С мирным счастьем покончены счеты», «Седые сумерки легли», в «Ямбах» — прямая отсылка к «Страшному миру»: «Забудь, забудь о страшном мире» (III, 92); эта же строка повторяется в стихотворении «Дым от костра струею сизой» («Родина»). Но дело не только в этих цитатных перекличках,— укрепляется внутренняя связь между главами, яснее становится их соотнесенность.

Раздел «Родина» уже не является полным контрастом «Страшному миру». В 1918 г. Блок впервые ввел в раздел такие стихотворения, как «Рожденные в года глухие», «Новая Америка», «Коршун», «На железной дороге», «Грешить бесстыдно, непробудно», «Дикий ветер» и др. Впервые в цикле появляется зарисовка быта «толстопузого мещанства» с его мертвящей силой накопительства, собственничества: «И под лампадой у иконы//Пить чай, отщелкивая счет,//Потом переслюнить купоны,//Пузатый отворив комод...» (III, 274). Это — тоже Россия, эти стихи соотносятся с картинами интеллигентского быта в «Страшном мире», тоже сатирически окрашенными («Жизнь моего приятеля»). Возникает картина проводов на войну эшелона обреченных («Петроградское небо мутилось дождем»), обреченным же оказывается целое поколение русской интеллигенции («Рожденные в года глухие»). «Тоска дорожная, железная» губит человека, стремившегося к полноте жизни, мечтавшего о счастье. Стихотворение «На железной дороге» в предыдущей редакции входило в «Страшный мир», уже одно его перемещение показывает, что теперь нет непроходимой грани между «Страшным миром» и «Родиной».

Забыть о «страшном мире» невозможно: «Мы — дети страшных лет России —//Забыть не в силах ничего» (III, 278); в «Ямбах»: «Нет, не забуду никогда!» (III, 92).

Все отчетливее звучат ноты активно-действенного, а не пассивно-созерцательного отношения к Родине, и представление о ее будущем соединяется с мыслями о борьбе, об освобождении. Финал цикла — «Коршун», и здесь возникают прямые ассоциации с «Ямбами».

Итак, в последнем варианте лирической трилогии «Страшный мир», «Возмездие», «Родина» и «Ямбы» взаимно дополняют друг друга: исповедь души связывается с национальными судьбами России («испепеляющие годы» III, 278) и с грядущим историческим возмездием, которое несет «униженный народ» (III, 88) — «Пока великая гроза//Все не смела в твоей отчизне...» (III, 93).

В окончательной редакции тома неприятие Блоком «страшного мира» проникает во все разделы.

Так, например, «Итальянские стихи», наиболее «автономные», в законченном виде яснее обнаруживают мысль о мертвенности современной цивилизации: в цикл возвращается стихотворение «Умри, Флоренция, Иуда», с открытой инвективой против европейской буржуазной бездуховности: «Весь груз тоски многоэтажной —//Сгинь в очистительных веках!» (III, 107).

В «Арфы и скрипки» опять включается стихотворение «В неуверенном зыбком полете» (в 1916 г. помещалось в «Разных стихотворениях»), перекликающееся с «Авиатором» («Страшный мир»), вводятся стихи о гибельном роке, одиночестве, разобщенности людей в современной жизни — «Сегодня ты на тройке звонкой», «Когда-то гордый и надменный», «Ты жил один», «Он занесен, сей жезл железный» и др.

В цикле «Кармен» появляются два стихотворения («Сердитый взор бесцветных глаз», «Нет, никогда моей и ты ничьей не будешь»), которые сразу переносят героев в сегодняшнюю реальность. И здесь «март наносит мокрый снег» (III, 234), а на всем облике героини «страшная печать отверженности женской» (III, 239).

И, наконец, несколько слов о разделе «Разные стихотворения». Он поставлен в центре тома, по объему он меньше, чем одноименный раздел во втором томе, и он более «самостоятелен». Это и понятно: в третьем томе нет такой «многострунности», он не нуждается в разделе, укрепляющем тематические связи между циклами. Тем не менее «Разные стихотворения» и в третьем томе тоже являются в известной мере объединяющим, обобщающим разделом. Здесь есть стихи действительно «разные» по своим внешним признакам: это как бы разрозненные впечатления, воспоминания («Антверпен», «Ты помнишь, в нашей бухте сонной», «Сон») или «Послания». А рядом с ними — «Все это было, было, было», «Благословляю все, что было», «И вновь — порывы юных лет», «О нет! Не расколдуешь сердца ты», «Перед судом», «Ты твердишь, что я холоден, замкнут и сух»,— т. е. подведение итогов пройденного пути, размышления о его закономерностях, о потерях и приобретениях, о душевной зрелости, купленной ценой трагических утрат. Большая часть перечисленных стихотворений появилась в цикле в последней редакции. Таким образом, «Разные стихотворения» тоже имеют свою определенную направленность, несут обобщающую мысль, необходимую в общем звучании тома.

По мере формирования лирической трилогии все яснее обнаруживается логика сцеплений разделов и томов.

В предисловии к поэме «Возмездие» в 1919 г. Блок говорил о «жизни чертежа» поэмы: «самый маленький круг, съежившись до предела, начинал опять жить своей самостоятельной жизнью, распирать и раздвигать окружающую среду и, в свою очередь, действовать на периферию» (III, 297). В определенном смысле это может быть отнесено и к трилогии: каждый цикл развивался «изнутри», прорастая из «основного зерна» (у большинства циклов оно сложилось в 1912 г., хотя последующие редакции вносят значительные изменения), уточняя и развивая свою тему, все теснее связываясь с другими циклами, перекрещиваясь с ними, влияя на них. Каждый раздел несет свою мелодию, в совокупности же создается уникальное симфоническое звучание блоковской лирики.

При исследовании послеоктябрьского творчества Блока необходимо наряду с его этапными произведениями, созданными после Октября,— поэмой «Двенадцать», «Скифами», публицистическими статьями — учитывать и важнейшую работу над завершением лирической трилогии. Эта работа — тоже осуществление призыва: «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте Революцию» (VI, 20). Трагическая картина сложнейшей жизни высокого человеческого духа получает итоговое разрешение. В создании окончательной редакции трилогии, как и в послеоктябрьских произведениях, воплощен новый этап мировоззрения художника, открывшего своим творчеством первую страницу советской поэзии.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Цит. по кн.: «Александр Блок в воспоминаниях современников». М., 1980, т. 2, с. 461.
[2] Ю. Н. Тынянов. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977, с. 118.
[3] Д. Максимов. Идея пути в поэтическом сознании Ал. Блока.— В кн.: «Поэзия и проза Ал. Блока». Л., 1975.
[4] Наст. том, кн. 3, с. 427.

[5] О специфике блоковского цикла см.: В. А. Сапогов. Поэтика лирического цикла А. Блока. Автореферат. канд. дисс. МГПИ им. В. И. Ленина, 1967.

[6] П. Громов. А. Блок, его предшественники и современники. М.— Л., 1966; Д. Максимов. Поэзия и проза Ал. Блока; Л. Гинзбург. О лирике. Л., «Сов. писатель», 1974.

[7] В. Орлов. Литературное наследство Александра Блока.— В кн.: ЛН, т. 27—28; Е. И. Яцунок. Из истории прижизненных изданий А. А. Блока.— В сб.: «Книга. Исследования и материалы». М., 1980.

[8] «Блоковский сб.», 2, с. 389.

[9] Там же, с. 393.

[10] П. Громов. А. Блок, его предшественники и современники, с. 421—428.

[11] Подробно об этом см. в моей статье «История формирования цикла „Страшный мир“».— В кн.: «В мире Блока». М., 1980.

[12] Подробнее об этом см. в статье В. Орлова. «Литературное наследство Александра Блока».

[13] Д. Максимов. Поэзия и проза Ал. Блока, с. 134.

[14] П. Громов. А. Блок, его предшественники и современники, с. 426.

[15] См. об этом подробнее в ст. И. А. Чернова «А. Блок и книгоиздательство „Алконост“».— «Блоковский сб.», 1.

[16] См. об этом: Д. Максимов. Об одном стихотворении («Двойник»).— В кн.: Д. Максимов. Поэзия и проза Ал. Блока.

ИЗ ТВОРЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ПОЭМЫ «ВОЗМЕЗДИЕ»

Сообщение И. А. Ревякиной

Один из вершинных, но не воплощенных до конца замыслов Блока уже много раз становился предметом пристального изучения: в работах Д. Е. Максимова, Л. И. Тимофеева, Л. К. Долгополова, П. П. Громова и др. Законченные части «Возмездия» в самый момент своего появления — в 1917, 1918 и 1921 гг.— вызывали признание современников. Так, К. Чуковский [1], К. Федин [2], П. Антокольский [3] при всей разнице оценок увидели в поэме некое откровение, связанное с новым этапом творческих исканий Блока. Чеканные строки Пролога, утверждавшие подвиг поэзии мысли, поэзии исследования жизни («...Тебе дано бесстрастной мерой//Измерить все, что видишь ты...» — III, 301), вызывали сопоставление с пушкинскими. И это было справедливо: лучшее в поэме действительно причастно к пушкинским традициям как по силе выразительности, так и по глубине содержания.

Изучение творческой истории «Возмездия» началось давно. Вскоре после смерти Блока появились первые публикации черновых отрывков, вариантов поэмы: раньше всего в журнале «Записки мечтателей» (1921, № 5, с. 5—16), потом в книге «Памяти А. А. Блока» (Пб., 1922, с. 60—61), затем в отдельном издании — А. Блок. Возмездие (Пб., «Алконост», 1922; здесь печатались предсмертные наброски, подготовленные при участии матери и жены поэта). Первая попытка углубленного изучения творческой работы Блока над поэмой — разбор всех сохранившихся рукописей, установление их хронологии, последовательности редакций и т. д.— была предпринята П. Медведевым. Выводы, сделанные им в книге «Драмы и поэмы Ал. Блока. Из истории их создания» (Л., 1928), сохранили значение до сих пор.

В разное время (в частности, Громовым, Долгополовым) поэма сопоставлялась с другими произведениями Блока. Несомненно, что во многом замысел поэмы и его место в творчестве Блока получили убедительное освещение. Тем не менее и поныне существуют спорные толкования очень важных проблем, связанных с работой Блока над поэмой. Есть «непрочтенные» исследователями страницы истории создания поэмы. Это относится в первую очередь к вопросу об объеме и границах ранней редакции «Возмездия». Чем она заканчивалась, почему была отвергнута? Выявить и осмыслить это тем более важно, что именно на раннем этапе осуществления замысла поэт определил для себя дальнейшую перспективу работы.

Едва ли бесспорно почти единодушное, при разнице только в некоторых акцентах, объяснение причин невоплощенности замысла поэмы. Исследователям кажется, что Блок пошел слишком традиционным путем: в пространство пушкинской поэмы или романа в стихах нельзя было уложить задуманного, неудача была якобы предрешенной. Если ответ столь прост и однозначен, почему же поэт все-таки мучительно и сложно (признания об этом содержатся в дневниковых записях и письмах), однако неотступно продолжал и продолжал свою работу? Не ставил ли он перед собой задачи — с самого начала — обновления тех форм и тех традиций, из которых исходил? Во всяком случае, трудности предстоящей работы были ему ясны — о них он говорил в Прологе к поэме: «...Пускай же все пройдет неспешно ⟨...⟩//Сквозь жар души, сквозь хлад ума ⟨...⟩//Пусть жила жизни глубока://Алмаз горит издалека — //Дроби, мой гневный ямб, каменья!» (III, 301, 303).

* * *

В разгар работы над поэмой Блок записывает в черновиках о самом важном: «Вот суть: зависимость личной жизни от общей» (III, 606). Новизна и смелость замысла поэмы и заключались не только в небывало тесном, но и обязательном соединении частных судеб с событиями мирового значения. Гете незадолго до смерти говорил о своем Фаусте: «Это же нечто непомерное» [4]. В «Возмездии» Блок задумал тоже нечто непомерное: в своих «Ругон — Маккарах» «в малом масштабе» (III, 298) раскрыть судьбы трех поколений одного рода на фоне событий рубежа XIX и XX вв., когда назревают «неслыханные перемены,//Невиданные мятежи...»

(III, 306). Замысел поэмы концентрировал самое существенное в общественно-политических и философских поисках Блока. Не случайно в позднейшем предисловии к III главе он выделил прежде всего связь поэмы со своими «революционными предчувствиями» (III, 295), а с другой стороны, так много говорил об истории и человеке, о своем осмыслении происходящих социальных процессов. И то и другое поэт объединил в лейтмотиве «возмездия», стремясь выразить свое понимание универсальных связей человека и общества, общественного развития, необходимости социальных перемен. Личность выступает у Блока в историческом движении и как объект «возмездия» («Мировой водоворот засасывает в свою воронку почти всего человека» — III, 298), и как субъект его (III, 300). В первом случае Блок говорит о «роде, испытавшем на себе возмездие истории, среды, эпохи», во втором — об образе «последнего первенца» рода (его он хотел изобразить в эпилоге), который «начинает, в свою очередь, творить возмездие», «готов ухватиться своей человечьей ручонкой за колесо, которым движется история человечества» (III, 298). «Чертеж» столь смелого, универсального замысла, несомненно, являлся выражением творческой зрелости поэта. Осуществить задуманное Блок усиленно стремился на протяжении 1911 г., интенсивно работал над первой, второй и третьей главами. Надолго прервав работу весной 1912 г., он возобновляет ее уже в 1916 г.: в мае и начале июня на настоящем взлете вдохновения была закончена первая глава, за короткий срок написано — или существенно переработано — около половины текста (480 стихов из 923). Вместе с прологом, содержащим цельную программу поэтического творчества, первая глава поистине эпична. Контуры большого «чертежа» (III, 297) здесь видны прежде всего в мощном, социально-философском вступлении — о жестоком девятнадцатом веке и не менее жестоком двадцатом, идущем ему на смену. А как богат, калейдоскопичен — при внутреннем единстве — весь «фон» главы! Обращаясь к эпизодам войны 1878 г., революционной деятельности народников, поэт добивается сложной соотнесенности частного и общего. Смена поколений одной семьи нарисована им в перспективе движения времени, исторических событий, таящих залог будущих перемен и даже катастроф. Такой разнообразной вместимости остросоциальных, философско-психологических, жанрово-бытовых, реально-достоверных и в то же время поэтически-обобщенных аспектов изображения русская поэма еще не знала. Поэт — в прошлом «лирик» — достиг безусловно новых рубежей творчества — эпичности с ее многоплановостью и глубиной.

Завершив первую главу, Блок, казалось бы, находился уже на полпути к успеху. Однако работа вновь приостанавливается. Как удачи в написании главы, так и трудности с очевидностью показали, что в опыте воплощения большого замысла возникло реальное противоречие: темы, которые он включал, были слишком важными, современными, пути же к ним — долгими и «неспешными», хотя «диалог» поэта со временем требовал скорого, неотложного их решения. Так поэт оказывается перед необходимостью искать иных путей осуществления ведущих тем поэмы, связанных с пониманием проблемы личности, испытывающей на себе «возмездие истории, среды, эпохи», человека в «мировом водовороте» (III, 298). Он ищет и находит: в ходе работы над поэмой — попутно — создаются стихотворения, в особых, лирических формах раскрывающие важные, лейтмотивные темы ее. В 1914 и 1915 гг. Блок публикует ряд таких произведений: «Народ и поэт», «Моей сестре» («Когда мы встретились с тобой...»), «Два века» («Век девятнадцатый, железный...») и др. Поиски поэта дают плодотворный результат — взаимодействие эпических и лирических тенденций и форм творчества: при «безуспешности», вернее, незавершенности процесса создания большого замысла Блок достигает совершенства в реализации его лирических частей, столь цельных и законченных, что они обретают самостоятельность. Такова «непрочтенная» исследователями, неожиданная, но вполне закономерная страница творческой истории поэмы.

Каково же место и значение сопутствовавших эпическому замыслу поэтических опытов Блока?

* * *

Не совсем обычна в творческом наследии поэта судьба стихотворения «Два века» («Век девятнадцатый, железный...»). Оно редко печатается [5], останавливает внимание исследователей только при изучении истории создания поэмы как один из ее вариантов, черновых проб. Между тем это далеко не так.

Осенью 1911 г. Блок, увлеченно работая над поэмой, уже определившейся в многочисленных планах, фрагментах написанных частей первой, второй и третьей глав как сложное и большое целое, создает и самое начало первой главы — вступление к ней: «Век девятнадца-

тый, железный...» и т. д. Оно состояло из 52 стихов, включая стих «Он мягко стлал — да жестко спать...» — III, 304—305. Фрагмент предназначался для исторического фона, на котором должны были развертываться события «личной жизни» героев, зависимые, как считал Блок, «от общей» (вспомним его заметку в черновиках о «сути» замысла). Также во второй половине 1911 г. и в начале 1912 г. создавались и другие части фона, связанные с изображением русско-турецкой войны,— а именно, сцены возвращения русских войск в Петербург осенью 1878 г. Яркий и пестрый калейдоскоп исторических эпизодов мыслился Блоком как необходимый и обязательный перед появлением в семье «демона» (отца), героя — предвестника будущего.

Зимой 1911 г. поэт пристально изучал исторические источники о русско-турецкой войне, народовольцах. Представление об углубленности и широте интересов поэта дает сохранявшаяся им отдельно тетрадь с названием «Материалы для поэмы» (III, 444—460). В ней — конспекты и рабочие записи по поводу исторических источников, внимательно прослеженных: это — Татищев С. С. Император Александр II, его жизнь и царствование. В 2-х т. СПб, 1903; Сватиков С. Г. Общественное движение в России (1700—1895). Ростов-на-Дону, 1905; Тун А. История революционных движений в России. Изд. «Библиотеки для всех», б. г.; Лемке М. Политические процессы Михайлова, Писарева и Чернышевского (по неизданным документам). СПб., 1907; Смирнов В. И. Официальная Турция в лицах.— «Вестник Европы», 1878, № 1. Здесь заметки и конспективные записи, связанные с мемуарами: Л. Ф. Пантелеев «Из воспоминаний прошлого» (СПб., 1905), кн. В. Мещерский «Воспоминания» (т. 1), а также и документальной литературой («Сборник военных рассказов», т. 1—6. 1877—1878). Записи о прочитанном Блоком по истории революционного движения в России конца XIX в. (и частично потом использованном в поэме) находятся и на листах черновой рукописи. На обороте листа 42, на листе 43, обороте листа 45 содержатся выписки из воспоминаний О. Любатович («Былое», 1906, № 5—6), отмечаются воспоминания Я. П. Щеголева «После 1 марта» («Былое», 1907, № 3), приводится оценка Плехановым тактики народовольцев (III, 618).

В работе по завершению первой главы через несколько лет (в мае — июне 1916 г.) наибольшие усилия поэт вновь прилагает к созданию сцен исторического фона: военных, теперь показывающих трагическую сущность войны, и сцен о народовольцах — о «революции», как обозначается эта тема в рабочих планах [6]. Несомненно, что в них находятся главные линии тех связей, в которых и заключено единство главы как эпического целого. Итак, Блок длительно и упорно ищет те звенья, те «сцепления тем», в которых замысел обрел бы значение «общего». В определенной степени это подтверждается и таким характерным фактом в творческой истории поэмы: как раз в момент перерыва в работе над ней вступительную часть к первой главе Блок выделяет как самостоятельное стихотворение. В тетради беловых автографов стихотворений 1913—1914 гг. оно записано под названием «Девятнадцатый век» со своей отдельной датой создания: «Осень 1911—22 февраля 1914». Текст сопровожден пометой: «Из поэмы» [7].

Стихотворение не публиковалось Блоком, хотя такая возможность, видимо, предполагалась при выделении текста из поэмы. Вскоре — в конце 1914 г.— оно вошло как часть в новое и более масштабное целое — в стихотворение «Два века». Рабочие пометы и правка в тетради позволяют проследить развитие авторской мысли. Первоначальный текст в 52 стиха (соответствующий вступлению в первую главу) озаглавлен «Девятнадцатый век». Другими чернилами название изменено: «Два века». Теми же чернилами в конце первоначального текста сделано рабочее примечание: «Продолж⟨ение⟩ на стр. 166». На этой и последующих страницах тетради также новыми чернилами написан текст в 40 стихов о «новом веке» — двадцатом,— развивающий и существенно обогащающий исходную поэтическую мысль. В конце текста — новая авторская дата: «4 дек⟨абря⟩ 1914», прежней пометы «из поэмы» здесь уже нет. Очень скоро — 25 декабря 1914 г. (7 января 1915 г.) — стихотворение было опубликовано в газете «Русское слово».

Новое произведение — по жанру своеобразная «гражданская дума» — не только повторяло, но и развивало «сокровенный» замысел поэмы. Во второй — «внепоэмной» — части стихотворения Блок воплотил мысль, раскрытие которой представлялось главным образом в завершении замысла: ведь он должен был выразить «революционные предчувствия» (III 295), выразить идею революционного «Возмездия». Рассказ о двадцатом веке как бы в миниатюре, по законам и в пропорциях лирического жанра продолжает лейтмотивные темы поэмы и здесь главное в том, чтобы запечатлеть движение истории в человеке, а также показать слож

ность общего, мировые катаклизмы. Первые строки о «новом веке» усиливают мрачные краски: «...Еще страшнее жизни мгла...» (III, 305). Однако картина противоречий жизни, казалось бы непреодолимых, сулящих только конец миру, отличается внутренней динамикой. В самом хаосе, буйстве зла поэту видится возможность «неслыханных перемен, невиданных мятежей» (III, 306), он стремится прозреть смысл открывающихся «огненных далей». Последняя часть стихотворения — 12 строк — это взгляд в грядущее, мечта об историческом деянии в движении времени, призыв к героическому подвигу:

Как день твой величав и пышен,
Как светел твой чертог, жених!
Нет, то не рог Роланда слышен,
То звук громовый труб иных!
Так, очевидно, не случайно,
В сомненьях закалял ты дух,
Участник дней необычайных!
Открой твой взор, отверзи слух
И причастись от жизни смысла,
И жизни смысл благослови,
Чтоб в тайные проникнуть числа
И храм воздвигнуть — н а к р о в и.

(III, 606)

Собственно, ради этого — раскрытия «огненных далей» истории — написано стихотворение в «час немятежного труда», глубоких раздумий над путями к грядущему. На малом, но емком пространстве лирического произведения поэт, как бы опережая себя самого, преодолевая трудности реализации эпического сюжета, сконцентрировал свою заветную идею о представителе нового поколения, способном «творить возмездие» — героическое историческое деяние.

Стихотворение глубоко отражает духовную жизнь Блока, ее «мужающие ритмы». Об этом говорит и то, что Блок, не откладывая, публикует его, и то, что тематика стихотворения перекликается с рядом других произведений — тоже злободневных дум. 3 декабря 1914 г., т. е. накануне («Два века» закончены 4 декабря), Блок записывает в тетрадь беловых автографов стихотворения «Я не предал белое знамя...» и «Он занесен — сей жезл железный...». Темой законов времени — «ночных», «роковых» путей, как об этом говорится в первом стихотворении,— «круженья вихревого» «над грозной бездной», как это же обозначено во втором, а также темой сурового — «не сентиментального» — воспитания человека жизнью (см., например: «Но чем полет неукротимей ⟨...⟩ Тем лучезарнее, тем зримей//Сияние Ее лица» — III, 223) — они внутренне близки «Двум векам», где поэт прославляет неодолимость человека во всех испытаниях временем.

Нужно упомянуть еще и о том, что осенью и зимой 1914 г. написан ряд стихотворений гражданской тематики: «Война» («Петроградское небо мутилось дождем...») — начало сентября, «Антверпен» — 4—5 октября, «Рожденные в года глухие...» — начало ноября. События военного 1914 г., обостряя общественные переживания поэта, углубляют его размышления над современностью («Испепеляющие годы!» — III, 278). Блоку чужд «угар» военного воодушевления, на злобу дня он откликается с трезвостью гражданского чувства. Все это сказалось и в стихотворении «Два века».

Продолжением творческой истории стихотворения явилось включение большого фрагмента из второй его части — 28 стихов — во вступление к первой главе. Оно было сделано, видимо, уже в 1916 г., когда глава завершалась в целом. Новый для главы фрагмент — стихи 53—80 о веке двадцатом — стал дополнением фона, намечал историческую перспективу, обращенность повествования к будущему. Таким образом, стихотворение, возникнув в недрах замысла поэмы, выделившись из него, затем сливается с ним вновь, обогащая историческую панораму повествования. Не привело ли это к «исчезновению» стихотворения как самостоятельного, ведь текст его в большей части — 28 стихов из 40 — введен в поэму? Текст стихотворения не мог быть целиком «поглощен» поэмой: 12 последних стихов, а они-то и составляют его главный «архитектурный свод», поэт не включил в первую главу — они были бы в ней «преждевременны»: это «звено» темы еще предстояло развернуть в сюжете, в особых, эпических пропорциях. Несомненно, что стихотворение сохранило самостоятельность.

Это в полной мере подтверждается рукописным оформлением стихотворения в тетрадях (о чем шла речь выше), а также деловыми пометами автора там же. В оглавлении к тетради № 8[8] Блок вставляет против названия стихотворения точные данные, относящиеся к написанию и публикации текста. Наименования «Девятнадцатый век» и «Два века» с соответствующими им датами — 1911 (в первом случае) и 1911—1914 (во втором) — включены Блоком в

позднейший список его работ в тетради № 9[9]. Здесь они подчеркнуты красным карандашом, как и названия многих других произведений, не включенных в последнее издание стихотворений (помета относится к 1918 г.). Значение выделения оговорено Блоком на первой странице указателя. Вполне вероятно, что так выразилось желание поэта определить место этих стихотворений в дальнейшем, в будущей работе над собранием своих произведений. Пометы свидетельствуют о том, что в творческом сознании Блока долгое время — не только в 1911 и 1914 гг., но и в 1918 г.— стихотворения, выделенные из поэмы, выступали как самостоятельные. Поэтому правы те исследователи, которые включают их в издания избранных сочинений поэта [10].

Более того, бесспорно, что стихотворение «Два века» должно включаться в собрания сочинений Блока наряду с поэмой «Возмездие». Это соответствует самобытности самой творческой практики поэта: тема в обоих случаях получила неадекватное выражение в малом и большом объеме, в лирической и эпической формах. Параллельность замыслов, их частичное совпадение не отменяют ни одного из них: так они возникли и существовали в художественном мире поэта.

Столь неожиданное направление реализации замысла — в лирических, «боковых», ветвях — вызывалось и процессом обновления в этот период лирики Блока в целом. Поэт остро ощущает новизну встающих перед ним задач. Новые гражданские мотивы Блока-лирика оказываются органически связанными с проблематикой поэмы. И в том и в другом многообразно проступает рождение «человека общественного», «художника, мужественно глядящего в лицо миру» (VIII, 344).

Можно привести немало примеров сопоставимости тем, мотивов поэмы и лирических произведений Блока начала—середины 1910-х годов. Стоит упомянуть о намеченной поэтом в его рабочих планах соотнесенности с поэмой стихотворения «О, я хочу безумно жить...» и «Коршун». Их беловые тексты сопровождены в тетрадях стихотворений авторской пометой: «к поэме» [11]. Стихотворение «Коршун» примыкает к тем многим произведениям Блока 1910-х годов, в которых ярко выразилась тема «испепеляющих» лет России. Им поэт завершил цикл «Родина». Вариант стихотворения действительно вошел в поэму (стихи 596—615 первой главы — III, 319); здесь птица, которая тужит о птенцах, терзаемых ястребами, как бы символизирует образ родины-матери, ее испытания в настоящем и будущем. В составе главы это — авторское отступление, голос поэта звучит в нем трагически, скорбно, отрывок входит в эпическое повествование, являясь обобщающим аккордом.

Вполне вероятно, что в стихотворении Блоку виделся в какой-то степени и прообраз эпилога: там тоже должны были появиться мать и дитя (сын), но только уже не обреченные, «чтоб их терзали ястреба» (III, 319), а стоящие на пороге «Возмездия» (о чем поэт писал в предисловии к третьей главе).

Как должно было бы соотноситься с поэмой стихотворение «О, я хочу безумно жить...»? Непосредственных указаний на это нет, однако его уместность среди авторских отступлений, понять не так уж трудно. Его пафос близок, например, отрывку «Когда ты загнан и забит...», утверждающему: «...А мир — прекрасен, как всегда», которым завершается текст третьей главы.

Разумеется, речь идет не о точном месте стихотворения в сюжете, а о его принципиальном значении: оно несомненно при той «мирообъемлющей» авторской позиции, которую в создании поэмы осваивал и отстаивал Блок. Это и стало основой выделения из поэмы в качестве самостоятельных произведений ее «лирических» звеньев — тех, где «прорывался» авторский голос. Так появляются в печати новые поэтические декларации — стихотворение «Народ и поэт» («Русское слово», 1914, 6 (19) апреля), написанное весной 1911 г. как Пролог к поэме, стихотворение «Современнику» (Да. Так диктует вдохновенье...) («Биржевые ведомости», 1915, 8 (21) ноября, утр. вып.). Последнее поэт выделил из черновиков третьей главы, над которой работал осенью 1911 г. В 1914—1915 гг. Блок публикует и части своей лирической исповеди в поэме: они стали основой стихотворения «Когда ты загнан и забит...», «Моей сестре» (В огне и холоде тревог...), «Над Варшавой» (Страна под бременем обид...) и др.

Стихотворение «Когда ты загнан и забит...» появилось в составе цикла «Седое утро», опубликованного в сборнике «Сирин» (сб. 3. СПб., 1914). Не случайно поэт избрал стихотворение, звучащее как гимн альтруизму, как утверждение веры в человека и прекрасное в жизни, для завершения всего цикла. Его построению в целом свойственна внутренняя контрастность мотивов. Достаточно сказать, что оптимистическому финалу предшествует стихотворе-

ние «Как растет тревога к ночи...», противоположное по безысходно-трагической интонации (позднее оно стало заключительным в цикле «Пляски смерти»). Как самостоятельное целое — авторское лирическое отступление — стихотворение оформилось в ходе создания второй (по обозначению самого писателя) редакции поэмы «Возмездие» еще в январе 1911 г.[12] Вероятно, уже весной 1911 г. Блок считал фрагмент законченным стихотворением: с этой датой и заголовком «Из поэмы» оно и записано в тетрадь стихотворений 1913—1914 гг., видимо, в связи с формированием цикла «Седое утро» [13]. Однако, выделяя фрагмент, Блок не переставал считать его и частью большого целого. Как свидетельство этого интересны воспоминания В. В. Гиппиуса, встретившегося с поэтом весной 1914 г.: «Блок спросил, читал ли я стихи его, напечатанные в «Сирине», и стал расспрашивать о впечатлении от каждого. Я назвал прежде всего «Когда ты загнан и забит...», еще не зная, что это — отрывок из «Возмездия». Блок сказал об этом. Видно было, что он придает особое значение своей работе над поэмой и проверить впечатление от напечатанного отрывка ему важно» [14].

И позднее стихотворение «Когда ты загнан и забит...» сохранило в художественном сознании Блока значение самостоятельное, оставаясь в то же время частью поэмы. Так, в 1918 г. поэт включил его в состав своих избранных стихотворений — в рукопись «Изборника», которую он готовил по предложению издательства М. и С. Сабашниковых [15], а в 1921 г. оно появилось в печати вместе с третьей главой «Возмездия» как ее заключительный фрагмент в журнале «Записки мечтателей» (№ 2—3).

Столь же своеобразно и место Пролога к поэме среди произведений Блока: это и часть поэмы — вступление к ней, и возможное отдельное целое — стихотворение под названием «Народ и поэт», яркая, полемичная декларация писателя зрелой поры. В ней Блок во многом по-новому для себя ставит вопросы, взаимосвязей поэзии и жизни, природы художественного вдохновения. Полемичность стихотворения отчетливо прослеживается при сопоставлении его со статьей «О современном состоянии русского символизма». На новом этапе духовного развития Блок отвергает мистико-символистскую отъединенность искусства от реальности, утверждая обращенность художника к познанию жизни.

Текст стихотворения «Народ и поэт» закреплен в тетрадях автографов как самостоятельный [16]. В позднейшем «Хронологическом указателе» произведений стихотворение под этим названием обозначено Блоком отдельно от поэмы, с обычными пометами — и о времени создания, и о месте публикации. Тексты Пролога и стихотворения фактически тождественны: разница в трех стихах имеет характер равноценных вариантов. Сравним в Прологе:

Удар — он блещет. Нотунг верный.
И Миме, карлик лицемерный
<...>
Из глины созданный и праха,
(III, 301)

— в стихотворении те же стихи несколько отличны:

Удар,— булат сверкает верный,
И карлик, жалкий, лицемерный
<...>
Тяжелого созданье праха... [17]

Текст стихотворения, однако без названия, Блок включил в рукопись «Изборника».

С разным использованием одного текста — и как самостоятельного, и как части другого произведения — можно встретиться не только у Блока, но также и у Пушкина, Некрасова, Горького. Так, не пропущенное цензурой стихотворение «Жил на свете рыцарь бедный...» Пушкин включил в «Сцены из рыцарских времен», однако сократив, надеясь, по всей вероятности, в таком виде опубликовать его. Стихотворение Некрасова «Когда горит в твоей крови...» (1848) появилось в составе романа «Три страны света», но поэт намечал также напечатать его отдельно [18]. Горьковская «Песня о Буревестнике» первоначально входила в аллегорический рассказ «Весенние мелодии». Он был запрещен, но, как ни странно, самая решительная, революционная его часть — «Песня о Буревестнике» — все-таки появилась в печати как самостоятельное произведение. В 1910-х годах Горький печатал отдельно и не однажды в большевистских изданиях очерк-рассказ «Вездесущее», придавая ему большое значение.

Позднее заключительную его часть он ввел в один из рассказов из цикла «Сказки об Италии» (в сказку XXIV) [19].

Все эти примеры (а можно привести и другие) разного функционального использования одного текста представляют своеобразные случаи проявления творческой воли автора. Они не могут не учитываться в издательской практике.

То, что в основу цикла «Ямбы» — одного из самых значительных и известных в творчестве Блока — положены поэтом стихотворения, выделенные из черновиков ранней редакции «Возмездия», впервые установлено П. Медведевым. Объяснение этого факта находим и у Иванова-Разумника [20], а также в комментариях, напечатанных в собраниях сочинений Блока. До сих пор, однако, исследователей не привлекал вопрос о том, какова же была творческая необходимость возвращения поэта в 1918 г. к фрагментам давнего замысла 1910—1911 гг. к тому же как будто и не состоявшегося, оставленного. Не решен и вопрос о том, каким было место этих фрагментов в первоначальных планах поэмы. И то и другое существенно в осмыслении творческого развития Блока, в установлении единства его пути: не случайно же поэт, пережив события 1917 г., вернулся к своим ранним опытам, «восстанавливал» их?

Четыре стихотворения цикла «Ямбы» («О, как смеялись вы над нами...», «Когда мы встретились с тобой...», «Земное сердце стынет вновь...» и «В огне и холоде тревог...») написаны на основе фрагментов ранней — второй, как называл ее сам автор — редакции (первая состояла из набросков, была предварительным этапом работы). В «Ямбы» вошло также стихотворение «Да. Так диктует вдохновенье...», выделенное из поздней редакции поэмы. Об этом шла речь выше.

В рукописи, кроме названия «Возмездие», вторая редакция имеет подзаголовок: «Варшавская поэма». Произведение в этом раннем варианте является вполне законченным и цельным как в идейном, так и в художественном отношении. В его структуре выражены особенности лиро-эпического решения темы человека перед судом жизни. Это поэма-исповедь, исповедь поэта-сына о себе и об отце, исповедь «земного сердца» поэта, которое «стынет от холода и тревог» «страшного мира», но устремлено к «огню». И форма внутреннего монолога — повествование ведется от первого лица,— и посвящение поэмы сестре, и одухотворенный лиризм всех описаний (и Варшавы «под бременем» исторических «обид», и похорон отца) — все эти элементы внутреннего строя «варшавского» варианта отвечают его особенностям как лирического произведения по преимуществу. В последующей работе «варшавская поэма» стала основой III главы эпически разросшегося замысла, т. е. частью уже другого целого, поэтому «старые» компоненты сюжета обрели новые качества. В III главе остались отец и печальная процессия его похорон, осталась и Варшава — «Страна — под бременем обид,// Под игом наглого насилья...»,— но о них рассказывает уже поэт-повествователь, рассказывает от третьего лица. Он же ведет речь и о «сыне», новом персонаже, герое «милом и невинном» (III, 341): в черновой рукописи новой, третьей редакции поэмы, впервые появляется фрагмент о «почти несвязном» бреде сына над Вислой (III, 341—344). Поэма-исповедь преобразуется в поэму суда над жизнью. Позднейший замысел развивается по своим жанровым законам: лирическое повествование, раньше построенное как бы импульсивно, теперь сменяется иным движением — последовательным изложением цепи событий, следующих друг за другом, ведущих как бы к глубинам жизни. В таком сюжете и тема поэта обретает самостоятельность в лирических отступлениях: они становятся важной частью структуры заново создаваемого целого. Именно в этих принципиально новых частях были акцентированы, обобщены итоги жизни отца и переживаемое сыном. Так, рассказ об отце в третьей редакции поэт довершил лирическим отступлением о погубленном «гении» души (см. III, 339—340), а затем с не меньшей последовательностью связал его судьбу с общественным планом изображения: уже не только личности, но и «страны под бременем обид». Блок закончил работу над главой введением в текст отрывка «Когда ты загнан и забит...» из второй редакции. Прежний текст обрел новые смысловые проекции. Это не только исповедь, но прежде всего выражение убеждений поэта, его нравственно-философской позиции.

Какое же место в творческой работе Блока на разных этапах занимали фрагменты, ставшие основой «Ямбов»? Два стихотворения — «Земное сердце стынет вновь...» и «В огне и холоде тревог...» — были выделены Блоком из текста «последнего отрывка», которым заканчивалась вторая редакция — «Варшавская поэма». Первые исследователи поэмы неточно определили ее состав: без отрывка, завершающего текст. П. Медведев считал, что последняя во второй редакции — 14-я главка [21]. В ней, как и в предыдущей, ведется ироническая беседа

поэта с читателем о своей Музе. Облик ее мистифицирован поэтом: он смеется над незадачливым читателем, представляя свою Музу как «девушку из скромных», «плясунью». Главку заканчивает как бы чистосердечное саморазоблачение:

Читатель! Так и быть, признаюсь:
Повеселить тебя я рад,
Ища с плясуньями союза,
Но у меня — другая Муза,
А эту — взял я напрокат[22].

В составе четырнадцати главок «Варшавская поэма» была напечатана в разделе редакций и вариантов в двенадцатитомном собрании сочинений Блока, затем и в восьмитомном (III, 434—444).

Мог ли иронический разговор с читателем заканчивать раннюю редакцию поэмы: ведь он никак не связан с социально-философской темой «возмездия»? Эта роль отводилась Блоком тексту, который в черновике имеет рабочий заголовок «Последний отрывок», он объединен с остальной рукописью общей нумерацией [23]. Ни одно из этих авторских указаний не было учтено исследователями.

На ложный вывод при анализе рукописи наталкивает сугубо черновой характер «Последнего отрывка» (возможно, он и хранился отдельно), он отличен по бумаге, почерку, написан карандашом, не чернилами, как все предшествующее. Текст четырнадцати главок объединен их нумерацией и как бы завершается общим подсчетом стихов — в каждой из них и во всех вместе. Это более всего и сбивает с толку. В рабочей записи поэта с подсчетом стихов исследователи не оценили значимости одного из замечаний. Блок, пересчитав все четырнадцать глав и указав, в какой сколько стихов, сделал итоговую запись: «Пока 382 стиха» [24]. Где же то, что́ для автора и должно было стать продолжением — за пределами «пока» законченного? Завершающая часть рукописи сохранилась на нескольких листах с рабочей надписью «Последний отрывок» и с нумерацией, продолжающей те листы, на которых написаны главы с первой по четырнадцатую. Именно этот отрывок не только идейно, но и сюжетно заключает поэму в раннем варианте ее замысла. Действительно, здесь заканчивается «внешняя» линия сюжета, потому что поэма должна была содержать обращение к сестре: ведь это поэма-исповедь, посвященная сестре, а нигде в тексте развернутого обращения к ней нет — оно подразумевалось в самом конце как обращение к юности, к будущему. Эпилог задуман поэтом в качестве высшей точки развития лирической темы, в нем сосредоточена мысль об «огне», устремленности мечты к «презренью», «гневу», «мятежу» против «холода» и «стужи» жизни. Вне этого идея «возмездия» была бы неполной.

Вот он, этот эпилог, действительно завершающий ранний замысел, содержащий тему «революционных предчувствий» поэта. Приводим его с вариантами черновой правки:

Последний отрывок

Земное сердце стынет вновь [а].
Но стужу я встречаю грудью.
Храню я к людям на безлюдьи
Неразделенную любовь.
А за любовью — зреет гнев [б],
Растет [в] презренье — и желанье
Читать в глазах мужей и дев
Печать забвенья, иль избранья [г].
Пускай зовут: забудь, поэт [д],
Вернись в прекрасные уюты [е].
Нет! Лучше сгинуть в стуже лютой! [ж]
Уюта — нет! Покоя — нет!

[а] 1. Вот — мрак, и страх, и холод вновь.
2. Год минул. сердце стынет вновь.

[б] 1. Но с ней — с любовью — зреет гнев
2. За той любовью — зреет гнев

[в] *Стих начат*: 1. Все 2. И все

[г] *Далее начато*: Сей суд — не мой. Но счастья нет
Ни ⟨?⟩

[д] *Перед стихом — ряд набросков (не приводятся), затем варианты*:
1. Они зовут: забудь, поэт 2. Меня зовут: забудь, поэт,

[е] Приди в прекрасные
уюты

[ж] *Далее*: Чем на мирный свет

В огне и холоде тревог —
Так жизнь пройдет. Мы вспомним оба[з].
Что встретиться судил нам бог
В час искупительный у гроба[и].
Я верю: новый век взойдет[к]
И там — в стране больной и сонной:
Не даром бедный свой народ
Коперник славил оскорбленный[л].
И мы, как он, оскорблены[м]
В своих сердцах, в своих певучих,
И нам священный меч войны[н]
Сверкает в неизбежных тучах[о].
Пусть день далек — мечты все те ж,
Презренье зреет гневом,
А[п] зрелость гнева — есть мятеж.
Где жизнь и смерть, как праздный франт,
Разыграны в тоске гостиной,—
Там — пусть вонзится, Ангелина,
Возмездья черный бриллиант![25]

Как говорилось выше, многое из «варшавского» варианта в преобразованном виде вошло позднее в эпический замысел. Этого, видимо, не могло произойти с эпилогом: ведь он заключал кульминацию лирической исповеди поэта-брата перед сестрой, эта часть — субъективно-лирическая — должна была «выпасть» из дальнейшей работы над замыслом иной устремленности, иных пропорций. Но в силу того, что «последний отрывок», эпилог поэмы, воплотил нечто очень важное для поэта в его отношении к миру, он не мог остаться бесследным: он должен был обрести самостоятельность, что и произошло в 1914 г. Тогда Блок выделил из рукописей ранней редакции ряд фрагментов, они стали отдельными лирическими стихотворениями. Характерно, что в тетради автографов поэт записывает их с двойными датами: «Земное сердце стынет вновь...» с датой «1911—6 февраля 1914», а другое, также образовавшееся из эпилога — «В огне и холоде тревог...» с датой «1910—6 февраля 1914». Среди записанных в тетрадь стихотворений оказываются и еще два фрагмента «Варшавской поэмы»: «О, как смеялись вы над нами...» с датой — «Январь 1911» и «Когда мы встретились с тобой...» с датой «1910—6 февраля 1914». Было ли это выражением кризисного состояния в работе над поэмой, которая именно как большое эпическое целое еще не удавалась Блоку? Только так этот факт обычно истолковывался исследователями. Однако точная оценка выделенного поэтом — все это ограниченные части раннего, лирического по своему характеру замысла — не дает оснований для такого вывода. Фактически уже осенью 1911 г., работая над разрастающимся эпическим сюжетом поэмы, Блок исключил их: в рукописи-черновике III главы они отсутствуют, лирические формы воплощения тех больших мыслей, которые они содержали, отодвигаются поэтом, он ищет иного. Но уже созданное имеет для Блока несомненную ценность, фрагменты из ранней поэмы появляются в печати.

В начале 1915 г. в составе небольшого цикла из четырех стихотворений, озаглавленного «Твердость», в «Русском слове» 22 марта / 4 апреля появились стихотворения «Земное сердце стынет вновь...» и «О, как смеялись вы над нами...», также выделенное из ранней редакции поэмы. Вскоре Блок публикует отдельно и стихотворение «В огне и холоде тревог...» («Биржевые ведомости», 26 апреля / 9 мая 1915 г., утренний выпуск) под названием «Моей сестре».

[з] Нам суждено в огне тревог
1. Сжечь жизнь. Мы не забудем оба,
2. В огне и холоде тревог —
Так жизнь пройдет. Мы вспомним оба
3. В огне и холоде тревог —
Так жизнь пройдет. Мы не забудем оба,

[и] 1. Что встретились с тобой у гроба.
2. Что нам судил недаром Рок
С тобою встретиться у гроба.

[к] Я верю: новый день взойдет

[л] 1. И не напрасно свой народ
Коперник оскорбленный славил —
2. Не даром славил свой народ
Коперник, оскорбленный гений.

[м] *Перед стихом вычеркнуто*: Я верю в ненависть твою

[н] 1. И каждый мавзолей чугунный
2. И неизбежный меч войны

[о] 1. *Стих начат*: Зве⟨нит⟩
2. Сверкает нам в закатных тучах.

[п] И

В цикл «Твердость» поэт включил, кроме двух отрывков из «Варшавской поэмы», еще стихотворения «И страшно, и легко, и больно...» и «О, я хочу безумно жить....». Все четыре стихотворения позднее войдут в цикл «Ямбы».

В содержании цикла «Твердость», его сюжетном движении раскрывается внутренний мир поэта. Его «земное сердце» обнимает все в окружающем, всю полноту бытия, оттого ему «и страшно, и легко, и больно» (III, 92). Душа поэта полна непокоя, в ней «растет презренье», «зреет гнев», «бродят светы» (III, 95, 90). Этот мотив — сквозной в цикле — так или иначе варьируется в каждом из стихотворений. В построении цикла присутствует контрастность. Если второе в цикле стихотворение «О, я хочу безумно жить...» — это гимн жизни, то следующее за ним — «Земное сердце стынет вновь...» — говорит о «стуже» жизни в «страшном мире». Заключает цикл стихотворение «О, как смеялись вы над нами...» о гражданском долге поэта: он призван «громко обличать», «храня священную любовь, твердя старинные обеты» (III, 90). Своеобразие цикла в том, что это — исповедь. В «мужающих ритмах» (ведь не случайно же название «Твердость») поэт рассказывает «о себе», о своей причастности ко всеобщему. Цикл несомненно являлся как бы первоначальной редакцией будущих «Ямбов», однако в более объемном целом поэт расскажет уже не только о себе, но и о времени. Сюжет исповеди останется в новом цикле, но будет — и в этом главное — существенно обогащен другим — «о буре этих лет» (III, 92). Двухсоставность поэтического повествования очень характерно скажется в доработке стихотворения «И страшно, и легко, и больно...»: оно начнется новым четверостишием — о внешнем мире, источнике болей и радостей поэта: «Так. Буря этих лет прошла.//Мужик поплелся бороздою...» (III, 92). Принципиально новым в цикле «Ямбы» стало объединение исповеди поэта со стихотворениями социальной тематики: «Я ухо приложил к земле...», «Тропами тайными, ночными...», «В голодной и больной неволе...». Сюжет цикла благодаря новой тематической линии приобретает своеобразную эпичность.

Важно подчеркнуть остроту социальной тематики стихотворений, связанных в цикле «Ямбы» с рассказом о «времени». И стихотворение «Я ухо приложил к земле...», и «Тропами тайными, ночными...» написаны в 1907 г., являясь откликами на события первой русской революции. Наполненные до боли «хриплым стоном» души (III, 86), они говорят о зреющем гневе протеста, «вспоенном» кровью погибших. Произведения траурной, но мужественной патетики, они воодушевлены идеей исторического возмездия всему «страшному миру». Показательно, что стихотворение «Тропами тайными, ночными...», своеобразная эпитафия борцам первой русской революции, оставалось многие годы неопубликованным: Блок впервые печатает его в составе «Ямбов», до революции поэт его не публиковал, видимо предполагая неизбежность цензурного запрещения. Объединив в 1918 г. в «Ямбах» в единое целое свои дореволюционные стихи разных лет — 1907, 1909, 1910, 1911 и 1914, поэт исповедовался в своем «пути среди революций, верном пути».

Из двенадцати стихотворений «Ямбов» пять связаны с работой над «Возмездием», выделены из поэмы. В этих стихах присутствуют две темы: «огня» души поэта, его призывов к «мятежу», к будущему революционному возмездию и — поэта и поэзии («О, как смеялись вы над нами...», «Да. Так диктует вдохновенье..»). И то и другое было важным в раннем замысле поэмы. И это-то, самое ценное в нем, Блок как бы возродил в новой поэтической цельности. Цикл унаследовал от раннего замысла очень существенные элементы, именно его «начала и концы», а не те или иные отдельные фрагменты. Это следует отнести и к социальной устремленности замысла поэмы. Во время работы над поэмой Блок писал матери: «...Я яростно ненавижу русское правительство („Новое время"), и поэма моя этим пропитана»[26]. «Ямбы» воссоздают отношение поэта к «холоду» жизни, к тому, что вызывает в ней призыв к мести, мятежу. Не случайно концовку цикла составили стихотворения, несущие идею «революционных предчувствий»,— они родились из текста «последнего отрывка», эпилога раннего замысла поэмы.

Следует отметить и родственность посвящения поэмы и цикла. Только если поэма посвящена «сужденной судьбою» сестре — Ангелине Блок, то цикл, столь же сокровенно,— ее памяти. Конечно, возможность такого посвящения связана с глубокой преемственностью двух замыслов. В цикле в новом виде поэт как бы возродил главное в прежнем замысле — его обращенность к будущему. Энергия философских и социальных раздумий Блока над жизнью и призванием человека спустя десятилетие осталась живой.

Замысел поэмы «Возмездие» оказался в плодотворном русле многих творческих «начал» — исканий и свершений — Блока. Они вызывались новыми закономерностями, новой эпохой его жизни, когда поэт мог сказать о себе: «...И с миром утвердилась связь».

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] К. Чуковский. Блок как человек и поэт.— «Жизнь искусства», 1923, № 46—48.
[2] Конст. Федин. Горький среди нас. М., 1968, с. 39—40.
[3] П. Антокольский. Пути поэтов. Очерки. М., 1965, с. 275—276.
[4] И.-П. Эккерман. Разговоры о Гете в последние годы его жизни. М., 1981, с. 343.
[5] За многие годы публикаций произведений Блока можно привести лишь несколько примеров: Александр Блок. Избранное. М., 1954, с. 126—127; А. Блок. Стихотворения и поэмы. М., 1968, с. 155; А. Блок. «И с миром утвердилась связь». Лирика и поэмы. М., 1978; А. Блок. Лирика. Тридцать лирических циклов и разные стихотворения. М., 1980, с. 358.
[6] ИРЛИ, ф. 654, оп. 1, ед. хр. 139, л. 63 об., авт. нумер.
[7] Там же, ф. 654, оп. 1, ед. хр. 8, л. 86—88.
[8] Там же, л. 175.
[9] Там же, ф. 654, оп. 1, ед. хр. 9.
[10] Приведем несколько примеров. Те или иные извлечения из поэмы, части или отрывки из нее напечатаны в изданиях избранных произведений А. Блока: «Избранное». М., 1954; «Избранные стихи и поэмы». М., 1955; «Стихи и поэмы». М., 1967, 1968; «Избранное». М., 1973; «Стихи и поэмы. Избранное». Свердловск, 1976; «Стихи и поэмы». Минск, 1977.
[11] ИРЛИ, ф. 654, оп. 1, ед. хр. 8, л. 51 и ед. хр. 9.
[12] См. его в автографе второй редакции — там же, ед. хр. 139, л. 20—22 авт. нумерации.
[13] Там же, ед. хр. 8, л. 28—29.
[14] В. В. Гиппиус. От Пушкина до Блока. М.—Л., 1966, с. 340.
[15] ГБЛ, ф. 261, к. 13, ед. хр. 2, л. 119.
[16] ИРЛИ, ф. 654, оп. 1, ед. хр. 8, л. 114—117.
[17] Там же, л. 114—115.
[18] См. об этом: Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. в 15 томах, т. 1. Л., 1981, с. 595.
[19] См. об этом: М. Горький. Полн. собр. соч. Худож. произв. в 25 томах, т. 12. М., 1971, с. 592.
[20] ЦГАЛИ, ф. 1782, оп. 1, ед. хр. 2, л. 542.
[21] П. Медведев. Драмы и поэмы Ал. Блока. Из истории их создания. Л., 1928, с. 213.
[22] См. там же, с. 211.
[23] ИРЛИ, ф. 654, оп. 1, ед. хр. 139, л. 33 авт. нумер. Он приведен в кн. Медведева «Драмы и поэмы Ал. Блока...», с. 213.
[24] См. там же.
[25] ИРЛИ, ф. 654, оп. 1, ед. хр. 139, л. 33—36.
[26] «Письма к родным», I, с. 122.

К ТВОРЧЕСКОЙ ИСТОРИИ СТИХОТВОРЕНИЯ БЛОКА «ПЕРЕД СУДОМ»

(ИЗ ПЕРЕПИСКИ Р. В. ИВАНОВА-РАЗУМНИКА И Е. П. ИВАНОВА)

Предисловие, публикация и комментарии Н. В. Скворцовой

Стихотворение «Перед судом» было написано 11 октября 1915 г., впервые опубликовано в январском номере журнала «Русская мысль» за 1916 г., а в 1920 г. включено в сборник «Седое утро». 28 июня 1916 г. Блок отметил в записной книжке: «Цикл „Кармен" должен заканчиваться стихотворением „Что же ты потупилась..."» (ЗК, 309). Однако впоследствии он отказался от своего намерения и, подготавливая третий том лирики, который вышел в свет уже после его смерти, в 1921 г., поместил «Перед судом» в раздел «Разные стихотворения», где оно с тех пор печатается в соответствии с последней волей поэта.

В обобщающих работах советских блоковедов в связи с этим стихотворением высказан ряд ценных наблюдений. Биографические аспекты стихотворения полнее всего рассмотрены книге А. Е. Горелова «Гроза над соловьиным садом» (Л., 1973). На тематические переклички с произведениями русской классической литературы обращали внимание З. Г. Минц [1] и И. Т. Крук [2]. Но основное внимание литературоведов было обращено на вопрос об адресате стихотворения «Перед судом».

Крайне противоположные мнения находим у комментаторов собраний сочинений Блока. В. Н. Орлов считает, что стихотворение «обращено, безусловно, к Л. Д. Блок» (III, 552). С. А. Небольсин, основываясь на желании Блока закончить этим стихотворением цикл «Кармен», посвященный Л. А. Дельмас, считает адресатом стихотворения ее [3]. Существует также представление о контаминации двух женских образов в лице героини этого произведения [4].

Спор об адресате стихотворения «Перед судом» в литературе о Блоке рассмотрен А. Е. Гореловым (см. указ. соч.), который впервые процитировал отрывки из письма Иванова-Разумника Е. П. Иванову от 2 декабря 1940 г. (по копии, хранящейся в архиве Л. А. Дельмас).

Как сейчас стало известно, в декабре 1940 г. Иванов-Разумник и Е. П. Иванов обменялись несколькими письмами, основной темой которых был вопрос об адресате стихотворения «Перед судом». Поскольку оба корреспондента более подробно, чем все последующие авторы, обосновывали свое мнение, а кроме того, затрагивали иные аспекты стихотворения, представляется целесообразным опубликовать их письма.

Три письма Иванова-Разумника и два черновика к письму Е. П. Иванова были переданы семьей Е. П. Иванова известному исследователю творчества Блока Д. Е. Максимову.

Переписка Иванова-Разумника и Е. П. Иванова интересна тем, что это — полемика о стихотворении «Перед судом» двух современников Блока, близко знавших и любивших поэта.

Евгений Павлович Иванов был «действительным» (ЗК, 309), самым близким другом Блока с юных лет и до самой его смерти [5]. Человек религиозно-мистического мироощущения, он стал близок символистскому кругу, хотя и не вел постоянной литературной работы. Андрей Белый в своих воспоминаниях о Блоке писал: «Среди символистов встречались и личности, не имевшие отношения к литературному символизму, не написавшие ни одной строчки или позднее писавшие под иными лозунгами: Сергей Соловьев, Вольфинг [6], Н. К. Метнер, А. С. Петровский, Е. П. Иванов, А. Н. Шмидт и др. Именно они-то и выносили в личных исканиях всю подоплеку позднейшего символизма» [7].

Е. П. Иванов обладал способностью проникать в самую глубину переживаний и творческих устремлений Блока. Не написав о Блоке ни одной критической статьи, Е. П. Иванов оставил очень интересные, хотя и незаконченные воспоминания и записи о нем [8]. О Разумнике Васильевиче Иванове (Иванове-Разумнике) и его отношениях с Блоком см. в наст. томе статью и публикацию А. В. Лаврова (кн. 2, с. 366—391).

Смерть Блока соединила Иванова-Разумника и Е. П. Иванова, ранее далеких друг от друга.

В 1940 г. Евгений Павлович служил кассиром в Музыкальной школе при Ленинградской консерватории. Эта работа, по устным воспоминаниям его племянницы, профессора Ленинградской консерватории Вероники Петровны Ивановой, во-первых, давала ему ту сумму денег, выше которой он по своим принципам не считал возможным зарабатывать, во-вторых, оставляла время для той постоянной внутренней работы, которой он был всегда занят, и, в-третьих, давала возможность слушать любимые им оперы в студии консерватории.

Доцент Ленинградской консерватории пианистка И. Д. Ханцин в своих неопубликованных воспоминаниях пишет: «В 1940 г. я преподавала музыку в Музыкальной школе при консерватории. Однажды, подойдя к кассе, я заглянула в окошечко. Рыжебородый кассир поднял на меня глаза, и я поразилась тому необыкновенному свету, добру и силе духа, которые буквально хлынули на меня из этих глаз. Казалось, что этот человек не может быть занят такой прозаической работой, как выдача денег, что сфера его деятельности должна быть непременно связана с углубленной духовной работой и каким-либо видом художественного творчества. Этот кассир так поразил меня, что я рассказала о нем своему близкому знакомому — Разумнику Васильевичу Иванову. „Да ведь это Женя Иванов“,— сказал он мне. Я сразу поняла, о ком идет речь: о Жене Иванове, замечательном человеке, о его многолетних религиозно-философских исканиях, трудной личной судьбе мне рассказывал Владимир Алексеевич Пяст, с которым я была дружна. Кроме того, все, кто любил стихи Блока и чтил его имя, уже были знакомы с его дневниками и записными книжками. Ближе узнав Евгения Павловича, я поняла, что с Разумником Васильевичем их связывала теплая дружба, которой не мешали разница в миропонимании и, можно сказать, способе жизни (рационалистическое мировосприятие, знание положительных и негативных сторон жизни, жизненная цепкость Разумника Васильевича, с одной стороны, а с другой — религиозно-романтическое, иррациональное мировосприятие, простодушие, доверчивость и абсолютная житейская неприспособленность Евгения Павловича). Основой этой дружбы была память об Александре Александровиче Блоке и общий круг знакомых, связанный с этим именем. Оба они, а также очень близкий к ним Владимир Алексеевич Пяст были чрезвычайно сдержанны в разговорах о Блоке с посторонними людьми, что, несомненно, объяснялось их уважением к памяти поэта. Особенно молчалив был в этом отношении Пяст. Но в их обществе эта тема была постоянной, и они часто спорили между собой».

Таким продолжением устного спора между Ивановым-Разумником и Е. П. Ивановым стала их декабрьская переписка 1940 г. об адресате стихотворения «Перед судом». В этом споре Е. П. Иванов высказал мнение, что стихотворение более отражает образ Л. Д. Блок, чем Л. А. Дельмас. Оспаривая это, Иванов-Разумник хронологически и тематически сближает «Перед судом» со всеми стихотворениями, адресованными Л. А. Дельмас, а также пишет о решающей записи Блока от 28 июля 1916 г. (о принадлежности стихотворения циклу «Кармен»). Кроме того, Иванов-Разумник не находит ничего общего между героиней «Перед судом» и Л. Д. Блок.

Копию своего письма Е. П. Иванову от 2 декабря 1940 г. Иванов-Разумник послал Л. А. Дельмас, и она во время личной встречи с ним подтвердила все его предположения (см. письмо Иванова-Разумника от 6 декабря 1940 г.). Очевидно, говоря о стихотворении «Перед судом», Л. А. Дельмас показывала Иванову-Разумнику подаренный ей Блоком автограф этого стихотворения с посвящением «Л. Д.» и с разночтением по сравнению с каноническим текстом. Текст этого разночтения очень знаменателен: вместо «Эта прядь — такая золотая...» в автографе были слова: «Ночь кудрей — такая золотая...», вызывающие ассоциацию со стихотворением «Есть демон утра. Дымно светел он...» [9].

В настоящее время комментариями к циклу «Кармен» служат не только примечания в собраниях сочинений, но и опубликованные письма поэта к Л. А. Дельмас [10], ее краткие воспоминания, где приведена, в частности, знаменательная запись Блока: «Господи, принимаю покорно и эту любовь, вторую и последнюю — для нее и для меня,— которую Ты даешь» [11].

Казалось бы, нет даже повода для спора: Л. А. Дельмас не сомневается в том, что стихотворение обращено к ней. Она, по свидетельству ее сестры Е. А. Фащевской, была этим стихотворением обижена до слез. С другой стороны, Любовь Дмитриевна с негодованием отвергает предположение о том, что стихотворение может быть адресовано ей [12]. Блок предполагает этим стихотворением закончить цикл «Кармен». И тем не менее спор.

В ответном письме Е. П. Иванов очень убедительно расширяет биографическую основу стихотворения. Он не отрицает, что импульсом к созданию этого стихотворения послужили

отношения Блока с Л. А. Дельмас, как они складывались в конце 1915 г. Но, приводя биографические факты более широко, чем Иванов-Разумник, Е. П. Иванов стремится доказать, что в стихотворении в большей степени присутствует «сфера» Любови Дмитриевны Блок. Поскольку в личной жизни Блока Е. П. Иванову было открыто значительно больше, чем Иванову-Разумнику, то он очень убедительно показывает контаминацию в стихотворении двух женских образов, которые в период создания стихотворения постоянно присутствовали в сознании поэта. Недаром сорок четвертая заключительная записная книжка 1914 г. заканчивается словами: «Люба вдали. Любовь Александровна моя. Люба» (ЗК, 252).

Нет ни одной строфы стихотворения «Перед судом», которая не включала бы в себя ту и другую Любу. Даже строфа:

Вместе ведь по краю, было время,
Нас водила пагубная страсть.
Мы хотели вместе сбросить бремя
И лететь, чтобы потом упасть,

— отмечает как отношения с Л. А. Дельмас, так и отношения с Л. Д. Блок, отраженные в позднейшей записи Блока: «Едва моя невеста стала моей женой, лиловые миры первой революции захватили нас и вовлекли в водоворот. Я первый, как давно тайно хотевший гибели, вовлекся в серый пурпур, серебряные звезды, перламутры и аметисты метели. За мной последовала моя жена, для которой этот переход (от тяжелого к легкому, от недозволенного к дозволенному) был мучителен, труднее, чем мне. За миновавшей вьюгой открылась железная пустота дня, продолжавшего, однако, грозить новой вьюгой, таить в себе обещания ее. Таковы были междуреволюционные годы, утомившие и истрепавшие душу и тело» (VII, 300—301).

Но Е. П. Иванов не только доказывал, что в стихотворении «Перед судом» присутствует образ Л. Д. Блок, он сделал шаг к более расширительному пониманию стихотворения и показал путь к этому от непосредственного биографического факта: «...пережитый момент от признания (Л. А. Дельмас.— *Н. С.*) был так глубок, что вызвал „приближение звука", понятного и знакомого, разбудил „мои колокола" и охватил всю жизнь самого автора с пережитым им».

Не игнорируя биографических фактов, а, наоборот, привлекая их более широко, Е. П. Иванов утверждал несводимость художественного образа к точным жизненным параллелям, невозможность прямых биографических проекций при анализе художественного целого. Е. П. Иванов не был литературоведом, но он, как справедливо отметил Д. Е. Максимов, «умел входить в поэтический мир Блока свободнее, горячее и глубже, чем многие другие, даже ближайшие соратники поэта» [13].

Приношу глубокую благодарность Дмитрию Евгеньевичу Максимову за предоставление для публикации автографов писем Иванова-Разумника к Е. П. Иванову и двух черновиков письма Е. П. Иванова, полученных им от семьи Е. П. Иванова, а также за ценные советы.

Благодарю И. Д. Ханцин, В. П. Иванову, И. А. Фащевскую за сообщенные сведения.

Письмо Е. П. Иванова публикуется по автографу (ИРЛИ, ф. 79, архив Иванова-Разумника, оп. 1, ед. хр. 267, л. 4—6). Выдержки из черновиков этого письма приводятся в примечаниях к публикации.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] З. Г. Минц. Лирика Александра Блока, вып. 4. Тарту, 1975, с. 30.
[2] И. Т. Крук. Поэзия Александра Блока. М., 1970, с. 113—114.
[3] А. А. Блок. Собр. соч. в 6 томах, т. 3. М., 1971, с. 340.
[4] См.: А. Е. Горелов. Гроза над соловьиным садом. Л., 1973; Л. К. Долгополов. Александр Блок. Личность. Творчество. Л., 1980, с. 173—180; В. П. Енишерлов. Александр Блок. Штрихи судьбы. М., 1980, с. 118—133; В. Емельянова, А. Стюнекова. «Ваш голос, дорогой навеки...» — В кн.: А. Блок и современность. М., 1981, с. 265—285.
[5] Подробно мировоззрение Е. П. Иванова и его взаимоотношения с Блоком охарактеризованы в статье: Д. Е. Максимов. Александр Блок и Евгений Иванов.— «Блоковский сб.», 1, с. 344—361.
[6] Псевдоним Э. К. Метнера.
[7] «Записки мечтателей», 1922, № 6, с. 14.

[8] «Воспоминания и записки Евгения Иванова об Александре Блоке». Публ. Э. П. Гомберг и Д. Е. Максимова.— «Блоковский сб.», 1, с. 362—424.
[9] Сведения об этом автографе содержатся в кн.: А. Е. Горелов. Гроза над соловьиным садом, с. 584.
[10] VIII, 433; «Письма А. А. Блока к Л. А. Дельмас» (Публ., подготовка текста и комментарии И. А. Фащевской).— «Звезда», 1970, № 11, с. 180—201.
[11] Л. А. Дельмас. «Мой голос для тебя...» Воспоминания.— «Аврора», 1971, с. 69.
[12] См. воспоминания В. П. Веригиной «Памяти Любови Дмитриевны Менделеевой-Блок».— «Звезда», 1980, № 10, с. 171—172.
[13] Д. Е. Максимов. Александр Блок и Евгений Иванов, с. 361.

Р. В. ИВАНОВ-РАЗУМНИК — Е. П. ИВАНОВУ

2 декабря 1940. Пушкин. Ляминский пер., 4

Дорогой Евгений Павлович,

вчера, вернувшись домой от Вас, хотя было уже очень поздно (12 часов ночи),— сразу взялся за свои манускрипты, чтобы решить окончательно наш спор: к «Дмитриевне» или «Александровне» относится стихотв〈орение〉 «Перед судом». Попутно перечитал все двадцать одно стихотворение, связанное с «Кармен», и сообщаю Вам из книги моей «История стихотворений Александра Блока» (которая, вероятно, никогда не увидит света) [1] неизвестные даже и Вам сведения об этих стихотворениях.

Во-первых — это десять стихотворений, вошедшие в канонический текст «Кармен» (III, 159—170) [2]. Напоминаю Вам даты всех этих мартовских десяти стихотворений 1914 года: 4—III, 24, 24, 18, 26, 25, 30, 28, 28, 31—III. Таков порядок в каноническом тексте.

Еще два стихотворения, написанные тогда же, А. А. не включил в цикл «Кармен», хотя они и относятся к Л. А. Дельмас. Это, во-первых — «Петербургские сумерки снежные» (III, 152—15 марта) и во-вторых — «Я гляжу на тебя» (III, 41—22 марта). Первое из них в рукописи датировано так: «15—III—14 V 1914» и носит посвящение: «Л. А. Д.» — Второе, которое А. А. позднее ввел в цикл «Черная кровь», было в «Седом утре» напечатано как отдельное стихотворение [3], а в рукописи было датировано: «Осень 1909—22 III 1914». Написанное в разгар творчества «Кармен», стихотворение это явно относится к Л. А. Дельмас [4].

Далее идет (тринадцатое) стихотворение: «Смычок запел» (III, 153), написанное 14 V того же «карменского» года; в рукописи датировано: «27 XII 1908 — 14 V 1914» — т. е. последняя дата та же, что и в стихотворении «Петербургские сумерки» (см. выше). Это позволяет — и по дате, и по содержанию — присоединить его к тому же ряду «карменских» стихов.

Четырнадцатое стихотворение — «Не было и нет» (IV, 208) [5]. Оно датировано «28 ноября 1908—16 мая 1914». Первая дата почти одновременна с циклом «Заклятие огнем и мраком и пляской метелей» [6], так что черновик 1908 года несомненно относится к Н. Н. Волоховой. Через шесть лет запись на черновом листке: «Допис. 16 мая 1914», т. е. через день после предыдущего стихотворения («Смычок запел...»), и несомненно относится к Л. А. Дельмас.

Пятнадцатое стихотворение — «Я помню нежность Ваших плеч» (IV, 208); дата — 1 июля 1914. По теме оно связано с предыдущим, а черновик его находится в Записной книжке № 42, целиком посвященной Л. А. Дельмас; полный черновик так и носит посвящение: «Л. А.». Привожу интереснейший черновик, причем ставлю в квадратные скобки все, зачеркнутое А〈лександром〉 А〈лександровичем〉.

[Да, дней моих печален свиток.]
[Ты опечалилась, прочтя
Печальной жизни длинный свиток
В моих глазах.]
Печален жизни длинный свиток,
Все в душу мне глядится ночь.
Дай красоты твоей избыток
Мне, юга пламенная дочь.
Благоуханными перстами
[Закрой глаза мои]
[Твой долгий взгляд]
[Был вечер. За окном вагона

Бежали дачи и кусты.]
[Если б сердце остыло]
Звал, заклинал я, погибая,
[И Вы явились мне.]
[Я вызвал Вас из бури звуков
Там, в вихре музыки и света]
[Над бездной]
[Я встретил Вас]
Из вихря музыки и света
Взор, полный долгого привета?
Нет, не забыл я Ваших плеч,
Застенчивость и зелень взоров,
Среди веселых разговоров
Порой замедленную речь.
Волос
[Грудного голоса всегда
В себя] влюбляющие звуки,
Сирени темной в день разлуки
Пятиконечная звезда.
Печален жизни длинный свиток [7].

Из этого черновика и получилось стихотворение «Я помню нежность Ваших плеч».

Шестнадцатое стихотворение — «Та жизнь прошла» и семнадцатое — «Была ты всех ярче» — написаны в один и тот же день, 31 августа 1914 [8]. Оба эти стихотворения тематически заканчивают начатое в стихотворениях «Петербургские сумерки» и «Смычок запел». «Посвященность» всех этих стихотворений Л. А. Дельмас не возбуждает сомнений. В Записной книжке № 44 (август 1914): «Ночью я пишу прощальное письмо к ней» (16—VIII); «Утром я переписываю письмо. *Посылаю его и розы*» (17—VIII) [9].

Теперь хронологически идет то стихотворение, которое Вы ошибочно считаете обращенным к Л. Д. Блок: восемнадцатое стихотворение — «Перед судом» (III, 110), датированное 11 октября 1915. В черновике после третьей строфы идет четвертая, зачеркнутая и не вошедшая в печатный текст, однако объясняющая заглавие стихотворения:

Женщина, прекрасная когда-то,
Слабая, замучила семья,
Пала низко, мало виновата,—
Так и судьи скажут, так и я.

Уже одно это показывает, что к Л〈юбови〉 Д〈митриевне〉 это не имеет никакого отношения: «замучила семья», которой у Л〈юбови〉 Д〈митриевны〉 никогда не бывало. Недаром А〈лександра〉 А〈ндреевна〉 в своих письмах Марии Павловне называет Любу «бродягой» («не странница, а бродяга»), «бездомной» [10]. Но вопрос решает запись А〈лександра〉 А〈лександровича〉 в Записной книжке № 48, в которой читаем: «Цикл „Кармен“ должен заканчиваться стихотворением «Что же ты потупилась» (запись от 28 июня 1916 г.; 11 октября — окончательный текст стихотворения) [11].

Девятнадцатое стихотворение: «Не могу тебя не звать» (IV, 207). Даты: «30 ноября 1908 — 25 декабря 1914—1918». Первоначальная редакция черновика 1908 г. несомненно относилась к Н. Н. Волоховой и очень разнится от канонического текста. Вот черновик:

Не могу я не мечтать,
Не могу тебя не звать,
Счастие мое!
Сладко, сладко повторять
Имя нежное твое!
Вся ты — буря и весна,
Вся ты — мной одним пьяна,
Вся ты — мне обречена,
Не беги же прочь!
Хочешь дня,—
Приходит ночь,
Не избегнешь ты меня!
Черно-синяя коса,
Расплетись,
В эти жадные глаза
Заглядись,
Долгожданная гроза —
Разразись! [12]

Через шесть лет после первого черновика 1908 года (как это было и с одновременно написанным стихотворением «Не было и нет» — см. выше) Александр Александрович привел его в вид, близкий к каноническому (дата: «25 XII 1914» и над ней надпись: «дописано!»), но «черно-синюю косу» Н. Н. Волоховой переделал в «золотистую косу» Л. А. Дельмас. Окончательно дописано через

четыре года, с надписью Александра Александровича в рукописи: «и еще: 1918!» *.

Дальше идет стихотворение, «посвященность» которого Л. А. Дельмас для меня пока под сомнением: «Превратила все в шутку сначала» (III, 154). Дата — 29 февраля 1916 г. Отношу его к Любови Александровне по методу исключения: не знаю никого другого, к кому оно могло бы относиться в эту эпоху. Решить может сама Любовь Александровна.— Это — двадцатое стихотворение.

И, наконец, двадцать первое: «Едва в глубоких снах» (IV, 213), датированное 23—24 октября 1920 и посвященное «Л. А. Д.» Оно сомнений не вызывает.

Ко всему этому прибавить надо и поэму «Соловьиный сад» (1914—1915), идущую непосредственно вслед за «Кармен» и посвященную на именном экземпляре Л. А. Дельмас — «той, которая поет в соловьином саду» [13].

Вот Вам, дорогой Евгений Павлович; не для оглашения, а для сведения сводка всего, что мне известно о «Кармен» и ее продолжении. Если Бог грехам потерпит, собираюсь в начале будущего года развить эту сводку в большую статью [14]. А завтра собираюсь побывать у Л. А. Дельмас, с которой уже оговорился по телефону.

От всех нас всей Вашей семье — сердечный привет.

Любящий Вас Р. Иванов.

[1] О судьбе рукописи Иванова-Разумника «История стихотворений Александра Блока» см. во вступительной статье А. В. Лаврова к переписке Блока с Р. В. Ивановым-Разумником (наст. том, кн. 2, с. 382—384). Рукопись находится в ЦГАЛИ (ф. 1782, оп. 1, ед. хр. 2). Дальнейшие ссылки будут даны на листы этой рукописи.

[2] Здесь и далее Иванов-Разумник указывает тома и страницы издания: А. Блок. Собр. соч. в 12 томах. Л., 1932—1936.

[3] Иванов-Разумник ошибочно считал, что стихи сборника «Седое утро» (Пб., 1920) были позднее разнесены Блоком по разделам третьего тома стихотворений, который вышел в свет уже после его смерти (1921). В действительности подготовка третьего тома была закончена Блоком в августе 1918 г. Тогда же в цикл «Черная кровь» было введено стихотворение «Я гляжу на тебя». См.: И. Правдина. История формирования цикла «Страшный мир».— В кн.: «В мире Блока». М., 1980, с. 231, 232, 239.

[4] Сама Л. А. Дельмас переадресовала это стихотворение жене поэта (см.: В. П. Енишерлов. Александр Блок. Штрихи судьбы. М., 1980, с. 128).

[5] «Не было и нет во всей подлунной...» («Королевна»).

[6] Цикл из одиннадцати стихотворений «Заклятие огнем и мраком и пляской метели» был опубликован в журнале «Весы», 1908, № 3, с. 7—20.

[7] Приведенный в письме черновик находится в ИРЛИ, ф. 654, оп. 1, ед. хр. 354, л. 4 об.—7.

[8] Комментируя эти два стихотворения, В. Н. Орлов отмечает, что их первоначальные наброски относятся к 1910 г. (III, 575).

[9] ЗК, 237.

[10] Мария Павловна *Иванова* (1873—1941), сестра Е. П. Иванова, была дружна с матерью Блока Александрой Андреевной Кублицкой-Пиоттух. Письма Александры Андреевны к Марии Павловне находятся в ЦГАЛИ (фрагменты из них опубл. в кн. 3 наст. тома).

[11] ЗК, 309. Л. К. Долгополов пишет о том, что при включении стихотворения в цикл «скрытые мотивы цикла выходили наружу, становились явными. Оформлялся вывод, „результат", хотя по характеру содержания он оказывался противоположным тому, на что поэт, как видно, рассчитывал. Цикл „Кармен" благодаря стихотворению „Перед судом" как бы включался в общий поток блоковского творчества 1910-х годов» (Л. К. Долгополов. Александр Блок. Личность. Творчество. Л., 1980, с. 179). Необходимо добавить к этому, что стихотворение «Перед судом» по своему «бытовому» характеру все же чуждо циклу «Кармен», полному космической стихийности. Это замечает в своем ответе на письмо Иванова-Разумника и Евгений Павлович Иванов.

[12] В «Истории стихотворений Александра Блока» Иванов-Разумник дает более распространенный комментарий: «Внутренняя тема „Соловьиного сада" должна быть связана с эпилогом цикла „Кармен", если иметь в виду, что та прозаическая запись плана поэмы после первых двух главок, которая была приведена выше (,,Он услышит чужой язык, испугается, уйдет от нее, несмотря на ее страсти и слезы, и задумается о том, что счастию тоже надо учить-

---

* Доказательством, что это стихотворение относится к Л. А. Дельмас, служит еще и то, что оно вошло третьим в цикл «Стихов о любви» («Утро России», 1915 г.), два первых стихотворения которого — «Смычок запел» и «Я помню нежность» — адресованы Л. А. Дельмас несомненно (*прим. автора*).

«ся“.— *Н. С.*⟩, почти одновременна со стихами Блока, тематически завершающими цикл ⟨„Та жизнь прошла...“ и „Была ты всех ярче...“ — *Н. С.*⟩».

[13] 8 августа 1918 г. Блок подарил Л. А. Дельмас вышедший отдельным изданием «Соловьиный сад» с надписью: «Л. А. Д., той, которая поет в Соловьином саду». Это посвящение показывает, что «Соловьиный сад» по праву может считаться эпилогом к циклу «Кармен» (л. 185 об.). Упомянутый личный экземпляр «Соловьиного сада» утерян.

[14] Подобная статья Ивановым-Разумником не была написана.

Р. В. ИВАНОВ-РАЗУМНИК — Е. П. ИВАНОВУ

6 декабря 1940. Пушкин. Ляминский пер., д. 4

Дорогой Евгений Иванович,

это мое письмо — post scriptum к заказному от 2/XII. Сим сообщаю:

Был у Л. А. Дельмас, которая подтвердила все мои предположения и рассказала о каждом из двадцати одного стихотворения — как и когда оно читалось ей Александром Александровичем (очень интересно!). Особенно подробно о «Перед судом». Кстати, прибавлю, что уже первая его строка показывает, что оно адресовано не Л⟨юбови⟩ Д⟨митриевне⟩ — «Что же ты потупилась в смущеньи...» Разве «Люба» могла «потупиться в смущеньи»? [1] Вот уж не похоже было бы это на нее! Но это лишь к слову. И запись А⟨лександра⟩ А⟨лександровича⟩ и свидетельство Дельмас окончательно решают вопрос.

«Превратила все в шутку» — тоже относится, как я и предполагал, к Л⟨юбови⟩ А⟨лександровне⟩.

В прошлый раз забыл еще об одном стихотворении (т. IV, стр. 210). «От знающего почерк ясный...». Итого стихотворений, относящихся к Л. А. Дельмас, будет *двадцать два*.

Кроме того, стихотворение «Ты жил один» (III, 153, 26—VIII—1914), написанное в дни временного разрыва с Л⟨юбовью⟩ А⟨лександровной⟩ (см. в моем прошлом письме стихи и записи А⟨лександра⟩ А⟨лександровича⟩ от августа 1914 г.), тоже навеяно мыслью об этом разрыве. Итого — *двадцать три* [2].

Все!

Всему дому привет! Любящий Вас Р. Иванов

[1] Ср.: В. Веригина. Памяти Любови Дмитриевны Менделеевой-Блок.— «Звезда», 1980, № 10, с. 171.

[2] Кроме стихотворений, названных Ивановым-Разумником, Л. А. Дельмас, воспринимая стихи Блока очень «личностно», в своем экземпляре «Седого утра» пометила инициалами «Л. А. Д.» стихотворение «Пусть я и жил, не любя...», почувствовав его «побочный мотив» (см. об этом в книге А. Е. Горелова в главе «Александр Блок и его „Кармен“»). Отмечено ею также стихотворение «Демон» (1916). Это стихотворение как адресованное ей она называла Д. Е. Максимову в разговоре 1946 г. Стоят инициалы «Л. А. Д.» в сборнике «Седое утро», принадлежавшем Л. А. Дельмас, и над стихотворением «Как день светла, но непонятна...» (20 февраля 1914). Это стихотворение было написано Блоком до знакомства с Дельмас (28 марта 1914), но уже после первого письма к ней (14 февраля 1914). Стихотворение по своему образному строю действительно близко к циклу «Кармен» (мотивы весны, тайного вихревого огня, порыва, тревоги, сна, игры).

Е. П. ИВАНОВ — Р. В. ИВАНОВУ-РАЗУМНИКУ

23 декабря 40 г. Ленинград 22
Петроградская сторона, Карповка 18, кв. 7

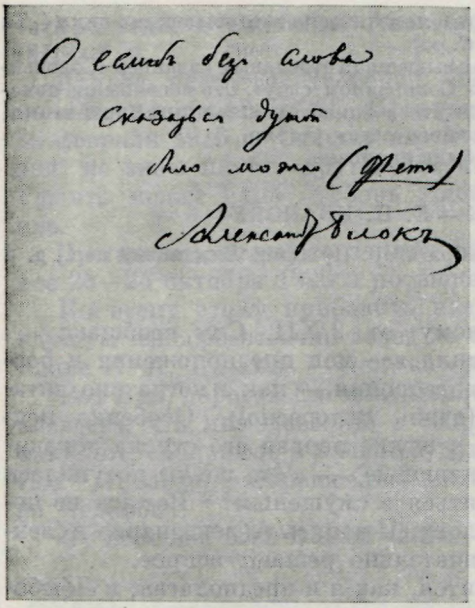
Дорогой Разумник Васильевич,

поздравляю Вас Днем Ангела, днем и солнцеворота, и дай бог Вам здоровья, крепости на многие годы и во всем успеха. «Будь жив», как сказал бы наш общий друг Д. М.[1], и «живи» — как напевает скрипки стон неутомимый, образ девушки любимой Алек. Блока [2].

Этот стон скрипки под горою пережитого и возвращает меня к Вашему письму от 2 декабря 1940 г.

Прежде всего большое Вам спасибо за все сообщенное в нем перед судом.

«Суд идет» — и публика должна почтить его вставанием, потому что тут уже дело не только в литературной критике, а о большем суде «Вечной памя-



АВТОГРАФ БЛОКА: «О ЕСЛИ Б БЕЗ СЛОВА СКАЗАТЬСЯ ДУШОЙ БЫЛО МОЖНО (ФЕТ.) АЛЕКСАНДР Б Л О К».
Частное собрание, Ленинград

ти», в ее, так сказать, сфере. 2 декабря, как Вы помните, день смерти Марии Андреевны [3]. В этот день, ходя в сфере «Вечной памяти», я побывал у Аннушки [4] и потом пошел к Дельмас узнавать ее телефон и точный адрес. Она сама, конечно, занята была в Консерватории [5], но в прихожей № телефона сообщила мне ее «добрая подруга», очень милая старушка [6]. Телефон я узнавал для Вас и для себя. Получив 3-го Ваше письмо от 2-го, я уже узнал, что Вам известен телефон — Я попросил «подругу» Люб⟨ови⟩ Ал⟨ександровны⟩ передать ей впечатление, какое произвело на меня пение Любимовой, ее, по-видимому, духовной дочери, в которую она постаралась вложить свои творческие способности [7].

14-го декабря вечером, часов в 10, побывал у Л⟨юбови⟩ А⟨лександровны⟩ до 12 часов. Она весь день была занята уроками музыки, и я удивляюсь, как у нее хватило сил уделить мне еще времени.

Показывала она рукописи свои с условной пометкой «Да»; я не считал деликатным вчитываться очень, но, я думаю, Вы сами видели их, и, мне думается, лучшего исследователя их, кроме Вас, не найти.

Надеюсь, что Вам удастся это дело, а не другим, тем более что Л⟨юбовь⟩ А⟨лександровна⟩ очень высоко Вас ценит и говорила мне о замечательном письме, какое Вы ей прислали [8].

Л⟨юбовь⟩ А⟨лександровна⟩ из тех лиц, которые склонны «замыкаться и молчать» [9], когда «молва» начинает очень залезать в тайники души и Вечной памяти.

Но Вы сумеете это сделать, не возбуждая молвы.

Насколько я мог судить, мне кажется, Л⟨юбовь⟩ А⟨лександровна⟩ вполне разделяет Ваше мнение, что стихотворение «Перед судом» написано по поводу ее и только.

Тем не менее я не из упрямства, а перед Судом Вечной памяти остаюсь при прежнем своем утверждении, только более углубленном Вашими сообщениями.

Насчет повода я не возражаю.

Поводом служит несомненно момент глубокого переживания от признания Л⟨юбови⟩ А⟨лександровны⟩ о пережитом ею. Он и выражен в строфе, которую Вы приводите.

Женщина, прекрасная когда-то,
Слабая, замучила семья,
Пала низко, мало виновата.
Так и судьи скажут, так и я.

Но не поводом определяется суть стихотворений. «Для берегов отчизны дальной» Пушкина повод известен, но стихотворение поглотило этот повод как челн, на котором мы выплыли в море [10].

Замечательно, что эта приведенная строфа, служащая поводом всего стихотворения, является *слабой* во всех отношениях, вычеркивается автором, и, не-

сомненно, от этого стихотворение только выигрывает перед судом даже литературным.

Но пережитый момент при признании был так глубок, что вызвал «приближение звука», понятного и знакомого, разбудил «мои колокола» и охватил всю жизнь самого автора с пережитым им [11].

Перспектива стихотворения ширится на всю жизнь А⟨лександра⟩ Б⟨лока⟩, не ограничиваясь только 14-ым годом.

«Эта *прядь* такая золотая разве не от старого огня» связана с «*золотой прядью* на лбу» стихотворения, несомненно связанного с «Любой» [12].

Люба, конечно, не «Прекрасная Дама», но в Любе была сфера, которая вызывала в сфере Блока образ Прекрасной Дамы [13].

Какой Люба, «хорошая Люба» представлялась в этой сфере Ал⟨ександру⟩ Ал⟨ександровичу⟩, образ ее и его матери запечатлен в «Песне Судьбы» [14].

Не получив еще Вашего письма от 6-го декабря, мне все в голову приходило написанное Вами о том, что первая строка «что ты потупилась» не подходит к Л⟨юбови⟩ Д⟨митриевне⟩ такой, какой Вы знали ее, и это, пожалуй, послужит Вам поводом утверждать, что перед судом говорится не о Любе, а об Л⟨юбови⟩ А⟨лександровне⟩ [15].

Но «дорогой» мой, ведь Вы Любу не знали, какой она была до 1907 г., как она краснела и потупившись стояла тогда, да и потом долго еще перед ближе знавшими ее [16]. Стихотворение охватывает ее такой, а не последней, «страстной, безбожной, пустой и все же незабвенной» [17], которой говорит Ал⟨ександр⟩ Ал⟨ександрович⟩ «прости» как отчасти виноватый в таком изменении прежнего чудного лика.

Те же слова говорил он по свидетельству Л⟨юбови⟩ А⟨лександровны⟩ и ей, и она удивлялась: и за что «прости».

Разве Вы не учитываете «Двуликое одиночество» Ал⟨ександра⟩ Ал⟨ександровича⟩, в котором «готовятся чудные дары...» [18]. Для толпы, бросающейся бежать из «Высоких Соборов»,— это ужас *двуличности*, но ведь в нем это не то [19].

Поэтому мое утверждение, что перед судом идет речь не только об Л⟨юбови⟩ А⟨лександровне⟩, но в основном об Л⟨юбови⟩ Д⟨митриевне⟩, имеет еще и ту правду, что лицо самого автора становится необычайно прекрасным, преображенным в этом стихотворении и в его «прости меня».

Наконец запись Алекс⟨андра⟩ Алекс⟨андровича⟩ в его записной книжке является совсем неисчерпывающей вопроса в этом деле.

Во-первых, потому что «*все-таки*» — *не* помещено «Перед судом» в цикл «Кармен», да и странно бы оно там звучало, а во-вторых, автор, творя, может и сам неясно сознавать, что творится им помимо его воли.

Это гениально выражено в комическом «авторе» Балаганчика. «Почтеннейшая публика и т. д.!»

Автор может попасть в комическое положение.

Дорогой мой, Вы пишете «перед судом» то «что есть» эпизодически, и это очень ценно, потому Вы и «*Дорогой* враг» на суде, «дорогой враг видит то, что есть», есть эпизодически, но подлинный суд видит или ищет в Вечной памяти «то, что должно быть» [20].

Целую крепко от всего сердца и помышления. Любящий Вас

Е. Иванов

Сердечный привет и поздравления Варваре Николаевне и дочке Вашей от меня, от жены и Марины, а Маня сама Вам написала и посылает вместе с моим письмом [21].

Где-то Вы и увидимся ли скоро?

Е. Иванов

[1] Дмитрий Михайлович *Пинес* (1891—1937) — историк литературы и библиограф.
[2] Из стихотворения Блока «Скрипка стонет под горой...» (1903).
[3] Мария Андреевна *Бекетова*, тетка и биограф Блока, умерла 2 декабря 1938 г.
[4] Аннушка — Анна Ивановна Шелгунова была, по словам Е. П. Иванова, «давней при-

слугой: на самом деле скорее госпожой» Марии Андреевны Бекетовой (Е. П. Иванов. Воспоминания об Александре Блоке.— «Блоковский сб.», 1, с. 374).

[5] Л. А. Дельмас с 1933 г. была педагогом сольного пения сначала в Музыкальном училище при консерватории, затем в консерватории ассистентом на кафедре профессора П. З. Андреева. В 1938 г. получила звание, а в 1940 г.— должность доцента.— Автобиография Л. А. Дельмас (ГПБ, ф. 1056, ед. хр. 677, л. 1). Подробнее об артистической и педагогической деятельности Л. А. Дельмас см.: Т. Клинко. Любовь Александровна Дельмас-Андреева.— В кн.: «Музыка и жизнь», вып. 2. Л.—М., 1973, с. 215—230, а также в наст. кн. с. 578—590.

[6] Речь идет о мадемуазель Мари Вива, француженке, дочери химика-парфюмера, жившей с 20-х годов у Л. А. Дельмас в качестве компаньонки и домоправительницы (сообщено И. А. Фащевской).

[7] Ираида Павловна Любимова училась в Ленинградской консерватории у Л. А. Дельмас с 1939 по 1941 г. (архив Ленинградской консерватории).

[8] Речь идет о копии письма Иванова-Разумника к Е. П. Иванову, которую Иванов-Разумник послал Л. А. Дельмас с просьбой подтвердить его предположения и разрешить имеющиеся сомнения.

[9] Из стихотворения «Пусть я и жил, не любя...» (1915). См. прим. 2 к письму Иванова-Разумника от 6 декабря 1940 г.

[10] По воспоминаниям Л. А. Дельмас, Блок любил романс «Для берегов отчизны дальной» («Юность», 1969, № 10, с. 93).

[11] Образы из стихотворений Блока «Приближается звук. И покорна щемящему звуку...» (1912) и «Под шум и звон однообразный» (1909) Е. П. Иванов сближает со стихотворением «Перед судом», считая, что все они близки по теме и связаны с Л. Д. Блок. Ср. тему «вины» и «прощения».

[12] Речь идет о стихотворении «Вот он ряд гробовых ступеней...» (1904), что подтверждается следующим абзацем письма Е. П. Иванова.

[13] О поэтическом и житейском планах отношений Блока к жене см.: Д. Е. Максимов. Из архивных материалов о Блоке.— «Уч. зап. Ленингр.пед. ин-та, 1956, т. 18, Фак. яз. и лит.», вып. 5, с. 246—249; А. Е. Горелов. Гроза над соловьиным садом. Л., 1973, с. 603. См. также: В. Н. Орлов. Сны и явь.— ЛН, т. 89, с. 11—32.

[14] Ср. запись Блока от 2 мая 1908 г.: «На Елену никто не обратил внимания, кажется,— пусть так: милая моя останется укрытой от человеческих взоров — единственная моя» (ЗК, 106).

[15] См. прим. 1 к письму Иванова-Разумника от 6 декабря 1940 г.

[16] Ср. записи Е. П. Иванова о Л. Д. Блок: 1903 — «Красная девица, вдруг вспыхивающая вся, как зарница или заря, по поводу или без всякого повода».— «Блоковский сб.», 1, с. 366; «Пришла Любовь Дмитриевна, села между Александром Александровичем и В. Греком и вдруг с чего-то покраснела, как девочка, рассердясь на себя за свою краску».— Там же, с. 367; 14 марта 1906 г.— «Был у Блока. У Любы голос дрогнул, и глаза опустила. Какое-то неважное происходит».— Там же, с. 401.

[17] Во втором черновике письма Е. П. Иванова есть следующие строки: [«И, наконец, „страстная, безбожная, пустая и незабвенная" хотя и говорилось Л〈юбови〉 А〈лександровне〉, но больше подходит к Любе (особенно последнее время мне даже все слышалось не страстная, а „страшная")». Ср. запись Блока от 18 февраля 1910 г. (ЗК, 166).

[18] Из стихотворения Блока «Душа молчит. В холодном]небе...» (1901).

[19] В этих строках, скорее всего, Е. П. Иванов напоминает Иванову-Разумнику о статье Ю. А. Айхенвальда «Поэзия Блока» (в кн.: «Слово о культуре». М., 1918, с. 4—5). Критик видел причину постоянных сомнений Блока в своем идеале, в том, что «изменчив он сам, что *двулична* его душа» (курсив мой.— *Н. С.*). Как доказательство Ю. А. Айхенвальд приводил стихотворение «Люблю высокие соборы...» (1902).

[20] Е. П. Иванов цитирует надпись Блока Иванову-Разумнику на книге «Снежная ночь» в ноябре 1913 г.: «Разумнику Васильевичу Иванову — дорогому врагу — с крепким рукопожатием. Александр Блок» (впервые опубл. в кн.: Иванов-Разумник. Вершины. Пг., 1923; см. также наст. том, кн. 3, с. 16) и запись Блока в дневнике от 8 ноября 1913 г.: «Другом называется человек, который говорит не о том, что есть или было, но о том, что может и должно быть с другим человеком. Врагом — тот, который не хочет говорить о будущем, но подчеркивает особенно, даже нарочно, что есть, а главное, что было... дурного (или что ему кажется дурным). Вот почему я пишу на книге, даримой Иванову-Разумнику: „дорогому врагу"» (VII, 250).

[21] Варвара Николаевна *Иванова* — жена Р. В. Иванова-Разумника. Марина Евгеньевна *Иванова* и Мария Павловна *Иванова* — дочь и сестра Е. П. Иванова.

Р. В. ИВАНОВ-РАЗУМНИК — М. П. ИВАНОВОЙ И Е. П. ИВАНОВУ

24 декабря 1940. Пушкин.

Дорогие Мария Павловна и Евгений Павлович!

Вернувшись сегодня утром из Москвы (куда я ездил на 3 дня по вызову Литературного музея и отчасти по Вашим делам, о чем скажу ниже), я нашел

на столе Ваши письма, которые очень меня тронули и порадовали. С сердечной благодарностью принимаю Ваши и Александры Фадеевны и Мариши [1] поздравления с завтрашним моим «тезоименитством» и со Спиридоном-солнцеворотом, прибавляя к ним еще одно поздравление: завтра, одновременно с именинами, и день моего рождения (меня оттого и наименовали, что я родился в день этого святого). Мне завтра стукнет 62 года — ух! Но разве дело в цифрах? Чувствую себя доселе непригнетенным и молодым, а отчасти и взъерошенным, как тургеневский воробей: «мы еще повоюем, чорт возьми!» [2]. А потому — за поздравления и пожелания двойное спасибо.

Теперь — дела. Дорогая Мария Павловна, сим сообщаю, что письма Алекс⟨андры⟩ Андр⟨еевны⟩ к Вам переданы мною Гослитмузею с заявлением, что владелица оценивает их в 2000 р. и на меньшую оценку согласиться не может. На другой день мне сообщили, что письма оценены в 1750 р., на что я потребовал выдачи мне писем обратно для возврата Вам. После этого и нового обсуждения дела Музей согласился на 2000, которые должны быть высланы Вам по почте до Нового года. Просьба: если Вы получите перевод на меньшую сумму — не брать денег, потерпеть (как ни трудно) и немедленно известить меня *. Но надеюсь, что все будет благополучно и необходимости в этом не последует.

А за гонорар мне — Ваше большое «блоковское» письмо ко мне — большое, большое спасибо. Храните его у себя, я заеду к Вам в скором времени и тогда получу его из Ваших рук.

Дорогой Евгений Павлович! В следующую мою поездку в Москву — в январе или феврале («е.б.ж.», как писал Лев Толстой) — отвезу в Литературный музей письма к Вам Алекс⟨андры⟩ Андр⟨еевны⟩ и переписанные на машинке Ваши письма к Ал⟨ександру⟩ Ал⟨ександровичу⟩, надеюсь доставить Вам не меньшую сумму, чем Марии Павловне. Но — загадывать вперед не будем.

Что же касается сути Вашего письма ко мне — по поводу «Перед судом», то ни мало не возражаю против углубления его «направленности». Адресовано оно — не Л⟨юбови⟩ Д⟨митриевне⟩, а Л⟨юбови⟩ А⟨лександровне⟩, но обе «Любы» пересекались в подсознании А⟨лександра⟩ А⟨лександровича⟩, и, кстати сказать, у обеих была «золотая прядь». Но в 1915 году золотая прядь Л⟨юбови⟩ Д⟨митриевны⟩ погасла, а у Л⟨юбови⟩ А⟨лександровны⟩ — пылала; «прежний огонь» был огнем марта 1914 года, но мог вспоминаться и огонь 1902 года. И все же — это стихотворение относится к «Кармен» и говорит нам о том, чем закончился этот цикл. Так сказал сам автор — и против его свидетельства спорить не приходится.

В ближайшие дни сговорюсь по телефону с Л⟨юбовью⟩ А⟨лександровной⟩ и вплотную побываю у нее, а потом (один или с Варварой Николаевной) побываю и у Вас. Тогда и договорим. Разве еще одно: Л⟨юбовь⟩ Д⟨митриевна⟩ могла «потупиться в смущении» в 1903—1907 г., но уже была бессильна сделать это после 1912 г., когда я ее знал. А «Перед судом» написано в 1915 году.

До скорого свидания! Целую всех, кого можно и кого нельзя.

Сердечно Ваш. Р. Иванов

[1] Александра Федоровна Иванова и Марина Евгеньевна Иванова — жена и дочь Е. П. Иванова.

[2] Цитата из стихотворения в прозе И. С. Тургенева «Воробей».

* При высылке 2000 р. с Вас вычтут за почтовый перевод по 2 р. с сотни, так что получите Вы 1960 р.; но я говорю о меньшей сумме, т. е. о 1750 рублях; ее брать нельзя.

БЛОК ПЕРЕВОДИТ ПРОЗУ ГЕЙНЕ

Сообщение А. В. Лаврова и В. Л. Топорова

Тема «Блок и Гейне» не обойдена вниманием в нашем литературоведении. Уже в год смерти поэта появилась статья Ю. Н. Тынянова «Блок и Гейне», представляющая собой попытку типологического сопоставления творчества русского и немецкого поэтов (в основном в направлении к обнаружению черт несходства их художественных миров) [1]. Теме этой посвящены и последующие специальные работы Е. Ф. Книпович, Е. В. Ланды, А. В. Федорова [2], затрагивалась она и в других блоковедческих исследованиях. Интерес к ней закономерен, ибо Гейне — один из «вечных спутников» Блока, чувствовавшего с ним особенное родство, ощущавшего непосредственную, живую связь его творческого облика со своей духовной биографией. Тяготение к творчеству великого немецкого поэта получило красноречивое и плодотворное выражение в статьях Блока о Гейне, переводах его стихотворений, работе по подготовке и редактированию его собрания сочинений. Эта тема не исчерпана в своем истолковании по сей день, даже относящиеся к ней материалы еще не полностью введены в читательский обиход — это относится прежде всего к рукописям, характеризующим деятельность Блока-редактора. Не был ранее опубликован и беловой автограф Блока, представляющий собой опыт перевода (помета Блока на рукописи: «собственная проба перевода») начальных страниц «Путешествия по Гарцу» («Die Harzreise») — первой части прославленной книги Гейне «Путевые картины».

22 июля 1908 г., задолго до обращения к этой работе, Блок зафиксировал в записной книжке по ходу чтения «Путешествия по Гарцу» (в переводе П. И. Вейнберга) цитаты из книги Гейне и собственные конспективные замечания (ЗК, 110—111). Особо отметив одну из заключительных фраз произведения: «я не могу понять, где оканчивается ирония и начинается небо»,— Блок нашел в ней тогда ключ к внутреннему миру Гейне и одновременно — свидетельство о «болезни», которой пропитана современная жизнь. Размышления об этом легли в основу его статьи «Ирония» (1908). Болезнь «иронии» — болезнь личности — болезнь «индивидуализма» — таково, по Блоку, разрушающее наследие гуманистической цивилизации XIX в., такова его оборотная сторона, которую разгадал и воплотил Гейне в своей «провокаторской иронии». «Кто знает то состояние, о котором говорит одинокий Гейне: „*Я не могу понять, где оканчивается ирония и начинается небо*!“ Ведь это — крик о спасении»,— резюмировал Блок (V, 349).

Если в 1908 г. Гейне был интересен Блоку прежде всего своей «провокаторской иронией», столь поразившей его в «Путешествии по Гарцу», то в пореволюционные годы в его восприятии немецкого поэта на первый план выдвинулись иные аспекты. Представая ранее прежде всего как разоблачитель и разрушитель идейных и культурных мифов XIX в., Гейне теперь укрупняется в сознании Блока и обретает ореол пророка нового, грядущего мира, открывающегося за горизонтом свершившейся революции. «... Сейчас Гейне стал ближе, чем когда-нибудь, к миру,— утверждает Блок в 1919 г.— ⟨...⟩ может быть услышан голос подлинного Гейне именно теперь, среди того взбаламученного моря, которое представляет из себя европейский мир, где трещит по швам гуманистическая цивилизация» (VI, 125). Своей внутренней раскованностью и мятежностью, свободой от догм и предрассудков, причастностью «духу музыки» — движущей силе жизненного обновления — Гейне нес в себе черты будущего цельного человека, «человека-артиста», который, как считал Блок, должен прийти на смену «гуманному» человеку внутренне исчерпавшей себя современной цивилизации. Все эти положения Блок сформулировал в докладе «Гейне в России. О русских переводах стихотворений Гейне» и в идейно связанной с ним программной статье «Крушение гуманизма». Гейне оказался неотъемлемой частью сознания Блока в революционную эпоху, и его образ предстал в отсвете блоковских духовных исканий этого времени.

Естественно и закономерно, что Блок в 1918 г. с огромным воодушевлением взялся за подготовку и редактирование нового собрания сочинений Гейне в издательстве «Всемирная литература». В результате подробного, тщательного изучения дореволюционных переводов он пришел к выводу, что вместо подлинного Гейне в русском читательском обиходе распространен лишь его «либеральный суррогат» — порождение «либеральной легенды» о поэте, однозначных тривиальных представлений о нем и о его творчестве. Видя в немецком классике союзника в стремлении к новому миру, Блок поставил задачей сделать Гейне интересным и живым для будущего читателя.

«Предстоит дать Гейне *нашей* эпохи — труд большой и ответственный,— писал Блок В. А. Зоргенфрею 7 декабря 1918 г.— ⟨...⟩ Чем больше читаю старые переводы, тем больше ужасаюсь. Оказывается, русские профессора и версификаторы не умели совладать не только со стихами, но и с прозой Гейне ⟨...⟩ О том, чтобы просить Вас принять участие в переводах как стихов, так и прозы, я думаю с тех пор, как получил эту работу. Теперь, когда сам начал переводить, думаю особенно, и мог бы сейчас же предложить Вам конкретную работу, сначала — над прозаической вещью» (VIII, 517—518) [3]. Упоминание Блока о том, что он «сам начал переводить», относится к «собственной пробе перевода» из «Путешествия по Гарцу»; накануне, 6 декабря, поэт записал: «Вечерние труды над переводом „Путешествия на Гарц". Что же это сделали даже с прозой Гейне не только Вейнберг, но и Михайлов! (кроме цензуры)» (ЗК, 438—439). Неудовлетворенность качеством перевода П. И. Вейнберга (1859) и М. Л. Михайлова (1859), по которым тогда имели представление о «Путешествии по Гарцу» русские читатели, побудила Блока заказать Зоргенфрею новый перевод шедевра раннего творчества Гейне и даже испытать собственные силы в этом деле. «Поручив мне перевод „Путевых картин",— свидетельствовал Зоргенфрей,— он начал с того, что сам перевел до 10 страниц, читал их вместе со мною, внимательно прислушиваясь к моим замечаниям и вводя поправки» [4].

Проза Гейне, разрушавшая традиционный канон повествовательности, была для своего времени новаторской. Многое сближало ее с поэзией — и подчеркнутая субъективность высказывания, и широчайшее использование образных средств, и ассоциативное чередование картин и мыслей. В то же время злободневность политической, литературно-критической и личной тематики, прицельная меткость сатиры, наконец сама форма (чаще всего — путевые заметки) были у Гейне скорее публицистическими. Сплав поэзии с публицистикой, подаваемой как проза, вызывал споры, а порой и нарекания. Именно в прозе проявилось в полной мере непревзойденное остроумие Гейне, многими — и не без оснований — посчитанное злоязычием.

Такая проза возникла не на пустом месте. В качестве прямых предшественников Гейне-прозаика можно назвать английского сентименталиста Стерна, немецких романтиков Брентано, Гофмана и в особенности Жан-Поля. Но и она, в свою очередь, оказала влияние на писателей позднейшего времени, причем не только положив начало своеобразному жанру «проза поэта», но и, на наш взгляд, способствуя самой своей фактурой становлению свободного стиха как формы художественной речи, основанной на усложнении семантических и модальных связей. До Гейне литература не знала ни такой раскованности интонации, ни такой свободы в выборе разнохарактерных и многоплановых стилистических средств. Блоком была хорошо почувствована эта уникальность прозы Гейне, опередившего свое время, равно как и беспомощность переводческой школы XIX в. в ее передаче. Нужно сказать, что и в начале XX в. трудно было бы подыскать ей какой-либо аналог в русской литературе; определенные соответствия можно обнаружить лишь в прозаическом наследии младшего современника Блока О. Мандельштама.

Блок выбрал для своей «пробы» начало «Путешествия по Гарцу», представляющее собой развернутую карикатуру на университетский город Геттинген и его обитателей, «скотов по преимуществу». Такие карикатуры особенно удавались Гейне, он умел буквально стереть в порошок врага; современники сравнивали это с образцово проведенной публичной казнью. Впрочем, 25-летний автор «Путешествия по Гарцу» был еще не столь желчен, и экзекуцию, учиненную им затхлому филистерскому городку (бывшему, кстати говоря, одним из интеллектуальных центров Европы), можно, скорее, сравнить с публичной поркой. Высек он Геттинген, однако, пребольно.

Профессора — невежды и ретрограды, педели — доносчики и мерзавцы, студенты — пьяницы и бузотеры, обыватели — ханжи и скупердяи, дамы — уродливы и распутны,— вот,

собственно, и все, что говорит Гейне в публикуемом отрывке об обитателях Геттингена. Но говорит во всеоружии своей сатирической техники, говорит с таким блеском, что эта полуправда кажется убедительней самой правды. Палитра Гейне-насмешника весьма широка, но все же укажем основные, прежде всего чисто языковые краски: метафоры и гиперболы, парадоксальные сопоставления и перечисления («знаменитый своими колбасами и своим университетом»), игра слов, сплошь и рядом не поддающаяся даже приблизительному переводу, подбор эпитета по принципу оксюморона (например, «горизонтальное ремесло», на которое обратил внимание Блок в записях 1908 г.— ЗК, 110), окказиональные неологизмы. Нарочито запутан и синтаксис Гейне — все эти бесконечные Schachtelsätze — «матрешки» (сложные предложения с многократным соподчинением, обилием вводных и модальных конструкций), пародирующие наукообразный стиль, просочившийся отчасти и в художественную прозу. Сложность и даже неподатливость прозы Гейне для перевода были хорошо понятны Блоку, характеризовавшему ее в предисловии к первой части «Путевых картин»: «Постоянные отступления, одушевление природы, рефлексия, немалая эрудиция, романтическая приподнятость и ненависть к филистерству и совершенно неромантическая ирония, гейневская ирония во всем ее блеске; капризнейший стиль — непрерывно развивающаяся цепь образов, один образ вызывает другой, они сплетаются, и не знаешь, победит ли который-нибудь из них, или оба будут изгнаны третьим, совершенно новым, который кажется сначала ничем не связанным с ним, но потом оказывается связанным неожиданно и тесно; периоды бесконечно длинные, закругленные, иронически-вычурные, которые русскому переводчику приходится порою делить, потому что они слишком несвойственны нашему языку; вслед за ними — короткие фразы, иногда даже без глаголов; большая меткость и образность определений, внезапно сменяющаяся какой-то вялостью, образами (правда, редко) неудачными и натянутыми,— вот отличительные черты стиля «Путевых картин» [5].

Все это свидетельствует о том, что перевод прозы Гейне — дело непростое. И действительно проза Гейне недопереведена, т. е. переведена недостаточно хорошо и по сей день, не говоря уже о переводах дореволюционного времени.

Ситуация осложнялась и тем, что если у поэта Гейне и поэта Блока немало точек соприкосновения, то Гейне-прозаик и Блок-прозаик едва ли не антиподы.

Романтическая приподнятость, зачастую изысканность блоковского тона — и стиль Гейне, который Теофиль Готье сравнил с обвешанным бубенцами парчовым платьем царского шута. Каламбуры, какими пестрит проза Гейне буквально на каждом шагу,— и явное их отсутствие у Блока, отторжение «игровых» моментов ради чистоты передачи лирического переживания. Игра на стилистическом диссонансе и стилистическом парадоксе у Гейне — и очевидная однородность блоковской стилистической тональности на всем протяжении одного произведения, доминирующее во всем «чувство целого» [6]. Правда, известный советский исследователь А. В. Федоров провел (в статье «Блок-прозаик и Гейне») определенные параллели между прозой двух поэтов, но его наблюдения, сами по себе справедливые (о жанровой синтетичности, отличительной для прозы двух поэтов, и о важных смысловых соответствиях), никак не отменяют наблюдаемых противоречий. Если вспомнить неприязнь позднего Блока к метафорике и его отзыв о прозе Гейне как о «болтовне с надрывом» [7], то станет ясно, что затруднения Блока — переводчика и редактора — были и субъективного свойства. Не случайно в предисловии к переводу «Путевых картин» он счел нужным оговорить свои претензии к прозе Гейне: «Стиль местами очень изукрашен, обилие сравнений и метафор приводит к некоторым натянутым выражениям, вроде: „нежную парочку, сидевшую под деревом, я готов был принять за экземпляр Corpus Juris с переплетенными руками“; или „ангелы изучают в чертах лица бога генерал-бас“; или „долговязый рвотный порошок“; разумеется, это мелочи, которых не найдешь, однако, у писателя гениального» [8]. В то же время не может не изумлять та тщательность и скрупулезность, с какими Блок взялся за эту во многих аспектах чуждую ему работу, что в сочетании с истинно творческим горением обеспечило прекрасные для своего времени результаты — мы имеем в виду деятельность Блока-редактора.

Что же касается публикуемой «пробы», то при рассмотрении ее нельзя упускать из виду, что Блок, по-видимому, не считал свой опыт перевода доведенным до окончательного облика, ограничившись созданием того, что сейчас бы назвали подстрочником. Об этом свидетельствует хотя бы то, что, столкнувшись, например, с каламбуром, Блок иногда даже не пытается подыскать ему перевод или адекватную замену, а фиксирует его смысл (или, в случае двусмысленности. оба смысла). Поэтому равноправное сопоставление этого перевода с художествен-

ными — по замыслу, но не всегда и не во всем по воплощению — переводами других авторов, к которому склоняется первая исследовательница публикуемого текста Е. В. Ланда в своей обстоятельной статье [9], едва ли справедливо по отношению к блоковскому опыту, оставшемуся своего рода «пробой пера», рабочим вариантом; при его анализе целесообразно руководствоваться иными критериями, чем в случаях с завершенными и неоднократно издававшимися переводами «Die Harzreise».

Имеет смысл пройтись по тексту блоковской «пробы», отмечая уготовленные в нем переводчику каверзы, тем более что хороший перевод «Путешествия по Гарцу» уже существует (он выполнен В. О. Станевич, впервые опубликован в 1950 г. и не раз переиздавался).

Трудности начинаются уже с первой фразы. Опись «геттингенского хозяйства», открывающаяся 999 домами (в оригинале метонимия «очагами», которую восстановил Зоргенфрей), продолжается «различными церквами», и здесь авторская ирония уже не передана (хорошо перевела Станевич: «разнообразными»). Дальнейшее перечисление строится на игре с неопределенным артиклем, одновременно являющимся числительным «один». Неопределенный артикль в перечислении естественен, но указание на разовость наличествующих учреждений носит комический характер. По-русски можно пожертвовать этим эффектом, как поступил Зоргенфрей, или сохранить его, как в подстрочнике Блока, за счет, однако, некоторой натужности речи. В следующей фразе, искусно ее выстроив, Блок избежал «широкой воды», режущей слух во многих других переводах. Фраза: «Город сам по себе красив и особенно приятен тогда, когда повернешься к нему спиной» (лишнее доказательство «подстрочникового» характера текста, Блок-художник не сказал бы: «тогда, когда») — не вышла ни у кого из переводчиков; в оригинале острота ярче и строится на известном выражении «вид сзади», только задом должен повернуться сам наблюдатель. Следующее предложение переводчики брали приступом многие десятилетия: «...ночными сторожами, неделями, диссертациями, танцевальными чаями... компендиями... гвельфскими орденами... профаксами и другими факсами» — чуть ли не все здесь выглядит загадкой. Все предложение построено на игре слов: так, «профакс» (Profax) — жаргонное обозначение для «профессора», а «факс(е)» (Faxe) — «проделка», «кривлянье»; перевести это впрямую невозможно, но необходимо как-то скомпенсировать. «Профаксами и другими штуками»,— бесхитростно переводит Зоргенфрей, но все же добавляет от себя игру слов (тоже довольно наивную): «неделями, пуделями...». «Пуделей» у Гейне нет, хотя как примета филистерского существования они здесь вполне уместны. Вводит «пуделей» в свой перевод и Станевич, но конец фразы у нее расцвечен следующим образом: «профессора, проректоры, пробелы и прочие пустые места». Это уже похоже на Гейне. Правда, и в этом переводе никак не играют по-русски (в перечне советников) опальные ученые и чиновники из других областей Германии (хотя здесь была бы уместна игра «тайные советники — таящиеся советники»). Крайне трудна для перевода и следующая метафора; Блок фиксирует оба ее смысла — «по одному дикому отростку своих членов» и «по одному непереплетенному экземпляру»; свести образ воедино он не пытается. «Каждое германское племя оставляло там по одному из своих буйных отпрысков», — переводит Станевич, в целом верно, хотя и бледновато.

Подразделение жителей Геттингена на «студентов, профессоров, филистеров и скотов» не вышло ни у кого из переводчиков. По-немецки «скот» — «фи» (Vieh), и его появление после «филистера» оправдано хотя бы этим, пощечина филистерам отвешена звонко. По-русски это место звучит просто грубо. Слово «ординарный» по-немецки значит также «порядочный», на этом построен следующий каламбур Гейне, честящего геттингенскую профессуру. Блок понял это и зафиксировал в переводе. Тем досадней, что и Зоргенфрей, и Станевич здесь ошиблись, говоря о «профессорах ординарных и не ординарных». Каламбур получился, но какой ценой? «Не ординарный» — означает «выдающийся», а именно выдающихся профессоров Гейне в Геттингене и не видит! Здесь можно было бы предложить последующим переводчикам поиграть на выражениях «штатный и заштатный». Сложный образ с «песком... грязью морской... грязными лицами и белыми счетами» также не вышел у переводчиков, «белые счета» — ненужный буквализм и плохо сочетается с «грязными лицами»; «белый» не обязательно «чистый». Что-нибудь вроде «с грязными лицами и чистой чепухой, изложенной в прошениях» смотрелось бы лучше. Довольно пространное рассуждение о ногах геттингенок — вычурно у самого Гейне, один из редких (или, как считает Блок, не столь уж редких) случаев, когда остроумие ему явно отказывает. Блистательная развернутая метафора о сне профессора-начетчика поддается прямому переводу и соответственно удовлетворительно вышла у всех переводчиков. В сле-

дующем абзаце отметим «спесивую, сухую узость» — Блок отказывается переводить неологизм Гейне неологизмом же; впрочем, найденная Зоргенфреем и повторенная Станевич «цитатная гордость» оставляет желать лучшего. В перечне имен, завершающемся каламбурно нарощенным словом «дурак» (Dummerjahn), отметим, что найденный Блоком вариант перевода («Дуракьян») был взят за основу его последователями («Дуреньян» у Зоргенфрея, «Глупиян» у Станевич). Следующий образ — свод законов со скрещенными руками (т. е. любовная парочка, какою ее видит одуревший от юриспруденции человек) — раздражал Блока своею искусственностью. Он, по-видимому, не смог его понять. В переводе Станевич все стало на свои места: «...а сидевшую под деревом нежную парочку я чуть не принял за особое издание Corpus Juris с переплетенными застежками».

Встречающиеся нам дальше «Шефер и Дорис» без комментария не понятны. Это два геттингенских педеля, фамилия одного значит по-немецки «пастух», фамилию другого (Dors) Гейне слегка переиначил в условное идиллическое имя (Дорис вместо Дорс), и получилось «пастух и пастушка», что применительно к свирепым надзирателям, конечно, комично. Переводчикам здесь остается только развести руками (так они и поступили). В дальнейшем смешон «спекулянт приват-доцент» — ошибка в передаче немецкого текста. По-русски соответствующий оттенок смысла сохранился лишь в выражении «спекулятивные рассуждения». Правильно: «мыслящий приват-доцент» — перевела Станевич. Каламбурную игру на глаголе «цитировать», означающем одновременно «вызывать повесткой», Блок, видимо, не уловил.

Дальше следует новое оскорбление профессорам: мало того что они — пирамиды (т. е. стары, как мир, и ни на что не годны), но в отличие от египетских в них «не сокрыта никакая мудрость». «Премудрость» — излишне уточняет Зоргенфрей, уничтожая намек на спрятанные в пирамидах сокровища. «Два юноши, полные надежды» — смысловая ошибка, на которую, возможно, указал Блоку Зоргенфрей. Во всяком случае, у последнего читаем «двое многообещающих юношей», что, конечно, правильно. «Объемистое „что угодно“» вместо «широкого зада» лишний раз показывает, какие трудности испытывал Блок с прозой Гейне. Блоковская «проба» прерывается посредине развернутой метафоры с «немецкой медлительностью лошадей» и «запретным овсом в раю».

Можно только гадать, что заставило Блока на этом месте прервать свой любопытный опыт. Дневниковая запись 1908 г. о «Путешествии по Гарцу» позволяет судить, что начальные страницы книги более всего приковывали его внимание: значительная часть заметок относится именно к ним. Могло это объясняться и чисто внешними причинами: в декабре 1918 г. Блок был перегружен работой, многочисленными организационными делами, заседаниями и пр. Определенно, Блок не считал возможным всерьез браться самому за исполнение столь сложного труда, его опыт переводчика прозы, в отличие от навыков в стихотворном переводе, был невелик: одна новелла Йенса Петера Якобсена (1907) и неизданный перевод «Легенды о святом Юлиане Странноприимце» Г. Флобера (1914). Не исключено, что он считал поставленную перед самим собой задачу выполненной: проделанная им работа послужила отправной точкой для Зоргенфрея, приступившего тогда же к переводу «Путевых картин» в полном объеме; кроме того, она, безусловно, помогла Блоку вжиться в мир прозы Гейне, обнаружить каверзные и «опасные» для переводчика места, наконец, подобрать свой ключ к тому «русскому Гейне», который затем вышел из-под пера Зоргенфрея. Опыт перевода из «Путешествия по Гарцу» стал для Блока испытанием собственных сил перед ответственным делом редактирования перевода Зоргенфрея. Эту работу, в целом расцененную как очень удачную, Блок подверг тщательной редактуре, внеся множество исправлений, нашедших отражение в опубликованном тексте. «...Получив от меня начало перевода,— вспоминает Зоргенфрей,— ⟨Блок⟩ просмотрел его, исправил и потом читал мне вслух, входя в обсуждение всех мелочей, придумывая новые и новые варианты, то и дело обращаясь к комментариям и справочным изданиям» [10]. Перевод Зоргенфрея, издававшийся в 1920—1930-е годы [11], явился наиболее совершенным для этого времени опытом воссоздания на русском языке «Путевых картин» Гейне. Рукопись его не сохранилась, и конкретно представить себе характер редакторского вмешательства Блока в текст Зоргенфрея, к сожалению, нет возможности.

Текст «пробы перевода» Блока из Гейне печатается по автографу, хранящемуся в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинского Дома) АН СССР в архиве А. А. Блока (ф. 654, оп. 3, ед. хр. 38, л. 67—69 об.). Текст датирован Блоком: „конец 1918“. Реальный комментарий к тексту Гейне в нашей публикации не дается — его можно найти в любом русском издании «Путевых картин».

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См.: «Об Александре Блоке». Пб., «Картонный домик», 1921, с. 237—264.

[2] См.: Е. Ф. Книпович. Блок и Гейне.— В кн.: «О Блоке». М., «Никитинские субботники», 1929, с. 165—181; Е. В. Ланда. А. Блок и переводы из Гейне.— В кн.: Мастерство перевода. 1963. М., «Сов. писатель», 1964, с. 292—328; Она же. Блок — редактор Гейне.— В кн.: «Редактор и перевод». М., «Книга», 1965, с. 72—107; А. В. Федоров. Блок-прозаик и Гейне.— В кн.: «Сравнительное изучение литератур. Сборник статей к 80-летию академика М. П. Алексеева». Л., 1976, с. 533—540.

[3] О совместной работе Блока и Зоргенфрея над переводом и редактированием стихов и прозы Гейне см.: А. А. Блок. Письма к В. А. Зоргенфрею. Публикация С. С. Гречишкина и А. В. Лаврова.— «Русская литература», 1979, № 4, с. 130—131, 134—138.

[4] В. А. Зоргенфрей. Александр Александрович Блок. (По памяти за 15 лет, 1906—1921 гг.).— «Записки мечтателей», 1922, № 6, с. 145.

[5] Александр Блок. Собр. соч., т. XI. Изд-во писателей в Ленинграде, 1934, с. 247.

[6] Д. Максимов. Поэзия и проза Ал. Блока. Л., 1975, с. 181.

[7] Александр Блок. Собр. соч., т. XI, с. 277 («Предисловие ко второй части «Путевых картин» Гейне», 1920).

[8] Там же, с. 263.

[9] Е. Ланда. Блок — редактор Гейне, с. 91—94. Переводческие принципы Блока — редактора прозы исследуются в этой статье также на материале «Мемуаров» Гейне в переводе П. И. Вейнберга, отредактированном Блоком. О «пробе перевода» Блока из «Путешествия по Гарцу» см. также: Е. Ланда. Мелодия книги. Александр Блок — редактор, с. 102—103.

[10] «Записки мечтателей», 1922, № 6, с. 145.

[11] Генрих Гейне. Избр. соч., т. V—VI. Пб., «Всемирная литература», 1920—1922; Генрих Гейне. Полн. собр. соч. в 12 томах, т. IV. М.—Л., «Academia», 1935.

АЛЕКСАНДР БЛОК.
‹ОПЫТ ПЕРЕВОДА ИЗ «ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ГАРЦУ» ГЕНРИХА ГЕЙНЕ›

Город Геттинген, прославленный своими колбасами и университетом, подвластен королю ганноверскому и содержит в себе 999 домов, различные церкви, один родильный приют, одну обсерваторию, одну тюрьму, одну библиотеку и один городской погребок, где есть отменное пиво. Ручей, протекающий здесь, называется «Лейна» и служит летом для купанья; вода в нем очень холодная, и местами он так широк, что Людеру пришлось действительно сильно разбежаться, когда он скакал через него. Город сам по себе красив и особенно приятен тогда, когда повернешься к нему спиной. Стоит он, должно быть, уже очень давно; помнится, когда, пять лет назад, я был включен там в список студентов и потом скоро исключен, он имел тот самый серый и старчески-умный вид и был уже достаточно снабжен ночными сторожами, педелями, диссертациями, танцевальными чаями, прачками, компендиями, жареными голубями, гвельфскими орденами, каретами [1] для прогулок [2], трубками, надворными советниками, юстиц [3]-советниками, посольскими советниками, профаксами [4] и другими факсами. Иные утверждают даже, что город построен во время переселения народов, что каждая ветвь немецкого племени оставила здесь по одному [5] дикому отростку своих членов, что отсюда и пошли все Вандалы, Фризы, Швабы, Тевтоны, Саксы, Тюринги и т. д., которые и по сей день бродят [6] ордами по Вендской улице Геттингена, различаясь цветом шапок и кисточек на трубках, вечно сражаются между собою на кровавых полях при Разенмюле, Риченкруге и Бовдене, продолжают держаться нравов и обычаев времен переселения народов и управляются частью — своими вождями [7], которые носят имя глав-

[1] *После слова* каретами *карандашом поставлен вопросительный знак.*
[2] для прогулок *зачеркнуто карандашом.*
[3] *Исправлено карандашом*: юстиции.
[4] профаксами *карандашом заключено в скобки.*
[5] *Далее зачеркнуто*: неперплетенному экземпляру.
[6] *Сверху карандашом вписано*: кочуют.
[7] *Сверху карандашом вписано*: дуксами.

ных петухов, частью — древними таблицами, которые называются Коммент [8] и заслуживают почетного места в leges barbarorum *.

В общем, обитатели Геттингена подразделяются на студентов, профессоров, филистеров и скотов, причем эти четыре сословия отнюдь не строго различаются между собою. Господствует сословие скотов. Перечисление имен всех студентов и всех ординарных и [9] экстраординарных [10] профессоров завело бы слишком далеко; притом, я не припомню сейчас имен всех студентов, а среди профессоров есть такие, у которых пока нет никакого имени. Филистеров в Геттингене, должно быть, очень много, как песку, или, лучше сказать, как грязи морской; действительно, когда я смотрю по утрам на их грязные лица и белые счета у дверей академического судилища, я с трудом могу постичь, как это Бог удосужился натворить столько сволочи.

Более подробные сведения о городе Геттингене вы с приятностью найдете в его описании, составленном К. Ф. Г. Марксом. Несмотря на то, что я питаю священнейшую признательность к автору, который был моим врачом и проявил ко мне большую любовь, я не могу одобрить его сочинения безусловно и принужден выразить ему порицание за то, что он недостаточно строго опровергает ложное мнение, будто у геттингенок чересчур большие ноги. Да, я потратил немало времени на серьезное опровержение этого мнения, я слушал ради этого лекции по сравнительной анатомии, брал из библиотеки редчайшие книги, часами изучал на Вендской улице ноги проходящих дам и в научно обоснованном сочинении, где будут даны выводы из этих изучений, говорю: 1) о ногах вообще, 2) о ногах у древних, 3) о ногах слонов, 4) о ногах геттингенок, 5) сопоставляю все, что уже говорилось об этих ногах в Ульрихском саду, 6) обозреваю эти ноги в их общей связи, распространяясь при этом случае об икрах, коленях и т. д. и, наконец, 7) если только найду достаточно большой [11] размер бумаги, то приложу несколько гравированных на меди изображений ног геттингенских дам.

Было еще очень рано, когда я покидал Геттинген, и ученый *** лежал еще, вероятно, в постели и [12] грезил, как всегда: о том, что он гуляет в прекрасном саду, где на грядках растут ослепительно [13] белые бумажки, исписанные цитатами, приветно поблескивающие в солнечных лучах, он же срывает то ту, то другую и заботливо пересаживает на новую грядку, а соловьи между тем услаждают его стар⟨о⟩е сердце сладчайшими трелями.

У Вендских ворот мне встретились два малыша — местные школьники, один говорил другому: «Не желаю больше иметь дела с Теодором, он, подлец, не знал вчера родительного падежа от mensa». Как ни мало значат эти слова, я передаю их, ведь их следовало бы написать на воротах как городской девиз [14]; птенцы пищат, как взрослые [15], свистят, и эти слова вполне определяют спесивую сухую [16] узость [17] многоученой Георгии Августы.

На дороге повеяло свежим утренним ветерком, птицы пели очень весело, и у меня на душе стало понемногу свежо и весело. Такое подкрепление было необходимо. В последнее время я не выходил из стойла пандектов, римские казуисты оплели [18] мой дух как будто серой паутиной, сердце было ущемлено железными параграфами самолюбивых [19] правовых систем, в ушах все еще

---

* сборнике законов варваров (*лат.*).

[8] *Сверху карандашом вписано*: Comment.

[9] *Далее зачеркнуто*: всех

[10] *Сверху карандашом вписано*: непорядочных.

[11] *Далее зачеркнуто*: лист.

[12] *Далее зачеркнуто*: спал.

[13] ослепительно *зачеркнуто карандашом.*

[14] *Первоначальный вариант*: в виде девиза города.

[15] *Далее зачеркнуто*: пищат.

[16] сухую *вписано.*

[17] *Далее зачеркнуто*: и сухость.

[18] *Далее зачеркнуто*: серой па⟨утиной⟩.

[19] *Над второй половиной слова сверху карандашом вписано*: довлеющих.

неустанно звенели «Трибоньян, Юстиньян, Гермогеньян [20], Дуракьян», и нежную парочку, сидевшую под деревом, я принял было за Corpus Juris * со скрещенными [21] руками. Дорога начала оживляться. Пошли молочницы; потом — погонщики ослов со своими серыми питомцами. За Вендой мне попались навстречу Шефер и Дорис. Это — не идиллическая пара, воспетая Гесснером, а упитанные университетские педеля, которые должны неусыпно следить, чтобы студенты не дрались на дуэли в Бовдене и чтобы какой-нибудь спекулянт приват-доцент не прошмыгнул с контрабандой каких-либо новых идей, которые должны несколько десятилетий выдерживать карантин перед Геттингеном. Шефер кивнул мне совсем по-приятельски, так как [22] он [23] тоже писатель и часто упоминал обо мне в своих полугодовых сочинениях; кроме того, он часто цитировал меня, а когда не заставал меня [24] дома, всегда имел любезность писать цитату мелом на двери моей комнаты. По временам проезжали мимо повозки, набитые студентами, которые отъезжали на вакации или навсегда. В таком университетском городе постоянный прилив и отлив, каждые три года — новое поколение студентов, это — вечный людской поток, где одна семестровая волна [25] гонит другую [26], только старые профессора хранят в этом общем движении неколебимость, подобно пирамидам Египта — только в этих университетских пирамидах не сокрыта никакая мудрость.

Из миртовой рощи под журчанье воды [27] выехали два юноши, полные надежды. Женщина, занимающаяся [28] здесь своим горизонтальным ремеслом, вывела их на дорогу, искусной рукой шлепнула по тощим [29] лошадиным бокам, громко захохотала, когда один из всадников оказал ей сзади [30] несколько любезностей плеткой по [31] объемистому «что угодно», и отправилась в Бовден. Юноши поехали к Нертену [32] с весьма остроумными криками и милым пением Россиниевской песни: «Кружку пива, Лиза, Лиза!». Эти напевы я еще долго слышал издали; самих нежных певцов я скоро совершенно потерял из виду, ибо они усиленно пришпоривали и настегивали своих лошадей, видимо обладавших по существу немецки-вялым характером [33].

⟨Декабрь 1918 г.⟩

---

* Свод законов (*лат.*).

[20] *Далее зачеркнуто*: и.

[21] скрещенными *подчеркнуто карандашом, сверху вопросительный знак.*

[22] так как *вписано.*

[23] *Далее зачеркнуто*: ведь.

[24] меня *зачеркнуто карандашом.*

[25] *Далее зачеркнуто*: прогонит.

[26] *Далее зачеркнуто*: и.

[27] *Далее вписано*: [увидел я⟨?⟩, как].

[28] *Первоначально было*: Существо в образе женщины, занимающейся.

[29] *Далее зачеркнуто*: спинам лошадей. *Вписано сверху и зачеркнуто*: задам.

[30] сзади *вписано.*

[31] *Далее зачеркнуто*: широкому заду.

[32] *Далее зачеркнуто*: выкрикив⟨ая⟩.

[33] *Первоначально было*: у которых в сущности был, по-видимому, немецки-вялый характер.

ПОМЕТЫ БЛОКА НА ПЬЕСЕ Н. Г. ВИНОГРАДОВА «ЦАРЬ ПЕТР ВЕЛИКИЙ»

(СЦЕНА «ЦАРЬ И СЫН»)

Сообщение А. Е. Парниса

В марте 1918 г. Блок начал сотрудничать в Репертуарной секции Театрального отдела (ТЕО) Наркомпроса в качестве члена секции, а затем как ее председатель и член коллегии ТЕО. Одной из главных задач Репертуарной секции, которую возглавил Блок, была разработка нового репертуара. Многообразная работа Блока в ТЕО нашла выражение в написанном им в «Воззвании Репертуарной секции», в статьях и докладах того периода, в рецензиях на новые пьесы, в редактировании сборника «Репертуар», в разработке репертуарных списков, в организации издательской деятельности и т. д.[1]

В мае 1919 г. начинающий драматург и режиссер Н. Г. Виноградов (1893—1967) [2] передал на рассмотрение Репертуарной секции ТЕО свою трагедию в стихах «Царь Петр Великий» («Российский Прометей»). Одновременно он подал эту трагедию на конкурс мелодрамы [3].

Первая пьеса [4] молодого драматурга привлекла внимание М. Горького, А. В. Луначарского, В. Э. Мейерхольда, Ф. И. Шаляпина, А. М. Ремизова, М. А. Кузмина, Н. С. Гумилева, В. В. Хлебникова, В. Н. Всеволодского-Гернгросса, Ю. М. Юрьева, П. С. Когана, С. Э. Радлова, К. С. Петрова-Водкина. В их числе был и Блок.

7 сентября 1919 г. Блок в письме к Н. А. Нолле, отвечая на ее вопрос, писал: «„Российского Прометея“ я знаю, да, он очень интересен. Поставить его нельзя, но я не помню времени моей жизни, когда русский театр не стремился бы поставить то, что нельзя. Таковы уж русские „искания“. Результат их пока заключается в том, что театр русский отвык ставить то, что можно и должно, и поставить сейчас Островского редко кто сумеет» [5] (см. наст. том, кн. 2, с. 340). Как всегда у Блока, высказывание о внешних явлениях имеет и внутренний, «блоковский» смысл, имеет, так сказать, обратный адрес: ведь и драматургия Блока предлагала поставить то, что «нельзя».

Официальную рецензию Блока на пьесу Виноградова обнаружить не удалось. Возможно, такой рецензии не было вовсе, так как поэт, познакомившись с автором трагедии еще в начале 1918 г., мог сообщить ему свой отзыв устно. Как выяснилось, Виноградов поначалу предоставил Блоку не полный текст своей трагедии, а только одну из центральных сцен и подробный план, составившие, условно говоря, первый вариант трагедии, над которой он продолжал работать.

Сохранился авторизованный машинописный экземпляр этой сцены под названием «Царь и сын» (Сцена из трагедии «Царь Петр Великий») с многочисленными пометами Блока [6], которые представляют значительный интерес (в частности, в связи с темой Петра [7] и темой «возмездия», а также с эстетическими воззрениями поэта).

В «Записных книжках» Блока есть ряд свидетельств о встречах его с Виноградовым и безоценочные упоминания трагедии о Петре. На основе этих данных, дополнительных разысканий, а также анализа маргиналий Блока на машинописи сцены «Царь и сын» можно реконструировать творческую историю трагедии, без чего нельзя восстановить картину отношения Блока к Виноградову и его пьесе, а уж затем, на примере этих отношений, получить дополнительные сведения о взглядах Блока на современную драматургию.

Весной 1918 г. бывший артиллерийский офицер Виноградов, выпускник историко-филологического факультета Петербургского университета (1914) и участник первой мировой войны, поступил в студию П. П. Гайдебурова и Н. Ф. Скарской и делал в руководимом ими Передвижном театре свои первые актерские и режиссерские шаги. Впоследствии Виноградов стал помощником П. П. Гайдебурова по Инструкторским курсам и одновременно учился на Курсах мастерства сценических постановок, возглавляемых В. Э. Мейерхольдом [8].

Увлеченный замыслом мистериального героико-монументального театра, Виноградов искал возможности реализовать свои идеи — работал над трагедией о Петре и пытался создать массовый импровизационный театр.

В декабре 1918 г. он предложил Агитпрому Политуправления Петроградского военного округа организовать театрально-драматическую мастерскую. Ее официальное открытие состоялось 11 февраля 1919 г.—это был первый массовый политический театр и фактически первый театр Красной Армии. В мастерской преподавали и консультировали В. Э. Мейерхольд [9], В. Н. Соловьев, В. Н. Всеволодский-Гернгросс, В. Б. Шкловский, Н. Н. Бахтин и др. Руководимая Виноградовым мастерская осуществила ставшие знаменитыми две инсценировки: „Свержение самодержавия" (12 марта 1919) (это представление прошло до конца 1919 г. более 250 раз) и „III Интернационал" (11 мая 1919), которые известны в истории советского театра как первые „массовые действа", вышедшие на площадь [10]. Об этом Виноградов с характерной для него повышенной патетикой подробно рассказал в 1966 г. в документальной повести „Красноармейское чудо" [11].

В середине 1918 г. Виноградов начал писать трагедию „Царь Петр Великий", работа над которой продолжалась более года. Среди тех, кого Виноградов познакомил со своей трагедией еще на начальном этапе работы над нею, был и Блок.

Двадцатого июня 1918 г. Блок отметил в записной книжке: «Вчера Ник〈олай〉 Глеб 〈ович〉 Виноградов приносил мне для прочтения сцену из трагедии „Царь Петр Великий"; третьего дня я его встретил в Народном доме (он подошел)» (ЗК, 413). Следующая запись о Виноградове помечена 8 июля 1918 г.: «Пьесу Виноградова передать швейцару (с моими пометками)» (ЗК, 415). Возможно, в этот период были и другие контакты, так как на последней странице указанной машинописи (сцена „Царь и сын") имеется сделанная рукой Блока карандашная запись телефона и фамилия автора: „539—18. Николай Глебович Виноградов».

Кроме указанной сцены с многочисленными пометами Блока, сохранился также подробный первоначальный план будущей трагедии, напечатанный по старой орфографии и датированный 1918 г.[12] На этом плане нет никаких блоковских помет, но надо думать, Виноградов познакомил с ним Блока,— возможно, по другому экземпляру.

Через год, уже после окончания работы над трагедией о Петре (май 1919), Виноградов вновь давал ее Блоку для прочтения. Об этом свидетельствуют две записи Блока 1919 г. 10 июня Блок отметил, что его посетил Виноградов (ЗК, 463). По всей видимости, в этот день Виноградов оставил Блоку окончательную редакцию своей трагедии, так как через месяц, 15 июля, Блок заносит в книжку запись о возврате рукописи: „Виноградову — его пьесу через 〈Всеволода.— *А. П.*〉 Рождественского" (ЗК, 466). Экземпляр окончательной редакции трагедии о Петре, который читал Блок, не сохранился.

Итак, в июне-июле 1918 г. Блок познакомился с материалами к трагедии Виноградова (одна из сцен и первоначальный план), а в июне-июле 1919 г.— с окончательной ее редакцией.

Хотя в записных книжках Блока трагедия Виноградова никак не характеризуется, блоковская оценка этого произведения, как видно из цитированного его письма к Нолле, была положительной, правда не без оговорок. Важно отметить, что ответ Блока на запрос Нолле был написан уже после его знакомства с окончательной редакцией трагедии о Петре, когда Блок уже не работал в ТЕО, и его отзыв никак не был связан со служебными обязанностями.

В записных книжках Блока есть еще одно свидетельство о его встрече с Виноградовым, но уже без упоминания о трагедии. 20 февраля 1919 г. Блок отметил: «Бюро. Длинное заседание с т〈оварищем〉 Виноградовым и всеми (разговор главный о том, можно ли учить драматургии» (ЗК, 450). Эта запись также связана с темой наших заметок.

16 февраля 1919 г. Блок сложил с себя обязанности председателя Репертуарной секции, но продолжал участвовать в ее работе, оставаясь членом секции и ответственным редактором сборника ТЕО „Репертуар". В своей записи Блок, по-видимому, говорит о заседании Репертуарной секции, на котором выступил И. Новиков с докладом и проектом создания драматургической школы или мастерской драматургов. И хотя точная дата доклада И. Новикова неизвестна, а в опубликованных в феврале материалах об этом (текст проекта и прения по докладу) не упоминаются ни Блок, ни Виноградов [13], блоковская запись, надо думать, относится именно к этому проекту. Для Блока вопрос о драматургической школе был крайне важен.

Приблизительно в это время (конец 1918— начало 1919 г.) Блок согласился принять участие — вести „Беседы о поэтических опытах учащихся" — в другой драматургической школе, которая проектировалась на Курсах мастерства сценических постановок, организованных при ТЕО. Кроме Блока, в этой драматургической мастерской должны были читать лекции А. М. Ремизов, Н. С. Гумилев, С. Э. Радлов, и предполагалось привлечь к работе Ф. Сологуба и М. А. Кузмина [14]. Этот интересный проект осуществлен не был.

Упоминаемый в записи Блока Виноградов, по-видимому, выступил на этом заседании (20 февраля) с идеями, которые он разрабатывал в организованной им красноармейской театрально-драматургической мастерской и которые легли в основу ее программы,— идеями свободного коллективного творчества и драматургической импровизации самих участников постановок [15].

В первом письме-манифесте о создании мастерской, обращенном к видным деятелям искусства (такое письмо в январе 1919 г. было также послано и Блоку [16]), Виноградов декларировал задачи мастерской, по его собственному определению, в «возвышенно-агитационном стиле»: «〈...〉 создать собственных драматургов, которые должны настолько же превзойти Эсхила, насколько идеи, одушевляющие пролетарскую Красную Армию, выше идей рабовладельческого общества древнегреческих Афин» [17].

Новаторские постановки Виноградова в созданном им массовом политическом театре, где драматургия, конструкция и текст всего представления вырабатывались на репетициях, а участники становились непосредственными создателями инсценировок, отчасти восходят к методу драматургической импровизации Н. Ф. Скарской [18], но прежде всего эти театральные опыты Виноградова соответствовали духу, пафосу и стилистике революционных митингов той эпохи.

Монументальная трагедия о Петре, над которой (наряду с постановками в мастерской) работал в это время Виноградов, также была формой героического «массового действа». Задача «превзойти Эсхила» являлась не только творческой установкой мастерской — Виноградов и в трагедии о Петре покушался на решение этой задачи. Обращение Виноградова к теме Прометеева деяния не случайно, оно было в высшей степени характерно для революционной эпохи с ее напряженной патетикой [19]. Мотив Прометея, превратившийся в окончательной редакции трагедии о Петре в ее лейтмотив, и дал, видимо, пьесе ее другое название — «Российский Прометей».

Как указывалось, работа над трагедией «Царь Петр Великий» («Российский Прометей») была закончена в середине мая 1919 г. и тогда же подана на организованный Горьким конкурс мелодрамы [20]. Трагедия Виноградова, вероятно, получила на этом конкурсе поощрительную премию, а Репертуарная комиссия ТЕО рекомендовала ее к постановке в больших театрах [21] и к печати [22].

О положительном отклике Горького Виноградов вспоминал: «Внимание Горького привлек „Петр“ и мои идеи о трагедии» [23]. В печати того времени неоднократно сообщалось [24], что трагедия Виноградова заинтересовала Горького и Шаляпина, членов жюри конкурсов мелодрамы, но документальных сведений о ее премировании обнаружить не удалось. В опубликованных результатах конкурса приводились разноречивые сведения [25], не упоминается эта трагедия и в коротких рецензиях Горького на конкурсные пьесы [26]. Несомненно, трагедия о Петре и послужила поводом для того, чтобы члены жюри конкурса (Горький, Шаляпин, Юрьев) сблизились с ее автором весной — летом 1919 г. (до этого они бывали лишь на постановках в мастерской) [27].

Так или иначе трагедия о Петре была явно выделена (или отмечена) на этом конкурсе [28].

В том же июльском номере газеты «Жизнь искусства», где была помещена статья Блока «Размышления о скудости нашего репертуара» (V, 284—291), появилось сообщение: «Репертуарной секцией Театрального отдела Наркомпроса одобрены к постановке следующие пьесы: «Русский (sic!) Прометей» для Большого театра 〈...〉» [29].

Именно в это время (в начале июля) Блок, уже покинувший ТЕО, вторично читал трагедию Виноградова и, возвращая ее автору, должно быть, сообщил ему свои замечания, которые нам неизвестны.

Между тем сохранился отзыв А. М. Ремизова, в ту пору сотрудника Репертуарной секции ТЕО. Не исключено, что Блок и Ремизов обсуждали трагедию о Петре молодого драматурга, так как в упоминавшейся записи от 10 июня 1919 г. указано, что Виноградов, принесший поэту в тот день, как теперь ясно, окончательную редакцию «Российского Прометея», пришел к Блоку от Ремизова (ЗК, 463).

Ремизов дал трагедии высокую оценку: «Трагедия преисполнена театром и музыкой. Кратка, стремительна и живописна. Читая, не выпустишь из рук книгу, смотря, не оторвешься.

Действие и хор — узел шутовства, святости, кощун и вдохновения.

Центр действия Петр — сначала только с богом, потом поднявший до бога, прозорливец, гигант, чудотворец.

И рядом Алексей, бунтующий инок, против отца.

Петр не жертва рока, он сам рок — водитель судеб, падающий под бременем поднятого труда только потому, что человек.

Восторженное настроение дают мотивы хоров, неразрывно вплетенные в движение действия.

Но насколько бурлит все действие, настолько тихи и неподвижны слова.

Предисловие к пьесе вдохновенно.

Пьесу можно рекомендовать для больших театров» [30].

Трагедия Виноградова находилась под очевидным воздействием театра Ремизова (прежде всего его «Царя Максимилиана», созданного в конце 1918 г.), и это, разумеется, должно было заинтересовать самого Ремизова [31].

Сохранились также и две другие рецензии на трагедию — А. В. Луначарского [32] и М. А. Кузмина [33] — в основном отрицательные.

Луначарский в отзыве-письме к Виноградову, отмечая некоторые «очень сильные тексты», говорит о «внутренней идейной несостоятельности» трагедии, а главное — о том, что он считает ее «перепевом на роман и драму Мережковского «Петр и Алексей» [34]. Трагедия о Петре Виноградова — своевременная попытка решить проблему человекобога, впервые поднятую в русской литературе Достоевским и широко разработанную Мережковским. В работе над трагедией Виноградов действительно использовал опыт Мережковского, автора исторических романов, использовал идеи, мысли и даже стилистические клише из «Петра и Алексея», но при этом Виноградов, человек другой эпохи и мировоззрения, очень далек от идеологических построений Мережковского, а в ряде случаев откровенно полемизирует с ними [35].

Кузмин в своей рецензии также предъявляет автору трагедии серьезные требования, перечисляя существенные недостатки пьесы: «явное тенденциозное и фантастическое отношение к историческим лицам», «небрежный и бессильный стих», «полную замену характеров отвлеченными типами», «ремарки, нестрящие страшно интеллигентными, не со вкусом брошенными словами, расхолаживающими внимание», причем «самые слова, то, что говорят герои, бесконечно ниже того, что они должны были бы говорить» [36] и т. д. И в то же время он признает, что трагедия «поражает трагичностью, широтою, оригинальностью, сжатостью театрального захвата», и добавляет: «не только по замыслу, но и по сценическому осуществлению — это явление редкое и замечательное», «это — действие символическое и литургическое и как таковое прекрасно и убедительно» [37].

И Луначарский, и Кузмин, отмечая серьезные недостатки трагедии, все же признают талантливость ее автора, а это, по слову Кузмина, «заставляет повышать требования» к нему [38].

Несмотря на отмеченные идеологические просчеты и слабость художественной формы, трагедия Виноградова отвечала в определенной мере театральным идеям и начинаниям первых лет создания советской театральной культуры.

Луначарский в том же письме к Виноградову затрагивает важную проблему монументального героического театра, которая в то время волновала очень многих, в том числе автора письма и его адресата, и говорит о необходимости устроить дискуссию «для обсуждения вопросов монументального театра, истинно народного театра действ и мистерий, который должен осуществиться, в который все мы верим, который все мы будем строить 〈...〉» [39].

Еще в 1914 г. у Горького и его сподвижников возникла идея создать «театр классической трагедии, высокой комедии и романтической драмы». Эти замыслы отчасти воплотил в 1918 г. актер Ю. М. Юрьев в двух постановках созданного им «Театра трагедии» («Царь Эдип» Софокла и «Макбет» Шекспира) [40]. Внимание Блока привлекли «Театр трагедии» и актерская игра Юрьева — «представителя — по слову поэта — классической традиции в театре» (VII, 386) [41].

На базе недолго просуществовавшего «Театра трагедии» в феврале 1919 г. по инициативе Горького и М. Ф. Андреевой был создан Большой драматический театр, а одним из его директоров и председателем режиссерского управления стал Блок (с апреля 1919 г.).

Концепция героического театра Горького, несмотря на некоторые существенные различия, в основном совпадала с идеями героико-романтического театра, которые Блок декларировал в своих программных статьях о театре периода БДТ и речах перед актерами и зрителями-красноармейцами [42]. И Блок и Горький считали, что основой репертуара БДТ должна стать

главным образом классическая драматургия, и в то же время они внимательно следили за нарождающейся новой драматургией — принимали деятельное участие в драматургических конкурсах и рецензировали пьесы начинающих драматургов [43].

Театральная теория и практика Виноградова, хотя и не восходили прямо к замыслам Горького, Блока и Юрьева, но некоторыми своими сторонами перекликались с программой создания героического театра, инициаторами и пропагандистами которого они были [44].

Не случайно в красноармейской мастерской после постановки первого массового действа Виноградов планировал поставить Пушкина и Шекспира, рассматривая в одном ряду революционное героическое представление и трагедии классического репертуара: «Мой путь от „Свержения" к „Борису" и ⟨...⟩ „Гамлету"» [45].

История создания трагедии Виноградова связана также с еще одним знаменательным замыслом Горького — программой так называемых исторических картин, в осуществлении которой Блок, как известно, принял деятельное участие [46]. Это был проект грандиозного цикла инсценировок для театра и кино из истории мировой культуры (предложено было около 300 тем).

Первое краткое сообщение о докладе Горького «История культуры в картинах», состоявшемся 3 марта 1919 г. на Большом художественном совете в Отделе театра и зрелищ, появилось в печати 6 марта [47]. В течение марта — апреля на заседаниях этого Совета несколько раз обсуждался проект Горького, и была создана специальная комиссия в составе Горького (председатель), М. Ф. Андреевой, С. Ф. Ольденбурга, А. А. Блока, Н. С. Гумилева, А. Н. Тихонова, К. И. Чуковского, Е. Н. Замятина и К. А. Марджанова (режиссер) по выработке обширной программы инсценировок. Блок активно включился в работу Комиссии по составлению исторических картин и в разработку плана инсценировок. Уже 9 марта 1919 г., т. е. сразу же после первого доклада Горького о картинах-инсценировках, Блок сделал следующую запись: «План картины из средних веков (Франция),— предложение Горького» (ЗК, 452). С этого дня Блок дважды в месяц участвовал в работе секции «Исторические картины». Он составил общий план «Исторических картин», написал пьесу «Рамзес» («Сцены из жизни древнего Египта»), сделал набросок сценария из истории религиозной жизни Франции, наметил план историко-культурной инсценировки об изобретении лодки, задумал темы из русской истории времен Ивана Калиты и Куликовской битвы, разработал сценарные варианты легенды о Тристане и Изольде, писал отзывы о предложенных другими авторами инсценировках [48].

Как выясняется, в период окончания работы над трагедией о Петре (март — первая половина мая 1919) Виноградов придерживался не только условий объявленного конкурса мелодрамы (февраль 1919), но также и ориентировался на задуманную Горьким программу инсценировок истории мировой культуры, учитывая ее (программы) тематические и идеологические задачи и установку на широкую массовость исполнения.

Программа была объявлена в марте 1919 г., а ее темы были раскрыты в печати лишь в мае того же года. Только 22 мая 1919 г., через два с половиной месяца после первого доклада Горького об инсценировках, в печати впервые появился подробный, с указанием тем, отчет о горьковском замысле — обширная информация по его очередному, майскому докладу [49]. Среди предложенных тем были две (одна — из жизни Петра — «Петровская ассамблея», другая — миф о Прометее), в той или иной мере связанные с темой, которую Виноградов разрабатывал в своей трагедии. Но, как отмечалось, Виноградов еще 15 мая закончил трагедию о Петре и в тот же день подал ее на конкурс мелодрамы. Несомненно он, в то время уже активный участник театральной жизни Петрограда, не мог не знать задолго до газетного отчета о списке и содержании тем горьковского проекта. Именно в это время (март — начало мая) Горький и члены Большого художественного совета (Андреева, Шаляпин, Юрьев), принимавшие участие в обсуждении проекта инсценировок, неоднократно посещали, как указывалось, руководимую Виноградовым мастерскую — 16 марта присутствовали на премьере «Свержения самодержавия», а в апреле принимали участие в репетициях «Бориса Годунова» [50].

В сентябре в итоговой статье Горького «Инсценировка мировой культуры», где подробно излагались темы всей программы для пьес, сценариев, живых картин и пантомим, по-прежнему в числе других указывались миф о Прометее и «петровский» цикл: «Петр Великий — ряд картин: Хованщина. Казнь стрельцов. Строение Петербурга. Ассамблеи. Петр и Алексей. Всешутейший собор» [51].

Естественно возникает вопрос: почему Горький в сентябре, уже после того, как он еще в мае—июне познакомился с поданной Виноградовым на конкурс трагедией о Петре и одобрил ее, продолжал считать, что тема «Петр и Алексей» и примыкающая к ней «Всешутейший собор», а также миф о Прометее оставались неразработанными?

По определению Горького, автор инсценировки должен был «до мелочей воссоздать историческую обстановку представляемой эпохи» [52]. Несмотря на обращение к жизни Петра I и идеологическую близость с проектируемыми инсценировками, трагедия Виноградова, однако, не отвечала принципу историчности, положенному в основу структуры такого рода произведений. Виноградов не ставил перед собой исторических задач, напротив, в предисловии к трагедии он писал: «Взяв историческую канву, автор свободно играет как действующими лицами, так и событиями сообразно своему художественному плану» [53].

Впоследствии Горький, видимо, не требовал от инсценировок соблюдения принципа историчности в такой чрезмерно строгой формулировке. Любопытно, что только через год после объявления в печати о проекте инсценировок и знакомства с «Российским Прометеем» Горький сообщил на заседании редколлегии секции «Исторических картин» (7 мая 1920 г.), что Виноградов написал пьесу о Петре Великом [54]. Надо думать, эта трагедия заинтересовала Горького прежде всего тем, что в ней удачным образом синтезированы две темы из общего плана «исторических картин».

Трагедия о Петре, а также агитационные инсценировки из истории недавних революционных событий, осуществленные Виноградовым на площадях, откровенно перекликаются, несмотря на функциональные различия, с этим горьковским замыслом. Такое неслучайное совпадение (героическую тематику диктовала эпоха) должно было не только убедить Виноградова в своевременности избранной им темы, но и в необходимости усилить одну из идейных линий трагедии — линию Прометеева деяния.

Трагедия Виноградова, созданная в переломную эпоху, несет в себе черты этого перелома. С одной стороны, она представляет собой как бы реликт русского символизма, его драматургического арсенала, его театральных утопий. Очевидна, например, связь трагедии Виноградова и его постановок с концепцией «всенародного действа» (первоначально «соборного действа») — грандиозным проектом «театра будущего», разработанным Вяч. Ивановым [55]. В своей театральной и драматургической практике Виноградов продолжает и доводит до некоего предела идеи Вяч. Иванова о «соборном хоровом действе» (ориентировка на античную трагедию, сказавшаяся в особой конструктивной роли хора, стремление разрушить рампу и уничтожить условность, разделяющую актеров и зрителей, перенести действие на площадь и вовлечь в него зрительскую массу и т. д.). «Постановочный утопизм» Виноградова справедливо (и мягко) отмечает А. В. Луначарский в письме к автору трагедии: «Ваши грандиозные мечты о новом театре идут параллельно с мечтами многих...» [56].

С другой стороны, Виноградов пытается связать свою трагедию с идеологией революционной эпохи, с пафосом революционного обновления мира, с особенностями театральной практики первых послеоктябрьских лет. Вот так — на пересечении традиции русского символизма и художественных поисков новой эпохи — и возникает трагедия Виноградова о Петре.

Виноградов сталкивает образы старой и новой Руси, подвижническое самоограничение (Алексея) и подвиг безграничного освобождения (Петра), искусно вплетая в этот конфликт хор раскольников и хор шутов («всешутейший собор»). Он извлекает из столкновения антагонистических сил целый каскад идеологических обертонов, которые создают своего рода напряженное поле вокруг главного лейтмотива трагедии — титанической борьбы Петра, бросившего вызов «божественному Промыслу во имя неограниченной свободы человеческой воли» [57]. По этому поводу Луначарский резонно замечает, что «из Алексея и Петра никогда не выйдет титанических личностей прометеевского характера» [58]. Блок, конечно, должен был ощутить близость проблематики трагедии о Петре — «свобода, свобода, эх, эх, без креста!» (III, 350)— к своей собственной. Быть может, Блок заметил и то, что на пути к «свободе без креста» Петр Виноградова подобно Петрухе из «Двенадцати» переступает через убийство самого близкого человека. Напомним, что с именем их общего покровителя — апостола Петра — евангельская легенда связывает убийство; в контексте христианской образности перекличка одноименных героев Блока и Виноградова неизбежна.

Как известно, один из самых парадоксальных моментов поэмы — это появление Христа во главе двенадцати, освящающее путь героев и превращающее «греховное» в «богоугодное».

Подобным образом осмысляет и Виноградов трагедию своего героя: «Петр доходит до кощунственной и дерзновенной мысли: величайший подвиг во имя божественных законов в то же время — величайшее преступление против тех же законов. Пример: Авраам и Исаак. Во имя любви к Богу Авраам готов на величайший подвиг — принести в жертву сына. Этот подвиг в то же время преступление — сыноубийство. Так и Петр для утверждения Петрова дела жертвует сыном своим, совершая и подвиг, и преступление одновременно» [59].

Поскольку образ Петра занимал известное место в творческом мышлении Блока, он, надо полагать, с интересом относился ко всякой попытке интерпретировать этот образ.

Не прошла мимо Блока, должно быть, и тема «возмездия», пронизывающая трагедию Виноградова, но трактуемая у него, правда, несколько по-иному, чем у Блока. Не пытаясь реконструировать неизвестные нам замечания поэта о последней редакции пьесы Виноградова, отметим все же любопытный пример — совпадение образных соотнесений у Блока и у Виноградова.

Размышляя над сводным текстом народной «Комедии о царе Максимилиане и непокорном его сыне Адольфе» (обработка В. В. Бакрылова), Блок установил своего рода параллелизм между образами этой комедии и персонажами русской истории: «Максимилиан — Петр 〈...〉 Адольф — народ (царевич Алексей, стремление в пустыню, раскол, пугачевщина и революционный дух) 〈...〉 Адольф — с одной стороны — носитель массового сознания; с другой — в нем личные черты (царевич Алексей, сын Петра); бунт личности — раскольничий, разбойный, революционный» (VI, 480—482)[60].

Виноградов, идя, так сказать, в обратном направлении, открывает аналогичность конфликта своей трагедии с ситуациями народной комедии и отмечает (на полях плана «Царя Петра Великого») эту комедию как один из источников собственной пьесы: «Вывод из „Царя Максимилиана“».

В полном тексте трагедии (1919) обнаруживается и откровенная цитата из Блока. Шут Балакирев обращается к главной вопленнице, персонажу без слов — «страшной, старой, безобразной бабе»,— со словами: «Эй, баба толстая, святая Русь!». Трудно предположить, как сам Блок отреагировал на такое прямое заимствование, но так или иначе эта непосредственная отсылка устанавливает генетическую связь «Российского Прометея» с образной системой «Двенадцати».

И еще одна аналогия, раскрывающая «блоковский» слой в трагедии о Петре. Предвосхищая приводимый нами далее подробный анализ маргиналий Блока, укажем на примечательную помету, относящуюся к пророчеству царевича Алексея:

А дальше — бунт! Великий бунт российский!
Такой, что дрогнет мир! Померкнет солнце
Пред заревом пожаров диких! Бунт,
Царь-смута — вот наследие Петрово.

Против этих строк Блок написал: «Это место должно быть сильнее. Банальность ритма и слов». Такой несколько легкомысленный подход Виноградова к чрезвычайно значительной для Блока теме (ср. «Мы на горе всем буржуям//Мировой пожар раздуем,//Мировой пожар в крови — //Господи, благослови!»), несмотря на идеологическую близость, несомненно, должен был показаться поэту и слабым, и «банальным». Особенно если учесть, что во время работы над «Двенадцатью» Блок вновь вернулся к «Пламени» П. Карпова и изображению широкого разлива стихийных сил в творчестве Л. Андреева [61].

Из приведенных сопоставлений, обнаруженных параллелей и перекличек явствует, что молодой драматург в пору работы над трагедией испытал сильное воздействие Блока, и прежде всего его поэмы «Двенадцать».

Итак, тетрадка с машинописью Виноградова под заголовком «Царь и сын» (сцена из трагедии «Царь Петр Великий») была прочитана Блоком не позже 8 июля 1918 г. На полях этой тетрадки Блок оставил целый ряд помет, которые в настоящей публикации впервые вводятся в оборот (см. приложение). Эти пометы легко объединяются по смыслу в несколько групп.

Самая многочисленная группа помет — первая в количественном, а не в «качественном» отношении — пометы чисто «технологического» характера, уличающие автора трагедии в недостатке собственно стихотворного мастерства, прежде всего в неискусном употреблении пе-

реноса (enjambement). Напротив строк Виноградова:

Дух не спокоен мой: не вижу царства
Наследника по крови и по духу

— Блок ставит «№» и отмечает: «перенос и расстановка слов». Действительно, поэтический слух Блока должен был оскорбиться переносом, ненужным и искажающим смысл: получается определенная бессмыслица — «не вижу царства». Несколько ниже Блок замечает: «тоже». Еще одна помета — «неловкий оборот» — фиксирует, в сущности, такое же разрушение стиховой целостности переносом, не имеющим никакой разумной мотивировки. Еще и еще Блок протестует против алогичных переносов, ставя на полях «стих?» или просто «?». Самая подробная блоковская запись этого рода как бы резюмирует все предыдущие и последующие пометы, относящиеся к переносу: «Опять переносы. Они слишком часты. Такого рода переносы надо допускать редко, и тогда они могут приобрести особый смысл».

Для Блока, романтического поэта, унаследовавшего великую традицию русского классического стиха, перенос был не компромиссом в борьбе с трудностями стихосложения, а особым и сильным средством стиховой выразительности, повышающим сообщительность стиха, его смысловой уровень: «могут приобрести особый смысл». Следует учесть также, что стих Блока в значительной мере соотнесен со стиховой системой русского и цыганского романса, городской и фольклорной песни, которым перенос (enjambement) категорически противопоказан (как его, создающего противоречие между стиховой и музыкальной фразой, петь?). Кроме того, в блоковскую эпоху еще сохранялась инерция восприятия, свойственная традиции XIX в., по которой перенос (подобно, скажем, составной и каламбурной рифме от Пушкина до Минаева и дальше) был окрашен в иронические тона и «приличествовал» скорее юмористике, чем высокому стиху трагедии. Противоречие между высоким заданием трагедии и юмористической окраской переноса должно было остро ощущаться Блоком.

Через полтора года после чтения трагедии Виноградова Блок вписал в рукописный альбом Д. С. Левина, сотрудника издательства «Всемирная литература», шуточное стихотворение, которое так и называется «Enjambements»:

Давид Самуилыч! Едва
Альбом завели,— голова
Пойдет у Вас кру́гом: не раз и не два
Здесь будут писаться слова:
«Дрова» [62].

Комическое звучание переноса для блоковского слуха здесь выявлено достаточно определенно.

Апелляцию к собственному слуху находим и в такой помете Блока: «Этот стих приемлем, по кр⟨айней⟩ м⟨ере⟩, на мой слух. Он мне звучит, а другие (отмеченные как неправильные) не звучат. А. Б.». Имеется в виду следующее место из сцены «Царь и сын»:

Бог Саваоф в Полтавском грозном громе
Нам начертал: наука, правда, труд.
Сими стихиями вооружась,
Пред гордым строем просвещенных стран...[63]

Следует предположить (с весьма высокой степенью вероятности), что на слух Блока «звучит» и «приемлем» лишь такой «испорченный» стих, который по звучанию приближается к тактовику, вошедшему в ритмическое мышление Блока не в последнюю очередь благодаря Г. Гейне (и традиции его русских переводов) и основательно разработанному самим Блоком.

Особо выделяет Блок сцену убийства царевича и отмечает: «В этой сцене, как она написана, есть хорошая сдержанность (например, экономия слов в ремарках)».

Другая группа помет связана со стилем трагедии Виноградова, причем, следует отметить, стилистика рассматривается Блоком не «технологически», а как сфера формирования художественного целого. Блок возражает прежде всего против отсутствия единства стиля, отсутствия стиля как системы, против стилистического эклектизма Виноградова.

Петр в трагедии говорит о России, «восставшей от гроба к бытию». Философский термин «бытие» несопоставим с «гробом» ни в его конкретном, ни в его метафорическом значении (естественно было бы сопоставить «бытие» с «небытием», а «гроб», скажем, с «пиром жизни»);

поставленные рядом, они контрастируют не столько по смыслу, сколько стилистически, и Блок замечает на полях: «Так книжно он, может быть, и не сказал бы». Дальше — еще: «опять книжно». Еще дальше — по поводу строчки «Свершает ныне вещий путь Россия»: «Петр не скажет». Дело тут, конечно, не в том, что Блоку достоверно известно, как Петр может сказать, а как — нет. Дело в другом: в выпадении этих «пышных» книжных оборотов из того стиля, который воспринимается Блоком как «достоверно петровский» в рамках данной стилистики.

Блок «ловит» Виноградова на очень любопытном случае «книжности» и стилистического эклектизма: автор трагедии вкладывает в уста своего героя литературные цитаты из текстов, созданных много лет спустя после Петра. Напротив строк трагедии:

Казнить? А судьи кто? Царя и сына
Пусть судит весь народ наш православный...

— Блок замечает: «Второй раз — классическое выражение (первое — «окно в Европу»). Лучше избегать этих сочетаний». Очевидные цитаты из *послепетровской* русской литературы воспринимаются в трагедии о Петре как анахронизмы — словно Петр воспитывался на Пушкине и Грибоедове [64].

Другая запись Блока на полях сцены «Царь и сын» вполне откровенно говорит о зависимости Виноградова от стиля исторических сочинений Мережковского: «Тут везде попадаются слишком книжные обороты. Как будто, влияние Мережковского — так говорят люди в его романах». Помета по поводу фразы «ан промах-то антихристов!» — этого, по слову Блока, «сомнительного символа» — снова возвращает нас к Мережковскому.

Несколько позднее, в статьях «Большой драматический театр в будущем сезоне» (май 1919) и «О Мережковском» (21 марта 1920), Блок даст весьма высокую оценку роману Мережковского «Петр и Алексей» и его драме «Царевич Алексей»; более того, называя Мережковского «*художником*» (подчеркнуто у Блока) во второй из названных статей, он отмечает: «Место же это (т. е. занимаемое Мережковским место художника.— *А. Л.*) для меня давно и бесповоротно определилось ‹...›» (VI, 393). Не вдаваясь в подробную характеристику отношений между Блоком и Мережковским (едва ли уместную в этом сообщении), следует отметить явно отрицательную оценку, данную Блоком Мережковскому летом 1918 г.: блоковское «давно и бесповоротно» становится сомнительным; упрек в излишней «книжности» адресован Виноградову как бы через Мережковского — ведь «так говорят люди в его романах». Если все многочисленные упреки в «книжности», оставленные Блоком на полях сцены «Царь и сын», подобно этому, ассоциировались у Блока с Мережковским, то, надо признать, за ними стоит другой, значительно более серьезный упрек — в некотором эпигонстве, неосознанном подражательстве.

В пометах Блока на полях сцены «Царь и сын» чрезвычайно любопытно предложение «развить», «пояснить», «сказать отчетливей» фразу Виноградова «черт из тьмы татарской». В сущности, эта помета противостоит замечанию о Мережковском и сводится к тому, что Блок обнаружил у Виноградова нечто близкое себе. Образ «черта из тьмы татарской», действительно, на удивление блоковский, словно бы взятый из черновиков «На поле Куликовом» или с какой-то периферии образной системы этого произведения Блока. Обнаружив у Виноградова образ «блоковского» стиля, Блок одновременно отмечает недостаточную выраженность этого образа и предлагает «сказать отчетливей».

Итак, смысл блоковских маргиналий в целом следует рассматривать как констатацию утраты высокой поэтической культуры символизма его «запоздалым последователем». При этом, как было показано выше, работа Виноградова не могла не вызвать сочувствие Блока рядом своих качеств, не в последнюю очередь тем «триумфом свободного человека в Петре», о котором писал Луначарский. Следует напомнить, что пометы Блока относятся не ко всему тексту трагедии, а лишь к одной сцене первоначальной редакции трагедии. Тот же экземпляр сцены, на котором сделаны пометы Блока, и полный текст трагедии свидетельствуют, что Виноградов очень серьезно воспринял критические замечания Блока и внес в текст соответствующие поправки.

Ниже приводятся фрагменты из сцены «Царь и сын» трагедии Н. Г. Виноградова «Царь Петр Великий» и пометы Блока. Орфография и пунктуация в публикуемых текстах унифицированы по современным нормам с сохранением индивидуальных особенностей стиля автора трагедии.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] О работе Блока в Репертуарной секции см.: Ю. К. Герасимов. Александр Блок и советский театр первых лет революции.— «Блоковский сб.», 1, с. 321—343; Н. Д. Волков. Блок в ТЕО.— В кн.: «Александр Блок и театр». М., 1926, с. 129—136; Н. И. Дикушина. Блок и Луначарский.— Наст. кн., с. 272; В. Степанов. Блок в ТЕО.— «Театральная Москва», 1921, № 4, 7—10 ноября, с. 3—4; С. Алянский. В театральном отделе Наркомпроса.— В кн.: «Встреча с Александром Блоком». М., 1972, с. 60—67.

[2] Впоследствии он принял творческий псевдоним Н. Г. Виноградов-Мамонт.

[3] В первые годы создания советского театра особый интерес вызывала романтическая мелодрама, с возрождением которой связаны имена Луначарского и Горького. Об условиях конкурса мелодрамы (автором текста программы конкурса и секретарем жюри был Горький) см. в газ. «Петроградская правда», 27 февраля и 4 марта 1919 г. и «Жизнь искусства», 28 февраля 1919 г. См. также статью Луначарского «Какая нам нужна мелодрама?» («Жизнь искусства», 1919, № 58, 14 января). Об отношении Блока к мелодраме см. в его докладе «Очередная работа Репертуарной секции».— «Блоковский сб.», 1, с. 342.

[4] Фактически его первым драматургическим опытом была пьеса «Святая Русь» («Минин и Пожарский»), 1911, запрещенная цензурой (не сохранилась). В архиве историка театра В. Н. Всеволодского-Гернгросса находится авторизованный машинописный экземпляр трагедии Виноградова «Российский Прометей» (окончательная редакция) с дарственной надписью: «Другу-жене моей К⟨алерии⟩ А⟨рсеньевне⟩ Р⟨озовой⟩-В⟨иноградовой⟩. Тебе посвящаю эту первую трагедию, завершение моего ученичества. Теперь веди меня, как Беатриче Данта, в сферы Театра-Храма. Н⟨иколай⟩ В⟨иноградов⟩» (ЦГАЛИ, ф. 2640, оп. 1, ед. хр. 147, л. 1 об.).

[5] Здесь Блок с глубокой иронией вновь касается вопроса о театральных «исканиях». Об этом, а также о принципиальной установке Большого драматического театра на классический репертуар Блок говорит в статье «Большой драматический театр в будущем сезоне» (май 1919) и в ⟨«Речи к актерам при закрытии сезона»⟩ (5 мая 1920). В этой речи он, как и в письме к Н. А. Нолле, предостерегает актеров от самоцельных экспериментов: «В сладострастии «исканий» нельзя не устать; горный воздух, напротив, сберегает силы. Дышите же, дышите им, пока можно; в нем — наша защита, защита большого и тяжелого тела нашего театра, о который хлещут, как никогда еще не хлестали, высокие волны жизни» (VI, 401).

[6] Находился у вдовы писателя Т. П. Воробьевой, любезно предоставившей ее для работы. Этот экземпляр — машинопись в виде сброшюрованной тетради в 22 нумерованные страницы с авторской карандашной правкой, сделанной чернилами подписью «Н. Виноградов. Петроград. 1918» и с карандашными пометами Блока. На печатной обложке тетради, изображающей Петра Великого, имеется авторская надпись «Материалы», сделанная синим карандашом, относящаяся, несомненно, к 1918 г. Текст напечатан по старой орфографии. Виноградов, внося правку в этот экземпляр и, очевидно, передавая исправленный текст машинистке, зачеркнул блоковские пометы карандашом. (Ныне—ЦГАЛИ, ф. 2542).

[7] См. стихотворения «Петр» и «Поединок» (II, 141—145, 414—415), поэму «Возмездие» и стихотворение «Пушкинскому дому» (III, 330, 376, 609). О создании первых двух стихотворений и о связанной с ними статье Е. П. Иванова «Всадник» (альм. «Белые ночи». СПб., 1907) см. в его «Воспоминаниях об Александре Блоке» («Блоковский сб.», 1, с. 376—377, 387). См. также блоковскую оценку Петра в связи с рассказом Б. Садовского «Стрельчонок» (VI, 81—82).

[8] Виноградов и его жена К. А. Розова окончили эти курсы в 1918 г. См. «Временник ТЕО Наркомпроса». Пг.— М., 1918, № 1 (ноябрь), с. 23.

[9] Приводим свидетельство Мейерхольда о работе мастерской из его выступлений на первом всероссийском съезде по внешкольному образованию. «Мейерхольд,— сообщалось в отчете, написанном им самим,— передает далее впечатление свое от опытов петербургских красноармейцев, показавших новые опыты инсценировок пьес: они разыгрывались ими в любом месте, не считаясь с тем, есть сцена или нет ее. Мейерхольд, невольно сопоставляя игру красноармейцев с игрою средних профессионалов, отдает предпочтение первым ⟨...⟩ В душах молодых актеров-красноармейцев трепещущий, подлинно-героический пафос дает театру новую жизнь». Цит. по ст. А. В. Февральского «Горький и Мейерхольд. (К истории их отношений)».— «Вопр. лит.», 1966, № 3, с. 182—183. Недавно опубликована стенограмма лекции с условным заглавием «О походном театре» (прочитана 6 марта 1919 г.) (сб. «Творческое наследие В. Э. Мейерхольда». М., 1978, с. 35—41). Не исключено, что Мейерхольд читал эту лекцию в красноармейско-драматургической мастерской, так как из текста видно, что она адресована армейской аудитории.

[10] О театрально-драматургической мастерской и поставленных ею инсценировках подробно писали в петроградской и московской печати периода гражданской войны, а также в советской театральной историографии. См.: «Массовые празднества». Л., 1926, с. 56—62; В. Всеволодский (Гернгросс). История русского театра. (Предисл. и общая редакция А. В. Луначарского), т. 2. Л.— М., 1929, с. 387—389; А. С. Булгаков и С. С. Данилов. Государственный театр в Ленинграде. М.— Л., 1931, с. 22—24; А. А. Гвоздев, Анд. Пиотровский. Петроградские театры и празднества в эпоху военного коммунизма.— В кн.: История советского театра, т. 1. Л., 1933, с. 244—251; А. О. Богуславский, В. А. Диев. Русская советская драматургия. 1917—1935. М., 1963, с. 63—70. Интересно, что Ромен Роллан дал высокую оценку этим экспериментальным представлениям,

познакомившись с ними по книге французской исследовательницы Н. Гурфинкель о современном русском театре (1931) (Р. Роллан. Собр. соч. т. 7. М., 1956, с. 289—290).

[11] Н. Г. Виноградов-Мамонт. Красноармейское чудо. Повесть о театрально-драматургической мастерской Красной Армии. Вступ. статья и редакция Т. В. Ланиной. Л., 1972; Рецензии на эту книгу: Л. Ильина. Площадное действо.— «Театральная жизнь», 1973, № 20, с. 24—25; газ. «Смена», Л., 1973, № 63, 16 марта; Т. Ланина. Массовый спектакль.— «Вечерний Ленинград», 20 июля 1979 г.

[12] Машинописный текст плана представляет собой восемь листов с заполненными оборотами и с авторскими карандашными вставками, а также подписью «Н. Виноградов. Крестовский остров, Александровский проспект, д. № 6[в]», сделанной чернилами. Однако стоящая на машинописи дата «Написано в Петрограде в июне 1918 года», очевидно, была проставлена в 60-е годы, так как она сделана шариковой авторучкой (ЦГАЛИ, ф. 2542).

[13] «Временник ТЕО Наркомпроса», 1919, вып. 2 (февраль), с. 45—46.

[14] Там же, с. 47—48.

[15] В «Красноармейском чуде» (с. 12—13) Виноградов приводит еще одно такое декларативное заявление: «Эсхил, Шекспир, Мольер были великими драматургами, режиссерами и актерами. Так и у нас в Мастерской каждый красноармеец будет и актером, и драматургом». Первая коллективная пьеса мастерской (текст не сохранился) «Свержение самодержавия» (в расширенной редакции — трилогия «Красный год») получила на конкурсе революционных пьес (март 1920) первую премию («Вестник театра», 1920 № 57, с. 13).

[16] «Красноармейское чудо», с. 23.

[17] Там же, с. 22. С этими установками связано и название мастерской — театрально-*драматургическая* мастерская Красной Армии, а ее организатор и главный режиссер получил ироническое прозвище «Виноградов-Драматургический» («Красноармейское чудо», с. 26).

[18] П. П. Гайдебуров. Творческая игра. Импровизационный метод Н. Ф. Скарской.— «Внешкольное образование», 1919, № 6/8 (вышел 10 марта 1920), с. 36—37.

[19] Например, известный знаток театра Эсхила, будущий переводчик «Прикованного Прометея» Адриан Пиотровский писал в статье «Четвертый год»: «25-е Октября вернуло миру Эсхила и Возрождение — оно родило поколение с огненной душой Прометея» («Жизнь искусства», 1920, № 602—604). Пиотровский, ставший руководителем этой красноармейской мастерской во второй ее период, неоднократно писал о ней в своих статьях.

[20] Эпизод, связанный с подачей трагедии на конкурс, описан в неизданном фрагменте из «Красноармейского чуда» в характерной для автора театрализованной манере: «15 мая — последний срок представления пьес для конкурса на мелодраму. В этот день Калерия Арсеньевна ‹Розова-Виноградова.— *А. П.*› несколько раз ездила в Культотдел, диктуя милой Генриетте Позамантир страницы моей еще не оконченной рукописи. В девять часов вечера я дописал последние стихи. В одиннадцать — измученная Генриетта перепечатала финал. Калерия Арсеньевна вернулась в половине двенадцатого. Мы вместе отправились на Кронверкский проспект. Поднялись к квартире М. Горького. Позвонили. Дверь осторожно открылась. За накинутой дверной цепочкой — испуганное лицо домработницы. Мы передали пакет. На нем надпись: «Председателю жюри М. Горькому. «Петр Великий», трагедия. Девиз автора: «Российский Прометей"» (ЦГАЛИ, ф. 2542).

[21] «Жизнь искусства», 1919, № 180, 4 июля; «Петроградская правда», 1919, № 195, 31 августа; «Вестник театра», М., 1919, № 36, с. 12.

[22] «Вестник театра», М., 1920, № 75, с. 7. В списке пьес, рекомендованных ТЕО к постановке, трагедия Виноградова «Российский Прометей» («Петр I») указывалась в группе пьес «героического характера или большого подъема» и сообщалось, что она готовится к печати (поставлена и напечатана не была).

[23] Цит. по рукописи «Красноармейское чудо» (ЦГАЛИ, ф. 2542). Об этом см. также в письме Виноградова к Горькому 18 июля 1928 г., фрагмент из которого опубликован Н. А. Трифоновым: «Вы бывали у меня, и я бывал у Вас — и пользовался Вашим расположением. Первую мою пьесу «Российский Прометей» (о царе Петре) Вы хвалили» («А. В. Луначарский. Исследования и материалы». Л., 1978, с. 154).

[24] См., например, заметку «Н. Г. Виноградов в Актеатрах»: «Н. Г. Виноградов — драматург, режиссер, идеолог и критик искусства; в 1920 ‹1919.— *А. П.*› им была написана трагедия «Прометей» («Петр Великий»), живо заинтересовавшая М. Горького и Ф. Шаляпина, одно время предложенная к постановке Московским Художественным и Большим Драматическим театрами» («Красная газета», веч. вып., Л., 1924, № 153, 9 июля).

[25] См.: «Жизнь искусства», 1919, № 178, 2 июля; «Жизнь искусства», 1920, № 422—425; а также в кн. Л. Тамашина «Советская драматургия в годы гражданской войны» (М., 1961, с. 271—272).

[26] Сб. «Горький об искусстве». М., 1940, с. 169—172. В сб. приведены 50 сохранившихся отзывов Горького (все — отрицательные, всего на конкурс была подана 41 пьеса).

[27] Виноградов вспоминал в «Красноармейском чуде» (с. 124), что Горький, Шаляпин, Юрьев, Петров-Водкин и он сам обсуждали план создания «Академии трагического театра», он, по его собственному определению, был «одержим негласной Академией». Об этих встречах вспоминает и биограф Горького И. Груздев, в то время сотрудник красноармейской мастерской: «Он ‹Виноградов.— *А. П.*› увлек ряд видных работников искусства своей идеей постановки спектакля на площади Казанского собора. У него бывали и его слушали композитор Б. Асафьев, художник Петров-Водкин, артист Ю. Юрьев. Приходил и Шаляпин. У меня сохранилась запись: „26 июля 1919 г. будет у Виноградова беседа о реорганизации Пролеткульта.

Согласились принять участие в беседе Шаляпин, Горький и Юрьев"» (И. Груздев. Мои встречи и переписка с М. Горьким.— «Звезда», 1961, № 1, с. 141—142).

[28] Виноградов рассказывал в 1965 г. автору этих заметок, что Горький, Шаляпин и Юрьев пришли к нему домой, чтобы лично поздравить его с удачным дебютом на конкурсе.

[29] «Жизнь искусства», 1919, № 180, 4 июля.

[30] ЦГАЛИ, ф. 420, оп. 1, ед. хр. 36, л. 1—1 об. Свой отзыв в измененной редакции Ремизов напечатал в газ. «Жизнь искусства» (1920, № 363, 5 февраля), где указывал, что выделяет трагедию Виноградова (и пьесу еще одного автора) «по необыкновенности театрального приема» и «ставит на первое место» среди других пьес, присланных в Репертуарную секцию. Об этом же Ремизов писал Виноградову в Самару 6 февраля 1920 г.: «Посылаю Вам № Ж⟨изни⟩ И⟨скусства⟩. По-моему: пролог божественной трилогии (без «К⟨омедии⟩») ⟨...⟩ Это ничего, что лицо одно, хор тоже лицо-лик ⟨...⟩ И все-таки я Вам скажу: в Петерб⟨ург⟩ Вам надо. Тяжело, правда, но у Вас дар, молодость и сила, и Вы победите ⟨...⟩ Алексей Максимович очень много может сделать для Вас» (ЦГАЛИ, ф. 420, оп. 1, ед. хр. 69, л. 1,4). Впоследствии, в эмиграции, Ремизов также писал о Виноградове: см. хронику в «Новой русской книге», Берлин, 1922, № 1, с. 7 и № 2, с. 35, где говорится, что Виноградов, автор «хоровой трагедии о Петре», пишет теперь драму о Льве Толстом.

[31] Эту зависимость отмечала и критика: А. И. Пиотровский в своей статье, связанной с вульгарно-социологическими тенденциями той эпохи, дал трагедии не беспристрастную оценку: «Он ⟨Виноградов.— *А. П.*⟩ являлся запоздалым последователем драматургов-символистов — Брюсова, Вяч. Иванова, Анненского,— пытавшихся создать некий соборный дифирамб ⟨...⟩ Виноградов и сам писал подобные пьесы, правда, выбирая своих героев не из классической древности, а (под воздействием Клюева и Ремизова) из соответственным образом мифологизированной русской истории. Такой была его пьеса — не то народный сказ, не то античный дифирамб — «Трагедия о царе Петре». Через влечение к монументальному театру Виноградов соприкоснулся также с «Театром трагедии» Юрьева. Так сочетались в нем столь противоречивые, казалось бы, тенденции» (см.: «История советского театра», т. 1. Л., 1933, с. 245).

[32] Письмо-отзыв Луначарского см. в кн.: ЛН, т. 82. М., 1970, с. 383—386. Датировку письма, которое автор публикации относит к 1919 г., можно уточнить: оно написано, вероятно, в сентябре-октябре этого года, так как в письме также идет речь и о сценарии Виноградова, написанном для октябрьских праздников. Сообщение об этом сценарии появилось в «Вестнике театра» (М., 1919, № 36), и в том же номере указывалось, что автором сценария «написана постановочная пьеса «Петр Великий», намеченная к постановке одновременно и в Петербурге и в Москве в театре Незлобина», а в хронике сообщалось, что Виноградов в данное время находится в командировке в Москве. Видимо, тогда он и передал свою трагедию на отзыв Луначарскому. Интересно, что в этом же номере «Вестника театра» была напечатана положительная рецензия Луначарского «Цари на сцене» на спектакль «Петр и Алексей» Мережковского в театре б. Корша. Подробнее об отношении Луначарского к Виноградову см. в ст. Н. А. Трифонова «Из опыта работы Луначарского с молодыми писателями».— «А. В. Луначарский. Исследования и материалы», с. 149—158.

[33] ЦГАЛИ, ф. 232, оп. 1, ед. хр. 41, л. 1—2.

[34] Не совсем ясно, когда Виноградов мог познакомиться с текстом трагедии Мережковского «Царевич Алексей» — она была впервые издана в 1920 г., премьера в БДТ состоялась 25 марта 1920 г., а в Москве, в театре б. Корша, он мог видеть спектакль «Петр и Алексей» по этой трагедии не ранее осени 1919 г.

[35] Например, Мережковский, хотя и не приемлет смирения Алексея, мечтает о синтезе двух идеологий — отца и сына, а Виноградов, напротив, безусловный сторонник Петра, но не столько его конкретных дел, сколько «духа прометеизма».

[36] ЦГАЛИ, ф. 232, оп. 1, ед. хр. 41, л. 1—2.

[37] Там же.

[38] Приведем также отзыв поэта В. В. Хлебникова, близко знавшего Виноградова и его жену и праздновавшего у них, в Пятигорске, свой день рождения (9 ноября 1921 г.). Хлебников после знакомства с «Российским Прометеем» (причем по экземпляру с замечаниями Блока, как свидетельствует Виноградов) подарил автору трагедии машинописный текст своей поэмы «Осень» (первоначальная редакция поэмы «Шествие осеней Пятигорска») с такой дарственной надписью: «Ясновидцу Ужаса созерцатель Будущего. На память о пятигорских вечерах, легких и радостных, под знаком Бахуса, и тонких, как это перо, Николаю Глебовичу Виноградову. Я, Велимир. Отец будущего. 9.XI.21. Пять гор» (у автора публикации). Одновременно Хлебников подарил К. А. Виноградовой рукопись посвященного ей стихотворения «Перед закатом в Кисловодск» с дарственной надписью (см. неточный текст в кн.: В. Хлебников. Неизданные произведения. М., 1940, с. 194, 418). По свидетельству А. Е. Крученых, Хлебников в дореволюционный период работал над романом о Петре I, который не сохранился.

[39] ЛН, т. 82, с. 385. О проблемах монументального театра Виноградов писал в предисловии-манифесте к своей трагедии о Петре, эти проблемы он разрабатывал в поставленных им инсценировках и в сценариях, написанных для первомайских и октябрьских торжеств. Его монументальный проект уличного массового действа для первомайского праздника в Москве был премирован на конкурсе (см.: «Вестник театра», М., 1919, № 19; «Жизнь искусства», 1919, № 121, 25 апреля).

[40] Первые шаги Юрьева в этом начинании поддержал Луначарский, а Горький, Шаляпин,

М. Ф. Андреева, М. В. Добужинский и другие вошли в состав «Трудового товарищества» по созданию «Театра трагедии». Подробнее об этом см. в кн. Ю. М. Юрьева «Записки». Л.—М., 1948.

[41] 3 сентября 1918 г. Блок вместе с женой присутствовал на спектакле «Макбет» (ЗК, 424). Об отношении Блока к Юрьеву см. в дневнике и «Записных книжках» поэта, а также публикацию Ю. К. Герасимова «Письмо Блока Ю. М. Юрьеву».— «Блоковский сб.», 1, с. 527—529.

[42] См. статьи Горького («Трудный вопрос») и Блока («Большой драматический театр в будущем сезоне» и «О романтизме»), открывающие сб. «Дела и дни Большого драматического театра» (кн. 1. Пг., 1919), посвященный созданию и программе театра. См. также статью Горького «О героическом театре».— «Архив М. Горького», т. III. М., 1951, с. 220—222.

[43] Интересно, что в 1920 г. Виноградов сблизился в Самаре с писателем А. С.Неверовым и обсуждал с ним его драматургические опыты, в том числе и пьесу «Захарова смерть», получившую премию на конкурсе революционных пьес. Блок в том же году назвал ее в своем отзыве «подлинным литературным произведением» (VI, 329) — см. об этом в воспоминаниях Виноградова «Художник яркого дарования» (в кн.: А. Н е в е р о в. Из архива писателя. Исследования. Воспоминания. Куйбышев, 1972, с. 226). Начинающий драматург Д. А. Щеглов, в то время помощник Виноградова по красноармейской мастерской, также посылал Блоку на отзыв свои пьесы. О Виноградове, о деятельности мастерской и о письме-отзыве Блока см. в воспоминаниях Д. А. Щеглова «У истоков».— Сб. «У истоков». М., 1960, с. 20—21, 26—27, 32, 39, 53.

[44] Вспоминая свою «дерзновенную молодость», Виноградов писал с характерной для него гиперболичностью: «Я влюблен в патетический театр, театр трагедии, романтической драмы, театр Эсхила, Шекспира, Шиллера, Пушкина <...> увлекался грандиозными построениями, «титаническими замыслами» <...> создавал концепции революционных трагедий, превосходящих по размеру «Фауста» Гете и «Божественную Комедию» Данте <...> развивал идеи реконструкции театра, новой архитектуры и театрального здания и сцены <...> ломал драматургические каноны в поисках новых форм <...> (см. его воспоминания о драматурге Б. С. Ромашове в кн. Б. С. Ромашова «Звезды не могут погаснуть». М., 1966, с. 332—334).

[45] См.: «Красноармейское чудо», с. 85.

[46] Здесь важно подробно рассмотреть этот эпизод творческой биографии Блока, так как в литературе, посвященной данному вопросу, до сих пор нет точной хронологии.

[47] См.: «Жизнь искусства», 1919, № 92, 6 марта. В состав Большого художественного совета, кроме Горького, входили М. Ф. Андреева, Ф. И. Шаляпин, Ю. М. Юрьев и еще несколько человек. На этом докладе Горького (содержание его не приводилось) присутствовал Луначарский.

[48] Подробнее о сотрудничестве Блока в этой секции см.: «Воспоминания о Блоке» Е. Замятина («Русский современник», 1924, № 3, с. 184—194), публикации планов из «Исторических картин» с комментариями П. Н. Медведева (там же, с. 165—166) и шуточную «Сцену из исторической картины «Всемирная литература» с комментариями К. И. Чуковского (там же, с. 167—171); ср. расширенный вариант в альбоме «Чукоккала» (М., 1979, с. 204—210). См. также: Н. Д. В о л к о в. Александр Блок и театр. М., 1926, с. 137—145; П. Н. М е д в е д е в. Драмы и поэмы А. Блока. Л., 1928, с. 155—160; ср. также с указанной статьей Н. И. Дикушиной в наст. кн.

[49] См. статью «Горький о кинематографе».— «Жизнь искусства», 1919, № 143, 22 мая (кроме первого сообщения, в той же газете (№ 100, 20 марта) была опубликована и вторая информация о проекте Горького, но, как и в первом случае, без упоминания предложенных для инсценировок тем). Отмечалось, что и на майском докладе Горького присутствовал Луначарский и всецело поддержал его проект, а также выразил пожелание «вынести указанные инсценировки на улицу, устроив массовые шествия, которые могли быть приурочены к всенародным праздникам (например, 1 мая)». Об одной из таких инсценировок Луначарский написал статью «Сценарий для массового действия на празднике Третьего Интернационала» (ЛН, т. 80, с. 662—667).

[50] «Красноармейское чудо», с. 60, 72, 74, 88—98. О репетициях «Бориса Годунова» в мастерской см. в воспоминаниях Н. Д. Волкова «Театральные вечера» (М., 1966, с. 27).

[51] «Жизнь искусства», 1919, № 251, 252, 253—254 от 25, 26, 27—28 сентября.

[52] См. указанную статью «Горький о кинематографе».

[53] ЦГАЛИ, ф. 2640, оп. 1, ед. хр. 147, л. 5.

[54] «Летопись жизни и творчества А. М. Горького», вып. 3. М., 1959, с. 174. Блок, видимо, не присутствовал на этом заседании — 7 мая он выехал в Москву (ЗК, 492).

[55] Историки театра писали: «Влияние Вяч. Иванова на петроградских театральных работников также весьма ощутимо, и, например, теория «мифотворчества» поддерживается в 1919 г. Мейерхольдом, пытающимся соединить ее с новыми задачами рабоче-крестьянского театра» («История советского театра», т. 1. Л., 1933, с. 139). Некоторые театральные концепции Вяч. Иванова нашли отражение в его трагедии «Прометей», написанной в 1915 г., но изданной только во второй половине 1919 г. Во время работы над своей трагедией Виноградов, видимо, еще не был знаком с этим произведением.

[56] ЛН, т. 82, с. 383.

[57] Цит. по плану трагедии (1918). ЦГАЛИ, ф. 2542.

[58] ЛН, т. 82, с. 384.

[59] Цит. по плану трагедии.

[60] Не исключено, что Блок обсуждал это с Ремизовым — см. его запись: «Ремизов о бакрыловском «Царе Максимилиане» (ЗК, 473). В авторском послесловии («Портянка Шекспира») к собственной обработке «Царя Максимилиана» Ремизов приводит те же параллели: «Царь Максимилиан — да ведь это царь Иван и царь Петр. Непокорный и непослушный Адольф — да ведь это царевич Алексей, весь русский народ» (А. Ремизов. Царь Максимилиан. Пг., 1920, с. 112).

[61] В 1918—1919 гг. Блок трижды перепечатал свою рецензию (1913) на роман П. Карпова «Пламень» — в книге «Россия и интеллигенция» (в двух изданиях) и в газ. «Знамя труда», где незадолго до этого была напечатана поэма «Двенадцать». О взаимоотношениях Блока и П. Карпова см. в ст. К. М. Азадовского в наст. кн. Вопросу о связях, цитатах, параллелях произведений Л. Андреева и романа П. Карпова с поэмой «Двенадцать» посвящена статья «У истоков „Двенадцати“» М. С. Петровского, который любезно познакомил нас с рукописью. Пользуясь случаем, выражаем М. С. Петровскому и В. Л. Скуратовскому, высказавшим во время работы над этим сообщением ряд ценных предложений и замечаний, сердечную благодарность.

[62] III, 462. Историю стихотворения и его другую редакцию см. в кн.: «Чукоккала». М., 1979, с. 216—217.

[63] Третий стих подчеркнут Блоком.

[64] Как известно, сам Блок неоднократно использовал цитаты из Пушкина, более того — те же самые (например, для характеристики Петра в черновике к поэме «Возмездие» — III, 609):

Царь! Ты опять встаешь от гроба
Рубить нам новое окно?

— но они у него всегда функционально значимы и мотивированны.

ПОМЕТЫ БЛОКА НА ПЬЕСЕ Н. Г. ВИНОГРАДОВА

⟨3—5⟩

Петр[1].

Алеша, пожалей отца!	№ перенос и расстановка слов
Дух не спокоен мой: не вижу *царства*	
Наследника по крови и по духу.	
Трудом и потом создал я Россию.	
Я царь, да на моих ладонях *царских*	
Мозоли. Горек труд Петра, но *сладки*	тоже
Плоды. И ныне, на пиру светлейшем	
Я гордо чашу царскую воздвиг	
За Русь, преображенную наукой.	
Свершилось чудо: видит Петр Россию,	Так книжно он, может быть,
Восставшую от гроба *к бытию*.	и не сказал бы.
А дальше что? Кому оставлю царство?	
Кто новый царь? Куда пойдет Россия?	
Ты — сын единственный, сын первородный,	
Законный и возлюбленный наследник,—	
Ты на отца восстал и на царя.	

Алексей (с глубокой скорбью).
Так, батюшка, что хочешь от меня?

Петр.

Помощником мне будь! Ты заверши	
Петрово дело. *Вослед за мною будь*	неловкий оборот
Таким царем, чтоб и Петра забыли!	

[1] Пометы и знаки, проставленные Блоком на полях и внизу под текстом машинописи, перенесены в правую колонку, кроме трех особых случаев, когда Блок проставил правильное ударение и выделил слова в тексте вопросительными знаками и круглыми скобками (в этих случаях они оставлены в левой колонке). Слова, подчеркнутые Блоком одной прямой, двумя прямыми и волнистой линиями, выделены соответственно курсивом или разрядкой, а отчеркивания на полях волнистой линией и фигурными скобками отмечены в сносках. Обозначающий сноску значок * принадлежит Блоку. В левой колонке в ломаных скобках указаны страницы машинописи.

А л е к с е й.
Я — Алексий, царевич Божий, Богом
Ниспосланный спасти Святую Русь:
Вернуть с бесовской западной дороги
На золотой восточный, Божий путь.

П е т р.
Назад, к московскому болоту, к тине
Татарской? А...? Что ты, щенок, задумал?
Поклонами да воплями кликуш
У б и т ь д у х просвещенья, дух Петра?
Сему не быть вовек! Не быть!

А л е к с е й.
Царь Петр!
А сам ты веришь в истину и святость
Петрова чуда?

Тут везде попадаются слишком книжные обороты. Как будто, влияние Мережковского — так говорят люди в его романах [2].

‹5› П е т р.
Верую. *Тому*
Анафема, кто усомнит меня.

Опять переносы. Они слишком часты. Такого рода переносы надо допускать редко, и тогда они могут приобрести особый смысл.

А л е к с е й.
И никогда, среди трудов державных
Или молитвы царской, там, в московских
Соборах златоглавых, не смущался
Твой дух сомненьями иль тайной мыслью:
Да прав ли ты в пути избранном? А? [3]

‹5› П е т р.
Сомненья в чем? Дела мои суди:
Я прорубил *полтавским топором*
Окно в Европу. Я стране татарской
В семье народов европейских дал
Почетное и славное гражданство.

Такой метафоры Петр не употребил бы.

‹6—7› П е т р.
Я — Богом вдохновленный, кормчий — царь,
По звездам путь читая, твердо правлю
Железною рукой корабль державный:
Из стран полунощных веду на запад,
Где(?) просвещенья свет *да*(?) озарит
Россию.

опять книжно

‹7› А л е к с е й.
Царь, остановись, опомнись!
За *светом умирающим* идешь!
Не на востоке ль от начала мира
Восходит солнце? *Попираешь дерзко*
Издревле *освященный путь, нам Богом*
Указанный. Молитвы презираешь

аллегория

---

[2] Эта помета, сделанная под текстом на с. 4, несомненно относится ко всему диалогу Петра и Алексея, приведенному на с. 3 и 4 машинописи.

[3] Верую ∞ Да прав ли ты в пути избранном? А...— отчеркнуто слева волнистой линией.

Царей московских и народа. Но
Спроси-ка совесть: а тебе не дорог
Восточный путь? А вспомни свой Азов
И прутские походы!

П е т р.

Змей Горыныч!
Из глубины веков ты вылез! *Черт*
Из тьмы татарской! * Клобуком покрылся
И душу мне ужалил, душу! Веру
Поколебал мою!

* Есть фразы, которые можно бы сжать (особенно потому, что действия нет пока); эту же, наоборот, надо развить: «черт из татарской тьмы» нуждается в пояснении. Надо сказать отчетливей.

А л е к с е й.

Ошибся ты,
‹8› *Царь Петр, ан промах-то антихристов*! — сомнительный с‹имвол›
А за Петрову малую ошибку
Святая Русь лет двести проплутает
И вкось и вкривь, и только горем-плачем
Похвастает пред царствами другими.
А дальше — бунт! Великий бунт российский!
Такой, что дрогнет мир! Померкнет солнце — Это место должно быть
Пред заревом пожаров диких! Бунт, — сильнее. Банальность
Царь-смута — вот наследие Петрово. — ритма и слов.
Израненной, поруганной вернется
Русь-сирота к владениям московским,
Подале от морей... Столицей будет
Опять первопрестольная Москва.
А Петербургу пусту быть[4]!

‹9› А л е к с е й.

Ты — не гроза! Ты грозный бич Господень.
Как дикий вихрь, ты яростно [крушишь], — одного из двух довольно
[Ломаешь] Русь!

‹11› А л е к с е й.

...Кнутом, застенком просвещает царь,
А для потехи, в честь науки сам
За чаркой водки головы *от*носит. — с‹носит›
А кто учители России? Те ж
Шуты, холопы царские да хамы,
Что сбрили бороды да парчевой
Охабень на камзол переменили. — óхабень
И под чужим покроем та же сволочь!
Где просвещенье? Где иная правда?
Где солнце *новое, что древнее*
Затмило бы? Нет, царства твоего — стих?
Я не приемлю. До конца борюсь:
Да сгинет наваждение Петрово
Отныне и вовек!

‹12› П е т р.

...Ну, будет!
Свершает ныне вещий путь Россия, — Петр не скажет
Благоговеет мир, благоговей
И ты ... Ты царствовать не должен. Также
Спокойствию опасен государства.
Монахом будь.

---

[4] А дальше — бунт ∾ А Петербургу пусту быть...— отчеркнуто фигурной скобкой справа, к этому фрагменту относится указанная помета Блока.

Алексей.
А кем пострижен буду?
Игумнами шутейшего собора?
Ну, что ж! От пострижения князь-папы
Клобук не гвоздями пробит. Но только
Не обратился б куколь черный в царский
Венец. А там посмотрим: чья возьмет;
Кто будет царствовать: царь Петр иль я!

<14> Алексей (прочтя, в ужасе).
Меня
Казнить?.. *А судьи кто*? * Царя и сына
Пусть судит наш народ весь православный.

* Второй раз — классическое выражение (первое — «окно в Европу»). Лучше избегать этих сочетаний.

<15> Алексей.
Антихрист на престоле всероссийском!
Царей благочестивейших, московских
Преемник, царь Руси святой — Антихрист!..
Бунт, бунт! Народ весь православный, встань
На бунт против Антихриста-царя!

<16—17> Алексей (срывает камзол.
Остается в подряснике).
Прочь
Бесовские одежды! Славлю Русь
И все российское! Все скорби, муки
И казни я приму за Божий путь
России!.. Славься Русь святая!

Петр (палачу).
Что
Разинул рот? Забыл свою премудрость?
Бей, бей!.. Пусти — я сам!

В этой сцене, как она написана, есть хорошая сдержанность (например, экономия слов в ремарках).

Палач.
Царь, ты убьешь
Царевича!
(Петр в ужасе бросает кнут).
Царевич Алексей, окровавленный,
тихо идет к аналою.
Страшное молчание).

Алексей.
Благодарю Господь.
Ты увенчал меня венцом терновым...
Царь Петр! Аль камень ты?

<18> Петр.
Смерть?!..
О страшный грех! Петра — сыноубийцей
Все нарекут. Да я ль убил? Кто знает,
Сколь тяжела молитва, скорбь царя
И сына предающего на казнь?
Опять один... А на плечах моих
Россия... Грудь мне давит, разум мутит,
И скорбен дух, и сердце полно мукой...
Куда пойду? Кому повем печаль?
Ох, тяжела Петрова доля! *Боже Мой*!..

‹20› П е т р (осматривает сына новым взглядом).
Блаженненький! Зачем
Убил тебя? Да разве страшен ты? ?

‹21› П е т р.
Я жертвой сына... Сына
Единого, наследника престола! ?
Что крепче, а?..

‹22› П е т р.
Изменники! Кто смел звонить о смерти
Царевича?

М е н ш и к о в.
Звонят ко всенощной: [5] стих?
Канун Полтавы, государь [6].

П е т р.
Полтавы?!... (торжественно)
Бог Саваоф в полтавском грозном громе
Нам начертал: наука, правда, труд. Этот стих приемлем, по кр‹айней› м‹ере›, на мой слух. Он мне звучит, а другие (отмеченные, как неправильные) не звучат.
Сими стихиями вооружась,
Пред гордым строем просвещенных стран
Предстанет Русь — и впереди всех флагов
Российский флаг на корабле державном
Пойдет — Европы новый адмирал.
Итак — за дело, с Богом! С нами Бог! А‹лександр› Б‹лок›.

---

[5] Эти два подчеркнутых полустиха объединены справа фигурной скобкой.

[6] Заключительный диалог этой сцены восходит к финалу пьесы Д. В. Аверкиева «Царевич Алексей» (1877):

П е т р. Кто смел?
Кто смел звонить?
Т о л с т о й. То, государь, звонят
Ко всенощной.
П е т р. Что завтра?
Т о л с т о й. Годовщина
Победы славной при Полтаве

(см.: Д. В. А в е р к и е в. Драмы, т. II. СПб., 1906, с. 403—404). В окончательной редакции своей трагедии Виноградов этот диалог отбросил.

БЛОК И СОЮЗ ПОЭТОВ

I. БЛОК В АРХИВЕ ВС. А. РОЖДЕСТВЕНСКОГО

Предисловие и публикация М. В. Рождественской
Комментарии Р. Д. Тименчика

Поэт Всеволод Александрович Рождественский (1895—1977) в 1919—1921 гг. довольно часто общался с Блоком. Об этих встречах Рождественский рассказал в автобиографической книге «Страницы жизни» [1]. Глава об Александре Блоке, занявшая в ней центральное место, появилась в печати еще в 1945 г.[2] К воспоминаниям о Блоке Рождественский вернулся через 15 лет, написав в 1960 г. статью к 80-летию со дня рождения поэта [3], а в 1966 г. появился его очерк «Как это начиналось (Листки воспоминаний)» [4].

28 ноября 1960 г. (день 80-летия Блока.— *М. Р.*) К. И. Чуковский писал Рождественскому по поводу его юбилейной статьи: «Ваша статья о Блоке пришлась мне по душе. Я ведь отлично помню Вас в студенческой фуражке, помню Ваши тогдашние стихи, переводы — помню Вас секретарем «Союза поэтов». Ваша проза безупречна, это проза поэта; правдивость Ваших воспоминаний не вызывает сомнений; многое, о чем Вы говорите, могу подтвердить и я. Например, его ⟨Блока.— *М. Р.*⟩ гневные отзывы о поэтах-акмеистах, о формалистах (особенно о Шкловском)» (письмо сохранилось в архиве Рождественского).

В. А. Рождественский рассказал о Блоке последних лет жизни. Встречи его с Блоком связаны с работой молодого тогда поэта, автора двух стихотворных сборников: «Гимназические годы» (СПб., 1914) и «Лето. Деревенские ямбы. Стихи 1918» (Пб., 1921),— в издательстве «Всемирная литература», куда Рождественский был приглашен Горьким, и с его работой в качестве секретаря Петроградского отделения Всероссийского союза поэтов.

В 1921 г. Рождественский подарил Блоку свою книгу стихов «Лето». Вскоре после этого Блок пригласил его к себе домой [5]. Видимо от этого времени и остался в архиве Рождественского автограф-адрес Блока, написанный карандашом на маленьком листке в клетку, вырванном из тетради:

«Блок Ал. Ал.
Офицерская
57, кв. 21
тел. 612-00».

Рукописное наследие и основная часть архива Рождественского хранятся в его семье, а также частично — в государственных хранилищах, куда поэт сам при жизни передал свои материалы — в ИРЛИ АН СССР, в ЦГАЛИ, в Гослитмузее, в РО ИМЛИ, в ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Кроме того, часть его писем и черновиков находится в фондах других лиц. В личном архиве Рождественского сохранилось несколько автографов Блока. Это, помимо упомянутого адреса на листке из тетради,— визитная карточка поэта, где к типографской подписи «Александр Александрович Блок» его рукою карандашом приписано: «очень просит пропустить на кабаре 14 февраля поэта В. А. Рождественского и его жену» [6]. На оборотной стороне карточки поставлена дата — 1921.

Но историко-литературное значение имеют, конечно, другие записи Блока. Это его отзывы на стихи поэтов — молодых и уже опытных, желавших вступить в Союз поэтов, носящие характер резолюций. Петроградское отделение Союза было создано летом 1920 г. (организационное заседание состоялось 27 июня в Вольфиле, общее собрание — 4 июля 1920 г. (Рождественский ошибся, указав дату первого общего собрания в очерке «Как это начиналось» 4 апреля — *М. Р.*). Поэтому отзывы о стихах, которые не имеют даты, можно отнести к осени 1920 г. В архиве Рождественского их сохранилось 13. Они написаны на отдельных листах разнородной бумаги, черными чернилами, иногда — карандашом. На тех же листках писались мнения о предлагаемых стихах остальными членами приемной комиссии — М. Л. Лозинским, М. А. Кузминым и Н. С. Гумилевым. После такого письменного обсуждения резолю-

ции сдавались секретарю приемной комиссии — Рождественскому, поэтому они и оказались в его архиве. Наличие их у Рождественского подтверждается записями самого Блока в его «Записных книжках» (ЗК, 399, 498, 500, 502, 508):

«17 августа 1920 г.— тетради трех поэтов — Рождественскому; 22 августа — Рождественскому — стихи А. Сычева; ⟨отзыв о стихах А. Сычева сохранился и приведен Рождественским в «Страницах жизни».— *М. Р.*⟩; 3 сентября 1920 года — Рождественскому — отзыв о пяти поэтах; 21 сентября — отзывы Рождественскому; 30 ноября — отзывы Рождественскому — о двух поэтах».

По словам П. Н. Медведева, впервые издавшего резолюции Блока, в частности, и те, что сохранились в архиве Рождественского [7] и были получены им непосредственно от самого владельца, поскольку П. Н. Медведев состоял с ним в дружеских отношениях [8], «за время существования Союза таких заявлений было подано 80, а удовлетворено не более 10» [9].

Судьба остальных отзывов, отмечал П. Н. Медведев, неизвестна. Часть их, вероятнее всего, осталась у сменившего Рождественского в должности секретаря комиссии Георгия Иванова, эмигрировавшего из России, а часть, включенная в публикацию, оставалась у самого П. Н. Медведева. Поскольку П. Н. Медведев опубликовал 23 резолюции Блока, а в архиве Рождественского их сохранилось 13, то возможны два предположения: или П. Н. Медведев почему-либо не вернул остальные резолюции Рождественскому, или они погибли вместе с большей частью архива Рождественского в квартире его матери в ленинградскую блокаду. Одну из резолюций Блока на заявлении М. М. Шкапской привела в своих воспоминаниях о Блоке Н. А. Павлович [10], некоторые процитировал сам Рождественский в «Страницах жизни» и очерке «Как это начиналось».

Однако и публикация Медведева, и цитаты в книге Рождественского воспроизводят тексты резолюций Блока не полностью, не указываются, в частности, имена поэтов, о которых идет речь.

Отзывы остальных членов комиссии никогда не публиковались. П. Н. Медведев писал: «По сообщению Вс. А. Рождественского, бывшего первое полугодие секретарем Союза и приемной комиссии, Ал. Блок очень серьезно относился к возложенным на него несколько щекотливым обязанностям. Он всегда тщательно изучал представленный материал. Свои отзывы всегда писал на дому» [11].

Даже в тех не слишком подробных характеристиках чужих стихов, которые давал Блок, чувствуется его стремление поддержать начинающего поэта, особенно если в его сочинениях видны проблески таланта, чувствуется стремление Блока скорее сказать «да», чем «нет», помочь человеку, если только это позволяет поэтический материал, представленный на рассмотрение.

Имея право как председатель на решающее слово, Блок тем не менее никогда не навязывал его другим и не настаивал на нем. Известно, что Блок тяготился своей должностью председателя Союза поэтов, особенно формальной ее стороной, но согласился на эту работу, понимая, что она нужна для других. Он говорил Н. А. Павлович: «Не знаю, выйдет ли из этого что-нибудь. Мы все тут разные, может быть, и общего языка не будет. Но материальная помощь нужна многим, нужны пайки, нужна книжная лавка писателей. Союз может это организовать. А потом, может быть, придут и новые люди, как и Брюсов надеется. Мы сами не знаем, кого можно ждать. Начнем с материальной заботы о наших поэтах, а, может быть, выйдет и что-нибудь большее» [12].

Своеобразной иллюстрацией к этому высказыванию Блока и служат его отзывы-резолюции, которые сохранились в архиве Рождественского.

Известно, что разногласия внутри Петроградского Союза поэтов привели к тому, что Блок вынужден был уйти из него. Вместе с группой сочувствующих Блоку поэтов ушел и Рождественский. От времени секретарства в Петроградском Союзе поэтов у Рождественского сохранился еще один документ, написанный его рукой и подписанный Блоком. Это протокол заседания от 7 сентября 1920 г., на котором присутствовал Блок, М. Л. Лозинский, Н. А. Павлович, М. М. Шкапская, Рождественский, Н. В. Грушко. Был заслушан доклад Блока о Всерабисе (Всероссийский Союз работников искусств). Решения этого заседания, записанные в протокол, приводились Рождественским в очерке в «Дне поэзии» и Н. А. Павлович в воспоминаниях о Блоке, где она ссылается на письмо к ней Рождественского от 3 июня 1961 г. Оно было написано в ответ на письмо Н. А. Павлович, которая обратилась к Рождественскому с рядом вопросов о Союзе поэтов. Но Павлович пишет о двух протоколах, второй — о хоз-

нуждах, на самом же деле сохранился лишь один — от 7 сентября 1920 г., включавший в себя, помимо доклада Блока о Всерабисе, доклад Рождественского о средствах, доклад М. М. Шкапской о А. М. Ремизове (решение о приеме его в члены Союза поэтов), доклад председателя хозяйственной комиссии Н. В. Грушко о дровах, помещении клуба и пайках. Это единый протокол от 7 сентября 1920 г., подписанный, как уже отмечалось, Блоком. Кроме этих автографов Блока, в архиве В. А. Рождественского сохранился экземпляр «Седого утра» с дарственной надписью автора, приведенной в кн. 3 настоящего тома. Книга Блока «За гранью прошлых дней», также подаренная автором Рождественскому [13], в его архиве не обнаружена.

Уже после смерти Блока, 11 апреля 1926 г., Рождественский писал Э. Ф. Голлербаху [14] в ответ на его желание составить сборник стихов о Блоке:

«Хорошо ты делаешь, что вспомнил о Блоке и его поэтах. Осенью пятилетняя годовщина, и, если варвары и халдеи сами об этом не помнят, надо им напомнить. Подумать только! Уже почти ничего не слышно кругом о Блоке. Кто-то ответил мне на это мое недоумение: «Блок, как и Чехов, кончился с русской интеллигенцией». Хорошо. Пусть будет так. Все на свете кончается. Нет уже Блока-интеллигента, но где же Блок-лирик, лебединая совесть последних лет, закат Петербурга и татарская синяя Русь. Подумай, как счастливы мы уже тем, что видели и слушали Блока живого! Можно составить прекрасную книгу стихов о Блоке, ибо кто же не чувствовал его родным. Разве в последние годы не был Блок для всех нас символом, где каждый видел лучшие из своих дум и снов!

Мне трудно будет указать тебе те стихи, которых ты еще не знаешь. Конечно, следует взять весь цикл Цветаевой из ее книги «Версты» и... я уже остановился. Память мне ничего не подсказывает больше, кроме, конечно, чудесных ахматовских белых строк об Александре, лебеде мудром, и о том, как она пришла к поэту в гости.

У меня есть два стихотворения. Одно непосредственно связанное с погребением Блока и второе о Петербурге, где образ Блока является самой существенной, замыкающей лирический период чертой. Оба стихотворения были напечатаны». Речь идет о стихах Рождественского «Памяти Блока» («Обернулась жизнь твоя цыганкою», написанном 7 августа 1921 г.) и «Добро строитель! Не взял дара...» [15]. К письму Э. Ф. Голлербаху Рождественский приложил автографы обоих стихотворений.

Высказывания Рождественского о Блоке мы находим и в его письмах к Е. Я. Архиппову [16], которого он называл «дорогой энтузиаст мечты, вступивший в вежливый договор с действительностью, садовник вечных роз, хранитель ключей, лучший друг слова». Письмо от 26 октября 1927 г.: «Я ведь люблю Блока самого последнего периода, Блока III тома, с темой цыганской песни, России и „Страшного мира“». 10 мая 1928 г. Рождественский писал тому же адресату после прочтения дневников Блока: «В них есть поразительные страницы, раскрывающиеся как откровение, и вместе с тем такая грустная порой инфантильность. Блока душил круг семейственности, и Л〈юбовь〉 Д〈митриевна〉, конечно, не добрый для него гений. Блок вечно был в плену семьи и традиции (этико-интеллигентской), а сам порывался в чистую простоту, слыша ее смутно. Я думаю, что из этой слепоты могло бы вывести его здоровое чувство античности и Пушкин, а он предпочитал любить немецких романтиков, Вл. Соловьева и русскую «Совесть» в бекетовской семейной интерпретации. Но чудесно то, что Блок шел впереди своего времени и задолго до умствовавших (как теперь видно, попусту) Мережковских единственный из всех слышал грохот приближающихся времен».

«Последним страстным человеком на нашем веку был Блок»,— писал в это же время Рождественский Д. С. Усову [17] (личный архив Рождественского.— *М. Р.*).

В 1932 г. в ответ на известную анкету Е. Я. Архиппова о литературных пристрастиях, которую тот послал некоторым поэтам, в том числе и Рождественскому, Всеволод Александрович написал: «Мой Блок — поэт угрюмой силы и поздних и напрасных сожалений о растраченных снах, „стареющий юноша“, ангел, изгнанный из рая. Это роднит его с Лермонтовым, которого, кстати сказать, и полюбил и понял я через Блока — обратным ходом времени. Все дурное в Блоке для меня — от российской интеллигентности и терзаний общественной совести, все прекрасное — от братства с русским мучительством Некрасова (Коробейники), с цыганскими бубенцами, от родства по немецкой крови с подлинным романтизмом восторга и иронии. Блоку не изменю до конца дней» [18].

Ниже публикуем полностью отзывы Блока и остальных членов Приемной комиссии Петроградского Союза поэтов о предлагаемых стихах, а также протокол заседания Союза от 7 сентября 1920 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Вс. Рождественский. Страницы жизни. Из литературных воспоминаний. М.— Л., 1962; Изд. 2-е доп. М., 1974.

[2] Вс. Рождественский. Александр Блок. (Из книги «Повесть моей жизни»).— «Звезда», 1945, № 3, с. 107—115.

[3] Вс. Рождественский. Лицом в грядущее.— «Звезда», 1960, № 11, с. 189—198.

[4] «День поэзии». Л., 1966, с. 87—89.

[5] Вс. Рождественский. Страницы жизни. М., 1974, с. 210.

[6] Инну Романовну Малкину. См. о ней в наст. т., кн. 3, с. 463—464. В записке речь идет о «юбилейном кабаре» в БДТ (VII, 420). См. об этом вечере: Г. Мичурин. Горькие дни актерской жизни. Л., 1972, с. 123—125.

[7] П. Н. Медведев. Неопубликованные рецензии.— В кн.: «Памяти Блока». Сборник материалов под ред. П. Н. Медведева. Изд. 2-е доп. Пг., 1923, с. 63—72.

[8] В. А. Рождественский посвятил П. Н. Медведеву стихотворение «Добро строитель! Не взял дара» в книге стихов «Большая Медведица». Л., 1926, с. 32.

[9] П. Н. Медведев. Неопубликованные рецензии, с. 64.

[10] Н. А. Павлович. Воспоминания об Александре Блоке.— «Блоковский сб.», 1, с. 449—506. Н. А. Павлович была членом Президиума Московского Союза поэтов. По мандату, данному ей его председателем В. Я. Брюсовым, она летом 1920 г. приехала в Петроград для организации Петроградского отделения Союза.

[11] П. Н. Медведев. Неопубликованные рецензии, с. 64.

[12] Н. А. Павлович. Воспоминания об Александре Блоке, с. 457.

[13] Ср. ЗК, с. 503: 28 сентября 1920 г.: «За гранью прошлых дней» — Зоргенфрею и Рождественскому.

[14] Эрих Федорович *Голлерб-х* (1895—1942) — книжный график, поэт, искусствовед, в середине 20-х годов заведовал художественным отделом Госиздата. Письмо Рождественского хранится в фонде Э. Ф. Голлербаха в ГПБ (ф. 207, ед. хр. 73).

[15] См.: «Записки Передвижного театра», 1923, № 61 от 7 августа. Второе стихотворение входило как составная часть в небольшую неопубликованную поэму Рождественского «Петербург», сохранившуюся в его личном архиве. Позже было напечатано отдельно в сборнике Рождественского «Большая Медведица» (Л., 1926) с посвящением П. Н. Медведеву.

[16] Евгений Яковлевич *Архиппов* (1882—1950) — поэт, литературовед, библиограф. ЦГАЛИ, ф. 1458 (Е. Я. Архиппова), оп. 1, ед. хр. 46.

[17] Дмитрий Сергеевич *Усов* (1896—1944) — историк литературы, переводчик.

[18] ЦГАЛИ, ф. 1458, оп. 1, ед. хр. 46.

О СТИХАХ В. ТРЕТЬЯКОВА[1]

Стихи В. Третьякова не хуже многих присылаемых, хотя несколько вялы и подражательны. По-моему, можно бы принять его в Союз. Этот вопрос надо решить *скорее*, потому что ему грозит воинская повинность, и, если мы его примем, могли бы что-нибудь сделать для него.

Ал. Блок

От Третьякова, автора, по-видимому, молодого, можно ждать интересных стихов. Я высказываюсь за его принятие в Союз, хотя бы на правах члена-соревнователя.

М. Лозинский

Членом-соревнователем принять можно.

Н. Гумилев

О СТИХАХ М. ГЕОРГИЕВСКОГО[2]

В стихах М. Георгиевского неподдельный и сильный лиризм, хотя много неудачных строк (пустых), образов, не вяжущихся между собой; есть и безвкусно употребляемые слова. *Все это* особенно ярко видно в стихах «Посвящение романсу», где слышна также и общая надрывная нота, свойственная лирике М. Георгиевского.

Я думаю, что автор достоин быть действительным членом Союза.

Ал. Блок

Своеобразие есть, но проявиться ему часто мешает беспомощность формы, немощность языка. Впрочем, заключения А. А. Блока не оспариваю.

М. Лозинский

Стихи невнятны и бессильны. Лучше бы повременить с принятием. Но не настаиваю на этом.

М. Кузмин

Пока у поэта ни своего стиля, ни подхода к вещам. Ему просто нечего сказать. Как и М. Кузмин, думаю, что ему рано быть в Союзе.

Н. Гумилев

О СТИХАХ Е. Г. ПОЛОНСКОЙ [3]

Довольно умна, довольно тонка, любит стихи, по крайней мере, современные, но, кажется, голос ее очень слаб и поэта из нее не будет.

Ал. Блок

По-моему, Е. Г. Полонскую принять в Союз следует, хотя бы в члены-соревнователи. Ее стихи не хуже стихов Вс. Пастухова.

М. Лозинский

В члены-соревнователи, я думаю, можно.

Н. Гумилев

По-моему, можно.

М. Кузмин

О СТИХАХ А. СЫЧЕВА [4]

Антоний Сычев мне кажется не бездарным, в стихах есть свежие слова и образы. Но очень в нем все спутанно. Я его немного знаю лично, и, кроме того, в письме ко мне он пишет, что ему важно было бы вступить в литературную среду, в частности, в наш Союз, который, может быть, вернет ему человеческий образ. После таких писем с достоевщиной (да и в стихах есть капитан Лебядкин) я не могу уже судить объективно, можно ли принимать нам в Союз таких членов, и очень прошу товарищей сказать об этом на основании *только* стихов, как нам и следует говорить.

Ал. Блок

В стихах Сычева попадаются удачные строки, недурные строфы. Но в общем его стихи мало самостоятельны, часто бледны, и желание автора пройти в литературу окольными путями плохо рекомендует его. В Союзе он был бы из слабейших сочленов, и поэтому я высказываюсь против его принятия.

Н. Гумилев

Судя на основании только стихов, высказываюсь за принятие А. Сычева в Союз. Конечно, его «oeuvre» в достаточной мере сумбурен, но местами чувствуется подлинная сила (например, «Перчатки» в Вып. 1 «Литературной Коллегии», «Закат» в рукописи, «Прозрачный полдень» в рукописи).

М. Л.

С точки зрения педагогической, которая, по-видимому, не совсем отбрасывается коллегией, стою определенно *против* принятия А. Сычева в союз. Творения его, так тщательно представленные автором, вульгарны и безвкусны, но не больше, чем вся школа Северянина. Формальных отводов, по-моему, нет.

М. Кузмин

О СТИХАХ РИМСКОГО-КОРСАКОВА [5]

Стихи Римского-Корсакова — детские, с интересными ритмами. Ему рано в Союз поэтов, разве — членом-соревнователем, особенно если он может помогать союзу в работе.

Ал. Блок

Римский-Корсаков кажется одаренный юноша, но поэтом он еще не стал и неизвестно, станет ли. В члены Союза рано.

〈Н. Гумилев〉

Принимать в Союз рано. Но терять Р.-Корсакова из виду не следует. В его очень незрелых стихах есть строчки бесспорно интересные.

М. Л.

О СТИХАХ В. В. И Б. В. СМИРЕНСКИХ[6]

Владимир Смиренский и Борис Смиренский — юные эгофутуристы из Шувалова. Первый из них был у меня и показывал мне много стихов. Они хотят попасть в Союз поэтов. По-моему, несмотря на очень большую безграмотность, характерную русскую, обывательскую, и на безвкусие,— оба далеко не бездарные, есть строки просто очень хорошие. Поэтому, я думаю, что обоих можно принять в члены-соревнователи.

Ал. Блок

7.XI.1920

Не решаюсь высказаться за принятие в члены союза. Боюсь, что это не более, чем ординарные любительские опыты.

М. Лозинский

Влад. Смиренский обнаруживает больше вкуса чем Бор. Смир., но такой же дилетант. По-моему, отклонить.

Н. Гумилев

О СТИХАХ Р. БЛОХ[7]

В стихах Раисы Блох есть лиризм, есть несомненный песенный строй. По-моему, на нее можно надеяться. Я бы высказался за принятие ее в члены-соревнователи.

М. Лозинский

Согласен с М. Лозинским.

Н. Гумилев

Разумеется, и я согласен. Только что же будут делать они, собравшись вместе, такие друг на друга похожие *бессодержательностью* своей поэзии и такие различные как люди?

Ал. Блок

Я согласен вполне с мнением о принятии, а делать они будут, вероятно, то же, что и все другие.

М. Кузмин

О СТИХАХ С. ФАРФОРОВСКОГО[8]

Немыслимо!

Ал. Блок

Изловить и повесить.

М. Л.

Вон!

Н. Гумилев

Невозможно.

М. Кузмин

О СТИХАХ И. КОВАРСКОГО[9]

И. Коварский нетверд в русском языке; характерные ударения (спугну́тый, *ввергну́л*, пте́нцев) показывают, что язык наш ему не родной, и едва ли станут ему доступны те свойства языка, без которых стихов не написать. Поэтому я думаю, что принимать его не следует.

Ал. Блок

Не знать русского языка и писать на нем стихи — извинительно. Но считать это русскими стихами — преступно.

М. Лозинский

Отклонить.

Н. Гумилев

О СТИХАХ Б. В. ПАПАРИГОПУЛО[10]

По-моему, стихи приличные, а в последних двух можно заметить и поэтическое влияние, в члены соревнователи можно бы взять.

М. Кузмин

Приятные стихи, несколько бледны. Стоит принять членом соревнователем.

Н. Гумилев

Соглашаюсь с М. А. Кузминым и Н. С. Гумилевым.

Ал. Блок

Согласен.

М. Лозинский

О СТИХАХ А. КУДРЯВЦЕВА[11]

Стихи А. Кудрявцева совершенно неумелые, а местами и очень пошлые.

Ал. Блок

Отклонить.

М. Лозинский

Тоже.

Н. Гумилев

О СТИХАХ Э. Ф. ГОЛЛЕРБАХА[12]

⟨1⟩

Судя по книжке, у автора нет поэтических заслуг, ему бы лучше войти в союз журналистов или в союз писателей — во всяком случае, в большой союз, а не в наш.

Ал. Блок

Мне кажется, автору рано вступать в Союз Поэтов. Со временем, может быть. Книг, подобных «Чарам и таинствам», очень много, и если их авторов зачислять в члены Союза, он разросся бы непомерно и перестал быть тем, чем должен быть.

М. Лозинский

Пока автор обнаружил только способности к версификации, поэта в нем не видно; по-моему, принять нельзя.

Н. Гумилев

Если формально книга стихов дает право на вступление в союз поэтов, то о непринятии автора не может быть и речи, в смысле же критики матерьяла, нахожу, что многое из принятого было слабее.

М. Кузмин

⟨2⟩

Э. Голлербах прислал еще стихи с просьбой принять его в Союз. Мне кажется, что по этим можно судить больше, чем по одной маленькой книжке «Чары и Таинства». По-моему, стихи не хуже многих, присылаемых нам, и автора принять в союз можно.

Ал. Блок

Э. Голлербах не ошибся, назвав «бледной и нелетучей» свою «рифмованную речь». Свои раздумья он облекает в стихотворную форму, но поэзии здесь нет. Стихи его — ненужные, они никак не действуют, ничего не сообщают. Сплошь да рядом в стихах, куда менее грамотных, мы видим подлинную поэтическую

силу, оригинальность. Быть может, именно грамотность Голлербаха гасит в его стихах то, что могло бы в них быть живым. В искусстве слова он перерос непосредственность варвара и не дорос до творческой самостоятельности. А такая середина — бесплодна.

М. Лозинский

Отчего же не принять, хотя поэтом вряд ли он будет.

М. Кузмин

Стихи Голлербаха версификация, а не поэзия. Необходимо отклонить.

Н. Гумилев

P. S. Я решительнейшим образом протестую против отношения некоторых членов приемной комиссии к присылаемым стихам. Предположение Ал. Блока, что в Союз можно принимать только по признаку, что «стихи не хуже многих», туманно. Каких многих? Членов Союза? Тогда надо устроить перерегистрацию, как в Москве. Вообще? Тогда причем здесь Союз? Мнение М. Кузмина звучит насмешкой. В Союз поэтов действительными членами принимаются именно *поэты*, *а членами-сотрудниками те*, *о ком есть основания полагать*, *что они станут поэтами*. Все это я пишу потому, что приемная комиссия собраний не имеет.

Н. Гумилев

О СТИХАХ Д. КРЮЧКОВА [13]

Дм. Крючков — слабый поэт, но чувствует и понимает поэзию. У него есть литературные навыки. Думаю, что его можно принять в действ. члены.

Ал. Блок

Конечно, Дм. Крючков должен быть принят в Союз Поэтов.

М. Лозинский

Дм. Крючков имеет уже некоторое (во всяком случае почтенное) имя в поэзии, так что никаких сомнений даже возникнуть не может насчет принятия его в С. П.

М. Кузмин

Дм. Крючков во всяком случае поэт и должен быть членом Союза.

Н. Гумилев

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ «ПЕТЕРБУРГСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО СОЮЗА ПОЭТОВ» ОТ 7 СЕНТЯБРЯ 1920 Г. [14]

Присутствовали: А. А. Блок, М. Л. Лозинский, Н. А. Павлович, М. М. Шкапская, Вс. А. Рождественский и предс. хозком. Н. В. Грушко.

1. О Всерабис'е (Всероссийском союзе работников искусств) — доклад А. А. Блока

Всерабис предложил Союзу поэтов слиться и послать представителя в президиум Всерабиса. А. Блок указывает на необходимость обратить серьезное внимание на это предложение, т. к. оно дало бы Союзу поэтов все права профессиональных союзов.

Делегировать Н. А. Павлович в президиум Всерабиса для окончательных переговоров, результаты которых должны быть сообщены на ближайшем заседании Президиума.

В случае благоприятного разрешения вопроса поручить А. А. Блоку и Н. А. Павлович составить объяснительное обращение к председателю Всероссийского Союза поэтов В. Як. Брюсову.

2. О средствах. Доклад Вс. А. Рождеств⟨енского⟩

Устроить в ближайшем времени следующие вечера в «Доме Искусств»:

1) В среду 15-го сент.

Стихи

1 отд.

В. Зоргенфрей
Н. Оцуп
Н. Павлович
В. Рождественский
М. Шкапская

2 отд.

А. Блок — «Возмездие» (поэма)

2) Вечер стихов с участ. Н. С. Гумилева.

3) 29 сент. юбилейный вечер М. А. Кузмина [15].

Устройство вечеров (за исключ. худож. части вечера М. А. Кузмина) поручить хозяйств. комиссии.

3. О А. М. Ремизове — доклад М. М. Шкапской

А. М. Ремизов выставляет свою кандидатуру в действ. члены Союза поэтов.

Выбрать А. М. Ремизова в члены Союза [16],

4. Доклад председателя хозяйственной комиссии Н. В. Грушко.

1) От Лескома получено принципиальное разрешение на 29 саженей дров для Центрального клуба.

2) От Центральной жилищной комиссии получен ордер на помещение клуба *.

3) Петрокоммуна разрешила единовременный паек 3 членам Президиума.

Принять к сведению.

Следующее заседание президиума 14-го сент. в 6 ч. в «Клубе».

Председатель: Ал. Блок

Секретарь: Вс. Рождественский.

КОММЕНТАРИИ

[1] О Викторе Васильевиче *Третьякове* (1888—1961; даты жизни установлены Ю. И. Абызовым) см. наст. том, кн. 3, с. 504. В конце октября 1920 г. В. В. Третьяков выехал в Ригу, где напечатал «Петроградские письма», в которых рассказывал о Союзе поэтов: «Это попросту возрожденный Цех поэтов, куда вошли по приглашению почти все участники «Аполлона» с акмеистическим уклоном, а из новых Наталия Грушко, Крючков и ваш покорный слуга» («Театр и жизнь», Рига, 1920, № 3, с. 7). Отсутствующий в автографе отзыв Кузмина, по-видимому, был записан на отдельном листке. Он приведен в статье А. Перфильева о В. В. Третьякове: «В лице В. В. Третьякова мы имеем настоящего поэта, понимающего серьезные задачи поэзии. Нахожу в его стихах черты своеобразия» («Для вас», Рига, 1940, № 23, с. 20).

[2] Личность М. Георгиевского не установлена. По-видимому, в действительные члены Союза поэтов он не был принят. По свидетельству Н. С. Тихонова, весной 1921 г. Гумилев говорил ему: «У нас было подано более ста заявлений, но мы приняли вас без всякого кандидатства, прямо в действительные члены Союза. Мы приняли троих из ста: Марию Шкапскую за книгу „Mater Dolorosa", Одошкович-Яцыну за переводы Киплинга и вас» («Вопр. лит.», 1980, № 6, с. 121; Ада Ивановна *Одошкович-Яцына* (1897—1935) — поэтесса и переводчица).

[3] Датировано 27 августа 1920 г.

Елизавета Григорьевна *Полонская* (1890—1969) — поэтесса, переводчица. Стихи писала с начала 1910-х годов. Занималась в студии «Всемирной литературы» под руководством Гумилева, о котором писала впоследствии: «Он давал нам упражнения на различные стихотворные размеры, правил вместе с нами стихи, уже прошедшие через его собственный редакторский карандаш, и показывал, как стихотворение вдруг начинает сиять от прикосновения умелой руки мастера. У него я научилась придавать форму лирическому импульсу» (Е. Полонская. Избранное. М.— Л., 1966, с. 8). По-видимому, ее стихи, представленные в Союз поэтов, вошли в сборник «Знаменья» (Пб., 1921), о котором Б. М. Эйхенбаум писал: «Здесь стихи о нашей — суровой, неуютной, жуткой жизни. Здесь наш Петербург — „виденье твердое из дыма и камней". Стихи Полонской выделяются своей экспрессией: в них чувствуется мускульное напряжение, в них есть сильные речевые жесты. Традиции Полонской определить еще трудно, но кажется мне, что она ближе всего к Мандельштаму ⟨...⟩ Есть в сборнике очень удачные вещи — именно те, где есть повод для торжественной речи, для ораторской экспрессии. Слабее интимные вещи ⟨...⟩» («Книжный угол», 1921, № 7, с. 41—42). Стихотворение из «Знамений» «Не испытали кораблекрушенья...» (1918) Е. Полонская впоследствии посвятила Блоку (Е. Полонская. Избранное, с. 24).

[4] Антоний *Сычев* — сотрудник ряда петербургских журналов 1910-х годов («На берегах Невы», «Новый журнал для всех»; печатался также под псевдонимом «Антон Сибиряк»), участник альманаха «Литературная коллегия» (Пг., 1916, 2 выпуска), автор сборника «Идиот. Тюльпаны в кварталах» (Пг., 1915), который был А. Сычевым поднесен Блоку (ЦГАЛИ,

* Литейный пр., 30, кв. 7.

ф. 55, оп. 1, ед. хр. 487). Приводимый отзыв Блока неверно отнесен к А. Сумарокову в комментариях к изданию «А. А. Блок в воспоминаниях современников» (М., 1980, т. 2, с. 453).

Oeuvre (франц.) — произведения, сочинения.

[5] Речь идет, по-видимому, о Георгии Михайловиче *Римском-Корсакове* (1901—1965), композиторе и педагоге, который в 1921 г. числился членом «Кольца поэтов им. К. Фофанова».

[6] Владимир Викторович *Смиренский* (1902—1977) — поэт (под псевдонимом «Андрей Скорбный» издал в 1917—1927 гг. 6 стихотворных книг), литературовед. Борис Викторович *Смиренский* (1900—1970) — поэт (издал в 1916—1928 гг. 6 стихотворных книг), литературовед. 30 октября 1920 г. В. В. Смиренский со своим другом Н. И. Позняковым был у Блока («Днем у меня эгофутуристы из Шувалова...» — ЗК, 506; запись неточно раскрыта в комментариях — ЗК, 601).

Публикуемый отзыв датирован Блоком. 5 ноября В. В. Смиренский послал ему 10 своих стихотворений и 12 — своего брата с просьбой об отзыве для Союза поэтов, а 25 ноября благодарил за хороший отзыв и за советы, данные в разговоре, и сообщал, что ошибки, указанные Блоком, он исправляет. 29 января 1921 г. он писал Блоку: «В Союз мы с братом не попали благодаря Гумилеву и Лозинскому. Это обидно» (ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 402). В анкете 1922 г. В. В. Смиренский утверждал, что решающее влияние на него оказал К. М. Фофанов («по печатным же отзывам я — эпигон Ахматовой и Блока» — ЦГАЛИ, ф. 1068, оп. 1, ед. хр. 148), а в анкете 1925 г. писал: «В конце 1917 года книгоиздательством «Ивиковы журавли» была издана первая книжка моих стихов «Кровавые поцелуи». Впоследствии Александр Блок назвал меня за эти стихи эго-футуристом. Стихи действительно плохи, и на Блока я не сержусь» (там же).

[7] Раиса Ноевна *Блох* (1899—1943) — автор стихотворных сборников «Мой город» (Берлин, 1928), «Тишина» (Берлин, 1935), «Заветы» (Берлин, 1939; совместно с М. И. Бородиной), переводчица (участница переводческой студии М. Л. Лозинского; переводила также драматургию Бен Джонсона и Карло Гоцци), филолог-медиевист. Погибла в нацистском концлагере. См. о ней: «Французский ежегодник». М., 1975, с. 29; Р. Р а й т-К о в а л е в а. Человек из Музея Человека. М., 1982, с. 89—90, 126. Стихотворения ее 1919—1920 гг., которые могли быть в числе представленных в Союз поэтов, отчасти вошли в сборник «Мой город», в котором К. В. Мочульский отмечал «особый, пленительный мир „петербургской школы“» — «строгая сдержанность образов и холодная прозрачность слов» («Звено», 1928, № 3, с. 173) и о котором В. Сирин писал: «все это золотистое, светленькое и чуть-чуть пропитанное (что, увы, в женских стихах почти неизбежно) холодноватыми духами Ахматовой» («Руль», 1928, № 2213, 7 марта).

[8] Отзывы написаны на заявлении С. Фарфоровского от 11 августа 1920 г., в котором тот сообщил, что посылает один из своих сборников стихов, «состоит сотрудником Дома Ученых, преподает в Университете и читает лекции на курсах».

Сергей Васильевич *Фарфоровский* (1878 — ?) — в 1900—1910-е годы преподаватель истории в провинциальных гимназиях, составитель ряда учебников. Публиковал также историко-литературные материалы. После революции — журналист, сотрудник журнала «Книга и революция», «Педагогическая мысль». Его книга «История культуры» вышла в Риге в 1924 г.

«Изловить и повесить» — слова из царского указа о розыске и казни Дмитрия Самозванца («Борис Годунов»).

[9] Возможно, речь идет об Илье Николаевиче *Ковзрском* (1880—1962), впоследствии — владельце книжного магазина «Родник» и одноименного издательства в Париже.

[10] Отзывы написаны на обороте заявления Б. В. Папаригопуло от 16 ноября 1920 г.

Борис Владимирович *Папаригопуло* (1899—1951) — драматург, киносценарист, детский писатель. Как поэт выступал в альманахе «Часы» (Пг., 1922).

[11] О каком А. Кудрявцеве идет речь, установить не удалось.

[12] О взаимоотношениях Блока и Э. Ф. Голлербаха см. наст. том, кн. 3, с. 50—51. Первый отзыв Блока относится к 10-м числам сентября 1920 г.— ср. письмо Блока Э. Ф. Голлербаху от 17 сентября (VIII, 529), второй — к последним числам сентября — рукопись своих стихов в дополнение к ранее переданному своему сборнику «Чары и таинства» (Пг., 1919) Голлербах по совету К. А. Сюннерберга послал Блоку 24 сентября 1920 г. (ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 220, л. 5).

[13] Отзывы написаны на обороте заявления Д. А. Крючкова от 5 августа 1920 г.

О Дмитрии Александровиче *Крючкове* (1887—1938) см. наст. том, кн. 3, с. 434.

[14] Вечер состоялся 22 сентября 1920 г. (ЗК, 502). Блок читал отрывки из «Возмездия». Вечер описан в «Петроградских письмах» В. Третьякова: «„Деревенскими ямбами“ щеголяет насквозь акмеистический, поэтически разборчивый Вс. Рождественский, очень четкий и впечатляющий <...> Верный своему принципу больших композиций, призванных теперь на смену мелкой лирике, Николай Оцуп опубликовал на последнем вечере поэму из современной белорусской жизни „Александрина“» («Театр и жизнь», Рига, 1920, № 3, с. 7).

[15] О вечере Кузмина см. наст. том, кн. 2, с. 163, 174.

[16] В связи с проектом организации книжной лавки Союза поэтов у С. М. Алянского возникло предложение, чтобы пайщиком был А. М. Ремизов. По этому поводу Блок писал Н. А. Павлович: «Я лично не имею против, но его надо выбрать в союз. По-моему, основания есть, а ему было бы это материально важно» («Блоковский сб.», 1, с. 476). По-видимому, к этому эпизоду относится фраза из письма А. М. Ремизова к Блоку от 23 или 24 августа 1920 г.: «Был Алконост с письмом от Асыки, говорит, чтобы Вам от обезьяньей палаты запрос написал» (наст. том, кн. 2, с. 126). Некоторые маленькие сочинения Ремизова могли

быть отнесены к стихотворным произведениям (стихотворения в прозе, верлибр и т. п.). Стихотворными считались две его книги 1919 г.— «О судьбе огненной» и «Электрон». О том, что проза Ремизова представляет иногда из себя скрытый стиховой текст, писал впоследствии Д. П. Святополк-Мирский («Slavische Rundschau», 1929, № 4, с. 293).

II. ОТЗЫВЫ, СОХРАНИВШИЕСЯ В ДРУГИХ АРХИВАХ

Публикация Р. Д. Тименчика

О СТИХАХ В. ВАЛУЕВИЧ[1]

Стихи Ванды Валуевич скучные, на все похожие. Я бы ее не выбирал.

Ал. Блок

Типичное дилетантство, выбирать не надо.

Н. Гумилев

Следует отклонить.

М. Лозинский

О СТИХАХ А. ГОФМАНА[2]

Арт⟨ур⟩ Гофман. Очень подражательно, но лирика. Не принять ли в члены-соревнователи?

⟨Ал. Блок⟩

Рука еще очень неуверенна. В члены-соревнователи можно принять.

М. Лозинский

Мне определенно нравится. Думаю, что можно принять и членом.

Н. Гумилев

По-моему, ничего себе. Вполне допустимо, хотя и скучновато.

М. Кузмин

О СТИХАХ Н. ОБОЛЕНСКОЙ[3]

Стихи Нины Оболенской еще очень неловкие, но она, видимо, стремится к ясным и четким формам. Не принять ли ее в члены-соревнователи?

М. Лозинский

Стихи приятны. В члены-соревнователи.

Н. Гумилев

Можно принять в члены-соревнователи.

Ал. Блок

Стихи ничего себе, хотя «волнующие» строчки несколько механически сделаны. Принять можно.

М. Кузмин

О СТИХАХ В. ПАСТУХОВА[4]

Стихи Всеволода Леонидовича Пастухова нахожу интересными, культурными и дающими вполне автору право быть принятым в «союз поэтов».

М. Кузмин

Стихи Пастухова несамостоятельны, малокровны, но действительно отмечены культурностью и вкусом, так что для меня вопрос о его принятьи в члены союза остается открытым. Все зависит от того, насколько высокие требования мы предъявляем.

Н. Гумилев

По-моему, принять следовало бы, ведь это стихи не хуже стихов некоторых действительных членов Союза.

М. Лозинский

По-моему, надо принять в действительные члены.

Ал. Блок

О СТИХАХ НЕИЗВЕСТНОГО ЛИЦА[5]

Больше всего мне нравится это прошение: напоминает почерком приказ по полку: «возвратившись сего числа, вступил в командование вверенным». Вроде этого и стихи.

Ал. Блок

Оставить без последствий.

М. Лозинский

Прием невозможен.

Н. Гумилев

Не годится.

М. Кузмин

[1] ГБЛ, ф. 423, к. 1, № 25, л. 2.
Ванда *Валуевич* в 1923 г. входила в петроградскую литературную группу «космистов».
[2] ГБЛ, ф. 423, к. 1, № 25, л. 3.
Артур-Эрнст-Карл Яковлевич *Гофман* (1891 — ?) печатал стихи с 1908 г. (в журнале «Весна»), был близок к поэтическому кружку «Трирема» (1915—1916). Он учился в Петербургском университете, участвовал в Пушкинском семинарии С. А. Венгерова, его имя упоминается в прозе Мандельштама (О. Мандельштам. Египетская марка. Л., 1928, с. 34, 61). Ему посвящена повесть В. Андреева «Преступления Аквилонова» (Л., 1929).
[3] ИРЛИ. Р 1, оп. 3, № 48.
Возможно, что Нина *Оболенская* впоследствии опубликовала одно стихотворение в сборнике «Новые стихи» (М., 1927, сб.2, с. 64; подпись: «Н. Оболенская», дата: 8 августа 1925).
[4] ГПБ, ф. 474 (П. Н. Медведев), Альбом № 1, л. 1.
Всеволод Леонидович *Пастухов* (1896—1967) — известный в Петрограде пианист, с 1914 г. был дружен с Кузминым, частый посетитель «Бродячей собаки» («Памятники культуры. Новые открытия». Ежегодник 1983. Л., 1985, с. 228).
[5] ГБЛ, ф. 423, оп. 1, ед. хр. 25, л. 1.

Приведем отзывы Блока, напечатанные в статье П. Н. Медведева «Неопубликованные рецензии Ал. Блока»

О Д-ве

Стихи — заурядные, обывательские, «с настроениями». Не стоит с ними считаться.

О Л-ве

Думаю, что надо принять, работал долгую жизнь и профессиональный признак налицо. Нехорошо, что скрывает, что его биография — из «Русского Паломника» и напирает на «Известия» и «Каляева»[1].

О Р-не

Р〈...〉 н, как явствует из предисловия, не пишет стихов с 1906 года. Книжка 〈...〉[2] есть изложение, вероятно, искреннее, довольно средних мыслей и чувств в плохой метрической форме. Поэзией этих стихов назвать нельзя.

О поэтессе Ш-р

Стихи Ш 〈...〉 р — для домашнего обихода, совсем дилетантские, неумелые, слов много, а настоящего — ни одного. Такие же и переводы. Все это мило и чисто, но страшно безвкусно; ей надо быть хорошей девушкой, а поэта из нее не выйдет.

[1] «Автор представил при заявлении выдержку „из одной из биографических статей“ и указал, что место его службы редакция „Известий Петросовета“. „Каляев“ — одно из произведений Л-ва» («Памяти Блока», с. 69).
[2] П. Н. Медведев опустил название книжки, представленной в комиссию.

«...НАСТАЛО ВРЕМЯ ОЦЕНИТЬ ВНИМАТЕЛЬНО ПОЭТИЧЕСКУЮ СУДЬБУ БЛОКА»

(ИЗ АРХИВА Н. Н. АСЕЕВА)

Сообщение А. М. Крюковой

Начиная с первых шагов в литературе и кончая последними поэтическими строками и незавершенными статьями, Н. Н. Асеев обращался к имени своего великого современника. Посвятив Блоку несколько статей [1], неоднократно упоминая его имя и ссылаясь на него почти во всех выступлениях на литературные темы, Асеев неизменно подчеркивал огромную роль Блока в судьбе целого поэтического поколения, шедшего вслед за ним и воспитавшегося на поэзии «мирового лирика» (по его определению в одной из статей). Но при этом Асеев никогда, ни в молодые годы, ни в пору подведения итогов, не говорил отдельно о роли Блока в своей собственной творческой судьбе. Много и подробно рассказывавший в последние годы жизни о том, «у кого мы учились? У кого учился, в частности, я?» [2], Асеев в первую очередь называл народную речь с ее пословицами и поговорками, книгу Потебни «Мысль и язык», «Житие протопопа Аввакума», «Слово о полку Игореве», Киршу Данилова; из великих учителей прошлого поэт называл Гоголя, Пушкина, Баратынского, а из современников — Маяковского и Хлебникова. И если кого и можно было назвать «первым учителем» Асеева,— то разве только Маяковского, с именем которого он прошел всю творческую жизнь.

Вместе с тем в ряду ближайших и непосредственных учителей поэта одним из первых был Блок.

Отчасти эта тема затрагивалась в работах последних лет [3]; наша задача — на основе неопубликованных, малоизвестных, а также уже вошедших в читательскую орбиту материалов обосновать ее необходимость в изучении творческой биографии Асеева. Исследование темы «Блок и Асеев», на наш взгляд, должно расширить представление о многообразных связях Блока с поэзией XX в.

Как это получилось, и какие внутренние, психологические причины не позволили Асееву во всеуслышание сказать — с той же степенью убежденности и фактической аргументации, как о Маяковском,— об определяющей роли Блока в своей собственной судьбе — трудно сказать, но дело обстояло именно так; недаром исследователи под впечатлением большого количества высказываний Асеева о Блоке, ставших известными совсем недавно, в 1970-е годы, тогда же и заговорили на эту тему.

В 1980 г., к столетнему юбилею Блока, была впервые напечатана статья Асеева «Поколение Блока» (1940), пожалуй, лучшее из того, что написано им на эту тему, в которой содержалось очень важное признание поэта: «Александр Александрович Блок был для нашего поколения тем писателем, к которому устремлялись мысли и чувства молодежи еще со школьной скамьи. Блок привлекал нас душевной широтой, благородством поэтического размаха, незаинтересованностью в личной судьбе. В нем чувствовался обаятельный облик того вымирающего писательского племени, существование которого читатель благоговейно чтил, даже не будучи знаком с написанным. Таковы были, к примеру, Баратынский и Тютчев. А уж если попадал к читателю томик такого поэта, то он с ним оставался надолго, если не навсегда» [4]. Конечно, это—отголоски собственного юношеского восприятия «томиков» Блока, скорректированного опытом и знанием более позднего времени. Интересно, однако, что в другой статье того же периода («Несгорающий костер», 1940), написанной одновременно со статьей «Поколение Блока», эта картина восприятия поэзии Блока дана в более обобщенном, образно-метафорическом виде: «Огромная бескрайняя равнина. Глухая тьма, впитывающая в себя без отсчета малейшую огнинку, мелькнувшую где бы то ни было, как пустыня впитывает капельку трудно накопленной росы. И на этом черно-бархатном фоне — фигура, легкая и гордая, *с северным холодным лицом, с правильной формы головой, покоящейся на колонной шее*, как бы срезанной белым блюдом широченного отложного воротника, с расширенными, точно от ужасного видения глазами. Это тот, чьими стихами вооруженное, входило в жизнь наше поколение десятых годов» [5].

В творческой биографии поэта можно наметить несколько периодов наибольшего тяготения к Блоку. Самый ранний из них — период 1909—1916 гг.

В статье, открывавшей итоговую книгу литературно-критических статей Асеева «Зачем и кому нужна поэзия» (1961) и озаглавленной блоковскими словами «Не такое нынче время», автор, как уже упоминалось, подробно рассказал о своих предшественниках и учителях. Вот как рисовалось ему начало его поэтической биографии: «Вначале мне нравились стихи из сборников «Чтец-декламатор», в которых свалены были в кучу и замечательные, и посредственные произведения. И должен признаться, что вначале я увлекался именно посредственными. Они легче воспринимались, легче заучивались... Только гораздо позже я сообразил, что это не Пушкин был далек, а я сам недалек в своем понимании поэзии» [6].



Н. Н. АСЕЕВ
Фотография, середина 1920-х годов
Частное собрание, Москва

Для нашей темы существенно обратить внимание на то, что многие авторы «Чтеца-декламатора» и других подобного типа изданий, в изобилии представленные в те годы на книжном рынке, были откровенными эпигонами символизма и, в частности, подражателями Блока. Поэтому можно предположить, исходя из приведенного выше позднейшего свидетельства поэта, что первое знакомство Асеева со стихами Блока произошло через «вторые руки», т. е. через неталантливое переложение блоковских мотивов в произведениях эпигонской поэзии. Это предположение подтверждается многочисленными стихами Асеева, с которыми он впервые выступил в литературе (они печатались в журнале Н. Г. Шебуева «Весна», в альманахе «Первоцвет», в «Новом журнале для всех», в детском журнале «Проталинка», в альманахе «Лирика»). Эти стихи Асеев никогда потом не включал ни в свои сборники, ни в собрания сочинений; в конце жизни он вновь перечитал их, очевидно, в связи с подготовкой собрания сочинений (в его личном архиве сохранились позднейшие машинописные тексты этих стихотворений) — и вновь перечеркнул, теперь уж окончательно.

Однако трудно предположить, что даже в ранний период Асеев мог не читать, не слышать стихов самого Блока. Тем более, что к тому времени, о котором идет у нас речь (т. е. к 1910—1911 гг.), Блок был прославленным автором пяти стихотворных сборников и двух томов первого собрания сочинений, постоянно печатаемым, чрезвычайно популярным поэтом. Асеев не мог не знать его не только как человек, почувствовавший в себе творческие возможности, но и просто как молодой читатель, любящий поэзию.

Интересная для нашей темы деталь. В 1909 г. в Киеве вышел IV том «Чтеца-декламатора», в котором, как писал Блок матери 24 октября того года, было «перепечатано» «(с ист‹инным› бесстыдством)» 13 его стихотворений с портретом [7]. Вот перечень этих стихотворений: «На весеннем пути в теремок...», «Обман», «Легенда», «Осенняя воля», «Вхожу я в темные храмы...», «Бегут неверные дневные тени...», «Незнакомка», «Девушка пела в церковном хоре...», «Побывала старушка у Троицы...», «В голубой далекой спаленке...», «Повесть», «Фабрика», «Друзьям» [8].

То была единственная публикация стихов Блока в этом весьма эклектичном издании. Асеев был, конечно, знаком с ней; во всяком случае, в его первых стихах очевидны реминисценции блоковской образности, почерпнутой и из стихов, помещенных в «Чтеце-декламаторе». Достаточно, например, сравнить стихотворение Асеева «Старинное» («В тихом поле звонница...») с такими стихами Блока, как «На весеннем пути в теремок...» или «Обман», чтобы убедиться в этом.

Главное же в этом следовании начинающего поэта Блоку заключалось в своеобразном усвоении самого характера лирического героя Блока, стиля его поведения, противопоставленного, как, например, в стихотворении «Легенда», поведению «толпы» («И толпа грохотала. И гроза грохотала.//Ангел белую девушку в Дом Свой унес...» — II, 167—168).

На сходном мотиве противопоставления построена вся ранняя лирика Асеева, в том числе и первая книга стихов «Ночная флейта».

Я пришел к вам в тихий вечер
Из далеких стран.
Взор мой светел, грустны речи,
Гибок тонкий стан...

— таков образ «певца» в одноименном (сейчас забытом) стихотворении Асеева 1914 г.[9]

С. И. Бобров, сам переживший страстное увлечение поэзией Блока, в воспоминаниях «Записки о прошлом» так рассказывает об атмосфере поклонения Блоку, царившей в их общей с Асеевым литературной среде: «До сих пор мои собственные робкие попытки кропать стишки я хранил в величайшем секрете, показывая их — и то одним краешком и довольно редко — меньшей сестре и кротко уповаясь в глубине сердца ее неподдельным удивлением. Конечно, все это было, как я и сам догадывался, еще очень-очень недоразвито! Это не шло ни в какое сравнение с чудесными стихами Блока ... или с бледным блеском Брюсовского стиха...— увы! даже с лукавой наигранностью Кузмина..., а ведь это были мои боги, над строками которых я просиживал ночь за ночью. Вырос я в семье, где читали Полонского, К. Р., Алексея Толстого ... у меня был вкус к стихам, который пережил великий неописуемый взрыв, когда лет в четырнадцать я впервые напал на сердце-пронизывающие странички Блока. О высочайшем совершенстве Баратынского или Тютчева я вспоминал с рабострастным благоговением. Но Блок что-то со мной сделал... И я стал сочинять сам, несказанно угнетаясь моей неумелостью, неловкостью и прочими бедами в том же роде»[10].

Эта часть воспоминаний Боброва публикуется впервые. А далее здесь следует фрагмент, теперь хорошо известный в литературе: о знакомстве Боброва с Асеевым, относящемся к 1910 (1911) г.:

«Мы шли вместе по Неглинной, потом дальше около Политехнического музея, читали стихи, вспоминали Блока, вспоминали удивительного Тютчева. И я дрожащим голосом прочел: „Звезды на небе сияли. Ночь достигла половины...“

— Я этого не знал,— отозвался он тихо, и в голосе его что-то дрогнуло, приветливо и строго.

— А вот это еще! самое мое любимое...— и стал читать несказанно-прекрасную, на мой взгляд, „Итальянскую виллу“.

— Вот это стихи...— сказал прочувственным голосом мой спутник.— Вот для этого стоит жить...

И снова стали вспоминать тонкую нежность Блока, а затем суровую, всю дрожащую страшной трагедией лирику Баратынского, где вдруг неожиданно такая красивая и гордая песня счастья мелькнет...»[11]

«Блок и близкие к нему символисты казались как бы расцветшей любовью Левина и Китти,— продолжал Бобров,— точно самое чистое и самое хорошее в унылой русской жизни озарилось каким-то неземным по своей ясной красоте огнем... Брюсов казался каким-то бронзовым чудом, вроде древней статуи, которая обещает расцвет силы и нового могущества... А ведь орнаментализм, вся немного театральная красивость этого нового направления не замечалась... Невозможно было не плениться всей тончайшей нежностью Блока... а страшные тени угрюмых бессмыслиц окружающего мы старались не замечать. И не замечали»[12].

В памяти К. М. Асеевой сохранились впервые услышанные ею строки Асеева, относящиеся ко времени ее первых встреч с ним в Харькове, в 1911—1912 гг.

В высокой гостиной
легко и невинно
раздавался девический смех.
Люблю ли Бетховена,
Моцарта, Баха...[13]

«Дальше не помню,— рассказывает К. М. Асеева.— Тогда же он прочел нам свои стихи, написанные под влиянием Блока»[14].

Этот рассказ мне доводилось слышать не раз в последние годы: незабываемое впечатление юности, потрясение, испытанное от прозрачных, казалось, необыкновенных, стихов... Но что же это были за стихи? И какие стихи имеются в виду — из тех, «написанных под влиянием Блока»? Ведь в воспоминаниях К. М. Асеевой сохранились и другие асеевские строки, которые любили повторять «поэтически-настроенные молодые люди» из их окружения: «Ужас, ужас в голубой стране...» Строки «В высокой гостиной...», очевидно, входили в недошедшую до нас редакцию стихотворения Асеева «Золотая карета», впервые опубликованного в 1915 г. и вторично напечатанного поэтом в дальневосточной газете в 1919 г. [15]

А вот строки «Ужас, ужас в голубой стране» входили в другое стихотворение Асеева — «Голубой гобелен», которое поэт в те годы (1911—1912) не напечатал, а впервые опубликовал также лишь в 1919 г. во владивостокской газете «Далекая окраина» (где и удалось нам отыскать его в 1960-е годы — сейчас оно вошло в библиографические справочники):

Ты прошла — и звезды побледнели,
ты прошла и вечер замолчал...
Помню, помню — легкой ритурнели
светлый звук, смеясь, тебя встречал.
<...>

Но когда из пышношумной свиты
вышел рыцарь, страстный рыцарь твой,
как твои цветущие ланиты
мертвою сверкнули белизной!

С губ твоих усмешка не сбежала
(сердце ли заплакало твое?).
Но в перчатке узкого кинжала
Тусклое сверкнуло лезвие...

И порвались голубые нити,
ужас, ужас в голубой стране...
Ты сказала: «Рыцарь, посмотрите,
так плачу я за измену мне!»...[16]

Первой книгой стихов — «Ночная флейта» (1914) — завершился у Асеева ранний период увлечения Блоком. Асеев заимствовал у Блока не только название для своей первой книги («Ночная флейта» ассоциируется с «Ночной фиалкой» Блока, 1907), но тему, поэтический сюжет. В этом можно убедиться, перечитав стихи «Внезапье», «Ночной поход», «Фокусник», «Как вынесло утро тяжелые стрелы», «В сини четырехугольника» и др. [17] Последнее ассоциируется со стихотворением Блока «Митинг» (1905), на что уже обратили внимание исследователи.

Привлеченный прежде всего блоковской поэтикой, Асеев еще робко отзывается на социальный пафос стихотворения, которое было создано в период первой русской революции. И все же можно предположить, что гражданская тема, возникшая в поэзии Асеева позже, после Октябрьской революции, шла в определенной степени и от Блока. В упоминавшейся статье «Поколение Блока» Асеев говорит именно об этой стороне воздействия Блока: «Его стихотворение „Митинг", недостаточно еще оцененное до сей поры, останется свидетельством вечной близости поэзии с революцией <...> И сцена страшного убийства его <героя стихотворения, „оратора, политического трибуна 1905 года"> из-за угла провокатором и то, как человек лежал, и как солдат держал ружье над убитым,— все это быстро и остро отмечено пристальным внутренним взором поэта. И этот поэт „ночным дыханием свободы уверенно вздохнул". Вместе с Блоком вздохнул дыханием свободы и его читатель. Это очень много было — увидеть рождение этой свободы не только в прокламациях и демонстрациях, но и в духовном ее облике, рожденном голосом поэта» [18].

После «Ночной флейты» в творчестве Асеева наступает новый этап, связанный с его увлечением футуризмом. Однако литературные группы, к которым примыкал Асеев в 1915—1916 гг., возникавшие вокруг одноименных небольших издательств в те годы довольно часто и вскоре же, по слову Пастернака, лопавшиеся (как, например, «Центрифуга» и «Лирень»),— не представляли это течение в чистом и программно осознанном виде, а являли собою нечто среднее между символизмом, с которым они были связаны «по праву рождения» (слова Асеева) [19],



Н. Н. АСЕЕВ
Фотография, конец 1950-х годов
Частное собрание, Москва

и мощной волной футуризма, роль которого в истории отечественной литературы (и судьбе Асеева) во многом объяснялась тем, что одним из выразителей его стал на какое-то время Маяковский.

Но именно тогда, когда Асеев утверждался самостоятельно, когда, казалось ему, он уже окончательно расстался с символизмом и стал представителем нового направления в русской поэзии, он и решил обратиться к Блоку с письмом.

О существовании переписки Асеева с Блоком в литературе известно давно; в 1975 г. В. Н. Орлов впервые опубликовал из нее ответное письмо Блока Асееву [20]; письма же Асеева Блоку до сих пор не были напечатаны. Приводим текст этой переписки полностью.

1. АСЕЕВ — БЛОКУ

〈Харьков〉 8 марта 1916 г.

Дорогой Александр Александрович.

Вместе с письмом Вам послана книга, последняя, вышедшая в нашем изд-ве. Цель ее посылки—ознакомить Вас с внешним видом издаваемых нами книг. Если она Вам понравится, то цель письма просить Вас участвовать в сборнике, задуманном к〈нигоиздательст〉вом Сборнике стихов и критики. В него войдут вещи лиц, поименованных в участниках журнала (см. объявления в «Леторее»). В этот журнал — если бы Вы захотели — Вас тоже просим.

Для сборника нужны стихи: для журнала всяческие наблюдения Ваши над стихом, словом, над событиями их мира, заметки о синтаксисе и грамматике и так далее.

Приглашение это следует не по соображениям выгод издательских, но по личному расположению к Вам, многоуважаемый Александр Александрович, как к поэту сильнейшему из Вашего поколения, а так как вечные ссоры поколений становятся все менее острыми, то союз с и л ь н е й ш и х * будет и должен иметь возможность править распущенным донельзя вкусом широких масс.

Хотя последнее — конечно же для красного словца.

Это приглашение послано Вам и никому другому из начавших с Вами. Но поверьте, не для темных целей рекламы и выгоды. Будьте уверены в любви к Вам.

Ник. А с е е в

Адрес до июня: Харьков, Старомосковская ул., д. 54, кв. 5, к-ву «Лирень», для Григория Николаевича Петникова [21].

---

* Слово подчеркнуто Блоком красным карандашом и над ним поставлены вопросительный и восклицательный знаки.

2. БЛОК — АСЕЕВУ

〈Петроград〉 20 мая 1916 г.

Книги Ваши и письмо я получил давно, а не отвечал потому, что «Леторей» оставил меня равнодушным, письмо же показалось несерьезным, потому что Вы как-то торжественно называете себя «сильнейшим». Ну, скажите, кто же это так о себе думает; разве в полемической брошюре, а в письме зачем? — Это не по-русски.

Александр Блок [22]

3. АСЕЕВ — БЛОКУ

〈Харьков, конец мая 1916 г.〉

Многоуважаемый Александр Александрович!

Мне очень печально, что «Леторей» оставил Вас равнодушным, хотя я сейчас же утешил себя тем рассуждением, что старшим очень трудно воодушевиться уважением младшего возраста, будь это движение в поэзии, науке или баррикадах. Кроме того, хорошему поэту очень редко нравятся чьи-либо стихи вообще. Что гораздо более меня огорчило — общая враждебность Вашего ответа. Здесь она настолько ясна, что мне даже неловко упоминать об ослепленном положении, в которое она Вас, Александр Александрович, поставила. *Никогда* я Вам не писал *о себе*. Письмо объясняло обращение *к Вам*, как *к сильнейшему* из своего возраста. Это и теперь мое убеждение. И еще более подтвержденное (сильнейший=несправедливейший).

Итак, ваш укор оборотился лицом к Вам. Что же касается «скромности», «русской», то, говоря вообще, упрекать в ее отсутствии русского — по-моему, так же не резонно, как упрекать немца в отсутствии у него в галстуке булавки в виде крупповской пушки.

Но все это — не нравоучение, а спокойный разговор. И я ни капли не в обиде на Вас.

Приглашая же Вас в участники изданий своих — я видел в Вас *талантливого* поэта и только. Мне это легче видеть, т. к. дети всегда старше своих отцов во времени. Мой отец кажется мне ребенком.

Я не знаю, как убедить Вас в своей серьезности, потому что боюсь ее маски. Прошу извинить меня за навязчивость — но я не мог оставить Ваше письмо без ответа. Пишу Вам на Вашем же письме только потому, чтобы Вы могли с ним справиться.

Жму Вашу руку.

Ник. Асеев [23]

Блок на это письмо не ответил, сделав лишь пометку на нем: «Через „Летопись“ получ〈ил〉 4.VI.1916» [24].

Остается не совсем ясным, почему письмо Асеева получено Блоком через «Летопись». Возможно, это было связано с тем, что обидевшийся Асеев послал свой ответ поэту не на его домашний адрес, а на официальный, через журнал «Летопись», издававшийся в Петрограде под редакцией Горького. А о сотрудничестве Блока с Горьким в 1915—1916 гг. Асееву было, очевидно, хорошо известно.

С другой стороны, также не совсем ясно сейчас, было ли обращение Асеева к Блоку в 1916 г. первой попыткой установить личный контакт с поэтом, или ей предшествовали другие.

Вчитаемся в письма Асеева к Блоку. В. Н. Орлов, опубликовавший, как уже говорилось, письмо Блока Асееву, полагал, что вместе с письмом Асеев послал ему вышедшие в книгоиздательстве «Лирень» две свои книги: напечатанный на гектографе небольшой сборник стихотворений «Зор» (1914) и сборник, выпущенный совместно с Г. Н. Петниковым, «Леторей» (1915) [25]. Для такого предположения есть основания: в конце книг, выпускаемых издательством «Лирень», указывались год и месяц выхода книг; так, к марту 1916 г., т. е. ко времени первого письма Асеева Блоку, вышли только две названные книги поэта, а третья и последняя, вышед-

шая в этом издательстве в том же году («Четвертая книга стихов «Ой конин дан окейн»), появилась лишь в мае того года.

Следует также обратить внимание на то, что сам Асеев в первом письме Блоку говорит об одной своей книге: «Вместе с письмом — Вам послана книга...» и указывает ее название «Леторей». В ответном же письме Блока говорится, однако, не об одной, а о двух (трех?) книгах Асеева, присланных ему поэтом: «Книги Ваши получил давно...» Из материалов, хранящихся в Пушкинском Доме, известно, что в состав личной библиотеки Блока входили две книги Асеева: «Ночная флейта» (1914) и «Леторей» (1915) [26]. Эти книги не сохранились, и у нас нет возможности установить, как именно оказалась в составе библиотеки поэта первая книга стихов Асеева «Ночная флейта». Скорее всего, Асеев, увлеченный Блоком, о чем говорилось выше, следуя примеру своего старшего друга С. П. Боброва, пославшего Блоку свою первую книгу стихов «Вертоградари над лозами» [27], поступил так же, решив познакомить Блока со своим литературным дебютом, на который возлагал большие надежды. Произошло это, очевидно, в 1914—1915 гг., но ответа Блока на этот подарок не последовало (возможно, потому, что Блоку было нечего сказать о нем, так сильно чувствовались в этой книге реминисценции его собственных стихов). В связи со всем сказанным нам остается предположить, что письмо Асеева от марта 1916 г. было не первым личным обращением его к Блоку.

Не понравившаяся Блоку «эпатирующая» интонация асеевского письма была вполне приемлемой в среде той молодежи, к которой принадлежал Асеев (вспомним позднейшее свидетельство Б. Пастернака: «чувство правды, скромность, признательность не были в цене среди молодежи левых художественных направлений и считались признаками сентиментальности и кисляйства» [28]). Хуже и неприятнее была эпатирующая интонация творческого, поэтического «поведения», столь явно выраженная в «Леторее», как и в двух других книгах Асеева. Так, в сборнике с претенциозным названием «Зор» (как и «Леторей», и «Лирень» — действительно, сказанным «не по-русски») имя Блока не упоминалось, но наступление нового направления на «символизм» (в лице В. Брюсова) было выражено громко и победительно: «Закидывает громопал за плеча. Наезжает конем на солнце»,— такими строками заканчивалось здесь стихотворение «Запевает». «Вал⟨ерий⟩ Брюсов с костылем и сумкой, бормоча заклятия весами и мерой, собирает брошенные тем ⟨т. е. героем „Зора“⟩ славянизмы — в мешок. Наезжают запорожцы. Бр⟨юсов⟩ прячется. Вдале гром» [29]. А в «Леторее», стихах и программном предисловии, эта наступательная позиция была выражена еще яснее, что не могло быть принято Блоком.

«Еще и еще раз утверждайте единственную ответственность творчества — правило новаторства,— говорилось в предисловии к этой книге,— но не технического изма, а признания за каждым пишущим своего не боящегося хотенья, поражающего ходячий смысл.

Слово у современного человечества может явиться только в стихе. А стих не является размерной однообразной качкой купе первого класса, как думали доселе. *Он без костей размера! Он без третьего блюда рифмы! Он только сочетание звуков, ведомых проснувшейся волей* ⟨...⟩ Дикое слово ведется нами из душевных дремлин» [30].

Стоит заметить, что эта программа не была принята и Брюсовым: слова, выделенные курсивом, подчеркнуты им в экземпляре книги, сохранившейся в его библиотеке [31].

В. Н. Орлов справедливо полагал, что «о неудавшейся попытке завязать с Блоком личные и литературные отношения ... он ⟨Асеев⟩ не вспоминал» [32]. Более того, он, по-видимому, совершенно забыл о ней. Мы имеем и косвенное подтверждение этому: в архиве поэта сохранился черновой набросок его письма, посвященного переписке с Блоком.

«Благодарю Вас за отрывок из статьи «Тема России в поэзии Блока», но по отрывку трудно судить о целом. Тем более, что даже и в этом отрывке как-то неточно цитируется мое письмо к Блоку и его восприятие этого письма. Вы пишете, что «Асеев обращался к Блоку «как к поэту сильнейшему», а между тем из прочтения ответа Блока следует понять, что сильнейшим будто бы я величал сам себя. Тут какое-то недоразумение, что естественно должно было казаться ему несерьезным. Следует выяснить и привести точный текст моего письма и ответа Блока не в отрывках. Может быть, что письмо было не от меня? В 16 году я был в армии и посылать Блоку [33] ⟨2 нрзб.⟩ Было ли оно от «Леторея»? [Может быть, Блок] Кто нашел это письмо? М. б., подписал? Выясните, пожалуйста, иначе я буду вынужден протестовать против Вашей статьи.

Н. А с е е в» [34]

Адресат письма не указан; всего вероятнее — оно обращено к С. М. Тарасенкову, автору статьи «Тема России в поэзии Блока», пославшему ее Асееву в 1960 — начале 1961 г. [35] Было ли отправлено письмо Асеева к нему, установить не удалось (С. М. Тарасенков умер в 1980 г.),

однако в статье С. М. Тарасенкова фрагмент о переписке Асеева с Блоком напечатан в редакции, которая позволяет предположить, что критическое замечание Асеева автор учел [36].

Переписка 1916 г. с Блоком, ее неудачный финал не изменили отношения Асеева к поэту: первая же статья о нем, написанная им еще при жизни Блока, в 1919 г., была проникнута и уважением, и стремлением по достоинству оценить значение Блока в судьбе современного поколения, ставшее особенно явственным в эпоху великих событий Октябрьской революции.

В 1917—1921 гг. Асеев находился на Дальнем Востоке. Об этом периоде своей жизни он оставил многочисленные воспоминания, опубликованные и неопубликованные; достаточно полно исследован этот период и в литературе. Для нашей темы существенно обратить внимание на неизменность внутренней связи поэта с Блоком, сохранившейся у него и в эти трудные и значительные, переломные годы его жизни. «Революция была новой, она сбила оковы не только с политических каторжан, она освободила от оков фантазию, душевный порыв, заветную мысль, надежды молодости. Мы были с революцией потому, что она была с нами неразрывно, неотделимо, ежечасно, ежеминутно» [37]. В этих словах позднего Асеева до сих пор слышен восторг приятия новой жизни, открывшейся в революции, и желание помочь ей своим искусством. В эстетических взглядах Асеева полнее, чем в его поэтическом творчестве, выразилось и оформилось это стремление. «Беседы о демократизации искусства» (так назывались две статьи Асеева, опубликованные в дальневосточной газете) [38] имели широкий диапазон. Асеев опирается в первую очередь на творчество Маяковского, пропагандирует новаторские поиски Пастернака и Хлебникова и одновременно проявляет глубокий интерес к народному искусству. Блок существует в его творческом сознании как бы подспудно, но общение с ним для Асеева органично и естественно.

Интересно свидетельство О. Г. Петровской, участницы литературной жизни Дальнего Востока тех лет: «Как раз в то время ⟨т. е. в 1919—1920 гг.⟩,—вспоминает О. Г. Петровская,— я штудировала работу Александра Блока „Поэзия заговоров и заклинаний“. В ней Блок, углубляясь в историю языка старины народной ⟨...⟩ исследует язык сказок и легенд, поверий и заклинаний. Он много говорит о ритме, о поэтической форме текстов народного творчества.

Я показала Асееву эту статью. Асеев очень любил Блока, очень заинтересовался этой статьей и отрывком о заклинаниях „для отогнания русалок“, где есть заповедные непонятные слова:

Ау, ау, шихарда кавда!
Шивда, вноза, митта, миногам,
Каланди, инди, якутами, биташ,
Окутоми ми нуффан, зидима...

Николаю Николаевичу наше исполнение этих строк не понравилось. Он взялся показать, как надо произносить заклинание. Гипнотически глядя на нас, в каком-то особенном синкопическом ритме он то напевал, то нашептывал эти загадочные лесные слова,— и был он тогда кудесником, и знахарем, и Паном, и заклинателем ⟨...⟩

Асеев рассказывал нам о Хлебникове. Читал „Ладомир“, „Смехачей“, „Вилу и лешего“ и многие другие вещи. Асеев первый показал нам глубину поэтической мысли Хлебникова ⟨...⟩ И впоследствии Асеев долго и горячо увлекался Хлебниковым. И остался предан ему на всю жизнь. Но все-таки, несмотря на пристрастие к Хлебникову и Маяковскому, Асеев больше всех поэтов любил Пушкина и Блока» [39].

Организовав во Владивостоке «Литературно-художественное общество» и при нем клуб творческой интеллигенции, Асеев называет его блоковским словом «Балаганчик». Здесь поэт читает лекции о «новом искусстве», стихи Маяковского и Блока, участвует в постановке романтических пьес. Позднее, в Чите, в Историко-литературном кружке проф. М. К. Азадовского и близкой к кружку группе «Творчество», в которую входил Асеев, он продолжает активно пропагандировать Блока» [40].

Получив в конце 1918 — начале 1919 г. только что вышедшую книгу стихов Блока, Асеев вскоре же перепечатал ее в местных изданиях и выступил со статьями, посвященными ей. В книгу входили «Двенадцать» и «Скифы» [41], открывалась она предисловием Р. В. Иванова-Разумника «Испытание в грозе и буре». Этим заглавием воспользовался Асеев для своей первой статьи о Блоке. Поэма «Двенадцать» была напечатана во владивостокской газете «Дальневосточное обозрение» [42], одним из редакторов которой был Асеев. «Скифы» открывали третий номер журнала «Творчество» («Журнала культуры, искусства и социального строительства»),

также выходившего во Владивостоке (позднее — в Чите), со следующим примечанием «От редакции» (Асеев входил в редакцию журнала): «Одновременно с поэмой „Двенадцать", уже известной читателям Дальнего Востока, А. Блоком издано в Советской России нижепомещаемое стихотворение «Скифы», еще не известное на Дальнем Востоке и печатаемое здесь впервые» [43]. В следующем номере журнала «Творчество» появилась статья Блока «Интеллигенция и революция» с таким примечанием: «Печатаем последнюю дошедшую до нас статью А. Блока, ярко воплотившего те думы, чувства, ожидания, которыми жива сейчас артистическая интеллигенция России, связавшая свои судьбы с народом и революцией» [44].

Эти произведения Блока оказываются созвучными настроению Асеева; не случайно он посвящает им две статьи. Можно предположить, что и приведенные краткие примечания принадлежат ему.

Статьи Асеева 1919 г. о Блоке теперь хорошо известны. Окидывая взглядом состояние литературы первых лет революции, Асеев склонен оценить ее достижения сдержанно. В цикле статей «Современники» Асеев выделяет, как уже говорилось, лишь три поэтических имени. Даже Есенин, впервые привлекший внимание Асеева именно в эти годы, оценивается им в той мере, в какой он сумел приблизиться к художественным принципам нового, т. е. «левого», искусства [45]. Сурово оценивает Асеев целое направление в литературе, на смену которому, с его точки зрения, пришел футуризм. «Малая раскаляемость духа», недостаточное горение общественными идеалами ставятся Асеевым в вину символизму. И только один Блок стоит для Асеева незыблемо на своей вершине, стоит как норма художнического и человеческого поведения в эти суровые и великие дни, как образец для всего современного поэтического поколения, в том числе и для нового («левого»).

Приведем фрагменты из цикла «Современники», посвященные Блоку, до сих пор не переиздававшиеся.

I. Из раздела «Символисты».

«Немного имен можно назвать среди представителей этого течения. Но все эти имена имеют определенный литературный вес, большое и славное прошлое ⟨...⟩ Непреложно одно: влияние их на поколение очевидно, миросозерцание внедрено в наиболее культурную часть общества, а потому имена их необходимо считать уже закрепленными на страницах истории новейшей литературы. Александр Блок, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Вячеслав Иванов, Иван Коневской (умер), Александр Добролюбов — вот группа молодежи 900-х годов, сумевших за короткое время завоевать и перевоплотить устремления и идеологию русского искусства».

И далее о Блоке: «Лирик большого внутреннего диапазона, чуждый личных интересов и чинопочитания, он сумел завоевать общее признание, не делая для этого специальных „аудиторий", но увлекая на путь версификаторства сотни молодых людей и девиц» [46].

2. Из раздела «Последняя страница истории литературы (эклектики и стилизаторы)»:

«... Единственный самобытный и самостоятельный поэт из лагеря символистов — А. А. Блок — никогда не увлекался столь опасным присвоением своей музе чужого облика, чужого платья. Во всех его книгах — ни одного искусственно сделанного стихотворения. Ни одного в заранее заданной форме. И при всем том богатство ритмики, живучесть образов, не отягощенных мифологической, мертвой бутафорией давно умерших божеств и дел» [47].

Блок, с точки зрения Асеева, стоит как бы особняком в современной ему литературе. Он — один («одинок») в среде равных ему по возрасту и поэтической культуре. В чем же его «тайна», его сила?

Прежде всего в том, что «малая раскаляемость духа», свойственная символизму, не была присуща Блоку. Напротив, он оказался первым и единственным русским писателем, заговорившим высоким поэтическим языком о своей раскаленной революционными событиями современности. Статья Асеева «В грозе и буре (О последних стихах Александра Блока)» посвящена именно такому прочтению и оценке поэмы «Двенадцать» и стихотворения «Скифы»: «Среди всевозможных разрух и развалов,— пишет Асеев,— постигших русскую общественность за огневые годы крещения революцией, самой устрашающей и вместе с тем самой малозаметной была та гангрена творческой способности общества, его поверхностное, внешнее, верхоглядское отношение к событиям огромного значения, его неумение и нежелание выяснить соотношение этих событий с вопросами хотя бы личного существования, которую можно охарактеризовать как обнищание, дряхлость и упадок воли к жизни старого, засыпающего в оцепенении смерти мира, потерявшего способность мыслить и ощущать ⟨...⟩ И только неожиданно твердо, неожиданно властно прозвучал голос поэта-лирика, поэта, до сих пор не имев-

шего никаких счетов с общественностью, причисленного к лику «наследников Фета» ⟨...⟩ Две его вещи: «Двенадцать» и «Скифы» за короткое время приобрели широкую известность, главным образом по той внутренней значительности и силе, которая всегда сопутствует произведениям вневременным и заставляет прислушиваться даже заросшие мхом уши современников...» [48]

Тезис о «неожиданности» выступления Блока требовал разъяснения, которое и последовало во второй статье Асеева, посвященной тем же произведениям Блока. Статья появилась в другой владивостокской газете спустя несколько месяцев и называлась «Радуга революции („Двенадцать" Блока)». Она имела целью уяснить «то положение, которое займет поэма в истории поэзии вообще, как и в истории революционного искусства, каковое, по нашему глубокому убеждению,— пишет Асеев,— явится предметом особого изучения в будущем». Асеев говорит здесь о связи поэмы Блока со всей «школой русских символистов», оказавшейся «судьбой для обеспечения существования одного лишь поэта». «Творчество этого поэта,— пишет он далее,— в свою очередь было подготовительной работой для одного произведения, нужного и значительного, как антропометрическая съемка характерных линий эпохи» [49].

Смерть Блока была воспринята Асеевым как большое личное горе. Дважды он выступил на митингах, посвященных памяти поэта; во владивостокской газете была напечатана его статья о Блоке:

«Умер поэт, по масштабу равный Лермонтову ⟨...⟩ Талантливейший представитель группы символистов 900-х годов, он один из них был достоин без оговорок звания поэта. Рыцарь „Прекрасной Дамы" в начале своего пути, прошедший сквозь „Землю в снегу" и „Снежные маски" соловьевского мистицизма, раздумчивой тропой своей вступивший на цветущую тропинку „Нечаянной радости" свершения и здесь, на страже „Ночных часов", не изменивший верности своих песен о России,— Блок до конца своих дней остался поэтом непревзойденной певучести и исключительной лирической актуальности. Под его непосредственным и отраженным влиянием выросли почти все поэты сегодняшнего дня» [50].

На первый взгляд может показаться, что с возвращением Асеева с Дальнего Востока в Москву в начале 1922 г. и его погружением в атмосферу литературных поисков, связанных с футуризмом и Лефом, имя Блока, его творческий опыт отступают для него на второй план. Действительно, после статей 1919—1921 гг. поэт обратится к эстетическому осмыслению опыта Блока лишь спустя двадцать лет. Но и в 1920-е, и в 1930-е годы имя Блока будет оставаться в его сознании, соседствуя и противоборствуя с могучим влиянием на него Маяковского. Лишь позднее Асеев попытается примирить эти два явления отечественной поэзии.

Первое, на что следует обратить внимание: имя Блока постоянно присутствует в статьях и выступлениях Асеева на литературные темы. В декабре 1922 г. в письме группе «Творчество», друзьям в Читу, Асеев, перечисляя новости культурной жизни столицы, как одно из важнейших событий называет: «Интересны книги о Блоке» [51].

Но тогда же, вскоре после возвращения в Москву, в статье 1924 г., посвященной обзору «советской поэзии за шесть лет», Асеев совсем по-иному оценивает послереволюционное творчество Блока: «Начать с перечня ушедших. Если об Александре Блоке достаточно было говорено как об авторе „Двенадцати" — вещи спорной, стилизованной и мистической, причем наряду с этим совершенно незаслуженно были забыты его революционные стихи 1905 г. ⟨...⟩ то об исключительной потере В. Хлебникова сказано так обидно мало, что будущий историк литературы может впасть в заблуждение относительно повальной глухоты критики современья» [52],— так начинается эта статья. В дальнейшем к имени Блока поэт здесь уже не возвращается, связав все свои надежды в литературе с Маяковским — «наиболее яркой фигурой среди поэтов сегодняшнего дня».

Статья при жизни Асеева не была напечатана.

В других выступлениях того же времени Асеев дает развернутые оценки творчества Блока, в которых исходит из вульгарно-социологических позиций футуристического (лефовского) свойства. В статье 1922 г. «Избяной обоз (О „пастушеском" течении в поэзии наших дней)», посвященной главным образом творчеству Есенина и близких к нему поэтов, Асеев пишет о «двойственности миросозерцания покойного А. Блока, в соответствии с которым он определял Россию то как мессиански нищую, и в этой нищете самодовлеющую, этой нищете предопределенную страну, чьи серые избы ему были „как слезы первые любви", то как „Америки новой звезду", восторженно провиденную им вопреки „мутным

взорам колдуна",— эта двойственность наложила отпечаток на лирику нашего времени». И далее: «А. Блок не мог, да и не хотел соединить эти два начала нашего быта, он осязательно противопоставлял их друг другу как враждебные, утверждая в этом противопоставлении романтику своего творчества. Все-таки к концу своей прерванной хаосом быта жизни А. Блок почувствовал необходимость перехода от тютчевской России к новым формам волеизъявления, к новому масштабу ее измерений, к новому ощущению себя в новых же, еле намечающихся контурах ее судеб» [53].

Статью 1922 г. Асеев перепечатал почти без изменений в 1929 г. в своей программной книге «Дневник поэта»; в том же году в другой своей книге, «Работа над стихом», исходя уже не из социальных, а исключительно литературных «жанрово-стиховых» позиций, Асеев повторит и дополнит изложенную выше концепцию. Оказывается, с точки зрения Асеева, «главное несчастье» Блока было «в выборе жанра»; попытка перевести «голоса скрипок» («цыганский жанр») в «план небесных сфер» не удалась ему; тем более невозможно было соединить этот жанр с «музыкой революции» («это была совсем другая музыка, и в диапазон Блока она уложиться не могла, оборвав его голос» [54]).

Асеев полностью, таким образом, меняет свой взгляд на Блока: происходит какая-то метаморфоза в понимании поэта, еще недавно бывшего и учителем, и точкой опоры для него.

Этот период творческой биографии Асеева следует рассматривать в контексте идейно-тематических поисков советской литературы тех лет: от лефовского ее направления до пролетарской поэзии и так называемого «производственного искусства», одним из первооткрывателей которого был поэт А. Гастев. В начале 1920-х годов появились стихотворения Асеева «В стоны стали», «Работа», «Ай дабль даблю», «Стачколомы», «Башни радио», «Жар-птица в городе», «Гастев», поэмы «Черный принц», «Электриада», «Свердловская буря» — огромное количество произведений, составивших две, вышедшие одна за другой книги стихов: «Стальной соловей» (1922, два издания) и «Совет ветров» (1923).

Жертва, которую приносит Асеев ради прославления будущей индустриальной мощи страны и создания соответственно ей «стальной», механизированной поэзии, порой кажется непомерной, грозя уничтожить самое поэзию, но он приносит ее со всем жаром и искренностью поэтически одушевленной натуры, увлеченный новой, революционной явью:

И был соловей, живой соловей,
он бил о таком и об этаком:
о небе, горящем в его голове,
о мыслях, ползущих по веткам.

Он думал: крылом — весь мир обовью,
весна ведь — куда не кинешься...
Но велено было вдруг соловью
запеть о стальной махинище...

Мир ясного света, льни,
мир мощного треска, льни,
звени и звени без умолку!
Он стал соловьем стальным!
Он стал соловьем стальным!..
А чучела — ставьте на полку! [55]

Признавая в Асееве «самого крупного поэта, которого мы сейчас в России имеем», Луначарский уже тогда резко отрицательно оценил это направление его творчества: «Стихотворение „Стальной соловей" производит на меня тягостное впечатление,— писал он автору.— В нем, правда, по существу говоря, Вы, на чуткое ухо, признаетесь в этой тягости. Вам кажется, что кто-то действительно велел Вам воспевать „махинище", что Вам захотелось надеть на себя „ярмо", что у Вас как-то и внутренне и внешне уж такая доля — стать стальным соловьем ⟨. . .⟩ Я все же по-андерсеновски думаю, что живой соловей лучше» [56]. Неизвестно, получил ли Асеев это письмо: местонахождение подлинника до сих пор не установлено, а отклика в произведениях Асеева оно не получило.

В последние годы Асеев пересмотрел эту позицию, не раз оспаривая ее в стихотворениях «Соловей», «К другу-стихотворцу» и др.; но отказаться от нее полностью так и не сумел: «Зачем плодить сотни раз пересказанное об урбанизме и футуризме,— писал Асеев в одном из последних писем,— когда урбанизм был понятием, близким к индустриальным мечтам о городах будущего, когда стальной соловей противопоставлялся деревенской избяной Руси, где соловьями заслушивались только те, у кого было время гулять по летним ночам, тогда, в те именно времена, город был на первом плане поэтического мышления. России после разрухи нужны были машины, заводы, шахты. А вместо этого воспевалась избяная, кондовая,

толстозадая бабища Россия. Тогда и только тогда нужен был разговор не о библейски „железном мессии", а о реве заводских труб и грохоте станков будущего. А тишина, безмашинье, безручье — были врагами будущего. Как же это не понять и смешивать „железных мессий" с мечтой о стальном соловье... Ну футурист, ну урбанист... Нет, я не был ни деревенским, ни городским. Я был и остался русским, к которому никакое чуждое слово не пристанет, повторяй его хоть тысячу раз» [57].

Характерно, что Асеев объявляет себя непримиримым врагом той «избяной, кондовой» России, в которую палили из своих «винтовочек стальных» двенадцать красногвардейцев Блока.

Эта скрытая цитата из Блока, емкий блоковский образ идеологически важны для Асеева.

До конца 1930-х годов имя Блока отсутствует в статьях и поэтических произведениях Асеева; в поэме «Маяковский начинается», главном сочинении этого периода, Блок упоминается всего один раз, и то для того лишь, чтобы напомнить о тех поэтических явлениях современности, которые, с точки зрения автора, противостояли Маяковскому:

И Блок
Незнакомку уводит во храмы
Нечаянной радости
вызвенеть звук...[58]

И тем более неожиданно прозвучала в 1940 г. статья Асеева, озаглавленная строчкой из поэмы Маяковского «Человек» — «Несгорающий костер», посвященная юбилею Блока [59] (первоначальное заглавие ее — «Александр Блок») [60]. Статья несет на себе следы огромной духовной работы, которую проделал автор в эти годы. Мы можем только предполагать, как была мучительна и трудна для Асеева эта работа, связанная с пересмотром недавних представлений о Блоке. Она требовала мужества: ведь к концу 1930-х годов, после смерти Маяковского, в обстановке жесточайшей борьбы за его наследие, Асеев уже приближался к тому, чтобы стать его прямым преемником и продолжателем. А статья 1940 г. о Блоке словно бы обнажила перед читателем его другое и чрезвычайно глубокое творческое пристрастие. Конечно, в статье «Несгорающий костер» еще вполне ощутим налет вульгарно-социологических взглядов, преодолеть которые Асееву не удалось, а может быть, он к этому и не стремился. Однако как бы нас, с сегодняшних позиций, ни удручали и схематизм статьи, и ее некоторая заданность, следует признать это выступление о Блоке 1940 г. важнейшей вехой в творческой биографии Асеева, и даже шире — заметным фактом в истории советской литературы.

Выше уже приводилось вдохновенное начало этой статьи.

Упрекая критику Блока в том, что она «пыталась охарактеризовать его как мистика-символиста, клеила на него ярлычки с дешевыми оценками», Асеев, следует предположить, обращает этот упрек и к себе. А говоря о восприятии Блока поколением молодежи 1910—1912 гг., в котором, как здесь сказано, он опирается на «ощущения своей молодости», Асеев несколько трансформирует эти ощущения в свете сегодняшних представлений: «Вот чему учил нас Блок. Всей полноте жизни, всему ее многообразию, всему буйству ее сил, чтобы в результате этого многообразия научиться самому главному: достойной походке за тяжелым плугом мастерства. И мы всей душой отзывались на этот правдивый голос, на это веселое учение. Мы усваивали от него не хождение в тихие храмы, а любовь к заре, к рассвету, к росным травам, к свежести и ясности первоначального ощущения жизни». Статья заканчивалась мыслью о том, что и Маяковский, по-новому перестроивший русский стих, многое воспринял от Блока.

А в статье «Поколение Блока», которую мы упоминали, Асеев более подробно говорит о творческом воздействии Блока на Маяковского; впервые появляется в этой статье и мотив обратного воздействия — Маяковского на Блока, мотив, который Асеев будет подробно разрабатывать в статьях последних лет жизни. Причем взаимовлияние этих поэтов Асеев усматривает не только и не столько в области стиховой культуры и прямых тематических совпадений (например, в поэме Маяковского «Человек» он находит отзвуки блоковских «Плясок смерти» и «Жизни моего приятеля»), но и в сфере идейной: «Гражданский оттенок поэзии Блока, его страстная искренность была тем началом, которое затронуло в Маяковском глубокие чувства» [61]. Очень важная и интересная мысль, еще недостаточно воспринятая нами и сегодня. Однако статья «Поколение Блока» представляет интерес

и в другом отношении: в ней впервые, хотя и всего в одном абзаце, было сказано о роли Блока в творческой судьбе таких, казалось бы, далеко от него отстоящих поэтов, как Анна Ахматова и Сергей Есенин: «Свобода его дыхания дала им опыт и возможности, не бывшие до него». Сейчас нам это кажется бесспорным. Но ведь то было сказано Асеевым в 1940 г.

Так был подготовлен в творческом сознании Асеева новый и, может быть, самый глубокий период его духовного общения с Блоком, относящийся ко времени Великой Отечественной войны.

Наследие Асеева этого периода мало изучено. Очень многое из созданного им в эти годы — стихи, поэмы («пять поэм», по его словам), статьи, выступления, письма, оставшиеся неопубликованными, сохраняются в архиве; многое затерялось в периодической печати тех лет. Даже первое знакомство со всем этим огромным (тысячи страниц!) массивом позволяет сделать заключение, важное для нашей темы: Асеев возвращается к Блоку в эти годы не только как теоретик и критик, но и как поэт. Свой главный художественный замысел этого периода, правда, незавершенный, он озаглавливает блоковским словом «Времена» из стихотворения «И не успеть дочесть отходной»: «Так нам велит времен величье» [62], а всю строку Асеев берет в качестве эпиграфа.

В библиотеке Асеева сохранился сборник Блока «Ямбы» (Пб., «Алконост», 1919). Асеев читал его в 1941—1942 гг. в Чистополе, находясь в эвакуации. Указанные выше строки подчеркнуты Асеевым в этом издании. Интересно также отметить, что Асеев перечитал (или хотел перечитать) в эти годы всего Блока: в конце сборника «Ямбы» отмечен Асеевым перечень книг Блока и добавлено от руки еще одно название: «Есенина II-е изд. стихи».

Лучшие свои стихи этого периода Асеев включил в подготовленный в те годы сборник «Будни войны» (в свет не вышел); позднее, в 1946 г., была опубликована книга стихов поэта «Пламя победы», а в 1961 г.— небольшой сборник «Самые мои стихи», в которые вошли некоторые из предполагавшихся для сборника «Будни войны» стихотворений. К этому сборнику Асеев написал предисловие в стихах, озаглавив его «Предпосылка к книге»; оно сохранилось в его архиве во множестве вариантов. В одном из них, в частности, говорится:

Давненько я не занимался стихами:
бумаги у нас — не избыток,
зачем же ее занимать пустяками
и чувств, и суждений избитых.

И далее:

Я видел во сне Александра Блока!
Я с ним заключил союз! [63]

Имя Блока возникает в сборнике «Будни войны» еще раз, в заключительном стихотворении:

Сколько было нас?
Хлебников, Блок и Марина Цветаева,
Маяковский, Есенин,—
всей певчей дружины число...
Сколько светлых снегов,
отсияв,
уплыло и растаяло
и по мелким ручьям
в океан-глубину унесло!
Кем мы были?
Цветами, листами, зарницами,
звездами,
доказательством
ваших,
недаром промчавшихся лет...[64]

Последняя статья Асеева, посвященная Блоку, была написана в 1946 г. Она называлась «Памяти Блока. К 25-летию со дня смерти» [65]. Суждения, высказанные в статье «Поколение Блока», здесь существенно скорректированы опытом военных лет. Главное внимание автора сосредоточено на установлении внутренних взаимосвязей Маяковского и Блока, ставших возможными в силу их поэтической «родословной», берущей начало от Некрасова и Пушкина. Это сопоставление родилось у Асеева еще раньше, в годы войны; здесь он развивает и подтверждает его примерами творческих совпадений всех названных поэтов. В наследии Блока автор статьи особенно выделяет патриотический пафос его творчества: «Он встает, как певец своей родины, того „дивного дива", которое он прозревал сквозь года глухие, в очертаниях которой он видел могучие черты нового света».

В конце жизни Асеев активно перечитывает Блока. В его личной библиотеке сохранились все издания поэта этих лет: «Избранное» (М., ГИХЛ, 1954, с дарственной надписью составителя В. Н. Орлова и пометками Асеева); Сочинения в 2 томах (М., ГИХЛ, 1955— также с пометками); «Город мой. Стихи о Петербурге-Петрограде». Л., 1957. Сохранилось и собрание сочинений Блока 1922—1923 гг. (изд. «Алконост»): тома пятый («Театр. 1906—1919»), седьмой («Статьи. Книга первая, 1906—1921») и девятый («Статьи. Книга третья. 1907—1921»), которые мы тоже относим к кругу чтения Асеева последних лет жизни. В сохранившихся томах нет никаких следов того, как и когда они попали в библиотеку Асеева, однако можно предположить, что это произошло не в 1920-е годы, а значительно позднее, во всяком случае, после Великой Отечественной войны. В один из них — седьмой, содержавший статьи поэта («Лирические статьи. Россия и интеллигенция. Молнии искусства. О назначении поэта»), вложен Асеевым портрет Блока, выпущенный в 1960 г. С удовлетворением, очевидно, в подтверждение мысли, высказанной в статье 1946 г. о взаимовлиянии Блока и Маяковского, Асеев отмечает в издании 1955 г. запись Блока в дневнике от 6 марта 1914 г.:

«Искусство — радий (очень малые количества). Оно способно радиоактировать все — самое тяжелое, самое грубое, самое натуральное: мысли, тенденции и „переживания", чувства, быт. Радиоактированью поддается именно живое, следовательно — грубое, мертвого просветить нельзя». И рядом Асеев помечает:

«Поэзия — та же добыча радия...» [66]

В литературно-критических выступлениях Асеева последнего десятилетия жизни мысль о взаимосвязях Блока и Маяковского постоянно варьируется. Однако по сравнению с прежними выступлениями на эту тему она получает более обобщенное и глубокое значение. Речь идет о судьбе отечественной литературы в целом, о понимании советской литературы как звена в общей цепи истории культуры, о преемственности и традициях как выражении национального самосознания народа.

Асеев одним из первых советских писателей заговорил об этом. В статье 1956 г. «Структурная почва в поэзии» он назвал Маяковского прямым продолжателем Блока и Андрея Белого: «Как бы ни относиться к их творчеству, но нельзя забывать того, что оно, это творчество, шло от лучших традиций общерусской поэзии»,— писал Асеев. Он напоминал читателю и причины «уступок обстоятельствам», свойственных, с его точки зрения, музе Блока: «Уныние же и пессимизм, иногда овладевавшие им ⟨Блоком⟩, были лишь усталостью и неясностью будущего. Но в Россию он верил, в свой народ верил и видел в его судьбах будущее человечества» [67].

Асеев пересматривал многие устоявшиеся в науке и читательском сознании представления, касающиеся начальной поры советской литературы. При некотором субъективизме отдельных оценок предложенный автором пересмотр сыграл безусловно большую положительную роль. Это должно быть отнесено и к пониманию судьбы Блока.

Одно из центральных мест в статье «Не такое нынче время» заняла у Асеева тема Блока:

Не такое нынче время,
Чтобы няньчиться с тобой!
Потяжеле будет бремя
Нам, товарищ дорогой!

— эти строки из поэмы «Двенадцать» использует Асеев в качестве эпиграфа к статье, посвященной первым годам советской литературы, трудной поре ее зарождения и развития. Симпатии Асеева по-прежнему отданы Маяковскому и поэтам его окружения, но он высоко оценивает Есенина; непревзойденным образцом творческого и личного поведения остается для него Блок. Асеев пытается разобраться в том, почему так трудно, с такими издержками и мучениями проходил процесс рождения новой, советской литературы. В опубликованный текст статьи не вошли следующие строки:

«„Не такое нынче время, чтобы няньчиться с тобой" — было сказано в лучшей поэме того времени; сказано, но не замечено, что это лучшая поэма для такого времени! Блок уже отошел в прошлое, наполовину признанный, наполовину осужденный за своего „в белом венчике из роз Христа"» [68]. (Заметим кстати, что и в статье Асеева 1919 г. тоже содержалось неприятие этого образа как чего-то внешнего, навязанного поэту его религиозным сознанием.)

«И до сих пор не раскрыт этот образ у Блока,— писал Асеев в статье 1959 г.— Христос как воплощение справедливости, святости, правоты двенадцати апостолов правды, красно-

гвардейцев, идущих на сражение с былой неправдой, с силами тьмы и жестокости, бесчеловечности. А как было иначе обозначить такой образ? Как его найти?» [69]. В неопубликованном варианте статьи Асеев разъяснял вопрос более подробно:

«В имени ли Спартака? Назвать ли его Пугачевым или Стенькой Разиным? Все это было бы совершенно не совпадающе с тем, чем представлялась тогда правда, справедливость, человечность» [70]. «И вот пришлось прибегнуть еще раз поэту к образу „сына человеческого", издавна служившего символом всякой человечности, всякой людской справедливости» [71].

И хотя Асеев не до конца принимает такую «подробность», как «белый венчик из роз» (противопоставляя его «терновому венцу» у Маяковского), здесь, несомненно, более глубокая трактовка центрального образа и всей концепции «лучшей поэмы того времени». На этой новой трактовке Блока Асеев настаивает в ряде выступлений последних лет жизни.

В личном архиве Асеева сохранился черновой набросок его письма в ЦК КПСС с просьбой «об увековечивании памяти поэта Александра Александровича Блока постановкой в Ленинграде памятника автору поэмы „Двенадцать", откликнувшемуся первым на революционные дни зимы 1917 года». Асеев писал: «Поэма „Двенадцать" недостаточно оценена [нашей критикой из-за концовки, в которой Христос якобы ведет двенадцать апостолов правды] критикой. Между тем поэма эта воспроизводит разнообразные голоса тогдашних участников событий, из которых как бы к сердцу поэта выделяется голос красногвардейца: „Не такое нынче время, чтобы няньчиться с тобой, потяжеле будет бремя нам, товарищ дорогой".

Я думаю, что теперь уже настало время оценить внимательно поэтическую судьбу Блока, и в 1905 году откликнувшегося рядом стихов, обращенных к революции, и в 1917 году» [72].

В концепции Асеева подчеркнуто своеобразие патриотической темы Блока. Сохранился отрывок, который, очевидно, входил в статью «Грамотность и культура» (1957):

«...Итак, „чего не уловишь прозой". Может быть, еще точнее: „чего не уложишь в прозу". Вот примеры:

Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?
Царь, да Сибирь, да Ермак, да тюрьма...
Эх, не пришлось бы расстаться, раскаяться,
Вольному сердцу на что твоя тьма?

А. Блок

А месяц будет плыть и плыть,
Роняя руки по озерам,
И Русь все так же будет жить,
Плясать и плакать под забором.

Есенин

Россия — сонь, Россия — синь,
Россия — брошенный ребенок,
Россию, сердце, возноси
Руками песен забубенных.

Асеев

Во всех трех примерах чувство Родины основано не на восхвалении ее качеств, ее величия, ее необъятности и, тем не менее, ощущение Родины, страны, во всех трех примерах достаточно сильно, достаточно объемно» [73].

Фрагмент остался неопубликованным. Но то обстоятельство, что свое собственное поэтическое творчество Асеев стремится рассматривать именно в блоковском русле отечественной литературы, следовало не только из приведенных строк, а из всей системы размышлений поэта последних лет жизни.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] См. библиографический указатель «Русские советские писатели. Поэты», т. 2 и т. 3, ч. 2. М., 1978—1980.

[2] Н. А с е е в. Собр. соч. в 5 томах, т. 5. М.: Худож. литература, 1964, с. 390. Далее ссылки на это издание.

[3] См. предисловие Д. Рачкова к публикации статьи Асеева на смерть Блока «Памяти поэта» из газеты «Дальневосточный телеграф».— «Русская литература», 1970, № 2; статью В. Н. Орлова к публикации письма Блока Асееву.— Сб. «Тезисы I Всесоюзной (III) конференции. „Творчество А. А. Блока и русская культура XX века"». Тарту, 1975 и др. (по указателю «Русские советские писатели. Поэты»).

[4] Н. А с е е в. Поколение Блока.— «Сов. культура», 16 сентября 1980 г. Публикация Вл. Орлова. Статья датирована В. Н. Орловым 1945 г. (с вопросом); на наш взгляд, она могла быть написана несколькими годами раньше, во всяком случае, до Великой Отечественной войны. В пользу довоенного времени написания статьи Асеева свидетельствует ее содержание, в котором нет отзвуков событий и чувств военных лет.

[5] «Лит. газета», 1 декабря 1940 г.

[6] А с е е в, т. 5, с. 393.
[7] «Письма к родным», I, с. 277.
[8] «Чтец-декламатор», т. IV. Антология современной поэзии: Америка, Англия, Франция, Бельгия, Германия, Италия, Скандинавия, Польша, Россия. Киев, 1909, с. 478—489.
[9] «Проталинка», 1914, № 12, с. 778.
[10] С. П. Б о б р о в. Записки о прошлом.— Машинопись, подготовленная К. М. Асеевой и О. Г. Петровской для сборника «Воспоминания о Николае Асееве». Экземпляр машинописи хранится у автора наст. статьи.
[11] Этот фрагмент вошел в опубликованную часть воспоминаний С. П. Боброва.— «Воспоминания о Николае Асееве». М., Сов. писатель, 1980, с. 9—10.
[12] С. П. Б о б р о в. Указ. соч.
[13] К. М. А с е е в а. Из воспоминаний.— «Воспоминания о Николае Асееве», с. 13.
[14] Там же.
[15] «Проталинка», 1915, № 2, с. 109; газ. «Далекая окраина», Владивосток, 7 января 1919 г.
[16] «Далекая окраина», 1 января 1919 г.
[17] А с е е в, т. 1, с. 20—23, 37.
[18] «Сов. культура», 16 сентября 1980 г.
[19] Так писал Асеев о новом качестве символизма, выразившемся, с его точки зрения, в поэзии Пастернака.— См. предисловие Асеева к книге: Борис Пастернак. Близнец в тучах. М., 1914, с. 6.
[20] «Тезисы I Всесоюзной (III) конференции...», с. 176.
[21] ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 135, л. 1. Публикуется впервые.
[22] Там же, л. 2. См. прим. 20.
[23] Там же, л. 2 об.— 3. Публикуется впервые.
[24] Там же, л. 3.
[25] «Тезисы I Всесоюзной (III) конференции...», с. 177.
[26] Эти сведения содержатся в «Азбучном каталоге» библиотеки, составленном самим Блоком в конце жизни.— ИРЛИ, ф. 654, ед. хр. 388. Сообщено редакции «Литературного наследства» О. В. Миллер.
[27] См.: «Библиотека А. А. Блока. Описание», кн. I. Л., 1984, с. 87.
[28] Б. П а с т е р н а к. Люди и положения.— «Новый мир», 1967, № 1, с. 226.
[29] «Зор. Ник. Асеева. Книгоиздательство „Лирень“ на Москве 1914 году», с. 3.
[30] Николай А с е е в и Григорий П е т н и к о в. Леторей. Книга стихов. М., «Лирень», 1915, с. 4.
[31] ГБЛ, ф. 386, книги, ед. хр. 900. На книге дарственная надпись: «Валерию Яковлевичу Брюсову. 23 октября 1915».
[32] «Тезисы I Всесоюзной (III) конференции...», с. 177.
[33] Действительно, в 1916 г. Асеев находился в армии, о чем не раз рассказывал в своих воспоминаниях: «В 1915 году меня забрали в армию ⟨...⟩ Война была в разгаре. В городе Мариуполе мы проходили обучение в запасном полку. Затем нас отправили в Гайсин, ближе к Австрийскому фронту, чтобы сформировать в маршевые роты» (А с е е в, т. 1, с. 10, 11—12). Сохранились письма Асеева Боброву от сентября 1914 — декабря 1917 г., в том числе и посланные из Гайсина (февраль — март 1917 г.), где Асеев служил в армии в качестве «рядового 18-го запасного полка», исполняя должность писаря в «канцелярии 14-й сборной роты»; служба его складывалась так, что он время от времени получал отпуск домой и просил Боброва посылать ему корреспонденцию по харьковскому адресу (ЦГАЛИ, ф. 2554, оп. 1, ед. хр. 10).
Замечание Асеева о том, что он был в армии и послать Блоку письмо не мог, не совсем точно: письма Боброву свидетельствуют о том, что он как раз активно занимался в это время и творческой работой и организационно-издательскими делами. В одном из писем Асеев послал Боброву только что написанный цикл стихотворений — «Ветка звезд», в другом — поэму «Война (Словопредставление)», с просьбой опубликовать их. В письмах шла речь и об издании сборника стихотворений «Оксана» в книгоиздательстве «Центрифуга» и т. д.
[34] Личный архив Асеева.
[35] Статья напечатана в «Уч. зап. Краснодарского государственного пед. ин-та», вып. 24а, 1961.
[36] Сдано в набор 16 марта 1961 г.; следовательно, С. М. Тарасенков обращался к Асееву до этого времени.
[37] А с е е в, т. 5, с. 387.
[38] Об этих статьях см. ЛН, т. 93, с. 449.
[39] «Воспоминания о Николае Асееве», с. 42—44.
[40] Там же, с. 42.
[41] Александр Б л о к. Двенадцать. Скифы. СПб., 1918 («Революционный социализм» № 17).
[42] «Дальневосточное обозрение», Владивосток, 12 октября 1919 г.
[43] «Творчество», 1920, № 3, с. 1.
[44] «Творчество», 1920, № 4, с. 24.
[45] Н. А с е е в. Еще один.— Газ. «Дальневосточная трибуна», Владивосток, 12 февраля 1921 г.
[46] «Дальневосточное обозрение», 1 июня 1919 г.

[47] «Дальневосточное обозрение», 22 июня 1919 г.
[48] «Дальневосточное обозрение», 29 мая 1919 г. Перепечатано: «Русская литература», 1971, № 1. Публикация Д. Никитина.
[49] Газ. «Воля», Владивосток, 16 октября 1919 г.; «Воля», 17 октября 1919 г. Перепечатано: «Москва», 1974, № 1, с. 197—200. Публикация О. Смолы.
[50] Н. А с е е в. Памяти поэта.— Газ. «Дальневосточный телеграф», Чита, 19 августа 1921 г. Перепечатано: «Русская литература», 1970, № 2. Публикация Д. Рачкова. Указ. на другие перепечатки см. в библиографическом справочнике «Русские советские писатели. Поэты».
[51] Письмо опубл.: «Дальневосточный телеграф», 25 мая 1922 г. В 1922 г. вышли книги: В. М. Ж и р м у н с к и й. Поэзия Александра Блока; К. Ч у к о в с к и й. Книга об Александре Блоке. Изд. 2.
[52] Н. А с е е в. Советская поэзия за шесть лет.— ИМЛИ, ф. 220, оп. 1, ед. хр. 6.— Опубл.: «Вопр. лит.», 1967, № 10, с. 178—184. Публикация Л. Таганова.
[53] «Печать и революция», 1922, № 8. Цит. по кн.: Н. А с е е в. Дневник поэта. Л., 1929, с. 151.
[54] Н. А с е е в. Работа над стихом. Л., 1929, с. 61.
[55] А с е е в, т. 1, с. 172—173.
[56] Письмо А. В. Луначарского Асееву, б/д. Машинопись.— ЦГАЛИ, ф. 28, оп. 1, ед. хр. 24. Опубл.: «Урал», 1965, № 11, с. 167—168.
[57] Письмо Асеева Д. Молдавскому от 28 марта 1963 г. Опубл.: Дм. М о л д а в с к и й. Господин леший, господин барин и мы с мужиком. М.— Л., 1965, с. 335—357.
[58] А с е е в, т. 3, с. 394.
[59] «Лит. газета», 1 декабря 1940 г.
[60] Н. А с е е в. Александр Блок.— ЦГАЛИ, ф. 28, оп. 1, ед. хр. 124.
[61] «Сов. культура», 16 сентября 1980 г.
[62] ЦГАЛИ, ф. 28, оп. 1, ед. хр. 149, л. 1—7.
[63] Личный архив Асеева.
[64] Машинопись с правкой Асеева.— Личный архив Асеева.
[65] Газ. «Советская Латвия», 7 августа 1946 г.
[66] Александр Б л о к. Соч. в 2 томах, т. 2. М., ГИХЛ, 1955, с. 462. Библиотека Асеева.
[67] А с е е в, т. 5, с. 486—487.
[68] Машинопись с правкой Асеева.— Личный архив Асеева.
[69] А с е е в, т. 5, с. 387.
[70] Машинопись с правкой Асеева.— Личный архив Асеева.
[71] А с е е в, т. 5, с. 390.
[72] Черновой автограф.— Личный архив Асеева.
[73] Черновой автограф.— Личный архив Асеева.

БЛОК И ПЕРВЫЕ ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

(«М. И С. САБАШНИКОВЫ», «АЛКОНОСТ»)

Сообщение С. В. Белова

С 1891 по 1930 г. в Москве существовало известное русское издательство М. и С. Сабашниковых. По свидетельству А. В. Луначарского, В. И. Ленин называл его одним из наиболее культурных русских частных издательств [1].

Во главе издательства стояли братья Михаил Васильевич (1871—1943) и Сергей Васильевич (1873—1909) Сабашниковы. С самого начала издательство Сабашниковых ставило перед собой не коммерческие, а просветительские цели. Издательством Сабашниковых в начале XX в. было выпущено несколько серий изданий художественной литературы, которые тщательно подготавливались видными филологами, переводчиками и снабжались научными комментариями.

Знаменитая издательская серия Сабашниковых «Памятники мировой литературы» включала произведения классических авторов: Софокла, Еврипида, Лукреция, Овидия и других, литературу Древнего Востока, русские былины, карело-финский эпос «Калевала», скандинавскую «Эдду» и т. д.

В издательстве Сабашниковых вышли сборники по истории русской литературы — «Русские Пропилеи» под редакцией М. О. Гершензона, серии книг «Страны, века и народы», «Ломоносовская библиотека».

С 1909 г., после смерти С. Сабашникова, издательство возглавлял один Михаил Васильевич. После Великой Октябрьской социалистической революции издательство Сабашниковых продолжало свою культурную миссию. Оно было одним из немногих частных издательств, не национализированных Советской властью. Наибольшую известность из советских изданий Сабашникова приобрела серия дневников и историко-литературных мемуаров «Записи прошлого» под редакцией С. В. Бахрушина и М. А. Цявловского. В этой серии были изданы «Дневники» В. Я. Брюсова, «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне» Т. А. Кузминской, «Дневники» С. А. Толстой, «Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей» П. И. Бартенева и многие другие ценные книги.

В 1930 г. издательство Сабашниковых было преобразовано в кооперативное московское издательство «Север» [2].

С 1917 по 1922 г. под редакцией М. О. Гершензона и С. А. Венгерова Сабашников выпускал научно-популярную серию «Пушкинская библиотека». В одном из документов, сохранившихся в архиве издателя, указывается, что издание должно состоять «из избранных произведений изящной словесности, русской и иностранной, по преимуществу романистов XIX века, и других писателей, дающих занимательное, легкое и изящное чтение, подходящее для широких кругов русских читателей» [3].

«Пушкинская библиотека» по замыслу Сабашникова должна была состоять из двухсот прозаических и поэтических книг. Однако этот грандиозный замысел оказался неосуществленным. В письме от 18 января 1917 г. к Сабашникову Венгеров писал: «Из намеченных мною авторов я вошел в сношения относительно всех почти и на днях получу сведения о Григоровиче, Якубовиче и надеюсь выяснить, кому принадлежат Успенский и Станюкович. Переговорю также со вдовою Мамина. Кроме авторов, названных мною в разговоре с Вами, я бы предложил для Вашей серии вот кого (из умерших): Авдеев, Астырев, Марко Вовчок, Хвощинская, Максимов Сергей, Алексей Потехин, Жадовская, Жемчужников, кн. Вл. Одоевский (через 2 года кончается собственность на него), Щербина, Кохановская» [4].

В этом же письме Венгеров сообщал о том, что А. Ф. Маркс и И. Д. Сытин отказали ему в уступке своих издательских прав на произведения умерших писателей: «На Салтыкове, Лескове и даже Альбове и Терпигореве придется поставить крест. Вольф в принципе не от-

казывается вести переговоры относительно Писемского и ждет конкретного разговора об условиях. Всего намеченного, видимо, не даст, но тома на 2, вероятно, согласится».

Дело осложнялось еще тем, что на праздновании своего юбилея — 50-летия издательской деятельности — зимой 1917 г. Сытин заявил об аналогичном плане издания избранных сочинений 26 писателей, на произведения которых ему принадлежали издательские права [5].

В результате прозаический раздел «Пушкинской библиотеки» остался нереализованным, если не считать пробного томика Н. Н. Толстого «Охота на Кавказе. Рассказ» (М., 1922).

Гершензону поручалась редакция всех поэтических книг «Пушкинской библиотеки». В архиве издательства Сабашниковых сохранилось 18 составленных им проектов сборников избранных сочинений («изборников») К. Н. Батюшкова, А. А. Григорьева, Л. А. Мея, К. К. Павловой, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. С. Хомякова и других [6].

По замыслу Сабашникова в «Пушкинскую библиотеку» должны были войти такие же антологии стихотворений поэтов-современников. В архиве издательства сохранились договоры и переписка о подготовке «изборников» с К. Д. Бальмонтом, В. Я. Брюсовым, Вяч. И. Ивановым, Ф. Сологубом, Блоком [7].

Однако взаимоотношения издательства Сабашникова с Блоком начались еще до составления и издания «изборника». 20 января 1918 г. Блок делает запись в своей записной книжке: «Предложение от издательства Сабашниковых переиздать „Die Ahnfrau“» (ЗК, 385).

Трагедия австрийского драматурга Ф. Грильпарцера (1791—1872) «Праматерь» («Die Ahnfrau») была написана в 1816 и впервые поставлена в 1817 г. Переведена Блоком в 1908 г., и в этом же году перевод Блока вышел отдельным изданием в книгоиздательстве «Пантеон». Перевод был выполнен по заказу В. Ф. Комиссаржевской, которая в начале января 1908 г. просила Блока перевести для ее театра какую-нибудь иностранную пьесу.

Блок получил от издательства Сабашниковых предложение переиздать перевод «Праматери» в серии «Памятники мировой литературы». 27 января 1918 г. Блок записывает: «Пишу о „Праматери“ в издательство Сабашниковых» (ЗК, 386). Это письмо Блока не сохранилось, но, судя по дальнейшим записям поэта, он согласился на переиздание своего перевода у Сабашниковых и начал его радикально перерабатывать.

4 мая 1918 г. Блок отмечает: «Утром — представитель Сабашниковых (предложил подписать два договора: 1) „Праматерь“, 2) избранные стихи)» (ЗК, 404). Представителем московского издательства Сабашниковых в Петрограде был Николай Александрович Барановский, сын сестры Сабашникова Е. В. Барановской-Сабашниковой [8]. Это он 4 мая 1918 г. от имени Сабашникова предложил Блоку выпустить и перевод «Праматери», и «изборник» в серии «Пушкинская библиотека».

Блок очень добросовестно отнесся к взятым на себя обязательствам — новому переводу «Праматери» и составлению избранного томика своих стихотворений. В его записных книжках за 1918 г. встречаются записи: 6 мая: «„Праматерь“ — приготовляю текст»; 7 мая: «„Праматерь“. Как я скверно перевел IV акт!»; 8 мая: «„Праматерь“ переведена из рук вон — IV и V акты»; 11 мая: «„Праматерь“ (Боже, кто и где я был, когда перепирал V акт!)»; 21 мая: «Праматерь»; 23 мая: «Праматерь»; 24 мая: «„Праматерь“ (перенесение поправок в мой экземпляр)»; 8 июня: «Разговор с Н. А. Барановским по поводу изборника»; 10 июня: «Выбирание стихов для „изборника“ до глубокой белой ночи и головной боли»; 19 июня: «Кончен „изборник“»; 21 июня: «Утром — Н. А. Барановский: текст „изборника“» (ЗК, 405, 406, 408, 411, 413).

21 июня 1918 г. Блок в присутствии Барановского подписал договоры на издание «Праматери» и «изборника»: «Мы, нижеподписавшиеся, Александр Александрович Блок с одной и товарищество на вере под названием „Издательство М. и С. Сабашниковых“ с другой стороны, заключили между собой следующие условия: 1) А. Блок принял на себя выбрать и составить из всех когда-либо написанных им стихотворений изборник (антологию) стихов, могущий с возможною полнотою представить все стороны его творчества, как в наивысших художественных, так и в наиболее им самим ценимых достижениях...» [9].

Блоку предоставлялось право «помещать стихотворения, включенные им в изборник, как в полные собрания своих произведений, так и при переиздании им книг и сборников, в коих они первоначально издавались» [10].

Однако в дальнейшем у Блока возник проект издания драм Грильпарцера в издательстве «Всемирная литература», и в письме к Сабашникову от 17 декабря 1918 г. он просил «уступить» его перевод «Всемирной литературе»:

«Многоуважаемый Михаил Васильевич.

Обращаюсь к Вам с просьбой — уступить мой перевод „Праматери" Грильпарцера издательству „Всемирная литература", если он еще не печатается. Аванс, который я взял у Николая Александровича (250 р.), я возмещу, когда получу гонорар здесь. В случае Вашего согласия, мне необходим и тот экземпляр текста, который находится у Вас.

Очень прошу Вас сообщить, печатается ли мой „изборник".

С искренним уважением к Вам,

Александр Блок»[11].

В ответном письме от 6 января 1919 г. Сабашников сообщал Блоку:

«Многоуважаемый Александр Александрович.

С большим огорчением исполнил я Ваше желание и передал сегодня В. Ф. Ходасевичу, уполномоченному издательства „Всемирная литература", Ваш перевод „Праматери" Грильпарцера. Возвращением аванса, Вами под эту вещь взятого, благоволите не беспокоиться, ибо он сам собой погасится печатающимся у нас изборником Ваших стихотворений. Для изготовления портрета к последнему не откажите прислать мне Вашу фотографическую карточку.

Примите уверения в моем уважении:

М. Сабашников»[12].

Блок ответил Сабашникову письмом от 18 января 1919 г.: «...Благодарю Вас за согласие и за позволение не возвращать Вам аванса. Текст „Праматери" во „Всемирной литературе" уже получен. Я очень рад, что изборник мой уже печатается у Вас...»[13].

Однако из-за трудностей издательства в те годы блоковский «изборник» не был напечатан при жизни поэта, хотя Сабашников твердо надеялся, что ему удастся выпустить этот «изборник». Лишь 17 ноября 1921 г. один из руководителей Госиздата, Н. Л. Мещеряков, выдал издательству Сабашниковых разрешение на печатание «изборника» Блока[14]. Но Сабашникову так и не довелось выпустить эту книгу. Аналогичный сборник, подготовленный Л. Д. Блок, очевидно, по принадлежащему ей варианту этого «изборника», вышел в свет в издательстве «Петроград» в 1924 г.[15]

В архиве издательства Сабашниковых сохранился «изборник» Блока[16]. В нем 174 листа, из которых 41 — автографы поэта, остальные — машинописные и печатные, частично с его правкой (вырезки из прижизненных изданий его стихов). Между печатным текстом, выпущенным издательством «Петроград», и рукописью, сохранившейся в архиве издательства Сабашниковых, имеются расхождения по составу и структуре. В оригинале «изборника» (в отдельных стихотворениях) есть также разночтения с каноническим текстом[17].

Гораздо более удачно сложились взаимоотношения Блока с созданным после революции издательством «Алконост», где вышли фактически почти все послереволюционные произведения поэта.

Издательство возникло в мае 1918 г. по инициативе С. М. Алянского[18], выпустившего 6 июля 1918 г. тиражом три тысячи экземпляров первую книгу «Алконоста» — поэму Блока «Соловьиный сад»[19].

Марка для нового издательства была сделана товарищем Алянского по гимназии, художником Ю. П. Анненковым[20].

Рождение «Алконоста» не прошло незамеченным. «К литературным событиям этого сезона относится возникновение издательства „Алконост" (1918),— вспоминает М. А. Бекетова.— Основатель его — С. М. Алянский — случайно познакомился с Александром Александровичем, зайдя к нему по какому-то книжному делу, и предложил издать в виде пробы одну из его книг. Александр Александрович согласился на его предложение и дал тогда поэму „Соловьиный сад", написанную в 1915 г. и появившуюся в газетах. На этот раз „Соловьиный сад" был напечатан отдельной книжкой. Поэма настолько забылась, что даже критик Львов-Рогачевский принял ее за новое произведение Блока»[21]. И далее: «Отношения Александра Александровича к Алянскому сразу приняли дружеский характер, основанный на полном доверии и симпатии. Молодой издатель, еще неопытный в своем деле, руководствовался советами Александра Александровича и быстро развился под его влиянием, приобретя почетное и прочное положение»[22].

В знак благодарности за создание близкого его сердцу издательства Блок подарил Алянскому поэму «Соловьиный сад» с драгоценным автографом (см. наст. том, кн. 3, с. 23).

Но и Алянский прекрасно понимал, что именно творческому гению поэта обязано своим рождением издательство «Алконост». Поэтому на одной из первых книг «Алконоста» молодой издатель сделал дарственную надпись: «Александру Александровичу Блоку искреннему благожелателю „Алконоста“ на добрую память С. Алянский 25/IX 1918 г.» [23].

Блок до конца своих дней являлся главным идейным руководителем «Алконоста». Но Алянскому удалось привлечь к участию в издательстве также Андрея Белого, Вячеслава Иванова, Федора Сологуба, Алексея Ремизова, Константина Эрберга, Михаила Гершензона, Анну Ахматову.

Алянский выпустил в «Алконосте» семь книг Белого, в том числе «На перевале. 1. Кризис жизни» (1918), сказки «Королевна и рыцари» в оформлении художника Н. Купреянова (1919), поэму «Первое свидание» (1921), четыре книги Ремизова, в том числе его «Царя Максимилиана» с рисунками Ю. Анненкова (1919), поэму Вяч. Иванова «Младенчество», «Одну любовь» Сологуба (1921), «Переписку из двух углов» Вяч. Иванова и М. Гершензона, сборники Ахматовой «Четки», «У самого моря» в оформлении художника В. Замирайло (1921) и «Белая стая» (1922).

Всего в «Алконосте» за пять лет существования издательства, с 1918 по 1923 г., вышло около 50 книг, в том числе почти все послереволюционные произведения Блока. Издание произведений великого русского поэта является самой главной заслугой Алянского перед советской литературой.

Произведения Блока составляют более трети всей продукции «Алконоста». Бесспорно, на первом месте среди них следует поставить издание поэмы «Двенадцать» с рисунками Анненкова.

В своей книге «Встречи с Александром Блоком» Алянский подробно рассказал об истории создания рисунков к «Двенадцати». Первые эскизы с непонятными кубистическими знаками его настолько озадачили, что он просто побоялся показать их Блоку. И только новые эскизы решился отнести к поэту. Блоку рисунки в целом понравились, и он 12 августа 1918 г. написал Анненкову доброжелательное письмо, высказав отдельные замечания о героях поэмы Катьке и Петьке и об образе Христа (VIII, 513—514).

Но, рассказав подробно об истории рисунков Анненкова к «Двенадцати», Алянский «забыл» по скромности упомянуть, что именно он в решающий момент «подтолкнул» художника к окончательному завершению этих рисунков. 17 августа 1918 г. Алянский писал Анненкову: «Дадите ли Вы Ваши рисунки к „Двенадцати“ или Вы раздумали. Вы понимаете, что это мне небезынтересно, так как, если издаваться будет, необходимо на сей предмет очистить средства, нужно публиковать подписку и вообще нужно сделать массу работы. Несмотря на Ваше обещание и мои к Вам мольбы, я до сих пор не могу добиться толку.

Думалось мне, что отзыв А. А. Блока Вас сильнее толкнет; на самом же деле теперь получается картина, что издавать Вы раздумали. Если это так или иначе, я должен об этом знать, а посему очень прошу сразу мне написать о Ваших планах насчет „Двенадцати“» [24].

Поэма «Двенадцать» с отличными иллюстрациями Анненкова вышла в «Алконосте» в конце 1918 г. Советский искусствовед и книговед А. А. Сидоров писал в 1922 г.: «Относительно Ю. Анненкова, автора иллюстраций к „Двенадцати“ Блока, та же логика книжной формы потребует самого безоговорочного признания и привета. Вся конгениальность иллюстраций Анненкова к Блоку выступает особо разительно при сравнении петербургского издания с двумя заграничными вариантами „Двенадцати“, выполненными зарубежными представителями нашей графики. Берлинское издание „Двенадцати“ с рисунками В. Н. Масютина хотя и недостойно по некоей небрежности и беглости своего строгого мастера, но все же лучше парижского издания блоковской поэмы с довольно беспомощно-беспредметными композициями М. Ф. Ларионова» [25].

Один экземпляр «Двенадцати» Алянский и Анненков преподнесли Горькому, который очень доброжелательно отнесся к этому изданию «Алконоста» (VII, 351—352).

Высокой книжной культурой отличались и другие издания произведений Блока, вышедшие в «Алконосте»: «Песня судьбы» (художник А. Головин, 1919), «Ямбы» (художник Н. Купреянов, 1919), «Седое утро» (художник А. Лео), сборник статей «Россия и интеллигенция», «Катилина» (1919), «Последние дни императорской власти» (художник В. Замирайло, 1921), «Двенадцать. Скифы» (1918, с предисловием Иванова-Разумника «Испытание в грозе и буре») и собрание сочинений Блока, которое Алянский начал выпускать после смерти поэта совместно с берлинским издательством «Эпоха».

Очень важен и общественный резонанс послереволюционных произведений Блока, изданных «Алконостом». Первым откликом Блока на Октябрьскую революцию явилась статья «Интеллигенция и революция» (газета «Знамя труда», 19 января 1918 г.).

В 1919 г. в сборник статей Блока «Россия и интеллигенция» (изд-во «Алконост») снова включается «Интеллигенция и революция». В «Алконосте» впервые вышло очень злободневное и актуальное историческое эссе Блока «Катилина. Страница из истории мировой революции», о котором тепло отозвался Горький (ЗК, 451), а А. Белый, прочитав «Катилину», писал 12 марта 1919 г. Блоку: «Брошюра произвела на меня сильнейшее впечатление; в ней есть то, что именно нужно сейчас: монументальность, полет и всемирно-исторический взгляд, соединенный с тончайшими индивидуальными переживаниями» [26].

Особо следует остановиться на таком издании «Алконоста», как книга «Последние дни императорской власти. По неизданным документам составил Александр Блок». Она была встречена несколькими положительными отзывами. «Умело использовать такой глубоко драматический материал, как документы о конвульсиях издыхающего царизма,— писал видный впоследствии советский историк революционного движения С. Я. Штрайх,— не всякому под силу. А. А. Блок счастливо избег одной из самых больших опасностей для историка такой богатой событиями эпохи — он сумел сжать свой очерк и выбрать почти одно только типичное для характеристики отжившего строя, отверг все анекдотическое, все пестро-глумящее, все бульварно-манящее» [27].

Все больше и больше проникался Блок симпатией и уважением к своему издателю. На книгах Блока, выпущенных «Алконостом» («Песня судьбы», «Россия и интеллигенция», «Седое утро») и подаренных поэтом Алянскому, можно прочесть трогательные надписи (см. наст. том, кн. 3, с. 24—25).

В марте 1919 г. исполнилось девять месяцев с основания издательства «Алконост». В то бурное время такой срок был огромным, и поэтому 1 марта 1919 г. в квартире Алянского в Петрограде на Троицкой улице (ныне улица Рубинштейна) был торжественно отпразднован юбилей «Алконоста». Первым на юбилей пришел Блок. Он открыл приготовленный Алянским альбом автографов приветствием: «Дорогой Самуил Миронович! Сегодня весь день я думал об „Алконосте“. Вы сами не знали, какое имя дали издательству. Будет „Алконост“, и будет он в истории, потому что все, что начато в 1918 году, в истории будет. И очень важно то, что начат он в июне (а не раньше), потому что каждый месяц, если не каждый день этого года — равен году или десятку лет. Да будет „Алконост“! Александр Блок 1 марта 1919» [28].

Несколько позже, уже в Москве, куда приезжал Алянский, оставили свои записи А. Белый и Вяч. Иванов. Сделав несколько рисунков, изображающих падение «старой эры» и путь лодки «Алконоста» к «новой эре» в «царство духа», А. Белый написал: «Линия эволюции слагается из ряда перерывов; в точке перерыва — катастрофа; внутри катастрофы — падение нового импульса. После гибели Трои Эней отправляется в странствие, чтобы потомки его основали Рим будущей эры.

В настоящее время должны понести мы все лучшее погибающей Трои в иные эпохи; и — передать дар наш грядущим: соединенье даров прошлой эры, плодов ее, с зацветающим садом грядущего есть подлинно действие посвящения. Мы, Энеи, выходили из Трои: путь — долог... На чем же нам плыть? На „Алконосте“ лежит строгий долг: совершить это плаванье. Самуил Миронович, много бурь впереди: можно сбиться с дороги; оставайтесь же у компаса! Присоединяюсь к приветствующим „Алконост“ с одним лишь условием; эти приветствия — не приветствия юбиляру, совершившему плаванье; эти приветствия — в „добрый путь!“... И — вперед! Впереди лежат годы. Андрей Белый. Москва. 8 марта 1919 года» [29].

Эта запись Андрея Белого перекликается с более поздними дневниковыми размышлениями Блока об идейной платформе издательства «Алконост». «Издательство „Алконост“ не стесняет себя рамками литературных направлений,— писал Блок 2 февраля 1921 г.— Тот факт, что вокруг него соединились писатели, примыкающие к символизму, объясняется лишь тем, что именно эти писатели по преимуществу оказались носителями духа времени. Группа писателей видит размеры развертывающихся мировых событий, наступление которых она предчувствовала и предсказывала. Поэтому она обращена лицом не к прошедшему, тем менее — к настоящему. Она с тревогой всматривается в будущее. Этим определяется лицо издательства и объясняется имя сумрачной и вещей русской птицы, которое она носит» [30].

В альбоме автографов авторов «Алконоста» есть еще одна, весьма важная запись Блока: «Дорогой Самуил Миронович! Вы хотите стихов. В стихах я мог бы сейчас только смеяться

и, может быть, плакать. Но я не хочу смеяться над тем, что не смешно, и плакать над тем, что грозно. Поэтому прошу Вас принять вновь и вновь только прозу. 5 сентября 1920. Александр Блок» [31].

Не все в работе «Алконоста» шло легко и гладко. Алянскому пришлось преодолеть ряд трудностей и трений, связанных с деятельностью заведующего Петроградским отделением Госиздата И. Ионова и комиссара по делам печати и пропаганды в Петрограде М. Лисовского, которые, нарушая постановление партии и правительства о деятельности частных издательств, задерживали ряд изданий «Алконоста» или хотели их выпустить в Госиздате [32].

В этот момент на помощь Алянскому пришли Горький и Луначарский. Высоко оценивая талант Блока и благожелательно относясь к «Алконосту», они сумели оказать издательству моральную поддержку, а Луначарский через литературно-издательский отдел Наркомпроса и некоторую материальную помощь [33].

Но, кроме Горького и Луначарского, был еще один человек, который на своем скромном посту сделал все от него зависящее для нормального функционирования «Алконоста». «Это было летом 1920 г.,— вспоминает Алянский.— Издательство „Алконост“ приготовило к изданию пятый сборник стихотворений Александра Блока „Седое утро“. Для напечатания книги нужно было разрешение, и я отправился за ним в отдел печати Петросовета, на Невский проспект, 12 〈. . .〉

Один из сотрудников на вопрос, к кому мне обратиться за разрешением на печать книги, указал на высокого, худощавого молодого человека, стоявшего вдали, и пояснил, что это — секретарь отдела печати, что фамилия его — Федин и что он самолично выдает разрешения 〈. . .〉

Признаюсь, с некоторой тревогой излагал я секретарю мое несложное дело. Секретарь выслушал меня вежливо и очень внимательно. Он тут же, при мне, сам заполнил печатный бланк разрешения, сам подписал его и передал мне, не познакомившись даже с составом сборника Блока.

Но не успел я оценить оперативность молодого секретаря и спрятать разрешение, как был остановлен его просьбой рассказать о дальнейших планах „Алконоста“ 〈. . .〉

После моих ответов он буквально засыпал меня вопросами о Блоке 〈. . .〉 Вопросы Федина были полны преклонением перед поэтом и искренней тревогой за его судьбу, и поэтому я охотно рассказал ему все, что знал...» [34].

Неоднократно в личной и официальной переписке Блок отмечал, что «художественное лицо и〈здательст〉ва „Алконост“ ему весьма близко» [35], что он хотел бы печататься в издательстве «Алконост», как «наиболее близком по духу к символической школе, к которой он всегда принадлежал» [36].

Блок почувствовал, что Алянский не просто его издатель. Он понял, это близкий ему человек, нежно опекающий его, готовый прийти на помощь в любую минуту, искренне любящий его поэзию. «Мало я знал в своей жизни людей, способных так горячо ненавидеть всякое лицемерие, ханжество, всякую пошлость, безвкусицу, фальшь,— писал об Алянском Чуковский.— Недаром к нему так прилепился душой непреклонно суровый Блок. Нужно было слышать, каким уважительным голосом произносил его имя великий поэт. „Самуил Миронович сказал“, „Я слышал от Самуила Мироновича“» [37].

В своей книге «Встречи с Александром Блоком» Алянский подробно рассказывает о поездке вместе с Блоком в Москву в мае 1920 г., когда поэт выступил с чтением своих стихов на литературном вечере в Политехническом музее. Однако, подробно рассказав об этом вечере и приведя в книге много редких фотографий Блока той поры, Алянский не упомянул по скромности один факт и не напечатал фотографию, которую много лет хранил как самую дорогую реликвию. Оказывается, сразу же после поездки в Москву Блок, тронутый искренней заботой Алянского, подарил ему свою фотографию с надписью: «Дорогому Самуилу Мироновичу Алянскому на память о поездке в Москву в мае 1920 года. С дружеским рукопожатием Ал. Блок» [38].

Алянский был единственным человеком, не считая жены поэта, кого Блок хотел видеть в последние дни своей жизни. «В начале болезни к нему еще кой-кого пускали,— вспоминает Бекетова.— У него побывали Е. П. Иванов, Л. А. Дельмас, но эти посещения так утомили больного, что решено было никого больше не принимать, да и сам он никого не хотел видеть. Один С. М. Алянский имел счастливое свойство действовать на Александра Александровича

успокоительно, и поэтому доктор позволял ему иногда навещать больного. Остальные друзья лишь справлялись о здоровье Александра Александровича» [39].

«Три года в моей жизни — срок небольшой, арифметически это всего четыре сотых всей жизни,— писал Алянский 11 декабря 1960 г. Чуковскому из Ленинграда, где отмечалось 80 лет со дня рождения Блока.— А вот три с лишним года, т. е. больше тысячи дней, рядом с Ал. Ал. Блоком — это целая жизнь, это больше нормальной жизни» [40].

Много лет Алянский думал о том, как рассказать людям об этих трех самых счастливых годах своей жизни. «Через всю сознательную жизнь я пронес дружбу Блока как самый высокий и ценный подарок»,— признавался Алянский через сорок лет после смерти поэта [41]. Это рыцарское служение великому поэту и помогло Алянскому создать удивительные по чистоте воспоминания «Встречи с Александром Блоком». «В этих воспоминаниях впервые я увидел Блока живым,— писал Алянскому старейший советский писатель И. С. Соколов-Микитов.— Встречать живым Блока мне не приходилось. Самое замечательное в Ваших воспоминаниях — их полная искренность и простота. Вы нигде не рисуетесь, не выставляете себя самого, как это делают почти все современные мемуаристы. Вы даже как-будто конфузитесь, скромно, точно и ясно описывая свидания с Блоком, печальную его смерть, единственным близким свидетелем которой Вам одному пришлось быть. Еще раз спасибо за чудесные воспоминания Ваши!» [42].

«Только на днях прочел Ваши воспоминания 〈. . .〉 и до сих пор не прошло вызванное ими волнение,— писал Алянскому известный исследователь творчества Блока Д. Е. Максимов.— Очень хорошо, человечно, выпукло, честно, достоверно, нежно. О Блоке писали многие блестящие люди, но Ваши воспоминания, пожалуй, самые человечные во всем этом ряду, не всегда человечном. Поздравляю Вас с большим успехом 〈. . .〉 Радуюсь, что написали это именно Вы — лучший человек среди тех, кого объединяет имя Блока» [43].

Все книги Блока, как правило, выходили в «Алконосте» тиражом в несколько тысяч экземпляров. По тем временам это считалось много. В 1960 г. в издательстве «Художественная литература» вышел тиражом в 200 000 первый том нового восьмитомного собрания сочинений Блока. Узнав об этом, Алянский послал радостное письмо составителю этого тома В. Н. Орлову. Алянский писал, что Блок принял бы такой фантастический тираж своих стихотворений за шутку. А когда на вечере в Литературном музее, посвященном памяти Блока, Орлов сказал, что издание произведений великого поэта — огромная заслуга Алянского перед русской литературой, то присутствовавший на вечере Самуил Миронович растрогался до слез [44].

А ведь были еще «Записки мечтателей»...

«В начале 1919 года „Алконост“ решил приступить к изданию своего журнала,— вспоминает Алянский.— Долго между писателями Петербурга и Москвы обсуждался вопрос о характере журнала, и в конце концов все согласились на том, что он должен носить характер дневников писателей, а название ему было дано „Записки мечтателей“.

Возник вопрос об обложке. Казалось неуместным давать к этому изданию конструктивистскую или кубистскую обложку (что было тогда модным). Посоветовавшись с Блоком, мы решили воспользоваться воскресными поездками Мейерхольда к Головину в Царское Село и просить крупнейшего театрального декоратора сделать нам обложку к „Запискам мечтателей“» [45].

В 1919 г. с обложкой А. Я. Головина вышел в издательстве „Алконост“ первый номер журнала „Записки мечтателей“. Всего Алянский выпустил шесть номеров этого издания. В „Записках мечтателей“ увидели свет произведения Блока, А. Белого, Вяч. Иванова, А. Ахматовой, А. Ремизова, В. Ходасевича, Е. Замятина, Н. Павлович, К. Чуковского, М. Гершензона, М. Шагинян, В. Зоргенфрея, Ф. Сологуба.

Программу нового журнала Алянский изложил в письме к Блоку от 19 февраля 1919 г.: Первоначальная мысль: интимный круг лиц, интимная тема, останется, вероятно, мыслью, так как журнал не будет жизненным, не будет иметь материала 〈. . .〉 Мне кажется, что физиономия журнала должна складываться самой жизнью. В зависимости от того, как будет „Мечтатели“ воспринимать то или иное явление жизнью, будет определяться и путь журнала. История и будущее поколение будет искать по разным документам, что и как переживали в эти дни люди с острейшим восприятием, люди, одаренные талантом передачи этих восприятий? „Двенадцатью“ Вы уже сказали, что Вы могли бы сказать в тысяче различных „Двенадцати“, и каждое из них было бы бесконечно дорого, так как газетные фактики, статеечки и



С. В. САБАШНИКОВ
Фотография, 1900 г.
Частное собрание, Ленинград

фельетончики жизнь сотрет, а художественные произведения — никогда. Преступление, когда Вы, художники, призванные украшать жизнь, молчите ‹. . .›

Мне хочется только сказать, что „Записки мечтателей“ потому и называются „Дневниками писателей“, что писатель на этих страницах записывает то, что привлекло его внимание. Почему впечатление от театра или книги менее ценно, чем впечатление от боя или бури? Почему впечатление уличной встречи менее ценно впечатлений растительной природы? ‹. . .›

Революция все перепутала. Голод прибирает всех к рукам, и очень трудно с ним бороться, но ведь бороться придется все равно — будь то в „коллегии“, на улице или в кабинете.

„Записки мечтателей“ допускают на своих страницах все, что от „мечтателей“ — вот физиономия (полагается, что мечтатель — художник). Только существование „Записок мечтателей“ и будет оправдано, когда художники займутся своим делом» [46].

Один из авторов «Записок мечтателей», старейшая советская поэтесса Надежда Александровна Павлович вспоминает об издателе журнала Алянском и его взаимоотношениях с Блоком: «Самуила Мироновича Алянского я узнала летом 1920 г. Познакомилась я с ним у Александра Александровича Блока. Первое впечатление от Алянского — глубокая, тихая и чистая преданность Блоку, удивительная скромность и в то же время свобода, никакого наигрыша, никакой фальшивой ноты. Всегда в разговоре с Александром Александровичем были у Алянского чувство духовной дистанции и трогательная любовь. Может быть, поэтому Блоку было легко с ним. И мать, и жена поэта были спокойны, если Алянский был с ним.

Я думаю, что наиболее точно можно сказать об их отношениях — они по-настоящему верили друг другу. Общим их делом было издательство „Алконост“ и его детище „Записки мечтателей“. Блок был душой и основным идейным вдохновителем этого дела, Алянский — организатором и исполнителем, умным и сердечным. Это было не рабским подчинением неоспоримому для Самуила Мироновича авторитету, а живым творческим воплощением общих для них обоих идей. „Записки мечтателей“ — это записки мечты и внутренней свободы, приемлющие тогдашнюю радостную и грозную жизнь, отбрасывающие все механическое, мертвое, условно-литературное ‹. . .›

Для себя я считаю величайшей честью участие в „Записках мечтателей“. Мои стихи отдал туда Блок, и мои же стихи — поминальные — были напечатаны там в номере, посвященном его памяти.

Александру Александровичу хотелось, чтоб сотрудники „Алконоста“ могли бы в издательстве встречаться друг с другом для обмена мыслями и впечатлениями. Ведь старое литературное общение рухнуло. „Башня“ Вячеслава Иванова, в которой собирались поэты до революции, была бы в эти годы невозможна по самому своему характеру, стилю и даже бытовым условиям. Она уже в 20—21 г. стала историей. В какой-то мере прежний общий язык, объединявший даже в разногласиях, был потерян, и даже был ненужен. Со многими Блоку уже не о чем было говорить. И в „Алконосте“ были разные люди, но, и расходясь, они внутренне перекликались. Одно такое редакционное собрание было зимой 1921 г., но дальше планов дело не пошло.

Мои отношения с Алянским не были близкими, но теплыми. Память об Александре Александровиче и в старости согревала наши встречи. Помню я целый куст светло-лиловых цветов, который принес мне Алянский на мои именины в 1920 г., помню я и наши встречи в Доме творчества в Дубулты, где оба мы часто одновременно отдыхали, помню радость от его бесхитростной и достойной книги воспоминаний о Блоке, где все достоверно до последнего слова.

Мне хочется еще сказать о любви и доверии к Алянскому двух самых близких к Блоку людей — его матери и его жены. Мать была спокойна, когда Алянский сопровождал куда-нибудь Александра Александровича, например, в последнюю поездку поэта в Москву. Жена, которая во время предсмертной болезни его не допускала к нему почти никого из знакомых, делала для Алянского исключение. Тем дороже его хватающие за душу воспоминания — о последних днях поэта, о том, как при нем тот уничтожил многое в своем архиве, и о донесшемся из комнаты рыдании поэта. Только благодаря Алянскому мы можем до конца проследить эти страдальческие последние дни. И только благодаря Алянскому навеки осталось I издание „Двенадцати" с иллюстрациями Ю. Анненкова, одобренное автором. От этой книги Блок не отрекся, как не отрекся от революции»[47].



М. В. САБАШНИКОВ
Фотография. 1918 г.
Частное собрание, Ленинград

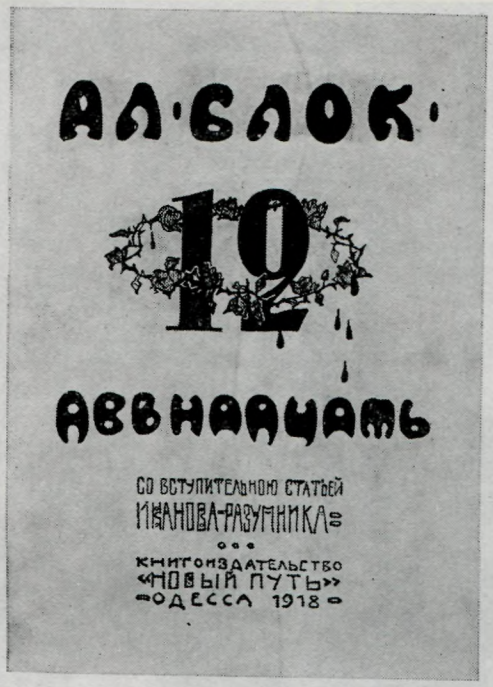
Шестой и последний номер «Записок мечтателей» был особенно дорог Алянскому. Он посвятил его памяти Блока. Алянский предпринимает огромные усилия, чтобы собрать в этот номер всех писателей, знавших и любивших великого поэта. Собрать авторов оказалось действительно нелегко, так как многих уже не было в России.

«Дорогой Самуил Миронович,— пишет издателю „Записок мечтателей" из Берлина А. М. Ремизов 27 января 1922 г.— Ваше письмо, как видите, дошло до меня с большим запозданием; рукопись мою — память мою о Блоке — посылаю; полгода скоро, как тут, а я все нишу письма и только прошу — прошу о своих книгах, которых уже нет у меня, и о своих рукописях, которые где-то лежат; все, что казалось нам, когда зимой читали случайные газеты или заглядывали в рус‹скую› книгу, оказалось пуфом: в сущности говоря, нет ни издательств, ни газет, ни театра, а если и издают, то дрянно — купил Гоголя — ну что это такое! — у Ефрона[48] ничего, но медленно ‹. . .›

Все, что попадается об А. А. ‹Блоке›, все собираю; прошу и парижан, и латвийцев, и немцев»[49].

Труды Алянского не пропали даром. «Записки мечтателей» были тепло встречены критикой. «Третья глава „Возмездия" Блока и вступление к поэме ‹„Младенчество"› Вяч. Иванова принадлежат к страницам вполне достойным этих прекраснейших поэтов,— оценивал М. Кузмин второй и третий номера „Записок мечтателей".— То же можно сказать и о рассказах Ремизова, лучших за последние годы»[50]. «Для характеристики неоромантических кружков начала XX в. мемуары Белого будут играть ту же роль, что и соответствующие главы „Былого и дум" Герцена для характеристики идеалистов 30-х годов», — отмечал критик А. Цинговатов значение воспоминаний А. Белого о Блоке, напечатанных в шестом номере «Записок мечтателей»[51].

Одним из последних изданий «Алконоста» был сборник «Серапионовы братья», представивший целую плеяду замечательных советских писателей. В 1923 г. «Ал-



БЛОК. ДВЕНАДЦАТЬ
Одесса. 1918 г.
Обложка
Собрание Е. М. Голубовского, Одесса

коност» прекратил свое существование. «Издательство „Алконост" соединило в последний раз голоса символистов вокруг памяти Блока,— пишет Федин,— бывшего редко идейным центром символизма, но сближавшего его представителей силой своего чувства и своим человечнейшим обликом» [52].

Алянский задумал «Алконост» ради Блока, в выпуске произведений Блока была главная цель его существования. Недаром критик Георгий Альмединген писал после смерти Блока о журнале «Записки мечтателей»: «Андрей Белый в первой, „программной", вступительной статье (№ 1 „Записок мечтателей") писал об основанной в наши дни „Коммуне мечтателей", т. е. братстве свободных мечтателей, не равных по индивидуальности. И настоящим „первым среди равных" этого братства, пленившим их нежным обаянием своей „индивидуальности", был до последнего часа своего — Блок. „Властителем дум" мечтателей стал везде и всюду Блок: журнал родился и жил под благодатным знаком Блока. И когда умер Блок, птица — Печаль, Алконост, пропела скорбную песнь о кончине его (см. № 4 „Записок мечтателей"). Но братству оставил он завет — жить. Вспоминают мечтатели часто о Блоке — это прошлому дань и почет. Мечтают же о будущем только. И, нерушимо храня память о светлом Блоке среди них, — свободы и Солнца, радостных птиц и пчел желают видеть они в зеленом лесу братства. Кроны их завянут без Солнца. Но не вокруг живой „индивидуальности" вращается теперь их мир. Некому заменить Блока» [53].

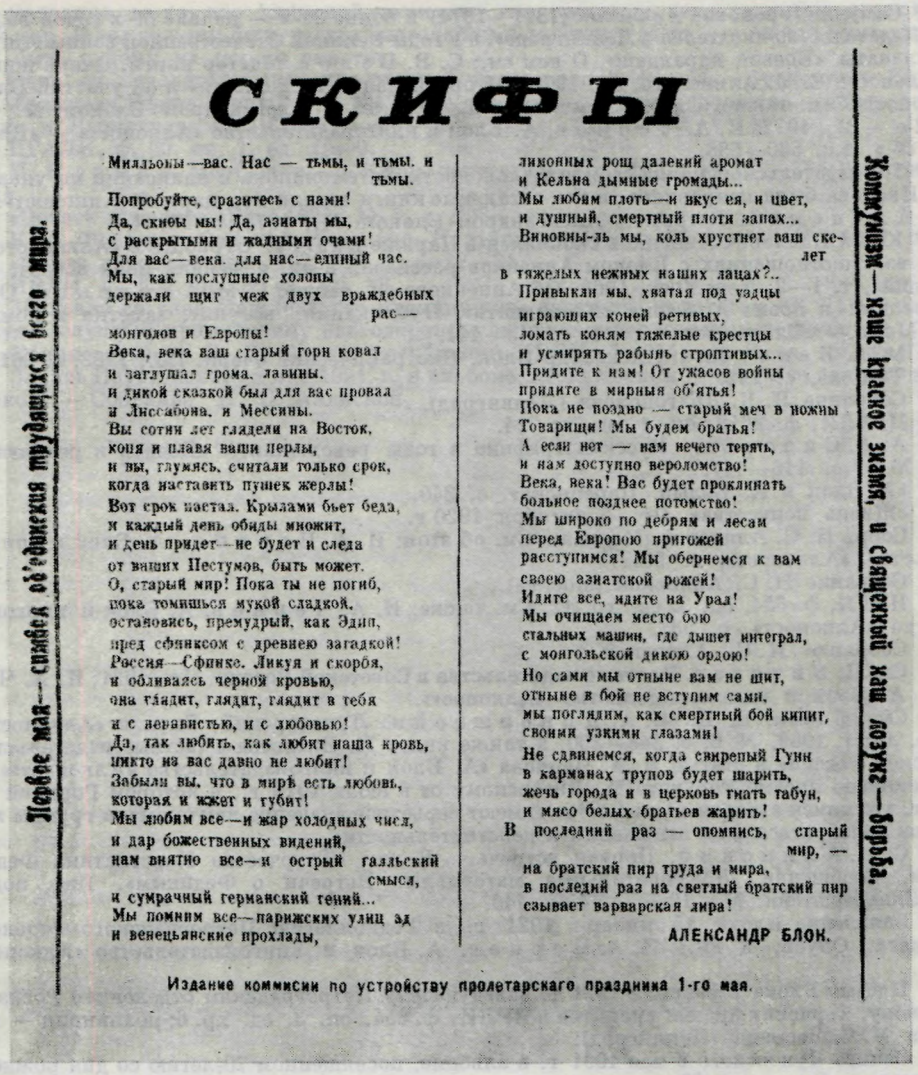
После смерти Блока наследница его авторских прав Л. Д. Блок заключила с Алянским договор на издание «Алконостом» всех произведений Блока как в СССР, так и за границей: «Я, Любовь Дмитриевна Блок, передаю издательству право на издание всех без исключения сочинений моего покойного мужа писателя Александра Александровича Блока, как напечатанных до настоящего времени, так еще и не появлявшихся в печати» [54].

По свидетельству К. Г. Паустовского, Алянский взял на себя также негласное обязательство содержать мать Блока [55]. Алянский честно выполнил свое обязательство, а что касается издания произведений поэта, то после закрытия «Алконоста» «право на издание всех без исключения сочинений» Блока перешло к государству [56].

Таким образом, издательство «Алконост» было теснейшим образом связано с творчеством Блока послеоктябрьского периода. Издательство сыграло выдающуюся роль в пропаганде творчества великого русского поэта. По словам Паустовского, «деятельность „Алконоста" вошла в историю нашей культуры как одно из значительных ее явлений» [57].

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] М. В. Сабашников. Воспоминания. М., 1983, с. 362.
[2] Подробнее о деятельности издательства Сабашниковых см. в кн.: С. В. Белов. Книгоиздатели Сабашниковы. М., 1974.
[3] ГБЛ, ф. 261, карт. 7., ед. хр. 64.
[4] Там же, карт. 3, ед. хр. 9.
[5] П. Мартьянов. Юбилей И. Д. Сытина.— «Речь», 19 февраля 1917 г., № 47.
[6] ГБЛ, ф. 261, карт. 13, ед. хр. 4, 6, 14, 15, 19, 20, 21.
[7] Там же, карт. 7, ед. хр. 32, 41, 47; карт. 8, ед. хр. 7, 98.



Первое мая — символ об'единения трудящихся всего мира.

СКИФЫ

Миллионы — вас. Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, скифы мы! Да, азиаты мы,
с раскрытыми и жадными очами!
Для вас — века, для нас — единый час.
Мы, как послушные холопы
держали щит меж двух враждебных рас —
монголов и Европы!
Века, века ваш старый горн ковал
и заглушал грома, лавины,
и дикой сказкой был для вас провал
и Лиссабона, и Мессины.
Вы сотни лет глядели на Восток,
коня и плавя ваши перлы,
и вы, глумясь, считали только срок,
когда наставить пушек жерлы!
Вот срок настал. Крылами бьет беда,
и каждый день обиды множит,
и день придет — не будет и следа
от ваших Пестумов, быть может.
О, старый мир! Пока ты не погиб,
пока томишься мукой сладкой,
остановись, премудрый, как Эдип,
пред сфинксом с древнею загадкой!
Россия — Сфинкс. Ликуя и скорбя,
и обливаясь черной кровью,
она глядит, глядит, глядит в тебя
и с ненавистью, и с любовью!
Да, так любить, как любит наша кровь,
никто из вас давно не любит!
Забыли вы, что в мирѣ есть любовь,
которая и жжет и губит!
Мы любим все — и жар холодных числ,
и дар божественных видений,
нам внятно все — и острый галльский смысл,
и сумрачный германский гений...
Мы помним все — парижских улиц ад
и венецьянские прохлады,
лимонных рощ далекий аромат
и Кельна дымные громады...
Мы любим плоть — и вкус ея, и цвет,
и душный, смертный плоти запах...
Виновны-ль мы, коль хрустнет ваш скелет
в тяжелых нежных наших лапах?..
Привыкли мы, хватая под уздцы
играющих коней ретивых,
ломать коням тяжелые крестцы
и усмирять рабынь строптивых...
Придите к нам! От ужасов войны
придите в мирныя об'ятья!
Пока не поздно — старый меч в ножны
Товарищи! Мы будем братья!
А если нет — нам нечего терять,
и нам доступно вероломство!
Века, века! Вас будет проклинать
больное позднее потомство!
Мы широко по дебрям и лесам
перед Европою пригожей
расступимся! Мы обернемся к вам
своею азиатской рожей!
Идите все, идите на Урал!
Мы очищаем место бою
стальных машин, где дышет интеграл,
с монгольской дикою ордою!
Но сами мы отныне вам не щит,
отныне в бой не вступим сами,
мы поглядим, как смертный бой кипит,
своими узкими глазами!
Не сдвинемся, когда свирепый Гунн
в карманах трупов будет шарить,
жечь города и в церковь гнать табун,
и мясо белых братьев жарить!
В последний раз — опомнись, старый мир, —
на братский пир труда и мира,
в последний раз на светлый братский пир
сзывает варварская лира!

АЛЕКСАНДР БЛОК.

Издание комиссии по устройству пролетарскаго праздника 1-го мая.

Конкурнизм — наше красное знамя, и священный наш лозунг — борьба.

ПЕРВОМАЙСКАЯ ЛИСТОВКА С ТЕКСТОМ СТИХОТВОРЕНИЯ БЛОКА «СКИФЫ»
Одесса, 1919
Собрание Е. М. Голубовского, Одесса

[8] О Барановских см. неопубликованные «Воспоминания» Е. А. Бальмонт-Андреевой в ГБЛ, ф. 374, карт. 2, ед. хр. 6 (гл. «Детство»).
[9] ГБЛ, ф. 261, карт. 7, ед. хр. 41.
[10] Там же.
[11] ЦГАЛИ, ф. 55, оп. 1, ед. хр. 78. См. также: «Литература и жизнь», 27 ноября 1960 г., № 141; см. также: К. М. Азадовский. Блок и Грильпарцер.— В кн.: «Россия и Запад. Из истории литературных отношений». Л., 1973, с. 304—319.
[12] ИРЛИ, ф. 654, оп. 3, ед. хр. 7. Однако в издательстве «Всемирная литература» переработанный перевод «Праматери», сделанный Блоком, так и не появился и впервые был опубликован только в 1933 г., в четвертом томе Собрания сочинений.
[13] ЦГАЛИ, ф. 55. См. также: А. П. Толстяков. «Изборник» Александра Блока.— «Вопр. лит.», 1968 № 1, с. 249.
[14] ГБЛ, ф. 261, карт. 13, ед. хр. 2.
[15] А. А. Блок. Избранные стихотворения. Л.— М., 1924.
[16] ГБЛ, ф. 261, карт. 13, ед. хр. 2.
[17] Анализ рукописи см.: А. П. Толстяков. «Изборник» Александра Блока, с. 248—250; см. также: Л. К. Долгополов. «Изборник» Александра Блока и вокруг него.— «В мире книг», 1976, № 2, с. 68—69.

[18] Самуил Миронович *Алянский* (1891—1974) в конце 20-х — начале 30-х годов возглавлял «Издательство писателей в Ленинграде», а в годы Великой Отечественной войны выпускал агитплакаты «Боевой карандаш». О нем см.: С. В. Белов. Мастер книги. Очерк жизни и деятельности С. М. Алянского. Л., 1979. Об организации «Алконоста» и об участии Блока в «Алконосте» см. также: С. М. Алянский. Встречи с Александром Блоком. М., 1969; изд. 2-е — М., 1972; И. А. Чернов. А. Блок и книгоиздательство «Алконост».— «Блоковский сб.», 1,с. 530—538.

[19] На издательской марке стояло «Альконост». Затем ошибка в написании по указанию Вяч. Иванова была исправлена, и все остальные книги вышли под маркой «Алконост». См.: С. М. Алянский. Встречи с Александром Блоком. М., 1972, с. 55.

[20] Юрий Павлович Анненков скончался в Париже в 1974 г. О работе в «Алконосте» и о своих взаимоотношениях с Блоком Анненков рассказал в кн. «Дневник моих встреч. Цикл трагедий», т. 1—2. New York, 1966. Об Анненкове см. также: С. М. Алянский. Об иллюстрациях к поэме А. Блока «Двенадцать». Публикация, вступит. заметка и коммент. З. Г. Минц.— «Блоковский сб.», 1, с. 443—444.

[21] М. А. Бекетова. Александр Блок. Биографический очерк. Пб., 1922, с. 261.

[22] Там же, с. 262.

[23] Собрание Л. К. Долгополова (Ленинград).

[24] ЦГАЛИ, ф. 2618, оп. 1, ед. хр. 24.

[25] А. А. Сидоров. Русская графика в годы революции.— «Печать и революция», 1922, № 7, с. 116—117.

[26] «А. Блок и А. Белый. Переписка», с. 340.

[27] «Жизнь искусства», Пг., 5 октября 1920 г.

[28] Собр. Н. С. Алянской (Москва). См. об этом: И. А. Чернов. А. Блок и книгоиздательство «Алконост», с. 531.

[29] Собрание Н. С. Алянской (Москва).

[30] ИРЛИ, ф. 654, оп. 3, ед. хр. 12. См. также: И. А. Чернов. А. Блок и книгоиздательство «Алконост», с. 532.

[31] Собрание Н. С. Алянской.

[32] См. П. Витязев. Частные издательства в Советской России. Пг., 1921; И. А. Чернов. А. Блок и книгоиздательство «Алконост».

[33] См. об этом: Е. Д. <Е. А. Динерштейн> Луначарский, Блок и «Алконост».— «Вопр. лит.», 1969, № 6, с. 248—250, а также книгу П. Витязева «Частные издательства в Советской России» и статью И. А. Чернова «А. Блок и книгоиздательство «Алконост»», где опубликовано письмо Горького М. Лисовскому от 9 июля 1919 г., в котором Горький указывает, что книги авторов «Алконоста» «имеют серьезное значение как попытка группы литераторов разобраться в ее отношении к действительности».

[34] С. М. Алянский. Первая встреча.— В кн.: «Творчество Константина Федина. Статьи. Сообщения. Документальные материалы. Встречи с Фединым». Изд. подгот. И. С. Зильберштейн. М., 1966, с. 439—440.

[35] Заявление Блока 15 января 1921 г. в Редколлегию Петроградского отделения Госиздата. Опубл. в кн.: И. А. Чернов. А. Блок и книгоиздательство «Алконост», с. 534.

[36] Письмо Блока 7 февраля 1921 г. заведующему Петроградским отделением Госиздата И. Ионову. Черновик письма хранится в ИРЛИ, ф. 654, оп. 3, ед. хр. 6; подлинник — в собрании М. С. Лесмана (Ленинград).

[37] Запись Чуковского в мае 1961 г. в альбоме, посвященном 70-летию со дня рождения Алянского.— См. прим. 29.

[38] Собрание Н. С. Алянской. Впервые опубликовано нами: «Нева», 1976, № 3, с. 219—220. См. также наст. том, кн. 3.

[39] М. А. Бекетова. Александр Блок. Биографический очерк, с. 266.

[40] ГБЛ, фонд К. И. Чуковского.

[41] Там же.

[42] Собрание Н. С. Алянской.

[43] Собрание Н. С. Алянской.

[44] Из беседы В. Н. Орлова с автором наст. статьи.

[45] Собрание Н. С. Алянской. Впервые опубликовано нами: «Байкал», 1976, № 2, с. 144—145.

[46] ЦГАЛИ, ф. 5, оп. 2, ед. хр. 21.

[47] Письмо к автору данной статьи от 13 апреля 1976 г. См. также: Н. А. Павлович. Воспоминания об Александре Блоке (публикация З. Г. Минц и И. А. Чернова).— «Блоковский сб.», 1, с. 446—506. Автор данной статьи записал выступление М. С. Шагинян на вечере памяти Алянского в ЦДРИ 12 марта 1977 г.: «Всю жизнь я думала о смерти Блока. И вот сейчас, в конце своей жизни, я поняла, почему Блок, умирая, не хотел видеть никого из друзей и родных (кроме Л. Д. Блок), а только одного Алянского допускал к себе. Смерть — это великая тайна. Жизнь каждого человека неповторима, смерть — тоже. Жизнь и смерть творческого гения — тем более неповторима. Алянский единственный, кто понял, что Блок умирает, что Блок на пороге великой тайны. И поняв это, он, в отличие от друзей и родных Блока, не стал сюсюкать или утешать его. Он просто молчал. И Блок был благодарен ему

за это молчание, за то, что Алянский не мешает ему постигать великую тайну перехода в другой мир. И мы должны быть всегда благодарны Алянскому за то, что он дал возможность Блоку быть одному на пороге смерти».

[48] Один из основателей немецко-русской издательской фирмы «Брокгауз — Ефрон» Илья Абрамович Ефрон скончался в 1917 г., а его издательство продолжало существовать в Берлине и Ленинграде до 1929 г.

[49] ЦГАЛИ, ф. 20, оп. 1, ед. хр. 9.

[50] М. К у з м и н. Мечтатели.— «Жизнь искусства», Пг., 1921, № 764—766, 29 июня — 1 июля.

[51] «Печать и революция», 1922, № 7, с. 298.

[52] К. А. Ф е д и н. Горький среди нас. Картины литературной жизни. М., 1967, с. 93.

[53] «Книга и революция», 1922, № 8, с. 22—24.

[54] ИРЛИ, ф. 654, оп. 8, ед. хр. 88.

[55] Записано со слов Паустовского племянником издателя, писателем Ю. Л. Алянским. Пользуясь случаем, приношу ему благодарность за ознакомление с этим документом.

[56] Копия договора Л. Д. Блок с Госиздатом: ИРЛИ, ф. 654, оп. 8, ед. хр. 88.

[57] Запись Паустовского в мае 1961 г. в альбоме, посвященном 70-летию со дня рождения Алянского.— Собрание Н. С. Алянской.

КТО АВТОР БЛОКОВСКОГО ПЛАКАТА

Сообщение Д. Е. Горбачева

Почти полвека пролежали безвестными в фондах Киевской Публичной библиотеки АН УССР три литографских оттиска с одним и тем же изображением: красноармеец с винтовкой и под ним текст: «Революционный держите шаг, неугомонный не дремлет враг». Первые публикации плаката появились лишь в 1967 г. в Государственном музее украинского изобразительного искусства, куда перешли на хранение блоковские листы, он был показан на выставке «Украинский плакат гражданской войны» к 50-летию Октября. В том же году плакат был воспроизведен безымянно (без даты и места издания) в книге В. Н. Орлова «Поэма Александра Блока „Двенадцать“» (М., 1967, с. 44—45).

Подписи на плакате не было: издательства военной поры предпочитали не разглашать имен своих авторов из соображений конспирации. Тираж, по-видимому, был небольшим; сохранились считанные экземпляры, причем ни в Библиотеке им. В. И. Ленина, ни в Публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина плаката нет. Лишь московскому Музею Революции удалось купить в 1939 г. у частного лица три оттиска, один из которых недавно экспонирован на блоковской выставке в Литературном музее (Москва).

Высокие художественные качества плаката привлекли к нему внимание искусствоведов. Знаток этого вида искусства Ш. Бойко отнес плакат к десятку лучших во всем советском агитпропе. Устроители выставок — республиканских, всесоюзных и международных — стали помещать его среди избранных работ (выставка «На страже мира» в Киеве, 1968 [1]; юбилейная выставка плаката в Москве 1968; экспозиция советских плакатов в Лондоне, 1969). Плакат экспонировался на выставке «Москва—Париж». И повсюду плакат выступал с досадным сопровождением: автор — аноним [2]. С конца 60-х годов и до сего дня его охотно публикуют русские блоковеды и украинские искусствоведы [3].

Поиск уточняющих сведений начался с даты. Датировать его можно с полным основанием 1919 г. Введенная в композицию эмблема (звезда с плугом и молотом) имеет характерный силуэт (лучи звезды овальны), принятый в красноармейских изданиях лишь в 1919 г.[4] Местом издания следует предположить Киев. И не только потому, что там оказались оттиски,— в 1919 г. блоковские темы неизменно включались в программу агиткампаний Наркомпросом УССР и политотделом Киевского военного округа.

8—11 июня по случаю Всеукраинского дня ребенка, организованного Наркомпросом Украинской ССР, в Киеве провели выставку «Самая большая детская книга» [5] с показом гигантских иллюстраций к текстам Блока работы художника К. Редько. Он вспоминал: «Мы с Челищевым приглашены работать по устройству грандиозного детского праздника. Главный центр праздника — в купеческом (ныне Пионерском) саду. Мы беремся сделать иллюстрации необыкновенные. Они представляют книги-колоссы из листов фанеры. Каждую такую книгу, поставленную перед детьми на сцене, перелистывая, будет декламировать актер. Наша работа закипает. С эскиза начинает выявляться картина про жизнь бедного зайчика Александра Блока. Зайчик на первом листе получился похожим на откормленного поросенка. Зато он радует цветами красок и технически выполнен для работы такого временного назначения слишком хорошо. Дети скажут, что все же это зайчик и он грызет лист капусты. Наплодил я еще детям косолапых и мохнатых медвежат. В заключение написал на последнем листе лицо, похожее на паутину — скупую, злую старуху. Многие принимали мою старуху за символ монархии. Когда на празднике очередь дошла до нее, дружным хохотом разразились советские дети. Великан-книга родилась на второй год Октябрьской революции. Только обстоятельства тех дней, кажущихся фантазией, создали нам возможность проявить себя столь лихорадочно и с размахом в искусстве. Мою книгу оценили как влияние Руссо и Матисса. Но, создавая листы, я не следовал доктринам этих живописцев. Проникаясь настроением поэзии Александра Блока, я переносился в детский мир. Я пережил на этих листах детскую непосредственность, делающую примитив искусством» [6].

Одной из тем, предложенных мастерам искусств Наркомвоенкомом УССР к «Неделе всеобуча» (началась 26 июля 1919 г.), была блоковская — «Революционный держите шаг». Ее разрабатывал, в частности, режиссер Аксель Лундин, снявший агитфильм под таким названием [7]. К этому же празднику, скорей всего, приурочен наш плакат.

К слову сказать, поэму «Двенадцать» интеллигенция Киева высоко оценила вскоре после ее выхода в свет. Журнал «Куранты» (редактор А. Дейч) поместил следующий отклик еще в 1918 г.: «Может быть, все предшествующее творчество А. Блока было лишь подготовкой к гениальной интуиции последних двух его поэм „Двенадцать“ и „Скифы“» [8]. Альманах «Стихи и проза о русской революции», составленный М. Кольцовым и Е. Зозулей весной 1919 г., перепечатал «Двенадцать» с таким комментарием: «Появление в печати изумительной поэмы вызвало бурю в самых разнообразных кругах общества. В самое короткое время поэма стала популярной среди читателей не только Великороссии, но — несмотря на всякие внешние препятствия — и далеко за пределами ее, где поэма в копиях шла по рукам» [9]. Художник Борис Ефимов, оформивший это издание, помнит, как «два отрывка из Маяковского наряду с „Двенадцатью“ Блока произвели наибольшее впечатление» [10] на читателей.



А. ПЕТРИЦКИЙ. РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЛАКАТ СО СТИХАМИ ИЗ ПОЭМЫ БЛОКА «ДВЕНАДЦАТЬ», 1918 г.
Литературный музей. Москва

Тогда же киевский журнал «Мистецтво» (редактор поэт М. Семенко, художественный редактор А. Петрицкий) опубликовал «Двенадцать» на украинском языке [11]. Издательство «Лукоморье» подготовило было издание поэмы с иллюстрациями С. Юткевича. «Сувчинский заказал мне иллюстрации к „Двенадцати“ Блока 〈. . .〉 Книгу уже набрали, были готовы клише, но выйти в свет она так и не успела: в город ворвались петлюровцы и части Добармии»,— вспоминает С. Юткевич события 1919 г.[12]

Художник, сделавший блоковский плакат, судя по манере, обладал следующими качествами: был отличным театральным костюмером, знал украинское народное искусство вырезанки («вытынанка»), знал традиционные для Украины цветовые сочетания: черное с красным (цвет вышивок) и желтое с зеленым (керамика), был близок к киевской мастерской А. Экстер (характерная форма обуви), знал схему барочных казацких портретов XVII—XVIII вв. (крупноплановая фигура, крупноформатный герб справа вверху — и плоскостная трактовка форм). Сочетанием всех этих качеств отличался лишь один художник — Анатолий Петрицкий, соратник Экстер, ученик собирателя старины В. Кричевского, мастер, о котором М. Семенко писал: «почти единственный знаток украинской народной живописи и в интерпретации национальной стихии современными средствами не знает себе равных» [13].

По свидетельству самого Петрицкого, в 1919 г. Наркомат военных дел УССР привлек его к оформлению уличного празднества «Неделя всеобуча» [14]. Художники получали заказы в здании художественной секции агитпросвета Киевского Окрвоенкомата. На фотографии тех дней здание это украшено огромным панно в виде звезды с плугом и молотом (аналогичной той, что на плакате) и вывеской, шрифт которой напоминает подпись на плакате [15].

«Самые удачные оригинальные плакаты воспроизводились в сотнях, тысячах экземпляров и рассеивались на просторах гражданской войны»,— вспоминает Редько [16]. Лист со словами Блока был из таких „удачных, оригинальных“. Он нес службу в частях, воевавших на Украине: „Возьмем девятнадцатый год, рейд нашей Южной группы в августе — сентябре. С запада наступают петлюровцы, с востока — Деникин. Помните тот плакат „Революцион-

ный держите шаг! Неугомонный не дремлет враг". Коммунисты знали, что Южная группа — это несокрушимая сила» [17].

Но возвратимся к предполагаемому автору. По всем приметам это — Петрицкий. И монограмма в верхнем углу плаката, составленная из литер АП, не составляет тайны: Анатолий Петрицкий.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] На варті миру. Каталог. Київ, 1969, с. 76.
[2] Москва—Париж. Каталог выставки, т. 1. М., 1981, с. 192.
[3] «Вітчизна», 1968, № 2, с. 224—225; М. Склярська. Український політичний плакат. Київ, 1971; сб. «В сем'ї вольній, новій», Київ, 1972, с. 24; «Александр Блок в портретах, иллюстрациях, документах». Сост. А. Гордин. Л., 1972, с. 283; «Вітчизна», 1975, № 11, с. 199; «Жизнь и творчество А. Блока. Материалы для выставки». Сост. С. Овчинникова. М., 1980, с. 18; «Правда», 1980, 27 ноября, № 332; Анатолій Петрицький. Спогади про художника. Київ, 1981, с. 48; Д. Горбачов. Революції зафіксована мить.— «Київ», 1983, № 1, с. 153.
[4] См. значки-марки, выпущенные ВЦИК'ом в день красного подарка Красной Армии 23 февраля 1919 г. (Музей Революции), а также эмблему «Библиотеки всеобуча» (напр., на обложках книг: «Песни красных воинов». М., 1919); см. также: Е. Ярославский. Красной Армии. М., 1919 (ГБЛ, Отдел редкой книги).
[5] ЦГАОР УССР, ф. 166, оп. 1, ед. хр. 787, л. 29.
[6] К. Редько. Книга воспоминаний (машинопись), гл. 18. «Искусство и гражданская война», с. 21—22 (хранится у Т. Ф. Редько, Москва).
[7] И. Корниенко. Кино Советской Украины. М., 1975, с. 28.
[8] Б. Манджос. Новый Блок.— «Куранты», 1918, № 7, с. 12.
[9] «Стихи и проза о русской революции», Сб. 1. Киев, 1919, с. 6.
[10] Б. Ефимов. Сорок лет работы. М., 1961.
[11] О. Блок. Двенадцать.— «Мистецтво», 1919, № 4, с. 7—10.
[12] М. Долинский. Связь времен. М., 1976, с. 69—70.
[13] М. Семенко. Анатоль Петрицький.— «Мистецтво», 1919, № 1, с. 12.
[14] Список работ А. Петрицкого. Автограф, с. 2 (хранится у Л. Н. Петрицкой, Киев).
[15] Центральный гос. архив кино-фото-фонодокументов УССР, ед. хр. П—129.
[16] К. Редько. Дневники, воспоминания, статьи. М., 1974, с. 51.
[17] И. Дубинский. Славные имена, славные страницы.— «Новый мир», 1962, № 2, с. 178.

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ БЛОКА

Сообщение доктора медицинских наук М. М. Щербы
и кандидата медицинских наук Л. А. Батуриной
(кафедра пропедевтики внутренних болезней
Военно-медицинской ордена Ленина Краснознаменной академии им. С. М. Кирова)

Отсутствие в биографических сведениях и литературных трудах о Блоке «врачебного взгляда», подробной истории болезни казалось нам всегда большим пробелом. Его мы попытались восполнить. Проведение исследования в таком необычном для блоковедения направлении представляется нам вполне уместным, своевременным и корректным, поскольку муссировавшиеся прежде и существующие до сего времени слухи о причине смерти Блока требуют медицинских комментариев.

Наблюдавший поэта последние полтора года Александр Георгиевич Пекелис оставил лишь «Краткую заметку о ходе болезни» Блока [1], вскрытия тела не производилось, в клинике Блок никогда не лечился, т. е. истории болезни в традиционном понимании слова нет. Первое и пока единственное медицинское исследование принадлежит Я. В. Минцу, который без всяких оснований причислил Блока к «плеяде гениальных эпилептиков» [2]. Остальные сведения о болезни поэта разбросаны в письмах, дневниках, записных книжках, воспоминаниях. Нами прослежен ход развития болезни — медленный, но неумолимый, накопление малых изменений, которые по несчастному стечению обстоятельств привели к завершающей трагедии — такой как будто неожиданной, но подготовленной, однако, всей жизнью поэта.

Счастливое детство Блока — единственного ребенка в большой семье, всеобщего баловня, вполне отражено в его автобиографических строках: «смутно помню я большие петербургские квартиры с массой людей, с няней, игрушками и елками — и благоуханную жизнь нашей маленькой усадьбы» (VII, 13). Говоря о здоровье Блока в детстве, следует вместе с тем отметить, что с малых лет «проявлялась его нервность, которая выражалась в том, что он с трудом засыпал, легко возбуждался, вдруг делался раздражителен и капризен» [3]. «Живой, неумолимо резвый, интересный, но очень трудный ребенок: капризный, своевольный, с неистовыми желаниями и непреодолимыми антипатиями»,— пишет М. А. Бекетова [4]. Она же объясняет: «Нервность эта была очень понятна, так как Саша родился при тяжелых условиях и родители его, особенно мать, были очень нервные люди» [5].

Первую серьезную болезнь Блок перенес в шесть лет — экссудативный плеврит,— очевидно, сказался, хоть и кратковременный, контакт с туберкулезным отцом. Болезнь прошла без осложнений благодаря лечению доктора Георгия Андреевича Каррика, известного петербургского педиатра, авторитет которого был для всей семьи непререкаем. Пользуясь его советами, Александра Андреевна «в отношении режима, гигиены и лечения, когда оно было нужно, добилась от Саши до известного возраста полного повиновения. Требованиям такого рода он подчинялся беспрекословно, и в результате из него вышел здоровый и сильный юноша» [6].

Можно упомянуть о немногочисленных болезнях детского возраста: в двенадцать лет — тит (воспаление среднего уха) [7], дававший себя знать в более позднем возрасте, в тринадцать ет — корь с затяжным бронхитом [8]. О так называемой перемежающейся пензенской лихорадке, перенесенной им в девять и шестнадцать лет, трудно сказать что-либо определенное — зможно, речь шла о распространенной тогда малярии, так как Митропольский лечил больного хиной [9]. Болезням, самочувствию, жалобам окружающих на здоровье уделялось много места в детской переписке Блока [10]. М. А. Бекетова указывает на то, что Александра Андреевна «была вообще склонна беспокоиться за сына. Она часто преувеличивала его болезни, вечно боялась, что он простудится по дороге в гимназию и обратно и т. д.», «что называется, дрожала над сыном» [11].

В целом к двадцати годам Блок был здоров. Сопровождая мать в Бад-Наугейм (1897 и 03), он принимал углекислые ванны «только для удовольствия» [12] и, по мнению курортного

врача, «был совсем здоров, только einwenig* нервен и малокровен и т. д.»[13] Тем не менее мать показывает его знаменитому Владимиру Михайловичу Кернигу, просит назначить лечение. «Грешно лечить этого молодого человека»,— заключил доктор после внимательного осмотра[14].

Окружающих поражало то ощущение здоровья, силы, красоты, лучезарности, крепости и статности, которыми веяло от Блока[15]. «Физической силой и физическим здоровьем наделен он был в избытке»,— писал В. А. Зоргенфрей[16].

Но даже в эти годы Блок жаловался на «гнет погоды»[17], по письмам можно проследить, как учащались у него простудные заболевания, становясь иногда продолжительными. Например: 1902 г., 13 XI—30 XII — «слег», «жар 40°»[18]; 1908 г., 24—31 VII — «сильный жар», «лихорадка»[19]; 1909 г., 2.III—3.IV — «кашляю», затянувшийся «бронхит», «горло болело так сильно, что чувствовалось не только при глотании»[20], 13.XI — «болезнь заставляет меня высидеть дома еще с неделю»[21].

С осени 1909 г., начавшегося большими семейными потрясениями, Блок долго лечился (поездка в Италию и Германию не дала эффекта), обращаясь к разным врачам: А. А. Белоголовому (доктору медицины, старшему врачу Обуховской мужской больницы), Козловскому, Федорову,— и пришел к грустному выводу: «всякая болезнь в проклятом Петербурге естественна и разрастается в неопределенные „инфлуэнцы", лечить которые как следует нельзя»[22]. Ставился диагноз скорбута (цинги), предписывалось соответствующее лечение. Еще больной, поехал Блок на похороны отца в Варшаву и вернулся с бронхитом[23].

9.XII 1909 г. он впервые жалуется: «постоянно хватает за сердце»[24]. Встревоженный, Блок обращается в январе 1910 г. к Николаю Федоровичу Чигаеву, доктору медицины, приват-доценту Военно-медицинской академии, главному врачу Свято-Троицкой общины сестер милосердия. Н. Ф. Чигаев нашел «сильнейшую степень неврастении и, возможно, зачатки ипохондрии», назначил общеукрепляющее лечение, рекомендовал санаторий[25].

Через год — в январе 1911 г.— Блок лечится уже у другого врача, который тоже советует санаторий, морские купания[26]. Врач считает пациента «совершенно здоровым и очень крепким физически, хвалит мускулы, говорит, что все недомогания — чисто нервные»[27]. Для «окончательного упрочения здоровья» рекомендует три раза в неделю шведский массаж. В этот период времени гимнастика, массаж, борьба занимают «определенное место в жизни» Блока[28], он чувствует себя «очень окрепшим физически (и соответственно нравственно)»[29].

Но весной — «возобновление цинги, микробы несерьезные, но такая восприимчивость доказывает вялость всего организма — он недостаточно сильно борется»[30]. Доктор П. Э. Вихерт (наверное, тот же самый врач, что лечил в январе) дал рецепт для десен с миррой. Очевидно, именно он рекомендовал поэту произвести удаление миндалин, о чем Блок писал В. Пясту с горькой усмешкой: «...я опасаюсь за их участь: они выдержали много сражений, и боюсь, как бы их совсем не пришлось удалить с поля битвы (за выслугой лет) оперативным путем. А без гланд, согласитесь, человек уже не жилец на этом свете: всякий будет над ним издеваться, и уличные мальчишки будут бегать за ним по улице и тыкать пальцами»[31].

Летом мать заметила: «он ужасно нервен, и ему надо серьезно и правильно лечиться» (наст. том, кн. 3, с. 385), направила к врачу. Е. В. Аничков нашел «нервного доктора», к которому Блок отправился, сознавая, что у него «страшно расстроены нервы»[32]. Невропатолог подтвердил мнение своих коллег, Блок докладывает матери: «он оказался умнее, чем я думал; выслушал, исколол и выстучал меня всего; сердце оказалось в полном порядке, т. ч. купаться я могу, где вздумаю, только не долее четверти часа раз в день, зато хоть целый месяц, вообще — как понравится. Нервы в таком состоянии, что „на них следует обратить внимание", но через два-три месяца правильной жизни все должно пройти. Правильной жизнью он называет — совсем не пить вина и принимать пилюли с новым средством (арреноль[33]— там есть и бром). Купанье он советует»[34]. Создается впечатление, что из всех рекомендаций врача Блок прислушался только к последней, и то не мог осуществить ее в полной мере, так как в Бретани «горло сильно болело, температура поднималась до 37,5», целую неделю пришлось сидеть дома[35].

---

* немного (*нем.*)

Осень 1911 г.: 25.X —«Вчера цинга моя разболелась мучительно (...) Десны болят, зубы шатаются». 26.X — «Сегодня зубам легче» (VII, 77). 25.XI — «боль горла, нервы» (VII, 96). 31.XII — «у меня десны еще немного болят» (VII, 116). С января 1912 г.— длительное недомогание и душевный кризис. Он не принимал никого: ни В. Пяста, ни Г. Чулкова, ни А. Белого, ни С. Городецкого, ни А. П. и Е. П. Ивановых, играл с Любовью Дмитриевной «в дураки и акульки», писал: «тягостно, плохо себя чувствую, пусто, во мне мертвое что-то», «лежу в постели совсем больной», «тоска смертная», «непонятная болезнь, вялость, утомление», «однообразие, апатия, забыл, что есть люди на свете» [36]. В марте — апреле 1912 г. Блок отмечал: «Все еще не могу поправиться. Цинга оказалась „гингивитом" (!) — местное (десны)», «тяжело и скучно», «я устал страшно», «какая тоска — почти до слез» (VII, 130, 139—140). И опять: «ночью простудился от форточки», «страшный насморк, охрип, едва читаю на вечере в Петровском училище» (VII, 141). Он сам понимал, в чем дело: «я болен, в сущности, полная неуравновешенность физическая, нервы совершенно расшатаны» (VII, 152).

После кратковременного летнего улучшения самочувствия, когда он писал: «Мне скучно, а здоровье — ничего» [37],— всю осень и зиму, а также весну 1913 г. повторяется прошлогодняя картина. Г. И. Чулков писал жене: «Прийти не может, потому что „угнетен" и ему „нельзя говорить". От Ремизова я слышал, что у него цинга опять и опять меланхолия: он нигде не бывает» (наст. том, кн. 3, с. 403). Блок делал вывод: «нет, при теперешнем моем состоянии (жесткость, угловатость, взрослость, болезнь) я не умею и не имею права говорить больше, чем о человеческом» (VII, 186). Жалобы прежние: «тягостное утро, одиноко, тоскливо, ничего не выходит», «безделье», «день изнервляющий», «изнеможение», «усталость, вялость», «муть на сердце», «устал бесконечно, скверно сплю», «сон тревожный», «сон ужасный, ужасный день», «день мучительный — болен», «болят десны, скоро замучиваюсь, сонливость», «десны замучили» (VII, 193—198, 204—206). Он и сам замечает: «не особенно чувствую себя, вчера вечером стало лучше, а сегодня опять. Это и расстраивает нервы» [38]. В начале марта пропал голос, болит горло, Блок лечится компрессами [39], и вскоре — «дни невыразимой тоски и страшных сумерек», «мокрая метель, тоска», «бездонная тоска» (VII, 234—236).

Приведенные цитаты достаточно четко указывают на зависимость неврастенических жалоб от обострений хронически текущей инфекции — тонзиллита, этой характерной «петербургской болезни». Тонзиллит — воспаление миндалин (гланд), дающее, помимо изменений со стороны горла, явления общей хронической интоксикации с преимущественным поражением нервной и сердечно-сосудистой системы.

Весь май 1913 г. Блок лечился, после чего «доктор велит ехать купаться в Средиземное море. Потом — в горы» [40]. Летом было кратковременное обострение отита, приходилось закрывать ухо ватой и надевать шлем для купания [41], но в целом наблюдалось заметное улучшение состояния. Только в ноябре 1913 г., в октябре и декабре 1914 г. и 7—8 января 1917 г. (во время службы в армии) встречаются указания на простуду [42]. А в марте 1917 г. Блок пишет: «Я очень здоров, чрезмерно укреплен верховой ездой, воздухом и воздержанием» [43].

Следует обратить внимание на то, что на протяжении всей жизни Блок отмечал благотворное влияние физической активности, загородных прогулок и свежего воздуха на свое здоровье. Еще в 1901 г. он писал отцу: «Здоровье мое за лето поправилось» [44]. Сообщая Е. Иванову из Шахматова в 1905 г.: «Днями теперь чувствую, что молодею. Днями становлюсь легкомысленным мальчишкой». В 1906 г., находясь в имении,— А. Белому: «Мне хочется крепко обнять тебя и сообщить тебе столько моего здоровья, сколько нужно». Даже после тяжелой зимы 1907—1908 гг., находясь в Шахматове, «большей частью в очень бодром настроении», пишет Е. П. Иванову: «Не делаю ничего (кроме как топором, лопатой и пр.), но думаю много и хорошо»; осенью учится кататься на велосипеде, наслаждается поездками в Царском селе и Павловске. Летом 1909 г.— В. Пясту из Шахматова: «Теперь кошу траву и рублю дрова, „укрепляюсь". Многое возвращается» [45]. Ранее мы уже писали о необычно эффективном для Блока лечении в 1911 г.— с использованием гимнастики, шведского массажа, борьбы. Все это подтверждает преобладание функциональных симптомов, отсутствие органического заболевания сердечно-сосудистой системы у Блока до последних лет жизни. В апреле 1917 г., навестив мать в санатории, он показался знаменитому врачу — Юрию Владимировичу Каннабиху, который нашел только неврастению, назначил бром с валериановыми каплями [46].

В апреле 1920 г. А. Г. Пекелис, живший с Блоком в одном доме, впервые осмотрел поэта по поводу лихорадочного недомогания [47]. Нашел инфлуэнцу с легкими катаральными явлениями, отметил невроз сердца в средней степени. Состояние Блока было ошибочно расценено как «послегриппозный хвост», не были учтены чрезвычайно важные факты. В середине декабря 1919 г. у больного был кратковременный «жар» (ЗК, 483); в январе—феврале Джоном Францевичем Инге диагностировалась инфлуэнца (наст. том, кн. 3, с. 489), появился фурункулез. В конце марта — скачки температуры: «вдруг жар — жар меньше, жар больше» (ЗК, 489—490). Пекелис был у Блока 8 апреля, 15 апреля больной «больше лежит» и даже 22 апреля записывает: «температура не может установиться» (ЗК, 491). Несомненно, обнаруженные симптомы следовало истолковать серьезнее — имелось достаточно оснований для диагностики воспалительного поражения сердца. Это подтверждается дальнейшим течением заболевания. Видевший Блока летом 1920 г. С. Городецкий, удивленный загаром поэта и сходством его с финном, вынужден признаться: «Я скоро убедился, что первое впечатление о сохранности его первоприродных сил было у меня преувеличено» [48]. Н. Г. Чулкова поражена: Блок «огрубел, постарел, глаза тусклые» [49]. Осенью Г. П. Блок удивлен резкими переменами во внешности поэта: «Все черты стали суше — тверже обозначились углы. Первое мое впечатление определилось одним словом: опаленный» [50]. Он же замечает интересный и важный клинический симптом, указывающий на текущий в организме воспалительный процесс,— крупные выпуклые ногти. Зимой 1920—1921 г., вспоминает Н. А. Павлович, Блок сидел у хорошо натопленной печки, но его все равно знобило [51]. Жена добавляет — «ломило все тело, особенно руки и ноги 〈. . .〉 всю зиму» [52]. Под новый год заходил Пекелис, но опять нашел инфлуэнцу (ЗК, 511). М. А. Бекетова отмечает, что только раз «сделалась у него как-то подозрительная боль в области сердца, которую он признал за что-то другое и не подумал обратиться к доктору» [53].

И только весной 1921 г., как писал В. А. Зоргенфрей, «впервые заговорили внятным для окружающих языком» о болезни Блока: он жаловался на боль в ногах, одышку, «чувствовал» сердце, поднявшись на второй этаж, садился утомленный [54]. С. М. Алянский описывает те же симптомы, усилившиеся в апреле 1921 г.[55] Несмотря на это, Блок 1 мая поехал в Москву; «с трудом сошел вниз, опираясь на палку, с трудом сел на извозчика» [56]. В. Пяст пишет: «Внешне изменился сильно. Не то что постарел, но очень похудел. Нисколько не „опустился“ — но очень измучился» [57]. Того же мнения придерживается П. С. Коган — «худой, измученный, озлобленный» [58]. К. И. Чуковский, сопровождавший поэта, чуть не вскрикнул, нечаянно подняв глаза: «Передо мною сидел не Блок, а какой-то другой человек, совсем другой, даже отдаленно не похожий на Блока. Жесткий, обглоданный, с пустыми глазами, как будто паутиной покрытый. Даже волосы, даже уши стали другие» [59]. Такие резкие и быстрые изменения внешности, вне всякого сомнения, говорят о тяжелой болезни, их нельзя объяснить только утомлением и недостаточным питанием.

Врач Кремлевской больницы Александра Юлиановна Канель нашла «сильное истощение и малокровие, глубокую неврастению, на ногах цинготные опухоли и расширение вен; велела мало ходить, больше лежать, дала мышьяк и стрихнин; никаких органических повреждений нет» [60]. Больной жаловался на слабость, подавленность, испарину, плохой сон, боли в руках и ногах [61]. В середине мая, по возвращении в Петроград, Блок осмотрен Пекелисом по поводу «повышения температуры, удушья и боли в груди» [62]. Он обнаружил увеличение сердца влево на палец и вправо на 1½, шум нерезкий на верхушке и во 2-м межреберном промежутке справа, t 39° [63], но подтвердил лишь диагноз московского врача [64]. Спустя две недели Пекелис убедился в том, что у Блока «настоящая сердечная болезнь, а не неврозы, которые часто бывают обманчивы», назначил полный покой, ежедневно наблюдал [65]. В это время (26—28 мая) Блок писал: «Сейчас у меня ни души, ни тела нет, я болен, как не был никогда еще: жар не прекращался, и все всегда болит», «уже вторые сутки — сердечный припадок 〈. . .〉 я две ночи почти не спал, температура то ниже, то выше 38°. Принимаю массу лекарств, некоторые немного помогают. Встаю с постели редко, больше сижу там, лежать нельзя из-за сердца» [66]. Проводившееся лечение дало некоторый положительный результат — поэт говорил, что «доктор склеил ему сердце» [67], пытался немного работать, разбирал свой архив [68]. Затем — вновь резкое ухудшение, вынудившее 17 июня созвать консилиум: Петр Васильевич Троицкий, профессор, заведующий терапевтическими кафедрами женского медицинского института и Военно-медицинской академии, Эрнест Августович Гизе, заведующий неврологическим отделением Обуховской больницы,

и А. Г. Пекелис. Был поставлен диагноз — острый эндокардит, психастения; П. В. Троицкий сказал: «Мы потеряли Блока» [69].

Лечение было безрезультатным, процесс прогрессировал: «усиливаются отеки, рвота, боль под ложечкой» (наст. том, кн. 3, с. 526), стали обнаруживаться еще и тягостные симптомы значительного угнетения нервно-психической сферы [70], «это выражалось в крайней раздражительности, удрученно-апатическом состоянии и неполном сознании действительности ⟨...⟩ доктор Пекелис приписывал эти явления между прочим отеку мозга, связанному с болезнью сердца» [71]. «Мрачность, пессимизм, нежелание — глубокое — улучшения и страшная раздражительность, отвращение ко всему» [72] послужили причиной того, что посещать больного было запрещено и родным, и знакомым. Только С. М. Алянский имел счастливую способность положительно влиять на умирающего поэта. В его воспоминаниях мы находим описание волнообразного течения болезни: то Блок полусидит в постели, обложенный подушками, ничего не может делать, то спокоен и даже весел, старается работать, то с криком и яростью бросает о печку горсть склянок с лекарствами. По свидетельству К. И. Чуковского, «в начале июля стало казаться, что он поправляется ⟨...⟩ числа с 25 наступило резкое ухудшение; думали его увезти за город, но доктор сказал, что он слишком слаб и переезда не выдержит. К началу августа он уже почти все время был в забытьи, ночью бредил и кричал страшным криком, которого во всю жизнь не забыть»,— со слов Е. Ф. Книпович рисует он страшную картину [73].

В это время Горький ходатайствует перед Луначарским о переводе Блока в санаторий, окружающие еще надеялись на исцеление. Но «...процесс роковым образом шел к концу. Отеки медленно, но стойко росли, увеличивалась общая слабость, все заметнее и резче проявлялась ненормальность в сфере психики, главным образом в смысле угнетения» [74]. И заключительные слова Пекелиса: «Все предпринимавшиеся меры лечебного характера не достигали цели, а в последнее время больной стал отказываться от приема лекарств, терял аппетит, быстро худел, заметно таял и угасал и при все нарастающих явлениях сердечной слабости тихо скончался» — 7 августа 1921 г. в 10 часов 30 минут.

Все течение заболевания, его симптомы убеждают в том, что Блок погиб от подострого септического эндокардита (воспаления внутренней оболочки сердца), неизлечимого до применения антибиотиков. Подострый септический эндокардит — это «медленно подкрадывающееся воспаление сердца». Обычно наблюдается в возрасте 20—40 лет, чаще у мужчин. Начало заболевания всегда малозаметное, нет никаких указаний на болезнь сердца, состояние ухудшается постепенно, преобладают жалобы на слабость, недомогание, утомляемость, похудание, вплоть до истощения. Лихорадка — наиболее постоянный симптом: сначала подъем температуры незначительный, затем до 39° и выше, колеблющаяся, неправильного типа. Наряду с этим — озноб, прогрессирующее малокровие. Поражение сердца выражается в клапанном пороке (за счет эндокардита) и в миокардите (воспалении средней, мышечной, оболочки сердца). Одно из характерных проявлений подострого септического эндокардита — множественные эмболии (т. е. закупорка, чаще всего тромбом) малых и больших сосудов мозга, внутренних органов, кожи, конечностей. В результате изменений мозговых сосудов развивается картина менингоэнцефалита (воспаления головного мозга и его оболочки). Непосредственная причина смерти — сердечная недостаточность или эмболии. Длительность заболевания — от трех месяцев до нескольких лет (обычно 1,5—2 года).

Течение заболевания зависит в основном от защитных сил организма. Психические перенапряжения и нарушения питания резко, в 3—4 раза, увеличивают частоту возникновения подострого септического эндокардита, что послужило основанием для возникновения термина Kriegs- und Nachkriegsendocarditis (военный и послевоенный эндокардит), т. е. острые нарушения жизнедеятельности организма следует считать решающими в возникновении этого заболевания. Возбудителем инфекции обычно являются микробы, находящиеся в полости рта, верхних дыхательных путях, инфицированных зубах, миндалинах. Задерживаясь на клапанах сердца, они вызывают воспаление — эндокардит.

Мы можем утверждать, что Блок умер от первичного подострого септического эндокардита, причиной которого, по всей вероятности, был хронический тонзиллит. Таким образом, смертельная болезнь Блока явилась заключительным этапом, финалом заболевания, всю жизнь его преследовавшего.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Краткая заметка о ходе болезни поэта А. А. Блока» 27 августа 1921 г.— ИРЛИ, ф. 654, оп. 8, ед. хр. 11.
[2] Я. В. Минц. Александр Блок (патографический очерк).— «Клинический архив гениальности и одаренности», 1928, т. IV, вып. 3.
[3] М. А. Бекетова. Александр Блок и его мать. Воспоминания и заметки. Пг., 1925, с. 18.
[4] Там же, с. 35.
[5] Там же, с. 18.
[6] Там же, с. 98.
[7] «Письма к родным», I, № 5.
[8] Там же, № 10—12.
[9] М. А. Бекетова. Александр Блок и его мать; «Письма к родным», I, № 19.
[10] Напр., «Письма к родным», I, № 8.
[11] М. А. Бекетова. Александр Блок и его мать, с. 134.
[12] Там же, с. 63.
[13] ЛН, т. 89, № 75.
[14] М. А. Бекетова. Александр Блок и его мать, с. 134.
[15] К. И. Чуковский. Александр Блок.— В кн.: «Современники». М., «Мол. гвардия», 1962; А. Белый. Воспоминания об Александре Александровиче Блоке.— В кн.: «Александр Блок в воспоминаниях современников», т. 1. М., «Худож. литература», 1980; С. Городецкий. Воспоминания об Александре Блоке.— Там же.
[16] В. А. Зоргенфрей. А. А. Блок (по памяти за 15 лет 1906—1921).— «Записки мечтателей». Пг., «Алконост», 1922, № 6.
[17] «Письма к родным», I, № 48.
[18] ЛН, т. 89, № 13, 34—36, 42; VIII, № 29.
[19] ЛН, т. 89, № 154; «Письма к родным», I, № 183.
[20] VIII, № 204, 208—212.
[21] Там же, № 228.
[22] Там же, № 229.
[23] «Письма к родным», I, № 248—253.
[24] VIII, № 233.
[25] «Письма к родным», I, № 256, 258, 261.
[26] Там же, № 317.
[27] Там же, № 323.
[28] М. А. Бекетова. Александр Блок. Биографический очерк. Пг., «Алконост», 1922; «Письма к родным», II, № 335, 342; VIII, № 266.
[29] VIII, № 266.
[30] «Письма к родным», II, № 350.
[31] VIII, № 276.
[32] В. Пяст. Воспоминания о Блоке. Пг., «Атеней», 1923, с. 95; ЛН, т. 89, № 179—180.
[33] Арренал — стимулирующий препарат (соль мышьяковистой кислоты), в настоящее время с производства снят.
[34] VIII, № 284.
[35] Там же, № 292, 293.
[36] VII, № 125—130; VIII, № 313; наст. том, кн. 3, с. 391—392.
[37] ЛН, т. 89, № 201.
[38] «Письма к родным», II, № 459.
[39] VII, № 226; ЛН, т. 89, № 210.
[40] ЛН, т. 89, № 226, 241.
[41] VIII, № 352.
[42] Наст. том, кн. 3, с. 425; ЛН, т. 89, с. 334, 342; «Письма к родным», II, № 568.
[43] VIII, № 413.
[44] VIII, № 12.
[45] Там же, № 77, 102, 177, 187, 191, 224.
[46] VIII, № 417, 418.
[47] См. прим. 1.
[48] С. Городецкий. Воспоминания об Александре Блоке, с. 341.
[49] «Блоковский сб.», 1, с. 452.
[50] «Александр Блок в воспоминаниях современников», т. 1, с. 100.
[51] «Блоковский сб.», 1, с. 494.
[52] «Александр Блок в воспоминаниях современников», т. 1, с. 185.
[53] М. А. Бекетова. Александр Блок. Биографический очерк, с. 290.
[54] «Записки мечтателей», 1922, № 6, с. 151.
[55] С. М. Алянский. Встречи с Блоком. М., 1969, с. 133.
[56] М. А. Бекетова. Александр Блок. Биографический очерк, с. 293.
[57] В. Пяст. Воспоминания о Блоке, с. 76.

[58] «Судьба Блока (по документам, воспоминаниям, письмам, заметкам, дневникам, статьям и другим материалам)». Сост. О. Немеровская и Ц. Вольпе. Л., 1930, с. 264.
[59] К. И. Чуковский. Блок как человек и поэт. Пг., 1924, с. 43.
[60] VIII, № 458.
[61] Там же; К. И. Чуковский. Александр Блок, с. 490.
[62] М. А. Бекетова. Александр Блок. Биографический очерк, с. 295.
[63] См. прим. 1.
[64] М. А. Бекетова. Александр Блок. Биографический очерк, с. 295.
[65] Там же, с. 295—298.
[66] VIII, № 461—462.
[67] М. А. Бекетова. Александр Блок. Биографический очерк, с. 297.
[68] С. М. Алянский. Встречи с Блоком, с. 152.
[69] М. А. Бекетова. Александр Блок. Биографический очерк, с. 299.
[70] См. прим. 1.
[71] М. А. Бекетова. Александр Блок. Биографический очерк, с. 302.
[72] «Александр Блок в воспоминаниях современников», т. 1, М., 1980, с. 732.
[73] К. И. Чуковский. Современники. Указ. изд., с. 492.
[74] См. прим. 1.

МНИМЫЙ БЛОК?

Статья С. В. Шумихина

В начале 1925 г. Б. А. Садовской, живший тогда в Нижнем Новгороде, предложил журналу «Новая Россия» для опубликования ряд своих рассказов и стихотворений, три адресованных ему письма: Блока, В. Я. Брюсова и В. В. Розанова,— а также хранившуюся у него «Солдатскую сказку», по утверждению Садовского неизвестное и никогда не издававшееся произведение Блока. «Солдатская сказка» появилась в № 3 «Новой России» за 1926 г. с предисловием Садовского, в котором излагалась ее история. Садовской писал: «В январе 1915 г. А. А. Блок предложил мне шутливое пари. Он обязывался в три дня написать модный в те дни „военный рассказ", а я должен был его пристроить под видом „пробы начинающего автора". Если рассказ напечатают, Блок ставит мне бутылку шампанского, в противном случае угощаю я. Гонорар назначался в пользу раненых. При этом А. А. взял с меня слово о полнейшем соблюдении его инкогнито. Ровно через три дня я получил по почте переписанную на машинке „Солдатскую сказку" и снес ее сначала А. А. Измайлову в „Биржевые ведомости". Измайлов сказку не принял, так как „французы — наши союзники" (в сказке взят 1812 год и лубочный Наполеон); в „Ниву" ее не взяли по причине „чрезмерной оригинальности" (буквально так и выразился Светлов); редакцию „Вершин" смутило, что „автор никому не известен". Наконец, я отправился в „Лукоморье", с отчаяния пустившись на хитрость: так как рассказ, по уговору, составлял мою собственность, я, скрепя сердце, повытравил из него „чрезмерную оригинальность", надеясь таким образом разыграть пари вничью. Но и это не помогло. Сказку не напечатали, и мне пришлось, уезжая на пасху в Нижний, выставить Блоку бутылку неимоверно вздорожавшего к тому времени шампанского» [1].

Содержание «Солдатской сказки» таково: «Бонапарт французский Наполеон», желая завоевать Россию, посылает предварительно русскому царю 12 своих «генералов-маршалов: Мурата, Ноя, Дави,— а всех и не выговоришь натощак», с предложением царю кормить их целый год, причем подавать непременно на серебре. Хоть и отговаривал Александра I от этого «генерал Аракчей», хитрый «сенатор Сперанец» склонил императора пустить генералов в Россию. Поместили их на особой «фатере», где они принялись за свои козни. Подадут, например, чай в серебряном самоваре — выпьют они целый самовар, а затем и сам самовар съедят, а заодно и серебряный чайник, серебряные стаканы, ложечки и т. д. То же самое и за обедом и за ужином. «Что маршалам ни подадут к обеду, к ужину, или к чаю, все они и с посудой дочиста уберут; началась у нас в серебре нехватка, и стало казенное богатство убавляться, не из чего, гляди, и монету бить». Расклеили тогда на столбах «надписации» с вызовом спасителя отечества. Вызвался некий Заспиха из Калуги. Его поместили вместе с генералами под видом «тараканского короля». Сел «король» пить с генералами чай, и как только один из генералов принялся грызть серебряный самовар, Заспиха хватил его кочергой по затылку, так что тот «под стол свалился, живой или мертвый, не разберешь: глаза открыты, а сам не дышит: ошпентило, значит», а следом за ним и всех остальных таким же манером. На другой день еще не пришедших в себя генералов повезли на площадь, где в присутствии царя с сановниками и при большом стечении народу Заспиха поочередно давал каждому сереброеду по затылку, после чего у тех из глотки начинало сыпаться серебро. Когда все серебро было извлечено, генералов окунули в смолу, вываляли в пуху и в таком виде отправили во Францию. Подобного поношения Наполеон не мог стерпеть и разразилась война 1812 г.

Публикация «Новой России» не прошла незамеченной. В 1928 г. в журнале «Печать и революция» А. Желанский поместил заметку «Мнимая сказка Блока» [2]. Желанскому удалось установить источник «Солдатской сказки»: выяснилось, что это подлинная народная сказка, записанная в Пермской губернии священником Петром Словцовым еще в 1848 г. и дважды воспроизводившаяся в печати в специальных изданиях по этнографии — в 1-м томе «Записок

Русского императорского географического общества» по отделению этнографии за 1867 г. и с небольшими изменениями в 41-м томе тех же «Записок» 1914 г. издания[3]. Желанский отметил, что Блок не механически переписал сказку, а переработал ее стилистически и частично сюжетно: так, в оригинальной сказке избавителем России от сребroедов является не Заспиха, а безымянный поп-расстрига, горчайший пьяница, который вначале проглатывает французских генералов одного за другим, подцепляя их громадной вилкой в качестве закуски к бутыли «простого вина», а на площади отрыгивает их, заставляя, в свою очередь, отрыгнуть проглоченное серебро. Существенное значение имеет замечание Желанского о том, что неизвестно, кому эта переработка принадлежала, так как Садовской, печатая «Сказку», не указал, какую редакцию — блоковскую или свою — он печатает. Добавим, что текст, напечатанный в «Новой России», приведен к литературной норме; вместо буквального воспроизведения простонародного пермского говора середины XIX в., как в этнографических публикациях, дана стилизация в лесковском или ремизовском духе. «Ясно одно,— заканчивал свое сообщение Желанский,— в „полном собрании“ Блока „Солдатской сказке“ не место».

Составители первого Полного собрания сочинений Блока все же сочли возможным включить «Солдатскую сказку» в 12-й том собрания, правда не в основной корпус книги, а в «Приложения», указав в качестве источника на публикацию Садовского[4]. Редактор этого тома В. Н. Орлов мотивировал свое решение так: раз Желанский доказал, что Блок не механически переписал народную сказку, а пересказал ее. Орлов «счел возможным ввести „Солдатскую сказку“ в Собрание сочинений Блока ⟨. . .⟩ — по тем же основаниям, по которым, к примеру, в собрании сочинений Пушкина печатаются записанные и обработанные им песни о Степане Разине»[5].

В позднейших собраниях сочинений Блока «Солдатская сказка» не печаталась, однако принадлежность ее перу Блока не ставилась под сомнение. В 8-томном собрании сочинений «Сказка» учтена в разделе «Произведения Блока, не вошедшие в настоящее собрание сочинений» (VIII, 752).

Такова экспозиция. В связи с подготовкой академического Полного собрания сочинений и писем Блока целесообразно вернуться к «Солдатской сказке» (затронув попутно и некоторые другие произведения, приписанные Блоку), с тем, чтобы прояснить историю этой довольно странной и весьма необычной для творчества Блока стилизации. Обнаруженные в результате архивных разысканий новые факты позволяют это сделать.

Прежде всего отметим, что история пари, заключенного, по словам Садовского, между ним и Блоком (причем, по инициативе последнего), не нашла никакого отражения в записных книжках Блока за январь—февраль 1915 г. В них есть упоминания о работе в эти месяцы над статьей «Судьба Аполлона Григорьева», но ни слова о «Солдатской сказке».

Если вернуться к предисловию Садовского к его публикации в «Новой России», то можно заметить, что к 1926 г. никто из упомянутых там конкретных лиц не мог ни подтвердить, ни опровергнуть рассказ Садовского: А. А. Измайлов умер в 1921 г., а В. Я. Светлов (Ивченко) после 1917 г. жил в эмиграции.

Мы не располагаем рукописью «Солдатской сказки». По утверждению Садовского, он получил от Блока неподписанный машинописный текст. Этот текст мог бы внести некоторую ясность, но к началу 1930-х годов он исчез, так что «Солдатская сказка» в 12-томном собрании воспроизведена по журнальной публикации. (Между прочим, использование пишущей машинки было совершенно не характерно для Блока, который сам на машинке никогда не печатал; среди дошедших до нас его рукописей машинописные тексты встречаются крайне редко.)

Таким образом, все сведения об истории «Солдатской сказки» восходят к единственному источнику — сообщению Садовского. В письме к В. Н. Орлову от 29 июля 1935 г. Садовской дал дополнительные разъяснения: «„Сказка“ является в обработанном мною виде; печатается она с корректуры, ныне утраченной»[6]. Неясно, о какой корректуре пишет здесь Садовской, так как из его собственного рассказа следует, что «Сказка» в свое время не была принята к печати; может быть, здесь имеется в виду корректура номера «Новой России»?

В связи с тем, что «Сказка» не является полностью оригинальным произведением, возникает вопрос, доступен ли был Блоку ее источник. В. Н. Орлов, который вплоть до начала 1960-х годов с полным доверием относился ко всем сообщениям Садовского, считал, что Блок позаимствовал сказку из сборника Д. К. Зеленина «Великорусские сказки Пермской

губернии», который, собственно, и составляет содержание 41-го тома «Записок РИГО» 1914 г. издания (сказка помещена в нем в несколько иной редакции, по сравнению с 1-м томом «Записок РИГО» 1867 г.) [7].

Действительно, интерес к народному творчеству проявился у Блока очень рано, однако есть сведения, что именно русские сказки он знал недостаточно [8]. В работе Э. В. Померанцевой «Александр Блок и фольклор» (где, кстати, «Солдатская сказка» даже не упомянута) среди фольклорных источников творчества Блока перечислены сектантские стихи, заговоры и заклинания, средневековая поэзия менестрелей, частушки, городской романс, цыганские песни, народный театр, но не народные сказки [9]. В составе петербургской библиотеки Блока, дошедшей до нас в относительной сохранности, «Записки РИГО» как 1867, так и 1914 г. издания отсутствуют [10].

С другой стороны, Садовской с 1916 г. жил в Нижнем Новгороде, где его отец А. Я. Садовский в течение ряда лет занимал пост председателя Нижегородской губернской архивной комиссии, а такие издания, как «Записки РИГО» (равно как и издания других научных обществ), библиотека комиссии получала в обязательном порядке. Следовательно, эта книга могла входить в круг чтения Садовского.

Конечно, отдельно взятый этот факт ничего не доказывает: Блок мог достать книгу откуда угодно, а библиотека Нижегородской губернской архивной комиссии, напротив, могла сгореть, быть реквизирована, расхищена и т. п. Однако в совокупности с прочими обстоятельствами отсутствие прямых доказательств знакомства Блока с первоисточником «Сказки» свидетельствует не в пользу его авторства.

Садовской предложил «Солдатскую сказку» редактору «Новой России» И. Г. Лежневу в феврале 1925 г. В ЦГАЛИ хранятся ответные письма Лежнева, из которых можно восстановить содержание переписки. Лежнев писал Садовскому по поводу полученных материалов: «Более всего меня заинтересовала „Солдатская сказка“ Блока. Удивило, как и почему она до сих пор не напечатана. Говорили мы по этому поводу с Бор〈исом〉 Ник〈олаевичем〉 [11]. В 1915 г. Белый был за границей и вещи этой не знает. Просьба прислать ее в первую очередь,— крайне желательно *в оригинале*: можно заказным письмом. Твердо ли Вы уверены, что эта вещь нигде и никогда не была напечатана?» [12].

Судя по следующему письму Лежнева, датированному 18 марта 1925 г., Садовской испытывал какие-то сомнения, предлагая «Сказку» к опубликованию. Из приводимого ниже отрывка видно также, что до отправки «Сказки» в редакцию Садовской говорил о ее характере настолько неопределенно, что Лежнев решил, что речь идет о стихотворном произведении: «Мы с Белым читали Ваше письмо и сомнения о „Солдатской сказке“. Оба пришли к единодушному мнению, что «Сказку» надо напечатать *обязательно*, предпослав ей Вашу заметку об истории этой „Сказки“. Печатать нужно *только* с Вашим коротеньким предисловием, а в таком виде — печатать *обязательно*. Можно, собственно, для предисловия взять соответствующий отрывок из Вашего письма ко мне. Итак, просьба прислать «Сказку» спешной почтой, в том же порядке, в каком получите это письмо. А спешность вот почему: в конце марта исполняется трехлетие нашего журнала. Мы устраиваем публичный литературный вечер 〈. . .〉 Представляется поэтому положительно необходимым прочесть на вечере неопубликованные стихи Блока (читать будет Качалов). Конечно, будет прочитано и Ваше предисловие, без которого нельзя „Сказки“ оглашать» [13].

Литературный вечер на тему «Россия без кавычек» состоялся в Колонном зале Дома Союзов 6 апреля 1925 г. Московские газеты поместили отклики на доклады И. Г. Лежнева, В. Г. Тана-Богораза, А. Белого. В вечере принимали участие артисты М. А. Чехов и В. И. Качалов, однако нам неизвестно, исполнялась ли на нем «Солдатская сказка».

В архивном фонде Бориса Садовского среди его неопубликованных произведений хранится рукопись под названием «Наполеоновы сереброеды» [14]. По содержанию это — вариант «Солдатской сказки». Таким образом, выявлено четыре варианта текста: первый в «Записках РИГО», т. 1, 1867 г., второй в 41-м томе тех же «Записок» 1914 г., напечатанный непосредственно по рукописи, сохранившейся в архиве географического общества, ибо в первой публикации были «сохранены далеко не все особенности местного говора, отразившиеся в записи о. Словцова 〈. . .〉» [15]. Оба эти варианта народного «пратекста» озаглавлены «Сказка о Наполеоне». Третий вариант — «Солдатская сказка» в «Новой России», повторенная без изменений в 12-м томе Полного собрания сочинений Блока, четвертый — «Наполеоновы сереброеды» в фонде Б. Садовского.

«Наполеоновы сереброеды» написаны на больших листах линованной бумаги, красными чернилами, по старой орфографии и датированы переписчиком «1915-й год, февраль». Удалось установить, что почерк принадлежит А. Н. Ведерникову, одному из четырех братьев Ведерниковых, знакомых Садовскому еще по Нижегородской гимназии [16]. По тексту, написанному чернилами, идет карандашная правка Садовского, которую можно уверенно датировать 1920-ми годами, ибо в конце 1916 г. Садовского постигло несчастье: его разбил паралич, лишив до конца жизни возможности самостоятельно передвигаться, и писать он смог лишь несколько лет спустя, только карандашом и очень характерным, безошибочно атрибутируемым дрожащим почерком.

Бумага по формату, качеству и другим внешним признакам идентична той, которая использовалась Садовским в середине 1920-х годов, она однотипна с той бумагой, на которой переписывался материал для отправки в «Новую Россию», так что, несмотря на употребление старой орфографии и датировку, написание сказки следует отнести к 1920-м годам.

Содержание «Наполеоновых сереброедов» несколько отличается от «Солдатской сказки». Во-первых, «Сереброеды» имеют эпиграф из П. П. Ершова («Горбунок летел как ветер»), чего нет, естественно, в записях народной сказки, а также у текста, приписанного Блоку. Есть и другие незначительные расхождения: так, в «Сереброедах» действует не Заспиха, а поп-расстрига, но тем же образом, что и Заспиха в «Солдатской сказке», т. е. бьет генералов кочергой по затылку. Физиологические подробности народного первоисточника об отрыгивании сняты. Местожительство расстриги в «Сереброедах» — Арзамас, тогда как Заспиха — из Калуги.

Карандашная правка Садовского *полностью совпадает с текстом, опубликованным в «Новой России»* (за исключением двух деталей, о которых будет сказано ниже). Так, название «Наполеоновы сереброеды» зачеркнуто и сверху написано «С. сказ.», вместо «расстриги» везде вставлен Заспиха и т. д. Больше того, правка показывает процесс работы Садовского над текстом: так, фраза «А был у нас в Арзамасе расстрига-поп и шел тот расстрига по базару, нес луку головку, да полуштоф сивухи...» претерпела такие изменения: вначале после слов «расстрига-поп» сделана выноска «по прозвищу дядя Бдых», затем зачеркнута и поверх «расстриги» написано «лентяй Заспиха». В результате правки Садовского текст «Сереброедов» в конце концов становится идентичным «блоковскому» тексту.

Сравнение вариантов позволяет сделать вывод: «Наполеоновы сереброеды» — промежуточное звено между словцовской записью «Сказки о Наполеоне» и «Солдатской сказкой». Возникающий вопрос о том, кто является автором первоначального (написанного чернилами) текста «Сереброедов» — А. Ведерников или Садовской,— следует решить в пользу Садовского. «Творчество» Ведерникова, известное лишь по одному стихотворению 1902 г. (приятельское послание Садовскому), не дает никаких оснований заподозрить в Ведерникове стилизаторский талант, определенно присутствующий в «Сереброедах», в то время как Садовской подобным талантом обладал в высокой степени. Сохранены в рукописи «Сереброедов» и специфические особенности синтаксиса Садовского в передаче прямой речи, исправленные при воспроизведении текста «Новой Россией».

Можно предложить такую реконструкцию создания «Солдатской сказки»: Садовской, будучи не в состоянии писать собственноручно, в начале или середине 1920-х годов продиктовал сказку Ведерникову, а затем выправил ее. С выправленного текста была снята машинописная копия, которую Садовской отправил в редакцию, представив ее как полученную им в свое время от Блока. Для написания сказки Садовской мог воспользоваться собственными заготовками, сделанными раньше, может быть в 1915 г., но это не меняет сути дела.

При перепечатке на машинке в окончательный текст были внесены два изменения. Во-первых, был снят эпиграф. Отметим, что эпиграфы — деталь очень характерная для творчества Садовского, который, как истинный литературный гурман, подбирал их почти к каждому своему произведению, часто не только к рассказу или повести в целом, но и к каждой отдельной главе. Снятие эпиграфа, очевидно, должно было придать «Сказке» более обезличенный характер. Во-вторых, Арзамас как место жительства «лентяя Заспихи» заменен на Калугу, и тоже, по-видимому, не случайно (в записи народной сказки упоминание о жительстве героя отсутствует). Здесь, по нашему предположению, Садовской хотел вначале дать скрытый намек на игровой, мистификаторский характер «Солдатской сказки», рассудив, что у немногих посвященных «Арзамас» должен ассоциироваться с известным литературным об-

ществом, в деятельности которого пародии и мистификации отводилось почетное место, но впоследствии отказался от этого намерения, заменив Арзамас нейтральной Калугой.

Итак, перед нами литературная мистификация, но мистификация особого рода. Садовской мистифицировал *мистификацию же*, т. е. имитировал не имевшую места в действительности мистификацию Блока (написанный якобы на пари рассказ, в котором автор намеренно хотел сохранить инкогнито). Нельзя не признать, что такой прием во многом облегчает «работу» мистификатора и дает ему своего рода карт-бланш. Можно не утруждать себя подражанием Блоку: пусть «Сказка» стилистически, лексически и тематически весьма далека от того, что он писал,— можно сослаться на то, что непохожесть эта заранее задана, что именно так было задумано и исполнено автором. Желанием Блока сохранить инкогнито можно объяснить и отсутствие авторской рукописи. Сослаться на изначально мистификаторский характер «Сказки» можно и для оправдания чуждого Блоку (но зато свойственного Садовскому) «урапатриотического» характера концовки сказки, не имеющей аналога в народном прототипе: «Было с Наполеоном четыреста миллионов войска, со всего свету народ собрал и все против одной нашей Россиюшки. Да не вышло ихнее дело вовсе. Что не пальнет француз из пушки, то и мимо, а мы как ахнем, так миллион долой».

Теперь проясняются причины, по которым Садовской не продал рукопись «Наполеоновых сереброедов» вместе с основной частью своего архива в начале 1930-х годов Государственному литературному музею. Рукопись поступила в ЦГАЛИ только в 1968 г. среди материалов близкого друга Садовского, литературоведа и генеалога Н. В. Арнольда и тогда же была присоединена к фонду Садовского.

Что же подвинуло Садовского на занятия мистификацией? Несомненно, 1920-е годы были одним из самых тяжелых периодов в жизни писателя в материальном и в нравственном отношениях. Оторванному от общественно-культурных центров, тяжело больному (он навсегда потерял подвижность, когда ему было только 35 лет) Садовскому очень трудно оказалось найти свое место в литературной жизни страны. В его архивном фонде хранится немало ответов от редакций и издательств, куда он предлагал свои произведения, со сходными формулировками: «не созвучно эпохе», «не подходит», «в настоящее время редакция перегружена стихами» и т. п. Это было особенно тяжело для автора, который успел завоевать определенный авторитет и чьи книги до революции имели успех. Друзья и знакомые пытались помочь Садовскому, но большей частью безуспешно. Так, В. В. Вересаев писал ему в 1926 г.: «Года полтора назад Гершензон покойный читал Ваше великолепное стихотворение о Нат. Ник. Пушкиной. Напечатано оно или нет? Если нет, альманах «Недра» с радостью бы напечатал его» [17]. А по получении стихотворения и нескольких рассказов вынужден был оправдываться: «Беллетристики не берут, говорят — старо. Не понимаю, почему. А насчет «Н. Н. Пушкиной» я очень сконфужен: когда слушал стихи в чтении, не замечал, что там все Бог и Господь. А этих слов все нынешние редакции боятся еще больше, чем в прежние времена черти — ладана» [18].

Однако, думается, было бы неправомерно сводить побудительные причины мистификаторской деятельности Садовского только к материальным затруднениям (хотя он и не отказывался от гонораров за свои мистификации). Для нас несомненно, что здесь был и чисто игровой момент, своего рода «искусство ради искусства». Склонность к подобной игре проявилась у Садовского еще в юности. На это указывают хранящиеся в ЦГАЛИ «Правила для поступления в Мореходно-инженерный институт цесаревича Михаила», датированные 1900 г., в которых обстоятельно перечислены условия приема, права воспитанников и т. д. Указан адрес: «Москва, дом Знаменской на Покровке, против Шереметевского сквера». «Правила» подписаны «директором института» — неким В. Н. Лягаевым. В действительности подобного учебного заведения не существовало; на обороте «Правил» карандашом Садовской написал (уже во время болезни): «Это сочинил я и распространил в гимназии» [19].

В начале своей литературной деятельности Садовской не ставил себе задачей непременно ввести читателей в заблуждение, хотя избранная им стилистическая манера могла кое-кого обмануть. Дело в том, что особенно удавались Садовскому рассказы, в которых имитировались дневники, письма, записки людей отошедших в прошлое эпох (рассказ «Из бумаг князя Г.», в котором из стилизованной переписки, альбомных стихов и записочек 30-х годов XIX в. возникают образы Пушкина и Гоголя, рассказ «Черты из жизни моей» с характерным подзаголовком: «Памятные записки гвардии капитана А. И. Лихутина, написанные им в городе Курмыше в 1807 г.», более поздний «Дневник генерала», относящийся к эпохе

народовольцев и Александра III, неопубликованный рассказ «Записки актера», словно написанный одним из героев А. Н. Островского, и другие произведения). Подобный жанр существует в литературе издавна, но в начале XX в. он переживал в России, в особенности в символистских и близких к ним кругах, своего рода ренессанс. Можно назвать в этой связи роман Брюсова «Огненный ангел», рассказы М. Кузмина и С. Ауслендера. Стилизации Садовского отличались от стилизаций, скажем, Кузмина, тем, что объекты, как правило, избирались из отечественной истории, причем сюжетные ходы, отдельные детали, даже имена персонажей широко заимствовались из публикаций в «Русской старине», «Русском архиве», «Историческом вестнике». Технически эти стилизованные рассказы были выполнены очень тщательно, иногда просто блестяще. Сказывалось, вероятно, влияние отца, привившего сыну не только интерес к истории «вообще», а чуткость к языку архивного документа (уже говорилось, что А. Я. Садовский был председателем Нижегородской губернской архивной комиссии — одной из лучших губернских архивных комиссий России), зоркость и любовь к мелким и мельчайшим деталям, создающим в целом неповторимый аромат эпохи, тот точно выписанный исторический фон, который так часто не дается современным историческим романистам.

Садовской рассказал в своих неопубликованных «Записках» о том, как однажды он невольно ввел в заблуждение даже такого признанного знатока старины, каким был издатель «Русского архива» П. И. Бартенев: «Мой рассказ в стиле XVIII века, напечатанный в „Весах“ ⟨имеются в виду «Черты из жизни моей».— *С. Ш.*⟩, очень понравился П. И. Долго он не хотел верить, что это сочинено. «Какой подлог: в Англии вам бы за это руки не подали». Насилу я убедил его. Старик захромал к шифоньерке, достал автограф Пушкина (вариант к „Русалке“), отрезал огромными ножницами последние два с половиной стиха и подарил мне: „Вот вам за вашу прекрасную прозу“» [20]. Этот рассказ Садовского документально подтверждается сведениями о покупке у него Государственным литературным музеем в 1935 г. пушкинского автографа под названием «Отрывок из «Русалки»» [21].

Как ни странно, но подобным образом могут заблуждаться и современные исследователи. Так, норвежский историк литературы Гейр Хетсо в своей капитальной биографии Е. А. Баратынского в качестве одного из исторических источников привлек... рассказ Садовского «Две главы из неизданных записок». Г. Хетсо воспользовался публикацией в № 306 газеты «Речь» за 1910 г., не зная, по-видимому, что Садовской включил рассказ впоследствии в свой сборник «Узор чугунный». Норвежский исследователь считает, что «воспоминания» М. Н. Креницына, товарища Баратынского по Пажескому корпусу (а рассказ Садовского представляет собой имитацию отрывка из этих «воспоминаний»), существуют в действительности. На самом деле Садовской воспользовался широко известными подлинными документами — письмом Баратынского Жуковскому 1823 г. и публикацией Н. Максимова «Евгений Абрамович Баратынский по бумагам Пажеского е. и. в. корпуса» в томе 11 «Русской старины» за 1870 г., откуда заимствовал фактический материал для рассказа, а также личность автора записок — М. Н. Креницына. Характерно, что Садовской из двух братьев Креницыных, одновременно с Баратынским находившихся в Пажеском корпусе, выбрал не Александра — поэта, человека близкого к литературным кругам, а Михаила, не оставившего после себя никакого литературного или мемуарного наследия. Не удивительно, что в рассказе Садовского «правильность рассказа Баратынского ⟨имеется в виду то, как Баратынский излагает историю своего исключения из корпуса в письме к Жуковскому.— *С. Ш.*⟩ почти полностью подтверждается воспоминаниями его товарища Михаила Креницына», как отмечает Хетсо, ошибаясь, однако, в своем утверждении, что «эти воспоминания были написаны в начале 1830-х годов, когда письмо поэта к Жуковскому еще не было предано гласности» [22]. Норвежский ученый не обратил внимания на то обстоятельство, что авторское посвящение А. М. Кожебаткину, земляку Садовского и известному книгоиздателю, в случае, если бы действительно публиковалась чужая рукопись, было бы неуместно. Кроме того, рассказ (если исключить его стилизованное заглавие) не имеет ни в газетной публикации, ни в сборнике «Узор чугунный» никакого указания на то, что публикуется настоящий отрывок из неизданных записок, он и подписан «Борис Садовской». В таком виде подлинные записки Креницына, если бы они существовали, вряд ли могли быть опубликованы, так как археографическая практика, сложившаяся в России к 1910 г., подобных вещей не допускала.

Г. Хетсо цитирует прозу Садовского с «чрезвычайно ярким портретом бледного и одинокого Баратынского осенью 1814 года», не замечая, что портрет что-то уж чересчур ярок,

т. е. не обращая внимания на некоторую утрированность стиля (в данном случае — романтического). Это — свойство любой стилизации, а стилизации Садовского почти всегда отличались безукоризненным чувством меры. И все же мы встретим здесь и «стройную фигуру юноши... в поношенном вицмундире» и «лицо... в волнистых, взбитых слегка кудрях», которое «с нежной томностью и благородством истинно-поэтическим соединяло... какую-то затаенную лукавость» и «голос... мягкий и уветливый», в котором «слышалась сердечная ласка» и т. п. Современники Садовского, знакомые с его творческой манерой, не сомневались, что «Две главы из неизданных записок» — чистой воды беллетристика, и несогласие Г. Хетсо с П. П. Филипповичем, который указал на это в своей книге «Жизнь и творчество Е. А. Боратынского»[23] можно отнести к добросовестному заблуждению норвежского ученого.

Если склонность к мистификациям подразумевает особый психологический склад литератора, то некоторые особенности творчества Садовского берут истоки в этих свойствах его характера. Так, не взяв себе псевдонима в буквальном смысле слова, он слегка стилизовал «под старину» свою настоящую фамилию «Садовский» и стал подписываться «Садовской». Часто в своих рассказах он называл эпизодических героев фамилиями своих друзей и знакомых (доктору Юнгеру в рассказе «Три встречи с Пушкиным» дана фамилия поэта В. А. Юнгера, ротмистр Алфераки из «Бурбона» намекает на ближайшего гимназического товарища Садовского Николая Алфераки), привлекал фамилии своих родственников (Лихутин в «Чертах из жизни моей», сержант Богодуров в одноименном рассказе), то и дело в разном контексте упоминал родные места (Ардатовский уезд, село Лукояново). Все эти тонкости по достоинству мог оценить только узкий круг посвященных, и они оставались вполне безобидными. Лишь с начала 1920-х годов, после психологического перелома, связанного с болезнью, у Садовского появляются мистификации, вполне отвечающие этому понятию. Как будет показано ниже, их диапазон был весьма широк. Вместе с тем, мы не уверены, что обнаружены все мистификации Садовского и что в его творчестве не остается каких-либо загадок в том же роде.

Вероятно, от самого Садовского исходили совершенно фантастические сведения о его предках, не имеющие ничего общего не только с действительностью, но и с написанными им в 1940-е годы воспоминаниями о своей семье; эти сведения попали в книгу Е. Ф. Никитиной «Русская литература от символизма до наших дней» (известно, что Никитина использовала большое количество биографических материалов, полученных ею от писателей-современников). О Садовском там сказано следующее: «Потомок литовца Александра-Яна Садовского, въехавшего в Россию в 1606 г. в свите Марии ⟨так! — *С. Ш.*⟩ Мнишек. В числе предков по женским линиям — византийцы и выходцы из Золотой Орды ⟨. . .⟩»[24] И хотя Садовской записал позднее в своем дневнике, что не знает, откуда пошла версия о его столь древнем и знатном происхождении, сделал он это, скорее всего, с целью намеренно запутать следы (дневник Садовского, хранящийся в Рукописном отделе ГБЛ, насквозь «писательский», без сомнения, рассчитан на посмертное прочтение).

С середины 1920-х годов мистификаторская деятельность Садовского развернулась особенно широко. Почти одновременно с предложением «Новой России» «Солдатской сказки» он переслал заведующему театрально-музыкальной секцией Главреперткома, своему знакомому В. И. Блюму «мемуары» старого нижегородца Н. И. Попова, содержащие воспоминания о Н. А. Некрасове и С. М. Степняке-Кравчинском, с «неизданными стихотворениями» обоих поэтов. Блюм передал рукопись П. Е. Щеголеву, и тот 13 апреля 1925 г. в письме на бланке издательства «Былое», адресованном Попову (Садовской указал свой собственный нижегородский адрес), просил прислать для сверки автографы стихотворений. На обороте этого письма рукой Садовского было написано: «Моя мистификация», что позволило М. Д. Эльзону в 1980-е годы изобличить фальшивку[25].

Вернемся к попыткам Садовского мистифицировать публику «блоковскими» произведениями. Существует ряд стихотворных текстов, источник которых — сообщения Садовского. Доверие к ним у блоковедов было подорвано уже довольно давно, но окончательного суда пока что не произнесено. Поэтому разберем здесь их историю.

В конце 1920-х годов Садовской закончил свои «Записки», над которыми работал в Нижнем после революции. Журнал «Летопись Дома литераторов» в 1921 г. сообщал: «Б. Садовской живет в Нижнем Новгороде, пишет „Воспоминания“, читает лекции по литературе в Археологическом институте и институте народного образования[26] ⟨. . .⟩
Несмотря на болезненное состояние, подготовил к печати несколько книг и на вечере памяти

Блока читал свои воспоминания о нем» [27]. «Записки» хронологически были доведены до 1916 г. Напечатать целиком их не удалось, несмотря на хлопоты по этому поводу М. А. Цявловского в издательстве Сабашниковых, Г. А. Шенгели в «Никитинских субботниках» и др. Тогда Садовской стал использовать текст «Записок» для написания отдельных, небольших по объему воспоминаний. По-видимому, на этом этапе работы отобранный для таких локальных воспоминаний материал изымался из первоначального текста «Записок», который был шире хранящегося сейчас в ЦГАЛИ. Кое-что из таких обработанных сюжетов удалось пристроить в печать при жизни (например, воспоминания о Горьком в № 6 «Звезды» за 1940 г.), кое-что издано уже после смерти автора («Воспоминания о Репине», «Воспоминания о Блоке»), часть пока не напечатана («Весы». «Воспоминания сотрудника», «Встреча с Есениным»).

«Встреча с Есениным» не датирована, но так как эти воспоминания могли быть написаны, судя по их содержанию, только после смерти Есенина, а на рукописи имеется нижегородский адрес Садовского, время их создания можно отнести к 1926—1929 гг. (после 1929 г. Садовской переселился в Москву).

В воспоминаниях есть такой эпизод: «Зимой 1916 года я жил на Вознесенском проспекте, где Есенин раза два навещал меня. Однажды он мне читал свои стихи и написал в альбом:

За сухое дерево месяц зацепился,
Слушает прохожих девок пенье.
Тихий топот времени вдруг остановился,
Наступило вечное мгновенье.
Вечность отдыхает над березами кудрявыми,
Облака румяные на закат сбежали,
Синих елок крестики сделались кровавыми,
Крестики зеленые розовыми стали.
Встал я и задумался над ярким мухомором.
Что ж в груди затеплилось скрытое рыданье?
Мне не стыдно плакать под небесным взором:
В светлом одиночестве радостно страданье.

Я заметил, что эта вещица для него не характерна. Есенин засмеялся в ответ: — То ли я писал!» [28] Кроме этого, в воспоминаниях приводится и другое стихотворение — «Подражание Борису Садовскому», которое Есенин, по словам Садовского, написал экспромтом на конфетной коробке.

В составе фонда Садовского, среди нескольких принадлежавших ему альбомов есенинские автографы отсутствуют. Сам текст воспоминаний поступил в ЦГАЛИ в составе собрания Е. Г. Сокола, независимо от тех материалов, которые Садовской продал Государственному литературному музею.

Приблизительно через десять лет после устанавливаемого нами времени написания «Встречи с Есениным», в 1937 г., в 27/28 томе «Литературного наследства», посвященном русским символистам, были опубликованы две так называемые «Автопародии» Блока, которые вошли затем в двухтомное «Полное собрание стихотворений А. А. Блока» [29] и в 8-томник (III, 416—417). В. Н. Орлов дал к «Автопародиям» следующие примечания: «〈. . .〉 сообщены Б. А. Садовским по копии, снятой им в свое время с автографов Блока (ныне утраченных). Б. А. Садовской сообщает: «Зиму 1912—1913 гг. я провел в Петербурге; заведовал я тогда литературным отделом газеты „Русская молва“. По субботам бывали у меня журфиксы 〈. . .〉 сходились И. С. Рукавишников, А. А. Блок, А. И. Тиняков, М. А. Кузмин, А. А. Кондратьев, кое-кто из молодых писателей. Иногда мы пускались в литературные игры. В половине января 1913 г. состоялся вечер пародии; принял в нем участие и Блок 〈. . .〉 Перед тем, как прочитать 〈свои автопародии〉 Блок с улыбкой заметил: „Вот как я писал лет десять тому назад“» [30].

Приведем начало первой «Автопародии»:

За сучок сухой березы месяц зацепился,
Слушает прохожих девок пенье.
Бег минут топочущий вдруг остановился,
Наступило вечное мгновенье.
Вечность ли вздохнула над березами кудрявыми?

Облака прозрачные на закат сбежали.
Синих елок крестики сделались кровавыми,
Крестики зеленые розовыми стали...

(Далее — без изменений относительно к «есенинскому» варианту).

Вторую «Автопародию» М. Л. Гаспаров обнаружил в журнале «Вершины» (№ 31/32 за 1915 г.) в виде стихотворения «Сон», с дополнительной строфой и за подписью самого Садовского. В. Н. Орлов 16 ноября 1962 г. отвечал М. Л. Гаспарову на его вопрос о странных обстоятельствах, связанных с «Автопародиями»: «Не могу объяснить участия Б. Садовского в этом деле. В свое время редакция „Литературного наследства“ передала мне для публикации два стихотворения, полученные от Б. Садовского. В сопроводительном тексте они были охарактеризованы как „автопародии“ принадлежащие перу Блока и прочитанные им на собрании писателей у Садовского. Рукопись Садовского осталась у меня; здесь черным по белому сказано: „Стихи его ⟨Блока⟩ случайно сохранились, вот они“.

Мы поверили этому свидетельству; и как было не поверить!

Остается предположить, что Садовской впоследствии напечатал одну из пародий как собственное произведение 1) либо „забыв“ о его происхождении (что маловероятно), 2) либо получив на это разрешение Блока (что тоже выглядит довольно странно). Вряд ли Садовской сознательно пошел на мистификацию, направив в „Литературное наследство“ собственные стихи, выдавая их за блоковские. Хотя, конечно, все могло быть.

В общем, история довольно темная. Нужно добавить, что столь же темноваты и другие „блоковские публикации“ Б. Садовского (стих⟨отворен⟩ие „Лишь заискрится...“, „Солдатская сказка“), сделанные „по памяти“ и не подтвержденные рукописными источниками» [31].

Независимо от составителей собрания сочинений Блока, воспоминания Садовского о Есенине и включенные в них стихотворения привлекли внимание тех, кто изучает творчество Есенина. В 1959 г. в газете «Вечерний Тбилиси» появилась «есенинская» версия первой «Автопародии» и «Подражание Борису Садовскому» [32]. Оба этих стихотворения были включены в 5-й том собрания сочинений Есенина в 1962 г. (с опечаткой в 3-й строке «Автопародии» — «Тихий *тополь* времени вдруг остановился»), в раздел «Стихотворные экспромты и наброски» с примечаниями В. Земскова: «Печатается по списку рукой поэта Б. А. Садовского (ЦГАЛИ). Датируется началом 1916 г. по воспоминаниям Б. А. Садовского ⟨. . .⟩» [33].

Эти обстоятельства вызвали в разделе «Дополнения и исправления» заключительного тома 8-томника, который вышел позже 5-го тома собрания сочинений Есенина, следующие замечания: «⟨. . .⟩ Первая „автопародия“ в несколько иной редакции через несколько лет [34] ⟨. . .⟩ Б. Садовским была приписана перу Сергея Есенина ⟨. . .⟩ Остается предположить, что Б. Садовской, составляя задним числом свои „воспоминания“, вольно или невольно вводил читателя в заблуждение» (VIII, 757).

Не совсем ясно, какие воспоминания Садовского здесь подразумеваются — о «литературных играх», в которые «пускались» собиравшиеся у него поэты, о знакомстве и встречах Садовского с Есениным [35], или же комплекс воспоминаний Садовского в целом. Составители более поздних собраний сочинений Есенина (начиная с 5-томника 1966 г.), на наш взгляд, совершенно правомерно исключили из них как стихотворение «За сухое дерево месяц зацепился...», так и «Подражание Борису Садовскому». С такой же определенностью следует решить вопрос и об авторстве так называемых «Автопародий», так как становится очевидным, что автором всех четырех текстов (двух «Автопародий», несколько измененной «есенинской» редакции первой из них и «Подражания Борису Садовскому», скорее всего, является один человек — сам Борис Садовской, который вводил в заблуждение читателей не невольно, а вполне сознательно. Определить же, не имеет ли хотя бы один из этих текстов какое-либо отношение к Блоку или Есенину (по нашему мнению — нет), на основании известных архивных источников пока невозможно.

В начале 1960-х годов недостаток фактов, которые подтверждали бы давнее и стойкое тяготение Садовского к мистификациям, с одной стороны, и бесспорность знакомства и относительно добрых, чуть ли не дружеских отношений между ним и Блоком, с другой, даже после открытия М. Л. Гаспарова требовали от блоковедов сугубой осторожности в подобных выводах. Ведь тексты исходили непосредственно от одного из «ровесников серебряного века»! Сейчас можно сказать, что хотя сдержанно-сочувственное отношение Блока к творчеству Садовского нашло документальное отражение в их переписке (см. наст. том, кн. 2, с. 309—

314) и дневниках Блока, не следует их близость преувеличивать. К. И. Чуковский свидетельствует: «Я спросил как-то у Блока, почему он посвятил свое стихотворение „Шар раскаленный, золотой..." Борису Садовскому, которому он так чужд. Он помолчал и ответил: „Садовской попросил, чтобы я посвятил ему, нельзя было отказать"» (Наст. том, кн. 2, с. 253).

«Темноватым», по выражению В. Н. Орлова, остается история стихотворения «Лишь заискрится бархат небесный...». Оно появилось впервые в № 1 журнала «Красная новь» за 1928 г. Позднее, при подготовке 27/28 тома «Литературного наследства», В. Н. Орлов обратился к Садовскому за разъяснениями и получил от него следующий ответ: «Стихотворение Блок написал мне в альбом зимой 1913 г., снабдив его датой 1905. Альбом был украден у меня вместе с чемоданом в Москве на вокзале осенью 1927 г. Поэтому я поспешил напечатать стихи, разумеется, по памяти, но за буквальную их точность могу ручаться.

Я хотел было поместить эту вещицу в альманахе „Галатея", но издание не состоялось; альманах не вышел, а вскоре разразилась и война <. . .> Письма Блока ко мне и мои о нем записки проданы мной „Литературному музею". Неизданных вещей Блока у меня нет» [36].

Объяснение вполне удовлетворило Орлова, и он отметил: «Принадлежность этого стихотворения Блоку не вызывает сомнений» [37].

Как безусловно блоковское стихотворение, кроме «Красной нови», было напечатано в 12-м томе Полного собрания сочинений Блока и в двухтомном Полном собрании стихотворений; с оговорками, что авторство Блока не может считаться окончательно установленным, оно помещено в 8-томнике (II, 319), а также в 6-томном собрании сочинений Блока под ред. С. А. Небольсина [38].

В «Тетрадях» Блока, где он учитывал написанные им стихотворения (они послужили основой для «Хронологического указателя» к стихотворениям поэта в 12-томном Полном собрании), не упоминается «Лишь заискрится...», равно как и «Автопародии», а также «Солдатская сказка». Впрочем, «Тетради» не освещают творчество Блока с абсолютной полнотой; в них есть некоторые купюры и пропуски.

В стихотворении есть блоковские мотивы, однако при внимательном чтении оно может показаться *слишком* блоковским, чересчур перенасыщенным блоковскими аллюзиями:

Лишь заискрится бархат небесный
И дневные крики замрут,
Выхожу я улицей тесной
На сверкающий льдистый пруд.
Лишь заслышу издали скрипки
И коньков скрежещущий ход,
Не сдержу я веселой улыбки
И сбегу на серебряный лед.

Там, среди толпы беспокойной,
Различу я твой силуэт,
Очертанья фигуры стройной
И широкий белый берет.
Буду слушать скрипок аккорды
Под морозный говор и крик
И, любуясь на профиль гордый,
Позабудусь на миг, на миг.

Я уйду, очарованный взглядом,
И не раз, обернувшись вслед,
Посмотрю, возвращаясь садом,
Не мелькнет ли белый берет?

Любопытно было бы сравнить поэтико-образную структуру этого стихотворения с двумя стихотворениями Садовского, написанными ранее зимы 1913 г., т. е. *до того*, как Блок, по словам Садовского, написал стихотворение «Лишь заискрится...» ему в альбом:

Ялта

Едва на небе черном
Блеснут узоры звезд,
Спешу по склонам горным
От опустелых мест.

Мой путь в огнях и блестках
Вдоль улицы-тропы.
Оркестры на подмостках,
В аллеях гул толпы.

<...>

И музыки не слышно,
И море не шуршит,
А бархат неба пышно
Алмазами расшит.

1908 [39]

* * *

В небе бисерные блестки,
На морозе огоньки.
Стынут елочки, киоски.
Я принес твои коньки
В шубке ты проворней белки.
Фонари мерцают в грелке.
Подвяжу тебе коньки я.
Ножки стройные легки.

С белой муфтой, в платье сером,
Ускоряя верный ход,
Ты помчалась с кавалером
Разрезать звездистый лед.
<...>
Стынут елочки, киоски,
В небе искры, в небе блестки.
Небо блещет огоньками.
Мелодичен ход конька.

1911 [40]

Подробный анализ этих текстов выходит за пределы данной работы.

Отметим только несомненное сюжетное сходство стихотворений «Лишь заискрится...» и «В небе бисерные блестки...» (если исключить «Лишь заискрится...», то ни в одном стихотворении Блока мы не встретим мотива катка и конькобежцев). Сходны и некоторые другие мотивы — небо, небеса — как зачин во всех трех стихотворениях, гул и говор толпы, окружающей лирического героя; герой наблюдает за героиней, катающейся на катке, сам же на коньки не встает; однотипные (возможно, из-за своей «заштампованности») эпитеты: «бархат небесный» и «бархат неба», «скрежещущий ход» коньков и «верный ход», «мелодичный ход», «серебряный лед» и «звездистый лед», «очертанья фигуры стройной» и «ножки стройные легки», «белый берет» и «белая муфта» и т. д. Все же стихотворение «Лишь заискрится...» представляется более совершенным, нежели два других; если предположить, что оно написано Садовским, то, вероятней всего, в 1920-е годы, когда он мог воспринять и преломить в своем творчестве влияние поэзии не только Блока, но и позднейших поэтов, в частности Есенина (есенинская интонация заметна в последней строфе).

Заслуживает внимания упоминание Садовским в письме к В. Н. Орлову альманаха «Галатея». Известно о нем немного. Этому изданию было посвящено несколько строк в публикации В. П. Коршуновой (см. наст. том, кн. 2, с. 313). Задуман альманах был в начале 1913 г. как орган, долженствующий противостоять акмеистам и «Цеху поэтов» в первую очередь. Главным редактором альманаха должен был стать Садовской, кроме него в редакцию входили А. А. Конге, М. А. Долинов, В. А. Юнгер и живший Москве В. Ф. Ходасевич. В. А. Юнгер в марте 1913 г. был кооптирован в «Цех поэтов», но, по его словам «<. . .> поблагодарив за честь, остался верен «Галатее» [41]. К сотрудничеству привлекались А. И. Тиняков, В. Н. Княжнин (Ивойлов), И. С. Рукавишников и др. Просил для альманаха Садовской стихов и у Блока, который прислал ему стихотворение «Вячеславу Иванову» («Был скрипок вой в разгаре бала...») (наст. том, кн. 2, с. 312—313). О каких-либо других своих стихотворениях для «Галатеи» Блок нигде не упоминает. Идея издания альманаха в Петербурге не осуществилась, ибо очень скоро — уже в апреле 1913 г.— начались резкие разногласия между Тиняковым с одной стороны и Долиновым и Конге с другой по поводу приглашенных в альманах сотрудников и предполагаемого к помещению в нем материала. В мае 1913 г. Садовской решил перенести «Галатею» в Москву и издавать ее там совместно с Ходасевичем не в виде альманаха, а как ежемесячный журнал. В газете «Голос Москвы» даже появилась заметка о скором выходе в свет нового издания, однако этой заметкой все и ограничилось. «Галатея» по не вполне ясным причинам — то ли из-за отсутствия состоятельного мецената, а скорее всего из-за идейных разногласий в редакции,— так и не вышла в свет. Осенью 1913 г. Садовской окончательно отказался от намерения издавать альманах или журнал. Таким образом, его слова из письма Орлову о том, что причиной неудачи с «Галатеей» была первая мировая война, не соответствуют истине: вопрос об издании был закрыт задолго до августа 1914-го.

Если допустить, что, помимо уже упомянутых причин, Садовской прибегал к мистификациям как «утопающий в водах Леты» (его собственное выражение), хватающийся за что угодно, чтобы не пойти на дно реки забвения, то можно считать, что в определенной степени это ему удалось. Почти все его мистификации вошли в научный оборот и подлинность их в течение нескольких десятилетий не подвергалась сомнениям [42]. Вдохновленный, по-видимому, успехами на этом поприще, Садовской после некоторого перерыва направил в ав-

густе 1944 г. в редакцию «Нового мира» следующий машинописный текст:

«Белая ночь.

Барон гулял по Невскому. Барон
Отменно выбрит и одет отлично.
От котелка до серых панталон
На нем изящно все и все прилично.
Зеленый галстух на воротнике,
Лимонная перчатка на руке
И набалдашник у тяжелой трости
Из благородной мамонтовой кости.
Барон смотрел. В оконных зеркалах
Пестрели сласти, зонтики, картинки
И рдели меж колбас и черепах
С привозными черешнями корзинки.
Трамвая беспокойный звон и гул,
Еще один газетчик промелькнул,
Гостиный двор веревка оградила,
На думской башне десять раз пробило.
Вот на углу уютный Доминик.
Барон неслышно подошел к буфету,
Взял пирожок, поправил воротник
И развернул вечернюю газету.
А между тем бледнел и таял май.
На площади чугунный Николай
С конем своим танцующим на месте,
Казалось, вырезан из черной жести.

И снова шел по Невскому барон.
Темнела Исаакия громада,
И медленно лилась со всех сторон
Прозрачная и нежная прохлада.
Над Петербургом замер вещий сон.
Который раз встает и снится он,
Который раз смущает он влюбленных
И сладко утешает обреченных.
И дрогнула усталая душа.
Как черный призрак в дымчатом эфире
Барон летал по улицам спеша.
Вот на Галерной он, в своей квартире.
Глядят шкафы заглавиями книг.
Он взял перо, задумался на миг,
Занес печать над маленьким пакетом
И посмотрел на ящик с пистолетом.
А завтра было то же все точь в точь:
Опять толпа и пыль на тротуарах,
Опять лилась и замирала ночь,
Опять шумели в кабаках и барах.
И на Галерной то же, что вчера,
Шкафы, портреты, бронзовые бра,
И на пакете с вензелем корона
И за столом на кресле труп барона.

Александр Блок».

Примечание Бориса Садовского: «Ровно тридцать лет тому назад я собирался издавать в Москве альманах «Галатея». В сотрудники приглашен был и А. А. Блок, подаривший мне свою поэму «Белая ночь».

Альманах не успел выйти по случаю начавшейся войны и поэма Блока осталась в моем архиве» [43].

Для знакомых с творческой манерой Садовского (в особенности с его «рассказами в стихах и прозе», собранными в сборнике «Морозные узоры» — Пг., 1922) совершенно ясно, что это стихотворение (или «поэма», как именует его Садовской) и стилистически и тематически полностью соответствует его позднему творчеству. Здесь нет никакой, даже минимальной обработки «под Блока». В «Записках» Садовского мы обнаружили место, которое можно соотнести с 3-й строфой «поэмы»: «Наступило лето. Белые ночи околдовали меня. Ровно в полночь я отправлялся гулять и медленно шел Вознесенским проспектом. Вот *памятник императора Николая. Конь и всадник точно выреваны из черного картона.* Белая мгла плывет *и тает. Исаакий дымится* <. . .> Бродил я по набережной, каналами, вдоль дворцов. *Выходил на Невский. У Доминика* рюмка портвейну и *пирожок.* О, петербургские ночи!» [44] (Курсив мой.— *С.Ш.*). Как видим, образная стилистика одна и та же.

Сотрудник «Нового мира» Н. И. Замошкин попросил Садовского прислать рукопись «Белой ночи». Садовской ответил: «Поэма Блока, переписанная по его просьбе для меня поэтом Пястом, долго считалась утерянной и только этой весной я случайно нашел ее в одной из книг моей библиотеки. Я не нашел нужным оставить ее у себя и уничтожил как обыкновенную рукопись. За подлинность поэмы я Вам ручаюсь» [45].

Отработанный механизм ссылок на умерших лиц (В. А. Пяст покончил с собой в 1940 г. и невозможность по тем или иным надуманным причинам представить рукопись на этот раз дали сбой — «Белая ночь» в «Новом мире» не появилась. Тогда Садовской попытался было пристроить «поэму» в сборнике «Звенья», но получил от его редактора В. Д. Бонч-Бруевича (который хорошо знал Садовского в бытность свою директором Государственного литературного музея) следующий ответ: «21 июля 1946 г. Многоуважаемый Борис Александрович. Рассмотрев присланную Вами рукопись — машинописный материал «Белая ночь» — и по-

советовавшись с музейными специалистами, у меня возникло большое сомнение в том, что это стихотворение А. Блока. Скорее всего нет, а потому без получения автографа, который разрешил бы все сомнения, печатать в сборнике «Звенья» я не считаю возможным <. . .> Редактор сборника «Звенья» Вл. Бонч-Бруевич» [46].

В архивном фонде Бориса Садовского среди его стихотворений 1929—1942 гг. сохранился машинописный текст начала «поэмы» «Белая ночь» со следами карандашной правки Садовского и его примечанием «Публикуется впервые» [47].

Название «Белая ночь», по-видимому, было избрано Садовским не случайно. В воспоминаниях Г. И. Чулкова «Александр Блок и его время» читаем: «Однажды, когда я писал рассказ «Одна ночь», а Блок только что написал стихи «Белая ночь» (а в это время Андрей Белый яростно бранил в «Весах» и меня и Блока), Александр Александрович сочинил шутливое четверостишие:

Чулков «Одною ночью» занят,
Я «Белой ночью» занялся,—
Ведь ругань Белого не ранит
Того, кто все равно спился...» [48]

Книга «Письма Александра Блока», где были напечатаны воспоминания Чулкова, безусловно, была прочитана Садовским. Вероятно, он воспользовался упоминанием Чулкова о стихотворении «Белая ночь» в совокупности с тем обстоятельством, что среди окончательных заглавий стихотворений Блока стихотворения с таким названием нет.

Заметим попутно, что в 8-томном собрании сочинений «Белая ночь», упомянутая в экспромте Блока, соотнесена со стихотворением «Май жестокий с белыми ночами!..» (III, 161), на наш взгляд, без всяких к тому оснований. Стихотворение «Май жестокий...» никогда не носило первоначального названия «Белая ночь», оно впервые появилось в печати под заглавием «Родине», да и содержание стихотворения не соответствует заглавию «Белая ночь». Согласно «Азбучному указателю измененных заглавий в стихотворениях А. А. Блока» в 1907 г. (этим годом Чулков датирует экспромт Блока) Блоком было написано стихотворение «Белая ночь» (впоследствии получившее название «Придут незаметные белые ночи...» — по первой строке) и «Белые ночи» (впоследствии также названное по первой строке «С каждой весною пути мои круче...») [49]. Чулков мог иметь в виду какое-либо из этих стихотворений. На исключено также, что Чулкова подвела память и он ошибся, написав, что в четверостишии Блока речь идет именно о стихах. В таком случае строку «Я «Белой ночью» занялся» можно отнести к критическому разбору альманаха «Белые ночи», которым Блок занимался примерно в то же время; этот разбор вошел составной частью в его статью «Литературные итоги 1907 года» (написана в ноябре—декабре 1907 г.) [50].

Ряд вопросов, возникающих в связи с мистификациями Бориса Садовского, остается пока без ответа. Почему Садовской, несомненно обладавший достаточно высоким поэтическим мастерством, а в области стилизации бывший даже незаурядным мастером, в случае с «Автопародиями» воспользовался одним и тем же, слегка видоизмененным стихотворением, когда он мог без особого труда написать и «под Блока» и «под Есенина»? На что он рассчитывал, пытаясь выдать за блоковское произведение абсолютно чуждую творчеству Блока «Белую ночь»? Разве что на то, что к 1944 г. и читатели и критика прочно забыли характерные особенности творчества самого Садовского? Или же в его намерении поместить под именем великого поэта свое собственное и очень характерное стихотворение была попытка своеобразной «мести» редакциям, отвергающим стихи, подписанные Садовским? Не забыл ли он содержание собственного письма к В. Н. Орлову от 29.07.1935 г., в котором утверждал, что неизданных вещей Блока у него нет? (Впрочем, версия о том, что Садовской «случайно нашел» давно считавшееся утерянным стихотворение в книге из своей библиотеки, помогала обойти это противоречие.)

У нас недостаточно фактов и для того, чтобы объяснить странные обстоятельства с датировкой смерти Садовского. Дело в том, что в целом ряде послевоенных изданий Блока (впервые — в дву хтомном Полном собрании стихотворений под ред. В. Н. Орлова 1946 г. издания) в комментариях указан неверный год смерти Садовского — 1946, тогда как он скончался на 72-м году жизни весной 1952 г. Откуда появилась эта неверная дата, и если это просто редакторская ошибка, то почему она не была исправлена в последующих изданиях и фигурировала до середины 1950-х годов? Трудно предположить, что Садовской не следил за изда-

ниями Блока, выходившими в то время не столь уж часто, и не заметил, что их составители преждевременно сочли его жизненный путь завершенным. Заманчиво было бы предположить участие самого Садовского в распространении неверных сведений о собственной смерти,— этот штрих придал бы его мистификаторской деятельности художественную законченность. Однако из-за недостатка достоверных фактов этот вопрос остается открытым.

Можно попытаться восстановить ход работы Садовского над своими мистификациями и выявить типичные приемы и методы, которыми он пользовался. Вначале сочинялся текст. Затем придумывалась история, которая должна была более или менее убедительно объяснить отсутствие автографа (поскольку воспроизвести чужой почерк Садовской не мог в силу своей болезни, да и вообще не обладал такими способностями). Для придания большей достоверности в эту историю обязательно вводились ссылки на реальных лиц (чаще всего к тому времени умерших), знакомство с которыми Садовской мог подтвердить документально, в том числе и материалами собственного архива. Желательно было также вкрапить в сочиненную историю ссылки на литературные реалии, к которым Садовской имел в свое время прямое отношение (вроде альманаха «Галатея»). Крайне желательным представлялось перемешать сочиненный материал с подлинными документами той же эпохи, если Садовской таковыми располагал, но не всегда представлялась такая возможность.

Мы уже говорили о том, что одновременно с «Солдатской сказкой» Садовской предложил «Новой России» письма Блока, Брюсова и Розанова. Письма эти он отправил в виде списка, сделанного рукой неизвестного нам лица (этим же почерком написаны некоторые другие материалы Садовского за 1920-е годы) на листах бумаги, форматом и качеством идентичных тем, на которых были написаны «Наполеоновы сереброеды». Из трех писем только письмо Блока имеет точную дату — 6 декабря 1910 г., письма же Брюсова и Розанова датированы в скобках, первое апрелем 1915 г., второе декабрем 1917 г.

В настоящее время известен автограф одного письма Блока. Это письмо посвящено впечатлениям поэта от чтения книги Садовского «Русская Камена». Об его истории Садовской сообщал В. Н. Орлову: «В ноябре 1910 г. Блок приезжал в Москву. Встретившись с ним в издательстве «Мусагет», я подарил ему мою книгу «Русская Камена». Блок вскоре уехал, а через несколько дней мной была получена от него в заказном пакете эта же книга. Мне представилось, что Блок, возмущенный ее содержанием, шлет книгу обратно, не без волнения я вскрыл пакет. Оказалось, что подарок мой был украден; посылая второй экземпляр, поэт просил возобновить на нем надпись. Книгу я отправил Блоку через день; ответом явилось помещаемое здесь письмо» [51].

И. Г. Лежнев воздержался в свое время от публикации письма на страницах «Новой России», считая, что: «Письмо Блока 〈. . .〉 как мне кажется, *общего* характера не имеет» [52]. На самом деле письмо чрезвычайно интересно, так как содержит развернутые оценки Блоком русской поэзии XIX в. Впервые оно было опубликовано В. Н. Орловым в 27/28 томе «Литературного наследства» по автографу, который Садовской продал Государственному литературному музею (ныне письмо хранится в ЦГАЛИ). Впоследствии это письмо неоднократно печаталось в собраниях сочинений Блока. Подлинность блоковского автографа вне всяких сомнений.

Местонахождение автографов двух других писем (Брюсова и Розанова) на сегодняшний день нам неизвестно. Рукописная копия всех трех писем в конце концов попала к В. Н. Орлову и осталась в его фонде (сейчас в составе материалов Орлова она поступила в ЦГАЛИ). Письмо Брюсова является ответом на книжку критических статей Садовского «Озимь», где бывший ученик Брюсова выступил его литературным антагонистом. Письмо это было опубликовано Орловым в журнале «Аврора», 1973, № 12. Письмо Розанова в печати не появлялось.

Возникает вопрос, не являются ли и эти два письма (Брюсова и Розанова) очередными мистификациями? Однозначный ответ дать трудно. Отсутствие автографов и точной датировки наводит на некоторые подозрения. Однако одновременно с ними Садовской направил в редакцию «Новой России» заведомую фальшивку — «Солдатскую сказку» — и психологически должен бы был стремиться растворить сочиненный им текст в большом количестве авторитетных подлинных материалов. Если отнести к таким материалам подлинное письмо Блока, то получается значительный перевес в сторону подделок, а ведь публикация «Солдатской сказки» — это одна из первых попыток Садовского проникнуть со своей мистификацией в печать, и он, казалось бы, должен быть очень осторожен.

Стиль письма Розанова выдержан безукоризненно. Это его язык, его идеология. Если предположить, что перед нами имитация Садовского, то надо признать, что до такого полного проникновения в дух и букву стилизируемого источника он прежде никогда не доходил. К тому же пока не обнаружено других примеров, когда Садовской подделывал письма, адресованные к нему,— до сих пор мистифицировалось художественное творчество, записки, мемуары вымышленных или реальных лиц.

Вероятно, письма Брюсова и Розанова все же подлинные. Однако повторим еще раз, что однозначный ответ дать трудно. Слишком уж «темновато» происхождение многих текстов, идущих от Садовского. Слово — за не попавшими пока в поле зрения исследователей архивными материалами, которые могут хранить ответы на поставленные вопросы.

* * *

Статья была уже набрана, когда М. Д. Эльзон любезно сообщил нам, что «блоковско—есенинское» стихотворение «За сухое дерево месяц зацепился» под названием «В роще» за подписью Б. Садовского было опубликовано в газете «Нижегородский листок» 1912, № 299 от 8 ноября, а в якобы написанном Есениным экспромтом «Подражании Борису Садовскому» («Под июльскою березой...») вторая строфа почти дословно совпадает со стихотворением Садовского «На мельнице», помещенном в той же газете 16 января 1912 г. Приносим М. Д. Эльзону сердечную благодарность за важное дополнение.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Новая Россия», 1926, № 3, стлб. 90.
[2] «Печать и революция», 1928, кн. 2, с. 94—95.
[3] «Записки Русского императорского географического общества. Отделение этнографии», т. 1. СПб., 1867, с. 655—659; «Записки Русского императорского географического общества. Отделение этнографии», т. 41, Пг., 1914, с. 430—434.
[4] А. А. Блок. Полн. собр. соч. в 12 томах, т. 12. Л., 1936, с. 285—289. В этом же томе «Солдатская сказка» отмечена в «Хронологическом указателе прозы Блока» под январем 1915 г. (с. 309).
[5] ЛН, т. 27/28. М., 1937, с. 574, прим. 14.
[6] ЦГАЛИ, ф. В. Н. Орлова, новое поступление.
[7] ЛН, т. 27/28, с. 574, прим. 14.
[8] См.: «Русский фольклор. Материалы и исследования», вып. 3. М.— Л., 1958, с. 206.
[9] Там же.
[10] См.: «Библиотека А. А. Блока. Описание», т. 1. Л., 1984. Впрочем, современники свидетельствуют, что после революции Блок продавал некоторые ненужные ему книги (наст. том, кн. 2, с. 264, прим. 14).
[11] Андреем Белым.
[12] ЦГАЛИ, ф. 464, оп. 1, ед. хр. 83, л. 1. Слова, выделенные курсивом, подчеркнуты в тексте письма.
[13] Там же, л. 2 об.
[14] Там же, оп. 4, ед. хр. 18, л. 1—7.
[15] «Записки Русского императорского географического общества. Отделение этнографии», т. 41, с. 430.
[16] За консультации при атрибуции почерка Ведерникова приношу благодарность К. Н. Суворовой и В. П. Коршуновой.
[17] ЦГАЛИ, ф. 464, оп. 1, ед. хр. 37, л. 7.
[18] Там же, л. 1.
[19] Там же, оп. 2, ед. хр. 33.
[20] Там же, оп. 1, ед. хр. 1, л. 108.
[21] Там же, ф. 612, оп. 3, д. 7, л. 1, № 2[а].
[22] Г. Хетсо. Евгений Баратынский. Жизнь и творчество. Осло, 1973, с. 23.
[23] П. П. Филиппович. Жизнь и творчество Е. А. Боратынского. Киев, 1917, с. 42.
[24] Е. Ф. Никитина. Русская литература от символизма до наших дней. М., 1926, с. 385—386. Отметим также множество неверных сведений в приведенной там же библиографии Садовского; может быть, и они не случайны.
[25] ЦГАЛИ, ф. 464, оп. 2, ед. хр. 57, л. 11; ед. хр. 16, л. 1 об. См. также: «Русская литература», 1982, № 3, с. 205—206.
[26] Не перешла ли к одному из этих учебных заведений богатая библиотека Нижегородской губернской архивной комиссии?
[27] «Летопись Дома литераторов», 1921, № 3, с. 7.
[28] ЦГАЛИ, ф. 464, оп. 4, ед. хр. 4, л. 1.
[29] А. А. Блок. Полн. собр. стихотворений в 2 томах, т. 2. М., 1946, с. 232—233.
[30] ЛН, т. 27/28. М., 1937, с. 680.

[31] Сообщено М. Л. Гаспаровым.
[32] «Вечерний Тбилиси», 15 августа 1959 г.
[33] С. А. Есенин. Собр. соч. в 5 томах, т. 5. М., 1962, с. 242—243; там же, с. 396. Список «Встречи с Есениным» сделан не рукой Садовского, а неустановленным лицом (возможно, под диктовку автора).
[34] Неверно. Воспоминания о встречах с Есениным были написаны раньше, чем Садовской отправил в редакцию «Литературного наследства» «автопародии Блока».
[35] По-видимому, знакомство Садовского с Есениным на квартире поэта В. А. Юнгера имело место в действительности. Как и в других случаях Садовской разбавляет свои мистификации реальными фактами.
[36] ЦГАЛИ, ф. В. Н. Орлова, новое поступление.
[37] ЛН, т. 27/28, с. 574, прим. 11.
[38] А. А. Блок. Полн. собр. стихотворений в 2 томах, т. 2, с. 196—197; А. А. Блок. Собр. соч. в 6 томах (под ред. С. А. Небольсина), т. 3. М., 1971, с. 321.
[39] ЦГАЛИ, ф. 464, оп. 2, ед. хр. 30, л. 112.
[40] Б. А. Садовской. Полдень. Собрание стихов 1905—1914. Пг., 1915, с. 73—74.
[41] ЦГАЛИ, ф. 464, оп. 1, ед. хр. 151, л. 2 об.
[42] Извлеченные из архива П. Е. Щеголева «воспоминания» мифического Н. И. Попова о Степняке-Кравчинском и пять «неизданных» стихотворений Кравчинского были напечатаны в «Неделе» в 1965 г. (№ 3, с. 6—7).
[43] ЦГАЛИ, ф. 1702, оп. 1, ед. хр. 209.
[44] Там же, ф. 464, оп. 1, ед. хр. 1, л. 123.
[45] Там же, ф. 2569, оп. 1, ед. хр. 373.
[46] ГБЛ, ф. 369, карт. 198, д. 19, л. 1—1 об.
[47] ЦГАЛИ, ф. 464, оп. 2, ед. хр. 39, л. 65.
[48] В кн.: «Письма Александра Блока». Л., 1925, с. 117.
[49] А. А. Блок. Полн. собр. соч. в 12 томах, т. 5. Л., 1933, с. 326.
[50] Н. Г. Чулкова в «Воспоминаниях о Блоке» также подтверждает, что в экспромте упомянут альманах, считая, однако, что речь идет о подготовке Блоком стихотворений для этого издания («Нева», 1980, № 11, с. 187).
[51] ЦГАЛИ, ф. В. Н. Орлова, новое поступление.
[52] Там же, ф. 464, оп. 1, д. 83, л. 2 об. Выделенное курсивом подчеркнуто в тексте письма.

БЛОК И МАРИЭТТА ШАГИНЯН

Сообщение И. С. Зильберштейна

Получив в октябре 1978 г. сентябрьский номер журнала «Новый мир», я в первую очередь стал читать воспоминания Мариэтты Шагинян «Человек и время», где, в частности, шла речь о ее общении и переписке с Блоком. К этому времени мы вместе с Л. М. Розенблюм уже завершили подготовку 89-го тома «Литературного наследства» — «Александр Блок. Письма к жене», а в 1978 г. вплотную занялись созданием 92-го тома — «Александр Блок. Новые материалы и исследования».

Читая воспоминания Мариэтты Сергеевны, я заинтересовался одним из ее любопытных сообщений: видимо, в апреле 1921 г. она отправила Блоку несколько своих небольших пьес с просьбой прочитать и высказать свое мнение о них, а 22 мая Блок послал Шагинян подробное письмо с оценкой ее пьес. Далее Мариэтта Сергеевна говорила: «На письмо я ответила, лично снесла его Любови Дмитриевне, но не получила уже ответа ни письменного, ни устного, а С. Алянский сообщил мне, что письмо, по всей вероятности, и вовсе не было передано Блоку!»

Отмечу кстати, что С. М. Алянский, издатель и близкий друг Блока, в своей известной книге о встречах с поэтом рассказал, с каким вниманием и одобрением относился Блок к творчеству М. Шагинян: «Однажды Блок спросил: „Знаете ли вы писательницу и переводчицу Мариэтту Шагинян? Она прекрасно перевела тетралогию Рихарда Вагнера „Кольцо Нибелунгов“. А недавно она прислала мне сборник своих пьес. Я читаю их сейчас, она очень талантлива.

А спустя несколько дней Александр Александрович опять заговорил о Мариэтте Шагинян: „Я прочитал пьесы Шагинян. Не знаю, сможет ли использовать их театр, но некоторые из них, по-моему, хорошо бы напечатать в „Записках мечтателей“. Я очень рекомендую напечатать в ближайшем номере лучшую из этих пьес. „Чудо на колокольне“ — это очень талантливо,— повторил он.— Я написал свой отзыв. Будьте добры, передайте ей рукопись, она зайдет к вам в книжный пункт».

А еще через несколько дней Александр Александрович спрашивал меня через Любовь Дмитриевну, успел ли я сдать в набор пьесу «Чудо на колокольне» в очередной номер «Записок мечтателей».

Пьеса Мариэтты Шагинян «Чудо на колокольне» была напечатана в № 5 «Записок мечтателей», вышедшем уже после смерти Блока, в 1922 году» (С. Алянский. «Встречи с Александром Блоком».— В кн.: «Александр Блок в воспоминаниях современников», в 2 т., т. 2. М. 1980, с. 317—318).

Прочитав строки М. Шагинян о не дошедшем, по ее мнению, письме к Блоку, я вспомнил 1939-й год: именно тогда, выполняя просьбу директора Государственного литературного музея В. Д. Бонч-Бруевича, я добился от Любови Дмитриевны Блок согласия на передачу в этот музей эпистолярного архива Александра Александровича, где в основном находились обращенные к нему письма. Всего в том эпистолярном архиве оказалось около 2500 писем (ныне они входят в состав Центрального государственного архива литературы и искусства СССР). О том, как перешла на государственное хранение эта часть архива одного из самых выдающихся поэтов нашего века, я рассказал в своих воспоминаниях, озаглавленных «О встречах с Любовью Дмитриевной Блок и о судьбе хранившегося у нее архива поэта», напечатанных в 89-м томе «Литературного наследства».

Читая в «Новом мире» главу о Блоке из книги Мариэтты Шагинян, я не мог, конечно, вспомнить, сохранились ли ее письма в бумагах поэта. Но взяв в руки выпущенное ЦГАЛИ в двух книгах описание автографов переписки Блока, находящихся в различных государст-

венных хранилищах нашей страны, я во второй из них увидел аннотации двух писем, присланных ему Мариэттой Шагинян, причем второе письмо оказалось тем самым, которое она считала до Блока не дошедшим.

Сделав копию этого обширного и интереснейшего ее обращения к поэту, я решил сообщить Мариэтте Сергеевне, что в бумагах Блока сохранилось то ее письмо, которое она считала утраченным. Но так как мы не были знакомы, позвонил К. Б. Серебрякову, биографу писательницы, с которым ранее общался. Вскоре, навестив ее в больнице и рассказав о моей, как он говорил, находке, Константин Багратионович сообщил мне, что Мариэтта Сергеевна будет рада, если зайду к ней в больницу 27 февраля 1979 г.

Для меня эта первая встреча остается до сих пор незабываемой. По просьбе Мариэтты Сергеевны я прочитал очень медленно то ее письмо, которое она отправила Блоку 58 лет назад. Чувствовалось, что это доставило ей большую радость. И когда я попросил разрешения опубликовать это письмо в нашем 92-м томе, она незамедлительно ответила согласием.

В следующем 1980-м году вышла в свет отдельным изданием книга ее воспоминаний «Человек и время», где Мариэтта Сергеевна, приводя текст последнего письма к ней Блока, сделала такое примечание: «На это письмо А. Блока я ответила длинным посланием, которое считала пропавшим. Но совсем недавно, весной 1979 года, когда я лежала в больнице, ко мне пришел известный литературовед И. С. Зильберштейн и сказал, что это письмо он нашел в архиве Менделеевых. Этот документ будет опубликован в «Литературном наследстве» А. Блока, готовящемся к печати» (с. 653).

Вот текст этого письма:

24—V—1921

Многоуважаемый Александр Александрович, сегодня мне принесли Ваше письмо, и я не знаю, как и благодарить Вас за все, что Вы в нем написали, а главное за то, что так скоро прочитали пьесы.

Только в одном Вы, пожалуй, ошиблись (лестным для меня образом!): «Не особенно органический язык», «недостаточная пристальность взгляда» — у меня вовсе не почетный порок символистов, преодоленный сильнейшими из них в настоящий классицизм. Это у меня не «печать школы» и не временное несовершенство, а самое тяжкое личное бремя, которое преодолеть мне не суждено; я могу лишь постепенно создать себе условный стиль из стремления его преодолеть; стиль этот всегда будет полуживым и только карабкающимся к последней правде, но ее никогда не дохватывающим. Дело в том, что у меня *матовое* восприятие мира (плохо слышу и вижу), и нет *своего* языка. Органичен язык лишь тогда и там, где он *речь*. Но я не знаю *речи*; остатки своего слуха я невольно приспособляю к бескрасочному услышанию, то есть напрягаюсь услышать, что мне сказали, а не как; на музыку, на связь, на очарование речи уже ничего не остается, ибо внимание приковано неизбежно к понятиям. И вот, постоянно силясь *понимать*, я неизбежно разучаюсь *слушать*. Где уж тут питаться живой органикой речи! Остается книга, и свой собственный «потенциал». Но через книгу и от книги (даже самой стихийно-народной) родится только «книжность и производность» <. . .> Ваше письмо так человечно-просто и так прямо, что не могу не ответить на него с такой же прямотой и не условно-поверхностно, а по существу.

Не сочтите эту откровенность неуместной и скороспелой хотя бы и потому еще, что ведь я-то знаю, *кому* пишу и при этом вижу Вас. С Вашими «Двенадцатью» связано самое глубокое, что пережито мной последние пять лет. При каждой встрече с Вами я хотела и не решалась задать Вам один вопрос; не без робости задаю его сейчас, в письме: Почему Вы нынче отрекаетесь от Правды с большой буквы (увиденной поэтом) ради правды с маленькой буквы, видимой всем людям? «Двенадцать» вовсе не о России (как Вы допускаете теперь толковать), но о революции. О том мгновении революции, когда — именно только на мгновенье и *не* в плане истории — «абсолютное» притягивается к «относительному», дотрагивается до него, и начинает казаться, что дальше все будет по-иному. Это мгновенье обжигает душу и исчезает. Вы — единственный русский поэт ныне — запечатлели это мгновенье так, как оно было. Для меня «Двенад-

цать» — символ веры, художественная формула сокровеннейшего религиозного опыта, который пережили немногие из нас, «интеллигентов», и *почти все* «простонародные» души в Октябрьскую революцию. Вы дали тончайшую, точнейшую реакцию на реальнейшую, но невесомую и невидимую действительность. Людям, пережившим ту правду, Ваши «Двенадцать» были связью, встречей друг с другом. Я жила на юге России, в самом глухом одиночестве, и когда контрабандой (через украинскую границу) к нам из красного Харькова в белый Ростов завезли скверную перепечатку «Двенадцати» Блока и она попала мне в руки, я (простите мне эту неприличную нескромность) молилась Богу над нею и плакала от счастья, что Вы *увидели* и *воплотили* [1]. Потом дошла до нас и Ваша статья, кончающаяся заповедью «слушайте музыку революции». Вы ведь не только «гуляка праздный», забывающий все свои вчера; Вы умны, как Пушкин, у Вас ясное сознание, и Вы эту ясность отлагаете в кристаллах мысли. Почему же сейчас эта ясность уступила «здравому смыслу», и Вы стараетесь сами себя предать? Ведь это чушь, что «революции больше нет», что «большевизм выродился» и т. д. Какое *нам-то* (и Вам — ясно видящему!) до этого дело! Да разве мы газетчики или лекари, чтоб считать пульс и смотреть на сыпь?

Историческое христианство прибавило только *одну* мудрость к личной мудрости Христа: оно дало от себя на нее ответ «credo ad absurdum». Оно доказало этим ответом, что полюбило и познало сущность любви. Если Вы увидели в земном лице свет Божий и этот свет полюбили, то что Вам за дело, что лицо девочки стало лицом бабищи, расплылось, обрюзгло, одряхлело. Для Вас *не это* было светом и *без этого* останется свет, если Вы любите. Ибо сущность любви — видеть и верить нетленно, до абсурда (абсурд этим и снимается). Революция исказилась, расплющилась, изнемогла, глядит не теми глазами. Что из того? *Она* дала нам пережить чудо, и надо возлюбить ее до конца. Тот, кто, увидев через нее свет, от нее сейчас отрекается, — отрекается от лучшей части своего духа.

Ради Бога простите меня, что я пишу все это. Простите хотя бы потому, что это мне больнее, чем Вам даже; и дороже, нежели Вы сами себе. Я не могу выносить собачьего лая, в котором мы все сейчас живем. Н и к а к о е внешнее насилие большевиков н и к о г д а не насильственнее для меня этого нашего лая, который держит душу и сознание в пределах какого-то куцего радиуса обыкновенного зрения на вещи, ну ни дать ни взять в длину собачьей цепи от конуры и до плошки с водой. Ведь это изо дня в день гипнотизирует, насилует и умаляет. То, что видно из конуры, — всякому видно. Этого ли зрения Вы взыскуете? Вы видели *больше* них. И вдруг, увидев меньше, подумали, что «ошибались»? Неужели *А. Блоку* надо отчитываться перед собачьей будкой за то, что он прогуливался без цепочки на шее?

Кончаю, т. к. боюсь, что переступила за черту сдержанности, одинаково чтимой и Вами, и мною. Если я глубоко неправа, а Вам станет досадно — простите обиду, ревнующую о Вас же. А если мы окажемся настолько разными, что просто не понимаем друг друга, — пусть это письмо будет как бы и не было.

М. Ш а г и н я н.

P. S. Я взяла у Гржебина на несколько дней единственный экземпляр *Orientalia* (с которого он должен снять копию) и посылаю его Вам. Загляните в него, если захочется. Это тоже попытка найти свой язык — и тоже только попытка.

М. Ш.

От этого письма веет предельной сердечностью, смелостью и тактичностью по отношению к адресату; и вместе с тем удивительной прозорливостью в оценке поэмы «Двенадцать». Горя-

[1] Ведь «Двенадцать» на самом деле не о них, а о *нас*,— о душе, которая поняла революцию, как чудо, и так поняв — уже и *совершила* ее.

чо и убедительно Мариэтта Сергеевна отстаивает великий непреходящий смысл революционной поэмы Блока перед прославленным автором. В книге «Человек и время» (М., 1980) М. Шагинян приводит свои дневниковые записи 1921 г., которые объясняют причины такого заступничества. Речь шла о слухах об изменении идейной позиции Блока, будто бы пересмотревшего и свое отношение к «Двенадцати». «Подобные слухи,— разъясняет далее М. Шагинян,— распространялись в то время реакционными кругами, я записала их с внутренней болью и возмущением, что нашло отражение в моем последнем письме к Блоку» (с. 655).

Что же касается сборника стихотворений Шагинян «Orientalia», выпущенного петроградским издательством Зиновия Гржебина в 1921 г., то Мариэтта Сергеевна по этому поводу в своих воспоминаниях говорит следующее: «Я не была еще коммунисткой и верила в бога, носила крестик на шее, меня помнили как символистку, автора „Orientalia“ ‹...› и мне ни на грош не поверили — не поверили в мой фанатический и религиозный большевизм и сразу наклеили ярлык на меня, как „продавшуюся большевикам“». В ее письме Блоку в полной мере нашел отражение ее „религиозный большевизм“.

Со дня отправки этого письма прошло немногим более двух месяцев, и Блок скончался. На похоронах была и Мариэтта Сергеевна. А то, каким это стало для нее великим горем, как она переживала эту утрату, запечатлено в дневнике Андрея Белого. Вот эта запись от 19 августа 1921 г.: «Был у Мариэтты Шагинян; она 2 дня плачет о Блоке; рассказывала мне, что ее мучат угрызения совести. Блок ей уже во время болезни послал очень нежное письмо; она же под влиянием своего впечатления от последних сомнений Блока (общественных) написала ему бурное письмо; и потому мучалась все 2 месяца; она видела Евангелие Блока с его пометками; и говорит: «Он был в подлинной Церкви». Под Церковью же она разумеет нечто «свое» (т. е. Христово, а не христиан-*«ское»*). Упрашивала меня прийти к ней и говорить ей о Блоке (что я о нем знаю); я ей ответил: „Да ведь у меня слов о Блоке — тома на два; что же мне сказать?“» (наст. том, кн. 3, с. 797).

В дальнейшем Мариэтта Сергеевна несколько раз выступала в печати с восторженными оценками творчества Блока, и, в частности, поэмы «Двенадцать». Так, ознакомившись с появившимся в печати текстом выступления Блока перед актерами в Большом драматическом театре в связи с постановкой «Короля Лира», Шагинян написала статью «Поэт и театр», которая была напечатана в петроградской газете «Жизнь искусства» (№ 804, 16—21 марта 1921 г.). Выпуск этого номера, видимо, очень задержался. Поэтому Мариэтта Сергеевна завершала статью такими словами: «Я дописываю эти строки, когда иная „сухая горесть“ вошла нам в душу: умер поэт, произнесший эту формулу, ушел чистейший, благороднейший поэт современности, и мы должны выпить горькую чашу без единого „увлажняющего“ умиления. Слезы наши не облегчат нас — они выедят нам глаза. Перед горькой тайной этой утраты нам остается только один завет. Возвыситься до античности. Очиститься безысходной горечью». А примечание к этим строкам гласит: «Статья эта подготовлялась еще до кончины того, о ком она говорит. Автору пришлось дописывать ее под свежим впечатлением невозвратимой утраты».

Когда Мариэтта Сергеевна прочитала в первом номере журнала «Печать и революция» за 1923 г. рецензию С. Боброва на последний лирический цикл Блока «Седое утро», вышедший отдельным изданием в 1920 г., она решила выступить с гневной отповедью. Приведем несколько отрывков из этой статьи Шагинян, в которой она с полным основанием обрушилась на злобную рецензию: «Уж так устроен человек, что от боли — любовь еще острее, и через боль — острее знание любимого. Когда сумасшедшие или идиоты заносят руку на общечеловеческую святыню, сердце лишний раз напоминает Вам об ее ценности. Бобров, напечатавший в московском журнале „Печать и революция“ рецензейку на „Седое утро“ Блока, не заслуживает, конечно, громкого названия „сумасшедшего или идиота“. И далее: „Я сказала: бедный рецензент. Пожалеем его. В этой рецензии будет казнь на годы и годы самому Боброву. Мы же, обожженные болью, с новою нежностью вступим в „Седое утро“ Блока. После „Ночных часов“ я не знаю более пророческого, более мудрого, более насыщенного деньми и скорбью „утра“, нежели этот строгий сборник».

Статья предназначалась для газеты «Жизнь искусства», но там не появилась (по мнению В. Н. Орлова, редакция не желала вступать в конфликт с новообразованным влиятельным журналом). Эта статья Шагинян была напечатана в сборнике сообщений В. Н. Орлова «Здравствуйте, Александр Блок», вышедшем в 1984 г.



М. С. ШАГИНЯН
Дружеский шарж Н. Э. Радлова
1930-е гг.

Что же касается беспредельно восторженного отношения Мариэтты Шагинян к поэме «Двенадцать», то оно было ей присуще со времени первого знакомства с этим замечательным творением Блока. Вот что она говорит о своем пребывании в 1919 г. в Ростове, где тогда находились деникинские войска: «И случилось в те годы под белыми событие, одно из многих таких же. Люди собирались тайком, в подполье, беспартийные люди, чтоб отвести душу, побыть вместе, в единомыслии, в единочувствии. Был такой привал для нас с Линой в комнате железнодорожника-большевика, в окраинном грязном рабочем квартале Темерник. Мы тоже пробирались туда изредка <...> Долго за ночь, когда уж беседа умолкла, спедело собрание. Разбирали заветные книжки, привезенные из Советской России... Когда же впервые, контрабандой пробравшись через кордоны, зазвучали в маленькой комнате слова „Двенадцати“ Блока, встало собранье, потрясенное острым волненьем. Лучший поэт, чистейший, любимейший, дитя незакатных зорь романтической русской стихии, он, как верная стрелка барометра падает, падает к „буре“ орлиным певцом ее! Он, тончайший, все понимающий,— с нами! И любовь, как горячая искра, закипала слезами в глазах, ширила сердце». И далее: «Еще до изгнания деникинщины событие с подпольным чтением „Двенадцати“ имело продолжение. Мои биографы о нем не знают, но в донских архивах можно это продолжение разыскать. Я написала рецензию на „Двенадцать“ как только мы с Линой вернулись с темерницкого собранья. Не верилось, что будет эта рецензия напечатана, но „Приазовский край“ напечатал ее». («Человек и время». М., 1980, с. 609, 613).

Таковы те документальные данные, которые могут служить дополнением к тому, что Шагинян высказала в письме к Блоку о его поэме „Двенадцать“.

Во время нашей встречи в больнице Мариэтта Сергеевна сказала, что, когда она вернется в свою квартиру, просит меня придти, так как хочет подарить мне свои книги.

15 апреля 1979 г. я пришел к ней. И тогда она передала мне две книги — «Ленинниану», вышедшую в 1977 г., и первый том избранных произведений, вышедший в 1978 г. На форзаце первой книги — надпись: «Дорогому Илье Самойловичу Зильберштейну,— которому мы, писатели, обязаны многим и многим,— с глубоким уважением Мариэтта Шагинян. 15 IV 79». На форзаце второй книги: «Дорогой Илья Самойлович. Мне было бы очень дорого, если б Вы прочитали мою „Перемену“. Ваша Мариэтта Шагинян 15 IV 79».

С благодарностью принимая этот подарок, я выразил ей сердечную признательность за то, что в книге «Четыре урока у Ленина» она дала столь высокую оценку 72-му тому «Литературного наследства» — «Горький и Леонид Андреев. Неизданная переписка». Вот отрывок из того ее отзыва: «В 1965 году вышла книга, очень помогающая хорошо понять Горького и любовь к нему Ленина. Это — семьдесят второй том „Литературного наследства“, содержащий неизданную переписку Горького с Леонидом Андреевым. Трудно найти еще пример в мировом эпистолярном наследии, где было бы больше блеска, остроумия, веселой молодой жизнерадостности и драматического развития конфликта двух разных индивидуальностей, сперва как будто растущих из одного и того же корня (реалистического понимания искусства и революционного отношения к самодержавному русскому строю); потом — не сразу, а ступень за ступенью, трещина за трещиной раскрывающих чуждость этих друзей друг другу,—

одного настоящего самородка из народа, для которого его позиция в искусстве и политике была продиктована классом и коренилась в глубине сознания; другого — бунтовщика лишь по видимости, по молодости, с натурой по сути путаной, с воспитанием и бытом богемно-мещанским и с двигательной пружиной поведенья — тщеславием...»

Мариэтта Сергеевна оживилась и горячо сказала, что прочитала множество писем Горького, но его письма к Леониду Андрееву считает самыми интересными. Спросила, где находятся автографы этих писем. Я сказал, что подлинники 93 писем хранятся в Нью-Йорке, в Колумбийском университете, и благодаря выдающемуся американскому слависту профессору Вильяму Эджертону я получил фотокопии их. А в Женеве автографы 10 писем хранились у у Вадима Андреева, старшего сына писателя. По моей просьбе он прислал их фотографии. Эти 103 письма и составили первооснову нашего 72-го тома.

Сообщил Мариэтте Сергеевне, что в своих статьях и рецензиях на 72-й том не только советские исследователи, но и в Венгрии, Италии и Чехословакии высоко его оценили.

Чтобы Мариэтта Сергеевна знала, как отнесся к этому тому Вадим Андреев, я захватил с собой его книгу «Детство», выпущенную издательством «Советский писатель» в 1966 г. Показал ей дарственную надпись на книге: «Илье Самойловичу Зильберштейну с восхищением перед его неукротимой энергией и благодарностью за его великолепную работу над перепиской Андреева и Горького, с самым дружеским чувством. Вадим Андреев. 6 октября 1966 г. Женева».

Поразил меня тот интерес, какой проявила во время нашей беседы Мариэтта Сергеевна ко всему новому в области советского литературоведения, и я назвал несколько книг; попросила сообщить, какие очередные тома «Литературного наследства» мы готовим; спрашивала о содержании наших блоковских книг; попросила рассказать о моих встречах с русскими парижанами, в частности, Зиновием Пешковым... И не верилось, что Мариэтте Сергеевне уже 90 лет.

В конце нашей беседы она передала мне присланные ей из Архива Горького выписки из протоколов заседаний редакционной коллегии «Всемирной литературы», где идет речь о Блоке и о ней. Вот что сказано в этих выписках:

«8 февраля 1921 г.: «Присутствовали Блок, Браудо, Волынский, Гумилев, Крачковский, Замятин, Лернер, Лозинский.

〈...〉 2) Сообщение Блока о том, что М. Шагинян, которой было поручено просмотреть перевод „Кольца Нибелунгов" Вагнера, заявляет, что перевод нуждается в значительной переработке. По мнению Блока, Е. М. Браудо и Зоргенфрея, редактировавшего работу Свиридовой, перевод сделан талантливо. Самый главный его недостаток тот, что ритм не везде выдержан.

Постановили: Ввиду того, что книга уже набрана, просить М. Шагинян отметить те места, которые она считает необходимым изменить и затем передать ее работу на просмотр поэтической коллегии и Е. М. Браудо».

18 февраля 1921 г.: «Присутствовали: Блок, Браудо, Владимирцев, Волынский, Крачковский, Гумилев, Лозинский.

〈...〉 5) Сообщение Блока о том, что М. Шагинян просмотрела первые листы «Золото Рейна» Вагнера, причем все свои замечания представила на отдельных листках.

Постановили: просить Блока просмотреть все замечания Шагинян и доложить о них в Коллегии в одном из ближайших заседаний».

22 февраля 1921 г.: «Присутствовали: Блок, Браудо, Волынский, Замятин, Крачковский, Лернер, Лозинский.

〈...〉 2) Сообщение Волынского о том, что он прочел статью или, вернее, дневник Шагинян, написанный ею во время пребывания ее в Германии. Статья написана очень литературно и талантливо. Самому Гете посвящены только последние две тетради. Принять статью как предисловие к произведениям Гете докладчик не находит возможным, так как тема недостаточно разработана. А. Л. Волынский предлагает поручить М. Шагинян предисловия и вступительные статьи к другим каким-нибудь авторам.

Постановили: Принять к сведению и предложить заведующим отделами подобрать материал для передачи заказа Шагинян.

3) Сообщение Волынского о том, что в Редакцию поступили две вступительные статьи Шагинян к «Истории тринадцати» и к шести повестям Бальзака.

Постановили: передать на просмотр Гумилеву.

4) Предложение Гумилева о передаче М. Шагинян редактирования «Мадемуазель де Мопэн» Т. Готье.

Постановили: Принять.

<...> 6) Сообщение Блока о том, что переданная ему на просмотр работа М. Шагинян по редактированию «Золота Рейна» Вагнера в переводе Свиридовой произведена, по его мнению, очень тщательно и талантливо. А. А. Блок предлагает поручить М. Шагинян закончить редактирование тетралогии Вагнера.

Постановили: Принять предложение А. А. Блока».

Сохранились эти протоколы в бумагах А. Н. Тихонова, находящихся в Архиве Горького.

Думается, что документальные данные, нами здесь впервые публикуемые, по-новому освещают творческие взаимоотношения Александра Блока и Мариэтты Шагинян. И в ее биографии эта тема займет достойное место.

СТИХИ БЛОКА В ОДЕССКИХ ПЕРВОМАЙСКИХ ЛИСТОВКАХ 1919 г.

Сообщение Е. М. Голубовского

После выхода в Петрограде книги Блока «Двенадцать. Скифы» в том же 1918 г. издательство «Новый путь» перепечатывает в Одессе поэму «Двенадцать» с предисловием Р. Иванова-Разумника. Для одесского издания, где обложка печаталась в два цвета, неизвестный художник буквально воспроизвел «венчик из роз», надев его на число «12», и красные капли крови, которые как бы образовывали пропись слова «двенадцать» (см. с. 722).

Как установил литературовед Г. Д. Зленко, ряд одесских журналов — «Огоньки», «Жизнь», «Универсальная библиотека» — сразу же перепечатали поэму «Двенадцать». Конечно, ни Блок, ни издательство «Новый путь», предупреждавшее на второй странице обложки одесского сборника об исключительном праве издательства на перепечатку поэмы, не знали об этих публикациях.

В апреле 1919 г. в Одессе была образована комиссия по подготовке к празднованию 1 Мая. Литературную секцию комиссии возглавил Максимилиан Волошин. Это он предложил издать «Двенадцать» и «Скифы» в виде листовок и разбросать над праздничным городом с аэроплана. Всего было отпечатано 40 тысяч листовок: 10 тысяч — с текстом «Двенадцати», 10 тысяч — с текстом «Скифов», 10 тысяч листовок со стихами «Восстание» и «Мятеж» Э. Верхарна и 10 тысяч листовок со стихами «Бей, бей, барабан!»У. Уитмена.

Хотя сообщения об этом появились в «Известиях Одесского Совета рабочих депутатов» от 1 мая 1919 г. и в иллюстрированном приложении к этой газете, а затем — в ряде мемуаров, найти эти листовки долго не удавалось. И все же недавно одна из этих листовок — с текстом «Скифов» — была обнаружена. К автору этой публикации она попала от старейшего библиографа Одессы, недавно отметившей 95-летие, Александры Николаевны Тюнеевой. С 1919 г. берегла она эту листовку, подобранную во время первомайской демонстрации на улице города, а недавно передала ее мне, в коллекцию прижизненных блоковских изданий.

Листовка представляет собой квадрат тонкой бумаги, на которой с одной стороны напечатан в две колонки текст «Скифов». Слева и справа — на полях листовки опубликованы призывы: «Первое мая — символ объединения трудящихся всего мира» и «Коммунизм — наше красное знамя, и священный наш лозунг — борьба». Под текстом поэмы обозначено: «Издание комиссии по устройству пролетарского праздника 1-го Мая» (см. с. 723).

Блок, как известно, с интересом следил за развитием авиации, посещал демонстрационные полеты. «О, стальная, бесстрастная птица, чем ты можешь прославить творца?»,— писал он. Но вряд ли Блок предполагал, что десятки тысяч листовок с его поэмами будут с аэроплана разбросаны над революционной Одессой 1-го мая 1919 г.

РЕЧЬ АНДРЕЯ БЕЛОГО ПАМЯТИ БЛОКА (1921 г.)

Публикация и комментарии С. С. Гречишкина и А. В. Лаврова
Предисловие А. В. Лаврова

«Мне кажется, что, кроме Андрея Белого, нет сейчас на земле человека, который мог бы дать характеристику Александра Блока»,—писал 24 января 1922 г. К. И. Чуковский матери Блока А. А. Кублицкой-Пиоттух [1]. Будучи к этому времени сам автором только что вышедшей в свет «Книги об Александре Блоке», Чуковский, безусловно, сформулировал свое мнение со всей ответственностью, хорошо понимая значение свидетельств Андрея Белого для уяснения жизненного пути и творческого облика недавно умершего поэта.

Ровесник Блока и один из самых близких ему людей, писатель, чей масштаб дарования и творческих достижений сопоставим с блоковским, духовный спутник его начиная с самых первых шагов на литературном пути, Белый действительно имел бо́льшее внутреннее право писать и говорить о великом поэте, чем кто-либо другой из его современников. По сей день «Воспоминания о Блоке» (1922) Андрея Белого остаются ценнейшим источником сведений о поэте, несмотря на обилие введенных позднее в читательский оборот документальных материалов и исследовательских разысканий. Их значительность — не только в живом и подробном воссоздании многих эпизодов общения с Блоком, не только в неповторимо-своеобразном мастерстве Белого-мемуариста, но и в глубине и точности постижения внутреннего мира Блока. В отношении Белого к Блоку нет ничего общего с позицией стороннего, хотя бы и внимательного, наблюдателя. Блок изображается Белым как бы изнутри, романтическое мироощущение поэта созвучно его собственному творческому кредо вплоть до мельчайших особенностей, которые не в состоянии был бы уловить и охарактеризовать кто-либо другой. В воспоминаниях Белого рельефно вырисовывается во всем своем эпохальном значении «одинокая, мужественная, скорбная фигура Блока», как писала в 1922 г. М. С. Шагинян, и при этом «всюду проступающий, ясный и чистый образ, строгий образ Блока сам собою побеждает всякие схемы» [2] — те схемы, к которым порою прибегал Белый, чтобы истолковать и связать воедино противоречивые стороны творческого облика покойного поэта.

Над воспоминаниями о Блоке Белый начал работу в первые же недели после его смерти. Уже в октябре 1921 г. состоялись два заседания Вольной философской ассоциации («Вольфила»), которые были посвящены целиком рассказу Белого о встречах с Блоком. Стенограмма этих заседаний легла в основу «Воспоминаний об Александре Александровиче Блоке» Андрея Белого, опубликованных в шестом выпуске альманаха «Записки мечтателей» в 1922 г. Более краткая редакция «Воспоминаний» Белого появилась во втором сборнике «Северные дни». Однако еще до начала работы над мемуарами Белый предпринял несколько попыток итоговой, суммарной характеристики творчества Блока — в некрологе, напечатанном в «Записках мечтателей» [3], и в публичных выступлениях памяти поэта.

28 августа 1921 г. состоялось 83-е открытое заседание Вольной философской ассоциации, посвященное памяти Блока. Вел заседание Андрей Белый, председатель «Вольфилы», он же произнес большую вступительную речь. Выступление Белого вызвало огромный резонанс у аудитории. Большой зал Географического общества в Петрограде, где происходило заседание, был переполнен. В связи с этим выступлением Конст. Эрберг (соратник Белого по «Вольфиле») вспоминал: «Импровизационно-творческая стихия создавала в Белом возможность быть хорошим оратором, притом оратором превосходным, обладавшим звучным, гибким голосом <...> Я помню, как потряс он огромный, переполненный зал Географического общества своей речью, посвященной памяти Блока» [4]. Белый записал на следующий день после заседания: «Публика тихо, серьезно и внимательно слушала. Говорили, что стиль заседания был настоящий» [5].

Выступление Белого в «Вольфиле» было опубликовано по стенограмме заседания, вышедшей в свет отдельной книгой [6]. Одним из первых Белый ясно и определенно сказал о Блоке как о величайшем поэте своей эпохи: «Россия потеряла своего любимого поэта, который был тесно сплетен с нею. Современность потеряла своего наиболее чуткого сына». В своей речи Белый прослеживал важнейшие мотивы творчества Блока и основные вехи его поэтической эволюции, стремясь нащупать «связующий нерв» между юношеской лирикой и революционными произведениями поэта. Считая Блока прежде всего поэтом-философом, „конкретным философом", Белый поставил задачей «рассмотреть мир его Музы в русле имени этой Музы, как организующего начала его „фантазийных" стихий» [7], в связи с поэтическими символами Вл. Соловьева, а также Данте и Гете. Масштаб и направление творческих исканий Блока, согласно Белому, вполне выдерживают эти сопоставления. Касаясь темы России у Блока, Белый подчеркнул ее чуждость всяческим проявлениям национализма и созвучие началам «духовного скифства», которое связует Блока «с судьбами русского народа, с судьбами народа, призванного примирить Восток и Запад, создать условия действительного братства народов» [8].

Опубликованный текст выступления был безусловно не в состоянии передать всей патетической импровизационной стихии речи Белого, покорившей слушателей. «Печатное слово не восстанавливает живых и взволнованных интонаций говоривших и того трепетного, необычайного состояния духа, которое их объединяло»,— свидетельствует Д. Е. Максимов, вспоминая о блоковском заседании «Вольфилы» и о выступлениях Иванова-Разумника, А. З. Штейнберга и Андрея Белого, чей ораторский дар производил поистине «ослепительное действие»: «Мне долго казалось, да и теперь кажется, что эта речь Белого по своему духовному подъему, по власти и силе звучащего слова, по глубине дыхания была выше всех речей, которые мне когда-либо приходилось слышать ‹...› В этой речи все сливалось в единство — и самый ее текст, и стихотворные цитаты,— но во главе этого единого организма речи стоял такой же единый, цельный, несоизмеримый с окружающим образ экстатического поэта-мыслителя» [9].

Огромный успех заседания в Петрограде побудил Белого к организации аналогичного собрания в Москве. В сентябре 1921 г. он участвовал в создании московского отделения «Вольфилы» и был избран его председателем. 26 сентября под эгидой этой ассоциации состоялось заседание памяти Блока. Сам Белый зафиксировал: «Публичное заседание „Памяти Блока" от В‹ольной› ф‹илософской› а‹ссоциации› и «Скифов» в Политехнич‹еском› музее. Председательствую. Говорю речь» [10]; «Участвую в публ‹ичном› засед‹ании›» «*Скифы о Блоке*» (Штейнберг. Иван‹ов›-Раз‹умник›, я, Мстиславский и др.)» [11].

Другие участники заседания — А. З. Штейнберг и Иванов-Разумник — были соратниками Белого по «Вольфиле»; Ивановым-Разумником и С. Д. Мстиславским был написан «Манифест», предпосланный первому сборнику «Скифы» (1917). К идеям «скифства» чрезвычайно тяготел Блок. «Скифская» концепция революции как очистительной бури, как стихийного «мирового пожара», уничтожающего косный старый мир, «скифская» максималистская устремленность к «революции духа», провидимой за горизонтами свершавшейся социальной революции, были глубоко созвучны Блоку «Двенадцати» и «Скифов». В этом отношении Белый и другие «скифы» по праву осознавали себя в основных мотивах мироощущения единомышленниками Блока. «Скифские» воззрения, не лишенные анархо-утопической, романтической окраски, при всем их максимализме и при всей антибуржуазности оставшиеся достаточно далекими от реальных жизненных проблем, преобладают и в выступлениях Белого; они подкрепляются историософскими представлениями об извечном духовном противостоянии «Востока» и «Запада», двух метафизических полюсов, относительно которых осмысляется судьба России. Блок-«скиф» при этом закономерно предопределен всем пройденным путем поэтического и духовного становления: уже в его раннем творчестве для Белого отчетливо различимы те вехи, по которым пойдет формирование зрелого Блока и которые обусловят появление его вершинных созданий. Поэтому понятно то пристальное внимание, которое уделяет Белый «Стихам о Прекрасной Даме» и даже еще более ранним произведениям Блока, характеризующим наступление «эпохи зорь» и тех романтических упований, которые, определившись на рубеже веков, по-новому отзовутся в стихах о России, а затем в «Двенадцати» и «Скифах». Творчество Блока, по концепции Белого,— единое и цельное произведение, финал которого уже во многом предсказан началом.

В сравнении с петроградской речью московское выступление Белого памяти Блока было ориентировано на более широкий круг слушателей, чем «вольфильцы» и их окружение, в нем сильнее акцентируется попытка сделать творческий путь Блока понятнее и созвучнее идеям нового времени. В данном случае Белый выступал не перед своей привычной аудиторией, и в речи заметно стремление перевести отдельные положения своей концепции Блока, в особенности те, которые затрагивают философскую и мистическую проблематику его раннего творчества, на общедоступный язык. Эти акценты станут впоследствии преобладающими в многочисленных выступлениях Белого, посвященных поэзии Блока и воспоминаниям о нем [12]. И в то же время в речи рельефно вырисовывается личность самого Белого: характеристика поэтического пути Блока во многом поверяется и корректируется историей его собственного духовного самоопределения. Белому важно подчеркнуть сходство их изначальных творческих импульсов, и этим также объясняется вынесение на первый план юношеской лирики Блока — лирики той поры, когда родство настроений двух начинающих поэтов было наиболее близким, а их взаимопонимание и даже духовное «братство» — самым безусловным. И наоборот, в тени остается Блок «второго тома» своего собрания стихотворений, Блок в эпоху переоценки унаследованных от Владимира Соловьева мистических устремлений, когда его отношения с Белым приобрели напряженно-конфликтный характер и завершились открытым разрывом.

Отдельные положения московской речи были развиты затем Белым в «Воспоминаниях о Блоке» (более всего — в той их редакции, которая была напечатана в сборнике «Северные дни») [13].

Текст речи Белого на вечере памяти Блока 26 сентября 1921 г. воспроизводится по стенограмме, выправленной Белым и сохранившейся в его архиве (ЦГАЛИ, ф.53, оп.1, ед. хр.91, лл.20—33), с небольшими сокращениями и добавлениями цитат из стихотворений Блока, в стенограмме опущенных.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Звезда», 1972, № 8, с. 194 (публикация Л. Крысина).

[2] Мариэтта Шагинян. Собр. соч. в 9 т., т. 1. М., 1971, с. 734—735.

[3] «Записки мечтателей», № 4, Пб., «Алконост», 1921, с. 8—10; ЛН, т. 92, кн. 3, с. 791—792.

[4] «Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1977 год». Л., 1979, с. 115—116.

[5] ЛН, т. 92, кн. 3, с. 804.

[6] Памяти Александра Блока. Андрей Белый. Иванов-Разумник. А. З. Штейнберг. Пб., 1922.

[7] Там же, с. 5, 7.

[8] Там же, с. 27.

[9] Д. Максимов. О том, как я видел и слышал Андрея Белого. Зарисовки издали.— «Звезда», 1982, № 7, с. 171, 172.

[10] Андрей Белый. Себе на память.— ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 96, л. 15.

[11] Андрей Белый. Материалы к биографии. 1919—1927 гг.— ЦГАЛИ, ф. 53, оп. 1, ед. хр. 98.

[12] Ср., напр., газетный отчет о выступлении Белого на вечере памяти Блока 20 февраля 1924 г. в Политехническом музее: «Он был всегда не понят — этот самый одинокий, но и самый любимый поэт за известный период русской культуры. Белый указывает на огромное значение его в смысле общественном: у него была «протянутость» к массам, порыв к народу, но он был заслонен от масс интеллигентскими кружками того времени <...> Блок был, несомненно, выразителем подлинного кризиса современности, и в своих субъективных переживаниях он являлся рупором коллективов, бурно идущих наперекор своему времени» (Б. Бобович. Андрей Белый о Блоке.— «Вечерняя Москва», 1924, № 44, 21 февраля).

[13] «Северные дни». Сб. II. М., 1922, с. 131—155. Воспоминания датированы: «Октябрь 1921 г. Москва».

РЕЧЬ АНДРЕЯ БЕЛОГО НА ВЕЧЕРЕ ПАМЯТИ БЛОКА

26 сентября 1921 г.

Товарищи, мы собрались чествовать память А. Блока. Вот по поводу характера этого чествования хотел бы я, открывая заседание, сказать несколько слов. Много раз уже повторялись вечера, посвященные памяти Блока. Многообразны подходы к опочившему поэту. Блок как поэт — отчего же не тема? Но, товарищи, поэзия есть целая планета со своими материками, со своими странами света. Чествовать Блока как поэта вообще можно, но это общо. Еще более неудовлетворительны те формы чествования, которые целостность творчества Блока раскрамсывают на части. То, что нас, участников собрания, объединяет, является отношением к Блоку как к поэту — «нашему», народному, любимому. Мы не являемся какой-нибудь литературной или политической, или даже идейной организацией. Среди участников сегодняшнего вечера находятся представители Вольной философской ассоциации, стало быть — вольные философы; находятся и представители левого народничества; находятся и представители того идеологического течения, которое прорастает в страшных годах русской жизни и которое медленно ощупывает свое самосознание, находя в образе «скифа» символ своих устремлений. Из этого вовсе не следует заключать, что мы, люди Вольной ассоциации, являемся какой-то организацией. Наоборот: мы работаем в разных плоскостях. В сегодняшних речах мы будем подходить к поэту с различных точек зрения, мы не ответственны друг за друга. Мы ответственны, может быть, только в одном — поскольку мы Блока считаем нашим. И я думаю, что выражу мнение наших товарищей, здесь собравшихся, если я скажу, что мы считаем Блока *народным* поэтом. Это не значит — поэтом из народа, это не значит — поэтом национальным. Это не значит — поэтом народническим. Поэт из народа может быть и народным, и национальным поэтом; он может быть и народническим поэтом, но он может и не быть ни тем и ни другим. Кольцов есть поэт из народа; в Кольцове чувствуется дух целого. Он в каком-то отношении возвышается до народа. Некрасов же — поэт-интеллигент народнического направления; но опять-таки в Некрасове есть нота, которая возвышает его над определенной тенденцией; можно говорить о Некрасове как о поэте народном. Поэт национальный — что есть? Национализм есть абстракция; это — рассудочное ощупывание задач народа; и — писание в духе этих задач. Таким поэтом можно назвать А. Толстого. Вот национальный поэт, но он не народник, не поэт из народа; и менее всего — народный поэт. Когда я говорю — народный поэт, я разумею нечто большее, чем обычно влагается в эти слова. Я разумею того, кто выражает не отдельный класс, не отдельные части, а целый народ. Среди таких народных поэтов, связанных с душою народа, могут быть и поэты, превышающие народ (поэты мирового масштаба), и поэты, отображающие лишь душу народа. Таким поэтом был А. Блок. Имя его — вне партий, вне литературных течений сегодняшнего, вчерашнего или завтрашнего дня, вне эстетических критериев, вне истории литературы; он связывается с душою народа; и можно сказать: имя Блока становится нашим родным именем, таким же родным, как имена Льва Толстого, Достоевского, Тютчева, Пушкина. С этим масштабом, думается мне, хотели бы мы подойти к Блоку. Вот то единственно кровное, что нас объединяет в сегодняшнем собрании. Вот то, что я хотел бы сказать, открывая заседание.

Когда рассматриваешь творчество поэта в его целом, надо прежде всего нащупать то основное зерно, из которого выветвляются все творчество, все образы; тот поэт не выдерживает разбора, который не обнаруживает внутреннего зерна; тот критик оказывается поверхностным, который в поэте не вскроет зерна. Подходя к Блоку, следует взглянуть с птичьего полета на все стадии его творчества, обозреть многообразие или даже взаимную несоизмеримость всех его тем; и сквозь них нащупать зерно. Ныне иные говорят: Блок когда-то был поэтом; потом — перестал им быть; так же говорили о Пушкине, когда Пушкин писал свои лучшие произведения. Или говорят: мы берем Блока революционной эпохи. Мы берем Блока «Двенадцати» и «Скифов». Мы не считаемся со «Стихами о Прекрасной Даме»; когда-то де он был мистиком; после же сбросил с себя романтизм, углубился в конкретность; и в нем, наконец, пробудились гражданские ноты революционной поэзии. Кто так говорит о Блоке, тот не понимает поэта. Надо поставить себе вопрос так: Блок мог написать несколько гражданских стихотворений, которые в свое время были выразителями огромных моментов в жизни России, именно потому, что он некогда написал стихи о «Прекрасной Даме». Блок потому-то и мог написать «Скифов», что им написано «Куликово Поле». Подходя с таким себе поставленным требованием к поэту, невольно видишь, что эти истоки его творчества коренятся не только в сумме напечатанных в трех томах стихов, а в том целом, что их подстилает. Блок не был поэтом в обычном смысле этого слова; он был одновременно и конкретным философом: очень многие из вас, вероятно, читали «Стихи о Прекрасной Даме», но очень немногие знают: за этой книгой стоит сложная идеология, искавшая с каким-то мечтательным дерзновением своего осознания. Я вижу: собравшиеся здесь — главным образом молодежь; им трудно перенестись в эпоху возникновения «Стихов о Прекрасной Даме». Кто сознательно и глубоко переживал перелом в душевном и отчасти общественном настроении между 98—99 и 900—901 гг., тот знает: весь стиль жизни изменился тогда; изменился и стиль исканий, стиль красок полотен художников, стиль слова, каким поэты старались конкретизировать свои переживания. Поэты суть выразители коллективов; надо поставить вопрос: *какой* коллектив выражал Блок, когда писал стихотворения в роде *:

‹Предчувствую Тебя. Года проходят мимо —
Все в облике одном предчувствую Тебя.

Весь горизонт в огне — и ясен нестерпимо,
И молча жду,— *тоскуя и любя.*

Весь горизонт в огне, и близко появленье,
Но страшно мне: изменишь облик Ты,

И дерзкое возбудишь подозренье,
Сменив в конце привычные черты.

О, как паду — и горестно, и низко,
Не одолев смертельныя мечты!

Как ясен горизонт! И лучезарность близко.
Но страшно мне: изменишь облик Ты.›

Что это было — религиозная идеология, или вообще лирическая невнятица, или стилизация, повторение стиля старинных сонетов Данте? Нет, товарищи, нет. Именно в то время в передовых слоях русского общества происходила глубочайшая смена мироощущений эпохи пессимизма, мировой скорби, эпохи пассивности и некоторого разложения, которые инспирировали Чехова, серенькие

* Далее зачеркнуто: «*Предчувствую Тебя...*» (*вставка 1*). Приводим стихотворение Блока, цитированное Белым (I, 94).

тона в его драмах, которые инспирировали Левитана и Бальмонта в его первых книгах. Полный разрыв между духовными и внутренними переживаниями и окружающей действительностью,— вот чем определялся стиль эпохи. В 900 г. все изменяется. Чувствуется, что идет какое-то будущее, какая-то огромная эпоха, чувствуется тревога и неизвестность в атмосфере. «Скучно жить, и завтра — как вчера» [1],— вот стиль эпохи царствования Николая II. «Что день грядущий нам готовит» [2], вот стиль 900, 901 и 902 гг. И вы видите, как на поверхности искусства — в красках, в словах — все это меняется. Вы видите, когда вы идете на картинные выставки, как меланхолические пейзажи русских передвижников сменяются какими-то напряженными ожиданиями, Васнецов выставляет своих «Богатырей» [3]. Бальмонт после «Тишины» и «В безбрежности» пишет «Горящие здания» [4]. Влад. Соловьев углубляется в свои заостренные религиозные искания, и чувствуется, что вместо прозаической жизни идет «Дионис» [5].

И вот впервые этот мир ощущений прорывается и находит отклик в русской интеллигенции, чувство напряженности обостряется, и будущая политическая борьба в поэзии начинает по-разному отражаться. Если мы возьмем Блока 1898 г.— то что мы увидим? Что эти серенькие тона, это чувство безнадежности и тоски доминируют в его стихотворениях *.

‹Пусть светит месяц — ночь темна.
Пусть жизнь приносит людям счастье,—
В моей душе любви весна
Не сменит бурного ненастья.
Ночь распростерлась надо мной
И отвечает мертвым взглядом
На тусклый взор души больной,
Облитой острым, сладким ядом.
И тщетно, страсти затая,
В холодной мгле передрассветной
Среди толпы блуждаю я
С одной лишь думою заветной:
Пусть светит месяц — ночь темна.
Пусть жизнь приносит людям счастье,—
В моей душе любви весна
Не сменит бурного ненастья.›

И потом, в 1900 году, когда наиболее чуткие и, быть может, лучшие выразители духа времени почувствовали эмпирически, физиологически какие-то поднимающиеся тучи из будущего, когда будущее стало ощущаться каким-то особым физиологическим органом, то сразу это ощущение тревоги и сквозь нее растущих зорь стало прорываться и прорывать серенькие пейзажи. Картины меланхолические, серенькие сменились картинами с ослепительными зорями. И в поэтическом пейзаже того времени произошло то же: по-различному оформились эпизоды, они оформились и в философских и моральных исканиях, которые так или иначе хотели связать вечность. Это была эпоха образования первых религиозно-философских обществ [6]. С одной стороны — группировались ницшеанцы; с другой — росли политические партии, марксизм получал все большую устойчивость. Эта активность возрастала, и вместе с тем возрастали требования. И Блок 1899-го года пишет стихи на тему «Гамаюн, птица вещая». В этих стихах на заре нового столетия уже проходят в эмбриональном виде все его искания **.

---

* Далее зачеркнуто: «*Пусть светит месяц...*»; знак вставки. Приводим стихотворение Блока, цитированное Белым (I, 3; датировано: «Январь 1898»).

** Далее — знак вставки. Приводим стихотворение «Гамаюн, птица вещая (Картина В. Васнецова)», цитированное Белым (I, 19).

(На гладях бесконечных вод,
Закатом в пурпур облеченных,
Она вещает и поет,
Не в силах крыл поднять смятенных...
Вещает иго злых татар,
Вещает казней ряд кровавых,
И трус, и голод, и пожар,
Злодеев силу, гибель правых...
Предвечным ужасом объят,
Прекрасный лик горит любовью,
Но вещей правдою звучат
Уста, запекшиеся кровью!..)

Если принять во внимание, что это стихотворение написано в 99-м году, то можно сказать, что в этом стихотворении поэт предощущал заранее и зори, и страшные годы, которые потом развертывались в пятилетия. Здесь все: и какая-то особая притягательная сила в этой птице — Гамаюне, которая зовет к чему-то новому. И чувствуется, что это новое сквозь тернии, сквозь испытания будет прорастать. И характерно, что это был год, в который Вл. Соловьев написал свою «Деву обиду» [7]. Здесь Блок перекликнулся с Соловьевым. И вот наступает 900-й год. Блок в заметке, оставленной им после смерти, бросает такую фразу, что в 1899-м году он в последний раз отдавался стихиям, и пишет, что он вообще отдавался стихийно, т. е. целиком переживаниям времени [8]. И вот в 900-м году Блок с той же стихийностью входит в дух времени, он чувствует, что оканчивается старая эра, что новая заря поднимается, что какое-то громадное культурное единство идет из будущего. Но как он оформляет это культурное единство? Товарищи! в 1901 г. скончался Влад. Соловьев [9], оставивший огромную религиозную философию, где с высоты древней гностики он пытался сделать разрез нашей действительности. В то время эта философия была чрезвычайно оригинальной и многим она казалась совершенно неприемлемой. В то время некоторые из так называемых первых соловьевцев поняли, что эта система не есть отвлеченная, метафизическая, что эта система пытается ответить на вопрос — как органически оформить жизнь в свете религиозных исканий. Соловьев делает целый ряд добавлений и поправок. Он выдвигает даже новые догмы, он пытается вскрыть, что София-Премудрость, что новая мудрость исходит с неба на землю: человек соединяется со стихией мудрости, и эта стихия мудрости приурочивается человеческим сознанием к невесте, как тот образ философии, к которому обращен был Данте и о котором он писал, что у нее глаза полны лазури [10]. И вот об этом образе Вечности, сходящем с неба на землю, Соловьев писал: «Знайте же: вечная женственность ныне в теле нетленном на землю идет. В свете немеркнущем новой богини Небо слилося с пучиною вод» [11]. Друзья Соловьева не обратили внимания на то, что из этого вытекают совершенно конкретные следствия. И вот Блок в этом смысле первый конкретизатор философии Соловьева. Блок как поэт в своих темах является действительно единственным выразителем требований Соловьева. В то время как академические друзья философа начинают брать его в плоскости метафизической, Блок подхватывает тему стихов у Соловьева и ощущает Душу мира, как бы спускающуюся в человечество новой эпохи. Мы можем под ней разуметь разное — всякий может вкладывать свое; Блок видит это новое в образе «Прекрасной Дамы». Блок сознательно изучил философию Соловьева и конкретно пытался провести ее в жизнь, сделать из нее максимум революционных выводов. Об этом явствует целый ряд его писем и целый ряд теоретических рассуждений о том, как понимает он «Прекрасную Даму». В переписке со мною подробнейшим образом характеризует он, что та муза его, к которой он обращается — «Россия» с большой буквы,— в плоскости религиозной может являться в двух аспектах: «Софии», конкретной Премудрости, сходящий в человечество, и в догматически историческом разрезе — она есть

Богоматерь [12]. И вот если мы возьмем все творчество Блока, мы увидим, как этот образ раскрывается, так сказать, в трех плоскостях. Человек есть дух, и внешне духовным этот образ у Блока себя отражает в первом томе. Конечно, товарищи, для того, чтобы понять всю серьезность тогдашних исканий Блока, надо быть посвященным в очень сложные философские темы! Я хочу сказать, что у Блока этот образ его музы отображался, как образ Софии-Премудрости. В *душевном* мире эта София-Премудрость, как у древних гностиков и у Вл. Соловьева, отображалась в образе Души мира; и в плане *физическом* она отображалась как чистая девушка, как Беатриче Данте. Когда мы берем Данте, мы видим, что Данте в Чистилище встречает девушку — Премудрость, которая ведет его в высокие сферы [13]. Эта девушка, в которую он был влюблен. И Фауст Гете, который во 2-й части вырывается из рук Мефистофеля, посвящается в духовном мире в тайны божественной, вечной женственности, встречает там образ Маргариты, той Маргариты, которую он искал в жизни и с которой в прошлом имел самый легкомысленный, внешний роман. Все равно — Маргарита ли, не узнанная Фаустом, Беатриче ли Данте в образе невесты, чистой девушки, в которой отражается как в зеркале сияние мировой души. Мы видим: вся лирика Блока обращена к ней. В первом томе его стихов мы имеем какой-то луч божественности, и эта космическая душа открывается в индивидуальном сознании. Письма Блока опять-таки говорят об этом: Блок писал, что противоположности сходятся, и она есть новое откровение новой эры. Она, скорее, в отдельных душах, говорит через индивидуальное сознание, так что трудно нам осознать ее как коллектив, как народ. Впоследствии, как мы увидим, Блок приходит к другому, но в начале он так говорит: вот человек, и вот какое-то мировое единство, которое мистически открывается индивидуальному сознанию в образе Прекрасной Дамы. Позднее это мировое единство в душевном мире открывается в образе Богоматери. Это — «Божья Матерь „Утоли мои печали“» [14]. Это отражается и в воине, который, предчувствуя будущие грозы России, символически отображенные в гуле далекого нашествия татар, просыпается и вокруг слышит гул и говорит *:

‹И с туманом над Непрядвой спящей,
Прямо на меня
Ты сошла в одежде, свет струящей,
Не спугнув коня.

Серебром волны блеснула другу
На стальном мече,
Освежила пыльную кольчугу
На моем плече.

И когда, на утро, тучей черной
Двинулась орда,
Был в щите Твой лик нерукотворный
Светел навсегда›

В 3-м томе она отображается уже не как душа мира. Блок начинает понимать, что без осознания более мелких коллективов, каковым является народ, конкретно пережить ее невозможно, и поэтому в 3-м томе она открывается как душа народа, как Россия, но так, что в этой России есть действительно некое органическое единство, которое вклиняет себя, свою жизнь в отдельных русских. И вот он, Блок, прислушивается к ее голосу, она ему — мать, невеста, жена. Он Россию называет женой, и так же, как Гоголь, он с совершенно единственной

* Далее — знак вставки; карандашная помета на полях: «III, 229». Приводим цитированный отрывок из третьего стихотворения цикла «На поле Куликовом» («В ночь, когда Мамай залег с ордою...»), помещенный на соответствующей странице собрания стихотворений Блока, которым пользовался Белый (Александр Блок. Стихотворения, кн. III. М., «Мусагет», 1916, с. 229).

нотой обращается к народу, и притом он становится народником внутренним в очень глубоком смысле слова, не в духе политическом, но в духе ощущений — как говорил Достоевский — матери сырой земли [15], т. е. она действительное отображение какого-то законченного внутреннего лика. Нельзя прийти ко всему человечеству, нельзя прийти к интернационализму, к братству, содружеству наций, минуя народ ⟨. . .⟩ Эта точка зрения требует, чтобы действительно душа народная была внутренне отображена. Блок становится именно потому народным поэтом, что к душе народа он подходит с огромной высоты, с философского задания вопроса: Что такое душа народа? В чем ее суть? Может ли она пониматься этнологически? Или душа народа есть действительно некоторая органическая основа, органическая целостность, в которую каждый русский вплетен, как ее член, в какое-то целое, имеющее свой собственный лик. И, наконец, в 3-м томе отображается эта душа народа в каждой русской женщине. Поэтому в 3-м томе звучат ноты исключительной нежности, исключительной трогательности, любви и жалости, когда Блок подходит — все равно к кому,— к той ли, которая задавлена жизненным колесом [16], к цыганке ли в ресторане [17], к проститутке ли — все равно он чувствует в каждой русской женщине отображение русской народной души, и в отображении народной души — отображение самого женственного начала — Божества, то отображение, которым кончается великая драма Гете, великая мистерия — «Фауст».

Возникает вопрос: почему же Блок переменился, почему он не остался один и тот же. И тут и там, и народник и мистик, он имеет один центр, один лик своей Музы, и если мы возьмем персонажи его стихов, то опять-таки увидим, что эти персонажи всегда какой-то «он», какая-то «она» и какое-то третье лицо, какое-то хоровое начало. Как бы ни переживались эти персонажи, они вычеканиваются из всех стихов Блока. Блок именно потому большой поэт, что независимо от вопроса, хорошо ли он писал или дурно, он потому поэт, что эти 3 томика суть 3 акта, связанные внутренней драмой, что от первого до последнего мы видим развитие все той же темы, все той же углубляющейся драмы, жертвой которой пал сам он. И теперь мне хотелось бы бросить взгляд на этого поэта и в двух словах проследить основные этапы и метаморфозы этой единственной темы, от стихотворений «О Прекрасной Даме» до «12-ти» и «Скифов». Именно в ту эпоху, когда рождались молодые надежды, новое художественное направление, когда многие лозунги идеологически впервые выбросились, именно в ту пору, в год смерти Соловьева, который до Блока был наиболее ярким выразителем темы Блока, именно в этот год, даже месяц смерти Соловьева, первый из русских поэтов подхватывает эту тему. Еще в 1899 г. он пишет «Земля мертва, но вдали рассвет...» [18], а уже в 900 г. звучат такие ноты * ⟨...⟩ Вскоре после этого он в первый раз пишет: «То бесконечность пронесла над падшим духом ураганы, то Вечно-Юная сошла в неозаренные туманы» [19], т. е. вечный дух спускается в неозаренный туман, и, стало быть, впереди нас ожидает какое-то новое время с новыми заданиями. Уже в конце осени 900-го года нарастает это настроение тревоги и кончается **:

⟨Там сходишь Ты с далеких светлых гор.
Я ждал Тебя. Я дух к Тебе простер.
В Тебе — спасенье!⟩

---

* Далее зачеркнуто: «*Опять глухая ночь...*»; знак вставки. Возможно, Белый цитировал здесь строки стихотворения Блока, датированного 10 июня 1900 г.:

На небе зарево. Глухая ночь мертва.
Толпится вкруг меня лесных дерев громада,
Но явственно доносится молва
Далекого, неведомого града. (I, 49)

** Далее зачеркнуто: «*Там сходишь ты с далеких гор...*»; знак вставки. Приводим заключительные строки стихотворения Блока «Ищу спасенья...» (22 ноября 1900 г.; I, 68), цитированные Белым.

В 1901 г. эпоха нарастания и высшего напряжения этой темы. 4-го июня 901 г. он пишет стихотворение, которое открывает его знаменитый цикл, посвященный «Прекрасной Даме» *: ⟨...⟩.

И вот начинается этот знаменитый цикл. Когда мы изучаем пейзаж и краски, как он рисует, мы видим, что и краски и пейзаж отвечают краскам и пейзажу Вл. Соловьева. Но у Соловьева не пейзаж, а изображение, символ каких-то чаяний. Это есть отображение целого сложного душевного мира, под которым таится организация будущих образов. Когда мы анализируем слова и краски поэта, мы поступаем, как врач, который ощупывает пульс. Какие-то признаки внешние соответствуют какому-то органическому процессу. Вот об этом органическом процессе творчества Блока я и хочу сказать два слова. Вл. Соловьев изобразил свою музу лазурью и золотом [20], и Блок говорит **: ⟨...⟩

Мы видим, что Соловьев является его инспиратором и философски-поэтическим возбудителем в этот период. Но Блок идет дальше. Он говорит, что раз Она идет и спускается на землю, то Она раскроется в ближайших годах. Он ждет ее схождения. И вот ожидание новых слов, новых событий сглаживает перспективу, и вместо золотой краски у него является сгущение ***.

⟨Бегут неверные дневные тени.
Высок и внятен колокольный зов.
Озарены церковные ступени,
Их камень жив — и ждет твоих шагов.

Ты здесь пройдешь, холодный камень тронешь,
Одетый страшной святостью веков,
И может быть, цветок весны уронишь
Здесь, в этой мгле, у строгих образов.

Растут невнятно розовые тени,
Высок и внятен колокольный зов,
Ложится мгла на старые ступени...
Я озарен — я жду твоих шагов.⟩

В этом приближении, в этом экстазе чувствуется какое-то подчас хлыстовское настроение. Вот в этом преждевременном приближении образа, который для него является образом новой культуры, чувствуется, что предстоят испытания. Потому что в самом деле, с одной стороны, она спускается на землю, с другой стороны, Беатриче рисуется все более и более мистически, как будто наступает момент, когда «она» с маленькой буквы станет Она с большой; когда Она с большой буквы станет так, как стоит образ Беатриче. В том, что Блок предупредил время, пережил преждевременно, может быть, далекие горизонты, которые в столетиях будут развертываться, лежит начало того кризиса, той катастрофы, которая составляет переход. Потому что вслед за этой нотой начинается нота раздвоения ****:

⟨Сбежал с горы и замер в чаще.
Кругом мелькают фонари...
Как бьется сердце — злей и чаще!..
Меня проищут до зари.

Огонь болотный им неведом,
Мои глаза — глаза совы.
Пускай бегут за мною следом
Среди запутанной травы.

---

* Далее зачеркнуто: «*Предчувствую Тебя...*»; знак вставки. Белый вторично цитировал стихотворение Блока «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо...». Этим стихотворением открывается цикл Блока «Из посвящений» в журнале «Новый путь» (1903, № 3).

** Далее — знак вставки. Неясно, какое стихотворение Блока, варьирующее соловьевские образы «лазури» и «золота», цитировал здесь Белый. См., например, стихотворения «Не сердись и прости. Ты цветешь одиноко...» (I, 97), «Она росла за дальними горами...» (I, 103), «Признак истинного чуда...» (I, 116) и др.

*** Далее — знак вставки; карандашная помета на полях: «*Я озарен*». Приводим стихотворение Блока, цитированное здесь Белым (I, 156).

**** Далее зачеркнуто: «когда он постоянно обращается к какой-то горе и вдруг сбежал с горы»; знак вставки. Приводим стихотворение Блока, цитированное Белым (I, 206).

Мое болото их затянет,
Сомкнется мутное кольцо
И, опрокинувшись, заглянет
Мой белый призрак им в лицо.›

Какая-то часть сознания Блока сбежала с горы, другая же часть осталась на горе, но потеряла какую-то конкретность, и с этого момента действительно в лирике Блока, в его мужских персонажах начинается раздвоение, я бы сказал образно: одна часть бежит в мглу мутной жизни и, прикоснувшись ко всем благам, начинает конкретизировать их, а другая половина сознания теряет духовную конкретность и становится абстрактной. Об этом мы все время читаем у Блока. Абстракция и чувственность — вот на что разрывается конкретность мистики Блока, и это душевное раздвоение мы можем проследить через все три тома. Мы видим это в целом ряде стихотворений трех томов. То является это в прожигателе жизни, который на Елагином мосту проскакивает на тройке и потом горестно опохмеляется [21], а другой не верит в конкретность мечты и называет ее прекрасной дамой. Пейзаж второго тома — туман, ржавые болота, гнилая вода, осень, увядание. В этом пейзаже, где ее образа нет в раздвоенном сознании Блока, она ушла в область мечты, которая никогда не спустится на землю. О ней поэт говорит *:

‹Ты в поля отошла без возврата.
Да святится Имя Твое!
Снова красные копья заката
Протянули ко мне острие.

Лишь к Твоей золотой свирели
В черный день устами прильну.
Если все мольбы отзвенели,
Угнетенный, в поле усну.

Ты пройдешь в золотой порфире —
Уж не мне глаза разомкнуть.
Дай вздохнуть в этом сонном мире,
Целовать излученный путь...

О, исторгни ржавую душу!
Со святыми меня упокой,
Ты, Держащая море и сушу
Неподвижно тонкой Рукой!›

Это говорит тот, кто прежнюю духовную конкретность рассматривает как мечту. А другой, тот, у кого глаза совы и кто сбежал с горы, кто бегает по ресторанам, кто мчится на тройке, он говорит **:

‹Ты смела! Так еще будь бесстрашней!
Я — не муж, не жених твой, не друг!
Так вонзай же, мой ангел вчерашний,
В сердце — острый французский каблук!›

Вот это звучит уже незнакомкой со страусовыми перьями, и эта незнакомка неизвестно кто. Мы видим, что Блок раздваивается, что он не может жить без этой мечты, что она не может быть доступна внутреннему восприятию человека. И по мере того, как заканчивается для Блока внутреннее восприятие этого организующего единства мировой души, по мере того, как человечество во внешнем мире вычерчивается перед ним все больше и больше, мы видим, что он становится рыцарем интеллигенции, он приветствует революцию, и в его революционных стихах описывается интеллигент-«революционер».

Но Блок не удовлетворен. Социально-политическая революция вне духовной революции — такой же сон пустой. Еще задолго до 1908 г. он слишком остро переживал это единство, как открывающееся во внутреннем мире. Теперь он переживает это единство не как мировую душу, не как человечество, но идет дальше. В его внутреннем мире раздвоение этих частей расколовшегося сознания

---

* Далее зачеркнуто: «*Ты в поля отошла...*»; знак вставки. Приводим стихотворение Блока, цитированное Белым (II, 7).

** Далее — знак вставки; помета на полях: «*вонзай каблук*». Приводим заключительное четверостишие стихотворения Блока «Унижение», цитированное Белым (III, 32).

доходит до ужасных пределов. Незнакомка, это странное образование промежуточной эпохи, видоизменяется и является Блоку все в более страшном образе. Она является как мертвая невеста [22], но, умирая, она продолжает после смерти свою странную жизнь, и он видит образ ее в Клеопарте, в музее паноптикум [23]. Она становится образом его страшной музы. На внутреннем пути человека встречаются испытания, его душа предстает в самом страшном женском образе, его губящем. И Блок понимает, что это есть сошедшая с ума панна Катерина [24]. И это есть Россия. Здесь мы чувствуем, как Блок подходит к восприятию души народа, и что же Блок делает, как он поступает. Он встречает ее дикий образ и отвечает ей глубоко замечательным образом. Мы знаем его цыганские стихи, но мы не понимаем, что это такое *. ⟨...⟩ Внешним образом рисуется сценка в ресторане. Это есть жена, которую он любит, это есть та Россия, в которую он вкладывает душу. Тут начинается изумительнейший цикл стихотворений. Я скажу, что все прежние его пожелания заостряются, и в своей идеологии от Вл. Соловьева он подходит неизбежно к новому, быть может, восприятию тем философии Герцена, Бакунина. Блок становится чем-то кровно связанным с ними в левых революционных нотках. Связь его с левым народничеством не случайная, но не случайно Блок в 1908 г., написавший «Куликово Поле», где он предвидит опасности, грозящие России, перекликается и с Вл. Соловьевым. Тут и там ноты Востока и Запада, и тут и там он чувствует страшного колдуна русской жизни, и он — Русский с большой буквы, в котором душа народа выковала себя. Действительно, он выковывает то, что является внутренней жизнью России. В 1908 г. он пишет, кончая «Куликово Поле» и предчувствуя тучи будущего **:

⟨Но узнаю тебя, начало
Высоких и мятежных дней!
Над вражьим станом, как бывало,
И плеск и трубы лебедей.

Не может сердце жить покоем,
Не даром тучи собрались.
Доспех тяжел, как перед боем.
Теперь твой час настал.— Молись!⟩

В 1918 г. это для него уже факт. С Запада идет ⟨...⟩ какая угодно революция, но не духовная. С Востока идут гунны, и вот он обращается к западу сперва ***. ⟨...⟩ И вот его предложение — идите на Урал, о, неужели вы не откликнитесь на братский зов любви и мира. Все духовные переживания, все им вложено в переживания общественные. Будет ли Россия тем, чем она будет. Он кончает:

Идите все, идите на Урал! ****
⟨Мы очищаем место бою
Стальных машин, где дышит интеграл,
С монгольской дикою ордою!⟩⟩

Мы — скифы, которые любим и протягиваем объятия в последний раз, но сами мы отныне вам не щит. Стальной интеграл всякой государственности вдвинулся уже в пределы России, и дикая монгольская орда идет к границам России. Вся столкнувшиеся противоречия Востока и Запада, которые показывают, что товарищи еще не стали братьями, что какой-то рок России скрыт. И тут Блок встает как скиф, который предвидит в катастрофических годах русской жизни разрез линии всеобщей мировой катастрофы, как раз переходящей в русское ердце до дна, поднимая в нем давно забытые звуки, которые должны войти в

---

* Далее — знак вставки. Какое именно стихотворение цитировал здесь Белый, неясно.

** Далее помета в скобках: «*чит⟨ает⟩*». Текст заключительных четверостиший стихотворения «Опять над полем Куликовым...» (III, 252—253) восстанавливается по содержанию речи; возможно, что Белый приводил это стихотворение полностью.

*** Далее — помета в скобках: «*чит⟨ает⟩*». Неясно, какой именно отрывок из стихотворения «Скифы» (III, 360—362) цитировал здесь Белый.

**** Далее — помета в скобках: «*чит⟨ает⟩*». Приводим полностью цитированное Белым четверостишие из «Скифов» (III, 362).

современное сознание, чтобы это сознание пришло к последнему, чтобы Россия действительно была той Россией с большой буквы, к которой Блок обращается так молитвенно, которая есть душа народа и отражает в себе душу человечества, душу мира. Так в Блоке соединялся мистик и поэт «Прекрасной Дамы». Но ноты обрываются ⟨...⟩

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Первая часть фразы восходит к заключительным словам «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Н. В. Гоголя: «Скучно на этом свете, господа!»; вторая часть — к комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»: «День за день, нынче, как вчера» (действие III, явление 3; реплика Молчалина).

[2] «Что день грядущий мне готовит?» — строка из монолога Ленского в «Евгении Онегине» (гл. 6, XXI, 5).

[3] Картина «Богатыри» впервые экспонировалась в феврале 1899 г. на выставке произведений В. М. Васнецова в Петербурге, в залах Академии художеств.

[4] Книга стихов К. Д. Бальмонта «Горящие здания. Лирика современной души» (1900) открывала новый период в его творчестве, отмеченный активным и радостным приятием жизни; этим она контрастировала с основной тональностью предшествующих сборников — «В безбрежности» (1895) и «Тишина» (1898).

[5] Подразумевается образ Диониса и «дионисийское» начало в интерпретации Ницше. В России начала XX в. активнейшим истолкователем «дионисийства» был Вячеслав Иванов. В это время им были опубликованы статья «Ницше и Дионис» («Весы», 1904, № 5; вошла в его книгу «По звездам». СПб., «Оры», 1909), а также исследование «Эллинская религия страдающего бога», печатавшееся в 1904 г. в журнале «Новый путь» и завершенное в 1905 г. в журнале «Вопросы жизни» (№ 6, 7). См. также: В. М. Паперный. Блок и Ницше.— В кн.: Типология русской литературы и проблемы русско-эстонских литературных связей. Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. XXXI. Уч. зап. Тартуского гос. ун-та, вып. 491. Тарту, 1979, с. 84—106.

[6] Религиозно-философские собрания в Петербурге (первое состоялось 29 ноября 1901 г.) были посвящены в основном полемике по вопросам религии и церкви между представителями интеллигенции и ортодоксальным духовенством и попыткам разрешить их в связи с насущными современными проблемами. Собрания были запрещены 5 апреля 1903 г. в результате нападок консервативной и церковной печати.

[7] Имеется в виду стихотворение Вл. С. Соловьева «Две сестры. Из исландской саги» («Плещет Обида крылами...»), датированное 3 апреля 1899 г. (Вл. Соловьев. Стихотворения и шуточные пьесы. Л., 1974, с. 133—134).

[8] Имеется в виду так называемая «Записка о „Двенадцати“» (1 апреля 1920 г.), в которой Блок, однако, указывает иные даты: «...в январе 1918 года я в последний раз отдался стихии не менее слепо, чем в январе 1907 или в марте 1914. Оттого я и не отрекаюсь от написанного тогда, что оно было писано в согласии со стихией» (III, 474). Впервые «Записка о „Двенадцати“» была целиком обнародована в выступлении Белого памяти Блока в „Вольной философской ассоциации“ („Вольфиле“) 28 августа 1921 г. (Памяти Александра Блока. Андрей Белый. Иванов-Разумник. А. З. Штейнберг. Пб., 1922, с. 30—32.)

[9] Неточность Белого: В. С. Соловьев скончался 31 июля 1900 г.

[10] Видимо, Белый имеет в виду аллегорический образ Мадонны Философии, ведущей к познанию и совершенству, в трактате Данте «Пир». Выражение «глаза полны лазури» восходит к строке «С глазами, полными лазурного огня» из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Как часто, пестрою толпою окружен...» (1840), процитированной Вл. Соловьевым («Очами, полными лазурного огня») в поэме «Три свидания» (1898); у Соловьева эти слова отнесены к «Подруге вечной» (Вл. Соловьев. Стихотворения и шуточные пьесы, с. 130).

[11] Из стихотворения Вл. Соловьева «Das Ewig-Weibliche. Слово увещевательное к морским чертям» (1898) (Вл. Соловьев. Стихотворения и шуточные пьесы, с. 121).

[12] См. письмо Блока к Белому от 18 июня/1 июля 1903 г. (Ал. Блок и А. Белый. Переписка, с. 35).

[13] «Чистилище», XXX—XXXIII.

[14] См. стихотворение Блока «За гробом» («Божья матерь Утоли мои печали...», 1908) (III, 123—124).

[15] См. поучения старца Зосимы («Братья Карамазовы» — Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч. в 30 т., т. 14. Л., 1976, с. 292). О символическом понятии земли в творчестве Достоевского см.: Р. Плетнев. Земля (Из работы «Природа в творчестве Достоевского»).— В кн.: О Достоевском. Сб. статей, вып. 1. Прага, 1929, с. 153—162.

[16] Стихотворение Блока «На железной дороге» («Под насыпью, во рву некошенном...», 1910) (III, 260—261).

[17] См., напр., стихотворения Блока «Из хрустального тумана...» (1909), «В ресторане» («Никогда не забуду (он был или не был...)») (1910), «Когда-то гордый и надменный...» (1910) (III, 11—12, 25, 194). О «цыганском» начале в поэзии зрелого Блока см.: Ю. Лотман, З. Минц. «Человек природы» в русской литературе XIX века и «цыганская тема» у Блока.— «Блоковский сб.», 1, с. 141—156.

[18] Неточно цитируются заключительные строки стихотворения «Готов ли ты на путь далекий...» (18 июля 1899 г.):

Земля мертва, земля уныла,—
Вдали — рассвет (1,421)

[19] Неточная цитата из стихотворения «То отголосок юных дней...», датированного 29 июля 1900 г. (I, 53).

[20] См. стихотворения Соловьева «Вся в лазури сегодня явилась...» (1875), «У царицы моей есть высокий дворец» (1875—1876), «Близко, далёко, не здесь и не там...» (1875—1876), поэму «Три свидания» (1898) (Владимир Соловьев. Стихотворения и шуточные пьесы, с. 61—64, 125—132).

[21] См. стихотворение Блока «На островах» («Вновь оснеженные колонны...», 1909) (III, 20—21).

[22] См. стихотворение Блока «Она веселой невестой была...» (1905; II, 63—64).

[23] См. стихотворение Блока «Клеопатра» («Открыт паноптикум печальный..»., 1907) (III, 207—208).

[24] Панна Катерина — героиня повести Н. В. Гоголя «Страшная месть». Белый истолковывал этот образ как символ спящей России в статье «Луг зеленый» («Весы», 1905, № 8, с. 7—8). «Я изумился, читая „Зеленый луг“,— писал ему Блок 2 октября 1905 г.— <...> Более близкого, чем у Тебя о пани Катерине, мне нет ничего» (VIII, 195). Об отражении образов «Страшной мести» в статье Блока «Безвременье» (1906; V, 77—78) см.: И. Т. Крук. Блок и Гоголь.— «Русская литература», 1961, № 1, с. 88; З. Г. Минц. Блок и Гоголь.— В кн.: «Блоковский сб.,» 2, с. 154—155.

СОДЕРЖАНИЕ

БЛОК И РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ, ТРАДИЦИИ, ВЛИЯНИЯ, ОБЩЕНИЯ

БЛОК О ЛЬВЕ ТОЛСТОМ (НОВОНАЙДЕННЫЙ АВТОГРАФ)
Сообщение А. Н. Бойко 7

БЛОК О ДОСТОЕВСКОМ (ПО НЕИЗВЕСТНЫМ МАТЕРИАЛАМ)
Статья И. В. Корецкой 13

БЛОК — ЧИТАТЕЛЬ Н. А. ДОБРОЛЮБОВА
Сообщение С. Б. Шоломовой 34

БЛОК И А. К. ТОЛСТОЙ
Статья Н. П. Колосовой 47

ПОМЕТЫ БЛОКА НА КНИГАХ ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX В.
Статья О. В. Миллер 57

БЛОК И НАРОДНИЧЕСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ
Статья М. Г. Петровой 75

БЛОК И ЧЕХОВ
Статья З. С. Паперного 123

БЛОК И ИВАН КОНЕВСКОЙ
Статья В. Я. Мордерер 151

Приложение

ИВАН КОНЕВСКОЙ. ПОЭТ МЫСЛИ
Из статьи Н. Л. Степанова 179
Предисловие и публикация А. Е. Парниса

«ДВЕНАДЦАТЬ» БЛОКА И ЛЕОНИД АНДРЕЕВ
Статья М. С. Петровского 203

БЛОК И ГОРЬКИЙ

I. К ИСТОРИИ ЛИЧНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ БЛОКА И ГОРЬКОГО
Статья и публикация А. М. Крюковой 233

II. ИЗ МАТЕРИАЛОВ АРХИВА А. М. ГОРЬКОГО
Сообщение Н. И. Дикушиной 263

БЛОК И ЛУНАЧАРСКИЙ (ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОЙ КУЛЬТУРЫ)
Статья Н. И. Дикушиной 272

БЛОК В АРХИВЕ ЧУКОВСКОГО
Публикация Е. Ц. Чуковской 307

БЛОК И ПРИШВИН
Вступительная статья Н. В. Реформатской 322

ПИСЬМО БЛОКА ПРИШВИНУ
Публикация В. Д. Пришвиной 327

БЛОК В ДНЕВНИКЕ ПРИШВИНА И НОВОНАЙДЕННОЕ ПИСЬМО БЛОКА ПРИШВИНУ
Публикация В. В. Круглеевской и Л. А. Рязановой 328

ИЗ НЕИЗДАННОЙ ПЕРЕПИСКИ БЛОКА

ПИСЬМА БЛОКА К А. А., С. А. и Ф. А. КУБЛИЦКИМ-ПИОТТУХ
Вступительная статья, публикация и комментарии В. П. Енишерлова 339
ПЕРЕПИСКА Г. И. ЧУЛКОВА С БЛОКОМ
Вступительная статья, публикация и комментарии А. В. Лаврова 370
ПИСЬМА В. ДАМБЕРГСА К БЛОКУ
Предисловие, публикация и комментарии Е. М. Беня . . 423
ПИСЬМА Н. А. КЛЮЕВА К БЛОКУ
Вступительная статья, публикация и комментарии К. М. Азадовского 427
БЛОК И М. А. ВОЛОШИН
1. ВСТРЕЧИ БЛОКА С ВОЛОШИНЫМ
Сообщение В. П. Купченко 524
2. НЕИЗВЕСТНОЕ ПИСЬМО БЛОКА К М. А. ВОЛОШИНУ
Сообщение Р. Б. Вальбе 527
ПИСЬМА Н. Е. ПОЯРКОВА К БЛОКУ
Предисловие, публикация и комментарии Т. М. Хромовой и Н. В. Котрелева 530
БЛОК И ЛИТЕРАТОРЫ (неизвестные письма С. А. Алякринскому, М. Ф. Андреевой, Н. С. Ашукину, П. Н. Зайцеву, В. А. Зоргенфрею, П. П. Муратову, С. Л. Рафаловичу)
Публикация и комментарии Р. Д. Тименчика 546
УТРАЧЕННОЕ ПИСЬМО БЛОКА
Сообщение Л. А. Озерова 567
ИЗ АРХИВА В. А. ЗОРГЕНФРЕЯ
Сообщение И. М. Васильевой 569
ПЕРЕПИСКА БЛОКА С А. А. АХМАТОВОЙ
Предисловие и публикация В. А. Черных 571
ПЕРЕПИСКА БЛОКА С Л. А. ДЕЛЬМАС НА ТЕАТРАЛЬНОМ ДИСПУТЕ 30 МАРТА 1914 г.
Сообщение Ю. Е. Галаниной 578
ПИСЬМО БЛОКА В. В. МУЙЖЕЛЮ В АЛЬБОМЕ Ю. Л. СЛЕЗКИНА
Публикация С. С. Никоненко 591

РАЗЫСКАНИЯ И СООБЩЕНИЯ

АЛЕКСАНДР БЛОК ВО ВВЕДЕНСКОЙ ГИМНАЗИИ
Сообщение К. А. Кумпан и А. М. Конечного 597
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИРИЧЕСКОЙ ТРИЛОГИИ
Статья И. С. Правдиной 620
ИЗ ТВОРЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ПОЭМЫ «ВОЗМЕЗДИЕ»
Сообщение И. А. Ревякиной 636
К ТВОРЧЕСКОЙ ИСТОРИИ СТИХОТВОРЕНИЯ БЛОКА «ПЕРЕД СУДОМ» (из переписки Р. В. Иванова-Разумника и Е. П. Иванова)
Предисловие, публикация и комментарии Н. В. Сквор-цовой 647
БЛОК ПЕРЕВОДИТ ПРОЗУ ГЕЙНЕ
Сообщение А. В. Лаврова и В. Л. Топорова. . . . 658
ПОМЕТЫ БЛОКА НА ПЬЕСЕ Н. Г. ВИНОГРАДОВА «ЦАРЬ ПЕТР ВЕЛИКИЙ» (сцена «Царь и сын»)
Сообщение А. Е. Парниса 666

БЛОК И СОЮЗ ПОЭТОВ
I. БЛОК В АРХИВЕ ВС. А. РОЖДЕСТВЕНСКОГО
Предисловие и публикация М. В. Рождественской, комментарии Р. Д. Тименчика 684
II. ОТЗЫВЫ, СОХРАНИВШИЕСЯ В ДРУГИХ АРХИВАХ
Публикация Р. Д. Тименчика 694
«...НАСТАЛО ВРЕМЯ ОЦЕНИТЬ ВНИМАТЕЛЬНО ПОЭТИЧЕСКУЮ СУДЬБУ БЛОКА» (из архива Н. Н. АСЕЕВА)
Сообщение А. М. Крюковой 696
БЛОК И ПЕРВЫЕ ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА («М. и С. Сабашниковы», «Алконост»)
Сообщение С. В. Белова 713
КТО АВТОР БЛОКОВСКОГО ПЛАКАТА
Сообщение Д. Е. Горбачева 725
ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ БЛОКА
Сообщение М. М. Щербы и Л. А. Батуриной 728
МНИМЫЙ БЛОК?
Статья С. В. Шумихина 736
БЛОК И МАРИЭТТА ШАГИНЯН
Сообщение И. С. Зильберштейна 751
СТИХИ БЛОКА В ОДЕССКИХ ПЕРВОМАЙСКИХ ЛИСТОВКАХ 1919 г.
Сообщение Е. М. Голубовского 757
РЕЧЬ АНДРЕЯ БЕЛОГО ПАМЯТИ БЛОКА (1921 г.)
Публикация и комментарии С. С. Гречишкина и А. В. Лаврова. Предисловие А. В. Лаврова 759

Литературное наследство

Том 92

АЛЕКСАНДР БЛОК.
НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ

Книга четвертая

Утверждено к печати
Институтом мировой литературы им. А. М. Горького
Академии наук СССР

Редакторы Е. В. Белова, В. Ч. Воровская
Художественный редактор С. А. Литвак
Технический редактор Л. Н. Золотухина
Корректоры Л. Р. Мануильская, Е. Л. Сысоева, Т. И. Чернышова

ИБ № 32245

Сдано в набор 11.05.86
Подписано к печати 24.11.86
А-13020. Формат 70×108¹/₁₆
Бумага типографская № 1
Гарнитура обыкновенная
Печать высокая
Усл. печ. л. 68,6. Усл. кр. отт. 70. Уч.-изд. л. 84
Тираж 30 000 экз. Тип. зак. 2668
Цена 10 р. 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени
издательство «Наука»
117864, ГСП-7, Москва, В-485
Профсоюзная ул., 90

2-я типография издательства «Наука»
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

10 р. 50 к.



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»